М. Е. САЛТЫКОВЪ

[Н. ЩЕДРИНЪ]

СОЧИНЕНІЯ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА]

ТОМЪ СЕДЬМОЙ:

Современная идиллія.—Круглый годъ.—Пошехонскіе разсказы. Недоконченныя бесѣды.

ИЗДАНІЕ АВТОРА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 лин. 7.

1889.

ТИПОГРАФІЯ М. СТАСЮЛЕВИЧА
В. О. 2 ЛИН. 7.
1648

СОДЕРЖАНІЕ

СЕДЬМОГО ТОМА.

СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛІЯ.

	СТРАН.
Глава первая	1
„ вторая	14
„ третья	27
„ четвертая	36
„ пятая	48
„ шестая	55
„ седьмая	63
„ восьмая	68
„ девятая	78
„ десятая	85
„ одиннадцатая	90
„ двѣнадцатая	94
„ тринадцатая	102
„ четырнадцатая	113
„ пятнадцатая	121
„ шестнадцатая	127
„ семнадцатая	136
„ восемнадцатая	142
„ девятнадцатая	148
„ двадцатая	157
„ двадцать-первая	169
„ двадцать-вторая	175
„ двадцать-третья	182
„ двадцать-четвертая	194
„ двадцать-пятая	204
„ двадцать-шестая	211
„ двадцать-седьмая	221
„ двадцать-восьмая	227
„ двадцать-девятая. Заключеніе	233

КРУГЛЫЙ ГОДЪ.

СТРАН.

Первое января 239
„ февраля 246
„ марта 254
„ апрѣля 266
„ мая 277
„ іюня 290
„ іюля 301
„ августа 314
„ сентября 325
„ октября 338
„ ноября 345
„ декабря 352

ПОШЕХОНСКІЕ РАЗСКАЗЫ.

I.—По Сенькѣ и шапка 371
II.—Audiatur et altera pars 390
III.—Въ трактирѣ „Грачи“ 409
IV.—Пошехонскіе реформаторы 434
V.—Пошехонское „дѣло“ 454
VI.—Фантастическое отрезвленіе 475

НЕДОКОНЧЕННЫЯ БЕСѢДЫ.

Глава I. 493
„ II. 502
„ III. 511
„ IV. 521
„ V. 543
„ VI. 557
„ VII. 566
„ VIII. 574
„ IX. 586
„ X. . . . . . 600—603

СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛІЯ

Глава I.

Спите! Богъ не спитъ за васъ!

Жуковскій.

Однажды заходитъ ко мнѣ Алексѣй Степанычъ Молчалинъ и говоритъ:

— Нужно, голубчикъ, погодить!

Разумѣется, я удивился. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ я себя помню, я только и дѣлаю, что гожу́.

Вся моя молодость, вся жизнь исчерпывается этимъ словомъ, и вотъ выискивается же человѣкъ, который приходитъ къ заключенію, что мнѣ и за всѣмъ тѣмъ необходимо умѣрить свой пылъ!

— Помилуйте, Алексѣй Степанычъ!—изумился я:—вѣдь это, право, ужъ начинаетъ походить на мистификацію!

— Тамъ мистификація или не мистификація, какъ хотите разсуждайте, а мой совѣтъ—погодить!

— Да что̀ же, наконецъ, вы хотите этимъ сказать?

— Русскіе вы, а по-русски не понимаете! чудные вы, господа! Погодить—ну, принаровиться что-ли, умѣть во̀-время помолчать, позабыть кой объ чемъ, думать не объ томъ, объ чемъ обыкновенно думается, заниматься не тѣмъ, чѣмъ обыкновенно занимаетесь... Напримѣръ: гуляйте больше, въ ѣду ударьтесь, папироски набивайте, письма къ роднымъ пишите, а вечеромъ—въ табельку или въ сибирку засядьте. Вотъ это и будетъ значить „погодить“.

— Алексѣй Степанычъ! батюшка! да почему же?

— Некогда, мой другъ, объяснять—въ департаментъ спѣшу! Да и не объяснишь вѣдь тому, кто понимать не хочетъ. Мы — русскіе; мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочемъ я свое дѣло сдѣлалъ, предупредилъ, а послѣдуете ли моему совѣту, или не послѣдуете, это ужъ вы сами...

Съ этими словами Алексѣй Степанычъ очень любезно сдѣлалъ мнѣ ручкой и исчезъ. Это быстрое появленіе и исчезновеніе очень больно укололи меня. Мнѣ казалось, что въ переводѣ на языкъ словъ этотъ фактъ означаетъ: я не долженъ былъ сюда придти, но... пришелъ. Во всякомъ случаѣ я хоть

тѣмъ умалю значеніе своего поступка, что пробуду въ семъ мѣстѣ какъ можно менѣе времени.

Да, это такъ. Даже руки мнѣ порядкомъ на прощанье не пожалъ, а просто ручкой сдѣлалъ, какъ будто говорилъ: „готовъ я помочь, однако пора бы и тебѣ, сахаръ медовичъ, понять, что знакомство твое — не ахти благостыня какая!“ Я, конечно, не буду увѣрять, что онъ именно *такъ* думалъ, но что онъ инстинктивно *такъ* чувствовалъ, и что именно это чувство сообщило его появленію ту печать торопливости, которая меня поразила — въ этомъ я нимало не сомнѣваюсь.

По обыкновенію я сейчасъ же полетѣлъ къ Глумову. Я горѣлъ нетерпѣніемъ сообщить объ этомъ странномъ коллоквіумѣ, дабы общими силами сотворить по этому случаю совѣтъ, а затѣмъ, буде надобно, то и планъ дѣйствій начертать. Но Глумовъ уже какъ бы предвосхитилъ мысль Алексѣя Степаныча. Тщательно очистивъ письменный столъ отъ бумагъ и книгъ, въ обыкновенное время загромождавшихъ его, онъ сидѣлъ передъ порожнимъ пространствомъ... и набивалъ папироски.

— Ты что̀ это дѣлаешь?—спросилъ я.

— А вотъ подходящее по обстоятельствамъ занятіе изобралъ. Утромъ, возставъ отъ сна, пасьянсъ раскладывалъ, теперь—папироски дѣлаю.

— Представь себѣ, ко мнѣ Алексѣй Степанычъ заходилъ и то же самое совѣтовалъ!

— А я такъ самъ догадался. Садись, вотъ тебѣ гильзы—занимайся.

— Позволь однако, надо же хоть объясниться сперва!

— А тебѣ что̀ Алексѣй Степанычъ сказалъ?

— Да ничего путемъ не сказалъ. Пришелъ, повернулся и ушелъ. Погодить, говоритъ, надо!

— Чудакъ ты! Сказано: погоди, ну, и годи, значитъ. Вотъ я себѣ самъ, собственнымъ движеніемъ, сказалъ: Глумовъ! нужно, братъ, погодить! Купилъ табаку, гильзы—и шабашъ. И не объясняюсь. Ибо понимаю, что всякое поползновеніе къ объясненію есть противоположенное тому, что̀ на русскомъ языкѣ извѣстно подъ словомъ „годить“.

— Помилуй! да развѣ мы мало до сихъ поръ годили? Въ чемъ же другомъ вся наша жизнь прошла, какъ не въ безпрерывномъ самопонужденіи: погоди да погоди!

— Стало быть, до сихъ поръ мы въ одну мѣру годили, а теперь мѣра съ гарнцемъ пошла въ ходъ — больше годить надо, а завтра, можетъ быть, къ мѣрѣ и еще два гарнца накинется — ну, и еще больше годить придется. Небось, не лопнешь. А впрочемъ что̀ же праздныя-то слова говорить! Давай-ка лучше подумаемъ, какъ бы намъ сообща каникулы-то эти провести. Вмѣстѣ и годить словно бы веселѣе будетъ.

Затѣмъ мы въ нѣсколько минутъ начертали планъ дѣйствій и съ завтрашняго же дня приступили къ выполненію его.

Прежде всего мы рѣшили, что я съ вечера же переберусь къ Глумову, что мы вмѣстѣ ляжемъ спать и вмѣстѣ же завтра проснемся, чтобы начать

„годить“. И не разстанемся до тѣхъ поръ, покуда вакантъ самъ собой, такъ сказать, изморомъ не изноетъ.

Залегли мы спать часовъ съ одиннадцати, точно завтра утромъ къ ранней обѣднѣ собрались. Обыкновенно мы въ это время только-что словесную канитель затягивали и часовъ до двухъ ночи переходили отъ одного современнаго вопроса къ другому, съ одной стороны ничего не предрѣшая, а съ другой стороны не отказывая себѣ и въ достодолжномъ, въ предѣлахъ разумной умѣренности, разсмотрѣніи. И хотя наши собесѣдованія почти всегда заканчивались словами: „необходимо погодить“, но мы все-таки утѣшались хоть тѣмъ, что слова эти составляютъ результатъ свободнаго обмѣна мыслей и свободно-разумнаго отношенія къ дѣйствительности, что воля съ насъ не снята, и что еслибы, напримѣръ, выпить при семъ двѣ-три рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало намъ выразиться и такъ: Господа! да неужто же наконецъ...

Но теперь мы съ тѣмъ именно и собрались, чтобы начать годить, не разсуждая, не вдаваясь въ изслѣдованія, почему и какъ, а просто-на-просто плыть по теченію до тѣхъ поръ, пока Алексѣй Степанычъ не сниметъ съ насъ клятвы и не скажетъ: теперь—валяй по всѣмъ по тремъ!

Мнѣ не спалось Глумовъ тоже ворочался съ боку на бокъ. Но дисциплина уже сказывалась, и мысли приходили въ голову именно все такія, какія должны приходить людямъ, собравшимся къ ранней обѣднѣ.

— Глумовъ! ты не спишь?

— Не сплю. А ты?

— И я не сплю.

— Гм... не зажечь ли свѣчу?

— Погоди, можетъ быть, и уснемъ.

Прошло еще съ полчаса—не спится да и только. Зажгли свѣчу, спустили ноги съ кровати и сѣли другъ противъ друга. Глядѣли-глядѣли—наконецъ смѣшно стало.

— Постой-ка, я въ буфетъ схожу; я тамъ, на всякій случай, два куска ветчины припасъ!—сказалъ Глумовъ.

— Сходи, пожалуй!

Глумовъ зашлепалъ туфлями, а я сидѣлъ и прислушивался. Вотъ онъ въ кабинетъ вошелъ, вотъ вступилъ въ переднюю, вотъ поворотилъ въ столовую... Чу! ключъ повернулся въ замкѣ, тарелки стукнули... Идетъ назадъ!!

Когда человѣкъ рѣшился годить, то все для него интересно: способность къ наблюденію изощряется почти до ясновидѣнія, а мысли — приходятъ во множествѣ.

— Вотъ ветчина, а вотъ водка. Закусимъ!—сказалъ Глумовъ.

— Гм... ветчина! Хорошо ветчиной на ночь закусить—спаться лучше будетъ. А ты, Глумовъ, думалъ ли когда-нибудь объ томъ, какъ эта самая ветчина ветчиной дѣлается?

— Была прежде свинья, потомъ ее зарѣзали, разсортировали, окорока посолили, провѣсили—вотъ и ветчина сдѣлалась.

— Нѣтъ, не это! А вотъ кому эта свинья принадлежала? Кто ее вы-

холилъ, выкормилъ? И почему онъ съ нею разстался, а теперь мы, которые ничего не выкармливали, окорока этой свиньи ѣдимъ...

— И празднословіемъ занимаемся... Будетъ! Сказано тебѣ, погоди — ну, и жди!

— Глумовъ! я немножко!

— Ни слова, ни полслова — вотъ тебѣ и сказъ. Доѣдай и ложись! А чтобы воображеніе осадить—вотъ тебѣ водка.

Выпили по двѣ рюмки — и дѣйствительно какъ-то сподручнѣе годить сдѣлалось. Въ голову словно облако тумана ворвалось, теплота по всѣмъ суставамъ пошла. Я закутался въ одѣяло и сталъ молчать. Молчать—это цѣлое занятіе, цѣлый умственный процессъ, особливо если при этомъ имѣется въ виду практическій результатъ. А такъ какъ въ настоящемъ случаѣ ожидаемый результатъ заключался въ словѣ „заснуть“, то я предался молчанію, усиленно отгоняя и устраняя все, что̀ могло нанести ему ущербъ. Старался не перемѣнять положенія тѣла, всякому проблеску мысли сейчасъ же посылалъ встрѣчный проблескъ мысли, по преимуществу ни съ чѣмъ не сообразный, даже цѣлыя сказки себѣ сказывалъ. Содержаніе этихъ сказокъ я излагать здѣсь не буду (это завлекло бы меня, пожалуй, за предѣлы моихъ скромныхъ намѣреній), но, признаюсь откровенно, всѣ онѣ имѣли въ своемъ основаніи слово: „погодить“.

Наконецъ, уже почти совсѣмъ сонный, я вымолвилъ:

— Да, братъ! а насчетъ ветчины — все-таки... Это, братъ, въ своемъ родѣ—сюжетъ!

— Сюжетъ!—тоже сквозь сонъ отвѣтилъ мнѣ Глумовъ, и затѣмъ голова моя окончательно окунулась въ облако.

Проснулись мы довольно рано (часовъ въ девять), но къ ранней обѣднѣ все-таки не поспѣли.

— Впрочемъ, и то сказать,—началъ я:—не такой городъ Петербургъ, чтобы въ немъ раннія обѣдни справлять.

— Будешь и къ ранней обѣднѣ ходить, когда моментъ наступитъ,—осадилъ меня Глумовъ: — но не объ томъ рѣчь, а вотъ я насчетъ горячаго распоряжусь. Тебѣ чего: кофе или чаю?

Я задумался. Обыкновенно я пью чай, но нынче все такъ было необыкновенно, что захотѣлось и тутъ отличиться. Дай-ко, думаю, кофейку хвачу!

— Кофе, братецъ! — воскликнулъ я и даже хлопнулъ себя по ляжкѣ отъ удовольствія.

Подали кофе. Налили по стакану — выпили; по другому налили — и опять выпили. Со сливками и съ теплымъ калачомъ.

— Калачъ-то отъ Филиппова?—спросилъ я.

— Да, отъ Филиппова.

— Говорятъ, у него въ пекарнѣ таракановъ много...

— Мало ли что̀ говорятъ! Вкусно — ну, и будетъ съ тебя!

Глумовъ высказалъ это нѣсколько угрюмо, какъ будто предчувствуя, что у меня языкъ начинаетъ зудѣть.

— А что, Глумовъ, ты когда-нибудь думалъ, какъ этотъ самый калачъ...

— Чтò „калачъ“?

— Ну, вотъ родословную-то его... Какъ сначала эта самая пшеница въ закромѣ лежитъ, у кого лежитъ, кàкъ этотъ человѣкъ за сохой идетъ, напирая на нее всею грудью, какъ...

— Зналъ прежде, да забылъ. А теперь знаю только то, что мы кофе съ калачомъ пьемъ, да и тебѣ только это знать совѣтую!

— Глумовъ! да вѣдь я немножко! Вѣдь если мы немножко и поговоримъ—право, вреда особеннаго отъ этого не будетъ. Только время скорѣе пройдетъ!

— И это знаю. Да не объ томъ мы думать должны. Подвигъ мы на себя приняли—ну, и должны этотъ подвигъ выполнить. Кончай-ка кофе, да идемъ гулять! Вспомни, какую намъ палестину выходить предстоитъ!

Въ одиннадцать часовъ мы вышли изъ дому и направились по Литейной. Пришли къ зданію судебныхъ мѣстъ.

— Вотъ, братъ, и судъ нашъ праведный!—сказалъ я.

— Да, братъ, судъ!—вздохнулъ въ отвѣтъ Глумовъ.

— А коли по правдѣ-то сказать, такъ наступитъ же когда-нибудь время, когда эти суды...

— Да обуздай, наконецъ, язычище свой! Ну, судъ—ну, и прекрасно! И будетъ съ тебя! Архитектура вотъ... разбирай ее на здоровье! Зданіе прочное—внутри дворъ... Чего лучше!

— Да, мой другъ, удивительно, какъ это нынче... Говорятъ, даже буфетъ въ судѣ есть?

— Есть и буфетъ.

— А ты не знаешь, чѣмъ этотъ буфетъ славится?

— Водки рюмку выпить можно—какой еще славы нужно! Котлетки подаютъ, бифштексъ—въ званіи отвѣтчика даже очень прилично!

— Удивительно! просто удивительно! И правосудіе получить, и водки напиться—все можно!

— Только болтать лишнее нельзя! Идемъ на Фурштадтскую.

Пошли по Фурштадтской; дошли до Овсянниковскаго дома.

— Вотъ какой столбъ былъ! До неба рукой доставалъ—и вдругъ рухнулъ!—воскликнулъ я въ умиленіи: — я впрочемъ думаю, что Провидѣніе не безъ умысла отъ времени до времени такія зрѣлища допускаетъ!

— Для чего Провидѣніе допускаетъ такія зрѣлища — это, братъ, не нашего ума дѣло; а вотъ что Овсянниковъ подвергается карѣ закона—это вѣрно. Это я въ газетахъ читалъ, и потому могу говорить свободно!

— Да, но отчего же и о путяхъ Провидѣнія не припомнить при этомъ?

— Оттого, что пути эти намъ неизвѣстны — вотъ отчего. А чтò намъ неизвѣстно—къ тому мы должны относиться сдержанно. Шагай, братецъ.

Въ концѣ Фурштадтской — питейное заведеніе. Выходитъ оттуда мужчина въ изорванномъ пальто, съ изорванной физіономіей и, пошатываясь, горланитъ:

Красавица! подожди!
Бѣлы руки подожми!

— Вотъ и онъ совѣтуетъ подождать!—говорю я.

— Да, потому что всѣмъ такая линія вышла.

— А бѣдный онъ!

— Кто? пьяница-то?

— Да, онъ. Сколько лютой скорби надобно, чтобъ накипѣло у человѣка въ груди...

Но Глумовъ и тутъ оборвалъ меня, запѣвъ:

Красавица! подожди!
Бѣлы руки подожми!

— Не для того я напоминаю тебѣ объ этомъ, — продолжалъ онъ, — чтобъ ты именно въ эту минуту молчалъ, а для того, что если ты теперь сдерживать себя будешь, то и въ другое время языкъ обуздать не съумѣешь. Выдержка намъ нужна, воспитаніе. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотимъ понять, что оттого вся эта неопрятность и происходитъ, что мы на каждомъ шагу послабленія себѣ дѣлаемъ. Прямо, на улицѣ, пожалуй, не посмѣемъ высказаться, а чуть зашли за уголъ — и распустили языкъ. Понятно, что начальство за это претендуетъ на насъ. А ты такъ умѣй собой овладѣть, что ежели сказано тебѣ „погоди!", такъ ты годи вездѣ, на всякомъ мѣстѣ, да отъ всего сердца, да со всею готовностью — вотъ какъ! даже когда одинъ съ самимъ собой находишься—и тогда годи! Только тогда и почувствуется у тебя настоящая культурная выдержка.

Я долженъ былъ согласиться съ Глумовымъ. Дѣйствительно, русскій человѣкъ какъ-то туго поддается выдержкѣ и почти совсѣмъ не можетъ устроить, чтобъ на всякомъ мѣстѣ и во всякое время вести себя съ одинаковымъ самообладаніемъ. Есть у него въ этомъ смыслѣ два очень серьезные врага: воображеніе, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться на встрѣчу первому попавшемуся впечатлѣнію. Обстоятельства почти всегда застигаютъ его врасплохъ, а потому сію минуту онъ увядаетъ, а въ слѣдующую — расцвѣтаетъ, сію минуту разсыпается въ выраженіяхъ преданности и любви, а въ слѣдующую — клянетъ или загибаетъ непечатныя слова, которыя у насъ какъ-то и въ счетъ не полагаются. Но во всякомъ случаѣ онъ не умѣетъ сдержать свою мысль и рѣчь въ извѣстныхъ границахъ, но непремѣнно впадаетъ въ расплывчивость и прибѣгаетъ къ околичностямъ. Прочтите любой судебный процессъ, и вы безъ труда убѣдитесь въ этомъ. Ни одинъ свидѣтель на вопросъ: гдѣ вы въ такомъ-то часу были? — не отвѣтитъ просто: былъ тамъ-то, но непремѣнно всю свою душу при этомъ изольетъ. Начнетъ съ родителей, потомъ переберетъ всѣхъ знакомыхъ, которыхъ фамиліи попадутся ему на языкъ, потомъ объ себѣ отзовется, что онъ человѣкъ несчастный, и наконецъ уже на повторительный вопросъ: гдѣ вы были? — рѣшится отвѣтить: былъ тамъ-то, но непремѣнно присовокупитъ: видѣлся вотъ съ тѣмъ-то, да еще съ тѣмъ-то, и сговаривались мы сдѣлать то-то. Однимъ словомъ, самаго ничтожнаго повода достаточно, чтобъ насторожить воображеніе и чтобы послѣднее немедленно нарисовало цѣлую картину.

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній я рѣшился сдерживать себя. Молча

мы повернули вдоль линіи Таврическаго сада, затѣмъ направо по набережной и остановились противъ Таврическаго дворца. Натурально, умилились. Тѣни Екатерины, Потемкина, Державина такъ живо пронеслись передо мною, что мнѣ показалось, что я чувствую ихъ дуновеніе.

— Вотъ гдѣ витаетъ тѣнь великолѣпнаго князя Тавриды!—воскликнулъ я.

— Да, братъ, вотъ тутъ, въ этомъ самомъ мѣстѣ онъ и жилъ! — отозвался Глумовъ.

— И что̀ отъ него осталось? Чѣмъ разрѣшилось облако блеска, славы и власти, которое окружало его? Нѣсколькими десятками анекдотовъ въ „Русской Старинѣ“, изъ коихъ въ одномъ главную роль играетъ севрюжина! Вонъ тамъ былъ сожженъ знаменитый фейерверкъ; вотъ тутъ, съ этой террасы глядѣла на празднество залитая въ золото толпа царедворцевъ, а вдали неслыханныя массы голосовъ и инструментовъ гремѣли „Коль славенъ“ подъ громъ пушекъ! Гдѣ все это?

Я расчувствовался, всталъ въ позу и продекламировалъ:

Гдѣ столъ былъ яствъ—тамъ гробъ стоитъ,
Гдѣ пиршествъ раздавались клики,
Надгробные тамъ воютъ лики,
И блѣдна смерть на всѣхъ глядитъ.
Глядитъ на всѣхъ...

— Дальше не помню: но не правда ли, удивительно!

— Удивительно-то удивительно, только это изъ оды на смерть Мещерскаго, и къ Потемкину, слѣдовательно, не относится, — расхолодилъ меня Глумовъ.

— Все равно, это стихи Державина, которые всегда повторить пріятно! Екатерина! Державинъ! Имена-то какія, мой другъ! часто ли встрѣтишь ты въ исторіи такія сочетанія!

— Орловы! Потемкинъ! Румянцовъ! Суворовъ!—словно эхо вторилъ мнѣ Глумовъ и, ставъ въ позицію, продекламировалъ:

Вихрь полуночный летитъ богатырь!
Тѣнь отъ чела, съ посвиста—пыль!

— А потомъ Дмитріевъ-Мамоновъ и наконецъ Зубовъ... И каждому-то умѣлъ старикъ Державинъ комплиментъ сказать!

Подъ наплывомъ этихъ отрадныхъ чувствъ начали мы припоминать стихи Державина, но, къ удивленію, ничего не припомнили, кромѣ:

Запасшися крестьянинъ хлѣбомъ,
Ѣстъ добры щи и пиво пьетъ! *)

— Да, братъ, былъ такой крестьянинъ! былъ!—воскликнулъ я, подавленный нарисованною Державинымъ картиной.

Какъ ни сдержанъ былъ Глумовъ, но на этотъ разъ и онъ счелъ неумѣстнымъ охлаждать мой восторгъ.

---

*) „Осень во время осады Очакова“.

— Да, братъ, былъ,—сказалъ онъ почти сочувственно.

— Было! все было! — продолжалъ я восклицать въ восхищеніи: — и „добры щи“ были! представь себѣ: „добры щи“!

— Представляю, но, все-таки, не могу не сказать: восхищаться ты можешь, но съ такимъ разсчетомъ, чтобы восхищеніе прошлымъ не могло служить поводомъ для превратныхъ толкованій въ смыслѣ укора настоящему!

И съ этимъ замѣчаніемъ я долженъ былъ согласиться. Да, и восторги нужно соразмѣрять, то-есть ни въ какомъ случаѣ не сосредоточивать ихъ на одной какой-нибудь точкѣ, но распредѣлять на возможно большее количество точекъ. Нужды нѣтъ, что вслѣдствіе этого распредѣленія восторгъ сдѣлается болѣе умѣреннымъ, но за то онъ всѣ точки равно освѣтитъ и отъ каждой получитъ дань похвалы и поощренія. Поэты стараго добраго времени очень тонко это понимали, и потому, ни на комъ исключительно не останавливаясь и никого не обижая, всѣмъ подносили посильные комплименты.

Мы повернули назадъ, прихватили Песковъ, и когда поравнялись съ однимъ одноэтажнымъ деревяннымъ домикомъ, то я сказалъ:

— Вотъ въ этомъ самомъ домѣ цензоръ Красовскій родился!

— Врешь?

Я совралъ дѣйствительно; но такъ какъ срокъ, въ теченіе котораго мнѣ предстояло „годить“ не былъ опредѣленъ, то надо же было какъ-нибудь время проводить! Поэтому я не только не сознался, но и продолжалъ стоять на своемъ.

— Вѣрно, что тутъ!—упорствовалъ я:—мнѣ Тряпичкинъ сказывалъ. Онъ, братъ, нынче фельетоны-то бросилъ, за историческія изслѣдованія принялся! Уваровскую премію надѣется получить! Тутъ родился! тутъ!

Постояли, полюбовались, вспомнили, какъ у покойнаго всю жизнь животъ болѣлъ, наконецъ махнули рукой и пошли по Лиговкѣ. Долго ничего замѣчательнаго не было, но вдругъ мои глаза ухитрились отыскать знакомый домъ.

— Вотъ въ этомъ самомъ домѣ собранія библіографовъ бываютъ,—сказалъ я.

— Когда?

— Собираются они по ночамъ и въ величайшемъ секретѣ: боятся, чтобъ полиція не накрыла.

— Ихъ-то?

— Да, братъ, и ихъ! Вообще человѣчество все...

— Ты бывалъ на этихъ собраніяхъ?

— Былъ однажды. При мнѣ „Черную шаль“ Пушкина библіографической разработкѣ подвергли. Они, братъ, ее въ двухъ томахъ съ комментаріями хотятъ издавать.

— Вотъ бы гдѣ „годить“-то хорошо! Туда бы забраться, да тамъ все время и переждать!

— Да, хорошо бы. При мнѣ въ теченіе трехъ часовъ только два первые стиха обработали. Вотъ видишь, обыкновенно мы такъ читаемъ:

Гляжу я безмолвно на черную шаль,
И хладную душу терзаетъ печаль...

А у Сленина (1831 г., in 8-vo) послѣдній стихъ такъ напечатанъ:

И гладную душу дерзаетъ печаль...

Вотъ они и остановились въ недоумѣніи. Три партіи образовались.

— Ужинать-то, по крайней мѣрѣ, дали ли?

— Нѣтъ, ужина не было, а подъ конецъ засѣданія хозяинъ сказалъ: „Я, господа, рѣдкость пріобрѣлъ! единственный экземпляръ Гоголевскаго портрета, на которомъ авторъ „Мертвыхъ Душъ“ изображенъ съ бородавкой на носу!“

— Ну, и что жъ?

— Натурально, всѣ всполошились. Принесъ—всѣ бросились смотрѣть: дѣйствительно, сидитъ Гоголь, и на самомъ кончикѣ носа у него бородавка. Начался споръ: въ какую эпоху жизни портретъ снятъ? положили: справиться, нѣтъ ли указаній въ бумагахъ покойнаго академика Погодина. Потомъ стали къ хозяину приставать: сколько за портретъ заплатилъ? Тотъ говоритъ: „угадайте!“ Потомъ, въ видѣ литіи, прочли „полный и достовѣрный списокъ сочиненій Григорія Данилевскаго“ и разошлись.

— Вотъ, другъ, этакъ-то бы пожить!

— Да, хорошо! однако, братъ, и они... на замѣчаніи тоже! Какъ расходились мы, такъ я замѣтилъ: нѣтъ-нѣтъ, да и стоитъ, на всякій случай, городовой! И такіе пошли тутъ у нихъ свистки, что я, грѣшный человѣкъ, подумалъ: а что, ежели „Черная шаль“ тутъ только предлогъ одинъ?

Разговаривая такимъ образомъ, мы незамѣтно дошли до Невскаго, причемъ я не преминулъ обратиться всѣмъ корпусомъ къ дебаркадеру николаевской желѣзной дороги и произнесъ:

— А вотъ это — результатъ пытливости девятнадцатаго вѣка!

Затѣмъ, дойдя до Надеждинской улицы, я сказалъ:

— Эта улица прежде Шестилавочною называлась и шла отъ Кирочной только до Итальянской, а теперь до Невскаго ее продолжили. И это тоже результатъ пытливости девятнадцатаго вѣка!

А дойдя до булочной Филипова, я вспомнилъ, какія я давеча мысли по поводу филиповскихъ калачей высказывалъ, и даже засмѣялся: какъ можно было такую гражданскую незрѣлость выказать!

— А помнишь, какой мы давеча разговоръ по случаю филиповскихъ калачей вели?—обратился я къ Глумову.

— Не я велъ, а ты...

— Ну, да, я. Но какъ все это было юно! незрѣло! Какое мнѣ дѣло до того, кто муку производитъ, какъ производитъ и пр.! Я ѣмъ калачи — и больше ничего! мнѣ кажется, теперь—хоть озолоти меня—я въ другой разъ этакой глупости не скажу!

— И прекрасно сдѣлаешь. Вотъ какъ каждый-то день верстъ по пятнадцати-двадцати обломаемъ, такъ дней черезъ десять и совсѣмъ замолчимъ!

Но когда мы дошли до площади Александринскаго театра, то душевный нашъ уровень опять поднялся. Вновь вспомнили старика Державина:

Богоподобная царевна
Киргизъ-кайсацкія орды,
Которой мудрость несравненна...

— А вотъ и самъ онъ тутъ! — воскликнулъ я, указывая на пьедесталъ.

— А вотъ храмъ Таліи и Мельпомены! — отозвался Глумовъ, указывая на Александринскій театръ.

— А рядомъ съ нимъ храмъ Момусу!

— А напротивъ — отель Бель-вю!

Намъ было такъ радостно, что все это такъ хорошо съютилось, что мы, дабы не отравлять счастливаго душевнаго настроенія, рѣшились отвратить наши взоры отъ бывшаго помѣщенія конторы Баймакова, такъ какъ это зрѣлище должно было несомнѣнно ввергнуть насъ въ меланхолію.

Проходя мимо публичной библіотеки, я собрался-было остановиться и сказать нѣсколько прочувствованныхъ словъ насчетъ неумѣстности наукъ, но Глумовъ такъ угрюмо взглянулъ на меня, что я невольно ускорилъ шагъ и успѣлъ высказать только слѣдующій краткій exordium:

— Вотъ здѣсь хранятся сокровища человѣческаго ума!

За то у милютиныхъ лавокъ мы отдохнули и взорами, и душою. Апельсины, мандарины, груши, виноградъ, яблоки. Представьте себѣ — земляника! На дворѣ февраль, у извозчиковъ уши на морозѣ побѣлѣли, а тамъ, въ этой провонялой лавчонкѣ — ужъ лѣто въ самомъ разгарѣ! И какіе веселые, беззавѣтные голоса долетали до насъ оттуда всякій разъ, какъ дверь магазина отворялась! И какъ меня вдругъ потянуло туда, въ заднія низенькія комнаты, въ провонялую, сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны, на всемъ пространствѣ которыхъ, безъ всякаго сомнѣнія, ни одного неприплеваннаго мѣста невозможно найти! Придти туда, лечь съ ногами на диванъ, окружить себя устрицами, пить шабли и въ этомъ положеніи „годить“!

— Да, и тутъ „годить“ хорошо! — молвилъ Глумовъ, какъ бы угадывая мою мысль.

Но планъ нашъ ужъ былъ составленъ заранѣе. Мы обязывались провести время, хотя безполезно, но въ то же время по возможности серьезно. Мы понимали, что всякая примѣсь легкомыслія должна произвести игривость ума, и что только серьезное переливаніе изъ пустого въ порожнее можетъ вполнѣ укрѣпить человѣка на такой серьезный подвигъ, какъ непремѣнное намѣреніе „годить“. Поэтому, хотя и не безъ насильства надъ самими собой, но мы оторвали глаза отъ соблазнительнаго зрѣлища и направили стопы по направленію къ адмиралтейству.

Мы шли молча, какъ бы подавленные бакалейными запахами, которыми, казалось, даже складки нашихъ пальто внезапно пропахли. Не обративъ вниманія ни на памятники Барклаю де-Толли и Кутузову, ни на ресторанъ Доминика, въ дверяхъ котораго толпились какія-то полинялыя личности, ни на обѣ Морскія, съ веселыми пріютами Бореля и Танти, мы достигли Адмиралтейской площади, и тутъ я вновь почувствовалъ необходимость сказать нѣсколько прочувствованныхъ словъ.

— Еще недавно здѣсь, на масляницѣ и на святой, устраивались балаганы и въ опредѣленные дни вывозили институтокъ въ придворныхъ каретахъ. Теперь все это происходитъ уже на Царицыномъ Лугу. Здѣсь же, на площади, иждивеніемъ и заботливостью городской думы, устроенъ скверъ. Глумовъ! видишь этотъ скверъ?

— Вижу. А ты видишь?

— И я вижу. Я объ томъ хочу сказать, что съ каждымъ годомъ этотъ скверъ все больше и больше разростается. Сначала, когда его только-что насадили, деревья вотъ этакія были, и притомъ множество изъ нихъ въ первый же годъ погибло. Потомъ, по мѣрѣ того, какъ заботливость городской думы развивалась, погибшія деревья замѣнялись новыми, а старыя, сразу удавшіяся, пышнѣе и пышнѣе разрастались. Въ настоящее время не слишкомъ тучный прохожій уже можетъ свободно отдохнуть подъ ихъ тѣнью, но, разумѣется, не зимой. Глумовъ! правильно ли я говорю?

— Совершенно правильно.

— А теперь, исполнивши нашъ долгъ относительно Адмиралтейской площади и отдавши дань заботливости городской думы, идемъ къ окончательной цѣли нашего путешествія, какъ оно проектировано на нынѣшній день!

Мы пошли на Сенатскую площадь и въ нѣмомъ благоговѣніи остановились передъ памятникомъ Петра Великаго. Вспомнился „Мѣдный Всадникъ" Пушкина и тутъ же кстати пришли на умъ и слова профессора Морошкина о Петрѣ:

„Но великій человѣкъ не пріобщался нашимъ слабостямъ! Онъ не зналъ, что мы плоть и кровь! Онъ былъ великъ и силенъ, а мы родились и слабы, и худы, намъ нужны были общіе уставы человѣческіе!" *)

Я повторилъ эти замѣчательныя слова, а Глумовъ вполнѣ одобрилъ ихъ. Затѣмъ мы бросили прощальный взглядъ на зданіе сената, въ которомъ нѣкогда говорилъ правду Яковъ Долгорукій, и такъ какъ программа гулянья на нынѣшній день была уже исчерпана и насъ порядкомъ-таки одолѣвала усталость, то мы сѣли въ вагонъ конно-желѣзной дороги и благополучно прослѣдовали въ немъ до Литейной.

Было уже четыре часа, когда мы воротились домой; слѣдовательно до обѣда оставался еще часъ. Глумовъ отправился распорядиться на кухню, а мнѣ далъ картузъ табаку, пачку гильзъ и сказалъ:

— Займись!

Наконецъ подали обѣдать. Никогда не ѣдалъ я такъ вкусно. Во-первыхъ, никогда не приходилось дѣлать подобнаго предобѣденнаго моціона, а во-вторыхъ, мы ѣли на свободѣ, безъ всякихъ политическихъ соображеній, „безъ тоски, безъ думы роковой", памятуя твердо, что ничего другого, кромѣ ѣды, намъ не предстоитъ. Поэтому каждый кусокъ былъ надлежащимъ образомъ прожеванъ, а слѣдовательно и до желудка дошелъ въ формахъ вполнѣ согласныхъ съ требованіями медицинской науки. Подавали на закуску: провѣсную бѣлорыбицу и превосходнѣйшую бѣлужью салфеточную икру; за обѣдомъ—удивительнѣйшія щи съ говяжьей грудиной, потомъ осетрину паровую, потомъ жареныхъ рябчиковъ, привезенныхъ прямо изъ Сибири, и наконецъ —компотъ изъ французскихъ фруктовъ. Само собой разумѣется, что при каждой перемѣнѣ кушанья возникалъ приличный обстоятельствамъ разговоръ.

Давно, очень давно дѣдушка Крыловъ написалъ басню: „Сочинитель и

---

*) Рѣчь профессора московскаго университета Морошкина: „Объ уложеніи и его дальнѣйшемъ развитіи".

разбойникъ", въ которой доказалъ, что разбойнику слѣдуетъ отдать предпочтеніе передъ сочинителемъ, и эта истина такъ пришлась намъ ко двору, что съ давнихъ временъ никто и не сомнѣвается въ ея непререкаемости. Позднѣе тотъ же дѣдушка Крыловъ написалъ другую басню: „Три мужика", въ которой образно доказалъ другую истину, что во время ѣды не слѣдуетъ вести иныхъ разговоровъ, кромѣ тѣхъ, которые, такъ сказать, вытекаютъ изъ самаго процесса ѣды. Этою истиною мы долгое время малодушно пренебрегали, но теперь, когда теорія и практика въ совершенствѣ выяснили, что человѣческій языкъ есть не что̀ иное, какъ орудіе для выраженія человѣческаго скверномыслія, мы должны были сознаться, что прозорливость дѣдушки Крылова никогда не обманывала его.

Мы солидно ѣли и вели солидный разговоръ объ ѣдѣ. И по мѣрѣ того, какъ обѣдъ развивался, передъ нами открывались такія поразительныя перспективы, которыхъ мы никогда и не подозрѣвали. Я покупалъ говядину въ какой-то лавочкѣ „на углу"; Глумовъ — на Кругломъ рынкѣ; я покупалъ рыбу въ Чернышевомъ переулкѣ, Глумовъ—на Мытномъ дворѣ; я пріобрѣталъ дичь въ первой попавшейся лавкѣ, на дверяхъ которой висѣлъ замороженный заяцъ, Глумовъ—въ какомъ-то складѣ, близъ Шлиссельбургской заставы. Безхозяйственность моя обнаружилась во всемъ ужасающемъ безобразіи, такъ что я тутъ же мысленно рѣшилъ, что безъ радикальныхъ реформъ обойтись невозможно.

— Ты сообрази, мой другъ, — говорилъ я: — вѣдь по этому разчету выходитъ, что я, по малой мѣрѣ, каждый день полтину на вѣтеръ бросаю! А сколько этихъ полтинъ-то въ годъ выйдетъ?

— Выйдетъ триста шестьдесятъ пять полтинъ, то-есть сто восемьдесятъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ.

— Теперь, пойдемъ дальше. Прошло слишкомъ тридцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я вышелъ изъ школы, и все это время, съ очень небольшими перерывами, я живу полнымъ хозяйствомъ. Еслибъ я всѣ эти полтины собиралъ, сколько бы у меня теперь денегъ-то было?

— Тысячу восемьсотъ двадцать пять помножь на три—выйдетъ пять тысячъ четыреста семьдесятъ пять рублей.

— Это ежели безъ процентовъ считать. Но я могъ эти сбереженія... ну! положимъ, подъ ручные залоги я бы не отдалъ... а все-таки я могъ бы на эти сбереженія покупать процентныя бумаги, дисконтировать векселя и вообще совершать дозволенныя закономъ финансовыя операціи... Разсчетъ-то ужъ выйдетъ совсѣмъ другой.

— Да, братъ, обмишулился ты!

— И замѣть, что у тебя провизія превосходная, а у меня — только посредственная. Возьми, напримѣръ, твоя ли осетрина, или моя?

— Нѣтъ, вотъ я завтра окорочекъ велю запечь, да тепленькій... тепленькій на столъ-то его подадимъ! Вотъ и увидимъ, что̀ ты тогда запоешь!

— Ты гдѣ окорока покупаешь?

— Угадай!

— У Шписа? у Людекенса?

— Въ Мучномъ переулкѣ!!!

— Скажите на милость!

Словомъ сказать, разочарованіе слѣдовало за разочарованіемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ являлась и надежда на исправленіе, а это-то собственно и было дорого. Ибо давно уже признано, что однѣ темныя стороны никогда никого не удовлетворяютъ, если онѣ не смягчаются свѣтлыми сторонами, или, за недостаткомъ ихъ, „насъ возвышающими обманами“! Такъ что, напримѣръ, человѣкъ, котораго обѣдъ состоитъ изъ одной тюри съ водой, только тогда будетъ вполнѣ удовлетворенъ, ежели при этомъ вообразитъ, что ѣстъ наварныя щи и любуется плавающимъ въ нихъ жирнымъ кускомъ говядины.

Этихъ мыслей я впрочемъ не высказывалъ, потому что Глумовъ непремѣнно распекъ бы меня за нихъ. Да я и самъ, признаться, не придавалъ имъ особеннаго политическаго значенія, такъ что былъ даже очень радъ, когда Глумовъ прервалъ ихъ теченіе, пригласивъ меня въ кабинетъ, гдѣ насъ ожидалъ удивительной красоты „шартрёзъ“.

Былъ седьмой часъ въ половинѣ, когда мы встали изъ-за стола. Мы сѣли другъ противъ друга въ мягкія кресла, закурили какія-то необычайныя *nec plus ultra* и медленно, съ толкомъ дегюстировали послѣ-обѣденныя рюмки, наполненныя золотистой жидкостью. Хорошо намъ было. Я не скажу, чтобъ это былъ сонъ, но, казалось, что какая-то блаженная дремота, словно легкая дымка, спускалась откуда-то съ высоты и укачивала утомленное непривычнымъ моціономъ тѣло. Сомкнувъ усталыя вѣжды, мы молча предавались внутреннимъ созерцаніямъ и изрѣдка потихоньку вздрагивали. Наконецъ изъ груди Глумова вырвался стонъ, который сразу возвратилъ и его, и меня къ чувству дѣйствительности.

— А вѣдь я, братъ, чуть-чуть не заснулъ, — удивился онъ, и тутъ же громкимъ голосомъ возопилъ: — сельтерской воды... и умыться!

Выпили по бутылочкѣ сельтерской воды, потомъ умылись и сдѣлались опять такъ же свѣжи и бодры, какъ будто, только сейчасъ отстоявши раннюю обѣдню, собрались по-христіански провести день свой.

Было около половины девятаго, когда мы сѣли вдвоемъ въ сибирку съ двумя болванами. Мы — игроки почти равной силы, но Глумовъ не обращаетъ вниманія, а я — обращаю. Поэтому игры бываютъ преинтересныя. Глумовъ горячится, не разсчитываетъ игры, а хочетъ сразу ее угадать — и попадаетъ въ просакъ; а я, разумѣется, этимъ пользуюсь — и записываю штрафъ.

Въ концѣ концовъ я почти всегда оказываюсь въ выигрышѣ, но это нимало не сердитъ Глумова. Иногда мы даже оба отъ души хохочемъ, когда случается что-нибудь совсѣмъ ужъ необыкновенное: ренонсъ, напримѣръ, или дама червей вдругъ покажется за короля. Но никогда еще игра наша не была такъ весела, какъ въ этотъ разъ. Во-первыхъ, Глумовъ, въ-горячахъ, пролилъ на сукно стаканъ чаю; во-вторыхъ, онъ, имѣя на рукахъ три туза, получилъ маленькій шлемъ! Давно мы такъ не хохотали.

Въ одиннадцать часовъ мы встали изъ-за картъ и тѣмъ же порядкомъ, какъ и наканунѣ, улеглись спать.

— А что, братъ, годить-то, пожалуй, совсѣмъ не такъ трудно, какъ это съ перваго взгляда казалось? — сказалъ мнѣ на прощаніе Глумовъ.

Я возобновилъ въ своей памяти проведенный день, и нашелъ, что, по справедливости, ничего другого не остается, какъ согласиться съ Глумовымъ.

Дѣйствительно, всѣ мысли и чувства во мнѣ до того угомонились, такъ сказать, дисциплинировались, что въ эту ночь я даже не ворочался на постели. Какъ легъ, такъ сейчасъ же почувствовалъ, что голова моя налилась свинцомъ и помертвѣла. Какая разница съ тѣмъ, что̀ происходило въ эти же самые часы вчера!

На другой день я проснулся въ восемь часовъ утра, и первою моею мыслью было возблагодарить Подателя всѣхъ благъ за совершившееся во мнѣ обновленіе...

Глава II.

Глумовъ сказалъ правду: нужно только въ первое время на себя поналечь, а остальное придетъ само собою. Исключительно преданные тѣлеснымъ упражненіямъ, мы въ короткій срокъ настолько дисциплинировали наши естества, что чувствовали позывъ только къ насыщенію. Ни науки, ни искусства не интересовали насъ; мы не слѣдили ни за открытіями, ни за изобрѣтеніями, не заглядывали въ книги, не ходили въ засѣданія педагогическаго общества, не сочувствовали ни славянамъ, ни туркамъ, и совсѣмъ позабыли о существованіи Мак-Магона. Даже чтеніе газетныхъ строчекъ сдѣлалось для насъ тягостнымъ.

Попрежнему колесили мы по Петербургу, но, проходя мимо памятниковъ, которые нѣкогда заставляли биться наши сердца, уже не чувствовали ничего такого, что̀ заставляло бы насъ лѣзть на стѣну. Мы прежде всего направляли стопы на Круглый Рынокъ и спрашивали, нѣтъ ли какихъ *новостей*; оттуда шагали на Мытный Дворъ и почти съ гнѣвомъ восклицали: „да когда же наконецъ бѣлорыбицу привезутъ?“ Во всѣхъ съѣстныхъ лавкахъ насъ полюбили какъ родныхъ, во-первыхъ, за то, что мы, не торгуясь, выбирали лучшіе куски, а во-вторыхъ (и преимущественно), за то, что мы обо всемъ касающемся съѣстного во всякое время могли высказать „правильное сужденіе“. Это „правильное сужденіе“ приводило въ восхищеніе и хозяевъ, и прикащиковъ.

— Не то дорого, что вы покупатели лучше какихъ желать не надо, а любовь, да совѣтъ, да умное ваше слово—вотъ что̀ всякихъ денегъ дороже! —говорили намъ вездѣ.

Въ согласность съ этою жизненною практикою выработалась у насъ и наружность. Мы смотрѣли тупо и невнятно, не могли произнести сряду нѣсколько словъ, чтобы не впасть въ одышку, топырили губы и какъ-то нелѣпо шевелили ими, точно сбираясь сосать собственный языкъ. Такъ что я нимало не былъ удивленъ, когда однажды на улицѣ неизвѣстный прохожій, завидѣвши насъ, сказалъ: „вотъ идутъ двѣ идеально-благонамѣренныя скотины!“

Даже Алексѣй Степаныч (Молчалинъ) и тотъ нашелъ, что мы всѣ ожиданія превзошли.

Зашелъ онъ ко мнѣ однажды вечеромъ, а мы сидимъ и съ сыщикомъ изъ сосѣдняго квартала въ табельку играемъ. Глаза у насъ до того заплыли

жиромъ, что мы и не замѣчаемъ, какъ сыщикъ къ намъ въ карты заглядываетъ. То-есть, пожалуй, и замѣчаемъ, но въ рожу его треснуть — лѣнь, а увѣщевать—напрасный трудъ: все равно, и на будущее время подглядывать будетъ.

— Однако спѣсивы-таки вы, господа! и не заглянете къ старику!—началъ-было Алексѣй Степанычъ и вдругъ остановился.

Глядитъ и глазамъ не вѣритъ. Въ комнатѣ накурено, нагажено; въ сторонкѣ, на столѣ, закуска и водка стоятъ; на насъ человѣческаго образа нѣтъ: съ трудомъ съ мѣстъ поднялись, смотримъ въ упоръ и губами жуемъ. И въ довершеніе всего—мужчина необыкновенный какой-то сидитъ: въ подержанномъ фракѣ съ свѣтлыми пуговицами, въ отрепанныхъ клѣтчатыхъ штанахъ, въ коленкоровой манишкѣ, которая горбомъ выбилась изъ-подъ жилета. Глаза у него на-перекоски бѣгаютъ, въ усахъ объѣдки балыка застряли и капли водки, словно роса, блестятъ...

Сѣлъ однакожъ Алексѣй Степанычъ, посидѣлъ. Замѣтилъ, какъ сыщикъ во время сдачи поднесъ карты къ губамъ, почесалъ ими въ усахъ и моментально передернулъ туза червей.

— А ты, молодецъ, когда карты сдаешь, къ усамъ-то ихъ не подноси!—безъ церемоній остановилъ его старикъ Молчалинъ и, обратившись къ намъ, прибавилъ:—ахъ, господа, господа!

— Онъ... иногда... всегда...—вымолвилъ въ свое оправданіе Глумовъ и чуть не задохся отъ усилія.

— То-то „иногда-всегда"! за эти дѣла за шиворотъ да въ шею! При мнѣ съ Загорѣцкимъ такой случай былъ—помню!

Когда же, по ходу переговоровъ, дѣйствительно оказалось, что у сыщика на рукахъ десять безъ козырей, то Алексѣй Степанычъ окончательно возмутился и потребовалъ пересдачи, на что сыщикъ впрочемъ очень любезно согласился, сказавъ:

— Чтобы для васъ удовольствіе сдѣлать, я же готовъ хотя пьятнадцать разъ зряду сдавать—и все то самое буде!

И точно: когда онъ сдалъ карты вновь, то у него оказалась игра до того ужъ особенная, что онъ самъ не могъ воздержаться, чтобъ не воскликнуть въ восторгѣ:

— От-то игра!

Далѣе Алексѣй Степанычъ ужъ не протестовалъ, а только повздыхалъ еще съ полчаса и удалился, сказавъ:

— Ахъ, братцы, братцы! какіе вы образованные были!

Съ тѣхъ поръ мы совсѣмъ утеряли изъ вида семейство Молчалиныхъ и взамѣнъ того съ каждымъ днемъ все больше и больше прилѣплялись къ сыщику, который льстилъ намъ, увѣряя, что въ настоящее время, въ видахъ политическаго равновѣсія, именно только такіе люди требуются, которые умѣли бы глазами хлопать и губами жевать.

— Именножъ одно это и нужно!—говорилъ онъ:—потому звыше такъ уже сдѣлано есть, что ежели чòловѣкъ необразованъ — онъ работàть обязанъ, а ежели чòловѣкъ образованъ —онъ имѣетъ гулять и кушать! Инàчежъ руволюція буде!

Вообще этотъ человѣкъ былъ для насъ большимъ рессурсомъ. Онъ былъ не только единственнымъ звеномъ, связывавшимъ съ міромъ живыхъ, но и порукой, что мы можемъ безъ страха глядѣть въ глаза будущему до тѣхъ поръ, покуда наша жизнь будетъ протекать у него на глазахъ.

— Поберегай, братецъ, насъ! поберегай! — по временамъ напоминалъ ему Глумовъ.

— А якъ же! дажежъ сегодня вопросъ былъ: скоро ли руволюція на Литейной имѣетъ быть? Да нѣтъ же, говору́, мы же всякій вечеръ зъ ними въ табельку играемъ!

Такъ обнадеживалъ онъ насъ и въ доказательство своей искренности пускался въ откровенности, то-есть сквернословилъ насчетъ начальства и сознавался, что неоднократно бывалъ битъ при исполненіи обязанностей.

— Это-жъ ве́сьма натурально! — пояснялъ онъ: — бо всякій чо̀ловѣкъ защищать себя имѣетъ — о̀т-то и гарцу́е якъ може!

Всего замѣчательнѣе, что мы не только не знали имени и фамиліи его, но и никакой надобности не видѣли узнавать. Глумовъ совершенно случайно прозвалъ его Кшепшицюльскимъ, и, къ удивленію, онъ сразу началъ откликаться на этотъ зовъ. Даже познакомились мы съ нимъ какъ-то необычно. Шелъ я однажды по двору нашего дома и услышалъ, какъ онъ разспрашиваетъ у дворника: „скоро ли въ 4-мъ нумерѣ (это — моя квартира) руволюція буде“. Сейчасъ же взялъ я его за шиворотъ и привелъ къ себѣ:

— На̀, смотри!

Съ тѣхъ поръ онъ и остался у насъ, только спать уходилъ въ кварталъ да по утрамъ игралъ на бильярдѣ въ ресторанѣ Доминика, говоря, что это необходимо въ видахъ внутренней политики.

Лгунище онъ былъ баснословный, хотя не забавный. Но такъ какъ мы находились уже въ томъ градусѣ благонамѣренности, когда настоящая умственная пища дѣлается противною, то лганье представляло для насъ какъ бы замѣну ея. Въ особенности запутанно выходила у него родословная. Нынче онъ выдавалъ себя за сына вельможнаго польскаго пана, у котораго „въ тымъ мѣстѣ“ были несмѣтныя маетности; завтра оказывался незаконнымъ сыномъ легкомысленной польской графини и дипломата, который будто бы написалъ сочиненіе: „La vérité sur la Russie“, par un diplomate. („От-то онъ самый и есть!“ прибавлялъ Кшепшицюльскій). Когда же Глумовъ, съ свойственною ему откровенностью, возражалъ: „а я такъ просто думаю, что ты с... с...“, то онъ и этого не отрицалъ, а только съ большею противъ прежняго торопливостью переносилъ лганье на другіе предметы. Хвастался, что служитъ въ кварталѣ только временно, покуда въ сенатѣ рѣшается процессъ его по имѣнію; что хотя его и называютъ сыщикомъ, но, собственно говоря, должность его дипломатическая, и потому слѣдовало бы называть его „дипломатомъ такого-то квартала“; увѣрялъ, что въ 1863 году бѣгалъ „до лясу“, но что впрочемъ всегда былъ на сторонѣ праваго дѣла и что даже предки его постоянно держали на сеймахъ руку Россіи („якъ же ина̀че мо̀же то быть!“). Иногда онъ задумывался и предлагалъ вопросъ:

— А якъ вы, господа, думаете: Богъ є̀?

— Тебѣ-то, скотина, какое дѣло?

— Все-же-жъ! Я, напримѣръ, полагаю, что зовсѣмъ яго пицъ.

Но даже подобныя выходки какъ-то ужъ не поражали насъ. Конечно, инстинктъ все еще подсказывалъ, что за такія рѣчи слѣдовало бы по настоящему его поколотить (благо за это и отвѣтственности не полагается), но внутренняго жара ужъ не было. Того „внутренняго жара“, который заставляетъ человѣка простирать длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогихъ убѣжденій.

Повторяю: мы совсѣмъ упустили изъ вида, что, по первоначальному плану, состояніе „благонамѣренности“ было предположено для насъ только временно, покуда предстояла надобность „годить“. Мы уже не „годили“, а просто-на-просто „превратились“. До такой степени „превратились“, что думали только о томъ, на какомъ мы счету состоимъ въ кварталѣ. И когда однажды нашъ другъ-сыщикъ объявилъ, что не дальше какъ въ тотъ же день утромъ нѣкто Иванъ Тимоѳеичъ (очевидно вліятельное въ кварталѣ лицо) выразился объ насъ: „я каждый день Бога молю, чтобъ и всѣ прочіе обыватели у меня такіе же благонамѣренные были!“ и что весьма легко можетъ случиться, что мы будемъ приглашены въ кварталъ на чашку чая, то мы цѣлый день выступали такою гордою поступью, какъ будто намъ на смотру по цѣлковому на водку дали.

И дѣйствительно, очень скоро послѣ этого мы имѣли случай на практикѣ убѣдиться, что Кшепшицюльскій не обманулъ насъ. Шли мы однажды по улицѣ, и вдругъ на встрѣчу самъ Иванъ Тимоѳеичъ идетъ. Мы-было, по врожденному инстинкту, хотѣли на другую сторону перебѣжать, но его благородіе поманилъ насъ пальцемъ, благосклонно приглашая не робѣть.

— Вечеркомъ.., на чашку чая... прошу... въ кварталъ! — сказалъ онъ, подавая намъ по очереди тѣ самые два пальца, которыми только-что передъ тѣмъ инспектировалъ въ ближайшей помойной ямѣ.

И, сказавъ это, изволилъ благополучно прослѣдовать къ слѣдующей помойной ямѣ.

Возвратясь домой, мы долго и тревожно бесѣдовали объ этой чашкѣ чая. Съ одной стороны, приглашеніе дѣлало намъ честь, какъ выраженіе лестнаго къ намъ довѣрія; съ другой стороны — оно налагало на насъ и обязанности. Множество вопросовъ предстояло разрѣшить. Въ какомъ костюмѣ идти: во фракѣ, въ сюртукѣ или въ халатѣ? Что̀ заставятъ насъ дѣлать: плясать русскую, пѣть „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“, вести разговоры о безсмертіи души съ точки зрѣнія управы благочинія, или же просто поставятъ штофъ водки и скажутъ: пейте, благонамѣренные люди! Разумѣется, нашъ сыщикъ оказался въ этомъ случаѣ драгоцѣнной для насъ находкою.

— Вудка буде непремѣнно, — сказалъ онъ намъ: — мо̀же и не така̀ гарна, какъ въ тымъ мѣстѣ, гдѣ моя родина есть, но все же бу̀де. Пѣть васъ мо̀же и не заставятъ, но мысли навѣрное испытывать будутъ и для того философическій разговоръ заведутъ. А послѣ, мо̀же, и танцовать прикажутъ, бо у Ивана Тимоѳеича дочка есть... о̀т-то слична дѣвица!

Наконецъ насталъ вечеръ, и мы отправились. Я помню, на мнѣ были бѣлыя перчатки, но почему-то мнѣ показалось, что на раутѣ въ кварталѣ нельзя быть иначе, какъ въ перчаткахъ мытыхъ и непремѣнно съ дырой: я

такъ и сдѣлалъ. Съ своей стороны, Глумовъ хотя тоже рѣшилъ быть во фракѣ, но своего фрака не надѣлъ, а поѣхалъ въ частный ломбардъ и тамъ, по знакомству, выпросилъ одинъ изъ заложенныхъ фраковъ, самый старенькій.

— По этикету-то ихнему слѣдовало бы въ ворованномъ фракѣ ѣхать, — сказалъ онъ мнѣ: — но такъ какъ мы съ тобой до воровства еще не дошли (это предполагалось впослѣдствіи, какъ окончательный шагъ для увѣнчанія зданія), то на первый разъ не взыщутъ, что и въ ломбардной одёжѣ пришли!

Иванъ Тимоѳеичъ принялъ насъ совершенно по-дружески, а прежде всего былъ польщенъ тѣмъ, что мы, привѣтствуя его, назвали „вашимъ благородіемъ“. Онъ сейчасъ же провелъ насъ въ гостиную, гдѣ сидѣли его жена, дочь и нѣсколько полицейскихъ дамъ, около которыхъ усердно лебезила полицейская молодежь (впослѣдствіи я узналъ, что это были мѣстные „червонные валеты“, выпущенные изъ чижовки на случай танцевъ).

— Папаша вами очень доволенъ! — бойко привѣтствовала насъ дочь хозяина и, обращаясь ко мнѣ, прибавила: — смотрите! я съ вами первую кадриль хочу танцовать!

— Ежели впрочемъ не воспрепятствуетъ пожаръ! — любезно оговорился хозяинъ.

По выполненіи церемоніи представленія, мы удалились въ кабинетъ, гдѣ намъ немедленно вручили по стакану чая, на половину разбавленнаго кизляркой (въ человѣкѣ, разносившемъ подносы съ чаемъ, мы съ удовольствіемъ узнали Кшепшицюльскаго). Гостей было достаточно. Почетные: письмоводитель Прудентовъ и брандтмейстеръ Молодкинъ — сидѣли на диванѣ, а младшіе — на стульяхъ. Въ числѣ младшихъ гостей находился и старшій городовой Дергуновъ съ тесакомъ черезъ плечо.

Оказалось, что Кшепшицюльскій и тутъ не обманулъ насъ. Едва мы успѣли усѣсться, какъ Прудентовъ и Молодкинъ (конечно, по порученію Ивана Тимоѳеича), въ видахъ испытанія нашего образа мыслей, завели философическій разговоръ. Начали съ вопроса о безсмертіи души и очень ловко дали бесѣдѣ такую форму, какъ будто она возъимѣла начало еще до нашего прихода, а мы только случайно сдѣлались ея участниками. Прудентовъ утверждалъ, что подлинно душа человѣческая безсмертна; Молодкинъ же ему оппонировалъ, но очевидно только для формы, потому что доказательства представлялъ самыя легкомысленныя.

— Никакой я души не видалъ, — говорилъ онъ: — а чего не видалъ, того не знаю!

— А я хоть не видалъ, но знаю, — упорствовалъ Прудентовъ: — не въ томъ штука, чтобы видючи знать — это всякій можетъ, — а въ томъ, чтобы и невидимое за видимое твердо содержать. Вы, господа, какихъ объ этомъ предметѣ мнѣній придерживаетесь? — очень ловко обратился онъ къ намъ.

Моментъ былъ критическій, и, признаюсь, я сробѣлъ. Я столько времени вращался исключительно въ сферѣ съѣстныхъ припасовъ, что самое понятіе о душѣ сдѣлалось совершенно для меня чуждымъ. Я началъ мысленно перебирать: душа... безсмертіе... что, бишь, такое было? — но, увы! ничего припомнить не могъ, кромѣ одного: да, было что-то... гдѣ-то тамъ... Къ счастью, Глумовъ кой-что еще помнилъ, и потому поспѣшилъ ко мнѣ на выручку.

— Для того, чтобы рѣшить этотъ вопросъ совершенно правильно, — сказалъ онъ, — необходимо прежде всего обратиться къ источникамъ. А именно: ежели имѣется въ виду статья закона или хотя начальственное предписаніе, коими разрѣшается считать душу безсмертною, то, всеконечно, сообразно съ симъ надлежитъ и поступать; но ежели ни въ законахъ, ни въ предписаніяхъ прямыхъ въ этомъ смыслѣ указаній не имѣется, то, по моему мнѣнію, необходимо ожидать дальнѣйшихъ по сему предмету распоряженій.

Отвѣтъ былъ дипломатическій. Ничего не разрѣшая по существу, Глумовъ очень хитро устранялъ разставленную ловушку и самихъ поимщиковъ ставилъ въ конфузное положеніе. Обратитесь къ источникамъ!—говорилъ онъ имъ:—и буде найдете въ нихъ указанія, то требуйте точнаго по онымъ выполненія! Въ противномъ же случаѣ, остерегитесь сами, и не вдавайтесь въ разысканія, кои впослѣдствіи могутъ быть признаны несвоевременными!

Какъ бы то ни было, но находчивость Глумова всѣхъ привела въ восхищеніе. Сами поимщики добродушно ей аплодировали, а Иванъ Тимоѳеичъ былъ до того доволенъ, что благосклонно потрепалъ Глумова по плечу и сказалъ:

— Ловко, братъ!

— Ну-съ, прекрасно-съ! — продолжалъ дальше испытывать Прудентовъ: — а теперь я желалъ бы знать ваше мнѣніе еще по одному предмету: какую изъ двухъ нынѣ дѣйствующихъ системъ образованія вы считаете для юношества наиболѣе полезною и съ обстоятельствами настоящаго времени сходственною?

— То-есть, классическую или реальную? — пояснилъ отъ себя Молодкинъ.

Я опять оторопѣлъ, но Глумовъ нашелся и тутъ.

— Откровенно признаюсь вамъ, господа,—сказалъ онъ:—что я даже не понимаю вашего вопроса. Никакихъ я *двухъ* системъ образованія не знаю, а знаю только *одну*. И эта *одна* система можетъ быть выражена въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: не обременяя юношей излишними знаніями, всемѣрно внушать имъ, что назначеніе обывателей въ томъ состоитъ, чтобы безпрекословно и со всею готовностью выполнять начальственныя предписанія! Ежели предписанія сіи будутъ классическія, то и исполненіе должно быть классическое, а если предписанія будутъ реальныя, то и исполненіе должно быть реальное. Вотъ и все. Затѣмъ никакихъ другихъ системъ—ни классическихъ, ни реальныхъ—я не признаю!

— Браво! браво!—посыпались со всѣхъ сторонъ поздравленія. Квартальный хлопалъ въ ладоши, Прудентовъ жалъ намъ руки, а городовой пришелъ въ такой восторгъ, что подбѣжалъ къ Глумову и просилъ быть воспріемникомъ его новорожденнаго сына.

Такимъ образомъ, благодаря находчивости Глумова, мы вышли изъ испытанія побѣдителями и посрамили самихъ поимщиковъ. Сейчасъ же поставили на столъ штофъ водки, и хозяинъ провозгласилъ наше здоровье, сказавъ:

— Теперича, еслибы самъ господинъ частный приставъ спросилъ у меня: Иванъ Тимоѳеевъ какіе въ здѣшнемъ кварталѣ имѣются обыватели, на ко-

торыхъ, въ случаѣ чего, положиться было бы можно?—я бы его высокородію, какъ передъ истиннымъ Богомъ на страшномъ судѣ, отвѣтилъ: вотъ они!

Послѣ того мы вновь перешли въ гостиную, и раутъ пошелъ обычнымъ чередомъ, какъ и въ прочихъ кварталахъ. Червоннымъ валетамъ дали по крымскому яблоку и посулили по куску колбасы, если, по окончаніи раута, окажется, что у всѣхъ гостей носовые платки цѣлы. Затѣмъ, по просьбѣ дамъ, брандтмейстеръ сѣлъ за фортепьяно и пропѣлъ „Коль славенъ“, а въ заключеніе, предварительно раскачавшись всѣмъ корпусомъ, перешелъ въ allegro и не своимъ голосомъ гаркнулъ:

Вотъ въ воинственномъ азартѣ
Воевода Пальмерстонъ
Раздѣляетъ Русь на картѣ
Указательнымъ перстомъ!

— Прекрасный романсъ!—сказалъ Глумовъ: — вѣка пройдутъ, а онъ не устарѣетъ!

— Хорошъ-то хорошъ, а по моему наше простое русское „ура“ — куда лучше! — отозвался хозяинъ: — ужъ такъ я эту музыку люблю, такъ люблю, что слаще ея, кажется, и на свѣтѣ-то нѣтъ!

Наконецъ составились и танцы. Одинъ изъ червонныхъ валетовъ сѣлъ за фортепьяно и прелюдировалъ кадриль. Но въ ту самую минуту, какъ я становился въ пару съ хозяйскою дочерью, на пожарномъ дворѣ забили тревогу, и гостепріимный хозяинъ сказалъ:

— Господа! милости просимъ на пожаръ!

И затѣмъ, обратившись къ старшему городовому Дергунову, присовокупилъ:

— А господъ червонныхъ валетовъ честь честью свести въ чижовку и запереть на замокъ!

Вообще эта зима какъ-то необыкновенно намъ удалась. Рауты и званые вечера слѣдовали одинъ за другимъ; кромѣ того, нерѣдко бывали именинные пироги и замѣчательно большое число крестинъ, такъ какъ жены городовыхъ поминутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь однимъ своимъ кварталомъ, но принимали участіе въ веселостяхъ всѣхъ частей и кварталовъ. Въ особенности хорошо удался балъ въ 3-й Адмиралтейской части, потому что вся Сѣнная участвовала въ немъ своими произведеніями. Хотя же по временамъ нашему веселью и мѣшали пожары, но мало-по-малу мы такъ освоились съ этимъ явленіемъ, что пожарные, бывало, свое дѣло дѣлаютъ, а мы —какъ ни въ чемъ не бывало—танцуемъ!

Эта разсѣянная жизнь имѣла для насъ съ Глумовымъ ту выгоду, что мы значительно ободрились и побойчѣли. Покуда мы исключительно предавались удовольствіямъ, доставляемымъ истребленіемъ съѣстныхъ припасовъ, это производило въ насъ отяжелѣніе и въ то же время сообщало физіономіямъ нашимъ унылый и слегка осовѣлый видъ, который могъ подать поводъ къ невыгоднымъ для насъ толкованіямъ. А это положительно намъ вредило

и даже въ значительной мѣрѣ парализировало наши усилія въ смыслѣ благонамѣренности.

Въ то время унылый видъ игралъ въ человѣческой жизни очень важную роль: онъ означалъ недовольство существующими порядками и наклонность къ потрясенію основъ. Правда, что прокуроровъ тогда еще не было, а слѣдовательно и потрясеній не такъ много было въ ходу, но все-таки при частяхъ уже существовали слѣдственные пристава, которые тоже не безъ любознательности засматривались на людей, обладающихъ унылыми физіономіями. Поэтому тѣлесное отяжелѣніе, равно какъ и изжога, ежели не всегда служили достаточнымъ поводомъ для діагностическихъ постукиваній, то во всякомъ случаѣ представляли очень достаточныя данныя для возбужденія сомнѣній и запросовъ весьма щекотливаго свойства.

Этихъ сомнѣній и запросовъ я въ теченіе всей моей жизни тщательно избѣгалъ. Я всегда предпочиталъ имъ открытыя изслѣдованія, не потому, чтобы перспектива быть предметомъ начальственно-діагностическихъ постукиваній особенно улыбалась мнѣ, но потому, что я—врагъ всякой неизвѣстности и, вопреки извѣстной пословицѣ, нахожу, что добрая ссора все-таки предпочтительнѣе, нежели худой миръ. Даже тогда, когда дѣйствительно на совѣсти моей тяготѣетъ преступленіе, когда порочная моя воля сама, такъ сказать, вопіетъ о воздѣйствіи — даже и тогда меня не столько страшитъ кара закона, сколько видъ напруживающагося при моемъ приближеніи прокурора. Хочется сказать ему: не суда боюсь, но взора твоего неласковаго! не молніи правосудія приводятъ меня въ отчаяніе, а то, что ты не удостоиваешь меня своею откровенностью! Громи меня! призывай на мою голову мщеніе небесъ, но скажи, чѣмъ я тебя огорчилъ! Разрѣши тенёта суспиціи, которыми ты опуталъ мое существованіе! разъясни мнѣ самому, какою статьею уложенія о наказаніяхъ опредѣляется мое оффиціальное положеніе въ той безконечно-развивающейся уголовной драмѣ, которая, по манію твоему, обнимаетъ всѣ отрасли человѣческой индустріи, отъ воровства-кражи до потрясенія основъ съ прекращеніемъ платежей по текущему счету и утайкою ввѣренныхъ на храненіе бумагъ!

Но ежели я такимъ образомъ думаю, когда чувствую себя дѣйствительно виноватымъ, то понятно, кàкъ должна была претить мнѣ всякая запутанность теперь, когда я сознавалъ себя вполнѣ чистымъ и передъ Богомъ, и передъ людьми. Къ счастію, новыя знакомства очень скоро вывели меня изъ той угрюмой сферы жранья, въ которую я было-совсѣмъ погрузился. Я понялъ, что истинная благонамѣренность не въ томъ одномъ состоитъ, чтобы въ уединеніи упитывать свои тѣлеса до желаннаго вѣса, но въ томъ, чтобы подавать примѣръ другимъ. Горизонтъ мой незамѣтно расширился, я воспрянулъ духомъ, спалъ съ тѣла и не только не дичился общества, но искалъ его. Унылый видъ, который придавалъ мнѣ характеръ заговорщика, исчезъ совершенно. Вмѣстѣ съ Глумовымъ я проводилъ цѣлыя утра въ дѣланіи визитовъ (иногда изъ Казанской части приходилось по обстоятельствамъ ѣхать на Охту), велъ фривольные разговоры съ письмоводителями, городовыми и подчасками о такихъ предметахъ, о которыхъ даже мыслить прежде рѣшался лишь предварительно удостовѣрившись, что никто не под-

слушиваетъ у дверей, ухаживалъ за полицейскими дамами, и только скромность запрещаетъ мнѣ признаться, сколькихъ изъ нихъ довелъ я до грѣхопаденія. Словомъ сказать, изъ области благонамѣренности выжидающей я перешелъ въ область благонамѣренности воинствующей, и внушилъ наконецъ такое къ себѣ довѣріе, что могъ сквернословить и кощунствовать вполнѣ свободно, въ твердой увѣренности, что самый бдительный полицейскій надзоръ ничего въ этомъ не увидитъ, кромѣ свойственной благовоспитанному человѣку фривольности.

Безсловесность, еще такъ недавно насъ угнетавшая, разрѣшилась самымъ удовлетворительнымъ образомъ. Мы оба сдѣлались до крайности словоохотливы, но разговоры наши были чисто элементарные и имѣли тотъ особенный пошибъ, который напоминаетъ атмосферу дома терпимости. Содержаніе ихъ главнѣйшимъ образомъ составляли: во-первыхъ, фривольности по части начальства и конституцій, и, во-вторыхъ, женщины, но при этомъ не столько сами женщины, сколько ихъ округлости и особыя примѣты.

Мы дѣлали все, что̀ дѣлаютъ молодые свѣтскіе шалопаи, чувствующіе себя въ охотѣ: нанимали тройки, покупали конфекты и букеты, лгали, хвастались, катались на лихачахъ и декламировали эротическіе стихи. И всѣ отъ насъ были въ восхищеніи, всѣ говорили: „да̀, теперь ужъ совсѣмъ ясно, что это—люди благонамѣренные не токмо за страхъ, но и за совѣсть!“

Наконецъ въ одно прекрасное утро мы были удовольствованы, такъ сказать, по горло: самъ Иванъ Тимоѳеичъ посѣтилъ насъ въ моей квартирѣ.

Признаюсь, долгонько-таки заставилъ ждать почтенный сановникъ этого визита. Цѣлыхъ два мѣсяца прошло послѣ перваго раута въ кварталѣ, а онъ повидимому даже забылъ и думать, что существуютъ на свѣтѣ извѣстные законы приличія. Всѣ ужъ по нѣскольку разъ перебывали у насъ: и письмоводители частныхъ приставовъ, и брандтмейстеры, и помощники квартальныхъ, и старшіе городовые; всѣ пили водку, восхищались икрой и балыкомъ, спрашивали, нѣтъ ли Поль-де-Кокца въ переводѣ почитать и проч. —одинъ Иванъ Тимоѳеичъ съ какою-то необъяснимою загадочностью воздерживался отъ окончательнаго сближенія. Не разъ видали мы изъ окна, какъ онъ распоряжался во дворѣ дома насчетъ уборки нечистотъ, и даже нарочно производили шумъ, чтобы обратить на себя его вниманіе; но онъ ограничивался тѣмъ, что дѣлалъ намъ ручкой и вновь погружался въ созерцаніе нечистотъ. Это отчасти обижало насъ, а отчасти заставляло пускаться въ догадки: неужели наше прошлое до того ужъ отягчено преступленіями, что даже волны теперешней благонамѣренности не могутъ обмыть его?

— А порядочно-таки накуралесили мы въ жизни своей! — объяснялъ я Глумову мои сомнѣнія.

— Да, братъ, эти дѣла не такъ-то скоро забываются!—соглашался онъ со мной.

И вотъ стали мы разбирать свое прошлое — и чуть не захлебнулись отъ ужаса. Господи, чего только тамъ не было! И восторгъ по поводу упраздненія крѣпостного права, и признательность сердца по случаю введенія земскихъ учрежденій, и свѣтлыя надежды, возбужденныя опубликованіемъ по-

выхъ судебныхъ уставовъ, и торжество, вызванное упраздненіемъ предварительной цензуры, съ оставленіемъ ея лишь для тѣхъ, кто по человѣческой немощи не можетъ безцензурности вмѣстить. Однимъ словомъ, всѣ опасности, всѣ неблагонадежности и неблагонамѣренности, всѣ угрозы, все, чтò подрываетъ, потрясаетъ, разрушаетъ—все тутъ было! И ничего такого, чтò созидаетъ, укрѣпляетъ и утверждаетъ, наполняя трепетною радостью сердца всѣхъ истинно любящихъ свое отечество квартальныхъ надзирателей!

— Да вѣдь этакъ мы, хоть тресни, не обѣлимся!—въ отчаяніи воскликнулъ я.

— Похоже на то!—какъ эхо вторилъ мнѣ Глумовъ.

— Послушай! кто же, однакожъ, могъ это знать! вѣдь въ то время казалось, что *это* и есть то самое, чтò созидаетъ, укрѣпляетъ и утверждаетъ! И вдругъ—какой, съ Божьею помощью, переворотъ!

— Мало ли чтò казалось! надо было въ даль смотрѣть.

— Но вѣдь тогда даже чины за *это* давали!

— И все-таки. И чины получать, и даже о сочувствіи заявлять—все можно, да съ оговорочкой, любезный другъ, съ оговорочкой! Умные-то люди кàкъ поступаютъ? Сочувствовать, молъ, сочувствуемъ, но при семъ присовокупляемъ, что ежели приказано будетъ образъ мыслей по сему предмету измѣнить, то мы и отъ этого не отказываемся! Вотъ какъ настоящіе умные люди изъясняются, тѣ, которые и за сочувствіе, и за несочувствіе — всегда получать чины готовы!

И вотъ, въ ту самую минуту, когда Глумовъ договаривалъ эти безнадежныя слова, въ передней какъ-то особенно звякнулъ звонокъ. Объятые сладкимъ предчувствіемъ, мы бросились къ двери... О, радость! Иванъ Тимоѳеичъ самъ своей персоной стоялъ передъ нами!

— Иванъ Тимоѳеичъ... ваше благородіе... вы?!

— Самолично. А чтò? заждались?.. ха-ха!

— Да, начинали ужъ, знаете... сомнѣнія разныя...

— Задумались... ха-ха! Ну, ничего! Я вѣдь, друзья, тоже не сразу... выглядываю напередъ! Иногда хоть и замѣчаю, что человѣкъ исправляется, а коли въ немъ еще мало-мальски есть—ну, я и тово... попридержусь! Приласкать-приласкаю, а до короткости не дойду. А вотъ коли по времени увѣрюсь, что въ человѣкѣ ужъ совсѣмъ ничего не осталось—ну, и я на встрѣчу иду. Будьте здоровы, друзья!

Онъ произнесъ послѣднія слова съ горячностью, очень рѣдкою въ лицѣ, обязанномъ наблюдать за своевременною сколкой на улицахъ льда, и затѣмъ, пожавъ намъ обоимъ руки, вошелъ въ квартиру.

— Хорошенькая у васъ квартирка... очень, очень даже удобненькая! —похвалилъ онъ:—вмѣстѣ, что-ли, живете?

— Нѣтъ, я въ рождественской части...—пробормоталъ Глумовъ такимъ голосомъ, какъ будто все сердце у него изболѣло оттого, что онъ лишенъ счастія жить подъ руководствомъ Ивана Тимоѳеича.

— Ну, Богъ милостивъ! и вы современемъ ко мнѣ переѣдете! — обнадежилъ его Иванъ Тимоѳеичъ и, обратившись ко мнѣ, весело прибавилъ: —А чтò, государь мой, водка-то у васъ водится?

— Иванъ Тимоѳеичъ! вина? Есть лафитъ, есть хересъ... Господи!

— Нѣтъ, рюмку водки и кусокъ чернаго хлѣба съ солью — больше ничего! Признаться, я и самъ теперь на себя пеняю, что раньше посмотрѣть на ваше житье-бытье не собрался... Ну, да думалъ: пускай исправляются — надъ нами не каплетъ! Чистенько у васъ тутъ, хорошо!

Онъ сѣлъ на диванъ и свѣтлымъ взоромъ оглядѣлъ комнату. Но вдругъ лицо его омрачилось: гдѣ-то въ дальнемъ углу онъ заприметилъ книгу...

— Это „Всеобщій Календарь“!—поспѣшилъ я разувѣрить его и тотчасъ же побѣжалъ, чтобъ принести поличное.

— А... да? а я, признаться, книгу было заподозрилъ.

— Нѣтъ, Иванъ Тимоѳеичъ, мы ужъ давно... Давно ужъ у насъ насчетъ этого...

— И прекрасно дѣлаете. Книги — что въ нихъ! Былъ бы человѣкъ здоровъ да жилъ бы въ свое удовольствіе — чего лучше? Безграмотные-то и никогда книгъ не читаютъ, а развѣ не живутъ?

— Да еще какъ живутъ-то! — подтвердилъ Глумовъ. — А которые случайно выучатся, сейчасъ же подъ судъ попадаютъ!

— Ну, не всѣ! Бываютъ и изъ простыхъ, которые съ умомъ читаютъ! —благосклонно допустилъ Иванъ Тимоѳеичъ.

— И все-таки попадаются. Ежели не въ качествѣ обвиняемыхъ, такъ въ качествѣ свидѣтелей. Помилуйте! развѣ сладко свидѣтелемъ-то быть?

— Какая сладость! Первое дѣло—за сто верстъ киселя ѣсть, а второе—какъ еще свидѣтельствовать будешь! Иной разъ такъ объ себѣ засвидѣтельствуешь, что и домой потомъ не попадешь... ахти-хти! грѣхи наши, грѣхи!

Иванъ Тимоѳеичъ вздохнулъ, опрокинулъ въ ротъ рюмку водки и сказалъ:

— Ну, будьте здоровы, друзья! Понялъ я васъ теперь, даже очень хорошо понялъ!

Мы въ умиленіи стояли противъ него и ждали, что будетъ дальше.

— Хочется мнѣ съ вами по душѣ поговорить, давно хочется! — продолжалъ онъ.—Нутко, скажите мнѣ—вы люди умные! Завелась нынче эта пакость вездѣ... всѣмъ мало, всѣмъ хочется... Ну, чего? скажите на милость: чего?

Я было-приложилъ ужъ руку къ сердцу, чтобъ отвѣчать, что всего довольно и ни въ чемъ никакой надобности не ощущается; вотъ только посквернословить развѣ... Но, къ счастью, Иванъ Тимоѳеичъ сдѣлалъ знакъ рукой, что моя рѣчь впереди, а покамѣстъ онъ желаетъ говорить одинъ.

— Право, иной разъ думаешь-думаешь: ну, чего? И то переберешь, и другое припомнишь—все у насъ есть! Ну, вы—умные люди! сами теперь по себѣ знаете! Жили вы прежде... что говорить, нехорошо жили! буйно! Одно слово—мерзко жили! Ну, и вамъ, разумѣется, не потакали, потому что кто же за нехорошую жизнь похвалитъ. А теперь вотъ исправились, живете

смирно, мило, благородно — спрошу васъ, потревожилъ ли васъ кто-нибудь? А? что? такъ ли я говорю?

— Какъ передъ Богомъ, такъ и...

— Хорошо. А начальство между тѣмъ безпокоится. Туда-сюда—вездѣ мерзость. Даже тайные совѣтники—и тѣ нынче подъ сумнѣніемъ состоятъ! Ни днемъ, ни ночью минуты нѣтъ никогда! Сравните теперича, какъ прежде квартальный жилъ и какъ онъ нынче живетъ! Прежде только одна у насъ и и была болячка—пожары! да и тѣ какъ-нибудь... А нынче!

— Да, трудновато-таки вамъ!

— Мнѣ-то? Вы мнѣ скажите: знаете ли вы, напримѣръ, что такое внутренняя политика? ну? Такъ вотъ эта самая внутренняя политика вся теперь на нашихъ плечахъ лежитъ!

— Тсс...

— На насъ да на городовыхъ. А на дняхъ у насъ въ кварталѣ такой случай былъ. Приходитъ въ третьемъ часу ночи одинъ человѣкъ (и прежде онъ у меня на замѣчаніи былъ) — „вяжите, говоритъ, меня, я образъ правленья перемѣнить хочу!“ Ну, натурально, сейчасъ ему, рабу божьему, руки къ лопаткамъ, черкнули куда слѣдуетъ: такъ-молъ и такъ, злоумышленникъ проявился... Только съѣзжается на другой день цѣлая комисія, призвали его, спрашиваютъ: какъ? почему? кто сообщники?—а онъ—какъ бы вы думали, что онъ, шельма, отвѣтилъ?—„Да, говоритъ, дѣйствительно, я желаю перемѣнить правленье... рыбинско-бологовской желѣзной дороги!“

— Однакожъ! насмѣшка какая!

— Да-съ. Захотѣлъ посмѣяться и посмѣялся. Въ три часа ночи меня для него разбудили, да часа съ два послѣ этого я во всѣ мѣста отношенія да рапорты писалъ. А послѣ того, только-что-было сонъ заводить началъ, опять разбудили: въ домѣ терпимости демонстрація случилась! А потомъ извозчикъ носъ себѣ отморозилъ —оттирали, а потомъ, смотрю, пора и съ рапортомъ! Такъ вся ночка и прошла.

— И это прошло ему... безнаказанно?

— А что съ нимъ сдѣлаешь? Далъ ему двѣ плюхи, да послѣ самъ же на мировую долженъ былъ на полштофъ подарить!

— Тсс..

— Такъ вотъ вы и судите! Ну, да, положимъ, это—человѣкъ пьяненькій, а на пьяницу, по правдѣ сказать, и смотрѣть строго нельзя, потому онъ доходъ казнѣ приноситъ. А вотъ другіе-то, трезвые-то, съ чего на стѣну лѣзутъ? ну, чего надо? а?

— Тоже, должно быть, въ родѣ опьянѣнія что-нибудь.

— Опьянѣніе опьянѣніемъ, а есть и другое кой-что. Зависть. Видитъ онъ, что другіе тихо да благородно живутъ — вотъ его и берутъ завидки! Самъ онъ благородно не можетъ жить — ну, и смущаетъ всѣхъ! А съ насъ, между прочимъ, спрашиваютъ! Почему, да какъ, да отчего своевременно распоряженія не было сдѣлано? Вотъ хоть бы съ вами—вы думаете, мало я изъ-за васъ хлопотъ принялъ!

— Иванъ Тимоѳеичъ! неужто же мы могли...

— И даже очень могли. Теперь, разумѣется, дѣло прошлое—вижу я!

даже очень хорошо вижу ваше твердое намѣреніе! — а было-таки времечко, было! Ахъ, да и хитрые же вы, господа! право, хитрые!

Иванъ Тимоѳеичъ улыбнулся и погрозилъ намъ пальцемъ.

— Наняли квартиру, сидятъ по угламъ, ни сами въ гости не ходятъ, ни къ себѣ не принимаютъ—и думаютъ, что такъ-таки никто ихъ и не отгадаетъ! Ахъ-ахъ-ахъ!

И онъ такъ мило покачалъ головой, что намъ самимъ сдѣлалось весело, какіе мы, въ самомъ дѣлѣ, хитрые! Въ гости не ходимъ, къ себѣ никого не принимаемъ, а между тѣмъ... поди-ка, попробуй зазѣваться съ этакими головорѣзами!

— А я, все-таки, васъ перехитрилъ!—похвалился Иванъ Тимоѳеичъ: — и не то что каждый вашъ шагъ, а каждое слово, каждую мысль — все зналъ! И знаете ли вы, что еслибъ еще немножко... еще бы вотъ чуточку... шабашъ!

Хотя Иванъ Тимоѳеичъ говорилъ въ прошедшемъ времени, но сердце во мнѣ такъ и упало. Вотъ оно, то ужасное квартальное всевѣдѣніе, которое всю жизнь парализировало всѣ мои дѣйствія. А я-то, ничего не подозрѣвая, жилъ да поживалъ, самъ въ гости не ходилъ, къ себѣ гостей не принималъ —а чему подвергался! Немножко, чуточку—и шабашъ! Представленіе объ этой опасности до того взбудоражило меня, что даже сонъ на яву привидѣлся: идутъ, берутъ... пожалуйте!

— Да неужели мы...—воскликнулъ я съ тоской.

— Было, было—нечего стараго ворошить! И оправдываться не стоитъ.

— Да; но надѣемся, что послѣднія наши усилія будутъ приняты начальствомъ во вниманіе и хотя до нѣкоторой степени послужатъ искупленіемъ тѣхъ заблужденій, въ которыя мы могли быть вовлечены отчасти по неразумію, а отчасти и вслѣдствіе дурныхъ примѣровъ!—вступился, съ своей стороны, Глумовъ.

— Теперь—о прошломъ и рѣчи нѣтъ! все забыто! Пардонъ — общій (говоря это, Иванъ Тимоѳеичъ даже руки простеръ на подобіе того, какъ дѣлывалъ когда-то въ „Ernani“ Граціани, произнося знаменитое „perdono tutti“)! Теперь вы все равно, что вновь родились —вотъ какой на васъ теперь взглядъ! А впрочемъ заболтался я съ вами, друзья! Прощайте и будьте безъ сумнѣнія! Коли я сказалъ: пардонъ! значитъ, можете смѣло надѣяться!

— Иванъ Тимоѳеичъ! куда же такъ скоро? а винца?

— Винца — это послѣ, на свободѣ когда-нибудь! Вотъ отъ водки и сію минуту—не откажусь!

Онъ опять опрокинулъ въ ротъ рюмку водки и пососалъ языкъ.

— Надо бы мнѣ впрочемъ обстоятельно объ одномъ дѣлѣ съ вами поговорить,—сказалъ онъ послѣ минутнаго колебанія:—интересное дѣльце, а для меня такъ и очень даже важное... да нѣтъ, лучше ужъ въ другой разъ!

— Да зачѣмъ же? Сдѣлайте милость! прикажите!

— Вотъ видите ли, есть у меня тутъ...

Иванъ Тимоѳеичъ потоптался на мѣстѣ, словно бы его что̀ подмывало, и вдругъ совершенно неожиданно покраснѣлъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!—заторопился онъ:—лучше ужъ въ другой разъ! А вы, друзья, между тѣмъ подумайте! чувства свои испытайте! рѣшимость провѣрьте! Можете ли вы своему начальнику удовольствіе сдѣлать? Коли увидите, что въ силахъ—ну, тогда...

Послѣднія слова Иванъ Тимоѳеичъ сказалъ уже въ передней, и мы не успѣли опомниться, какъ онъ сдѣлалъ намъ ручкой и скрылся за дверью.

Мы въ недоумѣніи смотрѣли другъ на друга. Что̀ такое еще ожидаетъ насъ? какое еще новое „удовольствіе“ отъ насъ потребуется? Не дальше какъ минуту назадъ мы были веселы и безпечны—и вдругъ какая-то новая загадка спустилась на наше существованіе и угрожала ему катастрофою...

Глава III.

— А вѣдь онъ, братъ, насъ въ полицейскіе дипломаты прочитъ!—первый опомнился Глумовъ.

Признаюсь, и въ моей головѣ блеснула та же мысль. Но мнѣ такъ горько было думать, что потребуется „сіе новое доказательство нашей благонадежности“, что я съ удовольствіемъ остановился на другомъ предположеніи, которое тоже имѣло за себя шансы вѣроятности.

— А я такъ думаю, что онъ просто, какъ чадолюбивый отецъ, хочетъ одному изъ насъ предложить руку и сердце своей дочери, — сказалъ я.

— Гм... да... А ты этому будешь радъ?

— Не скажу, чтобы особенно радъ, но надо же и остепениться когда-нибудь. А ежели смотрѣть на бракъ съ точки зрѣнія самосохраненія, то вѣдь, пожалуй, лучшей партіи и желать не надо. Подумай! вѣдь все родство тутъ же, въ своемъ кварталѣ будетъ. Молодкинъ — кузенъ, Прудентовъ — дяденька, даже Дергуновъ, старшій городовой, и тотъ внучатнымъ братомъ доведется!

— Ну, такъ ужъ ты и прочь себя въ женихи!

— А ты, небось, брезгуешь? Эхъ, Глумовъ, Глумовъ! много, братъ, невѣстъ въ полиціи и помимо этой! Вотъ у подчаска тоже дочь подростаетъ; теперь-то ты отворачиваешься, да какъ бы послѣ не довелось подчаска папенькой величать!

Но Глумовъ сохранилъ мрачное молчаніе на это предположеніе. Очевидно идея о родствѣ съ подчаскомъ не особенно улыбалась ему.

— Ну, а ежели онъ мѣста сыщиковъ предлагать будетъ?—возвратился онъ къ своей первоначальной идеѣ.

— Но почему же ты это думаешь?

— Я не думаю, а, во-первыхъ, предусматривать никогда не лишнее, и, во-вторыхъ, Кшепшицюльскій на дняхъ жаловался: „непроченъ, говоритъ, я!“

— Воля твоя, а я въ такомъ случаѣ притворюсь больнымъ!—сказалъ я довольно рѣшительно.

— И это—не резонъ, потому что вѣкъ больнымъ быть нельзя. Не повѣрятъ, доктора освидѣтельствовать пришлютъ—хуже будетъ. Нѣтъ, я вотъ

что̀ думаю: за границу на время надо удрать. Выкупныя-то свидѣтельства у тебя еще есть?

— Да какъ тебѣ сказать?—на донышкѣ!

— И у меня дно видно. Плохо, братъ. Всю жизнь эстетиками занимались да цвѣты удовольствія срывали, а теперь, какъ стряслось чортъ знаетъ что̀—и нѣтъ ничего!

— Есть у меня, мой другъ, недвижимость: называется Проплёванная. Усадьба не усадьба, деревня не деревня, пустошь не пустошь... такъ, земля. А все-таки въ случаѣ чего, по боку пустить можно!

— Пустяки, братъ! Какому чорту твою Проплеванную нужно!

— Нѣтъ, голубчикъ, и до сихъ поръ находятся люди, которымъ нужно... Даже странно: кажется, зачѣмъ? ну, кому надобно? — анъ нѣтъ, выищется-таки кто-нибудь...

— Который тебѣ пятиалтынный дастъ. Слушай! говори ты мнѣ рѣшительно: ежели онъ насъ по одиночкѣ будетъ склонять — ты какъ отвѣтишь?

Я дрогнулъ. Не то чтобы я вдругъ получилъ вкусъ къ ремеслу сыщика, но испытаніе, которое неминуемо повлекъ бы за собой отказъ, было такъ томительно, что я невольно терялся. Притомъ же страсть Глумова къ предположеніямъ казалась мнѣ просто неумѣстною. Конечно, въ жизни все слѣдуетъ предусматривать и на все разсчитывать, но есть вещи до того непредвидимыя, что какъ хочешь ихъ предусматривай, хоть всю жизнь о нихъ думай, онѣ и тогда не утратятъ характера непредвидимости. Стало быть, объ чемъ же тутъ толковать?

— Глумовъ! голубчикъ! не будемъ объ этомъ говорить!—взмолился я.

— Ну, хорошо, не будемъ. А только я все-таки долженъ тебѣ сказать: призови на помощь всю изворотливость своего ума, скажи, что у тебя тетка умерла, что дѣла требуютъ твоего присутствія въ Проплеванной, но... отклони! Нехорошо быть сыщикомъ, другъ мой! Въ крайнемъ случаѣ мы вѣдь и въ самомъ дѣлѣ можемъ уѣхать въ твою Проплеванную и тамъ ожидать, покуда объ насъ забудутъ. Только что̀ мы тамъ ѣсть будемъ?

— Помилуй, душа моя! цыплята, куры—это при домѣ; въ лѣсахъ — тетерева, въ рѣкахъ — рыбы! А молоко-то! а яйца! а лѣтомъ грибы, ягоды! Намеднись намъ рыжиковъ соленыхъ подавали — вѣдь они оттуда!

— Ну, какъ-нибудь устроимъ; лучше землю грызть, нежели... Помнишь, Кшепшицюльскій намеднись разсказывалъ, какъ его за бильярдомъ въ трактирѣ потчивали? Такъ-то! Впрочемъ утро вечера мудренѣе, а покуда посмотри-ка въ „распредѣленіи занятій“, гдѣ намъ сегодня увеселяться предстоитъ!

Мы съ новою страстью бросились въ вихрь удовольствій, чтобы только забыть о предстоящемъ свиданіи съ Иваномъ Тимоѳеичемъ. Но существованіе наше уже было подточено. Мысль, что вотъ-вотъ сейчасъ позовутъ и предложатъ что-то неслыханное, вслѣдствіе чего придется, пожалуй, закупориться въ Проплеванную—эта ужасная мысль слѣдила за каждымъ моимъ шагомъ и заставляла мѣшать въ кадриляхъ фигуры. Видя мою разсѣянность, дамы томно смотрѣли на меня, думая, что я влюбленъ.

— Какой цвѣтъ волосъ вамъ больше нравится, мсьё?—блондинки или брюнетки?—слышалъ я безпрестанно вопросъ.

Наконецъ грозная минута наступила. Кшепшицюльскій, придя рано утромъ, объявилъ, что господинъ квартальный имѣетъ объясниться по весьма важному, лично до него касающемуся дѣлу... и именно со мной.

— О чемъ, не знаете?—полюбопытствовалъ я.

Но Кшепшецюльскій понесъ въ отвѣтъ сущую околесицу, такъ что я только тутъ понялъ, какъ непріятно имѣть дѣло съ людьми, о которыхъ никогда нельзя сказать навѣрное, лгутъ они или нѣтъ. Онъ началъ съ того, что его начальникъ получилъ въ наслѣдство въ Повѣнецкомъ уѣздѣ пустошь, которую предполагаетъ отдать въ приданое за дочерью („гм... вмѣсто одной, пожалуй, двѣ Проплеванныхъ будетъ!“ мелькнуло у меня въ головѣ); потомъ перешелъ къ тому, что сегодня въ кварталѣ съ утра полы и образа чистили, а что вчера пани квартальная ѣздила къ портнихѣ на Слоновую улицу и заказала для дочери „монто̀“. При этомъ панъ Кшепшицюльскій хитро улыбался и искоса на меня поглядывалъ.

— Отчего же Глумова не зовутъ?—спросилъ я.

— А якъ-же-жъ можно двохъ!

— Нужно говорить „двѣхъ“, а не „двохъ“, панъ Кшепшецюльскій!—наставительно произнесъ Глумовъ и, обратясь ко мнѣ, пропѣлъ изъ „Руслана“:

М-и-и-и-лыя дѣ-тти! Не-бо устрро-итъ вамъ рад-дость!

— Ступай, братъ, съ миромъ, и Богъ да опредѣлитъ тебя къ мѣсту по желанію твоему!

Клянусь, я былъ за тысячу верстъ отъ того удивительнаго предложенія, которое ожидало меня!

Когда я пришелъ въ кварталъ, Иванъ Тимоѳеичъ, въ припадкѣ сильной ажитаціи, ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ. Очевидно онъ самъ понималъ, что испытаніе, которое онъ готовитъ для моей благонамѣренности, переходитъ за предѣлы всего, что̀ допускается уставомъ о пресѣченіи и предупрежденіи преступленій. Вѣроятно въ видахъ смягченія предстоящихъ мѣропріятій на столѣ была приготовлена очень приличная закуска и стояла бутылка „ренскаго“ вина.

— Ну, вотъ и слава Богу!—воскликнулъ онъ, порывисто схватывая меня за обѣ руки, точно боялся, что я сейчасъ выскользну.—Балычка? сижка копченаго? Милости просимъ! Ахъ, да бѣлорыбицы-то, кажется, и забыли подать! Эй, кто тамъ? Бѣлорыбицу-то, бѣлорыбицу-то велите скорѣе нести!

— Благодарю васъ, я сейчасъ ѣлъ. Да и вы, конечно, заняты... Дѣло какое-нибудь имѣете до меня?

— Да, дѣло, дѣло! —заторопился онъ:—да еще дѣло-то какое! Услуги, мой другъ, прошу! такой услуги... что называется, по гробъ жизни... вотъ какой услуги прошу!

Начало это нѣсколько смутило меня. Очевидно меня ожидало что-нибудь непредвидѣнное.

— Да, да, да,—продолжалъ онъ суетливо:—давно ужъ это дѣло у меня на душѣ, давно сбираюсь... Еще въ то время, когда вы предосудительными дѣлами занимались, еще тогда... Давно ужъ я подходящаго человѣка для этого дѣла подыскиваю!

Онъ оглянулъ меня съ головы до ногъ, какъ бы желая удостовѣриться, дѣйствительно ли я тотъ самый „подходящій человѣкъ“, объ которомъ онъ мечталъ.

— Обѣщайте, что вы мою просьбу выполните!—молвилъ онъ, кончивъ осмотръ и взглядывая мнѣ въ глаза.

— Иванъ Тимоѳеичъ! послѣ всего, чтò произошло, позволительны ли съ вашей стороны какія-либо сомнѣнія?

— Да, да... довольно-таки вы поревновали... понимаю я васъ! Ну, такъ вотъ чтò, мой другъ! приступимте прямо къ дѣлу! Мнѣ же и недосугъ: въ Эртелевомъ ледъ скалываютъ, такъ присмотрѣть нужно... Сенаторъ, голубчикъ, тамъ живетъ! нехорошо, какъ замѣчаніе сдѣлаетъ! Ну-съ, такъ изволите видѣть... Есть у меня тутъ пріятель одинъ... такой другъ! такой другъ!

Онъ запнулся и заискивающе взглянулъ на меня, точно ждалъ моей помощи.

— Ну-съ, такъ пріятель... что же этотъ пріятель?—поощрилъ я его.

— Такъ вотъ, есть у меня пріятель... словомъ сказать, Парамоновъ купецъ... И есть у него... Вы кàкъ насчетъ фиктивнаго брака?.. одобряете?—вдругъ выпалилъ онъ мнѣ въ упоръ.

— Помилуйте! даже очень одобряю, ежели...—сконфузился я.

— Вотъ именно такъ: ежели! Самъ по себѣ, этотъ фиктивный бракъ —поруганіе, но „ежели“... По обстоятельствамъ, мой другъ, и закону премѣна бываетъ, какъ изволитъ выражаться нашъ господинъ частный приставъ! Вы что? сказать что-нибудь хотите?

— Нѣтъ, я ничего... я тоже говорю: по обстоятельствамъ и закону премѣна бываетъ—это вѣрно!

— Такъ вотъ я и говорю: есть у господина Парамонова штучка одна... и образованная! въ пансіонѣ училась...

Онъ опять запнулся и въ смущеніи опустилъ глаза.

— Не желаете ли вы вступить съ этой особой въ фиктивный бракъ?—быстро спросилъ онъ меня такимъ тономъ, словно бремя скатилось съ его души.

Къ сожалѣнію, я не могу сказать, что не понялъ его вопроса. Нѣтъ, я не только понялъ, но даже въ вискахъ у меня застучало. Но въ то же время я ощущалъ, что на мнѣ лежитъ какой-то гнетъ, который сковываетъ мои чувства, мѣшаетъ имъ перейти въ негодованіе и даже самымъ обиднымъ образомъ подчиняетъ ихъ инстинктамъ самосохраненія.

Иванъ Тимоѳеичъ очень тонко подмѣтилъ этотъ разладъ чувствъ. Съ одной стороны, въ вискахъ стучитъ, съ другой — сердце объемлетъ жажда выказать благонамѣренность... Такъ что когда я, вмѣсто отвѣта, въ свою очередь предложилъ вопросъ:

— Но почему же именно я?

То онъ не только не увидѣлъ въ этомъ повода для прекращенія разго-

вора, но еще съ бо̀льшею убѣдительностью приступилъ къ дальнѣйшимъ переговорамъ.

— Слушай, другъ!—сказалъ онъ ласково, ободряя меня:—ежели ты насчетъ вознагражденія безпокоишься, такъ не опасайся! Онуфрій Петровичъ и теперь, и на будущее время не оставитъ!

Нервы мои окончательно упали. Я старался что-нибудь сообразить, отъискать что-нибудь—и не могъ. Я безпомощно смотрѣлъ на моего истязателя и бормоталъ:

— Позвольте... что̀ касается до брака... право, въ этомъ отношеніи я даже не знаю, могу ли назвать себя вполнѣ соотвѣтственнымъ лицомъ...

Клянусь, будь на мѣстѣ Ивана Тимоѳеича самъ Шешковскій—и тотъ бы тронулся моимъ видомъ. И тотъ сказалъ бы себѣ: вотъ человѣкъ, въ которомъ благонамѣренность уже достигла тѣхъ предѣловъ, за которыми дальнѣйшія испытанія становятся въ высшей степени рискованными. И, сознавши это, отпустилъ бы меня съ миромъ, предварительно обнадеживъ, что начальство очень хорошо понимаетъ мои колебанія и отнюдь не сочтетъ ихъ за противодѣйствіе властямъ. Но у Ивана Тимоѳеича повидимому совсѣмъ не было государственнаго смысла, а потому онъ счелъ возможнымъ идти дальше.

— Да вѣдь отъ васъ ничего такого и не потребуется, мой другъ, успокоивалъ онъ меня. — Съѣздите въ церковь (у портного Руча вамъ для этого случая „пару“ изъ тонкаго сукна закажутъ), пройдете три раза вокругъ налоя, потомъ у кухмистера Завитаева поздравленіе примете — и дѣло съ концомъ. Вы—въ одну сторону, она—въ другую! Мило! благородно!

Нарисовавъ мнѣ эту картину, онъ очевидно ждалъ, что я сейчасъ же изъявлю согласіе, но я молчалъ.

— А что касается до вознагражденія, которое вы для себя выговорите,—продолжалъ онъ соблазнять меня: — то половину его вы *до*, а другую — *по* совершеніи брака получите. А чтобы васъ еще больше успокоить, то можно и такъ сдѣлать: разрѣжьте бумажки по поламъ, одну половину съ нумерами вы себѣ возьмете, другая половина съ нумерами у Онуфрія Петровича останется... А по окончаніи церемоніи обѣ половины и соединятся... у васъ!

Я слушалъ эти рѣчи и думалъ, что нахожусь подъ вліяніемъ безобразнаго сна. Какое-то ужасно сложное чувство угнетало меня. Я и благонамѣренность желалъ сохранить, и въ то же время говорилъ себѣ: ну, нѣтъ, вокругъ налоя меня не поведутъ... нѣтъ, не поведутъ! Отсюда—цѣлый рядъ галлюцинацій, обѣщающихъ сверхъестественное и чудесное избавленіе. То думалось: вотъ-вотъ Ивана Тимоѳеича апоплексическій ударъ хватитъ — и вся эта исторія съ фиктивнымъ бракомъ разлетится какъ дымъ. То представлялось: обрушивается потолокъ и повреждаетъ Ивана Тимоѳеича, а меня оставляетъ невредимымъ—и опять все исчезаетъ.

И вотъ именно сверхъестественное и выручило меня. Въ ту самую минуту, какъ я искалъ спасенія въ галлюцинаціяхъ, въ комнату вошло новое лицо, при видѣ котораго я всею силою облегченной груди крикнулъ:

— Иванъ Тимоѳеичъ!—вотъ онъ!

Да, это былъ онъ, то-есть избавитель, то-есть „подходящій человѣкъ“,

по поводу котораго возможенъ былъ только одинъ вопросъ: сойдутся ли въ цѣнѣ? То есть говоря другими словами, это былъ адвокатъ Балалайкинъ.

Я съ восхищеніемъ смотрѣлъ на него, хотя онъ значительно измѣнился и притомъ не въ свой авантажъ *). Попрежнему поступь его была тороплива и въ движеніяхъ скользило легкомысліе, но изнурительныя занятія видимо подѣйствовали, и на лицо уже легли расплюевскія тѣни. Я не скажу, чтобъ Балалайкинъ былъ немытъ или нечесанъ, или являлъ признаки внѣшнихъ поврежденій, но бываютъ, такія физіономіи, которыя—какъ ни умывай, ни холь, а все кажется, что настоящее ихъ мѣсто не тутъ, гдѣ вы ихъ видите, а въ домѣ терпимости.

Самого Ивана Тимоѳеича словно свѣтъ озарилъ, когда вошелъ Балалайкинъ.

— Господинъ Балалайка! а я-то... а мы-то... а онъ—вотъ онъ—онъ! —безпорядочно воскликнулъ онъ, раскрывая широкія объятія:—господинъ Балалайка! ахъ ты, ахъ! закусить? рюмочку пропустить?

— Нѣтъ, mon cher, я на минуточку! спѣшу, мой ангелъ, спѣшу! — отнѣкивался Балалайкинъ. — Вотъ что: есть тутъ индивидуй одинъ... взысканіе на него у меня, такъ нужно бы подстеречь...

— Съ удовольствіемъ! и даже съ превеликимъ... сейчасъ! сію минуту! Ахъ ты, ахъ! Да никакъ ты помолодѣлъ! Повернись, сдѣлай милость, дай на себя посмотрѣть!

— Немогу, душа моя, не могу! въ конкурсъ спѣшу! Вотъ записка, въ которой все дѣло объяснено. А теперь прощай!

— Да нѣтъ же, стой! А мы только-что о тебѣ говорили, то-есть не говорили, а чувствовали: кого, бишь, это недостаетъ? Анъ ты... вотъ онъ — онъ! Слушай же: вѣдь и у меня до тебя дѣло есть.

Балалайкинъ вынулъ изъ кармана хронометръ, взглянулъ на циферблатъ и сказалъ:

— У меня есть свободнаго времени... да, именно три минуты я могу удѣлить. Конкурсъ открывается въ три часа, теперь безъ пяти минутъ три, двѣ минуты нужно на проѣздъ... да, именно три минуты я имѣю впереди. Ну-съ, такъ въ чемъ же дѣло?

— Скажи: ты всякія порученія исполняешь?

— Всякія. Дальше.

— Жениться можешь?

— Это... зависитъ!

— Ну, конечно, не за свой счетъ, а по препорученію!

— Мо... могу!

— Такъ видишь ли: есть у меня пріятель, а у него особа одна... въ родѣ какъ подруга...

— Душенька, то-есть?

— Ну, какъ тамъ по твоему... И есть у него желаніе, чтобы эта особа въ законѣ была... чтобы въ метрическихъ книгахъ и прочее... словомъ, все чтобы какъ слѣдуетъ... А она чтобы между тѣмъ...

*) См. „Экскурсіи въ область умѣренности и аккуратности“.

— Съ удовольствіемъ, мой другъ, съ удовольствіемъ!

— Ну-съ, такъ что̀ ты за это возьмешь? Она вѣдь, братъ, по-французски знаетъ!

— Гм... Прежде нежели отвѣтить на этотъ вопросъ, я, съ своей стороны, предлагаю другой: кто тотъ смертный, въ пользу котораго вся эта механика задумана?

— Ты прежде скажи...

— Нѣтъ, *ты* прежде скажи, а потомъ и я разговаривать буду. Потому что ежели это дѣло затѣялъ, напримѣръ, хозяинъ твоей мелочной лавочки, такъ напрасно мы будемъ и время по пустому тратить. Я за сотенную марать себя не намѣренъ.

Иванъ Тимоѳеичъ замялся. Очевидно онъ имѣлъ въ виду комисіонный процентъ и боялся, чтобъ Балалайкинъ не обратился прямо къ Парамонову, *безъ посредства комисіонеровъ*. Но послѣ минутнаго размышленія онъ однакожъ рѣшился.

— Ежели я Парамонова Онуфрія Петровича назову—слыхалъ?

— Намеднись даже въ стуколку съ нимъ вмѣстѣ игралъ,—солгалъ Балалайкинъ:—Фалелѣевъ Сидоръ Кондратьичъ, Бобковъ Герасимъ Ѳомичъ, Генераловъ Ѳедоръ Кузьмичъ, Парамоновъ и я.

— Ну, какъ же по твоему?

— А вотъ какъ. У насъ на практикѣ выработалось такое правило: ежели дѣло вѣрное, то брать десять процентовъ съ цѣны иска, а ежели дѣло рискованное—то по соглашенію.

— Чудакъ ты! какъ же ты бабу цѣнить будешь?

— Сейчасъ. Сколько господинъ Парамоновъ на эту самую „подругу" денегъ въ годъ тратитъ?

— Какъ сказать... Одѣваетъ — обуваетъ... ну, экипажъ, квартира... Хорошо содержитъ, прилично! Меньше какъ двадцатью тысячами въ годъ, пожалуй, не обервется. Ахъ, да и штучка-то хороша!

— А принимая во вниманіе, что купецъ Парамоновъ — мѣняло, а съ такихъ господъ за уродливость берутъ вдвое, то предположимъ, что упомянутый выше расходъ въ данномъ случаѣ возрастетъ до сорока тысячъ.

— Предполагай пожалуй!

— Теперь пойдемъ дальше. Имущества недвижимыя, какъ тебѣ извѣстно, оцѣниваются по десятилѣтней сложности дохода; имущества движимыя, какъ напримѣръ: мебель, картины, произведенія искусствъ—подлежатъ оцѣнкѣ при содѣйствіи экспертовъ. Такъ ли я говорю?

— Такъ-то такъ, да вѣдь тутъ...

— Позволь, объ этомъ будетъ дальше. „Штучка", о которой идетъ рѣчь, очевидно представляетъ имущество движимое, но притомъ снабженное такими признаками, на которые въ законахъ прямыхъ указаній не имѣется. Поэтому въ дѣлѣ оцѣнки подобнаго имущества необходимо прибѣгнуть къ нѣсколько иному методу, болѣе соотвѣтствующему характеру самой движимости. Такъ напримѣръ, если допустимъ способъ смѣшанный: то-есть, съ одной стороны, прибѣгнемъ къ экспертизѣ, а съ другой—не пренебрежемъ и принципомъ десятилѣтней сложности дохода, то, кажется, мы придемъ къ

результату довольно удовлетворительному. А именно: въ смыслѣ экспертизы самымъ лучшимъ судьей является самъ господинъ Парамоновъ, который тратитъ на ремонтъ означенной выше движимости сорокъ тысячъ рублей, и тѣмъ самымъ, такъ сказать, опредѣляетъ годовой доходъ съ нея...

— Не *съ нея*, а *ея*...

— *Съ нея* или *ея* — не будемъ спорить о словахъ. Принявъ цифру сорокъ тысячъ, какъ базисъ для дальнѣйшихъ нашихъ операцій, и помноживъ ее на десять, мы тѣмъ самымъ опредѣлимъ и цѣнность движимости цифрою четыреста тысячъ рублей. Теперь идемъ дальше. Эта сумма въ четыреста тысячъ рублей могла бы быть признана правильною, ежели бы дѣло ограничивалось одною описью, но, какъ извѣстно, за описью необходимо слѣдуютъ торги. Какая цѣна состоится на торгахъ—этого мы, конечно, опредѣлить не можемъ, но едва-ли ошибемся, сказавъ, что она должна удвоиться. А затѣмъ цифра гонорара опредѣляется уже сама собою. То-есть: восемьдесятъ, а для круглаго счета—сто тысячъ рублей.

Я внималъ ему, затаивъ дыханіе; но когда онъ выговорилъ цифру сто тысячъ, то, признаюсь, у меня даже колѣнки затряслись.

— Берите пятьдесятъ! — подсказалъ я ему, самъ впрочемъ не понимая, почему мнѣ пришла на умъ именно эта сумма, а не другая.

Но онъ даже не удостоилъ меня взглядомъ.

— Я уже опоздалъ на цѣлую минуту, — сказалъ онъ, смотря на часы: —затѣмъ, прощайте! И буде условія мои будутъ признаны необременительными, то прошу имѣть въ виду!

Нѣсколько минутъ Иванъ Тимоѳеичъ стоялъ какъ опаленный. Что касается до меня, то я просто былъ близокъ къ отчаянію, ибо за несообразностью рѣчей Балалайкина дѣло очевидно должно было вновь обрушиться на меня. Но именно это отчаяніе удесятерило мои силы, сообщило моему языку краснорѣчіе почти адвокатское, а мысли — убѣдительность, которою она едва-ли когда-нибудь обладала.

— Иванъ Тимоѳеичъ!—воскликнулъ я:—сообразите! Вѣдь это дѣло... вѣдь это такое дѣло, что, право, дешевымъ образомъ обставить его нельзя!

Но онъ повидимому не слыхалъ меня и бормоталъ:

— Диви бы за дѣло, а то... другой бы даже за удовольствіе счелъ...

И вдругъ, обратившись ко мнѣ:

— Ну, а вы какъ... какого вознагражденія желали бы? — спросилъ онъ и съ горькой усмѣшкой прибавилъ: — *для васъ*, можетъ быть, и двухъ сотъ тысячъ мало будетъ?

Но тутъ-то именно я и показалъ себя.

— Выслушайте меня, прошу васъ!—сказалъ я. — Вы давно уже видите и знаете мое сердце. Вамъ извѣстно, интересанъ ли я и страдаю ли недостаткомъ готовности служить на пользу общую. Въ деньгахъ я не особенно нуждаюсь, потому что получилъ обезпеченное состояніе отъ родителей; что̀ же касается до моихъ чувствъ, то они могутъ быть выражены въ двухъ словахъ: я готовъ! Но будетъ ли съ моей стороны добросовѣстно отбивать у Балалайкина кушъ, который можетъ обезпечить его на всю жизнь! Онъ —бѣдный человѣкъ, Иванъ Тимоѳеичъ! и хотя говоритъ, что адвокатура даетъ

ему не меньше двадцати-пяти тысячъ въ годъ, но это онъ лжетъ! Помилуйте! развѣ можно ввѣрять какіе-нибудь серьезные интересы... Балалайкину? И даже самый конкурсъ, на который онъ сейчасъ ссылался — развѣ есть возможность вѣрить въ его существованіе? Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ! Вѣрьте, что, несмотря на свой шикъ, онъ съ каждой минутой все больше и больше погружается въ тотъ омутъ, на днѣ котораго лежитъ Тарасовка! И въ доказательство...

Я взялъ со стола записку, которую оставилъ Балалайкинъ, и прочиталъ:

„По дѣлу о взысканіи 100 рублей съ мѣщанина Лейбы Эзельсона“...

— Понимаете ли вы теперь, *какія* у него дѣла? — продолжалъ я: — и какъ ему нужно, до зарѣзу нужно, чтобъ на помощь ему явился какой-нибудь крупный гешефтъ, въ родѣ, напримѣръ, того, который представляетъ затѣя купца Парамонова?

Иванъ Тимоѳеичъ молчалъ, но для меня и то было уже выигрышемъ, что онъ *слушалъ* меня. Его взоръ, задумчиво на меня устремленный, казалось, говорилъ: продолжай! Понятно, съ какою радостью я послѣдовалъ этому молчаливому приглашенію.

— Съ другой стороны, — говорилъ я: — вѣдь не вамъ придется платить деньги! Конечно, Балалайкинъ заломилъ цѣну уже совсѣмъ несообразную, но я убѣжденъ, что въ эту минуту онъ самъ раскаивается и горько клянетъ свою несчастную страсть къ хвастовству. Призовите его, обласкайте, скажите нѣсколько прочувствованныхъ словъ — и вы увидите, что онъ сейчасъ же съѣдетъ на десять тысячъ, а можетъ быть и на двѣ! Навѣрное онъ ужъ теперь позабылъ, что сто тысячъ слетѣли у него съ языка. Почему онъ сказалъ сто тысячъ, а не двѣсти, не милліонъ! — не потому ли, что цифра *сто* значится въ запискѣ о взысканіи съ мѣщанина Эзельсона? Я, конечно, этого не утверждаю, но думаю, что это догадка не безосновательная. Завтра онъ принесетъ къ вамъ записку о взысканіи *двухъ* рублей и сообразно съ этимъ уменьшитъ и требованіе свое до *двухъ* тысячъ. Но еслибы даже онъ и окончательно остановился, напримѣръ, на десяти тысячахъ, то, право, это немного! Вѣдь порученіе-то... ахъ, какое это порученіе! И что̀ вамъ, наконецъ? Неужели деньги купца Парамонова до такой степени дороги вашему сердцу, что вы лишите бѣднаго человѣка возможности поправить свои обстоятельства?

Я говорилъ долго и убѣдительно, и Иванъ Тимоѳеичъ былъ тѣмъ болѣе пораженъ справедливостью моихъ доводовъ, что никакъ не ожидалъ отъ меня такой смѣлой откровенности. Подобно всѣмъ сильнымъ міра, онъ былъ окруженъ плотною стѣной угодниковъ и льстецовъ, которые рѣдко позволяли слову истины достигнуть до ушей его.

— Вы правы! — сказалъ онъ наконецъ, съ какою-то особенною искренностью пожимая мнѣ руку: — и хотя мы не привыкли выслушивать правду, но я долженъ сознаться, что иногда она не безполезна и для насъ. Благодарю! Я давно не проводилъ время съ такой пользой, какъ сегодня утромъ!

Я летѣлъ домой, не чувствуя ногъ подъ собою, и какъ только вошелъ въ квартиру, такъ сейчасъ же упалъ въ объятія Глумова. Я разсказалъ ему все: и въ какомъ я былъ ужасномъ положеніи, и какъ на помощь мнѣ вдругъ явилось нѣчто неисповѣдимое...

— Повѣрь, что это за благонамѣренность нашу!—сказалъ я въ заключеніе.

— Такъ-то такъ, да ты прежде подожди, возьметъ ли еще Балалайкинъ десять-то тысячъ?

— Помилуй, душа моя, какъ ему не взять! вѣдь онъ...

Я съ жаромъ принялся доказывать, что нельзя Балалайкѣ десяти тысячъ не взять, что въ противномъ случаѣ онъ погибнуть долженъ, что десяти тысячъ на полу не поднимешь и что съ десятью тысячами, при настоящемъ паденіи курсовъ на цѣнныя бумаги... И вдругъ, въ самомъ разгарѣ моихъ доказательствъ, меня словно обожгло.

— Глумовъ! да вѣдь Балалайка женатъ и имѣетъ восемь человѣкъ дѣтей!—крикнулъ я не своимъ голосомъ.

Глава IV.

Немедленно приступили мы къ розыску семейнаго положенія Балалайкина, и на другой же день, при содѣйствіи Кшепшицюльскаго, получили слѣдующую справку:

„*Балалайкинъ* (имя и отчество неизвѣстны), адвокатъ. Проживаетъ 2-й адмиралтейской части, въ домѣ бывшемъ Зондермана, на углу Фонарнаго переулка и Екатерининскаго канала. Пишетъ прошенія, приноситъ кассаціонныя и апелляціонныя жалобы и вообще составляетъ всякаго рода бумаги, а въ томъ числѣ и неуказанныя въ законахъ. Какъ-то: поздравительные стихи для разносчиковъ афишъ и клубныхъ швейцаровъ, куплеты для театра Егарева, азбуки и хрестоматіи, а также любовныя письма (со стихами и безъ стиховъ) для лицъ, не кончившихъ курса въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Кромѣ сего, отыскиваетъ, по порученіямъ, жениховъ и невѣстъ, слѣдитъ по газетамъ за объявленіями о пропавшихъ собакахъ и принимаетъ мѣры къ отысканію потеряннаго, занимается устройствомъ предварительныхъ обстановокъ, необходимыхъ для удовлетворительнаго разрѣшенія бракоразводныхъ дѣлъ, и на сей конецъ содержитъ на жалованьи отъ 4-хъ до 5-ти лжесвидѣтелей. Въ пропагандахъ, прокламаціяхъ и вообще ни въ чемъ предосудительномъ не замѣченъ. *Женатъ и имѣетъ восемь дочерей.* Жена никакихъ постоянныхъ средствъ къ пропитанію себя съ семействомъ (въ томъ числѣ восьмидесятилѣтняя старушка-бабушка) не имѣетъ, кромѣ бѣлошвейнаго мастерства, доставляющаго ничтожный доходъ. Живетъ это семейство въ величайшей бѣдности въ селѣ Кузьминѣ, близъ Царскаго Села, получая отъ Балалайкина, въ видѣ вспособленія, не больше десяти рублей въ мѣсяцъ“.

Можно себѣ представить, какъ поразила меня эта реляція!

— Воля твоя, — сказалъ я Глумову: — а я ни подъ какимъ видомъ

на „штучкѣ" купца Парамонова не женюсь. И въ крайнемъ случаѣ укажу на тебя, какъ на болѣе достойнаго.

— Да погоди же голову-то терять,—возразилъ онъ мнѣ спокойно: — вѣдь это еще не послѣднее слово. Балалайкинъ женатъ—въ этомъ, конечно, сомнѣваться нельзя; но развѣ ты не чувствуешь, что тутъ сквозитъ какая-то тайна, которая, я увѣренъ, въ концѣ концовъ, дастъ намъ возможность выйти съ честью изъ нашего положенія.

— Но это — тайна Балалайкина, раскрытіе которой даже вовсе не интересуетъ меня. Для меня въ этомъ дѣлѣ ясно одно: Балалайкинъ женатъ!

— Не горячись, сдѣлай милость. Во-первыхъ, пользуясь стѣсненнымъ положеніемъ жены Балалайкина, можно ее уговорить, за приличное вознагражденіе, на формальный разводъ; во-вторыхъ, ежели это не удастся, можно убѣдить Балалайкина жениться и при живой женѣ. Однимъ словомъ, необходимо прежде всего твердо установить цѣль: во что бы ни стало женить Балалайку на „штучкѣ" купца Парамонова — и затѣмъ мужественно идти къ осуществленію этой цѣли.

Волей-неволей, но пришлось согласиться съ Глумовымъ. Немедленно начертали мы планъ кампаніи и на другой же день приступили къ его выполненію, то-есть отправились въ Кузьмино. Однакожъ и тутъ полученныя на первыхъ порахъ свѣдѣнія были такого рода, что никакого практическаго результата извлечь изъ нихъ было невозможно. А именно, оказалось:

1) Что Балалайкина жена по уши влюблена въ своего мужа и ни о какихъ предложеніяхъ (Глумовъ двадцать-пять рублей давалъ) относительно устройства приличной „обстановки" въ видахъ расторженія брака—слышать не хочетъ.

2) Что Балалайкинъ сохраняетъ свой бракъ въ большой тайнѣ. Никто въ семьѣ не знаетъ, что онъ—адвокатъ, получающій значительный доходъ отъ поздравительныхъ стиховъ, сочиняемыхъ клубнымъ швейцарамъ. И жена, и старая бабушка убѣждены, что онъ служитъ въ артели посыльныхъ.

3) Что Балалайкинъ наѣзжаетъ въ Кузьмино одинъ разъ въ недѣлю, по субботамъ, всегда въ полной парадной формѣ посыльнаго и непремѣнно на лихачѣ. Тогда въ семьѣ бываетъ ликованье, потому что Балалайкинъ привозитъ дочерямъ пряниковъ, женѣ — моченой грушп, а старой бабушкѣ — штофъ померанцевой водки. Всѣ семейные твердо увѣрены, что это — гостинцы ворованные.

— Онъ-то говоритъ, что купцы даютъ,—сказала намъ старуха-бабушка: —да ужъ гдѣ, чай!

А дочка присовокупила:

— И то сказать: трудно въ ихнемъ сословіи безъ грѣха прожить! Цѣльный день по кухнямъ да по лавкамъ шляются, то видятъ, другое видятъ —какъ тутъ себя уберечи!

Все это было далеко не поощрительно, однако Глумовъ и тутъ надежды не терялъ.

— И прекрасно, — сказалъ онъ: — пускай себѣ ломается, и безъ нея обойдемся! Теперь по крайней мѣрѣ путаться не станемъ, а прямо будемъ бить на двоеженство!

Словомъ сказать, опасность заставила насъ окончательно позабыть, что намъ предстояло только „годить“, и по уши погрузила насъ въ самую гущу благонамѣренной дѣятельности. Мы вполнѣ искренно принялись хлопотать, изворачиваться и вообще производить всѣ тѣ акты, съ которыми сопрягается безопасное плаванье по житейскому морю.

Черезъ нѣсколько дней, часу въ двѣнадцатомъ утра, мы отправились въ Фонарный переулокъ, и такъ какъ домъ Зондермана былъ намъ знакомъ съ юныхъ лѣтъ, то отыскать квартиру Балалайкина не составляло никакого труда. Признаюсь, сердце мое сильно дрогнуло, когда мы подошли къ двери, на которой была прибита дощечка съ надписью: „Balalaïkine, avocat“. Увы! въ былое время тутъ жила Дарья Семеновна Кубарева (въ просторѣчіи: „Кубариха“) съ шестью молоденькими и прехорошенькими воспитанницами, которыя называли ее мамашей.

Дарья Семеновна была вдова учителя латинскаго языка, который, къ несчастію, смѣшивалъ герундіумъ съ супинумомъ, и за это былъ преданъ, по распоряженію начальства, суду. А такъ какъ онъ умеръ, не успѣвъ очистить себя отъ обвиненій, то постигшая его невзгода косвеннымъ образомъ отразилась и на его вдовѣ: ей было отказано въ пенсіи. Оставшись безъ всякихъ средствъ къ существованію, Дарья Семеновна понадѣялась-было, что ей удастся продать латинскую грамматику, которую издалъ ея мужъ и безчисленные экземпляры которой, въ ожиданіи судебнаго рѣшенія, украшали ея квартиру, но, увы! судьба и тутъ не оказалась къ ней благосклонною. Рѣшеніе суда не заставило себя долго ждать, но въ немъ было сказано: „хотя учителя Кубарева, за распространеніе въ юношествѣ превратныхъ понятій о супинахъ и герундіяхъ, а равно и за потрясеніе основъ латинской грамматики, и слѣдовало бы сослать на жительство въ мѣста не столь отдаленныя, но такъ какъ онъ, состоя подъ судомъ, умре, то сужденіе о личности его прекратить, а сочиненную имъ латинскую грамматику сжечь въ присутствіи латинскихъ учителей обѣихъ столицъ“. Погоревала-погоревала бѣдная вдова, посовѣтовалась съ добрыми людьми — и вдругъ нашлась. Открыла пансіонъ для дѣвицъ, но, разумѣется, безъ древнихъ языковъ.

Дарья Семеновна была женщина веселая и хлѣбосолка, а потому педагогическая часть въ ея пансіонѣ была нѣсколько слаба. Учили больше хорошимъ манерамъ и свѣтскому обращенію. Каждый вечеръ до позднихъ пѣтуховъ стоялъ въ ея квартирѣ, какъ говорится, дымъ коромысломъ. Игралъ тапёръ на старенькихъ клавикордахъ; молодые люди танцовали, курили папиросы, угощались пивомъ, водкой, а изрѣдка и шампанскимъ. По временамъ случались и драки, но хозяйка обладала на этотъ счетъ такимъ тактомъ, что подравшіеся, при первомъ намекѣ на будочника, немедленно унимались и посылали за пивомъ. Только по субботамъ и наканунѣ большихъ праздниковъ дверь квартиры учительницы Кубаревой отпиралась лишь для самыхъ близкихъ знакомыхъ. Въ эти вечера въ комнатахъ зажигались лампадки, воспитанницы умилялись и вздыхали, а Дарья Семеновна набожно говорила:

— Весельемъ людскимъ живу... а Бога помню!

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ Дарья Семеновна умерла, отпраздновавъ двадцатипятилѣтіе своей педагогической дѣятельности, хотя и безъ древнихъ

языковъ. Скончалась старушка тихо, въ большомъ креслѣ на колесахъ, съ котораго въ послѣднее время не вставала; скончалась подъ звуки тапёра, проводившіе ее въ иной міръ. Я помню: мы безпечно танцовали, въ одномъ углу хлопнула пробка, въ другомъ — раздалась пощечина; смотримъ, а ея ужъ и нѣтъ! Говорятъ, передъ смертью она получила даръ прозорливства и предсказала, что въ квартирѣ ея поселится Балалайкинъ.

Весьма естественно, что, прежде нежели позвонить, мы остановились передъ этою дверью, подавленные цѣлымъ роемъ воспоминаній.

— Тутъ... было?—первый прервалъ молчаніе Глумовъ.

— Да, мой другъ... тутъ!

— Тапёра, Ивана Иваныча, помнишь?

— Какъ живой и теперь стоитъ передо мной!

— Представь себѣ! вѣдь онъ отецъ семейства былъ... Я у него дѣтей крестилъ, а Кессенихъ кумой была, и, какъ сейчасъ помню, онъ насъ въ ту пору шмандткухеномъ угощалъ.

— А Стрекозу помнишь?

— Еще бы! первый мазуристъ на вечерахъ у Дарьи Семеновны былъ! здѣсь, въ этой квартирѣ, и воспитаніе получилъ! А теперь, подитко, тайный совѣтникъ, въ комисіяхъ засѣдаетъ—рукой до него не достать!

— Вообрази: встрѣчаю я его на дняхъ на Невскомъ, и какъ разъ мнѣ Кубариха на память пришла: помните? говорю. А онъ мнѣ вдругъ стихами:

Вельможу должны украшать
Умъ здравый, сердце просвѣщенно...

И объ Кубарихѣ ни полслова — вотъ онъ нынче какъ объ себѣ полагаетъ!

— Да, братъ, многіе изъ школы Дарьи Семеновны вышли, которые теперь... Только вотъ мы съ тобой...

Я машинально протянулъ руку и подавилъ пуговку электрическаго звонка. Раздался какой-то унылый, дребезжащій звонъ, совсѣмъ не тотъ веселый, побѣдный, свѣтлый, который раздавался здѣсь когда-то. Одинъ изъ лжесвидѣтелей, о которыхъ упоминалось въ справкѣ, добытой изъ 2-й адмиралтейской части, отперъ намъ дверь и сказалъ, что намъ придется подождать, потому что господинъ Балалайкинъ занятъ въ эту минуту съ кліентами.

Мы вошли въ пріемную комнату, и сердца наши тоскливо сжались. Да, именно въ этой угловой комнатѣ, выходящей окнами и на Фонарный переулокъ, и на Екатериновку, она и скончалась—добрая, незабвенная Кубариха! Вотъ тутъ, у этой стѣны, стояли старыя, разбитыя клавикорды; вдоль прочихъ стѣнъ разставлены были стулья и диваны, обитые какой-то подлой, запятнанной матеріей; по угламъ помѣщались столики и établissements, за которыми лилось пиво; по срединѣ — мы танцовали. Картины изъ прошлаго, одна за другой, совершенно живыя, такъ и метались передъ моимъ умственнымъ окомъ.

— Дарья Семеновна! тутъ ли вы?—воскликнулъ я, совсѣмъ забывшись подъ наплывомъ воспоминаній.

Увы! ни одинъ звукъ не отвѣтилъ на мой сердечный вопль. Просторная

пріемная комната, въ которой мы находились, смотрѣла холодно и безучастно, и убранство ея отличалось строгою простотой, которая совсѣмъ не согласовалась съ профессіей устройства предварительныхъ обстановокъ по бракоразводнымъ дѣламъ. Признаюсь, приличность Балалайкинской обстановки даже поразила меня. Я ожидалъ увидѣть нѣчто въ родѣ квартиры средней руки кокотки—и вдругъ очутился въ помѣщеніи скромнаго служителя Ѳемиды, понимающаго, что чѣмъ меньше будетъ въ его квартирѣ дракъ, тѣмъ тверже установится его репутація, какъ серьезнаго адвоката. По срединѣ стоялъ дубовый столъ, на которомъ лежали, для увеселенія кліентовъ, избранныя сочиненія Белло въ русскомъ переводѣ; вдоль трехъ стѣнъ разставлены были стулья изъ цѣльнаго дуба съ высокими рѣзными спинками; а четвертая была занята громаднымъ библіотечнымъ шкафомъ, въ которомъ впрочемъ не было иныхъ книгъ, кромѣ „Полнаго собранія законовъ Россійской Имперіи“. Очевидно, что Балалайкинъ импонировалъ этою комнатою, хотѣлъ поразить ею воображеніе кліента и въ то же время намекнуть, что всякое оскорбленіе дѣйствіемъ будетъ неуклонно преслѣдуемо на точномъ основаніи тѣхъ самыхъ законовъ, которые стоятъ вотъ въ этомъ шкафу. Ничего лишняго, мишурнаго, напоминающаго о прелюбодѣяніи и лжесвидѣтельствѣ, не бросалось въ глаза,—только въ углу стоялъ довольно подержанный полурояль, отъ котораго нѣсколько отдавало Дарьей Семеновной. Рояль этотъ, какъ я узналъ послѣ, былъ подаренъ Балалайкину однимъ несостоятельнымъ должникомъ, въ благодарность за содѣйствіе къ сокрытію имущества, и Балалайкинъ, въ свободное отъ лжесвидѣтельствъ время, подбиралъ на немъ музыку куплетовъ, сочиняемыхъ имъ для театра Егарева. Тѣмъ не менѣе, этотъ рояль такъ обрадовалъ меня, что я подбѣжалъ къ нему, и еслибъ не удержалъ меня Глумовъ, то навѣрное сыгралъ бы первую фигуру кадрили на мотивъ „чижикъ! чижикъ! гдѣ ты былъ?“, которая въ дни моей молодости такъ часто оглашала эти стѣны.

Глумовъ тоже повидимому не ожидалъ подобной обстановки, но онъ не былъ подавленъ ею, подобно мнѣ, а скорѣе какъ бы не вѣрилъ своимъ глазамъ. Чмокалъ губами, тянулъ носомъ воздухъ и вообще подыскивался. И наконецъ отыскалъ.

— Пахнетъ!—сказалъ онъ мнѣ шопотомъ.

Я тоже инстинктивно потянулъ носомъ воздухъ.

— Дарья Семеновна... она! Она эти самые духи употребляла, когда поджидала „гостей“!

Я началъ припоминать... и вдругъ до такой степени вспомнилъ, что даже краска бросилась мнѣ въ лицо.

— Глумовъ! голубчикъ! эти духи... да вѣдь она жива! она здѣсь!—воскликнулъ я внѣ себя отъ восхищенія:—Дарья Семеновна! вы!

И только тогда опомнился, когда Глумовъ, толкнувъ меня подъ локоть, указалъ глазами на двухъ кліентовъ, которые сидѣли въ той же комнатѣ, въ ожиданіи Балалайкина.

По странной игрѣ судьбы, кліенты эти наружнымъ своимъ видомъ напоминали именно то самое прошлое, которое такъ тоскливо заставляло биться

мое сердце. Одинъ былъ человѣкъ уже пожилой и имѣлъ физіономію благороднаго отца изъ дома терпимости. Чувство собственнаго достоинства несомнѣнно было господствующею чертою его лица, но въ то же время представлялось столь же несомнѣннымъ, что гдѣ-то, на этомъ самомъ лицѣ, повѣшена подробная такса (видимая впрочемъ только мысленному оку), объясняющая цифру вознагражденія за каждое наносимое увѣчье, начиная отъ самаго тяжкаго и кончая легкою оплеухой. Мнѣ показалось, что гдѣ-то когда-то я видалъ этого человѣка, и чѣмъ болѣе я всматривался въ него, тѣмъ больше росла во мнѣ увѣренность, что видѣлъ я его именно въ этомъ самомъ домѣ.

Да, это *онъ*!—говорилъ я самъ себѣ:—но кто *онъ*? *Тотъ* былъ тщедушный, мизерный; на лицѣ его была написана загнанность, забитость, и фракъ у него... ахъ, какой это былъ фракъ! зеленый, съ потертыми локтями, съ свѣтлыми пуговицами, очевидно перешитый изъ вицмундира, оставшагося послѣ умершаго отъ геморроя титулярнаго совѣтника! А *этотъ* — вонъ онъ какой! Сытъ, одѣтъ, обутъ—чего еще нужно! И все-таки это — *онъ*, несомнѣнно *онъ*, несмотря на то, что смотритъ, какъ только сейчасъ отчеканенный мѣдный пятакъ!

Другой кліентъ былъ совсѣмъ юноша, красный какъ ракъ, безъ всякаго признака капилярной растительности на лицѣ, отчего и казался какъ бы совершенно обнаженнымъ. Онъ напомнилъ мнѣ нѣкоего Жоженьку (нынѣ статскій совѣтникъ и кавалеръ), который въ былое время хотя и не участвовалъ въ общихъ увеселеніяхъ, происходившихъ въ этой залѣ, но всегда въ опредѣленный часъ появлялся изъ внутреннихъ апартаментовъ и, запыхавшись, съ застѣнчивою торопливостью, перебѣгалъ черезъ залу, причемъ воспитанницы кричали ему: „Жорженька! Жорженька! хорошо выдержали экзаменъ?“

Черезъ четверть часа ожиданія, за дверью, ведущею въ кабинетъ Балалайкина, послышался шумъ, и вслѣдъ затѣмъ оттуда вышла, шурша платьемъ и грузно ступая ногами, старуха, очевидно восточнаго происхожденія. Осунувшееся лицо ея было до такой степени раскрашено, что издали производило иллюзію маски, чему очень много способствовали большой и крючковатый грузинскій носъ и два черныхъ глаза, которые стекловидно высматривали изъ впадинъ. Эту женщину я тоже гдѣ-то и когда-то видѣлъ, да и она меня гдѣ-то и когда-то видѣла, но ни мнѣ, ни ей, конечно, и на мысль не пришло разъяснять, при какихъ обстоятельствахъ произошло наше знакомство. Поддерживаемая Балалайкинымъ подъ руку (онъ называлъ ее при этомъ „княгинею“, но я могъ дать руку на отсѣченіе, что она — сваха отъ Вознесенскаго моста), она медленно направилась къ выходной двери, но, проходя мимо шкафа съ книгами, остановилась, какъ бы пораженная его величіемъ.

— Всѣ читалъ?—спросила она Балалайкина, указывая костлявымъ пальцемъ на корешки переплетовъ.

— Княгиня!—воскликнулъ онъ, какъ бы удивленный, что ему можетъ быть предложенъ такой вопросъ.

— Ну, будь здоровъ!

Проводивши старуху, Балалайкинъ прежде всего обратился къ намъ. Онъ былъ необыкновенно милъ въ своемъ утреннемъ адвокатскомъ неглиже.

Черная бархатная жакетка ловко обрисовывала его формы и отлично оттѣняла бѣлизну бѣлья; проборъ на головѣ былъ сдѣланъ такъ тщательно, что можно было думать, что онъ причесывается у ваятеля; лицо, отдохнувшее за ночь отъ вчерашнихъ поврежденій, дышало привѣтливостью и готовностью удовлетворить кліента, чтò бы онъ ни попросилъ; штаны сидѣли почти идеально; но чтò всего важнѣе: отъ каждой части его лица и даже тѣла разило духами, какъ будто онъ только-что выкупался въ водахъ Екатерининскаго канала. Онъ напомнилъ намъ, что знакомъ съ нами по Ивану Тимоѳеичу, и изъявилъ надежду, что мы сдѣлаемъ ему честь отзавтракать съ нимъ.

— Черезъ четверть часа я къ вашимъ услугамъ, messieurs, а теперь... вы позволите?—прибавилъ онъ, указывая на ожидавшихъ кліентовъ.

— Ну-съ,—началъ онъ, подходя къ юношѣ:—письмо ваше возъимѣло дѣйствіе?

— Возъимѣло, господинъ Балалайкинъ, только нельзя сказать, чтобы вполнѣ благопріятное.

— Именно?

— Вотъ и отвѣтъ-съ.

Балалайкинъ взялъ поданное письмо и довольно громко прочиталъ: „а ежели ты, щенокъ, будешь еще ко мнѣ приставать“...

— Гм... да... Отвѣтъ, конечно, не совсѣмъ благопріятенъ, хотя, съ другой стороны, сердце женщины... Чтò жъ! будемъ новое письмо сочинять, молодой человѣкъ—вотъ и все!

— Со стихами бы, господинъ Балалайкинъ!

— Можно. Изъ Виктора Гюгò, напримѣръ:

O, ma charmante!
Ecoute ici!
L'amant qui chante
Et pleure aussi!

— Ладно будетъ?

— Хорошо-съ, но вѣдь она по-французски не знаетъ.

— Это ничего; вотъ и вы не знаете, да говорите же: „хорошо“. Неизвѣстность, знаете... она на воображеніе дѣйствуетъ! У грековъ-язычниковъ даже капище особенное было съ надписью: „неизвѣстному богу“... Потребность, значитъ, такая въ человѣкѣ есть! А впрочемъ я и по-русски могу:

Кудри дѣвы-чародѣйки,
Кудри—блескъ и ароматъ,
Кудри—кольца, кудри—змѣйки,
Кудри—бархатный каскадъ!

— Хорошо? приходите завтра—будетъ готово... Цѣна...

Балалайкинъ поднялъ правую руку и показалъ всѣ пять пальцевъ.

— Рублей,—присовокупилъ онъ строго.

— Нельзя ли сбавить, господинъ Балалайкинъ?—взмолился молодой человѣкъ:—ей-Богу, мамаша всего десять рублей въ мѣсяцъ даетъ! тутъ и на папиросы, тутъ и на все-съ!

— Нельзя, молодой человѣкъ! желаете имѣть успѣхъ у женщинъ и

жалѣете пяти рублей... фуй, фуй, фуй! Ежели мамаша даетъ мало денегъ— добывайте сами! Трудитесь, давайте уроки, просвѣщайте юношество! И такъ, повторяю: завтра будетъ готово. До свиданія... побѣдитель!

Балалайкинъ, въ знакъ окончанія аудіенціи, подалъ юношѣ два пальца, которые тотъ принялъ съ благоговѣніемъ.

— Ну-съ, теперь ваша очередь!—обратился онъ къ пожилому кліенту.

— Вотъ ужъ пять лѣтъ, какъ жена моя вездѣ ищетъ удовлетворенія— началъ благородный отецъ и вдругъ остановился, какъ бы выжидая, не нанесетъ ли ему Балалайкинъ какого-нибудь оскорбленія.

Балалайкинъ однакожъ воздержался и только сквозь зубы процѣдилъ: „Гм“...

Но на меня этотъ голосъ подѣйствовалъ потрясающимъ образомъ. Я уже не вспоминалъ больше,—я вспомнилъ. Да, это—онъ! твердилъ я себѣ: онъ, тотъ самый, во фракѣ съ умершаго титулярнаго совѣтника! Чтобы провѣрить мои чувства, я взглянулъ на Глумова и безъ труда убѣдился, что онъ взволнованъ не меньше моего.

— Онъ!—шепнулъ онъ, слегка толкнувъ меня локтемъ въ бокъ.

— Жена моя содержитъ гласную кассу ссудъ, — продолжалъ между тѣмъ благородный отецъ, убѣдившись, что никто изъ присутствующихъ не намѣренъ платить по таксѣ даже за самую легкую оплеуху: — я же состою редакторомъ по вольному найму при газетѣ „Краса Демидрона“, служащей органомъ политическихъ и литературныхъ мнѣній Егарева и Малафѣева. Къ сожалѣнію, наша газета, не будучи изъята изъ вѣдомства общей цензуры, въ то же время, по спеціальности, находится въ вѣдѣніи комитета ассенизаціи столичнаго города С.-Петербурга. Не болѣе года, какъ я нахожусь въ должности редактора, и достигъ уже слѣдующихъ результатовъ. Во-первыхъ, отъ непрестанныхъ внушеній—два раза лишался разсудка; во-вторыхъ, отъ ежедневно повторяемаго трепета—получилъ трясеніе головы. Таковы обязанности редактора газеты, служащаго по вольному найму!

Онъ произнесъ эту вступительную рѣчь съ такимъ волненіемъ, что подъ конецъ голосъ его пресѣкся. Грустно понуривъ голову, высматривалъ онъ однимъ глазкомъ не чешутся ли у кого изъ присутствующихъ руки, дабы немедленно предъявить искъ о вознагражденіи по таксѣ. Но мы хотя и сознавали, что теперь самое время для „нанесенія“, однако такъ были взволнованы разсказомъ о свойственныхъ вольнонаемному редактору бѣдствіяхъ, что отложили выполненіе этого подвига до болѣе благопріятнаго времени.

— Правда, что взамѣнъ этихъ непріятностей я пользуюсь и нѣкоторыми удовольствіями, именно: 1) имѣю безплатный входъ лѣтомъ въ Демидовъ садъ, а на масляницѣ и на святой пользуюсь правомъ хоть цѣлый день проводить въ балаганахъ Егарева и Малафѣева; 2) въ семи трактирахъ, въ особенности рекомендуемыхъ нашею газетой вниманію почтеннѣйшей публики, за несоблюденіе въ кухняхъ чистоты и неимѣніе на посудѣ полуды, я по очереди имѣю право однажды въ недѣлю (въ каждомъ) воспользоваться двумя рюмками водки и порціей селянки; 3) ежедневно имѣю возможность даромъ ночевать въ любомъ изъ съѣзжихъ домовъ; и наконецъ 4) могу безпрепятственно присутствовать въ любой изъ камеръ мировыхъ судей при

судебномъ разбирательствѣ. Но предоставляю вамъ самимъ, милостивые государи, судить, что значатъ всѣ эти прерогативы въ сравненіи съ исчисленными сейчасъ обязанностями?

Онъ опять поникъ головой, но все доселѣ высказанное имъ дышало такою правдою, что не только намъ, но даже Балалайкину не приходило на мысль торопить его или перебивать какими-либо напоминаніями о скорѣйшемъ приступѣ къ дѣлу.

— Жалованья я получаю двадцать-пять рублей въ мѣсяцъ,—продолжалъ онъ послѣ краткаго отдыха.—Не спорю: жалованье хорошее; но ежели принять во вниманіе: 1) что, по воспитанію моему, я получилъ потребности обширныя; 2) что съѣстные припасы съ каждымъ днемъ дѣлаются дороже и дороже, такъ что рюмка очищенной стоитъ нынѣ десять копѣекъ, вмѣсто прежнихъ пяти—то и выходитъ, что о бифштексахъ да объ котлеткахъ мнѣ и въ помышленіи держать невозможно!

— Позвольте однако!—не воздержался я:—вѣдь вы сами сейчасъ сказали, что имѣете право на безплатное полученіе ежедневно двухъ рюмокъ водки и порціи селянки! Мнѣ кажется, что въ вашемъ званіи...

— Вамъ кажется, господинъ? Но скажите по совѣсти: можетъ ли быть человѣкъ сытъ и пьянъ, получая въ день одну порцію селянки, составленной изъ веществъ загадочныхъ и трудно-варимыхъ, и двѣ рюмки водки, которыя буфетчикъ съ намѣреніемъ не доливаетъ до краевъ?

Въ голосѣ его звучала такая горькая искренность, что я невольно умолкнулъ.

— По моему воспитанію, мнѣ не только двухъ рюмокъ и одной селянки, а двадцати рюмокъ и десяти селянокъ—и того недостаточно! Ахъ, молодой человѣкъ! молодой человѣкъ! какъ вы однако опрометчивы въ вашихъ сужденіяхъ!—говорилъ между тѣмъ благородный отецъ, строго и наставительно покачивая головой въ мою сторону: — и какъ это вы, милостивый государь, получивши такое образованіе...

— Возвратимтесь къ разсказу,—прервалъ его Балалайкинъ, обязательно поспѣшая мнѣ на выручку противъ дальнѣйшихъ репримандовъ старца, у котораго начала уже настолько явственно выступать на лицѣ такса, что я безъ всякихъ затрудненій прочиталъ:

„За словесное оскорбленіе укоризною въ недостаткѣ благовоспитанности, а равно и въ неимѣніи христіанскихъ правилъ... 20 коп.“

Но благородный отецъ унялся не сразу.

— Къ тому же я сластолюбивъ,—продолжалъ онъ.—Я люблю мармеладъ, черносливъ, изюмъ, и хотя входилъ въ переговоры съ купцомъ Елисеевымъ, дабы разрѣшено было мнѣ безплатно входить въ его магазины и пробовать, но получилъ рѣшительный отказъ; купецъ же Смуровъ, вслѣдствіе подобныхъ же переговоровъ, разрѣшилъ выдавать мнѣ въ день по одному поврежденному яблоку. Стало быть, и этого, по вашему, милостивый государь, разумѣнію, для меня достаточно?—вдругъ обратился онъ ко мнѣ.

Дѣлать было нечего. Я вынулъ изъ кармана двугривенный (по таксѣ) и положилъ на столъ, откуда онъ въ одно мгновеніе и исчезъ въ карманъ старца.

— Благодарю васъ, господинъ. Маловато, но я не притѣснителенъ... И такъ, я сластолюбивъ, и потому имѣю вкусъ къ лакомствамъ вообще и къ дѣвочкамъ въ особенности. Есть у нихъ, знаете...

Старикъ поперхнулся, и все нутро его вдругъ заколыхалось. Мы замерли въ ожиданіи одного изъ тѣхъ пароксизмовъ восторга, которые иногда овладѣваютъ старичками подъ наитіемъ сладостныхъ представленій; но онъ ограничился тѣмъ, что чихнулъ. Очевидно, это была единственная форма дѣятельнаго отношенія къ красотѣ, которая, при его преклонныхъ лѣтахъ, осталась для него доступною.

— Словомъ сказать, никакъ нельзя остеречься, чтобы рубля или двухъ въ недѣлю не пожертвовать собственно на предметы сластолюбія. Затѣмъ, такъ какъ жена удерживаетъ у меня пятнадцать рублей въ мѣсяцъ за прокормъ и квартиру (и притомъ даже въ такомъ случаѣ, еслибъ я ни разу не обѣдалъ дома), то на такъ-называемыя издержки представительства остается никакъ не больше пяти рублей въ мѣсяцъ. Какъ вы полагаете, милостивый государь, можетъ ли удовлетвориться этимъ благородный человѣкъ, особливо въ виду установившагося обычая, въ силу котораго всѣ вольнонаемные редакторы разъ въ мѣсяцъ устраиваютъ въ трактирѣ „Старый Пекинъ" обѣдъ, въ ознаменованіе чудеснаго избавленія отъ множества угрожавшихъ имъ въ теченіе мѣсяца опасностей?

— Конечно, нѣтъ; но вѣдь супруга ваша, какъ содержательница гласной кассы ссудъ, могла бы и не требовать съ васъ платы за содержаніе? — возразилъ Балалайкинъ.

— Что касается до того, куда жена моя употребляетъ свои средства — объ этомъ рѣчь впереди. Теперь же скажу, что супружество, въ томъ видѣ, въ какомъ я онымъ пользуюсь, налагаетъ на меня лишь очень нелегкія обязанности, а правъ не даетъ. Но этого мало, милостивые государи! Не имѣя никакого вліянія на направленіе редактируемой мною газеты, я, тѣмъ не менѣе, ощущаю на себѣ всѣ невзгоды, ее постигающія. Такъ напримѣръ, когда, по настоянію г. Малафѣева, послѣдовало въ нашемъ изданіи изъясненіе турецкой конституціи и за сіе газета вынуждена была потерпѣть ущербъ, то и я былъ подвергнутъ вычету изъ жалованья въ размѣрѣ пятнадцати копѣекъ въ сутки. Можете судить сами, какое нравственное потрясеніе должна была произвести во мнѣ эта катастрофа, не говоря уже о неоплатномъ долгѣ въ три рубля пятьдесятъ копѣекъ, въ который я съ тѣхъ поръ погрязъ и о возвратѣ котораго жена моя ежедневно настаиваетъ...

Но едва произнесъ онъ эти слова, какъ Глумовъ, движимый великодушіемъ, вынулъ изъ кармана три съ полтиной и положилъ ихъ на столъ.

— Благодарю васъ, достойный молодой человѣкъ! благодарю тѣмъ больше, что, имѣя право за эти деньги поступить со мною по таксѣ, вы великодушно не воспользовались этимъ правомъ! Но возвращаюсь къ разсказу. Изъ всего вышеизложеннаго вы, конечно, изволили убѣдиться, милостивые государи, что положеніе редактора газеты по вольному найму вовсе не таково, чтобы возбудить въ комъ-либо зависть. Поэтому вы не удивитесь, если я, въ видахъ воспособленія, рѣшаюсь, даже съ опасностью жизни, прибѣгать къ нѣкоторымъ побочнымъ средствамъ, которыя помогаютъ мнѣ имѣть при-

личную редакторскому званію одежду и удовлетворять издержкамъ представительства. Эти побочныя средства—вотъ они.

Онъ хлопнулъ довольно грязной рукой по правой щекѣ, и—о, чудо!—такса, которую мы до сихъ поръ видѣли лишь мысленными очами (только однажды я мелькомъ усмотрѣлъ одинъ параграфъ ея), вдругъ засвѣтилась, такъ что мы совершенно явственно прочитали:

Такса:

За словесное оскорбленіе укоризною въ недостаткѣ благовоспитанности и неимѣніи христіанскихъ правилъ. . .		20 к.
Тоже, съ упоминовеніемъ о родителяхъ.		50 „
Тоже, съ поднятіемъ руки, но безъ нанесенія.		75 „
За щелчокъ по носу или мазокъ по губамъ	1 р.	— „
Простая оплеуха.	1 „	50 „
Оплеуха ежели при оной получается ощущеніе перстней.	1 „	75 „
За нанесеніе по лицу удара рукой съ раскровяненіемъ или разсѣченіемъ какой-либо части онаго (носа, бровей, губъ и проч.)	3 „	— „
Тоже, сапогомъ, ...	3 „	50 „
За вымазаніе лица дегтемъ, саломъ, тѣстомъ и т. п. .	4 „	— „
Тоже, веществами, коихъ вывозъ въ дневное время воспрещается	5 „	— „
За окормленіе припасами, производящими тошноту . .	6 „	— „
За высѣченіе розгами, наединѣ, до 20-ти ударовъ и менѣе.	10 „	— „
За каждый ударъ, сверхъ 20-ти по	1 „	— „
Тоже, при благородныхъ свидѣтеляхъ	20 „	— „
За каждый ударъ, сверхъ 20-ти, по	2 „	— „
„ переломъ ребра.	30 „	— „
„ ударъ по головѣ съ проломомъ оной	50 „	— „

Примѣчаніе 1-е. Оскорбленія кнутомъ, кошками, полѣномъ или подворотнею не допускаются вовсе.

Примѣчаніе 2-е. Равнымъ образомъ воспрещаются: выколотіе глаза, откушеніе носа, отсѣченіе руки или ноги, отнятіе головы и проч. За всѣ таковыя поврежденія вознагражденіе опредѣляется по суду, по произнесеніи обвинительныхъ и защитительныхъ рѣчей, послѣ чего присяжные засѣдатели удаляются въ совѣщательную комнату и выносятъ обвиняемому оправдательный приговоръ.

— Кажется, такса не обременительная?—обратился онъ къ намъ, когда убѣдился, что мы имѣли время обдумать прочитанное.

— Не только не обременительная,—поспѣшилъ я успокоить его:—но даже, если можно такъ выразиться, соблазнительно умѣренная. Помилуйте! выполненіе по всей таксѣ стоитъ всего сто тридцать семь рублей двадцать

копѣекъ; а мало ли на свѣтѣ богатыхъ людей, которымъ ничего не стоитъ бросить такія деньги, лишь бы доставить себѣ удовольствіе!

— И бывали такія особы! — сказалъ онъ съ гордостью, и вслѣдъ затѣмъ съ горечью присовокупилъ: — бывали-съ... въ то время, когда нашъ рубль еще пользовался довѣріемъ на заграничныхъ рынкахъ!

— Но вѣроятно и такса ваша въ то время была соразмѣрно дешевле?

— Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ, милостивый государь! Увы, готовность получать оскорбленія съ каждымъ днемъ все больше и больше увеличивается, а предложеніе оскорбленій, напротивъ того, въ такой же пропорціи уменьшается!

— Но во всякомъ случаѣ, если вы позволите, я...

И я немедленно укорилъ его въ неимѣніи христіанскихъ правилъ и положилъ на столъ двугривенный.

— Что касается до меня,—присовокупилъ Глумовъ, соревнуя мнѣ: — то я нахожу, что въ вашей таксѣ всего поразительнѣе — это строгая постепенность вознагражденій. А потому, хотя я и не желаю упоминать о вашихъ родителяхъ, но прошу васъ счесть какъ бы я упомянулъ объ нихъ. Причемъ прилагаю полтинникъ.

Затѣмъ Балайкинъ, съ своей стороны, замахнулся (но безъ нанесенія) и отсчиталъ три четвертака. И такимъ образомъ, меньше чѣмъ въ минуту, безъ всякихъ безпокойствъ, добрый старикъ получилъ рубль сорокъ пять копѣекъ серебромъ, и вслѣдствіе этого совершенно воспрянулъ духомъ.

— Ну-съ! смотрите-ка теперь вотъ эту штучку!—весело сказалъ онъ, очевидно не желая оставаться у насъ въ долгу за причиненное одолженіе.

Онъ щелкнулъ себя по лѣвой щекѣ, и мы съ новымъ изумленіемъ увидѣли, что и на ней мгновенно начали выступать печатныя строки, такъ что черезъ минуту мы уже могли прочитать слѣдующее курьёзное объявленіе:

„КРАСА ДЕМИДРОНА“.

„Газета ассенизаціонно-любострастная, выходящая въ дни публичныхъ дракъ.

„Давно уже чувствуется въ нашей публикѣ потребность въ обстоятельныхъ свѣдѣніяхъ о происходящихъ въ здѣшней столицѣ дракахъ, а между тѣмъ органа, который удовлетворялъ бы таковому справедливому во всѣхъ отношеніяхъ желанію, или вовсе нѣтъ, или же существуютъ такіе, которые затемняютъ дѣло ненужными философическими размышленіями. Вознамѣрившись пополнить этотъ пробѣлъ, мы предприняли наше изданіе въ надеждѣ, что публика оцѣнитъ наши труды и не пожалѣетъ какихъ-нибудь трехъ рублей въ годъ, за которые получитъ чтеніе достаточно разнообразное и притомъ, чуждое всякихъ посягательствъ на потрясеніе чего бы то ни было. Мы не исчисляемъ здѣсь именъ нашихъ сотрудниковъ, но объявляемъ съ понятною гордостью, что большинство нашихъ литературныхъ дѣятелей обѣщало намъ свое благосклонное содѣйствіе, а знаменитый г. Зетъ даже обязался исключительно помѣщать у насъ распутные труды свои. Равнымъ образомъ мы не задаемся никакими широкими или утопическими задачами, а будемъ

преслѣдовать одну цѣль: угобженіе читателевой утробы. Въ этихъ видахъ газета наша доставитъ обильное и разнообразное чтеніе по нижеслѣдующимъ отдѣламъ:

„1) Свѣдѣнія о дракахъ въ публичныхъ мѣстахъ, съ подробнымъ изложеніемъ всѣхъ перипетій отъ начала до окончательной развязки. На мѣста дракъ будутъ на счетъ газеты командируемы талантливѣйшіе изъ нашихъ репортеровъ.

„2) Литературно-лакейское обозрѣніе всего происходящаго въ Демидовомъ саду и въ балаганахъ Егарева и Малафѣева. Отдѣломъ этимъ будетъ завѣдывать г. Зетъ.

„3) Адресы наилучшихъ кокотокъ, съ краткими ихъ біографіями и съ изложеніемъ приличествующихъ свѣдѣній. Изложеніе сіе мы, конечно, будемъ дѣлать съ соблюденіемъ требуемой приличіями тайны; но такъ какъ контора редакціи открыта для желающихъ ежедневно отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ пополудни, то въ ней всѣ необходимыя разъясненія могутъ быть даны за самое умѣренное вознагражденіе.

„4) Прогулка по трактирнымъ заведеніямъ, съ изложеніемъ цѣнъ на кушанья и напитки, указаніемъ на особенно замѣчательные предметы гастрономіи и увѣковѣченіемъ именъ расторопнѣйшихъ половыхъ и гарсоновъ. Само собой разумѣется, что особенное вниманіе будетъ обращено на тѣ трактиры, содержатели коихъ обяжутся взносить за сіе въ редакцію опредѣленное вознагражденіе, хотя бы въ кухняхъ ихъ и не было соблюдаемо надлежащей опрятности.

„и 5) Разное. Анекдоты, острыя слова, афоризмы, куплеты, ложные слухи, употребительнѣйшія средства для излеченія отъ любострастныхъ болѣзней и проч.

„Сроками выхода мы себя не стѣсняемъ; но такъ какъ въ дракахъ недостатка не бываетъ, то читатели могутъ быть увѣрены, что газета наша будетъ появляться чаще, нежели нужно.

„Редакторъ по найму: Иванъ Ивановъ Очищенный,

бывшій пронскій помѣщикъ, преданный суду за злоупотребленіе помѣщичьей властью, а впослѣдствіи тапёръ“.

Я не успѣлъ еще дочитать объявленія до конца, какъ Глумовъ уже тискалъ благороднаго отца въ своихъ объятіяхъ.

— Иванъ Иванычъ! да вѣдь это ты! ты! ты! ты! — восклицалъ онъ въ неописанномъ восхищеніи.

Глава V.

И такъ, загадка разъяснилась: передъ нами стоялъ бывшій Кубарихинъ тапёръ, свидѣтель игръ нашей молодости! Мы долго не могли придти въ себя отъ восхищенія и въ радостномъ умиленіи поочередно мяли его въ своихъ объятіяхъ. Да и онъ пришелъ въ неописанное волненіе, когда мы неопровержимыми фактами доказали, что никакое alibi въ настоящемъ случаѣ немыслимо.

— „Чижикъ, чижикъ! гдѣ ты былъ?“—помнишь? —допрашивалъ Глумовъ.

— Помню! — отвѣтилъ онъ, тщетно усиливаясь сообщить твердость дрогнувшему голосу.

— А помнишь ли, какъ я однажды поднесъ тебѣ рюмку водки, настоенную на воспламеняющихъ веществахъ, и какъ ты потомъ чуть съ ума не сошелъ!—припомнилъ и я съ своей стороны.

— Помню!

— А помнишь ли...

Словомъ сказать, припомнили такую массу забавныхъ и вполнѣ культурныхъ шутокъ, что у старика даже волосы дыбомъ встали.

— Тогда еще у меня таксы-то этой не было! — сказалъ онъ, но на этотъ разъ такъ благодушно, что не укоризна слышалась въ его голосѣ, а скорѣе благодарное воспоминаніе о шалостяхъ, свойственныхъ юношамъ, получившимъ образованіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

— Иванъ Иванычъ! какъ ты выросъ! похорошѣлъ! —тормошилъ его Глумовъ.

— И какъ отлично одѣтъ!—присовокупилъ я:—точно сбираешься въ первый разъ показать свою дочь на балѣ у Кессенихъ!

Но послѣднія слова словно обожгли его. Онъ грустно взглянулъ на насъ, и крупныя слезы полились изъ его глазъ, постепенно подмачивая объявленіе объ изданіи газеты „Краса Демидрона“.

— Друзья! не растравляйте старыхъ, но незажившихъ еще ранъ!—обратился онъ къ намъ совершенно растроганный:—дочь, о которой вы говорите, дочь, которая была украшеніемъ баловъ Марцинкевича—ея уже нѣтъ! И моей милой, бѣленькой Амаліи, которая угощала васъ, господинъ Глумовъ, шмандткухеномъ—и ея уже нѣтъ! Всѣхъ, всѣхъ пережило это бѣдное, старое сердце... и не разбилось! О, это было хорошее, свѣтлое, счастливое время, несмотря на то, что я тогда носилъ фракъ, перешитый изъ вицмундира, оставшагося послѣ титулярнаго совѣтника Поприщина!

— Но теперь... развѣ ты не счастливъ?

— О, теперь!!! теперь я—только тѣнь того веселаго Ивана Иваныча, котораго вы когда-то знавали въ этой самой квартирѣ! Хотя же по наружности я и имѣю видъ благороднаго отца, но въ сущности я—таперъ болѣе нежели когда-либо!

— Но отчего же ты помолодѣлъ?

— Такова воля Провидѣнія, которое невидимо утучняетъ меня, дабы хотя отчасти вознаградить за претерпѣваемыя страданія. Ибо спрашиваю я васъ по совѣсти—какое можетъ быть страданіе горше этого: жить въ постоянномъ соприкосновеніи съ гласною кассою ссудъ и въ то же время получать не болѣе двадцати-пяти рублей въ мѣсяцъ, уплачивая изъ нихъ же около двадцати на свое иждивеніе?

— Послушай, Ваня! да неужели же бѣленькая, маленькая Мальхенъ до того переродилась, что сдѣлалась содержательницей гласной кассы ссудъ?

— Мальхенъ—никогда! Мальхенъ смотритъ теперь съ небеси—и ни-

чего не видитъ! А содержательница гласной кассы ссудъ—это Матрена Ивановна!

— Такъ ты, значитъ, женился въ другой разъ? Да разскажи же, братецъ, разскажи!

— Это тяжелая и скорбная исторія, которую я впрочемъ охотно разсказываю всякому, кто предлагаетъ мнѣ серьезное угощеніе. И если вы желаете назначить мнѣ день и часъ въ „Старомъ Пекинѣ“ или въ гостинницѣ „Москва“, то я — готовъ!

— Но отчего жъ не теперь?—прервалъ Балалайкинъ, вдругъ проникшійся чувствомъ великодушія:— по счастливой случайности, я сегодня совершенно свободенъ отъ хожденія, а что касается до угощенія, то навѣрное я удовлетворю васъ несравненно лучше, нежели какой-нибудь „Пекинъ“!

И мы, и Очищенный охотно согласились. Балалайкинъ хлопнулъ въ ладоши, и по знаку его два лжесвидѣтеля втащили въ комнату громадный подносъ, уставленный водками и закусками, а два другихъ лжесвидѣтеля послѣдовали за первыми съ другимъ подносомъ, обремененнымъ разнообразнымъ холоднымъ мясомъ.

— Рекомендую!—пригласилъ насъ Балалайкинъ:—вотъ эта икра презентована мнѣ Вьюшинымъ за поздравленіе его съ днемъ ангела, а этотъ балыкъ присланъ прямо изъ Кокана бывшимъ мятежнымъ ханомъ Насръ-Эддиномъ за то, что я подыскалъ ему невѣсту. Хотите, я прочту вамъ его рескриптъ?

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Я всегда держу его въ карманѣ, какъ свидѣтельство, что всѣ порученія исполняются мною безъ обмана. Вотъ этотъ рескриптъ:

Копія.

„Достопочтенному, могущественному и милостивому господину аблакату Балалайкѣ, въ Питембурхи.

„Свѣтъ очей моихъ, господинъ аблакатъ Балалайка!

„Докладываю вамъ, что присланную при письмѣ дѣвицу Людмилу мы въ сохранности получили, и все, что, по описи, той дѣвицѣ принадлежитъ— все оное оказалось исправно. И пишете вы намъ, что оная Людмила есть дочь кіевскаго князя Свѣтозара, а въ плакатѣ значится: дочь фейерверкера. И для насъ это все единственно, а такъ только къ слову о семъ упоминаемъ, что обманули вы насъ. А впрочемъ, съ тѣхъ поръ, какъ мы, послѣ пораженія нашихъ войскъ подъ Махрамомъ, въ вѣрное подданство Россіи перешли и подъ власть капитанъ-исправника Сидора Кондратьича подведены, въ первый разъ, по милости оной дѣвицы Людмилы, восчувствовали, что и горесть не безъ утѣшенія бываетъ. И за все то ваше одолженіе и причиненную намъ радость жалуемъ тартунъ (приношеніе): одинъ глиняный кувшинъ воды и балыкъ вѣсомъ двадцать фунтовъ. Ахъ, отмѣнна балыкъ!

„За симъ, да спасетъ васъ Аллахъ, а я того желаю.

„Бывшій мятежный, а нынѣ вѣрный господина моего Сидора Кондратьича слуга *Сеидъ-Магометъ-Насръ-Эддинъ*, лжеханъ“.

— Зачѣмъ же онъ воды-то кувшинъ прислалъ?—полюбопытствовалъ я.

— А у нихъ вода въ рѣдкость — вотъ онъ и вообразилъ, что и невѣсть какъ мнѣ этимъ угодитъ. Хотите, я и кувшинъ покажу?

— Пожалуйста!

Принесли кувшинъ, осмотрѣли. Кувшинъ какъ кувшинъ, только сырой глиной воняетъ.

— Да, господа, немало-таки было у меня возни съ этимъ ханомъ!—сказалъ Балалайкинъ: — трехъ невѣстъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ ему переслалъ—и все мало! Теперь четвертую подыскиваю!

— Осмѣлюсь вамъ доложить,—предложилъ Очищенный:—есть у меня на примѣтѣ дѣвица одна, которая въ отъѣздъ согласна... ахъ, хороша дѣвица!

— Прекрасно-съ, будемъ имѣть въ виду. Однако, признаюсь вамъ, и безъ того отбою мнѣ отъ этихъ невѣстъ нѣтъ. Каждое утро весь Фонарный переулокъ такъ и ломится въ дверь. Даже молодые люди приходятъ—право! звонокъ за звонкомъ.

— Странно однакожъ, что за всѣ эти хлопоты онъ васъ балыкомъ да кувшиномъ воды отблагодарилъ!—удивился Глумовъ.

— Que voulez-vous, mon cher! Эти ханы... нѣтъ въ мірѣ существъ неблагодарнѣе ихъ! Впрочемъ онъ мнѣ еще пару шакаловъ прислалъ, да чорта ли въ нихъ! Позабавился нѣсколько дней, поѣздилъ на нихъ по Невскому, да и отдалъ Росту въ Зоологическій садъ. Главное дѣло, завываютъ какъ-то — ну, и кучера искусали. И представьте себѣ, кромѣ бифштексовъ ничего не ѣдятъ, канальи! И непремѣнно чтобъ изъ кухмистерской Завитаева—извольте-ка отсюда на Пески три раза въ день посылать!

— Тсс...

— А вотъ эти кильки... это достопримѣчательность! Я ихъ самъ, собственными руками прошлымъ лѣтомъ ловилъ. Вы знаете, вѣдь я-было въ политикѣ попался... какъ же! да! Ну, и надобно было за границу удирать. Нанялъ я, знаете, живымъ манеромъ чухонца: айда, мина нуси, сколько, шельма бѣлоглазая, возьмешь Балтійское море переплыть? Взялъ онъ съ меня тысячу рублей денегъ да водки ведро, уложилъ меня на дно лодки, прикрылъ рогожкой — валяй по всѣмъ по тремъ! Только какъ къ острову Готланду стали подъѣзжать — тогда выпустилъ. Тутъ-то я и ловилъ кильку, покуда не обнаружилось, что вся эта исторія — одно недоразумѣніе. Да, господа, испыталъ я въ то время! Какъ ни хорошо за границей, а все-таки съ милой родиной разставаться тяжело! Ѣхали мы, знаете, мимо Кронштадта — съ одной стороны Кронштадтъ, съ другой Свеаборгъ—а я лежу и думаю: вдругъ выпалитъ? Вѣдь броненосцевъ пробиваетъ—а мы... что̀ такое мы?!

— Не выпалилъ?

— Нѣтъ, зазѣвались. Помилуйте! броненосцевъ пропускаетъ, а наша лодка... представьте себѣ, орѣховая скорлупа — вотъ какая у насъ была лодка! И вдобавокъ поминутно открывается течь! А впрочемъ я тогда воспользовался, поѣздилъ-таки по Европѣ! Въ Женевѣ былъ—часы купилъ, а потомъ проѣхалъ въ Парижъ—такую, я вамъ скажу, коллекцію фотографическихъ карточекъ пріобрѣлъ—пальчики оближете!

При упоминовеніи о карточкахъ Очищенный сладострастно зачавкалъ зубами.

— Мнѣ бы...—промолвилъ онъ, собираясь чихнуть.

— Покажу-съ! я вамъ, господа, все покажу, всѣ мои коллекціи! Такія карточки есть, что даже постичь невозможно - parole d'honneur! Позвольте, что̀ тамъ еще такое? ба! кажется, семга? Обращаю ваше вниманіе на нее, messieurs! Эту самую семгу Немировичъ-Данченко собственными руками изловилъ! Мы съ нимъ вмѣстѣ въ Соловкахъ были, пиво-медъ пили, по усамъ текло, въ ротъ не попало — такъ вотъ онъ, на память связывающихъ насъ узъ, изловилъ и прислалъ! Теперь отъ нея только хвостъ остался—но удивительный! Немировичъ предиковинные анекдоты объ этой семгѣ разсказываетъ. Уморительная, говоритъ, рыба! и умна... совсѣмъ какъ человѣкъ! Сидишь этакъ на берегу моря, разложишь костеръ, вскипятишь въ котелкѣ воду и кликнешь: ись! Ну, она видитъ, что ее-то именно и недостаетъ, чтобъ вышла уха—сейчасъ сама, живая, и приплыветъ! Клянусь! хотите, я васъ съ Немировичемъ познакомлю?

— Непремѣнно! Хотимъ! хотимъ!

— На дняхъ ваше желаніе будетъ выполнено. А вотъ эти фиги мнѣ Эюбъ-паша презентовалъ... Теперь впрочемъ не слѣдовало бы объ этомъ говорить—война!—ну, да вѣдь вы меня не выдадите! Да вы попробуйте-ка!ароматъ-то какой!

— Эюбъ-то за что̀ же вамъ подарки дѣлаетъ?

— А я тутъ ему одно свѣдѣньице въ дипломатическихъ сферахъ вывѣдалъ... та̀къ, пустячки!

— Балалайкинъ! пощадите! вѣдь вы себя въ измѣнѣ отечеству обличаете!—воскликнули мы въ ужасѣ.

— Ah, mais entendons-nous! Я, дѣйствительно, свѣдѣньице для него вывѣдалъ, но онъ черезъ это самое свѣдѣньице сраженье потерялъ—помните въ томъ ущеліи, какъ-бишь его?.. Нѣтъ, господа! я вѣдь въ этихъ дѣлахъ остороженъ! А онъ мнѣ, между прочимъ, презентъ! Однако я его и тогда предупреждалъ. Ну, куда ты, говорю лѣзешь, скажи на милость! вѣдь если ты проиграешь сраженіе — тебя турки судить будутъ, а если выиграешь — образованная Европа судить будетъ! Подавай-ка лучше въ отставку!

— Не послушался?

— Не послушался—и проигралъ! А жаль Эюба, до слезъ жаль! Лихой малый и даже на турку совсѣмъ не похожъ! Я съ нимъ вмѣстѣ въ баню ходилъ — совсѣмъ какъ есть человѣкъ! только тѣло голубое, совершенно какъ наши жандармы въ прежней формѣ, до преобразованія!

Балалайкинъ на минуту задумался, какъ бы захлебнувшись. Очевидно лганье плыло на него съ такой быстротой, что онъ не успѣвалъ справиться съ массами безпрерывно вырабатывающагося матеріала.

Да, господа, много-таки я въ своей жизни перипетій испыталъ! — началъ онъ вновь: — въ Березовъ сосланъ былъ, пробовалъ картошку тамъ акклиматизировать—не выросла! Но за то много и радостей извѣдалъ! Напримѣръ, восходъ солнца на берегахъ Ледовитаго океана—это что̀ же такое! Представьте себѣ, въ одно и то же время и восходитъ и заходитъ—гдѣ это увидите? Оттого тамъ никто и не спитъ. Зимой спятъ, а лѣтомъ тюленей ловятъ!

— Желалъ бы я знать: тюленье мясо — пріятно оно на вкусъ? — полюбопытствовалъ Очищенный.

— Мыломъ отдаетъ, а впрочемъ мы съ Немировичемъ ѣли. Немировичъ, Латкинъ и я. Тамъ, батюшка, лѣтомъ семьдесятъ-три градуса морозу бываетъ, а зимой — это чтòжъ! Такъ тутъ и тюленинѣ будешь радъ. Я однажды тамъ носъ отморозилъ: высморкался—смотрю, анъ носъ въ рукѣ!

— Ахъ, чортъ побери!

— Да, батюшка. Къ счастью, я сейчасъ же нашелся: взялъ тепленькаго тюленьяго маслица, помазалъ, приставилъ—и вотъ какъ видите!

Онъ предложилъ намъ освидѣтельствовать свой носъ: дѣйствительно, нельзя было даже заподозрить, чтобъ тутъ когда-нибудь пустое мѣсто было.

— Всего я испыталъ! и на золотыхъ пріискахъ былъ: такіе, я вамъ скажу, самородки находилъ, что за одинъ мнѣ разомъ пять лѣтъ каторги сбавили. Теперь онъ въ горномъ институтѣ, въ музеѣ, лежитъ.

— Гм... да? А скажите пожалуйста, слыхивалъ я, что на пріискахъ рабочіе это самое золото очень искусно скрываютъ. Возьметъ, будто бы, иной золотничекъ или два песочку и такъ спрячетъ, что никакими, то-есть, средствами... Правда ли это?

— Не по золотничку, а фунтовъ по пяти разомъ прячутъ — вотъ я вамъ какъ скажу! Я самъ... да чтò тутъ! вы думаете, состояніе-то мы откуда? Обстановка эта и все?..

— Неужто?

— Все оттуда! тамъ всему начало положено, тамъ-съ! Отыскивая для мятежныхъ хановъ невѣстъ, немного наживешь! Чорта съ два — наживешь тутъ! Тамъ—все; и связи мои всѣ тамъ начались! Я теперь у всѣхъ золотопромышленниковъ по всѣмъ дѣламъ повѣреннымъ состою: женамъ шляпки покупаю, мужьямъ—прически. Сочтите, сколько я за это одного жалованья получаю? А рябчики сибирскіе? а нельма?—это не въ счетъ! Мнѣ намеднись купецъ Трапезниковъ мамонтовъ зубъ изъ Иркутска въ подарокъ прислалъ—хотите, покажу?

— Ахъ, сдѣлайте ваше одолженіе!

— И покажу, если впрочемъ въ Зоологическій садъ не отдалъ. У меня денегъ прòпасть, на сто лѣтъ хватитъ. Въ прошломъ году я въ Ниццу ѣздилъ — смотрю, на горѣ у самаго въѣзда зàмокъ Одиффрé стоитъ. Спрашиваю: чтò стòитъ? — милліонъ двѣсти тысячъ! Дѣлать нечего, вынулъ изъ кармана деньги и отсчиталъ!

— Ахъ, Господи!

Очищенный не выдержалъ: всталъ съ кресла и перекрестился.

— Видалъ я, господинъ Балалайкинъ! даже очень часто видалъ!—сказалъ онъ,—но, признаюсь...

— Я въ Ниццѣ двадцать лѣтъ жилъ, такъ всѣ даже удивлялись. Оркестръ у меня былъ, концерты по пятницамъ...

Балалайкинъ постепенно вошелъ въ такой экстазъ, что пѣна у него показалась у рта. Тяжело становилось.

— Скажите, Балалайкинъ, кàкъ вамъ приходится покойный Репетиловъ?—спросилъ я, чтобы какъ-нибудь разрѣдить атмосферу лганья.

— Репетиловъ? мнѣ? Помилуйте! да онъ меня отъ купели воспринималъ! Но, кромѣ того, и еще чѣмъ-то приходился. Нашъ родъ очень древній! Мы—пронскіе—Прокопа Ляпунова помните?—ну, такъ мы всѣ по женской линіи отъ него. Молчалины, Репетиловы, Балалайкины, Фамусовы—всѣ! А Чацкій Александръ Андреичъ—тотъ на границѣ съ Скопинскимъ уѣздомъ!

— А знаете ли, Балалайкинъ, что про васъ, пронскихъ, дурная слава идетъ?

— Это что лгуны-то мы, что̀-ли? Да, нечего сказать, любятъ-таки мои соотечественники поврать! Представьте себѣ, на дняхъ какой случай былъ. Пріѣзжаетъ ко мнѣ одинъ компатріотъ: „знаешь ли, говоритъ, что твоя родительница опять къ Илюшкѣ Соколову въ таборъ сбѣжала?“ *) Натурально, сейчасъ же телеграмму въ триста-тридцать словъ къ Загорѣцкому: такъ и такъ, нельзя ли предовратить? И что-жъ? ровно черезъ годъ получаю отвѣтъ: „Помилуй, сердечный другъ! твоя родительница вотъ уже третій годъ, какъ безъ ногъ въ Пронскѣ на постояломъ дворѣ лежитъ!“ Нѣтъ, вы мнѣ скажите, зачѣмъ онъ мнѣ солгалъ?! Взбудоражилъ, заставилъ горячку пороть? а?

Бесѣдуя такимъ образомъ, мы и не замѣтили, какъ съѣли и выпили все, что̀ находилось на подносахъ. Наконецъ Глумовъ первый опомнился.

— А вѣдь мы сѣли совсѣмъ не съ тѣмъ, чтобы пронское вранье слушать,—сказалъ онъ.—Иванъ Иванычъ! ты, кажется, намъ исторію своихъ превращеній обѣщалъ?

— Я готовъ!

— Такъ вотъ что̀, Балалайкинъ! велите-ка вы намъ подать тѣхъ сигаръ, которыя вамъ гаванскій губернаторъ за лжесвидѣтельство прислалъ, да ликерцу того, который вамъ подарилъ Эрберъ за написаніе объявленія о распродажѣ винъ и ликёровъ!—безъ церемоніи распорядился Глумовъ.

Мы перешли въ кабинетъ Балалайкина, и хотя онъ умолялъ насъ прежде всего просмотрѣть пріобрѣтенную имъ въ Парижѣ коллекцію фотографическихъ картинокъ, но мы переломили себя и отложили это благонамѣренное занятіе до болѣе благопріятнаго времени. Усѣвшись кругомъ стола, покуривая удивительнѣйшія „non plus ultra“ и имѣя передъ собой рюмки съ душистымъ ликеромъ des îles, мы были совершенно готовы къ воспріятію исповѣди вольнонаемаго редактора газеты „Краса Демидрона“.

— Разсказывай-ка, Иванъ Иванычъ, разсказывай, братъ! — молвилъ Глумовъ, усаживаясь поудобнѣе въ кресло и зажмуривая глаза.

Очищенный началъ.

---

*) Для уразумѣнія этого необходимо напомнить читателю, что Балалайкинъ—сынъ извѣстной когда-то въ Москвѣ цыганки Стешки, бывшей, до выхода въ замужество за провинціальнаго секретаря Балалайкина, въ интимныхъ отношеніяхъ съ Репетиловымъ, вслѣдствіе чего Балалайкинъ и говоритъ, что Репетиловъ ему, „кромѣ того, еще чѣмъ-то приходится“ (См. „Экскурсіи въ область умѣренности и аккуратности“).

Глава VI.

„Я—отпрыскъ старпннаго дворянскаго рода, и настоящая, коренная моя фамилія—Гадюкъ. Очищенными же мы стали зваться недавно, по одному особенному случаю, о которомъ я упомяну въ своемъ мѣстѣ.

„Насчетъ происхожденія моихъ предковъ существуютъ два сказанія: одно, мало достовѣрное, принадлежитъ маститому историку изъ Москвы; другое, еще менѣе достовѣрное, сложилось здѣсь, въ Петербургѣ.

„Маститый московскій историкъ производитъ нашъ родъ изъ до-историческаго Новгорода. Былъ-де новгородскій „благонамѣренный человѣкъ" (а по другимъ источникамъ—„воръ"), Добромыслъ Гадюкъ, который прежде другихъ возъимѣлъ мысль о призваніи варяговъ, о чемъ и сообщилъ на вѣчѣ прочимъ новгородскимъ обывателямъ. „Съ незапамятныхъ временъ,—сказалъ онъ,—варяги учатъ насъ уму-разуму: жгутъ города и села, грабятъ имущества, мужей убиваютъ, женъ насилуютъ, но и за всѣмъ тѣмъ ни ума, ни разума у насъ нѣтъ. Какъ вы, други милые, полагаете, отчего?" Но такъ какъ новгородцы, вмѣсто отвѣта, только почесали въ затылкахъ, то Гадюкъ продолжалъ: „А я такъ знаю, отчего. Оттого, други милые, что хоть и учатъ насъ варяги уму-разуму, но методы правильной у нихъ нѣтъ. Грабятъ—не чередомъ, убиваютъ—не ко времени, насилуютъ—не по закону. Ну, и выходитъ, что мы ихней науки не понимаемъ, а они растолковать ее намъ не могутъ или не хотятъ. Такъ ли я, братцы, говорю?" Дрогнули сердца новгородцевъ, однако поняли вольные вѣчевые люди, что Гадюкъ говоритъ правду, и въ одинъ голосъ воскликнули: „Такъ!" — „Такъ вотъ что̀ я надумалъ: пошлемте-ка мы къ варягамъ ходоковъ и велимъ сказать: господа варяги! чѣмъ набѣгомъ-то насъ разорять, разоряйте вплотную: грабьте имущество, жгите города, насилуйте женъ, но только чтобъ дѣлалось у насъ все это на предбудущее время... по закону! Такъ-ли я говорю?" Опять дрогнули сердца новгородцевъ, но такъ какъ Гадюкова правда была всѣмъ видима, то и опять всѣ единогласно воскликнули: „такъ!" Тогда выступилъ впередъ старѣйшина Гостомыслъ и вопросилъ: „А почему ты, благонамѣренный человѣкъ Гадюкъ, полагаешь, что быть ограбленнымъ по закону лучше, нежели безъ закона?" На что̀ Гадюкъ отвѣтилъ кратко: „Какъ же возможно! по закону или безъ закона! по закону—всѣмъ вѣдомо—лучше!" И подивились новгородцы Гадюковой мудрости, и порѣшили: призвать варяговъ и предоставить имъ города жечь, имущества грабить, женъ насиловать—по закону!

„Сказано—сдѣлано. Прибыли изъ-за моря три князя: Рюрикъ — въ Новгородъ, Синеусъ—въ Ладогу, Труворъ—въ Изборскъ. Пріѣхали и легли съ дороги спать. Только спятъ они и видятъ во снѣ всѣ трое одинъ и тотъ же рядъ картинъ, преобразующихъ будущія судьбы ихъ новаго отечества. Сначала удѣльный періодъ — князья жгутъ, потомъ татарскій періодъ — татары жгутъ; потомъ московскій періодъ — жгутъ, въ рѣкѣ топятъ и въ синодики записываютъ; потомъ самозванщина—жгутъ, кресты цѣлуютъ, бороды другъ у дружки по волоску выщипываютъ; потомъ лейбъ-кампанскій періодъ — жгутъ, бьютъ кнутомъ, отрѣзываютъ языки, раздаютъ мужиковъ и пьютъ венгерское; потомъ наказъ намѣстникамъ: „како въ благопотребное

время на законы наступать надлежитъ"; потомъ учрежденіе губернскихъ правленій: „како таковымъ благопотребнымъ на законъ наступаніямъ приличное въ законахъ же оправданіе находить"; а наконецъ и появленіе прокуроровъ: „како безъ надобности въ сѣти уловлять". Вскочили три брата въ смущеніи великомъ и не знаютъ, какъ быть. Думаютъ: а что, коли ежели изъ-за насъ вся эта программа да выполнится? И стали они тосковать. Первый затосковалъ Синеусъ въ Ладогѣ—и утопился въ озерѣ; второй затосковалъ Труворъ въ Изборскѣ — и повѣсился на возжахъ. Рюрикъ же, какъ имѣлъ умъ свободный, сразу принять напрасную смерть не пожелалъ. Созвалъ онъ вѣче и обратился къ нему съ слѣдующею рѣчью: „Видѣлъ я, господа новгородцы, на новосельи у васъ нехорошій сонъ! Будто бы черезъ меня по всей Руси губернскія правленія пошли, а потомъ и палаты государственныхъ имуществъ. И такъ меня этотъ сонъ разстроилъ, что ужъ и не знаю, какъ съ собой благороднѣе порѣшить: утопиться или повѣситься?" Но новгородцы, видя, что у князя ихняго умъ свободный, молчали, а про себя думали: неровёнъ случай, и съ петли сорвется, и изъ воды сухъ выйдетъ — какъ тутъ совѣтовать! Гостомыслъ же произнесъ: „гм!" —и тутъ же испустилъ духъ. Тогда выступилъ впередъ благонамѣренный человѣкъ Гадюкъ и за всѣхъ отвѣтилъ: „А по моему, ваше сіятельство, если вся эта программа и подлинно впослѣдствіи выполнится, такъ и тутъ ни топиться, ни вѣшаться резону нѣтъ!" Задумался Рюрикъ; по нраву пришлись ему Гадюковы слова, но, съ другой стороны, думается: удѣльный періодъ, московскій періодъ, татарскій періодъ... нехорошо! Какъ бы такъ устроить, чтобы всю вину на самихъ новгородцевъ свалить? „Помилуй, братецъ,—говоритъ,—вѣдь во всѣхъ учебникахъ будетъ записано: вотъ какія дѣла черезъ Рюрика пошли! школяры во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ будутъ долбить: обѣщался-де Рюрикъ по закону грабить, а вонъ что вышло!" — „А наплевать! пускай ихъ долбятъ!" —настаивалъ благонамѣренный человѣкъ Гадюкъ: „вы, ваше сіятельство, только бразды покрѣпче держите, и будьте увѣрены, что черезъ тысячу лѣтъ на этомъ самомъ мѣстѣ"... Тогда Рюрикъ совсѣмъ уже повеселѣлъ: „Видѣлъ я и это во снѣ— прервалъ онъ Гадюка,—даже художника Микѣшина видѣлъ, но, по скромности, о семъ умолчалъ. Такъ какъ же, господа новгородцы? По вашему, стало быть, наплевать?" — „Наплевать!" —повторилъ Гадюкъ. И опять подивились новгородцы Гадюковой мудрости и въ одинъ голосъ воскликнули: „Такъ! наплевать!" Рюрикъ же, натянувъ бразды, сказалъ: „Инъ быть по вашему!" и началъ дѣйствовать—по закону!"

— Такъ вотъ каковъ былъ мой первый достовѣрный предокъ!—заключилъ Очищенный, оглядывая насъ торжествующимъ взглядомъ и на минуту прерывая разсказъ, дабы удостовѣриться, какое впечатлѣніе произвела на насъ его генеалогія.

Впечатлѣніе это было разнообразное. Балалайкинъ — повѣрилъ сразу, и былъ такъ польщенъ, что у него въ гостяхъ находится человѣкъ столь несомнѣнно-древней высокопоставленности, что въ знакъ почтительной преданности распорядился подать шампанскаго. Глумовъ, по обыкновенію своему, отнесся равнодушно и даже пожалуй скептически. Но я... я припоминалъ!

Что-то такое было! говорилъ я себѣ. Гдѣ-то въ прошломъ, на школьной скамьѣ... было, именно было!

— Глумовъ! не помнишь ли?—обратился я къ моему другу.

Не успѣлъ я произнести эти слова... и вдругъ вспомнилъ! Да, это оно, оно самое! Помилуйте! вѣдь еще въ школѣ меня и моихъ товарищей по классу сочиненіе заставляли писать на тему: „Вѣщій сонъ Рюрика"... о, Господи!

— Глумовъ! да неужто же ты не помнишь? еще мы съ тобой соперничали: ты утверждалъ, что вѣче происходило при солнечномъ восходѣ, а я — что при солнечномъ закатѣ? А „крутые берега Волхова, медленно катившаго мутныя волны"... помнишь? А „золотой Рюриковъ шеломъ, на которомъ, играя, преломлялись лучи солнца"? Еще Аверкіевъ, изображая смерть Гостомысла, написалъ: „слезы тихо струились по челу его"... неужто не помнишь?

Въ виду столь ясныхъ указаній Глумовъ мгновенно преобразился. Сладко намъ было, отрадно. Подъ вліяніемъ наплыва чувствъ мы оба вскочили съ мѣстъ и поцѣловались.

— Помню! все помню! И „шеломъ Рюрика", и „слезы, струившіяся по челу Гостомысла"... помню! помню! помню! — твердилъ Глумовъ въ восхищеніи.—Только, братъ, вотъ что: не изъ „Марѳы" ли это „Посадницы" было?

— Помилуй, душа моя! именно изъ „Рюрикова вѣщаго сна"! Мнѣ впослѣдствіи самъ маститый историкъ всю эту продѣлку разсказывалъ... онъ по источникамъ ее проштудировалъ! Онъ, братецъ, даже съ Оффенбахомъ списывался: нельзя ли, молъ, на этотъ сюжетъ оперетку сочинить? И еслибы смерть не пресѣкла дней его въ самомъ разгарѣ подъятыхъ трудовъ...

— А что ты думаешь! вѣдь сюжетъ для оперетки—хоть куда!

— Это, мой другъ, такой сюжетъ! такой сюжетъ! Еслибъ только растолковать Оффенбаху какъ слѣдуетъ! Представь себѣ, напримѣръ, хоръ помпадуровъ! или хоръ капитанъ-исправниковъ! или хоръ судебныхъ слѣдователей по особенно важнымъ дѣламъ! Вѣдь это что такое!

— Отлично - что и говорить! Да, братъ, изумительный былъ человѣкъ этотъ маститый историкъ: и науку, и свистопляску — все понималъ! А исторію русскую какъ зналъ—даже повѣрить трудно! Начнетъ, бывало, разсказывать, какъ Мстиславы съ Ростиславами дрались — ну, точно самъ очевидцемъ былъ! И что въ немъ особенно дорого было: ни на чью сторону не норовилъ! Мнѣ, говоритъ, все одно: Мстиславъ ли Ростислава, или Ростиславъ Мстислава побилъ, потому что для меня что исторіей заниматься, что бирюльки таскать—все единственно!

— Да вѣдь, въ сущности, оно...

Словомъ сказать, мы бы навѣрное увлеклись воспоминаніями, еслибъ Очищенный не напомнилъ, что ему предстоитъ еще многое разсказать. Исполнивши это, онъ продолжалъ:

„Другое сказаніе насчетъ происхожденія моихъ предковъ сложилось на лонѣ той сыскной исторической школы, которая хотя и имѣетъ своимъ родоначальникомъ Бартенева изъ Москвы, но развилась и настоящимъ образомъ возмужала здѣсь, въ Петербургѣ. Сказаніе это гласитъ кратко: первый

Гадюкъ былъ выходецъ изъ Орды, который по распоряженію начальства познал Истиннаго Бога, при чемъ воспріемниками были: генералъ-маіоръ Отчаянный и княжна Вертихвостова. Впрочемъ мемуары послѣдней уже предоставлены потомками ея въ распоряженіе „Русской Старины“ и, безъ сомнѣнія, прольютъ свѣтъ на это замѣчательное происшествіе.

„Я не буду говорить о томъ, которое изъ этихъ двухъ сказаній болѣе лестно для моего самолюбія: и то, и другое не помѣшали мнѣ сдѣлаться вольнонаемнымъ редакторомъ „Красы Демидрона“. Да и не затѣмъ я повелъ рѣчь о предкахъ, чтобы хвастаться передъ вами — у каждаго изъ васъ самихъ навѣрное сзади, по крайней мѣрѣ, по Редедѣ сидитъ — а только затѣмъ, чтобы наглядно показать, къ какимъ полезнымъ и въ то же время неожиданнымъ результатамъ могутъ приводить достовѣрныя изслѣдованія о родопроисхожденіи Гадюковъ.

„Затѣмъ, относительно позднѣйшихъ моихъ предковъ, и Москва, и Петербургъ во всемъ между собой согласны. Однимъ изъ нихъ выщипывали бороды, другимъ—рвали ноздри, третьихъ – били кнутомъ нещадно. Нѣкоторые однакожъ уцѣлѣли и были жалованы деревнями, гдѣ, въ свою очередь, выщипывали бороды, рвали ноздри и били нещадно кнутомъ. Словомъ сказать, въ моемъ родѣ все шло обыкновеннымъ генеалогическимъ порядкомъ, какъ и у всѣхъ вообще Гадюковъ, „отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды“. Но въ первой половинѣ прошлаго столѣтія, въ царствованіе Елисаветы, случилось нѣчто особенное. Прадѣдъ мой, штабсъ-капитанъ Прокофій Гадюкъ, будучи въ пьяномъ видѣ, измѣнныя рѣчи говорилъ, а сынъ его, Артамонъ, не только о семъ не умолчалъ, но съ представленіемъ ясныхъ отцовой измѣны доказательствъ донесъ по начальству. Вслѣдствіе таковаго любезно-вѣрнаго поступка Прокофій, по наказаніи кнутомъ и урѣзаніи языка, былъ сосланъ въ заточеніе въ Березовъ, Артамону же было предоставлено: упразднивъ прежнее прозвище „Гадюкъ“, яко омраченное измѣною, впредь именоваться Очищеннымъ. Такъ вотъ откуда происходитъ фамилія Очищенныхъ, а совсѣмъ не отъ водки одного съ нею наименованія.

„Очищенные свили себѣ гнѣздо въ Лебедянскомъ уѣздѣ, интеллигенція котораго изстари славилась гостепріимствомъ и наклонностью къ игрѣ крапленными картами, чему въ особенности содѣйствовали: существованіе въ городѣ Лебедяни ярмарки и близость Липецкихъ минеральныхъ водъ. Натурально и отецъ мой не могъ противостоять общему настроенію умовъ. Фортуна благопріятствовала ему. Долгое время нашъ домъ стоялъ на такой высотѣ, что даже въ такихъ отдаленныхъ уголкахъ Тамбовской губерніи, каковы уѣзды Елатомскій и Шацкій—и тамъ гордились Очищенными. Тѣмъ не менѣе я долженъ сознаться, что въ 1830 году мой отецъ скончался, получивъ ударъ подсвѣчникомъ въ високъ и проживъ предварительно все свое состояніе, за исключеніемъ 30-ти душъ, на долю которыхъ и выпала обязанность лелѣять мою молодость.

„Мнѣ было тогда двадцать лѣтъ и я служилъ юнкеромъ въ бѣлобородовскомъ гусарскомъ полку...“

Очищенный поникъ головою и умолкъ. Мысль, что онъ въ 1830 году остался сиротой, видимо подавляла его. Слезъ, правда, не было видно, но

въ губахъ замѣчалось нервное подергиванье, какъ у человѣка, которому инстинктъ подсказываетъ, что въ такихъ обстоятельствахъ только рюмка горькой англійской можетъ принести облегченіе. И дѣйствительно, какъ только желаніе его было удовлетворено, такъ тотчасъ же почтенный старикъ успокоился и продолжалъ:

„Воспитаніе я получилъ классическое, но безъ древнихъ языковъ. Въ то время взглядъ на классицизмъ былъ особенный; всякій, кто обнаруживалъ вкусъ къ женскому полу и притомъ зналъ, что Венера индѣ называется Афродитою, тѣмъ самымъ уже пріобрѣталъ право на наименованіе классика. Все же прочее, болѣе серьезное, какъ-то: „o, tempora! o, mores!“, „sapienti sat“, „caveant consules“ и т. д., которыми такъ часто нынѣ украшаются столбцы „Красы Демидрона“ — все это я почерпалъ уже впослѣдствіи изъ „Московскихъ Вѣдомостей“.

„Вслѣдъ за отцомъ послѣдовала въ могилу и матушка. Существовать въ полку было нечѣмъ, и я рѣшился выйти въ отставку и поселиться въ деревнѣ. Но тридцать душъ, даже и въ то время, представляли собой только обезпеченный хлѣбъ и квасъ, а я былъ настолько избалованъ классическимъ воспитаніемъ, что ужъ не могъ управлять своими страстями. Не успѣлъ я прожить въ имѣніи и пяти лѣтъ, какъ началось слѣдствіе, потомъ судъ, а наконецъ послѣдовало и рѣшеніе, въ силу котораго я отданъ былъ подъ опеку и въѣздъ въ имѣніе былъ мнѣ воспрещенъ. Впрочемъ это послѣднее распоряженіе оказалось ужъ лишнимъ, потому что во время этихъ передрягъ имѣніе мое было продано съ аукціона за долги.

„Какъ сейчасъ помню: у меня оставалось въ рукахъ только пятьсотъ рублей ассигнаціями. Я вспомнилъ объ отцѣ и поѣхалъ въ Болховъ на ярмарку за тѣмъ, чтобъ пустить мой капиталъ въ оборотъ. Но, увы! долговременное нахожденіе подъ слѣдствіемъ и судомъ уже подточило мое существованіе! Мой умъ не выказывалъ изобрѣтательности, а робкое сердце парализировало проворство рукъ. Деньги мои исчезли, а самъ я приведенъ былъ моими партнерами въ такое состояніе, что цѣлыхъ полгода долженъ былъ пролежать въ городской больницѣ...

„За что?!

„Послѣ этого я нѣсколько лѣтъ существовалъ исключительно тѣлесными поврежденіями. Не скажу, чтобъ я терпѣлъ нужду — потребность повреждать ближняго существовала тогда въ большихъ размѣрахъ и за удовлетвореніе ея платили хорошія деньги—но постояннаго, настоящаго, все-таки, не было. Одинъ только разъ улыбнулась мнѣ надежда на что-то осѣдлое — это когда я былъ опредѣленъ на должность учителя танцованія въ кадетскій корпусъ, но и тутъ я долженъ былъ сдѣлать подлогъ, то-есть скрыть отъ начальства свою прошлую судимость. Разумѣется, подлогъ обнаружился...

„Васъ, конечно, удивитъ это, господа. Въ настоящее время, когда разрѣшено множество вопросовъ первостепенной важности, вмѣстѣ съ ними рѣшенъ и вопросъ о нравственныхъ качествахъ танцовальныхъ учителей. Наша свободная печать съ полною ясностью доказала, что никакая судимость не можетъ препятствовать исполненію тѣхъ спеціальныхъ обязанностей, которыя возлагаются на танцмейстеровъ и тапёровъ, и съ тѣхъ поръ эта истина

вошла въ общественное сознаніе. Но въ то время смотрѣли на это строже, и отъ танцовальныхъ учителей требовали такой же нравственной безупречности, какой нынѣ требуютъ только отъ содержателей кабаковъ.

„И такъ, подлогъ обнаружился, и я долженъ былъ оставить государственную службу навсегда. Не будь этого — кто знаетъ, какая перспектива ожидала меня въ будущемъ! Ломоносовъ былъ простой рыбакъ, а умеръ статскимъ совѣтникомъ! Но такъ какъ судьба не допустила меня до высшихъ должностей, то я рѣшился сдѣлаться тапёромъ. Въ этомъ званіи я узналъ мою Мальхенъ, я узналъ васъ, господа, и это одно услаждаетъ горечь моихъ воспоминаній. Вотъ въ этомъ самомъ залѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоитъ рояль господина Балалайкина...

— Иванъ Иванычъ, голубчикъ! сыграй кадриль изъ „Чижика“! — не утерпѣлъ Глумовъ: — да, смотри, настоящимъ манеромъ играй... по тогдашнему!

— Съ удовольствіемъ! — согласился добрый старикъ.

Онъ сѣлъ за фортепьяно и дрожащими руками извлекъ изъ клавишей забытый, но все еще дорогой мотивъ „Чижика“. Игралъ онъ „по тогдашнему“, безъ претензій на тапёрную виртуозность, а такъ, какъ обыкновенно играютъ въ благородныхъ семейныхъ домахъ, гдѣ собирается много веселой молодежи, то-есть: откинувшись корпусомъ на спинку кресла и склонивши голову немножко на бокъ. Онъ и „тогда“ именно такъ игралъ, очевидно желая показать „гостямъ“, что хотя онъ тапёръ, но въ то же время и благородный человѣкъ. Мы съ Глумовымъ тоже вспомнили старину и немножко потанцовали.

Выполнивши это, онъ продолжалъ:

„Съ Мальхенъ я познакомился здѣсь, у Дарьи Семеновны. Она была скромная дѣвушка, бѣленькая, но не очень красивая, и потому никто не хотѣлъ съ нею танцовать. Но я видѣлъ, что ей очень хочется танцовать, и однажды, когда гости ужъ разошлись, подошелъ къ ней и сказалъ: „Мальхенъ! будемте танцовать вмѣстѣ!“ И она отвѣтила: „я согласна“.

„Это было самое счастливое время моей жизни, потому что у Мальхенъ оказалось накопленныхъ сто рублей, да, кромѣ того, Дарья Семеновна подарила ей двѣ серебряныя ложки. Нашлись и другіе добрые люди: нѣкоторые изъ гостей — а въ этомъ числѣ и вы, господинъ Глумовъ! — сложились и купили мнѣ готовую пару платья. Мы не роскошествовали, но жили въ такомъ согласіи, что черезъ мѣсяцъ послѣ свадьбы у насъ родилась дочь.

„Однакожъ вскорѣ случилось событіе, которое омрачило наше счастіе: скончалась добрая Дарья Семеновна. Вы, конечно, помните, господа, какое потрясающее дѣйствіе произвела эта безвременная утрата на всѣхъ „гостей“, но для меня она была вдвойнѣ чувствительна. Я разомъ потерялъ и друга, и единственную доходную статью. Однако Провидѣніе и на этотъ разъ помогло мнѣ.

„Во-первыхъ, у Мальхенъ опять оказалось накопленныхъ сто рублей; во-вторыхъ, репутація моя, какъ тапёра, установилась уже настолько прочно, что изъ всѣхъ домовъ Фонарнаго переулка посыпались на меня приглашенія.

И въ то же время я былъ почтенъ отъ квартала секретнымъ порученіемъ по части внутренней политики.

„То было время всеобщей экзальтаціи, и начальство квартала было сильно озабочено потрясеніемъ основъ, происшедшимъ по случаю февральской революціи. Но гдѣ же было удобнѣе наблюдать за настроеніемъ умовъ, какъ не въ танцклассахъ? И кто же могъ быть въ этомъ дѣлѣ болѣе компетентнымъ судьей, какъ не тапёръ?

„Я знаю, что нынѣ тапёрами пренебрегаютъ, предпочитая имъ — въ дѣлахъ внутренней политики — лицъ инородческаго происхожденія. Но по моему мнѣнію это неправильно. Тапёръ, прежде всего, довольствуется малымъ вознагражденіемъ (я, напримѣръ, получалъ всего десять рублей въ мѣсяцъ и былъ предоволенъ); во-вторыхъ, онъ не имѣетъ чувства инородческой остервенѣлости, и, въ-третьихъ, онъ настолько робокъ, что лишь въ крайнемъ случаѣ рѣшается на выдумку, и, стало быть, не вводитъ начальство въ заблужденіе. По крайней мѣрѣ я въ теченіе пяти лѣтъ заявилъ лишь о двухъ пропагандахъ, да и то потому только, что письмоводитель квартальнаго непремѣнно этого требовалъ. Напротивъ того, инородецъ, получая почти фельдмаршальское содержаніе, старается показать, что онъ пользуется недаромъ, и вслѣдствіе этого ежеминутно угрожаетъ начальству злоумышленіями.

„По моему — это неблагородно!

„Повторяю: я не роскошествовалъ, но былъ доволенъ. Но на двѣнадцатомъ году моей счастливой супружеской жизни солнце моей жизни вновь омрачилось, и на этотъ разъ — надолго. Сначала бѣжала Мальхенъ съ шарманщикомъ, предварительно похитивъ всѣ мои сбереженія, а черезъ годъ послѣ этого умерла моя дочь. Все рухнуло разомъ: и привязанности, и надежда на дружескую опору въ старости, и сладости любви! Я остался одинъ-на-одинъ съ тапёрствомъ! Правда, у меня еще оставалось утѣшеніе: кварталъ попрежнему не переставалъ удостоивать меня своимъ довѣріемъ; но пять лѣтъ тому назадъ и внутренняя политика отошла отъ меня. Меня нашли недостаточно прозорливымъ, мало проворнымъ и вообще неотвѣчающимъ требованіямъ времени, и мое мѣсто отдали инородцу Кшепшицюльскому...“

— Кшепшицюльскому! но вѣдь это нашъ другъ! нашъ карточный партнеръ! это, наконецъ, нашъ руководитель на стезѣ благонамѣренности! — воскликнули мы съ Глумовымъ въ одинъ голосъ.

— Да, это онъ, — отвѣтилъ Очищенный: — и онъ всегда такъ поступаетъ. Сначала предложитъ себя въ руководители, потомъ обыграетъ по маленькой и подъ конецъ — предастъ! Ахъ, господа, господа! мало васъ, должно быть, учили; не знаете вы, какъ осторожно слѣдуетъ въ такихъ дѣлахъ поступать!

— Чудакъ! да чего же намъ остерегаться, коли у насъ сердца чисты!

— И съ чистымъ сердцемъ можно иногда неподлежательно возроптать! Доложу вамъ, однажды при мнѣ въ банѣ такой случай былъ. Мылся, между прочими, одинъ молодой человѣкъ, а тутъ же, неподалеку, и господинъ квартальный парился. Ну, въ банѣ, знаете, должностей-то этихъ не различишь, только молодой-то человѣкъ — горячей воды, чтò-ли, недостало — и не воздержись! Такъ да и перетакъ: чтò, молъ, это за государство такое, въ которомъ даже вымыться порядкомъ нельзя! Словомъ сказать, такую пропаганду

пустилъ, что небу стало жарко! И что же! только-что онъ это самое слово вымолвилъ—смотритъ, анъ господинъ квартальный ужъ и мундиромъ обросъ! Въ полномъ „паратѣ“, какъ есть, при шпагѣ и шляпѣ: „извольте, говоритъ, милостивый государь, повторить!“ Такъ какъ бы думали! года съ четыре послѣ этого молодой-то человѣкъ по судамъ колотился, все чистоту свою доказывалъ.

— Фу-ты!

— Оттого-то я и говорю: не всякому знакомству радоваться надлежитъ. Особливо нынче. Прежде, когда внутренней политикой таперы завѣдывали, безопаснѣе было. Потому таперъ—ему что! Ежели ему теперича бутылку пива поставить—онъ и забылъ! А ежели и не забылъ, такъ даже того лучше: самъ по душѣ въ разговоръ вступитъ. Правду, молъ, вы, господинъ, говорите! и то у насъ нехорошо, и другое неладно... словомъ сказать, скверно! да съ начальствомъ-то состязаться намъ не приходится! Почему не приходится?—а потому, сударь, что начальство средства имѣетъ, и ежели напримѣръ... Ну, словомъ сказать, тихо да смирно—смотришь, анъ онъ и смягчился! Былъ заблуждающій, а выпилъ бутылку-другую — и самъ въ лоно истинныхъ чувствъ поступилъ. И всѣмъ пріятно: и ему пріятно, и начальству, и мнѣ, таперу, хорошо.

— Да вѣдь и мы, братецъ, его, Кшепшицюльскаго-то, который ужъ мѣсяцъ поимъ-кормимъ, да и въ табельку малую толику... Долженъ же онъ это понимать!

Но Очищенный только скептически покачалъ головой въ отвѣтъ.

— Нѣтъ у него въ сердцѣ признательности,—сказалъ онъ: —нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! И самый лучшій относительно его образъ дѣйствій—это съ лѣстницы его спустить.

— А за это, ты думаешь, похвалятъ?

— Ежели протекцію имѣете—ничего. Съ протекціей, я вамъ доложу, въ 1836 году одинъ молодой человѣкъ въ женскую купальню вплылъ—и тутъ сошло съ рукъ! Только извиняться на другой день къ дамамъ ѣздилъ.

Такъ мы и порѣшили: при первомъ удобномъ случаѣ спустить Кшепшицюльскаго съ лѣстницы и потомъ извиниться передъ нимъ. Затѣмъ Очищенный продолжалъ:

„Быть можетъ, я навсегда остался бы исключительно таперомъ, еслибъ судьба не готовила мнѣ новыхъ испытаній. Объявили волю книгопечатанію. Потребовались вольнонаемные редакторы, а между прочимъ и содержатель того увеселительнаго заведенія, въ которомъ я имѣлъ постоянныя вечернія занятія, задумалъ основать органъ для защиты интересовъ любострастія. Узнавши, что я получилъ классическое воспитаніе, онъ, натурально, обратился ко мнѣ. И, къ сожалѣнію, я не только принялъ его предложеніе, но и связалъ себя контрактомъ.

„Но этимъ мои злоключенія не ограничились. Вскорѣ послѣ того на меня обратила вниманіе Матрена Ивановна. Я зналъ ее очень давно — она въ свое время была соперницей Дарьи Семеновны по педагогической части— зналъ за женщину почтенную, удалившуюся отъ дѣлъ съ хорошимъ капиталомъ и съ твердымъ намѣреніемъ открыть гласную кассу ссудъ. И вдругъ

эта самая женщина начинаетъ заговаривать... Скажите, кто же своему благополучію не радъ!

„И вотъ, сижу я однажды въ „Эльдорадо", въ сторонкѣ, пью пиво, а между прочимъ и матеріалъ для предбудущаго нумера газеты сбираю — смотрю, присаживается она ко мнѣ. „Такъ и такъ, говоритъ, гласную кассу ссудъ открыть желаю—одобрите вы меня?" —Коли капиталъ, говорю, имѣете, такъ съ Богомъ! — „Капиталъ, говоритъ, я имѣю, только вотъ у мировыхъ придется разговоръ вести, а я, какъ женщина, ничего чередомъ разсказать не могу!" —Такъ для этого вамъ, сударыня, необходимо мужчину имѣть! — „Да, говоритъ, мужчину!"

„Только всего промежъ насъ и было. Осмотрѣла она меня — кажется, довольна осталась; и я ее осмотрѣлъ: вижу—хоть и въ лѣтахъ особа, однако важныхъ изъяновъ нѣтъ. Глазъ у нея правый вытекъ—педагогическій случай съ однимъ „гостемъ" вышелъ — такъ вѣдь для меня не глаза нужны! Пришелъ я домой и думаю: не чаялъ, не гадалъ, а какой, можно сказать, оборотъ!

„Обвѣнчались, пріѣзжаемъ изъ церкви домой, и вдругъ встрѣчаетъ насъ... „молодой человѣкъ"! Въ халатѣ, какъ былъ, одна щека выбрита, другая—въ мылѣ; словомъ сказать, даже прибрать себя, подлецъ, не захотѣлъ!

„Съ тѣхъ поръ „молодой человѣкъ" неотлучно раздѣляетъ наше супружеское счастіе. Онъ проводитъ время въ праздности и обнаруживаетъ склонность къ галантерейнымъ вещамъ. Покуда онъ сидитъ дома, Матрена Ивановна обходится со мной хорошо и снисходитъ къ закладчикамъ. Но по временамъ онъ пропадаетъ недѣли на двѣ и на три и непремѣнно уноситъ при этомъ енотовую шубу. Тогда Матрена Ивановна выгоняетъ меня на розыски и не впускаетъ въ квартиру до тѣхъ поръ, пока „молодого человѣка" не приведутъ изъ участка... конечно, безъ шубы.

„Теперь я именно переживаю одинъ изъ такихъ тяжелыхъ моментовъ. Сегодня утромъ „молодой человѣкъ" скрылся и унесъ ужъ не одну, а двѣ шубы. И я вслѣдствіе этого вижу себя на неопредѣленное время лишеннымъ крова...

„Такова правда моей жизни".

Глава VII.

Глумовъ, который всегда дѣйствовалъ порывами, не воздержался и тутъ. Не успѣлъ Очищенный кончить повѣсть своей жизни, какъ онъ уже восклицалъ:

— Иванъ Иванычъ! да поселись у насъ! Тебѣ что̀ нужно? Щей тарелку? —есть! водки рюмку? —найдется.

— А ежели, по обстоятельствамъ вашихъ дѣлъ, потребуются для васъ лжесвидѣтели, то вы во всякое время найдете ихъ здѣсь... и безвозмездно! — съ своей стороны свеликодушничалъ Балалайкинъ.

— Господа! заключимте четверной союзъ! — въ восторгѣ отозвался и я, едва поспѣвая слѣдить за общимъ потокомъ великодушныхъ порывовъ.

Какъ ни крѣпился добрый старикъ, но въ виду столь единодушнаго выраженія симпатій -не удержался и заплакалъ. Мы взяли другъ друга за руки и поклялись неизмѣнно идти рука въ руку, поддерживая и укрѣпляя другъ друга на стезѣ благонамѣренности. И клятва наша была столь искренняя, что когда послѣднее слово ея было произнесено, то комната немедленно наполнилась запахомъ скотопригоннаго двора.

— Надобно тебѣ сказать, голубчикъ Иванъ Иванычъ, —счелъ долгомъ объясниться Глумовъ за себя и за меня:—что намъ твоя поддержка въ особенности драгоцѣнна. Либералы, братецъ, мы. Вёдрышко на дворѣ—мы радуемся, дождичекъ на дворѣ—мы и въ немъ милость Божію усматриваемъ. И всякій предметъ непремѣнно со всѣхъ сторонъ разсматриваемъ. И съ одной стороны—хорошо, и съ другой—превосходно; а ежели при этомъ принять во вниманіе, что языкъ безъ костей, то лучшаго и желать нельзя! Радуемся, надѣемся, торжествуемъ, славословимъ — и вся недолга̀. Даже прохожіе удивляются: съ чего, молъ, люди сбѣсились? Вотъ, братъ, какіе грѣхи! Понялъ?

Однако Очищенный недоумѣвалъ.

— Позвольте вамъ доложить,—резонно разсудилъ онъ:—въ чемъ же тутъ грѣхъ состоитъ? Радоваться — вѣдь это, кажется, не воспрещено? И ежели бы, напримѣръ, въ то время, когда я, будучи тапёромъ, занимался внутренней политикой...

— То-то вотъ и есть, что въ то время умѣючи радовались: порадуются благороднымъ манеромъ—и перестанутъ! А вѣдь мы какъ радуемся! и день и ночь! и день и ночь, и дома, и въ гостяхъ, и въ трактирахъ, и словесно, и печатно! только и словъ: слава Богу! дожили! Ну, и нагнали своими радостями страху на весь кварталъ!

— А главное, радость наша приняла столь несносный видъ, что многіе сочли ее за вмѣшательство,—въ свою очередь пояснилъ я.

— Понимаю. То̀ самое, значитъ, что̀ еще покойный Ѳаддей Венедиктовичъ выражалъ: ни одобреній, ни порицаній! Ѣшь, пей и веселись!

— Вотъ оно самое и есть. Хорошо, что мы спохватились скоро. Увидѣли, что не выгорѣли наши радости, и, не долго думая, вступили на стезю благонамѣренности. Начали гулять, въ ѣду ударились, папироски стали набивать, а разсужденіе оставили. Потихоньку да полегоньку—смотримъ: польза вышла. Въ короткое время такъ себя усовершенствовали, что теперь только сидимъ да глазами хлопаемъ. Кажется, на что̀ лучше! а? какъ ты объ этомъ полагаешь?

— Чего еще требовать! Глазами хлопаете—ужъ это въ самую, значитъ, центру попали!

— А оказывается, что этого мало, да и сами мы, признаться, ужъ видимъ, что мало. Хорошо-то оно хорошо, а загвоздочка, все-таки, есть. Дикости, видишь ты, въ насъ еще много; сидимъ дома, никого не видимъ, папироски набиваемъ: развѣ настоящіе благонамѣренные люди такъ дѣлаютъ? Нѣтъ, истинно благонамѣренный человѣкъ глазами хлопаетъ — это само по себѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣкоторыя дѣятельныя черты проявляетъ... Вотъ мы подумали-подумали, да и рѣшились одно предпріятіе къ благополучному

концу привести, чтобы не только словомъ и помышленіемъ, но и самимъ дѣломъ заявить...

Глумовъ вдругъ оборвалъ и, обратившись къ Балалайкину, сразу огорошилъ его вопросомъ:

— Балалайкинъ! не лги, а отвѣчай прямо: ты женатъ?

Балалайкинъ на минуту потерялся, такъ что даже солгать не успѣлъ.

— Женатъ,—отвѣтилъ онъ увядшимъ голосомъ и въ то же время недоумѣвающе взглянулъ на Глумова.

— А какъ ты насчетъ двоеженства полагаешь?

Балалайкинъ сейчасъ же опять расцвѣлъ.

— Вообще говоря — могу! — воскликнулъ онъ весело, но тутъ же, не теряя присутствія духа, присовокупилъ: — но въ частности это, разумѣется, зависитъ...

— Давай же кончать. Въ два слова... тысячу рублей?

Балалайкинъ встрепенулся.

— Голубчикъ! да вѣдь вы... по Парамоновскому дѣлу?

— Да.

— Помилуйте! мнѣ Иванъ Тимоѳеичъ, безъ всякаго разговора, ужъ три тысячи надавалъ!

— То была цѣна, а теперь — другая. Въ то время охотниковъ мало было, а теперь ими хоть прудъ пруди. И все охотники холостые, безпрепятственные. Только намъ непремѣнно хочется, чтобъ двоеженство было. На романъ похожѣе.

Балалайкинъ раза три или четыре прошелся по комнатѣ. Цифра застала его врасплохъ, и онъ очевидно боролся съ самимъ собою и разсчитывалъ.

— Меньше двухъ тысячъ нельзя! — сказалъ онъ наконецъ рѣшительно:—помилуйте, господа! тысяча рублей! развѣ это деньги?

— Да ты пойми, за какое дѣло тебѣ ихъ даютъ!—убѣждалъ его Глумовъ:—развѣ труды какіе-нибудь отъ тебя потребуются! Съѣздишь до свадьбы раза два-три въ гости — развѣ это трудъ? тебя же напоятъ-накормятъ, да еще двѣ-три золотушки за визитъ дадутъ—это не въ счетъ! Свадьба, что-ли, тебя пугаетъ? такъ вѣдь и тутъ развѣ настоящая свадьба будетъ?

— А потомъ-то... вы забываете?

— Что же „потомъ“?

— А судъ?

— Чудакъ, братецъ, ты! самъ адвокатъ, а суда боится!

Но тутъ ужъ и я счелъ долгомъ вступиться.

— Балалайкинъ!—сказалъ я:—ничего не видя, вы уже заговариваете о судѣ! Извините меня, но это чисто адвокатская манера. Во-первыхъ, дѣло можетъ обойтись и безъ суда, а во-вторыхъ, еслибъ даже и возникло впослѣдствіи какое-нибудь недоразумѣніе, то можно собственно на этотъ случай выговорить... ну, напримѣръ, пятьсотъ рублей.

— Пятьсотъ! Ни одинъ лжесвидѣтель не пойдетъ показывать въ судъ меньше чѣмъ за двѣсти-пятьдесятъ рублей... Это вамъ *я* говорю! А по обстоятельствамъ дѣла ихъ потребуется по малой мѣрѣ два!

— Но вѣдь это же пятьсотъ рублей и есть?

— Позвольте... а что же мнѣ... за труды?

— А тысяча рублей, которую вы получите немедленно по совершеніи обряда!

— Тысяча... тысяча! а моральное безпокойство! а трата времени! а репутація человѣка, который за тысячу рублей... Тысяча! смѣшно, право! вѣдь мнѣ свои собратья проходу за эту тысячу не дадутъ!

И Балалайкинъ опять въ волненіи зашагалъ взадъ и впередъ по комнатѣ, безпрестанно и не безъ горечи повторяя:—Тысяча! тысяча!

— Да накинь же ему пять сотенныхъ! — шепнулъ я на ухо Глумову.

Но не успѣлъ онъ послѣдовать моему совѣту, какъ дѣло приняло совершенно неожиданный оборотъ. На помощь намъ явился Очищенный.

— Позвольте—мнѣ!—скромно напомнилъ онъ намъ объ себѣ:—я за пятьсотъ...

Эта благотворная диверсія разомъ рѣшила дѣло въ нашу пользу; Балалайкинъ сейчасъ же сдался на капитуляцію, выговоривъ впрочемъ въ свою пользу шестьсотъ рублей, которые противная сторона обязывалась выдать въ томъ случаѣ, ежели возникнетъ судебное разбирательство. Затѣмъ подали шампанскаго и условились, что мы съ Глумовымъ будемъ участвовать въ двоеженствѣ въ качествѣ шаферовъ, а Очищенный—въ качествѣ посаженнаго отца. Причемъ послѣдній безъ труда выпросилъ, чтобъ ему было выдано десять рублей въ видѣ личнаго вознагражденія и столько же за прокатъ платья.

Когда всѣ эти подробности были окончательно регламентированы, Глумовъ предложилъ на обсужденіе слѣдующій вопросъ:

— А теперь вотъ что̀, господа! Предположимъ, что предпріятіе наше будетъ благополучно доведено до конца... Балалайкинъ—получитъ условленную тысячу рублей, мы — попируемъ у него на свадьбѣ и разъѣдемся по домамъ. Послужитъ ли все это, въ глазахъ Ивана Тимоѳеича, достаточнымъ доказательствомъ, что прежняго либерализма не осталось въ насъ ни зерна?

Мнѣнія раздѣлились. Очищенный, на основаніи прежней тапёрской практики, утверждалъ, что никакихъ другихъ доказательствъ не нужно; напротивъ того, Балалайкинъ, какъ адвокатъ, настаивалъ, что по малой мѣрѣ необходимо совершить еще подлогъ. Что касается до меня, то хотя я и опасался, что одного двоеженства будетъ недостаточно, но, признаюсь, мысль о подлогѣ пугала меня.

— Собственно говоря, вѣдь двоеженство само по себѣ подлогъ,—скромно —замѣтилъ я: — не будетъ ли, стало быть, ужъ чересчуръ однообразно — non bis in idem — ежели мы, совершивъ одинъ подлогъ, сейчасъ же приступимъ къ совершенію еще другого и притомъ простѣйшаго?

— Теоретически вы приблизительно правы,—возразилъ мнѣ Балалайкинъ:—двоеженство, дѣйствительно, есть не что̀ иное, какъ особый видъ подлога; однакожъ наше законодательство отличаетъ...

И вдругъ меня словно осѣнило.

— Господа! да о чемъ же мы говоримъ!—воскликнулъ я:—жида! жида окрестить!—вотъ что̀ намъ надобно!

Эта мысль рѣшительно всѣхъ привела въ умиленіе, а у Очищеннаго даже слезы на глазахъ показались.

— Знаешь ли что! — сказалъ Глумовъ, съ чувствомъ пожимая мою руку:—эта мысль... зачтется она, братъ, тебѣ!

И немного погодя присовокупилъ:

— Подлогъ однакожъ дѣло нелишнее: какъ ни какъ, а безъ фальшивыхъ векселей намъ на нашей новой стезѣ не обойтись! Но жидъ... Это такая мысль! такая мысль! И знаете ли что: мы выберемъ жида бѣлаго, крупнаго, жирнаго; такого жида, у котораго вмѣсто требухи — все ассигнаціи! только однѣ ассигнаціи!

— У меня даже сейчасъ одинъ такой на примѣтѣ есть!—заявилъ Очищенный:—и очень даже охотится.

— И мы подвигнемъ его на дѣла благотворительности,—продолжалъ фантазировать Глумовъ:—фуфайки, напримѣръ, карпетки, носки...

— Но не забывай мой другъ, и интересовъ просвѣщенія!—напомнилъ я.

— Еще бы! Это—на первомъ планѣ. Вотъ, говорятъ, въ Сибири университетъ учреждаютъ — непремѣнно надобно, чтобъ онъ хоть одну каѳедру на свой счетъ принялъ. Какую бы, напримѣръ?

— Я полагалъ бы каѳедру сравнительной митирогнозіи—для Сибири даже очень прилично!—предложилъ я.

— Чего лучше! Именно каѳедру сравнительной митирогнозіи — давно ужъ потребность-то эта чувствуется. Ну, и еще: чтобы экспедицію какую-нибудь ученую на свой счетъ снарядилъ... непремѣнно, непремѣнно! Сколько есть насѣкомыхъ, гадовъ различныхъ, которые только того и ждутъ, чтобы на нихъ пролился свѣтъ науки! Помилуйте! даже въ вагонахъ на желѣзныхъ дорогахъ вездѣ клопы развелись!

— Позвольте вамъ доложить,—вступился Очищенный:—есть у насъ при редакціи человѣкъ одинъ, съ малолѣтства сочиненіе „о Полярномъ Клопѣ“ пишетъ, а публиковать не осмѣливается...

— Почему не осмѣливается?

— Да наблюденія, говоритъ, недостаточно точны. Вотъ еслибы ему по Россіи съ научною цѣлью поѣздить, онъ бы, можетъ, и иностранцевъ многихъ затмилъ.

— Отлично. А какъ ты полагаешь, пріятелю твоему десяти тысячъ на экспедицію достаточно будетъ?

— Помилуйте! да съ этакими деньгами онъ даже къ родственникамъ въ Пермскую губернію съѣздитъ!

— Пускай ѣдетъ. Для пользы науки намъ чужихъ денегъ не жалко. Нѣтъ ли еще какихъ нуждъ? Проси!

— Осмѣлюсь... Вотъ вы изволили сейчасъ насчетъ этой науки выразиться... Митирогнозія, значитъ... Самая эта наука мнѣ знакомая... Такъ нельзя ли каѳедру-то мнѣ предоставить?

— Будемъ имѣть въ виду.

Затѣмъ Очищенный предъявилъ еще нѣсколько ходатайствъ, и на всѣ получилъ отъ Глумова благопріятный отвѣтъ. Наконецъ нашъ ordre du

jour исчерпался, и Глумовъ, закрывая засѣданіе, счелъ долгомъ произнести краткое резюмѐ.

— Итакъ, господа,—сказалъ онъ:—всѣ вопросы, подлежавшіе нашему обсужденію, благополучно рѣшены. Вотъ занятія, которыя предстоятъ намъ въ ближайшемъ будущемъ. Во-первыхъ, мы обязываемся женить Балалайкина, при живой женѣ, на „штучкѣ“ купца Парамонова (*одобреніе на всѣхъ скамьяхъ*). Во-вторыхъ, мы имѣемъ окрестить жида; въ-третьихъ, какъ это ни прискорбно, но безъ подлога намъ обойтись нельзя...

Онъ остановился на минуту и вдругъ, какъ бы подъ наитіемъ внезапнаго вдохновенія, продолжалъ:

— Позвольте, господа! ужъ если подлогъ необходимъ, то, мнѣ кажется, самое лучшее — это пустить тысячъ на тридцать векселей отъ имени Матрены Ивановны въ пользу нашего общаго друга, Ивана Иваныча? Вѣдь это нашъ долгъ, господа! наша нравственная, такъ сказать, обязанность передъ добрымъ товарищемъ и союзникомъ... Согласны?

Вмѣсто отвѣта послѣдовалъ взрывъ рукоплесканій. Очищенный кланялся и благодарилъ.

— Это даже и для Матрены Ивановны не безъ пользы будетъ!—говорилъ онъ со слезами на глазахъ:—потому, заставитъ ее придти въ себя!

— Прекрасно. Стало быть, и еще одинъ пунктъ рѣшенъ. Объявляю засѣданіе закрытымъ.

Глава VIII.

Мы возвращались отъ Балалайкина уже втроемъ и притомъ въ самомъ радостномъ расположеніи духа. Мысль, что ежели подвигъ благонамѣренности еще не вполнѣ нами совершонъ, то во всякомъ случаѣ мы находимся на прямомъ и вѣрномъ пути къ нему, наполняла наши сердца восхищеніемъ. „Да, теперь ужъ насъ съ этой позиціи не вышибешь!“ твердилъ я себѣ и улыбался такой широкой, сіяющей улыбкой, что стоявшій на углу Большой Мѣщанской будочникъ, завидѣвъ меня, наскоро прислонилъ алебарду къ стѣнѣ, досталъ изъ кармана тавлинку и предложилъ мнѣ понюхать табачку.

Такъ шли мы отъ Фонарнаго переулка вплоть до Литейной, и на всемъ пути будочники дѣлали алебардами „на кра-улъ!“, какъ бы привѣтствуя насъ: „Здравствуйте, вступившіе на истинный путь!“ Придя на квартиру, мы сдали Очищеннаго съ рукъ на руки дворнику и, приказавъ сводить его въ баню, поспѣшили съ радостными вѣстями къ Ивану Тимоѳеичу.

Дежурный подчасокъ сказалъ намъ, что Иванъ Тимоѳеичъ занятъ въ „комисіи“, которая въ эту минуту засѣдала у него въ кабинетѣ. Но такъ какъ мы были люди свои, то не только были немедленно приняты, но даже получили приглашеніе участвовать въ трудахъ.

Комисія состояла изъ трехъ членовъ: Ивана Тимоѳеича (онъ же презусъ), письмоводителя Прудентова и брандтмейстера Молодкина. Предметъ ея занятій заключался въ разработкѣ новаго устава „о благопристойномъ обывателей въ своей жизни поведеніи“, такъ какъ прежнія по сему предмету

„временныя правила“ оказывались преисполненными всякаго рода неясностями и каламбурами, вслѣдствіе чего неблагопристойность возрастала не по днямъ, а по часамъ.

— Прекрасно сдѣлали, что зашли: я и то ужъ думалъ за вами посылать, — привѣтствовалъ насъ Иванъ Тимоѳеичъ: — вотъ комисію на плечи взвалили, презусомъ назначили... Уставъ теперича писать нужно, да писатели-то мы, признаться, горевые!

— А можно полюбопытствовать, въ чемъ состоитъ предметъ занятій комисіи?

— Благопристойность вводить хотятъ. Это, конечно... много нынче этого невѣжества завелось, въ особенности на улицахъ... Одни направо, другіе—налѣво, одни—идутъ, другіе—невѣдомо зачѣмъ на мѣстѣ стоятъ. Не сообразишь. Ну, и хотятъ это урегулировать...

— Чтобы, значитъ, ежели налѣво идти—такъ всѣ бы налѣво шли, а ежели останавливаться, такъ всѣмъ чтобы разомъ?—выразилъ Глумовъ догадку.

— То, да не то. Въ сущности-то оно, конечно, такъ, да какъ ты прямо-то это выскажешь? Нельзя, мой другъ, прямо сказать — передъ иностранцами нехорошо будетъ—обстановочку надо придумать. Кругленько эту мысль выразить. Чтобы и ослушникъ зналъ, что его по головѣ не погладятъ, да и припужденія чтобы замѣтно не было. Чтобы, значитъ, безъ приказовъ, а такъ, будто всякій самъ отъ себя благопристойность соблюдаетъ.

— Трудная эта задача. Любопытно, какъ-то вы справляетесь съ нею?

— Да вотъ вчера „общія положенія“ набросали, а сегодня и „улицу“ прикончили. Написали довольно, только, признаться, не очень-то нравится мнѣ!

— Помилуйте, Иванъ Тимоѳеичъ, чего лучше!—обидѣлся Прудентовъ, который повидимому былъ душою и воротилой въ комисіи.

— Порядку, братецъ, нѣтъ. Мысли хорошія, да въ-разбивку онѣ. Вотъ я давеча газету читалъ, такъ тамъ все чередомъ сказано: съ одной стороны нельзя не сознаться, съ другой—надо признаться, а въ то же время не слѣдуетъ упускать изъ вида... Вотъ это—хорошо!

Иванъ Тимоѳеичъ уныло покачалъ головой и задумался.

— Да, нѣтъ у насъ этого...—продолжалъ онъ:—перá у насъ вольнаго нѣтъ! Ужъ, кажется, на что знакомый предметъ — всю жизнь благопристойностью занимался, а пришлось эту самую благопристойность на бумагѣ изобразить — шабашъ!

— Да вы какъ къ предмету-то приступили?—историческій-то обзоръ, напримѣръ, сдѣлали? полюбопытствовалъ Глумовъ.

— Какой такой историческій обзоръ?

— Какъ же! нельзя безъ этого. Сперва надобно историческій обзоръ, какія въ древности насчетъ благопристойнаго поведенія правила были, потомъ обзоръ современныхъ по сему предмету законодательствъ, потомъ — сводъ мнѣній будочниковъ и подчасковъ, потомъ — объяснительная записка, а наконецъ ужъ и „правила“ или уставъ.

— Такъ вотъ оно какъ?

— Непремѣнно. Ныньче ужъ эта мода прошла: присѣлъ, да и написалъ. Нѣтъ, ныньче на всякую штуку оправдательный документъ представь!

— То-то я вижу, какъ будто не тово... Невѣдомо будто, съ чего мы вдругъ эту матерію затѣяли...

— Позвольте вамъ доложить, — вступился Прудентовъ, — что въ нашемъ случаѣ ваша манера едва-ли пригодна будетъ.

— Но почему же?

— Да возьмемъ хоша „Современныя законодательства". Хорошо какъ они удобныя, а коли ежели начальство стѣсненіе въ нихъ встрѣтитъ...

— Голубчикъ! такъ вѣдь о такихъ законодательствахъ можно и не упоминать! нѣтъ, молъ, въ такой-то странѣ благопристойности — и дѣло съ концомъ.

— Нельзя-съ; какъ бы потомъ не вышло чего: за справку-то вѣдь мы же отвѣчаемъ. Да и вообще скажу: врядъ ли иностранная благопристойность для насъ обязательнымъ примѣромъ служить можетъ. Россія по обширности своей и сама другимъ урокъ преподать можетъ. И преподаетъ-съ.

— Ахъ, да развѣ я говорю объ этомъ? Но вѣдь для вида... поймите вы меня: нужно же видъ показать!

— А для вида — и совсѣмъ нехорошо выйдетъ. Помилуйте, какой тутъ можетъ быть видъ! На дняхъ у насъ обыватель одинъ съ теплыхъ водъ вернулся, такъ сказывалъ: та̀къ тамъ чисто живутъ, та̀къ чисто, что плюнуть боишься: совѣстно! А у насъ развѣ такъ возможно? У насъ, сударь, доложу вамъ, на этотъ счетъ полный просторъ долженъ быть данъ!

Возникъ споръ, и я долженъ сказать правду, что Глумовъ вскорѣ вынужденъ былъ уступить. Прудентовъ цѣлымъ рядомъ неопровержимыхъ фактовъ доказалъ, что наша благопристойность такъ близко граничитъ съ неблагопристойностью, что изъ этого созидается нѣчто совершенно своеобразное и намъ однимъ свойственное. А кромѣ того заграничная благопристойность имѣетъ характеръ исключительно внѣшній (не сквернословь! не буйствуй! и т. п.), тогда какъ наша благопристойность состоитъ не только въ наружныхъ проявленіяхъ благоповеденія, но въ томъ главнѣйше, чтобы обыватель памятовалъ, что жизнь сія есть временная и что самъ онъ — скудельный сосудъ. Такъ напримѣръ: плевать у насъ — можно, а „имѣть дерзкій видъ" — нельзя; митирологіей заниматься — можно, а касаться внутренней политики или разсуждать о происхожденіи міровъ — нельзя.

— А вѣдь онъ, друзья, правду говоритъ! — обратился къ намъ Иванъ Тимоѳеичъ: — точно, что у насъ благопристойность своя, особливая...

— А еще и на слѣдующее могу указать, — продолжалъ побѣдоносный Прудентовъ: — требуется теперича, чтобы мы, между прочимъ, и правила благопристойнаго поведенія въ собственныхъ квартирахъ начертали — гдѣ, спрошу васъ, въ какихъ странахъ вы соотвѣтствующія по сему предмету указанія найдете? А у насъ — безъ этого нельзя.

— Правда! — торжественно подтвердилъ Иванъ Тимоѳеичъ.

— Правда! — откликнулись и мы.

— Иностранецъ — онъ наглый! — развивалъ свою мысль Прудентовъ: — онъ забрался къ себѣ въ квартиру и думаетъ, что въ неприступную крѣ-

ность засѣлъ. А почему, позвольте спросить?—а потому, сударь, что начальство у нихъ противъ нашего много къ службѣ равнодушнѣе; само ни во что̀ не входитъ и имъ повадку даетъ!

— Правда!—подтвердилъ Иванъ Тимоѳеичъ.

— Правда!—откликнулись мы.

— Ужъ такъ они тамъ набалованы, такъ набалованы—совсѣмъ даже какъ оглашенные!—присовокупилъ Иванъ Тимоѳеичъ:—и къ намъ-то пріѣдутъ—сколько времени, сколько труда нужно, чтобъ ихъ вразумить! Есть у меня въ районѣ французъ-перчаточникъ, только на дняхъ я ему и говорю: —Смотри, Альфонсъ Иванычъ, я къ тебѣ съ визитомъ собираюсь!—„Въ магазинъ?“ спрашиваетъ.—Нѣтъ, говорю, не въ магазинъ, а туда, въ заднюю каморку къ тебѣ хочу взглянуть, какъ ты тамъ, каково поживаешь, каково прижимаешь... републи́къ и все такое... Такъ онъ, можете себѣ представить, даже на меня глаза вытаращилъ: „Не можетъ это быть!“ говоритъ. Вотъ это какой закоснѣлый народъ!

— И вы... да неужто же вы такъ и оставили это?—возмутились мы съ Глумовымъ до глубины души.

— Чтожъ... я!? Повертѣлся, повертѣлся — вздохнулъ и пошелъ въ овошенную... тамъ ужъ свою обязанность выполнилъ... Ахъ, друзья, друзья! наше вѣдь положеніе... очень даже щекотливое у насъ насчетъ этихъ иностранцевъ положеніе! Разумѣется, предостерегъ-таки я его: смотри, говорю, однако, Альфонсъ Иванычъ, мурлыкай свою републи́къ, только ежели, паче чаянія, со двора или съ улицы услышу... оборони Богъ!

— Что̀ жъ онъ?

— Смѣется—что̀ съ нимъ подѣлаешь!

— Однакожъ, какую власть взяли!

— Вольница—одно слово.

— Такъ вотъ по этому образцу и извольте судить, какихъ примѣровъ намъ слѣдуетъ ожидать,—вновь повелъ рѣчь Прудентовъ:—теперича въ нашемъ районѣ этого торгующаго народа—на каждомъ шагу, такъ ежели всякій понятіе это будетъ имѣть, да глаза таращить станетъ—какъ тутъ поступать? А съ насъ, между прочимъ, спрашиваютъ!

— Чтобы нигдѣ ни-ни... упаси Богъ!

— Намъ нужно, чтобъ онъ, яко обыватель, во всякое время всю свою обстановку предоставилъ, а онъ вмѣсто того: „не можетъ это быть!“

— Правда!—подтвердилъ Иванъ Тимоѳеичъ.

— Правда!—откликнулись мы.

Точно также не выгорѣлъ и вопросъ объ исторической благопристойности, хотя Глумовъ и энергически отстаивалъ его.

— Позвольте вамъ доложить,—возразилъ Прудентовъ:—зачѣмъ намъ исторія? Гдѣ, въ какихъ исторіяхъ мы полезныхъ для себя указаній искать будемъ? Ежели теперича взять римскую или греческую исторію, такъ у насъ ключъ отъ тогдашней благопристойности потерянъ, и подлинно ли была тамъ благопристойность—ничего мы этого не знамъ. Судя же потому, что̀ въ учебникахъ объ тогдашнихъ временахъ повѣствуется, такъ всѣ эти греки да римляне больше безначаліемъ, нежели благопристойностью занимались.

— А у насъ этого нельзя! да-съ, нельзя-съ! — подтвердилъ Иванъ Тимоѳеичъ и при этомъ взглянулъ на насъ такъ внушительно, что я, признаться, даже попенялъ на Глумова, зачѣмъ онъ эту матерію шевельнулъ.

— Кто говоритъ, что можно! — оборонился Глумовъ: — но ежели древніе греческіе и римскіе образцы непригодны, такъ вѣдь у насъ и своя исторія была.

— А насчетъ отечественныхъ историческихъ образцовъ могу возразить слѣдующее: бо́льшая часть имѣвшихся по сему предмету документовъ, въ бывшіе въ разное время пожары, сгорѣла, а то, что̀ осталось, содержитъ лишь указанія краткія и недостаточныя, какъ напримѣръ: однимъ — выщипывали бороды по волоску, другимъ — ноздри рвали. Судите поэтому сами, какова у насъ въ древности благопристойность была!

— Голубчикъ! да вѣдь не всѣмъ же... Вѣдь мы съ вами... происходимъ же мы отъ кого-нибудь! Въ Россіи-то семьдесятъ милліоновъ жителей считается, и у всѣхъ были отцы... Уцѣлѣли же, стало быть, они!

— По снисхожденію-съ.

Словомъ сказать, и на исторической почвѣ Прудентовъ оказался неуязвимымъ. И что̀ всего досаднѣе: не только Иванъ Тимоѳеичъ явно склонился на сторону дѣльца-письмоводителя, но и Молодкинъ самодовольно и глупо хихикалъ, радуясь нашему пораженію.

Оставалось послѣднее убѣжище: устныя преданія, народная мудрость, пословицы, поговорки. Но и тутъ Прудентовъ безъ труда восторжествовалъ.

— Насчетъ народной мудрости можно та̀къ сказать, — возразилъ онъ: — для черняди она полезна, а для высокопоставленныхъ лицъ едва-ли руководствомъ служить можетъ. Устное-то преданіе у насъ и доселѣ одно: „сколько влѣзетъ!“ — такъ вѣдь это преданіе и безъ того куда слѣдуетъ, въ качествѣ матеріала, занесено. Что̀ же касается до поговорокъ, то иногда онѣ и совсѣмъ въ нашемъ дѣлѣ непригодны. Возьмемъ для примѣра хоть слѣдующее. Народъ говоритъ: по Сенькѣ — шапка, а по обстоятельствамъ дѣла выходитъ, что эту поговорку наоборотъ надо понимать.

— Почему же такъ?

— А потому, что потому-съ. Начальство — вотъ въ чемъ причина! Сѐнекъ-то много-съ, такъ коли ежели каждый для себя особливой шапки потребуетъ... А у насъ на этотъ счетъ та̀къ принято: для сокращенія переписки всѣмъ чтобы одна мѣра была! Вотъ мы и пригоняемъ-съ. И правильно это, доложу вамъ, потому что народъ — онъ глупъ-съ.

— Да еще какъ глупъ-то! — воскликнулъ Иванъ Тимоѳеичъ: — то-есть, такъ глупъ, такъ глупъ!

Напоминаніе о народной глупости внесло веселую и легкую струю въ нашъ разговоръ. Сначала говорили на эту тему члены комисіи, а потомъ незамѣтно разразились и мы, и минутъ съ десять всѣ хоромъ повторяли: „ахъ, какъ глупъ! ахъ, какъ глупъ!“ Молодкинъ же, воспользовавшись симъ случаемъ, разсказалъ нѣсколько сценъ изъ народнаго быта, право, ничуть не уступавшихъ тѣмъ, которыми утѣшается публика въ Александринскомъ театрѣ.

— А вы еще объ народной мудрости изволите говорить! — укоризненно заключилъ Прудентовъ, обращаясь къ Глумову.

— И, все-таки, извините меня, а я этого понять не могу! — не унимался Глумовъ:—какъ же это такъ? ни исторіи, ни современныхъ законодательствъ, ни народныхъ обычаевъ—такъ-таки ничего? Стало быть, что̀ вамъ придетъ въ голову, то̀ вы и пишете?

— Прямо отъ себя-съ. Имѣемъ въ виду одно обстоятельство: чтобы для начальства какъ возможно меньше безпокойства было — къ тому и пригоняемъ.

Теорія эта хотя и давно намъ была знакома, но на этотъ разъ она была высказана такъ безъискусственно, прямо и рѣшительно, что мы на минуту умолкли, какъ бы подъ вліяніемъ пріятной неожиданности.

— Любопытно! — произнесъ наконецъ Глумовъ, первый стряхнувъ съ себя гнетъ очарованія.

— А коли любопытно, такъ не угодно ли съ трудами нашими ознакомиться? — предложилъ Прудентовъ.—Намъ даже очень пріятно, что образованные люди прожектами нашими интересуются. Иванъ Тимоѳеичъ, дозволите?

Разумѣется, Иванъ Тимоѳеичъ охотно согласился, и Прудентовъ прочелъ:

УСТАВЪ

О БЛАГОПРИСТОЙНОМЪ ОБЫВАТЕЛЕЙ ВЪ СВОЕЙ ЖИЗНИ ПОВЕДЕНІИ.

Общія начала.

„Ст. 1-я. Всякій обыватель да памятуетъ, что двѣ главнѣйшихъ цѣли предъ нимъ къ непремѣнному достиженію предстоитъ: въ сей жизни—благопристойное во всѣхъ мѣстахъ нахожденія поведеніе, въ будущей — вѣчное блаженство.

„Ст. 2-я. Обѣ сіи цѣли, составляя начало и конецъ одной и той же, отъ вѣковъ предустановленной и начальствомъ одобренной, цѣпи, состоятъ, однакоже, въ завѣдываніи двухъ совершенно отличныхъ вѣдомствъ. А именно: первая вѣдается обыкновенными отъ гражданскаго начальства учрежденными властями, вторая же подлежитъ разсмотрѣнію религіи.

„Ст. 3-я. Благопристойность, составляющая предметъ настоящаго устава, по существу своему раздѣляется на внѣшнюю и внутреннюю. По мѣсту же нахожденія обывателя—на благопристойность, обнаруживаемую: а) на улицахъ и площадяхъ, б) въ публичныхъ мѣстахъ и в) въ собственныхъ обывателей квартирахъ.

„Ст. 4-я. Внѣшняя благопристойность выражается въ дѣйствіяхъ и тѣлодвиженіяхъ обывателя; внутренняя — создаетъ себѣ храмъ въ сердцѣ его. А посему наиболѣе приличными мѣстами наблюденія за первою признаются: улицы, площади и публичныя мѣста; послѣднюю же всего удобнѣе наблюдать въ собственныхъ квартирахъ обывателей.

„Ст. 5-я. Сіи общія начала, взятыя въ нераздѣльной ихъ совокупности, составляютъ краеугольный камень, на которомъ зиждется все послѣдующее зданіе благопристойности. А равнымъ образомъ и изреченіе: начальству да повинуются, ибо всуе приказанія отдавать, ежели оныя не исполнять“.

— Это—общія начала,—сказалъ Прудентовъ, прерывая чтеніе и самодовольно поглядывая на насъ:—имѣете сдѣлать какое-либо замѣчаніе?

Вмѣсто отвѣта, мы взяли Прудентова за руку и долго и съ чувствомъ жали ее.

— Не только ничего не имѣемъ, — сказалъ Глумовъ взволнованнымъ голосомъ:—но даже... удивительно это, голубчикъ, какъ вы въ нѣсколькихъ штрихахъ всѣ истинныя потребности времени обрисовали! Именно, именно такъ: „собственныя квартиры“! — вотъ гдѣ настоящая нить завязки романа гнѣздится! Само Провидѣніе вамъ, другъ мой, внушило эту мысль!

— Итакъ, будемъ продолжать-съ.

§ 1-й.

О благопристойномъ поведеніи на улицахъ и площадяхъ.

Ст. 1-я. Въ отношеніи благопристойнаго поведенія на улицахъ и площадяхъ, городъ раздѣляется на три района. Первый обнимаетъ собой набережную рѣки Невы отъ крайнихъ предѣловъ Англійской набережной и оканчивая Литейнымъ дворомъ; затѣмъ, идя по Литейной улицѣ до конца оной, поворотить по Невскому проспекту до Большой Морской, а оттуда идти по Конногвардейскому бульвару и вновь вступить на Англійскую набережную. Второй районъ составляютъ остальныя части города по сю сторону Невы, за исключеніемъ Рождественской и Нарвской частей, а равно и Васильевскій Островъ по 14-ю линію включительно. Въ третій районъ входятъ прочія мѣстности, а также Сѣнная площадь.

„Ст. 2-я. Внутренняя благопристойность во всѣхъ сихъ районахъ требуется одинаковая. Что же касается до благопристойности внѣшней, то, дабы предоставить обывателямъ возможныя по сему предмету облегченія, только въ первомъ районѣ предписывается благопристойность безусловная; затѣмъ во второмъ районѣ допускается благопристойность мѣньшая противъ перваго района; въ третьемъ же районѣ разрѣшаются и прямыя отъ внѣшней благопристойности уклоненія.

„Ст. 3-я. Всѣ вообще площади, улицы и переулки предоставляются въ распоряженіе публики, а посему обывателямъ не возбраняется посѣщеніе ихъ, какъ для прогулокъ, такъ и для прочихъ надобностей, кромѣ впрочемъ вводящихъ въ соблазнъ.

„Ст. 4-я. Всякій приходящій на улицу или площадь имѣетъ право обращаться на оныхъ свободно, не стѣсняя себя одною стороною или однимъ направленіемъ, но переходя, по надобности, и на другую сторону, а равнымъ образомъ заходя и въ ближайшіе переулки. Но безъ надобности, а тѣмъ паче съ явнымъ намѣреніемъ затруднить надзоръ, соваться взадъ и впередъ воспрещается.

„Ст. 5-я. Однообразной формы одежды для пребыванія на улицахъ и площадяхъ не полагается. Всякій да будетъ одѣтъ какъ самъ пожелаетъ и какъ состоянію его приличествуетъ. Но само собой разумѣется, что выраженіе: „одежда“, должно быть принимаемо въ настоящемъ его значеніи, и что никакой игры словъ по сему поводу не допускается.

„Ст. 6-я. Разрѣшается, при встрѣчѣ съ знакомыми, остановившись или, по желанію, и продолжая совмѣстно путь, вступать въ приличный разговоръ. При семъ подъ выраженіемъ: „приличный разговоръ“, слѣдуетъ разумѣть: а) воспоминанія о пріятно проведенномъ времени; б) предположенія о возможности такого же времяпровожденія въ ближайшемъ будущемъ; в) разспросы о здоровьи начальствующихъ лицъ, а равно родныхъ и близкихъ, не опороченныхъ по суду; г) воспоминанія о слышанномъ и видѣнномъ на экономическихъ обѣдахъ; д) анекдоты изъ жизни цензоровъ Красовскаго и Бирукова; е) разсказы изъ народнаго быта и ж) вообще всякія легкія изреченія, кои не могутъ подать повода для превратныхъ толкованій. Но „критика“ безусловно возбраняется.

„Ст. 7-я. Поговоривъ между собою, обыватели, ежели они при этомъ не сдѣлали другого какого-либо противозаконнаго проступка, могутъ разойтись и не докончивъ начатой матеріи, за что никакому взысканію не подвергаются.

„Ст. 8-я. Воровать, грабить и, тѣмъ паче, убивать не дозволяется вовсе. Лица, учинившія такіе поступки, немедленно отводятся въ ближайшую будку, оттуда въ подлежащій кварталъ, а затѣмъ и въ часть.

„Ст. 9-я. Тѣмъ не менѣе, ежели кто замѣтитъ со стороны проходящаго явное покушеніе на его собственность или жизнь, то не долженъ о семъ заявлять неистовымъ голосомъ, а обязывается, ухвативъ покушающагося за руку, держать крѣпко, дабы не вырвался.

„Ст. 10-я. Ежели бы, паче чаянія, случилось, что потерпѣвшее лицо, не будучи въ состояніи удержать обидчика, выпуститъ его, то таковой случай надлежитъ считать неосуществившимся отъ независящихъ обстоятельствъ.

„Ст. 11-я. При встрѣчахъ съ знакомыми дамами предоставляется, отдавъ учтивый поклонъ, разспрашивать о здоровьи. Буде же встрѣтится дама незнакомая, то таковой поклона не отдавать, а продолжать путь въ молчаніи, не дозволяя себѣ никакихъ аллегорическихъ тѣлодвиженій.

„Ст. 12-я. Вообще, да вѣдомо будетъ всѣмъ и каждому, что особа женскаго пола есть существо слабое и снисхожденія заслуживающее. Посему не тотъ достоинъ похвалы, кто оную съ праваго пути на погибельный совратитъ, а тотъ, кто и заблудшую въ лоно цѣломудрія водворитъ.

„Ст. 13-я. Относительно образа мыслей, яко дара сокровеннаго, никакихъ правилъ, въ какой силѣ оный содержать, не полагается. Тѣмъ не менѣе, дабы не оставить желающихъ безъ надлежащаго въ семъ случаѣ наставленія, предписывается будочникамъ, при проходѣ мимо нихъ обывателей, дѣлать соотвѣтствующія духу времени предостереженія.

„Ст. 14-я. Но ежели бы въ выраженіи лица обывателя была замѣчена столь явная злоумышленность, что и сомнѣваться въ оной нельзя, то таковый, безъ потери времени, приводится въ съѣзжій домъ для изслѣдованія.

„Ст. 15-я. При наймѣ извозчиковъ, ежели надобность сія возникнетъ въ первомъ районѣ—слѣдуетъ безусловно воздерживаться отъ сквернословія; во второмъ районѣ—воздерживаться лишь по мѣрѣ возможности; въ третьемъ же районѣ—воздержаніе или невоздержаніе оставляется на каждаго, съ тѣмъ

лишь ограниченіемъ, дабы сквернословіе прилагалось не по произволу сквернословящаго, но по заслугамъ сквернословимаго.

„Ст. 16-я. Лица дворянскаго происхожденія да памятуютъ, что ношеніе бородъ имъ несвойственно, а право ношенія усовъ присвоено лишь лицамъ военнаго званія. Равнымъ образомъ и о прическѣ сказать надлежитъ, что оная не должна быть ни слишкомъ длинною, ни слишкомъ короткою. Лучшая прическа—средняя.

„Ст. 17-я. Пѣть и свистать (но не громогласно) не возбраняется, ибо сіе означаетъ удовольствіе. Для начальства же ничто столь не пріятно, какъ ежели подчиненные безъ унылости и во всемъ расположась на волю онаго время проводятъ.

„Ст. 18-я. Проходя мимо памятниковъ, надлежитъ, замедливъ шаги, изобразить на лицѣ восторженность. Если же, по причинѣ охлажденія лѣтъ или вслѣдствіе долговременной и тяжелой болѣзни, восторженность представляется трудно достижимою, то замѣнить оную простою задумчивостью. Какъ восторженность, такъ и задумчивость будутъ въ семъ случаѣ служить доказательствомъ твердаго намѣренія обывателя уподобиться симъ героямъ, дабы впредь проводить время такъ, какъ оные при жизни своей проводили, за что и удостоены отъ начальства монументовъ.

„Ст. 19-я. Когда таковыхъ вознамѣрившихся подражать монументамъ обывателей наберется достаточно, то всѣмъ имъ составляется подробный списокъ, который и препровождается въ особую монументную комисію. Сія же послѣдняя, при разсмотрѣніи списковъ, руководится тою мыслью, что чѣмъ болѣе будетъ воздвигнуто монументовъ (хотя бы среднихъ размѣровъ), тѣмъ охотнѣе всякій будетъ содержать въ своемъ сердцѣ ожиданіе столь отличной награды и въ семъ ожиданіи почерпать поводъ для добродѣтельной жизни.

„Ст. 20-я. При входѣ въ баню воспрещается снимать съ себя одежду прежде нежели обыватель войдетъ въ притворъ.

„Ст. 21-я. При встрѣчѣ съ лицами высшими предоставляется выражать вѣжливое изумленіе и несомнѣнную готовность претерпѣть; при встрѣчѣ съ равными—гостепріимство и желаніе оказать услугу; при встрѣчѣ съ низшими—снисходительность, но безъ послабленія.

„Ст. 22-я. Подавать нищимъ не возбраняется, но полезно при семъ напоминать имъ, что только тотъ хлѣбъ сладокъ, который добывается трудомъ.

„Ст. 23-я. Ибо только то отечество процвѣтаетъ, которое, давая труду исходъ и направленіе, въ то же время оплодотворяетъ его соотвѣтствующимъ капиталомъ, а въ случаѣ отсутствія таковаго—кредитомъ, съ обязанностью взятое своевременно съ надлежащими процентами уплатить. Что вполнѣ подверждается и собесѣдованіями, производимыми на экономическихъ обѣдахъ.

„Ст. 24-я. Равнымъ образомъ и о монетной единицѣ не лишне здѣсь упомянуть. Тщетно будемъ мы употреблять выраженіе: „рубль", коль скоро онъ полтину стоитъ; однако, ежели начальство находитъ сіе правильнымъ, то желаніе его надлежитъ выполнить безпрекословно. Такъ точно и въ прочихъ человѣческихъ дѣлахъ.

„Ст. 25-я. Все, что въ сихъ правилахъ не указано, яко невозбраняе-

мое, тѣмъ самымъ уже ставится въ разрядъ возбраненнаго. Въ случаѣ же сомнѣнія, лучше всего, не продолжая прогулки, возвратиться домой и тамъ размыслить".

Голосъ Прудентова смолкъ.

— Все?—спросилъ Глумовъ.

— Покуда — все-съ. А тамъ пойдутъ правила о благопристойномъ поведеніи въ баняхъ и другихъ публичныхъ мѣстахъ, и наконецъ о благопристойности въ собственныхъ квартирахъ.

— Голубчикъ! Флегонтъ Васильичъ (такъ звали Прудентова)! позволь мнѣ часика на два твой уставъ! Я тебѣ въ „общія начала" — чуточку „злой и порочной воли" подпущу. Нельзя безъ этого, другъ мой! Голо̀!

Предложеніе это было сдѣлано такъ искренно и притомъ съ такимъ горячимъ участіемъ, что Прудентовъ не только не обидѣлся, но вмѣсто отвѣта простеръ къ Глумову обѣ руки, вооруженныя проектомъ устава. И мы вдругъ, совершенно незамѣтно, начали съ этой минуты говорить другъ другу „ты".

— Вотъ и прекрасно!— продолжалъ Глумовъ: — кстати, позволь ужъ и параграфъ объ улицахъ просмотрѣть. Шероховатости мѣстами попадаются; сейчасъ: „при входѣ въ баню", и тутъ же слѣдомъ: „при встрѣчѣ съ лицами высшими"—нехорошо, братецъ!

— Да, ужъ поправь! сдѣлай милость, поправь!—присовокупилъ свою просьбу и Иванъ Тимоѳеичъ:—я вѣдь и самъ... Вижу, что не тово... напримѣръ: „равнымъ образомъ и о монетной единицѣ"... а почему „равнымъ образомъ", и точно ли „равнымъ образомъ"—сказать не могу!

— Поправлю! все поправлю! А главное — „злой и порочной воли" подпустить надо! Непремѣнно подпустить. Потому что безъ этого, понимаешь ты, вѣдь и въ „квартиры" войти неловко! А коли „злая и порочная воля" есть, такъ вездѣ тебѣ входъ открытъ!

Глумовъ сложилъ уставъ вчетверо и бережно положилъ его въ карманъ. Потомъ, съ свойственнымъ ему любезно-вызывающимъ видомъ, взглянулъ на Ивана Тимоѳеича и продолжалъ:

— Иванъ Тимоѳеичъ! а вѣдь мы... нѣтъ, угадай, съ чѣмъ мы къ тебѣ пришли?

— Водки, что̀-ли, велѣть подать?—натурально прежде всего догадался Иванъ Тимоѳеичъ.

— Анъ вотъ и не отгадалъ! Водка—само собой, а помнишь объ Парамоновской „штучкѣ" ты насъ просилъ? Вѣдь Балалайкинъ-то... со-гла-сил-ся!

— Ну, слава Богу!

— И денегъ, знаешь ли, сколько выпросилъ?.. ты-ся-чу шесть-сотъ! Совсѣмъ! и съ будущимъ судебнымъ разбирательствомъ, ежели таковое возникнетъ!

— Слава Богу! слава Богу! вотъ это... ну, слава Богу! Ссслава Богу! —повторялъ Иванъ Тимоѳеичъ, захлебываясь и пожимая намъ руки: — ну, надо теперь бѣжать, обрадовать старика надо! А къ вечеру и вамъ вѣсточку дамъ, что̀ и какъ... дру-з-з-з-ья!

Мы повеселѣли окончательно, такъ что Глумовъ позволилъ даже себѣ пошутить съ Молодкинымъ, обратившись къ нему съ вопросомъ:

— Ну, а ты, Аѳанасій Семенычъ! что ты молчишь, пріунылъ? какъ будто благопристойность-то эта не совсѣмъ тебѣ понутру?

На что Молодкинъ очень мило отвѣтилъ:

— У меня своя часть — пожары-съ! А благопристойности этой... признаюсь, я даже совсѣмъ не понимаю!

Глава IX.

Придя домой, мы нашли Очищеннаго уже возвратившимся изъ бани. Онъ прохаживался въ довольно близкомъ разстояніи отъ шкафа, въ которомъ хранился графинъ съ водкой, но, къ чести нашего друга, мы должны были сознаться, что въ отсутствіе наше ничего въ квартирѣ у насъ не пропало.

— Вотъ, братъ, могли ли мы думать, выходя сегодня утромъ, что все такъ прекрасно устроится! — сказалъ мнѣ Глумовъ: — и съ Балалайкинымъ покончили, и заблудшаго друга обрѣли, а вдобавокъ еще и на „Уставъ“ наскочили! Вѣдь этакъ, пожалуй, и мы съ тобой косвеннымъ образомъ любезному отечеству въ кошель накласть сподобимся!

Слова эти настроили насъ на благодушный ладъ. А такъ какъ празднаго времени у насъ было пропасть, то мы рѣшились посвятить его благопотребно-философическимъ размышленіямъ. Наше случайное привлеченіе къ участію въ работахъ комисіи по составленію „Устава благопристойности“ представило для такихъ размышленій обильный и вполнѣ подходящій матеріалъ. Въ самомъ дѣлѣ, не предопредѣленіе ли это? Стоитъ только подпустить въ „Уставъ“ съ воробьиную погадку „злой и порочной воли“ (а это вполнѣ теперь отъ насъ зависитъ) и доступъ въ квартиры сдѣлается свободнымъ навсегда! Не то чтобъ доступъ этотъ не былъ свободенъ и прежде — нѣтъ, въ этомъ отношеніи мы новаторами назваться не можемъ! — но прежде этотъ необходимый актъ общественной безопасности производился какъ-то грубо, а потому казался неестественнымъ. Охочій человѣкъ молча приходилъ въ квартиру, молча же отмыкалъ помѣщенія, и на вопросъ: „чего вы ищете?“ не могъ даже отвѣтить порядкомъ, какая вещь изъ квартирной обстановки ему приглянулась. Развѣ такая форма огражденія домашняго очага можетъ быть названа удовлетворительною? Напротивъ того, теперь, благодаря нашему просвѣщенному содѣйствію, тотъ же охочій человѣкъ совершитъ то же самое, но при этомъ скажетъ: „по слухамъ, въ этой квартирѣ скрывается злая и порочная воля — извольте представить ключи!“ Кто же позволитъ себѣ найти это требованіе ненатуральнымъ?

— Да, господа, — сказалъ Глумовъ: — нерѣдко и малые источники даютъ начало рѣкамъ, оплодотворяющимъ неизмѣримыя пространства. Такъ-то и мы. Пусть эта мысль сопутствуетъ намъ въ трудахъ нашихъ, и да дастъ она намъ силу совершить предпринятое не къ стыду, но къ славѣ нашего отечества.

Разумѣется, я ничего не имѣлъ возразить противъ такого напутствія, а Очищенный даже перекрестился при этомъ извѣстіи и произнесъ: — Дай Богъ

счастливо!—Вообще, этотъ добрый и опытный старикъ былъ до крайности намъ полезенъ при нашихъ философическихъ собесѣдованіяхъ. Стоя на одной съ нами благопотребно-философической высотѣ, онъ обладалъ тѣмъ преимуществомъ, что, благодаря многолѣтней тапёрской практикѣ, имѣлъ въ запасѣ множество приличествующихъ случаю фактовъ, которые поощряли насъ къ дальнѣйшей игрѣ ума.

— Къ стыду отечества совершить очень легко, —сказалъ онъ: – къ славѣ же совершить, напротивъ того, столь затруднительно, что многіе даже изъ силъ выбиваются и, все-таки, успѣха не достигаютъ. Когда я въ Проломновской губерніи жилъ, то былъ тамъ одинъ начальствующій — такъ онъ всегда все къ стыду совершалъ. Даже посторонніе дивились; спросятъ, бывало: „зачѣмъ это вы, вашество, все къ стыду да къ стыду?“ А онъ: „не могу, говоритъ:—радъ бы радостью къ славѣ что-нибудь совершить, а выходитъ къ стыду!“

— Ахъ, чортъ возьми!

— И даже какъ я вамъ доложу! перешелъ онъ послѣ того въ другое вѣдомство, думаетъ: хоть тамъ не выйдетъ ли чего къ славѣ—и хоть ты что̀ хошь! Такъ въ стыдѣ и отошелъ въ вѣчность!

— Однако!

— И когда, при отпѣваніи, отецъ протопопъ сказалъ: „вотъ человѣкъ, который всю жизнь свою, всеусердно тщась нѣчто къ славѣ любезнѣйшаго отечества совершить, ничего, кромѣ дѣйствій, клонящихся къ несомнѣнному онаго стыду, не совершилъ“, то весь народъ, всѣ, кто тутъ были, всѣ такъ и залились слезами!

— Еще бы! разумѣется, жалко!

— И многіе изъ предстоявшихъ начальствующихъ лицъ въ то время на усъ себѣ это намотали!

— Намотали-то намотали, да проку отъ этого мало вышло!

— Это ужъ само собой. — А вотъ что̀ вы изволили насчетъ малыхъ источниковъ сказать, что они нерѣдко начало большимъ рѣкамъ даютъ, такъ и это совершенная истина. Источнику, даже самому малому, очень нетрудно хорошей рѣкой сдѣлаться, только одно условіе требуется: понравиться нужно.

— Отчего же ты самъ...

— Удачи мнѣ не было — вотъ почему. Это вѣдь, сударь, тоже какъ кому. Иной, кажется, и не слишкомъ уменъ, а только взглянетъ на лицо начальничье—сейчасъ истинную потребность видитъ; другой же и долго глядитъ, а ничего различить не можетъ. Я тоже однажды „понравиться“ хотѣлъ, анъ, замѣсто того, совсѣмъ для меня другой оборотъ вышелъ.

— Бѣдный ты, бѣдный!

— Да, сударь. Состоялъ я въ то время подъ слѣдствіемъ, по дѣлу о злоупотребленіи помѣщичьей власти, и пріѣхалъ въ губернію хлопотать. Туда-сюда, только и говоритъ мнѣ одинъ человѣкъ: „дѣло твое, говоритъ, даже очень хорошо направить можно, только постарайся *ему* понравиться“. И научилъ онъ меня, знаете, насмѣхъ: „съѣзди, говоритъ, къ обѣднѣ, вынь за здравіе просвирку и свези *ему*: страсть, какъ онъ это любитъ!“ Такъ я и сдѣлалъ. Пріѣзжаю это къ нему, прошу доложить, а самъ просвирку въ рукѣ

держу. Выходитъ. Взялъ мою просвирку, повертѣлъ въ рукахъ, разломилъ пополамъ, потомъ на-четверо... И вдругъ: „такъ ты, говоритъ, боговдохновенную взятку мнѣ хотѣлъ всучить?.. вонъ!!“

— Не понравился, значитъ?

— То-то, что я совѣтъ-то того человѣка не въ надлежащей силѣ понялъ. Просвирки-то *онъ* дѣйствительно любилъ, да съ начинкою.

— Стало быть, еслибъ ты въ ту пору истинную потребность угадалъ, такъ, можетъ, и теперь бы теченіе имѣлъ да выкупными свидѣтельствами поигрывалъ.

— Безпремѣнно-съ. „Понравиться“ — въ этомъ вся наша здѣшняя жизнь состоитъ. Вотъ, напримѣръ, съ однимъ моимъ знакомымъ какой случай былъ. Начальникъ у него былъ въ родѣ какъ омраченный. Всѣ дѣла департаментскія на цифры переложилъ, на всякій предметъ свою особую форму вѣдомости преподалъ и строго-престрого слѣдилъ, чтобы ни въ одной, значитъ, графѣ ни одного пустого мѣста не оставалось. Только однажды подали ему вѣдомость — онъ ее и такъ и этакъ, и сверху внизъ, и снизу вверхъ, и поперекъ—недостаетъ четь копѣйки да и шабашъ! Взбунтовалъ весь департаментъ, ищутъ, шарятъ — нѣтъ четь копѣйки! А онъ, знакомый-то мой, зналъ. Пришелъ это прямо къ начальнику предъ лицо и говоритъ: „вотъ она!“ И точно, стали это, по указанію его, провѣрять—тутъ какъ тутъ! Сейчасъ это его въ баню сводили, насчетъ канцелярскихъ остатковъ вымыли, одѣли, обули—и первымъ человѣкомъ сдѣлали!

Примѣръ этотъ навелъ насъ на мысль, что, независимо отъ умѣнья „понравиться“, въ жизни русскаго человѣка играетъ немаловажную роль и волшебство.

Загляните въ любую книжку „Русской Старины“, „Русскаго Архива“ — что̀ найдете вы тамъ, кромѣ самаго поразительнаго волшебства?—выразилъ свое мнѣніе Глумовъ.

— Да что̀, сударь, въ „Русскую Старину“ заглядывать — и нынче этого волшебства даже очень достаточно,—подтвердилъ Очищенный:—такъ довольно, что иногда человѣкъ даже не мыслитъ ни о чемъ — анъ съ нимъ переворотъ. На моей еще памяти случай-то этотъ былъ, что мылись два человѣка въ банѣ: одинъ—постарше, а другой — молодой. Только постарше-то который и спрашиваетъ молодого: „какіе, по твоему мнѣнію, молодой человѣкъ, необходимѣйшіе законы, въ настоящее время, къ изданію потребны?“ Тотъ взялъ да и назвалъ. И чтожъ! на другой день за нимъ—курьеръ! Посадили раба божьяго въ телѣжку, привозятъ: „извольте, говоритъ, тѣ самые законы написать, о которыхъ вчера въ извѣстномъ вамъ мѣстѣ сужденіе имѣли!“ Ну, онъ сѣлъ и написалъ. Да какъ еще написалъ-то: въ трехъ строкахъ всю, что̀-ни-на-есть подноготную изобразилъ! А теперь у него, сударь, тысяча душъ въ Саратовской губерніи, да домъ у Харламова моста, да дочь свою онъ за камеръ-юнкера отдалъ... И все черезъ то, что настоящую минуту избралъ, когда въ баню идти! Ка̀къ вы скажете: отъ себя ему эта мысль пришла, или отъ предопредѣленія?

— Вотъ кабы и намъ...—началъ-было я, увлеченный перспективами волшебства, но Глумовъ не далъ мнѣ кончить.

— Не желай, — сказалъ онъ: — во-первыхъ только тотъ человѣкъ истинно счастливъ, который умѣетъ довольствоваться скромною участью, предоставленною ему Провидѣніемъ, а во-вторыхъ нелегко, мой другъ, изъ золотарей вышедши, на высотахъ балансировать! Хорошо, какъ у тебя настолько характера есть, чтобъ не возгордиться и не превознестись; но горе, ежели ты хотя на минуту позабудешь о своемъ недавнемъ золотарствѣ! Волшебство, которое тебя вознесло, — оно же и низвергнетъ тебя! Иванъ Иванычъ, правду я говорю?

— Правду, сударь, потому все въ мірѣ волшебство отъ начальства происходитъ. А начальство, доложу вамъ, это такой предметъ: сегодня онъ дастъ, а завтра опять обратно возьметъ. Получать-то пріятно, а отдавать-то ужъ и горьконько. Поэтому я такъ думаю: тотъ только человѣкъ счастливымъ почесться можетъ, который на пути своемъ совсѣмъ начальство избѣжать изловчится.

— Чудакъ! да какъ же ты его избѣгнешь, коли оно всегда тутъ, передъ тобой?

— Коли совсѣмъ нельзя избѣгнуть, тогда, конечно, дѣлать нечего: значитъ, на роду такъ написано. Но коли мало-мальски возможность есть — избѣгай! всѣ силы-мѣры употреби, а избѣгай!

— Трудно, голубчикъ, вотъ что̀!

— И труда большого нѣтъ, ежели политику какъ слѣдуетъ вести. Придетъ, напримѣръ, начальство въ департаментъ — встань и поклонись; къ докладу тебя потребуютъ — явись; вопросъ предложитъ — отвѣть что̀ нужно, а разговоръ не затѣвай. Вышелъ изъ департамента — позабудь. Коли видишь, что начальникъ по улицѣ встрѣчу идетъ — зайди въ кондитерскую или на другую сторону перебѣги. Коли столкнешься съ начальникомъ въ жиломъ помѣщеніи — отвернись, скоси глаза...

— Однако, братъ, — это наука!

— Вся наша жизнь есть наука, сударь, съ тою лишь разницей, что обыкновенныя, настоящія науки проникать учатъ, а жизнь, напротивъ того, устраняться отъ проникновенія внушаетъ. И только тогда, когда человѣкъ вотъ эту, жизненную-то, науку себѣ усвоитъ, только тогда онъ и можетъ съ нѣкоторою увѣренностью воскликнуть: да, быть можетъ, и мнѣ Господь Богъ пошлетъ собственною смертью умереть!

Очищенный на мгновеніе потупился. Быть можетъ, его осѣнила въ эту минуту мысль, достаточно ли онъ самъ жизненную науку проникъ, чтобы съ увѣренностью надѣяться на „собственную“ смерть? Однако, такъ какъ печальныя мысли вообще не задерживались долго у него въ головѣ, то, немного погодя, онъ встряхнулся и продолжалъ:

— Даже въ любви къ начальству — и тутъ отъ неумѣренныхъ выраженій воздерживаться надлежитъ. Вотъ какъ жизненная-то наука намъ приказываетъ!

— Примѣръ, голубчикъ! примѣръ!

— Разскажу я вамъ, сударь, повѣсть объ одномъ статскомъ совѣтникѣ, который любовью своей двухъ начальниковъ въ гробъ вколотилъ, а отъ третьяго и самъ, наконецъ, возмездіе принялъ. Жилъ-былъ статскій совѣтникъ,

и такъ онъ своего начальника возлюбилъ, что даже мнилъ его безсмертнымъ. Куда, бывало, ни пойдетъ начальникъ—всюду статскій совѣтникъ на цыпочкахъ за нимъ слѣдуетъ; куда, бывало, ни взглянетъ начальникъ—на всякомъ мѣстѣ статскій совѣтникъ противъ него очутится; сидитъ, скрестивши на груди руки, и на него глядитъ. Ну, попачалу генералу эта преданность нравилась, однако, съ теченіемъ времени, сталъ онъ мало-по-малу задумываться: что̀-молъ такое это значитъ? и нѣтъ ли тутъ покушенія какого-нибудь? Потому что вѣдь съ этими статскими совѣтниками—бѣда! какъ разъ приворотнаго зѣлья подсыплетъ — только и видѣли! И началъ онъ его отъ этой любви отъучать. Всячески отъучалъ: и наградами обходилъ, и на цѣпь сажалъ, и даже подъ судъ однажды отдалъ. Неймется, да и шабашъ! Чѣмъ больше наказываютъ, тѣмъ шибче да шибче въ статскомъ совѣтникѣ сердце разгорается. И вдругъ, отъ этой ли причины, или отъ чего другого, только началъ начальникъ хирѣть. Хирѣлъ-хирѣлъ да и померъ. Возропталъ тогда статскій совѣтникъ, не токмо департаментъ, но и сторожевскую стонами огласилъ. „Когда-то еще, говоритъ, намъ новаго начальника дадутъ, а до тѣхъ поръ кто съ нами по всей строгости поступать будетъ!“ Однако послалъ Богъ ему милость: не успѣлъ онъ глаза просушить, какъ ужъ назначили имъ новаго начальника. Прибылъ въ департаментъ новый генералъ, и какъ былъ насчетъ статскаго совѣтника предупрежденъ, то призвалъ его предъ лицо свое и сказалъ: „предмѣстникъ мой далъ тебѣ раны, азъ же дамъ ти скорпіоны“. Что̀ же, однако, вы думаете! даже и этимъ статскій совѣтникъ не унялся. Скорпіоны, такъ скорпіоны! сказалъ онъ въ сердцѣ своемъ, и возлюбилъ новаго начальника пуще, нежели прежняго. И доканалъ-таки его! Пришелъ однажды скорпіонщикъ въ департаментъ, да на любовь статскаго совѣтника такое вдругъ встрѣчу слово пустилъ, что тутъ же имъ и подавился. И опять возропталъ статскій совѣтникъ; идетъ это за гробомъ и прямо народъ бунтуетъ. „Вотъ, говоритъ, велятъ на Провидѣніе надѣяться, а гдѣ оно?“ Увидѣли тогда, что дѣло-то выходитъ серьезное и безъ потери времени прислали въ тотъ департаментъ третьяго начальника. Прибылъ онъ къ мѣсту служенія, свѣжій да свѣтлый—весь, словно новый мѣдный пятакъ, горитъ! Призвалъ-это статскаго совѣтника предъ лицо свое и повелъ къ нему такую рѣчь: „одинъ мой предмѣстникъ далъ тебѣ раны, другой—скорпіоны, азъ же, дабы строптивый твой нравъ навсегда упразднить, истолку тебя въ ступѣ!“ И истолокъ-съ.

— Браво! —какъ-то невольно сорвалось у насъ. Но, разумѣется, мы сейчасъ же поняли, что восклицаніе это неумѣстно и даже жестоко.

— Слушай, другъ! —поспѣшилъ поправиться Глумовъ: —вѣдь это такой сюжетъ, что изъ него цѣлый романъ выкроить можно. Я и заглавіе припридумалъ: „Плоды подчиненнаго распутства, или Смерть двухъ начальниковъ и вызванное оною мѣропріятіе со стороны третьяго“. Написать да фельетонцемъ въ „Красѣ Демидрона“ и пустить... а? ка̀къ ты думаешь, хозяева твои примутъ?

— Помилуйте! съ удовольствіемъ-съ!

— А я такъ, напротивъ, полагаю, что сюжетъ этотъ не романомъ, а трагедіей пахнетъ,—возразилъ я.—Помилуйте! съ одной стороны такая сила

беззавѣтной любви, а съ другой — раны, скорпіоны и наконецъ толкачъ! Вѣдь его чинами обходили, на цѣпь сажали, подъ судъ отдали, а онъ все продолжалъ любить! Это ли не трагедія?

Завязался эстетическій споръ. Глумовъ, главнѣйшимъ образомъ, основывалъ свое мнѣніе на томъ, что романъ можно изо всего сдѣлать, даже если и нѣтъ у автора данныхъ для дѣйствительнаго содержанія. Возьми четыре-пять главныхъ дѣйствующихъ лицъ (статскій совѣтникъ, два убіенные начальника, одинъ начальникъ карающій и экзекуторъ, онъ же и казначей), прибавь къ нимъ, въ качествѣ второстепенныхъ лицъ, нѣсколько канцелярскихъ чиновниковъ, курьеровъ и сторожей, для любовнаго элемента введи парочку просительницъ, скомпонуй рядъ любовныхъ сценъ (между статскимъ совѣтникомъ и начальствомъ съ одной стороны, и начальствомъ и просительницами — съ другой), присовокупи нѣсколько упражненій въ описательномъ родѣ, смочи все это психологическимъ анализомъ, поставь въ вольный духъ и жди, покуда не зарумянится. Напротивъ того, трагедія никакихъ околичностей не терпитъ, а прямо требуетъ дѣла. Чтобъ и начало, и середина, и конецъ — все чтобы на лицо было, а не то чтобы такъ: гдѣ надоѣло, тамъ и бросилъ.

— Ну, какую ты, напримѣръ, трагедію изъ этого статскаго совѣтника выжмешь? — пояснилъ онъ свою мысль: — любовь его однообразная, почти безпричинная, слѣдовательно никакихъ данныхъ ни для драматической экспозиціи, ни для дальнѣйшей разработки не представляетъ; прекращается она — тоже какъ-то черезчуръ ужъ просто и нелѣпо: толкачомъ! Вѣдь изъ этого матеріала, хоть тресни, больше одного акта не выкроишь!

— Но вѣдь вся наша жизнь, мой другъ, такова! — постарался я возразить: — неужтожъ, по твоему, изъ всей нашей жизни ничего путнаго сдѣлать нельзя?

— И жизнь у насъ — одноактная. Экспозиціи у насъ и само по себѣ не существуетъ, да къ тому же и начальство въ оба смотритъ! Чуть что затѣялось — сейчасъ распоряженіе, и „занавѣсъ опускается“.

— Глумовъ! да ты вспомни только! Идетъ человѣкъ по улицѣ, и вдругъ — фюить! Ужели это не трагедія?

— Я и не говорю, что это не трагедія, да представлять-то нечего. Явленіе первое и послѣднее — и шабашъ.

— Это такъ точно, — согласился съ Глумовымъ и Очищенный: — хотя у насъ трагедіи и довольно бываетъ, но такъ какъ онѣ по большей части скоропостижный характеръ имѣютъ, оттого и на акты дѣлить ихъ затруднительно. А притомъ позвольте еще доложить: какъ мы, можно сказать, съ малолѣтства промежду скоропостижныхъ трагедіевъ ходимъ, то современемъ такъ привыкаемъ къ нимъ, что хоть и видимъ трагедію, а въ мысляхъ думаемъ, что это просто „такая жизнь“.

Замѣчаніе это вывело на сцену новую тему: „привычка къ трагедіямъ“. Какого рода вліяніе оказываетъ на жизнь „привычка къ трагедіямъ“? Облегчаетъ ли она жизненный процессъ, или же, напротивъ того, сообщаетъ ему новую трагическую окраску, и притомъ еще болѣе горькую и удручающую? Я былъ на сторонѣ послѣдняго мнѣнія, но Глумовъ и Очищенный, напро-

тивъ, утверждали, что только тому и живется легко, кто до того принюхался къ трагическимъ запахамъ, что ничего ужъ и различить не можетъ.

— Да вѣдь это именно настоящая трагедія и есть!—горячился я:—подумайте! развѣ не ужасно видѣть эти легіоны людей, которые всю жизнь ходятъ „промежду трагедіевъ“ — и даже не понимаютъ этого! Воля ваша, а это такая трагедія—и притомъ не въ одномъ, а въ безчисленномъ множествѣ актовъ—объ которой даже помыслить безъ содроганія трудно!

— То-то, что по нашему мѣсту не мыслить надобно, а почаще вспоминать, что выше лба уши не ростутъ!—возразилъ Очищенный:—тогда и жизнь своимъ чередомъ пойдетъ, и даже сами не замѣтите, какъ время постепенно пролетитъ!

— Правильно!—поддержалъ его Глумовъ.

— Зналъ я, сударь, одного человѣка, такъ онъ, покуда не понималъ—благоденствовалъ, а понялъ—удавился!

— Вѣрно! А знаешь ли, Иванъ Иванычъ, вѣдь ты—преумный! Только вотъ словно протухъ немного...

Очищенный пріосанился.

— Или вотъ хоть бы про запой,—продолжалъ онъ:—вы думаете, отчего онъ бываетъ? Конечно, и тутъ неглижировка ролю играетъ, однакожъ который человѣкъ не „понимаетъ“—тотъ не запьетъ.

— А вы когда-нибудь запивали, Иванъ Иванычъ?—полюбопытствовалъ я.

— Было время—ужасти какъ тосковалъ! Ну, а теперь Богъ хранитъ. Постепенно я во всякое время выпить могу, но чтобы такъ: три недѣли не пить, а недѣлю чертить — этого нѣтъ! Живу я смирно, вникать не желаю; чтò и вижу, такъ стараюсь не видѣть — оттого и скриплю. Помилуйте! при моихъ обстоятельствахъ да ежели бы еще вникать—развѣ я былъ бы живъ! А я себя такъ обшлифовалъ, что хоть на куски меня рѣжь—мнѣ и горюшка мало!

Это было высказано съ такою беззавѣтною искренностью, что Глумовъ не выдержалъ и поцѣловалъ старика въ лобъ.

— Ни гордости, ни притязательности во мнѣ нѣтъ, а отъ кляузъ да сутяжничества я и подавно убѣгаю,—продолжалъ Очищенный, очевидно поощренный лаской Глумова. — Ежели оскорбленіе мнѣ нанесутъ—отъ вознагражденія не откажусь, а въ судъ не пойду. Оттого всѣ меня и любятъ. И у Дарьи Семеновны любили, и у Марцинкевича любили. Даже теперь: приду въ кварталъ—сейчасъ дежурный помощникъ табакомъ потчуетъ!

— Вотъ и насъ тоже...—машинально произнесъ я.

— И васъ тоже. Покуда вы вникали—никто васъ не любилъ, а перестали вникать—всѣ къ вамъ съ довѣріемъ! Вотъ хоть бы, напримѣръ, уставъ о благопристойности...

— Гм... да, уставъ!—какъ-то загадочно пробормоталъ Глумовъ.

Я взглянулъ на моего друга, и, къ великому огорченію, замѣтилъ въ немъ большую перемѣну. Онъ, который еще такъ недавно принималъ живое участіе въ нашихъ благонамѣренныхъ преніяхъ, въ настоящую минуту казался угомленнымъ, почти раздраженнымъ. Мало того: онъ угрюмо ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, чтò, по моему наблюденію, означало, что его

начинаетъ мутить отъ разговоровъ. Но Очищенный ничего этого не замѣчалъ и продолжалъ:

— И вообще скажу: чѣмъ болѣе мы стараемся проникать, тѣмъ больше получаемъ щелчковъ. Умъ-то, знаете, у насъ выспрь бѣжитъ, а оттуда ему —щелкъ да щелкъ! И резонно. Не чета намъ люди бываютъ, да и тѣ ежели по сторонамъ засматриваются, такъ въ канаву попадаютъ. По моему, такъ: сытъ, обутъ, одѣтъ—ну, и молчи. Коли ты ведешь себя благородно— и съ тобой всякій благородно. Коли ты никого не трогаешь — и тебя никто не тронетъ; коли ты ко всѣмъ съ удовольствіемъ—и къ тебѣ всѣ съ удовольствіемъ! Полегоньку да потихоньку — анъ жизнь-то и прошла! Такъ ли я, сударь, говорю?

— Прравильно!—воскликнулъ Глумовъ, очевидно уже ожесточаясь.

— Покойная Дарья Семеновна говаривала: жизнь наша здѣшняя подобна селянкѣ, которую въ Малоярославскомъ трактирѣ подаютъ. Коли ѣшь ее смаху, ложка за ложкой — ничего, словно какъ и ѣда; а коли начнешь ворошить да разглядывать—стошнитъ!

— Прравильно! — вновь воскликнулъ Глумовъ и при этомъ остановился прямо противъ Очищеннаго, выпучилъ глаза и зубы стиснулъ. Однако Очищенный и тутъ не понялъ.

— Былъ у меня, доложу вамъ, знакомый дѣйствительный статскій совѣтникъ, который къ Дарьѣ Семеновнѣ по утрамъ хаживалъ, такъ онъ мнѣ разсказывалъ, почему онъ именно утромъ, а не вечеромъ ходитъ. Утромъ, говоритъ, я всталъ, умылся...

— Воняетъ! шабашъ!—вдругъ крикнулъ Глумовъ, но на этотъ разъ уже такимъ громовымъ голосомъ, что Очищенный инстинктивно вытянулъ впередъ шею, какъ бы готовясь къ принятію удара.

Глава X.

Къ чести Глумова должно сказать, что онъ, по первому моему слову, не только протянулъ руку Очищенному, но даже извинился, что не можетъ сейчасъ же уплатить что̀ слѣдуетъ по таксѣ о вознагражденіи за оскорбленіе словомъ, потому что мелкихъ денегъ нѣтъ.

— Все равно-съ, послѣ разомъ за все отдадите!—отозвался добродушный старикъ, которому повидимому было даже пріятнѣе получить сразу болѣе или менѣе крупный кушъ, нежели въ нѣсколько пріемовъ по двугривенному.

Такимъ образомъ миръ былъ заключенъ, и мы въ самомъ пріятномъ расположеніи духа сѣли за обѣдъ. Но что̀ еще пріятнѣе: несмотря на обильный завтракъ у Балалайкина, Очищенный ѣлъ и пилъ совершенно такъ, какъ будто все происходившее утромъ было не болѣе какъ пріятный сонъ. Каждое кушанье онъ смаковалъ и по поводу каждаго подавалъ драгоцѣнные совѣты, перемѣшивая ихъ съ размышленіями и афоризмами изъ области высшей морали.

— Провизію надо покупать умѣючи,—говорилъ онъ:—какъ во всякомъ

дѣлѣ вообще необходимо съ твердыми познаніями приступать, такъ и тутъ. Знающій — выигрываетъ, а незнающій — проигрываетъ. Вотъ, напримѣръ, ветчину, языки и вообще копченье—надо въ Мучномъ переулкѣ пріобрѣтать; рыбу—на Мытномъ; живность, коли у кого времени достаточно есть—на заставахъ у мужичковъ подстерегать. Многіе у мужичковъ даже задаромъ отнимаютъ, но я этого не одобряю.

— Не одобряешь?

— Нѣтъ, не одобряю, потому что такого закона нѣтъ. А на тотъ предметъ, чтобы безъ ущерба для ближняго экономію всякій въ своей жизни наблюдалъ — такой законъ есть. А затѣмъ я вамъ и еще доложу: даже иностранное вино, ежели оно ворованное, очень недорого купить можно.

— Ахъ, голубчикъ! нельзя ли намъ бутылочекъ съ пятокъ на пробу предоставить?

— Съ удовольствіемъ. Вино, позвольте вамъ сказать, и краденное покупать не грѣхъ, потому что оно отъ избытка. Въ которомъ домѣ избытокъ —служитель отложитъ, что̀ противъ препорціи, къ сторонкѣ, и продастъ. Многіе даже мясо потаенное покупаютъ...

— Неужто и мясо?

— Очень даже легко-съ. Сто̀итъ только съ поварами знакомство свесть —и мясо, и дичь, все будетъ. Вообще, коли кто съ умомъ живетъ, тотъ и въ Петербургѣ можетъ на свои средства обернуться.

— Примѣръ можешь представить?

— Могу-съ. Зналъ я одного отставного ротмистра, который отъ рожденья самое среднее состояніе имѣлъ, а между тѣмъ каждонедѣльно банкеты задавалъ и, между прочимъ, даже одного румынскаго полководца у себя за столомъ принималъ. А отчего? — оттого, сударь, что съ клубными поварами былъ знакомъ! Въ клубѣ-то по субботамъ обѣдъ, ну, остатки, то да сё, ночью все это къ ротмистру сволокутъ, а на завтра у него полководецъ пищу принимаетъ.

— Да ты и клубскаго-то повара не знаешь ли?

— Помилуйте, даже очень близко. Вы только спросите, кого я не знаю... всѣхъ знаю! Мнѣ каждый торговецъ, противъ обыкновеннаго покупателя, двадцать-тридцать процентовъ уступитъ—вотъ я вамъ какъ доложу! Пришелъ я сейчасъ въ лавку, спросилъ фунтъ икры—мнѣ фунтъ съ четвертью отвѣшиваютъ! спросилъ фунтъ миндалю — мнѣ изюму четверку на придачу завертываютъ! Въ трактиръ пришелъ, спросилъ три рюмки водки—мнѣ четвертую наливаютъ. За три плачу, четвертая—въ знакъ уваженія!

— Послушай! да вѣдь это волшебство!

Но Очищенный не слышалъ восклицанія. Представленіе о закускахъ повидимому ожесточало его, потому что на губахъ у него показалась пѣна и глаза слегка помутились.

— Или, опять, приду я, примѣрно, къ Доминику,—продолжалъ онъ: —народу пропасть, ходятъ, бродятъ, одинъ вошелъ, другой вышелъ: служителя тоже въ разбродѣ—кому тутъ за тобой услѣдить! Съѣшь три куска кулебяки, а говоришь: одинъ!

— И всегда это тебѣ сходило съ рукъ?

— Однажды только недоразумѣніе вышло. Ну, съ мѣсяцъ послѣ того не ходилъ, а потомъ поправился — и опять сталъ ходить!

— Слушай-ка! да ты не служилъ-ли въ Взаимномъ Кредитѣ, что коммерческія-то операціи такъ хорошо знаешь?

— Служить не служилъ, а издали точно-что присматривался. Только тамъ, знаете, колесо большое, а у меня — маленькое. А кабы у меня побольше колесцо..

Очищенный на минуту задумался, не то ропща на Провидѣніе, не то соображая, чтò бы вышло, еслибъ ему выпало на долю большое колесо.

— Помилуйте! — сказалъ онъ наконецъ: — кругомъ, можно сказать, тетерева сидятъ — какъ тутъ пользы не получить! Вотъ хоть бы господинъ Юханцевъ...

— Да, но вѣдь и по владимірке-то съ бубновымъ тузомъ тоже не лестно понтировать!

— За то онъ програму свою въ совершенствѣ выполнилъ. А тузы, я вамъ доложу, всѣ одинаковы. По мнѣ, хоть всѣ четыре разомъ наклей, да только удовольствіе мнѣ предоставь!

Словомъ сказать, постепенно обмѣниваясь мыслями, мы очень пріятно пообѣдали. Послѣ обѣда вздумали-было въ табельку сыграть, но почтенный старикъ отказался наотрѣзъ.

— Въ молодости я тоже былъ охотникъ поиграть, — сказалъ онъ: — да однажды мнѣ въ Лебедяни ребро за игру переломили, такъ я съ тѣхъ поръ и далъ обѣщаніе не прикасаться къ этимъ проклятымъ картамъ. И чтò такое со мною въ ту пору они сдѣлали — такъ это даже разсказать словами нельзя! Въ больницѣ два мѣсяца при смерти вылежалъ!

Отказъ этотъ былъ впрочемъ очень кстати, потому что мы вспомнили, что намъ предстоитъ еще поработать надъ уставомъ о благопристойности.

Прежде всего намъ необходимо было уяснить себѣ цѣль, къ которой должны клониться наши труды. Не имѣя подъ руками ни историческаго обзора благопристойности, ни обозрѣнія современныхъ законодательствъ по этому предмету, ни даже свода мнѣній будочниковъ, мы поняли, что намъ остается одинъ рессурсъ — это выдумать какую-нибудь „идею“, которая остерегла бы насъ отъ разбросанности и дала бы возможность сообщить нашему труду необходимое единство. Уставъ, проектированный Прудентовымъ, довольно прозрачно указывалъ на существованіе такой „идеи“. Онъ говорилъ: „внутреннюю же благопристойность всего удобнѣе наблюдать въ собственныхъ квартирахъ обывателей“. И такъ, подъ знаменемъ внутренней благопристойности входъ въ квартиры — вотъ цѣль, къ которой надлежало стремиться.

— Имѣя въ виду эту цѣль, — формулировалъ общую мысль Глумовъ: — я прежде всего полагалъ бы: статью четвертую „Общихъ началъ“ изложить въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, приблизительно такъ: „Внѣшняя благопристойность выражается въ дѣйствіяхъ и тѣлодвиженіяхъ обывателя; внутренняя — созидаетъ себѣ храмъ въ сердцѣ его, *гдѣ на ряду съ нею свиваетъ себѣ гнѣздо и внутренняя неблагопристойность, то-есть злая и порочная человѣческая воля.* На семъ основаніи наиболѣе приличными мѣ-

стами для наблюденія за первою признаются: улицы, площади и публичныя мѣста; послѣднюю же всего удобнѣе наблюдать въ собственныхъ квартирахъ обывателей, *такъ какъ въ нихъ злая и порочная воля преимущественно находитъ себѣ убѣжище, или въ видѣ простого попустительства, или же, чаще всего, въ видѣ прямого пособничества.* Согласны?

— Согласны!—отвѣтили мы въ одинъ голосъ.

— Ну, а теперь нужно отвѣтить на вопросъ: что такое входъ въ квартиру? Иванъ Иванычъ! сказывай свое мнѣніе!

— По моему, входъ въ квартиру—это означаетъ вступленіе въ оную...

— А вступленіе въ квартиру означаетъ входъ въ оную? Ахъ, голова! голова! развѣ законы такъ пишутъ? Это, братецъ, не водевиль, гдѣ допускаются каламбуры въ родѣ: „начальникъ отдѣленія—отдѣльная статья"! Это—уставъ! Ты какъ?—обратился Глумовъ ко мнѣ.

— По моему мнѣнію, входъ въ квартиру есть такое дѣйствіе, которое, будучи вызвано всегда присущею о нравственномъ положеніи обывателей благопопечительностью, требуетъ необходимыхъ для достиженія его осмотровъ и изслѣдованій.

— И отмычекъ-съ!—скромно присовокупилъ Очищенный.

— И отмычекъ — именно такъ! прекрасно! даже въ университетѣ съ каѳедры лучше не сказать. Одно бы я прибавилъ: „Сіи послѣднія (то-есть, отмычки) затѣмъ преимущественно потребны, дабы злую и порочную волю въ послѣднихъ ея убѣжищахъ безъ труда обрѣтать". Позволите?

— Голубчикъ!—да развѣ съ нашей стороны бывало когда-нибудь препятствіе?

— Итакъ, опредѣленіе найдено. Теперь необходимо только такимъ образомъ этотъ входъ обставить, чтобы никто ничего ненатуральнаго въ немъ не могъ найти. И знаете ли, объ чемъ я мечтаю? нельзя ли намъ, друзья, такъ наше дѣло устроить, чтобы обывателю даже пріятно было? Чтобы онъ, такъ сказать, всѣмъ сердцемъ? чтобы для него это посѣщеніе...

Глумовъ затруднился; Очищенный подсказалъ:

— Все равно что гость пришелъ...

— Вотъ-вотъ-вотъ! Да и гость-то чтобъ дорогой, желанный. Женихъ.

— Но ежели дѣйствіе происходитъ ночью?—рискнулъ я возразить.

— Такъ чтожъ что ночью! Проснется, докажетъ свою благопристойность—и опять уснетъ! Да еще какъ уснетъ-то! слаще прежняго въ тысячу разъ!

— Именно, сударь, такъ!—подтвердилъ и Очищенный:—меня, когда я подъ слѣдствіемъ по дѣлу объ убійствѣ Зона прикосновеннымъ былъ, не разъ этакъ буживали. Встанешь, бывало, сейчасъ это водки, закуски на столъ поставишь, покажешь свою совѣсть—и опять заснулъ! Однажды даже меня въ острогъ послѣ этого повели—я и тамъ крѣпко-прекрѣпко заснулъ!

— Такъ ты и въ острогѣ былъ?

— Вы меня только спросите, сударь, гдѣ я не бывалъ!

— Вотъ видишь, какъ оно легко, коли внутренняя-то благопристойность у человѣка въ исправности! А ежели въ тебѣ этого нѣтъ — значитъ

ты самъ виноватъ. Тутъ, братъ, ежели и не придется тебѣ уснуть—на себя пеняй! Знаете ли, что я придумалъ, друзья? зачѣмъ намъ квартиры наши на ключи запирать? Давайте-ка безъ ключей... мило, благородно!

— А на случай воровъ какъ?

— Гм... на случай воровъ! Ну, въ такомъ разѣ мы вотъ что сдѣлаемъ: чтобы у всякой квартиры два ключа было: одинъ у жильца, а другой — въ кварталѣ!

Однако предложеніе это возбудило споръ. Мы возражали оба, но въ моихъ возраженіяхъ играло главную роль просто инстинктивное безпокойство, тогда какъ возраженія Очищеннаго покоились на данныхъ несомнѣнно реальнаго свойства.

— А ежели, позволю васъ спросить, въ квартирѣ-то касса находится? —протестовалъ онъ.

— Такъ чтожъ что касса! Мы—божьи, и касса наша—божья!

— Ну, нѣтъ, съ этимъ позвольте не согласиться! Мы — это такъ! Но касса!!

Признаться, и я, вспомнивъ объ оставшихся у меня выкупныхъ свидѣтельствахъ, струхнулъ.

— Мы—это такъ!—повторялъ я:—что такое мы? Но... касса!!

И, подобно Очищенному, я поднималъ вверхъ указательный перстъ, въ знакъ неопровержимости довода.

Споръ завязался нешуточный; мы до того разгорячились, что подняли гвалтъ, а за гвалтомъ и не слыхали, какъ кто-то позвонилъ и вошелъ въ переднюю. Каково же было наше восхищеніе, когда передъ нами, словно изъ подъ земли, выросли... Прудентовъ и Молодкинъ!

— О чемъ, друзья, диспутъ держите?—привѣтствовалъ насъ Прудентовъ, подавая мнѣ и Глумову руку. - А! и ты, старая корга, здѣсь? -продолжалъ онъ, благосклонно обращаясь къ Очищенному.

— Знакомы?—обрадовался я.

— Съ нимъ-то! да онъ у насъ завсегда въ понятыхъ ходитъ! Полтину въ зубы — и маршъ! А вѣдь мы къ вамъ, друзья, вечерокъ провести собрались!—добавилъ онъ, вновь пожимая намъ руки.

— Флегонтъ Васильичъ! Аѳанасій Семенычъ! голубчики! Чѣмъ потчивать! водки, что-ли, подать?

— Водки своимъ чередомъ, а вотъ еще что: Иванъ Тимоѳеичъ самолично къ вамъ будетъ. Онъ теперь къ Парамонову уѣхалъ, а оттуда — къ вамъ. Насчетъ церемоніалу свадебнаго условиться. Мы и за Балалайкинымъ пожарнаго послали, чтобъ черезъ часъ безпремѣнно здѣсь былъ!

— Господи! а мы-то! вѣдь мы даже не изготовились!

— Ничего, Иванъ Тимоѳеичъ проститъ. Онъ — парень простой, простыня человѣкъ. Рюмка водки, кусочекъ чернаго хлѣба на закуску, а главное чтобъ превратныхъ идей не было—вотъ и все!

— А мы только-что было за уставъ принялись! Господи! да не нужно ли чего-нибудь? Вина? блюдо какое-нибудь особенное, чтобы по вкусу Ивану Тимоѳеичу? Говорите! приказывайте! Можетъ быть, онъ разсказы изъ русскаго или изъ еврейскаго быта любитъ, такъ и за разсказчикомъ спосылать можно!

— Ничего не надо, не обременяйте себя, друзья! Коли есть что̀ въ домѣ—прикажите подать, мы не откажемся. А что̀ касается до разсказчиковъ, такъ не трудитесь и посылать. Сегодня у нашего подчаска жена именинница, такъ по этому случаю къ нимъ въ квартиру всѣ разсказчики на померанцевый настой слетѣлись.

Глава XI.

Разумѣется, несмотря на оговорки Прудентова, мы немедленно сдѣлали всѣ распоряженія, чтобы на славу отпраздновать посѣщеніе дорогихъ гостей. Затѣмъ мы сообщили Прудентову тѣ соображенія, вслѣдствіе которыхъ мы нашли полезными ввести нѣкоторыя измѣненія въ „Общія начала“ устава о благопристойности, и встрѣтили съ его стороны полное одобреніе нашей законодательной дѣятельности.

Этотъ дружескій обмѣнъ мыслей привелъ насъ въ самое пріятное расположеніе духа; а дабы скрѣпить нашъ союзъ прочно и навсегда, Прудентовъ и Молодкинъ сообщили намъ краткія біографическія о себѣ свѣдѣнія, чѣмъ, разумѣется, и насъ вызвали на взаимность.

— Я—вятчанинъ,—повѣдалъ намъ Прудентовъ:—отецъ мой былъ первоначально протодіакономъ, но впослѣдствіи, за совершонное преступленіе, былъ лишенъ сана и приговоренъ къ ссылкѣ въ отдаленныя мѣста Сибири. Пожелавши однако остаться на родинѣ, онъ изъявилъ готовность принять должность ката, въ каковой и былъ губернскимъ правленіемъ утвержденъ. Я былъ въ то время малолѣтнимъ, но уже и тогда положилъ въ сердцѣ своемъ нигдѣ не служить, кромѣ какъ по полиціи. А потому, образовавши свой умъ и сердце лишь настолько, насколько это потребно для занятія должности паспортиста—сродственникъ у меня въ этой должности въ Петербургѣ состоялъ, такъ отъ него я объ ней слышалъ—отправился, по достиженіи совершеннаго возраста, въ Петербургъ. Здѣсь моя біографія уже прекращается и начинается формулярный о службѣ списокъ. Пять лѣтъ, въ ожиданіи мѣста паспортиста, я прослужилъ писцомъ; послѣ того въ теченіе восьми лѣтъ состоялъ паспортистомъ, а наконецъ, двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, опредѣленъ въ кварталъ письмоводителемъ. Пятнадцать лѣтъ тому назадъ произведенъ въ первый чинъ коллежскаго регистратора, а затѣмъ, будучи постепенно повышаемъ, нынѣ состою въ чинѣ титулярнаго совѣтника.

— И ничего—живешь?

— Какъ видите, друзья! Живу и не ропщу, хотя, съ другой стороны, не могу не сказать, что нынче противъ прежняго—куда сдѣлалось труднѣе.

— Что̀ такъ?

— Да почесть что однимъ засвидѣтельствованіемъ рукъ и пробавляемся. Прежде, бывало, выйдешь на улицу—куда ни обернешься, вездѣ источники видишь, а нынче у насъ въ вѣдѣніи только сколка льду на улицахъ да бунты остались; прочее же все по разнымъ вѣдомствамъ разбрелось. А я, между прочимъ, твердо въ своемъ сердцѣ положилъ: какова пора ни мѣра, а во

всякомъ случаѣ десять тысячъ накопить и на родину вернуться. Теперь судите сами: скоро ли по копѣйкамъ экую уйму денегъ сколотишь?

— А ты приналягъ!

— То-то что...

Прудентовъ на минуту задумался, но потомъ вдругъ зашевелилъ носомъ и сталъ къ чему-то принюхиваться. А такъ какъ именно въ этой самой комнатѣ хранились послѣднія мои выкупныя свидѣтельства, то я не на шутку испугался, и поспѣшилъ перемѣнить разговоръ.

— Ну, а ты, Аѳанасій Семенычъ?—обратился я къ Молодкину.

— А я-съ—во время пожара на дворѣ въ корзинкѣ найденъ былъ. И такъ какъ пожаръ произошелъ 2-го мая, въ день Аѳанасія Великаго, то покойный частный приставъ, Семенъ Иванычъ, и назвалъ меня въ честь святого — Аѳанасіемъ, а въ свою честь — Семенычемъ. Обо мнѣ даже дѣло въ консисторіи было: слѣдуетъ ли, значитъ, меня крестить? однако рѣшили: не слѣдуетъ. Такъ что я доподлинно и не знаю, крещеный ли я.

— Ахъ, бѣда какая!

— И вообще у меня жизнь необыкновенная. Именины, напримѣръ, я праздную, а день рожденія—нѣтъ.

— Такъ что по правдѣ-то даже сказать не можешь, родился-ли ты настоящимъ образомъ, или такъ какъ-нибудь?—пошутилъ Глумовъ.

— Дѣйствительно-съ. Знаю только, что при пожарной командѣ въ третьей адмиралтейской части воспитаніе получилъ. Покойный Семенъ Иванычъ велѣлъ это меня на пожарную трубу положить и сказалъ при этомъ: „Богъ дастъ, брандтмейстеръ выйдетъ!“ И вышелъ-съ.

— А деньги копишь?

— Нѣтъ, мнѣ незачѣмъ. Я на пожарѣ свѣтъ увидѣлъ, на пожарѣ же и жизнь кончу. Для кого мнѣ копить!

— Чудакъ! да ты бы женился!

— И жениться не вижу надобности, да и вообще склонности ни къ чему, кромѣ пожаровъ, не имѣю.

— Врешь, братъ! Вы, друзья, его про барышню разспросите,—отозвался Прудентовъ.

— Было разъ — это точно. Спасъ я однажды барышню, изъ огня вытащилъ, только, должно быть, не остерегся при этомъ. Прихожу-это на другой день къ нимъ въ домъ, приказываю доложить, что, молъ, тотъ самый человѣкъ явился, — и что̀-же-съ! онѣ мнѣ съ прислугой десять рублей выслали. Тѣмъ мой романъ и кончился.

Мы съ участіемъ выслушали этотъ разсказъ и искренно пожалѣли о горькой судьбѣ Молодкина, который изъ-за пожаровъ поставленъ въ невозможность пользоваться семейными радостями, а слѣдовательно не можетъ плодиться и множиться.

— Ну, а вы, — обратился къ намъ Прудентовъ: — скажите же и о себѣ что-нибудь, друзья!

— Что̀ мы! Заблудшіе — вотъ мы что̀! — отвѣчалъ за насъ обоихъ Глумовъ.—Дворяне... и при семъ безъ выкупныхъ свидѣтельствъ! Вотъ какова наша біографія.

— Ужъ будто и совсѣмъ безъ выкупныхъ свидѣтельствъ?

Прудентовъ очевидно шутилъ, но я вспомнилъ, какъ онъ нѣсколько минутъ тому назадъ шевелилъ носомъ, и опять струхнулъ. Къ счастію, насъ избавилъ отъ отвѣта Балалайкинъ, который въ эту минуту какъ разъ подошелъ къ намъ на выручку.

Онъ явился во фракѣ, въ бѣломъ галстухѣ и—по какому-то инстинктивному заблужденію — въ бѣлыхъ нитяныхъ перчаткахъ. Словомъ сказать, хоть сейчасъ бери въ руки блюдо и ступай служить у Палкина. При этомъ отъ него такъ разило духами, что Глумовъ невольно воскликнулъ:

— И что̀ это у тебя за гнусная привычка, Балалайкинъ, всякій разъ въ Екатерининскомъ каналѣ купаться передъ тѣмъ какъ въ гости идти!

— Это?—Violettes de Parme—вотъ какіе это духи!—солгалъ Балалайкинъ, и такъ неожиданно поднесъ обшлагъ рукава къ носу Очищеннаго, что тотъ три раза сряду чихнулъ.

Очевидно Балалайкинъ разодѣлся на томъ основаніи, что разсчитывалъ, что его сейчасъ же припустятъ къ двоеженству,—и потому, когда узналъ, что рѣчь идетъ только о предварительныхъ дѣйствіяхъ, то немедленно снялъ нитяныя перчатки и началъ лгать.

— Помилуйте!—жаловался онъ:—ничего толкомъ разсказать не умѣютъ, заставляютъ надѣвать бѣлыя перчатки, скакать сломя голову... Да вы знаете ли, что я одной кліенткѣ въ консультаціи долженъ былъ отказать, чтобъ не опоздать къ вамъ... Кто мнѣ за убытки заплатитъ?

— Ну, что̀ еще! Сложимся по двугривенному съ брата—вотъ и убытки твои!—утѣшалъ его Глумовъ.

— Нѣтъ-съ, тутъ не двугривеннымъ пахнетъ-съ. Во-первыхъ, я вообще меньше ста рублей за консультацію не беру, а во-вторыхъ эта кліентка... Это такая кліентка, я вамъ скажу, что ей самой сто рублей дать мало!

— Стало быть, изъ Фонарнаго переулка? — полюбопытствовалъ Молодкинъ.

— Тамъ ужъ откуда бы ни была, а есть такая кліентка. А кромѣ того у меня сегодня третейскій судъ... ка̀къ я рѣшу, та̀къ и будетъ!

— Соломонъ!

— Соломонъ не Соломонъ, а тысячу рублей за рѣшеніе пожалуйте!

Очень возможно, что Балалайкинъ пролгалъ бы такимъ образомъ до утра, но Глумовъ, съ свойственною ему откровенностью, прекратилъ его изліянія въ самомъ началѣ, крикнувъ:

— Балалайка! надоѣлъ!

Въ ожиданіи Ивана Тимоѳеича мы усѣлись за чай и принялись благопотребно сквернословить. Что̀ лучше: снисходительность ли, но безъ послабленія, или же строгость, сопряженная съ невзпраніемъ? — вотъ вопросъ, который въ то время волновалъ всѣ умы и который естественно послужилъ темою и для насъ. Прудентовъ былъ на сторонѣ снисходительности и доказывалъ, что только та внутренняя политика преуспѣваетъ, которая умѣетъ привлекать къ себѣ сердца.

— Я, друзья, и съ заблуждающими, и съ незаблуждающими на своемъ

вѣку не мало дѣла имѣлъ,—говорилъ онъ: — и могу сказать одно: каждый въ своемъ родѣ. Заблуждающій хорошъ. ежели кто любитъ бесѣдовать; незаблуждающій—ежели кто любитъ выпить или, напримѣръ, на тройкѣ въ пикникъ проѣхаться!

— Ты говоришь: бесѣдовать? То-то вотъ, по нынѣшнему времени, это не лишнее ли?

— Почему-же-съ? Ежели о предметахъ достойныхъ вниманія, и притомъ знаючи напередъ, что ничего изъ этого не выйдетъ—отчего же не побесѣдовать? Бесѣда бесѣдѣ тоже рознь, друзья! Иная бесѣда такая бываетъ, что отъ нея никакого вреда, кромѣ какъ воняетъ. Какой же, значитъ, отъ этого вредъ? Купцы, напримѣръ, даже превосходно въ этомъ смыслѣ разговариваютъ.

— Да вѣдь заблуждающаго-то не прельстишь такой бесѣдой!

— А ежели онъ отказывается, такъ и пригрозить ему можно. Вообще эта система—самая настоящая: сперва снизойти, а потомъ помаленьку мѣры принимать. Точно также, доложу вамъ, и насчетъ издаваемыхъ въ разное время правилъ и руководствъ. Всегда надо такъ дѣло вести: чтобы спервоначалу къ вольному обращенію направлять, а потомъ постепенно отъ онаго отступать...

. . . .

Наконецъ въ одиннадцать часовъ сильный звонокъ возвѣстилъ намъ о появленіи Ивана Тимоѳеича.

Онъ явился къ намъ весь сіяющій, въ мундирѣ съ коротенькими фалдочками, держа подъ мышками по бутылѣ горскаго, которыя и поставилъ на столъ, сказавъ:

— Это вотъ вамъ отъ невѣсты... друзья! А завтра въ четыре часа просимъ хлѣба откушать!

Затѣмъ вынулъ изъ кармана вязанный голубымъ бисеромъ кошелекъ и подалъ его Балалайкину.

— А вотъ это жениху—тебѣ! Ты посмотри, бисеръ-то какой... голубенькій! Сама невѣста вязала... бутончикъ! Ну, друзья! теперь я въ вашемъ распоряженіи! дѣлайте со мной что̀ хотите!

По этому слову мы, съ крикомъ „ура!“, разомъ овладѣли туловищемъ дорогого гостя и начали его раскачивать.

Что̀ происходило потомъ—я помню до крайности смутно. Помню, что я напился почти мгновенно, что Иванъ Тимоѳеичъ плясалъ, что Прудентовъ декламировалъ: „О ты, что въ горести напрасно“, а Молодкинъ показывалъ руками, какъ выкидываютъ на каланчѣ шары во время пожаровъ.

Было совсѣмъ свѣтло, когда дорогіе гости собрались по домамъ. Но что̀ всего замѣчательнѣе,—Иванъ Тимоѳеичъ, котораго въ полночь я видѣлъ уже совсѣмъ готовымъ и который и послѣ того ни на минуту не оставлялъ собесѣдованія съ графиномъ, подъ утро началъ постепенно трезвѣть, а къ семи часамъ вытрезвился окончательно.

— А теперь пора и къ рапорту!—сказалъ онъ, надѣвая на голову треуголку, и совершенно твердыми стопами прослѣдовалъ внизъ, въ сопровожденіи Прудентова и Молодкина.

Глава XII.

На окраинахъ Петербурга, въ нарвской и каретной частяхъ, и теперь встрѣчаются небольшіе каменные дома-особнячки, возбуждающіе въ проѣзжемъ людѣ зависть своею уютностью и хозяйственнымъ характеромъ обстановки. Обыкновенно дома эти снабжены по улицѣ небольшими палисадниками, обсаженными липами и акаціями, а внутри—просторными дворами, гдѣ, помимо конюшенъ, амбаровъ и погребовъ, не въ рѣдкость найти и небольшое огороженное пространство, въ которомъ насажено нѣсколько кустовъ сирени и гдѣ-нибудь въ углу ютится плетеная бесѣдка, увитая бобовникомъ, осыпаннымъ краснымъ цвѣтомъ. Видъ этихъ жилищъ напоминаетъ провинцію, а въ особенности Замоскворѣчье, откуда въ большинствѣ случаевъ и появились первоначальные заселители этихъ мѣстъ. Проѣзжему человѣку сдается, что тутъ пожирается несмѣтное количество пироговъ съ начинкой и другого серьезнаго харча, что въ хлѣвахъ отпаиваются бѣлоснѣжные поросята и откармливаются къ розговинамъ неподвижныя отъ жира свиньи, что на дворѣ гуляютъ стада куръ, а гдѣ-нибудь, въ наполненной водою ямѣ, полощутся утки. Все въ этихъ злачныхъ мѣстахъ поперекъ себя толще, и люди, и животныя. Хозяева—съ трудомъ могутъ продышать скопившіеся внутри храпы; кучеръ —отъ сытости не отличаетъ правую руку отъ лѣвой; дворникъ—стоитъ съ метлой у воротъ и брюхо объ косякъ чешетъ, кухарка — то-и-дѣло робятъ родитъ, а лошади, раскормленныя словно доменныя печи, какъ угорѣлыя выскакиваютъ изъ каретнаго сарая съ полною готовностью вонзить дышло въ любую крѣпостную стѣну.

Именно въ одномъ изъ такихъ особнячковъ обитала Фаннушка, „штучка" купца Парамонова. Солидно и приземисто выглядывалъ ея домъ своими двумя этажами изъ-за ряда подстриженныхъ липъ и акацій, словно приглашая прохожаго наѣсться и выспаться, но въ то же время угрожая ему заливистымъ лаемъ двухъ псовъ, злобно скакавшихъ на цѣпяхъ по обѣимъ сторонамъ каменныхъ службъ. Верхній этажъ, о семи окнахъ на улицу, занимала сама хозяйка; въ нижнемъ помѣщался странствующій полководецъ, Полканъ Самсонычъ Редедя, года полтора тому назадъ возвратившійся изъ земли зулусовъ, гдѣ онъ командовалъ войсками короля Сетивайо противъ англичанъ, а теперь, въ свободное отъ междоусобій время, служившій по найму метрдотелемъ у Фаннушки, которая съ великими усиліями переманила его отъ купца Полякова.

Фаннушка происходила отъ благочестиваго корня. Отецъ ея былъ церковнымъ сторожемъ въ селѣ Заблицынѣ, Моршанскаго уѣзда, мать —пекла просвиры. Но заблицынская церковь посѣщалась прихожанами не усердно. Самые сильные и зажиточные изъ прихожанъ открыто принадлежали къ мѣняльной сектѣ, а оставшаяся вѣрною мелюзга была настолько забита и угнетена бѣдностью, что даже въ своихъ естественныхъ передъ мѣнялами преимуществахъ находила мало утѣшенія. Парамоновъ тоже былъ уроженцемъ этого села, и хотя давно перенесъ свою торговую дѣятельность въ Петербургъ, но отъ времени до времени посѣщалъ родное мѣсто и числился главнымъ рев-

нителемъ тамошняго „корабля“. Благодаря связямъ, заведеннымъ въ Петербургѣ, а также преступному попустительству мѣстныхъ полицейскихъ властей, мѣняльная пропаганда высоко держала свое знамя въ Зяблицынѣ; такъ что была минута, когда главный ересіархъ, Гузновъ, не безъ нахальства утверждалъ, что скоро совсѣмъ прекращеніе роду человѣческому будетъ, за исключеніемъ лицъ, на заставахъ команду имѣющихъ, которымъ онъ, страха ради іудейска, предоставлялъ плодиться и множиться на законномъ основаніи. Пріѣзды Онуфрія Парамонова въ Зяблицыно имѣли совершенный видъ торжествъ. Онъ разсыпался надъ селомъ золотымъ дождемъ; въ честь его назначались особенныя радѣнія, на которыхъ Гузновъ гремѣлъ и прорицалъ, а „голуби“ кружились и скакали, вскрикивая: „накатилъ, сударь, накатилъ!“ Жертвы мѣняльнаго фанатизма вербовались десятками, а становой приставъ, получивъ мзду, ходилъ по улицѣ и дѣлалъ видъ, что все обстоитъ благополучно.

Въ одну изъ такихъ поѣздокъ Онуфрій Петровичъ доглядѣлъ Фаинушку. Дѣвушка она была шустрая и, несмотря на свои четырнадцать лѣтъ, представляла такіе задатки въ будущемъ, что старый голубь даже языкомъ защелкалъ, когда хорошенько вглядѣлся въ нее. И вотъ когда сторожу и просвирнѣ сдѣланы были по ея поводу предложенія —они не устояли. Сразу же приняли большую печать и затѣмъ объявили третью гильдію по городу Моршанску, гдѣ и поселились въ купленномъ для нихъ Парамоновымъ домѣ. А Фаинушку увезъ Парамоновъ въ Петербургъ, обѣщавъ родителямъ научить ее по-французскому и потомъ выдать замужъ за офицера корпуса путей сообщенія, нынѣ впрочемъ не существующаго.

Повидимому первоначальное намѣреніе Онуфрія Петровича заключалось въ томъ, чтобы сдѣлать изъ Фаинушки мѣняльную богиню, которая предсѣдательствовала бы на радѣніяхъ, а самому назваться ея сыномъ *); но когда онъ разсмотрѣлъ дѣвочку ближе, то имъ овладѣлъ духъ лакомства, и онъ рѣшилъ поступить съ нею иначе. Отдалъ въ обученіе къ мадамѣ, содержавшей на Забалканскомъ проспектѣ пансіонъ для дѣвицъ, и когда Фаинушка выучилась говорить „бонжуръ“ и танцовать па-де-шаль, купилъ на ея имя описанный выше домъ и устроилъ ее въ качествѣ „штучки“.

Фаинушка была умна, и потому взглянула на свое положеніе серьезно. Расцвѣвши полнымъ цвѣтомъ, она не увлекалась ни офицерами, ни чиновниками, ни молодыми апраксинцами, стадами сновавшими мимо ея оконъ, а пользовалась своею молодостью степенно и безъ оказательствъ. Не пренебрегая радостями любви, она удостоивала довѣріемъ не перваго встрѣчнаго вертопраха, но лишь такого мужчину, который основательностью сужденій и добрымъ поведеніемъ вполнѣ того заслуживалъ, хотя бы былъ и не первой молодости. И затѣмъ, съ согласія Парамонова, помѣщала избраннаго въ нижній этажъ, въ качествѣ метрдотеля, и всѣмъ служащимъ въ домѣ выдавала въ этотъ день по чаркѣ водки. Стараго „голубя“ она не называла ни пакостникомъ, ни мѣнялой, а, напротивъ, снисходила къ его калѣчеству,

---

*) Считаю нелишнимъ оговориться: я недостаточно знакомъ съ обрядами и догматами мѣняльной секты, и потому могу впасть въ ошибку.—*Авт.*

кормила лакомыми блюдами и всегда собственноручно подвязывала ему подъ голый подбородокъ салфетку, такъ какъ старикъ ѣлъ неопрятно и могъ замарать свое полушолковое полукафтанье. Съ своей стороны и Парамоновъ снисходилъ къ ея женской слабости и не заявилъ ни малѣйшей претензіи, когда она въ первый разъ завела себѣ метрдотеля. Сначала Онуфрій Петровичъ не рѣшался давать ей помногу денегъ, опасаясь, что она дастъ стречка, но мало-по-малу убѣдился въ ея благонадежности и пролилъ на нее такія щедроты, что въ настоящее время она уже самостоятельно объявляла первую гильдію. Впрочемъ лично она торговли не производила, а имѣла на всякій случай на Калашниковской пристани кладовую, на которой красовалась вывѣска съ надписью: „Оптовая торговля первой гильдіи купчихи Фаины Егоровой Стёгнушкиной“. По временамъ Парамоновъ отъ имени ея производилъ болѣе или менѣе значительную операцію, и, разумѣется, подносилъ ей хорошій кушъ.

Поведеніе столь основательное несомнѣнно заслуживало достойнаго увѣнчанія. Достигнувъ двадцатипятилѣтняго возраста, Фаинушка пожелала прикрыться, и начала мечтать о законномъ бракѣ. Но и тутъ, какъ дѣвица умная, поставила непремѣннымъ условіемъ, чтобъ предполагаемый союзъ ни въ какомъ случаѣ не стѣснилъ ни ее, ни стараго голубя. Претендентовъ явилось множество, и съ оружіемъ, и безъ онаго, но покамѣстъ она еще ни на комъ окончательно не остановила своего вниманія. Однажды, правда, она чуть-было не увлеклась, и именно когда къ ней привели на показъ графа Ломпонò, который отрекомендовалъ себя камергеромъ Донъ-Карлоса, состоящимъ, въ ожиданіи торжества своего повелителя, на службѣ распорядителемъ танцевъ въ Палè-де-Кристаль (рюмка водки 5 к., бутылка пива 8 к.); но Ломпонò съ перваго же раза выказалъ алчность, попросивъ заплатить за него извозчику, такъ что Фаинушка заплатить заплатила, но отъ дальнѣйшихъ переговоровъ отказалась. Въ сей крайности за устройство брака взялся Иванъ Тимоѳеичъ, и, какъ мы видѣли, сыскалъ адвоката Балалайкина, который хотя и не вполнѣ подходилъ къ этой цѣли, но за то у него въ гербѣ былъ изображенъ римскій огурецъ, обвитый лентой, на которой читался девизъ рода Балалайкиныхъ: *Прасковья мнѣ тетка, а правда мнѣ мать*.

Мы пріѣхали съ Глумовымъ какъ разъ въ четыре часа, хотя у подъѣзда уже стояла двухмѣстная извозчичья карета, въ которой, какъ объяснилъ намъ извозчикъ, пріѣхали посажоные отцы. Внутреннее расположеніе дома Фаинушки тоже напоминало Замоскворѣчье и провинцію. Деревянная, выкрашенная желтой краской лѣстница, съ деревянными же перилами и съ узенькимъ коврикомъ по рединѣ, вела во второй этажъ и заканчивалась небольшою площадкой, въ глубинѣ которой былъ устроенъ чуланъ, отдававшій запахомъ вчерашняго съѣстного, а сбоку виднѣлась дверь въ прихожую. И дверь была старинная, замоскворѣцкая: одностворчатая, массивная, обитая дешевой клеенкой и запиравшаяся старинным замкомъ съ подвижною ручкой. Въ прихожей пахло отчасти ягодами, которыя здѣсь повидимому недавно чистили для варенья, отчасти сапожнымъ товаромъ, потому что обыкновенно тутъ пребывалъ старый Родивонычъ, исправлявшій должность комнатнаго лакея и въ свободное время занимавшійся сапожнымъ мастерствомъ,

о чемъ и свидѣтельствовала забытая на окнѣ сапожная колодка. Встрѣтилъ насъ именно этотъ самый Родивонычъ, сѣдой, но еще бравый старикъ, въ синемъ суконномъ сюртукѣ, въ бѣломъ галстухѣ и съ очками въ мѣдной оправѣ на носу.

— Невѣсту пропивать пріѣхали? — весело спросилъ онъ насъ: — а у насъ тутъ заминочка вышла: молодецъ-то нашъ заартачился.

— Какъ заартачился?

— Обнаковенно ка̀къ женихи артачатся. Выложи, говоритъ, сначала деньги на столъ, а потомъ и веди хоть въ преисподнюю...

— Однако, какъ это непріятно!

— Ничего, обойдется! Молодкинъ ужъ поѣхалъ... Деньгами двѣсти рублей повезъ да платокъ шолковый на шею. Это ужъ сверхо̀въ, значитъ. Пріѣдетъ! только вотъ развѣ что аблакаты они, такъ названіемъ своимъ подорожиться захотятъ, еще рубликовъ сто запросятъ. А мы ужъ и посаж̀о-ныхъ отцовъ припасли. Пообѣдаемъ, а потомъ и окрутимъ...

Мы вошли въ залу. Это была длинная и узкая комната, три окна которой выходили на улицу, а два—въ сѣни на лѣстницу, по которой мы только-что вошли. По срединѣ залы былъ накрытъ старинный раздвижной столъ со множествомъ колеблющихся ножекъ. Около стола, молча и безшумно ступая ногами, хлопотали двое молодыхъ мѣнялъ, очевидно прихваченныхъ изъ лавки, съ испитыми, блѣдными и безбородыми лицами. Въ сторонѣ, у стола, обремененнаго всевозможными закусками, суетился мужчина въ бѣломъ пикейномъ сюртукѣ съ свѣтлыми пуговицами. Это-то именно и былъ странствующій полководецъ. При нашемъ появленіи онъ, проворно переваливаясь и ловко виляя круглымъ брюшкомъ, направился къ намъ на встрѣчу.

Это былъ мужчина лѣтъ пятидесяти, чрезвычайно подвижной и совершенно овальный. Точно весь онъ былъ составленъ изъ разныхъ оваловъ, связанныхъ между собой ниткой, приводимой въ движеніе скрытымъ механизмомъ. Въ срединѣ находился основной овалъ — животъ, и когда онъ начиналъ колыхаться, то и всѣ прочіе овалы и овалики приходили въ движеніе. Выраженіе его лица было любезное и добродушное, такъ что съ перваго взгляда казалось, что на васъ смотритъ сычугъ изъ колбасной Шписа, получившій способность улыбаться. Хотя же и ходили слухи, будто на полѣ брани онъ умѣлъ сообщать этому сычугу суровые и даже кровожадные тоны, но въ настоящее время, благодаря двухлѣтнему глубокому миру, едва-ли онъ не утратилъ эту способность навсегда. Губы его припухли и покрылись масломъ, вслѣдствіе безпрерывнаго закусыванья, которое впрочемъ не только не умаляло его апетита, а, напротивъ, какъ бы ожесточало. Глаза были небольшіе, слегка подернутые влагой, что̀ придавало имъ грустно-сантиментальный характеръ. Носъ—мягкій, которому можно было двумя пальцами сообщить какую угодно форму; голосъ—звонкій, чрезвычайно удобный для произнесенія сквернословіи, необходимыхъ для побужденія ямщиковъ при передвиженіяхъ къ полямъ брани. Сюртучокъ на немъ былъ снѣжной бѣлизны, а на свѣтло вычищенныхъ пуговицахъ красовался геральдическій знакъ страны зулусовъ: на золотомъ полѣ взвившійся на дыбы змѣй-боа, и по бокамъ его: скорпіонъ и тарантулъ. По толкованію Редеди, аллегорія эта означала

самого владыку зулусовъ (змѣй) и двухъ его главныхъ министровъ: министра оздоровленія корней (скорпіонъ) и министра умиротвореній посредствомъ въ отдаленныя мѣста водвореній (тарантулъ).

— Рекомендуюсь! — привѣтствовалъ онъ насъ: —Полканъ Самсоновъ Редедя. Былъ нѣкогда печенѣгъ, а нынѣ всѣ подъ одной державой благоденствуемъ!

Это было высказано съ такою неподдѣльною покорностью передъ совершившимся фактомъ, что когда Глумовъ высказалъ догадку, что, кажется, древніе печенѣги обитали на низовьяхъ Днѣпра и Дона, то Редедя только рукой махнулъ, какъ бы говоря: обитали!! мало-ли кто обиталъ! Сегодня ты обитаешь, а завтра—гдѣ ты, человѣкъ!

— Вотъ и балыкъ, —сказалъ онъ вслухъ: —въ первоначальномъ видѣ въ низовьяхъ Дона плавалъ, тоже, чай, думалъ: я-ста да мы-ста! а теперь онъ у насъ на столѣ-съ, и мы имъ закусывать будемъ. Янтарь-съ. Только у мѣнялъ и можно встрѣтиться съ подобнымъ сюжетомъ.

Въ гостиной между тѣмъ гости были ужъ въ сборѣ, но отсутствіе жениха видимо на всѣхъ производило тяжелое впечатлѣніе. На диванѣ, передъ круглымъ столомъ, сидѣла сама Фаинушка, въ бѣломъ шолковомъ платьѣ, въ брильянтахъ и съ флёръ-доранжемъ въ великолѣпныхъ черныхъ волосахъ. Это была замѣчательно красивая женщина, прозрачно-смуглая (такъ что бѣлое платье, въ сущности, не шло къ ней), высокая, съ большими темными глазами, опущенными густыми длинными рѣсницами, съ алымъ румянцемъ на щекахъ и съ алыми же и сочными губами, надъ которыми трепеталъ темноватый пушокъ. Сложена она была какъ богиня: бюстъ не представлялъ ни безъ толку наваленныхъ грудъ, ни той удручающей скатертью дороги, которая благопріятна только для скорой ѣзды на почтовыхъ. Все было на своемъ мѣстѣ, въ препорцію и настолько пріятно для глазъ, что когда я мелькомъ взглянулъ на себя въ зеркало, то увидѣлъ, что губы мои сами собой сложились сердечкомъ. Повидимому она тоже замѣтила это „сердечко", и оно было ей не непріятно.

Возлѣ нея, на томъ же диванѣ, сидѣлъ безполезный мѣняло, въ длинномъ черномъ полушолковомъ сюртукѣ, отливавшемъ глянцемъ при всякомъ его движеніи, и не отрывая, по-собачьи, глазъ отъ собесѣдниковъ, тоненькимъ голосомъ велъ пустопорожнюю бесѣду. Лицо у него было отекшее, точно у младенца, страдающаго водянкой въ головѣ; глаза мутные, слезящіеся; на бородѣ, въ видѣ запятыхъ, торчали четыре бѣлые волоска, по два съ каждой стороны; надъ верхнею губой висѣлъ рыжеватый пухъ. Въ довершеніе всего, волосы на головѣ, желто-саврасаго цвѣта, были заботливою рукой Фаинушки напомажены и зачесаны черезъ весь обнаженный черепъ, съ уха на ухо.

По обѣимъ сторонамъ стола, на креслахъ, сидѣли посажёные отцы, тайные совѣтники Перекусихинъ 1-й и Перекусихинъ 2-й, уволенные отъ службы въ воздаяніе отличныхъ заслугъ. Оба были грустны. Одинъ —потому, что получилъ уфимскую землю и потомъ ее возвратилъ; другой —потому, что не получилъ уфимской земли и потому ничего не могъ возвратить. Сверхъ того, оба съ утра ничего не ѣли, въ ожиданіи мѣняльной кулебяки, и вслѣд-

ствіе этого, когда разговоръ на минуту перемежался, изъ животовъ ихъ слышалось тихое урчаніе. Вообще это были люди очень несчастные, потому что газеты каждодневно называли ихъ „хищниками“, несмотря на то, что Перекусихинъ 1-й полностью возвратилъ похищенное, а Перекусихинъ 2-й даже совершенно ничего не получилъ. Такъ что и несомнѣнная невинность Перекусихина 2-го не принималась во вниманіе, потому что всякій говорилъ: „а кто ихъ, Перекусихиныхъ, разберетъ!“

У нихъ у однихъ Фаинушкины красы не заставляли складываться губы сердечкомъ, такъ что въ этомъ смыслѣ они казались даже мѣнялънѣе самого Парамонова.

У стѣны, по обѣ стороны ломбернаго стола, сидѣли Иванъ Тимоѳеичъ и Прудентовъ, а у окна — Очищенный, приведшій съ собой изъ редакціи „Красы Демидрона“ *нашего собственнаго корреспондента*, совсѣмъ безумнаго малаго, который сидѣлъ вытараща глаза и жевалъ фіалковый корень.

Отрекомендовалъ насъ Иванъ Тимоѳеичъ.

— Сотрудники наши!—сказалъ онъ кратко:—были заблудшіе, а теперь полезными гражданами сдѣлались...

— Вотъ какъ!—пріятно изумился Перекусихинъ 1-й.

— Ахъ, голуби, голуби!—вздохнулъ Парамоновъ.

— Гдѣ жъ это вы заблудились?—любезно спросила Фаинушка и такъ пріятно при этомъ улыбнулась, что Глумовъ стиснулъ зубы и всѣмъ существомъ (очень впрочемъ прилично) устремился впередъ.

— Нельзя сказать, чтобъ въ хорошемъ мѣстѣ,—объяснилъ Иванъ Тимоѳеичъ:—такую чепуху городили, что вспомнить совѣстно. А теперь—такъ поправились, какъ дай Богъ всякому!

Мы были еще въ нерѣшимости, какія выразить чувства по поводу этой аттестаціи, какъ у воротъ раздался стукъ экипажа, и черезъ минуту въ дверяхъ показался Редедя и поманилъ пальцемъ Ивана Тимоѳеича.

Всѣ смолкли, такъ что изъ залы явственно доносился до насъ шопотъ. Еще минута, и Иванъ Тимоѳеичъ, въ свою очередь, поманилъ меня и Глумова.

— Мерзавецъ-то не ѣдетъ!—сообщилъ онъ намъ вполголоса.

— Что же случилось?

— Да такъ вотъ,—объяснилъ Молодкинъ: — пріѣхалъ я, а онъ сидитъ во фракѣ, въ перчаткахъ и въ бѣломъ галстухѣ — хоть сейчасъ подъ вѣнецъ! „Деньги!“ Отдалъ я ему двѣсти рублей—онъ пересчиталъ, положилъ въ ящикъ, щелкнулъ замкомъ: „остальныя восемьсотъ!“ Я туда-сюда—слышать не хочетъ! И галстухъ снялъ. „А ежели, говоритъ, черезъ полчаса остальныя деньги не будутъ на столѣ, такъ я совсѣмъ раздѣнусь, въ баню уѣду“.

— Да ты бы, голубчикъ, ему пригрозилъ: по данной, молъ, власти — въ мѣста не столь отдаленныя!—предложилъ Глумовъ.

— Говорилъ-съ. Не дѣйствуетъ.

— Вотъ вѣдь сквернавецъ какой!—негодовалъ Иванъ Тимоѳеичъ. — А здѣсь между тѣмъ расходъ. Кушанья сколько наготовили, посажёнымъ отцамъ по четвертной заплатили, за прокатъ платья для Очищеннаго отдали, отмѣтчика изъ газеты подрядили, ему самому, невѣжѣ, карету на невѣстинъ счетъ наняли—и по сейчасъ тамъ у крыльца стоитъ...

И вдругъ свѣтлая мысль осѣнила его голову.

— Друзья, да что жъ мы! — воскликнулъ онъ, простирая къ намъ руки: — да вы... ну, что жъ такое! Что на него, на невѣжу, смотрѣть! изъ васъ кто-нибудь... разъ-два-три... Господи благослови! Ягодка-то вѣдь какая... видѣли?

Я такъ и обомлѣлъ при этихъ словахъ, но, по счастію, Глумовъ не потерялъ присутствія духа.

— Не дѣло ты говоришь, Иванъ Тимоѳеичъ, — сказалъ онъ резонно: —во-первыхъ, Балалайкѣ ужъ двѣсти рублей задано; а во-вторыхъ, у насъ впередъ такъ условлено, чтобъ непремѣнно быть двоеженству. А я вотъ что сдѣлаю: сейчасъ къ нему самъ поѣду, и не я буду, если черезъ двадцать минутъ на трензелѣ его сюда не приведу.

Глумовъ уѣхалъ вмѣстѣ съ Молодкинымъ, а я въ видѣ амапата остался у Фаинушки. Разговоръ не вязался, хотя Иванъ Тимоѳеичъ и старался оживить его, объявивъ, что „такъ нынче ягода дешева, такъ дешева — кому и вредно, и тѣ ѣдятъ! а вотъ грибовъ совсѣмъ не видать!“ Но только-что было мѣняло началъ въ отвѣтъ: „грибки, да ежели въ сметанѣ“, какъ внутри у Перекусихина 2-го произошелъ такой переполохъ, что всѣмъ показалось, что въ сосѣдней комнатѣ заводятъ органъ. А невѣста до того перепугалась, что инстинктивно поднялась съ мѣста, сказавъ:

— Ваши превосходительства! водочки! милости просимъ закусить, господа! не взыщите!

Это разомъ всѣхъ привело въ нормальное настроеніе. Тайные совѣтники забыли объ уфимскихъ земляхъ и, плавно откидывая ногами, двинулись за хозяйкой; Иванъ Тимоѳеичъ бросился впередъ расчищать гостямъ дорогу; Очищенный вытянулъ шею, какъ боевой конь, и щелкнулъ себя по галстуху; даже „нашъ собственный корреспондентъ“ — и тотъ сдѣлалъ движеніе языкомъ, какъ будто собрался его пососать. Въ тылу, неслышно ступая ногами, шелъ злополучный мѣняло.

У закусочнаго стола насъ встрѣтилъ Редедя, но не сразу допустилъ до водки, а сначала самъ посмаковалъ понемногу отъ каждаго сорта (при этомъ онъ одинъ глазъ зажмуривалъ, а другимъ стрѣлялъ въ пространство, точно провидѣлъ вдали богъ вѣсть какія перспективы) и наконецъ, остановившись на зорной, сдѣлалъ капельмейстерскій жестъ руками:

— Можете смѣло!

То же самое продѣлалъ онъ и надъ закусками: всякаго сорта пожевалъ, объясняя при каждомъ кускѣ, въ чемъ заключаются его достоинства и какіе могутъ быть недостатки. Какая должна быть селедка, ежели она селедка, и какой долженъ быть балыкъ, ежели онъ балыкъ. А такъ какъ замѣчанія свои онъ, сверхъ того, скрашивалъ разсказами изъ жизни достопримѣчательныхъ русскихъ людей, то закусываніе получало разумно-историческій характеръ, и не прошло десяти минутъ, какъ уже мы отлично знали всю русскую исторію восемнадцатаго столѣтія, а благодаря новымъ закусочнымъ подкрѣпленіямъ — надѣялись узнать, что происходило и дальше.

— И гдѣ вы, Фаина Егоровна, такое сокровище отыскали? — спросилъ восхищенный Перекусихинъ 1-й, указывая на Редедю.

— Самъ пришелъ,—очень мило нашлась невѣста.

— Онъ у насъ, вашество, Аника-воинъ, долго на одномъ мѣстѣ не усидитъ!—отозвался старый мѣняло:—изъ похода, да и опять въ походъ... Вотъ и теперь фараоны зовутъ...

— Скажите! и выгодно это?—обратился Перекусихинъ 2-й къ Редедѣ.

— Какъ вамъ сказать... Намеднись, какъ ѣздилъ къ зулусамъ, однихъ прогоновъ на сто тысячъ верстъ, взадъ и впередъ, получилъ. На восемнадцать лошадей по три копѣйки на каждую — сочтите, сколько денегъ-то будетъ? На станціяхъ между тѣмъ ямщики и прогоновъ не хотятъ получать, а только „ура“ кричатъ... А потомъ еще суточныя по положенію, да подъемныя, да къ родственникамъ по дорогѣ заѣхать...

— Одного военачальника я зналъ, такъ тотъ, кромѣ прогоновъ, еще на „милую“ тысячъ сто выпросилъ,—сказалъ свое слово Очищенный.

— И это бываетъ,—согласился Редедя.

— Тсс... А хорошая это сторона... Зулусія?

— Такая, вашество, сторона! такая это сторона! Отдай все, да и мало!

— И все тамъ есть? икра, напримѣръ, балыкъ, селедка... все какъ слѣдуетъ?

— Всего вдоволь. И все втунѣ, все равно какъ у насъ богатства въ нѣдрахъ земли. И много, да приступиться не знаемъ. Такъ и они. Осетрины не ѣдятъ, сардинокъ не ѣдятъ, а вотъ змѣи, скорпіоны, летучія мыши—это у нихъ первое лакомство!

— Ахъ-ахъ-ахъ!

Покуда шелъ этотъ разговоръ, Фаинушка отвела меня въ сторону и вполголоса допрашивала:

— Это пріятель вашъ... вотъ который сейчасъ за Балалайкинымъ уѣхалъ?

— Да, пріятель.

— Какой онъ смѣшной!

— Что̀ такъ?

— Давеча я всего два слова сказала, а онъ ужъ и размокъ: глаза зажмурилъ, чуть не свалился... хоть бы людей постыдился!

Она стояла передо мной, держа двумя пальчиками кусокъ балыка и отщипывая отъ него микроскопическіе кусочки своими ровными, бѣлыми зубами. Очевидно, что поступокъ Глумова не только не возмущалъ ея, а скорѣе даже нравился; но съ какою цѣлью она завела этотъ разговоръ? Были ли слова ея фразой, случайно брошенной, чтобъ занять гостя, или же они предвѣщали перемѣну въ судьбѣ моего друга?

— А у насъ сегодня Полканъ Самсонычъ къ фараонамъ уѣзжаетъ, — продолжала она, не глядя на меня.

— Сегодня?

— Да; отпразднуемъ свадьбу у Завитаева, а оттуда поѣдемъ на машину проводить.

— А жалко вамъ его?

— Мнѣ-то? закусываетъ онъ слишкомъ ужъ часто... Надоѣлъ.

— А вамъ нужно...

— Ничего мнѣ не нужно, а вотъ скажите вашему пріятелю, чтобъ онъ за обѣдомъ подлѣ меня сѣлъ. Я хочу ему на ушко одно слово...

Она подняла глаза и не договорила. Перекусихинъ 1-й отдѣлился отъ закусывающихъ и, меланхолически склонивъ на бокъ голову, обстрѣливалъ ее взорами.

Произошла нѣмая сцена.

— Вотъ кабы мнѣ полководцеву-то квартирку!..—безъ словъ ходатайствовалъ тайный совѣтникъ,

— Отдана! — тоже безъ словъ, но твердо и отчетливо отвѣтила Фаннушка.

Тутъ только я понялъ, какое великое будущее открывается передъ Глумовымъ.

Глава XIII.

Боевая репутація Редеди была въ значительной мѣрѣ преувеличена. Товарищи его по дворянскому полку, правда, утверждали, что онъ считалъ за собой нѣсколько лихихъ стычекъ въ Ташкентѣ, но при этомъ какъ-то никогда достаточно не разъяснялось, въ географическомъ ли Ташкентѣ происходили эти стычки, или въ трактирѣ Ташкентъ, что̀ за Нарвскою заставой. Начальство однакожъ не особенно цѣнило подвиги Редеди и довольно медленно производило его въ чины, такъ что сорока-пяти-лѣтъ отъ роду онъ имѣлъ только полковничій чинъ. Наскучивъ начальственнымъ равнодушіемъ, онъ перемѣнилъ родъ дѣятельности и направился, въ качествѣ обрусителя, въ западный край. Тутъ онъ сразу ознаменовалъ себя тѣмъ, что произвелъ сильную рекогносцировку между жидами, и, сбивъ ихъ съ позицій, возвратился во-свояси, обремененный добычей. Но и этотъ подвигъ не былъ оцѣненъ. Тогда онъ вышелъ въ „чистую“ и напечаталъ во всѣхъ газетахъ слѣдующее объявленіе:

„ПОЛКОВОДЕЦЪ!!!“

„Дѣлаетъ рекогносцировки, беретъ хитростью и приступомъ большія и малыя укрѣпленія, выигрываетъ большія и малыя сраженія, устраиваетъ засады, преслѣдуетъ непріятеля по пятамъ, но въ случаѣ надобности и отступаетъ. Въ особенности можетъ быть полезенъ во время междоусобій. Въ мирное время можетъ быть и редакторомъ газеты. Трезваго поведенія. Спросить Полкана Редедю, Забалканскій проспектъ, домъ № 4-105, на дворѣ, **въ палаткѣ. Комисіонерамъ не приходить.**“

Втайнѣ Редедя разсчитывалъ на Дона-Карлоса, который въ это время поддерживалъ спасительное междоусобіе на сѣверѣ Испаніи. Онъ даже завязалъ съ графомъ Ломпонѐ (о немъ зри выше) переговоры насчетъ суточныхъ и прогонныхъ денегъ; но Ломпонѐ заломилъ за комисію пять рублей, а Редедя могъ дать только три. Такъ это дѣло и не состоялось.

За то въ Африкѣ Редедѣ посчастливилось: онъ получилъ нѣсколько ангажементовъ сряду. Прежде всего его пригласилъ эѳіопскій царь Амонасро

(изъ „Аиды“), который возложилъ на него орденъ Аллигатора, и вслѣдъ затѣмъ былъ взятъ въ плѣнъ. Изъ Эѳіопіи Редедя проѣхалъ въ страну зулусовъ, владыка которой, Сетивайо (нынѣ обучающійся въ Лондонѣ парламентскимъ порядкамъ), повѣсилъ ему на шею яйцо строфокамила, и тоже былъ взятъ въ плѣнъ. По пути Редедя не дремалъ и помогалъ экваторіальнымъ державцамъ въ ихъ взаимныхъ пререканіяхъ, причемъ аккуратно сдалъ ихъ другъ другу въ плѣнъ, и вездѣ получилъ прогоны и суточныя по разсчету отъ Петербурга. А теперь къ нему обратился за помощью Араби-паша, который, по словамъ Редеди, былъ его однокашникомъ по дворянскому полку.

Несмотря на то, что Редедя не выигралъ ни одного настоящаго сраженія, слава его, какъ полководца, установилась очень прочно. Московскіе купцы были отъ него въ восхищеніи, а глядя на нихъ, постепенно воспламенялись и петербургскіе патріоты-концесіонеры. Въ особенности плѣнялъ Редедя купеческія сердца тѣмъ, что задачу Россіи на востокѣ отождествлялъ съ тѣми блестящими перспективами, которыя, при ея осуществленіи, должны открыться для плисовъ и миткалей первѣйшихъ россійскихъ фирмъ. Когда онъ развивалъ эту идею, рисуя при этомъ безконечную цѣпь каравановъ, тянущихся отъ Иверскихъ воротъ до Мадраса, всѣ мануфактуръ-совѣтники кричали „ура“; онъ же, подъ шумокъ, истреблялъ такое количество снѣдей и питій, что этого одного было достаточно, чтобъ навсегда закрѣпить за нимъ кличку витязя и богатыря. Цѣлыхъ два года онъ пилъ и закусывалъ отчасти на счетъ потребителей плисовъ и миткалей, отчасти на счетъ пассажировъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, такъ что, быть можетъ, принялъ косвенное участіе и въ кукуевской катастрофѣ, потому что нужныя на ремонтъ насыпи деньги были употреблены на чествованіе Редеди. Въ эти два года онъ изнѣжилъ себя до того, что курилъ сигары не иначе какъ съ золотыми концами, и при этомъ вмѣсто иностранныхъ давалъ имъ собственнаго изобрѣтенія названія: патріотическія и военныя. Напримѣръ одному сорту онъ далъ кличку „Забалканскія“ въ честь Забалканскаго проспекта, гдѣ онъ первоначально квартировалъ, другому—„Синопъ“, въ честь гостинницы „Синопъ“, въ которой онъ однажды такъ успѣшно маневрировалъ, что ни одного стакана и ни одной тарелки не оставилъ неразбитыми.

Въ этотъ же періодъ привольнаго житья наружность его пріобрѣла ту овальность, которая такъ пріятно поражала всѣхъ, посѣщавшихъ Фаннушкину обитель. Но нужно сказать правду: овальность эта болѣе приличествовала метрдотелю, нежели полководцу, потому что послѣдній, какъ тамъ ни говори, все-таки долженъ быть готовъ во всякое время проливать кровь. Поэтому люди, даже искренно расположенные къ Редедѣ, когда узнали о полученномъ имъ отъ Араби-паши приглашеніи—и тѣ сомнительно покачивали головами, не ожидая въ будущемъ ни побѣдъ, ни одолѣній.

— Разъѣлся, старикъ, лѣнивъ сталъ! — говорили они между собой:— посмотрите, вся грудь у него въ складкахъ, точно у стараго раскормленнаго тирольскаго быка!

Нѣкоторые даже пытались уговорить его отъ поѣздки, объясняя, что если англичане теперь его возьмутъ въ плѣнъ, то ужъ не выпустятъ, а продадутъ съ аукціона какому-нибудь вьюжигѣ, который станетъ его возить по

ярмаркамъ, а тамъ мальчишки будутъ его дразнить; но перспектива полученія прогонныхъ денегъ до Каира и обратно была такъ соблазнительна, что отяжелѣвшій печенѣгъ остался глухъ ко всѣмъ убѣжденіямъ. Къ тому же и Фаинушка явно погрѣшила въ этомъ случаѣ, не только не отговаривая его отъ поѣздки, но, напротивъ, всемѣрно разжигая въ немъ жажду военныхъ подвиговъ.

Отношенія Фаинушки къ странствующему полководцу были очень сбивчивы. Наравнѣ съ другими купеческими фирмами, она увлеклась его боевою репутаціей, и, какъ уже сказано было выше, не пожалѣла расходовъ, чтобы переманить его отъ Полякова къ себѣ. Но, сошедшись съ нимъ ближе, она скоро убѣдилась, что изъ всѣхъ прежнихъ доблестей въ немъ осталась неприкосновенною только страсть къ закусыванію. Было бы однакожъ несправедливо думать, что Редедя сознательно обманулъ ее. Вѣроятнѣе всего, что, постепенно закусывая и изыскивая способы для легчайшаго сбыта московскихъ плисовъ и миткалей, онъ и самъ утратилъ привычку критически относиться къ своимъ собственнымъ силамъ. Какъ бы то ни было, но онъ сразу до того вошелъ исключительно въ роль метрдотеля, что Фаинушка даже нѣсколько смутилась. Нѣкоторое время она надѣялась, что вопросъ о выходѣ замужъ за Балалайкина разбудитъ въ немъ инстинктъ полководца; но, къ удивленію, при этомъ извѣстіи онъ только языкомъ щелкнулъ и спросилъ, насколько персонъ слѣдуетъ готовить свадебный обѣдъ. Тогда она окончательно растерялась. Стала нюхать спиртъ и ходить къ ворожеямъ. Съ ужасомъ видѣла она себя навсегдо осужденною на безрадостную жизнь въ обществѣ мѣнялъ, и воображеніе ея все чаще и чаще началъ смущать образъ черноокаго Ломпопо... Не разъ она рѣшалась бросить все и бѣжать въ Пале-де-Кристаль, но невидимая рука удерживала ее на стезѣ благоразумія. И не вотще. Въ самую критическую минуту къ ней неожиданно явился на помощь Араби-паша, вызывавшій Редедю на поле брани. Въ одинъ присѣстъ она связала два кошелька: одинъ для Балалайкина, другой—съ надписью золотымъ бисеромъ: „отъ русскихъ дамъ“ — отдала Редедѣ для передачи знаменитому египетскому патріоту.

Но возвратимся къ разсказу.

Балалайкина наконецъ привезли, и мы могли приступить къ обѣду. Женихъ и невѣста по обычаю сѣли рядомъ. Глумовъ помѣстился подлѣ невѣсты (онъ даже изумленія не выказалъ, когда я ему сообщилъ о желаніи Фаинушки), я — подлѣ жениха. Противъ насъ сѣлъ злополучный мѣняло, имѣя по бокамъ посажёныхъ отцовъ. Прочіе гости размѣстились какъ попало, только Редедя отвелъ себѣ мѣсто на самомъ концѣ стола и почти не сидѣлъ, а стоялъ и, распростерши руки, командовалъ арміей мѣнялъ, прислуживавшихъ за столомъ.

Балалайкинъ былъ одѣтъ щегольски и смотрѣлъ почти прилично. Даже Иванъ Тимоѳеичъ его похвалилъ, сказавши: „ну вотъ, ты теперь себя оправдалъ!“ А невѣста, прежде чѣмъ сѣсть за обѣдъ, повела его въ будуаръ и показала шолковый голубой халатъ и расшитыя золотомъ торжковскія туфли, сказавъ: „это—вамъ!“ Понятно, что послѣ этого веселое выраженіе не сходило съ лица Балалайкина.

Но даже въ эти торжественныя минуты Фаинушка не покинула своего „голубя“. Какъ и всегда, она усадила его на мѣсто, завѣсила салфеткой и потрепала по щекѣ, шепнувъ на ухо (но такъ, что всѣ слышали):

— Сиди тутъ, папаша, и не скучай безъ меня! а я на тебя, своего голубка, смотрѣть буду.

За обѣдомъ всѣ гости оживились, и это было въ особенности лестно для насъ съ Глумовымъ, потому что преимущественно мы были предметомъ общихъ разговоровъ и похвалъ. Иванъ Тимоѳеичъ соловьемъ разливался, разсказывая подробности нашего чудеснаго обращенія на стезю благонамѣренности.

— Вижу я, — повѣствовалъ онъ, — что на Литейной неладное что-то затѣвается: сидятъ молодые люди въ квартирѣ — ни сами никуда, ни къ себѣ никого... какая есть тому причина? Однакожъ, думаю: грѣхъ будетъ, ежели сразу молодыхъ людей въ отчаянность привести — подослалъ, знаете, дипломата нашего; говорю: смотри, ежели чтò — ты въ отвѣтѣ! И чтò же! не прошло двухъ недѣль, какъ слышу: помилуйте! да они хоть сейчасъ на какую угодно стезю готовы! Ну, я немножко подождалъ-таки, поиспыталъ, а потомъ вижу, что медлить нечего — и самъ открылся: будьте знакомы, друзья!

— А теперь они намъ въ письменныхъ дѣлахъ по кварталу помогаютъ, — подтвердилъ Прудентовъ.

— И мнѣ по пожарной, — части отозвался Молодкинъ.

— А сколько тайныхъ благодѣяніевъ дѣлаютъ! — воскликнулъ отъ полноты сердца Очищенный: — одна рука даетъ, другая — не вѣдаетъ.

— Ахъ, голуби, голуби! — воскликнулъ старый мѣняло.

Потокъ похвалъ былъ на минуту прерванъ созерцаніемъ громадной кулебяки, которая оказалась вполнѣ соотвѣтствующею только-что съѣденной ухѣ. Но когда были проглочены послѣдніе куски, Иванъ Тимоѳеичъ вновь и еще съ бòльшимъ рвеніемъ возвратился къ прерванному разговору.

— На дняхъ-это начали мы, по требованію, въ кварталѣ „Уставъ о благопристойномъ во всѣхъ отношеніяхъ поведеніи“ сочинять, — сказалъ онъ: — бились-бились — ни взадъ, ни впередъ! И вдругъ... они! Сейчасъ же сообразили, вникли, промежду себя поговорили — откуда чтò взялось! Статья за статьей! статья за статьей!

— Такъ вы и законодательными работами занимаетесь? — привѣтливо обратился ко мнѣ Перекусихинъ 1-й.

— Я всѣмъ занимаюсь-съ. И сочинить законъ могу, и упразднить могу. Смотря по тому, чтò въ сферахъ требуется.

— И представьте, вашество, какую они, въ видахъ благопристойности, штуку придумали! — продолжалъ рекомендовать насъ Иванъ Тимоѳеичъ: — чтобы при каждой квартирѣ безпремѣнно имѣть два ключа, и одинъ изъ нихъ хранить въ кварталѣ!

При этомъ извѣстіи даже Перекусихины рты разинули, несмотря на то, что оба достаточно-таки понаторѣли въ законодательныхъ трудахъ.

— Чтобъ, значитъ, во всякое время: пришелъ гость, чтò надобно взялъ и ушелъ! — пояснилъ Очищенный.

— Гм... это... Это, я вамъ доложу... Это все равно что безъ мыла въ душу влѣзть!—молвилъ Перекусихинъ 1-й.

— Позвольте однакожъ!—обезпокоился Перекусихинъ 2-й:—а ежели у кого... напримѣръ деньги?

Опять всѣ разинули рты, ибо слово Перекусихина 2-го было вѣское и на всѣхъ нагнало тоску. Но тутъ ужъ Иванъ Тимоѳеичъ вступился.

— Ахъ, вашество!—сказалъ онъ съ чувствомъ:—что́ же такое деньги? Деньги—наживное дѣло! У васъ есть деньги, а вотъ у меня или у нихъ (онъ указалъ на Прудентова и Молодкина) и совсѣмъ ихъ нѣтъ! Да и что́ за сласть въ этихъ деньгахъ—только соблазнъ одинъ!

— Однако!

— Нѣтъ, я вамъ доложу,—отозвался Перекусихинъ 1-й: — у насъ, какъ я на службѣ состоялъ, одинъ отставной фельдъегерь такой проектъ подалъ: чтобы весь городъ на отряды раздѣлить. Что́ ни домъ, то отрядъ со старшимъ дворникомъ во главѣ. А кромѣ того еще летучіе отряды... въ родѣ какъ воспособленіе!

— Вотъ это безподобно!—откликнулись со всѣхъ сторонъ.

— А я такъ иначе бы распорядился, — сказалъ Редедя: — двойные ключи, отряды — это все прекрасно; а я бы по пушечкѣ противъ каждаго дома поставилъ. Въ случаѣ чего: дворникъ! выполняй свою обязанность!

— Безподобно! безподобно!

— И на случай войны не безъ пользы,—согласился Перекусихинъ 1-й: —тамъ, какова пора ни мѣра, а мы — готовы! Милости просимъ въ гости, честные господа!

Словомъ сказать, въ какіе-нибудь полчаса выплыло наружу столько оздоровительныхъ проектовъ, что злополучный мѣняло слушалъ-слушалъ, да и пришелъ въ умиленіе.

— Ахъ, голуби, голуби!—вздохнулъ онъ: — все-то вы отягощаетесь! все-то придумываете, какъ бы для насъ лучше, да какъ бы удобнѣе... Лёгко ли дѣло изъ пушекъ палить, а вы и того не страшитесь, лишь бы польза была!

Но упоминовеніе о пушкахъ и возможности войны не могло и на разговоръ не повліять соотвѣтствующимъ образомъ. На сцену выступилъ вопросъ о боевой готовности.

— А какъ вы полагаете, Полканъ Самсонычъ, —спросилъ Перекусихинъ 1-й:—ежели теперича нѣмецъ или турокъ... готова ли была бы Россія дать отпоръ?

— То-есть, ежели сейчасъ... сію минуту.. пиши пропало!—отчеканилъ Редедя.

— Что́ ужъ это такъ... очень ужъ какъ будто рѣшительно!—испугался Перекусихинъ 1-й.

— Да какъ вамъ сказать... Что боевая сила у насъ въ исправности—это вѣрно; и оружіе есть... средствениое, но есть — допустимъ и это; и даже порохъ найдется, коли поискать... Но чего нѣтъ, такъ нѣтъ—это полководцевъ-съ! нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ!

— Ужъ будто...

— Несомнѣнно-съ. И не только у насъ—нигдѣ полководцевъ нѣтъ. И не будетъ-съ.

— Однакоже, если есть потребность въ полководцахъ, то должны же отыскаться и средства для удовлетворенія этой потребности?

— И средства есть. И предлагали-съ.

Редедя видимо ожесточился и началъ съ такою быстротой посылать ножомъ въ ротъ соусъ съ тарелки, что тарелка скрежетала, а сталь ножа, сверкая, отражалась на стѣнѣ въ видѣ мелкихъ зайчиковъ.

— И штука совсѣмъ простая,—продолжалъ Редедя:—учредите международную корпорацію странствующихъ полководцевъ — и дѣло въ шляпѣ. Ограничьте число—человѣкъ пять-шесть не больше—но только чтобъ они всегда были готовы. Понадобился кому полководецъ—выбирай любого. А не выбралъ, понадѣялся на своего доморощеннаго—не прогнѣвайся!

— Но кого же въ эту корпорацію назначать будутъ? и кто будетъ назначать?

— Охотники найдутся-съ. Ужъ ежели кто въ себѣ эту силу чувствуетъ, тотъ зѣвать не будетъ. Самъ придетъ и самъ себя объявитъ...

— Гм...

Проектъ былъ удивительно странный, а съ перваго взгляда даже глупый. Но когда стали обсуждать и разсматривать, то и онъ оказался не безъ пользы. Главное что̀ соблазняло — это легкость добыванія полководцевъ. Понадобилось воевать: господинъ полководецъ Непобѣдимый! вотъ вамъ войско, а сухари „вѣрный человѣкъ" поставитъ—извольте вести къ побѣдамъ! И поведетъ. Идея эта до того увлекла Перекусихина 2-го, что онъ сейчасъ же началъ фантазировать и отыскивать для нея примѣненія въ другихъ вѣдомствахъ. Оказалось, что точь-въ-точь такія же корпораціи было бы вполнѣ удобно устроить по вѣдомствамъ: финансовъ, путей сообщенія, почтъ и телеграфовъ и проч. Съ этимъ мнѣніемъ согласился и Очищенный.

— Теперича ежели денегъ нѣтъ, если баланецъ у кого не въ исправности,—разсуждалъ онъ: — сейчасъ опустилъ руку въ мѣшокъ: господинъ финансистъ Грызуновъ! извольте деньги сыскать!

Мѣняло же, съ своей стороны, такъ разоткровенничался, что чуть-было не обнаружилъ своей коммерческой тайны.

— Ахъ, голуби, голуби!—сказалъ онъ:—и какъ это вы говорите: денегъ нѣтъ—развѣ можно этому быть! Есть онѣ, деньги, только ищутъ ихъ не тамъ, гдѣ онѣ спрятаны!

Тогда начали разсуждать о томъ, гдѣ деньги спрятаны и какъ ихъ оттуда достать. Надѣялись, что Парамоновъ пойдетъ дальше по пути откровенности, но онъ ужъ спохватился и скорчилъ такую мину, какъ будто и знать не знаетъ, чье мясо кошка съѣла. Тогда возложили упованіе на Бога и перешли къ изобрѣтеніямъ девятнадцатаго вѣка. Говорили про пароходы и паровозы, про телеграфы и телефоны, про стеаринъ, парафинъ, олеинъ и керосинъ, и во всемъ видѣли руку Провидѣнія, явно Россіи благодѣющаго.

— Давно ли я самъ въ Москву въ дилижансѣ на четвертыя сутки поспѣвалъ?—дивился Перекусихинъ 2-й:—а нынче сѣлъ, поѣхалъ и пріѣхалъ!

А Очищенный къ сему присовокупилъ:

— Прежде, вашество, письма-то на почвѣ шпильками изъ конвертовъ вылущивали—какая это времени трата была! А ныньче взялъ, надъ паромъ секундочку подержалъ—читай да почитывай!

Опять подивились; но только-что хотѣли разсмотрѣть, слѣдуетъ ли тутъ видѣть руку Провидѣнія, явно Россіи благодѣющаго, какъ Перекусихинъ 1-й далъ разговору нѣсколько иной оборотъ:

— А что, въ этой Зулусіи... финансы есть? — обратился онъ къ Редедѣ.

— Настоящихъ финансовъ нѣтъ, а въ родѣ финансовъ — какъ не быть!

— И деньги, стало быть, чеканятъ?

— Чеканить не чеканятъ, а такъ дѣлаютъ. Ѣстъ, напримѣръ, Сетивайо крокодила, маленькую косточку выплюнетъ—рубль серебра! побольше косточку — пять, десять рублей; а ежели кость этакъ вершковъ въ десять выдастся—прямо сто рублей. А министры тѣмъ временемъ такимъ же порядкомъ размѣнную монету дѣлаютъ. Иной разъ какъ присядутъ, такъ въ одинъ день милліончикъ и подарятъ.

— Что городъ, то норовъ, что деревня, то обычай. Вотъ вѣдь какую легость придумали!

— А внутренняя политика у нихъ есть?

— И внутренней политики настоящей нѣтъ, а есть оздоровленіе корней. Тутъ и полиція, и юстиція, и народное просвѣщеніе — все! Возьмутъ этакъ „голубчика“ гдѣ почувствительнѣе, да и не выпускаютъ, покуда всѣхъ не оговоритъ.

— И это легость большая.

— А пути сообщенія есть?

— Настоящихъ тоже нѣтъ. Но недавно устроено министерство кукуевскихъ катастрофъ. Стало быть, теперь только строить дороги поспѣвай.

Слово за слово, и житье-бытье зулусовъ открылось передъ нами какъ на ладони. И финансы, и полиція, и юстиція, и пути сообщенія, и народное просвѣщеніе—все у нихъ есть въ изобиліи, но только все не настоящее, а лучше чѣмъ настоящее. Оставалось, стало быть, разрѣшить вопросъ: какимъ же образомъ страна, столь благоустроенная и цвѣтущая, и притомъ имѣя такого полководца, какъ Редедя, такъ легко поддалась горсти англичанъ? Но и на этотъ вопросъ Редедя отвѣтилъ вполнѣ удовлетворительно.

— Оттого и поддалась, что команды нашей они не понимаютъ,—объяснилъ онъ:—я имъ командую: впередъ, ребята!—а они назадъ прутъ! Туда-сюда: стойте, подлецы! — а ихъ ужъ и слѣдъ простылъ! Я-то кой-какъ въ ту пору улепетнулъ, а Сетивайо такъ и остался на тронѣ середь поля!

Пожалѣли. Выпили по бокалу за жениха и невѣсту, потомъ за посажёныхъ отцовъ, потомъ за Парамонова и наконецъ... за Сетивайо, такъ какъ, по словамъ Редеди, онъ могъ бы быть полезнымъ для Россіи подспорьемъ. Хотѣли еще о чемъ-то поговорить, но отяжелѣли. Наконецъ разнесли фрукты, и обѣдъ кончился. Натурально я сейчасъ же бросился къ Глумову.

Изъ словъ его я узналъ, что онъ предположилъ завтра же переѣхать на квартиру Редеди. И что всего удивительнѣе—передавая мнѣ о своемъ рѣ-

шеніи, онъ не только не смутился, но даже смотрѣлъ на меня съ большимъ достоинствомъ, нежели обыкновенно. Признаюсь, я не ожидалъ, что все произойдетъ такъ легко, безъ борьбы, и потому рискнулъ сказать ему, что во всякомъ мало-мальски уважающемъ себя романѣ человѣкъ, задумавшій поступить на содержаніе къ женщинѣ, которая вдобавокъ и сама находится на содержаніи, все-таки сколько-нибудь да покобенится. Но и на это онъ возразилъ кратко, что, однажды рѣшившись вступить на стезю благонамѣренности, онъ уже не считаетъ себя вправѣ кобениться, а идетъ прямо туда, куда никакія подозрѣнія насчетъ чистоты его намѣреній за нимъ не послѣдуютъ. И въ заключеніе назвалъ меня маловѣромъ.

Покуда мы такимъ образомъ полемизировали, Фаинушка, счастливая и вся сіяющая, выдерживала новую нѣмую сцену со стороны Перекусихина 1-го.

— Такъ не будетъ квартиры? — спрашивалъ взорами тайный совѣтникъ.

— Не будетъ!—взорами же отвѣчала Фаинушка.

— Но въ такомъ случаѣ надѣюсь, что хотя квартирныя деньги...

— И квартирныхъ денегъ не будетъ!

— Однако! ха-ха-ха!

Онъ залился горькимъ смѣхомъ, а счастливый Глумовъ толкнулъ меня въ бокъ и шепнулъ на ухо:

— Ты посмотри на нее, бабочка-то какая! А ты еще разговариваешь... чудакъ! Ишь вѣдь она... ахъ!

. . . .

Я не стану описывать дальнѣйшія перипетіи торжества; скажу только, что все произошло въ порядкѣ, и баликъ въ кухмистерской Завитаева прошелъ такъ весело, что танцы кончились только къ утру. Всѣ квартальныя дамы литейной и нарвской частей тутъ присутствовали; кавалерами же были по премуществу „червонные валеты", которыхъ набралось до двадцати-пяти штукъ, потому что и приставъ нарвской части уступилъ на этотъ вечеръ свой „хоръ". Но больше и искреннѣе всѣхъ веселился Глумовъ, который совсѣмъ неожиданно получилъ даръ танцовать *мелкіе* танцы. Правда, онъ выполнялъ эту задачу не вполнѣ правильно: то замедлялъ темпъ, то топтался на одномъ мѣстѣ, то вдругъ впадалъ въ бѣшенство и какъ ураганъ мчался по залѣ; но Фаинушку даже неправильности его приводили въ восхищеніе. Она не сводила съ него глазъ и потомъ всѣмъ и каждому говорила: „видали ли вы что-нибудь уморительнѣе и... милѣе?" Такъ что когда я, удивленный и встревоженный этою внезапностью, потребовалъ у Глумова объясненія, то она не дала ему слова сказать, а молча подала мнѣ съ конфетки билетикъ, на которомъ я прочиталъ:

Любовь сладка, всему научитъ (.)
Коль кровь кипитъ (,) а сердце пучитъ(,)
Напрасно будемъ мы стеречься (,)
Но прелестьми должны увлечься(.)

Alea jacta est...

Удивительно, какъ странны дѣлаются люди, когда ихъ вдругъ охватитъ желаніе нравиться! думалось мнѣ, покуда Глумовъ выдѣлывалъ ногами

какіе-то масонскіе знаки около печки. Никакъ онъ не могъ оторваться отъ этой печки, словно невидимая сила приколдовала его къ ней. Лицо его исказилось, брови сдвинулись, зубы скрипѣли. Казалось, онъ даже позабылъ, гдѣ онъ и что съ нимъ происходитъ, а помнилъ только, что у него въ рукахъ находится предметъ, который предстоитъ истрепать... А Фаинушка не только не сердилась, но весело и добродушно хохотала, видя, что всѣ усилія сорвать его съ мѣста остаются напрасными. Наконецъ послышался трескъ, посыпалась штукатурка, и Глумовъ понесся въ пространство...

Мысль, что еще сегодня утромъ я имѣлъ друга, а къ вечеру уже утратилъ его, терзала меня. Сколько лѣтъ мы были неразлучны! Вмѣстѣ „пущали революціи", вмѣстѣ ощутили сладкія волненія шкурнаго самосохраненія и вмѣстѣ же рѣшили вступить на стезю благонамѣренности. И вотъ теперь я одинъ долженъ идти по стезѣ, кишащей гадюками.

Я не обманывалъ себя: предстоящій путь усѣянъ опасностями, изъ коихъ многія даже прямо могутъ быть названы подлостями. Но есть подлости, согласныя съ обстоятельствами дѣла, и есть подлости, которыя кромѣ подлости ничего въ результатѣ не даютъ. Сдѣлать подлость съ тѣмъ, чтобы при помощи ея превознестись — полезно; но сдѣлать подлость для того, чтобы прослыть *только* подлецомъ — просто обидно. Но какимъ тонкимъ чутьемъ нужно обладать, чтобы, совершая полезныя подлости, не обременять себя совершеніемъ подлостей глупыхъ и ненужныхъ!

Въ сихъ стѣснительныхъ обстоятельствахъ въ особенности важны помощь и присутствіе *друга*. У друга во всѣхъ подобнаго рода вопросахъ имѣется въ запасѣ и совѣтъ, и слово утѣшенія. Возьмите, напримѣръ, такой случай: вы идете по улицѣ и замѣчаете, что впереди предстоитъ встрѣча, которая можетъ васъ скомпрометировать. Вы колеблетесь, спрашиваете себя: слѣдуетъ ли перебѣжать на другую сторону, или положиться на волю Божію и принять идущій на встрѣчу ударъ? Вотъ тутъ-то именно и приходитъ на помощь другъ. Ежели возможность убѣжать еще не исчезла, онъ скажетъ: „улепетывай скорѣе!" Если же время ушло, онъ предостережетъ: „не бѣгай, ибо тебя ужъ замѣтили, и слѣдовательно бѣгство можетъ только безъ пользы опакостить тебя!" И наконецъ, ежели и за всѣми предосторожностями безъ опакощенія обойтись нельзя — онъ утѣшитъ, сказавъ: „ничего! въ другой разъ мы въ подворотню шмыгнемъ!"

Таковы друзья... конечно, ежели они не шпіоны.

Не скрою однакожъ, что въ моихъ сѣтованіяхъ на Глумова скрывалась и нѣкоторая доля зависти. Оба мы одновременно препоясались на одинъ и тотъ же подвигъ, и вотъ я стою еще въ самомъ началѣ пути, а онъ не только дошелъ до конца, но даже получилъ квартиру съ отопленіемъ. Ему не предстоитъ ни жида окрестить, ни подложные векселя писать. Поступивъ на содержаніе къ содержанкѣ, онъ сразу такъ украсилъ свой обывательскій формуляръ, что упразднилъ всѣ промежуточныя подробности. Теперь онъ хоть Маратомъ сдѣлайся — и тутъ Иванъ Тимоѳеичъ скажетъ: „не можетъ этого быть!" А я долженъ весь процессъ мучительнаго оподленія продѣлать съ начала и по порядку; я долженъ на всякій свой шагъ представить доказательство и оправ-

дательный документъ,—и все это для того, чтобы получить въ результатѣ даже не усыновленіе, а только снисходительно брошеное разрѣшеніе: „живи!“

Да, нехорошо, когда старые друзья оставляютъ; даже въ томъ случаѣ нехорошо, когда по справкѣ оказывается, что другъ-дезертиръ всегда былъ, въ сущности, прохвостомъ. Ежели хорошій другъ оставляетъ—горько за будущее; если оставляетъ объяснившійся прохвостъ—обидно за прошедшее. Ну, какъ-таки пятнадцать-двадцать лѣтъ прожить и не замѣтить, что въ двухъ шагахъ отъ тебя—воняетъ! И что, несмотря на эту вонь, ты и душевные чертоги свои, и душевное свое гноище — все открывалъ настежъ — кому?.. прохвосту! Но кромѣ того, какъ хотите, а и квартира съ отопленіемъ свою прелесть имѣетъ. Перекусихинъ 1-й — тайный совѣтникъ! — какъ ни хлопоталъ, а Фаннушка и вниманія не обратила на его мольбы. А Глумовъ, въ чинѣ коллежскаго ассесора, сразу все получилъ безъ словъ, безъ просьбъ, безъ малѣйшихъ усилій. А потомъ пойдутъ пироги, закуски, да еще мѣняло пожалуй въ часть по банкирскимъ операціямъ возьметъ! И все это досталось не мнѣ, добросовѣстному труженику литературы и публицистики (отъ 10 до 15 копѣекъ за строку), а ему... „гулякѣ праздному“!

. . . .

О Балалайкинѣ между тѣмъ совсѣмъ забыли. Какъ только пріѣхали къ Завитаеву, Иванъ Тимоѳеичъ, при двухъ благородныхъ свидѣтеляхъ, отдалъ ему остальныя деньги, а съ него взялъ расписку: „Условленную за бракъ сумму сполна получилъ“. Затѣмъ онъ словно въ воду канулъ; впослѣдствіи же, какъ ни добивались отъ него, куда онъ пропалъ, онъ городилъ въ отвѣтъ какую-то неслыханную чепуху:

— Я-то? Я, mon cher, сѣлъ въ шарабанъ и въ Озерки поѣхалъ. Только ѣхалъ-ѣхалъ—чтò за чудеса!—въ Мустамяки пріѣхалъ! Дѣлать нечего, выкупался въ озерѣ, съѣлъ порцію ухи, купилъ у начальника станціи табакерку съ музыкой—вонъ она, въ прошломъ году мнѣ ее кліентъ приподнесъ — и назадъ! Пріѣзжаю домой — глядь, апелляціонный срокъ пропустилъ... Сейчасъ—въ палату. „Чтò, говорятъ, испугался?—Ну, ужъ Богъ съ тобой, мы для тебя заднимъ числомъ“...

Такъ что Иванъ Тимоѳеичъ слушалъ-слушалъ и наконецъ не вытерпѣлъ и крикнулъ:

— Экой вѣдь ты... ахъ ты, ахъ!

Наконецъ, въ шестомъ часу утра, когда солнце ужъ наводнило улицу тепломъ и лучами, мы всей гурьбой отправились на николаевскую желѣзную дорогу проводить нашего безцѣннаго полководца. Экстренный поѣздъ, заказанный Араби-пашой, былъ совсѣмъ готовъ, а на платформѣ Редедю ожидала свита, состоявшая изъ двухъ египтянъ, Хлѣбодара и Виночерпія, и одного арапа, котораго, какъ мнѣ показалось, я когда-то видалъ въ художественномъ клубѣ прислуживающимъ за столомъ. При нашемъ появленіи, за неимѣніемъ египетскаго народнаго гимна, приглашеные московскими миткалевыми фабрикантами пѣвчіе грянули: „Идѣ домувъ муй“.

Редедя молодецкимъ аллюромъ подкатилъ къ свитѣ и скомандовалъ:

— Налѣво круг-гòмъ!

Послышался звукъ холоднаго оружія; по направленію къ вагонамъ раздались удаляющіеся шаги.

Когда все смолкло, Редедя обратился къ намъ и, видя, что братья Перекусихины плачутъ, взволнованнымъ голосомъ произнесъ:

— Успокойтесь, старики. Съѣзжу въ Каиръ, получу прогонныя деньги, сдамъ Араби-пашу въ плѣнъ—жаль однокашника, а дѣлать нечего!—и возвращусь.

Сказавши это, онъ прослѣдовалъ въ вагонъ, а за нимъ размѣстились по вагонамъ и пѣвчіе.

Поѣздъ помчался.

Мы долго стояли на опустѣвшей платформѣ и махали платками, желая египтянамъ побѣды и одолѣнія.

— Вотъ увидите,—сказалъ пророческимъ голосомъ Глумовъ:—если Редедя предоставитъ нашимъ миткалямъ путь въ Индію—не миновать ему монумента въ Вознесенскомъ посадѣ!

— А быть можетъ и въ Ножовой линіи,—отозвался чей-то голосъ.

Тогда Очищенный не выдержалъ и торжественно, отъ лица редакціи „Красы Демидрона“, провозгласилъ:

— Sapienti sat!

. . . .

Когда я проснулся, на столѣ у меня лежалъ только-что отпечатанный нумеръ „Красы Демидрона“, въ которомъ „нашъ собственный корреспондентъ“ отдавалъ подробный отчетъ о вчерашнемъ празднествѣ. Привожу этотъ отчетъ дословно.

„Вчера на одной изъ невидныхъ окраинъ нашей столицы произошло скромное, но знаменательное торжество. Одно изъ свѣтилъ нашего юридическаго міра, безпроигрышный адвокатъ Балалайкинъ, вступилъ въ бракъ съ сироткой-воспитанницей извѣстнаго банкира Парамонова, Фаиной Егоровной Стёгнушкиной, которая впрочемъ уже нѣсколько лѣтъ самостоятельно производитъ оптовую торговлю на Калашниковской пристани. Смотря на молодыхъ, можно было только радоваться: оба одинаково согрѣты пламенемъ любви, и оба одинаково молоды и могучи! И вмѣстѣ съ тѣмъ страшно было подумать, какой страстной драмѣ предстояло черезъ нѣсколько часовъ разъиграться среди стѣнъ дома Стёгнушкиной, который еще утромъ такъ цѣломудренно смотрѣлся въ волны Обводнаго канала! И сладко, и жутко...

„Всѣмъ извѣстная привѣтливость и любезное обращеніе г. Балалайкина (кто изъ кліентовъ уходилъ отъ него безъ папиросы?) въ значительной степени скрашивали его тѣлесные недостатки; что же касается до невѣсты, то красотою своею она напоминала знойную дочь юга—испанку. Дайте ей въ руки кастаньеты—и вотъ вамъ качуча! И зной, и холодъ, и страстность, и гордое равнодушіе, и движеніе, и покой—все здѣсь соединилось въ одномъ гармоническомъ цѣломъ и образовало нѣчто загадочное, отвратительно-плѣнительное.

„Изъ числа присутствующихъ въ особенности выдавались два маститыхъ сановника, изъ коихъ одинъ, получивъ въ Уфимской губерніи землю, съ благодарностью ее возвратилъ; другой же не возвратилъ, ибо не получилъ.

Не менѣе видную роль игралъ и нашъ знаменитый странствующій витязь-богатырь, Полканъ Самсоновичъ Редедя, который прямо съ праздника умчался въ далекую страну фараоновъ, куда призываетъ его мятежный Араби-паша.

„Балъ въ кухмистерской Завитаева отличался простодушнымъ увлеченіемъ. Танцовали какъ попало, ибо, благодаря изобильному угощенію, большинство гостей сбросило съ себя оковы свѣтской условности и замѣнило ихъ плѣнительною нестѣснительностью. Однакожъ и затѣмъ нестерпимыхъ невѣжествъ не произошло. Веселье кончилось въ пять часовъ утра, но, весьма вѣроятно, оно продолжалось бы и до настоящей минуты, еслибъ новобрачный не обнаружилъ знаковъ нетерпѣнія (очень естественныхъ въ его положеніи), которые дали понять гостямъ, что молодымъ не до нихъ. Послѣ сего всѣ разъѣхались, а молодые отправились въ свой домъ, на порогѣ котораго ихъ ожидалъ малютка-купидонъ и навѣрное взялъ съ счастливцевъ установленную пошлину, прежде нежели допустилъ ихъ забыться въ объятіяхъ Морфея.

„Не можемъ умолчать при этомъ и еще объ одномъ достопримѣчательномъ фактѣ, вызванномъ тѣмъ же торжествомъ. Двое изъ самыхъ вредныхъ нашихъ нигилистовъ, снисходя къ просьбамъ новобрачныхъ, согласились навсегда оставить скользкій путь либерализма, и тутъ же, при всѣхъ, твердою стопой вступили на стезю благонамѣренности.

„Богъ да поможетъ имъ соблюсти себя въ чистотѣ!“

А еще черезъ часъ я получилъ отъ Глумова депешу:

„Я въ эмпиреяхъ. Съ недѣлю повремени приходить“.

Глава XIV.

Оставшись въ одиночествѣ, я разомъ почувствовалъ свою безпомощность. Зная себя какъ человѣка слабохарактернаго, я не безъ основанія опасался сдѣлаться игралищемъ страстей со стороны всякаго встрѣчнаго, которому вздумалось бы предъявить на меня права. Я мысленно уже видѣлъ устремленныя на меня очи крамолы, я ощущалъ ея тлетворное дыханіе, слышалъ ея льстивыя рѣчи, предвкушалъ свое грѣхопаденіе, и не могъ опредѣлить только одного: какой сортъ крамолы скорѣе пристигнетъ меня. Странные, совершенно невѣроятные слухи ходили въ то время по городу. Одни разсказывали, будто два старые крамольника, Зачинщиковъ и Запѣваловъ, которые еще при Аннѣ Леопольдовнѣ способствовали вступленію Елисаветы Петровны на прародительскій престолъ, ходятъ по квартирамъ и заставляютъ беззащитныхъ обывателей пѣть вмѣстѣ съ ними тріо изъ „Карла Смѣлаго“, котораго они измѣннически называютъ „Вильгельмомъ Теллемъ“. Другіе, напротивъ, утверждали, что по квартирамъ ходятъ не Зачинщиковъ и Запѣваловъ, а Выжлятниковъ и Борзятниковъ, внучатные племянники Шешковскаго, которые самовольно вынырнули неизвѣстно откуда и требуютъ отъ обывателей, кромѣ паспортовъ, предъявленія образа мыслей и заставляютъ ихъ пѣть: „Звонъ побѣды раздавайся“.

Говорили объ этомъ и на конкахъ, и въ мелочныхъ лавочкахъ, и въ дворницкихъ, словомъ—вездѣ, гдѣ современная внутренняя политика почер-

паетъ свои вдохновенія. И странное дѣло! — хотя я, какъ человѣкъ, кончившій курсъ наукъ въ высшемъ учебномъ заведеніи, не вѣрилъ этимъ разсказамъ, но все-таки инстинктивно чего-то ждалъ. Думалъ: придутъ, заставятъ пѣть... съумѣю ли?

Вообще нынче какъ-то совсѣмъ разучились жить покойно. Всякій (не исключая и несомнѣнныхъ гороховыхъ шутовъ) пристраиваетъ себя къ внутренней политикѣ и, смотря по количеству ожидаемыхъ пироговъ, объявляетъ себя или благонамѣреннымъ или *нене*благонамѣреннымъ (особенный политическій терминъ, народившійся въ послѣднее время, нѣчто среднее между благовременною благонамѣренностью и благонамѣренностью неблаговременною). Разница тутъ самая пустая, а между тѣмъ люди подсиживаютъ и калѣчатъ другъ друга, утруждаютъ начальство, а въ жизнь вносятъ безтолковѣйшую изъ смутъ. И все изъ-за того, чтобы захватить въ свою пользу безраздѣльную торговлю благонамѣренностью распивочно и на-выносъ.

Коли хотите, въ этомъ не мало виновато и само начальство. Оно слишкомъ серьезно отнеслось къ этимъ пререканіямъ и повидимому даже повѣрило, что на свѣтѣ существуетъ партія благонамѣренныхъ, отличная отъ партіи *нене*благонамѣренныхъ. И вмѣсто того, чтобы сказать и той, и другой:

Спите! Богъ не спитъ за васъ!

впуталось въ ихъ взаимныя пререканія, поощряло, прижимало, соболѣзновало, предостерегало. А „партіи“, видя это косвенное признаніе ихъ существованія, ожесточались все больше и больше, и теперь дѣло дошло до того, что угроза каторгой есть самое обыкновенное мѣрило, съ помощью котораго одна „партія“ оцѣниваетъ мнѣнія и дѣйствія другой.

Къ сожалѣнію, всего болѣе страдаютъ отъ этого междоусобія невинные обыватели. Будучи поставлены между враждебныхъ партій, изъ которыхъ каждая угрожаетъ каторгой, и понимая, что собственно въ данномъ случаѣ отъ нихъ требуется, эти люди отрываются отъ своихъ обычныхъ занятій и всецѣло посвящаютъ себя отгадыванію нелѣпыхъ загадокъ. Переживая процессъ этого отгадыванія, одни мечутся изъ угла въ уголъ, а другіе (въ томъ числѣ Глумовъ и я) даже дѣлаются участниками преступленій, въ надеждѣ, что общій уголовный кодексъ защититъ ихъ отъ притязаній кодекса уголовно-политическаго. Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на каждомъ шагу испытывающія и угрожающія лица, слышать вопросы, implicite заключающіе въ себѣ обѣщаніе каторги, вращаться среди полемики, въ основаніи которой положены обвиненія въ измѣнѣ, пособничествѣ, укрывательствѣ и т. п. — право, это хоть кого можетъ озадачить. А коль скоро произошло озадаченіе, то слѣдомъ за нимъ непремѣнно начинаются метанія, перебѣганія, предательства, позоръ...

Все это я совершенно ясно сознавалъ теперь, въ своемъ одиночествѣ.

Я никакъ не предполагалъ, чтобъ дезертирство Глумова могло произвести такую пустоту въ моемъ жизненномъ обиходѣ. А между тѣмъ, случайно или неслучайно, съ его исчезновеніемъ всѣ мои новые друзья словно сгинули. Три дня сряду я не слышалъ никакихъ словъ, кромѣ краткаго приглашенія: „кушать подано!“ Даже паспорта ни разу не спросили, что уже ясно свидѣтельствовало, что я нахожусь на самомъ днѣ рѣки забвенія.

Ни Иванъ Тимоѳеичъ, ни Кшепшицюльскій, ни Очищенный—никто не поинтересовался мною. Да, признаться, безъ пособія Глумова я врядъ-ли и съумѣлъ бы что-нибудь сказать имъ. Есть люди, съ которыми можно бесѣдовать только сообща, чтобъ товарищъ товарищу помогалъ. Одинъ одно слово броситъ, другой это слово на-лету подхватитъ и другое подкинетъ—смотришь, анъ разговоръ. Все равно какъ бумажки на полу: одна бумажка — просто только бумажка, а много бумажекъ—соръ. Раза два я видѣлъ, какъ Молодкинъ проскакалъ на пожарной трубѣ мимо нашего дома и всякій разъ заглядывалъ въ мои окна и даже посылалъ мнѣ воздушный поцѣлуй. Но какъ я ни заманивалъ его—однажды даже подстерегъ со штофомъ въ одной рукѣ и съ рюмкой въ другой — онъ только головой въ отвѣтъ моталъ. Такъ я и остался ниприческъ.

Я чувствовалъ, что надо мной что-то виситъ: или трагедія, или шутовство. Въ сущности, впрочемъ, это одно и то же, потому что бываютъ такія жестокія шутовства, которыя далеко оставляютъ за собой коллизіи самыя трагическія. Помнится, Очищенный какъ-то обмолвился, сказавъ, что мы всю жизнь между трагедій ходимъ, и только потому не замѣчаемъ этого, что трагедіи наши черезчуръ ужъ коротенькія и внезапныя. Очевидно, онъ не договорилъ. Трагедіи у насъ дѣйствительно одноактныя (взвился занавѣсъ и тотчасъ же опустился надъ убіенными), но трагедія растянулась на такое безчисленное множество актовъ, какъ нигдѣ. И притомъ осложнилась шутовствомъ. Не обращаемъ же мы на нихъ вниманія совсѣмъ не потому, чтобъ внезапность упраздняла боль, а потому что дѣваться отъ трагедій некуда, и слѣдовательно, хотъ жалуйся, хоть нѣтъ—все равно, терпѣть надо.

Понятно, что, поджидая съ часа на часъ вторженія въ мою жизнь шутовской трагедіи, я не могъ не волноваться сомнѣніями самаго неопрятнаго свойства. А что̀, если она пристигнетъ меня врасплохъ? что̀, если она прижметъ меня къ стѣнѣ и скажетъ: выкладывай все, что̀ у тебя есть! не виляй хвостомъ, не путайся въ словахъ, не ссылайся, не оговаривайся, а отвѣчай прямо, точно, опредѣленно!

Какъ я поступлю въ виду этихъ настояній? стану ли просить объ отсрочкѣ? Но вѣдь это именно и будетъ „виляніе хвостомъ". Скажу ли прямо, что не могу примкнуть къ суматохѣ, потому что считаю ее самою несостоятельною формою общежитія? Но вѣдь суматоха никогда не признаетъ себя таковою, а присвоиваетъ себѣ наименованіе „порядка"...—Кто говоритъ вамъ о суматохѣ? отвѣтятъ мнѣ:—ему о порядкѣ напоминаютъ, къ защитѣ порядка его призываютъ, а онъ „суматоху" приплелъ... хорошъ гусь!

Ахъ, этотъ шкурный вопросъ! всякую минуту, на всякомъ мѣстѣ онъ такъ и мелькаетъ, такъ и вгрызается въ жизнь!

Нѣтъ ничего капризнѣе недомыслія, когда оно взбудоражено и, вдобавокъ, чувствуетъ, что въ его распоряженіи находится людское малодушіе и людское искательство. Оно не уступитъ ни пяди, не задумается ни передъ силой убѣжденій, ни передъ логикой, а будетъ все напирать да напирать. Оно у всѣхъ предполагаетъ отвѣтъ готовымъ (начертаннымъ въ сердцахъ), и потому требуетъ его немедленно, сейчасъ: да или нѣтъ?

. . . .

Наконецъ выдалось утро, въ продолженіе котораго предчувствія мои осуществились вполнѣ.

Я сидѣлъ, углубившись въ чтеніе календаря, какъ вдругъ передо мной, словно изъ-подъ земли, выросъ неизвѣстный мужчина (надо сказать, что съ тѣхъ поръ, какъ произошло мое вступленіе на путь благонамѣренности, я держу двери своей квартиры открытыми, чтобъ „гость" прямо могъ войти въ мой кабинетъ и убѣдиться въ моей невинности).

— За календарь взялись? — привѣтствовалъ онъ меня: — отлично... ха-ха!

Я взглянулъ. Мужчина стоялъ высокій, дородный и повидимому веселый. Большая волосатая голова съ плоскимъ лицомъ, на которомъ природа рѣзко, но безъ малѣйшаго признака тщательности, вырубила полагающіяся по штату выпуклости и углубленія, плотно сидѣла на короткой шеѣ, среди широкихъ плечъ. Весь онъ былъ сколоченъ прочно и могуче, словно всею фигурой говорилъ: мучить понапрасну не стану, а убить—могу. Ноги—какъ у носорога, руки фельдъегерскія, голосъ — валитъ какъ изъ пропасти. Но не было въ этой фигурѣ кляузы, и это производило до извѣстной степени примиряющее впечатлѣніе. Казалось, что если ужъ нельзя обойтись безъ „гостя", то лучше пусть будетъ этотъ, наглый, но не кляузный, нежели другой, который, пользуясь безнаказанностью, яко даромъ небесъ, въ то же время вонзаетъ въ васъ жало кляузы. Весьма вѣроятно, что это неуклюжее тѣло когда-то знавало лучшія времена. Сначала жилъ-былъ enfant de bonne maison, потомъ жилъ-былъ лихой корнетъ, потомъ—блестящій виверъ, потомъ—виверъ прогорѣвшій, потомъ — ташкентецъ или обруситель и наконецъ — благонамѣренный крамольникъ. И дѣйствительно, когда я всмотрѣлся въ него попристальнѣе, въ головѣ моей что-то мелькнуло, какой-то отрывокъ прошлаго...

— На путь благонамѣренности вступили?.. ха-ха! — продолжалъ онъ, безъ церемоній усаживаясь въ кресло.

Но я все еще вглядывался и припоминалъ. Положительно, что-то было!

— Что глядите—онъ самый и есть... ха-ха!

— Выжлятниковъ! да вѣдь вы находитесь подъ судомъ! — невольно вырвалось у меня.

Я вспомнилъ окончательно. Дѣйствительно, передо мной находился прогорѣвшій виверъ, котораго я когда-то зналъ полиціймейстеромъ въ Т.

— Экъ, батюшка, хватились! Я послѣ того еще два раза подъ судомъ былъ. Хотите, я вамъ, въ краткихъ словахъ, весь свой формуляръ разскажу? Отчего-жъ! съ удовольствіемъ! Въ Ташкентѣ—былъ, обрусителемъ — былъ, подъ судомъ — былъ. Купца — билъ, мѣщанина — билъ, мужика — билъ. Водку—пилъ. Ха-ха!

Каждую фразу онъ подчеркивалъ хохотомъ, въ которомъ слышался цинизмъ, страннымъ образомъ перемѣшанный съ добродушіемъ.

— Я, сударь, скептикъ, — продолжалъ онъ: — а можетъ быть и циникъ. Въ суды не вѣрю и рѣшеній не признаю. Кабы я вѣрилъ, меня бы давно ужъ засудили, а я, какъ видите, живъ. Но къ дѣлу. Такъ вы на путь благонамѣренности вступили... ха-ха!

— Но мнѣ кажется, что я и прежде...—оговорился я.

— И прежде, и послѣ, и теперь... не въ томъ дѣло! Я и про себя не знаю, точно ли я благонамѣренный, или только такъ... А вы вотъ что̀: не хотите ли „къ намъ“ поступить?

— А вы при какой крамолѣ состоите? при потрясательно-злонамѣренной или при потрясательно-благонамѣренной?

— Угадайте!

— Зачѣмъ угадывать? не имѣю надобности.

— Ежели я вамъ назову... ну, хоть „кружокъ любителей статистики“... ха-ха!

— Уставъ утвержденъ?

— Чудакъ вы!

— Въ такомъ случаѣ, извините. Хоть я и люблю статистику, но не чувствую ни малѣйшей потребности прибѣгать къ тайнѣ, коль скоро могу явно...

— А явно—это особо! И явно, и тайно — милости просимъ всячески! А ну-ка, благослови Господи... по рукамъ!

— Ей-Богу, не могу.

— Да вы подумайте, что̀ такое есть ваша жизнь?—вѣдь это кукуевская катастрофа — только и можно сказать про нее! Развѣ вы живете хоть одну минуту та̀къ, ка̀къ бы вамъ хотѣлось? — никогда, ни минуты! читать вы любите — вмѣсто книгъ, календарь перечитываете; общество любите — вмѣсто людей, съ Кшепшицюльскимъ компанію водите; писать любите —стараетесь не буквы, а каракули выводить! Словомъ сказать, постоянно по кукуевской насыпи ѣдете. И все это только для того, чтобъ въ кварталѣ объ васъ сказали: „какой же это опасный человѣкъ! это самый обыкновенный шалопай!“ Ну, сообразно ли это съ чѣмъ-нибудь?

Разумѣется, я и самъ понималъ, что ни съ чѣмъ не сообразно, но все-таки повторилъ:—не могу.

— На дняхъ для этой цѣли, вы двоеженство устроили, — продолжалъ онъ:—а въ будущемъ, можетъ быть, понадобится и подлогъ...

При этихъ словахъ у меня даже волосы на головѣ зашевелились.

— Да, и подлогъ, — повторилъ онъ,—потому что требованія все повышаются и повышаются, а сообразно съ этимъ должна повышаться и температура вашей готовности... Ну, хорошо, допустимъ. Допустимъ, что вы выполнили свою программу до конца — развѣ это результатъ? Развѣ вамъ повѣрятъ? Развѣ не скажутъ: это въ немъ шкура заговорила, а настоящей искренности въ его поступкахъ все-таки нѣтъ.

Я продолжалъ упорствовать.

- Вотъ еслибы вамъ повѣрили, что вы дѣйствительно... тово—это былъ бы результатъ! А вѣдь, въ сущности, вы можете достигнуть этого результата, не дѣлая никакихъ усилій. Ни разговоровъ съ Кшепшицюльскимъ отъ васъ не потребуется, ни подлоговъ—ничего. Придите прямо, просто, откровенно: вотъ, молъ, я! И все для васъ сдѣлается яснымъ. И вы всѣмъ повѣрите, и вамъ всѣ повѣрятъ. Скажутъ: это человѣкъ искренній, настоящій; ему можно вѣрить, потому что онъ не о спасеніи шкуры думаетъ, а объ ея украшеніи... ха-ха!

— Но этого-то именно я и не хочу... украшеній этихъ!—возмутился я.

— То-то вотъ вы, либералы! И шкуру сберечь хотите, да еще претендуете, чтобы она вамъ даромъ досталась! А вѣдь, по настоящему, надо ее заслужить!

— Послушайте! вѣдь кажется, что шкура и отъ природы даромъ полагается?

— Это смотря. Объ этомъ еще диспутъ идетъ. Нонѣ такъ разсуждаютъ: ты говоришь, что коль скоро ты ничего не сдѣлалъ, такъ, стало быть, шкура—твоя? Анъ это неправильно. Ничего-то не дѣлать всякій можетъ, а ты дѣлать дѣлай, да такъ, чтобъ тебя похвалили!

— Какъ хотите, а это, въ сущности, только кляузно, но не умно!

— И я говорю, что глупо, да вѣдь развѣ я это отъ себя выдумалъ? Мнѣ наплевать — только и всего. Ну, да довольно объ этомъ. Такъ вы объ украшеніи шкуры не думаете? Безкорыстіе, значитъ, въ предметѣ имѣете? Прекрасно. И безкорыстіе — полезная штука. Потому что изъ-подъ безкорыстія-то, смотрите, какія иногда перспективы выскакиваютъ!.. Такъ по рукамъ, что-ли?

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ.

Тогда онъ сталъ убѣждать меня вплотную. Говорилъ, что никакого особливаго оказательства съ моей стороны не потребуется, что все ограничивается одними научными наблюденіями по части основъ и краеугольныхъ камней, и только изрѣдка провѣркою паспортовъ... ха-ха! Что теперь время дачное и поле для наблюденій самое удобное, потому что на дачахъ живутъ на-распашку и оставляютъ окна и двери балконовъ открытыми. Что, собственно говоря, тутъ нѣтъ даже подсиживанія, а именно только статистика, которая, безъ сомнѣнія, не останется безъ пользы и для будущаго историка. И, наконецъ, что мнѣ, какъ изслѣдователю признаковъ современности, не только полезно, но и необходимо освѣжить запасъ наблюденій новыми данными, взятыми изъ сферъ доселѣ мнѣ недоступныхъ.

Словомъ сказать, такъ меня заговорилъ, что я-таки не выдержалъ и заинтересовался.

— Какую же вы статистику собираете?—спросилъ я: — черезъ кого? какъ?

— Статистика наша имѣетъ въ виду приведеніе въ ясность современнаго настроенія умовъ. Кто объ чемъ думаетъ, кто съ кѣмъ и объ чемъ говоритъ, чего желаетъ. Вотъ.

— Чудесно. Стало быть, у васъ для статистическихъ развѣдокъ и довѣренные люди есть?

— Производство развѣдокъ поручается опытнымъ статистикамъ (непремѣнное условіе, чтобъ не меньше двухъ разъ подъ судомъ былъ... ха-ха!), которые устраиваютъ ихъ согласуясь съ обстоятельствами. Напримѣръ, лѣто нынче стоитъ жаркое, и слѣдовательно много купальщиковъ. Сейчасъ нашъ статистикъ— -бултыхъ въ воду!—и начинаетъ нырять.

— Ахъ, Боже! то-то я, купаючись, всякій разъ вижу, что какой-то незнакомецъ около меня круги дѣлаетъ!

— Это онъ самый и есть. А вотъ и другой примѣръ: приспѣло время

для фруктовъ — сейчасъ нашъ статистикъ лотокъ на голову, и пошелъ статистику собирать.

— Но послушайте! вѣдь этакъ ваши „статистики“ такихъ чудесъ насоберутъ, что житья отъ нихъ никому не будетъ.

— А я про что-жъ говорю! я про то и говорю, что никому не будетъ житья!

— Но вѣдь это... междоусобіе?

— И я говорю: междоусобіе.

Я удивленно взглянулъ на него во всѣ глаза.

— А вамъ-то что!—воскликнулъ онъ, разражаясь раскатистымъ хохотомъ.

— Какъ что!—заторопился я:—да вѣдь я... вѣдь вы... вѣдь у насъ... есть отечество, родина... вѣдь мы должны... мы не имѣемъ права смущать...

— Чудакъ! шкуру бережетъ, подлоги сбирается дѣлать, а объ отечествѣ плачется!

. . . .

Выжлятниковъ пробылъ у меня еще съ часъ и все соблазнялъ. Разсказывалъ, какъ у нихъ хорошо: всѣ подъ нумерами и всѣ переодѣтые—точь-въ-точь какъ въ водевилѣ „Актеръ, какихъ мало“. Руководители имѣютъ въ виду благо общества; и потому дѣйствуютъ безвозмездно; исполнители же блага общества въ виду не имѣютъ, и взамѣнъ того пользуются соотвѣтствующимъ вознагражденіемъ.

— И странное дѣло!—заключилъ онъ:—сколько бы разъ ни былъ человѣкъ подъ судомъ, а къ намъ поступитъ—всѣ судимости разомъ какъ рукой съ него сниметъ!

Къ чести своей, однакожъ, я долженъ сказать, что устоялъ. Одно время чуть-было у меня не сползло съ языка нѣчто въ родѣ обѣщанія подумать и посмотрѣть, но на этотъ разъ, слава Богу, Выжлятниковъ самъ сплошалъ. Снялся съ кресла и оставилъ меня, обѣщавши въ непродолжительномъ времени зайти опять и возобновить разговоръ.

Но въ этотъ день мнѣ особенно посчастливилось: „гости“ слѣдовали одинъ за другимъ. Не успѣлъ я проводить Выжлятникова, какъ появилась особа женскаго пола. Молоденькая, маленькая, не безъ пріятностей, но какъ будто слегка растерянная. Вѣроятно она не сама собой въ крамолу попала, а сначала братцы или кузены воспламенились статистикой, а потомъ ужъ и ее воспламенили. Очевидно она позабыла, зачѣмъ пришла, потому что сѣла противъ меня и долго молча на меня смотрѣла. Мнѣ показалось даже, что у нея на глазкахъ навернулись слезки, оттого ли, что ей жалко меня стало, или оттого, что „ахъ, какая я несчастная!“ Наконецъ я самъ рѣшился ей помочь въ ея миссіи.

— Вы отъ крамолы, что-ли?—спросилъ я.

Тогда она вспомнила и произнесла:

— Ахъ, да... Голубчикъ! переходите къ намъ!

Это было сказано такъ мило, какъ будто она приглашала меня перейти изъ кабинета въ гостиную. Очень даже возможно, что она именно такъ и смотрѣла на свою миссію, потому что когда я высказалъ ей это предположеніе, она нимало не удивилась и сказала:

— Ну, такъ что-жъ! и перейдите!

Тогда я, взявъ ее за ручки, сказалъ:—Ахъ, Боже мой! —и обѣщалъ...

Потомъ пришелъ преклонныхъ лѣтъ старецъ и отрекомендовался:—Вашъ искренній доброжелатель.—Этотъ началъ безъ обиняковъ:

— Нельзя такъ, сударь мой, нельзя-съ!

— Въ чемъ же я, вашество, провинился?

— Во всемъ-съ. Скверно у насъ, гадко, ни на что не похоже — не спорю! Но такъ... нельзя-съ!

Онъ волновался и безпокоился, хотя не могъ сказать объ чемъ. Повидимому что-то было для него ясно, только онъ не понималъ, что̀ именно. Оттого онъ и повторялъ такъ настойчиво: „нельзя-съ!“ Еще родители его это слово повторяли, и такъ какъ для нихъ, дѣйствительно, было все ясно, то онъ думалъ, что и ему, если онъ будетъ одно и то же слово долбить, когда-нибудь будетъ ясно. Но когда онъ увидѣлъ, что и онъ ничего не понимаетъ, и я ничего не понимаю, то рѣшился, какъ говорится, „положить мнѣ въ ротъ“.

— Цѣли не вижу-съ! —произнесъ онъ: — не вижу цѣли-съ! Все возможно-съ: и критиковать, и указывать, и предъявлять... но такъ... нельзя-съ!

— Ахъ, вашество!

— Цѣли нѣтъ-съ—это главное. Гадко у насъ, мерзко-съ—это знаетъ всякій! Но надобно имѣть въ виду цѣль, а ея-то я и не вижу-съ!

— Вашество! да кто же нынче какія-нибудь цѣли имѣетъ! Живутъ какъ Богъ пошлетъ. Прошелъ день, прошла ночь, а потомъ опять день да ночь...

— Вы говорите: какъ Богъ пошлетъ? — прекрасно-съ! вотъ вамъ и цѣль-съ! Благополучно прошелъ день, спокойно—и слава Богу! И завтра будетъ день, и послѣ-завтра будетъ день, а вы — живите! И за границей не лучше живутъ! Но тамъ—довольны, а мы—недовольны!

Говоря это, старикъ волновался волновался и наконецъ такъ закашлялся, что я инстинктивно бросился къ нему и сталъ растирать ему грудь.

— Вотъ видите!—сказалъ онъ, успокоиваясь:—начала-то въ васъ положены добрыя! Вы и ближнему помочь готовы, и къ старости уваженіе имѣете... отчего же вы не во всемъ такъ? Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! дайте мнѣ слово, что вы исправитесь!

— Но что̀ же я такое...

— Ничего „такого“, а просто: такъ нельзя!—загвоздилъ онъ опять: — нельзя такъ, цѣли нѣтъ! И за границей живутъ, и у насъ живутъ; тамъ не ропщутъ, а у насъ—ропщутъ! Почему тамъ не ропщутъ?—потому что роптать не на что! почему у насъ ропщутъ?—потому что нельзя не роптать! Постойте! кажется, я что-то такое сказалъ?

— Ничего, вашество, все слава Богу!

— Прекрасно. Обѣщайте же мнѣ...

Но тутъ опять его постигъ пароксизмъ кашля. Взрывы слѣдовали за взрывами, а въ промежуткахъ онъ говорилъ:

— Тридцать лѣтъ... кашляю... все вотъ такъ... Въ губернаторахъ двадцать лѣтъ кашлялъ... теперь въ званіи сенатора... десять лѣтъ кашляю...

Чтò, по вашему, это значитъ? А то, мой другъ, что я и еще тридцать лѣтъ прокашлять могу!

— Дай-то Богъ! —отозвался я.

— И даже мѣръ особливыхъ не принимаю, потому что—цѣль вижу!— увѣренно продолжалъ онъ.—Вижу цѣль, и знаю, что созидаемое мною зданіе прочно! А вы цѣли не видите и строите на песцѣ!.. Нехорошо-съ! нельзя-съ!

Онъ всталъ и долго смотрѣлъ мнѣ въ глаза, отечески-укоризненно покачивая головой.

— Утѣшь, мой другъ, старика!—воскликнулъ онъ, простирая ко мнѣ объятія.

Я не выдержалъ и устремился. Я не понималъ, чтò именно обѣщаю, но обѣщалъ. Онъ же гладилъ меня по головѣ и говорилъ:

— Всегда я утверждалъ, что лаской можно изъ него сдѣлать... все!

Послѣ всѣхъ пришелъ дальній родственникъ (въ родѣ внучатнаго племянника) и объявилъ, что онъ все лѣто ходилъ съ бабами въ лѣсъ по ягоды, и этимъ способомъ успѣлъ прослѣдить два важныя потрясенія. За это онъ, сверхъ жалованья, получилъ сдѣльно 99 р. 3 к., да черники продалъ въ Рамбовѣ на 3 руб. 87 коп. Да, сверхъ того, общество поощренія художествъ обѣщало устроить въ его пользу подписку.

— Не хотите ли, дяденька, поступить?

Но на этотъ разъ я разсердился.

Глава XV.

Весь день я раздумывалъ, какимъ образомъ я выполню принятыя обязательства, или, лучше сказать, какимъ способомъ уклонюсь отъ ихъ выполненія. Еще недавно мы съ Глумовымъ провели день въ окрестностяхъ Петербурга, встрѣтили въ лѣсу статистика, который подъ видомъ собиранія грибовъ производилъ развѣдки. И такъ онъ мнѣ показался нехорошъ изъ себя, что при одной мысли о возможности очутиться въ роли купальщика или собирателя грибовъ меня тошнило. Но спрашивается: чтò же предстоитъ предпринять, ежели вопросъ будетъ поставленъ такъ: или собирай статистику, или навсегда оставайся въ спискѣ неблагонамѣренныхъ и ѣзди по кукуевской насыпи?

Понятно, какъ я обрадовался, когда на другой день утромъ пришелъ ко мнѣ Глумовъ. Онъ былъ веселъ и весь сіялъ, хотя лицо его нѣсколько поблѣднѣло и носъ обострился. Очевидно, онъ прибѣжалъ съ намѣреніемъ разсказать мнѣ эпопею своей любви, но я на первыхъ же словахъ прервалъ его. Не нынче-завтра Выжлятниковъ могъ дать мнѣ второе предостереженіе, а старикъ и дѣвушка навѣрное уже сію минуту поджидаютъ меня. Чтò же касается до племянника, то онъ, конечно, ужъ доставилъ куда слѣдуетъ статистическій матеріалъ. Какъ теперь быть?

— Бѣжать надо!—сразу рѣшилъ Глумовъ.

— А ты?

— И я за-одно. И Фаннушку съ собой возьмемъ... Бабочка-то какая! золото!

— Куда же мы побѣжимъ?

— А будемъ постепенно подвигаться впередъ. Сначала по желѣзной дорогѣ поѣдемъ, потомъ на пароходъ пересядемъ, потомъ на тройкѣ поѣдемъ или опять по желѣзной дорогѣ. Надоѣстъ ѣхать—остановимся. Провизіи съ собой возьмемъ, въ деревню этнографическую экскурсію сдѣлаемъ, молока, чернаго хлѣба купимъ, станемъ пѣсни, былины записывать; если найдемъ слѣпенькаго кобзаря—въ Петербургъ на показъ привеземъ.

— Чудакъ! это прежде былины-то по деревнямъ собирали, а нынче за такое дѣло руки къ лопаткамъ и—маршъ въ холодную!

— А ежели всѣхъ постигаетъ такая участь, такъ и мы отъ міру не прочь. Я ужъ Фаннушку спрашивалъ: пойдешь ты за мною въ народъ? — „Хоть на край свѣта!“ говоритъ. Для науки, любезный другъ, и въ холодной посидѣть можно!

— Вотъ, Глумовъ, тебѣ объ дѣлѣ говорятъ, а ты все шутки шутишь!

— Нимало не шучу. Говорю тебѣ: бѣжать надо — и бѣжимъ. Ждать здѣсь нечего. Спасать шкуру я согласенъ, но украшать или приспособлять ее —слуга покорный! А я же кстати и вѣсточку тебѣ такую принесъ, что какъ разъ къ нашему побѣгу подходитъ. Представь себѣ, вѣдь Онуфрій-то цѣлыхъ полмилліона на университетъ отвалилъ.

— На сибирскій?

— Нѣтъ, новый хочетъ взбодрить, въ новыхъ земляхъ. Въ Самаркандѣ или въ Маргеланѣ—еще не рѣшили.

— А про каѳедру митирогнозіи для Очищеннаго не забылъ?

— Помилуй, Онуфрій самъ именно ее и имѣлъ въ виду. При сношеніяхъ съ инородцами нѣтъ, говоритъ, этой науки полезнѣе.

— То-то будетъ радъ почтенный старичокъ!

— Мы, любезный другъ, и объ Редедѣ вспомнили. Такъ какъ, по нынѣшнимъ обстоятельствамъ, потребности политической экономіи не предвидится, то онъ науку о распространеніи московскихъ плисовъ и миткалей будетъ въ новомъ университетѣ читать.

— И безподобно! Для Маргелана и этихъ двухъ наукъ за глаза довольно!

— Вотъ мы въ ту сторону и направимся среднимъ ходомъ. Сначала къ тебѣ, въ Проплёванную заѣдемъ — можетъ, домъ-то еще не совсѣмъ изгнилъ; потомъ въ Моршу, къ Фаннушкинымъ сродственникамъ махнемъ, оттуда —въ Нижній-Ломовъ, гдѣ Фаннушкина тетенька у богатаго скопца въ кухаркахъ живетъ, а по дорогѣ гдѣ-нибудь и жида окрестимъ. Ужъ Онуфрій объ этомъ и переговоры какіе-то втайнѣ ведетъ. Надѣется онъ современемъ изъ жида мѣнялу сдѣлать.

— Но если мы уѣдемъ, кто же объ университетѣ хлопотать будетъ!

— А мы Балалайкину полную довѣренность выдадимъ. Онъ, братъ, что̀ угодно выхлопочетъ!

— Глумовъ! такъ пойдемъ же поскорѣй за Очищеннымъ!

— И за нимъ, и за Балалайкинымъ. Переговоримъ что̀ слѣдуетъ, а потомъ всѣ вмѣстѣ—обѣдать къ Фаннушкѣ.

Черезъ часъ Очищенный и Балалайкинъ были уже съ нами. Почтенный старикъ, услыхавъ объ ожидающей его на Востокѣ просвѣтительной миссіи, хотѣлъ-было, въ видѣ образчика, произнести нѣсколько съ ногъ сшибательныхъ выраженій, но отъ слезъ ни слова не могъ выговорить. Когда же успокоился, то просилъ объ одномъ: чтобъ предположенное по штату жалованье начать производить ему не дожидаясь открытія университета, а теперь же, со дня объявленія ему радости. Что̀ же касается до Балалайкина, то и онъ очень серьезно отнесся къ предстоящей обязанности, такъ что когда Глумовъ предостерегъ его:

— Ты смотри, Балалайка! въ одно ухъ влѣзь, а въ другое вылѣзь!— то онъ пріосанился и увѣреннымъ тономъ отвѣтилъ:

— За меня, господа, не безпокойтесь! Я одно такое средство знаю, что самый „что̀ называется"—и тотъ не рѣшится его употребить! А я рѣшусь.

Тогда мы убѣдились, что дѣло просвѣщенія русскаго Востока находится въ хорошихъ рукахъ, и уже совсѣмъ-было собрались къ Фаннушкѣ, какъ Очищенный остановилъ насъ.

— Ужъ коли на то пошло, — сказалъ онъ: — такъ и я свой секретъ открою. Выдумалъ я штуку одну. Не то чтобы особливую, но пользительную. Какъ вы думаете, господа, ежели теперича по всей Россіи обязательное страхованіе жизни ввести—выйдетъ изъ этого польза или нѣтъ?

Вопросъ этотъ настолько озадачилъ насъ, что мы смотрѣли на Очищеннаго, вытаращивъ глаза. Но Глумовъ уже что-то схватилъ налету. Онъ одинъ глазъ зажмурилъ, а другимъ вглядывался: это всегда съ нимъ бывало, когда онъ соображалъ или вычислялъ.

— По новѣйшимъ извѣстіямъ, сколько имѣется въ Россіи жителей?— продолжалъ Очищенный.

— По послѣднему календарю Суворина, въ 1879 году числилось 98.516.398 душъ,—отвѣтилъ я.

— Значитъ, если обложить по рублю съ души — будетъ 98.516.398 рублей. Хорошо. Это—доходъ. Теперича, при ежегодномъ взносѣ по рублю съ души, какъ вы думаете, какую на случай смерти премію можно назначить? Такъ, круглымъ числомъ?

Бросились къ Суворинскому календарю, стали искать, нѣтъ ли статьи о движеніи народонаселенія, но таковой не оказалось. Тогда начали припоминать, что̀ говорилось по этому поводу въ старинныхъ статистикахъ, и припомнили, что, *кажется*, средній человѣческій возрастъ опредѣлялся тридцатью-однимъ годомъ.

— Тридцать-одинъ рубль,—предложилъ Глумовъ.

— А я назначаю тридцать-пять!—воскликнулъ Очищенный въ порывѣ великодушія.

— Что̀ ты!—набросились мы на него: — ты пойми, кто воспользуется твоимъ страхованіемъ! вѣдь мужикъ воспользуется! ему и тридцати-одного рубля за глаза довольно!

Но Очищенный убѣдительно просилъ удержать цифру 35, такъ какъ въ виду народной политики эта надбавка можетъ послужить хорошей рекомендаціей.

— Теперича, какое, по вашему мнѣнію, ежегодно число смертей можетъ быть?—продолжалъ онъ.

Опять бросились къ календарю и опять ничего не нашли. Но приблизительно вывели, что съ 1870 года по 1879-й среднiй ежегодный приростъ населенія простирался до 1.500.000 душъ. Но сколько ежегодно было родившихся и сколько умершихъ? — Это взялся опредѣлить уже самъ Очищенный при пособіи Кокоревскаго глазомѣра.

— Изъ 98.516.398 душъ предположимъ на половину бабъ, —сказалъ онъ:—получится круглымъ числомъ 49 милліоновъ бабъ. Изъ нихъ на половину откинемъ старыхъ и малыхъ —останется двадцать четыре съ половиной милліона способныхъ къ дѣторожденію. Изъ этой половины откинемъ хоть тоже половину безплодныхъ и могущихъ вмѣстить дѣвство — останется съ небольшимъ двѣнадцать милліоновъ. Каждая изъ этихъ плодущихъ бабъ пущай разъ въ три года родитъ — кажется, довольно? -- получатся четыре милліона рожденій. Выключите отсюда приростъ въ полтора милліона—опредѣлится смертность въ два съ половиной милліона душъ. По тридцати-пяти рублей на каждую умирающую душу—сколько это денегъ будетъ?

— Восемьдесятъ-семь милліоновъ съ половиной!—бойко отвѣтили мы.

— А ежели вычесть этотъ расходъ изъ дохода (въ 98 съ половиной милліоновъ), сколько въ пользу страхового общества останется прибыли?

— Один-над-цать мил-лі-о-новъ!!

— Только и всего-съ.

Очищенный торжественно умолкъ. На насъ слова: „страховое общество“, тоже подѣйствовали подавляющимъ образомъ. Никакъ мы этого не ожидали. Мы думали, что старикъ просто, отъ нечего дѣлать, статистикой балуется, а онъ, подитко, какую штуку удралъ!

— Это, братецъ, такъ хорошо,—первый опомнился Глумовъ: -что я предлагаю изъ прибылей жертвовать по рублю серебромъ въ пользу новорожденныхъ... въ родѣ какъ на обзаведеніе!

— А я—половину акцій оставляю за собой!—прибавилъ Балалайкинъ; но Очищенный такъ на него зарычалъ, что онъ сейчасъ же согласился на одну четверть.

— Позвольте, господа! — съ своей стороны отозвался я: — все это отлично, но мы упустили изъ вида одно: недоимщиковъ. Извѣстно, что русскій крестьянинъ...

Я уже совсѣмъ-было собрался прочитать лекцію о свойствахъ русскаго крестьянина, но Очищенный на первыхъ же словахъ прервалъ меня.

— А для насъ тѣмъ и лучше-съ, -сказалъ онъ просто.

— Какъ такъ?

— А вотъ какъ-съ. Всякій, кто хоть разъ не внесъ своевременно рубля серебромъ, тѣмъ самымъ навсегда лишается права на страховую премію — это правило-съ. Теперь возьмите: сколько найдется такихъ, которые много лѣтъ платятъ и вдругъ потомъ перестаютъ! -вѣдь прежнія-то уплаты, стало быть, полностью въ пользу общества пойдутъ! А во-вторыхъ и еще: предположимъ, что число недоимщиковъ возрастетъ до одной трети; стало быть, доходъ общества, приблизительно, уменьшится на тридцать-три мил-

ліона рублей. Но вѣдь одновременно съ этимъ уменьшится и количество выдаваемыхъ премій, да не на треть уменьшится, а на половину и даже болѣе. Почему на половину! — а по той простой причинѣ, что смертность между недоимщиками всегда бываетъ больше, нежели между исправными плательщиками. И такимъ образомъ, ежели это предположеніе осуществится, мы будемъ имѣть дохода шестьдесятъ-пять милліоновъ, а расхода на уплату одного милліона трехсотъ тысячъ премій потребуется сорокъ милліоновъ пятьсотъ тысячъ. Въ остаткѣ четырнадцать милліоновъ.

— Браво, Иванъ Иванычъ, браво!—воскликнули мы.

— Но скажи мнѣ, голубчикъ, какими судьбами ты до такой изумительной комбинаціи дошелъ?—полюбопытствовалъ Глумовъ.

— Богъ меня большими дарованіями не наградилъ,—отвѣтилъ почтенный старикъ скромно:—но я и изъ маленькихъ стараюсь извлечь что̀ могу. Похаживаю между людьми, прислушиваюсь. Намеднись слышу, одинъ умный господинъ предлагаетъ проектъ: учредить страховое общество на случай крушенія желѣзнодорожныхъ поѣздовъ. Чтобъ съ каждаго, значитъ, пассажира необременительный, но обязательный сборъ былъ, а потомъ, въ случаѣ крушенія, чтобы премія — хорошо-съ? — Ну, слушалъ я, слушалъ — и вдругъ мнѣ блеснуло: а что̀, ежели эту самую мысль да въ обширныхъ размѣрахъ осуществить? И придумалъ.

— И какъ еще придумалъ!—похвалилъ Глумовъ: — и дѣточекъ не забылъ! Добрый ты — вотъ что̀ въ тебѣ дорого! Теперича, возьмемъ хоть такой случай: умираетъ какой-нибудь одномѣсячный пузырь... Прежде—какъ было? И гробикъ ему отецъ съ матерью сдѣлай, и попу за погребенье отдай —смотришь, пять-то рублей между рукъ ушли! Изъ какихъ доходовъ? гдѣ бѣдняку мужичку эти пять рублей достать? — А на будущее время: умеръ пузырь — сейчасъ семейству тридцать-пять рублей... вотъ вамъ! Тридцать рублей, какъ копѣечка, чистаго барыша! а въ крестьянскомъ быту на тридцать-то рублей корову купить можно! Шутка!

— И даже прекраснѣйшую-съ,—подтвердилъ Очищенный.

Затѣмъ оставалось только приступить къ развитію дальнѣйшихъ способовъ осуществленія выдумки Очищеннаго; но я, будучи въ этотъ день настроенъ особенно придирчиво, счелъ нужнымъ предложить собранію еще одинъ, послѣдній, вопросъ.

— Прекрасно, —сказалъ я:—но меня смущаетъ одно. Упомянули вы про народную политику. Допустимъ, что при ней вамъ легко будетъ исходатайствовать разрѣшеніе на осуществленіе предпріятія, польза коего для народа несомнѣнна. Но представьте себѣ такой случай: завтра народная политика выходитъ изъ употребленія, а на ея мѣсто вступаетъ политика *не*народная. Какъ въ семъ разѣ поступить? Не предвидите ли вы, что данное вамъ разрѣшеніе будетъ немедленно отмѣнено? И въ такомъ случаѣ какую будутъ имѣть цѣнность ваши акціи или паи?

Но тутъ уже самъ Глумовъ взялъ на себя разъяснить мнѣ несостоятельность моего возраженія.

— Чудакъ!—сказалъ онъ:—да развѣ мы на акціи-то любоваться будемъ? Сейчасъ мы ихъ на биржу—небось, разберутъ! А продавши, мы и къ

сторонкѣ. Развѣ что̀ для близиру оставимъ штучекъ по пяти. Иванъ Иванычъ! такъ ли я говорю?

— Точно такъ-съ.

Такимъ образомъ всѣ недоумѣнія были устранены, и ничто уже не мѣшало намъ приступить къ дальнѣйшей разработкѣ. Три главные вопроса представлялись: 1) что̀ удобнѣе въ подобномъ предпріятіи: компанія ли на акціяхъ, или товарищество на вѣрѣ? 2) Сколько въ томъ и другомъ случаѣ слѣдуетъ выпустить акцій или паевъ? и 3) какую номинальную цѣну назначить для тѣхъ или другихъ?

Всѣ три вопроса были рѣшены единогласно. По первому вопросу отдано предпочтеніе компаніи на акціяхъ, такъ какъ компаніи эти безъименныя, да, сверхъ того, съ акціями и на биржу пролѣзть легче, нежели съ тяжеловѣсными товарищескими паями (сравни: легкую кавалерію и тяжелую). По второму вопросу найдено возможнымъ выпустить милліонъ акцій съ купонами, на манеръ акцій новоторжской желѣзной дороги (дожидайся!), причемъ на каждой акціи написать: „выпускъ первый“, чтобы публика была обнадежена, что будетъ и второй выпускъ, и что, слѣдовательно, предпріятіе затѣяно солидное. По третьему вопросу—хотя эгоистическій инстинктъ и нашептывалъ намъ назначить цѣну акціи возможно бо̀льшую, но, къ чести нашей, чувство благоволенія къ нуждающемуся человѣчеству одержало верхъ. Имѣя въ виду, что акціи не будутъ стоить намъ ни копѣйки и что, въ видахъ успѣшнаго сбыта ихъ въ публику, необходимо, чтобъ они были доступны преимущественно для маленькихъ кошельковъ, мы остановились на двадцати-пяти рубляхъ, справедливо разсуждая, что и затѣмъ въ раздѣлъ между учредителями поступятъ двадцать-пять милліоновъ рублей.

Но металлическихъ или ассигнаціонныхъ?

По этому вопросу послѣдовало разногласіе. Балалайкинъ говорилъ прямо: металлическіе лучше, потому что съ ними дѣло чище. Я говорилъ: хорошо, кабы металлическіе, но не худо, ежели и ассигнаціонные. Глумовъ и Очищенный стояли на сторонѣ ассигнаціоннаго рубля, прося принять во вниманіе, что наша „большая“ публика утратила даже представленіе о металлическомъ рублѣ.

— До металлическихъ ли намъ!—говорилъ Глумовъ:—вотъ французъ Бонту́—тотъ металлическими укралъ.

Но, произнеся слово: „укралъ“, онъ инстинктивно обернулся, точно хотѣлъ удостовѣриться, не посторонній ли кто-нибудь вошелъ и выразился такъ рѣзко?

— Кто сказалъ: „укралъ“?—спрашивалъ онъ, не вѣря, что онъ самъ, собственнымъ языкомъ, произнесъ это слово. И видя, что никого постороннихъ нѣтъ, пришелъ къ заключенію, что ему только померещилось.

Тѣмъ не менѣе эпизодъ этотъ случился весьма кстати, потому что сразу рѣшилъ дѣло въ пользу ассигнаціоннаго рубля.

Но когда дѣло дошло до раздѣла акцій, мы постепенно до того ожесточились, что всѣ вопросы опять всплыли наружу. Прежде всего Глумовъ настаивалъ, чтобъ Фаинушка была признана учредительницей. Это значительно уменьшало долю каждаго; но такъ какъ Глумовъ пригрозилъ переры-

вомъ сношеній, то пришлось согласиться, съ тѣмъ однакожъ, чтобъ при первомъ выпускѣ негласно припечатать лишнихъ сто тысячъ акцій, которыя и отдать Фаинушкѣ. Затѣмъ тотъ же Глумовъ возбудилъ вопросъ объ участіи Парамонова, но тутъ ужъ безъ разговоровъ рѣшили: напечатать еще сто тысячъ запасныхъ акцій и передать ихъ Парамонову по 25 рублей за каждую, а имѣющіеся получиться черезъ таковую продажу два милліона пятьсотъ тысячъ рублей обратить въ запасный капиталъ. Когда, такимъ образомъ, основной акціонерный капиталъ оказался нетронутымъ, мы подѣлили его между собой на четыре части поровну каждому. Но тутъ какъ-то вдругъ всѣмъ показалось мало. Всѣ и всѣхъ начали укорять по очереди. Очищеннаго укоряли за то, что онъ бросаетъ чужія деньги, назначая премію въ количествѣ 35 рублей вмѣсто 31-го; Глумова — за то, что онъ бросилъ четыре милліона въ пользу новорожденныхъ; меня — за то, что я своимъ двоедушіемъ способствовалъ устраненію металлическаго рубля. Больше всѣхъ волновался Балалайкинъ, у котораго даже глаза налились кровью.

— За что̀ я страдаю? я-то за что̀ страдаю? — кричалъ онъ до тѣхъ поръ, покуда Глумовъ не схватилъ его въ охапку и не вынесъ на лѣстницу.

Но когда это было выполнено и между нами понемногу водворился миръ, мы вдругъ вспомнили, что безъ Балалайкина намъ все-таки никакъ нельзя обойтись. Всѣ мы уѣзжаемъ — кто же будетъ хлопотать объ утвержденіи предпріятія? Очевидно, что только одинъ Балалайкинъ и можетъ въ такомъ дѣлѣ получить успѣхъ. Но счастіе и тутъ благопріятствовало намъ, потому что въ ту самую минуту, когда Глумовъ уже рѣшался отправиться на розыски за Балалайкинымъ, послѣдній обѣжалъ черезъ дворъ и по черной лѣстницѣ опять очутился между нами.

— Я вамъ это дѣло такъ обдѣлаю, — говорилъ онъ, совершенно забывъ о случившемся: — я такую одну штуку знаю, что просто ни одинъ, ну, самый „что̀ называется", и тотъ не рѣшится... а я рѣшусь!

Такимъ образомъ все кончилось благополучно, и мы могли съ облегченнымъ сердцемъ отправиться обѣдать къ Фаинушкѣ. Два блестящихъ дѣла получили начало въ этотъ достопамятный день: во-первыхъ, основанъ заравшанско-ферганскій университетъ и, во-вторыхъ, русскому крестьянству оказано существенное воспособленіе. Все это прекрасно выразилъ Глумовъ, который, указывая на Очищеннаго, сказалъ:

— Вотъ вамъ, господа, и примѣръ, и поученіе! Почтеннѣйшій Иванъ Иванычъ есть, такъ сказать, первообразъ всѣхъ нашихъ финансистовъ. Онъ не засматривается по сторонамъ, не хитритъ, не играетъ статистикой, не знаетъ извилистыхъ путей, а говоритъ прямо: по рублику съ души! Или, говоря другими словами: съ голаго по ниткѣ — проворному рубашка! А дураку — шишъ! Такъ ли я говорю?

Глава XVI.

Мы выѣхали изъ Петербурга впятеромъ: мѣняло, Фаинушка, Очищенный, Глумовъ и я. Сверхъ того, мы рѣшились взять съ собой благонадежнаго человѣка, который въ пути долженъ былъ вести журналъ всѣмъ нашимъ

дѣйствіямъ, разговорамъ и помышленіямъ. Предосторожность эта казалась намъ нелишнею, потому что въ случаѣ еслибъ насъ застигъ „гость", то журналъ представлялъ для насъ оправдательный документъ: читай! Сначала мы думали воспользоваться для этой цѣли Кшепшицюльскимъ, но онъ оказался неграмотнымъ, да, сверхъ того, очень ужъ счастливо игралъ въ преферансъ. Тогда, съ одобренія Ивана Тимоѳеича, мы остановили свой выборъ на „нашемъ собственномъ корреспондентѣ", и, какъ будетъ видно ниже, не ошиблись въ этомъ предпочтеніи.

Маршрутъ нашъ лежалъ прямо на Моршу, гдѣ ожидали насъ „сродственники" Фаинушки. Но на пути Глумовъ передумалъ и уговорилъ насъ высадиться въ Твери, съ тѣмъ, чтобы сдѣлать на пароходѣ экскурсію по Волгѣ до Рыбинска.

— Во-первыхъ, Волга произведетъ въ насъ подъемъ чувствъ,—сказалъ онъ:—а во-вторыхъ, задавшись просвѣтительными цѣлями, мы не должны забывать, что рано или поздно намъ все-таки придется отсидѣть свой срокъ въ холодной, а быть можетъ и совершить прогулку съ связанными назадъ руками. По моему мнѣнію, съ этимъ дѣломъ нужно покончить какъ можно скорѣе: отстрадать сколько слѣдуетъ и затѣмъ, заручившись свидѣтельствомъ, что всѣ просвѣтительные обряды выполнены нами сполна, благополучно слѣдовать дальше. Свидѣтельство это мы будемъ предъявлять на всѣхъ заставахъ, и такъ какъ изъ него будетъ явствовать, что мы свое получили, то мы хоть сто университетовъ открывай—никто насъ не тронетъ. Стало быть, вся задача состоитъ въ томъ, чтобъ пострадать по возможности удобнѣе. И я имѣю всѣ основанія думать, что отбыть эту повинность въ Тверской губерніи выгоднѣе. Тверская губернія изстари славится своимъ либерализмомъ. Этого одного достаточно, чтобы съ упованіемъ вступить подъ сѣнь тамошняго института урядниковъ. Господа! я предлагаю прокричать „ура!" за процвѣтаніе и благоденствіе Тверской губерніи вообще и тверскихъ урядниковъ въ особенности!

Рѣчь эта, заключавшая въ себѣ цѣлую политическую программу, была принята нами очень сочувственно. Мы прокричали троекратное „ура", а на другой день, въ шесть часовъ утра, уже устраивались въ Твери на пароходѣ, который отчаливалъ въ Рыбинскъ.

Не успѣли мы умыться и напиться чаю, какъ „нашъ собственный корреспондентъ" принесъ, на общее одобреніе, тетрадку, на заглавномъ листѣ которой было изображено:

ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛЪ

экспедиціи, снаряженной 1-ой гильдіи купцомъ Парамоновымъ на предметъ открытія заравшанскаго университета.

День 1-й.

„*Отъѣздъ изъ Петербурга*: Августа „ „ дня въ 3½ часа пополудни, съ почтовымъ поѣздомъ.

„*Дѣйствія*. По вступленіи въ вагонъ, занимались усаживаніемъ, послѣ чего вынули коробокъ съ провизіей и почерпали въономъ, покуда не стемнѣло.

Въ надлежащихъ мѣстахъ выходили на станціи для обѣда, чая и ужина. Ночью—спали.

„*Разговоры* происходили по преимуществу о пользѣ просвѣщенія, а также о томъ, кто истинно счастливый человѣкъ. По сему послѣднему поводу Онуфрій Петровичъ Парамоновъ сообщилъ, что Перекусихинъ 1-й открылся ему въ намѣреніи принять малую печать. На что̀ ему было отвѣтствовано: „съ живѣйшимъ удовольствіемъ могу вашему превосходительству радость сію предоставить. Но такъ какъ г. Перекусихинъ 1-й назначилъ за отчужденіе цѣну десять тысячъ рублей, а г. Парамоновъ, въ виду преклонныхъ его лѣтъ, предложилъ лишь пятьсотъ рублей, то дѣло до времени разошлось. Кромѣ того къ числу разговоровъ можетъ быть отнесено и то, что г. Глумовъ, обращаясь къ Фаинѣ Егоровнѣ Стёгнушкиной, назвалъ ее „королевой“. Но при семъ оговорился, что выраженіе это употреблено имъ не въ томъ смыслѣ, чтобы онъ мечталъ возвести Фаину Егоровну на румынскій или сербскій престолъ, но въ смыслѣ владычицы его, Глумова, сердца. Каковымъ разъясненіемъ всѣ остались довольны, а въ томъ числѣ и невидимо присутствовавшій при разговорѣ штабъ-офицеръ.

„*Помышленій* въ сей день никто не имѣлъ.

„На другой день, въ пять часовъ утра, прибытіе въ Тверь и пересадка на пароходъ“.

Всѣ признали эту редакцію вполнѣ удовлетворительною и поспѣшили скрѣпить журналъ своими подписями.

Погода однакожъ не благопріятствовала намъ. Небо кругомъ обложило свинцовыми облаками, изъ которыхъ сѣялся тонкій и совершенно осенній дождь. Словно сѣтью застилалъ онъ передъ нашими глазами и даль, въ которую Волга катила свои волны, и плоскіе берега рѣки, на которыхъ по мѣстамъ чернѣли сиротливыя, точно оголенныя избушки. Благодаря этому, подъемъ чувствъ, на который мы разсчитывали, не состоялся. Народу на палубѣ было не больше двадцати человѣкъ, да и тѣ молчаливо ютились подъ тентомъ, раздирая руками вяленую воблу. Исключеніе составлялъ молодой дьяконъ съ бѣлесымъ лицомъ, бѣлесыми волосами и бѣлесыми же глазами, въ выцвѣвшемъ шалоновомъ подрясникѣ. Онъ шагалъ взадъ и впередъ по палубѣ, а по временамъ прислонялся къ борту (преимущественно въ нашемъ сосѣдствѣ) и смотрѣлъ въ даль, пошевеливая намокшими плечами и какъ бы подсчитывая встрѣчавшіяся на пути церкви. Но мнѣ ужъ и тогда показалось, что онъ „собираетъ статистику“. Въ каютахъ совсѣмъ никого не было. Поваръ, въ курткѣ, до такой степени замазанной, что, казалось, ею вытирали полъ, въ бездѣйствіи стоялъ въ дверяхъ кухни, не ожидая ничего хорошаго. Лакей, заспанный, съ распухшимъ лицомъ, въ запятнанномъ сюртукѣ, плевалъ направо и растиралъ лѣвою ногой. Пароходъ былъ колесный, старой конструкціи, пыхтѣлъ, громыхалъ, скрипѣлъ, видимо доживая свой вѣкъ. Въ ушахъ отчетливо отдавалось мѣрное хлопанье колесныхъ лопастей, сопровождаемое выкриками лоцмана, вымѣрявшаго фарватеръ! „Четыре! пять! пять! четыре! три!“—словно сквозь сонъ голосилъ онъ, поглядывая на капитана. Какую-то тоскливую грусть навѣвали и эти звуки, и весь этотъ плоскій пейзажъ.

Наконецъ дождь загналъ насъ въ каюту; но тутъ стало еще скучнѣе. Главное, не знали мы, что предпринять. Хотѣли спросить какой-нибудь ѣды, но вспомнили поварову куртку и забоялись. Предметовъ для разговора тоже не отыскивалось, а между тѣмъ разговаривать было необходимо, потому что въ противномъ случаѣ могли появиться „помышленія". И тогда нашъ журналъ будетъ испорченъ навсегда. Попробовалъ-было Глумовъ предложить вопросъ: „отъ какихъ причинъ происходитъ скука?" —но тотчасъ же взялъ свой вопросъ назадъ, какъ могущій дать поводъ къ превратнымъ толкованіямъ. Съ своей стороны и я предложилъ вопросъ: „гдѣ обитаетъ истинное счастье, въ палатахъ или въ хижинахъ?" —но тоже поспѣшилъ взять его назадъ, потому что и здѣсь представлялся поводъ для превратныхъ толкованій. И хорошо мы сдѣлали, потому что „нашъ собственный корреспондентъ" уже впился въ насъ глазами и, казалось, только и ждалъ, что будетъ дальше.

Тогда Глумовъ началъ говорить о Корчевѣ. Новое (1-я пароходная станція) мы ужъ проѣхали, за нимъ слѣдовала Корчева. Оказалось, что мы знали только одно: что Корчева есть Корчева. Но существуютъ ли въ ней кожевенные и мыловаренные заводы — доподлинно никому не было извѣстно. Правда, Очищенный сообщилъ, что однажды въ редакціи „Красы Демидрона" была получена корреспонденція, удостовѣрявшая, что въ Корчевѣ живетъ булочникъ, который *каждый день* печетъ свѣжія французскія булки, но редакція напечатать эту корреспонденцію не рѣшилась, опасаясь, нѣтъ ли тутъ какого-нибудь иносказанія. Однакожъ этого было достаточно, чтобы у всѣхъ разгорѣлись апетиты и явилось желаніе остановиться въ Корчевѣ. Напрасно убѣждалъ я, что несравненно цѣлесообразнѣе остановиться въ Угличѣ, гдѣ дѣлаютъ знаменитую углицкую колбасу—никто меня не слушалъ. Пароходъ сразу такъ опостылѣлъ, что всѣ рады были всякому поводу, чтобъ уйти отъ сырости и удручающихъ пароходныхъ звуковъ въ тишину и тепло.

— Что же такое! — говорилъ Глумовъ: —Корчева такъ Корчева! поживемъ денька два-три, осмотримъ достопримѣчательности, а тамъ пожалуй и въ Угличъ махнемъ!

Корчева встрѣтила насъ недружелюбно. Было не больше пяти часовъ, когда пароходъ причалилъ къ пристани, но, благодаря тучамъ, кругомъ обложившимъ небо, сумерки наступили раньше обыкновеннаго. Дождь усилился, почва размокла, берегъ былъ совершенно пустыненъ. И хотя до постоялаго двора было недалеко, но такъ какъ ноги у насъ скользили, то мы черезъ великую силу, вымокшіе и перепачканные, добрались до жилья. Тутъ только мы опомнились и не безъ удивленія переглянулись другъ съ другомъ, словно спрашивая: гдѣ мы?

— Коего чорта насъ сюда занесло! — внезапно и какъ-то сердито поставилъ вопросъ „нашъ собственный корреспондентъ".

Голосъ его звучалъ пророчески. Обыкновенно онъ держалъ себя молчаливо и даже робко, такъ что самыя свойства его голоса были намъ почти неизвѣстны. И вдругъ оказалось, что у него гнѣвный басъ, осложненный перепоемъ.

Но никто не отвѣтилъ на вопросъ, и Глумовъ возвратилъ насъ къ чувству дѣйствительности, сказавъ:

— Господа! паспорта готовьте! чтобы по первому же слову, сейчасъ...

Постоялый дворъ былъ старинный, какіе нынче можно встрѣтить только въ самыхъ отдаленныхъ захолустьяхъ, куда ужъ совсѣмъ никому ни зачѣмъ ѣхать ненужно. Обширный и темный дворъ съ бревенчатымъ накатомъ, прогнившимъ и улитымъ скотскою мочей, темныя сѣнцы съ колеблющеюся лѣстницей и съ самоваромъ, поставленнымъ на самомъ пути и распространяющимъ кругомъ угаръ и смрадъ. Направо—большая изба, въ которой ютится семейство хозяина и пускается черный народъ, прямо—двѣ небольшія „чистыя" горницы для постояльцевъ почище, съ подслѣповатыми и позеленѣвшими окнами, изъ которыхъ виднѣлась площадь, а за нею Волга. Все тутъ было старинное, дореформенное, когда-то имѣвшее смыслъ и цѣль, но давнымъ-давно запустѣвшее, покачнувшееся и пахнущее нежилымъ. Сами хозяева повидимому смотрѣли на свой „домъ" какъ на мѣсто для ночлеговъ, и перенесли свою дѣятельность въ небольшую пристройку, вмѣщавшую въ себѣ лавочку, изъ которой продавался всякій бросовый товаръ на потребу крестьянскому люду.

Кое-какъ однакожъ мы размѣстились и, разумѣется, прежде всего потребовали самоваръ. Но—увы!—знаменитыхъ булокъ, на которыя мы возлагали столько надеждъ, не оказалось. Недѣлю тому назадъ булочника переманили въ Калязинъ, и Корчева, дотолѣ на зависть всему Поволжью изготовлявшая булки и куличи, окончательно утратила всякое обаяніе.

— Что́ же у васъ есть?—спросилъ Глумовъ у хозяина.

— Соборъ-съ.

— Гм... соборъ... Соборъ — это, братецъ... Изъ съѣстного, спрашиваю я, что́ есть?

— Яицъ ежели поискать...

Хозяинъ, корчевской мѣщанинъ Разноцвѣтовъ, говорилъ вяло и неохотно. Это былъ мужчина лѣтъ подъ шестьдесятъ, на видъ еще здоровый и коренастый, но внутренно — угнетенный. Когда-то онъ знавалъ лучшія времена. Домъ у него кишѣлъ проѣзжимъ людомъ, закромы были полны овсомъ и другимъ хлѣбнымъ товаромъ; сверхъ, того, онъ держалъ нѣсколько троекъ лошадей. Не широко и прежде жилось въ Корчевѣ, но, все-таки, что-то было, хоть хлѣбомъ пахло. Въ то время Разноцвѣтовъ ходилъ въ плисовыхъ шароварахъ и въ александрицкой рубахѣ на-выпускъ: онъ, не торопясь, отпускалъ и принималъ, не метался, какъ угорѣлый, въ погонѣ за грошомъ, а спокойно, съ достоинствомъ ростилъ брюхо, подсчитывая гривну къ гривнѣ и запирая выручку въ кованый сундукъ съ гулкимъ замкомъ. И вдругъ подкралось разоренье. Пришло оно такъ, что никому не вѣрилось; всѣ думали, что шутки шутятъ. Сначала свиснулъ на Волгѣ пароходъ, а Разноцвѣтовъ, стоя на берегу, глядѣлъ, какъ „Русалка" громыхаетъ колесами, и приговаривалъ: „поплавай, чортова кукла, поплавай, не много поплаваешь!" А черезъ годъ пришлось сократить ямщину на половину, потому что сѣдокъ повалилъ въ Новое. Потомъ объявилась эмансипація: помѣщикъ на первыхъ порахъ побаловался съ выкупными свидѣтельствами, но черезъ короткое время вдругъ безъ остатка исчезъ; крестьянинъ обрадовался волѣ и разбрелся по дальнимъ заработкамъ. Дома остались хворые, да старые, да малые. Базаръ

опустѣлъ до того, что даже торговля сусломъ уже не представляла ничего соблазнительнаго. Пришлось ямщину нарушить совсѣмъ. Потомъ объявили волю вину, и Разноцвѣтовъ на минуту взыгралъ. Прежде всѣхъ открылъ на постояломъ дворѣ продажу вина распивочно и на-выносъ, думалъ: теперь-то мужички загуляютъ! Мужички, дѣйствительно, загуляли, но такъ какъ въ каждомъ деревенскомъ углу объявился свой „тутошный“ Разноцвѣтовъ, который за водку бралъ и оглоблю, и подкову, и старыя сапожныя голенища, то, понятно, что процвѣли сельскіе самозванцы-Разноцвѣтовы, а коренной оплошалъ. Потомъ начали проводить желѣзныя дороги: изъ Бологова пошла на Рыбинскъ, изъ Москвы—на Ярославль, а про Корчеву до того забыли, что и къ промежуточнымъ станціямъ этихъ дорогъ отъ нея ѣзды не стало... И осталось у Разноцвѣтова отъ прежняго привольнаго житья только пространное брюхо, котораго нечѣмъ было наполнить.

— Спалить бы нашу Корчеву надо!—говорилъ негодующій Разноцвѣтовъ, нервно шевеля плечами.

Но, вопреки его пророчествамъ, она и сейчасъ стоитъ цѣлехонька, хотя видимо съ каждымъ годомъ изнываетъ, пріобрѣтая все болѣе и болѣе опальный характеръ.

— Да вы бы, голубчикъ, велѣли курочку поймать!—попытался Глумовъ пронять Разноцвѣтова лаской.

— Поймать курицу можно, только вѣдь въ горсти ее не сваришь,—отвѣтилъ хозяинъ угрюмо.

Однакожъ дѣло кое-какъ устроилось. Поймали разомъ двухъ курицъ, выпросили у протопопа кастрюлю, и, вмѣсто плиты, подъ навѣсомъ на кирпичикахъ сварили супъ. Мало того: хозяинъ добылъ гдѣ-то связку окаменѣлыхъ баранокъ и крохотный засушенный лимонъ къ чаю. Мы опасались, что вся Корчева сойдется смотрѣть, какъ имущіе классы супъ изъ курицы ѣдятъ, и, чего добраго, произойдетъ еще революція, однако Богъ миловалъ. Поѣвши, всѣ ободрились и почувствовали приливъ любознательности.

— Хозяинъ! есть у васъ достопримѣчательности какія-нибудь?

— Соборъ-съ,—отвѣчалъ Разноцвѣтовъ нѣсколько ласковѣе, убѣдившись, что впереди его ожидаетъ пожива.—Евангеліе-съ... крестъ напрестольный...

— А кромѣ собора... напримѣръ, фабрики, заводы?..

— Нѣтъ, заведеніевъ у насъ и встарину не бывало, а теперь и подавно.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

— Такъ другъ около дружки колотимся. И сами своихъ дѣловъ не разберемъ.

— Можетъ быть, кружева плетете? или—ну, что бы еще?—ну, ковры, ленты, гильзы?..

— У насъ, сударь, пуговицу пришить некому, а вы: „кружева“!

— Что же вы дѣлаете?

— Пакенты платимъ. Для пакентовъ только и живемъ.

— Чудакъ! да вѣдь на патенты-то откуда-нибудь достать надо!

— Затѣмъ и колотимся. У кого овца заблудшая выскочитъ — овцу

продастъ; у другого насѣдка цыплятъ выведетъ—ихъ на пароходъ сбудетъ. Получитъ рублишко—пакентъ купитъ.

— Ахъ, голуби, голуби!—жалостливо воскликнулъ мѣняло.

Это было до того необыкновенно — эти люди, живущіе исключительно для покупки патентовъ — что Фаннушка слушала-слушала и расхохоталась: ахъ, какъ весело! Но тотчасъ же притихла, какъ только увидѣла, что Глумовъ бросилъ на нее молніеносный взглядъ.

— Стало быть, осматривать у васъ нечего?

— Соборъ-съ, – повторилъ Разноцвѣтовъ, а черезъ секунду припомнилъ: —вотъ еще старичокъ ста-семи лѣтъ у насъ проживаетъ, такъ, можетъ, на него посмотрѣть захотите...

Мы переглянулись, и на всѣхъ лицахъ прочли: булокъ нѣтъ, заведеній нѣтъ, кружевъ не плетутъ, ковровъ не ткутъ—непремѣнно на старичка взглянуть надо!

Между разговорами и не видали, какъ время прошло. Опять приволокли самоваръ, усадили съ собой хозяина и стали вторично пить чай. За чаемъ завели разговоръ о томъ, какимъ бы образомъ поднять умственное и экономическое положеніе Корчевы.

— Вамъ бы каплуновъ подкармливать. Вонъ Ростовъ—далеко ли?—а какъ черезъ каплуновъ процвѣлъ! —предложилъ Глумовъ.

— Никакъ намъ это невозможно,—отвѣтилъ Разноцвѣтовъ скромно.

— Почему же?

— Никогда нашъ каплунъ противъ ростовскаго не выйдетъ!

— Да отчего же, голубчикъ?

— Такъ ужъ... въ Ростовѣ „слово“ такое знаютъ—оттого и каплунъ тамошній въ славѣ. А нашъ каплунъ—хошь ты его раскорми—все равно, его никто ѣсть не станетъ.

— Ахъ, Господи!

— Вонъ въ Кимрѣ сапогомъ промышляютъ,—въ свою очередь продолжалъ я:—и вы бы, на кимряковъ глядя...

— Тоже и насчетъ сапога. Мѣстомъ это. Коли гдѣ ему природное мѣсто —онъ идетъ, а коли мѣсто для него не потрафило—хоть ты его тачай, хоть нѣтъ, все едино! Отъ Бога не положено, значитъ...

— Голубчикъ! да чтò же вы такъ ужъ обезкураживаетесь... подбодрились бы, что-ли!

— Не мало бодриться пытали. И сами бодрились, и начальство бодрило. Былъ здѣсь помѣщикъ одинъ—ужъ на чтò прокуратъ!—сахаръ вздумалъ дѣлать... Свеклы насѣялъ, заводъ выстроилъ. Анъ, вмѣсто свеклы-то, у него выросла морковь.

— Чтò вы!!

— Вѣрно докладываю. Такая, стало быть, здѣсь земля. Чего ждешь —она не родитъ, а чего не чаешь—обору нѣтъ!

— Какъ же бы, однако, помочь вамъ?

— Какъ помочь! была-было помощь, да и та мимо проѣхала!

— Чтò же такое?

— Въ прошломъ году Вздошниковъ купецъ объявилъ: коли кто сици-

листа ему предоставитъ—двадцать-пять рублей тому человѣку награды! Ну, и наловили. Въ ту пору у насъ всякій другъ дружку ловилъ. Только онъ чтò же, мерзавецъ, издѣлалъ! Видитъ, что дѣло къ расплатѣ—сейчасъ и на попятный: „это, говоритъ, сицилисты не настоящіе!" Такъ никто и не попользовался; только народу, человѣкъ никакъ съ тридцать, попортили.

— А вы бы стребовали съ Вздошникова-то?

— Кто съ него стребуетъ, съ выжиги экого. Онъ нынче всѣмъ у насъ орудуетъ, и полицу, съ исправникомъ вмѣстѣ, подъ нозѣ себѣ покорилъ. Чуть кто супротивное слово скажетъ—сейчасъ: „сицилистъ!" Однимъ этимъ словомъ всѣхъ кругомъ окружилъ. Весь торгъ въ свои руки забралъ, не даетъ никому вздыху, да и шабашъ!

— Чего же исправникъ-то смотритъ?

— Нельзя, говоритъ, ничего не подѣлаешь... Потому человѣкъ на вѣрной линіи стоитъ... это Вздошниковъ-то! Ахъ, кабы знàто да вѣдано!

— И вы бы?

— А то какъ же... всякому своѐ жалко... Одно только слово, анъ оно дороже сахарнаго завода стòитъ! Знай кричи: сицилистъ!—да денежки обирай! Съумѣли бы и мы.

Разноцвѣтовъ отеръ потъ съ лица и озабоченно почесалъ животъ.

— Вонъ брюхо какое выростилъ... съ чего бы, кажется? — сказалъ онъ уныло:—а оно, между прочимъ, ѣсть проситъ!

— Такъ вы кушайте!—пошутила Фаинушка.

— То-то, что...

Онъ постепенно ожесточался. Взялъ со стола окаменѣлую баранку и сразу перегрызъ ее пополамъ, точно топоромъ разсѣкъ. И при этомъ показалъ сплошной рядъ бѣлыхъ, крѣпкихъ и ровныхъ зубовъ.

— Зубы-то у васъ какіе! —удивилась Фаинушка.

— И зубы есть... и брюхо, и зубы... только на какой предметъ?

Очищенный обидѣлся: ему показалось, что Разноцвѣтовъ ропщетъ.

— Ахъ, Никифоръ Мосеичъ! какъ это вы такъ! Зубы отъ Бога, а вы: на какой предметъ!!

— Вотъ это самое я и говорю. Зубами грызть надо, а ежели зря ими щелкать — чтò толку! То же самое и насчетъ брюха: коли въ ёмъ корка сухая болтается—ни красы въ ёмъ, ни радости... такъ, мѣшокъ!

Разноцвѣтовъ перекусилъ другую баранку и замолчалъ. Молчали и мы. Фаинушка закрыла глазки отъ утомленія и жалась къ Глумову; мѣняло жадно впился глазами въ хозяина, и, казалось, въ разсчетѣ на постигшее его оголтѣніе, обдумывалъ какую-то комбинацію.

— А по моему, хозяинушко, начальство слабенько за вами присматриваетъ,—вновь началъ Очищенный:—кабы оно построже васъ подтянуло, такъ и процвѣтаніе давно бы явилось.

— И начальство у насъ бывало всякое,—отвѣтилъ Разноцвѣтовъ:—иной начальникъ мѣрами кротости донималъ, другой — строгостью. Было у насъ разговору!—Отчего у васъ фабрикъ-заводовъ нѣтъ? отчего гостиный дворъ не выстроенъ? отчего пожарной трубы исправной нѣтъ? каланчи? мостовыхъ? фонарей?.. Ахъ, варвары, молъ, вы!

— Такъ неужто-жъ только на этомъ одномъ благія начинанія и кончились?

— Кабы кончились! А то мѣсяцъ дадутъ дыхнуть — опять за свое: отчего фабрикъ-заводовъ нѣтъ? Отчего площадь немощеная стоитъ?.. Ахъ, растакіе, молъ, вы варвары!

Разноцвѣтовъ перекусилъ баранку, опрокинулъ чашку, положилъ на дно крохотный огрызокъ сахара и грузно снялся со скамейки.

— Прощенья просимъ! За чай, за сахаръ! — поблагодарилъ онъ и хотѣлъ уже удалиться, какъ вдругъ что-то вспомнилъ и совсѣмъ уже ожесточился.

— Да вы откелева сами-то будете? — спросилъ онъ строго.

— Изъ Петербурга, — отвѣтилъ Глумовъ за всѣхъ.

— Проѣздомъ, значитъ?

— Нѣтъ, такъ... посмотрѣть захотѣлось... Свѣдѣнія кое-какія собрать...

— Чего собирать-то?..

— Ну, вотъ, напримѣръ, нравы... Промысловъ, вы говорите, у васъ нѣтъ, такъ вѣроятно есть нравы... Пѣсни подблюдныя, свадебныя, хороводныя, обычаи, сказки, преданія... Въ иныхъ мѣстахъ вотъ браки „увдомъ“ совершаются!..

— Можетъ, у васъ объ Мамелфѣ Тимоѳеевнѣ какой-нибудь варіантъ есть, — пояснилъ я: — или вотъ нѣтъ ли слѣпенькаго пѣвца...

Но Разноцвѣтовъ серьезно разсматривалъ насъ и неодобрительно качалъ головой.

— А пачпорты у васъ есть?

„Вотъ оно... начинается!“ — мелькнуло у меня въ головѣ.

— Есть паспорты, — отвѣтилъ Глумовъ.

Хозяинъ словно преобразился. Лицо у него сдѣлалось суровое, голосъ рѣзкій, сухой.

— То-то, — сказалъ онъ почти начальственно: — нонѣ съ этимъ строго. Коли кто куда пріѣхалъ, долженъ дѣло за собой объявить. А коли кто зря ѣздитъ — руки къ лопаткамъ и въ холодную!

Онъ ушелъ, а мы остались, погруженные въ раздумье. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь мы и не подумали, что прежде всего нужно дѣло за собой объявить. Какое дѣло? Ежели объявить, что собираемъ статистику — никто не повѣритъ. Скажутъ: какая въ Корчевѣ статистика? Корчева какъ Корчева. Фабрикъ-заводовъ нѣтъ, каланчи нѣтъ, мостовыхъ нѣтъ, гостинаго двора нѣтъ, а все остальное — обыкновенно, какъ въ прочихъ мѣстахъ. Да и компанія слишкомъ велика для статистики собралась. Зачѣмъ, напримѣръ, попала сюда 1-й гильдіи купчиха Стёгнушкина? къ чему понадобился мѣняло?

Ежели объявить: путешествуемъ, только и всего — пожалуй и еще несообразнѣе покажется. Спросятъ: для чего путешествуемъ? и такъ какъ мы никакого другого отвѣта дать не можемъ, кромѣ: путешествуемъ! — то и опять спросятъ: для чего путешествуемъ? И будутъ спрашивать дотолѣ, покуда мы сами не отдадимъ себя въ руки правосудія.

Ежели сказать, что купецъ Парамоновъ, купно съ купчихою Стёгнушкиной, затѣяли коммерческое предпріятіе — опять никто не повѣритъ. Ка-

кое можетъ осуществиться въ Корчевѣ предпріятіе? что̀ въ Корчевѣ родится? Морковь?—такъ и та потому только уродилась, что сѣяли свеклу, а посѣяли бы морковь — навѣрняка уродился бы хрѣнъ... Такая ужъ здѣсь сторона. Кружевъ не плетутъ, ковровъ не ткутъ, поярковъ не валяютъ, сапоговъ не тачаютъ, кожъ не дубятъ, мыла не варятъ. Въ Корчевѣ только слезы льютъ да зубами щелкаютъ. Ясно, что человѣку промышленному, предпріимчивому ѣздить сюда незачѣмъ.

Господи! хоть бы развязка поскорѣе! въ „холодную“ такъ въ „холодную“! Сколько лѣтъ прожили, никогда въ „холодной“ не бывали—надо же когда-нибудь!

Положеніе было трагическое. Къ счастію, я вспомнилъ, что верстахъ въ тридцати отъ Корчевы стоитъ усадьба Проплёванная, къ которой я какъ будто имѣю нѣкоторое касательство. Дремлетъ теперь Проплёванная, забытая, оброшенная, заглохшая, дремлетъ и не подозрѣваетъ, что владѣлецъ ея въ эту минуту сидитъ въ Корчевѣ, былины собираетъ, подблюдныя пѣсни слушаетъ...

— Да просто скажемъ, что Фаина Егоровна сторговала у меня Проплёванную!—предложилъ я.

Глумовъ подозрительно взглянулъ на меня. Очевидно, у него мелькнула въ головѣ мысль, не задумалъ ли я, пользуясь симъ случаемъ, сюрпризомъ спустить Фаинушкѣ свою дѣдину и отчину? Фаинушка тоже изумилась, словно и у нея что-то закружилось въ головкѣ; а что̀ касается до „нашего собственнаго корреспондента“, то онъ прямо воскликнулъ:

— Вотъ такъ ловко!

Разумѣется, я безъ труда оправдался, объяснивъ, что ни задатка, ни запродажной расписки — ничего не требую. Что, конечно, я готовъ продать Проплёванную всякому, кто заблагоразсудитъ сдѣлать изъ нея увеселительную резиденцію, но къ насильству даже въ этомъ случаѣ прибѣгать не намѣренъ. Выслушавши это, всѣ успокоились и признали мой проектъ весьма цѣлесообразнымъ. Поэтому условились такъ: сначала мы скажемъ, что пріѣхали для осмотра Проплёванной, а потомъ опять юркнемъ на пароходъ, какъ будто не сошлись въ цѣнѣ.

Но покуда мы толковали, снова пришелъ хозяинъ и на этотъ разъ объявилъ, что насъ безъ потери времени требуютъ въ полицейское управленіе.

Разумѣется, мы съ радостью поспѣшили на приглашеніе.

Глава XVII.

Дѣло обошлось очень мило и просто.

Ни исправника, ни помощника его въ городѣ не было. Насъ принялъ непремѣнный членъ, ветхій старичокъ, по имени Пантелей Егорычъ, и сейчасъ же предупредительно посадилъ.

— Ахъ, господа, господа!

Онъ качалъ головой и смотрѣлъ на насъ — впрочемъ не столько укоризненно, сколько жалѣючи. Какъ будто говорилъ: какіе большіе выросли, а самыхъ простыхъ вещей не знаете! Мы сидѣли и ждали.

— Знаете, какія нынче времена, а что́ дѣлаете!—произнесъ онъ, все больше и больше проникаясь состраданіемъ.

Дѣло происходило въ распорядительной камерѣ. По срединѣ комнаты стоялъ столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; въ углу—другой столъ поменьше, за которымъ, надъ кипой бумагъ, сидѣлъ секретарь, человѣкъ еще молодой, и тоже жалѣючи глядѣлъ на насъ. Изъ-за стеклянной перегородки виднѣлась другая, болѣе обширная комната, уставленная покрытыми черной клеенкой столами, за которыми занималось съ десятокъ молодыхъ канцеляристовъ. Лампы коптѣли; воздухъ насыщенъ былъ острыми міазмами дешеваго керосина.

— Михалъ Михалычъ! посмотрите... тамъ!—обратился Пантелей Егорычъ къ секретарю.

Секретарь направился къ перегородкѣ, пріотворилъ дверь, заглянулъ въ канцелярію и доложилъ, что никого за дверьми нѣтъ, всѣ при дѣлѣ. Съ своей стороны Пантелей Егорычъ приподнялъ сукно и заглянулъ, нѣтъ ли кого подъ столомъ.

— Ну, зачѣмъ?—началъ онъ, удостовѣрившись, что никого нѣтъ:— Ну, что́ такое Корчева? А между тѣмъ себя подвергаете, а насъ подводите... Ахъ, господа, господа!

Мы продолжали молчать. Не то чтобы мы не понимали, а оправдательныхъ словъ не могли отыскать.

— Знаете, какія нынче строгости—и рѣшаетесь! знаете, сколько вездѣ га́ду развелось—и рискуете! Вонъ Вздошниковъ только и ждетъ... чай, и сію минуту изъ окна высматриваетъ... Ахъ, господа, господа!

— Но что́ же мы...—заикнулся-было Глумовъ.

— Знаю, что ничего,—перебилъ Пантелей Егорычъ: — и вы ничего, и я ничего, и всѣ ничего... Объ Вздошниковѣ слыхали? Ахъ, господа, господа!

— Да ужъ пропустите насъ, ради Христа!—рѣшился я покончить все сразу.

— Что́ меня про́сите! Богъ можетъ простить или не простить, а я что́! Ну, скажите на милость, зачѣмъ? Съ какою цѣлью? почему? Какую такую сладость вы надѣялись въ нашей Корчевѣ найти?

— Но вѣдь, кажется, паспорты у насъ въ исправности?—опять вступился Глумовъ.

— И паспорты. Что́ такое паспорты? Паспорты всегда и у всѣхъ въ исправности! Вотъ намеднись тоже—по базару человѣкъ ходитъ. Есть паспортъ?—есть! Смотримъ: съ иголочки.—Ну, съ Богомъ. А спустя недѣлю оказывается, что этого самаго человѣка ужъ три года ищутъ. А онъ, между прочимъ, у насъ по базару ходилъ, и мы его у себя, какъ и путнаго, прописали. Да.

— Но вѣдь изъ одиночнаго случая нельзя же заключать...

— И это я знаю. Да развѣ я заключаю? Я радъ бы радостью, только вотъ... Вздошниковъ! И Корчева тоже! Ну, что́ такое? зачѣмъ именно Корчева? Промысловъ нѣтъ, торговли нѣтъ, произведеній нѣтъ... развѣ что соборъ! Такъ и соборъ въ Кимрѣ лучше! Михалъ Михалычъ! что́ это такое?

Михалъ Михалычъ осклабился.

— Это такъ точно-съ,—пошутилъ онъ:—даже рыба, и та во весь опоръ мимо Корчевы мчится. Въ Твери или въ Кимрѣ ее ловятъ, а у насъ — не приспособились.

— Ничего у насъ нѣтъ, а вы — рискуете! И себя подвергаете, и насъ подводите!

— Можетъ быть, господамъ отдохнуть захотѣлось?—вступился за насъ секретарь.

— И отдохнуть... отчего бы на пароходѣ не отдохнуть? Плыли бы себѣ да плыли. Ну, въ Калязинѣ бы высадились — тамъ мощи, монастырь. Или въ Угличѣ—тамъ домикъ Дмитрія Царевича... А Корчева... что̀ такое? какая тому причина?

Къ великому моему ужасу, Глумовъ забылъ объ нашемъ уговорѣ насчетъ Проплёванной, и вдругъ брякнулъ:

— Да просто полюбопытствовать.

— А я объ чемъ же говорю! Почему? какъ? Ежели есть причина—любопытствуйте! а коли нѣтъ причины... право, ужъ и не знаю! Вѣдь я это не отъ себя... мнѣ что̀! По моему, чѣмъ больше любопытствующихъ, тѣмъ лучше! Но времена нынче... и притомъ этотъ Вздошниковъ!

— Да кто же, наконецъ, этотъ Вздошниковъ? что̀ это за сила такая? —полюбопытствовалъ я.

— Да такъ... Вздошниковъ, только и всего.

Онъ постепенно все больше и больше волновался и наконецъ началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Какъ мнѣ теперича поступить? — произнесъ онъ, останавливаясь противъ меня.

— Право, Пантелей Егорычъ, мы ничего...

— Знаю я, что ничего. До сихъ поръ—ничего, а завтра можетъ быть — чего! На этомъ нынче все и вертится. Ну, что̀ такое? Плыли, плыли, и вдругъ... Корчева!

Очевидно, что „Корчева“ у него коломъ въ горлѣ застряла и никакъ онъ не могъ ее проглотить.

— Пантелей Егорычъ! да вѣдь мы только на денекъ. Посмотримъ достопримѣчательности, и опять въ путь.

— Какія такія достопримѣчательности?

— Соборъ, напримѣръ.

— Соборъ? ну, соборъ... положимъ. Это похвально.

— Еще сказывали намъ, что въ Корчевѣ ста-семи лѣтъ старичокъ живетъ.

— Ну, и старичокъ... пожалуй! Старость уважать—это...

— Можетъ быть, и еще что-нибудь найдется...

— Что̀ вы! что̀ вы! ничего у насъ нѣтъ! — заговорилъ онъ быстро, словно боялся, чтобъ и въ самомъ дѣлѣ чего не нашлось.

— У мѣщанина Презентова маховое колесо посмотрѣть можно... въ родѣ какъ perpetuum mobile,—подсказалъ секретарь.—Самъ выдумалъ.

— Нечего, нечего смотрѣть. Только время терять да праздность по-

ощрять!—зачастилъ Пантелей Егорычъ.—Такъ вотъ что̀, господа: встаньте вы завтра пораньше, сходите въ соборъ, помолитесь, потомъ пожалуй старичка навѣстите, а тамъ и съ Богомъ.

— Пантелей Егорычъ! позвольте perpetuum mobile посмотрѣть!

— Вотъ вы какіе! И охота вамъ, Михалъ Михалычъ, смущать! Ахъ, господа, господа! И что̀ такое вамъ вздумалось! Въ дождикъ, въ сырость, въ слякоть... какая причина? Вотъ еслибъ господинъ исправникъ былъ въ городѣ —тогда точно... Онъ имѣетъ па этотъ предметъ полномочія, а я...

Онъ имѣлъ доброе сердце и просвѣщенный умъ, но былъ бѣденъ и дорожилъ жалованьемъ. Впослѣдствіи мы узнали, что и у исправника, и у его помощника тоже были добрыя сердца и просвѣщенные умы, но и они дорожили жалованьемъ. И всѣ корчевскіе чиновники вообще. Добрыя сердца говорили имъ: оставь! а жалованье подсказывало: какъ бы чего изъ этого не вышло!

— Пантелей Егорычъ! дѣточки у васъ есть? — спросилъ Глумовъ, вдругъ проникаясь жалостью.

— То-то... шесть дочерей. Невѣсты...

— Такъ мы завтра... чѣмъ свѣтъ...

— Ахъ, что̀ вы! я вѣдь не къ тому... — вдругъ застыдился онъ. — Отчего же не посмотрѣть—посмотрите!

— Нѣтъ, ужъ что же, ежели...

— Ахъ, нѣтъ, я не въ томъ смыслѣ! У насъ вѣдь традиціи... мы помнимъ!.. Да, было времечко, было! Соборъ, старичка... ну, пожалуй perpetuum mobile... Только вотъ задерживаться лишнее время... Вѣдь паспорты у нихъ въ исправности, Михалъ Михалычъ? какъ вы скажете... а?

— Вполнѣ-съ.

— Ну, чтожъ, и съ Богомъ. Вы не подумайте... Прежде у насъ и въ заводѣ не было паспорты спрашивать, да, признаться, и не у кого было — все свои. Никто изъ чужихъ къ намъ не ѣздилъ... А нынче вотъ—ѣздятъ!

Представленіе о жалованьи вновь смутило его. Онъ пытливо взглянулъ на насъ и силился что-то угадать. Но ничего не угадалъ.

— Михалъ Михалычъ? — вопросительно-тоскливо обратился онъ къ секретарю.

— Думается, что ничего...

— Ну, такъ съ Богомъ! полюбопытствуйте!—сказалъ онъ рѣшительно, и, обратившись къ Фаинушкѣ, прибавилъ:—и вы, сударыня?

— И я-съ.

— Вамъ-то бы... А впрочемъ, отчего же... нынче мода на это... Акушерки, стенографистки, телеграфистки... Дай Богъ счастливо, господа!

Онъ благосклонно пожалъ намъ руки, вручилъ паспорты и отпустилъ насъ.

На другой день, только-что встали — смотримъ, два письма: одно отъ Перекусихина 1-го къ мѣнялѣ, другое отъ Балалайкина къ Глумову *).

---

*) Пусть читатель ничему не удивляется въ этой удивительной исторіи. Я и самъ отлично понимаю, что никакихъ писемъ въ Корчевѣ не могло быть получено, но что̀ же дѣлать, если такъ вышло. Вѣдь, собственно говоря, и въ Корчевѣ никто изъ насъ не былъ, однако выходитъ, что были.

Перекусихинъ подавался. Онъ созналъ, что первоначальныя его претензіи были чрезмѣрны и соглашался убавить ихъ на половину. Балалайкинъ увѣдомлялъ, что по обоимъ порученнымъ ему дѣламъ онъ подалъ прошенія въ интендантское управленіе. Мысль о заравшанскомъ университетѣ была всѣми интендантами встрѣчена сочувственно, а проектъ учрежденія общества обязательнаго страхованія жизни—даже съ восторгомъ. Но Балалайкинъ долженъ былъ „пообѣщать". Послѣ слова: „пообѣщать", онъ поставилъ цѣлую строку точекъ и затѣмъ прибавилъ: „грустно, а дѣлать нечего!"

— Вотъ вѣдь прохвостъ!—безъ церемоніи выругался Глумовъ, скомкавъ письмо.

Въ самомъ дѣлѣ, всѣмъ показалось удивительнымъ, съ какой стати Балалайкинъ съ вопросомъ о заравшанскомъ университетѣ обратился въ интендантское управленіе? Даже въ корчевское полицейское управленіе — и то, казалось, было бы цѣлесообразнѣе. Полицейское управленіе представило бы куда слѣдуетъ, оттуда бы тоже написали куда слѣдуетъ, а въ дорогѣ оно бы и разрѣшилось. Но такой комбинаціи, въ которую бы съ пользой для просвѣщенія могло войти интендантское управленіе, даже придумать никто не могъ.

Одинъ Очищенный не раздѣлялъ нашихъ недоумѣній.

— А я такъ напротивъ думаю, — объяснилъ онъ.—По моему, всякое дѣло, ежели его благополучно свершить желаютъ, непремѣнно слѣдуетъ съ интендантскаго управленія начинать. Ближе къ цѣли.

— Чудакъ! да что̀ же у интендантства общаго, напримѣръ, съ университетомъ?

— Общаго нѣтъ, а „привышные" люди въ интендантствѣ служатъ—вотъ что̀. Зря за дѣло не возьмутся, а ежели возьмутъ, такъ сдѣлаютъ.

— Какъ же они подступятся къ дѣлу, коли оно даже не ихняго вѣдомства?

— Такъ и подступятся. Напишутъ. А ежели долго отвѣта не будетъ, опять напишутъ. Главное дѣло—разговоръ завести. А можетъ быть и интендантскія науки какія-нибудь придумаютъ—тогда и безъ переписки, промежду себя, дѣло оборудуютъ.

Стали разсуждать: могутъ ли существовать интендантскія науки! — и должны были сознаться, что не только могутъ существовать, но и существуютъ. Наука о попеченіи солдатскихъ сухарей—профессоръ Коганъ; наука о мясныхъ и винныхъ порціяхъ — профессоръ Горвицъ; наука о выдачѣ квитанцій за непоставленный провіантъ — профессоръ Макшеевъ. Это только для начала, а ежели дальше перечислять, то пожалуй и въ глазахъ зарябитъ. Десяти факультетовъ мало, и что̀ всего важнѣе—навѣрное ни одна каѳедра никогда вакантной не будетъ. Конечно, такой характеръ университета не вполнѣ будетъ соотвѣтствовать мысли жертвователя, но для начала и это хорошо. Университетъ, да еще заравшанскій... вѣдь это что̀!? А за свою каѳедру Очищенный не боялся. Безъ восточныхъ языковъ въ заравшанскомъ краю обойтись ни подъ какимъ видомъ нельзя, а ѳитпрологія — это вѣдь и есть самый коренной восточный языкъ.

Что̀ же касается до обязательнаго страхованія жизни, то хотя этотъ

предметъ никоимъ образомъ въ предѣлы интендантскаго вѣдомства не входитъ, однако, подумавши, и объ немъ „написать“ можно. Что̀ бы, напримѣръ, написать? да просто: „признавая необходимымъ, въ видахъ успѣшнѣйшаго продовольствія армій и флотовъ...“ А потомъ оно ужъ само собой пойдетъ. И чтобы было вѣрнѣе, непремѣнно нужно написать не туда, куда слѣдуетъ, а куда-нибудь въ бокъ. А оттуда опять въ бокъ напишутъ. И всѣ кругомъ зажужжатъ. Зажужжатъ почты и телеграфы, зажужжатъ финансы, пути сообщенія, иностранныя исповѣданія... Тогда ужъ и *настоящему* вѣдомству волей-неволей придется зажужжать. Смотришь, анъ дѣло и въ шляпѣ.

Поэтому мы рѣшили: ожидать отъ Балалайкина дальнѣйшихъ подвиговъ.

Что̀ же касается до Перекусихина, то объ немъ мы совсѣмъ не имѣли сужденія, предоставивъ его участь усмотрѣнію моршанскаго мѣняльнаго корабля.

Былъ ужъ одиннадцатый часъ утра, когда мы вышли для осмотра Корчевы. И съ перваго же шага насъ ожидалъ сюрпризъ: кромѣ насъ, и еще путешественникъ въ Корчевѣ сыскался. Щеголь въ гороховомъ пальто *), въ цилиндрѣ — ходитъ по площади и тросточкой помахиваетъ. Всматриваюсь: словно какъ на вчерашняго дьякона похожъ... онъ, онъ самый и есть!

— Глумовъ! смотри! вчерашній-то дьяконъ... вонъ онъ!—воскликнулъ я въ испугѣ.

Но Глумовъ, вмѣсто того, чтобъ отвѣтить на мое восклицаніе, въ свою очередь встревоженно крикнулъ:

— Смотри! смотри! вонъ туда! въ тотъ уголъ!

Смотрю и не вѣрю глазамъ: въ углу площади — другой путешественникъ гуляетъ! И тоже въ гороховомъ пальто и въ цилиндрѣ. Вотъ такъ штука!

Помелькали-помелькали, и вдругъ въ нашихъ глазахъ исчезли, словно сквозь землю провалились.

Инстинктивно мы остановились и начали искать глазами, нельзя ли спрятаться гдѣ-нибудь въ коноплях. Но въ Корчевѣ и конопле́й нѣтъ. Стали припоминать вчерашній день, не наговорили ли чего лишняго. Оказалось, что въ сущности ничего *такого* не было, однакожъ...

— Однако, братъ, ты завелъ-таки насъ!—малодушно укорилъ я Глумова.

Но онъ ужъ и самъ сознавалъ свою ошибку. Сконфуженно смотрѣлъ онъ на Фаншушку, какъ бы размышляя: за что̀ я легкомысленно загубилъ такое молодое, прелестное существо? Но милая эта особа не только не выказывала ни малѣйшаго унынія, но, напротивъ, съ беззавѣтною бодростью глядѣла въ глаза опасности.

— Положимъ, что мы ничего *такого* не сдѣлали и не сказали,—продолжалъ я приставать:—но вѣдь этого недостаточно. По нынѣшнимъ обстоя-

*) Гороховое пальто—родъ мундира, который, по слухамъ, одно время былъ присвоенъ собирателямъ статистики.

тельствамъ теплота чувствъ нужна, дѣятельная теплота, а мы ее-то и прозѣвали...

Тѣмъ не менѣе, бодрость Фаннушки на всѣхъ подѣйствовала возстановляющимъ образомъ, такъ что меня ужъ не слушали. Какъ-то разомъ всѣ сознали себя невиноватыми, а извѣстное дѣло, что ежели человѣкъ невиноватъ, то ты хоть его рѣжь, хоть жги — онъ все-таки будетъ невиноватъ. Удивительно, какъ окрыляетъ это сознаніе! какую-то смѣлость и гордость вливаетъ. Даже мѣняло—и тотъ почувствовалъ себя до такой степени невиноватымъ, что тутъ же далъ обѣщаніе, что ежели теперь благополучно пронесетъ, то онъ сполна отвалитъ Перекусихину просимый имъ кушъ.

Разумѣется, Глумовъ только того и ждалъ. По его иниціативѣ мы взяли другъ друга за руки и троекратно прокричали: „рады стараться, ваше пре-вос-хо-ди-тель-ство!“ Смотримъ—анъ и гороховое пальто тутъ же съ нами руками сцѣпилось! И только-что мы хотѣли ухватиться за него, какъ его ужъ и слѣдъ простылъ.

Глава XVIII.

Соборъ оказался отличный: просторный, свѣтлый. Мы осмотрѣли все въ подробности, и стѣны, и иконостасъ, и ризницу. Все было въ наилучшемъ видѣ. Прекраснѣйшее паникадило, массивное евангеліе, изящной работы напрестольный крестъ—все одно къ одному. И при этомъ вездѣ оказался жертвователемъ купецъ Вздошниковъ.

— А въ будущемъ году господинъ Вздошниковъ обѣщаютъ колоколъ соорудить—тогда пожалуй и въ Кимрѣ намъ позавидуютъ!—сообщилъ отецъ дьяконъ, показывавшій намъ достопримѣчательности собора.—А еще черезъ годикъ и наружную штукатурку они же возобновятъ.

И тѣмъ не менѣе, купецъ Вздошниковъ не только Корчеву, но и весь Корчевской уѣздъ у себя въ плѣну держитъ. Одною рукою жертвуетъ, а другою—въ карманахъ у обывателей шаритъ, причемъ, конечно, и „балансъ“ соблюдаетъ. Во всѣхъ кабакахъ у него часть, и ежели Разноцвѣтовъ прогорѣлъ, то потому единственно, что не захотѣлъ покориться, тягаться вздумалъ. А то бы и онъ теперь у Вздошникова на побѣгушкахъ бѣгалъ и, въ воздаяніе, щи бы съ требушиной ѣлъ. Кромѣ того, Вздошниковъ и виноградныя вина дѣлаетъ: мадеру, портвейнъ, лафитъ, рейнвейнъ. И все съ золотыми ярлыками и съ обтянутыми фольгой пробками. Въ Кашинѣ эти вина дѣлаютъ на манеръ иностранныхъ, а Вздошниковъ дѣлаетъ ужъ на манеръ кашинскихъ. Но и тѣ, и другія—все равно, что иностранныя. Онъ же, Вздошниковъ, рощами торгуетъ, и, съ божьей помощью, довелъ сажень дровъ ужъ до пяти рублей.

— Мѣсто наше бѣдное, — сказалъ отецъ дьяконъ:—ежели всѣ захотятъ кормиться, только другъ у дружки безъ пользы куски отымать будутъ. Сыты не сдѣлаются, а по пустому разорятъ. А ежели одному около всѣхъ кормиться—это можно.

Когда же мы уже раскланивались на крыльцѣ, то прибавилъ:

— А вотъ и домъ его каменный на бугорочкѣ стоитъ—всей Корчевѣ красота! Сходите, полюбопытствуйте. У него и сейчасъ два путешественника закусываютъ.

Но мы поспѣшили къ старичку, хотя, въ виду общенія Вздошникова съ гороховыми пальто, чувство самосохраненія должно было бы подсказать намъ, что сходить поклониться человѣку, въ домѣ котораго повидимому была штабъ-квартира корчевской благонамѣренности,—голова не отвалится.

Старичокъ дѣйствительно оказался древній: зубовъ нѣтъ, глаза вытекли, черепъ — совсѣмъ голый. Вмѣсто всего—свидѣтельство корчевского полицейскаго управленія, удостовѣряющаго, что предъявитель сего, мѣщанинъ Онисимъ Дадоновъ, имѣетъ сто семь лѣтъ, *или болье, или менье.* Сидѣлъ Дадоновъ въ большомъ истрепанномъ креслѣ, подаренномъ ему покойнымъ историкомъ Погодинымъ, „въ воспоминаніе пріятно проведенныхъ минутъ“; на немъ была надѣта чистая бѣлая рубашка, а на ногахъ лежало ситцевое стеганое одѣяло: очевидно, что домашніе были заранѣе предувѣдомлены объ нашемъ посѣщеніи. Но въ комнатѣ было душно; ее и лѣтомъ рѣдко освѣжали, потому что старикъ боится заболѣть и умереть. У старичка есть дочь, большуха, которая тоже неподвижно полулежитъ на лавкѣ, подъ образами, и тоже не можетъ сказать, когда она родилась, а помнитъ только, что въ тотъ годъ, когда была „некрутчина“. И у нея нѣтъ ни волосъ, ни зубовъ, но зрѣніе она еще сохранила, хотя впрочемъ слабое, и вслѣдствіе этого часто глотаетъ мухъ. За стариками прислуживаетъ „молодуха“, женщина лѣтъ шестидесяти-пяти, которая еще бодрится, но жалуется, что ноги у нея мозжатъ. Молодуха приняла насъ радушно и тотчасъ же показала свидѣтельство.

— Посмотрите на нашего старичка—вотъ и пакентъ у насъ, не обманываемъ! деньги за него каждый годъ платимъ—сорокъ копѣечекъ!

И она указала на сорокакопѣечную марку, которая была прилѣплена къ свидѣтельству, въ знакъ того, что старикъ—казенный. Сверхъ того, она вынула изъ стола и показала намъ засиженный мухами листъ, на которомъ знаменитые посѣтители вписывали свои имена. Замѣчательнѣе всего были слѣдующія подписи: „Сумлеваюсь, штопъ сей старикъ наказаніе шпицрутенами выдоржалъ. Гр. Алексій Аракчеевъ“; и подъ нею: „фсемъ же сумлеваюсь генералъ-майёръ Бритый“. Послѣднимъ подписался академикъ Михаилъ Погодинъ (іюль 1862 года) и съ тѣхъ поръ уже никто къ старичку не заглядывалъ.

— Да вѣдь въ шестьдесятъ-второмъ году ему и девяноста лѣтъ не было—что́ же тутъ было любопытствовать?—усомнился я.

— А кто его, батюшка, знаетъ, сколько ему лѣтъ!—возразила молодуха:—лѣтъ ужъ сорокъ все сто-семь ему лѣтъ значится—ужъ и стариться-то онъ словно пересталъ!

Начали мы предлагать старичку вопросы; но оказалось, что онъ только одно помнитъ: сначала родился, а потомъ жилъ. Даже объ Аракчеевѣ утратилъ всякое представленіе, хотя, по словамъ „большухи“, послѣдній пригрозилъ ему записать безъ выслуги въ апшеронскій полкъ рядовымъ, ежели

не прекратитъ тунеядства. И непремѣнно выполнилъ бы свою угрозу, еслибъ самъ въ скоромъ времени не подпалъ опалѣ.

Таковъ неумолимый законъ судебъ! Какъ часто человѣкъ, въ пылу непредусмотрительной гордыни, сулитъ содрать шкуру со всего живущаго, и вдругъ — открывается трапъ, и онъ самъ проваливается въ преисподнюю... изъ ликующаго дѣлается стенящимъ—а тѣ, которые вчера ожидали содранія кожи, внезапно расправляютъ крылья и начинаютъ дразниться: что̀ взялъ? грибъ съѣлъ! Ахъ, господа, господа! а что̀, ежели...

— Но вы-то сами что-нибудь помните?—обратился Глумовъ къ молодухѣ.

— Какъ не помнить... пожаръ былъ! всѣ въ ту пору погорѣли... А послѣ, черезъ десять лѣтъ, только-что обстроились, опять пожаръ!

— Ну, что̀ пожары! насчетъ обычаевъ здѣшнихъ не можете ли что̀ сказать? Напримѣръ, пѣсни, пляски, хороводы, сказки, преданія...

Молодуха задумалась. Очевидно, не поняла вопроса.

— Время какъ проводите?—пояснилъ я:—пѣсни играете? хороводы водите? сказки сказываете?

— Строго нонѣ. Вотъ прежде точно что противъ дому на площади хороводы игрывали... А нонѣ ровно и не до сказокъ. Все одно что въ гробу живемъ...

— Отчего же, вы полагаете, такая перемѣна случилась? оттого ли, что внутренняя политика измѣнила направленіе, или оттого, что пѣть не объ чемъ стало?

Но старуха опять не поняла.

— Какъ бы вамъ это объяснить? Ну, напримѣръ... что̀, бишь? ну, напримѣръ, литература... Прежде, бывало, господа литераторы и пѣсни играли, и хороводы водили, а нынче хрюканье всѣ голоса заглушило... отчего?

— Урядники нонѣ... — несмѣло отвѣтила молодуха, точно сама сомнѣвалась, угадала ли.

— Вотъ и прекрасно. Корреспондентъ! запиши! Урядники. Ну, а еще что̀ можете сказать? чѣмъ, напримѣръ, живете? кормитесь помаленьку?

— Такъ коё-чѣмъ. Тальки пряду; продамъ—хлѣба куплю. Мыкаемся тоже. Старичокъ-то вонъ мяконькаго все проситъ...

— А какъ вы примѣчаете, когда изобильнѣе жилось: прежде или нынче?

— Какъ можно супроти прежняго! прежде-то мы...

— Щи мы, сударь, прежде ѣли!—крикнула изъ угла старуха, вращая потухающими глазами. И словно въ изступленіи повторила:—щи ѣли! щи!

— Кашки бы...—сочувственно пискнулъ старичокъ, словно икнулъ.

— Но отчего же вдругъ такое оскудѣніе?

— Да какъ сказать... не вдругъ оно... Сегодня худо, завтра хуже, а напослѣдокъ и еще того хуже...

— Ну, а урядники... не думаете ли вы, что они и въ этомъ отношеніи...

— Должно быть, что они...

Но тутъ случилось нѣчто диковинное. Не успѣла молодуха порядкомъ объясниться, какъ вдругъ, словно громъ, среди насъ упала фраза:

— Урядники да урядники... Да говорите же прямо: оттого, молъ, старички, худо живется, что правового порядка нѣтъ... ха-ха!..

Мы удивленно переглянулись, но оказалось, что никто изъ насъ этой фразы не произносилъ. Въ то же время мы почувствовали какое-то дуновеніе, какъ у спиритовъ на сеансахъ. И вдругъ мимо насъ шмыгнуло гороховое пальто и сейчасъ же растаяло въ воздухѣ.

— Это не настоящее пальто... это спектръ его!—шепнулъ мнѣ Глумовъ:—внутри оно у насъ... въ сердцахъ нашихъ... Все равно, какъ жаждущему вода видится, такъ и намъ... Всѣ видѣли?

Оказалось, что *мы* видѣли, но изъ хозяевъ никто не видѣлъ и не слышалъ.

— Прежде-то въ нашемъ мѣстѣ и куръ, и утокъ, и гусей водили,—продолжала молодуха.—Я-то ужъ не застала, а дѣдушка сказывалъ. А ныньче и коршуну во всей Корчевѣ поживиться нечѣмъ!

— Щи ѣли! щ-щ-щи!—опять цыркнула старуха озлобленно.

— А когда щи-то ѣли—вы еще застали?—продолжалъ допрашивать Глумовъ молодуху.

— На кончикѣ. Помню, что до двадцати лѣтъ ѣдала, а потомъ...

Но въ это время таинственный голосъ опять прозвучалъ:

— А по вашему, стоитъ только правовой порядокъ завести — и щи явятся... Либералы... ха-ха!

Спектръ гороховаго пальто выступилъ на секунду въ воздухѣ и растаялъ.

Мы поспѣшили расплатиться и уйти. Машинально разспросили дорогу къ изобрѣтателю perpetuum mobile и машинально же дошли до его избы, стоявшей на краю города.

Мѣщанинъ Презентовъ встрѣтилъ насъ съ какою-то тихою радостью: очевидно, онъ не былъ избалованъ судьбою. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати-пяти, худой, блѣдный, съ большими задумчивыми глазами и длинными волосами, которые прямыми прядями спускались къ шеѣ. Изба у него была достаточно просторная, но цѣлая половина ея была занята большимъ маховымъ колесомъ, такъ что наше общество съ трудомъ въ ней размѣстилось. Колесо было сквозное, со спицами. Ободъ его, довольно объемистый, сколоченъ былъ изъ тесинъ, на подобіе ящика, внутри котораго была пустота. Въ этой-то пустотѣ и помѣщался механизмъ, составлявшій секретъ изобрѣтателя. Секретъ, конечно, не особенно мудрый, въ родѣ мѣшковъ, наполненныхъ пескомъ, которымъ предоставлялось взаимно другъ друга уравновѣшивать. Сквозь одну изъ спицъ колеса продѣта была палка, которая удерживала его въ состояніи неподвижности.

— Слышали мы, что вы законъ вѣчнаго движенія къ практикѣ примѣнили?—началъ я.

— Не знаю, какъ доложить,—отвѣтилъ онъ сконфуженно:—кажется, словно бы...

— Можно взглянуть?

— Помилуйте! за счастье...

Онъ подвелъ насъ къ колесу, потомъ обвелъ кругомъ. Оказалось, что и спереди, и сзади—колесо.

— Вертится?—спросилъ Глумовъ.

— Должно бы, кажется, вертѣться... Капризится будто...

— Можно отнять запорку?

Презентовъ вынулъ палку—колесо не шелохнулось.

— Капризится!—повторилъ онъ:—надо и́мпетъ дать.

Онъ обѣими руками схватился за ободъ, нѣсколько разъ повернулъ его вверхъ и внизъ и наконецъ съ силой раскачалъ и пустилъ — колесо завертѣлось. Нѣсколько оборотовъ оно сдѣлало довольно быстро и плавно—слышно было однакожъ, какъ внутри обода мѣшки съ пескомъ то напираютъ на перегородки, то отваливаются отъ нихъ—потомъ начало вертѣться тише, тише; послышался трескъ, скрипъ, и наконецъ колесо совсѣмъ остановилось.

— Зацѣпочка, стало быть, есть,—сконфуженно объяснялъ изобрѣтатель и опять напрягся и размахалъ колесо.

Но во второй разъ повторилось то же самое.

— Скажите, сами вы до этого дошли?—спросилъ Глумовъ, стараясь сообщить своему голосу по возможности ободряющій тонъ.

— Охота у меня... Только вотъ настоящимъ образомъ дойти не умѣю...

— Тренія, можетъ быть, въ разсчетъ не приняли?

— И треніе въ разсчетѣ было... что̀ треніе? Не отъ тренія это, а такъ... Иной разъ словно порадуетъ, а потомъ вдругъ... закапризничаетъ, заупрямится—и шабашъ! Кабы колесо изъ настоящаго матерьялу было сдѣлано, а то такъ, обрѣзки кое-какіе... Недостатки наши...

— Кто-нибудь осматривалъ у васъ колесо?

— Были-съ.

— И что̀ же?

Презентовъ стоялъ, понуривъ голову, и молчалъ.

Я инстинктивно оглянулъ горницу, и самъ опустилъ голову: такъ въ ней было все непріютно, голо, словно выморочно. Въ углу — одинокій образъ, съ воткнутой сзади, почти истлѣвшей отъ времени вербой; голая лавка, голыя стѣны, порожній столъ. На окнѣ стояла глиняная кружка съ водой и рядомъ лежалъ толстый сукрой чернаго хлѣба. Можетъ быть, это былъ завтракъ, обѣдъ и ужинъ Презентова. Не замѣчалось ни одного изъ признаковъ, говорящихъ о хозяйственности, о пріютѣ. Даже неопрятности, столь обыкновенной въ мѣщанской избѣ, не было, а именно какая-то унылая заброшенность. И на общемъ фонѣ этой оголтѣлости и выморочности какъ-то необыкновенно сиротливо выступалъ этотъ человѣкъ, самъ оголтѣлый и выморочный. Ка̀къ онъ тутъ жилъ? Собственно говоря, разъ колесо было налажено, ему и дѣлать ничего не оставалось. Вѣроятно онъ населялъ это пространство призраками своей фантазіи, или, уснетаемый мечтательной праздностью, проводилъ дни въ безсильномъ созерцаніи заколдованнаго колеса, изнывая отъ жгучихъ стремленій къ чему-то безмѣрному, необъятному, которое именно неясностью своихъ очертаній покоряло его себѣ.

— Вы бы къ какому-нибудь дѣлу попроще приспособились,—участливо посовѣтовалъ ему Глумовъ.

Презентовъ продолжалъ молчать.

— Допустимъ даже, что задача ваша достижима: но вѣдь это пред-

пріятіе сложное, далекое... На пути къ нему есть множество задачъ, болѣе доступныхъ, разработка которыхъ, и сама по себѣ полезная, могла бы, сверхъ того, и лично вамъ оказать поддержку...

— Мнѣ что̀! вотъ колесо настоящимъ бы образомъ...—промолвилъ онъ тихо.

Въ этихъ словахъ звучала такая убѣжденность, что Фаинушкѣ вдругъ взгрустнулось.

— Хозяюшка у васъ есть? —спросила она ласково.

— Одинъ я. И женатъ не былъ. Матушка у меня, съ годъ назадъ, померла—съ тѣхъ поръ одинъ и живу. И горницу прибрать некому,—прибавилъ онъ, конфузливо улыбаясь.

Признаюсь, я думалъ, что Фаинушка вынетъ изъ бумажника сторублевую и скажетъ: вотъ вамъ... на колесо! —однако милая дамочка съ минуту погрустила, а вслѣдъ затѣмъ опять оправилась.

— А давно вы этимъ дѣломъ занимаетесь? — продолжалъ допрашивать Глумовъ.

— Да и не помню ужъ... Охота такая...

— Подумайте, однакожъ. Сколько лѣтъ вы одну работу работаете, а гдѣ же результаты?

— Можетъ, и дойду.

Дальнѣйшій разговоръ былъ невозможенъ. Даже Глумовъ, отъ природы одаренный ненасытнымъ любопытствомъ, и тотъ понялъ, что продолжать ворошить этого человѣка, въ угоду вояжерской любознательности, неумѣстно и безсовѣстно. Какъ вдругъ Очищенный, невѣдомо съ чего, всполошился.

— А податей много сходитъ?—спросилъ онъ.

— Податей нынче не берутъ, а пакенты велятъ брать.

Онъ поспѣшно вынулъ изъ стола промысловое свидѣтельство (цѣна 2 р. 50 к.) и показалъ намъ. Быть можетъ, у него въ головѣ мелькнуло, что мы собственно для того и пришли, чтобъ удостовѣриться.

— Дорогонько! — молвилъ Очищенный, инстинктивно обводя взоромъ комнату.

— Для чего же вамъ свидѣтельство? Вѣдь вы постояннымъ промысломъ не занимаетесь?—удивился Глумовъ.

— Случается. Намеднись господину исправнику табакерку съ музыкой чинилъ, а мѣсяцъ назадъ помѣщику одному вѣялку привезли, такъ сбирать ѣздилъ. Набѣгаетъ тоже работишка.

— Ну, а вообще живется какъ?

Начался заправскій допросъ. Какія пѣсни, сказки; нѣтъ ли слѣпенькаго пѣвца... Куда бы онъ привелъ насъ—не знаю. Быть можетъ, къ вопросу о недостаточномъ вознагражденіи труда или къ вопросу о накопленіи и распредѣленіи богатствъ, а тамъ, полегоньку да помаленьку, и прямо на край бездны. Но гороховое пальто и на этотъ разъ не оставило насъ.

— Да что̀ же вы спрашиваете? развѣ можно жить въ странѣ, въ которой правового порядка нѣтъ? Личность—не обезпечена, завтрашній день—неизвѣстенъ... Либералы... ха-ха! —произнесло оно отчетливо и звонко.

Опять почувствовали мы знакомое дуновеніе и опять мимо насъ промелькнула гороховая масса, увѣнчанная цилиндромъ; промельнула и растаяла.

— Спектръ!—воскликнулъ Глумовъ:—но спектръ спасительный, господа! Онъ посылается намъ для того, чтобъ мы знали, что̀ можно и что̀ нельзя... И такъ, возблагодаримъ...

. . . .

Хотя мы и обѣщали Пантелею Егорычу, при первой возможности, отправиться дальше, но пароходъ не приходилъ, и мы поневолѣ должны были остаться въ Корчевѣ. По возвращеніи на постоялый дворъ, мы узнали, что Разноцвѣтовъ гдѣ-то купилъ, за недоимку, корову и расторговался говядиной. Часть туши онъ уступилъ намъ и сварилъ отличныя щи, остальное—продалъ на сторону. А на вырученныя деньги накупилъ патентовъ.

Какъ бы то ни было, но мы наѣлись. А наѣвшись, возмечтали. Наступили сумерки—нужно было какъ-нибудь скоротать вечеръ. Попробовали-было загадать: что̀ такое Корчева? - - Но отвѣтъ былъ черезчуръ ужъ короткій: Корчева есть Корчева. Тогда Глумовъ предложилъ прочитать намъ лекцію изъ исторіи, на что̀ мы съ радостью согласились. Настолько, насколько это было возможно въ скромной обстановкѣ постоялаго двора, онъ коснулся призванія варяговъ, потомъ безпрепятственно облетѣлъ періоды: удѣльный, татарскій, московскій, петербургскій, и приступилъ къ современности. Но едва вымолвилъ онъ вступительныя слова: „Современность, переживаемая нами, подобна камаринскому мужику, который...“ —какъ вдругъ нѣкто неожиданно произнесъ:

— Извольте повторить, что̀ вы сказали!

Мы обернулись: въ дверяхъ стояло гороховое пальто.

Спектръ это былъ, или не спектръ?

Въ одну секунду мы потушили свѣчу и, шмыгнувъ мимо непрошеннаго гостя, очутились на улицѣ.

Глава XIX.

Цѣлую ночь мы бѣжали. Дождь преслѣдовалъ насъ, грязь забрасывала съ ногъ до головы. Куда надѣялись мы убѣжать?—на этотъ вопросъ врядъ-ли кто-нибудь изъ насъ далъ бы отвѣтъ. Еслибъ мы что-нибудь сознавали, то, разумѣется, поняли бы, что какъ ни великъ Божій міръ, но отъ спектровъ, его населяющихъ, все-таки спрятаться некуда. Жестокая и чисто-животненная паника гнала насъ впередъ и впередъ.

Я слышалъ, какъ Фаинушка всхлипывала отъ боли, силясь не отставать, какъ „нашъ собственный корреспондентъ“ задыхался, неся въ груди зачатки смертельнаго недуга; какъ мѣняло, дойдя до экстаза, восклицалъ: „накатилъ, сударь, накатилъ!“ А дождь свирѣпѣлъ больше и больше и небо все гуще и гуще заволакивалось тучами. Ни одного жилья мы не встрѣтили, и какъ насъ не съѣли волки — этого я понять не могу. Навѣрное они кое-что слышали объ насъ отъ урядниковъ и опасались отнять у насъ жизнь, потому что съ нашимъ исчезновеніемъ могли затеряться корни и нити, которые имѣло въ

виду гороховое пальто. Какъ бы то ни было, но этимъ чисто-охранительнымъ соображеніямъ мы были обязаны жизнью.

Наконецъ однакожъ выбились изъ силъ. Повидимому былъ уже часъ пятый утра, потому что начиналъ брезжить свѣтъ и на общемъ фонѣ сѣрыхъ сумерекъ стали понемногу выступать силуэты. Передъ нами разстилался прудъ, за которымъ темнѣла какая-то масса.

Вглядываюсь, и не вѣрю глазамъ—передо мною Проплёванная! *) Она, она, она. Вонъ и дорога, ведущая въ усадьбу. По одну сторону — большой прудъ, обсаженный березами, по другую — старинный „плодовитый“ садъ. А вонъ и барскій домъ, сѣрый, намокшій, едва выдѣляется изъ сумерекъ, а за домомъ опять темная масса — это другой садъ, при самомъ домѣ. Но гдѣ же „красный“ дворъ? гдѣ флигеля, конюшня, скотная?

Съ самой „катастрофы“ я не былъ въ Проплёванной. Въ то время я впопыхахъ пріѣхалъ, впопыхахъ что-то кончилъ, чѣмъ-то распорядился и впопыхахъ же уѣхалъ. Стараго Аверьяныча приставилъ хранить господское добро и получать „ренду“ за сверхнадѣльную землю. Эту „ренду“, въ количествѣ трехсотъ рублей, я получалъ до такой степени аккуратно, что даже дворникъ, носившій въ кварталъ повѣстку для засвидѣтельствованія, радостно говорилъ: „ренду съ вотчины получили!“ Получалъ я также отъ времени до времени доносы, обвинявшіе Аверьянова въ кражѣ, хищеніи, грабежѣ и другихъ уголовныхъ преступленіяхъ; но такъ какъ я на доносы не откликался, то постепенно все стихло. И я непремѣнно забылъ бы о существованіи отчины и дѣдины, еслибъ три сотенныя бумажки ежегодно не напоминали мнѣ, что гдѣ-то существуетъ защищенное межевыми знаками „мѣстоположеніе“, которое признаетъ меня своимъ владыкою.

Радость, которую во всѣхъ произвело открытіе Проплёванной, была неописанная. Фаинушка разрыдалась; Глумовъ блаженно улыбался и говорилъ: „ну вотъ! ну вотъ!“ Очищенный и мѣняло присѣли на пеньки, сняли съ себя сапоги и радостно выливали изъ нихъ воду. Даже „нашъ собственный корреспондентъ“, который, кромѣ водки, вообще ни во что не вѣрилъ — и тотъ вспомнилъ о Богѣ и перекрестился. Всѣмъ представилось, что наконецъ-то обрѣтено злачное мѣсто, въ которомъ тепло и уютно и гдѣ не настигнутъ ни подозрѣнія, ни навѣты.

— Урядники-то, полно, тутъ есть ли? — самонадѣянно воскликнулъ Глумовъ, но тутъ же одумался и суевѣрно прибавилъ: — сухо дерево, завтра пятница!

Я провелъ своихъ спутниковъ къ барскому крыльцу и самъ отправился разыскивать Аверьяныча. Но таково дѣйствіе „власти земли“, что по мѣрѣ того, какъ я углублялся въ подвластное мнѣ пространство, я чувствовалъ, какъ внутри меня начинаютъ разгораться хозяйскіе инстинкты. Я шелъ на поиски и озирался по сторонамъ. Прудъ — цѣлъ, но не выловлены ли караси? Красный дворъ — вотъ онъ, но кругомъ его прежде была рѣшотка —

*) Оффиціальное названіе усадьбы — „Золотое дно“; „Проплёванною“ же она называлась въ просторѣчіи, потому что во времена оны прежній владѣлецъ проигралъ ее моему дѣдушкѣ въ плевки.

гдѣ она? Вотъ тутъ, въ углу, стоялъ флигель, а теперь навалена куча мусора, по которому привольно разрослась крапива. Вотъ тутъ стояла кудрявенькая береза—тетенька Варвара Ивановна посадила — а теперь торчитъ пень. Гдѣ конюшни? куда дѣлся скотный дворъ? Лошади были! коровы были! овца! Вспомнились доносы, и хозяйское сердце заныло. Самъ виноватъ! какъ-то само собой складывалось въ умѣ. Надлежало тогда же сломя голову летѣть въ Проплёванную, выслѣдить, уличить, а буде нужно, то и ходатайствовать по судамъ. Флигель-то — онъ, на худой конецъ, пятьдесятъ цѣлковыхъ стоилъ, а ежели на охотника... Но, съ другой стороны, припоминалось и то, что Аверьянычъ отъ времени до времени, кромѣ „ренды“, и еще какія-то деньги присылалъ. Какія? Помню, словно сквозь сонъ, что онъ сначала писалъ: „продали лошадь саврасую палочницу“, потомъ: „продали мерина голубого“; потомъ: корову, другую корову... и, кажется, флигель? Помнится, что объ скотной я даже самъ что-то писалъ... кажется, Марьѣ-вдовѣ, да Акулинѣ-перевезенкѣ, за вѣрную службу, подарилъ? Обѣ онѣ, помнится, на судьбу жаловались: „служили мы папенькѣ-маменькѣ вашимъ, въ слезахъ хлѣбъ ѣли, а нонѣ слезы остались, а хлѣба нѣтъ“...

И все-таки, когда я уѣхалъ изъ Проплёванной, усадьба была цѣла. Это первоначальное впечатлѣніе вытѣснило всѣ послѣдующія подробности. Красный дворъ былъ обсаженъ березками и обнесенъ рѣшоткой; теперь березки стали большими березами, а рѣшотки нѣтъ, и дворъ весь изъѣзженъ. Точно также оба сада были обнесены частоколомъ, а теперь и они слились съ проѣзжей дорогой: всякій входи и въѣзжай куда хочешь. Яблони-то цѣлы ли? вишни? Вонъ отъ оранжереи только труба торчитъ, да и у той половина кирпичей растаскана. Помню, громадная липа, старая-престарая, стояла направо отъ дома—сколько цвѣту съ нея собиралось и какія массы пчелъ жужжали въ ея непросвѣтной листвѣ! — гдѣ она? А за липой старая березовая аллея шла. Какъ сейчасъ помню: у крайней березы, внизу, одинъ бокъ былъ точно кровью залитъ, потому что весной изъ нея точили березовицу... гдѣ эта аллея? Правда, въ этой сторонѣ и теперь еще виднѣются издали какіе-то гиганты, но уже не сплошною массой, а въ одиночку. И какъ-то сердито качаютъ они вершинами, словно отбиваются отъ одолѣвающаго ихъ молодого древеснаго подсѣда...

Всѣ эти воспоминанія и представленія безпорядочно мелькали въ головѣ, замедляя мои поиски. Весьма вѣроятно, что вслѣдъ за симъ же все разъяснится и сыщется, но хозяйскіе инстинкты такъ упорны, что я съ трудомъ овладѣлъ собой. Гдѣ же скрывается однакожъ Аверьянычъ? Кругомъ было пусто, и, кромѣ чириканья проснувшихся воробьевъ, ничего не было слышно. Въ полуверстѣ чернѣлъ поселокъ, надъ которымъ уже носился дымъ отъ затапливаемыхъ печей; но я зналъ, что Аверьянычъ не имѣлъ на селѣ родныхъ, у которыхъ могъ бы пріютиться. Наконецъ я припомнилъ, что въ саду была когда-то поставлена банька, и направился туда.

Садъ заросъ и заглохъ необыкновенно: не видно было ни клумбъ, ни дорожекъ. Только одна тропинка шла вглубь отъ ветхой калитки, которая еще держалась на одной петлѣ, прислонившись къ столбу, составлявшему часть исчезнувшей рѣшотки. Когда-то въ саду было посажено нѣсколько раз-

ныхъ сортовъ тополей; теперь эти тополи разостлали свои корни по всему саду и подошли къ самому дому. Были тутъ прежде цѣлыя клумбы зимующихъ розъ, были группы воздушнаго жасмина, жимолости, бузины; была большая продольная аллея изъ сиреней и нѣсколько боковыхъ аллей изъ акацій—теперь все это исчезло, порабощенное тополемъ. Только безчисленная масса воробьевъ свободно ютилась въ этой чащѣ, которая такъ переплелась и перепуталась, какъ будто хотѣла защитить себя отъ посторонняго вторженія. Я знаю многихъ, на которыхъ картина подобной заброшенности производитъ чарующее впечатлѣніе, но мнѣ, при видѣ ея, просто сдѣлалось обидно. Какъ будто изъ всей этой густой, приземистой массы неслись мнѣ на встрѣчу слова: нечего тебѣ здѣсь дѣлать! нечего! нечего!

Аверьяныч сидѣлъ на приступочкѣ баннаго крыльца и жевалъ. Но, увидѣвъ посторонняго человѣка, испугался и торопливо спряталъ за пазуху ломоть чернаго хлѣба. Онъ еще былъ живъ, хотя до того состарѣлся, что лицо его какъ бы подернулось мхомъ. Услышавши шумъ, выглянули изъ дверей Марья-вдова и Акулина-перевезенка, которыя очевидно жили тутъ же. У Марьи-вдовы была дочь Полька, карлица, робкая, косноязычная, съ кошачьими зрачками и выпяченнымъ брюшкомъ, которая споконъ вѣку находилась при домѣ „въ дѣвчонкахъ“ —и она на крыльцо выбѣжала. И несмотря на то, что ей было за пятьдесятъ—все еще смотрѣла дѣвчонкой.

— Полька! когда же ты замужъ-то выйдешь?—пошутилъ я по-барски.

Тогда только всѣ опомнились.

— Ахъ, да никакъ это баринъ!

И до того обрадовались, что прослезились и бросились „ручку“ ловить. Какъ будто у этихъ людей наканунѣ доѣденъ былъ послѣдній каравай хлѣба, и не спустись я къ нимъ, словно съ облаковъ, на завтра же имъ угрожала неминучая смерть.

— Живы?—продолжалъ я шутить.

— Что̀ намъ дѣется! Мы понѣ — казенные. Ни въ огнѣ не горимъ, ни въ водѣ не тонемъ, - пошутили и они въ тонъ мнѣ.

И, на секунду пригорюнившись, въ одинъ голосъ прибавили:

— Красавецъ вы нашъ!

Наконецъ отперли двери дома и отворили ставни. Съ перваго же шага насъ такъ и обдало опальными запахами. Въ залѣ половицы слегка колебались, штукатурка кусками валялась на полу, а на потолкѣ виднѣлись бурые круги вслѣдствіе течи: по срединѣ комнаты стоялъ круглый банкетный столъ, на которомъ лежалъ старинный-старинный нумеръ „Московскихъ Вѣдомостей“. Въ гостиной было совсѣмъ темно отъ тополей, которые хлестали въ окна намокшими вѣтвями. Въ маменькиной спальной поселилось семейство хомяковъ, которые повидимому не имѣли никакого представленія о человѣкѣ и его свойствахъ, потому что нимало не смутились при нашемъ появленіи и продолжали бѣгать другъ за другомъ. Словомъ сказать, всюду, куда мы ни проникали, насъ въ одно мгновеніе пронзало сыростью, выморочностью, запустѣніемъ.

Такою предстала передо мной колыбель, убаюкивавшая мою юность золотыми снами. Все здѣсь взывало къ памяти прошлаго. Не было въ этомъ домѣ

окна, изъ котораго я несчетное число разъ не вопрошалъ бы пространство, въ смутномъ ожиданіи волшебства; не было въ этомъ саду куста, который не подглядѣлъ бы потаеннаго процесса, совершавшагося въ юношѣ, того творческаго процесса, въ которомъ, какъ солнечный лучъ въ утреннихъ сумеркахъ, брезжится будущій „человѣкъ“. Не было пяди земли, которая не таила бы слова обличенія въ нѣдрахъ своихъ, которая не могла бы свидѣтельствовать...

И все это: и домъ, и садъ, и земля — стояло забытое, оброшенное, почти поруганное...

Чуть-чуть было я не разнѣжился; но общее положеніе послѣ ночныхъ приключеній было таково, что подавляло всякій порывъ чувствительности. Прежде всего намъ требовалось сухое бѣлье и платье, а потомъ — пища. Принесли связку ключей, и послѣ непродолжительныхъ поисковъ добыли цѣлую кучу бѣлья и женскихъ блузъ. Но по части мужскихъ одѣяній ничего не нашлось, кромѣ четырехъ дворянскихъ мундировъ, въ которыхъ папенька и дѣдушка въ свое время щеголяли на выборахъ. Мундиры были необыкновенно странные: съ коротенькими таліями и длинными узенькими фалдами назади. Кое-гдѣ сукно было побито молью, а на одномъ мундирѣ оказалось даже вывороченнымъ; шитье потемнѣло и отдавало запахомъ мѣди. Дѣлать однакожъ было нечего, пришлось одѣться въ мундиры; но такъ какъ ихъ было только четыре, то на мѣнялу, въ воздаяніе отличныхъ заслугъ, возложили блузу. Часа черезъ два мы были уже обсушены и обогрѣты; а когда Марья-вдова накормила насъ яичницей, то всѣ ночныя злоключенія забылись, и мы почувствовали себя такъ хорошо, какъ будто всю жизнь провели въ мундирахъ, готовые защищать свои дворянскія права̀.

Между тѣмъ на селѣ пріѣздъ нашъ произвелъ впечатлѣніе. Первымъ толкнулся въ усадьбу батюшка и стыдливо потупилъ глаза, увидѣвъ меня въ папенькиныхъ штанахъ съ отложнымъ гульфомъ. Но когда узналъ, что Проплёванную торгуетъ у меня купчиха Стёгнушкина, которая будетъ тутъ жить и служить молебны и всенощныя, то ободрился и сталъ считать на пальцахъ: одинъ двугривенный, да другой двугривенный, да четвертакъ... Потомъ прибѣжалъ деревенскій староста и разсказалъ, что пришли на село въ побывку два солдата; одинъ говоритъ: скоро опять крѣпостное право будетъ; а другой говоритъ: и земля, и вода, и воздухъ — все будетъ казенное, а казна ужъ отъ себя всѣмъ раздавать будетъ. Такъ которому солдату вѣрить?

— Какъ это... „казенное“?—не понялъ я.

— Рѣшительно, то-есть, все... какъ есть!—пояснилъ староста.

Вопросъ былъ мудреный: пахло превратными толкованіями. Ежели отвѣтить, что оба солдата врутъ—скажутъ, пожалуй, что я подрываю авторитетъ арміи и флотовъ. Ежели склониться на сторону одного изъ двухъ вѣстовщиковъ, такъ не извѣстно, который изъ нихъ превратнѣе. Кажется, какъ будто первый солдатъ меньше превратенъ, нежели второй, а впрочемъ...

— Богу молиться нужно! — замѣтилъ я наконецъ, взглянувъ на батюшку.

— И я имъ тоже говорю,—отозвался батюшка:—не надѣйтесь ни на князи, ни на сыны человѣческіе, а къ Богу прибѣгайте!

Тогда староста широко перекрестился и спросилъ:

— А пачпорты есть?

И въ объясненіе своего требованія (все-таки я когда-то ему „замѣсто отца“ былъ!) понесъ околесную, изъ которой можно было только разобрать: „почему что“ да „спаси Богъ!“ И въ заключеніе: „нонѣ строго!“

— Вонъ ужъ Успленья на дворѣ, — сказалъ онъ: — а мы, благослови Господи, сѣять-то и не зачинали!

— Чтò такъ?

— Все сицилистовъ ловимъ. Намеднись всѣмъ опчествомъ двое сутокъ въ лѣсу ночевали, искали его — анъ онъ, каторжный, у всѣхъ на глазахъ убёгъ!

— Сицилистъ-то?!

— Онъ самый. Видимъ, что бѣжитъ... ахъ, батюшки! господа хрестьяне! вонъ онъ! лови, братцы, лови! — Куда-те! такъ между пальцевъ, словно вьюнъ, уползъ!

Послѣ старосты пришла дѣвушка съ села и возвѣстила, что посадскія дѣвки просятъ позволенія хороводы передъ домомъ играть и новую помѣщицу повеличать (вѣсть о пріѣздѣ Фаинушки для покупки Проплёванной съ быстротою молніи проникла во всѣ дворы).

Послѣднимъ пришелъ мѣстный кабатчикъ, подъ предлогомъ, не нужно ли чаю-сахару, но въ сущности для того, чтобъ прочитать у Фаинушки въ глазахъ, не намѣревается ли она завести въ Проплёванной свой кабакъ.

Но у всѣхъ, даже у карлицы Польки, былъ на умѣ затаенный вопросъ: какимъ образомъ мы, именующіе себя „интеллигентами“ и представителями „правящихъ классовъ“, *несвойственно* прибѣжали пѣшкомъ, вмѣсто того, чтобъ торжественно въѣхать на двухъ-трехъ тройкахъ съ малиновымъ звономъ?

Но кромѣ того могъ возникнуть и другой вопросъ, касавшійся лично меня, а именно: *настоящій* ли это баринъ пріѣхалъ, не подложный ли, надѣвшій только личину его?

Я и самъ понималъ важность и даже естественность этихъ вопросовъ, и не безъ опасенія ждалъ минуты, когда они настолько созрѣютъ, что ни батюшка, ни староста, ни кабатчикъ не будутъ уже въ состояніи держать языкъ за зубами. Судьба, по истинѣ, была несправедлива къ намъ. Ни присутствіе мѣнялы, ни участіе въ нашихъ похожденіяхъ столь несомнѣнно позорнаго человѣка, какъ Очищенный, — ничто не тронуло жестоковыйную ябеду, которой современная испуганность предоставила привилегію раздавать патенты на благонадежность и неблагонадежность. Мы не спорили противъ силы вещей; напротивъ, безпрекословно подчинились ей и начертали такую программу, въ которой были и двоеженство, и подлоги — кажется, на чтò лучше! И чтожъ, вмѣсто того, чтобъ оказать намъ сочувствіе и поддержку, вмѣсто того, чтобъ сказать: зачѣмъ совершать подлоги! можно и безъ подлоговъ на правильной стезѣ стоять! — насъ на каждомъ шагу встрѣчаетъ цѣлая масса внезапностей, которыя поселяютъ въ сердцахъ нашихъ меланхолію и нерѣшительность...

Чего собственно добивалось отъ насъ безсмысленное гороховое пальто, по милости котораго мы такъ неожиданно очутились въ Проплёванной? Ежели

оно серьезно представляло собой принципъ собиранія статистики, то не могло же оно не понимать, что людямъ, которые посѣщаютъ квартальные балы, играютъ въ карты съ квартальными дипломатами, сочиняютъ уставы о благопристойномъ поведеніи и основываютъ университеты съ цѣлью распространенія митирогнозіи, слѣдуетъ предоставить полный просторъ, а не слѣдить за каждымъ ихъ шагомъ и тѣмъ менѣе пугать. Что было предосудительно-революціоннаго въ нашемъ вчерашнемъ собесѣдованіи съ старичкомъ и съ мѣщаниномъ Презентовымъ? Какую особливую опасность представляло даже сдѣланное Глумовымъ (и неоконченное) сравненіе современности съ камаринскимъ мужикомъ?—Рѣшительно, ни революціоннаго, ни предосудительнаго, ничего въ этихъ поступкахъ не было. Но еслибъ даже и представилось что-нибудь предосудительное и небезопасное, то не слѣдовало ли бы взглянуть на эти поступки какъ на случайныя уклоненія, къ которымъ новообращенный прибѣгаетъ, чтобы сорвать сердце за утраченный стыдъ? Вѣдь надо же и ему какое-нибудь утѣшеніе оставить.

Нѣтъ, какъ хотите, а даже въ сферѣ ябеды торжествующая современность заявляетъ себя не только несостоятельною, но просто глупою. Я знаю, что система, допускающая пользованіе услугами завѣдомыхъ прохвостовъ, въ качествѣ сдерживающей силы относительно людей убѣжденія, существуетъ не со вчерашняго дня, но, по моему мнѣнію, давность въ подобномъ дѣлѣ есть прецедентъ по малой мѣрѣ неумѣстный. Въ сущности, это совсѣмъ не система, а злодѣйство. Изъ человѣка — положимъ, заблуждающагося, но въ идейномъ смыслѣ все-таки возвышающагося надъ общимъ уровнемъ — дѣлаютъ загадку, и угадываніе этой загадки предоставляютъ прохвосту... ужели это не злодѣйство? Вы представьте только себѣ, какъ этотъ злополучный игнорантъ, поводя носомъ въ воздухѣ, приступаетъ къ человѣческой душѣ и начинаетъ въ ней по складамъ разбирать: буки-азъ — ба, вѣди-азъ — ва... Что онъ пойметъ? — Въ наилучшемъ случаѣ онъ будетъ разѣвать ротъ и хлопать глазами. Но если у него есть стремленіе показать товаръ лицомъ и если, кромѣ того, у него окажется еще волчій апетитъ, такъ вѣдь онъ не затруднится даже непониманіемъ, а просто-на-просто, заручившись какимъ-нибудь хлёсткимъ словомъ, начнетъ съ его помощью уловлять вселенную. Нѣтъ, какъ хотите, а это положительное злодѣйство.

Міръ убѣжденій и міръ шалопайства суть два совершенно различные міра, не имѣющіе *ни одной* точки соприкосновенія. Это истина, непререкаемость которой должна быть *для всѣхъ* обязательною. Допустите въ сферѣ убѣжденій самую густую окраску заблужденія, такъ вѣдь и тогда прежде всего надо умѣть опредѣлить, въ чемъ именно заключается заблужденіе и почему непремѣнно предполагается, что оно должно нанести ущербъ сложившейся современности. Развѣ невѣжественный прохвостъ можетъ возвыситься до постиженія столь сложныхъ и трудныхъ явленій? Нѣтъ, онъ только будетъ выкрикивать безсмысленное слово, и подъ его защитою станетъ сваливать въ одну кучу все разнообразіе аспирацій человѣческой мысли. Вообразите, какъ должно быть трудно выслушивать наблюденія этихъ людей, которые смѣшиваютъ Прудона съ Юханцевымъ и Гарибальди съ Редедею!

Встарину ябеда какъ будто умнѣе была. Она задавалась вполнѣ опре-

дѣленною и притомъ доступною ея пониманію цѣлью, и только въ ея предѣлахъ предъявляла свои требованія. Все лишнее, не вмѣщавшееся въ эти предѣлы, она отсѣкала, какъ бы говоря: у меня и настоящаго дѣла довольно, а въ остальномъ, буде это окажется нужнымъ, пусть разбираются послѣдующія ябеды! Это, быть можетъ, концентрировало жестокость, но въ то же время, устраняло отъ нея характеръ шутовства и надругательства. Нынче, благодаря чрезмѣрному размноженію шалопаевъ, до того все перепуталось, что трудно даже опредѣлить, что̀ изъ безпрерывно наростающей массы сплетенъ представляетъ реальность, а что̀, безъ дальнихъ словъ, слѣдуетъ бросить на съѣденіе собакамъ. Благодаря этой путаницѣ, самыя существенныя и трудныя задачи жизни дѣлаются достояніемъ невѣжественнѣйшихъ добровольцевъ, и затѣмъ недомысліе и даже явная безсмыслица являются главнымъ обвинительнымъ штандпунктомъ, противъ котораго даже возражать противно... Ясно, что это даже не обвиненіе, не преслѣдованіе, а просто шутовство и надругательство.

Сознавать себя со всѣхъ сторонъ опутаннымъ сѣтью шалопайства — развѣ это не горшая изъ обидъ? Видѣть шалопайство вторгающимся во всѣ жизненныя отношенія, нюхающимъ, чѣмъ пахнетъ въ человѣческой душѣ, читающимъ по складамъ въ человѣческомъ сердцѣ, и чувствовать, что наболѣвшее слово негодованія не только не жжетъ ничьихъ сердецъ, а, напротивъ, безсильно замираетъ на языкѣ — развѣ можетъ существовать болѣе тяжелое, болѣе удручающее зрѣлище? Повторяю: ябеда существовала искони, въ качествѣ подспорья, но она вращалась въ извѣстной сферѣ, ограничивалась даннымъ кругомъ явленій и рѣдко выходила за предѣлы своей спеціальности. Нынѣ она обміршилась, расплылась, расползлась, утратила всякое представленіе о границахъ и мѣрѣ и — что̀ всего важнѣе — захватила въ свои тиски обиходъ „средняго“ человѣка и на немъ по преимуществу сосредоточила силу своихъ развращающихъ экспериментовъ.

Но, можетъ быть, это-то именно и погубитъ ее.

— Какъ ты думаешь, погибнетъ ябеда? — обратился я къ Глумову.

— Непремѣнно, — отвѣтилъ онъ, сразу отгадавъ мои мысли. — Во-первыхъ, она слишкомъ разбросалась и всѣ свои задачи потопила въ массѣ околичностей; во-вторыхъ, она кровно обидѣла „средняго“ человѣка, для котораго вопросъ о цѣлости шкуры представляется существеннѣйшею задачей всей жизни.

— Вотъ мы, напримѣръ...

— Ну, да, именно мы, „средніе“ люди. Сообрази, сколько мы испытали тревогъ въ теченіе одного дня! Во-первыхъ, во всѣ лопатки бѣжали тридцать верстъ; во-вторыхъ, насъ могли съѣсть волки, мы въ яму могли попасть, въ болотѣ загрузнуть; въ-третьихъ, не успѣли мы обсушиться, какъ опять этотъ омерзительный вопросъ: паспорты есть? А вотъ ужо̀ погоди: свяжутъ намъ руки назадъ и поведутъ на веревочкѣ въ Корчеву... И ради чего? что̀ мы сдѣлали?

— Прекрасно; но какимъ же образомъ средній человѣкъ успѣетъ побѣдить ябеду?

— А вотъ именно этимъ вопросомъ, который я сейчасъ сдѣлалъ. Бу-

детъ и въ домахъ, и на улицахъ, и на распутіяхъ, и шопотомъ, и вполголоса, и громко спрашивать: что̀ мы сдѣлали? Только и всего. Высшаго разряда интеллигентъ не снизойдетъ до этого вопроса, мелкая сошка —не возвысится до него, а „средній“ человѣкъ именно какъ разъ ему въ мѣру пришелся. Средній человѣкъ до болѣзненности чувствителенъ къ тѣмъ благамъ, совокупность которыхъ составляетъ жизненный комфортъ. Не къ ѣдѣ одной, не къ одному прилично сшитому платью, а къ комфорту вообще, и въ томъ числѣ къ свободѣ мыслить и выражать свои мысли по-человѣчески. И вотъ, когда онъ замѣчаетъ, что въ его мысль залѣзетъ шалопай, когда онъ убѣждается, что шалопай на каждомъ шагу ревизуетъ его душу, дразнитъ его и отравляетъ его существованіе сплетнями — онъ начинаетъ метаться и закипать. Нѣкоторое время онъ, конечно, сдерживаетъ себя и виляетъ — вотъ какъ мы, напримѣръ: шутка сказать, съ Очищеннымъ связались! —но потомъ разѣваетъ ротъ и кричитъ: за что̀? что̀ я сдѣлалъ?!

— А потомъ?

— Чудакъ! А потомъ, разумѣется, и остальные средніе люди разѣваютъ рты: и въ самомъ дѣлѣ, что̀ же онъ сдѣлалъ? И выходитъ нѣмая сцена —въ родѣ какъ въ „Ревизорѣ“—для постановки которой приходится прибѣгать къ содѣйствію балетмейстера.

Глумовъ помолчалъ съ минуту и продолжалъ:

— Высоко-интеллигентнаго человѣка легко изолировать, потому что онъ относится къ мелочамъ индифферентно. Его можно вырвать изъ рядовъ человѣческихъ и скомкать, потому что средній человѣкъ не заступится за него, а только будетъ стыдливо замыкать уши и жмурить глаза. Мелкая сошка—та сама руки протянетъ: вяжите, батюшки! мы люди привычные! А средній человѣкъ — тотъ галдѣть будетъ. У него, куда онъ ни обернется — вездѣ „свой братъ“, которому онъ будетъ жаловаться и руки показывать: „смотрите, запястья-то какъ натерли! это мнѣ-то натерли! мнѣ, дворянскому сыну, мнѣ, правящему классу... руки натерли!“

Произнося послѣднія слова, Глумовъ вдругъ ожесточился и даже погрозилъ пальцемъ въ пространство. Очевидно на него подѣйствовалъ дворянскій мундиръ, который былъ на его плечахъ.

Тогда и я, почувствовавъ на плечахъ мундиръ, въ свою очередь разсердился.

— И кто же надругается надъ нами! —воскликнулъ я:—шваль отпѣтая надругается! отребье, не помнящее родства! Надъ нами, надъ дворянскими дѣтьми! За что̀? Что̀ мы сдѣлали?

И оба вдругъ, точно наступивъ другъ другу на мозоли, вскочили, отворили окно и крикнули:

— За что̀? что̀ мы сдѣлали?

Смотримъ, а на дорогѣ, передъ самой усадьбой стоитъ мужчина.

Это былъ урядникъ; на головѣ — кепи; сбоку — шашка; усы — нафабрены. Онъ стоялъ и въ задумчивости смотрѣлъ на березки, которыми былъ обсаженъ красный дворъ, словно разсчитывалъ, сколько тутъ можетъ выйти саженъ дровъ.

— А ты еще сомнѣвался, есть ли въ Проплёванной урядникъ! — шопотомъ указалъ я Глумову.

— Смотри! смотри! не одинъ, а цѣлыхъ два! — воскликнулъ онъ вмѣсто отвѣта.

Дѣйствительно, изъ-за крапивы, росшей на мѣстѣ стараго флигеля, показался другой урядникъ, тоже въ кепи и при шашкѣ. Не успѣли они сдѣлать другъ другу подъ козырекъ, какъ съ разныхъ сторонъ къ нимъ подошло еще десять урядниковъ. Одинъ изъ нихъ поймалъ по дорогѣ пригульнаго поросенка, другой — вынулъ изъ-подъ курицы только-что снесенное яйцо; остальные не принесли ничего и были печальны.

Началось совѣщаніе („можетъ быть, предположеніе о *ненастоящемъ* баринѣ уже созрѣло и формулировалось", невольно мелькнуло у меня въ головѣ). Сначала распредѣлили наблюдательные пункты; потомъ стали обсуждать, съ которой стороны ловче повести атаку: со стороны лѣса или со стороны болота. Но ничего не вышло, потому что пригульный поросенокъ овладѣлъ всѣми ихъ мыслями. Тогда рѣшили: представить по начальству о милостивомъ разрѣшеніи объявить Проплёванную въ осадномъ положеніи, а въ ожиданіи отвѣта изловить другого пригульнаго поросенка (буде возможно, съ кашею), а равно и курицу, снесшую яйцо.

— Говорилъ я тебѣ! — сказалъ Глумовъ въ испугѣ: — говорилъ, что не миновать намъ веревочки!

Глава XX.

Тоска овладѣла нами, та тупая, щемящая тоска, которая нападаетъ на человѣка въ предчувствіи загадочной и ничѣмъ не мотивированной угрозы. Бываютъ времена, когда такого рода предчувствія захватываютъ цѣлую массу людей и, словно злокачественный туманъ, стелются надъ мѣстностью, превращая ее въ Чурову долину. Въ особенности памятно мнѣ въ этомъ смыслѣ одно лѣто. Сидишь, бывало, дома — чудятся шорохи, точно за дверью, въ потемкахъ, кто-то ручку замка нащупываетъ; выйдешь на улицу — чудится, точно изъ каждаго окна кто-то пальцемъ грозитъ. Допустимъ, что все это только чудится и что на самомъ дѣлѣ ничто *необыкновенное* не угрожаетъ, но вѣдь и миражи могутъ измучить, ежели вплотную налягутъ.

Именно такого рода миражи обступили насъ вслѣдъ за урядницкимъ совѣщаніемъ.

Сумерки уже наступили и приближеніе ночи пугало насъ. Очищенному и „нашему собственному корреспонденту", когда они бывали возбуждены, по ночамъ являлись черти; прочимъ хотя черти не являлись, но тоже казалось, что человѣка легче можно сцапать въ спящемъ положеніи, нежели въ бодрственномъ. Поэтому рѣшились бодрствовать какъ можно дольше, и когда я предложилъ, чтобъ скоротать время, устроить „литературный вечеръ", то всѣ съ радостью ухватились за эту мысль.

Прежде всего мы обратились къ Очищенному. Это былъ своего рода Одиссей, котораго жизнь представляла такое разнообразное сцѣпленіе реальнаго съ фантастическимъ, что можно было цѣлый мѣсяцъ прожить въ захо-

лустьи, слушая его разсказы, и не переслушать всего. Почтенный старичокъ охотно согласился на нашу просьбу, и дѣйствительно разсказалъ сказку столь несомнѣнно фантастическаго характера, что я рѣшился передать ее здѣсь дословно, ничего не прибавляя и не убавляя. Вотъ она.

Сказка о ретивомъ начальникѣ,

какъ онъ своимъ усердіемъ вышнее начальство огорчилъ.

„Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жилъ-былъ ретивый начальникъ. Случилось это давно, еще въ ту пору, когда промежду начальниковъ такое правило было: стараться какъ можно больше вреда дѣлать, а ужъ изъ сего само собой впослѣдствіи польза произойдетъ.

„— Обывателя надо сначала скрутить, — говорили тогдашніе генералы: —потомъ въ бараній рогъ согнуть, а наконецъ, въ отдѣлку, ежовой рукавицей пригладить. И когда онъ вышколится, тогда ужъ самъ собой постепенно отдышется и процвѣтетъ.

„Правило это ретивый начальникъ безъ труда на носу у себя зарубилъ. Такъ что когда онъ, впослѣдствіи, „ввѣренный край“ въ награду за понятливость получилъ, то у него ужъ и программа была припасена. Сначала онъ науки упразднитъ, потомъ городъ спалитъ и наконецъ населеніе испугаетъ. И всякій разъ будетъ при этомъ слезы проливать и приговаривать: „видитъ Богъ, что я сей вредъ для собственной ихней пользы дѣлаю!“ Годикъ-другой такимъ образомъ попалитъ—смотришь, анъ ввѣренный-то край и остепеняться помаленьку сталъ. Остепенялся да остепенялся—и вдругъ каторга!

„Каторга, то-есть общежитіе, въ которомъ обыватели не въ свое дѣло не суются, пороху не выдумываютъ, передовыхъ статей не пишутъ, а живутъ и постепенно блаженствуютъ. Въ будни работу работаютъ, въ праздники за начальство Богу молятъ. И оттого у нихъ все какъ по маслу идетъ. Наукъ нѣтъ — а они хоть сейчасъ на экзаменъ готовы; вина не пьютъ—а питейный доходъ возрастаетъ да возрастаетъ; товаровъ изъ-за границы не получаютъ— а пошлины на таможняхъ поступаютъ да поступаютъ. А онъ, ретивый начальникъ, только смотритъ да радуется; бабамъ по платку даритъ, мужикамъ—по красному кушаку. „Вотъ какова *моя* каторга! говоритъ: — вотъ зачѣмъ я науки истреблялъ, людей калѣчилъ, города огнемъ палилъ! Теперь понимаете?“

„Какъ не понимать—понимаемъ.

„Въ этой надеждѣ пріѣхалъ онъ на свое мѣсто и началъ вредить. Вредитъ годъ, вредитъ другой. Народное продовольствіе прекратилъ, народное здравіе—упразднилъ, письмена — сжегъ и пепелъ по вѣтру развѣялъ. На третій годъ сталъ себя провѣрять—что за чудо!—надо бы, по настоящему, ввѣренному краю ужъ процвѣсти, а онъ даже остепеняться не начиналъ! Какъ ошеломилъ онъ съ перваго абцуга обывателей, такъ съ тѣхъ поръ они распахня ротъ и ходятъ...

„Задумался ретивый начальникъ, принялся разыскивать: какая тому причина?

„Думалъ-думалъ, и вдругъ его словно свѣтъ озарилъ. „Разсужденіе“

—вотъ причина. Сталъ онъ припоминать разные случаи, и чѣмъ больше припоминалъ, тѣмъ больше убѣждался, что хоть и много онъ навредилъ, но до *настоящаго* вреда, до такого, который бы всѣхъ сразу прищемилъ, все-таки не дошелъ. А не дошелъ потому, что этому препятствовало „разсужденіе". Сколько разъ съ нимъ бывало: разбѣжится, размахнется, закричитъ: „разнесу!"—анъ вдругъ „разсужденіе": какой же ты, братецъ, оселъ! Ну, онъ и спасуетъ. А кабы не было у него „разсужденія", онъ бы давно до каторги дѣло довелъ.

„— Давно бы вы у меня отдышались!—крикнулъ онъ не своимъ голосомъ, сдѣлавши это открытіе.

„И погрозилъ кулакомъ въ пространство, думая хоть этимъ посильную пользу ввѣренному краю принести.

„На его счастіе, жила въ городѣ колдунья, которая на кофейной гущѣ будущее отгадывала, а между прочимъ умѣла и „разсужденіе" отнимать. Побѣжалъ онъ къ ней, кричитъ: „отымай!" Видитъ колдунья, что дѣло къ спѣху, живымъ манеромъ сыскала у него въ головѣ дырку и подняла клапанчикъ. Вдругъ что-то изъ дырки свиснуло... шабашъ! Остался нашъ парень безъ разсужденія...

„Разумѣется, очень радъ. Сталъ ѣсть — куска до рта донести не можетъ, все мимо. Хохочетъ.

„Сейчасъ побѣжалъ въ присутственное мѣсто. Сталъ по срединѣ комнаты и хочетъ вредъ сдѣлать. Только хотѣть-то хочетъ, а какой именно вредъ и какъ къ нему приступить — не понимаетъ. Таращитъ глазами, губами шевелитъ—больше ничего. Однако такъ онъ однимъ своимъ неразсудительнымъ видомъ всѣхъ испугалъ, что разомъ всѣ разбѣжались. Тогда онъ ударилъ кулакомъ по столу, раскололь его и убѣжалъ.

„Прибѣжалъ въ поле. Видитъ—люди пашутъ, боронятъ, косятъ, гребутъ. Знаетъ, сколь необходимо сихъ людей въ рудники заточить, а какимъ манеромъ — не понимаетъ. Вытаращилъ глаза, отнялъ у одного пахаря косулю и разбилъ въ дребезги; но только-что бросился къ другому пахарю, чтобъ борону разнести, какъ всѣ испугались, и въ одну минуту поле опустѣло. Тогда онъ разметалъ только-что сметанный стогъ сѣна и убѣжалъ.

„Воротился въ городъ. Знаетъ, что надобно его съ четырехъ концовъ запалить, а какимъ манеромъ—не понимаетъ. Вынулъ, по привычкѣ, изъ кармана коробочку спичекъ, чиркаетъ, да не тѣмъ концомъ. Взбѣжалъ на колокольню и сталъ бить въ набатъ. Звонитъ часъ, звонитъ другой, а что за причина — не понимаетъ. А народъ между тѣмъ сбѣжался, спрашиваетъ: „гдѣ, батюшко, гдѣ?" Наконецъ усталъ звонить, сбѣжалъ внизъ, опять вынулъ коробку со спичками, зажегъ ихъ всѣ разомъ, и только-было ринулся въ толпу, какъ всѣ мгновенно брызнули въ разныя стороны, и онъ остался одинъ. Тогда побѣжалъ домой и заперся на ключъ.

„Сидитъ недѣлю, сидитъ другую; вреда не дѣлаетъ, а только не понимаетъ. И обыватели тоже не понимаютъ. Тутъ-то бы имъ и отдышаться, покуда онъ безъ вреда запершись сидѣлъ, а они вмѣсто того испугались. Да нельзя было и не испугаться. До сихъ поръ все вредъ былъ и всѣ отъ него пользы съ часу на часъ ждали; но только-что-было польза наклевываться стала, какъ

вдругъ все кругомъ стихло: ни вреда, ни пользы. И чего отъ этой тишины ждать—неизвѣстно. Ну, и оторопѣли. Бросили работы, попрятались въ норы, азбуку позабыли, сидятъ и ждутъ.

„А у него между тѣмъ опять разсужденіе прикапливаться стало. Однажды выглянулъ онъ въ окошко и какъ будто понялъ.

„— Кажется, я однимъ своимъ неразсудительнымъ видомъ *настоящій* вредъ сдѣлалъ!—воскликнулъ онъ и сталъ ждать: вотъ сейчасъ соберутся передъ домомъ обыватели и будутъ каторги просить.

„Но сколько онъ ни ждалъ, никто не пришелъ. Повидимому все уже у него на чеку: и поля заскорбли, и рѣки обмелѣли, и стада сибирская язва посѣкла, и письмена пропали; еще одно усиліе—и каторга готова! Только вопросъ, съ кѣмъ же онъ устроитъ ее, эту каторгу? Куда онъ ни посмотритъ, вездѣ пусто; только „мерзавцы", словно комары на солнышкѣ, стадами играютъ. Такъ вѣдь съ ними съ одними и каторгу устроить нельзя. Потому что и для каторги не ябедникъ праздный нуженъ, а коренной обыватель, работяга, смирный.

„Разсердился. Вышелъ на улицу, сталъ въ обывательскія норы залѣзать и по одиночкѣ народъ оттолѣ вытаскивать. Вытащитъ одного — приведетъ въ изумленіе; другого — тоже въ изумленіе приведетъ. Но тутъ опять бѣда. Не успѣетъ до крайней норы дойти — смотритъ, анъ прежніе опять въ норы уползли...

„Тогда онъ рѣшился. Вышелъ изъ воротъ и пошелъ прямикомъ. Шелъ, шелъ и пришелъ въ большой городъ, въ которомъ вышнее начальство резиденцію имѣло.

„Смотритъ — и не вѣритъ глазамъ своимъ! Давно ли въ этомъ самомъ городѣ „мерзавцы" на всѣхъ перекресткахъ программы выкрикивали, а „людишки" въ норахъ хоронились — и вдругъ теперь все наоборотъ! Людишки безъ задержки по улицамъ ходятъ, а „мерзавцы" въ норахъ попрятались!

„Куда ни взглянешь — вездѣ изобиліе плодовъ земныхъ. Зайдетъ въ трактиръ — „никогда, сударь, такъ бойко не торговали!" Заглянетъ въ калашную—„никогда столько калачей не пекли!" Завернетъ въ бакалейную лавку — „икры, сударь, наготовиться не можемъ! сколько привезутъ, столько сейчасъ и расхватаютъ!"

„— Что за причина!—спрашиваетъ онъ у знакомыхъ и незнакомыхъ:—какой такой *настоящій* вредъ вамъ учиненъ, отъ котораго вы вдругъ такъ ходко пошли?

„— Не отъ вреда это,—отвѣчаютъ ему:—а напротивъ. Новое начальство у насъ нынче; оно всѣ вреды упразднило — отъ этого такъ у насъ и хорошо.

„Отправился ретивый начальникъ по начальству. Видитъ: домъ, гдѣ начальникъ живетъ, новой краской выкрашенъ; швейцаръ—новый, курьеры—новые. А наконецъ и самъ начальникъ—съ иголочки. Отъ прежняго начальника вредомъ пахло, отъ новаго — пользою. Прежній начальникъ сопѣлъ, новый — соловьемъ щелкаетъ. Улыбается, руку жметъ, садиться проситъ... ангелъ!

„Дѣлать нечего, сталъ онъ докладывать. И что дальше докладываетъ, то гаже выходитъ. Такъ, молъ, и такъ, сколько ни дѣлалъ вреда, а пользы ни на грошъ изъ того не вышло. Не можетъ отдышаться ввѣренный край, да и шабашъ.

„— Повторите! —не понялъ новый начальникъ.

„— Такъ и такъ. Никакимъ маперомъ до *настоящаго* вреда дойти не могу!

„— Что такое вы говорите?

„Оба разомъ встали и смотрятъ другъ на друга. И вдругъ новый начальникъ вспомнилъ, что онъ самъ сколько разъ въ этомъ смыслѣ для своего предмѣстника циркуляры изготовлялъ

„— Ахъ, такъ вы вотъ объ чемъ!—расхохотался онъ. —Но вѣдь мы ужъ эту манеру оставили! Нынче мы вреда не дѣлаемъ, а только пользу. Ибо *невозможно въ рѣку нечистоты валить и ожидать, что отъ сего вода въ ней слаще будетъ.* Зарубите это себѣ на носу.

„Воротился ретивый начальникъ во ввѣренный край и съ тѣхъ поръ у него на носу двѣ зарубки. Одна (старая) гласитъ: „достигай пользы посредствомъ вреда"; другая (новая): „ежели хочешь пользу отечеству сдѣлать, то"... Остальное на носу не умѣстилось.

„Но иногда онъ принимаетъ одну зарубку за другую. Тогда выходитъ такъ: что ѣлъ, что кушалъ — все едино".

Сказочка Очищеннаго всѣмъ понравилась. Въ особенности всѣхъ утѣшило то, что участь ввѣреннаго края разрѣшилась по возможности благополучно. Одна Фаинушка, по наивности, предъявила нѣкоторыя сомнѣнія. Сначала обезпокоилась тѣмъ, какимъ образомъ могло случиться, что ретивый начальникъ такъ долго не зналъ, что въ главномъ городѣ новое начальство новые порядки завело?—на что Глумовъ резонно отвѣтилъ: „оттого и случилось, что дѣло происходило въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ, а гдѣ именно—угадай!" Потомъ изъявила сожалѣніе, зачѣмъ новое начальство старую зарубку на носу у ретиваго начальника не только не уничтожило, а даже какъ будто въ силѣ оставило?—на что Глумовъ тоже резонно объяснилъ: „затѣмъ и оставило, что, можетъ быть, понадобится".

— Не для того мы, мой другъ, здѣсь собрались, чтобъ критиковать, — прибавилъ онъ солидно: — а для того, чтобы время съ пользою провести. Вотъ и я спервоначалу думалъ: какой, молъ, обалтусъ этотъ ретивый начальникъ, ишь вѣдь что выдумалъ!—а теперь и самъ вижу, что безъ того, чтобъ городокъ-другой не спалить, нашему брату нельзя. Управить вѣдь нужно, а какъ ты управишь, коль скоро у тебя въ рукахъ нѣтъ ни огня, ни меча? Такъ-то. Ну, да ладно. Чья теперь очередь разсказывать? Онуфрій Петровичъ! ты, кажется, жизнеописаніе свое хотѣлъ разсказать... начинай, другъ!

Но злополучный мѣняло, вмѣсто того, чтобъ приступить къ разсказу, вынулъ изъ кармана замасленную бумагу, въ родѣ лавочнаго счета, и предъявилъ ее намъ, сказавъ:

— Вотъ моя жизнь!

ЖИЗНЕОПИСАНІЕ

1-й гильдіи купца Онуфрія Петровича Парамонова.

Въ 1818 году, Іануарія 15-го, при рожденіи плачено:			
Попамъ	100	р.	— к.
Въ нижній земскій судъ	100	„	— „
Прочимъ судіямъ	100	„	— „
Въ 1826 году Іулія 30-го при принятіи родителями печати, якобы въ сонномъ видѣ сіе случилось, плачено всѣмъ вопче	5,000	„	— „
Тогда же покупано для господина исправника:			
Икры боченокъ	15	„	50 „
Балыковъ пара	16	„	65 „
Вина Марсалы	30	„	— „
Дѣтямъ исправницкимъ орѣховъ	1	„	25 „
Попу Микитѣ сантуринскаго	12	„	— „
Со 1818 по 1838 г. плачено:			
За нехожденіе по 100 руб. ежегодно попу . .	2,000	„	— „
За „житіе“ въ земскій судъ	7.350	„	— „
Въ 1829 году за одолѣніе побѣды надъ турками дадено	750	„	— „
Доздѣ ассигнаціями.			
Въ 1838, по случаю переложенія ассигнацій на серебро, всѣмъ вопче. Господи благослови! . . .	1,000	„	— „
	серебромъ		
Въ 1839 г. Іануарія 15-го по случаю совершенныхъ лѣтъ и принятія малой печати якобы въ сонномъ видѣ произошло	5,000	„	— „
Пріѣзжалъ чиновникъ изъ губерніи для ревизіи по онному же дѣлу; дадено	7,000	„	— „
Ему же часы съ репетиціей	350	„	— „
По сему же случаю начальнику губерніи, на вдовъ и сиротъ	5,000	„	— „
На украшеніе монастырей	5,000	„	— „
Въ 1842 по случаю учрежденія губернскихъ правленій	6,000	„	— „
По сему же случаю исправнику тарантасъ покупанъ	300	„	— „
Съ 1838 по 1845 г. за продолженіе житія по 1,000 р.	7,000	„	— „
За нехожденіе	3,500	„	— „
Въ 1845 году въ Петербургъ поѣхали, въ Ряжскѣ исправникъ хотѣлъ слѣдствіе о растратѣ ввѣреннаго имущества начать, плачено	2,000	„	— „

Тоже въ Рязани	1,500 р.	— к.
Тоже въ Коломнѣ	1,000 „	— „
Бронницы ночью проѣхали	100 „	— „
Въ Москвѣ хотѣли въ Сибирь сослать . . .	15,000 „	— „
Въ Клину за освидѣтельствованіе	500 „	— „
Въ Твери тожъ.	1,000 „	— „
Въ Торжкѣ.	750 „	— „
Въ Вышнемъ-Волочкѣ.	1,000 „	— „
Въ Валдаѣ колокольчиковъ накупили. . . .	5 „	— „
Въ Крестцахъ ямщикъ задами провезъ . . .	100 „	— „
Въ Новгородѣ губернаторъ на чашку чая звалъ	3,000 „	— „
Пріѣхали въ Петербургъ	50,000 „	— „
Въ 1846 году отъ Министра генералъ всѣхъ вопче тревожилъ	45,000 „	— „
Особливо тревожилъ	50,000 „	— „
Въ 1847 г. Статскій совѣтникъ тревожилъ. .	25,000 „	— „
Въ 1849 г. по случаю побѣды одолѣнія надъ мятежными Венграми.	15,000 „	— „
На усиленіе средствъ	10,000 „	— „
Въ 1853 году на арміи и флоты.	75,000 „	— „
Въ 1854 на тотъ же предметъ	50,000 „	— „
Въ 1855 году по случаю окончанія въ знакъ радости	50,000 „	— „
Съ 1845 по 1856 г. окладъ по 6,000 р. въ годъ	66,000 „	— „
Въ 1857 году, по случаю дороговизны припасовъ, окладъ увеличенъ до 10,000 р. въ годъ, причемъ на вопросъ: „а кромѣ сего?“ отвѣтствовано: „посмотримъ“.		
Въ 1858 году за „посмотримъ“	10,000 „	— „
Въ 1862 году по случаю реформы окончанія .	10,000 „	— „
Въ 1863 году призывалъ генералъ и чаемъ подчивалъ. Дадено на общеполезное устройство . . .	25,000 „	— „
Въ 1864 году оному же генералу на покупку имѣнія взаймы дадено	40,000 „	— „
Въ 1865 году, по поводу разныхъ случаевъ внезапностей	30,000 „	— „
Въ семъ же году нѣмецкій прынецъ пріѣзжалъ, чай у насъ въ домѣ кушалъ, взаймы дадено . . .	6,200 „	— „
Оный же прынецъ, отъѣзжая, вновь взаймы выпросилъ	6,200 „	62 „
Адъютанту его.	3,000 „	— „
Прочимъ всѣмъ	3,200 „	— „
Въ 1866 году по случаю свободы книгопечатанія	50 „	— „
Въ 1867 году, на предметы вопче	5,000 „	— „

Въ 1870 году квартальному надзирателю на университеты	600	р.	— к.
Въ 1871 году ему же на распространеніе здравыхъ понятій	1,000	„	— „
Въ 1872 г. ему же на памятникъ Пушкину .	—	„	15 „
Въ 1873 году призывалъ генералъ. На усиленіе средствъ	16,000	„	— „
Въ 1874 г. на устройство асфальтовой мостовой.	7,200	„	— „
Въ 1875 г. на сады и увеселенія	2,000	„	— „
Въ 1876 г. на изданіе лексикона	100	„	— „
Въ 1877 г. въ кварталъ на потреотизмъ . .	95,000	„	— „
Въ 1878 г. на сей же предметъ	87,000	„	— „
Въ 1879 г. призывалъ генералъ. На усиленіе средствъ	20,000	„	— „
Нѣмецкій прынецъ въ свое мѣсто проѣзжалъ .	12,400	„	— „
Въ 1880 г. на необходимости	25,000	„	— „
Съ 1859 по 1880 г. включительно за „посмотримъ“	120,000	„	— „
Съ 1867 по 1880 г. включительно оклада .	140,000	„	— „
Итого съ 1818 по 1880 г. включительно . .			
Ассигнаціями:	15,475	р.	40 к.
Серебромъ:	1,167,465	„	77 „

Конецъ.

— Вотъ это, братъ, такъ жизнеописаніе! — въ восторгѣ воскликнулъ Глумовъ. — Выходитъ, что ты въ теченіе 62 лѣтъ „за житіе“ всего-на-все уплатилъ серебромъ милліонъ сто семьдесятъ одну тысячу восемьсотъ восемьдесятъ семь рублей тридцать одну копѣйку. Ни копѣйки больше, ни копѣйки меньше — вся жизнь какъ на ладони! Ну, право, недорого обошлось!

— Живу-съ, — скромно отвѣтилъ Парамоновъ.

— Вотъ именно. Въ другомъ бы царствѣ съ тебя милліоновъ бы пять слупили, да еще въ клѣткѣ по ярмаркамъ показывать возили бы. А у насъ начальники хлѣбъ-соль съ тобой водятъ. Право, дай Богъ всякому! Ну, а въ промежуткахъ что же ты дѣлалъ?

Парамоновъ не понялъ сразу.

— Вотъ, напримѣръ: далъ ты въ 1872 году на памятникъ Пушкину 15 копѣекъ, а въ слѣдующемъ году „на усиленіе средствъ“ 16.000 рублей. Въ промежуткѣ-то что же было?

— Жилъ-съ.

— Прекрасно. Живи и впредь. Корреспондентъ! очередь за тобой!

„Корреспондентъ“ всталъ и скромно произнесъ:

— Разсказа у меня наготовѣ нѣтъ; но, ежели угодно, я могу прочитать фельетонъ, написанный мной для „Красы Демидрона“...

— А это и еще лучше. Сообща выслушаемъ, а можетъ быть и посовѣтуемъ... Прекрасно. Читай, братецъ!

„Корреспондентъ“ началъ:

ВЛАСТИТЕЛЬ ДУМЪ.

„Негодяй — властитель думъ современности. Породила его современная нравственная и умственная муть, воспитало, укрѣпило и окрылило — современное шкурное малодушіе.

„Я не хочу сказать этимъ, что онъ явился въ міръ только вчера, но утверждаю, что именно вчера онъ облекся въ тѣ ликующія одежды, которыя дозволяютъ безошибочно указать на него въ толпѣ: вотъ негодяй! И въ древности, и въ новѣйшія времена—всегда существовалъ негодяй (иначе откуда же мы получили бы представленіе о позорѣ?), но онъ прятался въ темныхъ извилинахъ человѣконенавистническаго ремесла и тамъ пакостилъ, слѣдуя въ этомъ примѣру своего прототипа, сатаны.

„Что такое сатана? — это грандіознѣйшій, презрѣннѣйшій и ограниченнѣйшій негодяй, который не можетъ различить ни добра, ни зла, ни правды, ни лжи, ни общаго, ни частнаго, и которому ясны только чисто личные и притомъ ближайшіе интересы. Поэтому его называютъ врагомъ человѣческаго рода, пакостникомъ, клеветникомъ. И по той же причинѣ мѣсто дѣйствія ему отводятъ подъ землей, въ темномъ мѣстѣ, въ аду.

„Подобно сему, во тьмѣ же дѣйствовалъ доселѣ и наперсникъ сатаны, и „негодяй“. Объ немъ знали, но его не видѣли; его чувствовали, но не осязали.

„Нынѣ — не такъ. Нынѣ негодяй сознáлъ самого себя, и на вопросъ: чтò есть негодяй?—отвѣчаетъ смѣло: негодяй — это я! Подобно отцу своему, сатанѣ, онъ не чувствуетъ даже потребности выяснить себѣ сущность негодяйской профессіи, а прямо на глазахъ у всѣхъ совершаетъ негодяйскіе поступки и во всеуслышаніе говоритъ негодяйскія рѣчи.

„Смотрите, какъ твердо онъ ступаетъ по негодяйской стезѣ и какими неизреченно-безстыжими глазами взираетъ на все живущее! Прислушайтесь, какою увѣренностью звучитъ его голосъ, когда онъ говоритъ: да, я негодяй! Ограниченность мысли породила въ немъ наглость; наглость, въ свою очередь, застраховала его отъ возможности какихъ-либо потрясеній. Взглянувши на него, вы не запутаетесь въ опредѣленіяхъ; вы скажете прямо: это негодяй!—и все для васъ будетъ ясно. Никогда не было ничего столь простого, выяснившагося, цѣльнаго. Онъ какъ-то сразу просіялъ изъ тьмы и самъ о себѣ засвидѣтельствовалъ.

„И проникъ всюду. Во всѣ слои такъ-называемаго общества, во всѣ профессіи, во всѣ мѣста. Вездѣ онъ является съ открытымъ лицомъ, вездѣ возвѣщаетъ о себѣ: вы меня знаете?—я негодяй! Я—ярмо, призванное раздавить жизнь. Я — позоръ, призванный упразднить убѣжденіе, честность, правду, самоотверженіе. Я — распутство, поставившее себѣ задачей наполнить вселенную гноемъ измѣны, подкупа, вѣроломства, предательства.

„Вы встрѣтитесь съ нимъ и въ великосвѣтскомъ салонѣ, и на купеческомъ именинномъ пирогѣ, и за скромною трапезой чиновника, и въ театрѣ,

и въ трактирѣ, и на конкѣ. И всюду онъ проповѣдуетъ: нѣтъ выхода внѣ негодяйства! всѣ будутъ негодяями, всѣ! будутъ! будутъ! Ибо онъ ищетъ утопить въ позорѣ не только себя лично, но и все живущее, не только настоящее, но и будущее.

„И все стихаетъ при его появленіи, все ждетъ, какой новый позоръ провѣщаютъ его позорныя уста. Онъ не довольствуется инсинуаціей, какъ его негодяи-предшественники, но прямо источаетъ ложь, хулу и клевету. Прямо утверждаетъ: негодяйство—вотъ единственная почва, на которой человѣкъ можетъ стоять твердо, на которой онъ можетъ дѣлать не мечтательное, а дѣйствительное дѣло.

„Спросите его, что̀ онъ разумѣетъ подъ *дѣйствительнымъ* дѣломъ—онъ и на это дастъ ясный отвѣтъ. Дѣйствительное современное дѣло, скажетъ онъ, — это измѣна и предательство; это прекращеніе жизни, это возвратъ къ мраку временъ. Возразите ему: но вѣдь человѣческое общество не можетъ питаться одной измѣной, однимъ междоусобіемъ; оно обязано сѣять сѣмена будущаго... Онъ и на это отвѣтитъ: будущее можетъ занимать только опасныхъ мечтателей; негодяй же довольствуется тѣмъ, что̀ составляетъ насущную задачу дня!

„Онъ скажетъ это такъ авторитетно и вѣско, что споръ прервется самъ собой...

„Случалось ли вамъ, читатель, присутствовать при подобныхъ спорахъ? Сначала вы слышите общій говоръ и шумъ, потомъ начинаете въ этомъ шумѣ различать какую-то крикливую, рѣзкую ноту; постепенно эта нота звучитъ громче и громче и наконецъ раздается одна.

Спорящіе стихли; комната наполняется шопотомъ, среди котораго отъ времени до времени раздается тихій, словно вымученный смѣхъ...

„Ахъ, этотъ смѣхъ! что̀ въ немъ слышится? рабское ли поощреніе, робкій ли протестъ, или просто-на-просто безсиліе?

„Что до меня, то мнѣ въ этомъ смѣхѣ чудится вопль. Нѣтъ подъ ногами почвы! некуда прислониться! нечѣмъ защититься! Передъ глазами кишитъ толпа, въ которой каждый чувствуетъ себя одинокимъ, заподозрѣннымъ, безсильнымъ, неприкрытымъ, каждый видитъ себя предоставленнымъ исключительно самому себѣ. Ни дѣло, ни подвигъ—ничто не можетъ защитить, потому что между дѣломъ и объектомъ его кинута цѣлая пропасть. Да и то ли еще это дѣло, тотъ ли подвигъ? нѣтъ ли тутъ ошибки, недоумѣнія?

. . . .

„На дняхъ я съ нимъ встрѣтился. Съ нимъ, съ негодяемъ.

„— Ужели вы искренно думаете, что можно воспитать общество въ ненависти къ жизни, къ развитію, къ движенію?—спросилъ я его.

„— Непремѣнно, — отвѣтилъ онъ. — Пора покончить съ призраками, и покончить такъ, чтобъ они уже никогда болѣе не возвращались и не возмущали правильнаго теченія жизни.

„— Позвольте однакожъ! вѣдь то̀, что̀ вы называете призраками, представляетъ собой существеннѣйшую потребность человѣческой мысли?

„— Мысли растлѣнной, утратившей представленіе о границахъ — да.

Для такой мысли призраки необходимы. Но такую мысль слѣдуетъ не поощрять, а остепенять, вводить въ предѣлы.

„— Но какимъ же образомъ вы введете ее въ предѣлы—да и въ какіе еще предѣлы?—коль скоро она, по самой своей сущности, чужда имъ?

„— Гм... средства найдутся.

„— Бараній рогъ? ежовыя рукавицы?

„— И онѣ. Хотя надо сознаться, что эти средства не всегда бываютъ достаточны.

„— Стало быть, подкупъ? предательство? измѣна?

„— Э-эхъ, государь мой! сколько вы страшныхъ словъ разомъ выпустили! А вѣдь ежели вмѣсто нихъ употребить выраженіе: „обязательная, насущная потребность дня“, то, право, будетъ и понятно, и совершенно достаточно.

„— И вы увѣрены, что это синонимы?

„— Совершенно.

„Онъ подалъ мнѣ руку и уже хотѣлъ идти своей дорогой, какъ вдругъ я замѣтилъ у него на лицѣ что-то странное. Всматриваюсь—слѣды человѣческой пятерни.

„— Что̀ такое у васъ на лицѣ?—спросилъ я.

„— Пятерня. Это отъ прошлаго либеральнаго поскудства осталось. Пройдетъ. И впредь не будетъ... ручаюсь!

„И, поднявъ гордо голову, онъ прослѣдовалъ дальше; я же, поджавши хвостъ, возвратился въ домъ свой.

„Здѣсь я тѣ же самыя предположенія объ устраненіи призраковъ прочиталъ систематически изложенными въ газетной передовой статьѣ. Статья написана была бойко и авторитетно. Съ полною увѣренностью она утверждала, что дѣло человѣческой мысли проиграно навсегда и что отнынѣ человѣкъ долженъ руководиться не „произвольными“ требованіями разума и совѣсти, которыя увлекаютъ его на путь погони за призрачными идеалами, но тѣми скромными охранительными инстинктами, которые удерживаютъ его на почвѣ здоровой дѣйствительности. Инстинкты эти говорятъ человѣку о необходимости питанія, передвиженія, успокоенія, и имъ несомнѣнно должны быть предоставлены всѣ средства удовлетворенія и самая широкая свобода. Въ этой широкой свободѣ найдется мѣсто и для работы мысли, ибо никакое, самое простѣйшее требованіе человѣческаго организма не можетъ обойтись безъ ея участія. Поэтому рѣчь идетъ совсѣмъ не объ томъ, чтобъ погубить мысль, а лишь объ томъ какъ и куда ее примѣнить. Въ сущности, свобода желательна, и пусть царствуетъ она вездѣ... за исключеніемъ области мечтательности...

„Прочитавши это, я вспомнилъ, что еще не обѣдалъ. И такъ какъ въ карманѣ у меня было всего два двугривенныхъ, то для моей мыслительной способности дѣйствительно сейчасъ же нашлась работа: ухитриться такъ, чтобъ изъ этихъ двухъ двугривенныхъ вышелъ и обѣдъ, и чай, и хоть полъ-колбасы на ужинъ. И когда я дѣйствительно ухитрился, то, ложась на ночь спать, почувствовалъ себя сыномъ отечества и гражданиномъ.“

Корреспондентъ.

Фельетонъ этотъ произвелъ очень разнообразное впечатлѣніе. Мѣняло совсѣмъ ничего не понялъ. Фаннушка поняла только то мѣсто, которое относилось до двухъ двугривенныхъ („ахъ, бѣдненькій!“). Очищенный, въ качествѣ вольнонаемнаго редактора „Красы Демидрона“, соображалъ: пройдетъ или не пройдетъ? Я — скорѣе склоненъ былъ похвалить, хотя казалось нѣсколько страннымъ, съ чего вдругъ вздумалось „нашему собственному корреспонденту“ заговорить о „негодяѣ“. Что же касается Глумова, то онъ положительно не одобрилъ.

— Все это, братецъ, лиризмъ, — сказалъ онъ: — а лиризмомъ ты никого, по нынѣшнему времени, не прошибешь. Читатель прочтетъ, пожалуй даже продекламируетъ, скажетъ: il y a là dedans un joli mouvement oratoire — и опять за свое примется. Негодяй пребудетъ негодяемъ, предатель — предателемъ, трусъ — трусомъ. На твоемъ мѣстѣ я совсѣмъ бы не такъ поступилъ; негодяя-то не касался бы (съ него вѣдь и взять нечего), а вотъ на эту мякоть ударилъ бы, по милости которой „негодяй“ процвѣтаетъ и которая весь свой протестъ выражаетъ въ томъ, что при появленіи „негодяя“ въ подворотню прячется.

— Можно и это, — согласился „нашъ собственный корреспондентъ“.

— Ну, вотъ. Я знаю, что ты малый понятливый. Такъ вотъ ты слѣдующій свой фельетонъ и начни такъ: „въ прошлый, молъ, разъ я познакомилъ васъ съ „негодяемъ“, а теперь, молъ, позвольте познакомить васъ съ тою средой, въ которой онъ, какъ рыба въ водѣ, плаваетъ“. И чеши! чеши! Заснули, молъ? очумѣли отъ страха? Да по головамъ-то тукъ-тукъ! А то что въ самомъ дѣлѣ! Ее, эту мякоть, честью просятъ: проснись! — а она только сопитъ въ отвѣтъ!

— Можно-съ, — вновь подтвердилъ корреспондентъ.

— И прекрасно сдѣлаешь. А теперь давайте продолжать. За кѣмъ очередь?

Очередь оказалась за Фаннушкой. Но, вмѣсто того, чтобъ разсказать что-нибудь, она вынула изъ кармана листочекъ и, зардѣвшись, подала его Глумову.

Глумовъ прочиталъ:

ОЛЕНЬКА

или

Вся женская жизнь въ нѣсколькихъ часахъ.

„Въ нѣкоторой улицѣ жила при родителяхъ дѣвушка Оленька, а напротивъ, въ собственномъ домѣ, жилъ молодой человѣкъ Петръ. Только увидѣлись они одинъ разъ на бульварѣ, и началъ Петръ Оленьку звать: приходи, Оленька, послѣ обѣда въ лѣсъ погулять. Сперва Оленька отказалась, а потомъ пошла. И когда, погулявши, воротилась домой, то увидѣла, что узнала многое, чего прежде, не бывши въ лѣсу, не знала. Тогда она сказала: чтобы еще больше знать, я завтра опять въ лѣсъ гулять приду. Приходи, Петенька, и ты. И такимъ манеромъ они очень часто гуляли, а потомъ Петеньку въ солдаты отдали“.

Конецъ.

Успѣхъ этой вещицы превзошелъ всѣ ожиданія. Всѣ называли Фаннушку умницей и поздравляли литературу съ новымъ свѣжимъ дарованіемъ. А Глумовъ не выдержалъ и крикнулъ: „ахъ, милая!“ Но главнымъ образомъ всѣхъ восхитила мысль, что еслибы всѣ такъ писали, тогда цензорамъ нечего было бы дѣлать, а слѣдовательно и цензуру можно бы упразднить. А упразднивши цензуру, можно бы и опять...

Дальнѣйшая очередь была за мной. Но только-что я приступилъ къ чтенію „Исторической догадки“: *Кто были родители камаринскаго мужика?*—какъ послышался стукъ въ наружную дверь. Сначала стучали легко, потомъ сильнѣе и сильнѣе, такъ что я, переполошенный, отворилъ окно, чтобъ узнать, въ чемъ дѣло. Но въ ту самую минуту, какъ я оперся на подоконникъ, кто-то снаружи вцѣпился въ мои руки и сжалъ ихъ какъ въ клещахъ. И въ то же время, едва не сбивъ меня съ ногъ, въ окно вскочилъ мужчина въ кепи и при шашкѣ.

Это былъ урядникъ.

Глава XXI.

Обаяніе исконнаго тверского либерализма сказалось и здѣсь. Во всѣхъ распоряженіяхъ выразилось чувство мѣры и благожелательности. Долгъ былъ выполненъ безъ послабленія, но при семъ предполагалось, что мы не осуждены, и слѣдовательно можемъ быть невинны. Насъ обыскали, но когда ничего, кромѣ ношебнаго платья, не нашли, то на насъ не кричали: врешь, подавай! — какъ будто бы мы могли, по произволенію, тутъ же родить тюки съ прокламаціями. Насъ не погнали въ глухую ночь, но дали отдохнуть, собраться съ духомъ, напиться чаю и даже дозволили совершить путину до Корчевы въ дворянскихъ мундирахъ, такъ какъ одежда, въ которой мы прибѣжали въ Проплёванную, еще не просохла какъ слѣдуетъ. Вообще безполезныхъ жестокостей допущено не было, а полезныя были по возможности смягчены.

Но за то, какъ только златоперстая Аврора брызнула на крайнемъ востокѣ первыми снопами пламени, мѣстный урядникъ уже выполнилъ свою обязанность.

Когда мы вышли изъ дома, на дворѣ стояла довольно густая толпа народа. Мнѣ казалось, что всѣ пристально въ меня всматриваются, какъ бы стараясь угадать: нашъ баринъ или не нашъ? Очевидно, что способъ прибытія моего въ Проплёванную возъимѣлъ свое дѣйствіе, и вопросъ: дѣйствительно ли прибѣжалъ настоящій помѣщикъ, или какой-нибудь поддѣльный?—игралъ очень большую роль въ нашемъ приключеніи. Двойственное чувство овладѣло толпою: съ одной стороны — радость, что черезъ нашу поимку государство избавилось отъ угрожавшей ему опасности; съ другой — свойственное русскому человѣку чувство состраданія къ „узнику“, который почему-то всегда предполагается страдающимъ „занапрасно“. Но разсчитывалъ ли кто-нибудь, что изъ всего этого можетъ произойти „награда“ —этого сказать не умѣю.

Насъ ожидалъ другой урядникъ (я узналъ въ немъ того, который наканунѣ поймалъ пригульнаго поросенка) въ путевой формѣ, и при немъ двое

сотскихъ и шесть человѣкъ десятскихъ. Этотъ конвой долженъ былъ сопровождать насъ до Корчевы. У десятскихъ въ рукахъ были веревки; но намъ не связали рукъ (какъ это сдѣлали бы, напримѣръ, въ Орловской или Курской губерніяхъ), а только предупредили, что въ случаѣ попытки къ бѣгству хотя одного изъ насъ правила объ употребленіи шиворота будутъ немедленно выполнены надъ *всѣми*. Впрочемъ я долженъ сказать правду, что, дѣлая это предостереженіе, урядникъ былъ взволнованъ, а нѣкоторые изъ десятскихъ плакали. Пришелъ и батюшка, и сказалъ нѣсколько прочувствованныхъ словъ на тему: „гдѣ корень зла?"—а въ заключеніе обратился ко мнѣ съ вопросомъ: „Богомъ васъ заклинаю, господинъ пришлецъ! отвѣтьте, вы—потомокъ отцовъ вашихъ, или не вы?" Но когда я вмѣсто отвѣта хотѣлъ обратиться къ народу съ объясненіемъ моей невинности, то сотскіе и десятскіе затрещали въ трещотки и заглушили мой голосъ. Несмотря на это, многія сердобольныя женщины подбѣгали къ намъ и подавали кто каленое яйцо, кто кусокъ ватрушки, кто пару печеныхъ картофелинъ. И урядникъ очевидно только для проформы называлъ ихъ „сволочью" и „паскудами".

Наконецъ мы тронулись. Утро было свѣтлое, солнечное и обѣщало жаркій день. Трава, улитая дождемъ, блестѣла подъ косыми лучами солнца матовымъ блескомъ, словно опушенная инеемъ. По дорогѣ во множествѣ пестрѣли лужи.

— Съ Богомъ! трогай!—далъ сигналъ конвоировавшій урядникъ.

— Счастливо!—откликнулись ему изъ толпы.

Въ другой губерніи навѣрное нашлись бы кандалы или по крайней мѣрѣ конскія путы, но въ Тверской губерніи повидимому самое представленіе объ этихъ орудіяхъ истязанія исчезло навсегда. Въ другой губерніи намъ непремѣнно отъ времени до времени „накладывали" бы, а въ Тверской губерніи самой потребности въ „накладываніи" никто не ощущалъ. Вотъ какая это губернія. Долгъ, одинъ только долгъ! безъ послабленій, но и безъ присовокупленій!—таковъ былъ девизъ Тверской губерніи еще въ то время, когда Тверь боролась съ коварной Москвой, и Москва ее за это слопала. Такимъ же остался онъ и теперь. А урядникъ къ сему присовокуплялъ: „ужо разберутъ!"—что также свидѣтельствовало о легальности, ибо въ другихъ губерніяхъ урядники говорятъ: „ужо покажутъ, какъ Кузькину мать зовутъ!"

Мы шли вольнымъ аллюромъ и разсуждали, что лучше: благосклонная ли легальность безъ послабленій, или благожелательный произволъ, тоже безъ послабленій? И все какъ-то у насъ выходило: все равно.

Но, въ сущности, было далеко не все равно, и Глумовъ совершенно основательно замѣтилъ, что легальность безъ послабленій есть уже какъ бы заря правового порядка. И когда мы разсмотрѣли вопросъ со всѣхъ сторонъ, то должны были согласиться съ Глумовымъ. И это насъ утѣшило.

Такова Тверская губернія. Искони она вопіетъ: наказывайте! жмите изъ насъ масло!—но по закону! И ее наказываютъ.

Урядникъ тоже вступилъ съ нами въ собесѣдованіе и укрѣплялъ въ насъ вѣру въ корчевское правосудіе. Это былъ лихой малый, по происхожденію дворянинъ, а по убѣжденіямъ принадлежалъ къ либеральному лагерю.

Онъ служилъ въ урядникахъ въ ожиданіи правового порядка и тяготился своимъ званіемъ. И ежели сносилъ это иго безъ явнаго ропота, то потому только, что дома, по его словамъ, жрать было нечего, а онъ имѣлъ наклонность къ ѣдѣ. Поэтому, когда я ему далъ пару каленыхъ яицъ изъ числа пожертвованныхъ, онъ съ чувствомъ пожалъ мнѣ руку и попросилъ кусокъ ватрушки.

— А насчетъ Корчевы вы не безпокойтесь, — сказалъ онъ:—у насъ все по закону. Коли есть законъ — шабашъ; коли нѣтъ закона — милости просимъ въ кутузку.

— Стало быть, и коли есть законъ, и коли нѣтъ его...

— Ну, да, ужъ это во всякомъ случаѣ.

И, погодя немного, прибавилъ:

— Вотъ когда правовой порядокъ выйдетъ, тогда и урядникамъ веселѣе служить будетъ. Сейчасъ-это пришелъ, взялъ „его"... за что? что за причина?—Пожалуйте! тамъ разберутъ!

— Да вѣдь и нынче —вы сами сейчасъ говорили—разберутъ?

— Разберутъ, да не такъ. Нынче — разберутъ, а тогда — рѣшатъ. Нынче безъ правъ пропишутъ, а тогда -- по правамъ прописывать станутъ. Ни лишковъ, ни недостачи—ни-ни! Въ препорцію.

Намъ предстояло пройти пѣшкомъ слишкомъ тридцать верстъ. Бо́льшая часть пути шла песчанымъ грунтомъ, но, благодаря дождямъ, песокъ умялся, и ногамъ было довольно легко. Но по временамъ встрѣчались низинки, на довольно большое пространство пересѣкавшія дорогу и переполненныя водой — тогда мы вынуждались снимать съ себя обувь и босикомъ переходили съ суши на сушь. Однакожъ, послѣ двухъ часовъ ходьбы, солнце порядкомъ-таки стало припекать, и мы почувствовали невыразимую истому во всѣхъ членахъ. Поэтому мы не безъ удовольствія увидѣли въ сторонѣ деревушку, на краю которой стояла просторная изба.

Эта деревушка была мнѣ знакома. Когда-то еще въ дѣтствѣ я кармливалъ тутъ лошадей, проѣзжая школьникомъ на каникулы и съ каникулъ. Деревушка отстояла отъ нашей усадьбы всего въ двѣнадцати-тринадцати верстахъ, но тутъ жилъ мужикъ Кузьма, котораго тогдашніе помѣщики называли „министромъ" и съ которымъ мои родители любили бесѣдовать и совѣтоваться. Поэтому привалъ здѣсь дѣлался обязательно, несмотря на близость разстоянія. Ужъ въ то время Кузьмѣ было лѣтъ пятьдесятъ: стало быть, теперь ему катило подъ сто. Когда я проѣзжалъ здѣсь въ послѣдній разъ, онъ былъ еще живъ, но уже мало распоряжался по хозяйству, а только хранилъ семейную казну и бродилъ около усадьбы, осматривая, нѣтъ ли гдѣ порухи. Отмѣна крѣпостного права застала его врасплохъ, и онъ не зналъ, радоваться ему или нѣтъ. Но такъ какъ на первыхъ порахъ у помѣщиковъ еще водились деньги и они безпрестанно сновались взадъ и впередъ съ жалобами, предложеніями земельныхъ обрѣзковъ и т. д., то и Кузьмѣ кой-что перепадало въ этой сутолокѣ за овесъ, за „тепло" и за съѣденныя яичницы. Это были дни радости. Но черезъ годъ, черезъ два маятное движеніе угомонилось и трактъ запустѣлъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ запустѣла и чистая горница въ домѣ Кузьмы. Старикъ возроппталъ.

Впрочемъ благосостояніе Кузьмы стояло уже настолько прочно, что домъ его и теперь глядѣлъ такъ же хозяйственно и солидно, какъ двадцать лѣтъ тому назадъ. Оказалось, что онъ еще живъ и даже бродитъ, съ грѣхомъ пополамъ, по избѣ, но плохо видитъ и никакъ не можетъ затвердить слово: „сицилисты", которое въ деревнѣ пріобрѣло право гражданственности и повторялось въ самыхъ разнообразныхъ смыслахъ. Оказалось также, что о поимкѣ нашей здѣсь уже знали отъ гонца, который ѣздилъ въ Корчеву съ извѣстіемъ о появленіи въ Проплёванной людей, ведущихъ себя „нѣкако странно" (донесеніе для урядника редижировалъ батюшка). Поэтому, какъ только насъ привели, вся деревня, отъ мала до велика, высыпала на улицу. И таково обаяніе предполагаемаго злоумышленія (можетъ быть, вслѣдствіе смѣшенія этого понятія съ представленіемъ о начальствѣ), что, при нашемъ появленіи, тѣ, у которыхъ были на головахъ шапки, инстинктивно сняли ихъ. Разумѣется, я прежде всего поспѣшилъ къ Кузьмѣ, надѣясь, что буду имѣть случай вспомнить прошлое и умилиться. Но старикъ принялъ меня сурово.

— На кого ты руку поднялъ?—неожиданно напустился онъ на меня, широко разѣвая ротъ, въ которомъ уже не было ни одного зуба и который вслѣдствіе этого былъ скорѣе похожъ на зіяющую темную впадину, чѣмъ на ротъ.

Онъ выкрикнулъ это такъ громко и авторитетно, что домочадцы, собравшіеся въ избѣ, въ испугѣ смотрѣли на меня и, крестясь, шептали: „Спаси, Господи! Богородица Успленья"! А внукъ Кузьмы, мужчина лѣтъ сорока, достававшій для насъ въ шкафу чайную посуду, еще усилилъ впечатлѣніе, прибавивъ вполголоса:

— Не трожь, дѣдушка! баринъ-то ишь обмѣнный!

— На кого ты руку поднялъ?—повторилъ старикъ.—Какіе родители-то у тебя были, а ты... а-а-ахъ! Папынька! мамычька! хоть ихъ-то бы ты постыдился... а-а-ахъ!

Наконецъ урядникъ положилъ конецъ этой сценѣ, сказавъ:

— Дѣдушка! не замай арестанта! Не ты въ отвѣтѣ будешь, коли онъ надъ собой что сдѣлаетъ!

Тѣмъ не менѣе выходка старика произвела свое дѣйствіе; да и слово: „арестантъ" было произнесено и должно было отозваться на насъ очень горько. Покуда мы отдыхали, въ избу то-и-дѣло входили „сусѣди". Взойдетъ, перекрестится на образа, поглядитъ на насъ, послушаетъ и уйдетъ. Съ улицы тоже до насъ доходили смутные звуки, свидѣтельствовавшіе, что „здоровый народный смыслъ" начинаетъ закипать. Урядникъ безпрестанно то входилъ въ избу, то выходилъ на улицу, потому что и его начали обвинять въ укрывательствѣ и называть потатчикомъ. Одинъ благомысленный старичокъ прямо поставилъ вопросъ: „коли ежели они арестанты — почему же на нихъ нѣтъ кандаловъ?" Кузьма же хотя и пересталъ кричать, но продолжалъ зудѣть себѣ подъ носъ:

— Теперича что я долженъ съ избой со своей сдѣлать? Кто въ ней теперича сидитъ? какіе люди? на кого они руку подняли? Коли ежели по настоящему, сжечь ее слѣдуетъ, эту самую избу — только и всего!

Но слѣдомъ затѣмъ, совсѣмъ неожиданно, прибавилъ:

— Чай-то свой, что-ли, у васъ? или нашъ будете пить? У насъ чай хорошій, ханскій!

Однимъ словомъ, положеніе, постепенно осложняясь, сдѣлалось подъ конецъ настолько грознымъ, что урядникъ нашъ оказался не на высотѣ своей задачи. И когда настало время идти дальше, онъ растерянно предложилъ мнѣ:

— Вашескородіе! позвольте руки связать! какъ бы чего не случилось!

Разумѣется, мы согласились съ радостью.

Когда мы вышли на улицу и урядникъ, указывая на насъ, связанныхъ по рукамъ, спросилъ толпу: „любо, ребята?“ —то толпа радостно загалдѣла: „любо! любо!“ а какая-то молодая бабенка, забѣжавши впередъ, сдѣлала неприличіе. Но больше всего торжествовали мальчишки. Съ свойственною этому возрасту жестокостью они скакали и кувыркались передъ нами, безразлично называя насъ то сицилистами, то измѣнниками, а меня лично—подмѣннымъ бариномъ. Съ версту провожали они насъ своими неистовыми криками, пока наконецъ урядникъ не выхватилъ изъ толпы одного и не отстегалъ его прутомъ. И тутъ, стало быть, либеральное начальство явилось нашимъ защитникомъ противъ народной немезиды, имъ же впрочемъ по недоумѣнію возбужденной.

Всю остальную дорогу мы шли уже съ связанными руками, такъ какъ население, по мѣрѣ приближенія къ городу, становилось гуще, и урядникъ, въ виду народнаго возбужденія, не смѣлъ уже допустить никакихъ послабленій. Вездѣ на насъ стекались смотрѣть; вездѣ, при нашемъ появленіи, кричали: „сицилистовъ ведутъ!“ а въ одной деревнѣ даже хотѣли насъ судить народнымъ судомъ, то-есть утопить въ прудѣ...

Словомъ сказать, это была ликвидація интеллигенціи въ пользу здороваго народнаго смысла, ликвидація до такой степени явная и безспорная, что даже сотскіе и тѣ поняли, что еще одинъ шагъ въ томъ же направленіи—и нельзя будетъ разобрать, гдѣ кончается „измѣна“ и гдѣ начинается здравый народный смыслъ.

Въ Корчеву мы пришли въ исходѣ восьмого часа вечера, когда уже были зажжены огни. Насъ прямо провели въ полицейское управленіе; но такъ какъ это было 25-го августа, память апостола Тита и тезоименитство купца Вздошникова, у котораго по этому случаю было угощеніе, то въ управленіи, какъ и въ первый разъ, оказался одинъ только Пантелей Егорычъ.

— Ахъ, господа, господа!—встрѣтилъ онъ насъ: — предупреждалъ я васъ! предостерегалъ! просилъ!.. Что это... и руки связаны?.. вотъ вы до чего себя довели!

— Да прикажите же руки-то развязать! —взмолился наконецъ Глумовъ.

— Руки... ужъ и не знаю... какъ законъ! Ахъ, въ какое вы меня положеніе ставите! Такой нынче день... Исправникъ—у именинника, помощникъ—тоже... даже письмоводителя нѣтъ... Ушелъ и ключи отъ шкаповъ унесъ... И дѣло-то объ васъ у него въ столѣ спрятано... Ахъ, господа, господа!

— Такъ пошлите за исправникомъ—и дѣлу конецъ! —настаивалъ Глумовъ.

— Вотъ то-то и есть... какъ это вы такъ легко обо всемъ говорите! Пошлите за исправникомъ! А какъ вы полагаете: человѣкъ исправникъ или нѣтъ? Можетъ онъ одинъ вечерокъ въ свое удовольствіе провести?

— Ничего мы не полагаемъ; знаемъ только, что у насъ руки связаны и что нужно, чтобъ кто-нибудь распорядился ихъ развязать.

— А кто виноватъ? кто въ Корчеву безъ надобности пріѣхалъ? Ѣхали бы въ Калязинъ, ну, въ Угличъ, въ Рыбну, а то нашли куда! Знаете, какія нынче времена, а ѣдете!

Вѣроятно этому либеральному разговору не было бы конца, еслибъ конвоировавшій насъ урядникъ самъ не отправился отыскивать исправника. Черезъ полчаса передъ нами стоялъ молодой малый, свѣтскій и либеральный, и въ какія-нибудь десять минутъ все разъяснилось. Оказалось, что насъ взяли безъ всякой надобности и что начальство было введено въ заблужденіе — только и всего. Поэтому, извинившись передъ нами за „безпокойство“ и пожуривъ урядника за то, что онъ связалъ намъ руки, —*чего въ Корчевскомъ уѣздѣ никогда не бывало,* — исправникъ въ заключеніе очень мило пошутилъ, сказавъ намъ:

— Нынче мы, знаете, руководствуемся не столько закономъ, сколько заблужденіями...

Затѣмъ, звякнувъ шпорами и пожелавъ, чтобы Богъ благословилъ наши начинанія, онъ отрядилъ десятскаго, который и проводилъ насъ на постоялый дворъ.

Такъ какъ пароходъ долженъ былъ придти только на слѣдующій день, то мы и рѣшились посвятить предстоящій вечеръ выполненію той части нашей программы, въ которой говорится о составленіи подложныхъ векселей. Очищенный безъ труда написалъ заднимъ числомъ на свое имя десять векселей, каждый въ двадцать-пять тысячъ рублей, отъ имени временной с.-петебургской 2-й гильдіи купчихи изъ дворянъ Матрены Ивановны Очищенной. Одинъ изъ этихъ векселей почтенный старичокъ тутъ же пожертвовалъ на заравшанскій университетъ.

Но въ тотъ же вечеръ насъ ожидало горестное извѣстіе. Балалайкинъ прислалъ телеграмму, которая гласила слѣдующее:

„Пожертвованныя на университетъ деньги растрачены. Похититель скрылся. Приняты мѣры. Сто рублей отыскано“.

Въ отвѣтъ на каковое извѣстіе мы съ своей стороны телеграфировали:

„Поднимаемъ бокалы за процвѣтаніе... да здравствуетъ!“

На другой день, когда мы направлялись къ пароходной пристани, ко мнѣ подошелъ мѣщанинъ Презентовъ и сказалъ:

— Вашескородіе! позвольте вамъ доложить... не посовѣтуете ли вы мнѣ птицу начать?

— Какую птицу?

— Летать чтобы... Въ Кашинѣ, сказываютъ, діаконъ заштатный ужъ сдѣлалъ птицу...

— Летаетъ?

— Такъ на вершокъ отъ земли... прыгнетъ и опять сядетъ... А я надѣюсь, что она у меня вполнѣ полетитъ.

— Ахъ, голубчикъ! да разумѣется! что же вы медлите! Дѣлайте птицъ, изобрѣтайте ковры-самолеты... И вдругъ, чего добраго, полетите!

Глава XXII.

Въ Корчевѣ намъ сказали, что въ Кашинѣ мы найдемъ именно такого жида, какого намъ нужно. Сверхъ того хотѣлось взглянуть и на тѣ виноградники, которые даютъ матеріалъ для выдѣлки знаменитыхъ кашинскихъ винъ. А такъ какъ, судя по полученной отъ Балалайкина телеграммѣ, дѣло о зарявшанскомъ университетѣ очевидно позамялось, и слѣдовательно въ Самаркандъ спѣшить было незачѣмъ, то мы и направили свой путь къ Кашину.

На пароходѣ мы встрѣтили компанію настолько многочисленную, что сама прислуга повидимому была изумлена. Въ Корчевѣ скупили весь бѣлый хлѣбъ, всѣхъ цыплятъ и выпили все сусло, такъ что мѣстныя торговки въ этотъ день запаслись лишнимъ рублишкомъ на покупку патентовъ. Единственный пароходный гарсонъ, съ подвязанной щекой и распухлымъ лицомъ, безъ устали бѣгалъ сверху внизъ и обратно, гремя графинами и рюмками. Изъ аршинной кухни, входъ въ которую былъ загороженъ спиною повара, несло чѣмъ-то прокислымъ — не то лѣнивыми щами, не то застоявшимися помоями. Возвращалось во-свояси цѣлое стадо „свѣдущихъ людей". И тѣ, которые успѣли сказать „вѣское слово"; и тѣ, которые пришли, понюхали и ушли. Въ каютѣ перваго класса шелъ шумный разговоръ, касавшійся преимущественно внутренней политики, и свѣдѣнія, которыя мы здѣсь получили, были самаго прискорбнаго свойства. По отзывамъ пассажировъ, реакція, на время понурившая голову, вновь ее подняла. Въ обществѣ царствовалъ мракъ, уныніе и междусобіе; такъ-называемые „правящіе классы" раздѣлились на два враждебныхъ лагеря. Партія, во главѣ которой стоялъ либеральный тайный совѣтникъ Губошлеповъ, безъ боя сложила оружіе — и вдругъ, словно сквозь землю, провалилась; самъ Губошлеповъ удалился въ деревню и нынѣ креститъ дѣтей у урядника. Напротивъ того, партія статскаго совѣтника Долбни торжествуетъ на всѣхъ пунктахъ и горитъ нетерпѣніемъ сразиться, съ тѣмъ однакоже, что она будетъ поражать, а противники будутъ лишь съ раскаяніемъ претерпѣвать пораженіе. А Долбня ходитъ по улицамъ, распѣвая пѣсню объ антихристѣ:

Народился злой антихристъ,
Во всю землю онъ вселился,
Во весь міръ вооружился...

и открыто возвѣщаетъ близкое прекращеніе рода человѣческаго. И полицейскіе чины, вмѣсто того чтобы вести его за такія слова въ кутузку, дѣлаютъ — при его проходѣ — подъ козырекъ.

Но что для насъ было всего больнѣе узнать — Иванъ Тимоѳеичъ былъ вынужденъ подать въ отставку, потому что въ проектированномъ (даже не опубликованномъ, а только проектированномъ!) имъ „Уставѣ о благопристойномъ во всѣхъ отношеніяхъ поведеніи" былъ усмотрѣнъ московскими охотнорядцами злопамѣренный якобинскій ядъ. Не обошлось тутъ и безъ преда-

тельства, въ которомъ роль главнаго дѣйствующаго лица — увы! — игралъ Прудентовъ. Вознамѣрившись подкузьмить Ивана Тимоѳеича, съ тѣмъ чтобы потомъ самому сѣсть на его мѣсто, онъ тайно послалъ въ московскій Охотный рядъ корреспонденцію, въ которой доказывалъ, что ядовитыя свойства проектированнаго въ кварталѣ „Устава" происходятъ-де оттого, что во время его составленія господинъ начальникъ квартала находился-де подъ вліяніемъ вожаковъ революціонной партіи, свившей-де гнѣздо на Литейной. А онъ, Прудентовъ, не разъ-де указывалъ господину начальнику на таковые и даже предлагалъ-де ввести въ „Уставъ" особливый параграфъ такого-де содержанія: „Всякій желающій имѣть разговоръ или собесѣдованіе у себя на дому, или въ иномъ мѣстѣ, обязывается наканунѣ дать о семъ знать въ кварталъ, съ приложеніемъ программы вопросовъ и отвѣтовъ, и, по полученіи на сіе разрѣшенія, вызвавъ необходимое для разговора лицо, привести намѣреніе свое въ исполненіе". Но введенію этого параграфа воспротивились-де упомянутые выше революціонные вожаки, съ которыми, по слабохарактерности, соглашался и начальникъ квартала...

И что же однако! Иванъ-то Тимоѳеичъ пострадалъ, да и Прудентовъ не уцѣлѣлъ, потому что на него, въ свою очередь, донесъ Кшепшицюльскій, что онъ-де въ родительскую субботу блиновъ не печетъ, а тѣмъ самымъ якобы тоже злонамѣренный якобинскій духъ предъявляетъ. И теперь оба, и Иванъ Тимоѳеичъ, и Прудентовъ, примирившись, живутъ гдѣ-то на огородахъ въ нарвской части и состоятъ въ оппозиціи. А Кшепшицюльскій перешелъ въ православіе и служитъ приспѣшникомъ въ клубѣ Взволнованныхъ Лоботрясовъ.

Но что сталось съ Молодкинымъ—этого никто сказать не могъ. Счастливый Молодкинъ! ты такъ незамѣтенъ въ своей пожарной спеціальности, что даже жало клеветы не въ силахъ тебя уязвить! А мы-то волнуемся, спрашиваемъ себя: кто истинно счастливый человѣкъ? — Да вотъ кто — Молодкинъ!

— Да, теперь въ Петербургѣ—ой-ой!—прибавилъ свѣдущій человѣкъ, разсказавшій намъ эти подробности.

Но, повторяю, для насъ лично этотъ разсказъ имѣлъ и другое очень существенное значеніе: очевидно, что революціонеры, которыхъ въ данномъ случаѣ разумѣетъ Прудентовъ, были...

Бываютъ такіе случаи. Придешь совсѣмъ въ постороннее мѣсто, встрѣтишь совсѣмъ постороннихъ людей, ничего не ждешь, не подозрѣваешь, и вдругъ въ ушахъ раздаются какіе-то звуки, напоминающіе что гдѣ-то варится какая-то каша, въ расхлебаніи которой ты рано или поздно, но несомнѣнно долженъ будешь принять участіе...

— Главное то обидно, — жаловался Глумовъ:—что все это негодяй Прудентовъ налгалъ. Предложи онъ въ ту пору параграфъ о разговорахъ—да я бы обѣими руками подписался подъ нимъ! Помилуйте! производить разговоры по программѣ, утвержденной кварталомъ, да пожалуй еще при депутатѣ отъ квартала—вѣдь это ужъ такая „благопристойность", допустивши которую и „Уставовъ" писать нѣтъ надобности. Параграфъ первый и единственный—только и всего.

А въ каютѣ между тѣмъ во всѣхъ углахъ раздавались жалобы, однѣ только жалобы.

— Развѣ такое общество, какъ наше, можно называть обществомъ! — жалуется „свѣдущій человѣкъ“ изъ-подъ Краснаго Холма. — Ни духа предпріимчивости, ни иниціативы — ничего! Предлагалъ я, напримѣръ, коротенькую линію отъ Краснаго Холма до Бѣжецка провести — не понимаютъ, да и все тутъ! Первый вопросъ: что̀ возить будете? — ну, не глупость ли? Помилуйте, говорю! вы только желѣзный путь намъ выстройте, а ужъ тамъ сами собой предметы объявятся... не понимаютъ! Не понимаютъ, что желѣзные пути сами родятъ перевозочный матеріалъ! Я къ Гинцбургу — не понимаетъ! На-голо̀ ужъ высчитываю: яйца, говорю, курятный товаръ, грибы, сушоная малина — это и теперь у всѣхъ на виду, а впослѣдствіи постепенно явится и многое другое... Не понимаетъ! Я — къ Розенталю — въ зубъ толкнуть не смыслитъ! Я — туда-сюда — никому ни до чего дѣла нѣтъ! Вотъ и живи въ такомъ обществѣ!

— Нынче ужъ и насъ, адвокатовъ, въ неблагонамѣренности заподозрили, — сообщаетъ адвокатъ изъ-подъ Углича. — Мы шкуру съ живого содрать готовы — кажется, чего ужъ! — а они кричатъ: неблагонамѣренные!

— Нынче объ насъ, судьяхъ, только и словъ, что мы основы трясемъ, — соболѣзнуетъ „несмѣняемый“ изъ-подъ Пошехонья: — каждый день, съ утра до вечера, только и дѣлаешь, что прописываешь, только объ одномъ и думаешь, какъ бы его, потрясателя-то, хорошенько приснировить, а по-ихнему выходитъ, что оттого у насъ основы не держутся, что сами судьи ихъ трясутъ... Это мы-то трясемъ!

— Чортъ знаетъ на что̀ похоже! — ропщетъ землевладѣлецъ изъ-подъ Мологи: — сыроварню хотѣлъ устроить — говорятъ: соціалистъ! Это я-то... соціалистъ! Въ драгунахъ служилъ... представьте себѣ!

— Хоша бы эти самыя основы — ка̀къ ихъ слѣдуетъ понимать? — объясняетъ свои сомнѣнія рыбинскій купчина-хлѣботорговецъ. — Теперича ежели земля перестала хлѣбъ родить — основа это ли нѣтъ?.. Оттого ли она перестала родить, что лѣность засиліе взяла, или оттого, что такой карахтеръ ей Богъ далъ? Какъ? что̀? Отъ кого въ эфтимъ разѣ объясненія ожидать? А у насъ, между прочимъ, задатки заданы, потому что мы ни лѣностевъ этихъ, ни карахтеровъ не знаемъ, а помнимъ только, что родители наши производили, и мы производить должны. А намъ говорятъ: погоди! земля не уродила! А ка̀къ же задатки, позвольте спросить? основа это или нѣтъ? Или опять: система эта самая водяная... Погрузились, плывемъ — благослови Господи! И вдругъ: стой, воды нѣтъ!.. основа это или нѣтъ? А у насъ, между прочимъ, контрактъ съ а̀гличиномъ. А ему вынь да положь. Ка̀къ же, молъ, я, Архипъ Албертычъ, безъ воды въ баркѣ поѣду? А онъ нашихъ порядковъ не знаетъ, ему на чемъ хошь поѣзжай... Я триста, четыреста тысячъ въ одно лѣто теряю — основа это или нѣтъ? Позвольте васъ спросить: ежели васъ сегодня по карману — разъ, завтра — два, послѣ-завтра — три, а впослѣдствіи, можетъ, и больше... и при семъ говорятъ: „основы“... то въ какой, примѣръ, силы оное понимать?

Купчина останавливается на минуту, чтобъ передохнуть, и затѣмъ уже обращается лично ко мнѣ.

— Позвольте васъ, господинъ, спросить. Теперича вотъ эта самая рыба, которая сейчасъ въ Волгѣ плаваетъ: ожидаетъ она или не ожидаетъ, что современемъ къ намъ въ уху попадетъ?

— Безъ сомнѣнія, не ожидаетъ, потому что рыба, которая разъ въ ухѣ побывала, въ рѣку ужъ возвратиться не можетъ. Слѣдовательно некому и сообщить прочимъ рыбамъ, къ какимъ послѣдствіямъ ихъ ведетъ знакомство съ человѣкомъ.

— А мы вотъ и знаемъ, что̀ такое уха, и опять въ уху лѣземъ. Какъ это понимать?

— Приспособляться надо. А еще лучше, ежели будете жить такъ, какъ бы совсѣмъ не было ухи. Старайтесь объ ней позабыть.

— Нельзя ее забыть. Еще дѣдушки наши объ этой ухѣ твердили. Рыба-то вишь какъ въ водѣ играетъ — а отчего? — оттого самаго, что она ухи для себя не предвидитъ! А мы... До игры ля мнѣ теперича, коли у меня цѣлый караванъ на мели стоитъ? И какъ это Господь Богъ: къ твари—милосердъ, а къ человѣку — немилостивъ? Твари этакую лёгость далъ, а человѣку въ онномъ отказалъ? Неужто тварь больше заслужила?

— А со мной что̀ случилось—потѣха!—повѣствуетъ „свѣдущій человѣкъ“ изъ-подъ Костромы: — стоимъ мы съ Иванъ Павлычемъ у Вольфа въ ресторанѣ и разговариваемъ. Объ транзитѣ, объ рублѣ, о бюджетѣ—словомъ сказать, обо всемъ. Съ инымъ соглашаемся, съ другимъ—никакъ согласиться не можемъ. Смотримъ, откуда ни возьмись — неизвѣстный мужчина! Сталъ около насъ, руки назадъ заложилъ, точно вѣкъ съ нами знакомъ. „Вамъ что̀ угодно?“ спрашиваетъ его Иванъ Павлычъ.—А вотъ, говоритъ, слушаю, объ чемъ вы разговариваете. — И такъ это натурально, точно дѣло дѣлаетъ... „Поздно спохватились,—говоритъ Иванъ Павлычъ: — мы ужъ обо всемъ переговорили“. Хорошо. Выходимъ, знаете, изъ ресторана — и онъ за нами. Мы прямо — и онъ прямо; мы въ сторону—и онъ въ сторону! Дошли до околоточнаго—онъ къ нему; вотъ они — указываетъ на насъ—объ формахъ правленія разговариваютъ. Въ кварталъ. Квартальнаго—нѣтъ: въ парадъ ушелъ. Извольте подождать. Сидимъ часъ, сидимъ другой; писаря съ папиросами мимо бѣгаютъ, сторожа въ передней махорку курятъ, со двора вонище несетъ; на полу—грязь, по дивану —клопы ползаютъ. Сидимъ. Ужъ передъ самымъ обѣдомъ слышимъ: въ передней движеніе. Докладываютъ: „политическихъ, вашескородіе, привели“. Входитъ квартальный. „Имя, отчество, фамилія? чѣмъ занимаетесь?“ —Такіе-то. Свѣдущіе люди. Прибыли въ столицу по вызову на предметъ разсмотрѣнія. — Удивился. „Что̀ за причина?“ —Не знаемъ. „Объ формахъ правленія въ кофейной у Вольфа разговаривали!“ —подскочилъ тутъ письмоводитель. „Ахъ, господа, господа!“ Ну, отпустилъ и даже пошутилъ: „да послужитъ сіе вамъ урокомъ!“

— Только и всего?

— Будетъ съ насъ.

— А вы бы жаловались...

— Жаловаться не жаловались, а объясненіе — имѣли. Выходитъ, что существуютъ резоны. Конечно, говорятъ, эти добровольцы-шалыганы всѣмъ

по горло надоѣли, но нельзя не принять во вниманіе, что они на правильной стезѣ стоятъ. Ну, мы махнули рукой, да и укатили изъ Питера.

— А по моему мнѣнію, — ораторствуетъ въ другомъ углу „свѣдущій человѣкъ“ изъ-подъ Романова: — всѣ эти акцизы въ одно бы мѣсто собрать да по душамъ въ поровёнку и разложить. Тамъ хоть пей, хоть не пей, хоть кури, хоть не кури, а свое—отдай!

— Какъ же это такъ... одинъ пьетъ, другой—не пьетъ, а вдругъ непьющій за пьющаго плати!

— Зачѣмъ такъ! Коли кто пьетъ — тотъ особливо по вольной цѣнѣ заплати. Водка-то, коли безъ акциза—чего она стоитъ?—грошъ стоитъ! — А тутъ опять—конкуренція. Въ ту пору и заводчики, и кабатчики — всѣ другъ дружку побивать будутъ. Вѣдь она почесть задаромъ пойдетъ, водка-то! Выпилъ стаканъ, выпилъ два — въ мошнѣ-то и незамѣтно, убавилось или нѣтъ. А казнѣ между тѣмъ лёгость. Ни надзоровъ, ни дивидендовъ, ни судовъ—ничего не нужно. Бери денежки, загребай!

— А недоимки?

— И противъ недоимокъ средство есть: почаще подъ рубашку заглядывать. Прежде, когда своевременно вспрыскивали — и недоимокъ не было; а ныньче, какъ пошли въ ходъ нѣжничанья да филантропія — и недоимки явились

— Такъ-то такъ...

Мнѣ лично ужасно эти разговоры не нравились. Во-первыхъ, думалось: вотъ люди, которые жалуются, что имъ дохнутъ не даютъ, а между тѣмъ, смотрите, какъ разговариваютъ! Стало быть, одно изъ двухъ: или они врутъ, или всѣ эти соглядатайства, сопряженныя съ путешествіями по кварталамъ, не достигаютъ цѣли и никого не устрашаютъ. Ихъ пожурятъ, отпустятъ, а они опять за свое — развѣ можно назвать это результатомъ? А во-вторыхъ, и опасеньице было: разговариваютъ да разговариваютъ, да вдругъ и въ самомъ дѣлѣ о бюджетахъ заговорятъ! куда тогда дѣваться? На палубу уйти — и тамъ о бюджетахъ разговариваютъ; во второй классъ спустишься — тамъ купцы третьей гильдіи, за четвертной бутылью, антихриста поджидаютъ; въ третій классъ толкнуться—тамъ мужичье аграрные вопросы разрѣшаетъ...

Къ счастію, кто-то упомянулъ объ „Аннѣ Ивановнѣ“, и общественное вниманіе каюты разомъ шарахнулось въ эту сторону. Довольно значительная группа свѣдущихъ людей лично знала Анну Ивановну; другія же группы хотя и не знали именно этой Анны Ивановны, но знали Клеопатру Ивановну, Дарью Ивановну, Наталью Ивановну и проч., которыя представляли собой какъ бы безчисленные оттиски одной и той же Анны Ивановны. Такъ что, напримѣръ, Клеопатра Ивановна была углицкою Анной Ивановной, а Анна Ивановна была калязинскою Клеопатрой Ивановной и т. д. Всѣ вообще Анны Ивановны — лихія, гостепріимныя, словоохотливыя, иногда некрасивыя, но всегда подманчивыя и задорливыя. Всѣ любятъ исключительно мужское общество, охотно берутся управить тройкой бѣшеныхъ коней—причемъ надѣваютъ плисовую безрукавку и красную канаусовую рубаху—и не поморщась выпиваютъ стаканъ шампанскаго на брудершафтъ. Одлѣ изъ нихъ —вдовы,

другія хотя имѣютъ мужей, но маленькихъ и почти всегда недоумковъ (чаще всего родители Анны Ивановны прельщаются ихъ относительнымъ матеріальнымъ довольствомъ); изрѣдка попадаются и дѣвицы, но почти исключительно у матерей, которыя сами были въ свое время Аннами Ивановнами. Для немногихъ „свѣдущихъ людей", застрявшихъ въ своихъ захолустьяхъ, для господъ офицеровъ расквартированнаго въ уѣздѣ полка и для судебныхъ приставовъ — Анны Ивановны представляютъ сущій кладъ. И по пути, и безъ пути—всегда у Анны Ивановны двери настежъ, всегда и тепло, и свѣтло, и на столѣ закуска стоитъ. И мужъ тутъ же сидитъ, ночевать унимаетъ. И прислуга на крыльцо встрѣчать бѣжитъ — горничныя въ сарафанахъ, лакеи въ поддёвкахъ — и изо всѣхъ силъ суетится, чтобъ угодить, потому что и прислугѣ пріятно пожить весело, а у кого же весело пожить, какъ не у Анны Ивановны. Цѣлый день у Анны Ивановны огонь подъ плитой разведенъ, цѣлый день готовятъ, пекутъ, самовары грѣютъ, кофей разносятъ. А на какія средства она все это печетъ и варитъ — она и сама едва-ли знаетъ. Говорятъ, будто она въ прошломъ году лѣску продала, да что-то ужъ часто она этотъ самый лѣсъ продаетъ. Говорятъ также, будто она кругомъ въ долгу— пастуху задолжала! за пастушину два года не платитъ!—съ ужасомъ восклицаютъ сосѣднія помѣщицы, которыя, въ ожиданіи сумы, на обухѣ рожь молотятъ—но она не платитъ, не платитъ, и вдругъ какъ-то обернется да всѣмъ и заплатитъ. Правда, что кто ни пріѣдетъ къ ней, всегда что-нибудь привезетъ, да она и сама не скрываетъ этого. Прямо такъ и встрѣчаетъ: „что привезли? волоките!" И тутъ же все привезенное выпоитъ и выкормитъ. Словомъ сказать, живетъ Анна Ивановна въ свое удовольствіе, а какъ это у нея выходитъ, ей до того дѣла нѣтъ.

Въ большей части случаевъ Анна Ивановна, даже перейдя границу сорокалѣтняго возраста, все еще бодро держитъ въ рукахъ знамя уѣздной львицы; но иногда случается и такъ: покуда она гарцуетъ въ своемъ Санъ-Суси, по сосѣдству, въ Монплезирѣ, вдругъ объявляется другая Анна Ивановна. Столь же лихая и подманчивая, но молодая, дѣятельная, сгорающая нетерпѣніемъ покорить себѣ всѣ сердца. Тогда наступаютъ для старой Анны Ивановны скорбные, полные жгучей боли дни. Начинается борьба. Старая Анна Ивановна скачетъ на тройкѣ съ *своими* кавалерами мимо Монплезира; новая Анна Ивановна, на *своей* тройкѣ, съ *своими* кавалерами, скачетъ мимо Санъ-Суси. Горланятъ пѣсни, гаркаютъ, отбиваютъ наскаку у бутылокъ горлышки. Старая Анна Ивановна куритъ папиросы десятками; новая Анна Ивановна въ одинъ день выкуритъ цѣлую сотню. Старая Анна Ивановна вылавливаетъ въ прудахъ и въ рѣчкѣ всѣхъ карасей и окармливаетъ ими своихъ кавалеровъ; новая Анна Ивановна говоритъ майору Оглашенному: „Оглашенный! когда же вы привезете стерлядей?" и черезъ три дня послѣ карасиной вакханаліи кормитъ своихъ кавалеровъ стерляжьей ухой. Старая Анна Ивановна пускаетъ въ ходъ выраженія, отъ которыхъ кавалерамъ дѣлается тепло; новая Анна Ивановна загибаетъ такія словечки, отъ которыхъ даже небу становится жарко... Мало-по-малу однакожъ положеніе выясняется рѣзче и рѣзче. Первыми дезертируютъ изъ лагеря старой Анны Ивановны господа штабъ-и оберъ-офицеры; затѣмъ свѣдующіе люди, и дольше дру-

гихъ ей остаются вѣрными судебные пристава. Но наконецъ и они, прослышавши объ утѣхахъ, ареною которыхъ сдѣлался Монплезиръ, вдругъ пропадаютъ. Анна Ивановна остается одна, глазъ-на-глазъ съ маленькимъ человѣкомъ, котораго она называетъ своимъ мужемъ...

Санъ-Суси приходитъ въ запустѣніе. Лѣски, которые его окружали, сведены, пустоши—проданы. Прислуга, привыкшая къ вѣчной суматохѣ, начинаетъ роптать и требовать разсчета; пастухъ — тоже не хочетъ больше ждать, а разносчикъ Фока, столько лѣтъ снабжавшій Анну Ивановну въ кредитъ селедками и мещерскимъ сыромъ, угрожаетъ ей мировымъ судьею и дѣлаетъ какіе-то нелѣпые намеки. Въ усадьбу, когда-то наполненную шумомъ и гвалтомъ, потихоньку-потихоньку заползаютъ окрестные кабатчики и люди духовнаго вѣдомства. „А Анна-то Иванова, представьте... съ батюшкинымъ братомъ!“ или: „вѣдь Анна-то Ивановна... съ Разуваевымъ!“ весело гогочутъ въ Монплезирѣ, разсказывая похожденія старой уѣздной сахарницы. Но какую муку переживаетъ при этой метаморфозѣ маленькій Анны Ивановнинъ мужъ—для изображенія этого нуженъ цѣлый особый этюдъ и такое особливое сочетаніе красокъ, котораго я, къ сожалѣнію, не имѣю въ своемъ распоряженіи.

Какъ бы то ни было, но въ нашей каютѣ разговоръ зашелъ на тему объ Аннѣ Ивановнѣ. Сквернословили ходко, весело, шумно —всѣ разомъ. Всякій старался щегольнуть, сообщить что-нибудь особенное, но ничего особеннаго не выходило, потому что у всѣхъ была одна и та же Анна Ивановна, съ однѣми и тѣми же примѣтами. Всѣ надъ нею слегка подсмѣивались, но было очевидно, что всякій, пріѣхавши въ свое мѣсто, сейчасъ же сломя голову поскачетъ въ Монплезиръ. И у всѣхъ, безъ изъятія, были припасены для Анны Ивановны петербургскіе подарки, начиная съ шляпы и кончая страсбургскимъ паштетомъ.

Наконецъ однакожъ надоѣло и сквернословить; на нѣсколько минутъ всѣ примолкли, какъ будто поглупѣли. Доканчивали прерванныя рѣчи, досмѣивались, повторяли избранныя мѣста. Сумерки между тѣмъ окончательно потемнѣли и пароходъ приближался къ Кимрѣ, гдѣ, по расписанію, назначена на ночь стоянка. Зажгли единственную на всю каюту лампу, которая жалобно звенѣла матовымъ колпакомъ и пламя которой представлялось мутносвѣтящеюся точкой среди облаковъ табачнаго дыма. Кто-то крикнулъ: „господа! въ винтъ! кто желаетъ въ винтъ, господа?“ и сейчасъ же набралось два стола. Въ каютѣ водворилась тишина. Играющіе сосредоточились; оставшіеся внѣ игры — размѣстились по угламъ и вполголоса возобновили прерванную бесѣду объ Аннѣ Ивановнѣ и ея свойствахъ. Нѣкоторые спозаранку улеглись спать.

И мы намѣревались послѣдовать примѣру послѣднихъ, но покуда собирались—случился казусъ. Въ Кимрѣ ввалился въ каюту новый пассажиръ, офицеръ (разумѣется, отставной) и сразу сталъ называть Парамонова „тетенькой“. Подсѣлъ и началъ: „ахъ, тетенька! сто лѣтъ, сто зимъ! какъ дѣточки? что, дяденька? неужто до сихъ поръ грѣшите... ахъ, тетенька!“ Въ сущности, эта кличка до такой степени мѣтко воспроизводила Парамонова въ перлъ созданія, что мнѣ показалось даже страннымъ, какъ это я давно не угадалъ,

что Парамоновъ—тетенька; но офицеръ все дѣло испортилъ тѣмъ, что, замѣтивъ успѣхъ своей клички, началъ черезчуръ ужъ назойливо щеголять ею. Съ полчаса онъ не отходилъ отъ Парамонова и самымъ идіотскимъ образомъ мучительствовалъ надъ нимъ, приплетая тутъ и Гоголя (офицеръ былъ „образованный"), и „стаметовыя юбки", и классическое „Обмокни" и т. д. Злосчастный мѣняло сначала улыбался, но потомъ оторопѣлъ и сталъ испуганно озираться. Мы съ Глумовымъ сидѣли какъ на иголкахъ и думали: вотъ будетъ штука, если изъ-за мѣнялы придется выходить съ офицеромъ на смертный бой? Фаинушка жалась и, кажется, понимала, что офицеръ затѣялъ эту исторію единственно съ цѣлью блеснуть передъ нею; „корреспондентъ" обдумывалъ фельетонъ подъ названіемъ: „Интеллигентные дикари", въ которыхъ ставилъ обществу „Самолетъ" вопросъ: отвѣчаетъ ли оно за спокойствіе и безопасность ѣдущихъ на его пароходахъ пассажировъ? Одинъ Очищенный нашелся. Онъ потребовалъ бутылку „ямайскаго" и началъ потчивать. Ромъ вообще дѣйствуетъ серьезно и быстро, а кашинскій въ особенности. Въ настоящемъ случаѣ ромъ до того вонялъ клопомъ, что всѣ пассажиры инстинктивно начали чесаться, а офицеръ, выпивая рюмку за рюмкой, въ скоромъ времени ощутилъ себя окруженнымъ видѣніями. И въ довершеніе всего, увидѣвъ въ зеркалѣ собственную фигуру, вообразилъ, что это непріятель, который вызываетъ его на единоборство, и обнажилъ саблю. Тогда ужъ и другіе пассажиры сочли долгомъ вступиться; произошла краткая, но вразумительная суматоха, и черезъ десять минутъ благодѣтельный сонъ смыкалъ вѣжды разбушевавшагося героя.

На другой день, высадившись раннимъ утромъ въ Сергіевкѣ, мы часовъ около семи были въ Кашинѣ.

Глава XXIII.

Кашинъ—уѣздный городъ Тверской губерніи; имѣетъ, по календарю, до семи съ половиной тысячъ жителей и лежитъ на рѣкѣ Кашинкѣ, которая скромно катитъ среди города свои волны въ зеленыхъ берегахъ. Нѣкогда Кашинъ былъ стольнымъ городомъ и соперничалъ съ Тверью, но нынѣ даже съ Бѣжецкомъ соперничать не дерзаетъ. Нѣкогда въ рѣкѣ Кашинкѣ водились пискари, а нынѣ остались только лягушки и головастики. Что Кашинъ въ свое время принадлежалъ къ числу цвѣтущихъ русскихъ муниципій—объ этомъ и донынѣ свидѣтельствуетъ великое множество церквей, изъ которыхъ нѣкоторыя считаютъ не болѣе трехъ-четырехъ домовъ въ приходѣ, но и за всѣмъ тѣмъ могутъ существовать, благодаря прежде сдѣланнымъ щедрымъ вкладамъ. Я самъ хорошо помню, какъ въ тридцатыхъ годахъ и даже въ сороковыхъ годахъ помѣщики не только Кашинскаго, но и смежныхъ уѣздовъ ѣздили въ Кашинъ веселиться и запасались тамъ бакалеей и моднымъ товаромъ. И помѣщики кашинскіе были веселые, и усадьбы у нихъ веселыя, и гости къ нимъ пріѣзжали веселые; но весело ли жилось въ этихъ веселыхъ мѣстахъ рабамъ—объ этомъ сказать не умѣю. У меня было въ Кашинскомъ уѣздѣ нѣсколько кузинъ, и я, будучи ребенкомъ, жадно слушалъ ихъ раз-

сказы о томъ, какая въ Кашинѣ безподобная икра, какія бесѣдки *), витушки **) и какъ весело живутъ тамошніе помѣщики, переѣзжая всѣмъ домомъ отъ одного къ другому; днемъ ѣдятъ, лакомятся вареньемъ и пастилою, играютъ въ фанты, въ жмурки, въ сижу-посижу и танцуютъ кадрили и экосезы, а ночью гости, за недостаткомъ отдѣльныхъ комнатъ, спятъ въ-повалку. Мнѣ казалось что Кашинъ есть нѣчто въ родѣ свѣтлаго помѣщичьяго рая, и я горько роптамъ на Провидѣніе, уродившее меня не въ Кашинѣ, а въ глухой Калязинской Мещрѣ, гдѣ помѣщики въ-повалку не спали, въ сижу-посижу не играли, экосезовъ не танцовали, а жили угрюмо, снѣдаемые клопами и завистью къ счастливымъ кашинцамъ ***).

Въ настоящее время Кашинъ представляетъ собой выморочный городъ, еще болѣе унылый, нежели Корчева. Ибо Корчева и прежде не отличалась щеголеватостью—въ ней только убоиной пахло—а въ Кашинѣ пахло бакалеей, бонбономъ и женскими атурами. Такъ что къ нынѣшнему корчевскому запустѣнію въ современномъ Кашинѣ присовокупляется еще паутина временъ, которая, какъ извѣстно, распространяетъ отъ себя острый запахъ затхлости, свойственной упраздненному зданію.

На постояломъ дворѣ мы узнали, что жидъ, котораго мы разъискиваемъ, живетъ въ богатой княжеской усадьбѣ, верстахъ въ десяти отъ города, и управляетъ приписаннымъ къ этой усадьбѣ имѣніемъ. Или, въ сущности, не управляетъ, а арендуетъ его, сводитъ лѣсъ, донимаетъ мужичковъ штрафами и понемногу распродаетъ мебель, скотъ и движимость вообще. Окреститься онъ затѣялъ въ видахъ пріобрѣтенія правъ осѣдлости, а наставляетъ и утверждаетъ его въ вѣрѣ, изверженный за пьянство изъ сана древній дьяконъ, который, по старости, мухъ не ловитъ, но водку пить еще можетъ.

Мы рѣшили ѣхать туда на другой день, а въ ожиданіи предприняли подробный осмотръ кашинскихъ достопримѣчательностей.

Разумѣется, прежде всего насъ заинтересовало кашинское винодѣліе. Съ давнихъ поръ оно составляло предметъ милліонныхъ оборотовъ, послужило основаніемъ для милліонныхъ состояній и питало помѣщичій патріотизмъ во всей восточной полосѣ Тверской губерніи. Я помню время, когда вся калязинская Мещра самонадѣянно восклицала: „ничего намъ отъ иностранцевъ не надо! каретники у насъ—свои, столяры—свои, повара—свои, говядина, рыба, дичина, овощъ—все свое! вина виноградного не было — и

---

*) Печенье изъ тѣста, сдобнаго или кислаго, смотря по вкусу. Имѣло форму фасада открытой садовой бесѣдки (въ родѣ большой кибитки, кругомъ заплетенной акаціями) и состояло изъ множества тонкихъ хлѣбныхъ палочекъ. Украшалось по желанію сусальнымъ золотомъ, изюмомъ и миндалинами.

**) Такое же печенье: форма продолговатая, имѣющая видъ заплетенной косы.

***) Я еще засталъ веселую помѣщичью жизнь и помню ее довольно живо. Въ Кашинѣ я, впрочемъ, не бывалъ, но и въ нашемъ, сравнительно угрюмомъ, Калязинскомъ уѣздѣ прорывались веселые центры, напримѣръ на Хотчѣ и въ особенности въ селѣ Воскресенскомъ, гдѣ жило до семи помѣщичьихъ семей, которыя, несмотря на скудныя средства, ничѣмъ другимъ не занимались, кромѣ хлѣбосольства. Когда-нибудь я надѣюсь возобновить въ своей памяти подробности этой недавней старины, которая исчезла на нашихъ глазахъ, не оставивъ по себѣ *никакого* слѣда.

то теперь въ Кашинѣ научились дѣлать!“ Только объ наукахъ *своихъ* Мещѳра не упоминала, потому что при крѣпостномъ правѣ и безъ наукъ хорошо жилось.

И пила Мещѳра рублевые (на ассигнаціи) кашинскіе хереса, пила и похваливала. Сначала съ этихъ хересовъ тошнило, но потомъ привычка и патріотизмъ дѣлали свое дѣло.

Нынѣ кашинское винодѣліе слегка пошатнулось, вѣроятно впрочемъ только временно. Во-первыхъ, сошли со сцены коренные основатели и заправители этого дѣла; а во-вторыхъ, явилась ему сильная конкуренція въ Ярославлѣ. Однакожъ и донынѣ кашинскому вину довѣряютъ больше, чѣмъ ярославскому, а кашинскіе рейнвейны, особливо ежели съ золотыми ярлыками, и теперь служатъ украшеніемъ такъ-называемыхъ губернаторскихъ обѣдовъ.

Оказалось, что никакихъ виноградниковъ въ Кашинѣ нѣтъ, а винодѣліе производится въ принадлежащихъ винодѣламъ подвалахъ и погребахъ. Процессъ выдѣлки изумительно простой. Въ основаніе каждаго сорта вина берется подлинная бочка изъ-подъ подлиннаго вина. Въ эту подлинную бочку наливаются въ опредѣленной порціи астраханскій чихирь и вода. Подходящую воду доставляетъ рѣка Кашинка, но въ послѣднее время дознано, что рѣка Которосль (въ Ярославлѣ) тоже въ изобиліи обладаетъ хересными и лафитными свойствами. Когда разбавленный чихирь провоняетъ отъ бочки надлежащимъ запахомъ, тогда приступаютъ къ сдабриванію его. На бочку вливается ведро спирта, и затѣмъ, смотря по свойству выдѣлываемаго вина: на мадеру—столько-то патоки, на малагу—дегтя, на рейнвейнъ—сахарнаго свинца и т. д. Эту смѣсь мѣшаютъ до тѣхъ поръ, пока она не сдѣлается однородною, и потомъ закупориваютъ. Когда вино отстоится, приходитъ хозяинъ или главный прикащикъ и сортируетъ. Плюнетъ одинъ разъ —выйдетъ просто мадера (цѣна 40 к.); плюнетъ два раза—выйдетъ цвеймадера (цѣна отъ 40 коп. до рубля); плюнетъ три раза—выйдетъ дрей-мадера (цѣна отъ 1 р. 50 к. и выше, ежели напримѣръ мадера столѣтняя). Точно такъ же малага: просто малага, малага vieux и малага très vieux, или рейнвейны: Liebfrauenmilch, Hochheimer и Johannisberger. Но ежели при этомъ случайно плюнетъ высокопоставленное лицо, то выйдетъ Cabinet-Auslese, то-есть: лучше не надо. Таковы кашинскія вина *).

Когда вино поспѣло, его разливаютъ въ бутылки, на которыя наклеиваютъ ярлыки, и прежде всего поятъ имъ членовъ врачебной управы. И когда послѣдніе засвидѣтельствуютъ, что лучше ничего не пивали, тогда вся заготовка сплавляется на нижегородскую ярмарку и оттуда на-расхватъ разбирается для всей Россіи. Пьютъ исправники, пьютъ мировые судьи, пьютъ помѣщики, пьютъ купцы, и никто не знаетъ, чье „сдабриванье“ онъ пьетъ.

Разумѣется, прикащики и намъ любезно предложили пробу. Нѣкоторые изъ насъ выпили и не могли вмѣстить; но „корреспондентъ“ и Очищенный

*) Разумѣется, я описываю процессъ выдѣлки кашинскаго вина на основаніи устныхъ разсказовъ, за достовѣрность которыхъ ручаться не могу. За одно ручаюсь: виноградниковъ ни въ Кашинѣ, ни въ Ярославлѣ нѣтъ, а между тѣмъ виноградное вино выдѣлывается во множествѣ и самыхъ разнообразныхъ сортовъ.

попросили по другой, сказавши: „было бы мокрò да въ горлѣ першило!" И имъ не только не отказали въ повтореніи, но отпустили по бутылкѣ высшихъ сортовъ на дорогу.

Соображенія высшаго экономическаго и политическаго порядка такъ и лѣзли въ голову по этому поводу. Начались дебаты, въ которыхъ приняли живое участіе и прикащики. Экономическая точка зрѣнія была совершенно ясна. Во-первыхъ, вытѣсняя съ внутреннихъ рынковъ дорогой иностранный товаръ и замѣняя его однороднымъ собственнаго производства (и притомъ не стоющимъ выѣденнаго яйца), кашинскіе винодѣлы тѣмъ самымъ увеличиваютъ производительную силу страны. Во-вторыхъ, тѣ же винодѣлы, давая приличный заработокъ нуждающимся въ немъ, тѣмъ самымъ распространяютъ въ странѣ довольство и преподаютъ средства для безбѣднаго существованія многимъ семьямъ, которыя безъ этого подспорья были бы вынуждены прибѣгнуть къ зазорнымъ ремесламъ. И въ-третьихъ, наконецъ, устраняя изъ обращенія иностранный продуктъ, винодѣлы сохраняютъ внутри государства цѣлый ворохъ ассигнацій, которыя, будучи водворены въ ихъ карманахъ, дадутъ возможность повернуть „торговый баланецъ" въ пользу Россіи.

Принимая во вниманіе все вышеизложенное, прикащики единогласно полагали: ввозъ иностранныхъ винъ въ Россію воспретить навсегда, о чемъ и послать телеграммы въ московскій Охотный рядъ для повсемѣстнаго опубликованія.

— Постойте! — остановилъ я ихъ: — но какъ же вы съ таможеннымъ доходомъ устроитесь? Извѣстно вамъ, что иностранное вино оплачивается золотыми пошлинами...

— А таможенный доходъ—это само по себѣ,—отвѣтили они безъ затрудненія.—Какъ это можно, чтобы таможенный доходъ не поступалъ... да это спаси Богъ! Таможенный доходъ, позвольте вамъ доложить, завсегда долженъ полностью поступить. Мы это даже очень хорошо понимаемъ.

И тутъ же, въ живыхъ и наглядныхъ òбразахъ, доказали свое пониманіе.

— Вотъ извольте, вашескородіе, смотрѣть. Въ семъ мѣстѣ, скажемъ примѣрно, скрозь дыра — значитъ, и вода въ ёмъ не держится. А въ семъ мѣстѣ — грунтъ; значитъ, и вода въ ёмъ завсегда есть. Такъ точно и въ эфтомъ дѣлѣ: въ одномъ мѣстѣ вода скрозь течетъ, а въ другомъ—накапливается.

— Но ежели вездѣ дыра?

— Ахъ, вашескородіе! развѣ это возможно!

Разумѣется, я успокоился, и такимъ образомъ фискально-финансовое затрудненіе было безъ хлопотъ устранено.

Политическая точка зрѣнія была еще яснѣе. Прежде всего кашинское винодѣліе развязываетъ руки русской дипломатіи. Покуда его не существовало, на рѣшенія дипломатовъ могли оказывать давленіе такіе вопросы: а чтò, ежели французъ не дастъ намъ лафитовъ, нѣмецъ—рейнвейновъ, испанецъ—хересовъ и мадеръ? Чтò будемъ мы пить? Чѣмъ гостей потчивать? А теперь эти вопросы падаютъ сами собой: все у насъ свое — и лафиты, и рейнвейны, и хереса. Да еще лучше, потому что „ихнее" вино — вредительное,

а наше — пользительное. Съѣлъ лишнее, выпилъ ли — съ „ихняго" вина голова болитъ, а съ кашинскаго — только съ души тянетъ. Дайте только ходъ кашинскимъ винамъ, а тамъ ужъ дѣло само собой на чистоту пойдетъ. Сгрубилъ нѣмецъ, зазнался — не надо намъ твоихъ рейнвейновъ, жри самъ! —а отвѣчай прямо: какая тому причина?

Но главнымъ образомъ кашинскому винодѣлію предстоитъ содѣйствовать разъясненію Восточнаго вопроса. Чтò ныньче въ Средней Азіи пьютъ? — все иностранное вино, да все дорогое. Перепьются, да съ нами же въ драку лѣзутъ. А дайте-ка кашинскимъ винамъ настоящій ходъ — да мы и въ Афганистанъ, и въ Белуджистанъ, и въ Кабулъ проникнемъ, всѣхъ своими мадерами зальемъ!

— Потому что наше вино сурьезное,—въ одинъ голосъ говорили прикащики, — да и обойдется дешевле, потому что мы его на всякомъ мѣстѣ сдѣлать можемъ. Агличинъ, примѣрно, за свою бутылку рубль проситъ, а мы полтинникъ возьмемъ; онъ семъ гривенъ, а мы сорокъ копѣечекъ. Мы, сударь, лучше у себя дома лишнихъ десять копѣечекъ накинемъ, нежели противъ агличина сплоховать! Сунься-ко онъ въ ту пору съ своей малагой — мы ему носъ-то утрёмъ! Задаромъ товаръ отдадимъ, а ужъ своихъ не сконфузимъ!

Затѣмъ тонъ собесѣдованія, повышаясь все больше и больше, получилъ такую патріотическую окраску, въ которой утопали и экономическія, и политическія соображенія.

— Да мы, вашескородіе, отъ себя цѣлый полкъ снарядимъ!—въ энтузіазмѣ восклицалъ главный прикащикъ. — За сербовъ ли, за болгаръ ли — только шепни Максиму Липатычу: Максимъ, молъ, Липатычъ! сдѣйствуй!— сейчасъ, въ одну минуту... ребята, впередъ!

— Ужъ и то ничего не видя, сколько отъ Максимъ Липатыча здѣшнему городу благодѣяніевъ вышло!—какъ эхо отозвался другой прикащикъ. — У Максима Исповѣдника кто новую колокольню взбодрилъ? Къ Ѳедору Стратилату кто новый колоколъ пожертвовалъ? Звонъ-то одинъ... А сколько паникадиловъ, свѣщей, лампадъ, ежели счесть!

— Кажное воскресенье у кажной церкви молодецъ съ мѣшкомъ мѣдныхъ денегъ стоитъ, нищую братію одѣляетъ! — свидѣтельствовалъ третій прикащикъ.

— И чтò за причина, вашескородіе!—удивлялись прочіе прикащики: — всѣ будто бы прочіе народы и выдумки всякія выдумывать могутъ, и съ своимъ дѣломъ управляться могутъ — одни будто бы русскіе ни въ тѣхъ, ни въ сѣхъ! Да мы, вашескородіе, коли ежели насъ допустить—всѣхъ произойдемъ! Сейчасъ умереть, коли не произойдемъ!

Однимъ словомъ, ежели съ кашинской мадеры, какъ въ томъ сознались сами прикащики, съ души тянетъ, за то кашинскій подъемъ чувствъ оказался безусловно доброкачественнымъ и достойнымъ похвалы. Только вотъ зачѣмъ прикащики прибавили: „коли ежели допустить"? Кто же не допускаетъ? Кажется, что у насъ насчетъ рейнвейновъ свободно...

— Послушай! вѣдь у насъ насчетъ хересовъ и мадеръ свободно? — обратился я къ Глумову, когда мы покончили осмотръ винодѣлія: — какъ ты полагаешь?

— Разумѣется, свободно.

— Почему же кашинскіе винодѣлы до сихъ поръ не проникли ни въ Афганистанъ, ни въ Белуджистанъ, а все какого-то „полнаго хода“ своему вину ждутъ?

— Да потому вѣроятно, что покуда еще около себя побираются. Дай срокъ, у своихъ изъ кармановъ повыберутъ, а потомъ и въ Белуджистанъ съ подводами потянутся.

Въ заключеніе Очищенный сообщилъ намъ пріятную вѣсть. Въ редакціи „Красы Демидрона“ имѣются достовѣрныя свѣдѣнія, что примѣръ кашинскихъ винодѣловъ уже нашелъ подражателей. Не говоря объ Ярославлѣ, котораго лафиты, подправленные черникой и сандаломъ, могутъ смѣло соперничать съ фирмой Oldekopp Marillac — во многихъ мелкихъ уѣздныхъ городахъ (какъ напримѣръ въ Крапивнѣ, Саранскѣ, Лукояновѣ и проч.), гдѣ доселѣ производился только навозъ, положено прочное основаніе винодѣлію, которое до извѣстной степени уже и конкурируетъ съ кашинскимъ и ярославскимъ. Примѣру этихъ городовъ несомнѣнно послѣдуютъ: Шацкъ, Лаишевъ, два Ардатова, всѣ Спасски и проч. — и тогда періодъ „выбиранія около себя“ сократится самъ собой. А когда выбирать около себя будетъ ужъ нечего, тогда волей-неволей придется нанимать подводы въ Белуджистанъ. А разъ белуджистанскій рынокъ будетъ завоеванъ для кашинскихъ хересовъ, тогда нашимъ винодѣламъ останется только оправдать довѣріе начальства, а намъ, всѣмъ остальнымъ—высоко держать русское знамя.

— Лёгость большая будетъ,—заключилъ Очищенный, и мы охотно съ нимъ согласились.

Послѣ винодѣленъ мы хотѣли приступить къ осмотру замѣчательныхъ кашинскихъ зданій и церквей, но вспомнили, что въ Кашинѣ существуетъ окружной судъ, и направились туда. Къ тому же и хозяинъ постоялаго двора предупредилъ насъ, что въ это утро должно слушаться въ судѣ замѣчательное политическое дѣло, развязки котораго вся кашинская интеллигенція ожидала съ нетерпѣніемъ *).

Какъ я уже сказалъ выше, въ рѣкѣ Кашинкѣ издревле въ изобиліи водились пискари. Но недавно количество ихъ стало постепенно убывать, и, какъ это всегда у насъ водится, полиція прозѣвала это знаменательное явленіе. Хватились тогда, когда осталась лишь небольшая шайка, которая явно посмѣивалась надъ всѣми усиліями гражданъ водворить ее въ уху. Бросились ловить — не тутъ-то было: пискари вильнули хвостомъ и у всѣхъ на виду исчезли. Трудно было, конечно, оправдать полицію, но, съ другой стороны, трудно было и обвинить. Во всякомъ случаѣ поймали только одного хвораго пискаря, которому врачи предписали лежать въ тинѣ, но и оттуда полиція достала его. Нарядили слѣдствіе; прокуроры и слѣдователи два года

*) Само собою разумѣется, что слѣдующее за симъ описаніе окружного суда не имѣетъ ничего общаго съ реальнымъ кашинскимъ окружнымъ судомъ, а заключаетъ въ себѣ лишь типическія черты, свойственныя третьеразряднымъ судамъ, изъ которыхъ нѣкоторые ужъ благосклонно закрыты, а другіе ожидаютъ своей очереди.

сряду не выходили изъ рѣки Кашинки, разыскивая корни и нити, допрашивая лягушекъ и головастиковъ, и послѣ неимовѣрныхъ усилій пришли къ такому результату: пойманъ хворый пискарь, а прочіе неизвѣстно куда исчезли. Въ этомъ видѣ дѣло представлено было въ судъ, которому и предстояло воздать каждому по дѣламъ его. Скрывшіеся пискари должны были судиться заочно по обвиненію въ самовольномъ оставленіи отечества, а пойманный хворый пискарь—по обвиненію въ знаніи о семъ и недонесеніи подлежащимъ властямъ. Дѣло было громкое и обѣщало привлечь массу публики.

Мы пришли въ судъ въ исходѣ одиннадцатаго; но такъ какъ засѣданіе должно было открыться не ранѣе часа, то никого еще не было, кромѣ сторожей и приказныхъ низшаго оклада. Судъ помѣщается въ каменномъ зданіи довольно внушительныхъ размѣровъ, но плохо ремонтируемомъ. Внутри пахнетъ уныніемъ и упраздненностью, какъ и повсюду въ Кашинѣ. Швейцаръ —старый, заплеснѣвѣлый; сидитъ въ бумазейной курткѣ и не торопясь чиститъ булаву; а жена его, въ каморкѣ, готовитъ щи, запахъ которыхъ сообщаетъ строенію жилой характеръ. Повидимому старикъ одичалъ въ бездѣйствіи, потому что онъ встрѣтилъ насъ сердито и процѣдилъ сквозь зубы: „нелегкая спозаранку принесла!“ Но когда мы, снявъ верхнее платье, дали ему по гривеннику за храненіе, онъ на минуту просіялъ, гривенники спряталъ за щеку, а намъ указалъ на лавку: „сидите!“

— Много бываетъ у васъ въ судѣ дѣловъ, старинушка?—ласково вступилъ съ нимъ въ разговоръ Очищенный.

— Никакихъ у насъ дѣловъ нѣтъ, — отвѣтилъ старикъ сердито: — кто ни идетъ, ни ѣдетъ—все мимо. Прежде когда помѣщики были—точно что пріѣзжали тягаться; а ныньче—шабашъ.

— Что̀ за причина такая?

— Прикончили, значитъ. Имущество продали, а сами на теплыя воды уѣхали. А кои остались—тѣ и безъ суда другъ у дружки рвутъ.

— Да, строгія ныньче времена! — вздохнулъ Очищенный и не безъ умиленія подумалъ:—вотъ кабы такимъ же манеромъ и Матрена Ивановна: не доводя до суда, вынула бы денежки да и заплатила бы по векселямъ... мило, благородно!

— Дураковъ нонѣ много уродилось, — философствовалъ между тѣмъ швейцаръ:—вотъ умные-то и рвутъ у нихъ. Потому ежели дуракъ въ судъ пойдетъ — какую онъ тамъ правду сыщетъ? какая такая дурацкая правда бываетъ? Еще съ него же всѣ штрафы взыщутъ: нишкни, значитъ, коли ты дуракъ!

И, порѣшивъ такимъ образомъ съ гражданскими дѣлами, прибавилъ:

— У насъ нонѣ и уголовщина—и та мимо суда прошла. Развѣ который ужъ воръ съ амбиціей, такъ тотъ суда запроситъ, а прочіихъ всѣхъ воровъ у насъ сами промежду себя рѣшатъ. Прибьютъ либо искалѣчатъ — поди, жалуйся! Прокуроры-то наши глаза проглядѣли, у оконка ждамши, не приведутъ ли кого—не ведутъ да и шабашъ! Самый нашъ судъ бѣдный. Все равно какъ у поповъ приходы бываютъ: у одного тысяча душъ въ приходѣ, да все купцы да богатѣи, а у другого и ста душъ нѣтъ, да и у тѣхъ на десять душъ одна корова. У чего тутъ кормиться попу?

Словомъ сказать, старикъ шибко негодовалъ и даже себя считалъ несправедливо приниженнымъ запустѣлостью суда, въ дверяхъ котораго его, безъ всякой надобности, заставляютъ стоять въ галунахъ, въ перевязи, и выдѣлывать булавой артикулы при проходѣ членовъ и прокуроровъ, которые и сами-то идутъ въ судъ лишь оттого, что дѣваться имъ больше некуда.

— Набрали цѣлое стадо приказныхъ, — ворчалъ онъ безъ умолку: — а они только папироски курятъ, сорятъ да перья сосутъ. Или теперича паутина — сколько ея на потолкахъ набралось! — а какъ ты ее оттолѣ достанешь? Ты ее растревожь — анъ она клочьями повисла: одно мѣсто на потолкѣ бѣлое открылось, а прочее все точно сажей вымазано. Самый, то-есть, самый у насъ бѣдный судъ!

Но мнѣ лично именно *такой* судъ и казался идеальнымъ: именно такой судъ нуженъ. Чтобы никто въ немъ не судился, чтобы лѣстница была неметена, чтобъ паутина застилала потолки, чтобъ швейцаръ былъ небритъ, а швейцарова жена чтобы щи варила. И чтобы, за всѣмъ тѣмъ, всякій, при видѣ этого неметеннаго суда, понималъ, что часъ воли Божіей — вотъ онъ. И прокуроры чтобы, на всякій случай, въ окна смотрѣли, только на улицу бы не выбѣгали, когда кого-нибудь зедутъ на веревочкѣ, не спрашивали бы: со взломомъ или безъ взлома? Меня не огорчило бы, еслибъ даже судебный персоналъ оставался въ прежнемъ составѣ и продолжалъ бы получать присвоенные по штатамъ оклады. Во-первыхъ, покуда судъ не упраздненъ, нельзя упразднить и служителей его („чѣмъ же мы виноваты, что у насъ дѣлъ нѣтъ?“), а во-вторыхъ, вѣдь надо же между кѣмъ-нибудь казенные доходы дѣлить, такъ ужъ пусть лучше получаютъ тѣ, кои дѣла не дѣлаютъ, а отъ дѣла не бѣгаютъ, нежели тѣ, кои безъ пути, аки левъ рыкаяй, рыщутъ, искій кого поглотити.

А исподволь, можетъ быть, удалось бы и полнаго упраздненія достигнуть. Никого не обижая, не увольняя и не упраздняя, а постепенно прекращая замѣну упалыхъ. Вѣдь это только съ непривычки кажется, что безъ судовъ минуты нельзя прожить; я же, напротивъ того, позволяю себѣ думать, что ежели люди перестанутъ судиться, то это отнюдь не сдѣлаетъ ихъ несчастными. Я знаю, что идея эта не практическая и что надѣяться на ея осуществленіе — все равно, что поджидать скораго пріѣзда Улиты (по пословицѣ: Улита ѣдетъ, когда-то будетъ), но и за всѣмъ тѣмъ надѣюсь. Но, разумѣется, еслибъ мнѣ сказали: выбирай между прежнимъ кашинскимъ уѣзднымъ судомъ и нынѣшнимъ кашинскимъ окружнымъ судомъ, я, не задумываясь, крикнулъ бы послѣднему: vivat, crescat et floreat! Помилуйте! ужъ одно тò чего стоитъ, что въ дверяхъ нынѣшняго окружного суда стоитъ швейцаръ съ булавой, тогда какъ въ передней кашинскаго уѣзднаго суда вѣчно стучалъ сапожной колодкой солдатъ въ изгребной рубахѣ и съ поврежденной на ученьяхъ скулой!..

Но этотъ день, какъ я уже сказалъ выше, составлялъ исключеніе въ практикѣ кашинскаго окружного суда.

Судились пискари, исконные кашинскіе обыватели, и притомъ въ такомъ интересномъ преступленіи, которое самою новизною озадачило всѣхъ

кашинскихъ консерваторовъ (кашинскіе винодѣлы и витушечники — консервативны по преимуществу, ибо знаютъ, чье мясо кошка съѣла). Съ половины двѣнадцатаго уже началось движеніе въ окрестностяхъ суда. Швейцаръ, весь вышитый, съ желтой перевязью черезъ плечо и съ булавой въ правой рукѣ, стоялъ на вытяжку у дверей, готовый выдѣлать всѣ требуемые практикой суда артикулы. Прежде всего повалила меньшая братія, которая при входѣ набожно крестилась, какъ бы отмаливаясь отъ тюрьмы и отъ сумы, а въ началѣ перваго начали собираться „чины“. Первые пришли прокуроры. Увидѣвши насъ, они остановились въ швейцарской и стали вслухъ обсуждать вопросъ: „ежели воръ въ шкатулкѣ сломаетъ замокъ и унесетъ оттуда три копѣйки — это, несомнѣнно, будетъ кража со взломомъ; но ежели онъ, вмѣсто того, чтобъ ломать замокъ, всю шкатулку унесетъ—какъ слѣдуетъ это дѣйствіе понимать?“ *) Но, ничего не рѣшивъ, щелкнули языками и стали подниматься по лѣстницѣ вверхъ. Слѣдомъ за прокурорами прибыли члены суда. Они солидно взбирались по лѣстницѣ и вели солидный разговоръ, неизмѣнно начинавшійся словами: „въ практикѣ кашинскаго окружного суда установился прецедентъ“... Сначала одинъ эти слова скажетъ, потомъ другой повторитъ, потомъ третій, а швейцаръ смотритъ на нихъ и не нарадуется. Вообще эти люди повидимому отлично понимали, что двадцатаго числа каждаго мѣсяца ничто не воспрепятствуетъ имъ воспользоваться присвоеннымъ отъ казны содержаніемъ. Кашинка можетъ выйти изъ береговъ и потопить казначейство, огонь можетъ истребить его, но *ихнія* деньги ни въ огнѣ не сгорятъ, ни въ водѣ не потонутъ. Напослѣдокъ, по наружности суетливо, но въ сущности виновато, проскользнуло штукъ двадцать адвокатовъ, которые, увидѣвъ насъ, ужасно обрадовались, предполагая, что вотъ, молъ, тягаться пришли. Но радость ихъ была кратковременна, и когда мы объяснили цѣль нашего прихода, то лица ихъ выразили столь искреннюю печаль, что Глумовъ поспѣшилъ предложить имъ по папироскѣ. Затѣмъ они всей ватагой ринулись наверхъ, какъ бы опасаясь потерять горячіе слѣды, оставленные членами суда и прокурорами.

Намъ эти бѣдняки показались заслуживающими полнаго снисхожденія. Они имѣли хорошій апетитъ и нѣкоторое время разсчитывали на удовлетвореніе онаго, какъ вдругъ, совсѣмъ неожиданно, въ практикѣ кашинскаго окружного суда установился прецедентъ: никакихъ дѣлъ не судить, а собираться лишь для чтенія законовъ.

Съ половины перваго начался приливъ чистой публики. Прибылъ исправникъ, изящный молодой человѣкъ, съ проборомъ посреди головы: вынулъ щеточку съ зеркальцемъ, посмотрѣлся и вышелъ на крыльцо въ ожиданіи дамъ. Къ нему присоединилось съ десятокъ офицеровъ квартирующаго въ уѣздѣ полка. Дамочки не замедлили. Первою подкатила щегольская линейка, въ которой, словно на пикникъ, пріѣхала изъ подгороднаго имѣнія мѣстная львица съ цѣлымъ выводкомъ дамочекъ. За линейкой послѣдовалъ цѣлый рядъ экипажей, подвозя новые и новые выводки. Слышался говоръ и смѣхъ;

*) Нынче, какъ я слышалъ, вопросъ этотъ уже разрѣшенъ. Можно и замокъ въ шкатулкѣ сломать, и самую шкатулку унести—какъ кому удобнѣе.

у всѣхъ дамочекъ оказывался въ туалетѣ какой-нибудь безпорядокъ; у однѣхъ что-то развязалось, у другихъ—растегнулось. Всѣ хохотали и кричали: „ахъ, какъ весело!“ Исправникъ, какъ первый (послѣ прокурора) въ городѣ кавалеръ, не успѣвалъ завязывать и застегивать. Господа офицеры оказывали содѣйствіе.

Поднялись наверхъ и мы.

Зала была совершенно полна. Дамочки, гражданскаго и военнаго вѣдомствъ въ перемежку, сидѣли въ первомъ ряду и весело переговаривались между собой на французскомъ діалектѣ. Сзади нихъ тѣснился цвѣтъ мѣстныхъ свѣдущихъ людей и земскихъ дѣятелей, въ перемежку съ офицерами. Въ глубинѣ — толпилась меньшая братія. Судебные пристава, блистая отчищенными нàново цѣпями, въ новенькихъ мундирчикахъ и красиво выгибая шеи, говорили дамочкамъ „бонжуръ“ и подвигали имъ стулья. Многіе изъ нихъ состояли на счету жениховъ и умѣли танцовать мазурку. Подсудимый пискарь, еле живой, лежалъ въ неглубокой тарелкѣ на скамьѣ подсудимыхъ и тяжело дышалъ жабрами. Сзади его стояли два жандарма съ саблями наголò; рядомъ—расположилась защита въ составѣ двухъ адвокатовъ: Шестакова (испорченное отъ Chaix d'Estange) и Перьева (испорченное отъ Berryer). Каѳедру обвиненія занялъ прокуроръ Громобой, который вошелъ въ залу суда, мечтательно играя поясницей и склонивши головушку на праву сторонушку. Въ граціозно откинутой рукѣ его блестѣлъ золотой пенсне́; сочныя губы (созданныя для поцѣлуя) слегка вздрагивали; глаза (съ поволокою) смотрѣли грустно. Онъ уныло окинулъ дамскій цвѣтникъ, какъ бы заранѣе испрашивая прощенія за кровожадность, съ которою онъ будетъ требовать смерти для подсудимаго пискаря, и общихъ оздоровительныхъ мѣръ для всего общества. При этомъ взглядѣ дамочки инстинктивно поправили платья, потому что Громобой занималъ въ кашинской судебной труппѣ амплуа premier amoureux, въ родѣ какъ, напримѣръ, Бертонъ или Вормсъ въ Михайловскомъ театрѣ, въ Петербургѣ. Въ числѣ свидѣтелей больше всѣхъ выдавалась старая лягушка (по вызову обвинительной власти), та самая, которая когда-то

> ... на лугу, увидѣвши вола,
> Задумала сама въ дородствѣ съ нимъ сравняться...

но, вопреки свидѣтельству дѣдушки Крылова, не лопнула (лягушки удивительно какъ эластичны), а явилась въ настоящемъ дѣлѣ главной доносчицей. За нею виднѣлось нѣсколько десятковъ мелкихъ головастиковъ, бòльшая часть которыхъ была вызвана защитой, и наконецъ, въ особой лохани, широко разинувъ пасть, нервно плескалась щука, относительно которой Громобой былъ долгое время въ нерѣшительности: вызвать ли ее въ качествѣ свидѣтельницы, или же посадить на скамью обвиняемыхъ, въ качествѣ укрывательницы, такъ какъ бòльшая часть оставившихъ отечество пискарей была ею заглотана. На столѣ вещественныхъ доказательствъ лежали: во-первыхъ, карась, долженствовавшій быть на скамьѣ подсудимыхъ, но ошибкою зажаренный въ сметанѣ; во-вторыхъ, точный фотографическій снимокъ съ струй, которыя образовались въ рѣкѣ при поспѣшномъ бѣгствѣ пискарей. За рѣшет-

кой присяжныхъ засѣдателей не было никого, потому что процессъ былъ политическій, а у присяжныхъ засѣдателей политическаго смысла не полагается.

Ровно въ часъ, самый лихой изъ судебныхъ приставовъ возгласилъ: „судъ идетъ!“—и вслѣдъ за этимъ возгласомъ въ залу выплыли: Иванъ Иванычъ, Петръ Иванычъ и Семенъ Иванычъ. Но такъ какъ они были въ мундирахъ и при цѣпяхъ, то назывались не Иванами Иванычами, а судьями. Впечатлѣніе, произведенное ихъ появленіемъ, было самое примиряющее. Всѣмъ показалось, что вмѣстѣ съ ними пришла и Прасковья Ивановна, и что сейчасъ она скажетъ: „милости просимъ закусить!“ А ежели закуски и не будетъ, то во всякомъ случаѣ Иванъ Иванычъ разскажетъ, какой съ нимъ вчера казусъ былъ. Игралъ онъ въ винтъ: такъ—онъ съ Семенъ-Иванычемъ, а такъ — Петръ Иванычъ съ Ефремъ-Иванычемъ. Только назначаетъ онъ три въ пикахъ, а Семенъ Иванычъ перебиваетъ: „въ такомъ разѣ я назначаю три въ червяхъ!“ А у него, Иванъ Иванычa, ни одной червонки нѣтъ, а у Семенъ-Иванычa пѣтъ ни одной пиковки. Видитъ онъ бѣду неминучую, назначаетъ четыре въ пикахъ, а Семенъ Иванычъ опять перебиваетъ: „а я въ такомъ разѣ четыре въ червяхъ!“ И остались безъ четырехъ...

Разумѣется, Иванъ Иванычъ ничего подобнаго не разсказалъ (онъ такъ глубоко затаилъ свое горе, что даже Семену Иванычу не мстилъ, хотя со вчерашняго дня отъ всей души его ненавидѣлъ), но общая увѣренность въ неизбѣжности этого разсказа была до того сильна, что когда началось чтеніе обвинительнаго акта, всѣ удивленно переглянулись между собой, какъ бы говоря: помилуйте! да это совсѣмъ не то!

Сущность обвинительнаго акта заключалась въ слѣдующемъ. Издревле рѣка Кашинка славилась своими пискарями. Во всѣ времена обыватели города ловили пискарей всѣми дозволенными способами и готовили изъ нихъ прекраснѣйшую уху, о чемъ еще въ XIV столѣтіи свидѣтельствовалъ кашинскій лѣтописецъ. Однажды установившись на прочномъ основаніи, дѣло это шло своимъ порядкомъ, не порождая преувеличенныхъ надеждъ, но не возбуждая ни въ комъ и тревожныхъ опасеній. Только въ 1723 году рѣка Кашинка едва не опустѣла, такъ какъ всѣхъ пискарей потребовали въ Петербургъ ко двору, въ видахъ обрусенія рѣки Мьи (нынѣшняя Мойка). Но большинство тогдашнихъ пискарей сказалось въ „нѣтѣхъ“, и года черезъ два-три убыль безъ труда пополнилась. За исключеніемъ этого кратковременнаго случая, недостатка въ пискаряхъ никогда не замѣчалось, хотя въ иной годъ попадались пискари крупнѣе, а въ другой — мельче. Но съ начала шестидесятыхъ годовъ, вмѣстѣ съ наступленіемъ эпохи реформъ, начинаются между пискарями волненія. Вмѣсто того, чтобъ быть благодарными за дарованіе свободы, они придумываютъ всевозможныя уловки для избѣжанія закидываемыхъ сѣтей и неводовъ, и въ то же время цѣлыми массами эмигрируютъ изъ родной рѣки. Куда они эмигрировали—это и доселѣ составляетъ тайну, но самый фактъ эмиграціи былъ уже тогда замѣченъ нѣкоторыми благомыслящими гражданами. Опасаясь, что вкусная и питательная уха, которою они привыкли подкрѣплять свои силы, въ непродолжительномъ времени отойдетъ въ область преданія, они настойчиво указывали подлежащей власти на угрожающую опасность но такъ какъ въ то время все вообще правительство было за-

одно съ пискарями, то понятно, что и мѣстная полицейская власть не сочла себя вправѣ употребить энергическія усилія, дабы пресѣчь зло въ самомъ его зародышѣ. И вотъ зло развилось. Въ теченіе всего прошлаго года не было поймано ни одного пискаря, а въ нынѣшнемъ году, съ вскрытіемъ рѣки, повторилось то же явленіе. Тогда полицейская власть встревожилась и рѣшилась вмѣшаться. Громогласно давъ мятежникамъ три предостереженія относительно непремѣнной явки въ уху, она закинула разомъ нѣсколько неводовъ; но, протащивъ ихъ по всему протяженію рѣки въ предѣлахъ городской черты, ничего не изловила, кромѣ головастиковъ и лежащаго въ тарелкѣ больного пискаря. Въ такомъ видѣ это дѣло поступило на распоряженіе прокурорской власти, которая сочла необходимымъ подвергнуть его тщательному изслѣдованію. Слѣдствіе, произведенное подъ личнымъ наблюденіемъ прокурора окружного суда, съ участіемъ всѣхъ прокуроровъ и судебныхъ слѣдователей кашинскаго округа, привело къ слѣдующимъ результатамъ: А. *Относительно всѣхъ вообще пискарей.* Несомнѣнно, что съ ихъ стороны былъ въ настоящемъ случаѣ заговоръ и предумышленное сопротивленіе властямъ. Будучи, по закону, обязаны являться, по первому требованію, въ уху, они не только не обратили должнаго вниманія на сдѣланныя имъ полицейскою властью предостереженія, но прямо ослушались ея приглашеній, несомнѣнно дѣйствуя при этомъ по обдуманному напередъ общему плану. Доказательствъ существованія этого общаго плана имѣется въ дѣлѣ болѣе, нежели достаточно. Во-первыхъ, пискари исчезли изъ рѣки именно въ ту самую минуту, когда начальство изготовляло, для поимки ихъ, сѣти и невода. Очевидно, они были предупреждены. И дѣйствительно, въ дѣлѣ имѣются данныя, доказывающія, что ихъ предупредилъ о дѣлаемыхъ приготовленіяхъ карась, жившій у исправника въ прудѣ, соединяющемся съ рѣкою Кашинкой протокомъ. Самъ карась чистосердечно сознался въ этомъ преступленіи, оправдываясь, будто бы онъ дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ на основаніи какого-то циркуляра. Но по какому вѣдомству, когда и за какимъ № былъ изданъ этотъ циркуляръ — указать не могъ. Къ сожалѣнію, этотъ карась былъ, по недоразумѣнію, изжаренъ въ сметанѣ, въ каковомъ видѣ и находится нынѣ на столѣ вещественныхъ доказательствъ (секретарь подходитъ къ столу, поднимаетъ сковородку съ загаженнымъ мухами карасемъ и говоритъ: — вотъ онъ!); но еслибъ онъ былъ живъ, то несомнѣнно, въ видахъ смягченія собственной вины, пролилъ бы свѣтъ на это, впрочемъ, и безъ того уже ясное обстоятельство. Стало быть, пискари знали; а ежели знали, то должны были спокойно плавать и съ довѣріемъ ожидать. Но они, вмѣсто того, обдумали общій планъ, которымъ и воспользовались въ рѣшительную минуту. Во-вторыхъ, самый процессъ бѣгства свидѣтельствуетъ объ его предумышленности. Бѣгство совершилось съ быстротой, совершенно несвойственной пискарямъ, что доказывается точнымъ фотографическимъ снимкомъ струй, оставленныхъ бѣжавшими. Стоитъ взглянуть на этотъ снимокъ (секретарь беретъ его со стола и говоритъ: — вотъ онъ!), чтобъ убѣдиться, что такую путаницу перекрестныхъ слѣдовъ могутъ оставить только существа, достовѣрно знающія, что ожидаетъ ихъ впереди, и потому имѣющія полное основаніе спѣшить. Говорятъ, будто бы пискари оттого такъ быстро прыснули въ разныя стороны, что испугались щуки, которая въ это время

заплыла въ Кашинку изъ Волги; но спрошенная по сему предмету щука представила къ слѣдствію одобрительное свидѣтельство отъ полиціи, изъ котораго видно, что она неоднократно и прежде появлялась въ рѣкѣ Кашинкѣ, и всегда съ наилучшими намѣреніями. Но кромѣ того, даже названные защитой головастики—и тѣ свидѣтельствуютъ, что еще задолго до исчезновенія пискарей у нихъ уже были шумныя сходки, на которыхъ потрясались основы и произносились пропаганды и превратныя толкованія; а лягушка, видѣвшая въ лугу вола, прямо показываетъ, что не только знаетъ о сходкахъ, но и сама не разъ тайно, залегши въ грязь, на нихъ присутствовала и слышала собственными ушами, какъ однажды было рѣшено: въ уху не идти. Такимъ образомъ, исчезновеніе съ одной стороны совершилось быстро, а съ другой — медленно и обдуманно. Затѣмъ, хотя слѣдствіе и не разъяснило достовѣрнымъ образомъ, куда дѣвались мятежные пискари: оставили ли они отечество навсегда, или до сихъ поръ укрываются въ волнахъ онаго; но обстоятельство это для правосудія безразлично. Они не явились по вызову начальства, а это больше, нежели оставленіе отечества. Б. Что же касается, *въ частности*, до находящагося на скамьѣ подсудимыхъ больного пискаря, то хотя онъ и утверждаетъ, что ничего не зналъ и не знаетъ объ этой исторіи, потому-де, что былъ боленъ и по совѣту врачей лежалъ въ илѣ, но запирательству его едва-ли можно дать вѣру, ибо вѣковой опытъ доказываетъ, что больные злоумышленники очень часто бываютъ вреднѣе, нежели самые здоровые.

„А посему и принимая во вниманіе все вышеизложенное,—заключалъ обвинительный актъ, — предаются уголовному суду нижеслѣдующія лица: А. Заочно—*всѣ вообще бѣжавшіе изъ рѣки Кашинки пискари*, по обвиненію: 1) въ недозволенномъ оставленіи отечества, или въ преступленіи, оному равносильномъ; 2) въ предумышленномъ сопротивленіи подлежащей власти, выразившемся въ неявкѣ, по ея вызову, въ уху, и 3) въ составленіи заговора съ цѣлью неисполненія законныхъ требованій начальства, хотя и безъ намѣренія ниспровергнуть оное. Каковыя преступленія предусмотрѣны 666 ст. всѣхъ томовъ св. зак. Росс. Имп. Б. *Пискарь безъ имени и отчества, извѣстный подъ названіемъ Ивана Хворова* — по обвиненію въ знаніи изложенныхъ выше поступковъ и дѣяній и въ недонесеніи объ нихъ подлежащей власти, при чемъ хотя и не было съ его стороны дѣятельнаго участія въ заговорѣ, но сіе произошло не отъ воли его, а отъ воспрепятствованія хворостью, по предписанію врачей. Каковое преступленіе предусматривается уложеніемъ о наказаніяхъ, карманнымъ онаго изданіемъ“.

Глава XXIV.

Чтеніе обвинительнаго акта произвело смѣшанное впечатлѣніе. Всѣ отдавали справедливость бдительности прокурорскаго надзора, но въ то же время чувствовали невольное состраданіе къ бѣдному больному пискарю, который цѣлыхъ два года томился въ тарелкѣ (даже воду въ ней не каждый день освѣжали), тогда какъ главные злоумышленники плавали на свободѣ, насмѣхаясь надъ всѣми усиліями правосудія. Въ особенности же сожалѣлъ о

подсудимомъ одинъ изъ конвоировавшихъ его жандармовъ, рядовой Тарара̀, который тѣсно сблизился съ нимъ во время двухлѣтнихъ скитаній по слѣдствіямъ, и полюбилъ его какъ сына. Во всякомъ случаѣ всѣхъ нѣсколько утѣшило, что пискаря будутъ судить не по большому уложенію, а по карманному. Только дамочки оставались легкомысленно-индифферентными къ участи подсудимаго и, сравнивая его мизерную, изнуренную фигурку съ цвѣтущими и пышущими здоровьемъ кашинскими свѣдущими людьми, отдавали предпочтеніе послѣднимъ.

Затѣмъ, когда волненіе мало-по-малу улеглось, Иванъ Иванычъ позвонилъ въ колокольчикъ, и началось представленіе подъ названіемъ:

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ПИСКАРЬ

или

ДРАМА ВЪ КАШИНСКОМЪ ОКРУЖНОМЪ СУДѢ.

Двѣ картины.

Сцена представляетъ залу засѣданій, свойственную кашинско-бѣлозерско-устюженскому окружному суду. Дѣйствующія лица и обстановка поименованы и описаны выше.

Картина первая.

Иванъ Иванычъ. Подсудимый Иванъ Хворовъ! разскажите, что̀ вамъ извѣстно по настоящему дѣлу?

Подсудимый (*дѣлаетъ чрезмѣрныя усилія, чтобъ отвѣтить, но ничѣмъ не можетъ выразить свою готовность, кромѣ чуть замѣтнаго движенія хвостомъ*).

Иванъ Иванычъ (*не понимая*). Я долженъ замѣтить вамъ, подсудимый, что чѣмъ больше вы будете упорствовать... (*Петръ Иванычъ высовывается впередъ.*) Вы желаете предложить вопросъ, Петръ Иванычъ? (*Къ публикѣ.*) Господа! Петръ Иванычъ имѣетъ предложить вопросъ!

Петръ Иванычъ (*говоритъ солидно, произнося слова въ носъ*). Въ практикѣ кашинскаго окружного суда установился прецедентъ... (*Умолкаетъ и прислушивается, какъ будто эти слова сказалъ не онъ, а Семенъ Иванычъ.*)

Иванъ Иванычъ. Подсудимый! вы слышали? (*Пискарь молчитъ.*) Повторяю вамъ, пискарь...

Жандармъ Тарара (*движимый жалостію*). Іёнъ боленъ. Ду̀же, вашескородіе, нездоровъ.

Иванъ Иванычъ (*пошептавшись съ Семеномъ и Петромъ Иванычами*). Но ежели такъ... Господинъ прокуроръ! не угодно ли вамъ будетъ дать по сему предмету заключеніе?

Прокуроръ (*поспѣшно перелистываетъ карманное уложеніе, но ничего подходящаго не находитъ*). Мм... мм... я полагалъ бы... я полагаю, что, въ виду болѣзненнаго состоянія подсудимаго, можно ограничиться пред-

ложеніемъ ему краткихъ и несложныхъ вопросовъ, на которые онъ могъ бы отвѣчать необременительными тѣлодвиженіями. Нѣтъ сомнѣнія, что господа защитники, которымъ долженъ быть понятенъ языкъ пискарей, не откажутъ суду въ разъясненіи этихъ тѣлодвиженій.

Адвокаты Шестаковъ и Перьевъ (*увлекаясь легкомысленнымъ желаніемъ уязвить прокурора и въ то же время запасаясь кассаціоннымъ поводомъ*). Съ своей стороны, мы думаемъ, что языкъ пискарей болѣе извѣстенъ обвинителю, нежели намъ; ибо онъ цѣлые два года жилъ въ рѣкѣ, разыскивая корни и нити по этому дѣлу.

Иванъ Иванычъ. Что же теперича дѣлать?

Голосъ изъ публики. Само елучшее — выпить и закусить. (*Общій смѣхъ.*)

Иванъ Иванычъ (*сердито ищетъ глазами, но въ то же время машинально третъ рукою подъ ложечкой*). Предваряю, что я дальнѣйшихъ нарушеній порядка не потерплю. Ибо еслибъ даже и чувствовалась потребность закусить, то въ этомъ еще ничего нѣтъ предосудительнаго. И притомъ все въ свое время. Господа судебные пристава! извольте смотрѣть въ оба! (*Въ публикѣ новый взрывъ смѣха.*) Нечего смѣяться-съ! стыдно-съ! Повторяю свой прежній вопросъ: что теперича дѣлать? (*Семенъ Ивановичъ выдвигается впередъ.*) Вы желаете сказать ваше мнѣніе, Семенъ Иванычъ? (*Къ публикѣ.*) Господа! Семенъ Иванычъ имѣетъ сказать нѣсколько словъ!

Семенъ Иванычъ (*встаетъ и бравируетъ, какъ будто хочетъ сказать, что онъ и не въ такихъ передѣлкахъ бывалъ*). Въ практикѣ кашинскаго окружного суда установился прецедентъ.... (*Краснѣетъ и садится.*)

Иванъ Иванычъ (*вспоминая о вчерашнемъ винтѣ и желая уязвить Семена Иваныча*). То-то... „прецедентъ“! Господинъ прокуроръ! прошу васъ дать заключеніе!

Прокуроръ (*судорожно хватается за карманное уложеніе, но въ судебныя пренія неожиданно вмѣшивается жандармъ Тарара*).

Тарара. Позвольте, вышескородіе, минэ за него говорить! Я усё понымаю!

Иванъ Иванычъ. Вотъ и прекрасно. Стало быть, мы можемъ продолжать судебное слѣдствіе... Отвѣчайте, подсудимый! признаете ли вы себя виновнымъ!

Тарара. У чомъ, вашескородіе?

Иванъ Иванычъ (*дразнится*). У чомъ?! У усёмъ!

Тарара. Виноватъ, вышескородіе!

Иванъ Иванычъ. То-то. Подсудимый! Слышите?

Тарара. Точно такъ, вашескородіе.

Иванъ Иванычъ. И такъ, подсудимый сознался. Теперича можно, стало быть, приступить къ выслушиванію свидѣтельскихъ показаній. Господинъ секретарь! всѣ свидѣтели на-лицо?

Адвокатъ Шестаковъ. Я имѣю сдѣлать заявленіе. Подсудимый никакого сознанія не дѣлалъ, а созналось за него совершенно постороннее дѣлу лицо. Прошу занести объ этомъ въ протоколъ.

Иванъ Иванычъ (*качая головой*). Ахъ-ахъ-ахъ! всегда-то вы такъ,

господинъ Шестаковъ! Правосудіе идетъ своимъ ходомъ, а вы препятствуете! Какъ же съ этимъ намъ быть? господинъ прокуроръ! ваше заключеніе?

Прокуроръ (*перелистываетъ карманное уложеніе и дѣлаетъ видъ, что нашелъ*). Полагаю, что домогательство защиты слѣдуетъ оставить безъ послѣдствій... на основаніи 1679 статьи...

Адвокатъ Перьевъ (*язвительно*). Статья, о которой говоритъ обвинитель, касается раскольниковъ, непріемлющихъ священства, а къ процессуальной сторонѣ политическихъ дѣлъ никакого отношенія не имѣетъ.

Иванъ Иванычъ. Ахъ-ахъ-ахъ! Какъ же это, Ѳедоръ Павлычъ, вы такъ? спапашились... а? (*Головастики смѣются.*) Вы чего смѣетесь? ждите своей очереди! Ѳедоръ Павлычъ! за вами слово!

Прокуроръ (*нимало не смущаясь и смотря на Перьева въ упоръ*). Это по одному изданію—дѣйствительно такъ, а по другому изданію та же 1679 статья...

Иванъ Иванычъ. Такъ я и зналъ. А все вы, господинъ Перьевъ! Правосудіе идетъ своимъ ходомъ, а вы прерываете! Предупреждаю, что ежели это повторится еще разъ, я лишу васъ слова. Я добръ, но не потерплю, чтобы правосудіе встрѣчало препятствія на пути своемъ!

Адвокатъ Перьевъ. Позвольте, Иванъ Иванычъ!

Иванъ Иванычъ. Здѣсь не Иванъ Иванычъ, а *господинъ судья.*

Перьевъ (*не обращая вниманія*). Ахъ, Иванъ Иванычъ!

Иванъ Иванычъ (*строго*). Вы упорствуете, господинъ Перьевъ? Лишаю васъ слова. Извольте немедленно оставить скамью защиты!

Петръ Иванычъ и Семенъ Иванычъ (*вмѣстѣ*). Въ практикѣ кашинскаго окружного суда установился прецедентъ...

Иванъ Иванычъ. Ну, да, прецедентъ. Господинъ Шестаковъ! Вамъ однимъ ввѣряется защита интересовъ вашего кліента. А теперь будемъ выслушивать свидѣтелей.

Перьевъ поспѣшно обираетъ бумаги съ конторки и съ радостью удаляется въ публику. Въ это время въ двери, позади судей, показывается голова Прасковьи Ивановны. Судебный приставъ поспѣшно перерѣзываетъ залу засѣданій и, пошептавшись около дверей, вполголоса докладываетъ Ивану Ивановичу, что Прасковья Ивановна привезла четыре сорта пирожковъ.

Иванъ Иванычъ (*вставая*). Засѣданіе суда прерывается на двадцать минутъ! (*Къ прокурору.*) Ѳедоръ Павлычъ! милости просимъ! (*Къ защитнику.*) А васъ не зову: вы правосудіе тормозите! (*Уходятъ.*)

Зала оживаетъ. Кавалеры мгновенно устремляются къ дамочкамъ съ коробками, наполненными конфектами; дамочки безъ всякой причины хохочутъ. Изъ совѣщательной камеры появляются три судебные пристава, неся по блюду съ пирожками „отъ Прасковьи Ивановны", которые мгновенно расхватываются. Адвокатъ Шестаковъ вынимаетъ ватрушку и ѣстъ. Свидѣтельница-лягушка, завидѣвши даму съ непомѣрно-развитыми атурами, начинаетъ надуваться съ очевиднымъ намѣреніемъ „въ дородствѣ съ ней сравняться", но судебный приставъ прикрикиваетъ на нее: „тсс... гадина!" Нѣкоторые изъ меньшей братіи

достаютъ изъ кармановъ вяленую воблу и хотятъ ѣсть, но судебный приставъ кричитъ на нихъ: „Господа! здѣсь вонять не дозволяется! кто хочетъ ѣсть воблу, пусть идетъ на крыльцо: въ свое время я дамъ звонокъ!“

Картина вторая.

Иванъ Иванычъ (*выходитъ изъ совѣщательной камеры, доканчивая слова молитвы*)... и не лиши насъ небеснаго Твоего царствія... Петръ Иванычъ! Семенъ Иванычъ! садитесь пожалуйста! Ѳедоръ Павлычъ! милости просимъ! Да! такъ на чемъ, бишь, мы остановились? на допросѣ свидѣтелей... вотъ и прекрасно. Господа головастики! разскажите, что̀ вамъ извѣстно по этому дѣлу? Не стѣсняйтесь! хотя вы вызваны защитой, но можете свидѣтельствовать и противъ подсудимаго!

Адвокатъ Шестаковъ. Осмѣлюсь доложить суду, что свидѣтели, по закону, допрашиваются каждый отдѣльно...

Иванъ Иванычъ. А вы опять тормозить правосудіе! Я — слово, а онъ—два! я — два, а онъ — десять! а-а-ахъ! Вотъ погодите! будете ужо̀ рѣчь говорить, и я тоже... Слова вымолвить не дамъ! (*Грозитъ пальцемъ.*)

Голосъ изъ публики. Ну, что̀ ужъ, Иванъ Иванычъ, не всяко лыко въ строку!

Иванъ Иванычъ. Кто тамъ еще говоритъ? Кто позволяетъ себѣ! Господа судебные пристава! вы чего смотрите! (*Къ исправнику.*) Та̀къ вы, Михалъ Михалычъ, народъ распустили... Та̀къ набаловали! та̀къ распустили... смотрѣть скверно! (*Къ головастикамъ.*) Ну-съ, господа головастики, что же вы стали! Отвѣчайте! (*Незамѣтно просовываетъ подъ мундиръ руку и разстегиваетъ у жилета нѣсколько пуговицъ. Вполголоса.*) Вотъ теперь —хорошо.

Головастики (*всѣ разомъ ребяческими голосами*). Виноваты, вашескородіе!

Тарага (*вспомнивъ, какъ онъ часъ тому назадъ отвѣчалъ*). У чо̀мъ виноваты?—сказывайте!

Иванъ Иванычъ. Замѣститель подсудимаго! вы не имѣете права тормозить правосудіе! (*Къ головастикамъ.*) Постойте! въ чемъ же, однако, вы признаете себя виновными, господа? Кажется, никто васъ не обвиняетъ... Живете вы смирно, не уклоняетесь: ни вы никого не трогаете, ни васъ никто не трогаетъ... ладко̀мъ да мирко̀мъ—такъ ли я говорю? (*Въ сторону.*) Однако эти пироги... (*Разстегиваетъ потихоньку еще нѣсколько пуговицъ.*) Ну-съ, такъ разсказывайте: что̀ вамъ по дѣлу извѣстно?

Головастики (*хоромъ*). Знать не знаемъ, вѣдать не вѣдаемъ!

Иванъ Иванычъ. Не знаете?... ну, такъ я и зналъ! Потревожили васъ только... А впрочемъ это не я, а вотъ онъ... (*Указываетъ на Шестакова.*) Другихъ перебивать любитъ, а самъ... Много за вами блохъ, господинъ Шестаковъ! ахъ, какъ много! (*Къ головастикамъ.*) Вы свободны, господа! (*Смотритъ на прокурора.*) Кажется, я могу... отпустить?

Прокуроръ. Со стороны обвиненія препятствія не имѣется.

Адвокатъ Шестаковъ. Но, можетъ быть, впослѣдствіи...

Иванъ Иванычъ (*авторитетно*). Вы свободны, господа головастики! *Судъ* увольняетъ васъ—да! И никто его этого права лишить не можетъ — да! Ни адвокаты, ни разадвокаты... никто! Гдѣ вы желаете быть водворенными? въ прудѣ или въ рѣкѣ? Во вниманіе къ вашему чистосердечію, судъ даетъ вамъ право выбора... да!

Головастики. Намъ бы, вашескородіе, въ прудѣ пріятнѣе.

Иванъ Иванычъ. Ежели пріятнѣе въ прудѣ—ступайте въ прудъ... Но ежели бы вамъ было пріятнѣе возвратиться въ рѣку—скажите! не стѣсняйтесь. (*Головастики молчатъ.*) Стало быть, въ прудѣ лучше? Такъ я и зналъ. Господинъ судебный приставъ! оберите ихъ и водворите въ прудѣ... Это *судъ* распоряженіе дѣлаетъ, а какъ объ этомъ другіе-прочіе думаютъ— пускай при нихъ и останется!

Судебный приставъ (*обираетъ головастиковъ въ мѣшокъ и отдаетъ сторожу; вполголоса*). Вали ихъ... въ мѣста не столь отдаленныя!

Иванъ Иванычъ. Свидѣтельница-лягушка! разскажите, что вамъ извѣстно по этому дѣлу?

Лягушка (*квакаетъ толково и даже литературно; въ патетическихъ мѣстахъ надувается, и тогда на спинѣ у нея выступаютъ рубиновыя пятна*). Я—старая лягушка, опытная. Живу въ здѣшней рѣкѣ больше сорока лѣтъ, и всю подноготную знаю. Прежде было у насъ здѣсь очень хорошо и жили мы не плоше кашинскихъ помѣщиковъ. Всего было довольно, и главное—все задаромъ. Одной икры, бывало, пискари сколько наготовятъ— ужъ на что мы жадны были, а и то половины не приѣдали. Думали въ ту пору, что и конца краю нашимъ радостямъ не будетъ, да и не было бы, кабы мы сами себя кругомъ не обвиноватили. Откуда начали къ намъ модныя идеи приходитъ—и сама ума не приложу, а только потихоньку да помаленьку — смотримъ, анъ между нами ужъ и измѣнники проявились. Дальше — хуже. Я ужъ и тогда на стражѣ стояла, за сто лѣтъ впередъ загадывала. Говорила я въ ту пору нашимъ старикамъ: надо-де этихъ умниковъ своимъ судомъ судить—а меня не послушали: „ничего-де, люди молодые, сами-де остепенятся, какъ въ совершенный разумъ взойдутъ“. Послѣ спохватились, да ужъ поздно было. Началось съ того, что успѣли наши умники на свою сторону цаплю переманить. Усядутся, бывало, старички на бережку, начнутъ объ своихъ дѣлахъ квакать—глядь, а надъ ними цапля кружитъ. Кинется сверху какъ стрѣла изъ лука, выхватитъ старичка, да и унесетъ въ носу. Сначала мы думали, что это административную высылку означаетъ, а потомъ узнали, что дѣйствительно это такъ и есть. Ну, и забоялись. А въ рѣкѣ въ нашей, между прочимъ, ужъ бунты начались. У насъ вѣдь не только пискари, а и гольцы прежде водились—вотъ они-то и начали первые. Первые не захотѣли въ уху являться, первые изъ рѣки всѣмъ стадомъ ушли—это еще въ самомъ началѣ реформъ было — а ужъ за ними и пискари тронулись. Пискарь — рыба робкая, вашескородіе! убывала она не разомъ, а небольшими партіями; вотъ почему долгое время и не вдомёкъ было, что между ними бунтъ пошелъ. Однако постепенно начали примѣчать: нынче — одинъ косячекъ уплылъ, черезъ недѣлю—другой, еще черезъ недѣлю—третій. Икра-то прежде зада-

ромъ была, потомъ, въ началѣ реформъ, ей цѣну сорокъ копѣекъ поставили, а тутъ вдругъ — два съ полтиной фунтъ! А за икрою и прочее въ томъ же мачтабѣ. Сдѣлалось такъ, что хоть однимъ иломъ питайся, да и того пожалуй на всѣхъ не хватитъ. Видимъ: плохое наше дѣло, господа! Основы — потрясены, авторитеты — подорваны, власти — бездѣйствуютъ, суды — содѣйствуютъ... смотрѣть скверно! Ну, и стали мы тогда квакать. Квакали, квакали, и наконецъ доквакались. Внялъ господинъ исправникъ нашему кваканью и началъ приготовлять невода...

Адвокатъ Шестаковъ (*прерываетъ*). А скажите, свидѣтельница, икра-то дешевле стала отъ вашего кваканья?

Лягушка (*вся покрываясь рубиновыми пятнами, прерывисто*). Икра-то... икра... нѣтъ, икра не дешевле стала... не дешевле, не дешевле! А все оттого, что вотъ вы... да вотъ они (*хочетъ вцѣпиться въ меньшую братію*)... кабы вотъ васъ, да вотъ ихъ... (*Задыхается и нѣкоторое время только открываетъ ротъ. Дамы въ восторгѣ машутъ ей платками.*)

Иванъ Иванычъ (*припоминая, что и въ его жизни было что-то похожее, съ участіемъ*). Успокойтесь, сударыня! Отдохните. Высказываемыя вами чувства столь похвальны, что судъ можетъ и подождать.

Лягушка (*послѣ кратковременнаго отдыха*). Только сижу я однажды вечеромъ на стражѣ и по привычкѣ во всю глотку квакаю: разрушены! подорваны! потрясены! Вдругъ слышу: въ водѣ что-то плеснуло; оглядываюсь — щука. А она, вашескородіе, давно на меня заглядывается, потому что хоть я и благонамѣренная, но щуки, коли ежели до пищи дѣло коснется, этого не разбираютъ. Подплыла ко мнѣ щука и говоритъ: „прыгни, голубушка, въ воду, я тебѣ что-то скажу!“ А я смотрю ей въ глаза, словно околдованная, и все думаю: прыгну да прыгну! — какъ только Богъ спасъ! Однако одумалась: ладно, говорю, ты лучше въ водѣ свои рѣчи говори, а я тебя съ берегу послушаю. Ну, она видитъ, что съ меня взятки гладки, и говоритъ: „вотъ ты по доносчицкой части состоишь, цѣлый день безъ ума квакаешь, а не видишь, что у тебя подъ носомъ дѣлается — пискари-то вѣдь ужъ скоро остатніе отъ васъ уплывутъ“. — Какъ такъ? говорю: — „Да такъ, говоритъ, я ужъ съ недѣлю ихъ поджидаю: какъ только подплывутъ къ Волгѣ — тутъ имъ всѣмъ отъ меня одно рѣшеніе выйдетъ!“ Сказала, хлопнула хвостомъ и уплыла. А я бочкомъ да ползкомъ — на дно рѣки! подползла вотъ къ этому пискарю, который теперь судится, да въ грязь и легла. Лежу часъ, лежу другой — слышу: собираются. Окружили этого самаго Хворова и стали галдѣть. И чего только я тутъ ни наслушалась, вашескородіе — даже сказать скверно. Все-то у насъ гадко, все-то скверно, все-то передѣлать да разорить нужно. Рѣку чтобъ поровну подѣлить, харчъ чтобы для всѣхъ вольный былъ, богатыхъ или тамъ бѣдныхъ, какъ нонѣ — этого чтобы не было, а были бы только бѣдные, начальство чтобъ упразднить, а прочимъ чтобъ своевольничать: кто хочетъ, пущай по волѣ живетъ, а кто хочетъ — пущай въ уху лѣзетъ... А одинъ — risum teneatis, amici! — даже такую штуку предложилъ: „лягушекъ, говоритъ, безпремѣнно изъ нашей рѣки чтобы выжить, потому что рѣка эта завсегда была наша, дѣдушки наши въ ней жили, и мы хотимъ жить“...

Прокуроръ (*прерывая*). Не можете ли вы, свидѣтельница, сказать опредѣлительнѣе, какую роль игралъ на этой сходкѣ подсудимый Хворовъ?

Лягушка (*озлобленно*). Онъ-то? да онъ, вашескородіе, первый поджигатель и есть. Кабы не его наученье, да мы бы теперь... никакихъ бы у насъ безпокойствъ не было! Самый это чтò-ни-на-есть вредительный пискарь! Кто чтò ни скажетъ, хоша бы самую, чтò называется, безлѣпицу, а онъ подхватитъ, да еще противъ того вдвое! Это хоть у кого угодно справьтесь, у любого головастика спросите: знаешь Ивана Хворова? — всякій скажетъ, каковъ таковъ онъ пискарь есть! Прошипитъ-это, чтò ему надо, свой ядъ выпуститъ, всѣхъ науськаетъ, а самъ въ тину спрячется! Такой это... ну, такой, что еслибъ теперича не поймали его, были ли бы мы въ живыхъ—ужъ я и не знаю! (*Хочетъ разсказать анекдотъ изъ жизни Хворова, но Иванъ Иванычъ, опасаясь, не вышло бы какой непристойности, прерываетъ.*)

Иванъ Иванычъ. Полагаю, что вопросъ, предложенный г. прокуроромъ, разъясненъ достаточно. Продолжайте, свидѣтельница, вашъ разсказъ, не увлекаясь обстоятельствами, къ дѣлу не относящимися.

Лягушка. Только шумѣли они, шумѣли — слышу еще кто-то пришелъ. А это карась. „Спасайтесь, кричитъ, господа! сейчасъ васъ ловить будутъ! мнѣ исправникова кухарка сказала, что и невода ужъ готовы!“ Ну, только-что онъ это успѣлъ выговорить — всѣ пискари такъ и брызнули! И объ Хворовѣ позабыли... бѣгутъ! Я было за ними—куда тебѣ! Ну, да ладно, думаю, не далеко уйдете: щука-то — вотъ она! Потомъ ужъ я слышала...

Иванъ Иванычъ. Садитесь, лягушка. Это все, чтò суду нужно было отъ васъ знать. Далѣе вы будете свидѣтельствовать ужъ по слуху, а въ практикѣ кашинскаго окружного суда установился прецедентъ: „не всякому слуху вѣрь“... Кажется, я такъ говорю, господа? (*Семенъ Иванычъ и Петръ Иванычъ утвердительно киваютъ головами.*) Вы исполнили свой долгъ, лягушка, съ чѣмъ васъ и поздравляю. Затѣмъ, живите смирно, никого не трогайте, и васъ никто не тронетъ; а ежели чтò замѣтите вредное — идите къ намъ: теперь вамъ эта дорога извѣстна. А мы ужъ распорядимся, потому что это наша обязанность. Ежели чтò похвальное узнàемъ — мы поощримъ; ежели непохвальное — по головкѣ не погладимъ. Вотъ вамъ пискарь—сидитъ! а за чтò сидитъ? — за то, что дѣлалъ непохвальное! Кабы онъ похвально себя держалъ — не за жандармами бы сидѣлъ, а можетъ быть субсидіи бы получалъ; а вздумалъ буянить да фордыбачить — не прогнѣвайся, посиди! И всѣ будутъ сидѣть. (*Голосъ изъ публики*: „правильно!“ *Иванъ Иванычъ ищетъ глазами.*) А вотъ я этого грубіяна, который меня прерываетъ, за ушко да на солнышко... И такъ, повторяю: ежели чтò замѣтите—идите къ намъ, а сами не распоряжайтесь, потому что это въ кругъ вашихъ обязанностей не входитъ. Нынче много такихъ модниковъ развелось, которые думаютъ: зачѣмъ я въ судъ пойду?—лучше самъ распоряжусь. И оттого у насъ въ судѣ по цѣлымъ мѣсяцамъ засѣданій не бываетъ — зачѣмъ же судъ? Но вы такъ не дѣлайте. Садитесь; еще разъ поздравляю васъ. Щука! Продолжайте разсказъ лягушки! какая была ваша роль въ этомъ дѣлѣ?

Щука (*разѣваетъ пасть, чтобы лжесвидѣтельствовать, но при видѣ ея разинутой пасти подсудимымъ овладѣваетъ ужасъ. Онъ не-*

истово плещется въ тарелкѣ и даже подпрыгиваетъ съ видимымъ намѣреніемъ перескочить черезъ край. У щуки навертываются на глазахъ слезы отъ умиленія, причемъ пасть ея инстинктивно то разѣвается, то захлопывается. Однакожъ, мало-по-малу, движенія пискаря дѣлаются менѣе порывистыми; онъ уже не скачетъ, а только содрогается. Еще одно, два, три содроганія и...).

Тарара (*вынимаетъ подсудимаго за хвостъ и показываетъ суду; голосомъ, въ которомъ звучитъ торжественность*). Уже вме́ръ!!!

Иванъ Иванычъ (*взволнованный*). Да послужитъ сіе намъ примѣромъ! Уклоняющіеся отъ правосудія да знаютъ, а прочіе пусть остаются безъ сомнѣнія! Жаль пискаря, а нельзя не сказать: самъ виноватъ! Кабы не заблуждался, можетъ быть и теперь былъ бы цѣлехонекъ! И насъ бы не обременилъ, и самъ бы чѣмъ-нибудь полезнымъ занялся. Ну, да впрочемъ что̀ объ томъ говорить: умеръ — и дѣло съ концомъ! Господинъ прокуроръ! ваше заключеніе?

Прокуроръ (*скороговоркой, на подобіе, какъ причетники, въ концѣ обѣдни: „Слава Отцу... слава Тебѣ!“ произносятъ*). Полагаю, за смерт... сужден... пр'кр'тить.

Иванъ Иванычъ. Такъ я и зналъ. А о прочихъ, объ отсутствующихъ... неужто продолжать?

Прокуроръ. О прочихъ надлежитъ постановить заочное рѣшеніе.

Иванъ Иванычъ. И это я зналъ. Семенъ Иванычъ! Петръ Иванычъ! какъ вы полагаете? какъ слѣдуетъ заочно съ бунтовщиками поступить?

Прокуроръ (*встаетъ, чтобы напомнить о существованіи совѣщательной комнаты для постановленія рѣшеній: но въ эту минуту судебный слѣдователь подаетъ ему телеграмму. Читаетъ*). „Отъ казанскаго прокурора кашинскому. Въ рѣкѣ Казанкѣ поймана шайка кашинскихъ пискарей. Повидимому бунтовщики. Подробности почтой“.

Иванъ Иванычъ. Однако порядкомъ-таки отчесали! Сколько это отсюда верстъ?

Прокуроръ. Въ виду полученной телеграммы полагаю сужденіе о противозаконномъ оставленіи отечества кашинскими пискарями пріостановить.

Иванъ Иванычъ (*на все согласенъ*). Чтожъ, пріостановить, такъ пріостановить. Покуда были подсудимые, и мы сужденіе имѣли; а нѣтъ подсудимыхъ — и намъ сужденіе имѣть не о комъ. Коли некого судить, стало быть и... (*Просыпается.*) Что̀, бишь, я говорю! (*Смотритъ на часы и пріятно изумляется.*) Четвертый часъ въ исходѣ! время-то какъ пролетѣло! Семенъ Иванычъ! Петръ Иванычъ! милости просимъ!

(*Уходятъ. Зала медленно пустѣетъ.*)

Мы тоже поспѣшили домой. Судъ произвелъ на насъ самое отрадное впечатлѣніе, хотя трагическая смерть пискаря и примѣшивала нѣкоторую горечь въ наши свѣтлыя воспоминанія. Главнымъ образомъ, манера Ивана Иваныча понравилась. Вотъ человѣкъ: говоритъ строгія слова, а всѣмъ пріятно. Даже адвокатъ Шестаковъ — и тотъ только видъ дѣлаетъ, что боится, а въ сущности очень хорошо понимаетъ, что Иванъ Иванычъ проститъ. Вотъ пискарь — тотъ дѣйствительно умеръ, но и онъ умеръ не отъ Ивана Иваныча, а оттого, что заблуждался. А не заблуждался бы — и теперь былъ бы цѣлехонекъ.

Но то-то вотъ и есть, что все это утопія. Иванъ Иванычъ говоритъ: не заблуждайся! Семенъ Иванычъ скажетъ: не воруй! а Петръ Иванычъ: не прелюбодѣйствуй! Кого тутъ слушать? Этакъ всѣ-то начнутъ говорить — и конца краю разговорамъ не будетъ! И вдругъ выскочитъ изъ-за угла Держиморда и крикнетъ: это еще что̀ за пропаганды такія!

Во всякомъ благоустроенномъ обществѣ по штатамъ полагаются: воры, неисправные арендаторы, доносчики, издатели „Помой", прелюбодѣи, кровосмѣсители, лицемѣры, клеветники, грабители. А прочее все — утопія.

Надо сказать правду, что съ нѣкотораго времени меня и Глумова начинали томить предчувствія. Навѣрное отдадутъ насъ подъ судъ! думалось намъ, а невидимая сила такъ и толкала на самое дно погибели. Убѣжденіе въ неизбѣжности конца съ присяжными засѣдателями съ особенною ясностью представлялось теперь, когда мы своими глазами увидѣли, съ какою неумытною строгостью относится правосудіе даже къ такому преступленію, какъ неявка въ уху. Ужъ если Хворовъ долженъ былъ смертью искупить свои миніатюрныя заблужденія, то что̀ же предстоитъ намъ за участіе въ подлогѣ, двоеженствѣ, въ покушеніи основать заравшанскій университетъ?

— Какъ ты думаешь, по совокупности будутъ судить? — обратился я къ Глумову.

— Непремѣнно.

— Такъ что ежели въ разныхъ мѣстахъ преступленія были сдѣланы, то судить будутъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ было совершено послѣднее?

— Гдѣ прежде хватятся, тамъ и будутъ.

— Вотъ кабы у Ивана Иваныча!

— Да, братъ, у Ивана Иваныча — это...

— Чего лучше, кабы у Ивана Иваныча! — отозвался и Очищенный, вслушавшись въ нашъ разговоръ. — Только вѣдь Матрена Ивановна — она по мѣсту жительства...

Словомъ сказать, чтобъ быть подсудными Ивану Иванычу, намъ нужно было теперь же какую-нибудь такую подлость сдѣлать, чтобъ сейчасъ же насъ въ острогъ взяли и слѣдствіе начали. А потомъ ужъ къ этому слѣдствію и прочія вины будутъ постепенно присовокуплять.

Въ раздумьи вступили мы подъ сѣнь постоялаго двора, но тутъ насъ ожидала радость. На мое имя было получено письмо. Вскрываю — и не вѣрю глазамъ своимъ... отъ клуба Взволнованныхъ Лоботрясовъ! Освѣдомившись о нашихъ усиліяхъ вступить па стезю благонамѣренности, клубъ, по собственному почину, записалъ насъ всѣхъ шестерыхъ въ число своихъ членовъ, съ

обложеніемъ соотвѣтственною данью на увеселеніе (описка, вмѣсто: „усиленіе“) средствъ. А именно: купецъ Парамоновъ обязывается ежегодно вносить по 25 тысячъ, купчиха Стёгнушкина—по 10 тысячъ, а всѣ прочіе — по десяти рублей. Причемъ давалось намъ знать: а) что всѣ содѣянныя нами доселѣ преступленія прощаются намъ навсегда; б) что взносы могутъ быть производимы и фальшивыми кредитками, такъ какъ лоботрясы, имѣя прочныя связи во всѣхъ слояхъ общества, берутся сбывать ихъ за настоящія.

— Глумовъ! — воскликнулъ я въ восторгѣ: — смотри! Лоботрясы простили насъ! А мы-то унывали... маловѣры!

Глава XXV.

Ночью Глумову было сонное видѣніе: стоитъ будто бы передъ нимъ Стыдъ. Къ счастію, въ самый моментъ его появленія Глумовъ перевернулся на другой бокъ, такъ что не успѣлъ даже разсмотрѣть, каковъ онъ изъ себя. Помнитъ только, что приходилъ Стыдъ — и больше ничего. Сообщивъ мнѣ объ этомъ утромъ, она задумался.

— Да, братецъ, ежели онъ повадится... — началъ онъ, но, не докончивъ фразы, махнулъ рукой и сталъ торопиться въ дальнѣйшій путь.

Княжеская усадьба, которую арендовалъ искомый еврей, отстояла отъ города верстахъ въ сорока, на сѣверъ, по направленію къ Бѣжецку. Не доѣзжая верстъ десять, начались княжескія владѣнія, о чемъ свидѣтельствовали поставленные по обѣимъ сторонамъ дороги столбы, украшенные стертыми княжескими гербами. Затѣмъ верстъ семь подъ-рядъ тянулось обнаженное пространство, покрытое мхомъ и усѣянное пнями, изъ которыхъ ближайшіе къ дорогѣ уже почернѣли и начали загнивать. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ здѣсь росъ отличнѣйшій сосновый лѣсъ, но еврей-арендаторъ начисто его вырубилъ, а современемъ надѣялся выкорчевать и пни, съ тѣмъ, чтобы кромѣ мховъ ничего ужъ тутъ не осталось. Версты за три пошли поля, и впереди показалось большое село, а по сторонамъ нѣсколько мелкихъ деревень. За селомъ темнѣла господская усадьба.

Въ свое время здѣсь была полная чаша. Мужики въ имѣніи жили исправные, не вымученные ни непосильною барщиной, ни чрезмѣрными данями. Помѣщичье хозяйство также цвѣло, потому что владѣлецъ былъ человѣкъ толковый, понимавшій, что во всякомъ дѣлѣ долженъ быть общій планъ, умѣвшій начертать себѣ этотъ планъ, а затѣмъ и прослѣдить за его выполненіемъ. Тѣмъ не менѣе, новшествъ никакихъ никогда въ имѣніи не вводилось и на всемъ лежала печать самой строгой старозавѣтности. По старинному, поля дѣлились на три части; травосѣянія не существовало, лѣса береглись пуще глазу. Владѣлецъ не былъ жаденъ и довольствовался тѣмъ — впрочемъ довольно значительнымъ — доходомъ, который, благодаря умѣнью пользоваться крѣпостною силою, самъ плылъ къ нему въ руки.

Князь Спиридонъ Юрьевичъ Рукосуй-Пошехонскій былъ потомокъ очень древняго рода и помнилъ это очень твердо. Онъ зналъ, что родичи его были вождями тѣхъ пошехонцевъ, которые начали свое историческое существова-

ніе съ того, что въ трехъ соснахъ заблудились, а потомъ рукавицъ искали, а рукавицы у нихъ за поясомъ были. Многіе изъ его предковъ цѣловали кресты, многимъ были урѣзаны языки; не мало было и такихъ, которыхъ заточали въ Пелымъ, Березовъ и другія, болѣе или менѣе отдаленныя мѣста. Вообще это былъ родъ строптивый, не умѣвшій угадать благопріятнаго историческаго момента и потому въ особенности много пострадавшій во время петербургскаго періода русской исторіи. Въ XVIII столѣтіи Рукосуи совсѣмъ исчезли изъ Пошехонья, уступивъ мѣсто болѣе счастливымъ лейбъ-кампанцамъ, брадобрѣямъ и истопникамъ, и только одному изъ нихъ удалось сохранить за собой теплый уголъ, но и то не въ Пошехоньи, гдѣ процвѣло древо князей Рукосуевъ, а въ Кашинскомъ намѣстничествѣ. Здѣсь князья Рукосуи окончательно угомонились: оставили всякія притязанія на дворскую дѣятельность и служебное значеніе, и всецѣло предались сельскому строительству.

Нынѣшній владѣлецъ усадьбы, князь Спиридонъ Юрьевичъ, въ свое время представлялъ типъ патріарха-помѣщика, который ревниво слѣдилъ за каждымъ крестьянскимъ дворомъ, входилъ въ мельчайшія подробности мужицкаго хозяйства, любя наказывалъ и любя поощрялъ, и во всѣхъ случаяхъ стоялъ за своихъ крестьянъ горой, настойчиво защищая ихъ противъ притязаній и наѣздовъ мѣстныхъ властей. Крестьянинъ представлялъ для него, такъ сказать, излюбленное занятіе, которое не давало заглохнуть его мысли и въ то же время опредѣляло его личное значеніе на лѣстницѣ общественной іерархіи. Или, говоря другими словами, князь считалъ себя отвѣтственнымъ не только *передъ* крестьяниномъ, но и *за* крестьянина. Поэтому онъ не позволялъ себѣ ни одного изъ тѣхъ общедоступныхъ безчеловѣчій, которыми до краевъ было преисполнено крѣпостное право, и любилъ, чтобъ на крестьянъ его указывали какъ на образцовыхъ, а на его личное управленіе—какъ на примѣръ разумной попечительности, „впрочемъ безъ послабеній“. Но въ то же время онъ требовалъ, чтобъ и мужички цѣнили его заботы, и не терпѣлъ ничего выдающагося. „Выскочекъ“ и „похвальбишекъ“ онъ безъ потери времени сдавалъ въ рекруты, но квитанціи не оттягивалъ въ свою пользу, а жаловалъ въ тѣ семьи, положеніе которыхъ требовало, по его мнѣнію, поддержки. Даже выдающейся зажиточности онъ не допускалъ, а велъ всѣхъ ровно, какъ бы постоянно держа въ рукахъ вѣсы, на которыхъ попеременно взвѣшивались всѣ мужички, съ цѣлью уравненія излишковъ и недостатковъ. И затѣмъ, когда убѣждался, что у всѣхъ мужичковъ имѣется полный штатъ живого и мертваго инвентаря, когда видѣлъ, что каждый мужичокъ выѣзжаетъ на барщину въ чистой, незаплатанной рубахѣ, то радовался. И радовался всего больше тому, что этотъ результатъ достигнутъ не строгостью, а мѣрами его личнаго попечительнаго вмѣшательства.

Выходя изъ идеи попечительства, князь не любилъ и отхожихъ промысловъ, называя ихъ баловствомъ. Паспорты выдавались въ его имѣніи съ чрезвычайными затрудненіями, причемъ спрашивалось, куда, зачѣмъ и по какой причинѣ понадобилась отлучка, а по возвращеніи требовался подробный отчетъ, сколько отпущенный пріобрѣлъ, ходя „по волѣ“, сколько прожилъ и сколько принесъ домой. Князь былъ убѣжденъ, что крестьянинъ рожденъ для земли, и проводилъ эту мысль съ нѣкоторою назойливостью. Съ такою

же ревнивою заботливостью наблюдалъ онъ и за нравственностью крестьянъ, и за исполненіемъ ими религіозныхъ обязанностей. Ссоръ не терпѣлъ, неповиновенія не только себѣ и поставленнымъ отъ него начальникамъ, но и внутри самихъ семей — не допускалъ. Любострастіемъ не занимался, хотя овдовѣлъ въ молодыхъ лѣтахъ, и только экономка Маръуша, преданнѣйшее и безотвѣтнѣйшее существо, свидѣтельствовала о его барской и человѣческой слабости. Но ни школы, ни больницы въ княжескомъ имѣніи не существовало. Вмѣсто школы князь всѣхъ деревенскихъ мальчиковъ и дѣвочекъ обучалъ церковному хоровому пѣнію, и сверхъ того его дочь позволяла себѣ имѣть двухъ-трехъ учениковъ изъ мальчиковъ, которые случайно понравились ей своею шустростью. Этихъ учениковъ обыкновенно опредѣляли впослѣдствіи въ дворовые, и съ этою цѣлью обучали въ Москвѣ полезнымъ мастерствамъ. Что же касается до больницы, то она замѣнялась тѣмъ, что добрая княжна лично ходила по избамъ, гдѣ оказывались больные, и подавала имъ помощь по лечебнику Енгалычева. И такъ какъ это были люди простые, да и болѣзни у нихъ были простыя, то дѣло леченія шло успѣшно.

Любили ли князя мужички — неизвѣстно; но такъ какъ недовольства никто никогда не заявлялъ, то этого было достаточно. Нѣсколько чинно и какъ будто скучновато смотрѣла сельская улица, однакожъ князь не препятствовалъ крестьянской веселости и даже по праздникамъ лично ходилъ на село смотрѣть, какъ дѣвки хороводы водятъ. Но очевидно было, что сердце его все-таки преимущественно радовалось не хороводамъ, а тому, что вездѣ пахнетъ печенымъ хлѣбомъ, а иногда и убоиной. Поэтому экономическое положеніе крестьянъ представлялось блестящимъ (не было нуждающихся уже по тому одному, что не представлялось физической возможности стать въ положеніе нуждающагося), а веселость крестьянская являлась въ умаленіи. Поэтому же, быть можетъ, сосѣдніе крестьяне, не столь взысканные помѣщичьей попечительностью, называли крестьянъ села Благовѣщенскаго (имѣніе князя) „идолами“, и благовѣщенцы нельзя сказать чтобъ охотно откликались на это прозвище.

Въ моментъ, когда грянули первые отдаленные раскаты эмансипаціи, князю было уже подъ пятьдесятъ. Дѣтей у него было двое. Дочь Варвара, лѣтъ двадцати-пяти, которую онъ какъ-то забылъ выдать замужъ, и сынъ Юрій, года на два моложе сестры, служившій въ Петербургѣ въ кавалеріи. Дочь была очень скромная дѣвушка, которая страстно любила отца и была необычайно добра къ крестьянкамъ и дворовымъ дѣвушкамъ. Она тоже понимала, что предки ея цѣловали кресты, и потому старалась поступать такъ, какъ, по свидѣтельству ея любимца, Вальтеръ-Скотта, поступали на дальнемъ западѣ владѣтельницы замковъ: помогала, лечила, кормила бульономъ, воспринимала отъ купели новорожденныхъ, дарила дѣтямъ рубашонки и т. п. Сынъ былъ покуда только офицеръ, а что изъ него выработается впослѣдствіи, когда онъ надѣлаетъ долговъ — этого еще никто угадать не могъ.

Еще одна особенность: мѣстные дворяне не любили князя. Онъ жилъ изолированною, занятою жизнью, не ѣздилъ въ гости, не украшалъ своимъ присутствіемъ уѣздныхъ сборищъ и пикниковъ, да и самъ не дѣлалъ пріемовъ, хотя имѣлъ хорошій доходъ и держалъ отличнаго повара. Въ отместку

за такое „неякшаніе“ его постоянно выбирали попечителемъ хлѣбныхъ магазиновъ, несмотря на то, что онъ лично никогда не ѣздилъ на дворянскіе выборы. И ему стоило большихъ хлопотъ и расходовъ, чтобъ избавиться отъ навязанной должности.

Въ 1862 году князь разсердился, хотя крестьяне ничѣмъ его не прогнѣвили. Реформа подѣйствовала на него такъ оглушительно, что, казалось, мозги его внезапно повернулись вверхъ дномъ. Онъ перестaлъ понимать самыя простыя вещи. Когда онъ услышалъ, какъ все село разомъ заорало (нельзя было не орать: и батюшка, и становой приглашали), то почувствовалъ, что внутри у него что-то словно оборвалось. Однакожъ онъ не сталъ дразниться и приставать, какъ большинство его сосѣдей, а сразу счелъ все прошлое поконченнымъ. Чтобъ не устанавливать *никакихъ* отношеній къ крестьянамъ и не входить съ ними ни въ какія соглашенія, онъ выписалъ изъ Кашина двухъ стрикулистовъ и передалъ имъ въ руки уставное дѣло, а самъ сейчасъ же нарушилъ барскую запашку, запродалъ три четверти живого инвентаря, заколотилъ большинство службъ и распустилъ дворовыхъ, кромѣ тѣхъ, которые не шли сами, или тѣхъ, безъ которыхъ на первыхъ порахъ нельзя было обойтись. И въ заключеніе, во всѣ мѣста послалъ заявленія, что отнынѣ существованіе его, въ виду возбужденія крестьянъ, представляется не безопаснымъ.

Нѣкоторое время онъ продолжалъ однакожъ жить въ усадьбѣ. Пріѣзжалъ къ нему изъ Петербурга двадцати-двухъ-лѣтній поручикъ сынъ и пробовалъ утѣшить старика, обнадеживая, что графъ Иванъ Александровичъ надѣется все повернуть на старую колею; но князь выслушалъ, на минуту просіялъ улыбкой — и не повѣрилъ. Главное, онъ потерялъ вѣру въ дворянство, которое, по его мнѣнію, вело себя самымъ легкомысленнымъ образомъ: сначала фрондировало, потомъ смирилось и наконецъ теперь судится съ хамами у мировыхъ посредниковъ... эмиссаровъ Пугачева! Убѣжденія свои относительно роли, которую дворянство *обязано* играть въ государствѣ, онъ успѣлъ привить и дочери, и разъ что „занятіе“ мужичкомъ устранилось, разговоры о необходимости дворянскаго возрожденія сдѣлались единственнымъ матеріаломъ, съ помощью котораго наполнялся обнаружившійся безконечный досугъ. Пробовали они пріобщить къ этимъ собесѣдованіямъ и молодого поручика, но послѣдній охотнѣе разсуждалъ о кобылѣ и ея свойствахъ, и потому, какъ только расчувствовавшійся отецъ отсчиталъ ему, сверхъ положенія, хорошій кушъ, онъ счелъ себя вполнѣ удовлетвореннымъ и укатилъ въ Петербургъ. Старый князь остался одинъ-на-одинъ съ княжною и съ экономкой Марѳушей, которая впрочемъ исключительно занималась тѣмъ, что гнала изъ усадьбы приходившихъ съ жалобами мужиковъ.

А стрикулисты между тѣмъ дѣлали свое дѣло безъ послабленія. Отрѣзывали лѣса и луга, а изъ остального устраивали крестьянскіе надѣлы (въ родѣ какъ западни), имѣя при этомъ въ разсчетѣ, чтобъ мало-мальски легкомысленная крестьянская курица непремѣнно по нѣскольку разъ въ день была уличаема въ безвозмездномъ пользованіи господскими угодьями, а слѣдовательно и въ потрясеніи основъ.

Когда все было покончено — слѣдуетъ замѣтить, что для введенія устав-

ной грамоты все-таки потребовалась команда — началась борьба. Ее вели тѣ же стрикулисты, но вели назойливо и неумѣло, такъ что гвалтъ отъ ежедневныхъ перекоровъ, несмотря на всѣ предосторожности, не могъ не доноситься и до княжеской усадьбы. Князь сердился больше и больше, и въ то же время все сильнѣе и сильнѣе укоренялось къ немъ убѣжденіе о личной его небезопасности въ сосѣдствѣ „неблагодарныхъ“. Онъ тревожно прислушивался къ каждому шороху, держалъ наготовѣ заряженный револьверъ, не тушилъ по ночамъ огней, худо ѣлъ, худо спалъ. Наконецъ въ немъ созрѣла странная мысль: отдать имѣніе въ аренду еврею и поселиться въ городѣ. Ему почему-то казалось, что еврей лучше, нежели всевозможные стрикулисты, съумѣетъ отмстить за него; что онъ ловчѣе вызудитъ запутавшійся мужицкій пятакъ, чище высосетъ мужицкій сокъ и вобще успѣшнѣе разоритъ то мужицкое благосостояніе, которое самъ же онъ, князь Рукосуй, въ теченіе столь многихъ лѣтъ неустанно созидалъ. Правда, что въ то время еще не народилось ни Колупаевыхъ, ни Разуваевыхъ, и князь не зналъ, что для извлеченія мужицкихъ соковъ не нужно особенно-злостныхъ ухищреній, а слѣдуетъ только утромъ разостлать тенета и уйти къ своему дѣлу, а вечеромъ эти тенета опять собрать, и все запутавшееся въ нихъ, связавъ въ узелъ, бросить въ амбаръ для храненія вмѣстѣ съ прочими такими же узлами.

Однимъ словомъ, ничѣмъ не мотивированное ожесточеніе князя противъ крестьянъ приняло, съ теченіемъ времени, размѣры какого-то безконечнаго горячечнаго бреда, который одинаково былъ мучителенъ и для бредившаго, и для тѣхъ, которые составляли предметъ бреда.

Еврей сыскался. Одинъ изъ разжившихся желѣзнодорожниковъ, статскій совѣтникъ Воозъ Давыдычъ Ошмянскій, рекомендовалъ молодому князю своего собственнаго брата, Лазаря, который давно уже жаждалъ найти самостоятельный гешефтъ. Наружность Лазарь имѣлъ очень приличную. Это былъ еврей уже культивированный, понявшій, что по нынѣшнему времени прежде всего необходимо освободиться отъ еврейскаго облика. Явился онъ въ Благовѣщенское въ щегольской гороховой жакеткѣ, въ цвѣтномъ галстухѣ, съ золотымъ пенснѐ на носу, выстриженный à la malcontent, безъ малѣйшаго признака пейсовъ. Онъ скромно рекомендовалъ себя русскимъ моисеева закона и говорилъ по-русски осторожно, почти правильно, хотя не могъ сладить съ буквою *р*, и сверхъ того вмѣсто „что“ произносилъ „ишто“, вмѣсто „откуда“ — „ишкуда“, вмѣсто „въ село“ — „уфсело“ и вмѣсто „сдѣлать“ — „издѣлать“. Сверхъ того, когда унывалъ, то присѣдалъ, а когда торжествовалъ, то начиналъ махать руками. Человѣкъ онъ былъ молодой, крупичатый, съ пунцовыми губами, пухлыми руками, съ глазами выпяченными какъ у рака и съ нѣкоторою наклонностью къ округленію брюшной полости. Но всего больше въ немъ понравилось князю, что когда онъ говорилъ о мужичкѣ, то въ углахъ его рта набивалась слюна, которую онъ очень апетитно присасывалъ.

Не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, князь заключилъ съ Ошмянскимъ безобразнѣйшій и исполненный недомолвокъ контрактъ и затѣмъ уѣхалъ изъ Благовѣщенска. Но для столицъ онъ черезчуръ одичалъ, а Кашинъ — ненавидѣлъ, считая его прикосновеннымъ къ постигшей его катастрофѣ. По-

этому поселился въ Бѣжецкѣ. Тамъ онъ выстроилъ домъ, развелъ при немъ садъ, и жилъ съ дочерью, окруженный вымирающими стариками, да и самъ постепенно дряхлѣя и впадая въ ребячество. Постороннихъ людей онъ боялся и окончательно сдѣлался отшельникомъ. Утромъ запирался въ кабинетѣ и писалъ сочиненіе о необходимости учрежденія „Общества Странствующихъ Дворянъ", на обязанность котораго онъ возлагалъ хожденіе въ народъ съ цѣлью распространенія здравыхъ понятій о значеніи и роли дворянства въ государствѣ. Около двухъ часовъ пополудни, выходилъ къ обѣду во фракѣ и бѣломъ галстухѣ, и ѣлъ изысканныя блюда съ изысканными названіями, въ родѣ: „bombes de pommes de terre à la Sardanapal", „Purée de carrottes à la Jean le Terrible", „Oeufs sur le plat orné de soukharis à la Suwaroff" и т. д. По вечерамъ занимался съ дочерью столоверченіемъ и вызываніемъ духовъ. Но и духовъ вызывалъ все такихъ, которые были прикосновенны къ реформѣ: графовъ Ланского и Ростовцева, тайныхъ совѣтниковъ: Левшина, Милютина, Соловьева и т. п. Онъ старался ихъ убѣдить и усовѣстить, но успѣвалъ въ этомъ только отчасти. Ланской и Ростовцевъ дѣйствительно какъ будто сознавались, что поторопились; Левшинъ не сознавался, но говорилъ: „чѣмъ же я виноватъ?" но Милютинъ и Соловьевъ являлись на зовъ неохотно и, явившись, ограничивались тѣмъ, что называли князя „старымъ колпакомъ".

Такой образъ жизни представлялся столь страннымъ, что бѣжецкія власти встревожились. Въ самомъ дѣлѣ, человѣку слѣдовало бы жить или въ столицѣ, или въ Кашинѣ, а онъ живетъ въ Бѣжецкѣ, живетъ запершись, ни съ кѣмъ не видится, даже въ церковь не ходитъ; днемъ пишетъ какія-то записки, а по вечерамъ производитъ таинственныя дѣйствія. Даже запоемъ не пьетъ, что, все-таки, было бы смягчающимъ обстоятельствомъ. Разумѣется, явилось желаніе внести свѣтъ въ это загадочное существованіе, узнать, насколько оно согласуется съ существующими на сей предметъ предписаніями. Исполненіе этой задачи принялъ на себя мѣстный околоточный Терпѣнкинъ, который тутъ же схвастнулъ, что хотя онъ и значится по метрикамъ рожденнымъ отъ притыкинскаго станціоннаго смотрителя *), но, въ сущности, въ *это время* названный отецъ его ѣздилъ за почтальона въ Калязинъ, а мать оставалась дома одна, какъ вдругъ въ Притыкино прибылъ князь проѣздомъ въ имѣніе...

Въ одно прекрасное утро въ княжескій домъ явился молодой человѣкъ лѣтъ тридцати, отрекомендовался мѣстнымъ околоточнымъ надзирателемъ и, врасплохъ поцѣловавъ у князя ручку, сразу сталъ называть его „папенькой". Князь изумился.

— Чтò такое вы говорите?—спросилъ онъ строго.

— А какъ же, папенька-съ... Изволите помнить, въ сорокъ-третьемъ году въ Притыкинѣ... Такъ это я-съ!—отозвался Терпенкинъ съ невозмутимою душевною ясностью.

Князь покраснѣлъ и промолчалъ. Онъ вспомнилъ, что въ Притыкинѣ дѣйствительно что-то было, но никакъ не могъ представить себѣ, чтобъ изъ

*) Притыкино — станція на почтовомъ трактѣ между Тверью и Калязиномъ.

этого могъ выйти околоточный надзиратель. Княжна, случайно присутствовавшая при этой сценѣ, тоже покраснѣла („однакожъ maman была еще въ это время жива!“ мелькнуло у нея въ головѣ), и послѣ того дня два дулась на отца. Но потомъ не только простила, но даже стала относиться къ нему нѣжнѣе („вотъ у меня папа̀-то какой!“).

Терпенкинъ однакожъ добился своего. Началъ ходить къ князю съ поздравленіемъ по воскресеньямъ и праздникамъ, и хотя въ большинствѣ случаевъ не допускался дальше передней, куда ему высылалась рюмка водки и кусокъ пирога, но все-таки успѣлъ подобрать съ полу черновую бумагу, въ которой кратко были изложены права и обязанности членовъ Общества Странствующихъ Дворянъ.

Находку эту бѣжецкія власти поспѣшили представить по начальству; но вмѣсто ожидаемаго поощренія получили отъ послѣдняго вразумленіе, изъ котораго явствовало, что еслибы всѣ жители Тверской губерніи, подобно князю Рукосую-Пошехонскому, занимались составленіемъ проектовъ о странствующихъ дворянахъ, то губернія сія давно была бы благополучна.

Съ тѣхъ поръ князя оставили въ покоѣ...

А имѣніе его между тѣмъ съ каждымъ годомъ все больше и больше приходило въ упадокъ. Еврей не дремалъ: рубилъ лѣса̀, продавалъ движимость, даже всѣхъ крупныхъ карасей въ прудѣ выловилъ. Только внѣшній обликъ усадьбы оставался неприкосновеннымъ, т.-е. паркъ, барскій домъ, теплицы и оранжереи, потому что князь требовалъ, чтобы въ февралѣ у него непремѣнно былъ на столѣ *свой* свѣжій огурецъ (salade de concombres à la Roukossouy). Даже молодой князь ни разу не посѣтилъ усадьбы, хотя неоднократно грозился „обревизовать жида“. Но Ошмянскій всегда своевременно узнавалъ объ этихъ угрозахъ и, для предупрежденія опасности, отправлялся самолично въ Петербургъ. Тамъ онъ очень ловко пользовался денежными затрудненіями молодого человѣка и за ничтожныя суммы получалъ отъ него разрѣшенія на продажу лѣсовъ. Разрѣшенія эти сами по себѣ не имѣли законной силы, но Лазарь зналъ, что если старый князь и узнаетъ о нихъ, то „повести дѣла“ не захочетъ. Сверхъ того онъ охотно давалъ молодому человѣку и взаймы; такъ что, въ концѣ концовъ, у него оказалась порядочная груда векселей, которые и писались, и переписывались изъ года въ годъ. На послѣднихъ по времени уже красовалась подпись: генералъ-маіоръ князь Рукосуй-Пошехонскій. Очевидно, молодой человѣкъ (ему было въ описываемую эпоху съ небольшимъ сорокъ лѣтъ) преуспѣлъ.

Но выжимать сокъ изъ крестьянъ Ошмянскому удалось только въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ, потому что послѣ этого на селѣ пришли въ совершенный разумъ свои собственные евреи, въ лицѣ Астафьича, Финагеича и Прохорыча, которые тѣмъ легче отбили у наглаго пришельца сосательную практику, что умѣли дѣйствовать и калякать съ мужичкомъ по душѣ и побожицки.

Когда мы пріѣхали въ Благовѣщенское, въ немъ не осталось уже и слѣдовъ прежней зажиточности. Избы стояли почернѣвшія, покривившіяся, съ полуразрушенными дворами, разоренными крышами и другими изъянами. Вдали, на пригоркѣ, виднѣлось крестьянское стадо, малорослое и малочи-

сленное. По пустынной улицѣ безъ пути ходили одинокіе пѣтухи и тщетно сзывали куръ. Только пять-шесть исправныхъ домовъ блестѣли на солнцѣ новыми тесовыми крышами; очевидно, они принадлежали упомянутымъ выше Финагеичу и Прохорычу и еще кое-кому изъ сельскихъ властей. Въ селѣ было три кабака: одинъ при въѣздѣ, другой—при выѣздѣ третій — въ центрѣ, на базарной площади. Ни направо, ни налѣво сельчанину нельзя было выйти, да и по середкѣ усидѣть трудно: вездѣ и распивочно, и на выносъ—какъ хочешь.

Въ одномъ изъ этихъ кабаковъ (центральномъ), при которомъ было такъ-называемое „чистое“ отдѣленіе, остановились и мы.

Глава XXVI.

Оставивши товарищей на селѣ, мы съ Глумовымъ направились въ усадьбу. Арендаторъ стоялъ на крыльцѣ княжескаго дома (онъ занималъ нижній этажъ) и толково объяснялъ мужичку, почему именно ему выгоднѣе быть слопаннымъ имъ, евреемъ, нежели Астафьичемъ, который тоже разѣвалъ на мужичка пасть. Мужичокъ чесался и повторялъ: „что говорить! извѣстно, выгоднѣе!“ но въ самой его манерѣ чесаться было видно, что онъ такъ только, изъ вѣжливости, „подражалъ“ еврею, а въ сущности замышлялъ измѣну. А Ошмянскій, проникая его мысль, говорилъ: „вашему брату тоже пальца въ ротъ не клади“...

Узнавъ о цѣли нашего пріѣзда, Ошмянскій сначала не понялъ и присѣлъ. Но когда мы объяснили ему, что мы странствующіе дворяне, предпринявшіе подвигъ самосохраненія, и съ этою цѣлью предлагающіе свои услуги всѣмъ евреямъ, желающимъ обратиться на истинный путь, и когда Глумовъ какъ бы невзначай махнулъ у него подъ носомъ синей ассигнаціей, то онъ выпрямился и радостно замахалъ руками. Ассигнація же въ это время исчезла безъ остатка.

Оказалось, что со стороны Ошмянскаго была предпринята цѣлая комбинація. Объектомъ ея былъ впрочемъ не онъ лично, а одинъ его бѣдный родственникъ, Мошка, котораго онъ, изъ состраданія, пріютилъ у себя. Вообще предпріятіе было очень запутанное, и впослѣдствіи одна газета совершенно справедливо выразилась объ немъ такъ: „вотъ горькій, но вполнѣ естественный плодъ ложнаго положенія евреевъ во внутреннихъ губерніяхъ Россіи!“

Дѣло въ томъ, что Лазарь, какъ некрещенный еврей, не имѣлъ права самостоятельно жить въ Кашинскомъ уѣздѣ, и ежели его до сихъ поръ не тревожили, то единственно только по упущенію. Но безсрочно надѣяться на упущенія невозможно, тѣмъ болѣе, что Астафьичъ, Финагеичъ и Прохорычъ успѣли кое-что пронюхать, и вслѣдствіе этого начали похваляться и угрожать. Ошмянскій заметался и призвалъ на помощь всю остроту ума; но какъ онъ ни присѣдалъ, какіе ни придумывалъ извороты, перспектива въ будущемъ представлялась одна: обязательное выселеніе по первому извѣщенію любого изъ Финагеичей. Правда, что онъ ужъ былъ сытъ по горло и даже самъ нерѣдко мечталъ пуститься въ болѣе широкое плаваніе, но оставалась еще одна

какая-то невырубленная пустошѣнка, и онъ чувствовалъ смертельную тоску при одной мысли, что она выскользнетъ у него изъ рукъ. Поѣхалъ онъ въ Кашинъ къ стрикулистамъ, и тамъ ему дали совѣтъ. Оказывалось, что если у него найдется родственникъ, который согласится перейти въ христіанство, то стоитъ только обдѣлать это дѣло, и Лазарь получитъ право жить у этого родственника въ гостяхъ безсрочно и невозбранно. Натурально, Ошмянскій вспомнилъ объ Мошкѣ, и, не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, рѣшился, при помощи Мошки, устроить кощунственный гешефтъ.

Мошка согласился съ радостью, но выговорилъ, чтобы сверхъ похлебки изъ фасоли, которою онъ въ качествѣ бѣднаго родственника исключительно питался, ему давали ежедневно еще по двѣ головки чеснока. Мало того: онъ до такой степени распалился ревностью, что сталъ приставать къ рабочимъ, чтобъ они при встрѣчѣ съ нимъ показывали свиное ухо, что̀ послѣдніе охотно и исполняли.

Для того чтобъ Мошкинъ энтузіазмъ не простылъ, Ошмянскій нанялъ въ Кашинѣ стараго, изверженнаго изъ сана за пьянство дьякона, Мину Праздникова. Дьяконъ взялъ съ него недорого: два съ полтиной за всю выучку и сверхъ того по полуштофу пѣннаго въ день, ибо, по преклонности лѣтъ, болѣе вмѣстить ужъ не могъ. Но такъ какъ онъ отъ старости и вина до того обезумѣлъ, что и самъ все перезабылъ, то приступилъ къ дѣлу чрезвычайно странно. Во-первыхъ, для начала заставилъ Мошку съѣсть углицкую колбасу, и во-вторыхъ, сказалъ: „а теперь кричи: ура!“ Мошка колбасу съѣлъ и попросилъ еще; потомъ крикнулъ „ура“, разъ, другой — и это ему тоже понравилось. Вслѣдствіе этого, будучи, по случаю предстоящей перемѣны въ судьбѣ, уволенъ отъ занятій въ конторѣ, онъ по цѣлымъ днямъ слонялся съ изверженнымъ дьякономъ по парку, рвалъ зубами колбасу и кричалъ „ура“.

Когда Мошка совсѣмъ освоился съ колбасой, тогда изверженный дьяконъ, который полюбилъ его какъ родного сына, сказалъ:

— Мошка! видѣлъ я давеча, что Лазарь пятиалтынный на столѣ въ залѣ оставилъ. Поди и унеси его, а унесши сбѣгай къ Финагеичу и купи косушку пѣннаго. Хочу тебя къ сивухѣ пріучить.

Такъ Мошка и сдѣлалъ. Половину косушки Мина Праздниковъ выпилъ самъ, а другую половину почти насильно вылилъ Мошкѣ въ горло. И когда, поздно вечеромъ, они возвращались изъ парка домой и Мошка совсѣмъ безъ пути оралъ, то Мина, усмотрѣвъ въ лицѣ Ошмянскаго укоризненное выраженіе, объяснилъ:

— Это ничего. Это отъ избытка чувствъ!

Черезъ мѣсяцъ, когда Ошмянскій освѣдомился у Праздникова, каковы успѣхи дѣлаетъ его ученикъ, изверженный дьяконъ, предварительно хлопнувъ Мошку ладонью по лбу, кратко, но вразумительно отвѣтилъ:

— Башка!

Разумѣется, Ошмянскій прежде всего обратился съ просьбой о воспріемничествѣ къ князю и къ княжнѣ. Но князь былъ въ это время до того погруженъ въ пререканія съ духомъ тайнаго совѣтника Соловьева по дѣлу о несвоевременности крестьянской реформы, что врядъ-ли даже понялъ, о чемъ Лазарь его проситъ. Что̀ же касается до княжны, то она сначала согласилась

и даже приступила къ кройкѣ и шитью ризокъ, но когда узнала, что Мошка большой, то покраснѣла и отказалась наотрѣзъ. Лазарь очутился въ большомъ затрудненіи вслѣдствіе этой неудачи, и уже подумывалъ, не пригласить ли въ кумовья Прохорыча, а въ кумы Финагеичеву жену. Этимъ смѣлымъ шагомъ онъ разсчитывалъ достигнуть примиренія съ обоими сельскими магнатами, а впослѣдствіи даже заключить съ ними союзъ съ тѣмъ, чтобъ соединенными силами ударить на Астафьича и утопить послѣдняго въ ложкѣ воды.

Въ такомъ положеніи находилось дѣло, когда мы пріѣхали въ Благовѣщенское. Мина Праздниковъ уже цѣлыхъ шесть недѣль проживалъ въ усадьбѣ и все говорилъ, что Мошка еще не готовъ. Лазарь начиналъ тяготиться этими проволочками. Правда, старикъ не требовалъ увеличенія гонорара, но онъ съѣдалъ харча по малой мѣрѣ на двадцать копѣекъ въ сутки, да сверхъ того ежедненно выпивалъ условленный полштофъ, а это тоже денегъ стоило. Да и Мошка набаловался при немъ; сталъ поворовывать, пить, буянить и вообще вести себя подобно охотникамъ-рекрутамъ, покуда не крикнутъ имъ: лобъ! „Ахъ, кабы поскорѣе сбыть съ рукъ это дѣло,—разсуждалъ самъ съ собою Лазарь,—а тамъ ужъ я Мошку подтяну! Я ему, подлецу, всякую головку чеснока припомню! Я на немъ вымещу, я его“... Но вдругъ въ головѣ его промелькнула изумительная мысль: а что̀, ежели Мошка возьметъ да скажетъ: „довольно вы у меня, Лазарь Давыдычъ, въ гостяхъ пожили! хочу я теперича, чтобъ вы уѣхали обратно въ Ошмяны!“? При этомъ предположеніи Лазарь не только присѣлъ, но и глаза зажмурилъ. „Ишто̀ я тогда съ нимъ издѣлать буду!“ затосковалъ онъ, разсчитывая по пальцамъ, сколько Мошка со дня рожденія одного хлѣба у него съѣлъ, не говоря уже о фасоли и чеснокѣ.

Вообще у Ошмянскаго было много заботъ, которыя отравляли его существованіе. И прежде всего—громадное семейство. Жена его, Рахиль, почему-то Францовна (онъ звалъ ее: Рахэль), народила ему цѣлую охапку дѣтей. Каждому предстояло приготовить гешефтъ, а для гешефта—деньги. Деньги, разумѣется, найдутся—онъ это зналъ... но вдругъ ихъ у него отнимутъ! Не взломомъ, не разбоемъ—Боже упаси!—а просто скажутъ: нажилъ деньги, а теперь отдавай!.. „ай вай, ишто̀ тогда изъ нами будетъ!“ Что̀ будетъ съ Эвелемъ, съ Рувимомъ, съ Борухомъ, съ Зельманомъ, съ Лейбою, съ Ицекомъ, съ Сарой, съ Агарью, съ Ребеккой и наконецъ съ маленькой Эсѳирью, которую за ея роскошныя рыжія кудри называли Уріевой женой? Конечно, онъ бо̀льшую часть капитала припряталъ, но вѣдь бываетъ и такъ, что спрятать—спрячешь, а потомъ не знаешь, какъ и достать. Спряталъ онъ ихъ, напримѣръ, уфъ банкъ, а самъ, по манію генералъ-маіора Отчаяннаго, очутился уфъ Америкѣ... Доставай оттуда! переписывайся! доказывай!

Эта мысль ужасно его мучила. Даже ночью онъ видѣлъ передъ собой бѣду какъ живую, вскакивалъ съ постели, обливался холоднымъ потомъ и проклиналъ... Припоминалъ онъ, какъ полководцы, пріѣзжавшіе къ его брату, финансовому тузу, занимать деньги, говаривали: „а что̀ бы вамъ, Воозъ Давыдычъ... право! махните-ка... а?“—И Воозъ Давыдычъ не обрывалъ ихъ,

а только скромно возражалъ, что „покуда“ еще не предвидится надобности... Покуда! стало быть, когда-нибудь надобность все-таки можетъ придти? Припоминалъ онъ также, какъ однажды одинъ изъ полководцевъ, въ первый разъ увидѣвъ его у брата, сказалъ: „а тебя, пархатый, хочешь сейчасъ къ Татьянѣ Борисовнѣ свезу?“ Припоминалъ онъ все это, и проклиналъ, проклиналъ безъ конца. И чѣмъ больше проклиналъ, тѣмъ жаднѣе набрасывался на гешефты, сосалъ, грызъ, рвалъ...

Завѣтнѣйшею его мечтою было заполучить желѣзную дорожку. Сначала... хоть узкоколейную. Вотъ кашинскіе патріоты давно ужъ ропщутъ, что размаху имъ не даютъ—на чтò бы лучше! А не то можно и изъ Углича линійку провести. Капиталъ у Лазаря есть; не громадный, правда, но вѣдь не въ капиталѣ сила, а въ томъ, чтобъ имѣть подъ рукою запасъ дураковъ. А въ этомъ отношеніи Воозъ поможетъ. Денегъ не дастъ, но пути укажетъ и дураковъ подыщетъ... А чтò если онъ проектъ-то вывѣдаетъ, да самъ для себя дорожку и отхлопочетъ? И останется онъ, Лазарь, въ дуракахъ... „Ахъ. братъ, братъ! неужто ты это сдѣлаешь? неужто ты еще не сытъ?“

А желѣзнодорожное дѣло онъ знаетъ: еще подросткомъ онъ служилъ сряду нѣсколько лѣтъ на одной дорогѣ, сперва на побѣгушкахъ, потомъ въ писаряхъ, а наконецъ и десятникомъ. Въ то время строителемъ дороги былъ молодой инженеръ, который его все палкой по головѣ билъ—вотъ его онъ и сдѣлаетъ главноуправляющимъ *своими дорогами*. Отъ него онъ „науку“ узналъ, ума набрался, а теперь можетъ и самъ чтò угодно выстроить. И рабочихъ онъ дешево найметъ, а коли дорожиться будутъ, то обсчитаетъ... нѣтъ, пускай ужъ лучше дешево найметъ! А впрочемъ обсчитать пожалуй выгоднѣе. Не по одиночкѣ, а непремѣнно разомъ всѣхъ. По одиночкѣ—пожалуй заплатить присудятъ, а когда *всѣ разомъ* будутъ разсчета требовать, то выйдетъ бунтъ, а тамъ какъ разъ и неповиновеніе властямъ...

„А игдѣ же у насъ гаспадинъ исправникъ тутъ?“

И вотъ онъ выстроилъ одну дорожку, выстроилъ другую, и окончательно основался въ Петербургѣ. Купилъ въ Большой Морской домъ, прямо противъ дома Вооза; оба по двѣ француженки содержатъ, оба на пріюты жертвуютъ. И ѣздятъ другъ къ другу: „я—къ нему, онъ—ко мнѣ“. Лѣтомъ онъ посѣщаетъ Эмсъ, чтобы легче экспекторировать, въ сентябрѣ ѣдетъ купаться въ Трувиль, потомъ въ Парижъ, въ Ниццу... И вездѣ ему скучно. Вездѣ его преслѣдуетъ представленіе о какой-то фантастической ѣдѣ, которая ему приличествуетъ и которую онъ не можетъ назвать, о какой-то женщинѣ съ диковиннымъ секретомъ, за который онъ дорого бы заплатилъ, но который еще сама природа покуда не догадалась создать... А инженеръ между тѣмъ дороги ему строитъ. Заглянетъ онъ между дѣломъ въ Петербургъ и обревизуетъ счеты. Потомъ задастъ полководцамъ тонкій обѣдецъ, а послѣ обѣда въ зубахъ ковыряетъ. И опять въ Ниццу, въ Парижъ... И вдругъ опять... эта ужасная мысль! Ѣдятъ у него полководцы, чествуютъ гостепріимнаго хозяина, хвалятъ вино, сигары; но вотъ одинъ изъ нихъ отдѣляется и дружески хлопаетъ его по колѣнкѣ: „а чтò бы вамъ Лазарь Давыдычъ, тово... махни-ка, братъ... а?“ Лазарь блѣднѣетъ отъ злобы. но и въ мечтахъ не можетъ отыскать приличный отвѣтъ. Такой отвѣтъ, чтобъ

былъ храбрый. И убѣждается, что даже наверху благополучія ему нѣтъ другого выхода, кромѣ какъ проклинать...

О возстановленіи іудейскаго царства онъ не мечталъ: слишкомъ онъ былъ для этого реалистъ. Не могъ даже вообразить себѣ, что̀ онъ будетъ тамъ дѣлать. Вѣдь Іерусалимъ навѣрное не отдадутъ; развѣ вотъ Сихемъ — такъ ужъ лучше въ Кашинскомъ уѣздѣ у Мошки въ гостяхъ жить. Конечно, и въ Сихемъ можно мамзель Жюдикъ выписать... Никогда онъ Жюдикъ не видалъ, но, будучи сладострастенъ, распалялся на вѣру. Давно ужъ онъ понималъ, что Рахэль ему не пара. А притомъ слишкомъ ужъ часто родитъ. Поэтому въ мечтахъ о предстоящей привольной жизни въ Петербургѣ, онъ постоянно отдѣлялъ въ предполагаемомъ собственномъ домѣ особый аппартаментъ для себя. Рахэль, съ дѣтьми, гувернантками и гувернерами, онъ помѣститъ въ бельэтажѣ; подыщетъ троихъ дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, которые будутъ составлять ей партію въ вистъ, а самъ поселится въ rez de chaussée и будетъ принимать Жюдикъ. Лопочетъ Жюдикъ, какъ оглашенная, по-французски, а онъ съ полководцами сидитъ и хохочетъ. А чему хохочетъ—не знаетъ.

По временамъ, передъ нимъ возставало его далекое дѣтство. Ахъ, что̀ такое тамъ было... ффа!! Родился онъ въ Ошмянахъ, въ полуразвалившейся хижинѣ, выходившей своими четырьмя окнами въ улицу, наполненную навозомъ. Отецъ его былъ честный старый еврей, ремесломъ лудильщикъ, и буквально помиралъ съ голода, потому что лудильщиковъ въ городѣ расплодилось множество, а лудить было нечего. Но старикъ бодрился. Онъ не измѣнялъ завѣту предковъ, не снималъ съ головы ермолки, ни длиннополаго заношеннаго ламбсердака съ плечъ, не обрѣзывалъ пейсовъ и по цѣлымъ вечерамъ, обливаясь слезами, пѣлъ псалмы, возвѣщавшіе и славу Іерусалима, и его паденіе. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ бѣдныхъ, восторженныхъ евреевъ, которые среди зловонія и нечистотъ уѣзднаго городка умѣютъ устроить для себя мучительно-возвышенный миражъ, который въ одно и то же время и изнуряетъ, и даетъ силу жить. Лазарь и теперь еще какъ живого представлялъ себѣ этого сухого старика, который до самой смерти не переставалъ стучать паяльникомъ, добывая кусокъ для одолѣвавшей его семьи.

Но къ воспоминаніямъ объ отцѣ онъ относился какъ-то загадочно, какъ будто говорилъ: а кто же ему велѣлъ зѣвать! И Воозъ былъ въ отрочествѣ лудильщикомъ, и онъ, Лазарь, тоже. И теперь еще есть у него въ Ошмянахъ два родные брата въ лудильщикахъ, и онъ собирается послать имъ пятьдесятъ цѣлковыхъ, да все забываетъ. Но Воозъ рано прозрѣлъ, а за Воозомъ черезъ нѣсколько лѣтъ прозрѣлъ и Лазарь. Воозъ сразу пошелъ ходко: выхолился, вычистился, выказалъ недюжинныя способности, завелъ прическу à la Capoul и понравился банкиршѣ. А тамъ подошелъ хорошій гешефтъ, онъ нырнулъ... и вынырнулъ; потомъ опять вынырнулъ, и опять. Теперь живетъ чуть не въ десяти дворцахъ — во всѣхъ мало-мальски стоющихъ европейскихъ городахъ по одному — завелъ льстецовъ и на̀пусто ужъ не плюнетъ — извините! Лазарь же хоть и не столь преуспѣлъ, а все-таки успѣлъ уничтожить тотъ особливый наружный обликъ, который запираетъ еврею входъ въ жизнь. Онъ ходитъ въ жакеткѣ, причесывается à la malcontent,

а захочетъ, такъ отпуститъ волосы и проборъ посрединѣ головы изваяетъ. Вообще онъ пожаловаться на судьбу не можетъ. Хоть и далеко ему до брата, но...

Покуда такимъ образомъ передъ умственными нашими взорами развертывалась жизнь Ошмянскаго, онъ пригласилъ насъ въ домъ. Но повелъ насъ не въ нижній этажъ, гдѣ ютилось семейство и откуда неслись раздирающіе крики малолѣтнихъ евреевъ, а наверхъ, въ комнаты, выговоренныя княземъ для себя на случай пріѣзда. Мы вошли въ обширное, вполнѣ барское помѣщеніе, въ которомъ впрочемъ сохранилось ужъ очень мало мебели. Высокія парадныя комнаты выходили окнами на солнечную сторону; воздухъ былъ сухой, чистый, легкій, несмотря на то, что ужъ много лѣтъ никто тутъ не жилъ. Лазарь выводилъ насъ вездѣ и, не переставая, жаловался.

— Однихъ дровъ саженъ сто на отопленіе этихъ сараевъ въ годъ выходитъ,—говорилъ онъ:—да сколько на оранжереи, да на теплицы! И все это я долженъ *своими* дровами отоплять! Доказывалъ я молодому князю, что гораздо было бы выгоднѣе верхній этажъ снять, и даже деньги хорошія предлагалъ, а онъ старика боится. Думаетъ, что здѣсь умереть захочетъ, да гдѣ ужъ! А тутъ одного кирпича сколько—подумайте! Да и нижній этажъ облегчился бы, а чтобы въ немъ жить было веселѣе, я бы и паркъ вырубилъ — вонъ хоть до тѣхъ поръ (онъ показалъ пальцемъ что-то далеко). Подумайте, какія деревья—дубы, лиственицы, кедры есть!—сколько тутъ добра! И все пропадаетъ задаромъ. А въ особенности оранжереи — вотъ онѣ у меня гдѣ сидятъ! Садовники народъ балованный, а имъ жалованье плати. Кто плати? —все я. А уничтожьте эти ненужныя затѣи—сколько одного кирпича! Старикъ ничего этого во вниманіе не беретъ, а я отдувайся!

Пожаловавшись, разсказалъ намъ изложенныя выше подробности о старомъ князѣ и выразилъ надежду, что съ его смертью легче будетъ съ наслѣдникомъ дѣло имѣть. Любитъ онъ, Лазарь, нынѣшнюю молодёжь — такая она бодрая, дѣльная! Никакихъ сантиментовъ: деньги на столъ — и весь разговоръ тутъ.

— А у старика, я знаю, есть капиталъ, — прибавилъ онъ: — только онъ бо́льшую часть дочери отдастъ, а та — въ монастырь .. Вотъ тоже я вамъ скажу (онъ тоскливо замоталъ головой)! Ежели бы я былъ правительство, я бы...

— Но такъ какъ вы правительствомъ никогда не будете... —строго прервалъ его Глумовъ, но не кончилъ, потому что Лазарь, при первыхъ же звукахъ его голоса, до того присѣлъ, что мы съ минуту думали, что онъ совсѣмъ растаялъ въ воздухѣ. Однакожъ черезъ минуту онъ опять осуществился.

— А имѣніе перейдетъ къ сыну,—продолжалъ онъ: вотъ тогда...

И въ знакъ восторга замахалъ руками, какъ до-реформенный телеграфъ.

Между тѣмъ сквозь открытыя окна снизу, изъ стряпущей, до насъ доносились съѣстные запахи. Пахло жаренымъ лукомъ, кочерыжками и чѣмъ-то въ родѣ мытаго бѣлья. Послѣдній запахъ издавалъ жареный гусь, которому, по преклонности лѣтъ и недугамъ, оставалось жить всего двадцать четыре часа и котораго Ошмянскій, скрѣпя сердце, приказалъ зарѣзать. Поэтому-то, быть можетъ, такъ и ревѣли внизу маленькіе евреи, не подозрѣвая,

что Лазарь рѣшилъ въ умѣ своемъ наградить гусемъ не всѣхъ, но лишь достойнѣйшихъ. Одну минуту мы думали, что радушный хозяинъ и насъ пригласитъ хлѣба-соли отвѣдать, да онъ и самъ ужъ началъ:

— А можетъ быть вы издѣлаете мнѣ удовольствіе...

Но сейчасъ же испугался и, чтобъ окончательно не возвращаться къ этому предмету, убѣжалъ на балконъ, гдѣ нѣкоторое время обмахивался платкомъ, чтобъ придти въ себя. Наконецъ онъ кликнулъ работника, чтобъ разыскать Мошку и Праздникова, и позеленѣлъ отъ злости, узнавъ, что оба еще наканунѣ съ вечера отправились за двадцать верстъ на мельницу рыбу ловить и возвратятся не раньше завтрашняго утра.

Приходилось ждать на селѣ. Впрочемъ для насъ это было даже пріятно. Ни дѣлъ, ни занятій впереди не предстояло; развѣ вотъ подъ судъ отдадутъ, такъ для этого мы всегда куда слѣдуетъ во-время поспѣемъ. А между тѣмъ наступали свѣтлые, сухіе дни, какими иногда сентябрь награждаетъ нашъ сѣверъ. Хотя днемъ солнце еще порядкомъ грѣло, но въ тѣни уже чувствовалась свѣжесть наступающей осени. Воздухъ былъ необыкновенно прозраченъ, гулокъ и весь напоенъ ароматами созрѣвающихъ овощей и душистыхъ огородныхъ травъ. Въ подросшей за лѣто травѣ еще стрекотали кузнечики, а около кустовъ и деревьевъ дрожали нити паутины -- вѣрные признаки предстоящаго продолжительнаго вёдра. Листья еще крѣпко держатся на вѣткахъ деревьевъ и только чуть-чуть начинаютъ бурѣть; георгины, штокрозы, резеда, душистый горошекъ — все это слегка поблѣднѣло подъ вліяніемъ утренниковъ, но еще въ полномъ цвѣту, и вездѣ жужжатъ миріады пчелъ, которыя, какъ чиновники передъ реформой, спѣшатъ добрать послѣднія взятки. Кругомъ—просторъ, тишина, грудь не надышется. Каждая птица въ небѣ видна, каждый ударъ цѣпа на гумнѣ слышенъ; бѣлая церковь на пригоркѣ такъ и искрится; вода въ прудѣ — какъ хрусталь. Чудно, чудно, чудно. А въ Петербургѣ, быть можетъ, въ это самое время въ воздухѣ порхаетъ ужъ изморозь и улицы наполнились тою подлою слизью, которая въ одну минуту превращаетъ пѣшехода въ чушку. Чиновники ужъ переѣхали съ дачъ; во всякомъ окнѣ виднѣется по бабѣ, перетирающей на зиму стекла; начинаютъ подтапливать печи, готовить зимнія рамы. Статскій совѣтникъ Дыба ужъ закашлялъ и будетъ всю зиму закатывать, а сосѣдъ его, статскій совѣтникъ Удавъ, всю зиму будетъ удивляться, какъ это Дыбу не разорветъ, а самъ въ то же время станетъ благимъ матомъ кричать: „ахъ, батюшки, геморрой!!“

Убѣдившись, что мы не заявляемъ ни малѣйшихъ претензій на жаренаго гуся, Ошмянскій повеселѣлъ, и съ удовольствіемъ согласился сопровождать насъ по парку. Паркъ былъ большой и роскошный; именно такой, какіе иногда во снѣ снятся и о которыхъ на яву говорятъ: вотъ бы гдѣ жить и не умирать! Нельзя сказать, чтобъ Ошмянскій содержалъ его исправно; но такъ какъ главную его красу составляли мощныя деревья, то подъ сѣнью ихъ растительность на дорожкахъ и безъ чистки пробивалась туго. Бесѣдка была всего одна, на берегу большого пруда, но безъ портиковъ и безъ надписей. Ни насыпныхъ холмовъ, ни искусственныхъ проваловъ, ни мостиковъ, ни мостовъ, ни статуй съ отбитыми носами и руками не было. Вообще замѣ-

чалось полное отсутствіе затѣйливости и сантиментальности; только на одной старой дуплястой березѣ были вырѣзаны французскія буквы: D. S. По свидѣтельству Отмянскаго, эти иниціалы были вырѣзаны княжною и означали: Дементій Савоськинъ — имя и фамилія землемѣра, пріѣзжавшаго въ Благовѣщенское для повѣрки межъ. Савоськинъ имѣлъ черныя кудри, которыя очень холилъ, хотя начальство не разъ сажало его за нихъ на гауптвахту и стригло подъ гребенку. Княжна видѣла землемѣра только издали и никогда не молвила съ нимъ ни слова, но кудри его произвели на нее впечатлѣніе. Впрочемъ весь сердечный переполохъ, произведенный Савоськинымъ, выразился единственно въ томъ, что княжна очень осторожно узнала имя и фамилію землемѣра и нѣжнѣе нежели обыкновенно поцѣловала въ этотъ день старика-отца. Затѣмъ ушла въ дальнюю аллею, вырѣзала на березѣ завѣтныя буквы и взгрустнула...

Весь остальной день мы занимались статистикой. Ходили по крестьянскимъ дворамъ, считали скотъ и домашнюю птицу, приводили въ извѣстность способы питанія, промыслы, нравы, обычаи, но больше всего старались разузнать, можно ли разсчитывать на политическую благонадежность обывателей и на готовность ихъ отстаивать основы. Въ результатѣ изысканій оказалось слѣдующее:

Жителей въ селѣ Благовѣщенскомъ 546 душъ мужескаго пола, изъ коихъ половина въ отходѣ. Женщинъ никто не считалъ и количество ихъ опредѣляется словомъ: достаточно.

Дворовъ—123. Жители—тѣлосложенія крестьянскаго, безъ надежды на утучненіе. Домовъ, имѣющихъ видъ жилищъ и снабженныхъ исправными дворами, семь; прочія крестьянскія избы обветшали; дворы раскрыты, ворота поломаны, плетни растасканы. Вѣроисповѣданія—обыкновеннаго.

Скотоводство и птицеводство. Лошадей въ селѣ 57; изъ нихъ 23 принадлежатъ мѣстнымъ Финагеичамъ, а 34 приходятся на остальные 116 дворовъ. Коровъ 124, изъ коихъ 26 принадлежатъ Финагеичамъ. Куръ и пѣтуховъ 205 штукъ.

Промыслы. Половина населенія уходитъ въ Москву и въ приволжскіе города, гдѣ промышляетъ по трактирной части и уплачиваетъ за все село казенные сборы. Воровъ въ селѣ считаютъ двадцать-четыре человѣка.

Торгуютъ крестьяне гвоздями, вытаскиваемыми изъ стѣнъ собственныхъ избъ, досками, выламываемыми изъ собственныхъ клѣтей и воротъ, сошниками собственныхъ сохъ, а равно находимыми на дорогѣ подковами. Всѣ сіи товары сбываются ими мѣстнымъ Финагеичамъ въ обмѣнъ на водку.

Питаніе. Жители къ питанію склонны. Любятъ говядину, свинину, баранину, кашу съ масломъ и пироги. Но способовъ для питанія не имѣютъ. А потому довольствуются хлѣбомъ и замѣняющими оный суррогатами. Нужно впрочемъ сказать, что и Финагеичи, обладающіе достаточными средствами, налегаютъ преимущественно на суровую и малопитательную ѣду, лишь бы животъ наѣдался. Самоваровъ на селѣ 8.

Нравовъ и обычаевъ не имѣется, такъ какъ таковые, еще при крѣпостномъ правѣ, уничтожены, а послѣ того, за объявленіемъ воли вину, не успѣли народиться. Къ числу нравовъ и обычаевъ, признаки которыхъ уже до из-

вѣстной степени обозначились, слѣдуетъ отнести: во-первыхъ, стремленіе къ увеличенію государственнаго дохода посредствомъ посѣщенія кабаковъ, и, во-вторыхъ, правило, на основаніи котораго обыватель, взявшій весной у Финагеича полпуда муки, осенью возвращаетъ пудъ и сверхъ того, на гулянкахъ, убираетъ ему полдесятины луга.

Политическая благонадежность обывателей безусловно хороша, чему много способствуетъ неимѣніе въ селѣ школы. О формахъ правленія не слышно; объ революціяхъ извѣстно только одно: что когда вводили уставную грамоту, то пятаго человѣка наказывали на тѣлѣ. Основы защищать—готовы.

Статистика вышла коротенькая, скудная цифровыми данными и, можетъ быть, даже невѣрная, такъ что, по совѣсти говоря, каждый изъ насъ могъ бы написать ее, сидя гдѣ-нибудь въ Разъѣзжей и не бывши въ Благовѣщенскомъ. Да такъ вѣроятно и пишется большинство статистикъ, а публицисты дѣлаютъ изъ нихъ невѣрные выводы и пишутъ невѣрныя передовыя статьи. Вотъ почему цензурное вѣдомство и предостерегаетъ: объ одномъ не пиши, объ другомъ помолчи, а объ третьемъ совсѣмъ позабудь. Потому что писать надобно такъ, чтобы вѣрно было.

Тѣмъ не менѣе, когда прочиталъ нашу статистику Прохорычъ (у котораго мы остановились), то онъ остался такъ доволенъ, что воскликнулъ: „вѣрно! именно такъ! именно нужно нашему брату почаще подъ рубашку заглядывать!“ Но изъ чего этотъ новоявленный публицистъ вывелъ такое заключеніе—сказать не умѣю.

Въ трудахъ нашихъ по статистическимъ изысканіямъ оказывалъ существенную помощь Ошмянскій, о чемъ и считаю долгомъ здѣсь засвидѣтельствовать, принося почтеннѣйшему Лазарю Давыдовичу, отъ лица своего и своихъ товарищей, искреннѣйшую признательность за его просвѣщенное и притомъ безвозмездное содѣйствіе.

Ночью опять являлся во снѣ Глумову Стыдъ. „И даже сказалъ что-то, но вотъ хоть убей — не помню!“ разсказывалъ мнѣ Глумовъ. Да и со мной что-то было: моментально я почувствовалъ, что меня вдругъ какъ бы обожгло. Очевидно, это было предостереженіе.

— Надо, братецъ, спѣшить!—торопилъ меня Глумовъ.

Куда спѣшить?—мы и сами, признаться, не отдавали себѣ отчета. Предпринявъ подвигъ самосохраненія и не имѣя при этомъ иного руководителя, кромѣ испуга, мы очень скоро очутились въ такомъ водоворотѣ шкурныхъ демонстрацій, что и сами перестали понимать, гдѣ мы находимся. Мы инстинктивно говорили себѣ только одно: спасаться надо! спѣшить! И безъ оглядки куда-то погружались и все никакъ не могли нащупать дна... А между тѣмъ дно было уже почти подъ ногами, сплошь вымощенное статьями уголовнаго кодекса...

Проснулись мы очень рано. Пастухъ гналъ по улицѣ стадо; бабы, растрепанныя, заспанныя, бѣжали, съ прутьями въ рукахъ, за коровами, которыя останавливались вездѣ, гдѣ замѣчались признаки какой-нибудь растительности. Пыль густымъ облакомъ стояла надъ селомъ, переливаясь радугой подъ лучами только-то вспыхнувшаго востока. Мы направились въ паркъ; Ошмянскій очевидно еще спалъ, но у пруда уже мелькали человѣческія фи-

гуры. Къ величайшему нашему удивленію, это оказались Праздниковъ и Мошка. Оба, засучивъ штаны, бродили по краямъ пруда и ловили бреднемъ мелкихъ карасиковъ.

Праздниковъ—высокій, коренастый мужчина, съ громадной головой, на которой только на нижней части затылка уцѣлѣли сѣдые волосы. Прожилъ онъ на свѣтѣ восемьдесятъ годовъ, но на видъ ему можно было дать не больше шестидесяти, несмотря на безмѣрное питіе. Выраженіе его лица было почти безумное, чему впрочемъ много содѣйствовали незрячіе глаза, изъ которыхъ на одномъ уже совсѣмъ насиѣлъ катарактъ, а на другомъ назрѣлъ только въ половину. Говорилъ онъ низкимъ басомъ, но съ пепріятными переливами, которые обыкновенно являются слѣдствіемъ продолжительныхъ запоевъ. Щеки имѣлъ красныя, носъ жирный, разрисованный подъ мраморъ, руки — исполинскія, покрытыя волосами и синими узлами жилъ. Одѣтъ былъ въ длиннополый подрясникъ, на манеръ причетническаго, несмотря на то, что ношеніе этой одежды было ему, какъ изверженному, воспрещено.

Мошка представлялъ совершеннѣйшій контрастъ Праздникову. Это былъ совсѣмъ мизерный человѣчекъ, крохотный, худенькій, узкоплечій, съ колючими глазками и блѣднымъ, старчески-измятымъ личикомъ. Видомъ своимъ онъ напоминалъ припущеннаго къ выводку цыпленка, котораго насѣдка-мачиха исклевала насквозь. И голосъ у него былъ отчасти дѣтскій, отчасти птичій. При первомъ же взглядѣ на него являлось убѣжденіе, что онъ голоденъ, но что, какъ его ни корми, никакая пища не пойдетъ ему впрокъ. Праздниковъ увѣрялъ, что у него внутри гнѣздо.

— Гдѣ у прочихъ желудокъ, а у него гнѣздо,—говорилъ онъ:—вотъ оно распространенія пищѣ и не даетъ.

И дѣйствительно, даже въ эту самую минуту жестокость, съ которою онъ выдиралъ запутавшуюся въ ячейкахъ бредня рыбешку, была поразительна. Онъ дергалъ рыбу, мялъ ее, выворачивалъ ей жабры, и ежели не ѣлъ тутъ же живьемъ, то потому, что спѣшилъ какъ можно больше изловить, опасаясь, какъ бы не застигнулъ Лазарь и не отнялъ.

Увидѣвши насъ, Мошка весь затрепыхался и чуть-было не утонулъ.

— Рыбу ловите?—спросилъ я, чтобы вступить въ разговоръ.

— Да, вотъ будущаго выкреста кормить буду,—отвѣтилъ Праздниковъ:—я-то, признаться, не ѣмъ. Апетита не имѣю—давно ужъ онъ у меня пропалъ. А у него гнѣздо внутри, такъ словно въ прорву. Наловимъ малую толику, а потомъ уйдемъ въ лѣсъ и испечемъ.

Мы легко объяснились насчетъ цѣли нашего пріѣзда въ Благовѣщенское, но когда узнали, какъ странно поступалъ въ этомъ дѣлѣ Праздниковъ, то такъ и ахнули.

— Знаете ли, чему вы за это подвергаетесь?—съ азартомъ накинулся я на него.—Что вы такое надѣлали? развѣ таковы правила, на основаніи которыхъ въ данномъ случаѣ надлежитъ поступать?

Но Праздниковъ повидимому даже не понималъ, въ чемъ дѣло.

— Каки-таки правила!—удивлялся онъ:—кабы онъ былъ человѣкъ, а то... жидъ! да и жидъ-то какой... клопъ! Мошка! раздѣвайся!

Сначала Мошка было-заметался; но фатумъ очевидно уже тяготѣлъ надъ нимъ, и онъ раздѣлся...

— Вотъ вѣдь онъ какой!—воскликнулъ Праздниковъ, ткнувъ въ него пальцемъ:—а вы о какихъ-то правилахъ толкуете... правила!

Съ этими словами онъ раздвинулъ правую пятерню и, ущемивъ Мошку за ребра между первымъ и указательнымъ перстами, поднялъ его на воздухъ,

Это было движеніе фатальное. Оттого-ли, что старческая рука ослабла, или оттого, что Мошка непокойно держалъ себя „между перстовъ", какъ бы то ни было, но тѣло его моментально выскользнуло изъ дьяконской пятерни и громко шлепнулось въ воду. Не успѣли мы опомниться, какъ злосчастный Мошка испустилъ раздирающій крикъ, затѣмъ сдѣлалъ два-три судорожныхъ движенія въ водѣ... и смолкъ...

Это была уже уголовщина.

Я взглянулъ на Глумова и встрѣтилъ и его устремленные на меня глаза. Мы поняли другъ друга. Молча пошли мы отъ пруда, но не къ дому, а дальше. А Праздниковъ все что-то бормоталъ, повидимому даже не подозрѣвая страшной истины. Дойдя до конца парка, мы очутились на полѣ. Увы! въ этотъ моментъ мы позабыли даже о томъ, что оставляемъ позади четверыхъ вѣрныхъ товарищей...

Передъ нами лежали три сказочныя дороги: прямо, направо и налѣво...

Глава XXVII.

Замѣчательно, что разъ человѣкъ вступилъ на стезю самосохраненія, онъ становится дѣятеленъ какъ бѣсъ. Бѣжитъ во всѣ лопатки впередъ, и уже никакія ухищренія либерализма, какъ бы они ни были коварны, не остановятъ его. Подставьте ему ножку — онъ перескочитъ; устройте на пути заборъ—перелѣзетъ; киньте поперекъ рѣку — переплыветъ; воздвигните крѣпостную стѣну—прошибетъ лбомъ.

Около полденъ мы были уже въ Бѣжецкѣ...

Насъ самихъ это изумило. Вотъ уже третій городъ Тверской губерніи, въ который бросаетъ насъ судьба. Зачѣмъ? Не хочетъ ли она дать намъ почувствовать, что мы посланы въ міръ для того, чтобъ издать статистическое описаніе городовъ Тверской губерніи? Вѣдь существуетъ же мнѣніе, что всякій человѣкъ съ тѣмъ родится, чтобъ какую-нибудь задачу выполнить. Одинъ —для того, чтобъ опустошить огнемъ и мечомъ; другой — для того, чтобъ опустошенное возстановить; третій наконецъ для того, чтобъ написать статистическое описаніе города Череповца. Я лично зналъ человѣка, который съ отличіемъ окончилъ курсъ наукъ, и потомъ двадцать лучшихъ лѣтъ жизни слонялся по архивамъ, преодолѣвалъ всякія препятствія, выслушивалъ отъ архиваріусовъ колкости — и въ концѣ концовъ издалъ сочиненіе подъ названіемъ „Родъ купцовъ Голубятниковыхъ". И въ тотъ самый день, когда былъ выданъ изъ цензурнаго комитета билетъ на выпускъ книги, умеръ. Или, говоря другими словами, все земное совершилъ.

Какъ бы то ни было, но я рѣшительно уклонился отъ осмотра бѣжец-

кихъ достопримѣчательностей и убѣдилъ Глумова прямо отправиться на станцію желѣзной дороги, съ тѣмъ чтобы съ первымъ поѣздомъ уѣхать въ Петербургъ. Однакожъ и на этотъ разъ случилось обстоятельство, которое удержало насъ въ прежней фантастической обстановкѣ.

Въ станціонномъ залѣ мы нашли многочисленную компанію, которая ѣла, пила и вела шумную бесѣду. По объясненію буфетчика, компанію составляли представители весьёгонской интеллигенціи, которые устроили кому-то проводы. Не успѣли мы проглотить по рюмкѣ водки, какъ начались тосты. Застучали стулья, пирующіе встали, и одинъ изъ нихъ звонко и торжественно провозгласилъ:

— За здоровье нашего русскаго Гарибальди!

Мы невольно обернулись, и можете себѣ представить нашъ испугъ! — въ самомъ челѣ стола, въ роли виновника торжества, увидѣли... Редедю!

Трудности египетскаго похода нимало не измѣнили его *). Попрежнему лицо его было похоже на улыбающійся фаршированный сычугъ; попрежнему, отливала глянцемъ на солнышкѣ его лысина и весело колыхался овальный животъ; попрежнему губы припухли отъ безпрерывнаго закусыванія, а глаза подергивались мечтательностью при первомъ намекѣ объ ѣдѣ. Словомъ сказать, попрежнему все въ немъ было такъ устроено, чтобъ никому въ цѣломъ мірѣ не могло придти въ голову, что этотъ человѣкъ многія царства разорилъ, а прочія совсѣмъ погубилъ...

Разумѣется, мы сейчасъ же присоединились къ сонму чествователей...

Въ два слова Редедя разсказалъ намъ свои похожденія. Дѣло Араби-паши не выгорѣло. Это ему Редедя на первомъ же смотру предсказалъ.—Представьте себѣ, вывели на смотръ войско, а оно три дня не ѣвши; мундирчики —въ лохмотьяхъ, подметки—изъ картонной бумаги, ружья—кремневыя, да и кремней-то нѣтъ, а вмѣсто нихъ чурки, выкрашенныя подъ кремень. „Повѣришь ли, говоритъ Араби:—все было: и сухари, и мундиры, и ружья —и все интендантскіе чиновники разворовали!“ —Да позволь, говорю, мнѣ хоть одного, для примѣра, повѣсить!—„Нельзя, говоритъ, закона нѣтъ!“ — Это въ военное-то время... законъ!! Впрочемъ и это бы еще ничего, а вотъ что ужъ совсѣмъ худо: выправки въ войскѣ нѣтъ. Имъ командуютъ: „ребята, впередъ!“ —а они: „у насъ, ваше благородіе, сапогъ нѣтъ!“ —Ну, натурально, стали отступать. Отступали-отступали, наконецъ смотрю: гдѣ войско?— нѣтъ никого!—На силу удралъ... А теперь Редедя возвращается изъ поѣздки по Весьёгонскому уѣзду, куда былъ приглашенъ мѣстной интеллигенціей для чествованія, въ качествѣ русскаго Гарибальди.

— Да здравствуетъ русскій Гарибальди!—крикнули въ одинъ голосъ весьёгонскіе интеллигенты.

Они имѣли видъ восторженный. Будучи отъ природы сжигаемы внутреннимъ пламенемъ и не находя поводовъ для его питанія въ предѣлахъ Весьёгонскаго уѣзда, они невольно переносили свои восторги на предпріятія отдаленныя, почти сказочныя, и съ помощью воображенія успѣвали обмануть

*) Напоминаю читателямъ, что Редедя—странствующій полководецъ, который только-что воевалъ въ Египтѣ, по приглашенію Араби-паши.

себя. Даже теперь, въ виду несомнѣннаго пораженія Редеди, они не лишали его довѣрія и продолжали уповать, что когда-нибудь онъ ихъ разутѣшитъ. И вотъ, обездоленные всевозможными бреднями и антибреднями, они не задумываются на послѣдніе гроши выписать Редедю, чтобы хотя по поводу египетскихъ дѣлъ излить ту полноту чувства, которая не нашла себѣ удовлетворенія ни въ вопросѣ о заготовленіи бѣлья для земскихъ больницъ, ни въ вопросѣ объ устоновленіи на мостахъ и переправахъ однообразныхъ и необременительныхъ таксъ...

Они не производятъ ни плисовъ, ни миткалей; поэтому открытіе пути въ Индію отнюдь не можетъ непосредственно ихъ интересовать. Но они испытываютъ адскую скуку, и вслѣдствіе этого Редедя, который всю жизнь тормошился и никогда не унывалъ, вызываетъ въ нихъ восторгъ. Стало быть, не все еще затянуло болото; стало быть, есть еще возможность о чемъ-то думать, на что-то тратить силы, помимо распредѣленія пунктовъ для содержанія земскихъ лошадей... И вотъ они жадно вглядываются въ это смутное „нѣчто" и вопіютъ: да здравствуетъ нашъ русскій Гарибальди!

— Прогоны-то получилъ ли?—озаботился за Редедю Глумовъ.

— Прогоны мнѣ Араби-паша въ оба конца впередъ уплатилъ, равно какъ и полугодовое жалованье невзачетъ,—отвѣтилъ Редедя: — ну, а порціоны, должно быть, придется на томъ свѣтѣ угольками получить.

— Ахъ, Полканъ Самсонычъ, Полканъ Самсонычъ! когда-то угомонишься ты!

Оказалось, что онъ угомонится лишь тогда, когда покоритъ подъ нозѣ торгаша-англичанина, который у него „вотъ гдѣ сидитъ".

— Да на какой тебѣ его лядъ...—началъ-было Глумовъ, но весьёгонцы такъ на него окрысились, что онъ счелъ болѣе благоразумнымъ умолкнуть.

Изъ послѣдующаго разговора выяснилось, что Редедя ненавидѣлъ англичанина, во-первыхъ, за то, что онъ торгашъ и возвышенныхъ чувствъ не имѣетъ, а во-вторыхъ за то, что онъ препятствуетъ сбыту московскихъ плисовъ и миткалей и тѣмъ замедляетъ разрѣшеніе восточнаго вопроса. Но существовало, сверхъ того, обстоятельство, затрогивавшее Редедю лично. Еще будучи кадетомъ, онъ купилъ однажды перочинный ножичекъ, на лезвіѣ котораго было выштамповано: „аглицкой", а черезъ два дня этотъ ножичекъ сломался — „вотъ вамъ доказательство"! А послѣ того онъ сталъ покупать завьяловскіе ножички, и они не ломаются — „вотъ вамъ другое доказательство"! Съ тѣхъ поръ и стало въ немъ накапливаться: то платокъ „аглицкой" полиняетъ, то сукно „аглицкое" окажется съ пятнами. И теперь у него такой проектъ: пробраться съ горстью храбрецовъ въ Индію и уговорить тамошнихъ вассальныхъ державцевъ свергнуть постылое англійское иго. Съ этою цѣлью онъ спѣшитъ теперь въ Кашинъ, гдѣ у него назначено свиданіе съ мѣстными винодѣлами, а изъ Кашина проѣдетъ въ Москву, гдѣ ужъ все на мази. Въ Москвѣ купитъ географію Смирнова, и по первопуткѣ, черезъ Саратовъ, Кандагаръ и Кашмиръ, укатитъ прямо въ то самое мѣсто, гдѣ раки зимуютъ.

— Мѣста-то какія: Кашемиръ, Гюлистанъ!—восклицаетъ онъ, играя

животомъ: — женщины-то какія! „Груди твои какъ два бѣлыхъ козленка! лоно твое"... ффу!

Однимъ словомъ, такъ всѣхъ растревожилъ, что разгоряченные весьёгонцы хоромъ грянули: *Вотъ мчится тройка удалая!*—а Глумовъ поцѣловалъ виновника торжества въ лысину и взволнованнымъ голосомъ произнесъ:

— Пошли тебѣ Богъ!—Признаться сказать, не чаялъ я, чтобы развязка была такъ близка; ну, а теперь вижу...

Разговорились, конечно, и объ Египтѣ. Любопытнѣйшая страна. Каждый годъ въ ней просходитъ разлитіе Нила, и когда вода спадетъ, то образуется почва, въ которую стóитъ только зерно бросить, а потомъ только знай поспѣвай собирать. Собственно египтяне представляютъ собою аристократію и исповѣдуютъ магометанство, а чернядь—феллахи, которые исповѣдуютъ все, чтó велятъ. Въ древности страной правили фараоны, а теперь правятъ хедивы, которые платятъ дань султану турецкому, но постоянно съ нимъ пикируются. При фараонахъ воздвигнуты были пирамиды и обелиски, при хедивахъ ничего не воздвигнуто. Одинъ изъ фараоновъ погибъ въ Красномъ морѣ, преслѣдуя евреевъ, и Редедя лично то мѣсто осматривалъ. Старожилы разсказываютъ, что встарину здѣсь, полѣвѣе, бродъ былъ, а фараонъ ошибся, взялъ вправо, да такъ съ колесницей и ухнулъ. Но главное украшеніе и надежду Египта составляютъ крокодилы. Способнѣйшихъ изъ нихъ назначаетъ хедивъ губернаторами въ дальнія провинціи: Дарфуръ, Суданъ и т. д. А такъ какъ крокодилы въ Египтѣ плодятся безпрепятственно, то и недостатка въ кандидатахъ на губернскія мѣста никогда не бываетъ, чему многія иностранныя государства завидуютъ.

— Ну, а ѣда въ Египтѣ какова?—полюбопытствовалъ Глумовъ.

— Ѣда—средственная. Феллахи — тѣ ящерицами питаются; а градоначальники и военачальники хоть и сладко жрутъ, но все пальцами. И непремѣнно поджавши ноги.

— Тсс...

— За то по женской части—малина! Не успѣешь, бывало, мигнуть ординарцу: какъ бы, братецъ, баядерочку промыслить —глядь, а ужъ она, бестія, тутъ какъ тутъ! Тѣло смуглое, точно постнымъ масломъ вымазанное, груди—какъ голенища, а въ рукахъ—бубенъ! „Эй, жги, говори!" — ни дать, ни взять, какъ въ Москвѣ, въ Грузинахъ.

Изъ закусокъ въ Египтѣ только сардинки и можно ѣсть. Сельди — съ запашкóмъ, а икры да балыка ни за какія деньги достать нельзя. Финансовъ тамъ и въ заводѣ нѣтъ; рублей не видать, а водятся полтинники, да и тѣ смахиваютъ на четвертаки. Такъ что приходится занимать солдатъ усиленнымъ моціономъ, чтобы они забыли объ жалованьи. Торговля ведется исключительно сфинксами и муміями, а много ли ими наторгуешь? Судовъ нѣтъ, а вмѣсто нихъ правило: сколько заслужилъ, столько и получи! Равнымъ образомъ нѣтъ ни наукъ, ни литературы, а слѣдовательно нѣтъ и превратныхъ толкованій. Упованій у египтянъ тоже нѣтъ, кромѣ одного: когда русскіе выгонятъ торгашей-англичанъ изъ Индіи, тогда и они поправятся. А почему и въ какомъ смыслѣ „поправятся" — неизвѣстно. Извѣстно только, что каж-

дый разъ, какъ онъ, Редедя, развивалъ свои предположенія относительно Индіи, то даже крокодилы—и тѣ плакали.

Много, и кромѣ этого, любопытнаго разсказалъ Редедя про Египетъ, но иногда почему-то сдавалось, что онъ словно не объ Египтѣ, а объ Весьёгонскомъ уѣздѣ разговариваетъ. Напримѣръ: и весьёгонцамъ хочется Индію подъ нозѣ покорить, и египтянамъ — тоже, а зачѣмъ—ни тѣ, ни другіе не знаютъ. Или: и въ Египтѣ насчетъ недоимокъ строго, и въ Весьёгонскомъ уѣздѣ строго, а денегъ ни тутъ, ни тамъ—нѣтъ.

Чѣмъ-то фантастическимъ отдавало отъ этихъ разсказовъ, а мы, все-таки, слушали и наматывали себѣ на усъ. Что̀ такое Редедя? откуда онъ вышелъ? въ силу чего мечется? дѣйствительно ли онъ додумался до какой-то задачи, или же задача свалилась къ нему зря? а можетъ быть и не задача совсѣмъ, а просто, какъ говорится, восца. Или, можетъ быть, сказокъ онъ въ дѣтствѣ начитался, какъ Иванушко-дурачокъ жаръ-птицу добывалъ, на саночкахъ-самокаточкахъ ѣздилъ, на коврѣ-самолетѣ леталъ. Ну, и пошелъ по слѣдамъ. Глумовъ даже не утерпѣлъ, чтобъ не формулировать этихъ догадокъ.

— Слушаю я тебя, голубчикъ, — сказалъ онъ: — да только диву даюсь. Та̀къ ты говоришь, та̀къ говоришь, что другому, кажется, и словъ-то такихъ не подобрать... Точно ты изъ тьмы кромѣшной выбѣжалъ, и вдругъ тебя ослѣпили... И съ тѣхъ поръ ты ни устоять, ни усидѣть не можешь...

— И не усижу,—твердо отвѣтилъ Редедя:—покуда хоть одинъ торгашъ-англичанинъ остается въ Индіи—не усижу!

А весьёгонцы слушали эти рѣчи и плескали руками. И кричали: „браво, русскій Гарибальди! живіо! урраа!“ А одинъ, помоложе, даже запѣлъ: „allons, enfans de la patrie“...

Плескали руками и мы съ Глумовымъ, во-первыхъ, потому, что попробуй-ка въ семъ разѣ не поплескать — какъ разъ въ измѣнники попадешь, а во-вторыхъ и потому, что, въ сущности, это была своего рода беллетристика, а до беллетристики всѣ мы, грѣшнымъ дѣломъ, падки. И Глумовъ очень чутко выразилъ общее настроеніе, сказавъ:

— Шествуй, братъ! такая ужъ, видно, у тебя планида... Но географію Смирнова все-таки купи, потому что въ противномъ случаѣ, подобно древнему фараону, заѣдешь вправо, и тогда поминай какъ звали!

Разговоръ этотъ, вмѣстѣ съ возгласами и перерывами, длился не болѣе часа, а все, что̀ можно было сказать, было уже исчерпано. Водворилось молчаніе. Сначала одинъ зѣвнулъ, потомъ — всѣ зазѣвали. Однакожъ сейчасъ же сконфузились. Чтобы поправиться, опять провозгласили тостъ: „за здоровье русскаго Гарибальди!“ —и стали цѣловаться. Но и это заняло не больше десяти минутъ. Тогда кому-то пришла на умъ счастливая мысль: потребовать чаю—и всѣ помыслы мгновенно перенеслись къ Китаю.

— Вотъ бы намъ куда!—молвилъ одинъ изъ весьёгонцевъ.

— Ужъ мы одной ногой—тамъ-съ! а современемъ и другой ногой будемъ-съ!—обнадежилъ Редедя, и при этомъ сообщилъ, что китайцы производятъ торговлю чаемъ, фарфоромъ и тушью, а питаются птичьими гнѣздами.

Опять водворилось молчаніе. Вдругъ одинъ изъ весьёгонцевъ началъ

ожесточенно чесать себѣ поясницу, и на лицѣ его такъ ясно выступила мысль о персидскомъ порошкѣ, что я невольно подумалъ: вотъ-вотъ сейчасъ пойдетъ рѣчь о Персіи. Однакожъ онъ только покраснѣлъ и промолчалъ; должно быть, посовѣстился, а можетъ быть и чесаться больше ужъ не требовалось.

Пользуясь этою передышкой, я сѣлъ на дальнюю лавку и задремалъ. Сначала видѣлъ во снѣ „долину Кашемира", потомъ — „розу Гюллистана", потомъ — „груди твои какъ два бѣлыхъ козленка", потомъ — пріѣхалъ, будто бы, я въ Весьёгонскъ, и не знаю, куда оттуда бѣжать, въ Устюжну или въ Череповецъ... И вдругъ меня кольнуло. Открываю глаза, смотрю... Стыдъ!! Не бичующій и даже не укоряющій, а только какъ бы недоумѣвающій. Но одного этого „недоумѣнія" было достаточно, чтобъ мнѣ сдѣлалось невыносимо жутко.

Цѣлая масса вопросовъ вдругъ закружилась въ моей головѣ. Какъ будто я только сейчасъ проснулся послѣ долгаго сна, наполненнаго безобразнѣйшими сновидѣніями. Сновидѣнія эти стояли передо мной какъ живыя, со всѣми живыми подробностями, почти доступными осязанію; и такъ какъ они воплощали собой вчерашній день, то я не только отказаться отъ нихъ, но и усомниться въ ихъ подлинности не могъ. Но и за всѣмъ тѣмъ я не понималъ. Я отдавалъ себѣ вполнѣ ясный отчетъ въ фактической сторонѣ этихъ сновидѣній: въ какой формѣ они зародились, какъ потомъ перешли черезъ цѣлую свиту лицъ, городовъ, мѣстностей (Иванъ Тимоѳеичъ, Балалайкинъ, Очищенный, Корчева, Самаркандъ и т. д.), но какую связь имѣли эти измѣненія формъ съ моимъ внутреннимъ существомъ, съ моимъ сознаніемъ — этого я никакъ прослѣдить не могъ. Очевидно, я жилъ подъ вліяніемъ какого-то страшнаго нравственнаго угнетенія, которое низводитъ человѣка на степень автомата. Я помнилъ, что познакомился съ Парамоновымъ, съ Прудентовымъ, съ Редедей, что былъ въ Корчевѣ, въ Кашинѣ, но въ силу чего я сдѣлалъ эти знакомства и совершилъ эти путешествія — я не могъ понять. Очевидно, что даже теперь, въ эту минуту, я былъ угнетенъ. И чувствовалъ, что у меня замираетъ сердце, что все мое существо переполнено смутной тревогой и что глаза мои почти инстинктивно избѣгаютъ встрѣчи съ постороннимъ взоромъ...

Такъ подѣйствовала на меня встрѣча съ Стыдомъ.

— За здоровье русскаго Гарибальди! живіо! урраа! — опять и опять грянуло въ моихъ ушахъ.

Стулья на этотъ разъ усиленно застучали. Въ залѣ произошло общее движеніе. Дорожный телеграфъ далъ знать, что поѣздъ выѣхалъ съ сосѣдней станціи и черезъ двадцать минутъ будетъ въ Бѣжецкѣ. Въ то же время въ залу ворвалась кучка новыхъ пассажировъ. Поднялась обычная дорожная суета. Спѣшили брать билеты, закусывали, выпивали. Стыдъ — скрылся. Мы съ Глумовымъ простились съ Редедей и выбѣжали на платформу. Какъ вдругъ мой слухъ поразилъ разговоръ:

— На самомъ, значитъ, мелкомъ мѣстѣ, — разсказывала одна чуйка другой: — только рыло и окунули, даже затылка не замочили!..

— Подохъ?

— Тутъ же и пузыри сталъ пущать. Дьяконъ-то, вишь, слѣпой: стоитъ да бормочетъ, а ихъ и слѣдъ простылъ!

— Сколь много нонѣ этой пакости завелось! Безпремѣнно это дѣло разъяснить надо!

— Товарищей ихнихъ и теперь за караулъ взяли. Четверо. И баба съ ними увязалась. Сегодня же всѣхъ въ Кашинъ отправили. А за тѣми, за двоими, во всѣ концы гонцовъ разослали...

Мы съ Глумовымъ стояли другъ противъ друга и безмолвно прислушивались.

— Начинается!—наконецъ произнесъ я.

— И какая, братецъ, это съ моей стороны была гадость!—отвѣтилъ онъ:—даже объ Фаинушкѣ позабылъ... убѣжалъ!

— Послушай... а вѣдь намъ въ Кашинъ ѣхать надо!—предложилъ я.

— И непремѣнно вмѣстѣ съ Редедею,—прибавилъ Глумовъ.—И его будутъ искать, и Балалайкина, и Прудентова... всѣхъ!

— Ты думаешь, стало быть, что теперь *все... всѣ* дѣла наши должны обнаружиться?

— Непремѣнно *всѣ*. И я увѣренъ, что и Иванъ Тимоѳеичъ, и Прудентовъ, и Балалайкинъ—*всѣ* непремѣнно соберутся въ Кашинѣ. Вотъ увидишь. Что такое сама по себѣ смерть жида? Это одинъ изъ эпизодовъ современныхъ вѣяній—и больше ничего. Не этотъ фактъ важенъ, а то, что времена назрѣли. Остается пропѣть заключительный куплетъ и раскланяться.

Я слушалъ Глумовскія предсказанія и сопоставлялъ ихъ съ недавнимъ появленіемъ Стыда. И чѣмъ болѣе я думалъ надъ этимъ, тѣмъ больше находилъ связи, тѣмъ больше убѣждался, что времена дѣйствительно созрѣли.

Въ два слова мы объяснили Редедѣ о тяжкомъ подозрѣніи, котораго безвинно мы сдѣлались жертвою. Но онъ выслушалъ насъ съ обычнымъ своимъ легкомысліемъ и повидимому даже не разобралъ, въ чемъ дѣло.

— Жида утопили!—воскликнулъ онъ:—и испугались! да я ихъ массами... массами... плотину изъ нихъ въ Западной Двинѣ...

Тройка, долженствовавшая увезти его въ Кашинъ на совѣщаніе съ винодѣлами, уже съ часъ ожидала у подъѣзда. Еще разъ провозгласили тостъ —послѣдній—и черезъ десять минутъ мы уже были за стѣнами Бѣжецка.

Глава XXVIII.

Но здѣсь я обращаюсь къ снисходительности читателя.

Я долженъ кончить съ этой исторіей, хоть скомкать ее, но кончить. Я самъ не разсчитывалъ, что слово: „конецъ“, напишется такъ скоро и предполагалъ провести моихъ героевъ черезъ всѣ мытарства, составляющія естественную обстановку карьеры самосохраненія. Не знаю, сладилъ ли бы я съ этой сложной задачей; но знаю, что долженъ отказаться отъ нея и на скорую руку свести концы съ концами.

Во все продолженіе моей литературной дѣятельности я представлялъ собою утопающаго, который хватается за соломенку. Покуда соломенки были, я кое-какъ держался; но какъ скоро нѣтъ и соломенокъ — ясное дѣло, что приходится утонуть.

Я надѣюсь, что читатель отнесется ко мнѣ снисходительно. Но ежели бы онъ напомнилъ мнѣ объ отвѣтственности писателя передъ читающей публикой, то я отвѣчу ему, что отвѣтственность эта взаимная. По крайней мѣрѣ я совершенно искренно убѣжденъ, что въ бо́льшемъ или ме́ньшемъ пониженіи литературнаго уровня читатель играетъ очень существенную роль.

Мысль о солидарности между литературой и читающей публикой не пользуется у насъ кредитомъ. Какъ-то черезчуръ охотно предоставляютъ у насъ писателю играть роль вьючнаго животнаго, обязаннаго нести бремя всевозможныхъ отвѣтственностей. Но сдается, что недалеко время, когда для читателя само собой выяснится, что добрая половина этого бремени должна пасть и на него.

Впрочемъ это матерія пространная, и рѣчи объ ней должны быть пространныя...

Вкратцѣ наши дальнѣйшія похожденія заключались въ слѣдующемъ:

Пріѣхавши въ Кашинъ, мы немедленно отъявились къ Ивану Иванычу. Но послѣдній, похваливъ насъ за то, что мы не обѣгаемъ кашинскаго суда, объявилъ, что насъ уже ищутъ. И не по одному только дѣлу объ утопленіи жида, но и по всѣмъ вообще содѣяннымъ нами въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ преступленіямъ. Ищутъ также и Редедю, который обвиняется въ сношеніяхъ съ египетскими агитаторами и въ распространеніи вредныхъ мечтаній въ средѣ московскихъ ситцевыхъ фабрикантовъ. Для опознанія нашихъ личностей въ Кашинъ привезенъ подъ карауломъ одинъ изъ вреднѣйшихъ злоумышленниковъ (не Иванъ ли Тимоѳеичъ? мелькнуло у меня въ головѣ), который уже имѣлъ очной сводъ съ пойманными въ селѣ Благовѣщенскѣ четверыми сообщниками нашими, и послѣдніе во всемъ чистосердечно признались. Затѣмъ остается сдѣлать такой же очной сводъ съ нами, и насъ завтра же увезутъ, за карауломъ, на судбище въ Петербургъ.

И такъ какъ у Ивана Иваныча, въ минуту нашего посѣщенія, собралась партія въ винтъ и между винтящими оказался и прокуроръ, то насъ, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, отправили въ острогъ. Тамъ мы нашли, кромѣ товарищей по путешествію, еще Ивана Тимоѳеича, который, какъ увидѣлъ насъ, сейчасъ же воскликнулъ:—Они самые и есть!—Очной сводъ былъ конченъ.

Въ Петербургѣ насъ судили. Прокуроръ произнесъ блестящую рѣчь, изъ которой я приведу лишь то, что касалось меня и Глумова. Мы оба обвинялись въ однихъ и тѣхъ же преступленіяхъ, а именно: 1) въ тайномъ сочувствіи къ превратнымъ толкованіямъ, выразившемся въ тѣхъ уловкахъ, которыя мы употребляли, дабы сочувствіе это ни въ чемъ не проявилось: 2) въ сочувствіи къ мечтательнымъ предпріятіямъ вольнонаемнаго полководца Редеди; 3) въ томъ, что мы поступками своими вовлекли въ соблазнъ полицейскихъ чиновъ литейной части, послѣдствіемъ каковаго соблазна были со стороны послѣднихъ бездѣйствіе власти; 4) въ покушеніи основать въ Самаркандѣ университетъ и въ подговорѣ къ тому же купца Парамонова; 5) въ томъ, что мы, зная силу законовъ, до нерасторжимости браковъ относящихся, содѣйствовали совершенію брака адвоката Балалайкина, при жи-

вой женѣ, съ купчихой Фаиной Стёгнушкиной; 6) въ томъ, что мы, не участвуя лично въ написаніи подложныхъ векселей отъ имени содержательницы кассы ссудъ Матрены Очищенной, не воспрепятствовали таковому писанію, хотя имѣли полную къ тому возможность; 7) въ томъ, что, будучи на постояломъ дворѣ въ Корчевѣ, занимались сомнительными разговорами и, между прочимъ, подстрекали мѣщанина Красноцвѣтова къ возмущенію противъ купца Вздошникова; 8) въ принятіи отъ купца Парамонова счета подъ названіемъ „Жизнеописаніе“ и въ несвоевременномъ его опубликованіи и 9) во всемъ остальномъ.

Къ нашему счастью, обвинитель слишкомъ увлекся щегольскою стороной своей задачи и потому былъ черезчуръ ужъ блестящъ. Онъ въ особенности настаивалъ на девятомъ пунктѣ обвиненія; а такъ какъ этотъ пунктъ требовалъ абсолютной свободы краснорѣчія, то мало-по-малу обвинитель дѣйствительно освободилъ себя отъ всѣхъ узъ, кромѣ мундира. Фактическая сторона не только отодвинулась на задній планъ, но совсѣмъ исчезла. Образовалась картина, въ которой, сверхъ грома и молніи, было еще и землетрясеніе. А такъ какъ надъ землетрясеніями человѣческій судъ не властенъ, то вышло пустое дѣло.

Мы защищались сами и, могу сказать съ гордостью, вели это дѣло очень ловко. Прокурорскому землетрясенію мы противопоставили чистосердечный и трогательный разсказъ о нашемъ обращеніи на путь самосохраненія. Мы не отрицали, что грѣшки за нами водились. Мы даже прямо сознались, что, будучи воспитаны въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, мы охотно поддавались обольщеніямъ разума, но въ то же время самымъ убѣдительнымъ образомъ доказали, что обольщенія эти были своевременно нами поняты и вполнѣ искуплены послѣдующимъ нашимъ поведеніемъ. Такъ что дѣйствія, которыя составляютъ, такъ сказать, ядро обвиненія, не только не обвиняютъ насъ, а, напротивъ, оправдываютъ и обѣляютъ. Не для сокрытія вреднаго образа мыслей предприняли мы знакомство съ Кшепшицюльскимъ, Прудентовымъ, Очищеннымъ и проч., а для того, чтобы засвидѣтельствовать передъ цѣлымъ міромъ о нашей зрѣлости и готовности. Мы не хитрили и не разставляли ловушекъ полицейскимъ чинамъ, и объятія, которыя мы раскрывали имъ, не были лжеобъятіями. Но ежели и за всѣмъ тѣмъ въ дѣйствіяхъ нашихъ усматривается что-либо сомнительное, то это произошло единственно отъ неопытности и отъ недостатка руководящихъ указаній.

— Подобно утлому челну,—говорилъ прерывистымъ отъ волненія голосомъ Глумовъ,—носились мы, безъ кормила и весла, по волнамъ, и только звѣзды небесныя взирали на насъ съ высоты. Невинность, сказалъ гдѣ-то безсмертный Шекспиръ, подобна пустой бутылкѣ, которую можно наполнить какимъ угодно содержаніемъ. Вотъ эту-то пустую бутылку и представляли мы собой, ибо хотя первоначальная невинность и была нами утрачена, но обращеніе наше на путь возрожденія подарило насъ второю невинностью, еще болѣе прочною, нежели первая. Но напрасно протягивали мы нашу пустую бутылку для наполненія—мы вынуждены были наполнять ее сами, подъ личною отвѣтственностью, чѣмъ придется. Мы раскрывали объятія, а намъ устраивали западни; мы устремлялись въ лоно, а попадали... въ гущу! Можно ли

вообразить себѣ зрѣлище болѣе потрясающее! Вы видѣли здѣсь Кшепшицюльскаго, господа судьи! видѣли только въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, покуда онъ давалъ показаніе... А мы не только видѣли его, но играли съ нимъ цѣлые мѣсяцы въ карты... единственно для того, чтобы доказать нашу зрѣлость! И онъ сдавалъ игры, при которыхъ объявлявшій игру въ самомъ счастливомъ случаѣ оставался безъ двухъ... Вотъ элементы, которые испытывали насъ и на глазахъ которыхъ совершалось наше возрожденіе... Но и за всѣмъ тѣмъ рѣшимость наша не только не поколебалась, но росла съ каждымъ днемъ больше и больше...

Я же, съ своей стороны, присовокупилъ, что хотя обвиненіе и ставитъ намъ въ преступленіе подстрекательство купца Парамонова къ основанію заравшанскаго университета, но изъ обстоятельствъ дѣла ясно усматривается, что Парамоновъ рѣшился на этотъ поступокъ совсѣмъ не вслѣдствіе нашего подговора, а потому, что мѣнялы вообще, по природѣ своей, горазды основывать университеты.

Такимъ образомъ политическая часть процесса была очищена. Что же касается до части общеуголовной, то намъ ничего не стоило доказать, что со стороны Балалайкина не только не существовало самаго факта двоеженства, но даже не было и приготовленій къ этому, такъ какъ ни покупка для Балалайкина халата, ни приглашеніе братьевъ Перекусихиныхъ, ни ужинъ въ кухмистерской Завитаева, ни въ какомъ смыслѣ преступленіями названы быть не могутъ. Равнымъ образомъ не было и участія въ составленіи подложныхъ векселей, такъ какъ не существовало самаго факта написанія, а было только *упражненіе* въ таковомъ, причемъ бумага со столбиками была употреблена не съ намѣреніемъ, а по неимѣнію въ городѣ Корчевѣ другой. Затѣмъ о случаѣ смерти жида Мошки мы даже распространяться не стали. Былъ жидъ — и нѣтъ его. А гдѣ теперь витаетъ душа его, и даже безсмертна ли она —намъ неизвѣстно.

Словомъ сказать, мы вышли изъ суда обѣленными, при общемъ сочувствіи собравшейся публики. Мужчины поздравляли насъ, дамы плакали и махали платками. Вмѣстѣ съ нами признаны были невинными и прочіе наши товарищи, исключая впрочемъ Редеди и „Корреспондента". Первый, за распространеніе вредныхъ мечтаній въ средѣ ситцевыхъ фабрикантовъ, былъ присужденъ къ заключенію въ смирительный домъ; послѣдній, за написаніе, въ „Проплёванной". фельетона о „негодяѣ"—къ пожизненному трепету.

Но настоящій успѣхъ ждалъ насъ впереди. На другой день насъ посѣтилъ извѣстный меценатъ и мануфактуръ-совѣтникъ Кубышкинъ и сдѣлалъ намъ самыя лестныя предложенія. Замѣтивъ въ насъ наклонность къ здравомыслію и желая воспользоваться этою способностью въ видахъ распространенія собственной фабрики ситцевъ и миткалей, онъ задумалъ основать собственный Кубышкинскій литературно-политическій органъ, который проводилъ бы его, Кубышкинскія, идеи. Сущности этихъ идей онъ намъ не раскрылъ, но показалъ образчикъ ситцевъ (тутъ были и „веселенькіе" для молодыхъ, и „сурьезные" для старухъ), и при этомъ такъ характеристично погладилъ бороду и щелкнулъ языкомъ, что мы и безъ объясненій поняли. Газета предполагалась ежедневная и должна была появляться часомъ раньше,

нежели прочія газеты. Гонораръ намъ будетъ назначенъ „глядя по дѣлу“, причемъ, конечно, онъ насъ „не обидитъ“. Но сверхъ гонорара намъ предоставлялось по воскресеньямъ имѣть у Кубышкина обѣденный столъ, „наравнѣ съ генералами“. Писать и редактировать статьи мы вольны по своему усмотрѣнію, Кубышкинъ же будетъ только направлять и вдохновлять насъ. Вспомнили и объ Редедѣ, которому предоставлялось присылать изъ смирительнаго дома статьи по восточному отдѣлу. Что же касается до отдѣла: „Нашъ петербургскій high life“, то веденіе его возлагалось на Очищеннаго. Съ этою цѣлью ему купили въ Апраксиномъ хорошую фрачную пару и нѣсколько паръ бѣлыхъ нитяныхъ перчатокъ и наняли отъ Бореля татарина, который въ нѣсколько уроковъ выучилъ его, какъ держать въ рукахъ подносъ. Одному „Корреспонденту“ не нашлось мѣста въ газетѣ, но тутъ ужъ ничего нельзя было подѣлать, потому что „Корреспондентъ“ Морозовскіе ситцы предпочиталъ Кубышкинскимъ, и ни онъ, ни Кубышкинъ не соглашались ни пяди уступить изъ своихъ убѣжденій.

Разумѣется, мы съ радостью приняли всѣ эти условія и сейчасъ же придумали для газеты названіе: „Словесное Удобреніе“.

Черезъ мѣсяцъ вышелъ въ свѣтъ первый нумеръ „Удобренія“, и такъ какъ газета появлялась ежедневно часомъ раньше другихъ, то, натурально, всѣ кухарки, идучи на рынокъ, запасались ею.

Статьи о томъ, что всякое время имѣетъ свою особую задачу и что задача эта должна быть выполнена, хотя бы сущность ея и противорѣчила требованіямъ строгой нравственности — это мы писали. Статьи о томъ, что съ одной стороны всего у насъ довольно, а съ другой — ничего у насъ нѣтъ, — тоже мы писали. Статьи о томъ, что всѣ иностранные ситцы и миткали слѣдуетъ безусловно къ ввозу запретить, а наши ситцы и миткали, нагрузивъ на подводы, везти куда глаза глядятъ — тоже мы. Статьи о томъ, что мыслить не воспрещается, но *какъ мыслить*? — мы. Страннымъ образомъ заботы о благоустройствѣ и благочиніи переплетались у насъ съ заботами о ситцахъ и миткаляхъ, такъ что успѣхъ или неуспѣхъ послѣднихъ являлся какъ бы указателемъ того или другого уровня благочинія. Скажу болѣе: такъ какъ ситцы представляли кульминаціонный пунктъ, подъ сѣнію котораго ютились всѣ надежды и упованія „Удобренія“, то по временамъ мы не прочь были даже допустить вмѣшательство потрясательныхъ элементовъ, лишь бы пристроить ситцы. И именно ситцы Кубышкинскіе. Идя по этому пути и постепенно разъяряясь, мы дошли наконецъ до какого-то прорицающаго паѳоса. Не довольствуясь изгнаніемъ съ внутреннихъ рынковъ иностранныхъ ситцевъ, мы требовали такой же проскрипціи для ситцевъ Морозова, потомъ —Цинделя, и наконецъ — *всѣхъ*, кромѣ Кубышкинскихъ. Только Кубышкинъ, только онъ одинъ могъ съ пользой для себя (по ошибкѣ, мы писали: „для государства“) одѣть въ ситцевыя рубахи какъ русскихъ подданныхъ, такъ и персіянъ, бухарцевъ, хивинцевъ, индійцевъ и прочихъ иновѣрцевъ. А также единовѣрныхъ намъ болгаръ и сербовъ.

Этой ситцевой пропагандѣ сильно помогалъ Редедя. Каждое утро его подъ конвоемъ, приводили изъ смирительнаго дома въ редакцію; тутъ онъ на картѣ вымѣривалъ циркулемъ кратчайшій путь изъ Москвы въ Индію, и

выходило ужасно близко. Затѣмъ онъ садился и писалъ статьи, въ которыхъ сыпучимъ пескамъ противопоставлялъ смѣющіеся оазисы, а временному недостатку воды—ея благовременное изобиліе и притомъ отмѣннаго качества. Пользуясь симъ случаемъ, онъ называлъ верблюдовъ „кораблями пустыни“ и совѣтовалъ всегда имѣть въ резервѣ нѣсколько лишнихъ верблюдовъ, такъ какъ въ пустынѣ они представляютъ подспорье („извѣстно, что верблюды“ и т. д.), благодаря которому устраняется недостатокъ въ водѣ. Хороши также для этой цѣли кокосовые орѣхи, покуда они не дозрѣли и изобилуютъ молокомъ.

Что̀ касается Очищеннаго, то хроника его имѣла двойственный характеръ. Въ мясоѣдъ онъ писалъ, что никогда нашъ high life не былъ такъ оживленъ, и что на дняхъ была свадьба графа Ѳедорова съ княжной Григорьевой и потомъ балъ у молодыхъ. Лѣстница была устлана роскошными восточными коврами и убрана тропическими растеніями, подъ сѣнію которыхъ, на каждой ступенькѣ, было поставлено по лакею въ костюмахъ временъ Людовика XV. Одни парики на лакеяхъ, по удостовѣренію обворожительной хозяйки, стоили по пятидесяти рублей за штуку, а что̀ стоили башмаки и чулки—еще не подано счетовъ. Съ наступленіемъ поста Очищенный восклицалъ: „а теперь, mesdames, надо приниматься за грибки!“ и разсказывалъ, съ какимъ самоотверженіемъ очаровательная княжна Зизи Прокофьева кушаетъ маринованные рыжички, а почтенные родители смотрятъ на нее и приговариваютъ: „мы должны сіе кушанье любить, ибо оно напоминаетъ намъ, что мы въ сей жизни путники“...

Результаты этихъ усилій превзошли всѣ ожиданія. Сначала газету покупали только кухарки, но потомъ стали покупать лакеи, дворники и наконецъ кабатчики. Кабатчикъ Разуваевъ говорилъ прямо, что еслибъ ему удалось отыскать здравомыслящихъ людей, которые съ такимъ же самоотверженіемъ ежедневно доказывали бы, что Колупаевскія и Вздошниковскія водки слѣдуетъ упразднить, а его, Разуваевскія, водки сдѣлать для всѣхъ благомыслящихъ людей обязательными, то онъ, „кажется, тыщъ бы не пожалѣлъ“. Но хотя намъ были сдѣланы въ этомъ смыслѣ лестныя предложенія, однако мы устояли и пребыли вѣрными Кубышкину.

Дальше—больше. „Удобреніе“ мало-по-малу проникло и въ міръ бюрократіи. Сначала насъ читали только канцелярскіе чиновники, потомъ стали читать столоначальники, а наконецъ и начальники отдѣленія. И тутъ мы получили лестныя предложенія отъ департамента Раздачъ и Дивидендовъ, которому мы позволяли себѣ дѣлать отъ времени до времени довольно ѣдкіе репримандъ; однакожъ и на этотъ разъ мы устояли и пребыли вѣрными Кубышкину.

Наконецъ наступилъ вожделѣнный день: „Удобреніе“ попало въ изящныя ручки графини Ѳедоровой, рожденной княжны Григорьевой! Послѣдовали настоятельнѣйшія предложенія. Самъ графъ Ѳедоровъ пріѣзжалъ къ намъ для переговоровъ. Но мы остались вѣрными Кубышкину.

Ибо Кубышкинъ былъ знамя!

И многіе за это знамя держались!

А онъ (то-есть Кубышкинъ) только пыхтѣлъ и радовался, глядя на

насъ. Передовыхъ статей онъ лично не читалъ — скучно! — но приказывалъ докладывать, и на докладѣ всякій разъ сбоку писалъ: „вѣрно“. Но статьи Очищеннаго онъ читалъ самъ отъ первой строки до послѣдней, и когда былъ особенно доволенъ, то въ первый же воскресный день, передъ закуской, собственноручно подносилъ своему фавориту рюмку сладкой водки говоря:

— Это тебѣ... въ знакъ!

Гонорара опредѣленнаго онъ намъ не назначилъ, но отъ времени до времени „отваливалъ“; причемъ всякій разъ говорилъ: „напоминать мнѣ незачѣмъ, я самъ вашу нужду знаю“. Въ общемъ результатѣ мы были сыты. И чѣмъ больше мы были сыты, тѣмъ больше ярились.

Наконецъ до того разъярились, что стали выбѣгать на улицу и суконными языками, облитыми змѣинымъ ядомъ, изрыгали хулу и клевету. Проклинали человѣческій разумъ и указывали на него какъ на корень гнетущихъ насъ золъ; предвѣщали всевозможныя бѣдствія; поселяли въ сердцахъ тревогу; сѣяли ненависть, раздоръ и междоусобіе и проповѣдовали всеобщее упраздненіе. И въ заключеніе — роптали, что намъ не внимаютъ.

И за всѣмъ тѣмъ, воротившись домой, пили, ѣли, спали и вообще производили всѣ отправленія, какія человѣческому естеству свойственны.

Глава XXIX.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Въ разгарѣ этой лихорадочной дѣятельности мы совсѣмъ забыли о Стыдѣ.

Но онъ объ насъ не забылъ.

Я помню, что наканунѣ вечеромъ мы общими силами написали громовую статью, въ которой доказывали, что общество находится на краю бездны. „Дѣло совсѣмъ не въ поимкѣ такъ-называемыхъ упразднителей общества, — гремѣли мы, — которые, какъ ни опасны, но представляютъ, въ сущности, лишь слѣпое орудіе въ рукахъ ловкихъ людей, а въ томъ, чтобы самую мысль, мысль, мысль человѣческую окончательно упразднить. Покуда это не сдѣлано — ничего не сдѣлано; ибо въ ней, въ ней, въ ней, въ этой развращающей мысли, въ ея подстрекательствахъ заключается источникъ всѣхъ угрозъ. И ежели не будетъ принято въ этомъ смыслѣ энергическихъ мѣръ, и притомъ въ самомъ неотложномъ времени, то послѣдствія этой нерѣшительности прежде всего отразятся на нашей промышленности. Фабрика Кубышкина первая вынуждена будетъ на половину сократить производство своихъ ситцевъ и миткалей... Спрашивается: что̀ станется съ массой рабочихъ, которую это сокращеніе производства оставитъ безъ заработковъ? и на кого ляжетъ отвѣтственность за ту неурядицу, которая можетъ при этомъ произойти?“

Стыдъ начался съ того, что на другой день утромъ, читая „Удобреніе“, мы не повѣрили глазамъ своимъ. Мысль, что эту статью мы сами выдумали и сами изложили, была до такой степени далека отъ насъ, что, прочитавъ ее, мы въ одинъ голосъ воскликнули: однако! „какія нынче статьи пишутъ!“

И почувствовали при этомъ такое колючее чувство, какъ будто насъ кровно обидѣли.

Однимъ словомъ, мы позабыли...

Но припоминать все-таки пришлось, и мы припомнили. Работа припоминанія началась совершенно случайно. Пришелъ Очищенный и принесъ фельетонъ, въ которомъ разсказывалъ, что на дняхъ баронесса Марья Карловна каталась на тройкѣ по Островамъ въ сопровожденіи графа Сергѣя Ѳедорыча. Каждую недѣлю ходилъ къ намъ Очищенный съ урочнымъ фельетономъ, и всегда встрѣчалъ у насъ радушный пріемъ; но на этотъ разъ намъ показалось страннымъ: какимъ образомъ попалъ къ намъ этотъ злокачественный старикъ? И мы начали вглядываться въ него. Вглядывались, вглядывались, и вдругъ что-то въ глазахъ нашихъ освѣтилось... Сначала одинъ пунктъ, потомъ дальше, дальше — разомъ цѣлый пожаръ! Всѣ сновидѣнія, вся явь — все разомъ вспыхнуло.

— „Удобреніе“-то — вѣдь это нашихъ рукъ дѣло!..—растерянно произнесъ Глумовъ.

— И эта статья, которую мы сейчасъ читали... тоже нашихъ рукъ дѣло!—какъ эхо отозвался я.

Насъ охватилъ испугъ. Какое-то тупое чувство безвыходности, почти доходившее до остолбенѣнія. Повидимому мы только собирались съ мыслями и даже не задавали себѣ вопроса: что жъ дальше? Мы не гнали изъ квартиры Очищеннаго, и когда онъ настаивалъ, чтобъ его статью отправили въ типографію, то безмолвно смотрѣли ему въ глаза. Наконецъ пришелъ изъ типографіи метранпажъ и сталъ понуждать насъ, но, не получивъ удовлетворенія, долженъ былъ уйти во-свояси.

Кое-какъ однакожъ газетное дѣло уладилось. Въ трактирѣ „Ерши“ нашли на наше мѣсто двухъ публицистовъ, привели къ Кубышкину и засадили за работу. Черезъ два часа передовая статья была ужъ готова. Въ ней доказывалось, что ежели для пьющихъ важно опредѣлить, съ какой именно рюмки они приходятъ въ опьянѣніе, то тѣмъ паче необходима подобная опредѣлительность въ разныхъ отрасляхъ административной дѣятельности. Ибо вездѣ человѣкъ встрѣчается съ этою роковою рюмкой; но только тотъ называется мудрымъ, который умѣетъ предугадать ее и воздержаться.

Это было не въ бровь, а прямо въ глазъ; но Кубышкинъ понялъ это только тогда, когда читатели потребовали отъ него объясненій. Тогда, дѣлать нечего, пришлось этихъ публицистовъ разсчитать и посылать за другими въ гостинницу „Москва“.

Нашли и тамъ пару. Эти поправили дѣло, написавъ отъ редакціи объясненіе, въ которомъ удостовѣрили, что все сказанное въ предыдущемъ нумерѣ объ рюмкахъ есть плодъ недоразумѣнія и что новая редакція „Удобренія“ (меня и Глумова Кубышкинъ уже уволилъ) приметъ притчу о роковой рюмкѣ лишь для собственнаго поученія. Затѣмъ слѣдовала большая передовая статья, въ которой развивалась мысль, что по случаю предстоящихъ праздниковъ Пасхи предстоитъ усиленный спросъ на яйца, что несомнѣнно сообщитъ народной промышленности новый толчокъ. А ежели къ этому при-

бавить куличи и пасхи, то вотъ вамъ, въ какихъ-нибудь два-три дня, цѣлый лишній милліонъ, пущенный въ народное обращеніе!

А мы между тѣмъ все еще сбирались съ мыслями. Мы даже не говорили другъ съ другомъ, словно боялись, что объясненіе ускоритъ какой-то моментъ, который мы чувствовали потребность отдалить. И тутъ мы лавировали и лукавили, и тутъ надѣялись, что Стыдъ пройдетъ какъ-нибудь самъ-собою, изморомъ...

Но вдругъ мы почувствовали тоску. Не ту тоску праздности, которую ощущаетъ человѣкъ, не знающій, какъ убить одолѣвающій его досугъ, и не ту безсознательно-пьяную прострацію силъ, которая приводитъ человѣка къ петлѣ, къ проруби, къ дулу пистолета. Нѣтъ, это была тоска вполнѣ сознательная, трезвая, которая и разрѣшенія требовала сознательнаго, а не случайнаго. Боль, которую она приносила за собой, была тѣмъ мучительнѣе, что каждый ея уколъ воспринимался не только въ той силѣ, которая ей присуща, но и въ той, утроенной, удесятеренной, которую ей придавалъ доведенный до болѣзненной чуткости организмъ. Это была не казнь, а та предшествующая ей четверть часа, въ продолженіе которой читается приговоръ, а осужденный окостенѣлыми глазами смотритъ на ожидающую его плаху.

Однимъ словомъ, это была тоска проснувшагося Стыда...

Мы не спрашивали себя, что̀ такое Стыдъ, а только чувствовали присутствіе его. И въ насъ самихъ, и въ обстановкѣ, которою мы были окружены, и на улицѣ — вездѣ. Стыдъ написанъ былъ на лицахъ нашихъ, такъ что прохожіе въ изумленіи вглядывались въ насъ...

. . . .

Что̀ было дальше? къ какому мы пришли выходу?—пусть догадываются сами читатели. Говорятъ, что Стыдъ очищаетъ людей — и я охотно этому вѣрю. Но когда мнѣ говорятъ, что дѣйствіе Стыда захватываетъ далеко, что Стыдъ воспитываетъ и побѣждаетъ —я оглядываюсь кругомъ, припоминаю тѣ изолированные призывы Стыда, которые отъ времени до времени прорывались среди массъ Безстыжества, а затѣмъ все-таки канули въ вѣчность... и уклоняюсь отъ отвѣта.

КРУГЛЫЙ ГОДЪ

Первое января.

Въ новый годъ, разумѣется, пришелъ ко мнѣ племянникъ. Молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-четырехъ, но преспособный. У меня только въ новый годъ да на Пасху и бываетъ.

— Съ новымъ годомъ, дяденька.

— Съ новымъ счастьемъ тебя. Вареньица не приказать ли подать?

— Помилуйте, дядя, я въ это время водку пью (былъ третій часъ въ исходѣ).

— Водку? а ежели маменька узнаетъ?

— Она ужъ пять лѣтъ это знаетъ.

— Ну, водки такъ водки. А ежели водку пьешь, такъ, стало быть, и куришь. Вотъ тебѣ сигара. Разсказывай, что̀ хорошаго? съ визитами кончилъ?

— Съ нужными — да; еще два-три не особенно важныхъ осталось — тѣ передъ обѣдомъ додѣлать успѣю. А что-жъ вы, mon oncle, не поздравляете меня?

— Не знаю съ чѣмъ, оттого и не поздравляю.

— Conseiller de collége — сегодня и въ приказахъ ужъ есть.

— Вотъ какъ! Это прекрасно! Поздравляю, поздравляю, мой другъ! Маменьку-то увѣдомилъ ли?

— Сегодня въ девять часовъ утра въ Ниццу телеграфировалъ, и сейчасъ заѣзжалъ домой — ужъ отвѣтъ полученъ. Вотъ и телеграмма.

Онъ подалъ листокъ, на которомъ я прочиталъ:

„Pétersb. Znamenskaia, 11.
Néougodoff.

„Suis toute fière bénis conseiller collége Vendez Russie vendez vite argent envoyez Suis à sec

Nathalie“.

— Однако какъ же это: „Vendez Russie, vendez vite“ и „argent envoyez“ — что̀ это значитъ! Неужто ужъ такъ деньги занадобились? — въ недоумѣніи остановился я.

— Очень просто: есть у насъ пустошь Рускина — вотъ ее и надлежитъ продать. А на телеграфѣ переврали: Russie.

— Гм... какая однакожъ, можно сказать, провиденціальная ошибка! Такъ вы Рускину-то продаете?

— Мы, дяденька, ужъ третью пустошь продаемъ съ тѣхъ поръ, какъ maman въ Ниццу уѣхала. Она пишетъ, что пустоши—лишнее, только фигуру имѣнія портятъ.

— То-есть, какъ тебѣ сказать? Конечно, пустоши — это въ родѣ бородавки... Бываютъ однако и бородавки... А впрочемъ и то сказать: много денегъ въ Ниццѣ надо, особливо ежели кто въ Монто-Карло ѣздитъ. Только какъ бы послѣ Рускиной-то и до Монрепò Nathalie не добралась!

— Никогда не допущу! Тамъ прахъ моего отца! Вы забываете это, mon oncle!

— То-то, ужъ поопридержитесь. Стало быть, Nathalie тобой довольна? „Suis toute fière“ —вотъ они материнскія-то чувства! Цѣни ихъ, другъ мой! Vendez Russie, vendez vite... фу! Да впрочемъ какая бы мать и не загордилась на мѣстѣ Nathalie: въ твои лѣта — и ужъ почти фельдмаршалъ!

— Ну, до фельдмаршаловъ-то далеко!

— Нѣтъ, не очень. Посчитай-ка. Черезъ годъ, положимъ, статскій совѣтникъ...

— Черезъ годъ... impossible, mon oncle!

Өеденька скромничалъ; но я очень хорошо видѣлъ, что внутренно онъ вполнѣ одобряетъ мои предположенія, и потому продолжалъ:

— Черезъ два года — дѣйствительный, потомъ тайный, потомъ трещина вдоль черепа... фу! чтò это однакожъ, какой я вздоръ говорю! Нѣтъ, право, совсѣмъ не такъ далеко, какъ кажется съ перваго взгляда! Ну, да будущее въ руцѣ Божіей... Теперь-то ты кàкъ? доволенъ?

— Еще бы! самъ генералъ давеча, на общемъ представленіи, объявилъ. Подошелъ, поздравилъ и сказалъ: „если и на будущее время будете такъ продолжать, то“...

Өеденька остановился.

— Ну?

— И только—чтò-жъ больше! затѣмъ перешелъ къ слѣдующему — и ему тоже...

— Ну, вотъ видишь! Стало быть, статскій-то совѣтникъ ужъ и теперь подразумѣвается. Продолжай, душа моя, старайся! И маменькѣ утѣшеніе, да и я, дядя-старикъ, на тебя глядючи, порадуюсь!

И, какъ истинный старикъ, я не утерпѣлъ и воскликнулъ:

— Господи! давно ли! Давно ли, кажется, я отъ купели тебя воспринималъ!

— Ровно двадцать-четыре года тому назадъ.

— Какъ время-то бѣжитъ! Словно вотъ сейчасъ слышу голосъ Nathalie изъ-за двери: „ради Бога, Michel, не урони его! ты такой неловкій!“

— Не уронили однако?

— Богъ спасъ! А знаешь ли впрочемъ чтò! вѣдь иногда вашего брата,

изъ нынѣшнихъ, право, недурно было бы въ младенческихъ лѣтахъ съ умѣренной высоты уронить!

— Это за что?

— Да бойки вы очень. Мечетесь, скачете, куски ловите—сколько вы народу передавите! Ну, да что говорить объ этомъ! Дай-ко лучше я полюбуюсь на тебя.

Я приподнялъ его съ кресла за руки, поставилъ передъ собой и повернулъ кругомъ.

— Безъ отмѣтинъ! Ноги крѣпкія, безъ подсѣдовъ, грудь широкая, крупъ какъ печь, и при этомъ — селезенка играетъ!.. молодецъ! Дамочки-то, я полагаю, видѣть равнодушно не могутъ! Особливо, какъ теперь узнаютъ, что такой милушка—и почти фельдмаршалъ! Вѣдь ты, разумѣется, и въ благотворительныхъ обществахъ служишь?

— Безъ этого, дядя, нельзя. Въ двухъ обществахъ секретаремъ, въ трехъ—членомъ-соревнователемъ.

— Знаешь, значитъ, гдѣ раки зимуютъ?

— Не безъ того. Да вѣдь и вы, дядя, я полагаю, въ свое время по части „дамочекъ“ спуску не давали?

— Гдѣ намъ, другъ мой! Въ наше время вѣдь и „дамочекъ“-то не было. Бывали, да все Юноны; сидитъ она, бывало, въ оперѣ, въ бель-этажѣ, словно царевна въ окладѣ, да пастильки жуетъ—ну, и любуйся на нее снизу. А теперь пошли маленькія, юрконькія... интересны онѣ?

— Масло!

— Ну, и слава Богу. Только вотъ говорятъ онѣ много... все говорятъ! все говорятъ! Этого тоже въ наше время не было. Вообще въ наше время для тѣхъ, кто не состоялъ по кавалеріи или не обладалъ громкимъ титуломъ, плохо по женской части было. Только два рессурса и существовало: Кессенихъ да Марцынкевичъ. Тамъ, дѣйствительно, встрѣчались „дамочки“, но тѣ не разговаривали. Оно, съ одной стороны, конечно, недостатокъ словесности, но съ другой стороны... Ну, дай тебѣ Богъ! дай Богъ!

Я обнялъ его и поцѣловалъ. Но потомъ опять не выдержалъ и удивился.

— Да вѣдь ты едва школьную скамью оставилъ! Ахъ!

— Пять лѣтъ ужъ, дяденька.

— Неужто ужъ пять лѣтъ?

— Даже немного больше. Нѣтъ, вы вотъ кому подивитесь—Самогитскому! Всего на одинъ курсъ старше меня, а на дняхъ ужъ въ Погорѣловъ посланъ!

— Вотъ, я думаю, чья маменька-то не нарадуется!

— У него, mon oncle, нѣтъ настоящей маменьки. То-есть, коли хотите, она есть, но... vous concevez? Онъ—сирота, но сирота, такъ сказать... государственный!

— Гм... понимаю! Эти сироты всегда... Это, дружокъ, и въ мое время случалось. Служишь, бывало, служишь, только-что мѣстечко для себя облюбуешь—и вдругъ тебѣ на голову... „сирота“!

— Такъ и вы, значитъ, знакомы съ этими разочарованіями?

— Я, голубчикъ, все знаю. Я и славы видѣлъ, и срамоты видѣлъ — все у меня на глазахъ прошло! Ты спроси, чего я только не видалъ!

— Да, говорятъ, интересныя у васъ воспоминанія есть.

— Есть-таки. Бывали интересныя вещи и въ наше время, но полагаю, что теперь ихъ вдвое больше, и если ты, напримѣръ, наблюдалъ, то навѣрное всякаго изъ насъ, стариковъ, за поясъ бы заткнулъ.

— Почему же вы такъ думаете?

— Да просто потому, что въ наше время жизнь какъ-то ровнѣе шла, стало быть и интереснаго въ ней сравнительно меньше было. Подкладкой-то ей, положимъ, служили тѣ же самыя непредвидѣнность и неприкрытость, что̀ и теперь; но люди, которые пользовались этой подкладкой, были солиднѣе. Они понимали, что извѣстныя жизненныя условія для нихъ выгодны, и пользовались ими, какъ могли; но они не дразнились, не утверждали во всеуслышаніе, что это тѣ самыя условія, лучше которыхъ нѣтъ и не будетъ. Они знали, что такого тезиса нельзя приличнымъ образомъ поддержать и что болтливость и хвастовство могутъ только компрометировать, но никакъ не защитить. Поэтому въ наше время была строгость, но не было ненависти; бывали дѣйствія суровыя, неумолимыя, но не было вывертовъ, презрѣнія и наглости. Мрачно было, мой другъ, въ наше время, но хоть тѣмъ хорошо, что „питореску“ подлаго не такъ много было. Живешь-живешь, бывало, „въ объятьяхъ сладкой тишины“ — и ничего-то бьющаго въ глаза! И только когда-когда что-то шевельнется. Герой вдругъ появится, который одинъ цѣлую армію полицейскихъ разобьетъ, или такой ужъ мерзавецъ, что даже прочіе мерзавцы — и тѣ удивляются, какъ его земля носитъ. Ну, разумѣется, интересно: возьмешь и запишешь.

— Такъ, значитъ, по вашему, нынче интересныхъ вещей больше?

— Больше, мой другъ.

— Представьте, я этого никогда не замѣчалъ!

— И не замѣтишь, потому что ты самъ среди этой суматохи живешь. А вотъ если, по обстоятельствамъ, придется тебѣ отъ фельдмаршальства-то отказаться да къ сторонкѣ отойти — вотъ тогда всѣ эти интересности сами собой и всплывутъ. Будетъ объ чемъ и дѣтямъ, и внукамъ поразсказать.

— Не знаю. Это для меня совсѣмъ ново. Во всякомъ случаѣ, я думалъ и продолжаю думать, что никогда мы не пользовались такой свободой, какъ теперь, и что въ этомъ отношеніи по крайней мѣрѣ шагъ впередъ, сдѣланный нами...

— Свободно-то даже очень свободно—помилуй, развѣ я не знаю! Но непредвидѣнность... ахъ, эта непредвидѣнность! Представь себѣ, вотъ я старъ-старъ, а все-таки меня ежечасно какая-то оторопь беретъ. Ходишь иногда одинъ и думаешь: во̀льно мнѣ теперь, на что̀ вольнѣе! Что̀ хочу, то̀ дѣлаю! И въ десятую долю никогда такъ свободно не дышала моя грудь, какъ дышетъ нынче! И вдругъ — какая-то непріятная дрожь. А что, дескать, коли, по обстоятельствамъ, придется вверхъ ногами ходить?

— Но вѣдь это пустяки, mon oncle! вы очень хорошо понимаете, что пустяки!

— Понимать-то понимаю, а все-таки...

— Все-таки боитесь... пустяковъ!

— Клянусь, боюсь. Никогда этого со мной не бывало, даже при Биронѣ не было—вотъ, братъ, какъ я давно живу!—а нынче, какъ спать ложиться иду, непремѣнно обѣ двери и на парадную лѣстницу, и на черную осмотрю: крѣпко ли заперты? И ночью не разъ встанешь—послушаешь.

— Что-жъ привидѣній вы, что-ли, боитесь?

— Нѣтъ, не привидѣній, а вообще... „Интереснаго" боюсь. Думаешь иногда: что̀ ужъ во мнѣ! кажется, только и корысти, что заборы мной подпирать—а все-таки боишься!

— Ну, нѣтъ, не скромничайте! не говорите, что вами только заборы подпирать! Слыхали мы тоже про васъ, слыхали-таки!

Ѳеденька сказалъ это очевидно шутя, однакожъ я все-таки обезпокоился.

— Вотъ видишь, и ты слышалъ — а я ничего не знаю. Почти ни съ кѣмъ я не вижусь, а если и вижусь, то съ такими же калѣками, какъ я самъ; даже водку совсѣмъ пересталъ пить, а все-таки чувства опасенія не утратилъ!

— А я и вижусь со всѣми, и вино, и водку пью—и ничего не боюсь.

— Во-первыхъ, ты кандидатъ въ фельдмаршалы — не тебѣ, а тебя бояться приличествуетъ. Во-вторыхъ, ты безстрашный. Вы всѣ, нынѣшніе, безстрашные. Въ васъ совсѣмъ нѣтъ чувства отвѣтственности, а мы, старики, были снабжены имъ въ излишествѣ.

— Но какое же тутъ чувство отвѣтственности, коли вы даже водки не пьете?

— Все-таки. Вспомни, что я вскормленъ непредвидѣнностью, и слѣдовательно ни на минуту не имѣю права позабыть объ ней. Придетъ она, спроситъ—я долженъ виниться! Въ чемъ виниться — я, положимъ, не знаю, но обстановку виноватости все-таки представить обязанъ.

— Однако напуганы-таки вы!

— Не напуганъ, а смолоду привыкъ понимать, что въ семъ мѣстѣ не пахнетъ розами. Вотъ эту-то самую остроту обонянія я и называю чувствомъ отвѣтственности. Безъ хвастовства и не въ укоръ тебѣ, но я все-таки долженъ сказать: мы, старики, умнѣе васъ держали себя.

— Ого!

— Да, умнѣе—право, это такъ. Не всѣ срамоты наружу вываливали, а кое-что и для внутреннихъ аппартаментовъ приберегали. И не стыдъ руководилъ нами въ этомъ случаѣ, а именно чувство отвѣтственности, опасеніе компрометировать и себя, и присныхъ своихъ. Ужъ это развѣ оглашенные какіе хвастались: я, молъ, такого-то объегорилъ, а такого-то и совсѣмъ по̀ міру пустилъ; мудрый же, бывало, сядетъ потихоньку въ уголокъ, да и прикладываетъ рубликъ къ рублику. А на старости лѣтъ, глядишь, онъ либо въ масоны поступилъ, либо псалмы въ стихи перекладываетъ. Такъ-то, мой другъ. И гадость свою выполнилъ, да и окрестностей вонью не отравилъ — вотъ наша мудрость была какова!

— Къ счастью, что въ наше время ни „оглашенныхъ", ни „мудрыхъ" —одинаково нѣтъ.

— „Мудрыхъ“ нѣтъ—это правда; но „оглашенныхъ“ — хоть прудъ пруди. И, притомъ, живущихъ со дня на день, непредусмотрительныхъ, безъ надобности тщеславныхъ и безъ надобности же пресмыкающихся, не понимающихъ, что всякій поступокъ долженъ имѣть свою причину и свой результатъ...

— Дядя! вѣдь это наконецъ обидно!

— Да, это обидно. До такой степени обидно, что даже самая бесѣда объ этомъ раздражаетъ. Но представь себѣ: есть вещи, до такой степени неразрывныя съ человѣческимъ существованіемъ, что какъ ни отмахивайся отъ нихъ, онѣ такъ и наступаютъ, такъ и наступаютъ на тебя. Вотъ я совсѣмъ ужъ, кажется, отгородился отъ жизни, да, къ несчастью, къ газетамъ привычки не могу побороть. Получаю, братецъ, читаю. Иной разъ прямо тебя по затылку ударитъ, а другой разъ хоть и ничего нѣтъ въ газетѣ — опять обида: почему *ничего* нѣтъ? Не можетъ быть, чтобъ *ничего* не было! Обида, обида, обида! Можетъ быть, на дѣлѣ и нѣтъ этой обиды, да внутри у тебя непроглядная масса обидъ сидитъ. Тревожатъ, дразнятъ, досаждаютъ. Перечти-ка ты эти обиды, посчитай-ка ихъ въ тиши уединенія — вотъ и поймешь, почему иногда скучно на свѣтѣ жить.

— Вольно же вамъ!

— Обиды-то глотать? Нѣтъ, иногда даже полезно пріучаться къ этому глотанью, потому что обида, рано или поздно, все-таки придетъ. И ежели ты къ этому не привыкъ, а умѣешь глотать только устрицы, то обида у тебя поперекъ горла встанетъ, задушитъ. А меня не задушитъ, потому что я привыкъ. Впрочемъ будетъ объ этомъ, обратимся лучше къ тебѣ. Ну, фельдмаршалъ, сказывай: планы у тебя въ головкѣ, чай, такъ кишмя и кишатъ?

— Какіе же планы, mon oncle? и что̀ можетъ мнѣ предстоять?

— Нѣтъ, тебѣ предстоитъ... я это чувствую, что тебѣ „предстоитъ“! Можетъ быть, одинъ „сирота“ мимо проскочитъ, а все-таки ты тамъ будешь, гдѣ тебѣ природой указано. Вотъ почему я тебѣ, какъ дядя и другъ, говорю: не зарывай въ землю своихъ талантовъ, но кюльтивируй ихъ!

— Но вѣдь ежели вспомнить то̀, что̀ вы сейчасъ говорили объ этихъ талантахъ, такъ, пожалуй, не кюльтивировать, а именно зарыть ихъ скорѣе придется.

— Гм... пожалуй, что и такъ. Въ такомъ случаѣ, зарой эти таланты и очисти мѣсто для другихъ. Надо тебѣ сказать, что талантъ самъ по себѣ безцвѣтенъ и пріобрѣтаетъ окраску только въ примѣненіи. Какого рода положительныя примѣненія ты можешь дать своимъ талантамъ —это, къ сожалѣнію, объяснить трудно. Но отъ какого рода примѣненій полезно было бы тебѣ воздержаться —это я, пожалуй, могу сказать.

Ѳеденька съ чуть-замѣтной усмѣшкой взглянулъ на меня и процѣдилъ сквозь зубы:

— Напримѣръ?

— Вижу я, вижу, мой другъ, что болтливость моя забавляетъ тебя. И знаю, что тебѣ нужно только „провести время“ съ старымъ дядей, въ ожиданіи тѣхъ визитовъ, которыхъ ты еще не успѣлъ додѣлать...

— Что̀ за мысль, mon oncle!

— Ничего; позабавься — мнѣ и самому пріятно, ежели тебѣ весело. Начну съ воспоминаній прошлаго. Былъ во времена óны у насъ государственный человѣкъ — не изъ остзейскихъ, а изъ настоящихъ нѣмцевъ — человѣкъ замѣчательнаго ума и, сверхъ того, пользовавшійся репутаціей несомнѣннаго безкорыстія. Тѣмъ не менѣе даже въ то время нигдѣ такъ не было распространено взяточничество, какъ въ томъ обширномъ вѣдомствѣ, которымъ онъ управлялъ. Такъ вотъ онъ, когда случилось ему отправлять кого-нибудь на мѣсто въ губернію, всегда слѣдующимъ образомъ напутствовалъ отъѣзжающаго: „Удивляюсь, — говорилъ онъ, — какъ вы, русскіе, такъ мало любите свое отечество! какъ только получаете возможность, такъ сейчасъ же начинаете грабить! Воздержитесь, мой другъ! пожалѣйте свое отечество и не столь ужъ быстро обогащайтесь, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые изъ вашихъ товарищей!“

— Надѣюсь однако, mon oncle, что ваша притча до меня не относится?

— Конечно, душа, моя, въ буквальномъ смыслѣ она ни до тебя и даже ни до кого изъ „нынѣшнихъ“ карьеристовъ относиться не можетъ. Но транспортировать ее все-таки можно. Напримѣръ, сказать такъ: удивляюсь я, какъ вы, нынѣшніе, такъ мало любите свое отечество! какъ только почувствуете силу, такъ тотчасъ же начинаете дразниться. Воздержитесь, друзья! пожалѣйте свое отечество и не столь уже беззавѣтно поддавайтесь внушеніямъ бойкости, кои вамъ пользы ни на грошъ не принесутъ, а на общій ходъ дѣлъ между тѣмъ могутъ оказать вліяніе несомнѣнно вредное!

Я остановился и взглянулъ на Ѳеденьку: онъ очень внимательно чистилъ ножичкомъ ногти.

— Гм... а какъ вы полагаете, дядя, — сказалъ онъ послѣ минутнаго молчанія: — вашъ ископаемый государственный человѣкъ... достигъ онъ своими наставленіями какихъ-нибудь результатовъ?

— О, разумѣется, нѣтъ! всеконечно, нѣтъ! всеконечно, всеконечно, нѣтъ!

— Ну, а вы... вашими... какъ вы полагаете? достигнете?

Онъ сказалъ это такъ мило и при этомъ смотрѣлъ такъ ясно, улыбался такъ ласково, что я невольно взялъ его двумя перстами за подбородокъ и минуты съ двѣ молча любовался имъ.

Затѣмъ мы поцѣловались, вновь пожелали другъ другу счастливаго года, и Ѳеденька отправился додѣлывать визиты.

Первое февраля.

Хотя бесѣда между мною и Ѳеденькой происходила въ шуточномъ тонѣ, но небрежность, съ которою онъ отнесся къ моимъ совѣтамъ, не могла не огорчить меня. Основательно или неосновательно, но я не изъятъ нѣкоторыхъ опасеній. Боюсь я этихъ бойкихъ молодыхъ людей, которые ради карьеры готовы отречься отъ отца и матери, которые, такъ сказать, едва вышедши изъ пеленокъ, уже потрясаютъ указательнымъ перстомъ, какъ бы угрожая невидимому врагу: вотъ я тебя! Что̀ вызываетъ эти угрозы? какое чувство руководитъ этими юношами, этими неоперившимися птенцами въ то время, когда они направо и налѣво сверкаютъ зрачками глазъ? Ненавидятъ ли они свое отечество (вѣдь, собственно говоря, они ему-то и грозятъ), или просто-напросто не понимаютъ, что̀ это за штука, которая называется отечествомъ?

Предположенія о ненависти я не допускаю. Во-первыхъ, это чувство слишкомъ тяжеловѣсное для этихъ легкихъ сердецъ; во-вторыхъ, можно ненавидѣть лишь то̀, что̀ гнететъ, сковываетъ, отравляетъ существованіе; но какого же рода отравы можетъ испытывать, напримѣръ, Ѳеденька? Помилуйте! онъ, не размышляючи, живетъ себѣ на всемъ на готовомъ, въ прошлое заглянуть не любопытствуетъ, въ настоящее не вникаетъ, а въ будущемъ—видитъ только отрады...

Скорѣе всего, это люди неразвитые, выучивавшіе въ школѣ свои тощія тетрадки, не обращая вниманія на ихъ смыслъ, и потому даже не понимающіе, по чьему адресу они посылаютъ свои угрозы. Слово: „отечество", не смущаетъ ихъ, потому что они не имѣютъ ни малѣйшаго представленія о той безконечно-разнообразной массѣ интересовъ и отношеній, которыя оно собой захватываетъ. Они думаютъ, что это слово потому только небезполезное, что оно похвально звучитъ, въ парадныхъ случаяхъ, въ ушахъ начальства. Сверхъ того, они знаютъ изъ хрестоматій: „à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère"... И только.

Наиболѣе дальновидные изъ нихъ (тѣ, которые разсчитываютъ на солидныя карьеры, гдѣ упоминовеніе объ отечествѣ придаетъ человѣку извѣстную серьезность) позволяютъ себѣ иногда щегольнуть этимъ словомъ даже за̀просто, между своими; но щегольство это, съ перваго же взгляда, поражаетъ своею внезапностью, искусственностью и скоротечностью. Сидитъ, напримѣръ, Ѳеденька за тонкимъ обѣдомъ у Бореля, сквернословитъ насчетъ предстоящихъ ему карьеръ, и дабы дать собравшимся собутыльникамъ понятіе о своей солидности (онъ на дняхъ ждетъ мѣста, гдѣ безъ солидности обойтись нельзя), вдругъ, ни съ того, ни съ сего, прерываетъ сквернословіе восклицаніемъ:

— Causons un peu de la patrie, messieurs! Ah! la patrie... c'est sacré!

Всѣ на мгновеніе умолкаютъ; многіе завидуютъ: гм... должно быть, ему и въ самомъ дѣлѣ обѣщано! Но именно только на мгновеніе, потому что среди этого минутнаго смятенія вдругъ раздается голосъ какого-нибудь приблуднаго Жоржиньки:

— Rien n'est sacrrrrré pour un sapeurrrrrre...

И всѣ опять повеселѣли, словно отъ кошмара освободились. Самъ Ѳеденька не въ силахъ дольше держаться на высотѣ своей серьезности и ласково цѣдитъ сквозь зубы: „шутъ!“ „Отечество“ исчезаетъ, словно сквозь землю проваливается, и веселое сквернословіе вновь вступаетъ въ свои права. Не ясно ли, что это слово, даже въ облагороженной формѣ: „la patrie“, слишкомъ громоздко для этихъ людей?

Да, это совсѣмъ не жестокій, а именно только легкій и до невмѣняемости неразвитый народъ?

Тѣмъ не менѣе, не понимая, что̀ слѣдуетъ разумѣть подъ словомъ „отечество“ и какія обязанности послѣднее налагаетъ на дѣтей своихъ, молодые карьеристы въ то же время отлично понимаютъ, во-первыхъ, что доходы и оклады, съ помощью которыхъ они прожигаютъ жизнь, получаются ими въ отечествѣ, и, во-вторыхъ, что нигдѣ, кромѣ отечества, имъ не суждено удовлетворить той потребности молодечества, которая, за отсутствіемъ знаній и привычки размышлять, преслѣдуетъ ихъ на всякомъ мѣстѣ. Въ этомъ смыслѣ и имъ, разумѣется, не чужда идея „отечества“, но какого отечества? — того, которое все стерпитъ, да вдобавокъ еще и денегъ дастъ. Сильные этимъ соображеніемъ и зная, что практика не особенно-таки противорѣчитъ ему, эти люди видятъ въ отечествѣ нѣчто фаталистически имъ подчиненное, обязанное повиноваться и быть твердымъ въ бѣдствіяхъ. Поэтому они относятся къ нему безъ церемоній, а иногда и съ тѣмъ капризнымъ нетерпѣніемъ, съ которымъ, при крѣпостномъ правѣ, нѣкоторые не совсѣмъ умные помѣщики относились къ мужику. Выжавши изъ него весь сокъ и замѣчая, что онъ ужъ не выдѣляетъ изъ себя новаго сока, они усматривали въ этомъ не произволеніе природы, положившей предѣлъ выдѣленію соковъ, даже мужицкихъ, но мужицкую интригу, фактъ злонамѣренной утайки принадлежащихъ имъ, помѣщикамъ, даней. И, разумѣется, сердились, сѣкли и ссылали въ Сибирь.

Отечество-пирогъ — вотъ идеалъ, дальше котораго не идутъ эти незрѣлые, но нахальные умы. Мальчики, безъ году недѣлю вылѣзшіе изъ курточекъ и объ томъ только думающіе, какъ бы урвать, укусить... ужели этого зрѣлища не достаточно, чтобы взволновать чувствительныя сердца?

Въ послѣднее время это одностороннее отношеніе къ задачамъ и формамъ предлежащей жизненной дѣятельности, къ сожалѣнію, еще болѣе обострилось. Въ массѣ людей „постороннихъ“, не „провиденціальныхъ“, уже начинаютъ выдѣляться личности, которыя слову „отечество“ придаютъ очень серьезный смыслъ, которыя прямо говорятъ, что отечеству надлежитъ служить, а не жрать его. Сверхъ того, тѣмъ же сознаніемъ серьезности проникается въ значительной степени и современная русская литература. По настоящему этотъ фактъ долженъ былъ бы пробуждать довѣріе, а онъ, напротивъ того, бѣситъ. Бѣситъ, потому что „провиденціальные“ мальчики никакъ не могутъ понять, какъ это *вдругъ* пришло. Откуда взялось мнѣніе, что отечество — не пирогъ, а культъ, дающій очень мало правъ и налагающій очень много обязанностей? Кто это говоритъ? подумайте... КТО это говоритъ? Это говорятъ люди „посторонніе“, которымъ, по настоящему, *до этого и дѣла-то нѣтъ*! И кому они говорятъ это? — тѣмъ, которые и днемъ, и ночью, и въ ресторанахъ, и въ кафе-шантанахъ, всегда готовы продекламировать: „à tous

les coeurs bien nés que la patrie est chère!“ Очевидно, что это не спроста, а *нарочно*; что тутъ есть какая-то пертурбація, подрывъ, потрясеніе! И вотъ провиденціальные мальчики чувствуютъ себя оскорбленными и начинаютъ сердиться. Угрозы, имѣвшія дотолѣ оттѣнокъ простой (хотя и халдоватой) неряшливости, пріобрѣтаютъ съ каждымъ днемъ характеръ болѣе и болѣе острый. Глаза горятъ, ноздри радуваются, изъ устъ бьетъ пѣна... Это у мальчиковъ-то!

Какъ хотите, а это страшно. Цѣлыя массы провиденціальныхъ мальчиковъ каждогодно выбрасываются изъ всевозможныхъ заведеній на арену жизни... цѣлыя массы съ слюной на устахъ! И это—надежда, это—запасъ, изъ котораго будущему предстоитъ черпать! И каждый членъ этой массы безтрепетно грозитъ перстомъ: „вотъ я васъ!“ Каждый мнитъ, что все, чтò ни охватитъ его жадный взглядъ—все это не чтò иное, какъ арена, уготованная для подвиговъ его молодечества, арена, на которой онъ можетъ дразниться, подтягивать, „учить“, утверждать въ вѣрѣ и т. д. Размыслите, сколько путаницъ, смутъ и недоумѣній осуществляютъ въ своемъ лицѣ эти новаго рода сапёры, для которыхъ... rien n'est sacrrrré pour un sapeurrrrre!

И притомъ не простые сапёры, а осложненные предвидѣніемъ какихъ-то препятствій, убѣдившіеся, что пирогъ, осуществляемый отечествомъ, нужно не просто ѣсть, а сколь можно ожесточеннѣе рвать зубами, потому что внутри его вмѣсто начинки засѣло скопище неблагонамѣренныхъ элементовъ, которые имѣютъ дерзость утверждать, что отечество есть культъ. Культъ! sapristi! à qui le dites-vous?

Забудемъ однако о „постороннихъ“ людяхъ; допустимъ, что Россія дѣйствительно—пирогъ, и только пирогъ. Ну, и ѣшьте его. Но ѣшьте же втихомолку, безъ гвалта, не надругаясь надъ божьимъ даромъ, не разбрасывая добра по сторонамъ; ѣшьте, какъ при крѣпостномъ правѣ ѣдали умные ѣдоки, которые отлично понимали, что мужика невыгодно обгладывать до костей. Поѣшьте и сдѣлайте роздыхъ, займитесь пищевареніемъ. Размыслите: чѣмъ спокойнѣе и разсчетливѣе вы будете ѣсть, тѣмъ больше у васъ останется ѣды напредки, тѣмъ продолжительнѣе будетъ ваше пиршество. При помощи сноровки, благоразумія и скромности вы даже можете достигнуть совсѣмъ неожиданныхъ результатовъ: покончивши съ однимъ пирогомъ, вы получите на смѣну другой, третій и т. д. Ужели эта перспектива не достаточно соблазнительна, чтобы ради нея не разстаться съ безплодными угрозами?

Зачѣмъ похваляться какими-то прерогативами? зачѣмъ говорить: „вотъ мы будемъ пирогъ ѣсть, а вы, любезные соотечественники, обязываетесь въ это время смотрѣть въ оба и не пикнуть“? зачѣмъ угрожать, пугать, дразниться? Какая выгода, какое удовольствіе вамъ отъ того, что покуда вы гремите тарелками, соотечественники ваши будутъ въ паническомъ молчаніи таращить на васъ глаза? Не пріятнѣе ли, не во сто разъ веселѣе ли было бы для васъ самихъ, еслибъ эти же самые соотечественники во время вашей трапезы потрясали воздухъ кликами ликованія, предавались обычнымъ невиннымъ занятіямъ, суетились, ходили взадъ и впередъ, и даже... немножко шумѣли? Сообразите сами: вѣдь это ликованіе, этотъ шумъ — вѣдь это своего

рода музыка; это движеніе, эта суета, этотъ вольный аллюръ — своего рода пріятнѣйшій tableau de genre. Недаромъ помѣщики добрые (они же и умные) въ числѣ прочихъ удовольствій, пріятныхъ барскому сердцу, допускали хороводы, игры и вообще всякое невинное, хотя бы и шумное изліяніе мужицкаго веселонравія. Даже скотина — и та въ стадѣ ѣстъ веселѣе, нежели въ одиночку. А притомъ же поймите еще и то, что безъ говору, безъ суеты ничего путнаго нельзя произвести. Вы съѣдите одинъ пирогъ, но вамъ же понадобится и другой—какимъ образомъ состряпаютъ его эти люди, которые до того вами напуганы, что ничего другого не могутъ, кромѣ какъ въ оцѣпенѣніи ожидать, съ которой стороны ихъ хлопнетъ: по затылку или въ лобъ?

Я знаю, вы убѣждены, что все это необходимо для того, чтобы утвердить въ „постороннихъ людяхъ“ уваженіе къ авторитету. Но понимаете ли вы сами всю непосильность взятой вами на себя задачи? Во-первыхъ, вы очевидно смѣшиваете уваженіе къ авторитету съ испугомъ, потому что хотите утверждать первое механически, а механически утверждается только испугъ. Во-вторыхъ, какъ ни законно желаніе, чтобы авторитетъ былъ окруженъ уваженіемъ, но насколько же можетъ содѣйствовать этому дурная привычка дразниться? Ахъ, это именно дурная и вредная привычка! Дразнясь, вы искажаете собственныя лица, которыя вслѣдствіе этого дѣлаются не только не внушительными, но просто-на-просто смѣшными. Дразнясь, вы обращаете вашу мысль преимущественно къ мелочамъ и упускаете изъ вида существенное. Дразнясь, вы больше оскорбляете, пробуждаете въ сердцахъ несравненно бо́льшую массу горечи, нежели даже допуская прямыя жестокости. Увы! вы слишкомъ еще юны, чтобы понимать, какъ безконечно подло положеніе человѣка, который понимаетъ, что его можно безтрепетно дразнить! И какъ въ милліонъ кратъ еще подлѣе положеніе того человѣка, который, пользуясь этою подлостью, все-таки продолжаетъ дразниться. Размыслите объ этомъ, молодые люди, размыслите для вашей собственной пользы! Я знаю, что вы не любите думать (считаете „думанье“ источникомъ всякаго зла), но на этотъ разъ сдѣлайте надъ собою усиліе, подумайте! И я увѣренъ, что вы безъ труда убѣдитесь, что вашими похвальбами, угрозами и подтягиваніями вы не только не утверждаете, но даже прямо компрометируете, попираете ногами дорогой для васъ принципъ авторитета.

Не могу не разсказать по этому случаю одного происшествія, которому я самъ былъ когда-то свидѣтелемъ. Былъ у меня во времена крѣпостного права знакомый помѣщикъ, человѣкъ не жадный, не жестокій, но на свое горе идейный. Всякія идеи приходили ему въ голову въ часы досуга, и между прочимъ идея объ утвержденіи помѣщичьяго авторитета въ родномъ селѣ Загибаловѣ. Съ чего онъ вдругъ взялъ, что авторитетъ его недостаточно проченъ—этого я, за давно-прошедшимъ временемъ, не упомню; помню только, что онъ безпрерывно твердилъ: „надо, mon cher, непремѣнно надо это устроить! распущены они, чортъ знаетъ, до чего распущены!“ И еще помню, что распущенность, какъ видно было изъ его словъ, преимущественно заключалась въ томъ, что мужики не особенно сто́рожко относились къ нему, когда онъ проходилъ по селу. А онъ-таки любилъ пройтись гоголемъ по сель-

ской улицѣ, а въ особенности любилъ, чтобы мужикъ издалека увидѣлъ его и, издалека же снявъ шапку, привѣтствовалъ его приближеніе поясным поклономъ.

— Понимаете!—говорилъ онъ мнѣ: — не поклонъ ихъ мнѣ нуженъ, а нужно убѣжденіе, что они сознаютъ свои обязанности относительно меня, что мой авторитетъ, en un mot... vous comprenez?

И вотъ онъ принялся утверждать свой авторитетъ между загибаловскими мужиками или, сказать проще, началъ дразнить мужиковъ. Замѣтитъ мужика, который дѣломъ занятъ, и начнетъ около него гоголемъ похаживать. Пройдетъ разъ мимо; почуетъ мужикъ боярскій духъ, отвѣситъ поясной поклонъ — хорошо; не спохватится — сейчасъ краткое нравоученіе съ иллюстраціями изъ избранныхъ сочиненій по части митирогнозіи. Черезъ минуту, только-что мужикъ вновь углубился въ занятіе — хвать, анъ помѣщикъ опять тутъ какъ тутъ! Опять утвержденіе авторитета, опять раздающееся на все село: го-го-го! И до тѣхъ поръ такъ дѣйствовалъ, покуда облюбованный мужикъ не убѣждался, что нужно выкинуть изъ головы всякую заботу о дѣлѣ, и вмѣсто того стоять выпучивши глаза и выглядывать, не появится ли гдѣ нибудь баринъ, чтобъ своевременно отвѣсить ему требуемый поклонъ.

Такимъ образомъ онъ перепробовалъ всѣхъ мужиковъ своего имѣнія, и дѣйствительно добился-таки, что всѣ они выпучили глаза. Много было тутъ и комическихъ сценъ, но, право, больше было трагедіи. Авторитетъ былъ насажденъ, но мужицкія хозяйства запустѣли, а вслѣдъ затѣмъ, естественно, послѣдовала задержка и въ барскихъ оброкахъ. Однакожъ, какъ человѣкъ идейный, мой знакомецъ и съ этимъ мирился, лишь бы цѣль его жизни была достигнута. Но вотъ пробилъ грозный часъ, часъ уплаты процентовъ опекунскому совѣту. Ни денегъ, ни цѣнностей не было —все обращено было въ авторитетъ. Разумѣется, село Загибалово было въ непродолжительномъ времени продано съ аукціоннаго торга.

Вы можете, о, молодые карьеристы, вывести изъ этой критики такое поученіе, какое сами заблагоразсудите; я же, съ своей стороны, обязываюсь прибавить одно: что сравненіе съ сейчасъ названнымъ помѣщикомъ не только не унизительно, но даже черезчуръ лестно для васъ. Знакомецъ мой былъ человѣкъ хотя и не умный, но идейный, и въ пользу разъ облюбованной идеи жертвовалъ даже пирогомъ. Вы же, оставаясь неумными, хотите въ одно и то же время и дразниться, и пирогъ за собой сохранить!.. Развѣ это естественно?

И замѣтьте, что вы не платонически только дразнитесь, а прямо являетесь въ жизнь съ твердымъ намѣреніемъ „дѣлать нарочно". Вы вполнѣ серьезно убѣждены, что воспроcлавиться можно только поступая наперекоръ, *дѣлая нарочно*. Откуда пришло къ вамъ это убѣжденіе, кто внѣдрилъ его въ васъ —этого я рѣшительно не понимаю. Не думаю, чтобъ это внушили вамъ почтеннѣйшіе ваши родители; не предполагаю также, чтобъ вы почерпали этотъ принципъ въ стѣнахъ „заведеній", которыя охраняютъ вашу юность, и еще меньше могу допустить, чтобъ вы могли наслышаться объ немъ отъ татаръ Борелева ресторана, гдѣ вы по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ исподволь пріучаетесь прожигать жизнь. И родители, и воспитатели, и Боре-

левскіе татары виноваты развѣ въ одномъ: что они черезчуръ ужъ любуются вами, черезчуръ желаютъ вамъ успѣховъ, однихъ успѣховъ! Они убѣждены заранѣе, что вы явились въ міръ затѣмъ единственно, чтобы преуспѣвать и дѣлать карьеры. Вы—провиденціальные мальчики, и въ согласность этому и воспитаніе вамъ даютъ провиденціальное же, то-есть безъ участія наукъ, которыя впослѣдствіи могли бы заставить васъ остановиться, задуматься или вообще какъ-нибудь васъ огорчить. Отсюда общая увѣренность, что вы „достигнете“—непремѣнно. Но средствъ, къ которымъ вы прибѣгнете, чтобъ воспрославиться, угадать нельзя, потому что они мѣняются сообразно съ условіями времени. Эти средства вы создаете сами. Вы отгадываете, откуда и какимъ вѣтромъ дуетъ; вы видите примѣры вашихъ ближайшихъ сверстниковъ; вы чутко слѣдите за ихъ быстрыми шагами на пути карьеръ и молодечества и, согласно съ этими наблюденіями, совершенно точно опредѣляете, какая въ данномъ случаѣ потребуется доза проворства, бойкости, а пожалуй даже и нахальства. Такимъ образомъ уже въ стѣнахъ школы устанавливается въ вашихъ понятіяхъ цѣлая традиція, и на основаніи ея образуется извѣстный товарищескій „духъ“. Вотъ этотъ-то именно „духъ“ я и не могу назвать доброкачественнымъ.

„Дѣлать нарочно“, то-есть дѣйствовать наперекоръ общему мнѣнію и здравому смыслу—вещь далеко не новая. И тутъ можно найти очень поучительные прецеденты въ крѣпостной практикѣ. Помѣщики неумные всегда такъ поступали; они заставляли людей дѣлать именно такое дѣло, къ которому послѣдніе совсѣмъ неспособны, и, по какому-то совершенно безумному капризу, отрывали ихъ отъ работы въ такое время, когда работа всего больше необходима. Въ особенности же держались этой системы при распредѣленіи сельскихъ и хозяйственныхъ должностей, стараясь угадать, кто именно, въ качествѣ старосты или приказчика, можетъ быть всего непріятнѣе мужикамъ. Предполагалось... но чтò именно тутъ предполагалось—этого даже приблизительно понять нельзя. Вѣроятно что-нибудь тоже въ родѣ „утвержденія авторитетовъ“. Но выходила неслыханная безсмыслица и неслыханное страданіе. Безумные люди какъ бы мстили хлѣбу за то, что онъ насыщаетъ ихъ. И мстили систематически, съ серьезнымъ тупоуміемъ, ни на минуту не задумываясь надъ тѣмъ, что могильная тишина, которой они достигали, переполнена проклятіями.

Но мало того, что это вещь не новая — она, сверхъ того, и положительно вредная. Продолжительное практикованіе подобной системы убиваетъ не только тѣхъ, на которыхъ она практикуется, но и тѣхъ, которые практикуютъ ее. Оно дѣлаетъ практикующаго злымъ. О, молодые люди! вы не знаете, какая это трудная задача быть злымъ! Это тягчайшая изъ всѣхъ казней, въ которой соединяются: и отказъ отъ человѣческаго образа, и отрѣшеніе отъ радостей и благъ жизни, и добровольное самоустраненіе отъ общенія съ живыми людьми. Кто изъ васъ рѣшится этой цѣной купить себѣ славу человѣка, сгибающаго въ бараній рогъ? Взгляните на портреты наиболѣе прославившихся „сгибателей“—чтò вы увидите на этихъ угрюмыхъ и озабоченныхъ лицахъ, кромѣ безразсвѣтнаго мрака тоски! Пронеслись они безплоднымъ, изсушающимъ вѣтромъ по лицу земли; разоряли, преслѣдовали по пя-

тамъ, душили и наконецъ сами задохлись въ судорогахъ снѣдавшей ихъ угрюмости! И даже могилы ихъ стоятъ забытыми, потому что всякій спѣшитъ скорѣе пройти мимо, чтобы не вспомнить кошмара, который неразлученъ съ памятью объ нихъ...

Увы! все это еще при жизни было написано на ихъ лицахъ! все, даже предчувствіе забвенія, которое окружитъ ихъ могилы!

Тоска, отчаянье, одиночество, почти одичалость—вотъ старость, которую вы готовите себѣ. Конечно, эта метаморфоза можетъ на первый взглядъ показаться вамъ рискованною и даже смѣшною. Покуда вы еще такіе радостные, проворные, общежительные—трудно даже представить себѣ, чтобы для васъ когда-нибудь наступилъ періодъ тоски и одичалости. Къ сожалѣнію, это не только возможно, но и неизбѣжно. Прикосновеніе къ извѣстной жизненной практикѣ производитъ въ человѣкѣ измѣненія по истинѣ волшебныя. Оно сушитъ жизненные соки; оно разомъ порываетъ тѣ невидимыя нити, которыя связываютъ человѣка съ человѣкомъ; оно отчуждаетъ человѣка, кладетъ на него печать выморочности. Стало быть, въ сущности, васъ ждетъ не перспектива молодечества, а перспектива унынія и медленнаго одинокаго разложенія. Подумайте объ этомъ теперь, когда еще не ушло время, потому что *послѣ*, когда въ васъ окончательно притупится способность воспринимать впечатлѣнія, когда вы *привыкнете* — будетъ уже поздно. Освоившись съ атмосферой, которая сама собой образуется вокругъ васъ, вы уже не найдете въ себѣ ни силы, ни даже потребности жить внѣ ея.

О, молодые люди! когда вы съ такимъ неизреченнымъ легкомысліемъ начинаете грозить отечеству: „вотъ я тебя!“ —вы не повѣрите, какъ тяжело бываетъ смотрѣть на васъ! И жалость беретъ, и отвращеніе, и страхъ. Жалость — къ вамъ, отвращеніе — къ вашей неблаговоспитанности, страхъ — за все испуганное, валяющееся въ прахѣ, не имѣющее ни силы придти въ себя, ни смѣлости взглянуть вамъ въ глаза, Но что̀ ужаснѣе всего: вы до такой степени презираете все, что̀ *не вы*, что ничего не хотите ни слышать, ни видѣть, ни понимать. Все кругомъ предостерегаетъ васъ, а вы все-таки идете напроломъ, грудью впередъ... куда?

Передъ вами лежитъ громадная загадочная масса, и вы полагаете, что ее можно сразу разгадать и опредѣлить одною фразой: „въ баранiй рогъ согну!“ Право, такое опредѣленіе слишкомъ просто и коротко, чтобъ быть вѣрнымъ. Хотя это замѣчаніе и чисто внѣшняго свойства, но, повѣрьте, оно имѣетъ свою цѣну. Сложная масса и опредѣленій требуетъ сложныхъ — это аксіома, которую вамъ придется признать при первомъ нѣсколько серьезномъ столкновеніи съ жизнью. А вѣдь отъ этихъ столкновеній и вы не обезпечены, какъ ни беззавѣтно одушевляющее васъ легкомысліе...

. . . .

Я знаю, что въ числѣ моихъ читателей очень многіе упрекнутъ меня за выборъ предмета, которому я посвятилъ эти бѣглые очерки. — Что такое эти провиденціальные младенцы? — скажутъ они: —это не больше, какъ безсильная каста сорванцовъ-недоумковъ, которая, конечно, вызываетъ досаду своимъ откровеннымъ безстыдствомъ, но которая, вслѣдствіе самой своей безсодержательности, никакъ ужъ не можетъ вліять на будущее; это кучка изолиро-

ванныхъ, непомнящихъ родства призраковъ, которые несомнѣнно исчезнутъ при первомъ появленіи солнечнаго луча. Масса, у которой и своего дѣла по горло, у которой нѣтъ времени смотрѣть на представленія Богъ вѣсть откуда явившихся клоуновъ, не только не чувствуетъ ихъ присутствія, но даже не знаетъ объ ихъ существованіи. Еслибъ они воистину имѣли рѣшающій голосъ въ историческихъ судьбахъ, то мы давно бы видѣли повсемѣстное запустѣніе. Но вѣдь этого нѣтъ, но жизнь еще не сложила оружія — стало быть, нѣтъ основанія и для опасеній. Пускай безумцы посылаютъ въ пространство свои угрозы, пускай пробуютъ свои молодыя силы на подвигахъ безцѣльнаго молодечества — угрозы ихъ разнесетъ вѣтеръ, подвиги не перейдутъ за черту заколдованнаго круга, въ которомъ они зародились. Стоитъ ли обращать вниманіе на эти преходящія сновидѣнія, въ которыхъ нечего осязать и которыя, вдобавокъ, до того безсвязны, что невозможно прослѣдить въ нихъ ни начала, ни средины, ни конца. Призраки всегда были и всегда будутъ. Всегда существовалъ этотъ досадный фантастическій міръ, который надоѣдливо жужжалъ въ уши и присаживался какъ можно ближе къ пирогу. И никогда онъ не измѣнялъ себѣ, хотя внѣшнія формы его въ разное время были различны. Всегда онъ хвастался, лгалъ и пустословилъ; но пустословіе это не оставляло слѣдовъ. И кто эти люди? — какіе-то едва вышедшіе изъ курточекъ младенцы... Брысь!

Къ сожалѣнію, въ этомъ возраженіи я вижу только одну подробность, съ которой могу безусловно согласиться. А именно: что изслѣдуемый мною міръ есть воистину міръ призраковъ. Но я утверждаю, что эти призраки не только не безсильны, но самымъ рѣшительнымъ образомъ вліяютъ на жизнь. Это ужасно унизительно, но это такъ. Я понимаю очень хорошо, что съ появленіемъ солнечнаго луча призраки должны исчезнуть, но, увы! я не знаю, когда этотъ солнечный лучъ появится. Вотъ это-то именно и гнететъ меня, это-то и заставляетъ ощущать страхъ за будущее. Мы ждемъ, что лучъ освѣтитъ нашу жизнь не дальше какъ завтра, но вѣдь и предшественники наши этого ждали, и ихъ предшественники — тоже. Отъ начала вѣковъ этого ждутъ, тысячи поколѣній сгорѣли въ этомъ ожиданіи, а міръ все еще кишитъ призраками. И наша дѣйствительность до того переполнена, заполнена ими, что мы изъ-за массы призраковъ не видимъ очертаній жизни. Мало того: мы сами отчасти дѣлаемся призраками, принимаемъ ихъ складку. Возможна ли обида горше этой? Увы! они сильнѣе силы, живучѣе жизни, эти призраки! И я, который пишу эти строки, я пишу ихъ подъ игомъ призраковъ; и вы, читающіе эти строки — вы тоже читаете ихъ подъ игомъ призраковъ...

Правда, что призраки, о которыхъ я повелъ рѣчь, черезчуръ мизерны и юны, и потому ихъ призрачность кажется какъ бы сугубою. Тѣмъ не менѣе я продолжаю утверждать: это тѣ самые призраки, которые стерегутъ наше ближайшее будущее! Что же касается до солнечнаго луча, то и я жду его вмѣстѣ съ прочими, но ожиданіе это нимало не разрѣжаетъ тяжелыхъ потемковъ, которые царствуютъ окрестъ.

. . . .

Какъ бы то ни было, но изложенныя сейчасъ размышленія не на шутку встревожили меня. Я считаю себя добрымъ родственникомъ, люблю кузину Nathalie („она такая слабенькая, совсѣмъ куколка“) и охотно переношу эту любовь на ея сына. Мнѣ было бы очень больно, еслибъ Өеденька игралъ дѣятельную роль въ этой мальчишеской комедіи потрясанія перстомъ. Я знаю, конечно, что начальство довольно снисходительно смотритъ на шалости молодыхъ людей, но вѣдь неровёнъ часъ, вдругъ оно спроситъ: „а позвольте, господа, узнать, кто уполномочилъ васъ дразнить вашихъ согражданъ и глумиться надъ любезнымъ отечествомъ?“ Что отвѣтитъ на этотъ вопросъ Өеденька? Боюсь я, сильно боюсь, какъ бы мнѣ не пришлось сгорѣть за него со стыда!

Хоть онъ и не носитъ моей фамиліи, но все-таки онъ... Неугодовъ!! Неугодовъ... гдѣ, бишь, „сидѣлъ“ какой-то Неугодовъ? кому, бишь, другой такой же Неугодовъ цѣловалъ крестъ? Вотъ они... Неугодовы!! Ужъ ради одного этого можно было побезпокоиться, чтобы послѣдній отпрыскъ этихъ достославныхъ „сидѣльцевъ“ и „цѣловальниковъ“ не осрамился въ конецъ.

Подъ вліяніемъ этихъ тревогъ я рѣшился какъ можно скорѣе узнать, какъ полагаетъ Өеденька поступить съ Россіей въ томъ недалекомъ будущемъ, когда чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника украситъ его формуляръ.

Первое марта.

На мое приглашеніе повидаться Өеденька отвѣтилъ кратко: „Не могу. Дѣла по горло. Утромъ—читаю и запасаюсь фактами; вечеромъ — предсѣдательствую въ комисіи. Когда-нибудь разскажу подробно“. Разумѣется, это извѣстіе еще больше взволновало меня. „Въ комисіи!“, „предсѣдательствуетъ!“—такъ и звенѣло у меня въ ушахъ.

Къ сожалѣнію, я — литераторъ. Было время, когда я не могъ себѣ представить ничего завиднѣе этого положенія. Теперь я это представленіе значительно видоизмѣнилъ, и выражаюсь ужъ такъ: хорошо быть литераторомъ, но не дѣйствующимъ, а *бывшимъ*. Да, именно такъ: не настоящимъ литераторомъ, не тѣмъ, который мучительно мечтаетъ, какъ бы объѣхать на кривой загадочнаго незнакомца, а тѣмъ, который, совершивъ все земное, ясными и примиренными глазами смотритъ на жизненную суету, твердо увѣренный, что суета эта пройдетъ мимо, не коснувшись до него ни единымъ запросомъ, ни единымъ униженіемъ, ни единой тревогой...

Онъ послужилъ на свой пай литературѣ, и послужилъ достаточно: онъ принесъ и ей, и обществу посильную дань пользы; онъ уврачевалъ множество скорбей и на безчисленныя раны пролилъ бальзамъ исцѣленія; онъ испыталъ въ свое время и тревоги борьбы, и сладости одолѣнія (разумѣется, относительнаго): онъ предалъ забвенію первыя и съ благодарнымъ сердцемъ вспоминаетъ о вторыхъ; онъ вынесъ изъ своего литературнаго прошлаго цѣ-

лый запасъ анекдотовъ, которыми многіе годы можетъ продовольствовать массу своихъ почитателей; онъ добился общаго признанія своихъ заслугъ, и наконецъ—о, заслуга превыше всѣхъ заслугъ!—онъ умѣлъ во-время сознать, что изъ сего лимона болѣе ничего не выжмешь, а затѣмъ смириться и воскликнуть: довольно! Какое положеніе можетъ быть почтеннѣе этого?

Онъ ужъ не литераторъ, но не считать его литераторомъ нѣтъ никакой возможности. Во-первыхъ, это значило бы обидѣть человѣка ни въ чемъ неповиннаго, кромѣ маститости; во-вторыхъ, это было бы жестоко, ибо исключеніе изъ литературнаго сонмища лишило бы его утѣшенія разсказывать, какимъ путемъ онъ былъ приведенъ къ необходимости написать свой первый тріолетъ, и, въ-третьихъ, это было бы неправильно и потому, что, несмотря на „отставку", отъ всей фигуры этого счастливаго человѣка все еще такъ и прыщетъ тріолетами и акростихами. Правда, что все это тріолеты прошлаго; но кто же поручится, что онъ вотъ-вотъ и сейчасъ не разразится какимъ-нибудь рондо?

Человѣку, котораго въ теченіе 30—40 лѣтъ насквозь пронизывала литературная „проходимость" и сопряженныя съ нею учрежденія, перестать сознавать себя литераторомъ столь же немыслимо, какъ рыбной ватагѣ, насквозь пропитанной тузлукомъ, перестать быть ватагою. Сверхъ того, правильно или неправильно, но съ званіемъ литератора въ общественномъ мнѣніи соединяется представленіе объ „умномъ человѣкѣ". Княгиня Долгоухова, приглашая къ себѣ на чашку чая графиню Корноухову, говоритъ: „у меня будетъ литераторъ такой-то", и это означаетъ, въ переводѣ на обыкновенный языкъ: будетъ человѣкъ интересный, умный, nous nous amuserons. Стало быть, отказъ отъ званія литератора былъ бы равносиленъ сопричисленію себя къ лику неумныхъ людей, что совершенно противоестественно. Вотъ почему никто изъ вкусившихъ отъ „литературной проходимости" уже не отказывается отъ нея. Сгорбленный, съ палочкой въ рукахъ, бредетъ отставной литераторъ по солнечной сторонѣ Невскаго проспекта, и все-таки сознаетъ себя литераторомъ. Онъ уже утратилъ „словесность" и даже въ крайнихъ случаяхъ только разѣваетъ ротъ, но въ тѣ немногія минуты, когда кашель, одышка, цензурныя сердцебіенія (особливая, свойственная только литератору болѣзнь) и прочіе недуги оставляютъ его свободнымъ, онъ пользуется этими сладкими мгновеніями, чтобы коснѣющимъ языкомъ провозгласить: „да, я—еще литераторъ!"

И такъ, не считать его литераторомъ—невозможно. Но въ то же время нельзя и считать его литераторомъ, ибо онъ уже не ядоносецъ и торговлю „заблужденіями" прикрылъ навсегда...

Положеніе нѣсколько двойственное, но вполнѣ завидное. Съ одной стороны публика не перестаетъ благоговѣть передъ маститымъ человѣкомъ и втайнѣ даже какъ бы вопрошаетъ его: ужели же ты не подаришь насъ новымъ тріолетомъ? Съ другой стороны начальство уже простило ему всѣ бывшія заблужденія. И такимъ образомъ всѣмъ онъ равно достолюбезенъ, всѣмъ равно милъ. Отъ однихъ—почтенъ, отъ другихъ—прощенъ. Вчера еще онъ былъ разбойникомъ печати, подрывателемъ основъ и краеугольныхъ камней; сегодня — онъ только пріятнѣйшій собесѣдникъ, увлекательнѣйшій разсказ-

чикъ и несравненный дамскій кавалеръ. При видѣ его сердца дамъ мгновенно зажигаются восторгомъ (впрочемъ невиннымъ), блюстители же благоустройства и благочинія весело потираютъ руки, восклицая: „отъ этого человѣка, какъ отъ козла—ни шерсти, ни молока!“ Повторяю: какой удѣлъ можетъ быть слаще?

Совсѣмъ въ другомъ видѣ представляется удѣлъ, уготованный судьбою писателю дѣйствующему. Публика видитъ въ немъ человѣка подневольнаго, и потому обращается съ нимъ безъ малѣйшаго благоговѣнія. Она не вопрошаетъ его со страхомъ: „ужели тотъ тріолетъ, который мы недавно прочитали—твой послѣдній тріолетъ?“ но говоритъ прямо: „вотъ каторжный, который напишетъ намъ столько тріолетовъ, сколько мы сами того пожелаемъ!“ Иногда публика охотно читаетъ его, но никогда съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ *не* читаетъ писателя *бывшаго*. А что касается до женскаго пола, то объ этомъ и говорить нечего. Въ глазахъ дамочекъ дѣйствующій литераторъ уже потому одному неинтересенъ, что ему вѣчно некогда. Ни тонкаго разговора о женской правоспособности повести, ни пощекотать замысловатымъ женскимъ парадоксомъ, ни поисповѣдывать насчетъ какихъ-нибудь péchés mignons, ни растревожить воображеніе — ничего онъ не можетъ. Сидитъ этотъ „писачка“ запершись у себя въ кабинетѣ и все строчитъ. Тогда какъ бывшій литераторъ — все у него къ услугамъ дамъ. И душа покладистая, и тѣло досужее, и языкъ безъ костей...

Съ своей стороны и начальство смотритъ на дѣйствующаго литератора съ нѣкоторою осмотрительностью. Оно знаетъ, что литература, вслѣдствіе вѣкового недоразумѣнія, считается украшеніемъ, но въ то же время не игнорируетъ и того, что излишество украшеній производитъ непріятную для глазъ пестроту. Вотъ кабы всѣ дѣйствующіе литераторы какимъ-нибудь сладкимъ волшебствомъ вдругъ превратились въ литераторовъ *бывшихъ* — вотъ было бы хорошо! Напримѣръ, Державинъ... ода „Богъ“, „Фелица“... Или даже это:

Вечоръ красавицы-дѣвицы
Мѣшокъ пшеницы принесли:
Вѣдь расклюютъ же даромъ птицы —
Возьми, старинушка, смели!

Вотъ это хорошо! Или вотъ Пушкинъ... хотя все-таки лучше было бы, еслибъ онъ былъ Державинымъ, а не Пушкинымъ — ну, да ужъ Богъ ему, покойнику, проститъ! А эти дѣйствующіе литераторы... ахъ, эти литераторы!

Словомъ сказать, дѣйствующій литераторъ представляется чѣмъ-то закоренѣлымъ, нераскаяннымъ и до такой степени заблуждающимся, что онъ, подобно анекдотическому пошехонцу, способенъ „въ трехъ соснахъ заблудиться“.

Разница въ положеніяхъ, какъ видитъ читатель, громадная...

Къ глубокому моему огорченію, я до сихъ поръ принадлежу къ числу литераторовъ дѣйствующихъ. Я знаю и понимаю, что давно бы мнѣ слѣдовало оставить заблужденія, давно пора бы предать забвенію письменныя принадлежности и вообще „забыться и заснуть“, но — увы! — обстоятельства сильнѣе меня. Здѣсь не мѣсто объяснять, какого рода эти обстоятельства, но

я долженъ сознаться, что „возвышенное“ и „прекрасное“ играютъ въ нихъ сравнительно довольно второстепенную роль. Я—работникъ, труженикъ, и ежели „заблуждаюсь“, то преимущественно потому, что человѣку, однажды взявшему въ руки перо, невозможно не заблуждаться. Заблужденія какъ-то сами собой выростаютъ изъ-подъ пера, и чѣмъ быстрѣе бѣжитъ перо по бумагѣ, тѣмъ больше и больше оно плодитъ заблужденій. Разговариваю я въ большинствѣ случаевъ не только здраво, но и благонамѣренно, но едва прикасаюсь перомъ къ бумагѣ — сейчасъ же начинаю заблуждаться. Даже корреспонденты „Московскихъ Вѣдомостей“ — и тѣ, мнѣ кажется, кружатъ въ трехъ соснахъ, именно благодаря тому, что помело, которое они употребляютъ, и помои, въ которыя макаютъ это помело, все-таки прообразуютъ собой перо и чернила.

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній дѣлается понятнымъ, что я положительно теряюсь всякій разъ, какъ только прослышу, что гдѣ-нибудь затѣвается какая-нибудь комисія. О чемъ будетъ трактовать эта комисія, какія новыя выдумки начнетъ разработывать — это для меня безразлично. Я знаю впередъ, что рано или поздно, такъ или иначе, она все-таки кончитъ тѣмъ, что займется литературой. Сначала задѣнетъ ее косвенно, потомъ больше и больше, а наконецъ совсѣмъ забудетъ о предстоящихъ ей специальныхъ выдумкахъ и займется исключительно литературой и одушевляющимъ ее „вреднымъ направленіемъ“...

Очень возможно, что я и заблуждаюсь — на то я и литераторъ, чтобъ заблуждаться — но почему-то мнѣ думается, что иначе оно не можетъ и быть. И даже не „почему-то“ такъ думается, а просто-на́-просто я имѣю твердыя и достовѣрныя основанія такъ думать. Скучно вѣдь сидѣть въ этихъ комисіяхъ, господа, адски скучно! Именно только адская скука и сопряженное съ нею прекраснѣйшее содержаніе могутъ заставить людей издать сто-одинъ томъ „Трудовъ“, имѣя при томъ въ перспективѣ издать и еще столько же, безъ всякой надежды на результатъ! Представьте себѣ, напримѣръ, положеніе такого шустраго и правоспособнаго малаго, какъ мой Ѳеденька. Приходитъ онъ въ помѣщеніе засѣданія комисіи, и сразу же чувствуетъ одно непреодолимое желаніе: какъ можно скорѣе удрать! Да и какъ не имѣть ему этого желанія! Въ комнатѣ царитъ казенная нагота; по срединѣ стоитъ форменный столъ, обставленный форменными же креслами; на столѣ въ изобиліи разставлены зажженныя свѣчи, но и за всѣмъ тѣмъ и стѣны, и потолокъ кажутся погруженными въ сумерки. Темно, голо, даже холодно, несмотря на то, что дрова отпускаются казенныя. Дамочекъ нѣтъ и въ поминѣ; вмѣсто нихъ тамъ и сямъ мелькаютъ испитыя лица какихъ-то крохоборцевъ, и у каждаго изъ нихъ въ рукѣ громадный картонный листъ съ наклеенными на немъ бумажками. Это „матеріалы“. Какъ тутъ поступить? неужто и въ самомъ дѣлѣ начать дебатировать? объ чемъ? Нѣтъ, проще всего, не вдаваясь въ разсмотрѣніе вопроса по существу, прямо предать „матеріалы“ тисненію. Рѣшили. А потомъ? Увы! времени впереди еще много, а удрать невозможно — какая же это будетъ комисія! — чѣмъ заняться, какъ провести время, чтобы отбыть урочные часы? Вотъ тутъ-то именно и является на выручку литература.

Во-первыхъ, литература, въ качествѣ „украшенія“, всякому сама по себѣ бросается въ глаза. Во-вторыхъ, она имѣетъ слабость интересоваться

комисіями и слѣдить за ихъ трудами. Это послѣднее свойство въ особенности, служитъ для нея источникомъ безчисленныхъ и мучительнѣйшихъ огорченій.

Чуть только пройдетъ по городу слухъ, что нарождается новая комисія, какъ литература уже начинаетъ ликовать: „чу, слава Богу! теперь скоро!“ Но проходитъ полгода, проходитъ годъ, десять лѣтъ, наконецъ сто лѣтъ, а объ комисіи ни слуху, ни духу — словно въ воду канула! Извѣстно только, что члены ея неупустительно собираются, неупустительно получаютъ присвоенное содержаніе и упорно наклеиваютъ бумажки на громадные картонные листы. Натурально, литература начинаетъ роптать. Сколько было возбуждено свѣтлыхъ надеждъ и какъ безпощадно онѣ тускнѣютъ одна за другой! Учтиво, но твердо напоминаетъ она, что такого-то числа исполнится столько-то лѣтъ со времени учрежденія комисіи, и что по этому случаю предполагается даже устроить коммеморативный семейный обѣдъ въ одной изъ залъ Hôtel Demouth. „Что сдѣлала комисія въ теченіе столь продолжительнаго періода времени? вопрошаетъ“ литература и тутъ же отвѣчаетъ: „объ этомъ мы поговоримъ въ слѣдующій разъ“...

Угроза не особенно страшная, но она вноситъ переполохъ въ сердца членовъ комисіи. Ожиданіе, что вотъ-вотъ о нихъ „въ слѣдующій разъ“ что-то поговорятъ, приводитъ ихъ въ негодованіе. Не то чтобы они чувствовали страхъ, но — помилуйте! — вѣдь этакъ *всякій*... *Всякій* будетъ угрожать, *всякій* будетъ обсуждать, *всякій* будетъ выкладывать, что ему Богъ на сердце положитъ! *Всякій*! И вотъ картоны съ наклеенными бумажками откладываются въ сторону, и на сцену выступаетъ литература. Сначала произносится слово: „распущенность“, потомъ: „неуваженіе авторитетовъ“, потомъ: „вредное направленіе вообще“, и наконецъ... „потрясеніе основъ“!.. И все это по поводу лишь того, что Ѳеденькѣ показалось обиднымъ, что объ немъ кто-то собирается поговорить „въ слѣдующій разъ“...

Меня всегда удивляло одно: зачѣмъ литература доводитъ себя до такихъ катастрофъ ради комисій, занимающихся изданіемъ ста-одного тома „Трудовъ“? Какое ей дѣло до комисій? какое дѣло комисіямъ до нея? Ужели нельзя существовать рядомъ безъ взаимныхъ раздраженій? Истинно, истинно говорю: можно существовать. И ежели объясняю себѣ это изумительное qui pro quo, то именно тѣмъ, что таково уже свойство всякаго дѣйствующаго (воинствующаго) литератора, что, разъ взявшись за перо, онъ уже не можетъ не заблуждаться. Независимо отъ его воли, это перо наплодитъ такую массу заблужденій, что для искупленія ея недостаточно будетъ всей совокупности каръ, поименованныхъ въ „Уложеніи о наказаніяхъ“.

Но ежели литературѣ свойственно заблуждаться, то комисіямъ еще свойственнѣе негодовать. Каждый въ этомъ конфликтѣ находится въ своей роли, каждый исполняетъ свое провиденціальное назначеніе. Поймите въ самомъ дѣлѣ, какъ же это такъ: *всякій* будетъ понуждать, *всякій* будетъ угрожать, *всякій* будетъ говорить: вѣдь комисія-то спитъ! Какимъ образомъ сохранить, при подобномъ порядкѣ вещей, душевное равновѣсіе, потребное для полученія присвоеннаго содержанія?

И эта способность приходить въ негодованіе по поводу „сованій носа“,

по поводу „непрошенныхъ разглагольствій“ и „хожденій съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь“ свойственна не только, такъ сказать, природнымъ членамъ комисій, но и всякому русскому культурному человѣку, которому судьба броситъ на разжеваніе хоть какой-нибудь, хоть даже просто-на-просто бросовый вопросъ. Лично каждый культурный человѣкъ готовъ во всякое время и купить, и продать; но разъ онъ очутился около какихъ-нибудь крохъ и имѣетъ возможность производить сортировку ихъ—онъ будетъ защищать и эти крохи, и эту сортировку до изступленія. И будетъ негодовать на всякаго, кто затѣетъ *сунуть свой носъ* въ его *домашнее* дѣло.

Пусть каждый изъ читающихъ эти строки обдумаетъ ихъ и пускай затѣмъ добросовѣстно отвѣтитъ: какъ бы онъ сталъ поступать, еслибы случай сдѣлалъ его членомъ, напримѣръ, комисіи объ отысканіи „корней и нитей“, и еслибы, по случаю столѣтняго ея юбилея, какой-нибудь *всякій* осмѣлился намекнуть, что учрежденіе это (безспорно полезное), издавъ триста-три тома „Трудовъ“, все-таки ни корней, ни нитей не отыскало? По крайней мѣрѣ, что касается до меня, то я публично каюсь: покуда я не нахожусь въ составѣ комисіи (какой бы то ни было — это безразлично) — я заблуждаюсь, то-есть изыскиваю средства *сунуть свой носъ*; но едва лишь меня *помѣстили* въ оную — я закусываю удила и дѣлаюсь способнымъ только „негодовать“, то-есть на всѣхъ перекресткахъ вопіять:—помилуйте! есть ли возможность спокойно работать, ежели *всякій* будетъ „совать свой носъ“!

И еще характеристичная особенность! Хотя мы, культурные люди, имѣемъ замѣчательную охоту къ разработкѣ „вопросовъ“, но предметомъ этой разработки почти всегда дѣлаемъ вопросы чисто-отрицательнаго свойства. Нѣтъ, чтобы что-нибудь оплодотворить, или открыть на пять копѣекъ втунѣ лежащихъ богатствъ, а непремѣнно искоренить, истребить, послѣднія пять копѣекъ растратить. Какъ будто провиденціальная наша задача именно въ томъ и состоитъ, чтобы все безъ остатка въ три дня разрушить и во сто лѣтъ ничего не воздвигнуть.

Помню, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, судьба заперла меня на цѣлыхъ полгода въ Ниццѣ. Русскихъ въ этомъ городѣ—масса (что въ значительной степени обусловливается близостью Монте-Карло съ его рулеткою), и въ этомъ множествѣ набралось человѣкъ съ десятокъ знакомыхъ, для которыхъ поѣздки въ Монте-Карло представлялись не съ руки. Въ томъ числѣ были: два земскихъ дѣятеля, одинъ предводитель дворянства, одинъ непомнящій родства экономистъ, одинъ задыхающійся прокуроръ, одинъ малокровный штабсъ-ротмистръ, одинъ „старый дипломатъ“ (съ совершенно голою, точно дѣтскою головой), два государственныхъ младенца (послѣдніе шестеро съ сохраненіемъ содержанія) и я. Всѣ мы безъ отдыха кашляли, пили микстуры, ѣли пилюли и претерпѣвали адскую скуку. Кругомъ — блескъ и прозрачность; солнце такъ и горитъ; на темно-синемъ небѣ ни облачка; Средиземное море плещетъ; померанцы благоухаютъ; пальмы, олеандры, лавровыя деревья чаруютъ взоры... а мы сидимъ, кашляемъ и тоскуемъ. Нѣтъ у насъ ни собственнаго дѣла, ни собственной жизни. Министерство Бюффè-Брольи падаетъ, уступая министерству Бюффè-Дюфора, а намъ все равно. Гамбетта произноситъ рѣчь за рѣчью, а у насъ скулы болятъ отъ зѣвоты. Префектъ, мосьё Декрè, балъ даетъ —

насъ не приглашаетъ, и мы не печалимся этимъ, хотя понимаемъ, что въ качествѣ „знатныхъ иностранцевъ“ имѣемъ право предъявить къ мосьё Декрѐ претензію. Ни намъ ни до кого дѣла нѣтъ, ни до насъ никому дѣла нѣтъ. Живемъ, какъ жили бы у себя въ Замоскворѣчьи, и не понимаемъ, что̀ тутъ такого, въ этой „заграницѣ“, привлекательнаго. Развѣ вотъ услышимъ, что г. Фонъ-Дервизъ столько-то десятковъ тысячъ пожертвовалъ въ пользу бѣдныхъ города Ниццы и былъ по этому случаю почтенъ отъ мосьё Декрѐ визитомъ — ну, на минутку какъ будто оживимся, молвимъ: „вотъ истинно русскій патріотъ, который высоко держитъ знамя Россіи!“ И затѣмъ — опять ничего. Даже родная Русь — и та представляется воображенію словно окутанная туманомъ, и ничѣмъ не напоминаетъ о себѣ, кромѣ замоскворѣцкой скуки. Думали мы, думали, какъ тутъ поступить, и наконецъ одинъ изъ государственныхъ младенцевъ подалъ отличный совѣтъ.

— Придумалъ я, господа, прекраснѣйшее развлеченіе, — сказалъ онъ однажды, — именно: выберемте какой-нибудь вопросъ, образуемъ изъ себя комисію для разработки его и будемъ поступать такъ точно, какъ бы мы поступали, засѣдая въ заправской комисіи. Во-первыхъ, это напомнитъ намъ объ интересахъ родной земли, а во-вторыхъ поможетъ скоротать время вполнѣ на родной манеръ!

Мысль эта была всѣми встрѣчена съ увлеченіемъ. „Чудесно!—думалось всѣмъ:—и старая скука отъ насъ не уйдетъ, и новой скуки отвѣдаемъ—все же, между двухъ скукъ, скорѣе время пройдетъ!“ Оставалось, слѣдовательно, найти „вопросъ“, который могъ бы достойнымъ образомъ занять наши досуги. Стали отыскивать. Экономистъ, разумѣется, высказался, что всего приличнѣе было бы заняться обсужденіемъ вопроса о лежащихъ втунѣ богатствахъ, но предложеніе это было встрѣчено не только съ недовѣріемъ, но даже почти съ нетерпѣніемъ.

— А ну ихъ!—единогласно отозвались всѣ.

Затѣмъ нѣкоторое время, для приличія, поцеремонились, но наконецъ сознали ясно, что въ средѣ русскихъ культурныхъ людей. даже подъ темно-синимъ небомъ Ниццы, даже ради „игры“, не можетъ быть никакой иной комисіи, кромѣ комисіи объ искорененіи.

— Объ искорененіи чего?—какъ будто изумился экономистъ.

Но этотъ вопросъ уже никого не засталъ врасплохъ.

— Тамъ увидимъ! начнемъ дебатировать — оно само собой опредѣлится!—отвѣчали одни.

— Ка̀къ объ „искорененіи чего“? — просто-на̀-просто удивились другіе.

Вообще вопросъ экономиста всѣмъ показался настолько безпочвеннымъ, что даже самъ формулировавшій его сейчасъ же убѣдился въ его неумѣстности и поспѣшилъ взять назадъ свое предложеніе, яко нарушающее общее душевное равновѣсіе.

И вотъ, избравъ своимъ предсѣдателемъ „стараго дипломата“, помощникомъ его—предводителя дворянства, а секретарями—двухъ государственныхъ младенцевъ, мы начали ежедневно собираться и дебатировать. Что собственно мы дебатировали—этого я теперь опредѣлить не могу. Можетъ быть.

позабылъ, но, можетъ быть, и никогда не помнилъ. Помню только, что изъ нашихъ дебатовъ что-то выходило, или по крайней мѣрѣ выходило настолько, что въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ существованія нашей комисіи накопилось до десяти томовъ „Трудовъ".

Помаленьку да понемножку мы все искоренили: и то̀, что̀ служитъ начальству огорченіемъ, и то̀, что̀ приноситъ ему утѣшеніе. Искоренять такъ искоренять, особливо въ Ниццѣ, гдѣ никто, даже мосьё Декрè, не шепнетъ, что вотъ, дескать, явились какіе-то одержимые, которые и то̀, что̀ подрываетъ основы, истребляютъ, да и тому, что̀ поддерживаетъ оныя, поблажки не даютъ. Но, обсудивъ внимательнѣе подлежащіе искорененію предметы, мы все-таки пришли къ заключенію, что ничто не будетъ надлежащимъ образомъ искоренено, покуда не будетъ искоренена... литература. Какимъ образомъ мы пришли къ этому заключенію — я опять-таки объяснить не могу, но полагаю, что идея объ искорененіи литературы есть идея врожденная, отъ природы свойственная русскому культурному человѣку. Какой вредъ наносила литература намъ, „шляющимся" людямъ, собравшимся вкупѣ для „игры въ комисіи" — это теперь для меня совсѣмъ непонятно. Но помню, что когда я находился въ самомъ сердцѣ „дѣла", было и понятно, и убѣдительно.

Однакожъ въ началѣ „игры", ощущая себя литераторомъ, я затесался „налѣво" (лѣвѣе меня сидѣлъ только прокуроръ, но тотъ ужъ былъ чистѣйшей воды монтаньяръ) и довольно бодро и высоко держалъ знамя оппозиціи. Помню даже, что однажды, когда малокровный штабсъ-ротмистръ, споспѣшествуемый прокуроромъ, предложилъ одну часть произведеній литературы сжечь рукою палача, а другую потопить въ рѣкѣ, литераторовъ же водворить въ уѣздный городъ Мезень (прокуроръ, вмѣсто Мезени, допускалъ Варнавинъ — одною степенью меньше), то я не выдержалъ и произнесъ очень горячую и прочувствованную рѣчь.

— Господа!—сказалъ я: — я понимаю, что вопросъ объ искорененіи литературы не могъ избѣжать предназначенной ему участи, но рѣшительно не могу понять того ожесточенія, съ которымъ вы приступаете къ его обсужденію. Что̀ сдѣлала наша литература столь преступнаго, что вы находите недостаточнымъ простое ея искорененіе, но предлагаете таковое съ употребленіемъ огня и меча? Чѣмъ заслужила она участіе палача въ имѣющемъ постигнуть ее искорененіи? Или оскудѣли городовые? Или стрѣлы небесныя и земныя утратили свою силу и мѣткость? Нѣтъ, все идетъ своимъ чередомъ, городовые стоятъ на своихъ мѣстахъ, а небо, какъ и древле, сыплетъ на насъ своими молніями!.. А мы, простые гулящіе русскіе люди, въ платоническомъ изступленіи раздираемъ на себѣ ризы! Почему?

— Я знаю, васъ возмутило то̀, что въ полученномъ нами вчера нумерѣ газеты „Чего изволите?", вмѣстѣ съ сообщеніемъ о засѣданіяхъ нашей комисіи, намъ дается благожелательный совѣтъ не проводить время въ безплодномъ наклеиваніи бумажекъ на картонные листы, но дѣйствительно искоренить все, что̀ искорененію подлежитъ („А что̀ же не подлежитъ?" съ грустью спрашиваетъ себя газета)... Я охотно допускаю вмѣстѣ съ вами: лучше бы, еслибъ совѣта этого не было. Но, относясь къ дѣлу безпри-

страстно, все-таки нахожу, что тутъ еще нѣтъ большого худа. Во-первыхъ, благодаря этому сообщенію, на насъ обращены взоры цѣлой Россіи, что даже весьма лестно; во-вторыхъ, предметовъ, подлежащихъ искорененію, накопилось такое множество, что поторопиться съ этимъ дѣломъ — дѣйствительно не лишнее; въ-третьихъ, ежели допустить, что непріятно видѣть, какъ какая-нибудь газета „суетъ свой носъ", такъ вѣдь это непріятность не особенно важная и притомъ скоропреходящая. Разъ „сунетъ носъ", въ другой „сунетъ носъ", а въ третій... яко исчезаетъ дымъ... Да, именно такъ. Развѣ, кромѣ насъ, не найдется благожелательныхъ лицъ, которыя съ послѣднею ясностью докажутъ газетѣ, что „совать носъ" не полагается? Развѣ сама газета, съ врожденною ей готовностью, не поспѣшитъ усвоить себѣ эту точку зрѣнія? Я самъ литераторъ, господа...

При этомъ напоминаніи прокуроръ быстро взвился съ своего кресла и, обращаясь къ предсѣдателю, задыхающимся голосомъ прошипѣлъ:

— Прошу г. предсѣдателя напомнить *защитнику*, что здѣсь онъ долженъ забыть о своей прикосновенности къ литературѣ...

Произнеся это, онъ закашлялся и проглотилъ пару дегтярныхъ пилюль; предсѣдатель же съ дѣтскимъ любопытствомъ взглянулъ на меня, какъ бы выжидая, не извинюсь ли я. Разумѣется, я поспѣшилъ исполнить его желаніе.

— Я ужъ давно забылъ, — продолжалъ я: — и если это горькое воспоминаніе сорвалось съ моего языка, то совсѣмъ не для того, чтобы оскорбить почтенныхъ моихъ товарищей по комисіи, а для того единственно, чтобы собственнымъ примѣромъ подкрѣпить сейчасъ высказанную мною мысль Я по опыту знаю, господа, съ какою готовностью наша литература усвоиваетъ точки зрѣнія, указываемыя ей благожелательными лицами. Я не всегда кашлялъ, не всегда страдалъ одышкой, милостивые государи! не всегда былъ калѣкой! Было время, когда и я былъ тѣмъ... ну, тѣмъ, объ чемъ теперь позабылъ! И какъ сейчасъ помню — я даже любилъ, когда мнѣ сообщали „точки зрѣнія". „Такъ я, стало-быть, заблуждался?" — обыкновенно говорилъ я въ этихъ случаяхъ: „извольте, я это заблужденіе въ слѣдующемъ же нумерѣ искуплю!" И искупалъ. Вотъ какъ легко и пріятно это дѣлается, а совсѣмъ не такъ, какъ представляютъ это дѣло люди радикальной партіи, которые желаютъ внушить, будто въ это время въ груди у литераторовъ...

На этомъ мѣстѣ рѣчь моя была снова прервана, потому что прокуроръ потребовалъ, чтобъ меня призвали къ порядку. Предсѣдатель нѣсколько мгновеній растерянно осматривался по сторонамъ, но наконецъ рѣшился:

— Призываю васъ къ порядку, cher collègue! — сказалъ онъ: — я дѣлаю это съ стѣсненнымъ сердцемъ, но вы понимаете, что ежели господинъ прокуроръ сдѣлаетъ обо мнѣ недостаточную аттестацію, то я...

— Понимаю, — отвѣчалъ я, — и съ покорностью принимаю вашъ призывъ. Но позволю себѣ сказать нѣсколько словъ въ свое оправданіе. Упоминая о людяхъ радикальной партіи, я отнюдь не хотѣлъ этимъ названіемъ оскорбить кого бы то ни было. Еслибъ я употребилъ это выраженіе въ смыслѣ, напримѣръ, Ледрю-Роллена — я понимаю, что этимъ мною была бы нанесена серьезная обида. Но я — русскій человѣкъ, господа, и очень хорошо знаю, объ

чемъ говорю. У насъ радикалы своеобразные; у насъ радикалами называются преимущественно тѣ, которые особливую пользу приносятъ по части пресѣченія и предупрежденія. Я лично зналъ одного подчаска, который говорилъ мнѣ: „ахъ, еслибъ эти долгогривые знали, какъ я имъ втайнѣ сочувствую!“ И дѣйствительно, онъ „сочувствовалъ“, хотя это не мѣшало ему блюсти за своевременною сколкой льда въ ввѣренномъ ему районѣ! Такъ вотъ объ какихъ радикалахъ я упоминалъ. Затѣмъ возвращаюсь къ предмету моей рѣчи. Вы говорите, господа, что литературу слѣдуетъ предать огню и мечу, но прежде, нежели вы рѣшитесь сдѣлать зависящее по сему предмету распоряженіе, позвольте вамъ напомнить, что литература, по общему сознанію, есть „украшеніе“. Это не я говорю — это говорятъ всѣ; это скажетъ даже каждый изъ васъ, какъ только оставитъ стѣны этого помѣщенія и очутится на Promenade des Anglais.

— Тамъ, встрѣтившись съ мосьё Карромъ *) или съ мосьё Нервѐ **), вы непремѣнно заведете рѣчь о литературѣ, удивитесь богатству французской литературы и, вздохнувъ, присовокупите: „счастлива та страна, въ коей процвѣтаетъ литература“. Почему вы скажете все это? — а потому, что каждый изъ васъ съ малыхъ лѣтъ слышалъ и привыкъ вѣрить, что литература есть „украшеніе“! Какимъ же образомъ вы приступите къ этому „украшенію“ съ огнемъ и мечомъ! Не обольются ли кровью ваши сердца? не помутится ли въ васъ разсудокъ?

— Я знаю, вы скажете мнѣ, что это недоразумѣніе, которое комисія не имѣетъ ни малѣйшей обязанности принимать въ разсчетъ. Соглашаюсь и съ этимъ. Но недоразумѣніе это создано вѣками, господа, и слѣдовательно если нынѣ и ощущается потребность разрушить его, то пускай же это разрушеніе произойдетъ постепенно, при помощи мѣръ рѣшительныхъ, но не бросающихся въ глаза, — однимъ словомъ, пускай процессъ искорененія совершится самъ собою, такъ сказать, естественнымъ путемъ. Забудьте объ огнѣ и шпигуйте потихоньку — и вы увидите, что газета „Чего изволите?“, на которую вы такъ негодуете, сама пойметъ, что ей ничего другого не остается, какъ умереть...

— Но этого мало. Я не могу скрыть отъ васъ, что въ томъ вѣковомъ недоразумѣніи, которое утвердило за литературой названіе „украшенія“, очень сильное участіе принимаетъ и общій просвѣтительный уровень страны. Чѣмъ просвѣщеннѣе страна, тѣмъ упорнѣе держится въ ней мнѣніе о томъ, что составляетъ истинное ея „украшеніе“. Поэтому, даже при усвоеніи рекомендуемаго мною метода постепенности, вамъ придется прибѣгнуть не къ одному непосредственному шпигованію, но и заглянуть нѣсколько вглубь. Я знаю, что вы очень высокаго мнѣнія о просвѣщеніи, и, конечно, не захотите искоренить его (хотя, сколько мнѣ помнится, потребные для сего мате-

*) Альфонсъ Карръ, извѣстный французскій писатель, живущій въ Ниццѣ.

**) Мѣстный ниццскій фельетонистъ, которому ниццскія интернаціональныя дамы предварительно показываютъ свои костюмы, предназначенные для выѣзда на балъ, дабы не произошло ошибки при описаніи ихъ въ предстоящемъ газетномъ фельетонѣ.

ріалы уже собраны и составляютъ пятый томъ „Трудовъ"), но урегулировать его все-таки не откажетесь. Подумайте однако, какая это гигантская работа! и сколько пройдетъ времени, покуда вы не урегулируете просвѣщеніе до той степени, что даже самое представленіе о литературѣ изгладится изъ народнаго сознанія!

— Затѣмъ мнѣ остается сказать лишь немного словъ въ заключеніе. Но слова эти очень вѣски, и я чувствую всю тяжесть отвѣтственности, которая падетъ на меня за нихъ. Милостивые государи! вамъ, конечно, небезъизвѣстно выраженіе: scripta manent. Я же, подъ личною за сіе отвѣтственностью, присовокупляю: semper manent, in secula seculorum! Да, господа, литература не умретъ! не умретъ во вѣки вѣковъ! А посему, какъ бы намъ съ нашей комисіей не осрамиться! Все, что̀ мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время обратится частью въ развалины, частью въ навозъ—одна литература вѣчно останется цѣлою и непоколебленною. Одна литература изъята отъ законовъ тлѣнія, она одна не признаетъ смерти. Несмотря ни на что, она вѣчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ будущаго. Не найдется такого момента въ исторіи человѣчества, про который можно было бы съ увѣренностью сказать: вотъ моментъ, когда литература была упразднена. Не было такихъ моментовъ, нѣтъ и не будетъ. Ибо ничто такъ не соприкасается съ идеей о вѣчности, ничто такъ не поясняетъ ее, какъ представленіе о литературѣ. Мы испытуемъ вѣчность, мы стараемся понять ее — и большею частью изнемогаемъ въ нашихъ попыткахъ; но вспомнимъ о литературѣ—и мы хотя отчасти откроемъ тайну вѣчности! Ахъ, господа, господа! Я очень хорошо понимаю, какъ все это прискорбно для насъ, членовъ комисіи „объ искорененіи", и сердце мое сжимается болью, когда я произношу эти слова; но скрыть отъ васъ эти соображенія — выше силъ моихъ! Будемте же мудры, милостивые государи! оставимъ мысль о мечѣ и огнѣ и удовольствуемся примѣненіемъ къ литературѣ тѣхъ мѣръ простого искорененія, которыя вы находите достаточными въ видахъ устраненія кражи земскихъ и иныхъ общественныхъ суммъ. Dixi et animam levavi.

Я кончилъ, но ни одно рукоплесканіе не поощрило меня. Напротивъ, члены смотрѣли мрачно, и какъ только умолкъ мой голосъ, всѣ единогласно немедленно потребовали голосованія безъ преній. Моего мнѣнія, какъ ни на чемъ не основаннаго, даже не голосовали, а прямо занялись мнѣніемъ штабсъротмистра и прокурора. Мнѣніе это было принято *единогласно*. Всѣ десять шаровъ были положены направо, а стало быть въ томъ числѣ и мой. И я помню, что я не только не удивился этому, но даже нашелъ весьма естественнымъ.

Только спустя часъ, гуляя по Promenade des Anglais, я опомнился. Встрѣтилъ легкомысленнаго фельетониста Певцо и разсказалъ ему, какое у насъ убійство произошло и какъ я геройски при этомъ себя велъ.

— Чѣмъ же рѣшили?—спросилъ онъ меня.

— Ну, разумѣется, предать огню и мечу!

— Saperlotte! а вы?

— Ну, разумѣется, и я вмѣстѣ съ другими...

— Est-ce possible!

— Mais que voulez-vous que je fasse!

. . . .

Послѣ этого я, разумѣется, никогда не игралъ въ комиласіи, но достаточно было одного сейчасъ описаннаго случая, чтобъ оставить во мнѣ неизгладимое впечатлѣніе. Зная по опыту, какъ естественно русскій человѣкъ приходитъ къ мысли о необходимости искорененія литературы, и зная въ то же время, что ничто такъ близко не соприкасается съ идеей о вѣчности, какъ представленіе о литературѣ, я не только самъ лично стараюсь держаться въ сторонѣ отъ всякихъ комисій, но и за родственниковъ своихъ боюсь, если вижу, что они начинаютъ задумываться о томъ, какъ бы подойти поближе къ пирогу. Непремѣнно онъ что-нибудь насчетъ литературы выдумываетъ! думается мнѣ: — и выдумаетъ! непремѣнно выдумаетъ!

Сознаюсь откровенно, что въ эти опасенія входитъ въ значительной долѣ и личное чувство. Повторяю: я — литераторъ дѣйствующій, я — труженикъ, обязанный держать въ рукѣ перо ежеминутно, и обремизить меня очень легко.

Поэтому тревога моя, по полученіи извѣстія объ участіи Өеденьки въ трудахъ какой-то комисіи, очень понятна. — Ужели онъ, ради фельдмаршальскаго жезла, и дядю родного не пощадитъ? — съ тоскою твердилъ я себѣ, предпославъ этому восклицанію цѣлое разсужденіе объ ослабленіи родственныхъ узъ въ наше непостоянное время.

Наконецъ я не вытерпѣлъ и самолично отправился къ Өеденькѣ. Но тутъ меня ждалъ новый ударъ: меня просто-на-просто не допустили до него. Лакей безъ церемоніи загородилъ мнѣ входъ въ эдемъ, и на всѣ мои домогательства съ твердостью отвѣчалъ, что его превосходительство (должно быть, по классу занимаемой должности) занятъ съ Иваномъ Михайлычемъ...

Кто этотъ Иванъ Михайлычъ? можетъ быть, это какой-нибудь новый Бертрамъ...

Да, это Бертрамъ! Не будь Ивана Михайлыча, очень возможно, что дѣло и обошлось бы; но Иванъ Михайлычъ...

Я возвращался отъ Өеденьки домой и грустно напѣвалъ дуэтъ Бертрама и Рембо...

А что если бы подыскать Алису?.. Фуй!

Во всякомъ случаѣ я утратилъ надежду видѣться съ Өеденькой... до 1-го апрѣля. Перваго апрѣля, въ праздникъ Пасхи, онъ навѣрное заѣдетъ похристосоваться съ своимъ старымъ дядей...

—

Первое апрѣля.

Предчувствіе не обмануло меня: въ день Пасхи Ѳеденька явился-таки ко мнѣ. Онъ уже покончилъ съ визитами и пріѣхалъ отдохнуть, но былъ, какъ и слѣдуетъ въ такой великій праздникъ, во фракѣ. Разумѣется, мы похристосовались.

— Хочешь, яйцо велю подать?

— Спасибо, дядя; вы вотъ на что̀ лучше посмотрите,—отвѣтилъ онъ, указывая на аннинскій крестъ, висѣвшій у него на шеѣ. Крестъ былъ новый, большой и удивительно какъ изящно покоился (именно покоился!) на богатырской груди юноши.

Я пріятно изумился. Отступилъ два шага назадъ, прищурился и развелъ руками въ знакъ родственнаго умиленія.

— Помимо св. Станислава! — продолжалъ между тѣмъ Ѳеденька и прибавилъ:—joli?

Часъ отъ часу не легче. Отъ изумленія пришлось перейти къ гордости и вновь похристосоваться.

— Послушай, Théodore, — сказалъ я: — до сихъ поръ я понималъ, что можно утѣшаться родственниками, но теперь начинаю понимать, что можно и гордиться ими. Да!

— Спасибо, mon oncle!

— Да, я увѣренъ, что ты пойдешь... далеко пойдешь, мой другъ. Разумѣется, однакожъ, ежели Богъ спасетъ тебя отъ похищенія казенныхъ или общественныхъ денегъ...

Но Ѳеденька съ такимъ неподдѣльнымъ негодованіемъ протестовалъ противъ самой мысли о возможности подобнаго случая, что я вынужденъ былъ объясниться.

— Другъ мой!—сказалъ я:—ежели я позволилъ себѣ формулировать опасеніе насчетъ растраты денегъ, то совсѣмъ не потому, чтобы надѣялся, что ты непремѣнно его выполнишь, а для того, чтобы предостереженіемъ моимъ еще болѣе утвердить тебя на стезѣ добродѣтели. Мужайся, голубчикъ! ибо, по нынѣшнему слабому времени, надо обладать несомнѣннымъ геройствомъ, чтобы не стянуть плохо лежащаго куша, особливо ежели онъ большой. Но ежели ты, будучи аннинскимъ кавалеромъ, сверхъ того сознаешь себя и героемъ, то, разумѣется, тѣмъ лучше для тебя! Поздравляю... герой!

Повидимому это объясненіе его тронуло, такъ что и онъ, въ свою очередь, возгордился мной.

— Mon oncle!—сказалъ онъ, крѣпко сжимая мои руки: — я тоже... да, я горжусь вами... горжусь тѣмъ, что вы—мой дядя! Ахъ, еслибы вы...

Онъ остановился, не досказавъ своей мысли, и молча потупилъ голову. Однакожъ я понялъ его.

— Еслибъ я не былъ литераторомъ, хотѣлъ ты сказать?—спросилъ я его.

— Да... нѣтъ... нѣтъ, не то! — оправдывался онъ. — И Державинъ былъ литераторомъ, и Дмитріевъ... Ода „Богъ“ — c'est sublime, il n'y a rien à dire! Ахъ, еслибы вы...

— Оду „Богъ“ написалъ?.. Ну, ну... хорошо... успокойся! постараюсь! Словомъ сказать, мы обнялись и опять похристосовались.

— А маменька знаетъ объ *этомъ*? — спросилъ я, указывая на крестъ.

— Знаетъ. Сейчасъ получилъ отъ нея телеграмму изъ Парижа. Вотъ.

„Pétersbourg. Znamenskaya, 11.
„Néougodoff.
„Félicite chevalier. O Pâques! o sainte journée! Envoyez 4.000 francs, demain échéance; sinon—Clichy. Nathalie“.

Сердце у меня такъ и ёкнуло. „Вотъ сейчасъ попроситъ денегъ!“ думалось мнѣ. И вдругъ:

-- Дядя! нѣтъ ли у васъ?—обратился онъ ко мнѣ.

Вопросъ этотъ ужасно меня смутилъ. Деньги у меня на ту пору были, но почему-то мнѣ казалось, что онѣ мнѣ самому нужны. Нынче всѣмъ вообще деньги надобны, и вотъ почему столь многіе крадутъ. Но и краденыя деньги не бросаютъ зря всякому просящему, а тоже говорятъ: „самимъ нужны“. Чтò же сказать о деньгахъ собственныхъ, кровныхъ? А сверхъ того и еще: въ кои-то вѣки сколотишь изрядный кушъ и думаешь: вотъ теперь-то я распоряжусь... И только-что начнешь подносить ко рту кусокъ, какъ приходитъ нѣкто и выхватываетъ его. Ужасно непріятно.

— Дядя! вѣдь Clichy! —какъ-то тоскливо пискнулъ Ѳеденька, видя мое раздумье.

— Да вѣдь за долги, кажется, ужъ не сажаютъ?

— Тамъ—сажаютъ, mon oncle.

— Ахъ, Боже, какое варварство! Про русскихъ говорятъ, что они— варвары, а между тѣмъ у насъ... Да, мой другъ, мы должны гордиться, что живемъ въ странѣ благоустроенной, а не въ какой-нибудь Макмагоніи, которая не нынче—завтра превратится въ Гамбеттію! Конечно, у насъ нѣтъ многаго, чтò у нихъ есть, но за то и у нихъ нѣтъ многаго, чтò есть у насъ. Христосъ воскресъ! поцѣлуемся!

— Такъ вы дадите, дядя?

— А у тебя развѣ нѣтъ?

— Ни драхмы!

Непріятно въ высшей степени. Я только-что разсчитывалъ побаловаться лѣтомъ. Вотъ, говорятъ, Егаревъ французиенокъ какихъ-то необыкновенныхъ законтрактовалъ... И еще говорятъ: въ Зоологическомъ саду женщину-великана показывать будутъ, которая у себя на груди цѣлое блюдо съ 20-ти-фунтовымъ ростбифомъ ставитъ, да такъ, шельма, и ѣстъ! Хорошо бы со всѣмъ этимъ подробнѣе ознакомиться, не въ качествѣ зрителя, а, такъ сказать, не въ примѣръ другимъ... Но, съ другой стороны, какъ же оставить и Nathalie? Чтò такое Nathalie? Nathalie — это сорокапятилѣтняя сахарная куколка, которая... И даже не „которая“, а просто куколка—и все тутъ. Можетъ ли „куколка“ не тратить денегъ?—Нѣтъ, не можетъ. Она тратитъ ихъ ненарочно, тратитъ, потому что это въ ея природѣ, какъ въ природѣ у птицы—пѣть. Она тратитъ все время, покуда находится въ бодрственномъ состояніи, то-есть начиная съ той минуты, когда она совершила свой утренній туалетъ, и до

той, когда облачится въ свой ночной туалетъ. И все, что она ни видитъ передъ собой — все считаетъ подлежащимъ завладѣнію. Ежели глиняную свистульку увидитъ, и той овладѣетъ: не попадайся на глаза! И ежели у нея нѣтъ денегъ, чтобы купить, она возьметъ въ долгъ. И нѣтъ той хитрости, которую бы она не пустила въ ходъ, чтобъ пріобрѣсти деньги или кредитъ. То назоветъ себя княгинею, то солжетъ, что у нея золотые пріиски или рыбныя ловли—*là-bas*, dans les steppes. Даже наклевещетъ на себя, не постыдится намекнуть, что у нея есть богатый любовникъ. А ежели и за всѣмъ тѣмъ не добудетъ ни наличныхъ, ни кредита, то будетъ проводить время въ *желаніи* тратить деньги, въ *желаніи* дѣлать долги. Хорошо, что природа устроила такъ, что и „куколкамъ" нуженъ сонъ, отдыхъ, пища, а мода, въ свою очередь, возложила на нихъ обязанность одѣваться и causer avec les messieurs. Еслибы этого не было, онѣ и то время, которое нужно для сна и одѣванья, тоже употребляли бы на то, чтобы тратить. И еще хорошо, что природа лишь до извѣстной степени одарила ихъ глаза способностью разбѣгаться, потому что въ противномъ случаѣ онѣ навѣрное потребовали бы разомъ весь magasin du Louvre. И еслибъ имъ сказали, что это нельзя, таких, дескать, денегъ нѣтъ, то онѣ съ четверть часа были бы неутѣшны и затѣмъ отправились бы въ магазинъ Au bon marché.

И такую-то „куколку"—въ Клиши! за что? за то ли, что она выполняетъ свое провиденціальное назначеніе? За то ли, что у нея и maman была куколка, и воспитательницы—куколки, и подруги юности—куколки? За то ли, что и у покойнаго ея мужа, штабсъ-ротмистра Неугодова, селезенка играла при одной мысли, что у него въ домѣ будетъ... „куколка"?

Конечно, серьезно быть спутникомъ жизни такой „куколки" должно быть нѣсколько глуповато; но смотрѣть и млѣть со стороны, или быть штабсъ-ротмистромъ и видѣть, какъ она порхаетъ, какъ все ее радуетъ и все огорчаетъ, и какъ она при этомъ сквозь слезки лепечетъ: „ахъ, я вѣдь совсѣмъ-совсѣмъ глупенькая!"—воля ваша, это высокое эстетическое наслажденіе! Нѣтъ, надо непремѣнно послать Nathalie деньги, и даже какъ можно скорѣе, потому что она, пожалуй, ненарочно и фальшивыхъ документовъ надѣлаетъ. Развѣ она знаетъ? развѣ она можетъ что-нибудь взвѣсить, предвидѣть, различить? Nathalie... un coeur d'or!

— Деньги у меня готовы,—произнесъ я твердо.

— Mon oncle! vous êtes un coeur d'or!

— Но съ двумя условіями,—продолжалъ я: — во-первыхъ, мы сегодня обѣдаемъ вмѣстѣ...

— Ахъ, mon oncle!—не только обѣдаемъ, но и весь вечеръ, весь день... сколько угодно!

— Во-вторыхъ, мы сейчасъ же редактируемъ вмѣстѣ телеграмму Наташѣ,—разумѣется, отъ твоего имени. Это необходимо выполнить какъ можно скорѣе. Nathalie — милая; но именно поэтому-то она и способна надѣлать глупостей.

Мы присѣли къ столу и соединенными силами редактировали слѣдующее:

„Paris. Grand hôtel
„Nathalie Néougodoff.

„Pâques deux jours banques fermées. Après demain aurez somme voulue Venez Pétersbourg prison pour dettes abolie Pouvez tout acheter sans payer.

„Néougodoff“.

— Ты понимаешь,—сказалъ я, когда депеша была готова: — если ей не пообѣщать, что она можетъ здѣсь покупать безъ денегъ, то она скажетъ себѣ: зачѣмъ же я туда поѣду? Тогда какъ на этихъ условіяхъ ей будетъ навѣрное лестно воротиться на родину.

Но Ѳеденьку вся эта процедура повидимому повергла въ печальное настроеніе.

— Ахъ, maman, maman!—произнесъ онъ, грустно вздыхая.

— Что такое: maman? Maman какъ maman! Не у одного тебя, и у другихъ. Вонъ у твоего школьнаго товарища Самогитскаго, котораго быстрой карьерѣ ты, помнишь, какъ-то разъ позавидовалъ, такъ у него maman прямо на содержаніи живетъ, а онъ не только не груститъ, но даже пользуется этимъ!

— Ахъ, дядя-голубчикъ! вѣдь вы не знаете... Монрепо̀-то наше ужъ продано!

— Какъ! Монрепо̀!

— Да, Монрепо̀... le sabre... то-бишь, les cendres de mon père! Продано, дядя, продано!

— Однако... вы шибко!

— Все продано, больше и продавать нечего, а *она*—то въ Ниццѣ, то въ Парижѣ!.. Повѣрите ли, однажды даже вдругъ въ Систовѣ очутилась... зачѣмъ? И отовсюду шлетъ телеграмму: argent envoyez! А гдѣ я возьму!! Вотъ и теперь: еслибъ не ваша помощь — гдѣ бы мнѣ эти четыре тысячи франковъ добыть?

Сердце мое вновь ёкнуло: плакали, стало быть, мои денежки! Однакожъ я кое-какъ скрѣпился и произнесъ:

— Ничего, Богъ милостивъ! какъ-нибудь устроитесь!

— Нѣтъ, не устроимся... никогда мы не устроимся, mon oncle! Пробовалъ я ее урезонить и однажды даже совершенно искренно изложилъ всю неприглядность нашего матеріальнаго положенія — и вотъ какой отвѣтъ получилъ. Прочтите.

Ѳеденька вынулъ изъ кармана бумажникъ, порылся въ немъ и подалъ мнѣ вчетверо сложенную бумажку, развернувъ которую, я прочиталъ:

„Неблагодарный сынъ Ѳедоръ!

„Оскорбительное твое письмо получила и заключающимися въ ономъ неумѣстными наставленіями была глубоко возмущена. Но я—мать, и знаю, что есть законъ, который меня защититъ. Законъ сей велитъ дѣтямъ почитать родителей и покоить оныхъ; послѣднимъ же даетъ право непочтительныхъ дѣтей заключать въ смирительныя и иныя заведенія. До сихъ поръ я симъ

предоставленнымъ правомъ не пользовалась, но ежели обстоятельства къ оному меня вынудятъ, то повѣрь, что я съумѣю доказать, что и у меня нѣтъ недостатка въ твердости души...

„A toi de coeur

„Nathalie“.

„P. S. Au nom du ciel envoyez au plus vite l'argent que je vous ai demandé“.

Письмо было писано посторонней рукой, но подпись и postscriptum несомнѣнно принадлежали Наташѣ. И что̀ всего замѣчательнѣе: подлѣ ея имени виднѣлось размазанное пятно: очевидно, сюда капнула слезка. Стало быть, Nathalie въ одно и то же время и скорбѣла, и понимала, что исполняетъ долгъ. Сердце ея сжималось, слезки капали, но она все-таки подписалась подъ письмомъ... потому что это былъ ея долгъ!

— Слушай!—воскликнулъ я въ изумленіи:—да откуда же она узнала о существованіи смирительнаго дома?

— Стало быть, узнала.

— А что̀ ты думаешь! вѣдь это у нихъ, должно быть, врожденное, то-есть у русскихъ культурныхъ маменекъ вообще. Я помню, покойница матушка—ужъ на что, кажется, любила меня—а разсердится, бывало — сейчасъ: „я тебя въ Суздаль-монастырь упеку!“ Тогда, другъ мой, Суздаль-монастырь родителей утѣшалъ, а теперь, съ смягченіемъ нравовъ, смирительный домъ явился. Какъ ты думаешь, что̀ лучше?

— Ахъ, mon oncle!

— Я, съ своей стороны, полагаю, что Суздаль-монастырь лучше, потому что, въ сущности, это было нѣчто миѳическое, скорѣе анекдотъ, нежели быль. Смирительный же домъ, особливо при существованіи суда милостиваго и скораго, есть нѣчто конкретное, отъ чего ужъ не отвертишься, коли на то дѣло пошло! Гм... да... Но съ которыхъ же поръ она *симъ* и *онымъ* выучилась—такъ и сыплетъ!

— Не знаю... Вѣроятно это письмо для нея Дроздовъ написалъ... Помните, у меня воспитатель былъ?

Ѳеденька сказалъ это и вдругъ весь заалѣлся.

— Длинный такой, точно пожарная кишка?.. помню, помню! Сколько разъ онъ, бывало, пугалъ меня... Взойдешь невзначай въ комнату, а онъ вдругъ въ углу взовьется, въ знакъ привѣтствія, и сейчасъ же, совсѣмъ неожиданно, пополамъ переломится. Неужели же онъ?

— Онъ, mon oncle. Она его гдѣ-то подъ Телищемъ встрѣтила—онъ туда съ корпіей отъ дамскаго кружка командированъ былъ—и съ тѣхъ поръ по Европѣ возитъ. И всѣмъ рекомендуетъ: „l'ami de feu mon mari“... это Дроздовъ-то! Помните, какъ разъ его покойный папенька нагайками отодралъ... Онъ, mon oncle, онъ! Онъ вѣроятно и деньги у нея выманиваетъ. Voici la vérité... triste vérité, mon oncle!

Ѳеденька замолчалъ и отвернулся къ окну.

— Ахъ, бѣдный мой! бѣдный!—невольно воскликнулъ я.

— Сколько вреда эти исторіи мнѣ дѣлаютъ, еслибъ вы знали!—продолжалъ онъ, не оборачиваясь ко мнѣ:—наше милое, бѣдное Монрепо̀...

— Ну, какъ-нибудь... что̀ тутъ! У тебя родныхъ бездѣтныхъ много—не тотъ, такъ другой; я, напримѣръ, первый...

— Благодарю васъ. Но *теперь*... Во-первыхъ, *теперь* я ничего не имѣю... les cendres de mon père! А во-вторыхъ, развѣ вы думаете, что въ нашихъ „сферахъ" не знаютъ обо всѣхъ этихъ скандалахъ?

— Ну, этого-то, положимъ, ты опасаешься напрасно. Вѣдь ты велъ себя во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненно; ты и Рускину, и Ковалиху, и Большую Ель, и даже Монрепо̀—все продалъ полностью и всѣ деньги къ maman отослалъ. Что же касается до Дроздова, то это, мой другъ, своего рода крестъ. А ты несешь свой крестъ, и не только не протестуешь, но даже деньги занимаешь. Въ сферахъ, о которыхъ ты говоришь, это называется: piété filiale.

— Но она? вѣдь и объ ней говорятъ!

— Она... чтожъ такое она! Она—куколка, а ты—примѣрный сынъ! Вотъ и все. Куколка—это даже мило!

Наконецъ мнѣ кое-какъ удалось-таки утѣшить его, особливо когда я ему растолковалъ, что земли у Бога много, и что ежели онъ будетъ и впредь оправдывать довѣріе начальства, то несомнѣнно современемъ ухватитъ что-нибудь впустѣ лежащее, но совершенно достаточное для основанія новаго Монрепо̀.

— А что вы думаете, дядя?—воскликнулъ онъ весело:—вотъ Ворожбецкій-Пѣтухъ, одного выпуска со мной, а ужъ успѣлъ ухватить полторы тысячки чернозёмцу!

— Ну, вотъ видишь ли! даже примѣръ есть!

Обѣдъ прошелъ очень пріятно. Не было ни ветчины, ни телятины, ничего такого, что̀ напоминало бы о разогрѣтости, о томъ, что обитатели дома сего, благодаря Пасхѣ, осуждены цѣлую недѣлю питаться ветчиной и телятиной. Я замѣтилъ, что Ѳеденьку это очень пріятно поразило и самымъ благотворнымъ образомъ повліяло на его душевное расположеніе. Благодаря этому, я узналъ отъ него два-три чрезвычайныхъ анекдота, мѣстомъ дѣйствія которыхъ былъ салонъ нѣкоторой дѣвицы Домны Феклистовны Отбойниковой, которая годъ тому назадъ вышла замужъ и нынѣ писалась на визитныхъ карточкахъ такъ: „графиня Поликсена Кириловна Dos Amigos, маркиза Flor di tabacco, Pour la Noblesse.

— А ты бываешь-таки въ этомъ салонѣ?

— Разумѣется, бываю.

— Ахъ, ахъ, мой другъ!

— Mon oncle! что-нибудь одно: или достигать и, стало быть, ѣздить къ маркизѣ Pour la Noblesse, или не ѣздить къ ней и оставаться всю жизнь столоначальникомъ.

— Что̀ правильно, то̀ правильно. Это такъ.

— У нея—салонъ, въ которомъ всѣ бываютъ, tout Pétersbourg. Она нынче все о событіяхъ послѣдней войны разсуждаетъ. Говоритъ, напримѣръ, что берлинскій трактатъ ее не удовлетворилъ.

— Ахъ, пакостница!

— Генералами тоже не всѣми довольна: зачѣмъ не взяли Константинополя? И по вопросу о проливахъ, говоритъ, настоящаго рѣшенія не добились.

— И ты все это выслушиваешь?

— Ея нельзя не слушать, mon oncle. Черезъ нее мой товарищъ Крушинцевъ чуть мѣста не потерялъ.

— Какъ такъ?

— Да вотъ какъ. Какъ начались эти толки о проливахъ, слушаетъ она: все Дарданеллъ да Дарданеллъ. Вотъ она отозвала Крушинцева въ сторонку и спрашиваетъ: „скажите, кто этотъ Дарданеллъ?“ А онъ и пошути: „преступникъ, говоритъ, государственный; Россія выдачи его требуетъ, а Турція, по наущенію Англіи, не выдаетъ“. На слѣдующемъ же раутѣ она, разумѣется, и щегольнула: „да скоро ли же, говоритъ, намъ этого господина Дарданелла выдадутъ?“ Ну, картина... Такъ Крушинцевъ послѣ того двѣ недѣли сряду у нея ручки цѣловалъ!

— Простила?

— Простила, потому что въ это время онъ съ ней всю географію прошелъ.

— Ахъ, пакостница!

— Не говорите такъ, mon oncle; она теперь какъ есть „дама“. Одно только: вмѣсто „шоколада“, по старой привычкѣ, „щикалатъ“ говоритъ. И всѣ находятъ, что это очень оригинально.

— Помнишь у Лермонтова:

Ѣмъ мармаладъ,
Пью щикалатъ...

— Вотъ именно. И около нея чуть не цѣлый штабъ. И архистратигъ отставной есть, и „старый дипломатъ“, и даже публицистъ. Этотъ едва-ли даже не главный. Бельомъ, во всю щеку румянецъ, штаны по послѣдней модѣ сшиты, а самъ отчасти тѣломъ, отчасти консервативными убѣжденіями промышляетъ. А она сидитъ между ними и вдохновляетъ.

— Ну, а самого графа Dos Amigos ты когда-нибудь на этихъ раутахъ видалъ?

— Нѣтъ, онъ въ командировкѣ постоянно. Во время войны, въ Плоештахъ ресторанъ содержалъ (она туда съ какимъ-то жидомъ-подрядчикомъ пріѣхала, тамъ его и обрѣла), а теперь, слышно, въ Египетъ, къ хедиву отправился. Одни говорятъ, въ качествѣ chef de cuisine, другіе — министромъ финансовъ. И даже будто бы при поддержкѣ Англіи.

— Однако, братъ, это въ родѣ феерій что-то.

— Нынче и все феерія, mon oncle. У насъ въ курсѣ нѣкто Харченковъ былъ, никакъ не могъ именованныхъ чиселъ понять, а теперь гдѣ плохо лежитъ — онъ ужъ и тутъ. Такъ раскидываетъ умомъ, что чудо!

— Неужто тебя эти иллюстраціи не тревожатъ?

— А что-жъ мнѣ? Я и съ нимъ... Пообѣдаю, выпью — ничего! Онъ вино прямо отъ Шато-Лафита выписываетъ; такъ и говоритъ: „у меня, братъ, съ самимъ Шато-Лафитомъ условіе“... Онъ какъ прослышитъ, что у Егарева

ъ Демидрошкѣ примѣры появились—сейчасъ туда: „мадамъ, вуле-ву сто рублей?.. ну, двѣсти?.. айда!“ А кромѣ того, у него и кругъ знакомства обширный, всѣхъ тамъ встрѣтишь. Ѣшь, пьешь, а между прочимъ и связи завязываешь.

— Слушай! да ты не врешь ли?

— Не вѣрите? не хотите ли, я васъ свезу къ нему? Не съ визитомъ, а прямо обѣдать. Онъ будетъ радъ, скажетъ: „аншантѐ“. А когда вы будете уходить, онъ и напредки пригласитъ: „вене́, когда вздумается; анъ сюрту“. Право, хотите—свезу?

— Нѣтъ, что̀ ужъ! старъ я, да и скучно вѣдь шататься по постоялымъ дворамъ.

— Право, не скучно. А впрочемъ мнѣ вообще нигдѣ не скучно; даже въ засѣданіяхъ благотворительныхъ обществъ, и тамъ я интересное нахожу.

— Это гдѣ дамочки-то?

— Разумѣется: кто же бы меня безъ дамочекъ туда заманилъ!

— А не бываетъ тамъ Дарданелловъ?

— Буквально — нѣтъ, но въ родѣ того. Впрочемъ, откровенно вамъ скажу, я въ этомъ отношеніи реалистъ; на Дарданеллы не обращаю вниманія, а больше принимаю въ разсчетъ тѣлеса. Руководствуясь этимъ, и дамочекъ раздѣляю на два разряда: на хорошенькихъ и *не*-хорошенькихъ. Съ „хорошенькими“, если даже онѣ и не вполнѣ чисто географію знаютъ, мнѣ весело; а съ „*не*-хорошенькими“ - скучно, хотя бы онѣ самого Ксенофонта въ подлинникѣ прочитали. И нынче всѣ мы таковы, вся порядочная молодежь. Конечно, и между нами найдутся такіе, которые будутъ утверждать, что имъ умные разговоры нужны, да это больше для шику. У дамочекъ личико, грудка, ножки, ручки—вотъ главное! Безъ разговоровъ!

— Погоди! женишься, такъ и разговора запросишь!

— Я, дядя, не женюсь. Я знаю, что вмѣстѣ жить безъ разговора нельзя, но знаю также, что разговоръ выйдетъ непремѣнно неудачный. Стало быть, не для чего и пробовать. Притомъ же я умные-то разговоры эти знаю.

— Случалось?

— Знаю. Однажды меня m-me Голумбецкая (вотъ, дядя, дамочка-то —пальчики оближете!) пригласила: „пріѣзжайте, говоритъ, въ четвергъ вечеромъ: у насъ одинъ знаменитый сербъ объ турецкихъ неистовствахъ разсказывать будетъ“. Пріѣхалъ. Въ гостиной—серьезно, тихо, чинно; сидитъ братушка на диванѣ и разсказываетъ; слышится: на̀ колъ, на̀ колъ, на̀ колъ; les messieurs слушаютъ и зѣваютъ въ руку; дамочки стараются смотрѣть на птеца и думаютъ: да когда же, наконецъ, „кувыркомъ“ будетъ? И вотъ, въ эти-то торжественныя, но унылыя минуты я и покорилъ сердце m-me... ну, все равно, чье бы тамъ ни было.

— Браво, Ѳедя! Но возвратимся къ вопросу о женитьбѣ. Еслибъ, напримѣръ, съ капитальцемъ барышня нашлась... ну, полмилліона, милліонъ?..

— Какъ вамъ сказать? кажется, что и на такой не женюсь. Потому что вѣдь съ этими капиталистками одно что-нибудь: либо черезъ нѣсколько мѣсяцевъ отъ милліона ни пера не останется; либо къ милліону начнутъ другой прикапливать, и тогда пойдутъ дрязги, учеты, подозрѣнія, утаиваніе

денегъ у самихъ себя... фуй! Мнѣ, mon oncle, нужно карьеру сдѣлать, и развѣ ужъ тогда, когда все какъ слѣдуетъ обозначится... ну, тогда — быть можетъ...

— Өедя! знаешь ли ты, что чѣмъ больше я тебя слушаю, тѣмъ больше удивляюсь: откуда у тебя такая ума палата?

— Да, mon oncle, несмотря на мои двадцать-четыре года, я знаю женщинъ, и могу сказать это съ увѣренностью. Женщина—это изумительное созданіе! Она неоцѣненна—какъ пирожное, но какъ pièce de résistance — совсѣмъ не годится. Чувствовать себя навсегда связаннымъ съ женщиной — это одно изъ величайшихъ жизненныхъ неудобствъ. Ежели она зла—то злостью убьетъ, ежели добра — добротой убьетъ. Ежели она невѣжественна — отравитъ жизнь наивностями; ежели начитанна и нѣчто знаетъ—доймешь умными разговорами. Поэтому жениться слѣдуетъ только въ такія лѣта, когда ни злость, ни доброта, ни невѣжественность, ни начитанность — ничто ужъ не дѣйствуетъ.

— Өеденька! другъ мой! сейчасъ я сказалъ, что ты уменъ, а теперь прибавлю, что ты даже больше нежели уменъ: ты, такъ сказать, вредоносно уменъ! Вдомёкъ ли тебѣ, что ты просто-на-просто всякое общежитіе упраздняешь? Да. Вѣдь, по твоему, счастливо можно прожить только такъ: съ однимъ пообѣдать, съ другимъ выпить, съ третьимъ объ имѣющемся въ виду мѣстечкѣ побесѣдовать, а съ дамочками — сквернословить и срывать цвѣты наслажденія. И нигдѣ нѣтъ пріюта, и вездѣ пріютъ есть—вотъ, по твоему, какъ! Удобнѣе этого, право, никакая интернаціоналка не выдумаетъ! Исполать тебѣ, другъ мой! Это именно самая современная, самая подходящая жизненная программа, и съ нею ты навѣрное преуспѣешь. Нынче ищутъ такихъ опричниковъ, которые освободили себя отъ всѣхъ обязательствъ общежитія; ими дорожатъ, имъ однимъ вѣру даютъ. И ежели ты примѣнишь свою программу къ болѣе обширнымъ сферамъ дѣятельности, то успѣху твоему конца краю не будетъ. Дерзай, голубчикъ, дерзай!

Өеденька взглянулъ на меня и повидимому изумился.

— Кажется, я васъ огорчилъ, mon oncle? —спросилъ онъ не то сконфуженно, не то иронически.

— Нимало, голубчикъ! Конечно, твоя программа не симпатична мнѣ. Я не понимаю трактирной жизни и не люблю случайныхъ знакомствъ, но вѣдь это во мнѣ застарѣлое, непригодное, такъ сказать—дворянско-ипохондрическое. Я знаю, что я человѣкъ отсталый и что мои симпатіи или антипатіи для тебя не могутъ быть обязательными. Ты—homo novus, и кодексъ у тебя новый. А такъ какъ это кодексъ дѣйствующій и безъ него можно только прятаться отъ жизни — вотъ какъ я — а не преуспѣвать въ ней, то ты, разумѣется, поступаешь вполнѣ цѣлесообразно, посѣщая рауты маркизы Pour la Noblesse и пользуясь гостепріимствомъ господина Харченкова. Кстати: ты давеча объ хедивѣ египетскомъ говорилъ — тебѣ никогда не приходило на мысль предложить ему свои услуги?

— Какой странный вопросъ, mon oncle?

— Вопросъ самый интернаціональный, и слѣдовательно самый подходящій. Переходя изъ трактира въ трактиръ, почему же не зайти и къ хедиву

хрехватить? Впрочемъ я очень радъ, что ты нашелъ мой вопросъ страннымъ. Не ѣзди туда, Ѳедя! У насъ свой пирогъ обширный—всѣмъ мѣсто найдется. La patrie — avant tout. И еще: à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!.. помнишь? Орудуй дома, не ѣзди ни къ хедиву, ни къ Донъ-Карлосу, ни къ Наполеоновой вдовѣ. Христосъ воскресъ! поцѣлуемся!

Обѣдъ кончился, мы поцѣловались и, обнявшись, направились въ кабинетъ.

Я помнилъ однакожъ, что желалъ видѣть у себя Ѳеденьку совсѣмъ не для того, чтобъ пожертвовать въ пользу господина Дроздова четырьмя тысячами франковъ и чтобы выслушать два-три сомнительнаго свойства анекдота. Во-первыхъ, я хотѣлъ знать, какъ Ѳеденька полагаетъ поступить съ Россіей въ случаѣ производства его въ генеральскій чинъ, и буде намѣренія его окажутся слишкомъ жестокими, то по родственному предостеречь; во-вторыхъ меня ужасно интриговало: что̀ такое за комисія, въ которой онъ до того зарылся съ какимъ-то загадочнымъ Иваномъ Михайлычемъ, что даже для меня, своего дяди, дверь заперъ?

Повторяю: я—литераторъ, и потому боюсь. Мысль, что всякая комисія имѣетъ въ предметѣ непремѣнно литературу, и что все остальное, значащееся въ заголовкѣ, служитъ лишь для украшенія этого заголовка, но, въ сущности, представляетъ лишь поводъ для литературной критики — эта мысль совсѣмъ не произвольная, но именно каждому литератору свойственная. Мнѣ скажутъ, что каждая комисія производитъ свой плодъ, осуществляемый въ „Трудахъ“ — вотъ-молъ и переплетенные томы „Трудовъ“ на-лицо? полюбуйтесь!—но и это не разувѣритъ меня. Мнѣ кажется, что эти „Труды“ суть не болѣе какъ результатъ усерднаго наклеиванія газетныхъ и другихъ вырѣзокъ на картоны, а что настоящую, живую работу комисіи слѣдуетъ искать совсѣмъ не тутъ, а въ тѣхъ дружескихъ и повидимому побочныхъ собесѣдованіяхъ, которыя одни и приносятъ практическій плодъ. Это — собесѣдованія случайныя, безсистемныя, но литература наша такъ болѣзненно чутка, что какъ только запахнетъ въ воздухѣ подобными собесѣдованіями, она какъ-то сама собой сожмется и вдругъ изъ просто-езоповскаго тона переходитъ въ сугубо-езоповскій. И ежели вы при этомъ замѣчаете, что московскія кликуши начинаютъ выкликать всѣмъ голосомъ, а петербургскіе трудолюбцы выступаютъ на сцену съ иносказаніями и оправданіями, то это навѣрное означаетъ, что гдѣ-нибудь кто-нибудь какъ-нибудь выразился...

— Въ какой это ты комисіи цѣлыхъ три мѣсяца такъ усердно работалъ, что и доступу къ тебѣ не было?—спросилъ я.

— Я занимался въ послѣднее время въ трехъ комисіяхъ,—отвѣтилъ Ѳедя: — но одна изъ нихъ бездѣйствуетъ, за невозможностью изъяснить, въ чемъ заключается предметъ, подлежащій ея разработкѣ; другая тоже бездѣйствуетъ, за недоставленіемъ отъ одного изъ корреспондентовъ свѣдѣній, что̀ разумѣлъ онъ, говоря, что „со времени крестьянской эмансипаціи отечественное земледѣліе вступило въ знакъ Рака“, и наконецъ въ третьей — идетъ теперь усиленная работа.

— А въ чемъ же задача этой третьей комисіи?

— По первоначальному плану она должна была разрѣшить вопросъ о

мѣрахъ, которыя необходимо принять на случай могущаго быть свѣтопреставленія; но, съ развитіемъ работъ комисіи, послѣдовали такія неожиданныя осложненія, что въ настоящее время трудно даже опредѣлить, къ какимъ развѣтвленіямъ мы можемъ придти и которое изъ нихъ окажется болѣе существеннымъ, чтобы сообщить нашимъ трудамъ окончательное направленіе.

Но вѣдь въ такомъ случаѣ возможно, что и эту комисію постигнетъ та же участь, какъ и первую?

— Нѣтъ, mon oncle, этого не будетъ. Мы слишкомъ проникнуты важностью предстоящихъ намъ задачъ, чтобы допустить малѣйшую остановку въ нашихъ изысканіяхъ.

— А ну-ка, признавайся: навѣрное и объ литературѣ идетъ рѣчь?

— Въ настоящую минуту могу сказать вамъ только одно: рѣшено предложить г. Майкову написать на случай свѣтопреставленія гимнъ.

— Нѣтъ, я не объ этомъ. Я объ литературѣ... какъ съ ней предполагается поступить?

Однакожъ Ѳеденька очевидно почувствовалъ себя неловко при этомъ вопросѣ. Онъ слегка заалѣлся, замялся и, наконецъ отвѣтилъ:

— Извините меня, дядя, но при настоящемъ положеніи работъ комисіи я не могу отвѣтить на вашъ вопросъ.

— Стало быть, что-нибудь да есть?

— И на это ничего не могу вамъ сообщить.

— Знаешь ли однако, что твоя таинственность просто непристойна. Стряпаешь ты тамъ втихомолку что-то съ какимъ-то Иваномъ Михайлычемъ... Меня-то помилуешь ли?

— Mon oncle!

— Да ты хоть обинякомъ намекни, что̀ такое ты стряпаешь! Ну, лишить-молъ... Я и пойму!

— Вотъ видите ли, дѣйствительно... Но нѣтъ, клянусь вамъ, голубчикъ-дядя, не могу!

— Слѣдовательно я такъ и не узнаю?

— Вотъ что̀, mon oncle. Черезъ двѣ недѣли будетъ докладъ, и тогда наши члены навѣрное разболтаютъ... Въ то время я явлюсь къ вамъ и охотно сообщу все, что̀ вы пожелаете.

На этомъ разговоръ пресѣкся. Я въ нѣсколько пріемовъ пытался изложить мои мысли насчетъ значенія литературы въ жизненномъ процессѣ страны, а равно и о томъ, какія вредныя послѣдствія можетъ оказать жестокое обращеніе съ нею; но Ѳеденька каждый разъ останавливалъ меня восклицаніемъ: — Послѣ, mon oncle, послѣ! Двѣ-три недѣли — право, это недолго! — Очевидно, онъ опасался, чтобъ я не развратилъ его.

. . . .

И такимъ образомъ день кончился для меня неудачею.

Первое мая.

Апрѣль былъ ужасенъ. Это былъ мѣсяцъ какой-то неизобразимой паники. Все вдругъ замутилось, заметалось, не вѣрило ни ушамъ, ни глазамъ. I сквозь всю эту смуту явственно проходила одна струя: homo homini lupus. оворилось, выкрикивалось и даже печаталось нѣчто невѣроятное, неслыханое. Мало было оцѣпенѣнія, въ которое погрузилось общество; нашлись охоіе люди, которые припомнили свои личные счеты и спѣшили дисконтировать хъ въ формѣ извѣщеній и угрозъ. Почва колебалась подъ ногами; завтрашій день представлялся загадкою; исчезало всякое мѣрило для оцѣнки поступовъ другихъ лицъ; становилось невозможнымъ или, по крайней мѣрѣ, рискоаннымъ презирать завѣдомо зазорныхъ людей. Казалось, нѣтъ уголка, въ оторомъ назойливо, не переставая, на всѣ тоны, не звучала одна — вездѣ дна и та же—мысль: что̀ будетъ дальше? Эта безплодная, безъ содержанія ысль задерживала всякую дѣятельность, забивала умъ, чувство, волю и вывала наружу худшіе инстинкты человѣка, отъ малодушія до вѣроломства ключительно. Люди слабодушные отыскивали на днѣ совѣсти что-нибудь остыдное и держались за это постыдное, какъ за якорь спасенія. И въ овершеніе всего—московскія кликуши, отъ внутренняго ликованія, словно бѣсились.

Въ послѣднія двадцать, двадцать-пять лѣтъ чувство человѣчности дѣлало несомнѣнные успѣхи въ обществѣ — это фактъ, который оспорить ельзя. Можетъ быть, оно не имѣетъ крупныхъ и высоко-талантливыхъ выразителей, какъ въ сороковыхъ годахъ, но оно разлилось въ массѣ общества, бміршилось, сдѣлалось какъ бы естественной подкладкой общественныхъ поываній и отношеній. Забылось или почти забылось крѣпостное право (внѣшія его формы даже возстановить дѣлается съ каждымъ годомъ труднѣе и руднѣе), стали забываться келейный судъ и патріархально-кулачная полиейская расправа; начали проявляться попытки самодѣятельности; однимъ ловомъ, періодъ одичанія казался близкимъ къ концу. И вдругъ это самое увство человѣчности, о которомъ думалось, что оно сдѣлалось уже лозунгомъ кизни, является преступленіемъ. „Не человѣчность нужна, а ненависть!“ оскаивая зубы, печатно вопіютъ доктринеры бараньяго рога и ежовыхъ рукаицъ... Какое время!

Само собой разумѣется, что среди этой суматохи я всего менѣе могъ разсчитывать на свиданіе съ Ѳеденькой. Правда, что я не разъ видѣлъ, какъ нъ мелькалъ въ наемной коляскѣ по Невскому, но лицо его смотрѣло такъ озабоченно, что, конечно, я и претендовать не могъ, чтобъ онъ замѣтилъ меня. Однакожъ однажды какъ-то случайно онъ остановилъ на мнѣ свой взоръ, и въ то же время, какъ я посылалъ ему на встрѣчу воздушный поцѣлуй, онъ поднялъ правую руку и показалъ мнѣ всѣ пять перстовъ. Тогда я не выдержалъ и махнулъ ему, чтобъ остановился.

— Кромѣ прежнихъ трехъ, еще въ пяти!—воскликнулъ онъ съ торжествомъ, когда я подошелъ къ экипажу.

Конечно, я недоумѣвалъ.

— Въ пяти... комисіяхъ!—пояснилъ онъ, и при этомъ указалъ рукой на горло:—вотъ, дескать, гдѣ оно у меня сидитъ!

— А когда же ко мнѣ?

— Не могу и даже не предвижу. И дома почти не бываю. Однимъ словомъ—вотъ!

Онъ опять указалъ на горло, и вдругъ совсѣмъ неожиданно выпалилъ:

— А литература-то ваша... какова! а?

И съ этими словами исчезъ, словно провалился сквозь землю.

Цѣлыхъ двѣ недѣли послѣ этой встрѣчи я мучился. Самъ по себѣ Ѳеденька, конечно, не Богъ знаетъ какая птица, но онъ — эхо, онъ — pique assiette внутренней политики; это несомнѣнно. Что̀ такое онъ сказалъ? кажется, про литературу упомянулъ... да! Что̀ такое случилось! отъ кого, отъ кого онъ слышалъ? Ужели приспособляется какая-нибудь связь, что-нибудь солидарное, общее?

Я вспомнилъ „разбойниковъ печати“ и „мошенниковъ пера“, вспомнилъ не потому, чтобы эти выраженія, въ минуту ихъ появленія, произвели на меня впечатлѣніе, а потому, что все кругомъ располагало къ подобнымъ воспоминаніямъ. Въ свое время эти потуги заклеймить живыя силы русской литературы какимъ-нибудь, хоть завѣдомо клеветническимъ, но хлесткимъ словомъ, казались мнѣ просто безсильными и ничтожными, но теперь, въ эти тяжелыя минуты, выросли и онѣ.

Я понимаю впрочемъ, что успѣхъ, полученный нѣкогда изобрѣтеніемъ „нигилизма“ (римскій папа—и тотъ прельстился этимъ словомъ, и въ одной изъ энцикликъ, въ числѣ прочихъ отщепенцевъ римской церкви, поименовалъ и „нигилистовъ“), не даетъ спать нашимъ этимологамъ-блюстителямъ литературной невинности. Хочется и имъ нѣчто свое придумать. Что-нибудь усугубляющее, такое, что̀ умерщвляло бы мгновенно, безъ объясненій, что̀ всюду распространяло бы ненависть и подозрѣніе, и только ихъ однихъ, злопыхательныхъ этимологовъ, утѣшало и угобжало. Хочется... и ничего не выходитъ. Почему не выходитъ? А потому, милостивые государи, что у насъ въ запасѣ есть только безконечная злоба, а нѣтъ ни пониманія требованій публики, къ которой вы обращаетесь, ни талантливости въ дѣлѣ изобрѣтенія выдумокъ.

„Нигилизмъ“ былъ своего рода откровеніемъ. Во-первыхъ, эта кличка привлекла всѣ сердца своею краткостью, а во-вторыхъ она дала возможность людямъ толпы сваливать въ одну кучу все лично для нихъ непріятное, тревожащее, несоотвѣтствующее ихъ личному темпераменту и т. д. Видя попытки критически отнестись къ дѣйствительности, эти люди пугались, сомнительно покачивали головами и не знали, примкнуть ли имъ, или попробовать отразить. И вотъ, въ эти минуты сомнѣнія, когда ужъ чуть-было они не рѣшились „примкнуть“, явился на выручку „нигилизмъ“. И коротко, и даже почти ясно. „Nihil“ —вѣдь это, кажется, „ничто“? —ну, такъ и есть! Возьми „ничто“, посѣй на немъ „ничто“ —конечно, выйдетъ „ничто“. Прекрасно... вотъ это прекрасно! Съ тѣхъ поръ эти господа успокоились и

на всякій болѣе или менѣе тревожнаго свойства запросъ отвѣчали заранѣе намѣченнымъ рѣшеніемъ: „э, батюшка, это все нигилизмъ!“

Словомъ сказать, „нигилизмъ“ — это то же самое, что нѣкогда и столь же удачно клеймилось кличками: „фармазонъ“ и „волтерьянецъ“. Мы, потомки, конечно, смѣемся надъ этими кличками, но очень можетъ статься, что современники чувствовали себя не особенно ловко, когда обращались ad hominem: а нутка, имярекъ, фармазонъ! отвѣтствуй!

Сравните съ этими не вполнѣ осмысленными, но все-таки хлесткими (талантливость впрочемъ ничего другого и дать не можетъ) кличками какихъ-нибудь „разбойниковъ пера“ или „мошенниковъ печати“ — какая неизмѣримая разница! И длинно, и неуклюже, и вяло, и что̀ важнѣе всего — не отвѣчаетъ никакой потребности. Никому не надобны эти выраженія, никто не понимаетъ, для чего они явились, и стало быть никто не будетъ ихъ и употреблять. Ни римскій папа не украситъ ими будущихъ энцикликъ, ни иностранная печать не упомянетъ о возникновеніи въ Россіи новой вредной секты подъ названіемъ „les razboïniki pétchati“. Ни консерваторы, ни профессора, ни предводители дворянства, ни столоначальники — никто. Развѣ что вотъ особливый случай какой-нибудь выйдетъ...

„Случай“ — вотъ это такъ. Обильна, ахъ, какъ обильна сдѣлалась за послѣднее время русская жизнь этими „случаями“! И все какъ-то литературу они задѣваютъ. Идетъ себѣ литература обычнымъ скромнымъ ходомъ, убѣжденная, что для всякаго ясно, что процессъ литературнаго мышленія представляетъ нѣкоторыя особенности, отличныя отъ процесса мышленія канцелярскаго служителя, а изъ-за угла ее стережетъ „случай“. Она наивно думаетъ, что ничто человѣческое ей не чуждо, что всѣ явленія вещественнаго и духовнаго міра обязательно подлежатъ ея изслѣдованію — и вдругъ врывается нѣчто непредвидѣнное и съ злобною ироніей шипитъ: — я именно и есть тотъ самый „случай“... Наконецъ, она позволяетъ себѣ мечтать, что даже ошибки и заблужденія не могутъ быть, безъ явной несправедливости, вмѣняемы ей въ вину, потому что онѣ представляютъ собой составную часть ея изысканій — какъ бы не такъ! приходитъ „случай“ и изрекаетъ: блуждать и заблуждаться не разрѣшается...

Такъ вотъ въ такія-то минуты, когда человѣкъ стоитъ лицомъ къ лицу съ „случаемъ“, и припоминаются всѣ эти „разбойники печати“ и „мошенники пера“. И при воспоминаніяхъ этихъ становится жутко, потому что приходится убѣдиться, что дѣйствительно въ печати существуютъ и разбойники, и мошенники, и клеветники, и что, стало быть, литература — не совсѣмъ тотъ храмъ, при видѣ котораго бьются чистыя и честныя сердца и безъ котораго міръ былъ бы постылъ и безславенъ...

. . . .

Ѳеденька явился ко мнѣ совсѣмъ неожиданно — 1 мая. Онъ воспользовался тѣмъ, что въ этотъ день комисіи отправились гулять въ Екатерингофъ и вспомнилъ обо мнѣ.

— Вотъ и я! — весело сказалъ онъ, входя ко мнѣ въ кабинетъ: — но предупреждаю васъ, дядя, что теперь, больше чѣмъ когда-нибудь, скромность для меня обязательна.

— Гм... стало быть...

— Да; но я думаю, что найдется однакожъ почва, на которой мы оба будемъ чувствовать себя одинаково удобно. Это почва общихъ вопросовъ —не такъ-ли, mon oncle?

— Изволь, мой другъ. Мы будемъ ставить вопросы, станемъ обсуждать ихъ независимо отъ условій времени и мѣста, и затѣмъ...

— Затѣмъ, если вы найдете нужнымъ вывести интересующія васъ критическія заключенія, то, въ виду высказанныхъ общихъ соображеній, это не представитъ для васъ особеннаго труда, и не прибѣгая къ моему содѣйствію.

Въ эту минуту Ѳеденька былъ очень хорошъ. Придумавши эту комбинацію, онъ, я увѣренъ, мнилъ себя Талейраномъ, которому ничего не будетъ стоить и вопросъ о проливахъ разрѣшить, а ежели потребуется, то и туркину жизнь навсегда прекратить.

— И такъ, прежде всего поставимъ вопросъ о литературѣ,—началъ я: —какъ, по твоему мнѣнію, украшаетъ она, или не украшаетъ?

— Гм... это смотря потому...

— Стало быть, ты сомнѣваешься. Или, собственно говоря, тебѣ очень хотѣлось бы отвѣтить: „нѣтъ, не украшаетъ“, но совѣстно. Не потому совѣстно, что ты припоминаешь басню: „Сочинитель и Разбойникъ“, которая самымъ существованіемъ своимъ доказываетъ, что заслугъ литературы оспорить нельзя, а просто потому, что, отрицая литературу, тебѣ носу никуда показать будетъ нельзя. Даже дамочки отвернутся отъ тебя, ибо и онѣ понимаютъ, что неприлично и скучно по цѣлымъ часамъ только жестикулировать, но надо по временамъ и поговорить. И поговорить не объ лишеніи правъ состоянія, а объ Дюма-фисѣ, о Беллд, о Монтепенѣ, то-есть все-таки объ литературѣ. Вотъ почему ты заикаешься и говоришь: „смотря потому“... Я же говорю не заикаясь и безъ оговорокъ: да̀, литература украшаетъ. Она украшаетъ, потому что служитъ воплощеніемъ всѣхъ духовныхъ силъ страны, и ежели ея нѣтъ, то это значитъ, что духовныя силы находятся въ отсутствіи или лежатъ глубоко подъ спудомъ. Общество, не имѣющее литературы, не сознаетъ себя обществомъ, а только безпорядочнымъ сбродомъ индивидуумовъ; страна, лишенная литературы, стоитъ внѣ общей міровой связи и привлекаетъ любопытство лишь въ качествѣ диковины; объ государствѣ и говорить нечего: оно немыслимо безъ литературы уже по тому одному, что самымъ происхожденіемъ своимъ обязано литературѣ. Вотъ у вотяковъ нѣтъ ни письменъ, ни сказаній, ни даже пѣсенъ; есть только преданіе, что была когда-то какая-то книга, да ее корова съѣла; но именно потому-то въ этомъ племени такъ мало устойчивости, что недалеко время, когда оно и само, быть можетъ, сдѣлается преданіемъ. Какимъ же образомъ общество, страна, государство могутъ призывать къ своему суду литературу, когда они всѣмъ ей обязаны, кругомъ ею облагодѣтельствованы?

— Но вѣдь никто не отрицаетъ, mon oncle, что литература—одна изъ необходимыхъ функцій общественнаго и государственнаго организма...

— Не „одна изъ функцій“, а главная и единая, заключающая въ себѣ неоскудѣвающій источникъ жизни. Все, что ты ни видишь кругомъ, все, чѣмъ ты пользуешься — все это дала тебѣ литература. Квартира, въ которой ты

живешь, пиджакъ, который надѣтъ на твоихъ плечахъ, чай, который ты сію минуту пьешь, булка, которую ты ѣшь — все, все идетъ оттуда. Еслибъ не было литературы, этого единственнаго сборнаго пункта, въ которомъ мысль человѣческая можетъ оставить прочный слѣдъ, ты ходилъ бы теперь на четвереенькахъ, обросшій шерстью, лакалъ бы болотную воду, питался бы сырыми злаками и акридами. Но предположимъ, что это исторія давнишняя, прослѣдить которую трудно; но даже и помимо будничныхъ удобствъ, принимаемыхъ безсознательно, просто какъ совершившійся фактъ — даже помимо ихъ, всѣ удобства, наслажденія и утѣшенія высшаго разряда, все, чего требуетъ пытливость ума, развитость вкуса, чуткость чувства—все это, опять-таки, идетъ оттуда, а не изъ циркуляровъ и предписаній, какъ бы послѣдніе ни были въ своей сферѣ полезны. Всѣ знанія, которыми ты обладаешь, даны тебѣ литературой; всѣ понятія, сужденія, правила, все, чѣмъ ты руководишься въ жизни, все выработано ею. Даже понятіе о неблагонамѣренности литературы — и то ты почерпалъ изъ нея, а никакъ не додумался бы до него непосредственно, потому что, повторяю, безъ литературы ты ходилъ бы на четверенькахъ и лакалъ бы болотную воду. Какъ это ни странно покажется для тебя, но безъ литературы не существовало бы ни живописи, ни музыки, ни искусствъ вообще, потому что она все разложила—и свѣтъ, и звукъ— и она же все сочетала. Не будь того свѣточа, который она всюду приноситъ съ собой, и звуки, и краски, и линіи — все было бы смѣшеніе, хаосъ. Даже техника искусствъ—и та обязана тою или другою степенью своего совершенства посредничеству литературы, потому что искусство само по себѣ нѣмо и разъединенно; одна литература имѣетъ привилегію „гласить во всѣ концы", она одна имѣетъ даръ всѣхъ соединять подъ сѣнію своею, всѣмъ давать возможность вкусить отъ сладостей общенія.

Я остановился, потому что Ѳеденька смотрѣлъ на меня во всѣ глаза и какъ-то блаженно улыбался.

— Ah, mon oncle!—воскликнулъ онъ:—vous avez un style... клянусь, я заслушался!

Замѣчаніе это слегка смутило меня — въ самомъ дѣлѣ, я, кажется, черезчуръ что-то распѣлся! — но такъ какъ рѣчь была ужъ заведена, то прерывать ее я уже не счелъ полезнымъ.

— Ну, какой есть, не взыщи!—сказалъ я:—и будемъ продолжать. Стало быть, опера, которою ты наслаждаешься, картина, которую ты съ восхищеніемъ созерцаешь—все это дала тебѣ литература. Мало того: она дала тебѣ возможность различать добро отъ зла; она выработала для тебя условія общежитія, научила тебя распознавать, что у тебя есть отечество. Кто повѣдалъ тебѣ:

И дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ?..

Откуда ты узналъ:

О, Россъ! о, родъ непобѣдимый!
О, твердокаменная грудь!?

Все оттуда же, изъ этой постылой литературы, которая всякую потребность предусмотрѣла и на всякую отвѣтъ дала. Все тамъ сказано, все запе-

чатлѣно навсегда, дабы снять покровы съ твоей умственной дремоты и дать тебѣ возможность умилиться духомъ и обратиться къ своей совѣсти! О, Ѳедя! ужели всего этого мало, чтобы заслужить вѣчную признательность, вѣчное удивленіе и устранить всякую мысль о жестокомъ обращеніи?

— Но развѣ кто-нибудь споритъ...

— Позволь. Но и этого всего мало. Снисходя къ твоей слабости, литература допустила для тебя возможность находить удовольствіе въ обществѣ „дамочки“, кокотки и т. д. Эту кокотку — кто тебѣ приподнесъ? эту „дамочку“ — кто тебѣ сформировалъ? Кто воззвалъ отъ ничтожества Дюма-фиса, Белло, Монтепена? Кто сказалъ имъ, указывая на тебя: вотъ малый, который безъ „дамочки“ не будетъ знать, какъ съ собой поступить — имѣйте это въ виду на предметъ зависящаго съ вашей стороны распоряженія? Предположимъ, что это услуга не особенно цѣнная; но не будь ея — ты бѣгалъ бы за какой-нибудь хавроньей, и тѣ пакости, которыя ты теперь объясняешь такимъ изящнымъ французскимъ языкомъ, ты выражалъ бы простымъ хрюканьемъ. Ужели и это не заслуживаетъ твоей признательности?

— Mon oncle! вы очень удачно соединили въ одинъ фокусъ тѣ услуги (послѣднюю я, конечно, принимаю какъ шутку), которыя оказывала и продолжаетъ оказывать литература обществу. Но вы упустили изъ вида одно обстоятельство, которое съ точки зрѣнія государственности имѣетъ однакожъ несомнѣнно важное значеніе. Вы не упомянули о заблужденіяхъ. Найдете ли вы возможность утверждать, что литература — не всегда, конечно, но очень нерѣдко — не служитъ проводникомъ заблужденій въ обществѣ?

— На это прежде всего повторю тебѣ, что литература имѣетъ право допускать заблужденія, потому что она же сама и поправляетъ ихъ. Но кромѣ того она и потому не можетъ относиться къ заблужденіямъ съ желаемою щепетильностью, что они, такъ сказать, составляютъ подготовительный процессъ той работы, въ результатѣ которой оказывается истина. Истина — не кладъ, случайно находимый въ полѣ, и не болидъ, падающій съ неба совсѣмъ готовымъ; она дается ищущему цѣною величайшихъ жертвъ и усилій, *цѣною заблужденій*. Кто не искалъ истины, тотъ, конечно, не заблуждался. Исторія всѣхъ величайшихъ открытій и изобрѣтеній засвидѣтельствуетъ это. Ты скажешь, быть можетъ, что никто и не протестуетъ противъ заблужденій, въ результатѣ которыхъ явились: типографскій станокъ, желѣзная дорога, сила пара и т. д., а протестуютъ, дескать, противъ заблужденій изъ міра мечтательнаго, идеальнаго, безплодно волнующихъ общество и не приносящихъ никакихъ осязательныхъ улучшеній. Но первая половина этого возраженія положительно несправедлива: ни одно великое открытіе не явилось въ міръ безъ протеста, безъ насмѣшекъ, безъ злорадства. Что же касается до заблужденій второго рода, то ты имѣлъ бы основаніе тогда только указывать на нихъ, еслибъ была какая-нибудь возможность дверь въ область идеальныхъ интересовъ представить себѣ запертою. Но природа сама держитъ ее открытою, сама внушаетъ человѣку одинаковую склонность какъ къ матеріальнымъ, такъ и къ духовнымъ интересамъ — слѣдовательно можетъ ли литература, безъ насилія, безъ бунта, разгородить эти двѣ области? Да вѣдь и тутъ, въ этомъ идеальномъ мірѣ, не все же безплодіе, не все же бро-

женіе и смута: бываютъ и такіе осязательные результаты, которые на цѣлые вѣка даютъ исторіи человѣчества другой характеръ. Вотъ, напримѣръ, ты охотно признаешь современныя формы общежитія, стоишь за нихъ горой и вообще не нахвалишься ими; но развѣ онѣ не считались въ свое время заблужденіями? развѣ ты былъ бы коллежскимъ совѣтникомъ на зарѣ твоей жизни, еслибы не существовало до тебя людей, которые цѣною горчайшихъ испытаній очистили путь для табели о рангахъ? Ахъ, другъ мой! другъ мой! трудно вѣдь жить безъ интересовъ идеальнаго міра, такъ трудно, что, за недостаткомъ настоящаго свѣта, человѣкъ хоть сальную свѣчку засвѣтитъ и поставитъ передъ собой.

— Ахъ, дядя, вы не поняли меня! я совсѣмъ не о томъ! Еслибъ заблужденія, о которыхъ вы говорите, оставались въ нѣдрахъ литературы — à la bonne heure! Но вѣдь они изъ литературы переходятъ въ общество, волнуютъ его, порождаютъ несвоевременныя и неумѣстныя требованія — вотъ въ чемъ опасность! Никто, конечно, не думаетъ о насильственномъ прекращеніи вопросовъ идеальнаго міра: настаиваютъ только на постепенной и своевременной постановкѣ ихъ.

— Ну, и пускай настаиваютъ; но не на литературу же, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ возлагать полицейскій надзоръ за тѣми послѣдствіями, которыя могутъ имѣть добываемые ею выводы. Литература преслѣдуетъ задачи, которыя она считаетъ себя вправѣ признавать своими, и затѣмъ она совершенно игнорируетъ, что̀ изъ достигнутыхъ ею результатовъ будетъ взято обществомъ и что̀ — отвергнуто. И ежели общество прегрѣшаетъ противъ своевременности, то это дѣло установленныхъ властей, а не литературы, которая тутъ ни-при-чемъ. Да и вообще, на мой взглядъ, эта пресловутая „своевременность“ — даже совсѣмъ не литературный терминъ, а канцелярскій, потому что если литературѣ поставить въ обязанность опредѣлять его согласно съ жизненными условіями, то, при разнообразіи и измѣнчивости этихъ условій, весь ея трудъ, пожалуй, уйдетъ на одни эти опредѣленія. И ты останешься безъ новаго покроя брюкъ, безъ кулинарныхъ усовершенствованій и безъ новаго фасона кокотокъ.

Я замолчалъ. Все, до сихъ поръ высказанное мною о правѣ литературы на неприкосновенность, казалось мнѣ до такой степени яснымъ, что, признаюсь, мнѣ даже непріятно было бы въ эту минуту услышать какое-нибудь возраженіе изъ сферы пресѣченія и предупрежденія. Я страстно и исключительно преданъ литературѣ; нѣтъ для меня образа достолюбезнѣе, достохвальнѣе, дороже — образа, представляемаго литературой: я признаю литературу всецѣло, со всѣми уклоненіями и осложненіями, даже съ московскими кликушами. Порою эти осложненія бываютъ мучительны, но вѣдь они пройдутъ, исчезнутъ, растаютъ, и навѣрное одни только усилія честной мысли останутся незыблемыми — таково мое глубокое убѣжденіе. Не будь у меня этого убѣжденія, этой вѣры въ литературу, въ ея животворящую мощь — мнѣ было бы больно жить. Я такъ сжился съ представленіемъ, что литература есть то единственное, заповѣдное убѣжище, гдѣ мысль человѣческая имѣетъ всю возможность остаться честною и незапятнанною, что всякое вторженіе въ эту сферу, всякая тѣнь подозрѣнія, накидываемая на нее, кажутся

мнѣ жестокими и ничѣмъ неоправдываемыми. Лично я обязанъ литературѣ лучшими минутами моей жизни, всѣми сладкими волненіями ея, всѣми утѣшеніями; но я увѣренъ, что не я одинъ, лично обязанный, а и всякій, кто сознаетъ себя человѣкомъ, не можетъ не понимать, что внѣ литературы нѣтъ ни блага, ни наслажденія, ни даже самой жизни. Ѳеденька хоть и не признаетъ этого, но внутренно очень хорошо понимаетъ, что настоящія радости ему доставляетъ Дюма-фисъ, а совсѣмъ не доклады о лишеніи правъ состоянія. Даже комисія на случай могущаго быть свѣтопреставленія — и та сознала эту истину, такъ какъ прежде всего сочла нужнымъ открыть это торжество гимномъ. Почему она такъ поступила? А потому просто, что, благодаря гимну, смягчатся черезчуръ суровые тоны торжества, и затѣмъ—кто же знаетъ?—быть можетъ, и самое свѣтопреставленіе будетъ отмѣнено...

Повидимому Ѳеденька замѣтилъ охватившее меня волненіе, и тоже молчалъ. Это было съ его стороны очень деликатно. Да и вообще онъ—малый не страшный. Покуда онъ засѣдаетъ въ комисіяхъ, дѣйствительно онъ какъ будто неистовъ, но въ частныхъ сношеніяхъ даже пріятенъ.

— Я понимаю, что вы не можете иначе говорить, дядя, — наконецъ произнесъ онъ:—и потому не берусь даже возражать. Но позвольте мнѣ указать на одно неудобство въ нашей бесѣдѣ: вы слишкомъ абстрактно разсматриваете вопросъ — каюсь, я самъ предложилъ вамъ этотъ методъ — тогда какъ въ дѣйствительности онъ стоитъ гораздо проще. Тѣ отзывы о литературѣ, которые васъ интересуютъ, совсѣмъ не имѣютъ въ виду Галилеевъ, Байроновъ, Шиллеровъ и проч., а нашу обиходную, будничную литературу, занимающуюся не міровыми вопросами, а самою обыкновенною злобою дня.

— Но вѣдь тутъ разница только въ размѣрахъ. Положимъ, что современная русская литература не особенно высоко стоитъ; но, во-первыхъ, это еще вопросъ, отчего уровень ея такъ невысокъ, а во-вторыхъ, какъ бы ни была наша литература мало-плодотворна, все-таки она на цѣлую голову выше всего остального.

— Это ваше мнѣніе, mon oncle,—мнѣніе очень понятное, потому что вы всецѣло принадлежите литературѣ. Но существуютъ люди, и притомъ компетентные, которые смотрятъ на подобныя мнѣнія какъ на преувеличеніе. Литература наша еще не достигла возмужалости; она недостаточно оригинальна, не серьезна и не самостоятельна; даже существованіемъ своимъ она обязана воздѣйствію: Pierre le Grand, вмѣстѣ съ суконными фабриками, насадилъ и ее. Конечно, онъ поступилъ мудро, но это не мѣшаетъ нашей литературѣ быть молодою и увлекаться не дѣйствительными потребностями времени и мѣста, но просто эффектностью заимствованныхъ положеній и воспріимчивостью своего молодого темперамента. Вотъ эта-то склонность къ увлеченіямъ—не преднамѣренная, это я вамъ охотно уступаю—и наводитъ на мысль о необходимости руководительныхъ началъ.

— Руководительныхъ началъ... въ какомъ смыслѣ? Въ томъ ли, чтобы помочь литературѣ сдѣлаться оригинальною, серьезною и самостоятельною... или наоборотъ?

— Ахъ, mon oncle! Конечно... Разумѣется, современемъ все это придетъ... Но, съ другой стороны, все это можетъ быть прочнымъ лишь тогда,

когда придетъ вооруженное опытомъ, очищенное отъ увлеченій и преувеличеній... И тогда...

— И тогда, и всегда, и нынѣ, и во вѣки вѣковъ. Всегда будутъ предостерегать отъ преувеличеній и указывать на вотяцкую мудрость, какъ на идеалъ. Я ужъ говорилъ тебѣ, что у вотяковъ даже пѣсенъ нѣтъ. Пѣсенъ нѣтъ, а пѣть между тѣмъ хочется. Вотъ идетъ вотякъ, видитъ заборъ — поетъ: „заборъ! заборъ!“ пока не увидитъ поля; тогда начинаетъ пѣть: „поле! поле!“ и такъ безъ конца, смотря по тому, чтò встрѣтится. Вотъ это-то и есть свободная отъ преувеличеній, настоящая, желательная мудрость. Не гляди ни впередъ, ни назадъ, ни по сторонамъ, а воспѣвай тѣ предметы, которые встрѣчаются на пути. Чтожъ! это отлично!

— И это, mon oncle, опять-таки преувеличеніе. Напротивъ, всѣ охотно допускаютъ, что литература должна играть очень серьезную роль, что она можетъ даже помощь оказывать, но именно помощь, а не противодѣйствіе. Вотъ чтó необходимо различать.

— То-есть, диѳирамбы писать?

— Ахъ, mon oncle!

Очевидно, это былъ порочный кругъ. И нужна самостоятельность, и ненужна, то-есть нужна „извѣстная“ самостоятельность. И нужна критика, и ненужна, то-есть опять-таки нужна „извѣстная“ критика! Словомъ сказать: подай тò, невѣдомо чтò, иди туда, невѣдомо куда. И при этомъ еще говорятъ: вѣдь, вы отлично знаете и куда идти, и чтò подать, да только притворяетесь, что не знаете. Положимъ, что Ѳеденька — не особенно искусный діалектикъ, но онъ вездѣ бываетъ, слышитъ всякіе разговоры — что-нибудь да и прилипаетъ къ нему. Ежели онъ выражается обрывками, то это значитъ, что и разговоры, которые онъ слушаетъ, тоже ведутся обрывками. Есть люди, которые способны гудѣть по цѣлымъ часамъ, и все-таки въ ихъ гудѣніи ничего не уловишь, кромѣ обрывковъ. Вотъ къ этимъ-то гудѣньямъ и прислушивается Ѳеденька, и подражаетъ имъ. Передъ нимъ не церемонятся, выкладываютъ все впустѣ лежащее, потому что онъ — „адептъ“. И онъ усердно подбираетъ это впустѣ лежащее, ибо знаетъ, что и ему современемъ надо будетъ гудѣть. Всѣ будутъ гудѣть: и онъ, и его сверстники и соратники въ дѣлѣ составленія карьеръ, и кто кого перегудитъ, тотъ и воспрославится.

Въ виду всего этого я понялъ, что на почвѣ слишкомъ широкихъ обобщеній намъ оставаться нельзя. Ѳеденька слишкомъ конкретенъ, слишкомъ канцелярски-мудръ, чтобъ идти дальше непосредственныхъ результатовъ и чувствовать какую-либо иную потребность, кромѣ потребности мѣропріятій. Поэтому хотя онъ и предупредилъ меня въ началѣ бесѣды, что не будетъ касаться злобы дня, но я все-таки рѣшился попытаться хоть въ этомъ направленіи получить какія-нибудь разъясненія.

— Прекрасно, пусть будетъ по твоему, — сказалъ я. — Стало быть, литература виновата? въ чемъ? говори! обвиняй!

При этомъ слишкомъ прямомъ обращеніи мой собесѣдникъ чуть-чуть покраснѣлъ, такъ что я, предвидя, что онъ непремѣнно воспользуется случаемъ, чтобъ поломаться передо мной, поспѣшилъ поправиться.

— То-есть, не обвиняй отъ себя лично — я знаю, что ты не способенъ

на это—по формулируй тѣ обвиненія, которыя, по твоему наблюденію, наиболѣе въ ходу,—объяснилъ я.

Ѳеденька съ минуту помолчалъ и затѣмъ, совершенно для меня неожиданно, какимъ-то шипящимъ, задавленнымъ голосомъ произнесъ:

— Дядя! позвольте узнать, зачѣмъ ваша литература съ такимъ упорствомъ ищетъ осмѣять и подорвать священнѣйшія основы нашего общества?

Я изумился. Не вопросу, который ничего особенно неожиданнаго не представлялъ, но тому феномену, который въ какую-нибудь минуту совершился въ моихъ глазахъ. Лицо этого юноши, за минуту передъ тѣмъ благодушное и даже простоватое, внезапно позеленѣло и приняло суровые тоны; глаза получили сердитое, чуть не злое выраженіе; губы побѣлѣли и вздрагивали. Такъ велика была въ этомъ способномъ молодомъ человѣкѣ готовность восторгаться чужими восторгами и озлобляться чужими озлобленіями.

— Христосъ съ тобой! что ты!—воскликнулъ я, нѣсколько озадаченный.

— Нѣтъ, если ужъ вы хотите, чтобъ я говорилъ, то я буду говорить. Серьезно спрашиваю васъ: съ какого права ваша литература нападаетъ на коренныя основы нашей жизни? кто далъ ей это полномочіе? Кто разрѣшилъ ей въ такомъ видѣ представлять семью, собственность... государство?

— Да въ какомъ же, мой другъ, въ какомъ?

— Въ гнусномъ-съ. Повторяю, кто далъ ей полномочіе судить и рядить?

— Послушай! я только-что сейчасъ доказывалъ тебѣ, что литература отъ самого Господа Бога снабжена всѣми возможными полномочіями... Однакожъ, такъ какъ ты настойчиво возвращаешься къ этой темѣ, и при этомъ, очевидно, имѣешь въ виду *современную* русскую литературу, то изволь, будемъ бесѣдовать. Ты ставишь вопросъ прямо: современная русская литература подрываетъ основы, на которыхъ держится общество... Подумай однакожъ, нѣтъ ли тутъ смѣшенія? Не приписываешь ли ты литературѣ то̀, что̀ принадлежитъ самому обществу, или по крайней мѣрѣ той его части, которой спеціально присвоивается это названіе? Я, съ своей стороны, убѣжденъ, что литература наша не только ничего не выдумываетъ въ этомъ случаѣ, но, довольствуясь однимъ констатированіемъ фактовъ, стоитъ далеко ниже дѣйствительности. Ужели литература разожгла апетиты Юханцевыхъ, Ландсберговъ, Ковальчуковыхъ? ужели она породила эти легіоны сорванцовъ, у которыхъ на языкѣ—„государство“, а въ мысляхъ—пирогъ съ казенной начинкой? Увѣряю тебя, не литература произвела эти явленія. Апетиты разожглись сами собой, вслѣдствіе наплыва цѣлой массы праздныхъ людей, оставшихся за бортомъ съ упраздненіемъ крѣпостного права. Конечно, литература не пропустила этого факта; но развѣ была какая-нибудь возможность игнорировать его? Подумай! вѣдь требовать отъ литературы подобнаго нелѣпаго воздержанія—значило бы навсегда осудить ее оставаться при анекдотахъ о пошехонцахъ. Ты думаешь, очевидно, что литература наша нарочно цѣпляется за извѣстные факты, что она *провоцитъ* тѣ волненія, которыя она должна произвести въ обществѣ, что эти волненія ей нравятся, однимъ словомъ, что, не будь вмѣшательства литературы—не существовало бы ни вопросовъ, ни волненій. Другъ мой! не ты одинъ высказываешь подобныя убѣжденія: они сплошь и рядомъ высказываются и въ самой литературѣ тѣми литературными

золотарями, которыхъ цѣлыя массы въ послѣднее время загромоздили ее. Но все это —ложь и наглая клевета, и литература, выставляя на позоръ факты, которые такъ тебя поражаютъ, не только не подрываетъ подрытаго, но, напротивъ, пробуждаетъ общественную совѣсть. Правда, что общество наше— лицемѣрно, и посмѣивается надъ основами „потихоньку"; но развѣ лицемѣріе когда-либо и гдѣ бы то ни было представляло силу, достаточную для существованія общества? Развѣ лицемѣріе—не гной, не язва, не гангрена? Вотъ этого-то „права лицемѣрить" литература и не признаетъ за обществомъ. Она говоритъ ему: или держись крѣпко унаслѣдованныхъ принциповъ, или кайся! По моему, такія обличенія имѣютъ скорѣе характеръ охранительный, нежели разрушительный, и ежели я и самъ по временамъ сѣтую на современную русскую литературу, то отнюдь не за смѣлость и настойчивость ея обличеній, а, напротивъ, за то, что она робка, неустойчива и совсѣмъ-совсѣмъ невліятельна. Помилуй! одинъ езоповскій языкъ чего стоитъ! Подумай, какъ это трудно, изнурительно, почти погано! Въ состояніи ли ты оцѣнить это?

— Могу, но, признаюсь, не печалюсь объ этомъ. Въ наше время только и утѣшаешься, когда видишь, какъ наша милая литература извивается, словно вьюнъ на сковородѣ. Однакожъ я готовъ бы былъ сдѣлать вамъ извѣстныя уступки, еслибъ дѣло шло только о логикѣ идей. Но есть логика фактовъ, mon oncle, и она-то заставляетъ меня быть осмотрительнымъ. Передъ фактами я нѣмѣю, прихожу въ ужасъ и забываю объ идеяхъ. Я понимаю вашу защиту и логически не всегда вижу себя въ состояніи опровергнуть ее; но въ то же время я *чувствую*, что въ ней чего-то недостаетъ, что она не вполнѣ искренна и нѣчто скрываетъ. Вѣдь скрываетъ — не такъ ли, mon oncle?

Онъ такъ добродушно заглянулъ мнѣ при этомъ въ лицо и такъ мило похлопалъ меня по колѣнкѣ, что мнѣ и самому невольно подумалось: а что̀, вѣдь, можетъ быть, и скрываетъ?

— Можетъ быть, можетъ быть, другъ мой, —отвѣтилъ я: —вѣдь всего не сообразишь. Во всякомъ случаѣ для меня ясно, что, несмотря на продолжительную бесѣду, мы оба остаемся при своихъ показаніяхъ. Что̀ бы я ни говорилъ —ты охотно будешь признавать справедливость моихъ доводовъ, но будешь „чувствовать", что въ нихъ чего-то недостаетъ... Отлично. Стало быть, обвиненіе первое — колебаніе основъ — остается неопровергнутымъ, но и не доказаннымъ. Дальше?

— Дальше, mon oncle, направленіе и подборъ статей. Разверните любую книжку журнала, любой газетный листокъ — и вы убѣдитесь, что все, отъ первой строки до послѣдней, твердитъ объ одномъ, смотритъ въ одну точку.

— А тебѣ бы хотѣлось литературнаго косоглазія?

— Mon oncle! не будемъ увлекаться въ сторону и воротимся къ „направленію". Я сказалъ уже вамъ, что разумѣю подъ этимъ подборъ статей. Зачѣмъ эта унылость? Почему бы не разнообразить предлагаемаго публикѣ чтенія? Почему бы рядомъ со статьей, трактующей объ явленіяхъ неутѣшительныхъ (я самъ соглашаюсь, что въ жизни нашей не все утѣшительно), не помѣстить другой, которая предвѣщала бы скорый и вожделѣнный конецъ этой неутѣшительности? зачѣмъ забивать мысль читателя все будничными да

будничными представленіями, а не освѣжать ее бесѣдою о предметахъ возвышенныхъ, вызывающихъ пареніе? зачѣмъ пригибать человѣка все къ землѣ да къ землѣ—вѣдь у него есть небо, mon oncle!

— Зачѣмъ? да просто затѣмъ, что у всякаго времени есть своя задача и свои способы для выраженія этой задачи. Это не въ одной литературѣ выражается, а и въ распоряженіяхъ администраціи. И въ нихъ ты замѣтишь „подборъ" и замѣчательное однообразіе „направленія".

— Да, но со стороны администраціи это печальная необходимость, а со стороны литературы—это система, это предвзятый образъ дѣйствія. Литература не имѣетъ права такъ поступать. Ея обязанность—умиротворять, а не раздражать. Повторяю: у человѣка есть небо, mon oncle! и это небо—литература ваша закрыла его отъ него!

— И небо, и соловьи, и розы... Только соловьи, по нынѣшнему строгому времени, поютъ не въ боскетахъ, а въ трактирахъ, да и розы пахнутъ совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ пахли прежде...

— Это — не отвѣтъ, mon oncle. И розы, и соловьи, и небо—все это есть, и все мы видимъ, и слышимъ, и обоняемъ, и всѣмъ наслаждаемся. Только вотъ литературѣ нашей угодно игнорировать эти возвышающія духъ картины и замѣнять ихъ холоднымъ перечисленіемъ язвъ. Какъ хотите, а это—заговоръ!

— Да заговоръ же и есть. Только не тотъ, которому въ законѣ присвоивается названіе преступленія, а тотъ, который испоконъ вѣка разлитъ въ воздухѣ и едва-ли когда-нибудь прекращался. Это — заговоръ, въ которомъ принимаетъ участіе не одна литература, а все и вся. Значитъ, язвы настолько обострились, что никому не даютъ ни отдыха, ни срока; значитъ, не только писать, но и думать ни объ чемъ иномъ нельзя; значитъ, доколѣ будутъ существовать язвы, дотолѣ будетъ идти и рѣчь объ нихъ. Ты думаешь, что у Бореля, у Дюссо, у Донона нѣтъ заговорщиковъ? что ты и твои сверстники, люди несомнѣнно надежные, укрывшись въ одномъ изъ этихъ пріютовъ, только ѣдите и пьете, а не конспирируете? Ошибаешься, другъ мой! Ручаюсь, что не проходитъ и десяти минутъ твоей жизни безъ того, чтобъ ты не почувствовалъ себя неловко, и совсѣмъ не потому, чтобы ты вспомнилъ о соловьяхъ и розахъ, а именно потому, что даже тамъ, среди расторопныхъ оффиціантовъ-татаръ, въ виду улыбающагося соммельé, тебя все-таки настигаютъ язвы. Стало быть, и вы участвуете въ заговорѣ, участвуете тѣмъ, что помышляете и бесѣдуете о предметѣ его. Вамъ непріятенъ этотъ предметъ, вы желаете отогнать его отъ себя, а онъ — тутъ при васъ, онъ неотступно идетъ слѣдомъ за каждымъ шагомъ вашимъ. Но если онъ не оставляетъ въ покоѣ никого—какъ же ты хочешь, чтобы отъ него отвернулась литература, для которой изслѣдованіе явленій жизни составляетъ conditio sine qua non существованія? Ты скажешь, конечно, что бывали же и въ русской литературѣ и розы, и соловьи... Бывали, мой ангелъ, все въ свое время было! Но теперь ты не найдешь двухъ литераторовъ, которые рѣшились бы бесѣдовать о розахъ и соловьяхъ, и даже тѣ, которые когда-то считались мастерами въ этомъ родѣ — и тѣ нынѣ пускаютъ шипъ по змѣиному. Ужели это дѣлается нарочно, съ единственною цѣлью досадить тебѣ

или тѣмъ, чьихъ мнѣній ты служишь эхомъ? Послушай! Вѣдь со стороны журналовъ и газетъ было бы не только неполитично, но даже непростительно не поступиться нѣсколькими печатными листами въ годъ въ пользу розъ, соловьевъ и вожделѣющихъ помѣщицъ, чтобъ водворить миръ и благоволеніе въ взволнованныхъ сердцахъ. Почему-нибудь однакожъ они не пускаютъ въ ходъ этого фортеля. И знаешь ли, именно почему? Во-первыхъ, потому что нынче писателей такихъ нѣтъ, а во-вторыхъ потому, что и читатель для соловьевъ и розъ едва-ли отыщется.

— Такъ что нашей литературѣ суждено на вѣки пропахнуть мужикомъ?

— Вотъ-вотъ-вотъ, оно самое и есть. Обвиненіе третье, но, въ сущности, главное и единственное. Ибо всѣ эти подрыванія основъ и авторитетовъ, эти направленія и подборы — все это мы охотно перенесли бы, еслибъ не замѣшался тутъ, въ видѣ занозы, мужикъ. Мужикъ — это главное: какъ онъ смѣетъ! Скажу тебѣ по секрету, мнѣ и самому, по временамъ, литература наша кажется въ этомъ отношеніи нѣсколько однообразною и черезъ край переполненною мужикомъ. Вѣдь и я... да, братъ, я тоже не чуждъ соловьевъ и розъ... que diable! Но, присмотрѣвшись къ дѣлу пристальнѣе, приходится согласиться, что иначе оно не можетъ быть. Мужикъ — герой современности, это вѣрно. И не со вчерашняго дня такъ повелось, а давненько-таки, съ конца сороковыхъ годовъ. Ты, разумѣется, не былъ очевидцемъ „началъ“, но я не только помню, но даже лично присутствовалъ при нихъ. Я помню „Деревню“, помню „Антона-Горемыку“, помню такъ живо, какъ будто все это совершилось вчера. Это былъ первый благотворный весенній дождь, первыя хорошія, человѣчныя слезы, и съ легкой руки Григоровича мысль о томъ, что существуетъ мужикъ-человѣкъ, прочно залегла и въ русской литературѣ, и въ русскомъ обществѣ. А съ половины пятидесятыхъ годовъ эта мысль сдѣлалась уже господствующею въ русской жизни. Все, что ни есть въ Россіи мыслящаго и интеллигентнаго, отлично поняло, что куда бы ни обратились взоры, вездѣ они встрѣтятся съ проблемой о мужикѣ. Но ежели эта проблема такъ настойчиво мечется въ глаза, то надо же попытаться рѣшить ее. И вотъ мы видимъ, что лучшіе государственные люди нынѣшняго царствованія отдаютъ ей всѣ свои силы, и что рядомъ съ ними ей же посвящаютъ себя и наиболѣе независимые (въ смыслѣ обезпеченности матеріальныхъ средствъ) представители нашей интеллигенціи. Припомни годы „освобожденія“ и сознайся, что никогда этому слову не придавалось болѣе широкаго значенія, никогда интересъ, возбужденный имъ въ обществѣ, не граничилъ такъ близко съ энтузіазмомъ. Въ теченіе слишкомъ трехъ лѣтъ никакой другой рѣчи нельзя было слышать, кромѣ рѣчи о мужикѣ. Оказалось, что онъ рѣшительно необходимъ, и что даже самое слово: „мужикъ“, выражаетъ нѣчто очень сложное, почти всепроникающее. Всѣмъ онъ нуженъ, у всѣхъ какъ бѣльмо на глазу. Тупа философія, косноязычна реторика... безъ мужика. Помѣщикъ, заводчикъ, фабрикантъ, подрядчикъ, однимъ словомъ, всякій человѣкъ-практикъ, всякъ понялъ, что въ его „дѣлахъ“ на первомъ планѣ стоитъ мужикъ. Должна была понять это и литература, и не по тому одному, что она обязана *все* понимать, но и потому, что въ этомъ дѣлѣ ей предстояло оказать существенную услугу. Ежели мужикъ такъ всѣмъ необходимъ, то надо же знать, что онъ такое,

что̀ представляетъ онъ собой какъ въ дѣйствительности, такъ и in potentia, каковы его нравы, привычки и обычаи, съ которой стороны и какъ къ нему подойти. И къ удивленію оказывается, что узнать это совсѣмъ не такъ просто и что міръ мужицкихъ отношеній значительно сложнѣе и запутаннѣе, нежели тотъ, въ которомъ обыкновенно вращаемся мы, люди интеллигенціи. Работа изслѣдованія началась, работы произведено пропасть, а конца все-таки не видать. Хорошо бы и пріостановиться, но дѣло въ томъ, что, разъ отворивши дверь въ область загадокъ, затворить ее ужъ не такъ-то легко. Во-первыхъ, этому воспрепятствуетъ свойственная всякому интеллигентному человѣку любознательность, а во-вторыхъ, сама дверь просто-на̀-просто оказывается неудобозатворимою. Вотъ почему современная атмосфера такъ насыщена мужикомъ: очень ужъ много лѣзетъ оттуда, изъ этой незатворимой двери. Вѣроятно мы черезчуръ ужъ долго занимались соловьями и розами, такъ что теперь...

На этомъ самомъ мѣстѣ рѣчь моя была прервана сильнымъ звонкомъ. Оказалось, что пріѣхалъ курьеръ, возвѣстившій Ѳеденькѣ, что Иванъ Михайлычъ изволилъ благополучно возратиться изъ Екатерингофа!

Признаюсь, я былъ даже доволенъ, что бесѣда наша такъ внезапно оборвалась. Надоѣло.

Первое іюня.

— Такъ ты думаешь, что нужно подтянуть?—спросилъ я Ѳедю.

— Непремѣнно, mon oncle,—отвѣчалъ онъ увѣренно:—это не только личное мое мнѣніе, но и всѣ компетентные люди такъ думаютъ.

Мы сидѣли въ ресторанѣ Лѣтняго сада и ѣли. Петербургъ опустѣлъ; не только столоначальники, но и помощники ихъ разъѣхались по дачамъ и слетались въ городъ лишь на короткое время по утрамъ, чтобъ не совсѣмъ безъ вреда день прошелъ. Войска ушли въ лагерь; установленія бездѣйствовали; знакомые куда-то исчезли; во всемъ домѣ, гдѣ я нанимаю квартиру, изъ „хорошихъ жильцовъ „остался только я одинъ, испуганный тѣмъ, что дождь съ утра до вечера лилъ какъ изъ ведра. Скука была пожирающая; одно развлеченіе имѣлось въ виду: наблюдать изъ оконъ, весело ли бодрствуютъ дворники. Оказалось, однако, что и Ѳеденька засѣлъ въ Петербургѣ и день-деньской надъ чѣмъ-то корпитъ, а потомъ цѣлую ночь напролетъ докладываетъ. Очевидно онъ не на шутку занялся своею карьерой и рѣшился воспользоваться лѣтнимъ запустѣніемъ и отсутствіемъ чиновнической конкуренціи, чтобы всѣ свои способности лицомъ показать. Не знаю почему, но при встрѣчѣ съ нимъ мнѣ вдругъ вспомнился Ландсбергъ, котораго имя въ эту минуту занимало всѣ умы и который тоже тщательно холилъ свою карьеру.

— Ты Ландсберга не зналъ?—обратился я къ Ѳеденькѣ.

— Къ сожалѣнію, зналъ. Прошлой зимой даже vis-à-vis въ кадрили не разъ приходилось танцовать.

— Да, вотъ и онъ... Все думалъ, какъ бы карьеру сдѣлать — и вдругъ...

Клянусь, я сказалъ это почти безсознательно, нимало не разсчитывая проводить какія-нибудь параллели. Однакожъ Ѳеденька обидѣлся и покраснѣлъ.

— Неужели же вы находите какіе-нибудь поводы для сравненія?—протестовалъ онъ.

— Упаси Богъ, мой другъ! Такъ... вспомнилось... Все слышишь что-то такое страшное: подтянуть да и въ бараній рогъ согнуть — ну, и вспомнилось: а вѣдь, можетъ быть, и Ландсбергъ въ мечтаніяхъ своихъ разсчитывалъ: „только бы мнѣ съ Власовымъ благополучно сквитаться, а тамъ ужъ я знаю чтò дѣлать—буду подтягивать да подтягивать“...

— Къ счастью, я не имѣю надобности въ Власовыхъ...

— Ахъ, нѣтъ! ты, пожалуйста, не думай! Я знаю, что ты человѣкъ аккуратный... Но Ландсбергъ — вѣдь это, все-таки, не миѳъ. Скажи, пожалуйста, когда ты съ нимъ прошлой зимой vis-à-vis танцовалъ, развѣ приходило тебѣ на мысль, что черезъ два-три мѣсяца этотъ человѣкъ будетъ судиться, какъ убійца? Вѣдь не приходило? а?

— Конечно, не приходило.

— И навѣрное ты вмѣстѣ съ другими находилъ, что это прекрасный и способный молодой человѣкъ, который „пойдетъ далеко“. Признайся, случалось тебѣ съ нимъ по душѣ разговаривать? планы насчетъ величія Россіи строить?

— Признаюсь откровенно: случалось.

— И чтò же?

— Дѣйствительно, я находилъ, что это человѣкъ сильной воли, способный, и что...

— И что онъ „подтянетъ“?

— Да, думалъ и это.

— Ба! да ты вѣдь и Юханцева, конечно, знавалъ?

— Зналъ и его.

— И тоже считалъ, что это малый способный?

— Признаюсь... считалъ.

— И вы втроемъ: ты, Ландсбергъ и Юханцевъ собирались гдѣ-нибудь за бутылкой добраго вина (платилъ Юханцевъ) и совершенно серьезно разсуждали, что „такъ нельзя“, что „все распущено ни на что похоже“, что „суды оправдываютъ“, „власти бездѣйствуютъ“, что „надо положить этому предѣлъ“... И Ландсбергъ при этомъ первый—да, именно онъ, онъ первый —припомнилъ и произнесъ слово: „подтянуть“, а вы съ Юханцевымъ, услыхавъ это, въ восторгѣ воскликнули: oui, Landsberg — c'est l'homme du moment!.. Вѣдь случалось это? да?

— Случалось.

— Посмотри однакожъ, какой, съ Божьею помощью, оборотъ! Судъ-то, словно подслушалъ ваши упреки, взялъ да ни Юханцева, ни Ландсберга не оправдалъ!

Все время, покуда я такимъ образомъ объяснялъ свою мысль, Ѳеденька

улыбался то иронически, то съ явнымъ нетерпѣніемъ, но наконецъ не выдержалъ и сказалъ:

— Прекрасно, прекрасно все это, mon oncle... Но желалъ бы я знать, съ какого повода вы начали этотъ разговоръ?

— Да говорю тебѣ, что просто такъ; свѣтская болтовня — и больше ничего. Теперь всѣ умы Ландсбергомъ переполнены—ну, и я... Скажи, пожалуйста, онъ ни въ какомъ комитетѣ не участвовалъ? По части поданія пособій неимущимъ и сиротамъ... по части улучшенія нравственности... распространенія здравыхъ идей... спасенія общества отъ крушенія... ну, вообще, какіе у васъ тамъ комитеты съ дамочками заведены?

— Нѣтъ, я не встрѣчалъ его.

— Ну, стало быть, не успѣлъ. А помѣшкай онъ немного съ Власовымъ или обдѣлай это дѣльце поаккуратнѣе... Впрочемъ ты, пожалуй, опять подумаешь, что я какія-нибудь параллели провожу... Увѣряю тебя, это свѣтскій разговоръ—и больше ничего.

Мы оба на минуту замолчали. Къ счастью, въ эту минуту подали boeuf braisé, который былъ какой-то такой необыкновенный, что даже я, человѣкъ отъ природы неприхотливый, вознегодовалъ и забылъ о „подтягиваніяхъ“. Но, къ удивленію, Ѳеденька, котораго я считалъ изнѣженнымъ и гурме (я даже удивился, что встрѣтился съ нимъ... въ Лѣтнемъ саду!), не только не возмутился, но преисправно рубилъ ножемъ эту обугленную доску и проглатывалъ одинъ за другимъ отрубленные куски.

— Дѣйствительно, я люблю тонко поѣсть,—объяснилъ онъ мнѣ, — по ежели бы, по обстоятельствамъ, мнѣ пришлось бы даже въ греческой кухмистерской обѣдать — я и передъ этимъ не отступлю. Все въ свое время, mon oncle. Бываютъ моменты въ исторіи, когда всего нужнѣе поспѣшность.

— Послушай! а вѣдь я, представь себѣ, думалъ, что поспѣшность потребна только блохъ ловить!—не удержался, прервалъ я.

— Вы неисправимы, mon oncle. Но будемъ продолжать. Теперь мнѣ совсѣмъ не до того, чтобы задумываться надъ menu. Я такъ занятъ, что бѣгу въ первый попавшійся кабачокъ и имѣю въ виду одну цѣль: утолить голодъ. Коль скоро эта цѣль достигнута — я доволенъ. И я увѣренъ, что обѣдъ въ греческой кухмистерской нимало меня не скомпрометируетъ, что я и тамъ съумѣю остаться самимъ собою. Въ этомъ вся сила, mon oncle. Нужно такъ держать себя, чтобъ *всегда* быть внѣ подозрѣній, чтобы всякій, кто бы ни увидѣлъ меня—даже въ „Аѳинахъ“ — сказалъ себѣ: ежели этотъ человѣкъ пошелъ обѣдать въ „Аѳины“, то это означаетъ, что такъ нужно, а совсѣмъ не то, чтобы онъ хотѣлъ сэкономить двугривенный.

Это было высказано съ такою твердостью, съ такимъ почти Регуловскимъ геройствомъ, что я не могъ воздержаться, чтобъ не воскликнуть:

— Ѳеденька! я тебя уважаю!

— Enfin! Но въ такомъ случаѣ я могу вамъ сказать, что ежели вы откинете предвзятыя мысли и взглянете на современность трезвыми глазами, то между нынѣшнею молодежью—нашего общества, разумѣется — встрѣтите ужъ много людей вполнѣ дѣловыхъ и готовыхъ на жертвы. Да вѣдь и пора за умъ взяться—это ясно для всѣхъ.

— Ясно?

— Да, всѣмъ сдѣлалось ясно, что мы не на розахъ покоимся. Еще годъ тому назадъ мы, можетъ быть, продолжали бы малодушествовать и либеральничать, и развѣ наиболѣе мужественный изъ насъ позволилъ бы себѣ вопросъ: да куда же мы, наконецъ, идемъ? Ныньче — всѣ уже поняли и почувствовали. Не только либеральничать, но даже восклицать и дѣлать вопросы представляется уже возмутительнымъ. Не время жаловаться, надо прямо къ дѣлу идти: respice finem. Надо разрѣшать предстоящую задачу безъ околичностей.

— Гм... проявлять гражданское мужество?

— Нѣтъ, и это не такъ. И мужества не надо. Мужество — это что-то искусственное, напускное; это скорѣе терминъ, нежели дѣло. Мужество есть проявленіе единичное, предполагающее царствующую кругомъ трусость. Не надо словъ, не надо ни мужества, ни трусости; нужно самое простое, самое обыкновенное, безъ всякихъ героическихъ вывертовъ, безъ всякихъ украшеній поэзіи, исполненіе обязанностей—вотъ и все.

— Въ родѣ того, напримѣръ, какъ городовые исполняютъ: „не могимъ знать, начальство приказываетъ“?

— Ну, да, въ этомъ родѣ!.. Я не брезгливъ, и ежели нужно, то отвѣчу прямо: отчего и не такъ?

— Гм... такъ вотъ ты какъ... браво!

— Я, mon oncle, не претендую жить въ потомствѣ, окруженный поэтическимъ ореоломъ. Мои идеалы болѣе полезны. Я не герой, а простой труженикъ современности. Коли хотите, и тутъ есть мужество, но я предпочитаю обходить это выраженіе, потому что нахожу его сбивающимъ съ толку, опаснымъ.

— Даже опаснымъ?

— Да, и опаснымъ. Потому что, повторяю, съ представленіемъ о мужествѣ всегда какъ-то соединяется представленіе объ ореолахъ, а эти ореолы...

— Не согласуются съ „немогимъ знать“? Да, пожалуй, что ты и правъ. Человѣка, у котораго въ глазахъ мелькаютъ „ореолы“, никакъ нельзя назвать вполнѣ надежнымъ. Нѣтъ-нѣтъ, да и свернетъ въ сторону: а нутка, посмотримъ, молъ, что-то объ этомъ предметѣ въ „ореолахъ“ написано? Мнѣ и самому иногда это приходило въ голову: поступать такъ поступать... чтобъ безъ „ореоловъ“!

— Вы шутите, а я...

— Нимало, мой другъ, не шучу, и даже, коли хочешь, приведу примѣръ въ подтвержденіе твоей же собственной мысли. Въ наше время мы видимъ, напримѣръ, ужасно много измѣнниковъ. Одни сдѣлались таковыми по легкомыслію, другіе — ради двугривеннаго, третьи наконецъ просто потому, что смалодушничали. И чтожъ! несмотря на то, что это фактъ обыденный, а иногда даже выгодный, всякій разъ какъ я гляжу на измѣнника, мнѣ невольно приходитъ на мысль: вотъ субъектъ, который долженъ сознавать себя въ положеніи человѣка, изгнаннаго изъ рая! Да, именно этого сорта чувство должны они испытывать, по крайней мѣрѣ на первое время. Разу-

мѣется, современемъ они остервенятся, начнутъ и взаправду поступать независимо отъ „ореоловъ“, но покуда... Вотъ, кажется, самый настоящій, самый достовѣрный „измѣнникъ“, а смотришь—онъ нѣтъ-нѣтъ, да и проврался. И воспоминанія старыя выплываютъ, и рай старинный представляется. Путаетъ, да и все тутъ. Вотъ почему я и полагалъ бы: измѣнниковъ принимать, но до интимности ихъ не допускать. Припоминается мнѣ по этому поводу слѣдующій случай: когда я служилъ, то пришлось мнѣ однажды въ разговорѣ съ начальствомъ, по поводу одного кочующаго по разнымъ дѣламъ чиновника, выразиться:—помилуйте, ваше превосходительство, вѣдь это свинья, а вы его по губерніямъ посылаете!—„А вы развѣ свинины не ѣдите?“ спросилъ меня его превосходительство.—Ѣмъ-съ.—„Ну, и мы свиней употребляемъ, когда надобность предстоитъ“... Вотъ это, мнѣ кажется, самая настоящая точка зрѣнія на свиней; ѣсть ихъ можно, не нужно только, чтобъ эта пища сдѣлалась господствующею или исключительною. Подобно сему—и измѣнники. Напримѣръ, ежели кто въ былое время англійскими порядками восторгался и на этомъ фортуну себѣ составилъ, то ежели бы онъ и сталъ таковые внезапно порицать, слѣдуетъ вѣрить ему только въ половину. И не по чувству недовѣрія къ искренности его измѣны, а просто потому, что онъ не въ силахъ сразу совсѣмъ измѣнить. Фразеологія у него такая ужъ искони образовалась, что даже среди самыхъ искреннихъ ругательствъ па англійскіе порядки непремѣнно что-нибудь вынырнетъ сочувственное имъ. Либо словечко не то, какое нужно, человѣкъ молвитъ, либо не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, курсивъ пуститъ, либо кавычками некстати оттѣнитъ — вообще, хоть и неумышленно, но пакость сдѣлаетъ. И такъ, повторяю: принимать измѣнниковъ можно, но до интимности допускать ихъ—нельзя. Пускай прежде остервенятся. Такъ ли, мой другъ?

— Разумѣется, ежели смягчить форму, въ которой вы изложили ваше замѣчаніе — признаюсь, я этой формы не понимаю — то въ немъ окажется извѣстная доля правды.

— Ну, вотъ видишь. Я и всегда правду говорю, а обо мнѣ—не знаю почему—говорятъ, что я преувеличиваю. Стало быть, рѣшено: измѣнниковъ держать въ черномъ тѣлѣ, покуда не сбѣсятся... браво!

— Дядя! помнится, мы начали говорить о мужествѣ, а вы свели разговоръ...

— На измѣнниковъ? да вѣдь это-то самое и есть разговоръ о мужествѣ, потому что всѣ измѣнники именно такъ и начинаютъ: надо, дескать, когда-нибудь имѣть мужество... Но мужества-то, какъ ты прекрасно выразился, и не надо. Мужество! ахъ, чортъ ихъ возьми! они думаютъ, что ихъ сейчасъ за это мужество въ передній уголъ посадятъ и начнутъ настоящимъ малороссійскимъ саломъ кормить—и вдругъ сюрпризъ! Извольте-ка сначала на помояхъ посидѣть, да объ мужествѣ-то позабыть, да заслугъ-то не выставлять, а просто безъ затѣй лбомъ въ стѣну стучать, какъ по правиламъ о чистосердечныхъ раскаяніяхъ полагается—а потомъ-дескать увидимъ, какъ съ вами поступать!

— Съ вами, mon oncle, рѣшительно правильную бесѣду вести нельзя. Вы все какія-то картины рисуете.

— Одну минутку. Скажи откровенно: у тебя нѣтъ такой идеи, чтобы комисію устроить для начертанія правилъ на случай чистосердечныхъ раскаяній?

— Покуда еще Богъ миловалъ.

— А по моему, такъ это съ твоей стороны упущеніе. И ежели ты хочешь, то я тебѣ въ этомъ случаѣ помогу. Въ слѣдующій разъ, какъ мы свидимся...

— Нѣтъ, ужъ отъ „правилъ" увольте.

— Что̀ такъ? А еще самъ, мѣсяцъ тому назадъ, говорилъ, что отъ содѣйствія литературы не прочь.

— Отъ содѣйствія, но не...

— Ну-ну, Богъ съ тобой! не будемъ пестрить нашу бесѣду эпизодами и возвратимся къ первоначальному ея предмету. А впрочемъ позволь еще одинъ, послѣдній эпизодъ. Ты вотъ не любишь ихъ, а въ сущности что̀ же такое вся наша жизнь, какъ не эпизодъ? Сейчасъ мы здѣсь сидимъ, чортъ знаетъ что̀ ѣдимъ, а „завтра — гдѣ ты человѣкъ?" Такъ-то, мой другъ! все въ сей юдоли плача—эпизодъ. Иногда веселый, иногда мрачный, какъ придется, а настоящаго, на что̀ бы можно сослаться, объ чемъ бы можно было съ увѣренностью сказать: вотъ каковъ у меня сюжетъ!—этого нѣтъ. Я давно это понялъ, и потому очень естественно, что въ мою бесѣду такъ легко прорываются эпизоды. Бесѣда моя есть зеркало души моей, а душа моя... Однакожъ довольно, а то пожалуй ты и въ самомъ дѣлѣ разсердишься. Душа моя! что̀ такое душа моя? и кому какое дѣло до души моей? „Не могимъ знать" — тутъ и душа, и совѣсть, и убѣжденіе — все! Баста! довольно объ этомъ... И такъ, ты утверждаешь, что мужество слѣдуетъ по боку?

— Не „по боку", а... какъ вы странно однакожъ выражаетесь, mon oncle! окончательно—разсердился Ѳеденька.

— Ну-ну, будь же и ты снисходителенъ къ слабостямъ старика. Сказывай, сказывай свою мысль!

— Да ничего особеннаго я не хотѣлъ сказать. Я утверждаю только, что въ нашемъ прошломъ, въ тѣ историческія минуты, которыя мы привыкли считать серьезными, никому и на мысль не приходило это пресловутое мужество, безъ котораго нынче ни одинъ коллежскій регистраторъ шагу ступить не можетъ. Еще не далѣе, какъ тридцать лѣтъ тому назадъ, кто позволилъ бы себѣ назвать мужествомъ простое исполненіе долга?

— Такъ, стало быть, по твоему, нынѣшняя историческая эпоха—не серьезная?

Признаюсь откровенно: формулируя этотъ вопросъ, я поступилъ не совсѣмъ добросовѣстно, но очень ловко. Какъ истинно русскій либералъ, я ухитрился подловить моего противника на вполнѣ непререкаемой почвѣ. Ты, молъ, хотѣлъ доказать, что достигъ геркулесовскихъ столповъ, а я взялъ да въ одну минуту тебя превзошелъ! Ура! И дѣйствительно, Ѳеденька сдѣлалъ видъ, что не слыхалъ моего вопроса. Къ счастью, въ это время намъ сервировали жареную птицу, но такую птицу, такую птицу! Даже Ѳеденька нѣсколько минутъ, какъ очарованный, смотрѣлъ на нее и только наконецъ очнулся.

— Это еще что̀ за мерзость?—обратился онъ къ половому.

— У насъ, господинъ, мерзостей не подаютъ,—возразилъ половой, которому повидимому была дорога репутація заведенія. — У насъ не то чтобы что, а даже самъ хозяинъ...

— Цыцъ!—прикрикнулъ на него Ѳеденька, а затѣмъ, обращаясь ко мнѣ, присовокупилъ:—вы слышали этотъ отвѣтъ, mon oncle? Скажите, откуда онъ пришелъ?

— Да все оттуда же, голубчикъ.

— Опять... эпизоды?

— Нѣтъ, не „эпизоды“, а оттуда же, откуда идетъ и твое „цыцъ“.

Но онъ даже отвѣтомъ меня не удостоилъ и, къ удивленію, разгрызъ птицыну кость и въ одно мгновеніе ока обглодалъ ее. Потомъ взглянулъ на часы и сказалъ:

— Еще съ полчаса я могу пробыть съ вами, а потомъ — за работу. Будемте курить.

Мы расплатились, прошли нѣсколько шаговъ по аллеѣ, сѣли на скамью и закурили сигары. Онъ самъ предложилъ мнѣ какую-то чудную сигару, обернутую въ свинецъ.

— Рекомендую,—сказалъ онъ:—эту сигару мнѣ вчера Иванъ Михайловичъ подарилъ.

— А онъ любитель?

— Еще бы! Однажды онъ съ Фейкомъ въ Парголовскомъ озерѣ купался, и Фейкъ сталъ погибать. Разумѣется, Иванъ Михайлычъ его спасъ, и вотъ съ тѣхъ поръ... Нѣтъ, вы понимаете, mon oncle? запахъ-то, запахъ каковъ?

— Ну, вотъ и ты „эпизодъ“ разсказалъ. Прекрасный запахъ, лучше нельзя. Такъ возвратимся къ нашему разговору. Ты, помнится, говорилъ, что необходимо „подтянуть“?

— Сказалъ, mon oncle.

— Прекрасно. Но иногда мнѣ сдается, что, говоря о „подтягиваньяхъ“, не всѣ и не всегда сознаютъ значеніе этого выраженія. Кого, напримѣръ, предполагалъ бы ты подтянуть!

— О! вы сами отлично знаете, объ комъ идетъ рѣчь?

— Нѣтъ, не знаю. Кажется мнѣ, что ты имѣешь въ виду любезное отечество, но такъ ли это—утверждать опасаюсь.

— Почему же опасаетесь?

— Да потому что... ну, просто потому, что повѣрить этому трудно. Помилуй, мой другъ! такое обширное государство, „отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды“ — и вдругъ ты собрался его „подтянуть“! Неужели ты самъ не чувствуешь, что это безсмыслица!

— Почему же, mon oncle? почему?

— Потому прежде всего, что Богъ вожжей такихъ не создалъ. Пойми меня: можно пройти по странѣ съ огнемъ и мечомъ, можно разорить ее, испепелить, изсушить. Это будетъ нелѣпо, жестоко, по-татарски, но ежели изъ сего должно произойти возрожденіе — дѣлать нечего, пусть такъ. Но „подтянуть“! Подтянуть, согнуть въ бараній рогъ — право, тутъ даже идеи никакой нѣтъ! Это только уродливые образы, которыхъ въ натурѣ невозможно

даже воспроизвести. Ну, представь себѣ Россію взнузданною или въ видѣ бараньяго рога... вѣдь нельзя себѣ это представить? не правда ли? нельзя?

— Да, но вѣдь вы понимаете, что я говорю au figuré.

— Понимаю. Но есть предметы, о которыхъ au figuré просто непозволительно говорить. Бываютъ случаи, когда инословіе становится поперекъ горла, когда отъ него гноемъ пахнетъ. Вспомни, голубчикъ! вѣдь Россія — твое отечество!

— И помню, mon oncle, и преклоняюсь. Но потому-то именно, что люблю Россію и настаиваю на своемъ. Вы ловите меня на словахъ. „Подтянуть“—это дѣйствительно не совсѣмъ точное выраженіе—уступаю его вамъ. Но нельзя же наконецъ терпѣть!

— Чего нельзя терпѣть?

— Помилуйте! ужели мало примѣровъ своеволья, неподчиненія, дерзости? ужели тò, чтò мы видимъ вокругъ, можетъ назваться другимъ именемъ, кромѣ анархіи, безначалія?

— Я знаю, объ чемъ ты говоришь, но въ то же время искренно убѣжденъ, что ты ужъ черезчуръ охотно дѣлаешь обобщенія. Тебя поражаютъ отдѣльные случаи, и ты до такой степени весь погружаешься въ нихъ, что повсюду, въ самыхъ невиннѣйшихъ проявленіяхъ человѣческой подвижности, видишь нѣчто однородное, выходящее изъ одного и того же источника. Неужели ты не понимаешь, что ты не только несправедливъ, но просто надуваешь самого себя, создавая напрасныя обобщенія и подавляя себя бременемъ непосильной работы?

— Нѣтъ, это не напрасныя обобщенія! Это дѣйствительность, наша современная горькая дѣйствительность. И ежели даже подобные случаи кажутся вамъ нестоющими вниманія, то...

— Остановись, мой другъ. Зная твое усердіе, я боюсь, что ты сдѣлаешь новую несправедливость и обвинишь меня въ измѣнѣ. Измѣны съ моей стороны нѣтъ. Я просто говорю, что ты черезчуръ охотно обобщаешь и вслѣдствіе этого распространяешь единичные случаи чуть не на всю страну, а ты извращаешь мои слова и съ помощью этой фальсификаціи инсинуируешь, что чуть-ли я не слагаю хвалы...

— Ахъ, mon oncle, неужели вы могли подумать!

— Ничего я не думаю, кромѣ одного: что эта манера очень непріятная. Говорю тебѣ это откровенно, потому что ты все-таки... Неугодовъ! Вѣдь ты—Неугодовъ? такъ? ты понимаешь, какъ это будетъ дурно, если кто-нибудь скажетъ: а знаете ли, что Неугодовъ...

— Mon oncle!

— То-то, надо быть осмотрительнымъ, голубчикъ! Блюсти—блюди! но не до безчувствія—нѣтъ! Избѣгай дурныхъ или неопрятныхъ словъ, ибо они могутъ привести къ скандалу и въ самомъ лучшемъ случаѣ произвести изумленіе.

— Но, право, я не понимаю, чтò же вы видите въ моихъ словахъ дурного?

— Дурно, во-первыхъ, тò, что ты не сознаешься, что дурно выразился. Во-вторыхъ, хоть ты и увѣряешь, что выразился au figuré, но, какъ

я уже сказалъ тебѣ, бываютъ предметы, относительно которыхъ figuré не допускается. А въ-третьихъ, тоже повторяю: невыносимо, несправедливо и даже совсѣмъ безумно такъ легко и безцеремонно обобщать. Скажи, есть ли въ этомъ смыслъ: ты берешь два-три факта, положимъ десять, сотню, и мстишь за нихъ—кому?—Россіи!

— Я... мщу? никогда, mon oncle, никогда!

— То-есть, конечно, не въ настоящемъ времени: теперь у тебя еще руки коротки! но ты намѣчиваешься, ты создаешь себѣ идеалы. Ты ужъ серьезно подумываешь: вотъ, погоди, ужо́, какъ я подросту, я покажу, гдѣ раки зимуютъ! На что́ похоже!

— Дядя! я, конечно, неправильно употребилъ выраженіе: „подтягивать“, но вѣдь и вы... Вы прямо приписываете мнѣ то, чего у меня и въ мысляхъ никогда не бывало. Я просто говорю: надо принять рѣшительныя мѣры.

— И принимай. Смакуй эту мысль, и ежели имѣешь возможность, то разглагольствуй на эту тему, предлагай, докладывай. Но оставь въ покоѣ Россію. Что́ тебѣ она сдѣлала, за что́ ты ее въ звѣриный образъ пожаловалъ? за что́ ты съ такимъ злорадствомъ выискиваешь мѣстечко, куда бы ее почувствительнѣе кольнуть?

— Совсѣмъ я не ищу этого; напротивъ, искренно желая спасти, оберечь...

— Исцѣлись лучше самъ, а не спасай то́, что́ въ спасеніяхъ твоихъ не нуждается. Самъ же ты на каждомъ шагу утверждаешь, что эти „превратныя толкованія“, которыя такъ тебя безпокоятъ, не имѣютъ корня въ массахъ, что массы имъ не сочувствуютъ и что это еще больше выдаетъ ихъ головой, такъ зачѣмъ же ты, пользуясь симъ случаемъ, массы-то эти собираешься „подтянуть“?

— Ничего я относительно массъ не имѣю. Массы у насъ добрыя — я знаю это.

— Знаешь, а въ то же время изнемогаешь подъ бременемъ фантастическихъ мѣропріятій. И именно общихъ мѣропріятій, захватывающихъ возможно обширнѣйшую область. Развѣ я не читаю на твоемъ лицѣ: непремѣнно надобно, чтобъ каждый зналъ, что Кузьку Кузькой зовутъ!.. за что?

— И это—только предположеніе съ вашей стороны, и ничего больше. Ни объ какомъ „Кузькѣ“ я никогда не думаю—даже этого термина совсѣмъ не знаю—а думаю и утверждаю, что рѣшительныя мѣры все-таки необходимо принять.

— Но въ этомъ-то и опасность, что ты утверждаешь, нимало не подозрѣвая, что твои рѣшительныя мѣры совсѣмъ не туда попадутъ, куда ты мѣтишь или предполагаешь мѣтить, а все мимо и мимо. Но и не на́-пусто попадутъ—нѣтъ, а произведутъ безпокойство и тревогу именно въ той самой средѣ, которую ты собрался спасти. Впрочемъ, въ строгомъ смыслѣ, я не могу даже поставить тебѣ это въ вину, потому что ты мыслишь вполнѣ согласно съ традиціями. Мы, русскіе, всегда оказывались безсильными, когда нужно было указать на дѣйствительно больное мѣсто. Но за то никто свободнѣе насъ не плавалъ въ океанѣ такъ-называемыхъ общихъ мѣропріятій.

Оно и легко, и лестно. Во-первыхъ, плыви куда хочешь — нигдѣ пути не заказаны; во-вторыхъ, бей направо, бей налѣво—авось и подвернется виноватый: а въ-третьихъ, какъ же не лестно: мозговъ не утруждаешь, а между тѣмъ воочію видишь, какъ въ сердцахъ водворяется спасительный страхъ.

— Ну, лестнаго-то немного, положимъ.

— Нѣтъ, лестно, даже очень лестно. Помилуй! ты — гарцуешь, а Кузьки—безъ шапокъ въ спасительномъ страхѣ обрѣтаются... какой картины еще лучше желать!

— Ахъ, дядя, дядя! что жъ дѣлать, коли другихъ средствъ нѣтъ!

— Оттого и средствъ нѣтъ, что мы искони думаемъ, какъ бы полегче да попроще преуспѣть. А ты, коли хочешь новую эру въ сферѣ мѣропріятій намѣтить, то разсуждай такъ: я желаю достигнуть того-то и того-то (такъ и начинай съ подробнаго опредѣленія твоихъ желаній, а не съ того, что у меня, дескать, руки чешутся), слѣдовательно обязываюсь въ этомъ смыслѣ потрудиться, а не бѣжать куда глаза глядятъ.

— Зачѣмъ же дѣло стало! потрудитесь вы, mon oncle!

Замѣчаніе это было не лишено язвительности и застало меня нѣсколько врасплохъ. Но, разумѣется, въ концѣ концовъ, я-таки нашелся.

— Ты опять къ инсинуаціямъ прибѣгаешь, любезный другъ,—сказалъ я: — сейчасъ только я объяснилъ тебѣ, какъ это неприлично въ частной бесѣдѣ, а ты ужъ и позабылъ. Нехорошо это, даже коварно. Я къ тебѣ обращаю мою рѣчь, къ тебѣ, къ человѣку, до краевъ переполненному проектовъ объ упроченіи твоей карьеры, тебѣ говорю: потрудись! — а ты предательски перевертываешь мою рѣчь и говоришь: потрудись самъ! И говоришь, зная, что моя пѣсня спѣта, что мнѣ и жить-то противно, что я ни о чемъ такъ охотно не думаю, какъ о томъ, чтобъ уйти, стушеваться, исчезнуть... Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ! изъ молодыхъ да ранній!

— Да вѣдь я, дядя, по родственному. Вижу, что вы критикуете — вотъ я и заключилъ: можетъ быть, mon oncle и потрудиться не прочь?

— Я ничего не критикую, а лично тебѣ говорю: стыдись! Извини, любезный другъ, я тоже по родственному!

Ѳеденька ни слова не отвѣтилъ на мою рѣзкость (повидимому онъ даже не обидѣлся ею), а только съ безпечнымъ видомъ помахалъ въ воздухѣ тросточкой и потихоньку, сквозь зубы, пропѣлъ:

A Provins
        Trou-la-la-la...
On récolte des roses
Et du jasmin
        Trou-la-la-la...
Et beaucoup d'autres choses.

— Понимаю,—сказалъ я:—ты хочешь дать мнѣ понять, что мои іереміады такъ же стары, какъ эта пѣсенка. Что нынче въ Демидронѣ ужъ совсѣмъ другія пѣсни поютъ... Но увѣряю тебя, что критики мои вовсе не такъ устарѣли, какъ это кажется.

Но Ѳеденька и на этотъ разъ вмѣсто отвѣта пропѣлъ:

Et j'frotte et j'frotte, et allez donc!
Il vient trop de monde dans la maison!

— И эту пѣсенку я знаю,—сказалъ я:—и знаю цѣлое поколѣніе такихъ, какъ ты, которое воспитывалось на подобныхъ пѣсенкахъ. Когда однѣ гривуазныя пѣсни на умѣ, тогда, конечно, кажется, что на свѣтѣ все распутывается легко.

— Послушайте, mon oncle! ужели вся эта матерія стоитъ того, чтобъ изъ-за нея огорчаться и говорить обидныя слова!

— Разумѣется, стоитъ. Вѣдь ты карьеристъ, пойми меня, Христа ради! Еслибъ ты не былъ увѣренъ въ успѣхѣ, я бы не тратился на слова. Но ты увѣренъ въ себѣ и въ то же время совершенно серьезно лелѣешь подтягивательные идеалы, забывая, что они гораздо старѣе даже тѣхъ пѣсенокъ, которыя ты сейчасъ пропѣлъ. Надо же поколебать въ тебѣ это убѣжденіе! надо же высказать тебѣ, что подобные идеалы ни процвѣтанія, ни преуспѣянія никогда не производили. Надо, чтобъ ты понялъ, что на свѣтѣ существуютъ не двѣ только разновидности: человѣкъ-начальникъ и человѣкъ-бунтовщикъ, но есть еще средній человѣкъ, трудящійся и скромный, человѣкъ, который предпочитаетъ спокойствіе безпокойству, свободу стѣсненію, потому что видитъ въ спокойствіи и свободѣ единственную ограду своей личности и своего труда. Вотъ этого-то средняго человѣка и не слѣдуетъ тревожить.

— Даже если онъ принадлежитъ къ числу сочувствователей?

— Умоляю тебя, не говори непріятныхъ словъ! „Сочувствователь“ — это одна изъ самыхъ пакостныхъ кличекъ, какихъ множество сочинено въ послѣднее время и начертано на стѣнахъ ретирадныхъ мѣстъ. Она придумана съ тѣмъ, чтобы клеймить людей, не совсѣмъ утратившихъ чувство человѣчности, и это придаетъ ей еще болѣе отвратительный смыслъ. Къ счастью для человѣчества, на свѣтѣ больше добрыхъ людей, нежели злыхъ, больше чистыхъ сердцемъ, нежели змѣеподобныхъ ретирадниковъ. Но какъ ты думаешь однакожъ, весело ли этимъ людямъ видѣть, какъ на нихъ перстами указываютъ?

— C'est la fatalité, mon oncle, вотъ все, что могу вамъ на это сказать.

— Подумай однакожъ! какое можетъ быть преуспѣянье, когда ты объ томъ только мечтаешь, какъ бы хорошенько испугать? какая можетъ быть производительность, когда „средній человѣкъ“ (онъ же и несомнѣнно-производительный) будетъ ежемгновенно видѣть передъ собою тебя, мелькающаго, сверкающаго, помахивающаго, потрясающаго...

— И оглашающаго стогны непечатными словами... Я знаю это, mon oncle! знаю наизусть, но и за всѣмъ тѣмъ остаюсь при своихъ убѣжденіяхъ...

— Выражающихся въ одномъ словѣ: „подтянуть“ — помилуй! развѣ это убѣжденіе?

— Ну, тамъ какъ хотите, а я знаю, что у меня есть убѣжденія, и знаю, въ чемъ они состоятъ. И повѣрьте, не ошибусь.

— Эй, Ѳедя, не ошибись! Не вѣчно вѣдь будутъ проповѣдовать, что крестьянская реформа есть источникъ всѣхъ золъ, что судъ присяжныхъ — злонамѣренная комедія, что свободная печать — вертепъ мошенниковъ пера,

что человѣчность равна сочувствію... Ныньче это, конечно, въ модѣ, но завтра, быть можетъ, и выйдетъ изъ моды.

— А ежели ошибусь, такъ и отвѣчу. Ныньче мы всѣ такъ настроены. Согласитесь, что иначе не было бы конца ерундѣ. А ерунда всего опаснѣе, и надо во что бы то ни стало выбраться изъ нея. Согласны?

— Согласенъ, что въ ерундѣ мало хорошаго; но знаешь ли, по совѣсти говоря, у меня сердце все-таки больше лежитъ къ ерундѣ, нежели къ неуклонному шествію.

— У всякаго свой вкусъ. Однакожъ я съ вами заболтался, mon oncle. Семь часовъ, пора и за работу. До свиданія; надѣюсь, что вы на меня не въ претензіи?

— Помилуй, дружокъ, за что̀! Вотъ ты на меня... ахъ, да скажи же пожалуйста, ка̀къ maman? давно ты не получалъ отъ нея писемъ?

— Вчера получилъ. Пишетъ, что здорова и собирается сюда.

— Вотъ какъ!

— Да; но признаюсь, я все еще сомнѣваюсь. Боюсь, какъ бы она, вмѣсто Петербурга, не очутилась въ странѣ зулусовъ, въ качествѣ сестры милосердія при принцѣ Наполеонѣ *). Во всякомъ случаѣ, ежели она пріѣдетъ—мы ваши гости, mon oncle. A bientôt et sans rancune.

Съ этими словами онъ пожалъ мнѣ руку и побрелъ вдоль по аллеѣ къ выходу.

Первое іюля.

Почти весь іюнь я посвятилъ семейнымъ радостямъ.

Это было утромъ; часовъ около двухъ раздался звонокъ.

Выхожу; вижу—въ гостиной расположилась дамочка. Маленькая, но уже слегка отяжелѣвшая, рыхлая, съ мягкими, начинающими расплываться чертами лица, съ смѣющимися глазками, съ пышно-взбитымъ бѣлокурымъ ореоломъ вокругъ головки. Но сколько было намотано на ней всякихъ дорогихъ ветошекъ—это ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать. Вѣроятно она не меньше трехъ часовъ сряду охорашивалась передъ цѣлымъ сочетаніемъ зеркалъ, прежде нежели явиться во всеоружіи. При моемъ появленіи дамочка устремилась ко мнѣ, но, видя, что я ее не узнаю, остановилась въ горестномъ недоумѣніи.

— Cousin! Стало быть, я очень подурнѣла, если ты меня не узнаешь!— вылетѣло горестное восклицаніе изъ ея крѣпко схваченной корсетомъ груди.

И въ одинъ мигъ двѣ крошечныя слезки затуманили крошечные глазки.

Да, это была Nathalie. Все та же маленькая, съ тѣмъ же вопрошающимъ и какъ бы изумленнымъ личикомъ, съ тѣми же порывистыми, почти необъяснимыми тѣлодвиженіями. Та же, да не та. Что̀ же, однако, случилось

---

*) Тогда принцъ Наполеонъ былъ еще живъ и воевалъ.

съ нею? Точно кто-нибудь, проходя мимо этой, еще не такъ давно тому назадъ свѣже-нарисованной картинки, неосторожно задѣлъ рукавомъ и слегка затушевалъ мягкія очертанія.

— Nathalie! голубушка моя! Ну, разумѣется... разумѣется, это ты! — воскликнулъ я въ умиленіи: — но какъ ты могла подумать, что подурнѣла! Подурнѣла... ты!

Двѣ новыя слезки блеснули въ крошечныхъ глазкахъ, но это были ужъ слезки радости.

— Не только не подурнѣла,—продолжалъ я: — но даже удивительно какъ похорошѣла! Пополнѣла, выраженіе какое-то пріобрѣла... Ахъ, милая, милая! наконецъ!

Она жадно вслушивалась въ мои похвалы и, вся переполненная счастіемъ, крѣпко сжимала мою руку.

— А помнишь, cousin, какъ мы однажды заблудились въ саду, въ куртинѣ? Какой ты былъ тогда... дурной!—вдругъ совсѣмъ неожиданно вспомнила она, и—о, неисповѣдимыя глубины женскаго сердца!—кажется, даже застыдилась.

Это произошло ровно тридцать-два года тому назадъ. Ей было съ небольшимъ пятнадцать лѣтъ (почти невѣста), мнѣ — двадцать-три года. Въ то время я былъ ужаснѣйшій сорви-голова—просто, какъ говорится, ничего святого. Увижу хорошенькую дамочку или дѣвочку—и сейчасъ же чувствую, какъ все внутри у меня поетъ: rien n'est sacré pour un sapeurrrrre! Я помню, я гостилъ у tante Babette (такъ звали Наташину maman, тоже куколку); однажды, гуляя съ Наташей по дорожкамъ сада, мы бѣгали, перегоняли другъ друга и, бѣгая и перегоняясь, все забирали влѣво да влѣво. И вдругъ очутились Богъ знаетъ гдѣ, въ совсѣмъ дикомъ мѣстѣ, среди четырехъ кустовъ.

— Гдѣ мы?—спросила Наташа взволнованная.

Я помню: я обнялъ ее, поцѣловалъ, погладилъ по головкѣ, и... вывелъ на правый путь!! Однако весь остальной день послѣ этого Наташа ходила нѣсколько томная и удивительно-удивительно нѣжная...

Я думалъ, что она давно объ этомъ забыла, какъ забылъ и я самъ, а оказывается, что она помнила, всегда помнила. И не только помнила, но хранила секретъ, не говорила ни maman, ни мужу, штабсъ-ротмистру Неугодову. О, благодарное женское сердце! Только ты можешь съ такимъ благоговѣйнымъ упорствомъ хранить память о заблужденіи среди четырехъ кустовъ!

И теперь, какъ тогда, я обнялъ ее, поцѣловалъ и погладилъ по головкѣ—все какъ тогда. И, обнимая, чувствовалъ, какъ на моей груди чуть слышно поскрипываетъ ея корсетъ...

— Милая, милая!—повторялъ я въ восхищеніи:—о, еслибы!..

Я хотѣлъ сказать: о, еслибы мнѣ не было пятидесяти-пяти лѣтъ! но вспомнилъ, что ежели изъ пятидесяти-пяти вычесть восемь, то это все-таки составитъ ровно сорокъ-семь лѣтъ—возрастъ очень и очень не маленькій — и замолчалъ.

— У кого ты заказываешь корсеты?—спросилъ я ее.

— У Lavertujon, Paris, rue... N...—заспѣшила она:—а что?

— Изумительный!

— Ахъ, ты не можешь себѣ представить, какіе это корсеты! Я совсѣмъ-совсѣмъ не чувствую, есть ли на мнѣ корсетъ, или нѣтъ!

— Изумительно! Но все-таки скажу: охота вамъ, такимъ „душкамъ“, кирасирскіе доспѣхи на себя надѣвать!

— А ты все такой же дурной, какъ тогда... помнишь?

Она опять застыдилась и погрозила мнѣ пальчикомъ. Я не выдержалъ, поймалъ этотъ пальчикъ и поцѣловалъ... Душка-пальчикъ! плутишка-пальчикъ!

Я вспомнилъ окончательно... все какъ было. Вспомнилъ и смотрѣлъ на нее съ восхищеніемъ. Да, это она, это моя „куколка“, несмотря на то, что пополнѣла и налилась больше чѣмъ нужно, чтобы быть à point. Она никогда и не переставала быть куколкой, а только постепенно зрѣла и наконецъ совсѣмъ поспѣла, сдѣлалась куколкой, вполнѣ сформировавшеюся, способной переносить вояжи и даже нѣкоторыя — конечно, небольшія—огорченія. Въ послѣдній разъ, какъ мы видѣлись, въ ней все еще замѣчались признаки чего-то несовершеннаго, сдѣланнаго на живую нитку. Но теперь ничего подобнаго уже не было: нитки отъ времени заплыли, все уставилось на своемъ мѣстѣ, улеглось. Вышла куколка на диво, съ отвѣтомъ безъ починки на сколько угодно лѣтъ.

И что̀ всего пріятнѣе—у этихъ куколокъ всегда всѣ принадлежности въ уменьшительномъ. Нѣтъ ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носикъ, ротикъ. Это дѣлаетъ рѣчь чрезвычайно учтивою. И притомъ: ручка-душка, ножка-плутишка, носикъ-цыпка, ротикъ-розанчикъ. А грудка — такъ это даже сказать нельзя, что̀ это такое! Точь-въ-точь малюсенькое гнѣздышко, въ которомъ сидятъ два бѣленькихъ голубо̀чка и тихонько подъ корсетомъ трепещутся! Ахъ!

— А помнишь, Наташа, — воскликнулъ я:—какъ, бывало, твой Simon возьметъ тебя въ охапку и унесетъ невѣдомо куда?.. Знаешь ли, вѣдь это было отчасти даже скандально!

— Ахъ, не вспоминай... Я такъ была тогда счастлива!

И опять двѣ слезки.

— А ты какъ?—спохватилась она:—все такой же... дурной?

Очевидно, что лексиконъ ея былъ не разнообразенъ. Но и это опять-таки мило. Она знаетъ, что она—куколка, и что les messieurs любятъ куколокъ совсѣмъ не за лексиконъ. Они любятъ, потому что они... дурные. Это слово запало въ ея голову, и она повторяетъ его, какъ повторяла и ея куколка-maman. Они дурные, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, они и милые, хотя объ этомъ не принято говорить, а можно только по секрету думать. И maman ея по секрету такъ думала, и въ доказательство, что les messieurs бываютъ и милые, большая куколка произвела на свѣтъ маленькую куколку. Дурные и милые—весь кругъ ея мыслей тутъ, а въ то же время и весь лексиконъ. Ужели это не трогательно?

— Ну, что̀ обо мнѣ говорить! — отвѣтилъ я: — нѣтъ, ты лучше вотъ что̀ скажи: гдѣ ты это платьице шила?

— У Worth... я всегда у него весь туалетъ дѣлаю. Ахъ, онъ такой милый! Et gentleman—jusqu'au bout des ongles! Когда онъ снимаетъ мѣрку, я всегда хохочу. А тебѣ нравится это платье?

Она инстинктивно встала, подошла къ зеркалу, посмотрѣлась спереди, отошла, потомъ повернулась, опять отошла, оглянулась и поправила сзади складочку.

— Не правда ли, хорошо?

— Восхитительно!

— И что̀ ужасно пріятно: я почти совсѣмъ не чувствую, что я одѣта. А впрочемъ это достается не легко, потому что онъ (Worth) ужасно какъ строгъ! Когда онъ снимаетъ мѣрку или примѣриваетъ—это цѣлый урокъ... Онъ командуетъ, à la lettre командуетъ. Представь себѣ, не позволяетъ дышать: „tâchez de ne plus respirer... parfaitement! oui, c'est ça!“ Приказываетъ принимать всевозможныя позы: mélancholique, suppliante, impérieuse... заставляетъ поднимать руки... И это иногда безъ рукавовъ!

— Ахъ!

— Да, и мнѣ ужасно было въ первый разъ страшно. Но потомъ привыкла—и ничего!

— Ну, а перчатки гдѣ берешь?

— Перчатки — у Boivin, шляпки — у Coralie. Ну, посмотри: развѣ можно сказать, что это—шляпка?

Она опять подошла къ зеркалу и повернулась передъ нимъ.

— Какая это шляпка! Это—воздушное безе̍! Это „шпанскіе вѣтры“... помнишь, у васъ былъ поваръ Кузьма—какъ онъ отлично „шпанскіе вѣтры“ приготовлялъ!

— Ахъ, Simon такъ любилъ это пирожное!

— И это пирожное, и тебя...

— Нѣтъ, онъ любилъ еще Милэди! помнишь у насъ рыженькая лошадка была, еще я верхомъ на ней всегда ѣздила? Еще однажды я такъ неловко свалилась?

— Помню, помню! Стало быть, три вещи Simon любилъ: „шпанскіе вѣтры“, кобылку и тебя. Все вмѣстѣ это составляетъ ваши семейные les pieux souvenirs! Но ножки твои, Наташа? Я непремѣнно хочу твою ножку видѣть!

Она слегка сжалась, молвила:—Ахъ, ты все такой же... дурной!—но ножку все-таки показала... Ахъ, это была ножка!!

— Прелесть!—воскликнулъ я отъ глубины души:—и какъ обута — восхищенье!

— Да, но это ужъ не въ Парижѣ,—замѣтила она очень серьезно:— туфли и ботинки мнѣ Теодо̀ръ отсюда присылалъ, отъ Auclair.

— Вотъ какъ! Чтожъ впрочемъ, это и резонно. Я и самъ: вино отъ Рауля беру, но балыки... о, балыки непремѣнно надо въ Москвѣ на монетномъ дворѣ покупать... янтарь!

Упоминовеніе о балыкѣ повидимому подѣйствовало на нее возбудительно, потому что она инстинктивно потерла ручкой корсетъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ даже у куколокъ предполагается желудочекъ. Куколка куколкой, а покушать тоже хочется.

— Покушать захотѣлось?—спросилъ я:—пожалуйста, не церемонься! приказывай!

— Да... крылышко... если можно!—прошептала она стыдливо.

— Зачѣмъ крылышко? котлеточку? бифштекцу?

Я поспѣшно распорядился, и черезъ полчаса мы уже сидѣли за столомъ.

— Наташа! какъ тебѣ угодно, а я сяду поближе, рядышкомъ. Помнишь, какъ въ тотъ день? Утромъ мы заблудились, а за обѣдомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, сидѣли рядышкомъ.

— И ты... ахъ, какой ты тогда былъ!

— Сорви-голова? Гм... я и теперь... А впрочемъ нѣтъ — что̀ ужъ теперь! Самая малость во мнѣ теперь осталась, да и то больше въ родѣ какъ напоминаніе...

— Ахъ, бѣдненькій!

— Да, но тогда... тогда я дѣйствительно... Большихъ усилій мнѣ сто̀ило, чтобъ вывести тебя... на правый путь! Ахъ, какія это были минуты!

Наташа глубоко-глубоко вздохнула, потомъ вдругъ приподнялась и поцѣловала меня въ лобъ.

— Это тебѣ за то, что ты помнишь... дурной!

— Не только это помню, но даже и еще многое вспомнилъ. Помнишь, въ тотъ день у васъ за обѣдомъ подавали супъ-разсольникъ изъ цыплятъ, а maman положила тебѣ въ тарелку пупочекъ?

— Ахъ, я обожала пупочки!

— Да, ты любила ихъ, но, несмотря на это, зная, что я тоже люблю пупочки, и повинуясь влеченію сердца, ты взяла и переложила пупочекъ въ мою тарелку... Я никогда, никогда этого не забуду!

— Но знаешь ли ты, что maman замѣтила это и послѣ обѣда ужасно меня забранила?

— Ужели? и ты скрыла отъ меня это!

— Зачѣмъ говорить! Я знала, что это тебя огорчитъ.

— Изъ-за меня пострадала? Нѣтъ, воля твоя, а я не могу. Я еще разъ поцѣлую тебя за это!

И поцѣловалъ.

Такимъ образомъ пролетѣло полчаса; но къ концу этого срока les pieux souvenirs начали истощаться. Истощались, истощались и вдругъ совсѣмъ изсякли. Былъ даже такой страшный моментъ, когда мнѣ показалось, что я зѣвнулъ. Къ счастію, Наташа не замѣтила моей невѣжливости, потому что она въ это время отвернулась... тоже чтобы зѣвнуть. Но вдругъ она оживилась.

— А вѣдь я объ чемъ-то сбиралась тебя попросить.... ахъ, какая я глупенькая! объ главномъ-то чуть-чуть не позабыла! Ты Филоѳея Иваныча помнишь?... ахъ, ну да того самаго Филоѳея Иваныча, который при Теодорѣ былъ воспитателемъ?

— Длинный такой?

— Совсѣмъ онъ ужъ не такой длинный... Ты всегда, cousin, преувеличиваешь! Конечно, у него ростъ...

— Ну, словомъ сказать, того, съ которымъ покойный Simon однажды распорядился...

— И это ты преувеличиваешь: совсѣмъ это не такъ было. Конечно, Филоѳей Иванычъ былъ тогда дурной, а я ничего не понимала и пожаловалась... Впрочемъ Simon былъ всегда къ нему несправедливъ... Ah! les hommes sont si méchants!

Она остановилась, и на этотъ разъ ужъ не двѣ, а ровно четыре слезинки выкатились изъ ея глазокъ.

— Ну, не огорчайся, душа моя, вѣдь я пошутилъ! —постарался я утѣшить ее: — говори же, чтó нужно тебѣ для Филоѳея Иваныча?

— Ты знаешь, какъ много наше семейство ему обязано. Даже Simon —и тотъ отдавалъ ему справедливость. Такъ что ежели Теодоръ имѣетъ христіанскія правила, то это именно только благодаря ему.

— Ну-съ, такъ чѣмъ же я могу быть ему полезнымъ?

— Нельзя ли, голубчикъ, какъ-нибудь устроить его при вашей литературѣ!

— Кáкъ это — при литературѣ?

— Ну, да, мѣсто какое-нибудь... ты это можешь, cousin! онъ говорилъ мнѣ, что ты все, все можешь!

— Развѣ онъ пишетъ!

— Ахъ, онъ ужасно пишетъ! онъ цѣлый день, цѣлый день пишетъ! и даже одинъ самъ съ собою декламируетъ! Нѣкоторое онъ и мнѣ читалъ... право, нисколько не хуже „Бѣдной Лизы“... Голубчикъ! прочти!

При этой просьбѣ, les pieux souvenirs окончательно исчезли. Мнѣ вдругъ показалось, что я очутился въ какомъ-то темномъ складѣ, гдѣ грудами навалены куколки, куколки, куколки безъ конца. Отличныя куколки, лучшія въ своемъ родѣ. Одѣты — прелесть; ручки, ножки, личики, грудки —восторгъ; даже звуки какіе-то издаютъ, дѣлаютъ нѣкоторыя несложныя движенія головкой, глазами. Словомъ сказать, любую изъ нихъ посадилъ бы въ гостиную и любовался бы, какъ она глазки заводитъ. И вдругъ одна изъ куколокъ встаетъ и говоритъ: —покажите, пожалуйста, какъ мнѣ пройти въ литературу! это я не для себя прошу... фи! а для Филоѳея Иваныча! —И при этомъ начинаетъ лепетать: — „Бѣдная Лиза“, „Марьина Роща“, „Сарепта“, „Вадимъ“... Куколка, куколка! да вѣдь ты картонная! какъ это язычокъ твой выговорилъ: ли-те-ра-ту-ра? — Ахъ, это не я, это Филоѳей Иванычъ. —Какъ тутъ быть? Начать объяснять, что литература есть нѣчто серьезное и совсѣмъ не кукольное — не повѣритъ; доказывать, что „Бѣдная Лиза“ давно ужъ не представляетъ достаточнаго мѣрила для сравненія — не пойметъ...

Но тѣмъ-то именно и сильны куколки, что онѣ ничего не понимаютъ. И ежели, при этой силѣ непониманія, найдется мудрецъ, который овладѣетъ ею и добьется, что куколка что-нибудь затвердитъ, то она въ пользу этого затверженнаго способна будетъ на всякіе доступные куколкѣ подвиги. Будетъ съ утра до вечера повторять одно и то же слово, будетъ сердиться, ронять слезки, жаловаться на судьбу. И непремѣнно, въ концѣ концовъ, чего-нибудь добьется: если не прямо несообразность какую-нибудь вынудитъ сдѣлать, то заставитъ наобѣщать съ три короба, налгать.

— Послушай, Наташа! неужели ты не знаешь, что литература — это своего рода республика, въ которой такихъ мѣстъ, куда бы можно было „пристроить“, не полагается?—спросилъ я вмѣсто отвѣта.

Я нарочно употребилъ такой оборотъ рѣчи, чтобъ она не сразу могла понять. Я думалъ: надо ее поразить чѣмъ-нибудь помудренѣе, заставить ее сначала прислушаться, постараться заучить. Она заучитъ, перескажетъ Филоѳею и, разумѣется, перевретъ. Выйдетъ сначала одно недоразумѣніе, потомъ еще недоразумѣніе, потомъ десятки, сотни недоразумѣній — смотришь, анъ время-то и прошло. Однакожъ она даже и этой перспективы меня лишила.

— Значитъ, вакансій въ эту минуту нѣтъ?—воскликнула она съ неподдѣльною горестью.

— Не только въ эту минуту... ахъ, пойми меня, ради Христа! ни въ другую минуту, никогда вакансій не полагается! Отъ природы ихъ нѣтъ.

— Ахъ, ты меня обманываешь!

— Да нѣтъ же! если мнѣ не вѣришь, кого хочешь спроси. Ну, Теодора.

— Теодоръ, напротивъ, говоритъ, что у васъ безпрестанно мѣста открываются. Да это такъ и должно быть, потому что какъ же иначе, безъ подчиненныхъ, вы книжки бы издавали!

— Да очень просто: напишетъ кто-нибудь съ воли хорошую вещь—ее и печатаютъ!

— Ахъ, такъ вѣдь у него — много! Онъ цѣлый большой сундукъ съ собою привезъ!

— Ну, вотъ ты ему и скажи: пускай принесетъ. Конечно, не сразу весь сундукъ, а понемножку.

— И ты сейчасъ ему жалованье положишь?

Мнѣ вдругъ надоѣло. Мнѣ даже показалось, что совсѣмъ это не куколка, а просто замоскворѣцкая тетёха, которая дремлетъ и во снѣ веревки вьетъ.

— Ну, да! назначу! назначу!—крикнулъ я, чтобъ какъ-нибудь покончить.

Однакожъ мой тонъ огорчилъ ее.

— Вотъ ты и разсердился!—пролепетала она сквозь слезки:—сейчасъ былъ милый, а теперь... дурной! А я все-таки тебѣ благодарна. Хоть разсердился, а доброе дѣло сдѣлалъ. И я доброе дѣло сдѣлала... хоть и разсердила тебя.

Съ этими словами она встала и начала прощаться.

— Ну, до свиданія, мой родной. Благодарю, что побаловалъ. За все, за все благодарю вообще... И за себя, и за Теодора, и за Филоѳея Иваныча.

— Чтожъ ты заспѣшила! скажи по крайней мѣрѣ, что̀ предполагаешь дѣлать лѣтомъ? вѣдь Монрепо̀-то ужъ нѣтъ?

— Да, ужъ нѣтъ! И какъ мнѣ было грустно, еслибы ты зналъ, когда Теодоръ написалъ, что наше милое Монрепо̀ продано... Вѣдь тамъ мой добрый, милый Simon...

Опять les pieux souvenirs. И слезки—счетомъ двѣ.

— Теперь тѣснимся какъ-нибудь у Теодора, а тамъ... Скучно у васъ, cousin! Нѣтъ, что ни дѣлайте, а все-таки не Парижъ! Нѣтъ, ты представь себѣ: Парижъ, да если при этомъ Henri-Cinq—вѣдь это что-то волшебное!

— Ну, этого-то, пожалуй, не дождешься!

— Нѣтъ, это непремѣнно будетъ. Вообрази себѣ, какой однажды со мной случай былъ. Стою я въ la Chapelle и молюсь. И вдругъ—сама не знаю какъ—запѣла: Vive Henri Quatre! vive ce roi vertgalant! И съ тѣхъ поръ я вѣрю, что французы когда-нибудь одумаются и обратятся къ Henri Cinq.

— А покуда тебя за пѣнье, конечно, au violon?

— Нѣтъ, тамъ на это сквозь пальцы смотрятъ. Не знаютъ, что будетъ впереди—ну, и пропускаютъ. А не правда ли, какая прелестная пѣсенка? Впрочемъ и Marseillaise... quel chant grandiose!

— Ты, конечно, и Марсельезу пѣла!

— Я, cousin, все пѣла. Однажды я даже Паризьену пѣла въ честь герцога Омальскаго.

— Прекрасно; такъ и надо. Любезность — прежде всего. Впрочемъ что-жъ мы о пустякахъ болтаемъ; скажи-ка лучше, довольна ли ты Теодоромъ?

— Я —счастливѣйшая изъ матерей. Теодоръ—сокровище! Представь себѣ, отдалъ мнѣ свою комнату, а самъ съ Филоѳеемъ Иванычемъ расположился на бивакахъ въ кабинетѣ. Но знаешь ли что? мнѣ кажется, онъ черезъчуръ ужъ усерденъ. Все докладываетъ. Безпрестанно, съ утра до глубокой ночи все докладываетъ. Утромъ, часовъ въ десять, придетъ ко мнѣ, пока я еще въ постели, я его благословлю—и исчезнетъ на цѣлый день.

— За то и превознесенъ будетъ.

— Да, онъ пойдетъ; кажется, это одно его и поддерживаетъ. Филоѳей Иванычъ такъ объ немъ выразился: „хотя нынѣ для Ѳедора Семеныча и не безъ труда, но за то сколь сладко будетъ впослѣдствіи держать въ своихъ рукахъ судьбы возлюбленнаго отечества!“ Вотъ какъ Филоѳей Иванычъ говоритъ! и точно такъ пишетъ.

— Прекрасно.

— Очень рада, что тебѣ понравилось, потому что отъ тебя теперь все зависитъ. А какъ онъ читаетъ! Особливо описанія какія-нибудь: вѣтеръ, бурю — все такъ и слышишь! Ахъ, только бы ты ему жалованье поскорѣе назначилъ!

— Постараюсь, мой другъ. Да что ты все объ Филоѳеѣ Иванычѣ! тебѣ-то у насъ скучно—вотъ что меня безпокоитъ!

— Нѣтъ, я не скучаю. Отъ тебя къ Auclair поѣду, отъ Auclair къ Andrieux, потомъ еще куда-нибудь. А вечеромъ Теодоръ обѣщалъ насъ въ Зоологическій садъ свозить, ежели успѣетъ отдѣлаться.

— А вчера что дѣлали?

— Вчера отдыхали. Утромъ я все спала, а вечеромъ купили картъ и съ Филоѳеемъ Иванычемъ въ вистъ съ двумя болванами играли. Только считать ужасно трудно.

— Еще бы! Но ты не церемонься! ежели скучно, то пріѣзжай ко мнѣ, а не то такъ и просто пришли за мной. Я и въ Демидовъ садъ, и въ Лива-

дію, и на Крестовскій... Только вотъ Филоѳей Иванычъ... неужто и онъ будетъ участникомъ нашихъ экскурсій? ну, зачѣмъ онъ намъ?

— Cousin! ты ужасно, ужасно, ужасно... дурной!

— То-есть милый, хотѣла ты сказать?

— И дурной, и милый... Помнишь, тогда? А какъ меня maman забранила! Я цѣлыхъ три дня думала, что я... погибшая! Ну, такъ до свиданія; спѣшу къ Anclair! непремѣнно, непремѣнно за тобой пришлю! милый!

Она три раза поцѣловала меня, и вдругъ — не могу даже представить себѣ, что ей вообразилось — перекрестила меня и сказала: — Вотъ такъ! — Потомъ въ припрыжку побѣжала по направленію къ передней и, не добѣжавъ, опять остановилась.

— Ахъ, да! и забыла... cousin, не можешь ли ты...

Сердце у меня такъ и похолодѣло: сейчасъ, думаю, денегъ попроситъ. Однако на этотъ разъ обошлось благополучно. Какъ истинная куколка, она постояла немного и, не досказавши начатаго, продолжала:

— Нѣтъ, впрочемъ, это когда-нибудь послѣ. Такъ до свиданія, голубчикъ!

И черезъ минуту она ужъ дѣйствительно спускалась по лѣстницѣ.

Цѣлыхъ двѣ недѣли послѣ этого я провелъ въ чаду безумныхъ удовольствій. По нѣскольку разъ перебывалъ и въ Демидронѣ, и въ Ливадіи, и на Крестовскомъ, и даже въ Баваріи. Но Ѳеденьку не видалъ ни разу. Повидимому онъ былъ очень доволенъ, что свалилъ на меня обузу развлекать и увеселять Наташу и своего бывшаго воспитателя, и являлся домой только ночевать. Но мнѣ эти удовольствія стоили массу денегъ, издерживать которыя я, по родственному, обязывался безъ ропота.

Въ это же время я долженъ былъ возиться и съ Филоѳеемъ Дроздовымъ и выслушивать кроткія напоминанія Наташи относительно скорѣйшаго пріисканія ему мѣста въ литературѣ. Очень скоро весь чемоданъ произведеній Филоѳея Иваныча очутился у меня на квартирѣ. Тутъ были: и „Мысли у подножія памятника Минину и Пожарскому“, и „Ночь съ милой въ лѣсу“, романъ въ двухъ главахъ, и „Не стая вороновъ слеталась, или Ай да нигилисты!“, водевиль въ двухъ дѣйствіяхъ. Разумѣется, ничего этого я не читалъ и не намѣренъ былъ читать, но Дроздовъ все таскалъ, все таскалъ, и наконецъ совсѣмъ обратилъ мою квартиру въ свиной хлѣвъ.

Однимъ словомъ, никогда я такъ несносно, глупо-хлопотливо не проводилъ времени.

И вотъ, однажды вечеромъ, когда мы втроемъ наслаждались въ Демидронѣ, Nathalie отвела меня въ сторону и сдѣлала странное признаніе:

— Cousin, — сказала она: — у меня есть секретъ, который я должна тебѣ сообщить.

— Ахъ, голубушка ты моя! куколка, да еще съ секретомъ — вѣдь это прелесть!

— Нѣтъ, не шути этимъ! это секретъ... ахъ, это очень, очень важный секретъ!

— Въ чемъ же дѣло? скажи! не мучь!

— Я хочу...

Она остановилась и крѣпко сжала мою руку, на которую опиралась, словно требуя, чтобы я, сильный человѣкъ, защитилъ ее, слабенькую куколку, противъ нея самой.

— ... выйти замужъ,—прошептала она наконецъ, потупляя глазки.

Я думалъ, что я сплю. Не знаю почему, но среди цѣлой массы предположеній о путяхъ, коими Провидѣніе ведетъ куколокъ, именно одно это никогда не приходило мнѣ въ голову.

— За кого?—спросилъ я однакожъ.

Она вздрогнула и показала глазами на Дроздова, который въ эту самую минуту всѣмъ своимъ рыломъ такъ и впился въ дѣвицу Филиппо̀.

— Ѳеденька знаетъ объ этомъ?

— Нѣтъ, покуда... Впрочемъ я и не спѣшу ему объявить. Знаешь ли, мнѣ кажется, что онъ будетъ противъ этого брака?

— И мнѣ тоже кажется.

— Но вѣдь я—мать! Я знаю, что дѣти должны почитать своихъ родителей. Наконецъ я не обязана сыну отчетомъ. И ежели понадобится, то знаю, какъ нужно поступить.

— Неужели ты захочешь скандала?

— Ахъ, нѣтъ! какой ты! Я просто попрошу, чтобъ его посадили въ смирительный домъ, покудъ она не раскается.

Я взглянулъ на нее, думая, не прочту ли что-нибудь на ея лицѣ. И чтожъ!—ничего! куколка, ну, просто куколка—и ничего больше.

— Чѣмъ же вы будете жить?

— Мы разсчитываемъ на тебя, cousin. Когда ты все прочитаешь, что̀ Филоѳей Иванычъ тебѣ передалъ, и положишь ему жалованье, мы наймемъ маленькую квартирку и совьемъ тамъ себѣ гнѣздышко.

Во второй разъ я подумалъ, что сплю. Со страхомъ, почти съ ужасомъ смотрѣлъ я на нее, а она между тѣмъ продолжала:

— Я знаю, что ты очень большого жалованья на первый разъ дать не можешь—мы и не ждемъ этого. Но тысячи двѣ-три... пожалуйста, три! Подумай, какъ мнѣ будетъ трудно! Ахъ, я ничего, ничего не умѣю! Никогда я не занималась этимъ, а теперь надо будетъ вездѣ самой. И заказать обѣдъ, et les provisions, et la viande, et la blanchisseuse, et les frotteurs... enfin, tout, tout, tout! Конечно, Филоѳей Иванычъ будетъ меня руководить, но все-таки представь: вездѣ сама!

Я молчалъ въ нѣмомъ изумленіи, а она все ворковала, перескакивая отъ одной хозяйственной статьи къ другой. И наконецъ заключила:

— Теперь ты понимаешь, почему я такъ тороплю тебя насчетъ жалованья. Ахъ, это такъ насъ устроитъ!

Такимъ образомъ къ прежней массѣ пустяковъ прибавились еще новые. Но пустяки имѣютъ ужасную силу, особливо родственные. Возвратившись домой, я чуть не растопталъ „Ночь съ милой въ лѣсу“ и положительно до бѣлаго дня проворочался съ боку на бокъ, передумывая, предупредить ли Ѳеденьку, или не предупреждать.

Наконецъ я рѣшилъ предупредить. Можетъ быть, думалось мнѣ, какъ-нибудь и обойдется. Онъ объяснится, убѣдитъ, найдетъ средство устранить

Филоѳея... Всплакнетъ куколка, выронитъ двѣ слезки, ну, четыре, ну, шесть —и все пройдетъ.

Руководясь этими мыслями, я отправился въ одиннадцать часовъ утра въ то мѣсто, гдѣ онъ обыкновенно докладываетъ. Онъ былъ уже тамъ и сейчасъ же вышелъ ко мнѣ, нѣсколько изнуренный непосильнымъ трудомъ, но не побѣжденный и нимало не унывающій. Въ короткихъ словахъ я объяснилъ ему суть вчерашняго разговора съ Наташей.

— Я давно это угадывалъ,—сказалъ этотъ получившій христіанскія правила молодой человѣкъ, нимало не смутившись моимъ разсказомъ.

— Но что же ты предполагаешь дѣлать?

— Ровно ничего. Если это устраиваетъ maman... съ Богомъ!..

— Однако чѣмъ же они будутъ жить?

— Они все разсчитываютъ на какое-то жалованье, которое будто бы вы имъ обѣщали...

— Да вѣдь это наконецъ сказки! вѣдь это волшебное представленіе какое-то!

— Я ничего не знаю и ни во что вмѣшиваться не желаю. J'en ai jusqu'ici (онъ рѣзнулъ себя ладонью по горлу)! Я даже не понимаю, какъ я могу дѣлами заниматься среди этого хаоса.

— Вполнѣ раздѣляю твои затрудненія, но все-таки не понимаю, почему ты не хочешь вмѣшаться въ это дѣло. Согласись, что оно слишкомъ близко касается тебя и что ежели Наташа въ самомъ дѣлѣ выполнитъ свой нелѣпый проектъ...

— Ну, нѣтъ-съ, это не такъ-съ. Покуда maman носитъ имя моего отца, я, конечно, обязанъ... Вы впрочемъ сами знаете, сколько жертвъ я принесъ и даже теперь, въ настоящее время, приношу... Но, разъ, что она сдѣлала une mésalliance — это ужъ особая статья! Какъ ей угодно, но я тутъ ни-при-чемъ!

— Но отчего бы тебѣ не устроить этого дѣла тихимъ манеромъ? Ты очень хорошо понимаешь, что всѣ эти надежды на жалованье, которое будто бы я могу назначить Дроздову—все это миражъ... Но ты—вѣдь ты можешь! Отчего бы тебѣ не пристроить Филоѳея? Ежели тебѣ кажется не совсѣмъ ловкимъ выпросить для него что-нибудь въ Петербургѣ, то можно бы сплавить въ провинцію...

— Человѣка, который сочиняетъ „Ночь съ милой въ лѣсу“—благодарю покорно!

— Можно будетъ его уговорить, чтобъ онъ пересталъ. Право, мой другъ, въ провинцію? а?

— Представьте себѣ, не могу!

— Да почему же?

— Во-первыхъ, потому что я далъ себѣ слово никогда ни за кого не просить (мнѣ самому объ себѣ въ пору хлопотать,—прибавилъ онъ въ скобкахъ), а во-вторыхъ, знаете ли вы, какія у него претензіи? двѣ-три тысячи! и притомъ скорѣе три, нежели двѣ! Вѣдь такіе оклады въ провинціи получаетъ ужъ, такъ сказать, начальство! Это Дроздовъ-то—начальникъ!

Однимъ словомъ, какъ я ни убѣждалъ, Ѳеденька пребылъ непрекло-

ненъ. Затѣмъ мнѣ ничего другого не оставалось, какъ пустить это дѣло на волю судебъ.

И дѣйствительно, развязка не заставила себя долго ждать.

Дни проходили за днями, и Nathalie начала уже показывать признаки нѣкоторой раздражительности по случаю моей медленности. Мало-по-малу сталъ похаживать ко мнѣ и Филоѳей Дроздовъ, сначала просто „посидѣть", а потомъ и „за справочками". Во время этихъ собесѣдованій мнѣ удалось наконецъ понять, что его не столько соблазняетъ авторская слава съ ея скудными матеріальными прерогативами, сколько карьера редактора.

— Наслышанъ я,—говорилъ онъ: — будто бы нынѣ многіе издатели нуждаются въ редакторахъ, и будто бы таковымъ мѣстамъ присвоивается приличествующее содержаніе. Такъ вотъ еслибы вы походатайствовали...

Онъ мгновенно взвивался во весь ростъ и мгновенно же преломлялся пополамъ, касаясь рукой до земли.

— Помилуйте, Филоѳей Иванычъ! передъ кѣмъ же я буду ходатайствовать?—пробовалъ я возражать.

— Передъ подлежащими лицами, всеконечно. Нынѣ благонадежныя лица рѣдки, потребность же въ таковыхъ ощущается... А я бы, въ случаѣ надобности, и прикрыть кой-что могъ. Въ журналѣ или газетѣ, напримѣръ. Иное что-нибудь и вольненько написано, но коль скоро высшему начальству извѣстно, что редакторъ—здраваго ума человѣкъ, то оно и на вольныя прегрѣшенія, яко на невольныя, благомилостивымъ окомъ взглянетъ.

— Конечно, это хорошо. Но все-таки надо, чтобъ гдѣ-нибудь требовался вольнонаемный редакторъ, а я такихъ случаевъ не предвижу.

— Стало быть, не предвидите-съ?

— Да, не предвижу.

— Ну, а относительно произведеній моихъ—какъ вы думаете, какую цѣну за нихъ можно получить?

Я долго уклонялся отъ положительнаго отвѣта, но наконецъ убѣдился, что надежда какъ-нибудь отмолчаться и ускользнуть есть миѳъ. И вотъ въ одно прекрасное утро я вынужденъ былъ открыть печальную истину.

Въ тотъ же день сундукъ съ произведеніями Дроздова исчезъ изъ моей квартиры, и затѣмъ дня три или четыре сряду ни онъ, ни Nathalie не заглянули ко мнѣ.

Я началъ уже понемножку успокоиваться, какъ вдругъ, въ самый Петровъ день—звонокъ. Сердце мое тревожно забилось: это она, это Nathalie! Она—съ упрекомъ на устахъ, она—съ глазками, полными слезъ, она, не знающая, куда ей дѣвать этого длиннаго, длиннаго Филоѳея, который увязался за ея шлейфомъ и никакъ отцѣпиться не хочетъ!

Дѣйствительно, это была она, но — о, чудо!—не только не негодующая и не тоскующая, но опять та же милая, несравненная куколка, какою я видѣлъ ее при первомъ нашемъ свиданіи послѣ ея пріѣзда изъ-за границы. Только платьице другое надѣла, но, кажется, еще лучше, шикарнѣе прежняго.

Опять мы поцѣловались и опять выступили на сцену les pieux souvenirs. Какъ мы заблудились, какъ она украдкой бросила мнѣ въ тарелку пу-

почекъ. Объ Филоѳеѣ ни полслова, какъ будто его на свѣтѣ не было. Даже желудочекъ опять ручкой потерла (плутовка замѣтила, что движеніе это понравилось мнѣ) и попросила покушать.

И вдругъ...

— Cousin, не можешь ли ты... ахъ, я вѣчно все перепутаю... не можешь ли ты на короткое время меня ссудить...

— Сколько тебѣ нужно?

— Вотъ видишь ли, нашъ курсъ началъ поправляться... и даже очень-очень поправился... Такъ мнѣ совѣтовали воспользоваться этимъ... тысячки двѣ — можно?

Скажите по совѣсти: можно ли было устоять противъ просьбы, выраженной въ такой прелестной формѣ? Но кромѣ того и еще: Nathalie хочетъ воспользоваться поправкой курса, и только поэтому занимаетъ; но что̀ если она сообразитъ, что курсъ еще больше можетъ поправиться, да на этотъ случай еще тысячки двѣ накинетъ? Нѣтъ, лучше отдать прямо, по первому слову. Такъ я и поступилъ. Вспомнилъ, что у меня въ бюро лежатъ совсѣмъ ненужныя двѣ тысячи рублей, открылъ ящикъ и отсчиталъ деньги Наташѣ.

Но когда я все это выполнилъ — вообразите мой испугъ! Не успѣлъ я замкнуть бюро и повернуть лицо свое, чтобъ принять благодарно-родственный поцѣлуй, какъ въ комнатѣ уже не было никого. Въ одинъ мигъ Nathalie исчезла, словно растаяла въ воздухѣ...

На другой день утромъ я получилъ отъ Ѳеденьки письмо:

„Maman, возвратясь отъ васъ, сейчасъ же собралась и уѣхала за границу вмѣстѣ съ извѣстнымъ лицомъ. Не знаю, что̀ изъ этого выйдетъ, но теперь я, по крайней мѣрѣ, заниматься свободно могу“.

А вечеромъ — телеграмма.

„Остановилась на сутки въ Псковѣ. Счастлива. Великодушный другъ! благодарю. Nathalie Drozdoff“.

Я не удержался, побѣжалъ къ Ѳеденькѣ и передалъ ему телеграмму, въ особенности указавъ на то, что Наташа подписалась на ней уже Дроздовою.

— Ну, и прекрасно! — воскликнулъ онъ: — по крайней мѣрѣ теперь...

И какъ молодой человѣкъ, обладающій христіанскими правилами — набожно перекрестился

На другой день, 1-го іюля, я проснулся утромъ въ самомъ радостномъ настроеніи духа. Я всему былъ радъ: и тому, что мнѣ уже не придется ѣхать „гулять“ съ родственниками, и тому, что мои двѣ тысячи косвеннымъ образомъ послужили для поддержанія основъ... Но больше всего тому, что въ теченіе цѣлаго іюня не случилось со мной никакой „внутренней политики“.

Первое августа.

Послѣ родственной суматохи, которая преслѣдовала меня въ теченiе цѣлаго iюня, iюль прошелъ вяло, въ какомъ-то томительномъ отчужденiи. Тотъ, кто, подобно мнѣ, провелъ этотъ мѣсяцъ въ Петербургѣ, среди неусыпающихъ дождей и бодрствующихъ дворниковъ, тотъ пойметъ снѣдавшую меня тоску. Но я ужъ и тому былъ радъ, что и въ iюлѣ никакой внутренней политики не случилось... Слава Богу! слава Богу!

Говоря по совѣсти, я лично не имѣю никакихъ причинъ опасаться внутренней политики. Живу я просто, до того просто, что и прислуга, и швейцаръ, и дворники, не токмо за страхъ, но и за совѣсть, могутъ свидѣтельствовать о моей невинности; ремесломъ своимъ занимаюсь открыто: за хорошiя дѣла—жду помилованiя, за среднiя—прошу не взыскать, за худыя—благодарю и прiемлю и нимало вопреки глаголю. Травы не мну, рыбы не ловлю, птицъ не пугаю. Все это, вмѣстѣ взятое, составляетъ такого рода „поведенiе“, которое не только въ Уложенiи о наказанiяхъ, но даже въ брошюрахъ одесскаго професора Цитовича не предусматривается. Стало быть, ходи вольнымъ аллюромъ—и шабашъ.

Однакожъ, какъ я ни стараюсь приспособить свою поступь къ вольному аллюру, но успѣха достичь не могу. Существуютъ причины, которыя положительно всѣ мои усилiя въ этомъ смыслѣ обращаютъ въ ничто, и, къ стыду моему я долженъ сознаться, причины эти лежатъ не столько во внѣшней обстановкѣ, среди которой я живу, сколько во мнѣ самомъ.

Во-первыхъ, я слишкомъ ужъ давно живу, и это вводитъ и меня самого, и другихъ въ заблужденiе. Когда долго живешь на свѣтѣ, то непремѣнно думаешь, что нивѣсть сколько нагрѣшилъ. И утопiи, и филантропiи, и фаланстеры, и даже военныя поселенiя — все тутъ было! Однѣхъ „книжекъ“ сколько—это ни въ сказкахъ сказать, ни перомъ, описать! Какъ съ этимъ быть? Раскаяться—лѣнь; сдѣлать бывшее небывшимъ — невозможно; стало быть, приходится существовать, сознавая себя въ положенiи стараго волка, которому когда-нибудь отольются-таки овечьи слезки. Ужасно это тяжело! Конечно, когда кругомъ царствуетъ тишина, когда дворники бездѣйствуютъ, а городовые дѣлаютъ подъ козырекъ—тогда даже мечты о военныхъ поселенiяхъ кажутся пустяками. Вздоръ, да и все тутъ! Но когда...

Да, тишина—великое дѣло. Человѣкъ отъ природы такъ созданъ, что предпочитаетъ спокойствiе безпокойству, а потому онъ инстинктивно олицетворяетъ въ тишинѣ тотъ прекрасный удѣлъ, который на обыкновенномъ языкѣ называется счастiемъ. Ежели человѣка не безпокоятъ — онъ счастливъ; а ежели, сверхъ того, онъ знаетъ, что и завтра его безпокоить не будутъ—у него ужъ выростаютъ крылья. Гордо и самоувѣренно идетъ онъ по стезѣ, загроможденной всевозможными преступными пустяками, и ни минуты не сомнѣвается, что всѣ эти пустяки суть дѣйствительно пустяки, и въ качествѣ таковыхъ непремѣнно сойдутъ ему съ рукъ. И сходятъ. Какъ хотите это назовите: недоразумѣнiемъ, послабленiемъ, упущенiемъ или пр[illegible]ствомъ, но сходятъ, сходятъ и сходятъ. Есть у счастливыхъ людей звѣзда, ко-

торая путеводитъ ихъ и ограждаетъ отъ взысканій. Не даромъ еще въ прошломъ столѣтіи Сумароковъ возглашалъ:

Ты, фортуна, украшаешь
Злодѣянія людей.
И мечтанія мѣшаешь
Разсмотрѣти жизни сей...

Сидишь себѣ, счастливый и довольный, и въ мечтахъ опутываешь Россію цѣлою сѣтью военныхъ поселеній. И даже въ голову не приходитъ, что когда-нибудь это невинное опутываніе откликнется для тебя „разсмотрѣніемъ жизни сей“.

Но какъ только повѣетъ со стороны холодкомъ и зашевелятся дворники — конецъ счастію. Человѣкъ начинаетъ озираться, прислушиваться, и въ сердце его заползаетъ тупая, тревожная боль. Коль скоро эти признаки налицо, знайте, что немедленно вслѣдъ за ними явится и потребность „разсмотрѣнія жизни сей“. Потребность, нерѣдко ничѣмъ не мотивированная, но въ то же время до того естественная, что отдѣлаться отъ нея нѣтъ никакой возможности. Сиди и разсматривай, доколѣ не усмотришь. А ежели, несмотря на самыя искреннія усилія, все-таки ничего не усмотришь, то пожалуй и еще того хуже: непремѣнно хоть что-нибудь да наклеплешь на себя. И наклепавши, тѣмъ самымъ признаешь себя достойнымъ внутренней политики.

И такъ, первая причина, убивающая во мнѣ вольный аллюръ, есть причина чисто личная, заключающаяся въ томъ, что я слишкомъ давно живу.

Вторая причина — болѣе общая. Мы, русскіе, какъ-то черезчуръ ужъ охотно боимся, и притомъ боимся всегда съ увлеченіемъ. Начинаемъ мы бояться почти съ пеленокъ; сначала боимся родителей, потомъ — начальства. Иногда даже Бога боимся, но рѣдко: больше изъ учтивости, при собесѣдованіяхъ съ лицами духовнаго вѣдомства. Я помню, что еще въ школѣ начальство старалось искоренить во мнѣ начальственную боязнь. — Чего вы боитесь? говорило оно мнѣ: — намъ не страхъ вашъ нуженъ, а любовь и довѣріе. Все равно, какъ въ пѣснѣ поется: *мнѣ не дорогъ твой подарокъ, дорога твоя любовь*... — А я и за всѣмъ тѣмъ продолжалъ бояться. И нельзя сказать, чтобъ я не понималъ, что быть откровеннымъ и любящимъ ребенкомъ выгоднѣе — его никогда безъ послѣдняго кушанья не оставляютъ — понималъ я и это, и многое другое, и все-таки пересилить себя не могъ. Идешь и думаешь: а вотъ сейчасъ выскочитъ изъ-за угла гувернеръ — и поминай какъ звали!

Разумѣется, я не думаю, чтобы такова была характеристическая черта нашей національности. Я знаю, что это дурная привычка — и ничего болѣе. Но она до такой степени крѣпко засѣла въ насъ, что побѣдить ее ужасно трудно. Ужъ сколько столѣтій русское государство живетъ славною и вполнѣ самостоятельною жизнью, а мы, граждане этого государства, все еще продолжаемъ себя вести, какъ будто надъ нами тяготѣетъ монгольское иго или австріякъ насъ въ плѣну держитъ. Робѣемъ, корчимся, прислушиваемся ко всякимъ шорохамъ, смущаемся при выходѣ ретирадныхъ брошюръ, раскаиваемся, клеплемъ на себя и на другихъ, однимъ словомъ, мнимъ себя до та-

кой степени послѣдними изъ послѣднихъ, что изъ всего Державина содержимъ въ памяти только одинъ стихъ:

А завтра—гдѣ ты, человѣкъ?

И кого боимся? Того самаго начальства, которое еще съ школьной скамьи твердитъ намъ: „не страхъ вашъ нуженъ, а довѣріе и любовь!"

Нигдѣ такъ много не говорятъ по секрету, какъ у насъ; нигдѣ (даже въ самомъ обыкновенномъ разговорѣ) такъ часто не прорывается фраза: „ахъ, какъ это вы не боитесь!" нигдѣ такъ скоро не теряютъ присутствія духа, такъ легко не отрекаются. Словомъ сказать, нигдѣ не боятся такъ натурально, свободно, почти художественно.

Но что̀ всего хуже: свойственный намъ, русскимъ, страхъ вовсе не принадлежитъ къ числу такъ-называемыхъ спасительныхъ. Еслибъ еще это было такъ, то, конечно, лучшаго бы и желать не надо. Спасительный страхъ научаетъ терпѣнію—вотъ неоцѣненная польза, имъ приносимая. Если видишь, напримѣръ, себя на краю пропасти, то остановись и ожидай, пока вѣдомство путей сообщенія не устроитъ здѣсь безопаснаго спуска. Если нужно тебѣ переправиться черезъ рѣку, то не дерзай искать брода, но увѣдомь о своей нуждѣ подлежащую земскую управу и ожидай, пока она устроитъ мостъ или паромъ. Ежели встрѣтишь человѣка, который будетъ приглашать тебя, въ качествѣ попутчика, въ страну утопій, то жди, покуда не будетъ выдана подорожная. Таковъ „спасительный" страхъ въ томъ видѣ, въ какомъ оный предписывается во всѣхъ предначертаніяхъ. Къ сожалѣнію совсѣмъ не таковъ нашъ общеупотребительный, русскій страхъ. Увы! подъ гнетомъ его мы ни мало не научаемся терпѣнію, а просто-на̀-просто поремъ горячку и мечемся. А вслѣдствіе этого не только не останавливаемся на краю пропасти, но чаще всего стремглавъ лѣземъ на дно оной.

Виноватъ ли я лично въ томъ, что эта хроническая боязнь обуреваетъ меня? конечно, виноватъ, если взять въ соображеніе, что моя боязнь есть вмѣстѣ съ тѣмъ и ослушаніе. Съ отроческихъ лѣтъ твердитъ мнѣ начальство, что бояться не дозволяется, а я не слушаюсь, боюсь, то-есть выказываю отвагу именно въ такомъ пунктѣ, гдѣ ея совсѣмъ не требуется — ясно, что я виноватъ. Но съ другой стороны, какъ посмотрю я кругомъ — развѣ я одинъ боюсь. Нѣтъ, всѣ боятся, всѣ до единаго. Столько у насъ въ послѣднее время развелось угрозъ, что боязнь сдѣлалась даже чѣмъ-то въ родѣ развлеченія, почти занятіемъ. Если бы я не боялся, то навѣрное въ скоромъ времени совсѣмъ сгибъ бы отъ праздности. А теперь я все-таки чѣмъ-нибудь занятъ. Во-первыхъ, стараюсь угадать угрозу; во-вторыхъ, придумываю способы оборониться отъ нея, устроить такъ, чтобъ она ударила по сосѣду, а не по мнѣ. Для ума пытливаго тутъ пищи безъ конца. Обдумываешь, ходатайствуешь, оправдываешься, раскаиваешься и наконецъ возвращаешься домой усталый, почти измученный. Смотришь—анъ въ результатѣ не только время прошло, но и самое представленіе объ угрозѣ куда-то испарилось, словно его совсѣмъ не было...

И такъ, вотъ въ этой-то смутной боязни прошелъ для меня весь іюль мѣсяцъ.

Я былъ одинъ, а одиночество дѣйствуетъ въ этомъ отношеніи особенно деморализирующимъ образомъ. Въ одиночествѣ каждая филантропія принимаетъ размѣры пособничества, каждое военное поселеніе—размѣры потрясанія основъ. Конечно, и это бы ничего (повторяю: и въ кварталѣ извѣстно, что пустяки все это!), но чтò дѣйствительно ужасно — это воспитываемая одиночествомъ склонность къ примѣненію соотвѣтствующихъ статей Уложенія о наказаніяхъ ко всѣмъ этимъ пустякамъ. Сидишь одинъ-одинёшенекъ, прислушиваешься къ окрестнымъ шорохамъ—и примѣняешь. Такъ что ежели при этомъ въ комнатѣ еще темно, то положительно дѣлается жутко. Въ ушахъ раздается незаслуженное: „фюить!“ и непремѣнно всѣ самые глупые романсы, всѣ безшабашнѣйшія метафоры, какими когда-либо украшались страницы русскихъ хрестоматій -- все такъ и ползетъ изъ всѣхъ захолустьевъ памяти. Тутъ и „ямщикъ лихой, онъ всталъ съ полночи“, и „сабля моя стучала по верстовымъ столбамъ, какъ по частоколу“ — все тутъ. И въ заключеніе — „разсмотрѣніе жизни сей“, какъ неизбѣжный продуктъ этихъ романсовъ. Глупо, неестественно, несбыточно до очевидности, но въ то же время какъ-то мрачно-правдоподобно.

Разумѣется, я принималъ всѣ мѣры, чтобы избѣжать одиночества. Съ утра уходилъ къ Палкину, слушалъ машину, любовался на стерлядей, плавающихъ въ бассейнѣ, и разспрашивалъ, сколько вонъ та стоитъ и сколько вотъ эта. Потомъ отправлялся въ Зоологическій садъ и вмѣстѣ съ кадетами смотрѣлъ на кормленіе звѣрей; потомъ устремлялся къ „Медвѣдю“, гдѣ съ истинно-дикимъ наслажденіемъ глоталъ протухлый воздухъ; а вечеромъ—въ Демидронъ, гдѣ дѣлалъ умственныя выкладки, сколько противъ прошлаго года прибавилось килограммовъ въ дѣвицѣ Филиппò. Затѣмъ, возвращаясь поздно вечеромъ домой, я съ любопытствомъ всматривался въ физіономію швейцара, усиливаясь прочесть, не написано ли на ней чего-нибудь внезапнаго, и ежели прочитывалъ только заспанность, то ложился въ постель и старался заснуть съ такимъ разсчетомъ, чтобы Уложеніе о наказаніяхъ ни подъ какимъ видомъ не отравило моихъ сновидѣній.

Къ сожалѣнію, какъ ни дѣйствительными представлялись эти мѣры, но досуга для „разсмотрѣнія жизни сей“ все-таки оказывалось болѣе нежели достаточно. Къ тому же въ послѣднее время возникъ для меня еще новый мотивъ для разсмотрѣній.

Дѣло въ томъ, что по поводу моей литературной дѣятельности возникаютъ нѣкоторые обвинительные слухи, которые съ теченіемъ времени пріобрѣтаютъ все болѣе и болѣе острый характеръ. Обвиняютъ меня въ беллетристическомъ двоедушіи, требуютъ, чтобы я повелъ дѣло на чистоту и показалъ свое знамя. Признаюсь откровенно, слухи эти дѣйствуютъ на меня болѣзненно. Во-первыхъ, я вообще избѣгаю разговоровъ о своей личности, и тѣмъ болѣе разговоровъ печатныхъ, которые имѣютъ свойство привлекать, въ качествѣ невольнаго посредствующаго лица, публику; во-вторыхъ, что-жъ это, въ самомъ дѣлѣ, за требованіе такое: покажи свое знамя? Какое это знамя? развѣ у обывателей полагаются знамена?..

Тѣмъ не менѣе я не желаю прикидываться ни равнодушнымъ, ни презирающимъ. Говорю прямо: окрики эти трогаютъ меня. Я слишкомъ давно

и слишкомъ дѣятельно принимаю участіе въ русской литературѣ, чтобы имѣть возможность разыгрывать роль посторонняго зрителя относительно жизненныхъ явленій вообще, а стало быть и относительно дѣлаемыхъ по моему поводу оцѣнокъ. Но этого мало: писанія мои до такой степени проникнуты современностью, такъ плотно прилаживаются къ ней, что ежели и можно думать, что они будутъ имѣть какую-нибудь цѣнность въ будущемъ, то именно и единственно какъ иллюстрація этой современности. Поэтому всѣ характерные признаки ея необходимо должны оказывать на меня извѣстное дѣйствіе. Тщетно усиливался бы я замкнуться въ самомъ себѣ, тщетно старался бы не видѣть и не слышать: лая самой ледащей собачонки, ежели онъ повторяется регулярно, вполнѣ достаточно, чтобы нарушить эту замкнутость и обратить въ ничто мое насильственное равнодушіе. Это до такой степени вѣрно, что даже люди, желающіе познакомиться съ моимъ знаменемъ—и тѣ ни на что̀ другое не бьютъ: ни на логику, ни на софизмъ, а именно только на раздражающее дѣйствіе, которое долженъ оказывать періодически возобновляемый лай на человѣка, связаннаго крѣпкими узами съ современностью, и потому вынуждаемаго время отъ времени являться съ публичными отчетами объ ней.

Начну съ обвиненія въ двусмысленности или, иначе, въ двоедушіи, а еще проще — въ обманѣ. Говорятъ, будто я (и, конечно, съ умысломъ) такую особенную манеру писать изобрѣлъ, которая постоянно вводитъ въ заблужденіе. Кого же, однако, я хочу обмануть?

Ежели предполагается, что я желаю обмануть ту читающую публику, къ которой обыкновенно обращаюсь, то предположеніе это не имѣетъ и тѣни правдоподобія. Я дѣйствую въ русской литературѣ больше тридцати лѣтъ, и изъ нихъ около двадцати-пяти лѣтъ, быть можетъ, даже слишкомъ часто напоминаю о себѣ читателямъ. Мнѣ кажется, этого совершенно достаточно, чтобы публика поняла, съ кѣмъ она имѣетъ дѣло, и чтобы я не имѣлъ надобности въ дополнительныхъ объясненіяхъ и подчеркиваньяхъ. И дѣйствительно, она до такой степени ознакомилась со мной, а въ особенности съ тѣми намѣреніями, которыя стоятъ у меня на первомъ планѣ, что я, просто-на̀-просто, ни спрятаться за псевдонимомъ, ни притвориться не самимъ собой не могу. И я думаю, что ежели читатель такъ легко узнаетъ меня, то причина этого заключается не столько въ манерѣ моихъ писаній, сколько въ ихъ содержаніи. Такъ что еслибы я, напримѣръ, позволилъ себѣ порицать добродѣтель и возвеличивать порокъ, то я убѣжденъ, что несмотря ни на какія „манеры", публика поняла бы, что я сдѣлалъ дурной поступокъ, и отвернулась бы отъ меня.

Не надо забывать, что русскій писатель вообще (а въ томъ числѣ, конечно, и я) имѣетъ дѣло съ очень ограниченнымъ кругомъ читателей, который, право, не такъ-то легко объегорить „манерами". Въ средѣ этой есть люди, симпатизирующіе мнѣ; но найдется достаточно и такихъ, которыхъ одно напоминаніе обо мнѣ приводитъ въ раздраженіе. Ужели и эти симпатіи, и эти ненависти имѣютъ источникомъ одно недоразумѣніе? По моему, это уже слишкомъ явная безсмыслица, чтобы нужно было ее опровергать.

Ежели же предположить, что я желаю своими „манерами" обмануть

чальство—упаси Богъ! Кромѣ того, что я совершенно правильно сознаю свои обязанности въ отношеніи къ начальству, я положительно убѣжденъ, что начальство понимаетъ мои желанія столь же ясно, какъ и публика. Оно видитъ мое усердіе и сознаетъ, что если я по временамъ заблуждаюсь, то не по обдуманному заранѣе умыслу, а по простотѣ душевной и изъ желанія пользы ближнему. Сверхъ того, оно знаетъ, что хотя существованіе такого писателя, какъ я, и не приноситъ большой славы отечеству, но оно и не безчеститъ его, а стало быть во всякомъ случаѣ законами не возбраняется. Если же и можно заподозрить меня въ томъ, что я не всегда выкладываю все, что̀ у меня на душѣ, то и въ этомъ начальство усматриваетъ не двоедушіе и обманъ, но лишь полезную сдержанность, которую я приношу въ жертву на алтарь отечеству. И по соображеніи всѣхъ этихъ усмотрѣній, не находя достаточныхъ поводовъ для принятія мѣръ строгости, оно предоставляетъ мнѣ спокойно заниматься моимъ ремесломъ.

Я не отрицаю, что въ писаніяхъ моихъ нерѣдко встрѣчаются вещи довольно неожиданныя, но это зависитъ отъ того, что въ любомъ курсѣ реторики существуютъ указанія на тропы и фигуры, и я, какъ человѣкъ получившій образованіе въ казенномъ заведеніи, не имѣю даже права оставаться чуждымъ этимъ указаніямъ. Есть метафора, есть метонимія, синекдоха... Наконецъ существуютъ особыя рубрики литературнаго труда, носящія названія „сатиры“, „эпиграмы“ и проч., которыя тоже съ разрѣшенія реторики допускаются къ обнародованію, съ тѣмъ чтобы, по отпечатаніи, надлежащее количество экземпляровъ было представлено въ цензурный комитетъ. Теперь сообразите: вѣдь начальство само предписало преподаваніе реторики въ казенныхъ заведеніяхъ — какимъ же образомъ оно можетъ, безъ явнаго противорѣчія съ самимъ собой и даже безъ явной несправедливости, преслѣдовать то̀, что̀ разрѣшено имъ самимъ разрѣшенною реторикой?

Съ вещественными доказательствами въ рукахъ я могу утверждать, что все, написанное мною въ теченіе тридцати лѣтъ, совсѣмъ не „обманъ“ (на такую литературную рубрику даже въ реторикѣ Георгіевскаго указаній нѣтъ), но вполнѣ согласно съ предписаніями реторики. Если же я—еще разъ повторяю—отличаюсь въ писаніяхъ своихъ сдержанностью, то-есть даже дозволеніями реторики не рѣшаюсь вполнѣ пользоваться, то въ глазахъ начальства это не порокъ, а достоинство. Сколько лѣтъ человѣкъ пишетъ, и все сдерживаетъ себя — стало быть, это именно и есть испытанный и вполнѣ достойный гражданинъ! Совсѣмъ не то, что шавки, которыя, выбѣжавъ изъ ретираднаго мѣста, въ одну минуту вылаютъ ту соринку, которая завелась у нихъ за душой, не понимая, вредна она или безопасна, содѣйствуетъ или компрометируетъ... Вотъ какъ разсуждаетъ начальство, и, по моему мнѣнію, разсуждаетъ сознательно, а не вслѣдствіе какого-то умопомраченія, которое будто бы источаютъ изъ себя мои литературныя работы.

Какъ бы то ни было, но обвиненія въ двоедушіи и обманѣ, какъ относительно публики, такъ и относительно начальства, оказываются вполнѣ несостоятельными. Сами обвинители мои только притворяются недоумѣвающими. Очень хорошо они знаютъ, объ чемъ я говорю, и ежели имъ что̀ во мнѣ не нравится, то это именно моя сдержанность. Они не безъ основанія полагаютъ,

что будь я менѣе сдержанъ—изъ этого непремѣнно произойдетъ для меня молчаніе. Вотъ чего имъ хочется; а мнѣ этого не хочется. И какъ ни сильны бываютъ порой сомнѣнія, меня обуревающія, но мнѣ кажется, что въ этомъ случаѣ я все-таки поборю.

Но обвиненіе не довольствуется одними голословными заявленіями и приводитъ въ подтвержденіе очень вѣскій и доказательный, по мнѣнію его, фактъ. Оказывается, что я такъ обстроилъ свои дѣлишки, что съумѣлъ понравиться даже тѣмъ, на кого я обыкновенно нападаю. Ну, какъ же, молъ, это не обманъ?

Рискуя быть заподозрѣннымъ въ самохвальствѣ, я думаю однакожъ, что дѣло объясняется гораздо проще. Несомнѣнно, что существуетъ почва, на которой читатель охотно примиряется съ обличеніями. Эта почва—добродушіе, смѣхъ и человѣческое отношеніе къ дѣйствующимъ лицамъ живописуемой комедіи. Вѣдь на свѣтѣ живутъ не одни прожженые шалопаи, которые въ смѣхѣ готовы заподозрить продерзость, а въ человѣчности—пособничество и укрывательство. Большинство смертныхъ не только видитъ въ этихъ качествахъ смягчающее обстоятельство, но и признаетъ, что человѣкъ, обладающій ими, не имѣетъ основанія сидѣть сложа руки. Я никого не бью по щекамъ, хотя нѣкоторые „критики“ и увѣряютъ, что я только этимъ и занимаюсь. Моя рѣзкость имѣетъ въ виду не личности, а извѣстную совокупность явленій, въ которой и заключается источникъ всѣхъ золъ, угнетающихъ человѣчество. Читатель, очевидно, понимаетъ, что такова именно моя мысль, и вслѣдствіе этого мирится со мною даже тогда, когда я повидимому обличаю его самого. Онъ инстинктивно чувствуетъ, что я совсѣмъ не обличитель, а адвокатъ. Что я вижу въ немъ жертву общественнаго темперамента, необходимую мнѣ совсѣмъ не для потасовки, а только въ качествѣ иллюстраціи этого послѣдняго.

Я очень хорошо помню пословицу: было бы болото, а черти будутъ, и признаю ее настолько правильною, что никакихъ варіантовъ въ обратномъ смыслѣ не допускаю. Воистину болото родитъ чертей, а не черти созидаютъ болото. Жалкіе черти! какъ имъ очиститься, просвѣтлѣть, перестать быть чертями, коль скоро ихъ насквозь пронизываютъ испаренія болота! Жалкіе и смѣшные черти! какъ не смѣяться надъ ними, коль скоро они сами принимаютъ свое болото въ сурьёзъ и устраиваютъ тамъ цѣлый нелѣпый міръ отношеній, въ которомъ безцѣльно кружатся и мятутся, совершенно искренно вѣря, что дѣлаютъ какое-то прочное дѣло! Да, смѣшны и жалки эти кинутые въ болото черти; но само болото—не жалко и не смѣшно...

Есть и еще обвиненіе, касающееся того же двоедушія. Говорятъ, что я изображаю въ смѣшномъ видѣ русскихъ консерваторовъ — стало быть, я не консерваторъ; но тутъ же рядомъ и въ столь же неудовлетворительномъ видѣ я изображаю и русскихъ либераловъ — стало быть, я и не либералъ. Если первое можно было объяснить предполагаемымъ во мнѣ либерализмомъ, то чѣмъ объяснить второе? Не желаніемъ ли понравиться начальству и тѣмъ хотя отчасти искупить продерзостныя нападки на консерваторовъ?.. Ну вотъ, и слава Богу!

И такъ, ежели въ писаніяхъ моихъ и обрѣтается что-либо неясное, то

никакъ ужъ не мысль, а развѣ только манера. Но и на это я могу сказать въ свое оправданіе слѣдующее: моя манера писать есть манера рабья. Она состоитъ въ томъ, что писатель, берясь за перо, не столько озабоченъ предметомъ предстоящей работы, сколько обдумываніемъ способовъ проведенія его въ среду читателей. Еще древній Езопъ занимался такимъ обдумываніемъ, а за нимъ и множество другихъ шло по его слѣдамъ. Эта манера изложенія, конечно, не весьма казиста, но она составляетъ оригинальную черту очень значительной части произведеній русскаго искусства, и я лично тутъ ровно ни-при-чемъ. Иногда впрочемъ она и не безвыгодна, потому что, благодаря ея обязательности, писатель отыскиваетъ такія пояснительныя черты и краски, въ которыхъ, при прямомъ изложеніи предмета, не было бы надобности, но которыя все-таки не безъ пользы врѣзываются въ памяти читателя. А сверхъ того, благодаря той же манерѣ, писатель пріобрѣтаетъ возможность показывать нѣкоторыя перспективы, куда запросто и съ развязностью военнаго человѣка войти не всегда бываетъ удобно. Повторяю: это манера несомнѣнно рабья, но при соотвѣтственномъ положеніи общества вполнѣ естественная и изобрѣлъ ее все-таки не я. А еще повторяю: она нимало не затемняетъ моихъ намѣреній, а, напротивъ, дѣлаетъ ихъ только общедоступными.

Затѣмъ, покончивъ съ двоедушіемъ, будемъ, пожалуй, говорить и о знамени.

Я помню, лѣтъ семь тому назадъ, одинъ изъ публицистовъ „Русскаго Вѣстника“ (въ статьѣ: „Наши охранители и наши прогрессисты“) уже заводилъ разговоръ на эту тему. И тоже отчасти по моему поводу. Надергавъ изъ разныхъ моихъ статей „мѣстечекъ“ и лишивъ ихъ, ради аттической соли, связи съ предыдущимъ и послѣдующимъ, онъ огуломъ призналъ мою литературную дѣятельность вредною, подрывающею величественное шествіе Россіи на пути развитія, и въ заключеніе, въ какомъ-то непонятномъ восхищеніи, подстрекалъ самого себя на борьбу со мною.—Будемъ высоко держать знамя Россіи!—восклицалъ онъ:—и да послужитъ оно оплотомъ противъ наплыва неблагонадежныхъ элементовъ!

Я помню, этотъ призывъ къ ополченію противъ моего наплыва довольно-таки меня огорчилъ. Не потому чтобы я былъ сраженъ страхомъ по поводу причисленія меня лицомъ посторонняго вѣдомства къ лику неблагонадежныхъ (тьфу!—вотъ я какъ на это смотрю!), но потому, что мнѣ не было при этомъ преподано никакихъ средствъ для исправленія.—Нужно высоко держать знамя Россіи!—твердилъ я самому себѣ:—но вѣдь надо же объяснить, о какомъ знамени Россіи идетъ рѣчь? Вѣдь не о государственномъ же знамени вы бесѣдуете—это знамя я всегда отлично понималъ, равно какъ понималъ и то, что держать его простымъ смертнымъ не предоставляется—а очевидно о какомъ-то другомъ, а именно о знамени, такъ сказать, интимно обывательскомъ. Но, воля ваша, заводя рѣчь о подобныхъ знаменахъ, надо какъ можно точнѣе ихъ характеризовать, потому что обыватели не всегда въ редактированіи девизовъ искусны. Иной такую чепуху на своемъ знамени напишетъ, что попробуй, соблазнись—и въ острогъ, пожалуй, угодишь! Вотъ почему я тогда же обратился къ встревоженному моимъ наплывомъ публицисту съ просьбою указать подробно, въ чемъ я долженъ исправиться и какими деви-

зами обязываюсь украшать свое знамя, чтобъ быть вычеркнутымъ изъ списка неблагонадежныхъ?

Конечно, отвѣта на мой запросъ не послѣдовало. Охотно сочиняя обвинительные акты, публицисты извѣстнаго пошиба съ истинно жестокою безсердечностью оставляютъ обличаемыхъ ими грѣшниковъ въ жертву ожидающему ихъ возмездію. Но такъ какъ и возмездія, которое хотя косвенно могло бы пролить свѣтъ на мои сомнѣнія, не послѣдовало, то я вынужденъ былъ уже собственными средствами доискиваться раскрытія кинутой въ мой огородъ загадки. И что же! ища и допытываясь, я убѣдился, что самое употребительное, популярное и искреннее обывательское знамя есть то, на которомъ написано: „распивочно и на-выносъ!“

Очевидно, конечно, что почтенный публицистъ настаивалъ не на этомъ знамени, но имѣлъ въ виду иныя знамёна, на которыхъ начертаны другіе, болѣе солидные и совмѣстные съ достоинствомъ благонамѣренной русской публицистики девизы. И хотя онъ не называлъ ихъ прямо, но догадываюсь, что девизы эти таковы: семейство, собственность, государственный союзъ и проч. И такъ какъ, по мнѣнію обвинителя, я недостаточно усвоилъ себѣ эти девизы, то за сіе и признанъ имъ подлежащимъ помѣщенію въ списокъ неблагонадежныхъ.

Оказывается однакожъ, что знамёна съ упомянутыми выше девизами не безъизвѣстны и мнѣ. Я довольно часто возвращаюсь къ нимъ и по мѣрѣ силъ даже разрабатываю ихъ; но, разумѣется, моя разработка имѣетъ нѣсколько своеобразный характеръ. Она не столь отвлеченна, какъ изслѣдованіе какого-нибудь ученаго юриста или экономиста, и не столь практически-наглядна, какъ напримѣръ разработка Юханцева, Ландсберга и проч. Но позволяю себѣ думать, что и моя разработка не вовсе безполезна.

Какъ литераторъ, занимающійся книгопечатаніемъ съ вѣдома реторики, я разрабатываю всякаго рода знамёна въ предѣлахъ той литературной рубрики, которая извѣстна подъ именемъ „сатиры“. Затѣмъ, справляясь съ любымъ курсомъ реторики, я убѣждаюсь, что основной характеръ „сатиры“ заключается въ томъ, что она „осмѣиваетъ пороки“. Прошу читателя не сѣтовать на меня за эти нѣсколько дѣтскія подробности: я останавливаюсь на нихъ потому, что мнѣ необходимо объясниться (вѣдь находятся люди, которымъ и это нужно объяснить), почему я пишу не въ диѳирамбическомъ, а въ сатирическомъ родѣ. Диѳирамбъ — говорю я — есть совершенно сепаратная литературная рубрика, столь же мало противозаконная, какъ и сатира, но и не пользующаяся, сравнительно съ послѣднею, никакими особенными привилегіями (развѣ что существуютъ какія-либо отдѣльныя по сему предмету распоряженія, о которыхъ я не знаю). Сверхъ того, диѳирамбъ требуетъ иныхъ способностей и совершенно иного отношенія къ изображаемымъ предметамъ, нежели сатира. Такъ что, напримѣръ, если я способенъ написать сносную сатиру, то въ области диѳирамба могу оказаться самымъ плохимъ нанизывателемъ напыщенныхъ и пустопорожнихъ фразъ. А по моему мнѣнію, заниматься составленіемъ ходульно-лицемѣрныхъ и вымученныхъ диѳирамбовъ гораздо противозаконнѣе, нежели упражняться въ сносной сатирѣ.

Но — спрашивается — что такое порокъ, какъ объектъ сатиры?

Прежде всего, признаюсь, я не совсѣмъ довѣряю тѣмъ отвержденнымъ пискамъ пороковъ, которые время отъ времени публикуются во всеобщую звѣстность моралистами. Мнѣ кажется, что моралисты слишко съуживаютъ раницы порока, черезчуръ ужъ тщательно опредѣляютъ внѣшніе его принаки. Вслѣдствіе этого порокъ представляется чѣмъ-то окаменѣлымъ, не олько не имѣющимъ никакой притягательной силы, но даже прямо отталивающимъ. Нужно быть отъ природы несомнѣнно предрасположеннымъ къ лодѣйству и нераскаянности, и притомъ очень храбрымъ (или по малой ѣрѣ очень глупымъ), чтобы съ насиліемъ и взломомъ проникнуть въ налухо запертое капище порока, на дверяхъ котораго прежде всего бросаются ъ глаза самыя опредѣленныя указанія на соотвѣтствующія статьи Уложенія.

Такихъ отважныхъ рыцарей, которые со взломомъ проникаютъ въ капище порока, сравнительно очень мало, и они почти всегда попадаются. И огда они попадутся, то въ средѣ прокурорскаго надзора бываетъ радованіе. Ибо составъ совершившагося факта ясенъ, и стало быть остается только предъвить въ судъ счетъ (addition) порочнаго человѣка, и уплата по оному воспослѣдуетъ немедленно и сполна.

Мнѣ кажется, что простая человѣческая совѣсть оказывается въ этомъ лучаѣ гораздо болѣе проницательною. Во-первыхъ, она отвергаетъ замкнуость, которую приписываютъ пороку моралисты, и признаетъ за нимъ значительную долю въѣдчивости; во-вторыхъ, она не допускаетъ, чтобъ порокъ акъ легко поддавался опредѣленіямъ, ибо въ этомъ случаѣ стоило бы только величить составъ прокурорскаго надзора, чтобы очистить Авгіевы конюшни; ъ-третьихъ, она признаетъ, что порокъ прогрессируетъ, какъ относительно нѣшнихъ формъ, такъ и по существу, и вслѣдствіе этого одни пороки упраздяются, и взамѣнъ ихъ появляются новые, которые человѣческая совѣсть же угадываетъ, между тѣмъ какъ прокурорскій надзоръ и во снѣ ничего одходящаго еще не видитъ.

Нужно ли говорить, что въ виду этихъ двухъ взглядовъ на порокъ итература должна склоняться на сторону совѣсти? Прежде всего она не еньше милосердна, какъ и человѣческая совѣсть, и стало быть предположеіе о въѣдчивости порока, какъ смягчающее личную отвѣтственность, не можетъ не привлекать ее. Такъ что ежели человѣкъ, укравшій грошъ, въ глазахъ моралиста ни въ какомъ случаѣ не заслуживаетъ пощады, то во мнѣіи человѣческой совѣсти и литературы онъ можетъ оказаться человѣкомъ, котораго даже отнять похищенный имъ грошъ не совсѣмъ ловко. А посему надлежитъ: списавъ тотъ грошъ безвозвратнымъ расходомъ, стараться объ емъ позабыть. Затѣмъ литературѣ не меньше претитъ и канцелярская точность въ опредѣленіи признаковъ порока, потому что слишкомъ ясные пороки вѣдаются полиціею и судомъ, и этого вполнѣ для успокоенія общества достаточно. Литература же вѣдаетъ такія человѣческія дѣйствія, которыя заключаютъ въ себѣ извѣстную степень загадочности и относительно которыхъ публика находится еще въ недоумѣніи, порочны они или добродѣтельны. Философы пишутъ, съ цѣлью разъясненія подобныхъ дѣйствій, цѣлые трактаты; романисты кладутъ ихъ въ основаніе многотомныхъ произведеній; са-

тирики дѣлаютъ то же дѣло, призывая на помощь оружіе смѣха. Это оружіе очень сильное, ибо ничто такъ не обезкураживаетъ порока, какъ сознаніе, что онъ угаданъ, и что по поводу его уже раздался смѣхъ. Наконецъ и мысль объ измѣняемости формъ порока не можетъ не быть симпатичной для литературы, такъ какъ еслибъ не существовало измѣняемости, еслибъ злоба дня не снабжала жизни все новыми и новыми формами порока, то матерія эта давно была бы исчерпана, и литературѣ пришлось бы уступить мѣсто полиціи и суду. Но этого нѣтъ. И въ то время какъ судъ караетъ одного Ландсберга, литература прозрѣваетъ миріады Ландсберговъ, тѣмъ болѣе опасныхъ, что къ нимъ невозможно примѣнить ни одного изъ общепризнанныхъ ярлыковъ, выработанныхъ отвержденною моралью.

Ничего этого, конечно, не признаютъ люди, занимающіеся вытребованіемъ литературныхъ знаменъ. Они считаютъ обязательною одну мораль — отвержденную, и все, что̀ прямо не возбраняется ею, признаютъ законнымъ. И вслѣдствіе этого во всякой попыткѣ расширить предѣлы отвержденной морали усматриваютъ неблагонадежность, потрясаніе, бунтъ. Словомъ сказать, они требуютъ, чтобъ сатирикъ велъ нѣчто въ родѣ дневника происшествій: „такого-то, дескать, числа утромъ (допускается описаніе утра) коллежскій регистраторъ Псевдонимовъ (допускается описаніе отвратительной его наружности) укралъ съ лотка булку“. И только. Но при этомъ, конечно, не возбраняется прибавлять, что бдительное начальство накрыло его съ поличнымъ и не оставило безъ взысканія.

Я понимаю, изъ какого источника идутъ эти требованія. Выше я сказалъ, что преступить противъ указаній отвержденной морали очень трудно и что виноватыми въ этомъ случаѣ оказываются или глупцы, или оборванцы, или такіе отважные люди, которымъ хочется сразу карьеру сдѣлать. Затѣмъ громадное большинство удобно уживается съ этою моралью и подъ сѣнію ея бездѣльничаетъ на всей своей волѣ. Вотъ эту-то безнаказанность бездѣльничества и лестно отстоять. Мы никого не убили, а насъ называютъ убійцами; мы ничего не украли, а насъ называютъ ворами; мы живемъ въ семьяхъ, обѣдаемъ, окруженные дѣтьми, пьемъ чай за семейнымъ самоваромъ, а насъ называютъ прелюбодѣями! Что̀ жъ это такое, какъ не потрясаніе!

. . . .

Но довольно. Возвращаюсь лично къ себѣ.

Сказаннаго выше, по мнѣнію моему, вполнѣ достаточно, чтобъ убѣдить читателя, что и мнѣ не чужда мысль о знамёнахъ. Какого же эти рода знамёна и что̀ на нихъ написано, о томъ слѣдуютъ пункты:

1) Вѣдомо всѣмъ, что въ настоящее время существуютъ три общественныя основы, за непотрясаніемъ которыхъ имѣется особое наблюденіе: семейство, собственность и государство. Вотъ эти-то самыя основы значатся и на моихъ знаменахъ. Знамя первое: семейство. Пріемлю и нимало вопреки глаголю. Но не пріемлю, чтобы кузина Nathalie могла быть признаваема столпомъ семейственности, хотя она столь твердо понимаетъ материнскія права, что готова посадить своего Теодора въ смирительный домъ за непочтительность. Второе знамя: собственность. Пріемлю и нимало вопреки глаголю. Но не пріемлю, чтобъ комерсантъ Деруновъ именовалъ себя апостоломъ собствен-

ости, хотя онъ до того простеръ свое усердіе въ этомъ направленіи, что всякую попытку крестьянъ получить за пудъ хлѣба 60 копѣекъ, вмѣсто предлагаемой имъ, Деруновымъ, полтины, считаетъ за бунтъ и потрясаніе. Третье знамя: государство. Пріемлю и нимало вопреки глаголю. Но не пріемлю, чтобъ Ѳеденька Неугодовъ слылъ за поборника государственнаго союза за то только, что онъ видитъ въ государствѣ пирогъ, къ которому ловкіе люди могутъ во всякое время подходить и закусывать.

2) Таковы знамёна, которыя характеризуютъ мое внутреннее поведеніе. Что же касается до поведенія внѣшняго, то знамя, до этого относящееся, гла- ситъ тако: не дѣлать того, что̀ закономъ возбраняется.

3) О прочихъ знамёнахъ умалчиваю, но думаю, что и сказаннаго выше достаточно, чтобы жить въ мирѣ съ самимъ собой и не опасаться любопыт- ствующихъ.

Первое сентября.

И въ августѣ отдѣлъ внутренней политики остался незамѣщеннымъ... Слава Богу! слава Богу!

Въ первой половинѣ августа прибылъ ко мнѣ другой племянникъ, Саша Ненарочный, молодой человѣкъ лѣтъ восемнадцати. Пріѣхалъ, шаркнулъ ножкой и бросился отыскивать „дяденькину ручку“. Но такъ какъ я рѣшился скорѣе вступить въ рукопашную, нежели довести родственныя изліянія до такой восторженности, то Саша кончилъ тѣмъ, что влѣпилъ мнѣ безе́ въ самыя уста. Затѣмъ сейчасъ же принесъ двѣ банки варенья и извинился, что не принесъ отварныхъ рыжиковъ: „маменька послѣ пришлетъ.“

Саша устранилъ угнетавшее меня одиночество—ужъ это одно было заслугой съ его стороны. Я вообще бываю доволенъ, когда въ минуты унынія меня посѣщаютъ родственники. Въ счастіи я ими не особенно дорожу, но въ несчастіи—не нарадуюсь. Даже если кадетъ-племянникъ изъ провинціи „погостить“ пріѣдетъ—и тотъ словно рублемъ подаритъ. Съ пріѣздомъ его и въ квартирѣ дѣлается какъ-то люднѣе, и шороховъ таинственныхъ слышится меньше, и свойственный одиночеству заговорщическій характеръ несомнѣнно смягчается. Словомъ сказать, вся квартира, въ полномъ своемъ составѣ, внушаетъ болѣе довѣрія...

Но прежде нежели продолжать, разскажу вкратцѣ, какимъ образомъ я пріобрѣлъ племянника въ лицѣ Сашеньки Ненарочнаго.

У tante Babette были двѣ дочери: одна—кузина Nathalie, съ которой читатель ужъ знакомъ, младшая и любимочка; другая—кузина Маша, старшая и нелюбимая. Въ сущности, выраженіе: „нелюбимая“, въ примѣненіи къ tante Babette, слишкомъ жестоко. Babette никого „не любить“ не могла, но у кузины Маши былъ такой большой носъ, что maman ея не могла его видѣть, чтобы не воскликнуть: „ахъ, несчастная!“ Поэтому Nathalie съ малыхъ лѣтъ предназначалась для блестящей партіи (читатель знаетъ, что она

и дѣйствительно обрѣла таковую въ лицѣ штабсъ-ротмистра Неугодова), а Маша ровно ни для чего не предназначалась. Такъ что когда статскій совѣтникъ Ненарочный присватался къ ней, то tante Babette совсѣмъ растерялась и даже воскликнула: „bonté du ciel! но посмотрите же, какой у нея... носъ!“ Однако Ненарочный оставилъ это предостереженіе втунѣ и, пребывъ твердымъ въ своихъ матримоніальныхъ намѣреніяхъ, взялъ Машу, какъ ее создалъ Богъ. И, какъ увидимъ ниже, не ошибся въ разсчетѣ.

Ненарочный былъ первымъ родоначальникомъ своей фамиліи, и слѣдовательно не могъ похвалиться знатностью. Носился слухъ, что нѣкогда Аракчеевъ во время объѣзда новгородскихъ поселеній, остановившись на почтовой станціи, имѣлъ разговоръ съ смотрительскою дочерью, и что послѣдствіемъ этого разговора былъ маленькій рабъ божій Иванъ. Разумѣется, прослѣдовавши на ближайшую станцію, суровый временщикъ утратилъ всякое воспоминаніе о недавнемъ грѣхопаденіи, но, должно быть, рабъ божій Иванъ въ рубашкѣ родился, потому что даже волнамъ временщичьяго забвенія не удалось поглотить его. Когда молодая мать, годъ спустя, явилась въ Петербургъ съ младенцемъ въ рукахъ, то Аракчеевъ не только не разсвирѣпѣлъ, какъ этого слѣдовало бы ожидать, судя по его чину, но явилъ безпримѣрное милосердіе: мать опредѣлилъ на кухню судомойкой, а сына взялъ въ комнаты и выхлопоталъ ему гербъ. Въ гербѣ этомъ на золотомъ полѣ была изображена почтовая станція съ верстовымъ столбомъ; сбоку столба — трехугольная шляпа съ плюмажемъ, изъ котораго выходитъ протягивающій ручки младенецъ, а внизу—алая, извивающаяся лента, на которой начертанъ девизъ:

Хоть созданъ ненарочно,
Зато довольно прочно.

Въ согласность съ этимъ девизомъ Ваня — по крестному отцу Алексѣичъ—и фамилію получилъ: Ненарочный.

Прошло нѣсколько лѣтъ. Аракчеевъ палъ. Но Ваня и изъ этого крушенія вышелъ невредимъ. Его призрѣлъ коллежскій совѣтникъ Стрекоза, бывшій наперсникъ Аракчеева, который явно хотя и отрекся отъ него при паденіи, но втайнѣ остался ему преданнымъ. Онъ выкормилъ и обучилъ Ненарочнаго, и когда послѣдній кончилъ университетскій курсъ, то опредѣлилъ его въ департаментъ разныхъ податей и сборовъ. Тамъ Иванъ Алексѣичъ въ скоромъ времени предъявилъ такіе таланты по части сборовъ, что лѣтъ черезъ десять былъ опредѣленъ совѣтникомъ питейнаго отдѣленія въ пензенскую казенную палату.

Въ то время совѣтники питейныхъ отдѣленій были люди солидные и уважаемые. Мѣста эти не считались особенно блестящими въ смыслѣ борьбы съ внутренними врагами но такъ какъ съ ними сопрягалось представленіе о сокровищѣ, то всякая открывающаяся вакансія привлекала цѣлыя толпы соискателей. Питейный совѣтникъ игралъ въ губернскомъ обществѣ роль: онъ былъ непремѣннымъ старшиной мѣстнаго клуба; на его обязанности лежало составленіе для губернатора партіи въ вистъ; онъ бесѣдовалъ съ архіереемъ о безсмертіи души и, въ довершеніе всего, пользовался секретнымъ довѣріемъ мѣстнаго штабъ-офицера, который по секрету сообщалъ ему, что главная его

секретная обязанность заключается въ томъ, чтобъ секретно утирать слезы. Сверхъ того, онъ любилъ творить тайную милостину, то-есть правою рукой подавалъ нищему грошъ, а лѣвую оставлялъ въ заблужденіи, якобы поданъ рубль. И въ концѣ года, подведя итогъ накопленному сокровищу, клалъ оное въ опекунскій совѣтъ для приращенія изъ процентовъ.

Въ такомъ видѣ сложился типъ совѣтника питейнаго отдѣленія въ моментъ учрежденія этой должности, и въ томъ же видѣ сохранился онъ и въ моментъ упраздненія оной.

Таковъ же былъ и Иванъ Алексѣичъ Ненарочный.

Онъ взялъ Машу даже безъ прилагательнаго, ибо провидѣлъ, что въ этой дѣвицѣ будетъ толкъ. Ему не красота была нужна — онъ видѣлъ въ женщинѣ лишь посланное судьбою орудіе на случай тѣлеснаго озлобленія—а домовитая хозяйка, которая взяла бы въ руки бразды домашняго управленія, а ему дала бы возможность всецѣло и безъ помѣхи отдаться присовокупленіямъ и созиданіямъ. И отъ времени до времени рожала бы дѣтей. Маша все такъ точно и выполнила. Хозяйничала отлично и, сверхъ того, въ теченіе двадцати лѣтъ супружества принесла мужу семь человѣкъ сыновъ. Такъ что когда откупа были упразднены, то Иванъ Алексѣичъ могъ съ легкимъ сердцемъ произнести: „нынѣ отпускаеши"—и подать въ отставку.

Ненарочные и Неугодовы, какъ и слѣдуетъ добрымъ родственникамъ, находились въ постоянной враждѣ. Неугодовы гордились своимъ аристократизмомъ и совершенно справедливо полагали, что еслибы при такой блестящей фамиліи да сокровище Ненарочныхъ, то это было бы имъ какъ разъ въ самую пору. Ненарочные не гордились, но и искательства не выражали, а держали себя осторожно, какъ бы съ минуты на минуту ожидая, что при малѣйшей оплошности—Nathalie непремѣнно попроситъ у нихъ денегъ. Въ послѣднее время однакожъ со стороны Ненарочныхъ сдѣланы были серьезныя попытки къ сближенію, такъ какъ проницательный взоръ Ивана Алексѣича отлично усмотрѣлъ, что въ лицѣ Ѳеденьки на Неугодовскомъ горизонтѣ восходитъ блестящая звѣзда.

Итакъ, ко мнѣ явился Саша Ненарочный. Уже по прежнимъ письмамъ кузины Маши я зналъ этого молодого человѣка съ отличной стороны. „Саша,—писала она мнѣ не разъ (очевидно впрочемъ, что письма сочинялъ Иванъ Алексѣичъ, а она только переписывала):—отмѣнно радуетъ мое родительское сердце. Онъ почтителенъ, прилеженъ, аккуратенъ и нимало не сердится на младшихъ братцевъ, когда сіи послѣдніе просятъ его что-нибудь объяснить имъ изъ ариѳметики. За всякую ласку благодаренъ, тетрадки содержитъ въ порядкѣ и, что̀ всего пріятнѣе, никому не довѣряетъ своего форменнаго мундирчика, но самъ оный чиститъ". И дѣйствительно, онъ предсталъ предо мной именно такимъ, какимъ его описывала Маша. Тѣлосложеніе обстоятельное, румянецъ во всю щеку, ротъ сердечкомъ, глаза веселые, но не столько вслѣдствіе свойственной юношескому возрасту шаловливости, сколько вслѣдствіе выработаннаго убѣжденія, что унылое выраженіе можетъ огорчить старшихъ и благодѣтелей.

Вообще при взглядѣ на него рождалась увѣренность, что этотъ юноша никому своего мундирчика не повѣритъ, но самъ его вычиститъ, а въ то же

время вытвердитъ и урокъ. Мнѣ кажется, что именно таковъ былъ Аракчеевъ въ молодости: аккуратный, равно готовый принять и орденъ, и затрещину, и постоянно рѣшающій въ мысляхъ не очень сложную ариѳметическую задачу. Даже лобъ у Сашеньки былъ Аракчеевскій: узкій, слегка какъ бы угнетенный.

Какъ я уже сказалъ, онъ тотчасъ же явилъ безпримѣрную ловкость. Не успѣвъ поймать мою „ручку", облобызалъ меня въ уста и потомъ отъ времени до времени сталъ украдкой поцѣловывать въ плечико. Сначала это меня безпокоило, но потомъ думаю: а можетъ быть онъ этимъ способомъ прицѣнивается, что стóитъ суконце на моемъ сюртукѣ?

Однимъ словомъ, Сашенька сдѣлалъ на меня такое пріяное впечатлѣніе, что будь я не старикъ, а старушка со средствами, то, кажется, и цѣны бы ему не нашелъ.

— Кончилъ гимназію?—спросилъ я его.

— Кончилъ, дяденька, и удостоенъ первымъ-съ.

— Отлично! Это тебѣ дѣлаетъ честь, что родителей радуешь!

Я обнялъ его, и вдругъ, какъ бы проникшись дидактическою сферой, которую принесъ съ собой Сашенька, присовокупилъ:

— А вотъ тѣмъ дѣтямъ, кои вмѣсто радостей приносятъ родителямъ лишь огорченія—это чести не дѣлаетъ.

Не успѣлъ я раскрыть ротъ отъ удивленія, слыша таковую змѣиную мудрость, изъ устъ моихъ исходящую, какъ Саша уже воспользовался ею, чтобъ поддержать разговоръ на философической высотѣ.

— Именно таково и мое, любезный дядюшка, убѣжденіе,—скромно отвѣтилъ онъ:—и ежели вы дозволите мнѣ высказать его вполнѣ...

— Говори, любезный другъ! не стѣсняйся!

— Я полагаю, милый дяденька, что прежде всего мы, дѣти, обязаны любить Бога, создавшаго насъ всѣхъ, а непосредственно затѣмъ—родителей, начальниковъ и добрыхъ родственниковъ. Таковы правила, въ которыхъ воспитывался я и всѣ мои братцы.

— Прекрасныя правила! продолжай!

— Потому что ежели мы не будемъ любить Бога, то сдѣлаемся черезъ это безбожниками, и тогда не къ кому намъ будетъ, въ случаѣ несчастія, обращаться съ молитвой о помощи. Если же не будемъ любить и почитать родителей, то послѣдніе могутъ за это лишить насъ своихъ милостей. Что же касается до начальниковъ, то вы сами, любезный дядюшка, знаете, можно ли ихъ не любить?

— Еще бы!

— Обладая столь твердыми правилами, я стараюсь по возможности не отступать отъ нихъ. А ежели и затѣмъ мнѣ, какъ человѣку, не свободному отъ слабостей, случается возбудить противъ себя справедливый родительскій гнѣвъ, то я стараюсь чистосердечнымъ раскаяніемъ загладить свою вину и тѣмъ предотвратить угрожающія мнѣ въ будущемъ бѣдствія!

— Ахъ, голубчикъ!

— Я и васъ, дяденька, люблю, — прибавилъ онъ, слегка застыдившись.

— Меня-то за что?

— Во-первыхъ, потому, что я вообще всѣхъ родственниковъ обязанъ юбить, а во-вторыхъ...

— Отлично! поцѣлуемся—и шабашъ!

Я поцѣловалъ его и, цѣлуя, думалъ: а еще говорятъ, что нынѣшніе олодые люди дерзкіе—анъ вонъ онъ какой! какъ огурчикъ!

— Ну, а въ Петербургъ зачѣмъ пріѣхалъ! Въ здѣшній университетъ, то-ли, поступить хочешь?

— Нѣтъ, я буду оканчивать образованіе въ московскомъ университетѣ: ближе къ родителямъ. Въ Петербургъ же я пріѣхалъ, во-первыхъ, для го, чтобъ представиться вамъ, добрый дяденька, а во-вторыхъ потому, что пенька полагаетъ, что для меня поѣздка эта будетъ не безполезна. Когда выдержалъ послѣдній экзаменъ, то папенька подарилъ мнѣ вотъ эти часы Саша вынулъ изъ кармана хорошенькіе часики и показалъ ихъ мнѣ) и скалъ: „теперь ты уже юноша и необходимо тебѣ самому регулировать свое ремя—не все подъ родительскимъ крыломъ жить“... Признаюсь вамъ, люзный дяденька, мнѣ было ужасно больно слышать послѣднія слова...

Говоря это, онъ былъ слегка взволнованъ и на глазахъ его блеснули езы.

— Ну, что! не плачь! Богъ милостивъ... какъ-нибудь!

— Нѣтъ, дяденька, это очень... никогда я этой минуты не забуду. ачѣмъ папенька сказалъ такія жестокія слова? Они такъ меня тронули, что я первый разъ въ жизни осмѣлился попенять ему: „Зачѣмъ, —сказалъ я, — вы зволили упомянуть о разлукѣ, милый папенька? Если вамъ угодно было приать, что временная разлука наша необходима, то воля ваша будетъ выполена, но зачѣмъ же огорчать мое сердце предположеніями о какомъ-то самоольномъ съ моей стороны регулированіи времени!“ Къ счастію, однакожъ, е объяснилось, и папенька не только не забранилъ меня, но очень милостиво родолжалъ свои наставленія. „А теперь,—сказалъ онъ,—поѣзжай въ Петерургъ! Во-первыхъ, тебѣ необходимо отрекомендоваться добрымъ роднымъ; воторыхъ, ты оказался вполнѣ достойнымъ вкусить нѣкоторыхъ столичныхъ удоольствій; а въ-третьихъ, да послужитъ тебѣ эта поѣздка испытаніемъ, и кели ты и изъ столичныхъ искушеній выйдешь невредимымъ, то это будетъ значать, что ты уже вполнѣ заслужилъ аттестатъ зрѣлости. Объ одномъ рошу: какъ можно остерегайся ужасной болѣзни, которая, при дурномъ лечеи, можетъ навѣкъ лишить человѣка свойственнаго ему благообразія. А, прочемъ дядя тебѣ все это лучше меня объяснитъ!“

— Гм... Стало быть, на меня возлагается обязанность водить тебя по ытарствамъ?

— Ахъ, дяденька! Представьте себѣ, папенька точно угадалъ, что вы дѣлаете это предположеніе! „Одного опасаюсь,—сказалъ онъ маменькѣ,— акъ бы братецъ не подумалъ, что мы предназначаемъ ему роль искусителя?“ Но маменька, зная вашу душу, положительно вооружилась противъ этой мысли.

— И превосходно сдѣлала. Дай, я еще разъ тебя поцѣлую.

Выполнивши это, я, однакожъ, спохватился: все поцѣлуи да поцѣлуи—

не слишкомъ ли это ужъ однообразно? Поэтому я вынулъ красную ассигнацію и, подавая ему ее, присовокупилъ:

— А чтобы доказать тебѣ, что я люблю не ложно—вотъ десятирублевенькая. Это тебѣ на столичныя искушенія.

— Благодарю васъ, дяденька. Хотя, по милости папеньки, у меня есть и деньги, но вашъ подарокъ мнѣ дорогъ, какъ знакъ милостиваго ко мнѣ расположенія. Теперь я, кажется, вполнѣ обезпеченъ. Папенька мнѣ двѣсти рублей на дорогу и на удовольствія пожаловалъ, да маменька двадцать рублей—это ужъ когда я въ вагонъ садился, въ видѣ сюрприза. А вотъ теперь и вы, милый дяденька. Надѣюсь, что до переѣзда въ Москву этого будетъ достаточно.

— Еще бы! здѣсь тебѣ ничего не нужно, а что касается до поѣздки въ Москву, то за твой умъ тебя любой кондукторъ задаромъ въ вагонѣ постоять пуститъ! Съ чего же однакожъ мы искушенія наши начнемъ?

— Я думаю, дяденька, въ кондитерскую съ вашего позволенія сходить.

— Въ кондитерскую — это ты всегда успѣешь. А мы вотъ какъ сдѣлаемъ: отобѣдаемъ, отдохнемъ по-христіански, а потомъ и закатимся на всю ночь въ Демидронъ. Тамъ ты сразу увидишь, въ какомъ смыслѣ тебѣ понимать себя надлежитъ.

— Демидронъ... это что же такое, дяденька?

— Это, мой другъ, jardin des familles russes такъ называется, то-есть садъ, въ которомъ русскій семейный союзъ преимущественное осуществленіе для себя находитъ. „Штучку“ я тебѣ тамъ одну покажу — пальчики оближешь!

— „Штучка“ — это не то ли самое, что папенька „сиренами“ называетъ? Впрочемъ даже и въ этомъ смыслѣ я не отказываюсь слѣдовать вашему указанію, любезный дяденька, ибо надѣюсь съ честью выйти изъ предстоящаго испытанія. Одно только позволю себѣ доложить вамъ: ловко ли будетъ мнѣ появиться въ Демидронѣ, прежде нежели я представлюсь братцу Ѳедору Семенычу?

— Неугодова едва-ли ты скоро увидишь: онъ нынче въ десяти комисіяхъ засѣдаетъ.

— Но въ такомъ случаѣ, отъ кого же мнѣ о здоровьи тетеньки Натальи Петровны узнать?

— И это мудрено. Nathalie была здѣсь недавно и опять уѣхала въ Парижъ. Да она ужъ не Неугодова теперь, а Дроздова. Во второй разъ замужъ вышла.

— Я, дяденька, съ вашего позволенія, ей въ Парижъ напишу; неловко же не поздравить тетеньку съ вступленіемъ въ новую жизнь. Вѣдь для письма въ Парижъ семикопеечной марки достаточно?

Повторяю: чѣмъ больше я знакомился съ этимъ юношей, тѣмъ больше онъ меня очаровывалъ. Но такъ какъ и очарованію полагается извѣстный предѣлъ, то я былъ очень доволенъ, когда Саша спросилъ позволенія на время оставить меня, чтобы написать письма къ родителямъ, а также къ тетенькѣ Натальѣ Петровнѣ. Разумѣется, я снабдилъ его всѣми письменными принадлежностями, и былъ очень утѣшенъ, прочитавъ въ его глазахъ рѣши-

мость, не отказывая себѣ въ изліяніи чувствъ, предаваться оному однакожъ лишь настолько, чтобы письмо вѣсило не болѣе одного лота.

За обѣдомъ мы опять сошлись и бесѣда возобновилась.

— Надѣюсь, что ты не вмѣшиваешься во внутреннюю политику?—спросилъ я.

— Я, дяденька, всегда старался стоять въ сторонѣ отъ обольщеній, и до сихъ поръ Богъ помогалъ мнѣ въ этомъ. Тѣмъ не менѣе, не смѣю не сознаться передъ вами, что однажды и я чуть-чуть на каторгу не попалъ.

Я даже подскочилъ при этомъ извѣстіи.

— Что ты!!

— Мнѣ было тогда тринадцать лѣтъ, и вдругъ одинъ изъ товарищей, Сипко, говоритъ: „пойдемъ, Саша, Селиксу волновать"—это село такъ называется, недалеко отъ Пензы. Конечно, я по неопытности согласился. Купили мужицкіе портки, бороды фальшивыя подвязали — и отправились волновать. И только-что, знаете, приступили, какъ намъ сейчасъ же руки назадъ—и маршъ къ становому! Ну, разумѣется, становой зналъ папеньку, и отправилъ меня домой.

— Ахъ, бѣдный ты, бѣдный! Хорошо, что Богъ спасъ!

— Я, дяденька, въ то время такъ испугался, что человѣкъ съ пятьсотъ оговорилъ. Даже маменьку назвалъ-съ...

— Ахъ!

— Разумѣется, маменька легко оправдалась, но нѣкоторые, какъ я потомъ освѣдомился, получили достойное возмездіе.

— Правильно!

— Я, дяденька, объ этомъ такъ разсуждаю: кто что посѣетъ, то и пожнетъ. Никто не вправѣ претендовать на судьбу, ибо люди, будучи одарены отъ Бога свободною волей, суть сами единственные виновники тѣхъ злоключеній, которыя ожидаютъ ихъ въ сей жизни и въ будущей.

— Однако вотъ ты ходилъ волновать Селиксу, а вывернулся-таки?

— Я, дяденька, потому вывернулся, что чистосердечно все разсказалъ-съ. А сверхъ того всякій очень хорошо понималъ, что и папенька не оставитъ меня безъ взысканія.

— А больно папенька высѣкъ?

— Это случилось тому назадъ пять лѣтъ, и папенька такъ милостивъ, что никогда не напоминаетъ мнѣ объ этомъ. Я же, съ своей стороны, могу сказать одно: съ тѣхъ поръ я никогда въ политику не вмѣшиваюсь.

Прекрасный, прекрасный, прекрасный юноша! Правда, онъ повидимому не очень изобрѣтателенъ и рѣчь его положительно отзывается какою-то прѣлью, но, по моему мнѣнію, для родительскаго сердца это даже лучше. Далеко ли пойдетъ Сашенька въ будущемъ, или застрянетъ въ самомъ началѣ жизненнаго пути въ должности регистратора—это вопросъ, на который я не берусь отвѣтить. Но сдается, что ежели начальство безпристрастнымъ окомъ взглянетъ на его усилія, то оно навѣрное дастъ ему возможность добраться до чего-нибудь тепленькаго. Тѣмъ больше, что папенька однажды ужъ высѣкъ его, и стало быть совсѣмъ невѣроятно, чтобъ онъ вновь рѣшился волновать Селиксу. Высѣчь во благовременіи — вотъ послѣднее слово педа-

гогики, и благо тѣмъ, которые испытаютъ на себѣ спасительную силу его! Скорѣе можно ожидать продерзостныхъ поступковъ отъ такого превыспренняго юноши какъ Ѳеденька Неугодовъ — и кто знаетъ? — можетъ быть, именно благодаря тому, и можно ожидать, что Nathalie никогда не сѣкла его, а только грозилась посадить въ смирительный домъ. Благодаря своей превыспренности, Ѳеденька сдѣлался честолюбивъ и какъ-то болѣзненно чувствителенъ ко всѣмъ вопросамъ, до прохожденія службы относящимся; такъ что ежели, напримѣръ, обойти его къ празднику наградой, то онъ, пожалуй, будетъ способенъ и на потрясаніе основъ пойти. Развѣ мало такихъ случаевъ бывало? Я лично зналъ одного статскаго совѣтника, который ждалъ къ Пасхѣ Владиміра 3-й, а получилъ корону на св. Анны—такъ онъ прямо съ того и началъ: „что̀ такое государство?—говоритъ:—покажите мнѣ его! Еслибъ оно было не миѳъ, то я бы видѣлъ его, или по малой мѣрѣ ощущалъ бы на себѣ его дѣйствіе! А то—помилуйте!—корона на Аннушку! Обрадовали!“

Вотъ такихъ-то превыспренностей и нельзя отъ Сашеньки ожидать. Прекрасный, прекрасный, прекраснѣйшій молодой человѣкъ!

— И отлично дѣлаешь, что не вмѣшиваешься, — похвалилъ я его: — потому что политика—это что̀ такое? Одинъ разъ пошалилъ—сошло съ рукъ, а въ другой разъ — и поминай какъ звали! Вотъ какова, мой другъ, наша политика!

— Я это знаю, дяденька, хотя собственно въ примѣненіи ко мнѣ заблужденіе мое принесло мнѣ гораздо больше удовольствія, нежели непріятностей. Мнѣ надавали тогда столько лакомствъ, что даже когда я подѣлился съ братцами — и тутъ оказался избытокъ. А сверхъ того въ нашемъ „Справочномъ Листкѣ“ была напечатана статья: „Спасительные плоды отеческаго непопустительства“, въ которой авторъ, отдавая справедливость папенькиной строгости, отозвался въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ и обо мнѣ.

— Вотъ какъ!

— Да, дяденька, это были минуты какого-то общаго энтузіазма, такъ что нашъ родной городъ прислалъ папенькѣ адресъ, въ которомъ, благодаря за искусное обращеніе на путь истинный заблуждающихся, поднесъ ему званіе почетнаго гражданина... Но что̀ всего отраднѣе: недавно, уже за предѣлами родной губерніи, я вполнѣ убѣдился, что похвальный поступокъ никогда не остается безъ награды!

— Какъ! даже за предѣлы Пензенской губерніи проникла твоя слава?

— Представьте себѣ, по пріѣздѣ въ Рязань, я хотѣлъ взять билетъ для дальнѣйшаго слѣдованія, какъ вдругъ подходитъ ко мнѣ начальникъ станціи и спрашиваетъ: „Не вы ли тотъ благородный молодой человѣкъ, который, по словамъ „Справочнаго Листка“, будучи высѣченъ папенькой, откровенно разсказалъ, какъ было дѣло?“ И когда я отвѣтилъ утвердительно, то онъ продолжалъ: „Въ такомъ случаѣ не трудитесь брать билетъ! Мы за особенную честь сочтемъ доставить васъ въ Москву безплатно!“ Согласитесь, дяденька, что я имѣлъ полное право прослезиться, услыхавъ такую лестную для меня резолюцію.

— Помилуй, мой другъ! да еслибы ты не прослезился, то просто поступилъ бы какъ свинья!

— Но это еще не все-съ. Не успѣлъ я, по пріѣздѣ въ Москву, отъявиться на Страстной бульваръ, какъ мнѣ подарили „Полный греческо-русскій словарь“, а вслѣдъ затѣмъ общество ревнителей россійскаго благонравія задаромъ свозило меня въ одно изъ увеселительныхъ заведеній, гдѣ я слышалъ пѣніе г-жи Зориной.

— Надѣюсь, что ты и по этому случаю прослезился?

— Дяденька! могъ ли я иначе поступить?

Я слушалъ эти дѣтскія признанія, и сердце во мнѣ таяло. Признаюсь откровенно, въ мою голову даже заползала дерзкая и честолюбивая мысль. Ежели папа̀ Ненарочный былъ удостоенъ отъ родного города званія почетнаго гражданина за то, что высѣкъ Сашеньку, то отчего же бы и мнѣ... Но, къ счастію, пріятное послѣобѣденное отяжелѣніе заставило меня отказаться отъ соотвѣтствующаго по сему предмету распоряженія.

Отдохнувши и напившись чаю, мы часовъ въ десять отправились въ Демидронъ.

Но тутъ послѣдовалъ цѣлый рядъ происшествій, до такой степени фантастичныхъ, что я ничѣмъ другимъ объяснить ихъ себѣ не могу, какъ развѣ тѣмъ, что отъ московскаго общества ревнителей россійскаго благонравія была разослана во всѣ петербургскія увеселительныя заведенія особая циркулярная телеграмма, извѣщающая о предстоящемъ пріѣздѣ въ Петербургъ благороднаго юноши, который, будучи высѣченъ папенькою, навсегда отказался отъ внутренней политики.

Уже при самомъ входѣ въ садъ меня поразила какая-то загадочная опрятность, вовсе несвойственная этому мѣсту. Затѣмъ начался рядъ сюрпризовъ. Прежде всего, когда мы подошли къ кассѣ, чтобъ взять билеты, намъ объявили, что насъ обоихъ велѣно пропустить даромъ, а товарищу моему, сверхъ того, предоставляется даровой билетъ въ кресла и жетонъ на безвозмездное полученіе порціи чая. Когда же мы вошли въ садъ, то взорамъ нашимъ представилась слѣдующая картина: оффиціанты въ бѣлыхъ галстухахъ, взявшись за руки, стояли шпалерой и сдерживали напоръ публики, жадно караулившей наше появленіе; оркестръ, усиленный нѣсколькими посторонними хорами, гремѣлъ маршъ на мотивъ изъ „Чижика“; нѣсколько поодаль виднѣлась, освѣщенная бенгальскимъ огнемъ, живая картина, изображающая аллегорическія фигуры Родительскаго Сѣченія, Раскаянія и Откровенности, у ногъ которыхъ корчилось и вздыхало на̀ смерть пораженное Обольщеніе, а наверху парилъ геній Благонравія. Не успѣли мы сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ на встрѣчу намъ, въ предшествіи околоточнаго надзирателя, вышелъ содержатель сада, сопровождаемый дѣвицами Филиппо̀ и Салипасъ (обѣ были „на сей только разъ“ одѣты въ трико, на подобіе древнихъ статуй), и прочиталъ Сашенькѣ адресъ. Въ этомъ адресѣ, разсказавъ подробно исторію сѣченія и его благотворныя послѣдствія, г. Егаревъ объявилъ, что Демидронъ считаетъ себя счастливымъ, поднося Сашенькѣ дипломъ на званіе почетнаго гражданина этого заведенія. Причемъ, объяснивъ, что, званіе это влечетъ за собой право на безплатный входъ въ садъ и на без-

платную же порію чая — на вѣчно! — и вручая соотвѣтствующіе документы, присовокупилъ:

— Почтеннѣйшему же родителю вашему передайте, что, не имѣя возможности чествовать его лично, мы сдѣлали распоряженіе, дабы одна изъ шансонетокъ сегодняшняго репертуара была посвящена прославленію родительской спасительной строгости (дѣйствительно, шансонетка эта была въ свое время выполнена, и когда рѣчь шла о спасительной строгости, то исполнительница, дѣвица Филиппò, такъ выразительно хлопала себя по ляжкѣ, что публика просто-нà-просто выла).

Кончивши привѣтствіе, г. Егаревъ прослезился, а въ отвѣтъ ему прослезился и Сашенька. Но чтò было всего неожиданнѣе — это роль, которая выпала въ этотъ вечеръ на долю дѣвицы Филиппò. Въ началѣ церемоніи поднесенія адреса Сашенька былъ такъ отуманенъ, что все свое вниманіе исключительно сосредоточилъ на г. Егаревѣ. Но когда адресъ былъ уже врученъ, то виновникъ торжества, облобызавшись съ г. Егаревымъ, долженъ былъ, по правиламъ церемоніала, облобызать и его ассистентокъ. Но едва онъ приступилъ къ этому обряду, какъ изъ груди его вдругъ вырвался пронзительный крикъ...

Чтò же оказалось! Что дѣвица Филиппò нѣкогда жила въ семействѣ Ненарочныхъ въ качествѣ наставницы и первая посѣяла въ сердцѣ Сашеньки сѣмена благонравія! Вотъ какими загадочными и даже, можно сказать, непозволительными путями ведутъ насъ судьбы для выполненія своихъ благихъ замысловъ.

— Eh bien, morveux, es-tu content?—спросила очаровательница послѣ первыхъ горячихъ привѣтствій признательности, и тутъ же, вынувъ изъ-за пазухи дипломъ на безпрепятственный входъ за кулисы театра, вручила его виновнику торжества.

Я цѣлый вечеръ ходилъ какъ въ туманѣ. Я гордился моимъ юнымъ другомъ и чувствовалъ, что его торжество отчасти простирается и на меня. Хотя мнѣ не дали ни дарового билета въ кресла, ни права на полученіе порціи чая, но все-таки пустили въ садъ даромъ, а чаемъ, въ порывѣ великодушія, угостилъ меня Сашенька — тоже даромъ. Сверхъ того я понималъ, что своимъ присутствіемъ въ моей квартирѣ онъ, такъ сказать, обезпечивалъ мою жизненную несмѣняемость; а такъ какъ для меня это очень важно, то я началъ даже опасаться, чтобъ какъ нибудь его отъ меня не сманили. Поэтому я съ живѣйшимъ безпокойствомъ слѣдилъ, какъ нѣкоторые вышедшіе изъ лѣтъ отставные дѣйствительные статскіе совѣтники, окруживъ его, наперерывъ другъ передъ другомъ потчивали сластями. Но безпокойство мое превратилось въ настоящій испугъ, когда, по окончаніи представленія, къ намъ подошла дѣвица Филиппò и стала уговаривать Сашеньку, чтобъ онъ поступилъ въ труппу Демидрона. И очень возможно, что она успѣла бы въ своемъ сатанинскомъ намѣреніи, еслибъ преждевременно не оскорбила сыновнихъ чувствъ Сашеньки, выразившись объ кузинѣ Машѣ: „ta vielle carcasse de mère“. Такой черезчуръ откровенный отзывъ оскорбилъ юношу, и вслѣдствіе этого онъ не далъ положительнаго отвѣта, а только обѣщалъ подумать.

Словомъ сказать, я успокоился только тогда, когда мы уже поздно ночью

озвращались на извозчикѣ домой. Вплоть до самаго Невскаго мы молчали: нъ—потому что весь трепеталъ подъ наплывомъ новыхъ ощущеній, я—поому что не хотѣлъ нескромнымъ словомъ потревожить сладостное чувство, хватившее все его существо. Но на углу Большой Морской и Невскаго онъ е выдержалъ, и съ какою-то стыдливой нѣжностью обнялъ меня.

— Ахъ, дяденька! какъ я счастливъ! какъ я счастливъ!—произнесъ нъ.

Я хотѣлъ ему многое возразить, но сдержался. И только когда мы поавнялись съ Милютиными лавками, я сказалъ:

— Другъ мой! не увлекайся! Популярность, конечно, соблазнительна, о имѣй въ виду, что всякая популярность, хотя бы она свила себѣ гнѣздо ъ Демидронѣ, непремѣнно источаетъ изъ себя ядъ. И этотъ ядъ, ежели не ринять противъ него мѣръ...

Но онъ не далъ мнѣ докончить и, поцѣловавъ меня въ плечико, произнесъ:

— Благодарю васъ, добрый дяденька! Ваши слова... отрезвили меня! І... не боюсь больше!

И дѣйствительно, послѣ этого мы благополучно воротились домой и разоплись каждый по своимъ комнатамъ.

Тѣмъ не менѣе я провелъ безпокойную ночь. Какъ ни благонравенъ Сашенька, думалось мнѣ, но подобныя торжества могутъ хоть кого сбить съ олку. Слава и популярность — вотъ двѣ вещи, наиболѣе соблазнительныя и ъ то же время наиболѣе ядовитыя. И обѣихъ ихъ Сашенька достигъ разомъ. ъ одинъ вечеръ, достигъ легко, безъ всякихъ усилій, благодаря только тому, то папенька благовременно его высѣкъ! Какъ бы онъ не изнемогъ, если то же вленіе повторится два дня сряду (мы предполагали на другой день посѣтить Крестовскій островъ). Поэтому я рѣшился нѣсколько измѣнить программу ашихъ увеселеній и сначала повезти моего юнаго друга въ Зоологическій адъ, чтобы познакомить его съ болѣе отрезвляющимъ зрѣлищемъ кормленія вѣрей и съ зулусами. А чтобы придать этому столичному искушенію больше азнообразія, предположилъ, сверхъ того, сводить Сашеньку въ кондитерскую ратьевъ Назаровыхъ и угостить мороженымъ. Въ этихъ размышленіяхъ застала еня утренняя заря, и только тогда я забылся тревожнымъ сномъ.

На утро я сообщилъ о моихъ рѣшеніяхъ Сашенькѣ, и онъ вполнѣ ихъ добрилъ. И вдругъ онъ ошеломилъ меня вопросомъ:

— А до Зоологическаго сада не позволите ли вы мнѣ, дяденька, сходить къ Луизѣ Селиверстовнѣ?

По пылающимъ его щекамъ я догадался, что рѣчь идетъ о дѣвицѣ Филиппо, и сердце мое невольно сжалось.

— Послушай, мой другъ!—сказалъ я: —выполнимъ прежде первоначальную програму искушеній, а посѣщеніе хранительницы твоей юности отложимъ о конца твоего пребыванія въ здѣшней столицѣ! Ибо я знаю, что разъ ты опадешь къ Луизѣ Селиверстовнѣ—она ужъ не выпуститъ тебя! И тогда можетъ случиться, что родители, встревоженные твоимъ исчезновеніемъ, вынуждены будутъ вытребовать тебя въ Пензу по этапу. Сообрази самъ, не придется ли папенькѣ твоему вновь прибѣгнуть къ тѣмъ мѣрамъ, которыя хоть

и доставили тебѣ популярность, но повтореніе коихъ можетъ однакожъ поселить недоумѣніе въ сердцахъ твоихъ согражданъ!

Эта разсудительная рѣчь не очень-то пришлась по вкусу Сашѣ, потому что въ теченіе ея онъ нѣсколько разъ то краснѣлъ, то блѣднѣлъ. И будь я нѣсколько менѣе энергиченъ въ моихъ выводахъ, очень возможно, что воспоминаніе о Луизѣ Селиверстовнѣ, облеченной въ трико, пересилило бы мою нравоучительную прозу. Но когда я упомянулъ о возможности путешествія по этапу, онъ не могъ не признать моей правоты...

Увы! въ Зоологическомъ саду насъ ожидало торжество еще болѣе умилительное, нежели въ Демидронѣ. Едва подъѣхали мы къ рѣшеткѣ сада, какъ единодушный и радостный ревъ животныхъ и птицъ возвѣстилъ насъ, что мы — давно-желанные здѣсь гости. И дѣйствительно, совершилось нѣчто волшебное. Прежде всего выступилъ впередъ громадный жирафъ и отъ лица всѣхъ своихъ товарищей привѣтствовалъ Сашеньку краткою, но прочувствованною рѣчью. Затѣмъ послѣдовало общее представленіе. Мы поочередно переходили отъ тигра къ слону, отъ слона къ пернатымъ, и вездѣ слышали самыя лестныя привѣтствія. Даже гіена вильнула хвостомъ въ знакъ сочувствія, а попугаи такъ просто-на-просто одурѣли и начали лопотать что-то совсѣмъ нескладное. Когда же звѣри умолкли, то вышелъ впередъ начальникъ зулусовъ (впослѣдствіи разъяснилось, что онъ въ то же время состоитъ арапомъ въ клубѣ художниковъ) и объяснилъ собравшимся гимназистамъ и кадетамъ значеніе настоящаго торжества. Онъ очень толково разсказалъ, въ какихъ обстоятельствахъ Сашенька былъ высѣченъ, какъ онъ самъ созналъ, что иначе поступить было невозможно, и вотъ за это теперь превознесенъ; потомъ похвалилъ энергію Ивана Алексѣича и въ заключеніе, обратившись ко мнѣ, присовокупилъ: „а ты, дядя, веселись!“ Рѣчь эта возбудила такой энтузіазмъ, что когда вслѣдъ затѣмъ начался „большой танецъ зулусовъ“, то вся присутствовавшая въ саду молодежь вмѣшалась въ ихъ игры, и такимъ образомъ самъ собой, безъ всякихъ мѣръ строгости, образовался истинно-семейный праздникъ.

Нѣтъ надобности упоминать, что ни съ меня, ни съ Сашеньки не было взято за входъ ни копѣйки, а Сашенькѣ, кажется, даже была вручена какая-то мелочь, когда мы садились на извозчика.

Справедливость требуетъ однакожъ сознаться, что нынѣшнее торжество подѣйствовало на Сашу нѣсколько иначе, нежели вчерашнее. Вчера онъ былъ взволнованъ и стыдливъ, сегодня — самонадѣянъ и даже нѣсколько наглъ. Такъ что когда я напоминалъ ему: — Ну, вотъ, еслибъ ты давеча не послушался меня и ушелъ къ Луизѣ Селиверстовнѣ, то ничего бы этого не было! — то, къ величайшему моему изумленію, онъ совершенно развязно отвѣтилъ:

— Ахъ, дядя, я позабылъ и думать объ этихъ пустякахъ! Знаете ли, какая у меня теперь мысль: давайте-ка вмѣстѣ издавать газету!

И такъ какъ я, онѣмѣвъ отъ неожиданности, безмолвствовалъ, то онъ продолжалъ:

— Теперь самое время. Я популяренъ, и газета моя будетъ покупаться нарасхватъ. А за мной и вы незамѣтно пройдете!

Ужели и я буду вынужденъ высѣчь его! мелькнуло у меня въ головѣ, но, по счастію, мы въ эту минуту поравнялись съ кондитерской братьевъ Назаровыхъ, и это лишило меня возможности сообщить моей мысли надлежащее развитіе.

Оказалось, что и Назаровымъ все было уже извѣстно, такъ что и тутъ съ насъ ничего не взяли за угощеніе. Этого мало: когда мы возвращались домой пѣшкомъ, то отъ самой Караванной за нами шла толпа, провожавшая насъ кликами: „вотъ благонравный юноша, который, бывъ высѣченъ папенькой, навсегда отказался отъ внутренней политики!"

Я не буду описывать дальнѣйшихъ тріумфовъ Сашеньки. Въ „Баваріи", въ „Ливадіи", на Крестовскомъ, въ „Эльдорадо", въ „Шато-де-Флёръ"— вездѣ онъ былъ дорогимъ и желаннымъ гостемъ, а изъ Озерковъ тамошнія дамочки даже послали на имя кузины Маши телеграмму, въ которомъ благодарили ее за вступленіе въ бракъ, плодомъ котораго былъ столь благонравный сынъ.

Когда же исчерпался репертуаръ торжествъ въ увеселительныхъ заведеніяхъ, то на сцену выступили учрежденія и установленія.

Городская дума прислала Сашенькѣ патентъ на званіе почетнаго члена трактирной депутаціи.

Государственный банкъ далъ знать, что ежели у Сашеньки имѣются ветхія ассигнаціи, то онъ во всякое время можетъ перемѣнить ихъ на новенькія, причемъ присовокупилъ, что по предъявленіи таковыхъ выдается изъ размѣнной кассы банка соотвѣтствующее количество рублей серебряною или золотою монетою.

Общество взаимнаго кредита увѣдомило, что Сашенькины деньги могутъ быть безъ опасенія помѣщены въономъ на текущій счетъ, такъ какъ отнынѣ растраты перестали быть для общества обязательными.

Изъ участка пришелъ запросъ: не приметъ ли Сашенька мѣсто паспортиста?

И проч., и проч.

Словомъ сказать, депутаціи смѣняли одна другую, и всякая выражала Сашенькѣ свое удивленіе и благодарность за то, что онъ, бывъ высѣченъ папенькой, навсегда отказался отъ внутренней политики...

Къ сожалѣнію, по мѣрѣ того какъ росла Сашенькина слава, самъ онъ становился все болѣе и болѣе самонадѣяннымъ. Нервы его уже притупились, а развязность дошла до того, что онъ началъ требовать отъ депутатовъ какихъ-то статистическихъ свѣдѣній, и когда они, натурально, не умѣли удовлетворить этому требованію, то онъ откровенно называлъ ихъ фофанами. И къ довершенію всего, мысль объ изданіи газеты не только не оставила его, но даже вполнѣ въ немъ созрѣла, такъ что однажды онъ совсѣмъ уже грубо спросилъ меня:

— Что же, дядя? Надумались ли вы насчетъ газеты? Предупреждаю васъ, что если вы будете мямлить, то я рѣшусь издавать одинъ!

Тогда я понялъ, что времена созрѣли, и, призвавъ на помощь всю силу родственной любви, на которую способно мое сердце, воскликнулъ:

— Ну, Саша! воля твоя, а въ видахъ твоего же собственнаго спасенія я долженъ высѣчь тебя!

Первое октября.

Для писателя нѣтъ бо̀льшей награды, какъ имѣть публику, которая настолько ему вѣритъ, что даже отъ времени до времени удостоиваетъ его непосредственнымъ съ собою общеніемъ. Я могу считать себя однимъ изъ такихъ счастливцевъ. Говорю объ этомъ не ради хвастовства, но именно потому, что горжусь. Увѣренность, что есть существо, которое откликается на вашу мысль и волнуется вашими волненіями, которое въ вашей работѣ видитъ не балагурство, а убѣжденность, которое понимаетъ, что служеніе литературѣ есть путь трудный и до извѣстной степени даже сопряженный съ калѣчествомъ — это увѣренность, говорю я, не только пріятная, но почти равняющаяся наслажденію. Наглотавшись отъ представителей современнаго русскаго критиканства разныхъ эпитетовъ, въ родѣ „непочтительнаго хама", „балагура", „безсознательнаго шута", „ругателя" и т. д., пріятно убѣдиться, что эпитеты эти не пользуются симпатіями въ средѣ читающей публики. И я воистину имѣлъ возможность убѣдиться въ этомъ, потому что за все время моей литературной дѣятельности отношенія ко мнѣ читателей имѣли характеръ почти исключительно благожелательный и симпатичный. Только раза два (одинъ разъ по поводу „Дворянской хандры", въ другой разъ не помню, по какому поводу) неизвѣстные корреспонденты писали мнѣ: „замолчи... безполезный старикъ!" И, помнится, я даже серьезно задумался надъ этимъ предостереженіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, не пора ли это занятіе прекратить? Вѣдь настоящаго-то слова, какъ ни бейся, все-таки, не выговоришь, такъ не лучше ли попросту, безъ затѣй замолчать? Но, сообразивъ всѣ доводы pro и contra, я рѣшилъ иначе. Очень возможно, сказалъ я себѣ, что „старикамъ" дѣйствительно приличнѣе думать о смертномъ часѣ, нежели о собесѣдованіяхъ съ живыми людьми, но вѣдь для дѣла тогда только бываетъ полезно, что вышедшій изъ лѣтъ рабочій снимаетъ съ себя тягло, когда на мѣсто его уже явился новый рабочій, а пожалуй и цѣлыхъ два. Но въ современной русской литературѣ мы видимъ явленіе совершенно противоположное: новыя рабочія силы появляются туго, а старыя сходятъ съ арены сами собой, естественнымъ путемъ. Стало быть, ежели, сверхъ того, старые тягольники будутъ еще добровольно обрекать себя на молчаніе, то, пожалуй, литература совсѣмъ теченіе свое прекратитъ, и остается одно цензурное вѣдомство. А сверхъ того и то еще сдается, что старики не все же одни праздныя слова говорятъ. Иногда выдастся что-нибудь и не безполезное: воспоминаніе, справка, забытый, но не лишній по обстоятельствамъ образъ и т. д. Ужели все это уже такой ненужный соръ, который заслуживаетъ только укора? Словомъ сказать, взвѣсилъ, разсудилъ и рѣшилъ дѣло въ свою пользу, то-есть сталъ продолжать писать.

Но какъ ни пріятно, что читатели удостоиваютъ меня довѣріемъ, а нѣкоторые даже приносятъ жалобы и требуютъ распоряженія по онымъ, нужно сознаться однакожъ, что я не всегда и не все властенъ сдѣлать. Для меня это тѣмъ необходимѣе объяснить, что, не имѣя въ своемъ распоряженіи канцеляріи, я не могу быть вполнѣ исправнымъ корреспондентомъ, и вслѣдствіе

этого рискую подвергнуться упрекамъ въ нерадивости и бездѣйствіи власти, совершенно мною незаслуженнымъ, что̀ со мною однажды ужъ и случилось.

Я помню, въ періодъ такъ-называемаго обличительнаго направленія моей литературной дѣятельности, я былъ буквально заваленъ всякаго рода жалобами на несправедливыя и несогласныя съ интересомъ казны дѣйствія различныхъ вѣдомствъ. И жалобы эти были не голословныя, но поддерживались фактами, о которыхъ и сообщалось, на предметъ „отдѣлки“ въ ближайшемъ „обличеніи“. Къ сожалѣнію однакожъ, я никакихъ существенныхъ распоряженій къ удовлетворенію этихъ жалобъ сдѣлать не могъ. Съ одной стороны, факты, изолированные отъ жизненной обстановки, которая ихъ породила, представляютъ настолько скудный матеріалъ для воспроизведенія, что я совершенно не могъ воспользоваться ими для моихъ литературныхъ работъ, а съ другой—я не имѣлъ въ своемъ распоряженіи подчиненныхъ, при посредствѣ которыхъ могъ бы, по произволенію, возстановить нарушенное право. Поэтому мнѣ оставалось только указывать, что съ подобными жалобами надлежитъ обращаться не ко мнѣ, а въ правительствующій сенатъ.

Понятно однакожъ, что такого рода указаніе не могло не подѣйствовать на моихъ довѣрителей разочаровывающимъ образомъ. Вѣроятно многіе изъ нихъ сказали себѣ: Эге! ты, видно, прытокъ, а не силенъ! а другіе прямо заподозрили, что я не то чтобы не могу, а не хочу, или, лучше сказать, берегу свою шкуру. Пошла худая молва, и хотя публика продолжала благосклонно относиться къ моимъ трудамъ, но вѣра въ могущество обличительнаго дѣла уже прекратилась. А вмѣстѣ съ тѣмъ временно перемежилось и непосредственное общеніе между мною и моими довѣрителями.

Наступилъ періодъ затишья, въ продолженіе котораго я очень страдалъ. Довѣрители уже не обращались ко мнѣ съ жалобами, но по прежнему начали кому слѣдуетъ барашка въ бумажкѣ предлагать, приговаривая: „этакъ-то будетъ прочнѣе“. Выходило, что я какъ будто только спуталъ ихъ: научилъ фордыбачить и кобениться, а какъ это фордыбаченье отстоять—средствъ не преподалъ. Ходили даже такіе слухи, что многіе, увлеченные моими обличеніями, до такой степени оплошали, что впослѣдствіи вынуждены были цѣлыми стадами отчуждать барановъ, лишь бы возстановить потрясенную фордыбаченьемъ репутацію. Все это, повторяю, серьезно огорчило меня, и хотя совѣсть моя оставалась спокойной, но я все-таки не счелъ себя вправѣ не воспользоваться урокомъ.

Я сказалъ себѣ: до нынѣ я обличалъ мздоимцевъ и казнокрадовъ, но, въ противоположность всѣмъ моимъ намѣреніямъ, произошло нѣчто совсѣмъ неожиданное: обличенія не только не прекратили мзду, но даже удесятерили размѣры ея. Правда что одновременно и экономическія условія чиновническаго быта значительно осложнились, но главную причину увеличенія мзды все-таки составляло обличеніе. Опредѣляя размѣры предстоящаго приношенія, мздоимецъ говорилъ: „вотъ эта часть—по бывшимъ примѣрамъ, вотъ эта—по случаю увеличенія цѣнъ на съѣстные припасы, а вотъ эта—на случай обличенія“. При чемъ послѣдняя доля навѣрное равнялась семи десятымъ общей суммы приношенія. Все это прямо указывало, что мздоимцевъ слѣдуетъ оставить въ

покоѣ, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока между ними и обывателями не состоится полюбовное соглашеніе, которое на прочныхъ основаніяхъ установитъ ихъ взаимныя отношенія.

Сказано — сдѣлано. Но вопросъ: о чемъ же писать? Однажды мысль потревожена, надо дать ей пищу — какую? Вотъ тогда-то именно я и принялъ рѣшеніе, при которомъ остаюсь и до сихъ поръ: писать такъ, чтобы всѣмъ было одинаково пріятно, и мздоимцамъ, и партикулярнымъ людямъ.

Наша изба не одними мздоимцами красна; и между обывателями достаточно выжигъ найдется, которыхъ ежели начать перебирать, то навѣрное читатель останется доволенъ. Деруновъ, Неугодовъ, Разуваевъ, Балалайкинъ —какихъ еще героевъ надо! Отечество продаютъ, присныхъ обездоливаютъ, женъ и дѣвъ въ соблазнъ вводятъ—ужели такъ имъ это и простить?

А сверхъ того и еще: очень ужъ жить тяжело становится; почти противно. И не оттого одного, что харчи съ каждымъ днемъ дорожаютъ, а и оттого, что вообще какъ-то не по себѣ. Все думается: когда же нибудь однако она начнется, эта самая жизнь, а она вмѣсто того только пуще да пуще вглубь уходитъ. Пожалуй, такъ наконецъ схоронится, что и отыскать нельзя будетъ. Какъ хотите, а это тоже сюжетъ, о которомъ хоть и безъ пользы, но все-таки можно поговорить...

Я знаю: критиканы, называющіе меня балагуромъ, сейчасъ же изловятъ меня.—Зачѣмъ, скажутъ, ты вклеилъ фразу: „хоть и безъ пользы“? вѣдь это ты сбалагурилъ? — Нѣтъ, я не сбалагурилъ: напротивъ, я совершенно искренно и серьезно убѣжденъ, что по нынѣшнему времени говорить можно именно только безъ пользы, то-есть безъ всякаго разсчета на какія-нибудь практическія послѣдствія. Но для чего жъ тогда говорить? А для того, милостивые государи, чтобы отъ времени до времени напоминать самому себѣ, что даръ слова не есть—

Даръ напрасный, даръ случайный,

но дѣйствительное отличіе человѣка отъ безсловесныхъ. Только для этого.

И вотъ, настроивши лиру, я началъ бряцать. И чѣмъ больше бряцалъ, тѣмъ шире растворялись сердца и прочнѣе возстановлялось интимное общеніе, которое временно пошатнулось подъ вліяніемъ тщеты обличеній. Должно быть, въ сердцахъ читателей порядочно-таки наболѣло: должно быть, и имъ по горло надоѣли всѣ эти неуклонные осуществители самоновѣйшихъ принциповъ современности, эти проворные хищники, отъ которыхъ ни въ какую пору нельзя уйти, чтобъ они не заползли слѣдомъ и не присосались. Да надоѣлъ и самый жизненный процессъ. Не живешь, а въ оцѣпенѣніи движешься, словно вымороченое имущество, которымъ всякій встрѣчный помыкаетъ, покуда наконецъ не выйдетъ рѣшеніе: „имущество сіе, яко вымороченое, отписать въ казну“.

Нѣтъ спора, что перспективы, на которыя я указываю, не весьма заманчивы; но коль скоро онѣ не отталкиваютъ, а привлекаютъ партикулярнаго человѣка, то это значитъ, что послѣдній самъ видитъ ихъ неизбѣжность, самъ болѣетъ тѣми же болями, какими болѣю и я. Нашъ недугъ общій, только онъ не для всѣхъ и не всегда ясенъ, и въ большинствѣ случаевъ онъ выра-

жается лишь въ смутномъ сознанія, что человѣка какъ будто не прибываетъ, а убываетъ. Но когда причины, обусловливающія тревогу, выясняются, то это не только не раздражаетъ, но даже въ извѣстной степени смягчаетъ причиняемое недугомъ страданіе. Ибо уже въ самомъ указаніи признаковъ недуга партикулярный человѣкъ почерпаетъ для себя косвенное облегченіе. Помилуйте! донынѣ онъ изнывалъ, какъ слѣпецъ, а отчасти даже суевѣрно трепеталъ передъ обстановкой своего недуга, считая ее неизбывною, отъ вѣковъ опредѣленною—и вдругъ, благодаря объясненіямъ, смѣшенія эти устраняются! Явленія утрачиваютъ громадныя пропорціи, которыя такъ давили воображеніе, и размѣщаются въ томъ порядкѣ, въ какомъ имъ естественно быть надлежитъ... Ужели это не утѣшеніе? ужели не утѣшеніе сказать себѣ: сначала — ясность, а потомъ—что̀ Богъ дастъ!

. . . .

Въ сентябрѣ я получилъ цѣлую массу писемъ, которыя доказали мнѣ, что публика именно съ этой точки зрѣнія относится къ моимъ посильнымъ литературнымъ трудамъ. Моя хроника: „Первое августа“, повидимому произвела свое дѣйствіе, то-есть заставила даже такихъ упорныхъ противниковъ, какъ Тарасъ Скотининъ и Деруновъ, признать за моими писаніями нѣкоторую пользу. Изъ числа этихъ писемъ я позволяю себѣ привести здѣсь только нѣсколько наиболѣе характерныхъ.

„Руку, землякъ! Собственность признаёшь, семейство пріемлешь, государство чтишь—на что̀ лучше! Разумѣйте языцы—и разговору конецъ!

„Такъ, сударь, и надо. Ахъ, очень ныньче нужно объ собственности почаще напоминать, ибо весьма на сей счетъ въ нашей мѣстности слабо стало. Даже племянникъ мой, Митрофанъ, и тотъ онными идеями заразился, и вотъ ужъ который годъ мы оба изъ камеры мирового судьи не выходимъ, все судимся. По сей причинѣ даже въ Петербургъ сколько разъ надумывалъ ѣхать: хочется отъ хорошихъ адвокатовъ узнать, не могу ли я, какъ старшій въ родѣ, Митрофана въ смирительный домъ посадить? Сказываютъ, у васъ такіе адвокаты есть, которые могутъ доказать, что старшіе даже сѣчь младшихъ право имѣютъ, но я сего ужъ не добиваюсь, а хотя бы въ смирительный домъ. Наши же, пензенскіе адвокаты на сей счетъ трояко говорятъ: ежели я больше дамъ, то якобы можно; если Митрофанъ больше дастъ, то якобы нельзя; а ежели я еще больше дамъ, то и опять выходитъ, что можно. Такъ что и семейный союзъ будто бы оттого зависитъ, кто лишній полтинникъ дастъ!

„Да, слабо ныньче вообще — это вы вѣрно, мой другъ, угадали. Съ тѣхъ поръ, какъ объявили оную волю, и собственность, и семейство — все врозь пошло, а объ государствѣ даже и не знаемъ, что̀ сей сонъ означаетъ. Еще въ Пензѣ мы, по мѣрѣ силъ, крѣпимся, а что̀ въ сосѣдней Саратовской губерніи и въ Войскѣ Донскомъ по сему случаю творится—даже я, Тарасъ Скотининъ, безъ слезъ взирать не могу! Ужъ на что сестрица моя, госпожа Простакова — и та съ тѣхъ поръ, какъ въ Балашавское свое имѣніе переѣхала, сейчасъ же противъ священныхъ сихъ основъ вооружилась! Начала

съ того, что Митрофана прокляла, а нынѣ и на меня, старшаго брата своего, войною пошла! Имѣлъ я съ нею процессъ о землѣ, и благодареніе Богу, успѣлъ ту землю въ первой инстанціи законнымъ образомъ у нея оттягать. И что жъ бы вы думали! вмѣсто того чтобъ покориться волѣ Божьей и безпрекословно мнѣ землю изъ рукъ въ руки передать, а я бы ей, всеконечно, до смерти ея въ домѣ моемъ пріютъ далъ, она подала на апелляцію, а Митрофанъ, сверхъ того, научилъ еще и прокурору заявленіе подать, будто бы съ моей стороны подлогъ въ дѣлѣ семъ совершонъ. И нынѣ, по апелляціи, вновь это дѣло разсматривается, а обо мнѣ слѣдствіе производится! Такъ вотъ въ какомъ положеніи находится въ Саратовской губерніи семейный союзъ!

„И такъ, по сему случаю, а равно и по другимъ подобнымъ предвижу необходимость быть въ Питерѣ. Можетъ быть, у васъ насчетъ сего покрѣпче. И непремѣнно у тебя, землякъ, остановлюсь: авось либо въ литераторскихъ палатахъ для стараго друга уголъ найдется. Вѣдь по правдѣ-то сказать, мы не только земляки, но и родные: всѣ отъ одного древняго Прогорѣловскаго рода линію-то ведемъ, и всѣ одинаково съ 61-го года въ подсудимыхъ значимся!

„Тарасъ Скотининъ“.

„По приказанію его превосходительства г. дѣйствительнаго статскаго совѣтника Рудина, имѣю честь Васъ, Милостивый Государь, увѣдомить, что выраженныя Вами въ статьѣ-хроникѣ: „Первое Августа“, чувства, относительно собственности, семейственности и государственности, признаются его превосходительствомъ вполнѣ съ обстоятельствами дѣла сходственными и одобренія достойными.

„Дѣлопроизводитель Лаврецкій“.

Сбоку приписано рукою г. Лаврецкаго: „Считаю пріятнымъ долгомъ съ своей стороны присовокупить, что объясненія Ваши произвели столь благопріятное впечатлѣніе, что его превосходительство вызвалъ къ себѣ автора огорчившей Васъ статьи: „Наши охранители и наши прогрессисты“, и просилъ его, въ личное для себя одолженіе, изъ списка неблагонадежныхъ элементовъ Васъ исключить. На что и получено благосклонное увѣреніе, что надлежащее по сему предмету распоряженіе будетъ немедленно сдѣлано“.

„Душка Щедринъ!

„Вотъ въ чемъ дѣло, разскажу поскорѣе. Когда умеръ папаша, ничего послѣ него не осталось; даже домъ нашъ въ Миргородѣ — и тотъ оттягалъ ненасытный Довгочхунъ. И вотъ, я переѣхала на житье къ тетенькѣ Ѳеодуліи Ивановнѣ Собакевичевой, которая послѣ смерти дяденьки осталась совсѣмъ одна, потому что во время воли всѣ дворовые, а въ томъ числѣ и вѣрный Неуважай-Корыто, разбѣжались. И вотъ, пріѣзжаетъ къ намъ прошлою осенью Павелъ Ивановичъ Чичиковъ и говоритъ, что теперь онъ ужъ адвокатъ и ѣздитъ по помѣщикамъ, разузнаетъ, нѣтъ ли у кого процессовъ. И вотъ, тетенька ужасно ему обрадовалась и говоритъ: „можете ли вы похло-

потать, чтобъ крѣпостное право хотя на тѣхъ вновь распространить, которые для прислугъ и полевыхъ работъ необходимы, а прочіе чтобъ оброкъ платили?“ И онъ охотно на это согласился, и довѣренность тутъ же написали, а марки онъ съ собой гербовыя возитъ—стоитъ только послюнить, и дѣлу конецъ. И вотъ, тетенька сорокъ рублей задатку дала, а ночевать ему отвели ту самую комнату, въ которой онъ въ 1841 году ночевалъ. И адресъ, уѣзжая, онъ намъ оставилъ: „С.-Петербургъ-Москва, на станціи, спросить буфетчика Петра, а васъ, милостивый государь, прошу передать кому знаете“. И какъ у насъ нѣтъ прислуги, то мы повѣрили. И вотъ, мы ждемъ. И вотъ, черезъ девять мѣсяцевъ у меня рождается сынъ. А такъ какъ онъ взялъ впередъ сорокъ рублей денегъ, то я и повѣрила, что будетъ твердо, онъ же хоть бы строчку написалъ, а между прочимъ и насчетъ сына — развѣ это не подлость? И вотъ, теперь за меня хорошій человѣкъ сватается, Мижуевъ-Ѳетюкъ, и съ сыномъ вмѣстѣ беретъ, а я боюсь, и тетенька боится: вдругъ, ежели Павелъ Иванычъ пріѣдетъ! А теперь намъ говорятъ, что Павелъ Иванычъ все это на смѣхъ сдѣлалъ и адресъ будто бы фальшивый оставилъ — вѣдь это такая ужъ подлость, что мы съ тетенькой думаемъ: неужто и этому вѣрить? И вотъ, мы не знаемъ, какъ въ этомъ случаѣ быть, потому что мы женщины, а для женскаго пола, говорятъ, законъ не писанъ. Даже Неуважай-Корыто — и тотъ насъ оглашенными называетъ, и мы не возражаемъ, боимся, какъ бы не вышло хуже. И вдругъ, тетенькѣ мысль пришла: „напишемъ, говоритъ, къ г. Щедрину! Онъ такъ собственность и семейство уважаетъ, что непремѣнно за насъ заступится! А объ государствѣ, говоритъ, покуда не проси! и такъ какъ-нибудь, по женской своей должности, проживемъ!“

„И вотъ, я беру перо.

„Душка! чудесный! голубчикъ! Нельзя ли все это въ смѣшномъ видѣ представить, но такъ, чтобы Павелъ Иванычъ непремѣнно прочиталъ! Я увѣрена, что если вы захотите, то онъ раскается и опять къ намъ пріѣдетъ. А комната у насъ для него готова. И ежели онъ по тетинькиной довѣренности ничего не выхлопоталъ, все-таки пусть пріѣзжаетъ, или, по крайней мѣрѣ, пусть хоть письмо пришлетъ, могу ли я за господина Мижуева выйти? А я какъ вамъ буду за это, голубчикъ, благодарна... вотъ увидите!

„Ваша по гробъ

„Гапочка Перерепенкова“.

„Милостивый Государь.

„Прочитавъ Вашу статью: „Первое августа“, я съ удовольствіемъ извѣстился, что Вы собственность признаете, семейство пріемлете, государство чтите. Посему, ежели при извѣстномъ свиданіи *), въ разговорѣ насчетъ армій и флотовъ, что-нибудь ненарочно сказалось, въ томъ прошу великодушно меня извинить, отнеся оное насчетъ моей простоты.

*) См. «Благонамѣренныя рѣчи».

„При семъ нелишнимъ, однакожъ, почитаю представить на благоусмотрѣніе Ваше нижеслѣдующія мои соображенія:

„Пишете Вы, Милостивый Государь, что негоціантъ, ежели доподлинно собственность чтитъ, обязанъ дѣла свои въ такомъ видѣ имѣть, чтобы ежечасно быть готовымъ во всякомъ рублѣ передъ публикою чистосердечный отчетъ дать. Откуда тотъ рубль пришелъ и какъ составился? сколько въ немъ копѣекъ законнаго прибытка и сколько — грабежа? Съ своей стороны, не отрицая пользы, которая отъ таковаго чистосердечія произойти можетъ, позволяю себѣ возразить лишь то, что, по званію нашему, одно что-нибудь: или дѣла дѣлать, или отчеты отдавать. Ибо званіе наше на этотъ счетъ довольно-таки строго, такъ что если нужное для операцій время мы станемъ употреблять для чистосердечіевъ, то операціи запустимъ, а чистосердечіями никому удовольствія не предоставимъ.

„Второе, пишете Вы, ежели который человѣкъ свою собственность блюдетъ, тотъ долженъ и чужую наблюдать — то и сіе весьма пріятно. Но позвольте вамъ доложить: ежели я буду о собственности публики скорбѣть, то не послѣдуетъ ли отъ сего для меня изнуренія? а равнымъ образомъ не дастъ ли оно партикулярнымъ людямъ такой повадки, что мы, дескать, будемъ праздно время проводить, а Деруновъ за всѣхъ насъ стараться станетъ? А награда — на небеси-съ?

„И еще замѣчаете Вы, что негоціанты, по роду своихъ занятіевъ, больше въ Кунавинѣ, нежели въ семействахъ своихъ время проводятъ, то и сіе справедливо. Думается однакожъ, что ежели мы оный родъ занятій покинемъ, то какъ бы намъ, въ ожиданіи другихъ занятіевъ, и вовсе при одномъ Кунавинѣ не остаться.

„Что же касается наставленія Вашего, что необходимо прежде всего отечество свое любить и въ пользу онаго жертвовать, то сіе безусловно вѣрно. И мы любить оное готовы, только не знаемъ, какъ. Посему, еслибы начальство насъ въ семъ смыслѣ руководило и прямо указывало, на какое полезное устройство жертвовать надлежитъ, то, мнится, великая бы отъ сего польза произошла.

„Съ истиннымъ почтеніемъ и таковою же преданностью имѣю честь быть и проч.

„Іосифъ Деруновъ“.

„Милый cousin! Что ты такое написалъ, будто бы нынче мужчины больше въ Кунавинѣ, нежели въ семействахъ, время проводятъ? Что такое Кунавино? Я просила Филоѳея Иваныча мнѣ объяснить, но онъ говоритъ, что дамѣ такихъ вещей знать не слѣдуетъ. Но отчего же? Объясни мнѣ, пожалуйста, потому что, ежели я не буду знать, то все стану бояться, что Филоѳей Иванычъ уйдетъ отъ меня въ Кунавино. И я останусь безъ него.

„Что касается до меня, то я очень счастлива. Одно только тревожитъ: денегъ мало. Сколько разъ хотѣла обратиться къ тебѣ, но Филоѳей Иванычъ, прочитавъ твою статью, говоритъ: „коль скоро братецъ объ собственности сталъ поговаривать, то врядъ-ли онъ склонность къ одолженіямъ сохранилъ“. А я

къ думаю, что совсѣмъ напротивъ... Cousin! милый! только тысячу фран-въ... можно?

„Но какъ ты это хорошо сказалъ: „чужую собственность блюди, а свою соблюдай!“ — именно, именно такъ! И откуда ты такія тонкія замѣчанія черпаешь! Филоѳей Иванычъ прямо говоритъ: „еслибы все такъ было, какъ атецъ предположилъ, то ни мы, ни другіе ни въ чемъ бы не нуждались и всѣхъ было бы всего довольно!“ Не правда ли... милый?

„A toi de coeur

„Nathalie“.

„Прекрасно. Собственность признаешь, семейство — пріемлешь, госу-рство—чтишь! А о Святой Церкви и служителяхъ ея... позабылъ?

„Iерей“.

Я полагаю, этихъ образцовъ достаточно. Имѣя въ свою пользу столь зспорныя свидѣтельства симпатіи, я смѣло могу смотрѣть въ глаза буду-ему, не опасаясь даже загадочнаго присовокупленія насчетъ церкви и ея ужителей, которымъ меня почтило лицо, скрывшее себя подъ псевдонимомъ ерей“.

Первое ноября.

Какъ ни страстно привязанъ я къ литературѣ, однако долженъ со-аться, что по временамъ эта привязанность подвергается очень рѣшитель-ымъ испытаніямъ.

Когда прекращается вѣра въ чудеса — тогда и самыя чудеса какъ бы олкаютъ. Когда утрачивается вѣра въ животворящія свойства слова, то жно почти съ увѣренностью сказать, что и значеніе этого слова умалено до талла звенящаго.

И кажется, что именно до этого мы и дошли.

По старой, закоренѣлой привычкѣ я какъ-то невольно обращаюсь къ роковымъ годамъ и тамъ отыскиваю примѣровъ для сравненій. Не потому, тобы я былъ пристрастенъ къ этой эпохѣ, видѣвшей мою молодость (я слиш-омъ часто говорилъ о слабыхъ ея сторонахъ, чтобы быть заподозрѣннымъ въ ристрастіи), а потому, что тогда, сдается мнѣ, воистину существовала вѣра ъ чудеса. Правда, что она дѣйствовала въ сферѣ довольно ограниченной и выходила изъ предѣловъ очень тѣснаго кружка, но мы, юноши того вре-ени, мы, члены этого кружка, несомнѣнно ощущали на себѣ дѣйствіе этой ѣры. Мы пламенѣли, сгорали и чувствовали себя обновленными.

Я заранѣе готовъ согласиться, что воспитательное вліяніе литературы сороковыхъ годовъ было не особенно прочно, что оно почти не проникло въ жизнь, не создало въ послѣдней школы, богатой образцами. Я знаю, что бывшіе слушатели лекцій Грановскаго слишкомъ легко освобождались отъ университетскихъ преданій и почти незамѣтно превращались въ самыхъ заурядныхъ помѣщиковъ, въ чиновниковъ-формалистовъ и даже въ писцовъ-служителей крѣпостныхъ дѣлъ. Все это, съ практической точки зрѣнія, конечно, представляло результатъ довольно обидный; но если даже предположить, что вѣра, о которой я говорю, составляла исключительное достояніе одной литературы, то и это ужъ былъ хорошій залогъ.

И чиновники, и помѣщики, и крѣпостныя дѣла — все это преходитъ; таетъ яко воскъ и исчезаетъ яко дымъ. Одна литература — не преходитъ и не исчезаетъ, и это свойство непреходимости сообщаетъ ея свидѣтельству особенную неотразимость и непререкаемость.

Вѣра въ чудеса помогла литературѣ сороковыхъ годовъ отыскать извѣстные идеалы добра и истины, благодаря которымъ она не задохлась; она же создала тѣ человѣчныя преданія, ту честную брезгливость, которыя выдѣлили ее изъ общаго строя жизни и дали возможность выйти незапятнанною изъ-подъ ига всевозможныхъ давленій. Все это было настолько характеристично и плодотворно, что, по мнѣнію моему, въ этомъ одномъ можно безъ особой натяжки видѣть своего рода практическій результатъ (а именно въ практической безрезультатности преимущественно и обвиняютъ литературу сороковыхъ годовъ). Идеалы и преданія, о которыхъ идетъ рѣчь, не изгибли и теперь. Всѣ книги сороковыхъ годовъ полны ими, и желающіе возобновить ихъ въ своей памяти могутъ удовлетворить этому желанію очень легко, обратившись къ этимъ книгамъ. Конечно, идеалы эти для настоящаго времени нѣсколько устарѣли и представляются уже недостаточными, но ежели содержаніе идеаловъ и подлежитъ критикѣ, то отношеніе къ нимъ литературы и донынѣ остается въ высшей степени поучительнымъ. Это то страстно-убѣжденное отношеніе, которое даже въ мертвыя тѣла вливаетъ духъ живъ, который даже пустыню призываетъ къ жизни. Такъ что еслибы современные литературные дѣятели нѣсколько чаще справлялись съ кладбищемъ сороковыхъ годовъ, то нынѣшняя литература не только не проиграла бы отъ того, а, напротивъ, очень многое выиграла бы. По крайней мѣрѣ я совершенно искренно убѣжденъ, что холодная остервенѣлость, которая нынѣ является единственнымъ средствомъ для оживленія страницъ и столбцовъ и для возбужденія въ читателѣ вожделѣнія, исчезла бы сама собой и дала бы мѣсто стыду.

Но, кромѣ этого практическаго результата, былъ и другой, не столь рѣшительный, но за то болѣе непосредственный. Несмотря на свою изолированность, несмотря на полное отсутствіе воинствующихъ элементовъ, литература сороковыхъ годовъ, въ сущности не оставалась безъ вліянія и на большинство тогдашней интеллигенціи. Какъ ни испорчены и ни себялюбивы были представители этой интеллигенціи, но въ молодыхъ ея отпрыскахъ уже можно было подмѣтить нѣкоторыя несомнѣнныя пробужденія, замѣчательныя по своей мучительной искренности. Создался особенный типъ „лишнихъ“ людей, не

лько скептически относившихся къ своей внутренней цѣльности, но и поло-
ительно изнемогавшихъ подъ игомъ двоегласія, источникомъ котораго была
одной стороны литература, а съ другой — жизнь. Этотъ типъ былъ въ
бое время очень усердно разрабатываемъ литературой, но онъ не былъ *выду-
манъ* ею, а прямо выхваченъ изъ жизни. Правда, что отъ этихъ изнемоганій
самобичеваній практически не было никому ни тепло, ни холодно, и что, въ
льшинствѣ случаевъ, они были скоропреходящими, но сами по себѣ люди,
страдавшіе двоегласіемъ, все-таки представляли извѣстную долю симпатич-
ности. Сравните эти страданія внутренняго двоегласія съ несомнѣвающеюся
цѣлостностью современныхъ проворныхъ людей, которые, съ хладной пѣной
рта, даже любовь къ отечеству готовы эксплуатировать въ пользу продажи
распивочно и на-выносъ — и вы почувствуете, что ежели не особенно лестно
ло жить въ обществѣ людей, прямо называвшихъ себя „лишними" то все-
аки не такъ несомнѣнно мерзко, какъ жить въ обществѣ людей, для кото-
ыхъ все уже до того поскудно-ясно, что представленіе о рублѣ, въ смыслѣ
привлекательности, уступаетъ лишь представленію о таковыхъ же двухъ, а
ли больше, то, разумѣется, и того лучше.

А наконецъ былъ и еще практическій результатъ, который и до сихъ
оръ говоритъ самъ за себя: идеалы сороковыхъ годовъ несомнѣнно послу-
или подспорьемъ при разрѣшеніи крестьянскаго вопроса и осуществленіи
прочихъ реформъ шестидесятыхъ годовъ.

Словомъ сказать, литература сороковыхъ годовъ уже тѣмъ однимъ оста-
ила по себѣ неизгладимую память, что она была литературой серьезно убѣж-
енной. Не зная никакихъ свободъ, ежечасно изнемогая на Прокустовомъ ложѣ
севозможныхъ укорачиваній, она не отказывалась отъ своихъ идеаловъ, не
редавала ихъ и не говорила себѣ въ утѣшеніе: живъ курилка, не умеръ!
Ибо „курилка", собственно говоря, даже живъ не былъ, а только едва-едва
тѣлся.

Какимъ образомъ случилось, что убѣжденность исчезла, что влеченіе
ъ идеаламъ сгинуло, что традиція литературной брезгливости оборвалась, и
сталось только одно радованіе о томъ, что курилка не умеръ — это объяснить
нелегко. Почему-то мы проглядѣли этотъ переходъ, проглядѣли сами не
наемъ ка́къ: не то за дѣйствительнымъ расширеніемъ задачъ, не то за наплывомъ
езчисленныхъ пустяковъ. Достовѣрно одно: что литература воистину полу-
ила доступъ къ практической жизни, и что это дѣйствительно и въ значи-
ельной мѣрѣ освободило ее отъ той тяжелой изолированности, которая,
искони несноснымъ кошмаромъ тяготѣла надъ ней.

Это было явленіе совершено новое, и такъ какъ литература устремилась
ъ нему съ пылкостью, то многіе думаютъ, что именно это общеніе съ низмен-
остями жизни и повліяло на нее развращающимъ образомъ. Что касается
о меня, то я не только не согласенъ съ этимъ толкованіемъ, но даже поло-
ительно утверждаю, что оно свидѣтельствуетъ о совершенномъ незнаніи
стинныхъ задачъ литературы. Изолированность, конечно, имѣетъ свою кра-
ивую, а отчасти и полезную сторону, потому что она ставитъ литературу въ
положеніе жены цезаря, которой не должно касатся даже подозрѣніе въ по-
датливости, но было бы въ высшей степени неестественно и даже оскорбительно,

еслибъ эта же самая изолированность сдѣлалась безсрочною и составила бы окончательную цѣль существованія литературы. Изолированность есть все-таки не болѣе какъ безмолвный отвѣтъ плѣннаго заложника, не могущаго ничѣмъ инымъ протестовать противъ глумленій торжествующей современности; понятно, что литература не могла считать этотъ удѣлъ для себя ни завиднымъ, ни желательнымъ. Отчуждая себя отъ жизни, она только обрекла себя, такъ сказать, на зимнюю спячку, но при этомъ отнюдь не теряла изъ виду, что при первыхъ лучахъ весенняго солнца она несомнѣнно пробудится для бодрствованія И вотъ эти лучи показались, а вмѣстѣ съ ними пришло и общеніе съ жизнью. Это общеніе всегда было и всегда будетъ цѣлью всѣхъ стремленій литературы; оно одно можетъ вывести ее изъ оцѣпенѣлости; оно одно дастъ ей возможность перейти изъ области страдательной брезгливости въ область воздѣйствія и осуществленія тѣхъ воспитательныхъ цѣлей, которыя составляютъ основной смыслъ ея существованія. Общеніе не могло ни умалить ея идеалы, ни тѣмъ менѣе упразднить ихъ. Совсѣмъ напротивъ. Какъ бы ни были низменны интересы современности, литературные идеалы уже по тому одному не могутъ пострадать отъ прикосновенія къ нимъ, что интересы эти все-таки принадлежатъ тому униженному и оскорбленному человѣчеству, нравственное оздоровленіе котораго составляетъ благороднѣйшую мечту благороднѣйшихъ умовъ. Однимъ словомъ, въ этихъ низменностяхъ идеалы литературы (хотя бы даже и отрицательнымъ путемъ) могутъ найти для себя лишь поправку, опору и развитіе, но никакъ не смерть.

А между тѣмъ мнѣніе, что идеалы пошатнулись и вѣра въ чудеса упразднилась, все-таки остается истиною. Но причину этого явленія слѣдуетъ искать совсѣмъ не въ общеніи литературы съ жизнью, а скорѣе въ тѣхъ черезчуръ своеобразныхъ формахъ, въ которыхъ осуществилось это общеніе.

На дѣлѣ какъ-то совершенно неожиданно вышло, что жизнь поступилась литературѣ не существенными своими интересами, не тѣмъ внутреннимъ содержаніемъ, которое составляетъ источникъ ея радостей и горестей, а только безчисленной массой пустяковъ. И въ то же время сдѣлалось яснымъ, что старинный афоризмъ: „не твое дѣло", настолько заматерѣлъ и въѣлся во всѣ закоулки жизни, что слабымъ рукамъ оказалось совершенно не подъ силу бороться съ нимъ. И такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, оказалось, что литература искала общенія съ жизнью, а обрѣла общеніе съ пустяками — какая неожиданность можетъ быть горчѣе и чувствительнѣе этой!

Нашлись, разумѣется, личности, которыхъ такой оборотъ повергъ въ уныніе, но большинство литературы примирилось, съ нимъ. Съ пустяками живется вольнѣе и безопаснѣе, да и разсуждать о пустякахъ легче: не нужно ни задумываться надъ работой, ни подготовляться къ ней. Пустяки быстро навертываются и столь же быстро отскакиваютъ, не оставляя по себѣ никакихъ „сердца горестныхъ замѣтъ". Сверхъ того, пишущему о пустякахъ всегда кажется, что онъ находится въ центрѣ если не настоящаго дѣла, то по крайней мѣрѣ той неусыпающей дѣловой сутолоки, которую очень легко искуственно взбодрить и подъ флагомъ благонамѣренности выдать, пожалуй, и за настоящее. Словомъ сказать, литературный трудъ настолько же облегчился, насколько

ростились и самыя задачи литературы, и благодаря этому число желающихъ унуться въ море пустяковъ съ каждымъ часомъ умножается и ростетъ. Удиrельно ли поэтому, что, имѣя такихъ проворныхъ дѣятелей, литература има до того всецѣло прониклась пустяками, что въ случаѣ оскудѣнія пустязъ реальныхъ она ни мало не стѣсняется этимъ, но творитъ свои собствене, самостоятельные пустяки.

Какъ бы то ни было, но пришлось убѣдиться, что спастись отъ пустявъ уже по тому одному невозможно, что литература сама сдѣлала для себя мыслимымъ возвратъ къ прежней брезгливой изолированности. Съ одной ороны изолированность пріобрѣла какой-то неблагонамѣренно-подозриьный характеръ, съ другой — школа юркихъ практикантовъ какъ-то езвычайно быстро создала совсѣмъ новую публику, которая, въ свою очедь, ничего не хочетъ знать, кромѣ пустяковъ. Однимъ словомъ, и литера-ра, и публика такъ удачно спѣлись, что обѣ въ самый короткій срокъ упобились той низменной адвокатурѣ, которая подстерегаетъ пропущенные оки и несоблюденныя формальности, подсиживаетъ противныя стороны внеными закорючками и въ этомъ усматриваетъ осуществленіе правды и спраливости.

И такъ, убѣжденность оказывается подозрительною, вѣра въ чудеса — нужною и смѣшною, а между тѣмъ литературное ремесло все еще продолетъ быть обязательнымъ. Это тоже своего рода двоегласіе, и на этотъ разъ имѣющее ни тѣни барской привередливости, а прямо безнадежное, мрачное.

Я назвалъ литературное ремесло обязательнымъ не потому единственно, о оно представляетъ наилучшее орудіе для служенія общественнымъ интесамъ, но также и потому, что оно, сверхъ того, даетъ извѣстное матеріале обезпеченіе.

Какимъ образомъ человѣкъ становится литераторомъ, въ какой мѣрѣ этой метаморфозѣ играетъ роль призваніе и дѣйствительная талантлиость и въ какой простая случайность? — это вопросъ, который я разрѣшить берусь. Да и не въ немъ дѣло, а въ томъ, что разъ человѣкъ занялъ сто въ литературныхъ кадрахъ, онъ силою вещей останется навсегда приванным къ этому мѣсту.

Во-первыхъ, никакой трудъ такъ не привлекателенъ, какъ трудъ умвенный. Конечно, бываютъ историческіе моменты, когда умственный трудъ въ особенномъ авантажѣ обрѣтается, но вѣдь въ такіе моменты и весь обще жизненный уровень сводится къ нулю. Стало быть, называться литетором все-таки лестнѣе, нежели слыть партикулярнымъ шлющимся челокомъ. Во-вторыхъ, занятіе литературой создаетъ извѣстныя привычки, едполагаетъ излюбленныя связи и даже спеціальную обстановку, которую рушить не только трудно, но и мучительно. Въ-третьихъ, даже разработка стяковъ представляетъ довольно сложный процессъ, въ которомъ имѣются ои отправные пункты, а слѣдовательно предполагаются и выводы. И челокъ, предпринявшій этотъ процессъ, непремѣнно увлечется имъ настолько, о будетъ дробить и множить свои пустяки до безконечности, и все-таки у будетъ казаться, что онъ не все еще вычерпалъ, а вотъ ужо такую глыбу катитъ, которая всѣ доселѣ извѣстные пустяки въ ничто обратитъ. А въ-

четвертыхъ, повторяю: не послѣднее значенiе имѣетъ въ этомъ случаѣ и матерiальный вопросъ...

Такимъ образомъ дни проходятъ за днями, а литераторъ все остается прикованнымъ къ своему посту.

Онъ остается тутъ, хотя убѣжденность представляется подозрительной и вѣра въ чудеса — смѣшною. Но въ такомъ случаѣ во имя чего же и зачѣмъ онъ, вѣрующiй въ чудеса, продолжаетъ держаться и дѣйствовать въ этомъ странномъ помѣщенiи, гдѣ нѣтъ ни убѣжденности, ни чудесъ?

Пустяки — противны; общiе принципы — недоступны. Или, виноватъ: послѣднiе, пожалуй, по временамъ и прорываются, но окутанные такою непроницаемою сѣтью безчисленныхъ околичностей, которыя самое ремесло проведенiя принциповъ дѣлаютъ почти безнравственнымъ.

Во имя чего же? Зачѣмъ?

Ужели только во имя того и затѣмъ, чтобы ѣсть хлѣбъ и въ то же время защитить свою шкуру? и чтобы имѣть легкомысленное удовольствiе сказать: живъ курилка, не умеръ?

Но вѣдь это-то именно и омерзительно.

Годъ приходитъ къ концу, страшный годъ, который неизгладимыми чертами врѣзался въ сердце каждаго русскаго. Даже въ худшiя эпохи ничего подобнаго этому злосчастному году лѣтописи русской жизни едва-ли представляли.

Вмѣстѣ съ тѣмъ кончаются и мои перiодическiя бесѣды съ читателями. Въ первоначальномъ намѣренiи бесѣды эти должны были отражать въ себѣ злобу дня и въ то же время служить поводомъ для воспроизведенiя нѣкоторыхъ типовъ, которые казались мнѣ небезъинтересными. Я долженъ однакожъ сознаться, что ни того, ни другого я не выполнилъ.

Въ моихъ литературныхъ работахъ юмористическiй элементъ является преобладающимъ; но послѣ такихъ дней, какъ 2-е апрѣля и 19-е ноября, право, не до юмора. Поэтому многое въ моихъ бесѣдахъ оказалось невыясненнымъ, прерваннымъ и даже прямо недоконченнымъ. Мнѣ казалось, напримѣръ, что не только любопытно, но даже и необходимо поставить читателя лицомъ къ лицу съ такими типами, какъ Ѳеденька Неугодовъ или Сашенька Ненарочный, которые, каждый съ своей точки зрѣнiя, претендуютъ на осѣдланiе отечества; сверхъ того мнѣ сдавалось, что и самое изображенiе процесса „осѣдланiя“ можетъ быть небезполезно; но какая же возможность выполнить подобныя задачи, въ виду такого угнетеннаго настроенiя, въ которомъ находится общество? Литературное занятiе, какъ бы скромно ни было его значенiе, прежде всего требуетъ спокойствiя и нѣкоторой увѣренности въ томъ, что оно не стоитъ въ разрѣзъ съ вѣянiями минуты; но ни этого спокойствiя, ни этой увѣренности я не имѣлъ. А потому и для меня самого въ значительной мѣрѣ утратилась ясность тѣхъ типовъ и представленiй, которые первоначально казались совершенно опредѣленными. Тамъ, гдѣ надо было говорить безъ умолчанiй, я ограничивался намеками; тамъ, гдѣ надо было прибѣгнуть къ дѣйствительному изслѣдованiю, я просто-на-просто обходилъ.

Я не скажу даже, что въ этомъ случаѣ главную роль играло внѣшнее давленіе. Конечно, не было недостатка и въ немъ, но главнымъ образомъ все-таки дѣйствовала общая внутренняя пригнетенность, которая пришла какъ-то сама собой. Не я одинъ признавалъ себя пригнетеннымъ, но всякій, въ комъ злоба дня не до конца притупила способность мыслить. И, разумѣется, въ томъ числѣ сознавала себя пригнетенною и литература.

Я знаю, что въ этомъ общемъ хорѣ унынія, почти граничащаго съ безнадежностью, раздавались и другого рода голоса, звонкіе, увѣренные, даже какъ бы почти торжествующіе, но, признаюсь откровенно, эта звонкость не только не прибодряла меня, но даже почему-то казалась зазорною. Есть явленія, которыя до такой степени захватываютъ общество въ его настоящемъ и будущемъ, что передъ ними должно умолкнуть самое звонкое пустословіе. Если же оно не только не умолкаетъ, но тутъ-то именно и выпускаетъ цѣлыя массы безсодержательнѣйшей канители, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы это былъ примѣръ, достойный подражанія. Напротивъ того, я совершенно искренно убѣжденъ, что это канитель не только безсодержательная, но и прямо зловредная.

Люди наивные, искренніе, выражающіе свои чувства въ мѣрѣ своего пониманія и развитія, несомнѣнно всегда заслуживаютъ уваженія. Въ этомъ случаѣ формы не играютъ никакой роли, и критика не имѣетъ права не только оцѣнивать ихъ, но даже просто прикасаться къ нимъ. Они наивно-правдивы — вотъ все, что можно объ нихъ сказать. Но ужасно, когда овечій образъ принимаютъ на себя сущіе волки, и когда эти волки, подъ формами звонкаго пустословія, желаютъ прикрыть не только личное безсиліе и безсердечіе, но и всевозможныя корыстныя и низменныя цѣли, которыя заграждаютъ передъ ихъ глазами свѣтъ Божій. Вотъ этихъ-то волковъ въ овечьей шкурѣ развелось въ послѣднее время такъ много, что начинаетъ уже рождаться сомнѣніе, не заполонятъ ли они литературную ниву въ конецъ.

Я не буду здѣсь приводить примѣровъ — Богъ съ ними! не до примѣровъ теперь! — но скажу прямо, что иногда дѣлается ужасно неловко. Читаешь и думаешь: ужели это тѣ самыя буквы, тѣ самыя слова, употребленіе которыхъ до сихъ поръ казалось вполнѣ естественнымъ?

Поэтому, когда я на дняхъ прочиталъ въ одномъ журналѣ, что унылый тонъ, господствующій въ современной русской литературѣ, доказываетъ, что литература эта не стоитъ на высотѣ своего призванія, ибо ей надлежитъ ободрять общество, а не вливать въ него ядъ меланхоліи, то, признаюсь, крайне былъ удивленъ. Неужто уныніе такъ легко превращается въ бодрость и наоборотъ, что стòитъ только пожелать — и все пойдетъ какъ по маслу? Неужто не существуетъ болѣе глубокихъ причинъ, которыя въ извѣстныхъ случаяхъ уныніе — а въ другихъ надежду и бодрость — дѣлаютъ явленіемъ не только понятнымъ, но почти обязательнымъ?

Я по крайней мѣрѣ думаю, что такія причины существуютъ, и что покуда онѣ состоятъ на-лицо, никакія простодушныя подбадриванія не произведутъ желаемаго дѣйствія. Помилуйте, если ужъ инсинуаціи и устрашенія не помогаютъ, то какую же силу можетъ имѣть простой дружескій совѣтъ! Правда, что въ провинціальныхъ театрахъ (особливо въ тѣхъ, кото-

рые побѣднѣе персоналомъ) и донынѣ существуетъ обычай, въ силу котораго одинъ и тотъ же актеръ сначала является въ роли перваго трагика, а потомъ, вслѣдъ за симъ, въ роли перваго комика. И совершается эта метаморфоза очень просто: трагикъ надѣваетъ бланжевый парикъ и голубые штаны — этого совершенно достаточно, чтобъ невзыскательная публика прыснула со смѣху. Но въ литературѣ подобныя метаморфозы едва-ли мыслимы.

Первое декабря.

(«Вечерокъ».)

...По временамъ мы однакожъ собираемся, а иногда даже и бесѣдуемъ. Впрочемъ безъ ясной программы и безъ одушевленія, а такъ... словно привычный обрядъ соблюдаемъ.

Прежде, бывало, мы потому собирались, что потребность въ разрѣшеніи „вопросовъ“ чувствовали. Много было тогда вопросовъ, хотя, должно сознаться, что бо̀льшая часть ихъ обязана была своимъ происхожденіемъ не столько дѣйствительности, сколько самостоятельному нашему творчеству. Какъ бы то ни было, но вопросы эти занимали насъ, и ни мы, ни люди, читавшіе въ сердцахъ нашихъ, не находили ничего въ томъ предосудительнаго. Предполагалось, что таково ужъ свойство человѣческой природы вообще: интересоваться болѣе или менѣе широкими обобщеніями—вотъ и все. И мы слѣдовали этому указанію человѣческаго естества, то-есть обобщали, спорили, обсуждали и даже горячились.

Возьмемъ, напримѣръ, вопросъ о „подоплёкѣ“ — по нынѣшнему времени это чѣмъ пахнетъ? А прежде мы не справлялись, чѣмъ пахнетъ, а прямо приступали. Плѣшивцевъ доказывалъ, что только тотъ народъ можетъ благополучнымъ себя почитать, который подоплёку свою въ чистотѣ сохранилъ; напротивъ того, Тебеньковъ утверждалъ, что подоплёка только путаетъ. Отсюда споръ, пререканія и даже вражда. Вмѣшается въ эту распрю Положиловъ и спроситъ: „а въ самомъ дѣлѣ, господа, что̀ такое подоплёка?“ — на что Глумовъ немедленно отвѣтитъ: „распивочно и на-выносъ“. И всѣ разсмѣются, ибо знаютъ, что никакого взысканія за это не будетъ.

Или вопросъ о томъ: кто больше заслужилъ, Москва или Петербургъ? Или еще: на какой предметъ родится человѣкъ—для того ли, чтобъ быть счастливымъ, или для того, чтобы лить слезы? А? чѣмъ это, по нынѣшнему времени, пахнетъ?

А мы обо всемъ разговаривали безбоязненно и даже фаланстеровъ не чуждались. Знали, что фаланстеровъ намъ, конечно, не дадутъ, но въ то же время вѣрили, что и телятъ Макаровыхъ пасти не предоставятъ... За что? Вѣдь все это „человѣческое“, а „человѣческимъ“, какъ извѣстно, грады и веси цвѣтутъ...

И Поликсена Ивановна (жена Положилова), бывало, тутъ же сидитъ,

слушаетъ и не нарадуется на насъ. И тоже навѣрное знаетъ, что фаланстеровъ намъ не дадутъ.

Нынче, повторяю, мы собираемся единственно какъ бы выполняя заведенный обрядъ. О „вопросахъ"—не поминаемъ, а „разрѣшеній"—даже опасаемся. Боимся, чтобы въ газетахъ какъ-нибудь не прослышали, что вотъ-дескать такъ и такъ, отечество въ печали находится, а на такой-то улицѣ, нумеръ дома такой-то—„подоплёку" опредѣляютъ... Поэтому бесѣды наши имѣютъ характеръ угнетенный, отрывочный, какъ это всегда бываетъ съ людьми, которые совсѣмъ объ другомъ думаютъ и только ради приличія языкомъ шевелятъ. Одна мысль явственно давитъ всѣхъ: ужели дѣйствительность, среди которой мы живемъ, есть дѣйствительность конкретная, а не кошмаръ? Но развѣ это мысль?—Нѣтъ, это не мысль, а только удлиненное, въ согласность съ требованіями времени, междометіе. А Поликсена Ивановна слушаетъ это тысячекратно-повторяемое междометіе, и не радуется, а безпокоится, какъ бы изъ-за этого чего не вышло.

И такъ, мы собираемся. „Мы", то-есть старики, видавшіе виды. Всякіе виды мы видѣли, а такихъ, какъ нынче, не видали. Поэтому весьма натурально, что въ недоумѣніи мы спрашиваемъ себя: неужтожъ и еще виды будутъ? И въ ожиданіи отвѣта чувствуемъ, какъ мало-по-малу въ насъ упраздняется способность къ построенію силлогизмовъ. Еще чуточку—пожалуй, упразднится и самый даръ слова.

Да, была уже рѣчь и объ этомъ. На дняхъ собрались мы, по обычаю, вечеромъ у Положилова (Положиловъ—солидный чиновникъ, но все еще крѣпится, не чуждается насъ, бывшихъ школьныхъ товарищей, а нынѣ вольнаго поведенія людей), и вдругъ кому-то вздумалось:

— А что, господа, даръ слова, напримѣръ... Дѣйствительно ли это драгоцѣннѣйшій даръ природы, какъ въ старинныхъ сказкахъ сказывали, или такъ только, каверза, допущенная въ видахъ удобнѣйшаго подсиживанія человѣковъ?

И никто не удивился, что подобный вопросъ могъ быть предложенъ. Напротивъ, всѣ какъ будто оживились, и сейчасъ же рѣшили, что, по нынѣшнему времени, гораздо удобнѣе мычать, нежели вмѣстѣ съ вѣщимъ Баяномъ „шизымъ орломъ ширять подъ облакы".

— Вчера я новокупленнаго быка въ деревню отправлялъ, — сказалъ Положиловъ:—такъ это нельзя себѣ представить, какъ онъ пріятно мычалъ. Со всего околотка дворники сбѣжались, слушали и хвалили!

— А мы вотъ не можемъ мычать!—грустно отозвался Тебеньковъ.— Говорить должны.

— Оттого никто насъ и не хвалитъ,—еще безнадежнѣе молвилъ Глумовъ.

Поликсена Ивановна слушала этотъ разговоръ и нѣкоторое время, кажется, даже радовалась, что мысли наши принимаютъ благопотребное, по обстоятельствамъ, направленіе; но, немного погодя, спохватилась и даже тутъ усмотрѣла какую-то „политическую подкладку". Пошла на цыпочкахъ за дверь, глянула, нѣтъ ли кого въ сосѣдней комнатѣ, и, разумѣется, сейчасъ же ей показалось, что тамъ вдругъ кто-то „шмыгнулъ" (должно быть, репортеръ

изъ „Красы Демидрона“). Однимъ словомъ, возвратилась къ намъ разстроенная и немедленно же дала мужу головомойку.

— Ужъ когда-нибудь ты дошутишься, Павелъ Ермолаичъ! — сказала она:—нельзя такъ, мой другъ! Нельзя утромъ въ департаментъ ходить, а вечеромъ язычкомъ чесать!

— Помилуй, голубушка! — оправдывался Положиловъ: — при чемъ тутъ „язычокъ“? Я отъ всего сердца, а ты...

— Шути, мой другъ, шути! А вотъ когда-нибудь Филиппъ (служитель у Положиловыхъ)... Самъ говоришь, что онъ „репортеромъ“ при „Красѣ Демидрона“ состоитъ, а между тѣмъ... Ну, я готова голову на отсѣченіе отдать, ежели это не онъ сейчасъ въ гостиной шмыгнулъ!

И вдругъ всѣ мы, словно сговорившись, воскликнули:

— Господи! да неужтожъ это не кошмаръ!

Минутъ съ пять послѣ этого мы молчали, а можетъ быть и совсѣмъ, съ Божьею помощью, лишились бы дара слова, еслибъ Глумовъ не напомнилъ, что какова пора ни мѣра, а даръ сей, пожалуй, еще службу сослужить можетъ. Не скоро, конечно, а послѣ дождичка въ четвергъ...

— Нужно сказать правду,—вывелъ онъ насъ изъ оцѣпенѣнія: — что жизнь животныхъ вообще... Я говорю безъ примѣненій, господа! Поликсена Ивановна! прошу васъ, не тревожьтесь!.. Ну-съ, такъ говоря вообще, жизнь животныхъ представляетъ нѣкоторыя несомнѣнныя преимущества, которымъ человѣкъ непремѣнно долженъ былъ бы завидовать, еслибъ продерзостно не мнилъ себя царемъ природы. Не говоря уже о безпечности, о блаженной непредусмотрительности, о постоянно ровномъ расположеніи духа—какія драгоцѣнныя гарантіи представляетъ одна такъ-называемая политическая благонадежность! Возьмемъ, напримѣръ, хоть новокупленнаго Положиловскаго быка. Я совершенно убѣжденъ, что въ настоящую минуту онъ мычитъ себѣ полегоньку, и даже „Вѣстникъ Общественныхъ Язвъ“ ни въ чемъ его не подозрѣваетъ. И горюшка ему мало, шмыгнулъ или не шмыгнулъ „репортеръ“ въ сосѣднемъ стойлѣ. Стоитъ онъ и жвачку жуетъ, а надоѣстъ стоять — ляжетъ; такъ въ собственный навозъ и ляжетъ, какъ редакторъ какой-нибудь „Красы Демидрона“ — въ собственную газету. Не нужно ему ни полемику вести, ни приносить оправданія, ни раскаиваться, ни даже въ одиночку трепетать! Весь онъ, всѣмъ существомъ своимъ, такъ сказать, свидѣтельствуетъ...

— Глумовъ! да перестаньте вы, ради Христа!—взмолилась Поликсена Ивановна.

Глумовъ умолкъ; мы же вновь, словно сговорившись, возопили:

— Господи! да неужтожъ это не кошмаръ!

Но, немного погодя, даръ слова обуялъ Тебенькова.

— Позвольте, господа! — сказалъ онъ: — я нахожу, что Глумовъ только отчасти правъ. Нѣтъ спора, что участь быковъ блаженна, однакожъ и они, какъ о томъ свидѣтельствуется во всѣхъ курсахъ зоологіи, въ виду извѣстныхъ пертурбацій природы, имѣютъ свойство выражать безпокойство и даже страхъ. А именно, въ Лиссабонѣ...

— Ахъ, господа, господа!—и т. д.

Словомъ сказать, вопросу о быкѣ и его свойствахъ такъ и не суждено

было пройти сквозь горнило всесторонняго обсужденія. Наступило настоящее, серьезное молчаніе, такое молчаніе, о которомъ принято говорить: „дуракъ родился!“ такъ что нѣкоторое время только и слышно было, какъ Плѣшивцевъ дуетъ въ блюдечко съ чаемъ, а Глумовъ грызетъ баранки. Какъ вдругъ въ комнату, словно буря, влетѣлъ десятилѣтній первенецъ Положиловыхъ, Ваня, и крикнулъ:

— Господи! да неужтожъ...

Это было такъ неожиданно и въ то же время до того совпало съ настроеніемъ минуты, что мы не выдержали и расхохотались. Мальчикъ остановился и изумленными глазами оглянулъ насъ.

— Что̀ тебѣ? объ чемъ ты, голубчикъ?—обратилась къ нему Поликсена Ивановна.

Но мальчикъ ужъ заупрямился, и только послѣ долгихъ разспросовъ и удостовѣреній, что „дяденьки“ смѣются совсѣмъ не надъ нимъ, а сами надъ собой, открылся, что вопросъ его заключался въ томъ: неужтожъ и завтра, и послѣ-завтра, и послѣ-послѣ-завтра — каждый день все греческія склоненія будутъ?

— По обстоятельствамъ нынѣшняго времени... началъ-было объяснять Тебеньковъ, но Поликсена Ивановна такъ строго взглянула на него, что я невольно уподобилъ ее рокочущей львицѣ, у которой замыслили отнять ея дѣтеныша.

— Другъ мой!—сказала она Ванѣ:—никогда не позволяй себѣ роптать! Добрый мальчикъ долженъ безпрекословно выполнять то, чего требуютъ наставники, а не жаловаться на судьбу. Теперь, быть можетъ, тебѣ и трудненько кажется, но за то въ будущемъ какъ отрадно...

Она не докончила, утерла Ванѣ носикъ и, подавая ему бубликъ, присовокупила:

— На̀, кушай, Христосъ съ тобой! А такъ какъ ты у меня пай-мальчикъ и навѣрное ужъ приготовилъ къ завтраму уроки, то скажи Аринушкѣ, что бай-бай пора.

Эпизодъ съ Ваней на этомъ и кончился, но однажды потревоженная „каверза“ (даръ слова) уже не унималась. И я первый ощутилъ на себѣ живучесть ея.

— Получилъ я на дняхъ письмо отъ одного пріятеля,—сказалъ я.— Пишетъ: прочиталъ я твое „Монрепо̀“, и, воля твоя, куда какъ не понравился мнѣ тонъ этой книги! Уныніе, говоритъ, какое-то разлито; а, говоря по совѣсти, что̀ же такое уныніе, какъ не рабская покорность судьбѣ, осложненная рабскимъ же казаніемъ кукиша въ карманѣ? И въ газетахъ, говоритъ, тебя за это упрекаютъ, и, по мнѣнію моему, правильно. Потому что, по нынѣшнему времени, больше нежели когда-либо требуется не уныніе, а дерзновеніе. „Молодцомъ надо быть, мой другъ молодцомъ“!

— Такъ онъ бы за собственный свой счетъ и помолодечествовалъ! — подсказалъ мнѣ Плѣшивцевъ.

— Такъ-было и хотѣлъ я ему сгоряча отвѣтить; но потомъ разсудилъ, и стыдно сдѣлалось. Какъ это, думаю, съ больной головы на здоровую сваливать? Вѣдь онъ, пожалуй, отвѣтитъ: я, другъ сердечный, дерзать не обя-

зывался, а ты не токмо обязывался, но даже жить, такъ сказать, съ этого началъ. Все, скажетъ, дерзалъ да дерзалъ, и вдругъ, въ самую нужную минуту: не хочетъ ли кто за меня подерзать?

— Жестоко, но справедливо,—похвалилъ Глумовъ.—Какъ же ты думаешь поступить? Полагаешь ли продерзостно объявить походъ, или за безопаснѣйшее сочтешь и впредь въ унынiи пребывать?

— То-то и есть, что самъ не знаю. Понимать-то и я хорошо понимаю, что большой заслуги въ унынiи нѣтъ, да что жъ будешь дѣлать, коль скоро унынiе, одно унынiе такъ на тебя и плыветъ, такъ и давитъ тебя?

— А коли давитъ, такъ совсѣмъ, значитъ, замолчи!

— Думалъ я и такъ, да, во-первыхъ, привычка... А во-вторыхъ, ежели замолчать—что же изъ этого выйдетъ? однимъ молчанiемъ больше — только и всего.

— И это... жестоко, но справедливо!

— Да и въ-третьихъ, —откликнулся Положиловъ:—какъ еще на молчанiе-то посмотрѣть! все говорилъ да говорилъ, и вдругъ—молчо́къ! съ какою цѣлью? почему?

— Гм... да! и это, братъ... тоже—статья въ своемъ родѣ!—согласился Плѣшивцевъ.

— Ну, такъ, стало быть, дерзай! — посовѣтовалъ Глумовъ: — перекрестись и дерзай!

— Да вѣдь и дерзать... какъ тутъ дерзнешь! — оправдывался я. — Вопросы-то нынче какъ-то ребромъ встали... ужасно непрiятные, назойливые вопросы! А кромѣ того и еще: около каждаго вопроса пристроились газетные церберы. Такъ и лаютъ-надрываются, такъ и скачутъ на цѣпи! Положимъ, что укуситъ онъ и не больно, а ну какъ онъ—бѣшенный!

— И даже почти навѣрное,—подтвердилъ Тебеньковъ.

— Не почти, а просто навѣрное,—усугубилъ Глумовъ.

— Такимъ-то родомъ я и раздумываю... Съ одной стороны несомнѣнно, что вопросы ребромъ встали, а съ другой стороны какъ будто и совсѣмъ ихъ нѣтъ. Встали ребромъ, да куда-то и пропали за предѣлы компетентности. Или, яснѣе сказать, есть вопросы, да мы-то не компетентны оказались, чтобы судить объ нихъ.

— Да, да. Вотъ какъ теперь: собрались мы здѣсь, а говорить намъ нѐ объ чемъ. Унывать приходится.

— Ну, братъ, о подоплёкѣ-то и теперь... — возразилъ-было Тебеньковъ.

— Нѣтъ, и о подоплёкѣ... Смотря по тому, какая подоплёка и въ какое время.

— Вы, господа, съ подоплёкой не шутите! По нынѣшнему—вѣдь это красный фантомъ!

— Жестоко, но... справедливо!

— Да нѣтъ, что́ подоплёка! до подоплёки ли ужъ!—продолжалъ я.— Возьмемъ самый несложный и, по обстоятельствамъ, даже самый естественный вопросъ... напримѣръ, хоть о пользѣ содержанiя козла въ огородѣ... Сколько въ былое время передовиковъ на этомъ вопросѣ репутацiю себѣ сдѣлали! А

ныньче попробуй-ка его со всѣхъ сторонъ разсмотрѣть — анъ вдругъ изъ всѣхъ литературно-ретирадныхъ мѣстъ полемическій залпъ! Козелъ! что такое „козелъ“? Огородъ! что такое „огородъ“? съ какой стати вдругъ объ „огородѣ“ рѣчь заведена? что симъ достигается? и въ сколькихъ смыслахъ надлежитъ „онное“ понимать?

Сознаюсь, это было нѣсколько преувеличено, и Тебеньковъ не преминулъ мнѣ это высказать; однако Положиловъ вступился за меня и, въ подтвержденіе моей правоты, даже привелъ фактъ.

— Я одного ученаго знаю,—сказалъ онъ:—тридцать лѣтъ сряду пишетъ онъ изслѣдованіе о „Бабѣ-Ягѣ“, и наконецъ на дняхъ кончилъ. И чтожъ! Спрашиваю я его: скоро ли, молъ, къ печатанію приступите? „Помилуйте! говоритъ, развѣ, по нынѣшнему времени, можно?“

— Ахъ! это... ужасно!

И мы даже съ мѣстъ повскакали, простирая руки къ небу и вопія:

— Господи!—да неужтожъ это не кошмаръ!

— А мнѣ такъ кажется, что вы именно преувеличиваете, господа!—рѣшила послѣ короткой паузы Поликсена Ивановна:—какая же это спеціальность — унывать! По моему, такъ и теперь можно прожить, и даже очень прекрасно прожить. Кто захочетъ, тотъ всегда для себя подходящее дѣло отыщетъ.

Но какъ-то никто не откликнулся на это замѣчаніе, а Глумовъ даже явно отнесся къ нему съ пренебреженіемъ, то-есть махнулъ рукой и сказалъ:

— Да, взяли-таки волю наши ретирадники...

Но тутъ разыгрался у насъ „эпизодъ“. Поликсена Ивановна не то чтобы прямо огорчилась невниманіемъ Глумова, но пригорюнилась, и Положиловъ, какъ преданный супругъ, счелъ долгомъ вступиться за нее.

— Однакожъ, Глумовъ,—сказалъ онъ:—вѣдь жена-то у меня—дама; и ты могъ бы...

— Поликсена Ивановна! голубушка! да неужто вы... дама? — изумился Глумовъ.

Это дало новое направленіе бесѣдѣ. Сначала возникъ вопросъ: что такое „дама“ и чѣмъ она отличается отъ „женщины“? А потомъ и другой: отчего Поликсенѣ Ивановнѣ, напримѣръ, неловко дѣлается, когда ее въ упоръ называютъ „дамой“, и отчего, тѣмъ не менѣе, у той же Поликсены Ивановны въ экстренныхъ случаяхъ огоньки въ глазахъ бѣгаютъ: не забывайте-дескать однако, что я... дама!

— Давайте, господа, объ женскомъ вопросѣ поговоримъ!—предложилъ Тебеньковъ.

Со стороны Тебенькова подобное предложеніе никого не удивило. Мы знали, что Тебеньковъ считаетъ себя спеціалистомъ по женскому вопросу, но въ то же время знали и то, что онъ любитъ обсуждать его по преимуществу съ точки зрѣнія „атуровъ“. Поликсена Ивановна не разъ говаривала ему: „вы не можете себѣ представить, какъ это скверно, Тебеньковъ!“—а иногда даже и обижалась.

Par respect pour les moeurs, и мы не одобрили Тебеньковскіе взгляды на женскій вопросъ, но, говоря по совѣсти, не маловажная доля его вины ложи-

лась и на насъ всѣхъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ обычной манерѣ мужчинъ относиться къ женскому вопросу и обсуждать его существуетъ какое-то роковое легкомысліе. Я никогда не слыхалъ, какъ разсуждаютъ женщины о „мужскомъ вопросѣ“, и потому не могу свидѣтельствовать, бываетъ ли тутъ рѣчь объ „атурахъ“, но что касается до мужчинъ, то они только цѣною величайшихъ усилій могутъ воздерживаться отъ экскурсій игриваго свойства.

Мнѣ кажется, что это происходитъ оттого, что мы ставимъ женскій вопросъ совсѣмъ не на ту почву, на которую его ставить надлежитъ, т.-е. разсматриваемъ его по преимуществу въ культурной средѣ, той самой, которая всѣми своими помыслами и силами почти исключительно направлена къ воспитанію „атуровъ“. Тогда какъ еслибы мы перенесли его въ среду трудолюбивыхъ поселянъ, то представленіе объ „атурахъ“ упразднилось бы само собой, и женскій вопросъ предсталъ бы предъ нами въ своемъ чистомъ, безатурномъ видѣ.

Да, только тамъ можно представить себѣ „женщину“ вполнѣ независимо отъ „атуровъ“; только тамъ половымъ различіямъ дается ихъ естественное, не дразнящее значеніе. Въ этой средѣ и молодость быстрѣе проходитъ, и дѣловая рабочая пора приспѣваетъ плотнѣе. Когда женщина идетъ шагъ въ шагъ рядомъ съ мужчиной, когда она представляетъ собой необходимое дополненіе рабочаго тягла, то она является уже не утѣхой, не „украшеніемъ“ и даже не помощницей и подругой, а просто-на-просто равноправнымъ человѣкомъ. И ежели за всѣмъ тѣмъ и при такой обстановкѣ мужчина хлещетъ женщину возжами и таскаетъ за косы, то вотъ тутъ ужъ дѣйствительно выступаетъ на сцену женскій вопросъ, жгучій, потрясающій, вопіющій. И что же! именно тутъ-то никто его и не видитъ, никто объ немъ и не думаетъ!

Но какъ только женскій вопросъ выходитъ изъ предѣловъ простонародной среды, такъ онъ сейчасъ же превращается въ „дамскій“ и пріобрѣтаетъ атурный характеръ. Вліяніе культурныхъ вѣяній таково, что даже женщина, вышедшая изъ народа, коль скоро отвѣдаетъ пуховика, самовара и убоины, такъ сейчасъ же первымъ дѣломъ начинаетъ нагуливать себѣ „атуры“. И груди чтобъ сахарныя были, и бедра такія, чтобы уколупнуть было нельзя, и спина широкая, чтобы всей пятерней огрѣть можно было. И, нагулявши все это, начинаетъ мнить себя „дамой“ и мечтать о „кавалерахъ“.

Я знаю, что слово: „дама“, многимъ нынѣ ненавистно; но что „дамство“ пустило корни глубоко и надолго заполонило женскую ниву—это несомнѣнно. Повторяю: я все-таки имѣю въ виду исключительно культурную среду и объ ней одной говорю, потому что можно ли назвать „дамой“ существо, которое днемъ наравнѣ съ мужчиной пашетъ, боронитъ и коситъ, а на сонъ грядущій получаетъ столько ударовъ возжами, сколько влѣзетъ? И такъ, возьмемъ въ этой культурной средѣ одинъ изъ лучшихъ экземпляровъ, въ родѣ Поликсены Ивановны. Безспорно, это женщина разумная и даже самостоятельная, а посмотрите, какъ она гордится, что за такимъ „добытчикомъ“, какъ Павелъ Ермолаичъ, она живетъ какъ за каменной стѣной! какъ она глубоко убѣждена, что онъ доставитъ ей обезпеченіе и покровительство, и какъ смиренно-счастлива, если ей удастся отблагодарить мужа за это покровительство, устроивъ ему домашній комфортъ! Не очевидно ли, что она и сама считаетъ

свою роль второстепенною, зависимою? что она и сама сознаетъ, что безъ Павла Ермолаича ей—матъ? Но этого мало: она называетъ мужа не иначе какъ Павломъ Ермолаичемъ (я увѣренъ, что даже одинъ-на-одинъ она не отступаетъ отъ этого правила), а онъ нѣтъ-нѣтъ, да и обласкаетъ ее „Поликсенчикомъ“. И когда она слышитъ это обращенное къ ней уменьшительное, то не только радуется, но и гордится этимъ: стало быть, дескать, я еще заслуживаю! Я не утверждаю, чтобы въ соображеніяхъ ея по этому предмету непремѣнно играли роль „атуры“, но помимо воли, сами собой (въ формѣ скромнаго инстинктивнаго охорашиванья), вѣроятно сказываются и они. Во всякомъ случаѣ она несомнѣнно сознаетъ, что извѣстная пословица: курица не птица и т. д.—не просто пословица, но и фактъ, по поводу котораго до поры до времени спорить и прекословить безполезно. А ежели она все это сознаетъ и пріемлетъ, то должна неминуемо сознавать и то, что она... дама! И — о, ужасъ! — что только именно это „дамство“ спасаетъ ее отъ тѣхъ практическихъ послѣдствій, которыми чревата сейчасъ упомянутая пословица...

Павелъ Ермолаичъ знаетъ эту двойственность своей подруги и относится къ недоумѣніямъ ея нѣсколько иронически. По моему мнѣнію, онъ поступаетъ въ этомъ случаѣ несправедливо, ибо недоумѣнія эти отнюдь не отъ Поликсены Ивановны зависятъ! Культурная женщина съ младыхъ лѣтъ такъ воспитывается, чтобъ быть „дамой“, то-есть чтобы жеманиться и сидѣть у мужчины на колѣняхъ. Гопъ, гопъ! поѣхали!—скажите, гдѣ та культурная дама, которой сердце не замерло бы въ восторгѣ при этомъ восклицаніи?

Поэтому, когда Тебеньковъ предложилъ приступить къ разработкѣ женскаго вопроса, то Поликсена Ивановна рѣшительно этому воспротивилась, и Положиловъ принялъ ея сторону.

— Я знаю, къ чему ты стремишься, Тебеньковъ, —сказалъ онъ:—хочется тебѣ насчетъ „лямуру“ пройтись, да и вообще слабый оный полъ подробному во всѣхъ частяхъ разсмотрѣнію подвергнуть. И знаю также, что, по нынѣшнему времени, это занятіе самое благопотребное, по поводу котораго не потребуется даже заглядывать въ гостиную, не „шмыгаетъ“ ли тамъ кто. Но подумай однакожъ, не презорно ли будетъ, ежели мы, подобно ретроградникамъ, погрязнемъ въ однѣхъ игривостяхъ, а о прочихъ сторонахъ вопроса, унылыхъ обстоятельствъ ради, умолчимъ? Не правда ли, господа?

Мы поспѣшили согласиться, а Плѣшивцевъ, въ качествѣ всегдашняго антагониста Тебенькова, даже присовокупилъ:

— Говорилъ я тебѣ, что ты, Тебеньковъ, поскудникъ и засушина. Вотъ и попался. Теперь ты соборнѣ въ этомъ званіи навсегда утвержденъ.

— Нѣтъ, не будемъ черезчуръ строги къ нашему общему другу,—продолжалъ Положиловъ:—я самъ знаю, что Тебеньковъ немножко поскудникъ; но это оттого, что его чрезмѣрно ужъ угнетаетъ чувство изящнаго... А сверхъ того у него откровенный характеръ... Вотъ это и выдаетъ его. Но вѣдь и всѣ мы, воспитанные въ преданіяхъ эстетики, относимся къ женщинѣ по преимуществу съ точки зрѣнія „атуровъ“ и „игривостей“. Только мы не столь часто и не столь открыто говоримъ объ этомъ, и, разумѣется, хорошо дѣлаемъ. Ибо какъ ни привлекательны атуры, но умнаго въ разговорахъ объ

нихъ немного. Несмотря на эти разговоры, женскій вопросъ все-таки существуетъ, и ежели онъ представляется безвременнымъ и мелкимъ, то, во-первыхъ, потому, что сами женщины покуда еще не умѣютъ разобраться въ немъ, а во-вторыхъ и главнымъ образомъ потому, что на ближайшей очереди стоитъ великій мужской вопросъ. Но во всякомъ случаѣ подражать ретираднникамъ не подобаетъ. Поэтому я предпочелъ бы женскій вопросъ обойти; но ежели бы вы желали бесѣдовать на эту тему съ должной серьезностью...

Положиловъ не досказалъ и тихонько-тихонько на цыпочкахъ направился къ двери и заглянулъ въ гостиную. Онъ сдѣлалъ это повидимому совершенно инстинктивно, но вышло такъ наивно, что всѣ мы, не исключая и Поликсены Ивановны, захохотали.

— Оставимъ! ставимъ! — произнесъ Глумовъ, какъ только улеглись первые порывы веселости: — вѣдь это все-таки „вопросъ", а вопросы теперь не ко времени. Все стоитъ твердо, вѣрно, несомнѣнно — такъ гласитъ мудрость вѣка сего — зачѣмъ же прать противъ рѣшеній ея? Да и ка́я польза вдаваться въ изслѣдованія, коль скоро тебя каждоминутно подмываетъ заглянуть въ другую комнату, не шмыгнулъ ли тамъ кто? По моему, это предосудительно и даже... некрасиво! А къ тому же и Поликсена Ивановна...

— Что́-жъ я! — вступилась за себя Поликсена Ивановна: — говорите, я ничего! Только ежели вы серьезно будете, такъ, конечно... не вышло бы чего...

И она, въ свою очередь (и тоже повидимому инстинктивно), встала и на цыпочкахъ заглянула въ гостиную.

Мы поглядѣли-поглядѣли, но на сей разъ не разсмѣялись, а, помолчавъ немного, едиными устами возопили:

— Господи! да неужтожъ это не кошмаръ!

Но здѣсь я долженъ сдѣлать тяжкое для самолюбія признаніе: главную причину Положиловскаго и нашего смущенія составлялъ лакей Филиппъ. Это было какое-то сказочное существо, о которомъ носились самые загадочные слухи. Говорили, будто бы онъ репортеромъ при какой-то секретной газеткѣ состоитъ. Явится, будто бы, въ редакцію раннимъ утромъ, вычиститъ господамъ сапоги, выложитъ дневной запасъ, а тамъ ужъ и начнутъ „публицисты" сыскивать. Сколько разъ мы убѣждали Положилова разсчитать Филиппа, но всегда встрѣчали какое-то необъяснимое упорство.

— Прогонишь этого — другого репортера наймешь! — отвѣчалъ онъ: — а этотъ по крайней мѣрѣ сапоги ловко снимаетъ.

И при этомъ, въ видахъ самоободренія, прибавлялъ:

— Впрочемъ съ меня, братъ, взятки гладки! Хоть до завтрева слушай — не боюсь.

Такимъ образомъ и остается Филиппъ властителемъ нашихъ думъ и регуляторомъ нашей благонамѣренности въ глазахъ „Красы Демидрона". И я даже подозрѣваю, что Поликсена Ивановна отчасти довольна этимъ: все-таки есть въ домѣ узда, которая сдерживаетъ этихъ сорванцовъ-подоплечниковъ.

Между тѣмъ изъ столовой мы перешли въ гостиную, и покуда Фи-

липпъ убиралъ чай, разумѣется, молчали. Но когда стукъ стакановъ и ложекъ наконецъ утихъ, то „каверза“ снова возъимѣла дѣйствіе.

— Вотъ вы, голубушка, сейчасъ сказали, — обратился Глумовъ къ Поликсенѣ Ивановнѣ:—что и въ нынѣшнее время прожить очень прекрасно можно, а я, невѣжа, въ ту пору даже и не выслушалъ васъ. Такъ ужъ простите вы мое невѣжество, научите, какъ это, по вашему мнѣнію, „прекрасно прожить можно“?

— Очень просто: разсчитать себя нужно.

— То-есть, какъ это... разсчитать?

— Да примѣняясь къ обстоятельствамъ. О большихъ размѣрахъ позабыть, лишнія претензіи тоже въ сторону отложить, да вотъ въ эдакомъ родѣ и подыскать себѣ дѣло.

— Или, какъ вотъ онъ выражается — Глумовъ указалъ на меня — на маленькомъ мѣстѣ небольшую пользу приносить?

— Такъ чтожъ... ахъ, господа! Сами же вы говорите, что ныньче всего больше нужно одно: позабыть! А какъ же вы „забудете“, ежели у васъ не будетъ дѣла, которое васъ отъ думы отведетъ? Вѣдь безъ дѣла-то вы только больше да больше будете себя бередить!

— Гм... такъ по вашему, значитъ, дѣло... и при семъ небольшое... Ежели, напримѣръ, моціономъ заняться... одобрите?

Сказавъ это, Глумовъ чуть-было опять не махнулъ рукой, но воздержался, и въ заключеніе воскликнулъ:

— Голубушка вы наша!

Однакожъ Поликсена Ивановна, по неизреченному своему милосердію, на этотъ разъ не обидѣлась.

— Ну, какъ хотите! — сказала она:—можетъ быть, я и пустое предлагаю, но, по моему, вѣдь и въ томъ, какъ вы проводите время, ничего особенно выспренняго нѣтъ.

— А какъ мы проводимъ время?

— Да соберетесь, хмуритесь, никакого разговора послѣдовательно до конца не можете довести. Посмотришь на васъ—точно вы и нивѣсть какіе преступники!

— Боимся, значитъ?

— А чтожъ... полагаю, что не безъ того...

— Поликсена Ивановна! да не вы ли сами панику на всѣхъ наводите? Не вы ли въ сосѣднюю комнату ежеминутно заглядываете? Не вы ли мужа на французскомъ діалектѣ предостерегаете: „Pavel Ermolaïtch... Philippe ici!“

— Чтожъ я! Я, какъ говоритъ Павелъ Ермолаичъ, дама... А вѣдь съ дамы и спросить много нельзя.

Увы! несмотря на Глумовскія оговорки, я долженъ сознаться, что Поликсена Ивановна ежели и не прямо вложила персты въ язвы, то во всякомъ случаѣ довольно близко нащупала больное мѣсто. Мнѣ и самому неоднократно приходило въ голову: боимся мы, или не боимся? — и всякій разъ я не то чтобы уклонялся отъ отвѣта, но, по совѣсти, не могъ отвѣчать ни въ положительномъ, ни въ отрицательномъ смыслѣ. Очевидно, что въ душевномъ недомогательствѣ, которое угнетало насъ, сама по себѣ заключалась значитель-

ная доля неясности, мѣшавшей назвать его по имени. Прямой, острой боязни не было, но было безпокойство, была тупая боль. Одна изъ тѣхъ болей, при которыхъ, какъ говорится, не знаешь, гдѣ мѣста найти, которыя зудятъ и сверлятъ весь организмъ, не давая свободной минуты, чтобъ оглядѣться и обдумать выходъ. Непріятнѣе этой боли представить себѣ ничего нельзя, тѣмъ больше, что подобное тупое недомогательство, однажды овладѣвъ человѣкомъ, дѣлается какъ бы нормальнымъ удѣломъ его на все время, пока существуютъ причины, обусловившія его.

Во всякомъ случаѣ мнѣ очень интересно было узнать, что̀ отвѣтитъ Глумовъ на замѣчаніе Поликсены Ивановны.

— Такъ, значитъ, боимся?—повторилъ онъ свой прежній вопросъ.

Поликсена Ивановна молчала.

Тогда Глумовъ принялся объяснять. Но, къ сожалѣнію, объясненія эти были столь же сбивчивы и уклончивы, какъ и тѣ, которыя я уже давалъ себѣ и о которыхъ только-что упомянулъ выше. И тутъ оказывалось, что боязни собственно нѣтъ, а есть будто бы лишь горькое сознаніе безсилія, которое на все существованіе, на всю дѣятельность кладетъ унылый, почти постыдный отпечатокъ. Глумовъ съ особенною настойчивостью налегалъ на этомъ различіи, и для того, чтобы установить его въ умѣ слушателей, на одно объясненіе нагромождалъ другое, третье и т. д., и вслѣдствіе этого впадалъ въ многословіе, въ перифразу. Но разница была повидимому настолько деликатнаго свойства, что, несмотря на всѣ усилія, различительные признаки вырисовывались слабо, и со стороны очень нетрудно было ихъ проглядѣть. Вообще выходило, что дѣло идетъ только о словахъ и что Глумову хотѣлось собственно одного: во что бы ни стало устранить поскудное слово: „боязнь“, которое Поликсена Ивановна, пользуясь своею женскою безотвѣтственностью, такъ простодушно пустила въ обращеніе. Такъ что когда Тебеньковъ, въ шутливомъ русскомъ тонѣ, желая поддразнить Глумова, взялъ его подъ мышки и сказалъ:—Ну, что̀ ужъ! признавайся! Ну, стыдишься... унываешь — все это такъ! но вѣдь мало-мало есть и тово... Побаиваешься-таки! Ну, грѣхъ пополамъ!—то сдѣлалось какъ-то тяжело и непріятно, а Глумовъ, не возражая, досадливо отвелъ отъ себя шутника рукой и проворчалъ:

— Оставь!

Затѣмъ всѣ смолкли и, разумѣется, черезъ минуту, по установившемуся обычаю, возопили:

— Господи! да неужтожъ это не кошмаръ!

. . . .

— А впрочемъ, господа,—первый прервалъ молчаніе Положиловъ:—я и съ своей стороны не раздѣляю щепетильности Глумова. Вѣдь рѣчь идетъ совсѣмъ не о герояхъ, а о массѣ ординарныхъ, но добропорядочныхъ и мягкосердечныхъ людей, которые любятъ добро, но не чувствуютъ призванія „класть свои головы“. И вотъ относительно ихъ-то я и не вижу, почему бы для нихъ представилось обиднымъ или предосудительнымъ сознаться въ гнетущемъ ихъ безпокойствѣ. По моему мнѣнію, боязнь играетъ настолько рѣшительную роль въ существованіи современнаго человѣка, что самое уныніе

едва-ли могло бы такъ прочно внѣдриться въ обществѣ, еслибъ его постоянно не питало ожиданіе чего-то непредвидѣннаго. А коль скоро страхъ существуетъ, то отрицаться отъ него—значитъ только добровольно обрекать себя на сугубое малодушіе, значитъ отнимать у себя возможность, при помощи анализа этого явленія, примириться съ своею совѣстью. Вѣдь ежели даже этой возможности не будетъ, то какъ же существовать? Поэтому-то я совершенно искренно думаю, что ежели у человѣка — повторяю, не у героя, а у ординарнаго, но добропорядочнаго человѣка — есть безспорныя и осязательныя причины ощущать страхъ, то онъ имѣетъ полное право безъ околичностей сказать: да, я боюсь. И совѣсть самая щепетильная не найдетъ основательнаго повода укорить его за это. Не такъ ли, господа?

— „Право"!... отлично! превосходно! „Право"! — проворчалъ Глумовъ.

— А по моему, право, какъ право, не хуже и не лучше прочихъ таковыхъ же. Скажу даже больше: по нынѣшнему времени, и этимъ правомъ въ полномъ его объемѣ едва-ли всякому удастся воспользоваться. „Правомъ бояться"... да! Бояться—вѣдь это значитъ „кукситься", а кукситься—значитъ показывать кукишъ въ карманѣ. Все это виды и формы темнаго русскаго фрондерства; а что гласятъ объ этомъ въ „Вѣстникѣ Общественныхъ Язвъ"? Да-съ, современный общественный камертонъ совсѣмъ не къ фрондерству наклоненъ. Камертонъ этотъ гласитъ такъ: всякій да взираетъ бодро. Вотъ это право (право взирать весело)—безспорное, и всякій можетъ пользоваться имъ на всей волѣ. И что всего несомнѣннѣе—этимъ правомъ наградила насъ не въ такой мѣрѣ жизнь, какъ литература.

Произнося послѣднее слово, Положиловъ на минуту остановился, какъ бы выжидая, какой эффектъ оно произведетъ на слушателей. Но никакого эффекта не было; скорѣе, напротивъ того, можно было предположить, что давно ужъ это слово у всѣхъ на языкѣ, и, рано или поздно, неминуемо придется его произнести.

— Если до извѣстной степени можно согласиться съ Глумовымъ,—продолжалъ Положиловъ:—что съ общей точки зрѣнія страхъ есть чувство некрасивое и что сознаваться въ немъ не особенно лестно, то до современной русской литературы это ужъ ни въ какомъ случаѣ относиться не можетъ. Ея нельзя не бояться; ее должно бояться. Возьмите однѣ фирмы: „Бодрствующая Учредительница", „Неусыпающій Шалыганъ", „Изъяснитель Язвъ"... развѣ не страшно? Разумѣется, прежде всѣхъ должны бояться своя же братія, неостервенившіеся литераторы. Имъ, должно быть, особенно трудно: ибо въ литературѣ обойтись безъ человѣческихъ чувствъ, безъ человѣческихъ мыслей, безъ обобщеній, безъ идеаловъ, съ одною канцелярскою насущностью... чтожъ это за литература будетъ! Но не освобождаются отъ обязанности трепетать и всѣ вообще партикулярные люди, которые почему-либо не съумѣли уподобить себя звѣрямъ. Къ числу послѣднихъ я причисляю и себя. И хотя, говоря вообще, я *не вполнѣ* боюсь, но признаюсь, когда утромъ начинаю, по привычкѣ, прочитывать печатныя строки, то ощущаю невольную дрожь. Помилуйте! каждый день кого-нибудь предаютъ суду! Ни талантъ, ни извѣст-

ность, ни годы тщательнѣйшаго самонаблюденія, ничто не ограждаетъ отъ внушеній самаго ехиднаго свойства! И отъ кого исходятъ эти внушенія?!

— И отъ кого исходятъ эти внушенія?! — словно эхо повторили мы всѣ.

Но тутъ со мною случилось что-то загадочное. Несмотря на торжественность минуты, въ ушахъ моихъ вдругъ какъ-то совершенно явственно прозвучало:

Люди добрые, внемлите
Страданью сердца моего...

Разумѣется, я ни съ кѣмъ не подѣлился этой пилюлей; однакожъ Положиловъ повидимому угадалъ, что во мнѣ происходитъ нѣчто неладное.

— Нѣтъ, ты не шути!—обратился онъ ко мнѣ: — а обрати вниманіе! Столько нынче гаду въ вашу литературу наползло, столько наползло, что даже вчужѣ страшно становится! Кружатся, хохочутъ, ликуютъ, брызжутъ слюнями... Иной всю жизнь въ ретирадѣ сидѣлъ, заплесневѣлъ, отсырѣлъ; думалъ: до гробовой доски мнѣ въ семъ мѣстѣ на стѣнахъ писать суждено — и вдругъ почувствовалъ, что моментъ его наступилъ! Вы представьте себѣ эту картину! Выходитъ оттуда, весь пахучій, и голосомъ, напоминающимъ мѣстное урчаніе, вопіетъ: „а позвольте васъ, милостивые государи, допросить, по какому случаю вы унывать изволите?“... Каково вопросы-то эти слушать?

— А развѣ нельзя ему отвѣтить: „угадай!“ какъ-то неожиданно сорвалось съ языка у Поликсены Ивановны.

Совѣтъ этотъ былъ ужасно простъ, до того простъ, что Положиловъ на нѣкоторое время даже какъ бы оторопѣлъ.

— Ты, Поликсенчикъ, всегда...—сказалъ онъ съ оттѣнкомъ нетерпѣнія, но вслѣдъ затѣмъ спохватился и присовокупилъ: — а что ежели и въ самомъ дѣлѣ... Онъ — съ допросцемъ, а ему въ отвѣтъ... угадай?! Вѣдь это въ своемъ родѣ...

— Нельзя!—рѣзко прервалъ Глумовъ, который повидимому успѣлъ уже убѣдиться (а кто же знаетъ—можетъ быть, и прежде онъ только упражненія ради противное утверждалъ), что „бояться“ не стыдно.

— Почему?

— Чудакъ! самъ же сейчасъ говорилъ, что засиліе гадъ взялъ — и спрашиваешь! Надо еще удивляться, что хоть по существеннымъ-то пунктамъ гады рѣшительныхъ побѣдъ не одерживаютъ. Вѣдь ежели ихъ послушать, то все, что въ теченіе послѣднихъ лѣтъ пріобрѣтено, все это нужно нарушить и упразднить: земство отмѣнить, судъ присяжныхъ уничтожить, цензуру возстановить, крѣпостное право возродить!.. Ну, этого однакожъ имъ не дождаться!

— Вотъ видишь! стало быть, есть же и противовѣсъ!

— По такимъ-то пунктамъ... еще бы! Ну, а подробности тамъ разныя, напримѣръ: ты, я, мы, вы, они—это ужъ въ счетъ нейдетъ! этого нельзя и не уступить. Нельзя-съ. Потому засиліе гады взяли! подоплёку угадали! Ахъ, много еще кровожадности въ этой подоплёкѣ таится, куда какъ много! Вотъ они ее и эксплуатируютъ.

— А я такъ думаю, — возразилъ я: — что не столько кровожадность играетъ тутъ роль, сколько жалкая и скудоумная страсть къ начертыванію поскудныхъ словесъ на стѣнахъ нежилыхъ строеній, на заборахъ, скамьяхъ и т. д. Вотъ она, настоящая-то подоплёка, на чемъ стоитъ.

— Есть и это. Но во всякомъ случаѣ гадъ знаетъ, что ему нынче масляница. Попробуй-ка ему сказать: „угадай!“ — онъ огорчится и сейчасъ тебѣ въ отвѣтъ: „измѣна!“ А вслѣдъ за нимъ и подоплёка завопитъ: „ха, ха, измѣна!“

— Ахъ, мерзость какая!

— И вѣдь самъ, шельмецъ, знаетъ, что лжетъ! знаетъ, что лжетъ, и все-таки лжетъ!

Говоря это, Глумовъ простиралъ руки и сверкалъ глазами. Въ первый разъ я въ немъ эту восторженность видѣлъ. Обыкновенно онъ относился ко всѣмъ этимъ „измѣнамъ“ скорѣе иронически, и вотъ теперь... Это было такъ странно, что на этотъ разъ я уже не выдержалъ и явно запѣлъ:

Люди добрые, внемлите
Страданью сердца моего...

И всѣ хоромъ подхватили:

Онъ меня разлюбилъ!
Онъ ее полюбилъ!

— „Ее“, т.-е. розничную продажу, во имя которой всѣ современныя литературныя злодѣянія совершаются! — пошутилъ Тебеньковъ.

А Поликсена Ивановна, совершенно успокоившаяся, съ любовью оглянула насъ и, вздохнувъ, присовокупила:

– Ахъ, бѣдненькіе вы мои! беззащитненькіе!

Однимъ словомъ, благодаря моей диверсіи, чуть-чуть не водворилось въ нашемъ кружкѣ общее благодушіе, какъ вдругъ нелёгкая дернула Плѣшивцева сказать:

— Ну, вотъ, теперь все отлично. А то я слушалъ-слушалъ, и, признаться, все-то мнѣ думалось: а вѣдь это они передъ Филиппомъ хотятъ себя съ хорошей стороны зарекомендовать!

Это напомнило о Филиппѣ и разомъ всѣхъ расхолодило. Къ тому же въ эту самую минуту въ столовой упалъ со стола стаканъ и съ шумомъ разбился. Подъ вліяніемъ совпаденія этихъ нечаянностей, и Положиловъ, и Поликсена Ивановна, оба единовременно на цыпочкахъ устремились къ двери, и хотя оказалось, что виновникомъ кутерьмы былъ котъ Васька, но благодушіе къ намъ уже не возвратилось.

— Прежде насчетъ гаду было лучше! — возобновилъ разговоръ Тебеньковъ.

— Вотъ какъ! — удивился Плѣшивцевъ.

— Да такъ. И прежде гадъ допускался, но строже его держали. Жить — живи, но изъ указанныхъ природой помѣщеній не выходи.

— Пожалуй, что это и такъ, — согласился Положиловъ. — А главное что̀ было дорого: поученій дѣлать не моги́! Никто не моги́ дѣлать поученія, а въ томъ числѣ не моги́ и гадъ!

— А нынче гады подоплёку собой изображать претендуютъ — оттого и не сладишь съ ними! — присовокупилъ Глумовъ: — выйдетъ онъ изъ своего мѣста и начнетъ тебя обыскивать. Тамъ рванетъ, въ другомъ мѣстѣ куснетъ... ахъ! Волкъ — тотъ прямо за горло рѣжетъ, а гадъ — во всѣ мѣста расползется... Можете вообразить себѣ чувство человѣка, который, по обстоятельствамъ, вынужденъ вступать съ нимъ въ разговоръ!

— Господи! да неужтожъ это не кошмаръ!

. . . .

Однакожъ оказалось, что это не кошмаръ. Тебеньковъ сообщилъ:

— Былъ я давеча у одного товарища по школѣ: сидитъ и всѣмъ естествомъ радуется. „Слава Богу, говоритъ, и у насъ публицистъ нашелся!“ — Хорошъ? спрашиваю. „Да такой, говоритъ, что ежели ему узы разрѣшить, такъ онъ всю вашу либеральную суматоху на бобахъ разведетъ!“ И представь себѣ, гдѣ нашли — въ уединенномъ мѣстѣ! Сидитъ, улыбается и на стѣнахъ пишетъ!

— Любопытно, какіе онъ, этотъ новоявленный публицистъ, вопросы разрѣшать будетъ?

— Помилуй! Вопросъ первый: дозволительно ли мыслить? Отвѣтъ: нѣтъ, не дозволительно. Вопросъ второй: предосудительно ли человѣческія чувства выражать? Отвѣтъ: да, предосудительно. Этими двумя вопросами вся современная суть исчерпывается.

— Да вѣдь надо же будетъ и дальше говорить!

— А дальше онъ будетъ распивочнымъ слогомъ разсказывать анекдоты о стриженыхъ дѣвкахъ, будетъ на стѣнахъ излюбленныя словеса писать, акростихи добраго помѣщичьяго времени, въ родѣ „хвалы достойныя дѣвицы“, вспомнитъ... Да и мало-ли подходящаго матеріала найдется!

— Знаешь ли что̀, — предложилъ мнѣ Тебеньковъ: — я бы совѣтовалъ тебѣ въ отдѣлѣ беллетристики всѣ водевили Каратыгина постепенно перепечатать, этакъ въ мѣсяцъ по одному. Это помогло бы тебѣ время провести, а читателя-то ка̀къ освѣжило бы!

— А вѣдь это на дѣло похоже! — поддержалъ Положиловъ: — что̀ вы тамъ „сквозь невидимыя міру слезы“ ехидничаете! гряньте-ка прямо, на чистоту... Господа! кто изъ васъ помнитъ: *Задѣть мою амбицію*... за мной!

И всѣ мы хоромъ подхватили:

Задѣть мою амбицію
Я не позволю вамъ!
Я жалобу въ полицію
На васъ, сударь, подамъ!

— Господи! да неужтожъ это не кошмаръ!

Наступилъ довольно длинный періодъ молчанія. Въ столовую съ шумомъ ворвался Филиппъ и началъ накрывать ужинъ; изъ кухни доносился острый запахъ солонины и пріятно щекоталъ обоняніе. Это значительно всѣхъ приободрило.

— А мнѣ что̀ пришло на мысль, господа! — предложилъ Положиловъ: — давно мы не пѣвали „Gaudeamus“. Возьмемтесь-ка дружно за руки и помянемъ нашу молодость!

Взялись за руки и съ увлеченіемъ грянули первую строфу всѣмъ дорогого канта. Но когда дошла очередь до „Vivat academia“, то усомнились. Какая академія? Чтó сіе означаетъ? въ какомъ смыслѣ „онное“ понимать надлежитъ? и чтó симъ достигается?

— Не забудьте, господа, что Филиппъ по-латыни не знаетъ,—напомнилъ Положиловъ: — и слѣдовательно можетъ истолковать нашу пѣсню въ самомъ превратномъ смыслѣ. Кто, напримѣръ, поручится, что онъ не скажетъ себѣ: а! понимаю! медико-хирургическая... превосходно!

Словомъ сказать, пришлось бросить. Къ счастію, скоро доложили, что подано ужинать. Это опять всѣхъ ободрило. Но и тутъ Положиловъ отчасти отравилъ общее удовольствіе, предупредивъ насъ шепоткóмъ:

— Господа! за ужиномъ чтобы никакихъ этихъ экскурсій въ области вымысловъ... ни-ни! Принимая пищу, мудрый о пищѣ же и бесѣдуетъ—такъ-то!

На чтó мы, разумѣется, отвѣтили:

— Конечно! конечно! неужтожъ мы этого-то не знаемъ!

За ужиномъ все обошлось благополучно. Хвалили солонину, а въ особенности не находили словъ для выраженія восторговъ по поводу громаднаго индюка, присланнаго Положиловымъ изъ деревни.

— Индюка совсѣмъ не такъ легко довести до такой степени манности, нѣжности и благонадежности, какъ это кажется съ перваго взгляда,—объяснялъ при этомъ Павелъ Ермолаичъ:—нѣтъ, тутъ не мало-таки труда нужно положить! Не въ томъ штука, чтобы до отвалу накормить голодную птицу, а въ томъ, чтобы существо, уже до отвращенія пресыщенное, цѣлесообразными мѣрами побудить сугубо себя утучнить, ad majorem hominis gloriam! Это цѣлая система, которую впрочемъ я не буду здѣсь излагать, дабы Поликсена Ивановна не вывела изъ моего изложенія какихъ-либо неблагопріятныхъ намековъ и примѣненій. Но скажу одно: индюкъ, воспитанный на точномъ основаніи изданныхъ на сей предметъ руководствъ, дѣлается ни къ чему иному негоднымъ, кромѣ какъ къ подачѣ на столъ въ видѣ жаркого.

Поликсена Ивановна слушала эти объясненія и потихоньку радовалась. Мы тоже не безъ пользы внимали Положилову, потому что объясненія его, такъ сказать, осмысливали удовольствіе, доставляемое намъ индюкомъ. Что касается до Филиппа, то онъ не безъ лукавства улыбался, какъ бы говоря: а вѣдь это они передо мной себя зарекомендовываютъ!

Повторяю: все произошло отлично, такъ что Поликсена Ивановна не выдержала и, обращаясь къ Глумову, сказала:

— Вотъ вы давеча не повѣрили, когда я говорила, что и по настоящему времени прожить прекрасно можно — анъ вотъ вамъ и доказательство на-лицо!

Она обвела всѣхъ насъ счастливымъ взоромъ и проговорила:

— Прекрасно, тихо, благородно!

Это было такъ мило сказано и притомъ съ такимъ теплымъ участіемъ къ намъ, измученнымъ невозможностью довести какой-либо разговоръ до конца, что Глумовъ пожалъ крѣпко ея руку и сказалъ:

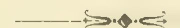
— Правда ваша, голубушка! Именно: прекрасно, тихо, благородно! Лучше нельзя опредѣлить.

— И повѣрьте мнѣ,—продолжала Поликсена Ивановна:—что вся эта суматоха, которая такъ мучительно на васъ дѣйствуетъ, чувствуется только въ тѣхъ сферахъ, которыя черезчуръ ужъ близко къ ней стоятъ. А тамъ, въ глубинахъ, даже и не подозрѣваютъ объ ея существованіи. Павелъ Ермолаичъ не дальше какъ вчера получилъ изъ деревни письмо...

— Да, есть изъ деревни письмо, есть!—отозвался Положиловъ:—и ежели угодно, то я могу его прочитать.

И, не дожидаясь согласія нашего, онъ прочиталъ:

„А у насъ, слава Богу, благополучно. Только по случаю лютыхъ онныхъ морозовъ и безснѣжія опасаемся, какъ бы озимый хлѣбъ въ поляхъ не вымерзъ, да травы на низкихъ мѣстахъ весной не вымокли, да древа и кусты въ садахъ не погибли. При чемъ однакожъ остаемся не безъ упованія, что ежели весна будетъ дружная и Богъ пошлетъ дождичковъ“...



ПОШЕХОНСКІЕ РАЗСКАЗЫ

Вечеръ первый.

По Сенькѣ и шапка.
(*Пословица.*)

Андроны ѣдутъ...
(*Изреченіе.*)

Никогда не жилось мнѣ такъ весело, какъ въ то время, когда я служилъ въ Можайскомъ гусарскомъ полку. Удивительная тогда во всемъ простота царствовала. Нынче молодому человѣку и пожить-то въ свое удовольствіе нельзя, ежели, по крайности, хоть до тройного правила ариѳметику не прошелъ. Говорятъ тебѣ: какія ты можешь, скотина, удовольствія или огорченья испытывать, коль скоро ты даже именованныхъ чиселъ не знаешь! А прежде съ корнета ничего такого не спрашивали. Былъ бы вѣрный слуга отечеству, да по части женскаго пола чтобы все въ исправности состояло — вотъ и только. Передъ тѣмъ, кто этими качествами обладалъ, всѣ двери были настежъ. Молодого человѣка ласкали, баловали, а частенько гдѣ-нибудь въ укромномъ уголку не обходилось и безъ посредничества плутишки амура, въ качествѣ третейскаго судьи. Ибо кому же изъ юныхъ воиновъ удовольствіе сіе не представлялось привлекательнымъ и полезнымъ?

Я только что былъ произведенъ въ корнеты. Тѣлосложенія я былъ столь состоятельнаго, что могу сказать смѣло: всѣ дѣвицы смотрѣли на меня съ удовольствіемъ. Но такъ какъ маменька не позволяла мнѣ жениться, то я больше льнулъ къ дамамъ, между коими были преаппетитныя, особливо одна черненькая. Но и за всѣмъ тѣмъ, перебирая на склонѣ дней мои воспоминанія по сему предмету, я со вздохомъ восклицаю: сколь многаго я не выполнилъ, а иное и совсѣмъ изъ виду упустилъ! Но теперь уже не воротишь.

Полкъ нашъ частенько-таки перекочевывалъ изъ губерніи въ губернію, но нигдѣ по части женскаго продовольствія недостатка не ощущалось. Наконецъ, однакожъ на довольно продолжительное время расквартировали насъ въ К—омъ уѣздѣ Т—ской губерніи—тутъ ужъ не только мы, офицеры, но и солдатики вплотную пожуировали. Впослѣдствіи, когда нашъ эскадронъ выступилъ въ походъ противъ турокъ, то бабы со всего села верстъ шестьдесятъ, подъ предлогомъ музыки, за нами шли и выли... Вотъ какъ выразительно говоритъ иногда языкъ природы!

Это была самая веселая стоянка. Помѣщиковъ множество, и всѣ прегостепріимные. У всякаго или жена, или дочери, или свояченицы, а иногда и то, и другое, и третье вмѣстѣ. У нѣкоторыхъ, сверхъ того, дульцинеи. Послѣднія хоть и безъ кринолиновъ, но у иной и принцессы природные дары не въ такой исправности. Юные воины переѣзжали изъ усадьбы въ усадьбу и катались какъ сыръ въ маслѣ. Закуски и лакомства цѣлый день не сходили со стола, а кромѣ того: псовая охота, ѣзда съ барышнями на тройкахъ, рыбная ловля, прогулки въ лѣсу... А вечеромъ — танцы. Далеко за полночь, послѣ обильнаго ужина, въ залѣ постилались на полу перины, и всѣ спали въ-повалку. Случалось тутъ кое-что и неладное, ну, да въ корнетскомъ чинѣ и осудить за сіе строго нельзя.

Вскорѣ однакожъ наступила отмѣна крѣпостного права — и куда всѣ эти перины и дульцинеи дѣвались!

Юные нынѣшніе корнеты! по совѣсти васъ спрошу: не лучше ли симъ естественнымъ способомъ время проводить, нежели о сухихъ туманахъ спорить, отъ каковыхъ споровъ и до превратныхъ толкованій, пожалуй, недалеко.

Но въ глубокую осень и въ весеннюю ростопель случались дни, когда поневолѣ приходилось коротать время въ своемъ кружкѣ, на глазахъ старшихъ. О старшихъ вообще должно сказать, что они ѣздили къ сосѣднимъ помѣщикамъ только въ дни семейныхъ торжествъ, а прочее время собирались между собой, рѣзались въ штосъ и пили пуншъ. Но были и такіе, которые въ карты не играли, а только пуншъ пили. Въ числѣ послѣднихъ былъ и незабвенный маіоръ Горбылёвъ. Пилъ онъ пуншъ безъ счета и надежды на опьянѣніе, и во время питья любилъ поразсказать разную бывальщину. Маіоромъ онъ служилъ съ испоконъ вѣку, изъѣздилъ на вѣрномъ конѣ всю Россію, многое видѣлъ, но еще больше того не видалъ. Но главный интересъ его разсказовъ заключается въ томъ, что во всѣхъ обстоятельствахъ его жизни прямо или косвенно принимала участіе нечистая сила. То въ видѣ домового, то въ видѣ лѣшаго, то прямо въ видѣ чорта. А вѣдьмъ, русалокъ и лѣшачихъ передавилъ онъ безъ числа. И отъ всей этой нечисти, благодареніе Богу, благополучно избавился, кромѣ впрочемъ домового, который до самой смерти, послѣ пунша, его по ночамъ душилъ.

Мы, молодежь, съ увлеченіемъ внимали его безконечнымъ разсказамъ, почерпая въ нихъ полезныя для себя указанія на случай встрѣчи съ лѣшимъ или съ лѣшачихой. Вотъ, бывало, на дворѣ дождь, по дорогамъ невылазная грязь стоитъ, а мы заберемся къ доброму старому маіору, обсядемъ кругомъ и слушаемъ.

Нѣкоторые изъ его разсказовъ я счелъ своевременнымъ публиковать. Давно бы мнѣ пора на сію стезю вступить, да все думалось: авось Богъ помилуетъ! Даже и теперь, когда сдѣлалось яснымъ, что по грѣхамъ моимъ надежды на помилованіе нѣтъ — даже и теперь до послѣдней минуты колебался, что̀ лучше публиковать: разсказы маіора Горбылёва или „Поваренную книгу“?

Однакожъ не рѣшился на послѣднее, потому что поваръ я уже совсѣмъ плохой. А послѣ разсказовъ Горбылёва, быть можетъ, опубликую разсказы

ротмистра Возницына, а потомъ и прочихъ господъ офицеровъ. Смотришь, время-то и пройдетъ *).

- -

Разсказы маіора Горбылева.

„Разскажу вамъ, господа, какъ я однажды съ чортомъ въ карты игралъ.

„Было время, когда я страстно карты любилъ. Съ утра до вечера штосы срѣзывалъ или банкъ металъ, и, признаюсь, довольно-таки удачно. И такъ къ этой операціи привыкъ, что даже походомъ идучи не разъ на сѣдлѣ банкъ металъ.

„Вотъ только стояли мы въ Могилевской губерніи, въ мѣстечкѣ одномъ, и говоритъ мнѣ жидòкъ: сегодня вечеромъ въ клубѣ польскій графъ будетъ. Прекрасно. Прихожу, вижу: дѣйствительно, новое лицо въ клубѣ появилось, а около него наша молодежь такъ и вьется. Одѣтъ франтомъ: на рубашкѣ брильянтовыя запонки чуть не съ лѣсной орѣхъ; изъ себя — молодецъ. — Угодно? говоритъ. — Съ удовольствіемъ.

„И началъ онъ меня жарить. И самъ банкъ заложитъ, и мнѣ заложить предложитъ — бьетъ одну карту за другой да и шабашъ. А я, по несчастію, въ то время полковымъ казначеемъ былъ. Все, что принесъ съ собой, въ полчаса спустилъ, домой за подкрѣпленіемъ сходилъ — и опять только на полчаса хватило. Словомъ сказать, въ такой азартъ вошелъ, что и за казенный ящикъ принялся. А онъ сидитъ, только карты вскидываетъ да улыбается...

„Думалъ я сначала, не на шулера ли напалъ, однако сколько ни слѣдилъ — чисто мечетъ! Аккуратно, не спѣша, карта за картой, точно говоритъ: глядите! Одно только подозрительно: перчатокъ съ рукъ не снимаетъ, такъ въ нихъ и мечетъ. А я между тѣмъ ужъ двадцать тысячъ проигралъ — не минучее дѣло, подъ судъ идти. Съ досады сталъ придираться. — Извольте, говорю, перчатки снять! — „Это почему?" — „Да такъ, говорю, безъ перчатокъ вамъ ловчѣе будетъ! — Слово за слово, онъ меня, я — его... Схватилъ, знаете, во время перепалки, я его за руку, а у него вмѣсто руки-то — лапа гусиная! Я такъ и обомлѣлъ, а онъ какъ загогочетъ! Да такъ это тоскливо да тяжко, что сколько тутъ ни было народу — всѣ разомъ вонъ изъ клуба такъ и прыснули!

„А я, какъ вцѣпился обѣими руками въ лапу его, такъ и застылъ. И вижу, что у него и изо рта, и изъ носу, и изъ ушей — змѣи поползли. А сзади — рылà мохнатыя. Хочу крикнуть — языкъ не поворачивается; хочу крестное знаменіе сотворить — рукъ отцѣпить отъ него не могу. Наконецъ чувствую, что онъ меня самого за собой куда-то тащитъ...

„И представьте себѣ, въ эту самую минуту, какъ мнѣ ужъ пропасть приходилось, вдругъ, на мое счастіе, въ кухню пѣтуха принесли! Его на котлеты рѣзать хотѣли, а онъ возьми да и запой! Вижу: поблѣднѣлъ мой графъ, какъ мертвецъ, и зашатался. Шатался-шатался, и въ одну секунду, въ моихъ

---

*) Къ сожалѣнію, я не выполнилъ этого намѣренія и увлекся въ другую сторону. За то послѣдствія этого увлеченія были весьма для меня непріятныя.

глазахъ, словно въ воздухѣ растаялъ... Тутъ только я понялъ, съ какимъ „графомъ“ я въ карты игралъ.

„А денежки мои между тѣмъ на столѣ остались. Разумѣется, я сейчасъ же ихъ обобралъ и казенный ящикъ пополнилъ. А на другой день, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ металъ банкъ, подковку серебряную двухъ-копытную нашли. Это, значитъ, „онъ“, впопыхахъ, съ ноги потерялъ.

„Подковка эта и теперь у меня хранится, но съ тѣхъ поръ я только пуншъ пью, а картъ въ руки не беру“.

„А вскорѣ послѣ того и еще происшествіе со мной было. Стоялъ я въ это время ужъ въ Кіевской губерніи, подъ Чернобыломъ.

„Ну, сами молоды, знаете, каково барану безъ ярочки жить. А Хиври, да Гапки, да Окси та̀къ мимо и шмыгаютъ, и все чернобровыя. Я въ то время пѣсню зналъ: „и шумѐ, и гудѐ, дрѝбенъ дождикъ идѐ“ — сидишь, бывало, на крылечкѣ у хаты и поешь, а онѣ, шельмы, зубы скалятъ. Одну ущипнешь, другую... Вечеромъ ляжешь спать — смерть! Вотъ я одну и намѣтилъ.

„— Какъ тебя зовутъ?

„— Наталка.

„— Знаю. Наталка-Полтавка... у Нижнемъ на ярмарци видавъ... Ну, такъ какъ же, Наталочка, будешь что-ли со мной по-малороссійски разговаривать?

„— Не знаю, говоритъ, чи буду, чи нѣтъ. Вамъ, пане, може паненочку треба?

„— Ну ихъ! говорю. Щò треба, щò не треба... у всѣхъ у васъ секретъ-то одинъ' А ты ужò приходи, такъ я тебѣ гривенничекъ пожертвую.

„Дѣйствительно, какъ только смерклось — пришла. Разумѣется, кровь во мнѣ такъ и кипитъ. Запаска—къ чорту, плахта — къ дьяволу... и-ахъ, го-о-лубушка ты моя! И вдругъ... чувствую, что сзади у нея что-то шевелится...

„— Щò се такѐ?

„— А это, говоритъ, фистъ.

„— Ка̀къ фистъ?

„— Вѣдьма же я, милюсенькій, вѣдьма...

„Вотъ такъ праздникъ! Человѣкъ распорядился, совсѣмъ ужъ себя, такъ сказать, предрасположилъ—и вдругъ: вѣдьма, фистъ!..

„Являюсь на другой день къ полковнику. Докладываю. И чтò жъ бы вы думали онъ мнѣ отвѣтилъ?

„— Ахъ, простофиля-корнетъ! не знаетъ, что въ Кіевской губерніи каждой дивчинѣ, въ числѣ прочихъ даровъ природы, присвояется хвостъ! Стыдитесь, сударь!

„Разумѣется, съ тѣхъ поръ я ужъ не стѣснялся. Только, бывало, скажешь: убери, голубушка, фистъ!—и ничего. Все равно что безъ хвоста, что съ хвостомъ.

„Но Наталки я больше не видалъ, а только слышалъ, что она, пришедши отъ меня, цѣлую ночь тосковала, а подъ утро сѣла верхомъ на помело и вылетѣла въ трубу“.

Разсказавши это происшествіе, маіоръ грустно поникъ головой, и нѣкоторое время тихо-тихо напѣвалъ себѣ подъ носъ: „И шуме, и гудѐ"... И вдругъ крупная слеза, какъ тяжелая капля дождя, громко шлепнулась въ его пуншъ.

„— Да,—проговорилъ онъ торжественно-взволнованнымъ голосомъ:— что̀ тамъ ни утверждай философы, а безъ женскаго пола не проживешь. Царь Давидъ на что̀ былъ — и тотъ согрѣшилъ. А царь Соломонъ даже и очень. Впрочемъ вы, молодые люди, лучше другихъ это знаете.

„И не только мы, родъ человѣческій, но даже животныя—и тѣ къ женскому полу непреодолимое стремленіе чувствуютъ.

„Зналъ я одного общественнаго быка, такъ даже словъ не могу подобрать, какой это удивительный быкъ былъ! Точно человѣкъ!

„Надо вамъ сказать, что въ нашихъ деревняхъ быкъ — въ родѣ какъ должность общественная. Староста, сотскій, десятскій и быкъ. Въ иной деревнѣ ни сотскаго, ни десятскаго нѣтъ, а быкъ непремѣнно всегда и вездѣ. И содержится онъ на общественный счетъ, потому что онъ геній-хранитель крестьянскаго стада, онъ—ручательство, что коровій родъ не изгибнетъ во вѣкъ. Ибо что̀ значитъ корова безъ быка?

„Но, подобно людямъ, и быки бываютъ разныхъ достоинствъ. Бываютъ быки небольщіе, но солощіе, и наоборотъ. Быкъ деревни Разуваевой принадлежалъ къ числу первыхъ. Онъ былъ такъ уменъ, что могъ бы получить аттестатъ зрѣлости, еслибы не требовалось древнихъ языковъ. Пять лѣтъ сряду высоко держалъ онъ свое знамя, и не только не думалъ положить оружіе, но даже нимало не отяжелѣлъ. Мужички нарадоваться не могли и жили за нимъ какъ за каменной стѣной. Какъ вдругъ у сосѣдняго помѣщика явилась корова Красавка, которая всѣ мужицкія упованія разсѣяла въ прахъ.

„Разсѣять мужицкія упованія очень легко, господа. Иногда мужичокъ совсѣмъ ужъ подноситъ кусокъ къ губамъ—и вдругъ вмѣсто куска... признательность начальства... Да и признательность-то не ему, а сборщику податей. Или: шли бабы полосу жать. Уповаютъ. И вдругъ, откуда ни возьмись градъ... и опять однимъ упованіемъ въ жизни мужика стало меньше!

„А онъ и впредь уповать продолжаетъ.

„Такъ было и въ этомъ случаѣ. Быкъ увидѣлъ Красавку нечаянно, когда она паслась за оврагомъ на пригоркѣ, слишкомъ за версту отъ того мѣста, гдѣ паслось крестьянское стадо. Въ одно мгновеніе участь его была рѣшена. Задравши хвостъ, уставившись рогами впередъ и взрывая копытами землю, онъ помчался черезъ поля и овраги, и не успѣлъ помѣщичій пастухъ ахнуть, какъ уже въ ввѣренномъ ему стадѣ произошелъ общій переполохъ. Очевидно, что смѣлый поступокъ отважнаго чужанина произвелъ среди помѣщичьихъ коровъ глубокую сенсацію.

„На первый разъ однакожъ дѣло обошлось мирно. Помѣщикъ былъ человѣкъ добродушный, и рыцарскій поступокъ быка даже понравился ему. Но съ этихъ поръ поведеніе быка относительно своихъ довѣрителей совершенно измѣнилось. Напрасно послѣдніе изощрялись гонять мірское стадо какъ

можно дальше отъ помѣщичьяго, напрасно возмущенныя домохозяйки сѣкли быка крапивой, напрасно сами коровы бодали его рогами, — ни одна не добилась отъ него ни малѣйшей ласки. По вечерамъ, когда стадо пригонялось въ деревню, быкъ убѣгалъ. И всегда въ одну сторону: въ помѣщичью усадьбу, гдѣ находилась его возлюбленная. Упрется рогами въ запертыя ворота скотнаго двора, рветъ копытами землю и реветъ! Прибѣгутъ за нимъ крестьяне-довѣрители, начнутъ жарить въ три кнута, а онъ стоитъ и реветъ. И такимъ раздирающимъ голосомъ, что самъ добрый помѣщикъ выбѣжитъ и крикнетъ:—Шибче жарьте! вотъ такъ!

„Наконецъ пришлось убѣдиться, что единственною развязкой въ такомъ дѣлѣ можетъ быть только ножъ...

„И что̀ же потомъ оказалось?—что и солощій крестьянскій быкъ, и корова Красавка—не что̀ иное, какъ оборотни! А именно: поручикъ Потаповъ и жена сосѣдняго помѣщика Красавина. Оба они были давнымъ-давно другъ въ друга влюблены, но, по обстоятельствамъ, соединиться не могли. Вотъ и придумали“...

„Вообще встарину нечистой силы довольно было. Лѣса-то берегли, да и болотъ было множество—такъ вотъ оттуда. И еслибъ не это, то многаго въ жизни совсѣмъ было бы объяснить нельзя.

„Ка̀къ, напримѣръ, объясните вы слѣдующее происшествіе? Ѣду я однажды въ городъ въ тарантасѣ, на почтовыхъ. Разумѣется, съ ямщикомъ калякаю.

„— Хорошо васъ хозяинъ кормитъ?

„— Щи, каша, а по праздникамъ пироги.

„— А съ женой согласно живешь?

„— Мы другъ дружку... вотъ и сейчасъ, пріѣду домой, на печь полѣзу...

„Словомъ сказать, какъ обыкновенно. Знали ямщики мой нравъ, и никогда не жаловались. Только въѣзжаемъ мы, знаете, въ лѣсъ, а я возьми, да и прикурни маленько. И вдругъ чувствую, что мы ни съ мѣста. Открываю глаза—и что̀ же вижу? Ни ямщика, ни лошадей, ни тарантаса — ничего! А я лежу подъ деревомъ на голой землѣ и пла̀чу; да-съ, пла̀чу-съ.

„Натурально, удивился и пошелъ куда глаза глядятъ. Три дня сряду я по этому проклятому лѣсу плуталъ, только брусникой питался. Заснуть—боюсь, присяду отдохнуть на минуту—нетерпѣнье такъ и подымаетъ: иду да иду! Наконецъ отощалъ. Сѣлъ на камень и думаю: — Однакожъ вѣдь я маіоръ!—А тутъ изъ лѣсу кто-то какъ рявкнетъ:—маіоръ! маіоръ! маіоръ!—Къ счастью, я вспомнилъ, что у меня на ремнѣ фляжка съ водкой. Думаю: булькну. Булькнулъ разъ, булькнулъ другой—слышу, и въ лѣсу кто-то булькаетъ. Однако булькалъ да булькалъ, да подъ конецъ и заснулъ. Долго ли, коротко ли я спалъ, только просыпаюсь: преспокойно лежу себѣ до̀ма на походной постели!

„Такъ вотъ какіе перевороты въ самое короткое время случаются. Какимъ образомъ это объяснить?“

— А можетъ быть мало-мало выпито было? — съехидничалъ штабсъ-ротмистръ Возницынъ, который внутренно хотя и вѣрилъ въ чертей, но по временамъ любилъ хвастнуть скептицизмомъ.

— Выпито—это само по себѣ. Было выпито — это вѣрно. Но какимъ же образомъ объяснить, что я и въ тарантасѣ ѣхалъ, и съ ямщикомъ говорилъ?.. Вѣдь это все... было? И вдругъ... лежу на землѣ?!

— Да вотъ именно въ подпитіи. Ни въ тарантасѣ вы не ѣхали, ни на землѣ не сидѣли...

— Позвольте! но вѣдь я послѣ этого три дня по лѣсу ходилъ! брусникой питался?!

— И по лѣсу не ходили, и бруснику не ѣли...

— Но какимъ образомъ объяснить, что я фляжку съ водкой выпилъ, и потомъ дома въ собственной постели очутился? кто же нибудь меня туда перенесъ?

— Да просто вы наканунѣ выпили. Выпивши, легли въ постель, а на другое утро въ той же постели проснулись.

Маіоръ задумался.

— Можетъ быть,—наконецъ согласился онъ:—во-змо-жно!!

Но было очевидно, что это согласіе стоило ему сильной нравственной борьбы.

— Хорошо, продолжалъ онъ:—положимъ, что тогда дѣйствительно... Было выпито — это такъ. Но какимъ же образомъ вы объясните слѣдующій случай?

„Былъ у насъ полковой командиръ, полковникъ Золотиловъ. Лихой. Службу зналъ такъ, что словно на нотахъ, бывало, разыгрываетъ. Въ приказахъ по корпусу — всегда первый, въ примѣръ другимъ. Полкъ — въ исправности, касса—на-лицо; ума—палата. Всякій божій день—для всѣхъ господъ офицеровъ открытый столъ. Словомъ сказать, жили мы за нимъ какъ за каменной стѣной.

„Только перевели къ намъ въ полкъ изъ звенигородскихъ уланъ ротмистра одного. Культяпка прозывался. Явился Культяпка къ полку, и первымъ дѣломъ, разумѣется, къ полковому командиру. Я въ это время полковымъ казначеемъ былъ, съ утреннимъ рапортомъ у командира сидѣлъ и, слѣдовательно, самъ очевидцемъ былъ. Началъ это Культяпка рапортовать:—имѣю честь...—и съ первыхъ же словъ переврал̃ъ. Смотрю: вглядывается мой Культяпка въ командира, словно припомнить хочетъ. И вдругъ:

„— А вѣдь я, говоритъ, тебя узналъ!..

„Туда-сюда. Вспыхнулъ-было нашъ полковникъ:—Подъ арестъ!—и проч. А Культяпка, какъ ни въ чемъ не бывало, такъ и рѣжетъ:

„— Ты не тормошись,—говоритъ: — а скажи, помнишь ли, какъ ты съ своей лѣшачихой мой эскадронъ цѣлую недѣлю по лѣсу водилъ?

„И вотъ какъ хотите, такъ и судите. Въ моихъ глазахъ, въ одинъ моментъ, полковникъ Золотиловъ словно въ воздухѣ растаялъ. И жена его тоже пропала; и книги, и приказы, и переписка —все. Бросились мы потомъ фор-

муляръ полковничій искать — и формуляра нѣтъ. Ужъ писарь одинъ намъ сказывалъ: „да вѣдь я спервоначала замѣтилъ, что въ формулярѣ было написано: по окончаніи домашняго воспитанія, опредѣленъ на службу... *въ лѣшіе*!!“—Та̀къ что̀ же ты, курицынъ сынъ, молчалъ?

„Разумѣется, сейчасъ рапортъ, а намъ, вмѣсто него, на смѣну Домового прислали. Да такъ всю чертовщину постепенно и перебрали. И я все время казначеемъ служилъ“.

— Ну, какъ вы этотъ случай объясните?—обратился къ намъ маіоръ:—вѣдь это я ужъ собственными глазами видѣлъ?

Но волшебство было столь уже явно, что даже вольномысленный штабсъ-ротмистръ задумался. Однакожъ выдержалъ-таки характеръ и возразилъ:

— Да выпито было. Ни Золотилова, ни Культяпки...

— Ну, нѣтъ; это, братъ, шалишь! Я при Золотиловѣ-то два года служилъ — неужтожъ все время пьянъ былъ? нѣтъ, а вотъ что̀ лучше послушайте: вѣдь Культяпка-то послѣ этого сохнуть сталъ. Чахнулъ-чахнулъ, а наконецъ и совсѣмъ зачахъ. Говорятъ, будто сейчасъ послѣ этого пришла къ нему полковница, и какое-то дѣло припомнила. Съ тѣхъ поръ и пошло на него, и пошло. Жениться задумалъ и къ свадьбѣ все приготовилъ, а самъ пропалъ. Мы ужъ и въ церковь собрались — хвать-похвать, гдѣ женихъ? нѣтъ Культяпки, да и шабашъ. И что̀ жъ потомъ оказалось?—что онъ трое сутокъ на сѣновалѣ проспалъ! Такъ дѣло и разстроилось. Въ другой разъ онъ же часы въ лотерею выигралъ, а когда пришелъ получать—оказалось, что и лотереи такой никогда не бывало. Какъ вы это объясните?

— Гм!—воскликнули мы въ одинъ голосъ.

— Да и на мою долю, по милости этого Культяпки, попало,—продолжалъ маіоръ, — потому что я свидѣтелемъ этой сцены былъ. Не будь меня, полковникъ, можетъ быть, какъ-нибудь обвертѣлъ бы Культяпку, ну, а при мнѣ — нельзя было. Вотъ онъ и мнѣ потомъ мстилъ. Я даже подозрѣваю, что польскаго графа-то этого, который меня въ карты-то обыгралъ, не кто другой, а именно полковникъ Золотиловъ подослалъ. А можетъ быть онъ самъ и оборотился графомъ.

— Весьма вѣроятно,—вынуждены были мы согласиться.

— Да и одно ли это! Мало ли онъ разныхъ проказъ надо мной строилъ! Однажды я грибъ въ лѣсу увидѣлъ. Смотрю, подъ самой березой стоитъ боровикъ. Протянулъ-это руку, чтобы сорвать, а онъ на поларшина въ сторону. Я за нимъ, а онъ опять на поларшина въ сторону. Лазилъ-лазилъ, гляжу, а боровиковъ кругомъ видимо-невидимо. И всѣ крѣпкіе, ядреные, одинъ къ одному. Я въ кучу, хочу хоть одинъ поймать — пусто! Наконецъ догадался, заклинанье прочелъ—вдругъ какъ запищатъ боровики-то! Я—давай Богъ ноги! и что̀ же потомъ оказалось! — что я и въ лѣсу совсѣмъ не былъ, а преспокойно пилъ пуншъ у драгунскаго капитана Кедрова!

— То-то, что выпито-то было!—замѣтилъ вольномысленный штабсъ-ротмистръ Возницынъ.

Но мы ему не повѣрили.

„Вообще въ то время много необъяснимаго было. Бывало. ѣшь. пьешь, а между прочимъ боишься. какъ бы нечистую силу не проглотить.

„Всѣмъ извѣстны. напримѣръ, вяземскіе приники; а знаете ли вы, отчего они прежде сладки были, а нынче въ нихъ вдвое противъ прежняго сласти убавилось? А я—знаю. Все отъ „этого".

„Стояли мы въ восемьсотъ-тридцать-шестомъ году съ полкомъ въ Вязьмѣ, а тамъ въ то время пряничница Прасковья Ивановна въ славѣ была. Изъ себя—королева. тѣло—разсыпчатое, губы—алыя. глаза—на выкатѣ. груди—вотъ! Ну, и присталъ я къ ней:

„— Отчего, говорю, у тебя. Прасковья Ивановна, такіе пряники сладкіе? сахару, что-ли, не жалѣешь?

„— У меня, говоритъ. и безъ сахару сладки.

„— Что жъ за причина?

„— А это, говоритъ, тайность моя.

„И что жъ наконецъ она мнѣ открыла?

„— Ежели, говоритъ, я тебѣ, милый баринъ, мою тайность скажу, такъ ты послѣ того въ ротъ нашего пряника не возьмешь!

„Разумѣется, я не настаивалъ.

„Послѣ однакожъ и до начальства дѣло дошло: пряники сладки, а сахару не кладутъ. И распорядилось начальство, чтобы впередъ на каждомъ пряникѣ (на той сторонѣ, гдѣ картина) было оттиснуто: „Печатать дозволяется. Цензоръ Бируковъ". Съ тѣхъ поръ тайность какъ рукой сняло, но за то и сладости прежней нѣтъ.

„Но вы сообразите, сколько мы этой нечисти подъ видомъ сладости наглотались!"

„Въ другой разъ въ Пензенской губерніи дѣло было. Пріѣзжаю однажды на постоялый дворъ, голодный-преголодный, а хозяйка и говоритъ: „Поросеночка не угодно ли?" Волоки!—Принесли. Лежитъ это поросеночекъ какъ ребенокъ малый, ножки поджалъ, кожица бѣлая, жирокъ... словомъ сказать, только-что не говоритъ!

„— Какъ это, спрашиваю, вы такъ отлично отпаивать ихъ умѣете?

„— А у насъ, говоритъ, слово такое есть.

„— Какое слово?

„— А въ родѣ какъ проклятіе на себя наложить слѣдуетъ...

„Конечно, я не затруднился этимъ; но кто же можетъ сказать, *кого* я подъ видомъ поросеночка съѣлъ?!

„Впрочемъ Пензенская губернія вообще въ то время страною волшебствъ была. Куда, бывало, ни повернись—вездѣ либо Араповъ, либо Сабуровъ, а для разнообразія на каждой верстѣ по Загоскину да по Бекетову. И ссорятся, и мирятся — все промежду себя; Араповы на Сабуровыхъ женятся, Сабуровы—на Араповыхъ, а Бекетовы и Загоскины сами по себѣ плодятся. Чужой человѣкъ попадется — загрызутъ. Однажды самого губернатора въ осадѣ держали за то, что онъ это волшебство разъяснить хотѣлъ. И выжили-таки. Ни дать, ни взять—Чурова долина.

„А папенька-покойникъ вотъ еще что̀ про Пензу разсказывалъ. Въ царствованіе блаженной памяти императрицы Екатерины II туда два губернатора съѣхались: одинъ Потемкинскій, а другой — Мамоновскій. Встали другъ передъ другомъ, да и стоятъ: кто первый смигнетъ! Да, къ счастію, соборный протоіерей тутъ случился, съ пріѣздомъ поздравлять пришелъ. Какъ только губернаторы его учуяли — смотрятъ, Потемкинскаго-то ужъ нѣтъ, а вмѣсто него—коршунъ! Покуда на него глядѣли, какъ онъ крыльями взмывалъ, анъ промежду ногъ черная кошка шмыгнула—и Мамоновскій, значитъ, исчезъ!

„А кабы не это, побѣдили бы они другъ друга, да и управляли бы. А можетъ быть впрочемъ и не разъ такіе управляли“.

„Спро̀сите вы меня, съ чего это я все объ чертяхъ да о кикиморахъ разсказываю? Такъ я на это вотъ что̀ скажу: такая у насъ жизнь волшебная, что самъ собой разговоръ въ этомъ родѣ складывается.

„Что̀ такое эта чертовщина и въ какомъ смыслѣ ее понимать надлежитъ?—на это я опредѣлительнаго отвѣта дать не могу. Но вѣдь, съ другой стороны, ежели сказать наотрѣзъ: нѣтъ чертовщины! — а вдругъ она есть? Кто тогда въ дуракахъ будетъ?

„Зналъ я одного умнаго статскаго совѣтника, такъ тотъ прямо мнѣ сознался: —Вообще я въ нечистую силу не вѣрю; но ежели обстоятельства ей благопріятствуютъ, то не токмо самъ вѣрю, но и другимъ совѣтую“.

„Однажды имѣлъ онъ тяжебное дѣло съ сосѣдомъ въ сенатѣ, и ужъ совсѣмъ-было его проигралъ, да вдругъ узналъ, что оберъ-секретарь тамошній въ чертей вѣритъ. Вотъ и пустилъ онъ слухъ, будто бы въ Кіевѣ, на Лысой горѣ, онъ однажды съ вѣдьмой пошабашилъ. Дошло это до оберъ-секретаря—пожелалъ объясниться лично.

„— Правда ли, говоритъ, что вы живую вѣдьму видѣли?

„— Истинная, ваше превосходительство, правда.

„— Разскажите.

„Ну, статскій совѣтникъ—во всѣхъ подробностяхъ. И ка̀къ, и что̀. А оберъ-секретарь слушаетъ да только поясницей вздрагиваетъ: хоть бы глазкомъ, молъ, взглянуть!

„И что̀ жъ бы вы думали! черезъ недѣлю рѣшеніе состоялось: отдать землю въ вѣчную собственность статскому совѣтнику. А земли-то никакъ пятьсотъ десятинъ было.“

„Я и самъ, признаться, однажды въ этомъ родѣ фортель въ ходъ пустилъ.“

„Отличился я въ ту пору подъ Севастополемъ—вотъ насъ, героевъ, штукъ двадцать отобрали, привезли въ Петербургъ да Кокореву и препоручили. Онъ насъ днемъ по гуляньямъ водилъ, а ночью — чествовалъ. Привезетъ, бывало, въ Павловскъ, и водитъ по музыкѣ: „герои!“ А публика смотритъ и повторяетъ: „герои!“ Балы въ нашу честь дѣлали, пикники, ученыя собранія устраивали: „герои пріѣдутъ!“ А нѣкоторыя дамы изъ важныхъ даже по-оди-

ночкѣ къ себѣ зазывали: „такая-то тайная совѣтница проситъ героя NN пожаловать“. Словомъ сказать, многіе изъ насъ при деньгахъ къ полкамъ возвратились.

„И меня на одномъ балу старушка-графиня намѣтила: „Сядьте, говоритъ, герой, возлѣ меня—вотъ такъ“. Сѣлъ. „Разскажите, говоритъ, какъ вы Севастополь брали?“—Не брали, ваше сіятельство, а отстаивали.—„Это все равно. А впрочемъ что̀ жъ объ этомъ на балу разговаривать; лучше вы мнѣ часокъ-другой на свободѣ посвятите. Да вотъ что̀: завтра я въ двѣнадцать часовъ утромъ дома буду, а мужъ въ свое учрежденіе уѣдетъ —милости просимъ, герой!“

„Гляжу я на нее: мѣста живого нѣтъ! приспособиться не къ чему! А съ другой стороны—графиня, и мужъ въ учрежденіи служитъ: какъ тутъ отказать?

„На утро, ни живъ, ни мертвъ, а иду. Хуже чѣмъ въ сраженіе; потому въ сраженіе тебя посылаютъ, а тутъ—самъ иди! Являюсь, а она, прахъ ее побери, на кушеткѣ лежитъ. Стукнулъ шпорами.

„— Приблизьтесь, говоритъ, герой!

„И вдругъ меня словно освѣтило.

„— Ваше сіятельство,—говорю:—вѣдь я лишній-съ!

„Какъ она взвизгнетъ!—Корнило! Прохоръ! Антипка! гоните его!

„И гнали они меня по Литейной, отъ пушечнаго двора вплоть до самаго Невскаго. Гонятъ и приговариваютъ: „герой!“

„А народъ шапки снимаетъ“.

„А въ другой разъ со мной и въ противномъ смыслѣ случай произошелъ.

„Стояли мы однажды въ Полтавской губерніи: я тогда только-что въ корнеты произведенъ былъ. Кровь такъ ходуномъ, бывало, и ходитъ, а смѣлости нѣтъ. Еще казачку простую, куда ни шло, ущипнешь, а чуть мало-мальски пани или панночка — стоишь передъ ней какъ дуракъ, да только глаза таращишь.

„Между тѣмъ у помѣщика, у пана Холявы, жена была—краля писанная. И видѣлъ я, что я ей по нраву пришелся. Каждый день, бывало, посланца за мной шлетъ. Приду—сейчасъ возлѣ себя посадитъ.

„— Любитъ панъ корнетъ галушки?

„— Люблю, сударыня.

„— Мо̀же, панъ корнетъ и смоквы любитъ?

„— И смоквы, сударыня, люблю.

„Подадутъ и галушки, и смоквы — я и то, и другое въ одну минуту съѣмъ. А она смотритъ на меня и думаетъ: сейчасъ онъ поѣстъ и декларацію сдѣлаетъ! Не тутъ-то было. Я какъ поѣмъ, такъ еще пуще робѣю. Посидимъ-посидимъ, до того насидимся, что она ужъ спиртъ нюхать начнетъ.

„— Однако,—скажетъ:—глупый же вы корнетъ!

„Не понимаю даже, какъ я ей не опротивѣлъ. Полагаю, что она больше изъ любопытства упорствовала. Видитъ, что дубину обрящила, и думаетъ: что̀ изъ этого выйдетъ?

„Вотъ однажды, когда я наѣлся галушекъ, она меня и спрашиваетъ:

„ — А что, панъ корнетъ, вы боитесь русалокъ?

„— Боюсь, говорю.

„— Вотъ такъ ахвицеръ!

„— То-есть я, говорю. настоящихъ русалокъ боюсь, а ежели которыя...

„— Молчите! и слушать больше не хочу! Вотъ что выдумалъ... какихъ-то *ненастоящихъ* русалокъ! Такъ вотъ что вы сдѣлайте: вонъ тамъ въ пруду, въ камышахъ, каждое утро на зорькѣ русалка купается... „настоящая“ русалка... слышите?

„Ушелъ. Цѣлую ночь глазъ не смыкалъ, дождался зорьки — и маршъ на прудъ. Купаюсь, плаваю... вдругъ слышу: въ камышахъ зашелестѣло.

„ — Кто тамъ?

„ — Я, русалка...

Приди въ чертогъ ко мнѣ златой,
Приди, о, князь мой дорогой!

„Тутъ ужъ и робость съ меня соскочила. Какъ бѣшеный, ринулся я въ камыши и въ одну минуту выволокъ русалку на берегъ.

„Однако впослѣдствіи никогда ни единымъ словомъ ей не намекнулъ, что русалка „ненастоящая“ была. Сидишь, бывало, сосешь леденцы и скажешь:

„— А какъ вы полагаете, пани, придетъ завтра на зорькѣ русалка купаться?

„— А когда же она не приходитъ?!

„Съ мѣсяцъ мы такимъ родомъ купались. Она — русалка; я — князь. Но что было бы послѣ, когда прудъ замерзъ — сказать не умѣю. Вѣроятно мы какъ-нибудь устроились бы по сухопутному.

„Но черезъ мѣсяцъ насъ угнали въ Костромскую губернію—вотъ куда!“

———

„Но бываютъ и настоящія русалки. У насъ въ полку еще одинъ маіоръ былъ, такъ тотъ разсказывалъ, что онъ цѣлый годъ въ водяномъ дворцѣ съ русалками прожилъ. И женили его тамъ. Главная русалка на тронѣ съ нимъ сидѣла, а прочія прислуживали. А кормили его рыбой да раками. Сначала въ охотку было, а потомъ опротивѣло.

„И сколько ему хлопотъ это происшествіе надѣлало! Аблаката нанималъ, чтобъ бракъ-то этотъ недѣйствительнымъ признать!

„Ну, я, бывало, слушаю эти разсказы, и думаю про себя: знаемъ мы этихъ „настоящихъ“ русалокъ!

„А можетъ быть впрочемъ онъ и съ „настоящей“ русалкой жилъ. Потому что на свѣтѣ все такъ: здѣсь настоящее, а рядомъ—*не*настоящее... какъ тутъ отличить! Ежели по рыбьему хвосту заключать, такъ и тутъ всяко бываетъ: иная и безъ хвоста, а въ лучшемъ видѣ русалка!“

„У насъ къ одному полковому командиру цѣлый мѣсяцъ каждый день нечистая сила въ образѣ блудницы являлась. Только-что, бывало, отпуститъ вечеромъ вѣстового, а она тутъ какъ тутъ. Головою киваетъ, плечами помахиваетъ, бедрами потрясаетъ... И что̀ же потомъ оказалось? — что это тетка юнкера Растопырьева за племянника ходатайствовать приходила! А полковникъ между тѣмъ думалъ, что она чертовка — и пальцемъ не прикоснулся къ ней!

„А въ это же самое время къ поручику Клятвину настоящая чертовка ходила, но онъ передъ ней не сробѣлъ.

„Какъ это объяснить?

„Попикъ у насъ въ полку былъ — молоденькій! — такъ тотъ, бывало, отъ объясненій уклонялся. Обступятъ его юнкера молодые и начнутъ допрашивать:

„— Вы, батюшка, какъ насчетъ кикиморъ полагаете: постныя онѣ или скоромныя?

„А онъ только застыдится и пробормочетъ:

„— Увольте меня, господа!

„Однако когда съ полковникомъ это происшествіе случилось, и онъ долженъ былъ сознаться, что̀ на свѣтѣ есть много такого, чего разумъ человѣческій постигнуть не въ состояніи. Иной всего только въ кадетскомъ корпусѣ воспитаніе получилъ, а потомъ, смотришь, изъ него министръ вышелъ —какъ это объяснить?

„Лежишь иногда ночью въ кровати — вдругъ шорохъ! или идешь по лѣсу—хохотъ! съ ружьемъ по болоту пробираешься—лязгъ! Кто? что̀? какъ? почему?

„А главное: сейчасъ видишь и слышишь, а сейчасъ — нѣтъ ничего...

„Однажды со мной такой случай былъ: только-что успѣлъ я со станціи выѣхать, какъ откуда ни возмись цѣлое стадо статскихъ совѣтниковъ за нами погналось. Съ кокардами, при шпагахъ, какъ есть по формѣ. Насилу отъ нихъ уѣхали. А ямщикъ говоритъ, что это было стадо быковъ. Кто изъ насъ правъ? кто неправъ? По моему, оба правы. Я правъ—потому что видѣлъ статскихъ совѣтниковъ въ то время, когда они статскими совѣтниками были, а ямщикъ правъ — потому что видѣлъ ихъ уже въ то время, когда они въ быковъ оборотились.

„Вообщѐ превращенія эти какъ-то вдругъ совершаются. Въ Москвѣ мнѣ одного купца показывали: днемъ онъ купецъ, скобянымъ товаромъ торгуетъ, а ночью въ видѣ цѣпной собаки собственную лавку стережетъ. А на утро —опять купецъ. Какъ сподручнѣе, такъ и орудуетъ.

„Встрѣтился я однажды на станціи съ маіоромъ. Какъ есть, натуральный маіоръ и съ бантомъ въ петлицѣ. Разговорились. То да сё.

„— Въ какомъ дѣлѣ изволили бантъ получить?

„— Подъ Остроленкой.

„— Такъ-съ. И жаркое дѣло было?

„— Должно быть, жаркое. А впрочемъ, былъ ли я тамъ—хоть убейте, не помню!

„Такъ вотъ какъ иногда бываетъ. И банты получаемъ, а за что—не знаемъ. Какъ это объяснить?

„А другой случай такой былъ. Служилъ у насъ въ полку ротмистръ Коробейниковъ и заказалъ онъ себѣ новыя рейтузы. Только надѣлъ онъ эти рейтузы — и вдругъ сдѣлался невидимъ. Рейтузы и сидятъ, и стоятъ, и ходятъ, а Коробейникова нѣтъ какъ нѣтъ. И главное, онъ самъ нѣкоторое время объ этомъ не зналъ. Сидимъ мы однажды въ офицерской сборной и вдругъ видимъ: порожнія рейтузы идутъ! Можете себѣ представить общій испугъ!

„Теперь сообразите-ка: у одного рейтузы волшебныя, у другого—ментикъ, у третьяго—колетъ... весь полкъ волшебный! Аммуниція на лицо, а воиновъ нѣтъ!"

„Зналъ я одну помѣщицу, которая къ вахмистру на свиданіе ходила, а объ ней говорили, что лѣшій ее по ночамъ въ лѣсъ уноситъ. А про другую помѣщицу говорили, что она къ вахмистру бѣгаетъ, а на самомъ-то дѣлѣ ее лѣшій въ лѣсъ уносилъ. И сдѣлалась она по времени какъ щепка худая, глаза большущіе, въ лицѣ ни кровинки, а губы красныя-раскрасныя. Чрезъ девять мѣсяцевъ она лѣшонка принесла... да кудрявый какой!

„Вотъ какъ наружность иногда бываетъ обманчива!

„Поэтому я и не разсуждаю. Что знаю — того не скрываю, а чего не знаю, объ томъ такъ и говорю: не знаю!

„И всегда вспоминаю при этомъ слова мудраго статскаго совѣтника: „коли время стоитъ для чертей благопріятное—значитъ хоть вѣрь, хоть не вѣрь, а все-таки говори: есть!" А когда же оно у насъ, позвольте спросить, неблагопріятно?"

„Жили-были двѣ дѣвушки-сиротки, и все говорили:—не вѣримъ да не вѣримъ!—А одинъ коллежскій совѣтникъ, изъ добровольцевъ, ихъ подслушалъ:

—Чему, сударыня, не вѣрите?

„Туда-сюда. Оказалось на повѣрку, что онѣ и сами досконально не знаютъ, чему вѣрятъ, чему не вѣрятъ. Стоятъ передъ своимъ судіей, да только ножками сучатъ. А онъ и судья-то не настоящій былъ, такъ, со стороны какой-то взялся. И несмотря на это, не только ихъ проэкзаменовалъ, да еще къ бабушкѣ въ деревню подъ надзоръ отправилъ.

„Много нынче черезъ это самое молодыхъ людей пропадаетъ. Сначала въ одно не вѣрятъ — потомъ въ другое, а наконецъ и въ третье. Иной бы впослѣдствіи и радъ повѣрить, да нѣтъ, братъ, шалишь! Близокъ локоть, да не укусишь. И вотъ какъ дойдутъ они до предѣла—ихъ и поманятъ:—извольте объяснить, въ какой силѣ и почему?—А какъ необъяснимое объяснить!

„Я самъ въ молодыхъ лѣтахъ однажды этого духа набрался. Пришелъ, какъ смерклось, на кладбище, да и гаркнулъ: не вѣрю! А тутъ подъ плитой статскій совѣтникъ Шешковскій лежалъ: —извольте, говоритъ, повторить!—И вдругъ-это всѣ могилы зашевелились—лѣзутъ на меня отовсюду, да и шабашъ! У кого кабанья голова, у кого — конёвья... Волки, медвѣди, ехидны, змѣи...

„И что же потомъ оказалось—что при блаженной памяти императрицѣ Екатеринѣ II чиновниковъ тайной канцеляріи на этомъ кладбищѣ хоронили! Они меня и подсидѣли“.

„Ныньче, съ самаго малаго возраста ужъ всѣмъ наукамъ учатъ. Клопъ, отъ земли не видать — а его съ утра до вечера пичкаютъ. Въ наукѣ тоже, чай, всякія слова бываютъ; иное надо бы и пропустить, а у насъ не разбираютъ: всѣ слова сподрядъ учи! Точно въ Ростовѣ каплунамъ насильно въ зобъ кашу пальцемъ проталкиваютъ. Ну, мальчёнко долбитъ-долбитъ, да и закричитъ:—не вѣрю!

„А по моему настоящая наука только одна: сиди у моря и жди погоды. Вывезетъ — хорошо; не вывезетъ — дожидайся случая. А между прочимъ поглядывай. Какова пора ни мѣра—не упускай, а упустилъ—старайся быть впередъ проворнѣе. Но паче всего помни, что жизни сей обстоятельства не нами устраиваются, а намъ надлежитъ только глядѣть въ оба.

„По наружности наука эта не трудная: ни азовъ, ни латыни, ни ариѳметики. Однако ни въ какой другой наукѣ не случается столько эпизодовъ, какъ въ этой. Всю жизнь въ ней экзаменъ держать предстоитъ, а экзаменатора впередъ угадать нельзя. Сегодня ты къ одному экзаменатору приспособился, а завтра этотъ экзаменаторъ самъ въ экзаменуемые попалъ. Вотъ какова сей жизни превратность.

„И первое въ этой наукѣ правило—во все вѣрить. Спросятъ тебя: „Въ настоящихъ русалокъ вѣришь?“ — Вѣрю. — „А въ ненастоящихъ русалокъ вѣришь?“—Вѣрю.—„Ну, живи!“...

„Я самъ всегда этихъ правилъ въ жизни держался—оттого двадцатый годъ въ маіорскомъ чинѣ состою. И буду ли когда-нибудь подполковникомъ—неизвѣстно“.

„Прожилъ господа, я свою жизнь; шестой десятокъ заканчиваю. Молодость—почти совсѣмъ позабылъ, середку—тоже, а вотъ это помню: что и въ началѣ, и въ середкѣ — всегда пуншъ пилъ. Давно что-то я его пью. День между пальцевъ проскочитъ, а вечеромъ — пуншъ; съ нимъ и спать ляжешь. Вся жизнь тутъ. Былъ и подъ венгерцемъ, и въ Севастополѣ, и на поляка ходилъ, а что осталось—спросите!

„Лѣтъ десятокъ тому назадъ собралось насъ въ полку пять человѣкъ добрыхъ товарищей, все однолѣтки и все маіоры. Соберемся, бывало, и пуншъ пьемъ. Пить-то пьемъ, а разговору у насъ нѣтъ. Заведемъ разговоръ —смотришь, сейчасъ ему и конецъ. И я съ вѣдьмой шабашилъ, и другой съ вѣдьмой шабашилъ; и я съ русалкой купался, и третій съ русалкой купался. У всѣхъ—одно. Однажды вздумали про сотвореніе міра говорить, такъ и то у всѣхъ одно и то же выходитъ. А пѣсни пѣть совѣстно. Скажутъ: захмелѣли маіоры.

„Пріѣдешь, бывало, къ помѣщику въ гости—сейчасъ-это въ садъ поведутъ. Показываютъ, водятъ. „Вотъ это — аллея, а это — прудъ“. А ты только объ одномъ думаешь: скоро ли водку подадутъ?

„— Нравится вамъ?

„— Помилуйте!

„— Такъ не угодно ли въ поле, пшеничку посмотрѣть?

„— Съ удовольствіемъ!

„Или въ клубъ на танцовальный вечеръ тебя нелегкая занесетъ. Сядешь въ уголъ, а тутъ къ тебѣ предводительша подлетитъ.

„— Извольте, маіоръ, кадриль со мной танцовать!

„— Съ удовольствіемъ-съ.

„— Нравятся вамъ наши балы?

„— Помилуйте!

„— На будущей недѣлѣ я пикникъ въ пользу бѣдныхъ устраиваю — пріѣдете?

„— За честь сочту-съ.

„Полковой командиръ у насъ женился, молодую жену привезъ. Натурально, обѣдъ. И меня, какъ сейчасъ помню, по правую руку около жены посадилъ.

„— Вамъ не скучно подлѣ меня сидѣть?

„— Помилуйте-съ!

„— А ежели не скучно, будемте разговаривать.

„— Съ удовольствіемъ-съ.

„Ни въ мужскомъ, ни въ женскомъ обществѣ—нигдѣ разговору нѣтъ. Познакомишься, бывало, съ дамочкой, подведутъ тебя къ ней, словно на трензеляхъ:

„— Вы, маіоръ, женское общество любите?

„— Помилуйте, сударыня!

„— Въ такомъ случаѣ приходите почаще.

„— За честь почту-съ.

„Сядешь и молчишь. Вотъ она посидитъ-посидитъ, видитъ, что маломуто не до разговоровъ, и молвитъ:

„— Приходите сегодня вечеромъ вонъ въ ту бесѣдку...

„Тутъ словно какъ и оживишься... го-го-го!

„Скука. И самому скука, и другимъ смерть. Придешь домой, а тамъ ужъ полну комнату скуки наползло. Попробуешь думать — черезъ четверть часа готовъ: всѣ думы передумалъ... Пуншу!

„Съ самой ранней молодости мы разгулъ за веселье, а ёрничество за любовь принимали, да такъ спозаранку и одичали. Изъ всѣхъ этихъ свѣтскихъ манеръ только и знали, что шпорами, бывало, щелкнешь.

„Отъ этого я никогда объ женитьбѣ серьезно не думалъ. Начнешь, бывало, умомъ раскидывать: что̀ бы мнѣ больше всего въ женѣ нравилось? — и непремѣнно что-нибудь ординарное надумаешь. Такъ вѣдь для ординарнаго немного нужно: вышелъ за ворота и свиснулъ. А чтобы обстановочка какая-нибудь, чтобы, напримѣръ, постелька какъ слѣдуетъ, занавѣсочка, столъ, самоварчикъ, чай, кофе — „хорошо ли ты, мой другъ, почивалъ?“ — этого и въ воображеніи не было. Растянешься на диванѣ, какъ одеръ, подъ головой замасленная кожаная подушка — и дрыхнешь. А въ передней, на голой доскѣ, деньщикъ во снѣ стонетъ. Встанешь — и умываться не хочется.

чай деньщикъ подастъ:—Чортъ тебя знаетъ, скотина, чего ты въ чай мѣшаешь!

„И все-таки скажу: лучше въ нашемъ званіи такъ прожить, нежели на семейную жизнь соблазниться. Иной не воздержится, женится —и что же выйдетъ? Дѣвочка-то, какъ замужъ выходила, ровно огурчикъ была, а черезъ два, три мѣсяца, смотришь, она ужъ въ какихъ-то кацавейкахъ офицеровъ принимаетъ: опустилась, обвисла, трубку куритъ, верхомъ на стулъ садится. Халда халдой".

„Въ послѣднее время начали при полкахъ исправныя библіотеки содержать. Это бы хорошо, да какъ себя, на старости лѣтъ, принудить читать? Возьмешь газету—вездѣ словно концы разсказываютъ, а начала не знаешь. Воспитаніе-то я „домашнее" получилъ, а потомъ — прямо въ полкъ. Такъ даже стиховъ никакихъ не знаю. Помню, что подъ венгерца ходилъ, поляка два раза усмиряли, съ туркой за ключи воевали, а французъ съ англичаниномъ помогали ему... Помню, потому что самъ тамъ былъ, а что и какъ — спросить не догадался. Начальство приказывало—вотъ и все. Поэтому, какъ стали насильно заставлять газеты читать, все и ищешь: гдѣ же начало?

„Въ то время какъ насъ пять маіоровъ въ полку было, досталъ одинъ маіоръ исторію Карамзина:—Давайте, братцы, читать!—Какъ дошли мы до Святополка Окаяннаго, такъ оно на меня подѣйствовало, что я, и во снѣ, и наяву, все, бывало, Святополка Окаяннаго вижу. Кого ни встрѣчу, офицера, помѣщика, солдата—всѣмъ про него разсказываю. А черезъ недѣлю меня и самого стали Святополкомъ Окаяннымъ честить. На этомъ и пошабашилъ.

„Стоялъ я, еще въ чинѣ ротмистра, въ Орловской губерніи, въ деревнѣ у одного помѣщика. Богатый былъ, молодой и холостой. Вотъ и повадился я къ нему ходить. Хожу и все спрашиваю:—Отчего это мнѣ жить очень скучно?

„— Водку, говоритъ, пьете?

„— Пью.

„— Клопштосы на бильярдѣ умѣете дѣлать?

„— Умѣю.

„ — А географію знаете?

„— Н-н-не твердо.

„— Вотъ то-то и есть.

„И началъ онъ меня коротенько всякимъ наукамъ учить. Сегодня — одну науку разскажетъ, завтра—другую. А я приду въ полкъ да вахмистру пересказываю... И что же потомъ оказалось? Что все-то онъ мнѣ въ насмѣшку разсказывалъ!"

„Вы, господа, не смѣйтесь: охота-то, значитъ во мнѣ была, да не ко двору пришлась. Былъ у насъ юнкеръ въ полку, служилъ исправно, и вдругъ тосковать началъ. Тосковалъ-тосковалъ, да и ушелъ въ университетъ. Отецъ узналъ, да арапникомъ—и опять въ полкъ. А онъ опять въ университетъ. Да до трехъ разъ. Такъ и бросили.

„И что же вышло? Я какъ тогда былъ маіоръ, такъ и теперь маіоръ, а онъ, съ годъ тому, въ генеральскомъ чинѣ, инспекторскій смотръ полку дѣлалъ. Изъ университета-то, изволите видѣть, опять въ юнкера поступилъ, да въ академію, а оттуда и пошелъ, и пошелъ...

„Однакожъ на смотру узналъ меня.

„— Вы ли, маіоръ?

„— Онъ самый-съ.

„Потужилъ, покачалъ головой, поцѣловалъ и уѣхалъ. Я, признаться, понадѣялся, не произведутъ ли въ подполковники — да гдѣ ужъ!

„При моей охотѣ, да кабы въ университетъ... Можетъ быть, и я бы теперь генераломъ былъ“.

„Служилъ я всегда исправно и часть свою въ порядкѣ содержалъ. Только два раза въ теченіе всего времени взысканіямъ подвергался.

„Въ первый разъ — на абвахтѣ сидѣлъ. Купался я однажды съ русалкой, а какой-то озорникъ взялъ да аммуницію мою въ кусты спряталъ. Я было задворками да перелѣсочкомъ на квартиру — анъ на встрѣчу стадо. Какъ увидѣли коровы — словно взбѣленились. Словомъ сказать, вышелъ скандалъ.

„Въ другой разъ — изъ трактира ночью шли. Идемъ и видимъ, что извозчики, прикурнувши на дрожкахъ, спятъ. „Разнуздаемте, господа, лошадей!“ Разнуздали; отошли подальше, кричимъ: „извозчикъ!“ Можете себѣ представить картину! Возжами дергаютъ, кнутомъ хлещутъ, лошади несутся какъ бѣшеныя... Однако съ однимъ извозчикомъ обошлось неблагополучно. На другое утро — къ полковнику. „Стыдитесь, корнетъ!“

„Встарину такіе поступки „шалостями молодыхъ людей“ назывались. Окна въ трактирѣ перебить, будочника съ ума свести, купцу бороду спалить, при встрѣчѣ съ духовнымъ лицомъ загоготать — вотъ какія тогда удовольствія были. Однажды квартальный къ полиціймейстеру съ рапортомъ шелъ, такъ ему въ заднюю фалдочку кусокъ лимбургскаго сыру положили, а полиціймейстеръ за это свиньей его назвалъ.

„Признаться сказать, теперь я и самъ удивляюсь: какія же это удовольствія!“

„А подъ конецъ разскажу вамъ самое любопытное: кàкъ я одинъ разъ конституціи требовалъ.

„Было это въ то время, когда насъ, послѣ севастопольской кампаніи, въ видѣ героевъ, господину Кокореву препоручили. Тогда по всей Россіи восторгъ былъ. Во-первыхъ, война кончилась, а во-вторыхъ, мягкость какая-то вездѣ разлилась. Курить на улицахъ было дозволено, усы, бороды носить. Съ этого началось. А главное не возбранялось ни ходить, ни сидѣть, ни смѣяться, ни плакать. Хочу — хожу, хочу — сижу; хочу — молчу, а надоѣло молчать — возьму да поговорю. И никакого вреда отъ этого не было ей Богу! Словомъ сказать, такой неожиданный моментъ выдался, когда всѣ только удовольствіе испытывали.

„Разумѣется, не обходилось и безъ фанаберій. Одни говорили: „нужно, чтобъ у мужика каждый день добрая чарка водки была“; но были и такіе, ко-

торые прибавляли: „а для прочихъ чтобы конституція“. Однако, ни тѣхъ, ни другихъ не тревожили, а только на замѣчаніе брали.

„Мы, герои, вели себя очень скромно. И въ эрмитажѣ побывали, и въ кунсткамерѣ, и въ Исакіевскомъ скверѣ—тихо, благородно. Конечно, вечеркомъ попозднѣе, подъ руководствомъ Василья Александровича, изрядно-таки накачивались, но по большей части насъ увозили для этого въ Ушаки *). Отзвонимъ сутокъ двое, да и опять въ Петербургъ свѣтленькіе воротимся.

„Вотъ однажды благодушествуемъ мы такимъ образомъ въ Ушакахъ, и налакались-таки до предѣловъ. И началъ нашъ любезный хозяинъ объяснять: для чего, когда поѣздъ на станцію приходитъ, рабочіе подъ вагонами лазаютъ, да объ колеса и шины постукиваютъ? „Для того говоритъ, чтобы знать, все ли исправно, и нѣтъ ли гдѣ изъяна. А подобно сему, говоритъ, на будущее время и въ государственныхъ дѣлахъ поступать надлежитъ. На удалую-то не скакать, а сначала постучать; а ежели окажется трещина или раковина, то заплаточку положить, а потомъ ужъ ѣхать“.

„Что же, стучать, такъ стучать. Начали мы стучать, и что дальше, тò больше. Одни говорятъ: „на первый разъ достаточно чарки добраго вина“; другіе говорятъ: „этого мало, нужно конституцію“... А въ томъ числѣ и я.

„Только находился промежъ насъ одинъ мужчина. Притворился онъ, будто лыка не вяжетъ, а самъ даже подъ-шефé настоящимъ образомъ не былъ. Образина, можно прямо сказать, беззаконная. Глаза—въ-раскосъ, ротъ—на сторону; одна щека—опухла, другая словно сейчасъ изъ подъ утюга. Но такъ было тогда всѣмъ хорошо, что мы даже передъ этими явными признаками не остереглись.

„Разумѣется, я проспался, и на другой же день все перезабылъ. И вдругъ, на третій день—къ генералу требуютъ.

„— Знаете вы, что такое конституція?

„— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство.

„— Почему же вы такъ ея желаете?

„— Не могу знать, ваше превосходительство.

„— Не можете знать... гм... Однакожъ припомните-ка... въ Ушакахъ.

„— Виноватъ, ваше превосходительство.

„— То-то вотъ и есть. Значенія слова не знаете, а злоупотребляете имъ. Забудьте объ этомъ, мой другъ! Это васъ врагъ рода человѣческаго смутилъ!

„Съ этимъ и отпустилъ... это тотъ самый генералъ, который прежде безъ серьезнаго слова минуты обойтись не могъ, а теперь... „мой другъ“! Вотъ время какое волшебное было!

„Разумѣется, я на извозчика и домой. А дня черезъ три послѣ этого насъ, героевъ, по полкамъ водворили“.

---

*) Ушаки—имѣніе, принадлежавшее въ концѣ пятидесятыхъ годовъ г. Кокореву. Послѣдняя станція отъ Петербурга передъ Любанью.

Вечеръ второй.

Audiatur et altera pars.

Не разъ случалось мнѣ слышать отъ людей благорасположенныхъ: зачѣмъ вы все изнанку да изнанку изображаете? вѣдь это и для начальства непріятно, да и по существу неправильно. Вы думаете, сладко начальству слушать: ты чего смотришь? ты зачѣмъ допускаешь? Какъ будто бы оно можетъ за чѣмъ-нибудь усмотрѣть и чего-нибудь не допустить!? А съ другой стороны, развѣ естественно, чтобы на свѣтѣ были одни мздоимцы, да прелюбодѣи, да предатели? Вѣдь мы давно бы изгибли всѣ до единаго, еслибъ это было такъ! А вы попробуйте-ка взглянуть наоборотъ—можетъ быть, и другое что-нибудь выйдетъ? Ну-те-ка, съ Богомъ... а?

Долго я не понималъ, въ чемъ заключается суть этихъ благожеланій, и потому не обращалъ на нихъ вниманія. Съ легкомысліемъ, достойнымъ лучшей участи, я указывалъ на мздоимство Фейера, хищничество Дерунова и Разуваева, любострастіе маіора Прыща, безсмысленное злопыхательство Угрюмъ-Бурчеева и проч., и, сознаюсь откровенно, почти никогда не приходило мнѣ на мысль, что рядомъ съ Фейерами, Прыщами и Угрюмъ-Бурчеевыми существуютъ Правдины, Добросердовы и Здравомысловы. Не потому не приходило, чтобъ я игнорировалъ или презиралъ этихъ людей, но потому, что мнѣ всегда казалось, что они и сами на себя смотрятъ какъ-то сомнительно. Какъ будто не знаютъ, дѣйствительно ли они люди, а не призраки. Говорить начнутъ—словно ихъ тошнитъ; къ дѣлу приступятся—словно веревки во снѣ вьютъ. Но въ особенности меня ставило втупикъ ихъ робкое отношеніе къ населяющимъ землю Простаковымъ и Скотининымъ,—отношеніе, не выразившееся не только ни однимъ горячимъ поступкомъ, но и ни однимъ искреннимъ словомъ. Вѣдь эти Правдины, говорилъ я себѣ, не какіе-нибудь обдѣленные, которымъ протесты не такъ-то легко сходятъ съ рукъ, а такіе же сильные міра, какъ и Скотинины. Какимъ же образомъ они могутъ смотрѣть на всевозможныя безчинства и даже злодѣйства необузданныхъ дикарей, и ограничиваются только тѣмъ, что пробормочутъ *въ сторону* номенклатуру происходящихъ передъ ихъ глазами гнусностей? Какъ хотите, а это неестественно. Поэтому мнѣ казались сомнительными и самые Правдины, хотя я и зналъ, что они не только существуютъ, но и пользуются особливымъ отъ начальства довѣріемъ. Они *никого не трогаютъ*—вотъ ихъ главное право на почетную роль въ обществѣ, и въ то же время ихъ жизненный девизъ. Они добродѣтельны, правдивы и здравомысленны—*для себя*; другимъ же отъ такихъ похвальныхъ ихъ качествъ—ни тепло, ни холодно. И бродятъ они по свѣту, получая присвоенные *никого не трогающимъ* людямъ чины и ордена.

Все это я впрочемъ только объясняю, а отнюдь не оправдываюсь. Напротивъ того, въ послѣднее время я вполнѣ убѣдился, что разсуждалъ легкомысленно и совершенно понапрасну утруждалъ и огорчалъ начальство. Одно могу сказать себѣ въ утѣшеніе: огорчать начальство никогда не было въ моихъ правилахъ, и я никогда не дѣлалъ этого преднамѣренно. Въ наивности души своей я думалъ, что содѣйствую, а на повѣрку оказалось, что я

противодѣйствовалъ. Нужно было устроить такъ, чтобы Правдинъ побѣдилъ Скотинина, а я о Правдинѣ-то и позабылъ, вслѣдствіе чего Скотининъ такъ и остался непобѣжденнымъ.

Теперь я рѣшился и самъ исправиться, и все мною написанное исправить. Къ счастію, разбираясь въ обширномъ матеріалѣ, накопленномъ моею памятью, я вижу, что это не составитъ для меня даже особеннаго труда. Въ этомъ матеріалѣ я нахожу такое количество драгоцѣннѣйшихъ фактовъ и отраднѣйшихъ образовъ, что съ моей стороны было бы даже непростительнымъ грѣхомъ, еслибы я не познакомилъ съ ними моихъ читателей.

Начну съ городничихъ.

Городничіе-безсребренники.

Былъ одинъ городничій, который совсѣмъ взятокъ не бралъ, такъ что долгое время всѣ обыватели въ недоумѣніи были. Думали, что онъ нарочно сдерживается, чтобы впослѣдствіи учинить генеральный походъ. Но когда прошло довольно времени, и похода не было, то дивились. „Какъ это—думалось всѣмъ—онъ насъ не грабитъ? и какъ онъ на свое жалованьишко съ семьей живетъ?“ Жалованье же въ то время городничему полагалось чуть не семь сотъ на ассигнаціи, да и семейство при этомъ не возбранялось имѣть. А у этого самаго городничаго, кромѣ жены и охапки дѣтей, еще двѣ свояченицы жили, да теща, да племянникъ-дурачокъ. Всѣхъ надо было накормить, напоить, обуть и одѣть. И онъ все это исполнялъ аккуратно, и даже пріятелей отъ времени до времени хлѣбомъ-солью угощалъ.

— Кузьма Петровичъ! да какъ же ты изворачиваешься? взятокъ ты не берешь, а между тѣмъ всего у тебя въ изобиліи? — спрашивали его прочіе чины, которые хотя тоже взятокъ не брали, однако и не отказывались.

Но онъ долгое время уклонялся отъ объясненій, и только загадочно отвѣчалъ:

— Слово такое у меня есть!

Наконецъ однакожъ пристали къ нему такъ, что онъ рѣшился открыть свой секретъ.

— Когда меня на должность опредѣлили, —сказалъ онъ,—я на первыхъ порахъ чуть рукъ на себя не наложилъ. Жалованьишко малое, семья большая — какъ тутъ жить? Теща говоритъ: „надобно, Кузьма Петровичъ, взятки брать!“ а я въ отвѣтъ: „неблагородно!“ Жена плачетъ: „самъ ты посуди, какъ безъ взятокъ семью прокормить!“ —а я въ отвѣтъ: „покажи законъ, коимъ дозволяется взятки брать!“ Словомъ сказать, уперся на своемъ, слышать ничего не хочу... Однако взятки не взятки, а пить-ѣсть надобно. Вотъ взмолился я ангелу своему: Кузьма безсребренникъ, угодникъ Божій! научи, какъ мнѣ быть! Молюсь день, молюсь ночь —нѣтъ ничего. Молюсь еще день, еще ночь — опять нѣтъ ничего. На третью ночь чувствую, словно бы вѣтромъ на меня пахнуло—и вдругъ кто-то мнѣ въ ухо „слово“ шепнулъ... Съ тѣхъ поръ я и поправился. Балыка на закуску захочу — сейчасъ: встань передо мной, какъ листъ передъ травой! бакалейщикъ Бородавкинъ! чтобъ

былъ балыкъ!—смотришь, а онъ ужъ и на столѣ. Выйдетъ запасъ чаю, сахару—кликну: встань передо мной какъ листъ передъ травой! бакалейщикъ Зензивѣевъ! чтобъ былъ чай-сахаръ!—а онъ ужъ и тутъ какъ тутъ! Выйдутъ деньги—закричу: встань передо мной какъ листъ передъ травой! господинъ откупщикъ! или вы своихъ обязанностей не знаете!—и деньги въ карманѣ! Такъ и живу! Взятокъ не беру, а всего у меня изобильно!

Открытіе это всѣмъ показалось настолько занимательнымъ, что и прочіе чины захотѣли воспользоваться имъ. И съ тѣхъ поръ ни въ городѣ, ни въ уѣздѣ у насъ никто взятокъ не бралъ, а всѣ были сыты, обуты, одѣты, а иногда и пьяны. Обыватели же гордились своими начальниками и говорили: у насъ взятокъ не берутъ! наши начальники „слово“ знаютъ!

Одинъ городничій говаривалъ:

— Я одной рукой беру, а другой—отдаю! развѣ это взятка?

— Какъ же это выходитъ у васъ, Христофоръ Иванычъ?—спрашивали его однажды сослуживцы, которые обѣими руками брали и ни одною не отдавали.

— Очень просто,—отвѣтилъ онъ.—Сейчасъ деньги получу, и сейчасъ же на нихъ какое-нибудь произведеніе куплю. Стало быть, что̀ изъ народнаго обращенія выну, то и опять въ народное же обращеніе пущу.

И когда всѣ подивились его мудрости, то прибавилъ:

— Тоже самое, что̀ казна дѣлаетъ. Съ мужичковъ деньги беретъ, да мужичкамъ же ихъ назадъ отдаетъ.

Съ тѣхъ поръ въ городѣ Добромысловѣ никто не говорилъ: „брать взятки“, а говорили: „пускать деньги въ народное обращеніе“.

Одинъ городничій охотникъ былъ до рыбы. Придетъ на садо̀къ и скажетъ рыбнику:

— Стерлядки у тебя, я слышалъ, Герасимъ, хороши?

— Есть тотъ грѣхъ, вашескородіе.

— Уху соорудить можешь?

— Можно, вашескородіе.

— А вѣдь къ ухѣ-то, пожалуй, и обстановочку пристойную нужно?

— И это въ нашихъ рукахъ, вашескородіе.

— Валяй!

Съѣстъ уху, выпьетъ пристойную обстановку, щелкнетъ языкомъ и уйдетъ.

А Герасимъ ему въ догонку:

— Ангелъ!

Городничій Ухватовъ во всей губерніи славился своимъ безкорыстіемъ.

Однажды вечеромъ пришли къ нему два мѣщанина съ взаимной претензіей.

Нашли они оба разомъ на дорогѣ червонецъ. Одинъ говоритъ: я „пер-

вый увидѣлъ", другой: „а я первый поднялъ!" И оба требовали, чтобы Ухватовъ ихъ разсудилъ.

Тогда Ухватовъ сказалъ:

— Вотъ что̀, ребята. Положите вы этотъ червонецъ ко мнѣ на божницу. Ежели онъ ночь пролежитъ и цѣлъ останется — значитъ, вы оба правы, и должны раздѣлить червонецъ пополамъ; ежели же онъ исчезнетъ, то, значитъ, вы оба неправы, и сама судьба не хочетъ, чтобы кто-нибудь изъ васъ воспользовался находкой.

Такъ и сдѣлали.

Прошла ночь, наступило утро; хвать-похвать — нѣтъ червонца! Рѣшили: такъ-какъ червонецъ исчезъ — стало быть, оба мѣщанина неправы.

Съ тѣхъ поръ и мѣщане, и купцы валомъ повалили на судъ къ Ухватову. И онъ всѣ дѣла рѣшалъ по одному образцу. Но этого мало: даже тѣ чины, которые прежде дѣла рѣшали за взятки — и тѣ перестали мздоимствовать и начали поступать по примѣру Ухватова.

А губернаторъ, узнавши о семъ, говорилъ: — Молодецъ Ухватовъ!

Одинъ городничій тоже славился безкорыстіемъ, а сверхъ того любилъ Богу молиться и ни одной церковной службы не пропускалъ. И Богъ ему за это посылалъ.

Увидѣвши, что городничій взятокъ не беретъ, а между тѣмъ пить-ѣсть ему надобно, обыватели скоро нашли средство, ка̀къ этому дѣлу помочь. Кому до городничаго дѣло есть, тотъ купитъ просвирку, вырѣжетъ на донышкѣ мякишъ, да и сунетъ туда по силѣ-возможности: кто золотой, кто ассигнацію. А городничій просвирѣ всегда очень радъ. Начнетъ кушать и вдругъ — ассигнація!

— Домнушка! дѣти! — кликнетъ онъ домочадцевъ: — посмотрите-ка, что̀ намъ Богъ послалъ!

И всѣ радуются.

А однажды такъ въ рыбѣ четыре золотыхъ нашелъ — то-то были радости!

И что-жъ! даже тутъ нашлись завистники. Узналъ стряпчій, что городничій просвиры съ ассигнаціями ѣстъ — сталъ доносомъ грозить. Но тутъ ужъ обыватели городничаго выручили: начали по двѣ просвирки носить. Одну для городничаго, другую — для стряпчаго. И по двѣ рыбы.

И опять настала въ городѣ тишь да гладь, да божья благодать.

Одинъ городничій дочь замужъ выдавалъ, а передъ этимъ онъ только-что взятки пересталъ брать. Говорила ему жена: „рано ты, Антонъ Антонычъ, на покой собрался!" — а онъ не послушался. Заладилъ: „будетъ!" — и свадьбу дочери изъ вида упустилъ.

Вотъ когда дѣло съ женихомъ ужъ сладилось, и надо было приданое готовить, жена и начала къ нему приставать: „говорила я тебѣ, что рано ты на покой собрался!" А черезъ часъ еще: „говорила я тебѣ, что рано"... А черезъ два часа опять: „говорила я тебѣ"... Да такимъ образомъ черезъ часъ по

ложкѣ. Долбила да долбила, и до того додолбилась, что ошалѣлъ городничій. Самому жалко стало.

И вотъ взмолился онъ: „Просвѣти, Боже, сердца краснорядцевъ, бакалейщиковъ, погребщиковъ, мясниковъ и рыбниковъ! И научи ихъ! Дабы не во взятку, но въ приношеніе, и не по принужденію, а отъ сердца полноты!“

И молитва его была тайная, только слышалъ ее квартальный надзиратель.

И что же! не прошло двухъ дней, какъ краснорядцы цѣлые вороха матерій городничихѣ нанесли, погребщики — ящики съ винами, бакалейщики —кульки бакалеи всякой, а откупщикъ—тысячу рублей прислалъ!

Сыгралъ городничій свадьбу на славу и вслѣдъ затѣмъ въ отставку вышелъ. „Это, говоритъ, моя лебединая пѣсня была!“

Вскорѣ послѣ этого онъ тутъ же подъ городомъ и имѣньице купилъ, и теперь земскимъ дѣятелемъ по выборамъ служитъ и всѣмъ разсказываетъ, какъ онъ несчастливъ былъ, когда взятки бралъ, и какъ былъ потомъ вознагражденъ, когда пересталъ взятки брать.

— То ли дѣло,—говоритъ:—какъ на совѣсти-то ни пятнышка! Встрѣтишься съ обывателемъ—прямо ему въ глаза смотришь!

Одинъ городничій плавать не умѣлъ, а купаться любилъ. Только пошелъ онъ однажды купаться и началъ тонуть, а мѣщанинъ, стоявшій на берегу, бросился въ воду и вытащилъ его. За это городничій далъ мѣщанину цѣлковый, но онъ отъ награды отказался, только рюмку водки выпилъ.

Прошло послѣ того много лѣтъ; мѣщанинъ проворовался и тоже сталъ тонуть. То-есть не въ рѣкѣ тонутъ, а въ купели, называемой уложеніемъ о наказаніяхъ. Городничій же, вспомнивъ его прежнюю заслугу, не только изъ купели его вытащилъ, но и отказался отъ пяти рублей, которые мѣщанинъ хотѣлъ ему подарить изъ украденныхъ денегъ.

— Не надо мнѣ твоихъ денегъ,—сказалъ городничій:—сдѣлайся честнымъ человѣкомъ—вотъ чѣмъ ты меня лучше всего отблагодаришь.

— Рады стараться, вашескородіе!—отвѣчалъ воръ.

Одного городничаго спрашивали:

— Берете вы взятки, Иванъ Парамонычъ?

— Никогда!!

Вотъ цѣлыхъ восемь характеристикъ. Я могъ бы представить и больше, но полагаю, что и этого достаточно. Не буду впрочемъ преувеличивать. Безспорно, что были и между городничими взяточники (какъ о томъ устныя преданія и доднесь свидѣтельствуютъ), но не всѣ. Вотъ это-то обыкновенно и упускается изъ виду господами-обличителями. Сверхъ того, многіе изъ бравшихъ взятки раскаялись, а это тоже необходимо принимать въ разсчетъ для полноты картины. Вообще же, мнѣ кажется, слѣдуетъ принять за правило:

описывать только то, что хорошо и благородно. Этого же правила не лишне держаться и въ живописи: съ персонъ, обладающихъ физіономіями чистыми и пріятными—писать портреты, а персонъ, обладающихъ физіономіями нелицепріятными, обезображенными золотухой, оспой, накожными сыпями и проч. — оставлять безъ портретовъ. Такой образъ дѣйствія и начальству удовольствіе доставитъ, и самому описателю дастъ возможность многіе годы прожить благополучно. Какая польза напоминать о взяткахъ и обдираніяхъ, когда взятое давнымъ-давно проѣдено, а ободранное вновь заросло лучше прежняго? А еще того лучше: совсѣмъ ничего не писать. Было же время, когда ни о чемъ ничего не писали — и всѣ были благополучны. Потомъ наступило время, когда *обо всемъ* и *все* начали писать — и „вотъ къ чему" привели! Такъ не пора ли и опять на прежнюю колею вступить — можетъ быть, и опять мы благополучны будемъ?

Вотъ это-то именно я теперь и понялъ.

— Для чего же вы заводите рѣчь о чиновничьихъ добродѣтеляхъ, коли сами сознаете, что лучше совсѣмъ ничего объ нихъ не писать? быть можетъ спроситъ меня благосклонный читатель. — А для того, отвѣчу я, чтобы исправить мою репутацію. Сначала эту задачу выполню, а потомъ и совсѣмъ брошу. Я знаю, что задача эта не весьма умная, но вѣдь глупыя дѣла бываютъ въ родѣ повѣтрія. Глупые фасоны вышли — вотъ и все. Но ежели глупые фасоны застрянутъ на неопредѣленное время, тогда, разумѣется, придется совсѣмъ бросить и бѣжать куда глаза глядятъ...

Затѣмъ перехожу къ другимъ чинамъ, о доблестяхъ которыхъ тоже могу поразсказать достаточно.

Въ до-реформенное время почти всѣ служебныя должности, и въ администраціи, и по судебному вѣдомству, занимались, въ губерніяхъ и уѣздахъ, по выбору отъ дворянства. Поэтому, все было тогда благородно. Крѣпостное право тоже не мало этому споспѣшествовало, такъ какъ, благодаря ему, всякій благородный человѣкъ, въ сущности, былъ и должностнымъ лицомъ. Правилъ насчетъ благородства никакихъ не было, а просто предполагалось, что отъ благородныхъ людей слѣдуетъ ожидать благородныхъ поступковъ. Все остальное дѣлалось само собой, въ силу искони сложившихся обстоятельствъ, и дѣлалось хорошо и прочно. Тишина была и благорастворенiе. Протесты прорывались рѣдко—и оканчивались наказаніями на тѣлѣ; насильственные поступки совершались еще рѣже—и оканчивались отдачею въ солдаты, ссылкой въ Сибирь, каторгой и т. п. Благородные люди не входили другъ съ другомъ въ соглашеніе, и тѣмъ не менѣе гармонія была полная. Не было ни съѣздовъ, ни обмѣна мыслей, ни возбужденія и разрѣшенія вопросовъ, а всякій понималъ свое дѣло столь отлично, какъ будто сейчасъ со съѣзда пріѣхалъ. Каждый дѣйствовалъ за себя лично, но эти личныя дѣйствія сливались въ одномъ согласномъ хорѣ, въ которомъ ни единаго диссонанса не было слышно. Удивительное это было время, волшебное, и называлось оно *порядкомъ вещей*. Нѣчто въ родѣ громаднаго сосуда, въ которомъ безразлично были намѣшаны и лакомства, и свиное сало, и купоросное масло. Ничего разобрать было нельзя, но именно потому эта смѣсь и была такъ устойчива.

Неудивительно, что волшебныя эти времена оставили въ избранныхъ душахъ благодарныя воспоминанія. Еще менѣе удивительно, что въ средѣ этихъ избранниковъ прорывается стремленіе возстановить эти времена и возвратиться къ тому спокойному и величаво-благородному жизненному теченію, которое составляло ихъ существенное обаяніе. Кому не мило благородство? Кому не дорога тишина? Помилуйте! да не изъ-за этого ли мы всѣ и бьемся!

Къ сожалѣнію, избранники обыкновенно упоминаютъ при этомъ о какомъ-то дворянскомъ принципѣ. Тогда, дескать, дворянскій принципъ господствовалъ—оттого и было всѣмъ хорошо. Возстановимте опять этотъ принципъ—и опять будетъ всѣмъ хорошо.

Но это не такъ. Во времена, о которыхъ идетъ рѣчь, никакихъ принциповъ не было—вотъ отчего было всѣмъ хорошо. Это-то именно и называлось *порядкомъ вещей*. Существовала, какъ я уже сказалъ выше, смѣсь, до того непроницаемая, что ни расчленить составные ея элементы, ни анализировать ихъ было невозможно. Или нѣчто въ родѣ запертой пагоды, безъ оконъ и дверей, въ которой хранились никому неизвѣстныя и недоступныя письмена.

Повторяю: желаніе возвратить утерянный рай заслуживаетъ полнаго сочувствія, ибо нельзя себѣ представить ничего болѣе блаженнаго, нежели райское житіе. Но для того, чтобы достигнуть этой цѣли, прежде всего необходимо воздержаться отъ нѣкоторыхъ проявленій пытливости, которыя сами по себѣ составляютъ новшество, несовмѣстимое съ *порядкомъ вещей*. Мы ищемъ освободиться отъ новшествъ, замутившихъ нашу жизнь, и въ то же время сами прибѣгаемъ къ наиболѣе пагубному изъ этихъ новшествъ: къ пытливости — развѣ это логично?

Не надо пытаться проникнуть въ запертую пагоду, ибо проникновеніе предполагаетъ отпертую или даже—чего Боже сохрани!—взломанную дверь. Разъ что дверь отперта, или—чего Боже сохрани!—взломана, кто можетъ поручиться, что въ нее не войдутъ такіе „сторонніе люди“, которые сразу разгадаютъ смыслъ хранящихся въ пагодѣ письменъ и переведутъ ихъ на языкъ, не имѣющій ничего загадочнаго? Равнымъ образомъ не слѣдуетъ заводить разговора и о принципахъ, потому что принципъ никогда не является въ одиночку, а всегда въ сопровожденіи цѣлой свиты. Мы будемъ хлопотать о возрожденіи и укрѣпленіи принципа дворянскаго, а рядомъ съ нимъ возникнетъ принципъ анти-дворянскій, о которомъ тоже будутъ хлопотать. А за этимъ принципомъ появятся и другіе принципы, которыхъ тоже будутъ хлопотать. И выйдетъ въ результатѣ нѣчто совсѣмъ неожиданное, а именно: преслѣдуя идеалы тишины и благоустройства, мы вмѣсто нихъ получимъ борьбу, свару, междоусобіе...

И такъ, „впередъ безъ страха и сомнѣнья!“ Но осторожно. Ни пытливости, ни принциповъ. И главное чтобы безъ шума; чтобы никто ни о чемъ никому нигугу. Чтобы какъ яичко въ Христовъ день: на́, кушай! Великія предпріятія, какъ и великія мысли, въ тишинѣ зрѣютъ. Пререканія же, а тѣмъ паче остервенѣлая полемика, насквозь пронизанная озлобленіемъ и ненавистью, только погубляютъ ихъ.

Но будетъ ли успѣхъ? —на это я вполнѣ достовѣрнаго отвѣта дать не

могу. Я могу только горѣть восторгомъ и признательностью, но отъ компетентности, въ смыслѣ разгадыванія загадокъ, уклоняюсь.

Одно меня смущаетъ: какъ поступить съ тѣми новыми явленіями и требованіями, которыя народились уже послѣ упраздненія „порядка вещей“ и въ рамки послѣдняго, судя по всѣмъ видимостямъ, втиснуты быть не могутъ?

Что̀ дѣлать съ новыми судами, съ земскими учрежденіями, съ желѣзными дорогами, банками и т. п.?

Впрочемъ съ судами уладиться еще легко. Судебный персоналъ размѣстить, причислить и отчислить. Адвокатовъ — распихать. А земство такъ даже очень радо будетъ. Опять свой персикъ, свой арбузъ, своя буженина, свои повара, свои садовники, кучера, доѣзжачіе... умирать не надо!

Но желѣзныя дороги? но банки? какъ съ ними поступить?

Совсѣмъ не слѣдовало бы желѣзныя дороги строить, да и банки не надо бы дозволять. Вотъ тогда былъ бы настоящій палладіумъ. Но такъ какъ дороги ужъ выстроены, а банки учреждены, то ничего съ этимъ не подѣлаешь.

Сколько сутолоки изъ-за однѣхъ желѣзныхъ дорогъ на Руси развелось! сколько кукуевскихъ катастрофъ! Спѣшатъ, бѣгутъ, давятъ другъ друга, кричатъ караулъ, изрыгаютъ ругательства... поѣхали! И вдругъ... паровозъ на дыбы! На встрѣчу другой... прямо въ лобъ! Батюшки! да никакъ смерть!

Или банки: объявленія печатаютъ, заманиваютъ, балансы подводятъ — къ намъ пожалуйте, къ намъ! Со всѣхъ концовъ рубли такъ и плывутъ! рубли потные, захватанные, вымученные! Попы несутъ свои сбереженія... попы!! И вдругъ... трахъ!! Украли и убѣжали! деньги-то гдѣ же, деньги-то? Украли и убѣжали! Господи! да никакъ смерть!

Стоило ли дороги строить? стоило ли банки заводить?

А между тѣмъ какой запасъ распорядительности, ума и мышечной силы нужно имѣть, чтобъ все это направить, за всѣмъ усмотрѣть? И все-таки ничего не направить и ни зачѣмъ не усмотрѣть... Сколько муки нужно принять, чтобъ только по вагонамъ-то всѣхъ разсадить, а потомъ кого слѣдуетъ, за невѣжество, изъ вагоновъ высадить — да въ участокъ, да къ мировому!

Но этого мало. Во всѣхъ странахъ желѣзныя дороги для передвиженій служатъ, а у насъ, сверхъ того, и для воровства. Во всѣхъ странахъ банки для оплодотворенія основываются, а у насъ, сверхъ того, и для воровства.

Однако воровать вѣдь не дозволяется — это хоть у кого угодно спросите. Стало быть, и за этимъ надобно присмотрѣть. Запустилъ еврей Мошка лапу — надобно его изловить и въ полицію съ поличнымъ представить. Заигралъ Губошлеповъ мозгами — надо эти вредные мозги изъ него вынуть и тоже куда слѣдуетъ представить.

Могъ ли „порядокъ вещей“ удовлетворить этимъ требованіямъ? Увы! какъ это ни прискорбно для моего сердца, но я, не обинуясь, отвѣчаю: не могъ!

„Порядокъ вещей“ исходилъ изъ тишины и безпрекословія. Всякая сутолока, всякое движеніе были противны самой природѣ его. Я думаю, что

онъ даже „публику“ не былъ бы въ состояніи чередомъ по вагонамъ разсадить. Всякій изъ этой „публики“ чего-то *своего* ищетъ, всякій резоны предъявляетъ; а „порядокъ вещей“ ни исковъ, ни резоновъ не допускалъ. Что же касается до воровства, то объ немъ и говорить нечего „Порядокъ вещей“ вѣдалъ воровъ простыхъ, смирныхъ и безпрекословныхъ, а попробуйте-ка изловить Мошку и Губошлепова! Первый скажетъ: „я не воровалъ, а только лапу запустилъ!“ второй: „я не воровалъ, а мозгами игралъ!“ А неподалечку и адвокаты стоятъ, кассаціонныя рѣшенія подъ мышкой держатъ. Попытайтесь доказать имъ, что „играть мозгами“ —это-то и есть оно самое: „воровать“...

Я не скажу, конечно, чтобы все это могъ предотвратить и „безпорядокъ вещей“, но и „порядокъ“... Нѣтъ, для того, чтобъ желѣзныя дороги были желѣзными дорогами, а банки—банками, что-то совсѣмъ особливое нужно. А что̀ именно—ей-Богу, не знаю.

На дняхъ случилось мнѣ объ этомъ предметѣ бесѣдовать съ однимъ опытнымъ инженеромъ.

— Какъ вы думаете, Филаретъ Михайлычъ,—спросилъ я его:—отчего у насъ, въ особенности по вашей части, такое нещадное воровство пошло?

— Голубчикъ! да какъ же не воровать? — отвѣчалъ онъ: — во-первыхъ, лежитъ; во-вторыхъ, всякому сладенько пожить хочется; а въ-третьихъ —вообще...

— Однакожъ прежде о такихъ неистовыхъ воровствахъ не слыхать было?

— Прежде, мой другъ, вообще было тише. Дѣла были маленькія -- и воровства маленькія. А нынче дѣла большія — и воровства пошли большія. Suum cuique.

— Воля ваша, а это безобразно!

— Нельзя иначе: сама жизнь пошла въ ширь. Прежде и на три рубля можно было себѣ удовольствіе доставить; а нынче ежели у кого нѣтъ сію минуту въ карманѣ пятисотъ, тысячи рублей, того всѣ кокотки несчастливцемъ почитаютъ. Жиды, мой другъ, въ гору пошли, а около нихъ ужъ и наши привередничаютъ. А сверхъ того и монетная единица. Ассигнаціи вѣдь, мой другъ, у насъ--ну, а что̀ такое ассигнаціи?

Ну, что̀ вы! вѣдь это тоже своего рода мѣновой знакъ!

— Много ихъ уже очень. Такъ много, такъ много, что пригоршнями ихъ во всѣ стороны швыряютъ, а все имъ конца-краю нѣтъ. Какъ ассигнацію-то „онъ“ зажалъ въ руку, ему и кажется, что никакого тутъ воровства нѣтъ, а просто „ничьи деньги“ проявились.

-- Но вѣдь нужно же когда-нибудь положить предѣлъ этой больной фантазіи!

-- А какъ вамъ сказать? Встарину, бывало, мы этого предѣла отъ смягченія нравовъ ждали. Молодо было, зелено. Думалось, что когда вообще нравственный уровень повысится, тогда и воровство само собой уничтожится.

— Ну-съ?

-- Ну, и ждали. Годы ждали — нѣтъ смягченія нравовъ! стали еще

годы ждать — опять нѣтъ смягченія нравовъ!.. Да такъ иные и посейчасъ ждутъ.

— Но почему же его нѣтъ, этого смягченія нравовъ?

— Да формъ, должно быть, такихъ еще не народилось, при помощи которыхъ смягченіе нравовъ совершиться можетъ—только и всего.

— Допустимъ. Но развѣ, независимо отъ формъ, нельзя какія-нибудь мѣры придумать?

— Придумать, конечно, можно. Кары, напримѣръ, и притомъ самыя суровыя. Только вотъ насчетъ дѣйствія, которое эти мѣры возъимѣть могутъ —сомнительно...

— Помилуйте! да вѣдь это гнусность, это, наконецъ, предательство! Вѣдь они Россію, отечество свое, эти негодяи, продаютъ! Не крадутъ они, а кровь сосутъ, жилы тянутъ! Висѣлицы мало за это!

— Висѣлица—это дѣйствительно средство радикальное. Но вопросъ, когда „его“ вѣшать, *до* или *по*? Ежели, напримѣръ, инженера мостъ строить послать и предварительно повѣсить — некому будетъ мостъ строить. Ежели дозволить ему *сперва* мостъ построить, а *потомъ* повѣсить — какой же ему будетъ разсчетъ стараться? Ахъ, голубчикъ! коли начать вѣшать, такъ вѣдь до Москвы, пожалуй, не перевѣшаешь!

. . . .

— Ну, а вы сами, Филаретъ Михайлычъ... повинны? — полюбопытствовалъ я.

— Я? никогда! Копѣйкой казенной я не попользовался! Я вотъ какъ: копѣйку истратилъ — сейчасъ же ее на бумажку записалъ, а къ вечеру ужъ отчетъ отдалъ: смотри! Сохрани меня Богъ!

— Однакожъ и вы... нечего сказать, чистенько живете! И обстановочка, и домикъ, и имѣньице, и все такое... А вѣдь у васъ, помнится, какъ на первую-то канавку вы вышли...

— Знаю: одни штаны были...—отвѣтилъ онъ скромно:—но мнѣ Богъ послалъ! Выроешь, бывало, канавку, воротишься домой, а жена говоритъ: „другъ мой! намъ Богъ пять тысячъ послалъ!“ Или мостокъ выстроишь, а жена опять на встрѣчу бѣжитъ: „другъ мой! намъ Богъ десять тысячъ послалъ!“ Помаленьку да потихоньку—глядишь и обставился...

Но обратимся къ прерванному разсказу.

Первое мѣсто въ уѣздной чиновной іерархіи и прежде занимали, и теперь занимаютъ предводители дворянства. Но нынче завелись какіе-то „независимые“, которые къ предводителямъ относятся довольно равнодушно, а въ прежнее время никакой независимости и въ заводѣ не было, такъ-что предводитель дворянства въ своемъ уѣздѣ былъ подлинно козырный тузъ. Онъ распоряжался земскою полиціей; онъ вліялъ на рѣшенія суда; онъ аттестовалъ уѣздныхъ чиновъ; онъ кормилъ губернатора во время ревизій. Нерѣдко однакожъ между губернаторомъ и предводителемъ зарождались „контры“; губернаторъ говорилъ: „я здѣсь хозяинъ!“ а предводитель говорилъ: „я самъ моего государя слуга!“—и расходились врагами. Тогда пред-

водитель начиналъ мутить уѣздъ, и душевное равновѣсіе губернатора на время нарушалось. Въ подобныхъ случаяхъ на сцену обыкновенно выступалъ губернскій предводитель, объявлялъ губернатору, что „такъ нельзя“, что дворянство—„опора“, и губернаторъ смирялся.

Какъ я уже объяснилъ выше, въ до-реформенное время всего болѣе цѣнилась тишина. О такъ-называемомъ развитіи народныхъ силъ и народнаго генія только въ литературѣ говорили, да и то шепоткомъ, а объ тишинѣ — вездѣ и вслухъ. Но тишина могла быть достигнута только подъ условіемъ духовнаго единенія властей. Такого единенія, при которомъ всѣ власти въ одну точку смотрятъ, и ни о чемъ, кромѣ тишины, не думаютъ. Отвѣчали за эту тишину губернаторы; предводители же ни за что не отвѣчали, а только носили бѣлые штаны. И за всѣмъ тѣмъ, въ виду тишины, первые даже не вполнѣ естественнымъ требованіямъ послѣднихъ вынуждены были уступать.

Типъ до-реформеннаго предводителя былъ довольно запутанный, и нельзя сказать, чтобъ русская литература выяснила его. Въ общемъ литература относилась къ нему не столько враждебно, сколько съ юмористической точки зрѣнія. Предводитель изображался неизбѣжно тучнымъ, съ ожирѣлымъ кадыкомъ и съ обширнымъ брюхомъ, въ которомъ безъ вѣсти пропадало всякое произведеніе природы, которое можно было ложкой или вилкой зацѣпить. Предполагалось, что предводитель безпрерывно ѣстъ, такъ что и на портретахъ онъ писался съ завязанною вокругъ шеи салфеткою, а не съ книжкой въ рукахъ. Равнымъ образомъ выдавалось за достовѣрное, что онъ не имѣетъ никакого понятія о борьбѣ христиносовъ съ карлистами, а изъ географіи знаетъ только имена тѣхъ городовъ, въ которыхъ что-нибудь закусывалъ („а! Крестцы! это гдѣ мы поросенка холоднаго съ Семенъ Иванычемъ ѣли! знаю!“). Что онъ упоренъ, глухъ къ убѣжденіямъ и вмѣстѣ простодушенъ. Что онъ не умѣетъ отличить правую руку отъ лѣвой, хотя крестное знаменіе творитъ правильно, правой рукой. Что онъ ругатель, и на то, что изъ устъ выходитъ, не обращаетъ никакого вниманія. Что онъ способенъ проѣсть безчисленное количество наслѣдствъ, а кромѣ того жену и свояченицъ. Что вообще это явленіе апокалипсическое, отъ вѣковъ уготованное, неизбѣжное и неотвратимое. Въ родѣ египетской тьмы.

Вотъ въ какомъ видѣ до-реформенный предводительскій типъ возведенъ въ перлъ созданія даже такими несомнѣнно благосклонными къ дворянству беллетристами, какъ Загоскинъ и Бегичевъ (авторъ „Семейства Холмскихъ“).

Несмотря однакожъ на всю талантливость и кажущуюся вѣрность подобныхъ художественныхъ воспроизведеній, я съ ними согласиться не могу. Я и самъ не мало виноватъ въ такого рода юмористическихъ изображеніяхъ, но *теперь* вполнѣ сознаю свою ошибку. Были, конечно, „такіе“ предводители, но *не всѣ*. Audiatur et altera pars.

Я зналъ одного предводителя, который имѣлъ такія обаятельныя манеры и такой просвѣщенный умъ, что когда просилъ взаймы денегъ, то никто не въ силахъ былъ ему отказать. Такимъ образомъ онъ чуть не всей губер-

ніи задолжалъ, и хотя не подавалъ ни малѣйшей надежды на уплату, но обаянія своего до конца не утратилъ.

Однажды пріѣзжаетъ онъ къ извѣстному во всей губерніи скрягѣ-помѣщику, къ которому онъ и самъ дотолѣ обращаться считалъ безполезнымъ. Скупецъ—какъ увидѣлъ изъ окошка предводительскій экипажъ, такъ сейчасъ же понялъ. Хотѣлъ зарѣзаться, но бритвы не нашелъ. Побѣжалъ приказать, чтобъ не принимали гостя—а онъ ужъ въ залѣ стоитъ! Сѣли, начали говорить. Пяти-шести фразъ другъ другу не сказали—и вдругъ:

— Денегъ, Иванъ Петровичъ! до зарѣзу денегъ нужно!

— Какія, вашество, у меня деньги!—заметался Иванъ Петровичъ:—на хлѣбъ да на квасъ...

А онъ ему вмѣсто отвѣта—процентъ!

Процентъ да процентъ—такъ ошеломилъ скрягу, что онъ сначала закуску велѣлъ подать, а немного погодя и въ шкатулку полѣзъ.

Словомъ сказать, отъ кремня, который нищему никогда корки не подалъ, цѣлый кусъ увезъ!

Но этого мало. Совершивъ этотъ подвигъ и понабравъ еще кой-гдѣ изрядную сумму денегъ, обаятельный предводитель... вдругъ исчезъ!

Туда-сюда. Сначала прошелъ слухъ, что его въ Баденъ-Баденѣ за рулеткой видѣли, потомъ будто бы въ Парижѣ, въ Ниццѣ, въ Монте-Карло... И наконецъ что̀ жъ оказалось? что̀ онъ послѣднія денежки спустилъ, и гдѣ-то во Франціи, на границѣ Швейцаріи, гарсономъ въ ресторанъ поступилъ.

Разумѣется, русскіе путешественники валомъ повалили къ нему.

— Мемнонъ Захарычъ! ты?

— Онъ самый; садитесь-ка поближе, вотъ за этотъ столъ. Я вамъ такого пуле́-о-крессонъ подамъ, что вѣкъ будете Мемношку помнить!

И точно: подастъ на славу и скажетъ:

— Если всего не одолѣете, такъ не плюйте въ тарелку, а мнѣ отдайте. Я крылышко съѣмъ.

Скажите по совѣсти: ну, какъ „своему брату“ лишняго франка на водку не дать!

И давали ему, такъ что онъ во время „сезона“ по 30—40 франковъ въ день получалъ. Но онъ былъ благороденъ, и деньги у него не держались.

И я его прошлымъ лѣтомъ видѣлъ въ Уши́. Стоитъ на пристани съ салфеткой въ рукахъ и парохода поджидаетъ.

— Мемнонъ Захарычъ! какими судьбами?—воскликнулъ я.

— Политическій...—пробормоталъ онъ, слегка смутившись.

Однакожъ я на эту удочку не поддался.

— Стыдитесь, сударь,—сказалъ я ему строго:—что̀ затѣяли! Да по моему мнѣнію, лучше тысячу разъ чужія деньги изъ кармана украсть, нежели одинъ разъ въ политическое недоразумѣніе впасть!

Та̀къ онъ и отошелъ, не солоно хлѣбавши. Далъ я ему на водку франкъ —и баста.

Но что̀ всего примѣчательнѣе: всю ясность ума сохранилъ. Какъ только начнутъ его кредиторы въ Уши́ ловить — онъ на пароходѣ въ Евіанъ, на

французскій берегъ переплыветъ, и тамъ пурбуары получаетъ. Какъ только кредиторы въ Евіанъ квартиру перенесутъ — онъ шмыгъ въ Ушй, и былъ таковъ!

А говорятъ еще, что предводители правую руку отъ лѣвой отличить не умѣли! Да дай Богъ всякому!

Одинъ предводитель былъ такъ уменъ, что самъ своему апетиту предѣлъ полагалъ. Поставятъ, бывало, передъ нимъ окорокъ — онъ половину съѣстъ и скажетъ:

— Баста, Сашка! остальное до завтрева!

И больше ужъ не ѣстъ.

Благодаря этому, онъ дожилъ до преклонныхъ лѣтъ и умеръ своею смертью, а не напрасною.

И дѣтямъ своимъ завѣщалъ: „лучше продолжительное время каждый день по полъ-окорока съѣдать, нежели заразъ цѣлый окорокъ истребить и за это поплатиться жизнью".

Одинъ предводитель твердостью души отличался. Когда объявили эмансипацію, онъ у всѣхъ спрашивалъ:

— А какъ же наши права?

Насилу его убѣдили.

Одинъ предводитель видѣлъ во снѣ, что онъ на сосну влѣзъ, и что покуда онъ лѣзъ, у подошвы сосны цѣлое стадо волковъ собралось. Словомъ сказать, влѣзть—влѣзъ, а слѣзть не смѣетъ.

Проснувшись на утро, онъ хотѣлъ отгадать, что̀ означаетъ этотъ сонъ, но не отгадалъ.

Посторонніе же, видя его усилія, говорили: „вотъ онъ хоть и предводитель, а какая въ немъ пытливость ума!"

Не стану далѣе множить примѣры, потому что я пишу не статистику предводительскихъ добродѣтелей, а только дѣлаю небольшія изъ нея извлеченія, доказывающія, какъ я до сихъ поръ былъ легкомысленъ и несправедливъ. Что же касается до взятокъ, то въ этомъ отношеніи предводители пользовались вполнѣ заслуженною репутаціей безкорыстія. Исключеніе составляли лишь тѣ, которые во время ополченія допускали замѣну въ ратническомъ сапогѣ подошвы картономъ, а равнымъ образомъ тѣ, кои довольствовали ратниковъ гнилыми сухарями.

Были и такіе, но не всѣ.

О дореформенныхъ уѣздныхъ судьяхъ могу сказать лишь немногое, ибо это были наименѣе блестящіе чины того времени.

Въ уѣздные судьи большею частью выбирались небогатые и смирные

помѣщики изъ отставныхъ военныхъ. Или французъ подъ Бородинымъ изувѣчилъ, или турокъ часть тѣла повредилъ —милости просимъ! Лишь бы разсудокъ не подлежалъ освидѣтельствованію, да и это соблюдалось только потому, что уѣздный стряпчій (ежели онъ кляузникъ) можетъ донести. Вообще на присутствія уѣздныхъ судовъ того времени даже серьезные люди смотрѣли въ родѣ какъ на богадѣльни, но канцеляріи судовъ называли „звѣринцами". О секретаряхъ говорили: „мерзавцы!" а о писцахъ: „разбойники съ большой дороги!" И боялись ихъ. Да впрочемъ и можно ли было не опасаться людей, которые получали полтинникъ въ мѣсяцъ жалованья?

Полтинникъ въ мѣсяцъ! вѣдь въ самомъ дѣлѣ тутъ было что-то волшебное...

Такой взглядъ на уѣздные суды обусловливался главнымъ образомъ тѣмъ, что для большинства дѣлъ они представляли лишь первую инстанцію. Думали: ежели уѣздный судъ напутаетъ, то уголовная или гражданская палаты опять напутаютъ, но за тѣмъ дѣло поступитъ въ сенатъ, гдѣ ужъ и воздадутъ suum cuique. Стало быть, наплевать. Но для чего при такихъ условіяхъ существовали суды и палаты?—этимъ вопросомъ никто не задавался, или, лучше сказать, махали на это дѣло рукою и говорили: „Христосъ съ ними!"

Несмотря на глухоту и другія увѣчья, уѣздные судьи въ большинствѣ случаевъ были люди добрые и сострадательные, а среди звѣриной обстановки, которая ихъ окружала, они просто казались чистыми голубями. Взятокъ имъ почти совсѣмъ не давали — секретари по дорогѣ все перехватывали — да убогому человѣку, по правдѣ сказать, немного и нужно. Развѣ что-нибудь изъ живности или изъ бакалеи, да и то не перваго сорта. Поэтому къ судьямъ рѣдко и въ гости ходили, да и ихъ въ гости рѣдко приглашали, такъ какъ въ карты они играли по такой „маленькой", что и счетъ свести трудно было.

Я помню, одному судьѣ кто-то изъ тяжущихся, по неопытности, возъ мерзлой рыбы прислалъ—такъ не только всѣ этому дивились, но и самъ онъ оробѣлъ. Выбралъ для себя пару подлещиковъ, „а остальное, говоритъ, должно быть, секретарю слѣдуетъ". И представьте, секретарь, несмотря на то, что уже свой возъ получилъ, и этотъ возъ—не посовѣстился, взялъ.

Нѣкоторые судьи прямо говорили тяжущимся: „зачѣмъ вы на насъ тратитесь! вѣдь все равно наше рѣшеніе уважено не будетъ! такъ лучше ужъ вы поберегите себя для гражданской палаты!" И что же, вмѣсто того, чтобъ умилиться надъ такой чертой самоотверженности, вмѣсто того, чтобъ сказать: „ну, Богъ съ тобой! будь сытъ и ты!" большинство тяжущихся буквально слѣдовало поданному совѣту, и даже приготовленнымъ уже подаркамъ давало другое назначеніе.

Положеніе уѣздныхъ судей было поистинѣ трагическое. Читаетъ, бывало, секретарь проектъ рѣшенія, а судья не понимаетъ. Такіе проекты тогда писались, что и въ здравомъ умѣ человѣку понять невозможно, а ежели кто раненъ, такъ гдѣ ужъ! Вотъ судья слушаетъ, слушаетъ, да и перекрестится. Думаетъ, что его лѣшій обошелъ.

— Подписывать-то, Семенъ Семенычъ, можно ли?—взмолится онъ къ секретарю.

— Съ Богомъ, Сергѣй Христофорычъ! подписывайте безъ сомнѣнія!

— Ну, будемъ подписывать. Господи благослови!

Возьметъ перо въ правую руку, а лѣвою локоть придерживаетъ, чтобы перо не разскакалось. Выведетъ: „Уездный судья Вислаухавъ“, и скажетъ:

—Слава Богу!

Но въ особенности съ уголовными приговорами маялись, потому что тамъ не только подписывать, но и *прописывать* нужно было. И прописывать-то все плети, да все трехвостныя, съ малою долею розгачей.

— Девяносто, что-ли, Семенъ Семенычъ?

— Девяносто, Сергѣй Христофорычъ.

— А поменьше нельзя? пятьдесятъ, напримѣръ?

— По мнѣ хоть награду дайте. Все равно, уголовная палата сполна пропишетъ.

— Ну-ну, что ужъ! Господи благослови!

Или:

— А этому, Семенъ Семенычъ, ничего?

— Ничего, Сергѣй Христофорычъ.

— Ну, слава Богу. Господи благослови!

Пропишетъ что слѣдуетъ, придетъ домой и женѣ разскажетъ.

— Вотъ, Ксеша, я въ нынѣшнее утро, въ общей сложности, восемьсотъ пятьдесятъ штукъ прописалъ!

— А что же такое! — отвѣтитъ Ксеша: — это вѣдь ты не отъ себя! сами виноваты, что начальства не слушаются. Начальство имъ добра хочетъ, а они—натко!

— Плетей вѣдь восемьсотъ-то пятьдесятъ, а не пряниковъ. А плети-то нынче ременныя, да объ трехъ хвостахъ. Вотъ какъ подумаешь: трижды восемьсотъ — двѣ тысячи четыреста, да трижды пятьдесятъ — полтораста, такъ оно...

— Ну-ну, жалѣльщикъ! ступай-ко водку пить, а то щи на столѣ простынутъ!

И шелъ добрый судья водку пить и щи хлебать, пока не простыли. А по праздникамъ, кромѣ того, въ церковь ходилъ и пирогомъ лакомился.

Въ большинствѣ случаевъ уѣздные судьи были люди семейные. Жены у нихъ были старыя-престарыя и тоже добрыя. Въ сущности, вѣдь и Ксеша огорчалась, что ея Сергѣй Христофорычъ „прописываетъ“, но утѣшала себя тѣмъ, что это онъ *не отъ себя*. „Сами виноваты, начальства не слушаютъ, а Сергѣй Христофорычъ развѣ можетъ!“

Секретарей судейши терпѣть не могли и всегда предостерегали мужей:

— Вотъ помяни мое слово, ежели онъ тебя не подведетъ!

— Ахъ, матушка!

Дѣтей у судей бывало много, но дома они не заживались. Съ раннихъ лѣтъ ихъ разсовывали на казенный счетъ по кадетскимъ корпусамъ и по сиротскимъ институтамъ, а по пришествіи въ возрастъ они уже сами о себѣ промышляли.

Дома оставалось лишь какое-нибудь безпомощное существо: или глухонѣмая дѣвица, или сынъ-дурачокъ.

Вообще типъ дореформеннаго судьи былъ однимъ изъ наиболѣе симпатичныхъ того времени, а необыкновенно малое содержаніе (даже по сравненію съ необыкновенно-малыми содержаніями чиновъ другихъ вѣдомствъ), которое получали уѣздные судьи, дѣлало ихъ положеніе въ высшей степени трогательнымъ. И за всѣмъ тѣмъ они не роптали и не завидовали.

Можно ли возвратиться къ этому типу отправленія правосудія и вновь водворить его въ нашу жизнь?—полагаю, что ежели приняться за дѣло чистенько и безъ шума, то можно. Во всякомъ случаѣ попытаться недурно. Но будетъ ли отъ этого польза?—ей Богу, не знаю.

Относительно исправниковъ и вообще чиновъ земской полиціи можно сказать то же самое, что и о городничихъ. Тѣ же общія положенія и тѣ же „истинныя происшествія“. Предметы ихъ дѣятельности были одинаковые, а стало быть и поводы для „истинныхъ происшествій“ тоже одинаковые; только районъ, въ предѣлахъ котораго распоряжались исправники, былъ обширнѣе.

Нареканій на земскую полицію дореформеннаго времени существовало не мало, но возникали они, большею частью, по поводу становыхъ приставовъ. Послѣдніе были дѣйствительно не весьма доброкачественны, хотя тоже не всѣ. Расквартированные по захолустьямъ, преимущественно въ селеніяхъ экономическихъ крестьянъ, вдали отъ образованнаго общества и хорошихъ примѣровъ, эти люди нерѣдко утрачивали человѣческій образъ, а вмѣстѣ съ нимъ и вѣру въ Провидѣніе и въ загробную жизнь. Не имѣя въ виду воздаянія, не понимая, что не только дѣйствія, но и мысли человѣческія не могутъ оставаться сокрытыми, они страшились лишь одного: чтобы о противозаконныхъ ихъ дѣйствіяхъ не было доведено до свѣдѣнія губернскаго начальства. Но и въ этомъ отношеніи они ежели и не были вполнѣ обезпечены, то стояли весьма благопріятно. Будучи опредѣляемы непосредственно центральною губернскою властью и олицетворяя собой единственный ея органъ въ уѣздѣ, они обыкновенно имѣли „руку“ въ губернскихъ правленіяхъ, и пользовались этой защитой не для благихъ и похвальныхъ цѣлей, но для удовлетворенія необузданности страстей. Нерѣдко случалось, что сами губернаторы втайнѣ имъ сочувствовали и называли ихъ излюбленными чадами, а судей, исправниковъ и городничихъ (послѣдніе опредѣлялись комитетомъ о раненыхъ) — пасынками. Казалось бы, столь лестное довѣріе начальства должно было обязывать; но, увы! оно давало пищу только гордости и самомнѣнію. Подъ вліяніемъ сихъ чувствъ, становые пристава въ скорости становились вмѣстилищами всевозможныхъ нравственныхъ изъяновъ. Правосудіе и трезвость были чужды ихъ душамъ. Съ утра наполненные винными парами, они перекочевывали съ мѣста на мѣсто, отъ одной границы уѣзда до другой, ни о чемъ не помышляя, кромѣ вымогательства. Исправники же, видя безобразія становыхъ, хотя и понимали, какъ это нехорошо, но были безсильны искоренить зло.

Встарину зло искоренялось опредѣленіями и увольненіями, да, кажется, и до сихъ поръ тѣми же способами искореняется. Уволить такого-то пьяницу, а на мѣсто опредѣлить такого-то пьяницу — вотъ и весь секретъ. А

такъ какъ становые пристава опредѣлялись и увольнялись губернскою властью, и притомъ нерѣдко въ пику власти, облеченной довѣріемъ дворянства, то понятно, какой источникъ недоразумѣній возникалъ отъ столкновенія этихъ двухъ противоположныхъ довѣрій. Но этого-то именно и не понимали становые пристава, то-есть не понимали, какъ это прискорбно и вредитъ дѣлу. Большинство ихъ положительно не стояло на высотѣ своей задачи. Вмѣсто того, чтобъ оправдывать довѣріе начальства, оно компрометировало его; вмѣсто того, чтобы подавать управляемымъ примѣръ воздержанія, трудолюбія и охоты къ просвѣщенію, оно наполняло окрестность легендами, содержаніемъ для которыхъ служила необузданность страстей, непреоборимая праздность и невѣжественность. А губернаторы, взирая на нихъ какъ на излюбленныхъ и увлекаясь теоретическими построеніями, думали, что коль скоро у центральной власти имѣются въ уѣздѣ свои собственные органы, то все обстоитъ благополучно. То-есть благополучнѣе, чѣмъ тогда, когда вмѣсто становыхъ приставовъ при земскихъ судахъ состояли дворянскіе засѣдатели.

Пишу я эти строки, а воспоминанія такъ и плывутъ мнѣ на встрѣчу. Смотришь, бывало, въ окошко — вотъ она, гать-то, на двѣ версты растянулась! — и вдругъ на этой самой гати показывается крестьянская тележонка парой, а въ тележонкѣ чье-то тѣло въ-растяжку лежитъ. Это *его* везутъ, куроцапа. Имя такое *ему* было, для всѣхъ вразумительное. Давно ли это было? давно ли „порядокъ вещей“ съ такою ясностью объ себѣ заявлялъ? И неужели мы такъ-таки и не воротимся къ нему?

Грустно.

Таковы были дореформенные становые пристава. Но, какъ я уже сказалъ выше, *не всѣ*.

Я зналъ одного становаго пристава, который, мучимый раскаяніемъ, удалился въ лѣсъ. Долгое время онъ питался тамъ злаками, не имѣя пристанища и не зная иного прикрытія, кромѣ старенькаго вицмундира, украшеннаго пряжкою за тридцать-пять лѣтъ. Но по времени онъ выстроилъ въ самой чащѣ хижину, въ которой предположилъ спасти свою душу. Скоро объ этомъ провѣдали окрестные раскольники и начали стекаться къ нему. Разнесся слухъ, что въ лѣсу поселился „мужъ святъ“, что отъ него распространяется благоуханіе, и что надъ хижиной его (которую уже называли „келіей“) по ночамъ виденъ свѣтъ. Мало-по-малу въ лѣсу образовался раскольничій скитъ, въ которомъ бывшій становой былъ много лѣтъ настоятелемъ подъ именемъ блаженно-мздоимца Арсенія. Затѣмъ обитатели скита образовали особенный раскольничій толкъ, подъ названіемъ „мздоимцевскаго“, а себя стали называть „мздоимцами“, въ отличіе отъ „перемазанцевъ“ и „перекувырканцевъ“. Но въ эпоху гоненія полиція узнала о существованіи скита и нагрянула. Арсенія заковали въ кандалы и заточили въ дальній монастырь, а „мздоимцевъ“ разселили по разнымъ мѣстамъ. Тамъ они всяко размножились: и съ помощью пропаганды, и естественнымъ путемъ сожитія. Такъ что теперь куда ни обернись — вездѣ „мздоимцы“. То-есть послѣдователи лжеблаженно-мздоимца Арсенія.

Я зналъ другого становаго пристава, который долгое время пилъ безъ просыпа, но потомъ вдругъ пересталъ и до конца жизни пилъ только квасъ.

Впрочемъ, признаюсь откровенно: только эти два примѣра я и зналъ. Но несомнѣнно, что найдутся люди, которые подобнаго рода „истинныхъ происшествій“ не мало знаютъ. Распубликованіемъ таковыхъ они премного меня одолжатъ.

Обращаюсь къ исправникамъ.

Общее положеніе. Исправники, какъ облеченные довѣріемъ господъ-дворянъ, вообще вели себя благородно.

— Намъ не съ кого брать, — говорилъ мнѣ одинъ исправникъ: — у насъ въ уѣздѣ все помѣщики: какъ съ своего брата возьмешь! Вотъ ежели выйдетъ случай, да съ временнымъ отдѣленіемъ въ экономическомъ селѣ задержишься—ну, тамъ дѣйствительно...

Такъ что ежели-бъ не было экономическихъ крестьянъ, да раздарили бы ихъ всѣхъ въ воздаяніе, то исправники были бы совсѣмъ невинны.

Въ исправники избирались лица мужескаго пола въ цвѣтѣ лѣтъ и силъ, отъ подпоручичьяго до маіорскаго чина включительно. Изъ нихъ штабсъ-ротмистры и ротмистры представляли самую желательную исправницкую среднюю величину. Молодость и присутствіе физической силы говорили объ отвагѣ, отвага же служила ручательствомъ, что довѣріе господъ-дворянъ будетъ оправдано. При такихъ исправникахъ злые трепетали, а добрые предавались мирнымъ занятіямъ.

Одинъ исправникъ хвалился, что у него въ уѣздѣ совсѣмъ воровъ нѣтъ.

— У меня нѣтъ воровъ, и не будетъ, — говорилъ онъ: —потому что воръ знаетъ, что не подъ судъ, а ко мнѣ въ руки попадетъ.

— Что̀ же вы съ ними дѣлаете, Никонъ Гаврилычъ?

— Да ужъ...

Онъ не договаривалъ, а только простиралъ руки. И всѣ безъ словъ понимали.

Другой исправникъ, допрашивая воровъ, надѣвалъ на нихъ такъ-называемый „стулъ“ (желѣзный ошейникъ съ прикрѣпленной къ нему желѣзной цѣпью, которая въ свою очередь прикрѣплялась къ тяжелому обрубку бревна), и когда ему замѣчали, что подобные допросы называются допросами съ пристрастіемъ и законами воспрещаются, то онъ отвѣчалъ:

— Такъ, по вашему, по головкѣ надобно гладить? „Иванъ Иванычъ! вы, мой другъ, лошадь у Пантелея Егорова украли?“ — Нѣтъ, не я-съ. — „Не вы-съ? ахъ, извините, пожалуйста, что васъ понапрасну задержали. Милости просимъ на всѣ на четыре стороны! воруйте сколько вашей душѣ угодно!..“ Ну, нѣтъ-съ, слуга покорный! Пускай филантропы въ уѣздномъ судѣ съ ними валандаются, а я... не могу-съ! По моему: попался и... говори! Гово-рри, каналья... расшибу! Всю подноготную, курицынъ сынъ, говори! Иначе какой же бы я былъ исправникъ!

Первый изъ приведенныхъ исправниковъ былъ штабсъ-ротмистръ, второй—ротмистръ. Слѣдовательно—въ самомъ соку. До штабсъ-ротмистрскаго чина еще мышцы въ человѣкѣ не вполнѣ крѣпки, а съ маіорскаго чина они ужъ слабѣть начинаютъ. Впрочемъ нерѣдко и между поручиками хорошіе исправники удавались.

Въ исправникѣ даже вліятельные помѣщики нужду имѣли, а потому онъ былъ въ помѣщичьихъ домахъ всегда желаннымъ гостемъ. Помѣщицы цѣнили въ немъ ротмистрскія статьи; помѣщики видѣли охрану и въ тоже время добраго товарища. Пріѣдетъ исправникъ —и у всѣхъ на душѣ весело. даже въ дѣвичьей пѣсни бойчѣе раздаются. Во-первыхъ, онъ всякія вѣсти привезетъ: и изъ уѣзда, и изъ губерніи, и даже изъ столицъ. Встарину я міровыя происшествія туго до помѣщичьихъ гнѣздъ доходили, а исправники изъ первыхъ рукъ, отъ почтмейстеровъ узнавали, да и развозили по уѣзду. Что Людовикъ-Филиппъ на престолъ прародительскій вступилъ — это они первые узнали, а потомъ ужъ и пошло. Что преосвященный Никодимъ по епархіи отправляется—это тоже они первые оповѣстили, а равнымъ образомъ и то, что губернатору, того гляди, къ празднику ленту дадутъ. И все по ихнему такъ и сбылось. Во-вторыхъ, исправническій пріѣздъ разомъ всѣ накопившіяся недоразумѣнія прекращалъ. Даже мимо, бывало, исправникъ проѣдетъ—и все какъ рукой сниметъ. Тутъ розгами вспрыснетъ, тамъ плюху дастъ, въ третьемъ мѣстѣ пальцемъ пригрозитъ — смотришь, и тихо. До проѣзда что-то гдѣ-то охало, вздыхало, стонало — и вдругъ исцѣленіе получило. Простыя тогда болѣзни были — оттого и лекарства простыя прописывались.

Помѣщики принимали исправниковъ охотнѣе, нежели даже предводителей. Предводитель *честь дѣлалъ* своимъ пріѣздомъ, а исправникъ запросто, за панибрата пріѣзжалъ. Принять предводителя было начётисто: онъ и самъ вдвое противъ обыкновеннаго дворянина съѣстъ, а еще больше того зря на тарелкѣ оставитъ; исправникъ же все чистенько подберетъ, и тарелку точно сейчасъ вымытую сдастъ. Но въ особенности тяжело было разговоръ съ предводителемъ поддерживать: сидитъ словно фаршированный и зубами скрипитъ. И вдругъ слово скажетъ... ахъ, какое слово! Такъ и тутъ, бывало, исправникъ выручитъ. Объяснитъ, поправитъ—и опять всѣмъ весело!

Словомъ сказать, лихіе ребята были.

Взятки (за дѣла) исправники брали лишь въ крайнемъ случаѣ: ежели съ деньгами совсѣмъ матъ. Вообще же они довольствовались „положеніемъ“. Было „положеніе“ отъ откупщика, отъ земской гоньбы, отъ содержателей перевозовъ, отъ конторъ богатыхъ отсутствующихъ помѣщиковъ. Многіе изъ осѣдлыхъ помѣщиковъ посылали исправникамъ въ презентъ произведенія собственныхъ хозяйствъ.

И все шло тихо, исправно благополучно. Точно въ раю.

Но справились ли бы дореформенные исправники съ обстоятельствами нынѣшняго времени? спроситъ меня читатель. На это я уже далъ отвѣтъ выше: врядъ ли бы справились, хотя попробовать можно.

Но вѣдь и нынѣшніе исправники... развѣ они справляются? нѣтъ, не справляются.

Такъ о чемъ же тутъ споръ?

Въ заключеніе мнѣ остается только упомянуть о почтмейстерахъ и уѣздныхъ стряпчихъ. Постараюсь быть краткимъ.

Почтмейстеры были наивны и любознательны. Географію знали недостаточно, и потому нерѣдко засылали почту вмѣсто Вятки въ Кяхту—и наоборотъ. Но такое тогда волшебное время было, что даже отъ подобныхъ засылокъ никто чувствительнаго ущерба не ощущалъ. Вотъ что̀ значитъ „порядокъ вещей“.

Что касается до уѣздныхъ стряпчихъ, то они представляли собой въ древности то же самое начало, какое нынче представляютъ прокуроры и ихъ товарищи. Это одно уже служитъ для нихъ отмѣнной рекомендаціей.

Вечеръ третій.

Въ трактирѣ „Грачи“. Комната первая.

Въ седьмомъ часу вечера въ трактирѣ „Грачи“ собрались три статскихъ совѣтника. Первый, Емельянъ Иванычъ Пугачевъ, служилъ въ департаментѣ Пересмотровъ и Преуспѣяній; второй, Порфирій Семенычъ Вожделенскій—въ департаментѣ Препонъ, и наконецъ третій, Антонъ Юстовичъ Жюстмильё (сынъ учителя французской грамматики, принявшаго русское подданство)—въ департаментѣ Оговорокъ. Всѣ трое были начальники отдѣленій, имѣли соотвѣтствующіе знаки отличія и пользовались, каждый по своему вѣдомству, довѣріемъ начальства.

Ежедневно они собирались въ „Грачахъ“ въ тотъ часъ, когда обыкновенно кончаются въ департаментахъ занятія. Ѣли рублевый обѣдъ и пріятельски бесѣдовали. Они были друзья, хотя въ характерахъ, въ образѣ мыслей и даже въ предметахъ ихъ служебныхъ занятій существовало довольно рѣзкое несходство. Пугачевъ былъ сангвиникъ, постоянно волновавшійся и вмѣстѣ съ своимъ департаментомъ всѣхъ звавшій впередъ. Даже въ трактирѣ онъ безстрашно восклицалъ: „свѣту! свѣту больше! вотъ въ чемъ наше спасеніе!“—и не разъ имѣлъ вслѣдствіе этого непріятныя объясненія, изъ которыхъ впрочемъ легко выпутывался, благодаря заступничеству непосредственнаго начальства. Вожделенскій былъ флегматикъ и консерваторъ, который на всякое преуспѣяніе смотрѣлъ какъ на „опасную игру“, и вмѣсто всякихъ „пересмотровъ“ предлагалъ одобренныя вѣковымъ опытомъ „ежовыя рукавицы“. „Право, съ насъ и этого предовольно!“—высказывалъ онъ громко, и развивалъ свою программу такъ резонно, что даже буфетчикъ за стойкой умилялся. Что касается до Жюстмильё, то онъ не былъ ни сангвиникъ, ни флегматикъ, не требовалъ ни свѣта, ни ежовыхъ рукавицъ, а вмѣстѣ съ своимъ департаментомъ надѣялся, что современемъ все разъяснится. А когда все разъяснится, тогда и у начальства руки будутъ развязаны.

Но при собесѣдованіяхъ эти разногласія легко улаживались. Есть почва, на которой сходятся всѣ статскіе совѣтники вообще и на которой не было резона не сходиться и нашимъ статскимъ совѣтникамъ. Это — почва взаимнаго признанія. Пугачевъ, будучи ярымъ поборникомъ Преуспѣяній,

признавалъ однакожъ, что и Препоны, въ общей экономіи благоустройства, представляютъ небезполезный противовѣсъ; Вожделенскій, съ своей стороны, дѣлалъ такую же уступку относительно Преуспѣяній („конечно, нельзя безъ того, чтобы иногда не прикинуть, но...“), а Жюстмильё слушалъ ихъ и радовался. Вслѣдствіе этого, какъ ни различествовали ихъ мнѣнія по существу, но половымъ казалось, что всѣ они говорили одно и то же.

Сейчасъ Пугачевъ восклицаетъ:

— А я про чтò-жъ говорю! Я именно это самое всегда и утверждалъ.

И пойдетъ, и пойдетъ. Дальше да шире—конца краю нѣтъ. А черезъ пять минутъ, смотришь, уже восклицаетъ Вожделенскій:

— А я про чтò-жъ говорю! Я именно это самое всегда и утверждалъ.

А Жюстмильё это нà-руку, ибо онъ и подавно это самое всегда утверждалъ. И буфетчику, и половымъ—всѣмъ нà-руку.

Словомъ сказать, люди были скромные и незлобные, которые въ стѣнахъ своихъ департаментовъ какъ львы исполняли возложенныя на нихъ обязанности.

Долгое время проводили они въ сихъ невинныхъ занятіяхъ, взаимно другъ друга признавая и дополняя, и едва-ли даже подозрѣвали, что разногласія ихъ когда-нибудь могутъ перейти въ распрю. Благоволеніе царствовало тогда въ воздухѣ; оно же переполняло и бюрократическія сердца. И такъ какъ Преуспѣянія провозглашались во имя Препонъ, а Препоны во имя Преуспѣяній, то трудно было даже разобрать, гдѣ кончаются одни и начинаются другія...

Но въ послѣднее время нѣчто произошло. Какъ будто бы выяснилось, что преуспѣяніе есть преуспѣяніе, а препона есть препона. Что ни рядомъ идти, ни другъ друга пополнять или поправлять они ни подъ какимъ видомъ не могутъ, а могутъ только взаимно другъ друга уничтожать. Просіяніе это отразилось и въ сферѣ служебныхъ отношеній. Директоръ департамента Преуспѣяній, Рудинъ, и директоръ департамента Препонъ, Репетиловъ, вступили въ единоборство. Директоръ департамента Оговорокъ, Мямлинъ, попробовалъ-было предложить свое посредничество для умиротворенія борцовъ, но, убѣдившись, что благія его намѣренія могутъ быть истолкованы въ смыслѣ укрывательства, замолчалъ. Или лучше сказать—болѣе нежели замолчалъ, а началъ умильно взглядывать на Репетилова. Само собою разумѣется, что при этомъ единоборствѣ, въ качествѣ обязательныхъ свидѣтелей, присутствовали Пугачевъ и Вожделенскій. Оба скрѣпляли (а въ большинствѣ случаевъ и сочиняли) самыя колючія бумаги, причемъ Пугачевъ напрягалъ послѣднія усилія, входилъ въ лиризмъ, но не чуждался и ироніи, а Вожделенскій холодно и резонно подсиживалъ. Что же касается до Жюстмильё, то онъ выслушивалъ каждаго по очереди, и каждаго же по очереди удостовѣрялъ: „помилуйте! да я самъ всегда это самое утверждалъ!“

Разумѣется, эта канцелярская экзема высыпала преимущественно на бумагѣ. Однакожъ и на обѣденныхъ собесѣдованіяхъ она не могла не отразиться. Пріятели попрежнему сходились и дружески диспутировали, но въ эти диспуты уже закралась какая-то сложная и загадочная нота, въ составъ которой, съ одной стороны, входила горечь обманутыхъ надеждъ и ожиданіе

грядущей бѣды, въ формѣ отставки или упраздненія, а съ другой—предвкушеніе какого-то нелѣпаго торжества. И Пугачевъ, и Вожделенскій поняли, что до сихъ поръ они держались на теоретическихъ высотахъ, а теперь совсѣмъ неожиданно встрѣтились лицомъ къ лицу съ нѣкоторою загадочною практикой. Одинъ Жюстмильё плохо смекалъ и все убѣждалъ: „ахъ, господа! да объяснитесь же наконецъ!“

— Да вѣдь мы это такъ... съ точки зрѣнія... — разувѣрялъ его Пугачевъ.

— А то какъ же! разумѣется, съ точки зрѣнія—подтверждалъ и Вожделенскій.

Пріятели расходились пріятелями, а на слѣдующій день, съ первой же ложкой щей, опять начинала звучать загадочная нота.

Однимъ словомъ, настала минута, когда въ головѣ у Пугачева при взглядѣ на Вожделенскаго сама собой сложилась мысль: „отъ руки этого человѣка мнѣ суждено принять смерть!“ И, къ удивленію, та же мысль, хотя и въ менѣе отчетливой формѣ, начинала по временамъ зарождаться и въ головѣ Жюстмильё. Ибо и онъ ужъ догадывался, что требованія ростутъ и ростутъ, а время бѣжитъ все быстрѣе и быстрѣе, такъ что, пожалуй, не успѣешь и оглянуться, какъ вдругъ изъ всѣхъ уединенныхъ мѣстъ раздастся вопль: „Оговорки“! Что̀ такое „Оговорки“? — Это та же крамола, только сдобренная двуязычіемъ, и потому во сто разъ болѣе опасная!..

И Вожделенскій, очевидно, понималъ душевную смуту, обуревавшую этихъ людей, потому что глаза его смотрѣли какъ-то особенно ясно, словно говорили: точно такъ-съ.

Трактиръ „Грачи“ гудѣлъ какъ улей. Сентябрь былъ еще въ срединѣ, но ненастный, студёный, темный. Въ заведеніи уже горѣли огни, когда наши статскіе совѣтники, голодные и замученные, ворвались въ буфетную и подошли къ стойкѣ. Пугачевъ былъ блѣденъ и положительно изнуренъ. Онъ нервно проглотилъ рюмку полынной, и когда буфетчикъ вмѣсто селедки подалъ ему закусить миноги, то онъ оттолкнулъ блюдце рукой и нетерпѣливо замѣтилъ:

— Пора бы, кажется, помнить... не первый годъ!

Напротивъ, Вожделенскій, не торопясь, принялъ рюмку, посмотрѣлъ ее на свѣтъ, выпилъ и сказалъ:

— Послѣ трудовъ и водочки выпить не грѣхъ! Много пить — нехорошо, а рюмку-другую—можно!

Что же касается до Жюстмильё, то хоть онъ вообще не чувствовалъ потребности въ передобѣденной рюмкѣ, но ради товарищей полъ-рюмочки выпивалъ. Выпилъ и теперь.

— Погода-то нынче! точно съ цѣпи сорвалась! —молвилъ Пугачевъ, прожевывая селедку.

— И погода, и люди — все нынче съ цѣпи сорвалось!—сентенціозно отозвался Вожделенскій.

— Ужъ именно все!—подтвердилъ Пугачевъ:—и люди, и погода, и дѣла... А я что̀ же говорю?

— И я это самое... И дѣла... да, и дѣла!—повторялъ Вожделенскій, особенно выразительно нажимая на словѣ: „дѣла"...

— И прекрасно! стало быть, и недоразумѣній никакихъ нѣтъ! — порадовался Жюстмильё.

Но Пугачевъ повидимому не обманывалъ себя насчетъ значенія сказанной Вожделенскимъ фразы. Потоптавшись съ минуту, онъ сказалъ:

— Будемъ, что-ли, обѣдать?

Но спросилъ такимъ тономъ, какъ будто ждалъ, что вотъ-вотъ Вожделенскій скажетъ: „нѣтъ, я одного человѣчка поджидаю"—и затѣмъ уйдетъ въ другую комнату и отобѣдаетъ втихомолку одинъ.

Однако Вожделенскій не сдѣлалъ этого, а, напротивъ, съ обычнымъ дружелюбіемъ отвѣтилъ:

— За этимъ пришли, такъ, разумѣется, надо обѣдать.

Лѣнивыя щи пріятели вычерпали быстро и молчаливо. Проглотивши послѣднюю ложку, Пугачевъ откинулся на спинку кресла и сказалъ:

— А департаментъ-то нашъ, кажется... ау!

— Что̀ такъ?—откликнулся Вожделенскій какъ бы удивленно, но съ затаенной ироніей.

— Да такъ... видимости нѣкоторыя проявляются... Будто ужъ вы и не знаете?

— Не знаю, — отрекся Вожделенскій.—О преобразованіяхъ, не скрою, слыхалъ, а чтобы совсѣмъ упразднить —объ этомъ не знаю.

— Ну, да, преобразованія... У насъ вѣдь всегда съ преобразованій начинается... Спачала тебя преобразуютъ, а потомъ и упразднятъ.

— Не упразднятъ-съ, а остепенятъ, въ надлежащія рамки поставятъ —это такъ! Это —бываетъ! Да вѣдь оно и не можетъ иначе быть.

— Совершенно справедливо,—согласился Жюстмильё.

— Въ чемъ же остепененіе-то будетъ состоять?

— А въ томъ и будетъ состоять, что служить такъ служить, а либеральничать такъ либеральничать. Только и всего.

Никогда еще Вожделенскій не говорилъ такъ опредѣлительно. Очевидно, онъ чувствовалъ подъ ногами вполнѣ твердую почву. Пугачевъ угрюмо сдвинулъ брови и потупился. Жюстмильё тоже какъ будто оторопѣлъ и смущенно уставился глазами въ зеленую массу протертаго щавеля, изъ которой торчали куски зачерствѣлой телятины (фрикандо̀).

„А потомъ, можетъ быть, и департаментъ Оговорокъ остепенять начнутъ!" думалъ онъ, полегоньку вздрагивая.

— Чѣмъ же мы... худо служили? — спросилъ Пугачевъ послѣ минутнаго замѣшательства.

— Худо не худо, а не-бла-го-вре-мен-но! — отчеканилъ Вожделенскій и затѣмъ, перевернувъ блюдце съ фрикандо̀, осмотрѣлъ его со всѣхъ сторонъ, на мгновеніе поколебался, но наконецъ перекрестился и запустилъ ложку въ гущу: съ Богомъ!

— Что̀ такое „неблаговременно"? Это насчетъ прожектовъ, что-ли? — —присталъ Пугачевъ.

— И насчетъ прожектовъ, и вообще. Общество волнуете.

— А я такъ думаю—совсѣмъ напротивъ. Утѣшеніе подаемъ.

— Вы думаете такъ, а другіе думаютъ иначе. Вы говорите: утѣшеніе, а другіе говорятъ: вредъ.

— Въ чемъ же вредъ? Ежели обществу показываютъ перспективы, ежели ему даютъ понять, что потребности его имѣются въ виду... въ чемъ же тутъ, смѣю спросить, вредъ?

Пугачевъ былъ взволнованъ и возвысилъ голосъ; Вожделенскій, который вообще не любилъ „исторій“, поспѣшно вычищалъ ножикомъ зеленую массу и молчалъ. Жюстмильё сидѣлъ какъ на иголкахъ, но на всякій случай посылалъ умильные взоры въ сторону Вожделенскаго.

— Легко сказать: вредъ!—горячился Пугачевъ:—а что̀ такое вредъ? Развѣ мы что-нибудь когда-нибудь предваряли! развѣ мы что-нибудь когда-нибудь распространяли или поощряли? Въ чемъ заключалась наша задача? —она заключалась въ томъ, чтобы показывать обществу перспективы! Для чего нужны были перспективы?—для того, чтобъ уберечь общество отъ химеръ и преувеличеній! Для того, чтобъ его успокоить, обнадежить, утѣшить. Полагаю, что въ этомъ ничего неблаговременнаго нѣтъ!

— То-есть, какъ вамъ сказать...—вставилъ свое слово Жюстмильё, но Пугачевъ не обратилъ на него никакого вниманія и даже сдѣлалъ рукою движеніе, словно досадную муху смахнулъ.

— Я думаю, что даже добрая политика такихъ указаній требуетъ,—продолжалъ онъ.—Необходимо, чтобъ общество видѣло... чтобъ оно, такъ сказать, въ надеждѣ было... Вы говорите: прожекты? А позвольте спросить, какіе-такіе у насъ были прожекты, которые бы, такъ сказать... ну, тамъ волненіе или движеніе, что-ли... Слава Богу! тихо, смирно, благородно!

— Ну, было-таки, Емельянъ Иванычъ, было! что̀ говорить! — пошутилъ Вожделенскій, искрививъ ротъ въ улыбку.

Жюстмильё тоже скривилъ ротъ и даже одинъ глазъ прищурилъ. Очевидно, онъ силился что-то угадать. А можетъ быть даже и угадалъ, что обычное его посредничество между спорящими сторонами едва-ли на этотъ разъ будетъ благовременно.

— Что̀ такое было?—гремѣлъ Пугачевъ:—это вы насчетъ *тѣхъ*, что-ли? Такъ развѣ мы поощряли? развѣ мы покрывали? А что касается до перспективъ, такъ вѣдь и это въ тѣхъ же видахъ... Нельзя безъ перспективъ! нужно, чтобъ общество имѣло въ виду: вотъ, молъ, что̀ для васъ... А тамъ какую перспективу въ ходъ пустить, а какую попридержать — это ужъ не мы! Наше дѣло—сообразить, изложить, представить, а потомъ...

— А потомъ ужъ „не мы“?—съехидничалъ Вожделенскій.

— Тамъ какъ хотите, смѣйтесь или не смѣйтесь, а я правильно говорю. Наше дѣло — машину завести: общество занять, пищу ему предоставить, а рѣшить, какая перспектива благовременна, а какая неблаговременна —это ужъ не отъ насъ зависитъ.

— А отъ кого же?

— Ну, тамъ...

— Мы, дескать, намутимъ, а вы — какъ знаете?.. Ахъ, господа, го-

спода! Нѣтъ, это не такъ. По моему, надо такъ: служить такъ служить, а мутить такъ мутить!

— Но вѣдь мы и служимъ. Развѣ мы противодѣйствуемъ?

— Еще бы вы противодѣйствовали! Не о противодѣйствіи идетъ рѣчь, а о содѣйствіи, сударь, о содѣйствіи! Объ томъ, чтобъ у всѣхъ одинъ планъ, одна мысль, одна забота... вотъ объ чемъ!

— Но вѣдь и мы... развѣ вашъ департаментъ когда-нибудь примѣчалъ за нами? Напротивъ, мы всегда, можно сказать, всей душою... содѣйствовали...

— Нашъ департаментъ „дѣломъ“ занимается, а не фантазіями-съ. Поэтому вы ни содѣйствія, ни противодѣйствія оказать ему не можете. И не требуется-съ... Такъ по крайней мѣрѣ я полагаю.

— Но мнѣ кажется, что, занимая общество перспективами, мы тѣмъ самымъ уже содѣйствуемъ...

— Не полагаю-съ.

— Если я не ошибаюсь, то Емельянъ Иванычъ хотѣлъ выразить... — вступился Жюстмильё.

— Я очень хорошо понимаю, что̀ хотѣлъ выразить Емельянъ Иванычъ, —сухо отрѣзалъ Вожделенскій:—но, къ сожалѣнію, доводы его не кажутся мнѣ убѣдительными...

И, откинувшись назадъ, онъ хлопнулъ Пугачева по колѣнкѣ и сказалъ:

— Старая система, батюшка, старая!

Водворилось минутное молчаніе, тѣмъ болѣе тягостное, что половой позамѣшкался съ жаркимъ. Наконецъ принесли птицу, и у Пугачева вновь развязался языкъ.

— Не понимаю!—бормоталъ онъ:—департаментъ Препонъ—самъ по себѣ, а нашъ департаментъ — самъ по себѣ... Сами вы всегда говорили... Департаментъ Преуспѣяній указываетъ, а департаментъ Препонъ сдерживаетъ и умѣряетъ... И наоборотъ.

— Старая система, батюшка, старая!—повторилъ Вожделенскій.

— Заладили одно: старая! Въ чемъ же новая-то ваша система состоитъ?

— А вотъ въ чемъ: служить такъ служить, а либеральничать такъ либеральничать.

Хотя Вожделенскій уже не впервые высказывался въ этомъ смыслѣ и въ этихъ самыхъ выраженіяхъ, но на этотъ разъ вышло какъ-то особенно ясно. Безъ перспективъ, а прямо къ цѣли. Пугачевъ вдругъ почувствовалъ, что ему ужъ не очиститься. Да и Жюстмильё, съ своей стороны, страдальчески заметался.

„Навѣрное Вожделенскій завтра въ „Грачи“ не придетъ, — блеснуло у него въ головѣ.—Да и вообще не видать его „Грачамъ“ какъ ушей своихъ. Любопытно однакожъ, въ какой онъ трактиръ ходить будетъ?“

— Стало быть, нельзя даже... А впрочемъ что̀-жъ! оно къ тому идетъ! —процѣдилъ сквозь зубы Пугачевъ и вздохнулъ.

— Да-съ, къ тому-съ.

— Одного я не понимаю: ежели и нельзя, то все-таки почему же бы мы...

Пугачевъ запнулся, какъ бы вызывая Вожделенскаго на поощреніе, но Вожделенскій ехидно молчалъ. Тогда онъ продолжалъ:

— Повторяю: совсѣмъ мы не въ томъ смыслѣ... не въ вредномъ... Дать обществу пищу... отклонить его отъ вредныхъ увлеченій... кажется, это именно та самая задача, которою достигается... Ежели департаментъ Препонъ самымъ дѣломъ воздѣйствуетъ, то мы, съ своей стороны, косвенно...

— То-то, что косвенное-то нынѣ не полагается. Прямо.

— Что̀-жъ такое! прямо такъ прямо. Вѣдь это только такъ говорилось: „косвенно“, а въ сущности оно и всегда было „прямо“...

— Ну-у? такъ ли полно?

— А ежели и еще прямѣе нужно, такъ и прямѣе...—робко инсинуировалъ Пугачевъ.

— Ну, вотъ вы и объяснились, господа!—обрадовался Жюстмильё.

— Согласны и прямѣе-съ?—въ упоръ хихикалъ Вожделенскій, но такъ ядовито, что Пугачевъ во всемъ тѣлѣ почувствовалъ внезапную слабость.

— Гм... стало быть, нашъ департаментъ—ау?—машинально произнесъ онъ упавшимъ голосомъ.

— Поговариваютъ-съ.

— Безъ преобразованій... прямо?—продолжалъ Пугачевъ, все больше и больше увядая.

— На̀-двое-съ. Одни говорятъ: реформу! другіе—прямо!

Жюстмильё мучительно заёрзалъ на стулѣ. Въ его сердцѣ окончательно поселилось предчувствіе. Нѣкоторое время однакожъ онъ не рѣшался высказаться, но подъ конецъ его такъ прожгло, что онъ не выдержалъ.

— А объ насъ... не слыхать?—произнесъ онъ робко, какъ бы не довѣряя собственнымъ словамъ.

— Въ частности—ничего, но вообще...—загадочно молвилъ Вожделенскій.

— Что̀ же такое... вообще! Мы даже и не призывали. Къ обществу мы не обращались, перспективъ не показывали... —оправдывался Жюстмильё, въ пылу обуявшаго страха даже не догадываясь, что онъ косвеннымъ образомъ и съ своей стороны формулируетъ обвиненіе противъ Пугачева.

— Слышали-съ?—ядовито обратился Вожделенскій къ Пугачеву:—вотъ и они понимаютъ... Они не „обращались“, не „показывали“... А вашъ департаментъ...

И затѣмъ, отвѣчая Жюстмильё, прибавилъ:

— Я и не выдаю за вѣрное насчетъ вашего вѣдомства. Я говорю только, что вообще... Предрасположеніе такое нынче въ сферахъ... Содѣйствіе требуется... прямое! А не то чтобы тамъ косвенно или, напримѣръ, ни туда, ни сюда...

Обѣдъ кончился. Пріятели выкурили по папиросѣ, и Вожделенскій почесывалъ себѣ колѣнки, въ знакъ того, что пора и во-свояси. Но Пугачевъ намѣренно затягивалъ бесѣду: ему нужно было, во что бы ни стало, дойти до конца.

— Нѣтъ, вы скажите... этимъ вѣдь шутить нельзя! — говорилъ онъ,

волнуясь.—Мы тоже... конечно, обидѣть не долго... ну, чтожъ! въ заштатъ такъ въ заштатъ! Но за что? Развѣ насъ призывали? развѣ намъ приказывали? объяснили ли намъ хоть разъ: вотъ это—такъ, а вотъ это — не такъ? Призовите! прикажите! Чтожъ! мы съ своей стороны...

— И мы съ своей стороны...—отозвался Жюстмильё.

— То-то, что ни призывать, ни приказывать, ни объяснять не видится надобности. Шуму отъ этихъ призываньевъ да приказываньевъ много. Оказательство.

— Чтожъ такое: оказательство?—все больше и больше раздражался Пугачевъ.—Тутъ рѣчь объ участи людей идетъ, а вы: оказательство!

— Не я, а власть имѣющіе.

— Нѣтъ, вы откройтесь. Вы объясните прямо: что̀ за причина? что̀ такое? почему? ка̀къ?

— Чудакъ вы, Емельянъ Иванычъ! обращаетесь ко мнѣ, точно я властенъ!

— Нѣтъ, вы можете! если вы не властны передѣлать, то можете предупредить, направить... Можете, наконецъ, зарекомендовать!.. А опять и еще: переформировка предстоитъ или упраздненіе? Ежели только переформировка, то, можетъ быть... Объяснитесь! А то натко! напустили туману, да и на утёкъ!

Вмѣсто отвѣта Вожделенскій усиленно зачесалъ колѣнки и испустилъ звукъ, который ясно означалъ: надоѣлъ ты мнѣ, братецъ, хуже горькой рѣдьки! И затѣмъ началъ потихоньку сниматься съ мѣста.

— Переформировка или упраздненіе?—приставалъ Пугачевъ

— Не знаю-съ,—сухо отвѣтилъ Вожделенскій, пробираясь къ выходу.

— Ну, и упраздняйте!—пустилъ ему вслѣдъ Пугачевъ: — и упраздняйте... и упраздняйте... упррразднители!

Онъ обернулся, думая призвать Жюстмильё во свидѣтели; но ловкій малый уже исчезъ, точно растаялъ въ воздухѣ.

На другой день, объ ту-же по̀ру, Жюстмильё прохаживался по Большой Морской, отъ угла Невскаго до штабной арки и обратно. Онъ явно кого-то поджидалъ и вглядывался въ сумерки. Дѣйствительно, черезъ четверть часа со стороны Невскаго, показалась знакомая фигура статскаго совѣтника Вожделенскаго, и Жюстмильё мгновенно нырнулъ въ подъѣздъ Малоярославекаго трактира. Минуту спустя, онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, уже стоялъ у стойки и тыкалъ вилкой въ блюдце съ килькой. Еще минута —и къ той же стойкѣ подошелъ Вожделенскій.

— Какими судьбами?—воскликнулъ послѣдній, завидѣвъ вчерашняго собесѣдника.

Жюстмильё всѣмъ своимъ женоподобнымъ, потертымъ лицомъ осклабился.

— Да такъ-съ...—пролепеталъ онъ:—признаюсь, послѣ вчерашняго разговора... совсѣмъ мнѣ „Грачи“ опротивѣли!

— Но почему же именно сюда?

— Предчувствіе-съ... — застѣнчиво намекнулъ Жюстмильё, и снова осклабился.

— Благодарю!—отвѣтилъ Вожделенскій, протягивая руку:—милости просимъ! будемъ, по старому, вдвоемъ канитель разводить!

И затѣмъ, вспомнивъ о Пугачевѣ, любезно продолжалъ:

— А революціонеръ-то нашъ! поди, дожидается теперь! Перспективы, изволите видѣть, показываетъ! общество занимать хочетъ! Теперь вотъ и спохватился, да поздно... Близокъ локоть, да не укусишь... ау, братъ! Чтожъ, рублевый, что-ли, спросимъ?

— Сегодня ужъ мнѣ позвольте!—засѣменилъ Жюстмильё:—въ знакъ будущаго... И вообще... Человѣкъ! два полутора-рублевыхъ!—крикнулъ онъ половому, и, пошептавшись съ нимъ,—прибавилъ вслухъ:—да чтобы заморозить... непррремѣнно!

— Никакъ вы кутить собрались!—ласково укорилъ Вожделенскій:—чтожъ! отъ времени до времени это не безъ пользы. Постоянно пить нехорошо, но при случаѣ распить бутылочку-другую—это даже кровь полируетъ!

Черезъ четверть часа пріятели сидѣли за столомъ и оживленно бесѣдовали. Впрочемъ говорилъ почти исключительно одинъ Вожделенскій, а Жюстмильё ласково смотрѣлъ ему въ глаза и распускалъ ротъ. Отъ времени до времени упоминалось о Пугачевѣ въ сопровожденіи нарицательнаго: „революціонеръ". Допускались предположенія: что̀-то „революціонеръ" теперь дѣлаетъ? ждетъ, поди, а можетъ быть и ждать пересталъ, щи ѣстъ?

— Предупреждалъ я его,—ораторствовалъ Вожделенскій, впадая въ учительный тонъ. — Эй, говорю, Емельянъ Иванычъ! не слишкомъ ли, сударь, прытко! Не послушался—вотъ на мое и вышло!

— А жалко почтеннѣйшаго Емельяна Иваныча! хоть и по своей отчасти винѣ, а все-таки жалко!—лицемѣрилъ Жюстмильё, подливая въ стаканы шампанское.

— Это дѣлаетъ честь вашему доброму сердцу, сударь!—снисходительно похвалилъ Вожделенскій. — Я и самъ иногда... по человѣчеству! Всѣ мы люди, всѣ человѣки... Такъ-то.

Жюстмильё весь, всѣмъ существомъ, такъ и расцвѣлъ отъ похвалы.

— Нельзя не жалѣть,—продолжалъ Вожделенскій: — человѣкъ еще въ порѣ, могъ бы пользу приносить... Кабы къ рукамъ, такъ даже прямо можно сказать: золотой былъ бы человѣкъ!.. И вдругъ!

— И вдругъ!—какъ эхо повторилъ Жюстмильё.

Его самого мутило. Хотя Вожделенскій вчера и не высказался опредѣленно насчетъ департамента Оговорокъ, но все-таки кое-что запустилъ. Очевидно, что-то готовится. Но что̀ именно, что̀? Переформировка или... Нѣкоторое время Жюстмильё робѣлъ и воздерживался отъ вопросовъ, но къ концу обѣда языкъ его самъ собой обнаружилъ душевную язву.

— Ну, а насчетъ нашего департамента... слышно?—пролепеталъ онъ, освѣщаясь заискивающей улыбкой.

— Поговариваютъ-съ,—кратко отрѣзалъ Вожделенскій.

Жюстмильё мгновенно завялъ.

Комната вторая.

Павелъ Никитичъ Павлинскій только-что возвратился изъ заграничной поѣздки. Человѣкъ онъ былъ среднихъ лѣтъ (скорѣе даже молодой), безсемейный, не предъявлявшій къ жизни чрезмѣрныхъ требованій и не честолюбивый. Служилъ онъ въ департаментѣ Раздачъ и Дивидендовъ, и довольствовался скромною должностью столоначальника, которую занималъ чуть не десять лѣтъ сряду. Департаментъ этотъ изстари былъ либеральный, и—что̀ особенно было дорого—чиновники его еще въ то время ходили на службу въ пиджакахъ и курили, при отправленіи обязанностей, папиросы, когда въ другихъ департаментахъ не шли дальше цвѣтныхъ брюкъ при вице-кафтанахъ, а курить позволяли себѣ только въ форточку. Это само по себѣ уже составляло приманку, но сверхъ того содержаніе здѣсь было погуще, нежели въ другихъ вѣдомствахъ, да къ концу года и изъ общей массы дивидендовъ на долю каждаго перепадала малая толика. Благодаря этимъ воспособленіямъ, у Павлинскаго всегда водилась вольная деньга, которою онъ и пользовался, чтобы ежегодно дѣлать кратковременныя экскурсіи за границу. Въ концѣ іюля онъ перекидывалъ черезъ плечо дорожную сумку и садился въ вагонъ (непремѣнно I-го класса), а въ началѣ сентября тѣмъ же порядкомъ вновь водворялся въ департаментѣ. Чаще всего онъ дѣлалъ эти экскурсіи на собственный коштъ, но иногда выпрашивалъ какую-нибудь командировку, и получалъ отъ казны прогонныя, подъемныя и порціонныя. Пошатается нѣсколько недѣль по Германіи, наблюдетъ, какъ дѣлаютъ папиросныя гильзы въ Баденъ-Баденѣ, Эмсѣ, Гомбургѣ, и подъ конецъ непремѣнно недѣли на двѣ закатится въ Парижъ.

Въ нынѣшнемъ году ему удалось получить командировку. Предлагалось ему посѣтить Швейцарію и на мѣстѣ изслѣдовать, изъ какихъ элементовъ составляется тамошняя дивидендная масса и въ какой пропорціи оная распредѣляется между швейцарскими властями. Съ этою цѣлью онъ цѣлый мѣсяцъ выжилъ на Женевскомъ озерѣ, посѣтилъ Лозанну, Веве, Кларанъ, Монтрё и проч. (въ Женеву однакожъ не рискнулъ); но, къ сожалѣнію, вездѣ встрѣтился съ серьезными затрудненіями. На всемъ протяженіи Женевскаго озера по вопросу о раздачахъ и дивидендахъ царствовало полнѣйшее невѣжество, почти хаосъ, такъ что на первый разъ онъ долженъ былъ ограничить свои дѣйствія лишь необходимыми разъясненіями и пропагандой. Плоды этой пропаганды приходилось наблюсти въ будущемъ году, что̀ впрочемъ не особенно его огорчало, потому что въ перспективѣ обрисовывалась новая командировка съ новыми „воспособленіями“ отъ казны. Затѣмъ, выполнивъ свой долгъ добросовѣстно, Павлинскій, по обыкновенію, направилъ путь въ Парижъ. Пообѣдалъ у Вефура, у Вуазена, у Бребана, Маньи, но въ café Américain только „такъ посидѣлъ“, потому что показалось дорого. Видѣлъ „Peau d'âne“, „m-lle Nitouche“, „La princesse des Canaries“, побывалъ въ „Excelsior“, въ „Café des Ambassadeurs“, и зашелъ въ „Contributions indirèctes“ посмотрѣть, какъ тамъ „наше дѣло стоитъ“. Наконецъ, въ одинъ дождливый и темный вечеръ сѣлъ въ вагонъ и прикатилъ въ Петербургъ. На утро—въ департаментъ; обѣдать—въ „Гречи“. Для чело-

вѣка, еще полнаго воспоминаній о „Contributions indirectes“ и о Вефурѣ, это былъ переходъ очень рѣзкій; но Павлинскій былъ человѣкъ бодрый и разсудительный, который легко мирился съ суровою дѣйствительностью и безропотно покорялся начертанному на дверяхъ департамента девизу: „Грачамъ“—время, а Вефуру—часъ“. Онъ понималъ, что иначе дивиденды никогда не были бы поставлены на томъ незыблемомъ основаніи, которое позволяло имъ съ честью выдерживать натискъ всѣхъ остальныхъ вѣдомствъ и даже завистливые намеки на фельдмаршальскія содержанія.

Первый сезонный обѣдъ сотоварищей по дивидендамъ былъ чрезвычайно оживленъ. Собралось человѣкъ шесть собесѣдниковъ, и такъ какъ дивиденды были заранѣе уже вычислены и обозначены, то у всѣхъ на душѣ было свѣтло, бодро и радостно. На радостяхъ потребовали „генеральскую закуску“ и, по секрету отъ возвратившагося члена общей дивидендной семьи, заказали пару бутылокъ шипучаго. Затѣмъ, въ ожиданіи ѣды, закурили папиросы, и всѣ лица расцвѣтились такими счастливыми улыбками, что и половые, глядя на господъ, стали улыбаться.

За обѣдомъ рѣчь держалъ по преимуществу Павлинскій. Онъ, не стѣсняясь, называлъ Швейцарію „страною свободы“, и подробно перечислялъ благодѣянія, которыя свобода распространяетъ вокругъ себя. Пароходы, желѣзныя дороги, телеграфы, телефоны — все это въ „свободныхъ“ странахъ служитъ для общаго блага, а въ „несвободныхъ“ — для воровства. А эти гостинницы-дворцы, подобныхъ которымъ нѣтъ въ цѣломъ мірѣ?.. А возможность свободнаго обмѣна мыслей? А личная обезпеченность, которая каждому даетъ право смѣло смотрѣть въ глаза будущему!? А несмѣтныя толпы иностранцевъ, которыя добрую половину года наводняютъ страну свободы и тратятъ тамъ свои деньги!? А конституція!?!!

— Я провелъ почти мѣсяцъ въ Кларанѣ,—разсказывалъ Павлинскій: — и ни разу даже не почувствовалъ процесса жизни. Жилъ — вотъ и все. Жилъ — потому, что никто не препятствуетъ жить, жилъ — потому, что нетолько самъ себя чувствовалъ хорошо, но видѣлъ, что и другіе чувствуютъ себя хорошо. Жить въ одиночку — это все равно, что втихомолку ѣсть, думая только о наполненіи желудка. Жить вмѣстѣ со всѣми — это участвовать *всьми* силами и способностями души въ наслажденіи общими жизненными благами! Ничего нельзя себѣ представить благороднѣе и чище того душевнаго равновѣсія, которое чувствуешь при видѣ довольства, царствующаго кругомъ!

И затѣмъ, спустившись съ высотъ паренія, онъ прибавилъ:

— Встаешь утромъ, откроешь окно—изумительно! Небо—синее; озеро—голубое; прямо—Dent du Midi; влѣво—безподобная долина Роны, которую со всѣхъ сторонъ стерегутъ сѣдые великаны... Воздухъ — упоительный! теплота—поразительная! Спустишься внизъ—кофей готовъ!!

— Dent du Midi? форму зуба, что-ли, онъ имѣетъ?—полюбопытствовалъ одинъ изъ собесѣдниковъ, Мозговитинъ.

— Какъ вамъ сказать... это не зубъ, а скорѣе цѣлый рядъ неровныхъ зубовъ. Одинъ разъ при мнѣ дантистъ у попа такой коренной зубъ вырвалъ... Когда середку горы окутаетъ облако, а сверху солнце свѣтитъ, то кажется,

словно фантастическій зàмокъ, съ башнями и бойницами, на облакахъ повисъ... Изумительно!! Напьешься кофею — съ хлѣбомъ, съ ароматнымъ масломъ, съ настоящими сливками — гулять! Небо синее, озеро голубое, кругомъ озера—всего озера сплошь!—каменная набережная... Идешь—и не чувствуешь, что идешь! Что-то есть такое, чтò возвышаетъ, уноситъ, располагаетъ... Зайдешь въ лавку, купишь винограду — и опять гулять! Въ часъ завтракъ—по звонку. Послѣ завтрака—экскурсія. Иногда пѣшкомъ, иногда —въ шарабанѣ, иногда—по озеру. Кто хочетъ купаться—купается; кто хочетъ ловить рыбу—ловитъ. Свобода—полная. Окрестности—безподобныя. Гліонъ, Вевэ, Уши, Шильонъ, Евіанъ... Нынѣшнимъ лѣтомъ около Шильона, въ Hôtel Byron Викторъ Гюго жилъ... маститый старикъ! А въ шесть часовъ—обѣдъ, опять по звонку! Обѣдаешь—а въ душѣ музыка!

— Вотъ это — жизнь! -- въ восторгѣ отозвался Мозговитинъ, тоже столоначальникъ, хотя и не столь прикосновенный къ дивидендамъ, однако...

— А мы тутъ цѣлое лѣто въ Озеркахъ на Поклонную гору глазѣли, да проектъ о превращеніи пятикопѣечныхъ гербовыхъ марокъ въ сорокакопѣечныя сочиняли!—съ горечью воскликнулъ третій столоначальникъ, Ловягинъ, преимущественно участвовавшій въ Раздачахъ, а не въ Дивидендахъ.

— Вы и въ Шильонѣ были? — спросилъ четвертый столоначальникъ, Глухаревъ, служившій въ отдѣленіи „гдѣ раки зимуютъ“.

— Еще бы! Шильонскій узникъ! Байронъ! Тамъ и теперь на одной изъ колоннъ его автографъ показываютъ. И столбъ, къ которому былъ прикованъ „добродѣтельный гражданинъ“ Бониваръ, и углубленіе, которое онъ сдѣлалъ на плитномъ полу, ходя взадъ и впередъ въ одномъ и томъ же направленіи. Представьте себѣ желѣзную цѣпь, которая не позволяла ему отойти отъ столба дальше нежели на два аршина... И такимъ образомъ цѣлыхъ восемь лѣтъ! Восемь лѣтъ!

— За что же это его такъ?—полюбопытствовалъ пятый собесѣдникъ, Новинскій, который былъ только помощникомъ столоначальника и не успѣлъ еще погрязнуть въ дивидендахъ.

— Любилъ свободу и былъ добродѣтельный гражданинъ—вотъ и все! Для Савойскаго дома, который тогда владѣлъ этою частью Швейцаріи, этого было вполнѣ достаточно.

— Для Саво-ойскаго?!—изумленно переспросили собесѣдники, въ воображеніи которыхъ съ понятіемъ о Савойскомъ домѣ соединялось представленіе о Викторѣ-Эммануилѣ, о Кавурѣ, о Гарибальди и даже о Мадзини.— А теперь-то! теперь-то Савойскій домъ!

— Да, господа, были времена, когда и Савойскій домъ велъ себя не безукоризненно!—продолжалъ Павлинскій. Въ томъ же Шильонскомъ зàмкѣ показываютъ, напримѣръ, высѣченное въ каменной скалѣ ложе съ каменнымъ изголовьемъ, на которомъ осужденные проводили послѣднюю ночь. А иногда ихъ обманывали: объявляли прощеніе и вели темнымъ корридоромъ изъ тюрьмы. Но въ концѣ корридора былъ вырытъ колодезь: осужденный оступался въ него и падалъ на громадные ножи, которые рѣзали его на куски.

— Однако!

— А теперь вокругъ этихъ самыхъ стѣнъ играетъ жизнь, ликуетъ свобода! А именемъ Бонивара названъ лучшій озерный пароходъ... Какой урокъ!

— Все оттого, что прежде тьма была, а теперь — свѣтъ! — рѣшилъ Ловягинъ.—А вонъ въ Озеркахъ хоть замка Шильонскаго нѣтъ, а все кажется, словно ты вокругъ столба на цѣпи ходишь!

— Свѣтъ — это главное! — подтвердилъ и Мозговитинъ: — только трудно ему пробиться сквозь тучи... оттого и долгонько бываетъ ждать... Ну, а по нашей части какъ у нихъ?—обратился онъ къ Павлинскому.

— По нашей части, признаться, больше нежели слабо. Представьте себѣ, отъ меня отъ перваго тамъ услышали слово: дивидендъ! Пріѣхалъ я въ Кларанъ, осмотрѣлся чуточку, отдохнулъ—и сейчасъ же въ Лозанну, къ тамошнему окружному надзирателю. Спрашиваю: въ какомъ положеніи у васъ дивидендное дѣло? И что же бы вы думали? Онъ даже не понялъ!

— Не понялъ?!

— Не понимаетъ, да и все тутъ. Я туда-сюда, толковалъ ему, толковалъ... Одинъ отвѣтъ: „не можетъ быть!“ Однако, немного погодя, началъ задумываться.

— Пробрало?

— Кажется, что такъ. Пришелъ ко мнѣ въ Кларанъ, молча пожалъ мнѣ руку и ушелъ.

— Увидите, что и тамъ теперь реформы начнутся!

— То-есть... какъ вамъ сказать!.. навѣрное утверждать не берусь. Слишкомъ сильна тамъ консервативная партія. Она непремѣнно будетъ тормазить. Во всякомъ случаѣ это вопросъ настолько существенный, что въ будущемъ году я непремѣнно опять отправлюсь въ Лозанну, чтобъ лично убѣдиться, какое дѣйствіе произвели мои разъясненія.

— Дай Богъ! дай Богъ! А въ Парижѣ... конечно, тоже побывали?

— Еще бы! Быть за границей и не заѣхать въ Парижъ! Но въ какомъ они нынче трико женщинъ въ феэріяхъ выводятъ—ну, просто... Одного не понимаю: зачѣмъ трико?

— А у насъ надѣнутъ на *нее* мѣшокъ, да такой, что гороху четверикъ туда всыпать можно, да еще кисеи цѣлый ворохъ накутаютъ... догадывайся!

— Да, господа, Парижъ — это столица міра! Встанешь утромъ — и сейчасъ чувствуешь... Возьмите одни журналы: „Intransigeant“ „Justice“, „Combat“... такъ и брызжетъ! Прочитаешь—куда идти? Завтракать?—къ Бребану! Garçon! la carte du jour! Filet de boeuf sauce béarnaise... c'est ça! Мягко и нѣжно и въ то же время серьезно. Полбутылки вина, на десертъ персикъ, кисть винограда — нигдѣ въ цѣломъ мірѣ подобныхъ фруктовъ нѣтъ! Позавтракавши — на бульваръ. Ходишь, фланируешь, осматриваешь въ окнахъ выставки, и вдругъ... „Вы—русскій?“—Русскій-съ.—„Пріятно познакомиться. А это моя жена, ма фамъ. Прасковья Ивановна“. Слово за слово: „Не хотите ли отобѣдать вмѣстѣ?“—Съ удовольствіемъ.—„А до обѣда къ Тортони пойдемъ, соломинку пососемъ“... Смотришь, утро и прошло. Отобѣдаешь, а вечеромъ въ театръ!

— Съ Прасковьей Ивановной?

— Ну, да... Какой вы однакожъ, Ловягинъ! всегда что-нибудь заподозритъ... цинякъ!..

Подобные разговоры изъ года въ годъ повторялись въ одной и той же силѣ, почти въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ. Несомнѣнно, что столоначальники, которые ихъ вели, были люди благонамѣренные, либеральные и просвѣщенные; но жизнь русскаго культурнаго человѣка такъ странно сложилась, что онъ тогда только чувствуетъ себя вполнѣ компетентно, когда рѣчь заходитъ объ ѣдѣ, объ атурахъ и дивидендахъ. Правда, что въ последнее время трактирныя собесѣдованія обогатились еще однимъ элементомъ: похвалами неуклонности; но ни Павлинскій, ни его товарищи этого элемента еще не допускали. И, по моему мнѣнію, хорошо дѣлали, ибо право лучше о вефуровскихъ шатобріанахъ разговаривать, нежели о неуклонности.

Разговоры о неуклонности—самые поскудные изъ всѣхъ. Они раздражаютъ, волнуютъ, вызываютъ на мысль о потасовкѣ. Сидитъ остервенившійся кляузникъ, точитъ изо рта пѣну и сулитъ всякія нелегкія... Какое такое ты полное право имѣешь, наглый ядрило, осквернять мозги постороннихъ лицъ своимъ бѣшенымъ бормотаніемъ? гдѣ почерпнулъ ты смѣлость оподлять землю, которая тебя носитъ, время, въ которое ты живешь, стѣны, среди которыхъ ты точишь свою слюну? откуда пришла къ тебѣ увѣренность въ безнаказанности? изъ какой упраздненной щели ты выползъ? зачѣмъ?

Несомнѣнно, что современныя собесѣдованія о неуклонности служатъ естественнымъ развитіемъ тѣхъ разговоровъ о бараньемъ рогѣ и ежовыхъ рукавицахъ, которые, лѣтъ двадцать тому назадъ, оглашали дорефоменную Россію. Но какая разница въ манерѣ, въ силѣ и въ самомъ содержаніи! Въ то время какъ прежніе разговоры представляли собой простую безсмыслицу, и подобно молніи, прорѣзывающей тучу, являлись мимолетнымъ взрывомъ наэликтризованнаго темперамента, нынѣшніе сквернословные діалоги представляются уже выраженіемъ какой-то угрюмой системы, обдуманной въ тиши уединеннаго мѣста, и не потухаютъ мгновенно, а длятся, длятся безъ конца...

Во всякомъ случаѣ я отнюдь не осуждаю Павлинскаго и его товарищей ни за ихъ разговорное безсиліе, ни за то, что ихъ либерализмъ перепутался съ дивидендами, и вслѣдствіе этого принялъ своеобразныя, нѣсколько неуклюжія формы. Какъ уже сказано выше, явленія эти зависѣли не столько отъ нихъ самихъ, сколько отъ общаго безсодержательнаго уровня русской культурной жизни.

Но я положительно хвалю ихъ за то, что они никому не угрожаютъ и не сулятъ нелегкихъ. По моему мнѣнію, между гражданами одной и той же страны не можетъ быть допускаемо ни трактирнаго подсиживанія, ни угрожательной полемики вообще. Обыватели обязаны сидѣть въ трактирахъ смирно, а ежели иногда имъ и приходится слышать произносимыя по близости несочувственныя рѣчи, то они не должны забывать, что виновный въ произнесеніи таковыхъ рѣчей отвѣтственъ за нихъ передъ компетентною властью, а отнюдь не передъ трактирными завсегдатаями. Конечно, бываютъ рѣчи, отъ коихъ тошнитъ, но лучше тошноту перенести, нежели входить въ рискованныя трактирныя пререканія. Именно такъ и поступали Павлинскій съ то-

варищи. Когда надворный совѣтникъ Скорпіоновъ, обѣдая въ ихъ сосѣдствѣ, провозглашалъ, что либераловъ слѣдуетъ топить въ рѣкѣ, они не только не сворачивали ему за это скулъ, но дѣлали видъ, что Скорпіоновскія рѣчи вовсе до нихъ не относятся. Вообще они вели себя въ этомъ дѣлѣ съ тѣмъ тонкимъ тактомъ, который всякому прозорливому столоначальнику свойственъ. То-есть, не отрицали неуклонности, но и не шли къ ней на встрѣчу. Когда же передъ ними ставили этотъ вопросъ рѣзко и въ упоръ, то отзывались, что неуклонность находится въ другомъ вѣдомствѣ и, слѣдовательно, оцѣнкѣ ихъ не подлежитъ. И такимъ образомъ находили отговорку, которая служила имъ очень приличнымъ прикрытіемъ.

Тѣмъ не менѣе времена настолько созрѣли, что вопросъ о неуклонности принялъ нарочито назойливыя формы. Весь воздухъ до такой степени насытился неуклонностью, что люди смирные тщетно мечутся, изыскивая способы отмолчаться. Неуклонность слѣдуетъ за ними по пятамъ въ образѣ жестоковыйныхъ кляузниковъ, которые съ беззавѣтнымъ нахальствомъ проникаютъ и въ публичныя мѣста, и въ частныя квартиры. Способность мыслить становится тяжелымъ бременемъ, а попытка формулировать какую бы то ни было мысль — рискомъ, не обѣщающимъ ничего хорошаго...

Я знаю, меня обвинятъ въ преувеличеніи. Скажутъ: хотя кляузники и существуютъ, но, въ сущности, они составляютъ очень мизерное меньшинство... Прекрасно, пусть будетъ такъ. Но, во-первыхъ, таково свойство кляузы, что она и въ одиночку легко поражаетъ разрозненныя и слабыя массы; а во-вторыхъ, вѣдь и трихина прокрадывается въ организмъ лишь небольшими партіями, а какія она распложаетъ массы, какъ только найдетъ для себя благопріятную среду!

Какъ бы то ни было, но мирное собесѣдованіе столоначальниковъ было возмущено самымъ страннымъ образомъ.

Разсказавъ подробности своего заграничнаго путешествія и отдавъ дань похвалы соусу soubise, подаваемому у Бребана къ котлетамъ изъ présalé, Павлинскій очень любезно обратился къ товарищамъ съ вопросомъ:

— Ну, а вы, горемычные, какъ тутъ лѣтомъ пропекались?

Невиннѣе и естественнѣе этого вопроса ничего не могло быть. Невиннѣе — потому что ничего виновнаго онъ въ себѣ не заключалъ; естественнѣе — потому что самые элементарные законы общежитія требовали, чтобы въ отвѣтъ на выраженное друзьями доброжелательство заплатить имъ такимъ же доброжелательствомъ. Что же касается до выраженія: „горемычные", то хотя въ немъ и слышится нѣкоторая тривіальность, но такъ какъ въ законахъ не выражается требованія, чтобы для разговоровъ въ трактирѣ „Грачи" употреблялся высокій слогъ, то и въ этомъ отношеніи Павлинскій былъ, какъ говорится, „въ порядкѣ".

Но не такъ думалъ объ этомъ надворный совѣтникъ Скорпіоновъ, который, какъ только заслышалъ вопросъ Павлинскаго, такъ тотчасъ же залаялъ. На этотъ разъ онъ обѣдалъ съ титулярнымъ совѣтникомъ Аникой Тарантуловымъ, который, подобно Скорпіонову, не имѣлъ „постоянныхъ" занятій, а добывалъ себѣ пропитаніе „похвальными поступками". Тѣмъ не менѣе, не имѣя правильныхъ способовъ существованія, ни тотъ, ни другой не имѣли

и правильнаго обѣда, а довольствовались чѣмъ попало, преимущественно напирая на водку. На сей разъ Тарантуловъ ѣлъ подовый пирогъ, а Скорпіоновъ—московскую селянку. Ѣли и въ промежуткахъ между глотками испускали охранительные звуки.

— А по моему, такъ именно тѣ, по справедливости, „горемычными“ назваться могутъ, кои по за границамъ да по Парижамъ „горе мыкаютъ!“ — обратился Скорпіоновъ къ Тарантулову, какъ бы продолжая „самостоятельный“ разговоръ.

— Что̀ такъ! а я, напротивъ, слыхалъ, что тѣ нынче „интеллигентами“ себя величаютъ! — отозвался Аника, и такъ ему смѣшно показалось, что онъ не выдержалъ и захохоталъ:—ха-ха!

— Удивляюсь!—продолжалъ самостоятельно резонировать Скорпіоновъ: —не тому удивляюсь, что развратъ этотъ нынѣ всюду вьявь проникъ, а тому, что никто не вступится. Кажется, только бы слово одно! Одно бы только словечко: братцы! вотъ они!—и всѣхъ бы этихъ интеллигентовъ...

— Ау?!—хихикнулъ Тарантуловъ.

Хотя Павлинскій старался показать, что онъ не слышитъ Скорпіоновскихъ рѣчей, но невольное волненіе выдало его. И волненіе это очень характерно выразилось въ томъ, что онъ машинально и какъ-то растерянно повторилъ свой вопросъ:

— А вы, горемычные, какъ лѣтомъ пропекались?

Голосъ его звучалъ неспокойно; губы слегка поблѣднѣли; ножикъ, которымъ онъ разрѣзывалъ птицу, дрожалъ. Къ сожалѣнію, и между товарищами произошло нѣкоторое замѣшательство, такъ что и они не могли утверждать, что Скорпіоновскій лай не коснулся ихъ.

— Что̀ же мы!—смалодушничалъ Ловягинъ:—своимъ дѣломъ занимались—только и всего!

— Сквернословили!—пояснилъ Скорпіоновъ.

— Ладненько да смирненько--и не видали какъ лѣто прошло!—присовокупилъ Мозговитинъ.

— Я въ Озеркахъ жилъ, Ѳедоръ Ѳедорычъ—въ Лиговѣ, Василій Иванычъ—въ Стрѣльнѣ, Иванъ Павлычъ—въ Лѣсномъ. Располземся къ обѣду, какъ раки, въ разныя стороны, а утромъ опять въ департаментѣ къ своимъ дѣламъ обратимся.

— Только погода все лѣто ужасная стояла! по цѣлымъ недѣлямъ солнца не видали!—не остерегся высказаться Новинскій.

— Гдѣ ужъ солнце въ Стрѣльнахъ да въ Озеркахъ видѣть!—„самостоятельно“ съехидничалъ Скорпіоновъ. — Оно, вишь, въ Женеву да въ Парижъ спряталось! И какъ это мы съ вами, Аника Иванычъ, и солнце, и звѣзды, и мѣсяцъ—все видѣли? Солнце какъ солнце!

— Мы съ вами не интеллигенты, Василискъ Тимоѳеичъ, — объяснилъ Тарантуловъ: — интеллигенты-то на солнце въ подзорную трубу смотрятъ, а мы по-простецки—голыми глазами!

— Развѣ что такъ... Только ужъ такъ я на этихъ интеллигентовъ сердитъ! Кажется, взялъ бы да...

— Д-да-а!?—видимо растерялся Ловягинъ, однако перемогъ себя и

продолжалъ: — но ежели погода была и не вполнѣ благопріятна, за то... Удивительно, какъ нынче тихо было! замѣчательно тихое лѣто!

А Глухаревъ, съ своей стороны, прибавилъ:

— Никогда прежде такъ тихо не бывало! Такъ тихо, что ежели кто не чувствовалъ за собою вины, то смѣло могъ надѣяться, что его не потревожатъ.

— А развѣ когда-нибудь прежде бывало, господинъ Глухаревъ, чтобы невинныхъ тревожили? — возопилъ Скорпіоновъ, безцеремонно врываясь въ пріятельскую бесѣду.

Павлинскаго передернуло. Ему слѣдовало совсѣмъ не обращать вниманія на запросъ, но онъ, повидимому все еще находясь подъ игомъ воспоминаній о Dent du Midi, не выдержалъ и процѣдилъ сквозь зубы:

— Ахъ, какъ непріятно!

— Непріятно-съ?—подхватилъ Скорпіоновъ. — Позвольте однакожъ спросить, господинъ Павлинскій, кому больше непріятно: вамъ или вашимъ слушателямъ? Ежели васъ даже скромное напоминаніе о долгѣ приводитъ въ раздраженіе, то что же должны испытывать тѣ, коихъ вы оскорбляете, такъ сказать, въ глубинѣ священнѣйшихъ чувствъ?

На этотъ разъ Павлинскій смолчалъ и нервно торопился доѣсть жареную птицу.

— Какіе дивиденды—и какая неблагодарность!—продолжалъ Скорпіоновъ: — подумали вы, господинъ Павлинскій, кто вамъ эти дивиденды присвоилъ? и на какой предметъ? Фельдмаршальское содержаніе получаете — а какъ выражаетесь... ахъ-ахъ-ахъ! Да еслибъ я... еслибъ мы, напримѣръ, съ Аникой Иванычемъ... при такомъ авантажѣ... да мы бы...

Тарантуловъ, услыхавъ это предположеніе, такъ быстро усвоилъ его себѣ, что даже застоналъ:

— Охъ!

Столоначальники молча доѣдали обѣдъ, торопя глазами полового, чтобъ поскорѣе подавалъ перемѣну. Однакожъ Новинскій, какъ человѣкъ еще молодой и горяченькій, не вытерпѣлъ и хотя несмѣло, но все-таки достаточно громко сказалъ:

— Вотъ ужъ дѣйствительно... трихина!

Но Скорпіоновъ и этимъ не смутился.

— „Трихина"-съ? — такъ, кажется, вы, господинъ Новинскій, изволили выразиться?—очень любезно отпарировалъ онъ:—слыхали-съ! Это червячки такіе миніатюрненькіе... въ ветчинѣ бываютъ?.. Но еслибы даже и червяки-съ! еслибы и червячокъ правду высказалъ, такъ, по моему, и отъ червячка не стыдно ее выслушать... Правда — вездѣ правда, и никакіе дивиденды ее неправдой не сдѣлаютъ. Нынче, я слышалъ, въ Москвѣ нѣкоторый человѣкъ проявился: сидитъ въ укромномъ мѣстѣ и все только правду говоритъ! А прохожіе идутъ мимо и слушаютъ! На то она и правда, чтобъ всякій ее слушалъ! А ежели кто добровольно не согласенъ правду слушать, противъ того можно и мѣры принять... Такъ ли я, Аника Иванычъ, говорю?

— Пррравильно! — раскатился Тарантуловъ могучимъ мокротнымъ басомъ.

— Правду, доложу вамъ, даже полезно отъ времени до времени выслушивать,—продолжалъ резонировать Скорпіоновъ:—потому человѣкъ не всегда самъ за собой услѣдить можетъ. Иной и благонамѣренный, а смотришь —онъ ослабъ! Ну, такъ ослабъ, такъ ослабъ, что еще немножко — хоть на цѣпь его сажай, такъ въ ту же пору! И вдругъ, въ этакихъ-то стѣсненныхъ обстоятельствахъ, онъ правду слышитъ! Слышитъ разъ, слышитъ другой... Въ трактиръ придетъ—правда! на службу придетъ—правда! домой придетъ—правда! А что, дескать, ужъ и впрямь не спапашился ли я? Подумаетъ-подумаетъ, да взвѣситъ, да сообразитъ... смотришь, онъ и остепенился! Вотъ она, правда-то, чтò значитъ! Такъ ли я, Аника Иванычъ, говорю!

— Прррравильно!

— А вы меня трихиной изволили обозвать! Я, васъ жалѣючи, правду говорю, а вы...

— Счетъ!—раздраженно крикнулъ Павлинскій.

— Спѣшите-съ? — уязвилъ-было Скорпіоновъ; но въ эту минуту Новинскаго посѣтило вдохновеніе.

— Чтò такъ рано, Павелъ Никитичъ?—обратился онъ къ Павлинскому:—вѣдь этакъ отъ нихъ, отъ кляузниковъ, и дѣваться некуда будетъ. А мы вотъ чтò сдѣлаемъ. Господинъ Скорпіоновъ! кажется, графинчикъ-то у васъ сиротой стоитъ?.. Такъ не хотите ли... отъ насъ? а? Человѣкъ! другой графинчикъ господину Скорпіонову! Вы, кажется, очищенную пьете, господа?

— Обыкновенно употребляемъ очищенное вино; но ежели случится двойная померанцевая...

— Прекрасно. Графинъ двойной померанцевой! И два подовыхъ пирога!

Маневръ удался какъ нельзя лучше. Тѣмъ не меньше онъ совершился настолько внезапно, что даже Скорпіоновъ почувствовалъ себя не совсѣмъ ловко.

— Обыкновенно... мы безвозмездно — пробормоталъ онъ: — но ежели гостепріимство, и при томъ съ раскаяніемъ...

— Именно такъ: съ раскаяніемъ... Кушайте, господа, не стѣсняйтесь!

Наступила временная тишина. Тарантуловъ быстро рвалъ пирогъ зубами и озирался по сторонамъ, какъ бы кто у него не отнялъ; Скорпіоновъ чавкалъ понемножку, прихлебывая небольшими глоточками изъ рюмки. Столоначальники вздохнули свободно и кидали благодарные взгляды въ сторону Новинскаго. Но прежній дивидендно-либеральный разговоръ уже не вязался.

— Хорошо, господа, на Женевскомъ озерѣ было! небо—синее, озеро—голубое, прямо—Dent du Midi, слѣва—Dent du Jaman... — началъ-было Павлинскій, но вспомнилъ, что онъ однажды уже все это разсказалъ, и остановился.

Кляуза сдѣлала-таки свое дѣло: либерализмъ былъ подсѣченъ въ самомъ корнѣ...

Съѣли пирожное, выпили остатки шампанскаго и стали сниматься съ мѣстъ. Столоначальники впрочемъ не торопились и показывали видъ, что ничего особеннаго не произошло, кромѣ небольшого, свойственнаго трактирамъ, недоразумѣнія, которое тутъ же и уладилось, къ общему удовольствію.

Но когда они были уже въ буфетной, Скорпіоновъ прошипѣлъ имъ въ догонку:

— Дивидендщики!

А Новинскій, принимая на подъѣздѣ поздравленія отъ товарищей, говорилъ:

— Что прикажете дѣлать! Только водкой и можно кляузѣ глотку залить! Согласитесь, что, за отсутствіемъ другихъ, это тоже въ своемъ родѣ... обезпеченіе?!

Комната третья.

Крамольниковъ (публицистъ и либрпансёръ) чувствовалъ себя въ этотъ день въ особенности возбужденно.

Съ нѣкоторыхъ поръ онъ „рѣшительно ничего не понималъ". До самой послѣдней минуты онъ думалъ, что существуетъ какое-то отверстіе, въ которое можно заглянуть, и изъ котораго отъ времени до времени можетъ пахнуть воздухомъ. Ежели не ворота, то подворотня. Щелка, наконецъ. И вдругъ даже щели—и тѣ исчезли. Законопачены, замазаны, притерты—нѣтъ вамъ щелей! И что всего обиднѣе: онъ даже услѣдить не догадался, какимъ образомъ все это произошло. Наканунѣ еще думалъ: завтра утромъ пойду и посмотрю въ щелку! Приходитъ—гладко! Даже мѣсто, гдѣ была щелка, не можетъ опознать. И къ кому онъ ни обращался съ вопросомъ: кто замазалъ и по какому поводу? — всѣ смотрѣли на него съ недоумѣніемъ, и даже съ робостью, какъ бы говоря: ишь вѣдь, головорѣзъ, про что вспомнилъ! И отвѣчали вслухъ: проходи-ка, братъ, мимо! ни объ какихъ мы щеляхъ не слыхивали! всегда была здѣсь стѣна какъ стѣна!

Будучи отъ природы любознателенъ, Крамольниковъ, натурально, взволновался. Любознательность вообще свойственна людямъ, которые еще не успѣли сдѣлаться живыми трупами, а онъ не безъ основанія причислялъ себя къ категоріи такихъ людей. Да, онъ не трупъ, онъ еще дышетъ, и легкія его требуютъ прилива свѣжаго воздуха. Въ тайникахъ души онъ простиралъ свои виды довольно далеко, и не прочь былъ потребовать даже *всего*. Но такъ какъ онъ зналъ, что *остального* ему не дадутъ, то вынужденъ былъ удовлетвориться щелочкой. Онъ сдѣлалъ эту уступку скрѣпя сердце, но разъ примирившись съ минимумомъ своихъ притязаній къ жизни—уже не допускалъ изъ него никакихъ урѣзокъ. „Щелка такъ щелка,—провозглашалъ онъ рѣзко:—но за то она моя... всецѣло! Ни линіи, ни полъ-линіи, ни четверть-линіи!" И жилъ въ надеждѣ, что щелка останется неприкосновенною (а можетъ быть современемъ ее и расковырять будетъ можно), и что *онъ* съумѣетъ отстоять ее отъ чьихъ бы то ни было притязаній...

Каково же было его огорченіе, когда онъ воочію убѣдился, что щелка —пустое дѣло, и что никому даже не интересно знать, согласенъ ли онъ на урѣзки, или несогласенъ. Пришли, замазали и ушли.

Цѣлое утро онъ пробѣгалъ отъ одного знакомаго къ другому, протестуя и жалуясь.

— Представьте себѣ! щелки-то вѣдь ужъ нѣтъ! — сообщалъ онъ одному.

— Да объясните же наконецъ, что̀ такое произошло?—спрашивалъ у другого.

— Вѣдь это ужъ не фактъ, а волшебство! Волшебство! волшебство! волшебство!—повторялъ третьему.

И даже идя по улицѣ, не стѣсняясь присутствіемъ городовыхъ, повторялъ:

— Какое неслыханное варварство!

Наконецъ, измученный, съ растрепанными нервами, прибѣжалъ въ семь часовъ въ „Грачи", гдѣ имѣлъ обыкновеніе насыщаться. Не обѣдать и даже не ѣсть, а именно только насыщаться.

Тутъ онъ встрѣтилъ цѣлую компанію знакомцевъ, такихъ же либрпансёровъ, какъ и онъ самъ, и не успѣлъ порядкомъ сѣсть на стулъ, какъ уже загремѣлъ:

— Представьте себѣ — щелка-то замазана! — Утромъ пришелъ, думаю: посмотрю? и вдругъ съ одной стороны — стѣна, и съ другой—стѣна! Гдѣ щелка?—нѣтъ щелки!

— А вы только теперь догадались?—молвилъ одинъ знакомецъ.

— Ее ни вчера, ни третьяго дня ужъ не было... давно! — сообщилъ другой.

— У васъ, должно быть, празднаго времени много! Ищете Богъ знаетъ чего, говорите объ томъ, что̀ было, да и быльемъ поросло! — подтрунилъ третій.

Крамольниковъ усѣлся и началъ глотать пищу. Мужчина онъ былъ вальяжный, нуждавшійся въ питаніи, но глоталъ зря, не сознавая ни вкуса, ни даже свойства подаваемой ѣды, такъ что еслибъ ему подали сладкій пирожокъ, намазанный горчицей, то онъ и его бы проглотилъ. Наконецъ въ срединѣ обѣда, уничтоживъ цѣлую массу чернаго хлѣба, онъ почувствовалъ себя сытымъ и опомнился. Отставилъ приборъ, оглядѣлся, какъ бы припоминая, какъ онъ сюда попалъ, увидѣлъ знакомыя лица, вспомнилъ и опять загремѣлъ:

— Представьте мое удивленіе! — Гляжу, ищу—и ничего не вижу!— Смотрю—на встрѣчу Семенъ Иванычъ идетъ. Къ нему. „Семенъ Иванычъ!— батюшка! — какимъ манеромъ? съ чего?" И что жъ бы вы думали? — потоптался, потоптался Семенъ Иванычъ — шмыгъ отъ меня на другую сторону улицы! Я—къ Яковъ-Петровичу: „Яковъ Петровичъ! батюшка!" — Этотъ ужъ совсѣмъ дуракъ дуракомъ. „Стыдитесь!"—говоритъ.

— Ха-ха!—раздалось за столомъ.

Но посреди общаго хохота выдѣлился серьезный голосъ, который произнесъ:

— А вы, Крамольниковъ, будьте поосторожнѣе. Помните, что вѣдь здѣсь трактиръ.

Голосъ этотъ принадлежалъ несомнѣнному либрпансёру Тебенькову, который тоже не прочь былъ въ щелочку посмотрѣть. Но такъ какъ онъ былъ малый мудрый, то, разъ убѣдившись, что щелка исчезла, онъ сказалъ себѣ: „ежели она исчезла, то, стало быть, ея нѣтъ", и благоразумно воздержался отъ всякихъ изслѣдованій по этому предмету.

— Чтѳ такое „поосторожнѣе“? и чтѳ-жъ изъ того, что здѣсь трактиръ? —разгорячился Крамольниковъ.

— А то, во-первыхъ, что самое открытіе, которое васъ такъ поразило, уже указываетъ на необходимость осмотрительности; а во-вторыхъ, то, что въ трактирѣ всякаго гаду довольно.

— Осторожность да осмотрительность — только и слышишь отъ васъ, Тебеньковъ!—вознегодовалъ Крамольниковъ: — докуда же наконецъ? — И какое кому дѣло до гадовъ?—Не преувеличиваете ли вы?—Общество совсѣмъ не такъ низко стоитъ, чтобы сгибаться подъ ферулой какихъ-то „гадовъ“! Напротивъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, оно наглядно доказываетъ, въ какую сторону влекутъ его симпатіи. Спрашивается: при такомъ общественномъ настроеніи, чтѳ значатъ какихъ-нибудь два-три гада, которые, дѣйствительно, могутъ проскользнуть?

— А то и значитъ, что, несмотря на свою численную слабость, эти два-три гада имѣютъ достаточно силы, чтобы всѣхъ здѣсь присутствующихъ въ осадѣ держать.

Несмотря на то, что Крамольниковъ былъ весь погруженъ въ свои сѣтованія, слова Тебенькова остепенили его. Онъ невольно оглядѣлъ комнату, въ которой они обѣдали, и, къ удовольствію, убѣдился, что въ ней никого, кромѣ своей компаніи, нѣтъ. Правда, изъ сосѣднихъ анфиладъ, справа и слѣва, доносилось густое гудѣніе, но, по мнѣнію его, это гудѣніе даже обезпечивало тайну интимной бесѣды.

— Яко тать въ нощи,—прибавилъ Тебеньковъ, какъ бы угадывая его мысль.

— А коли такъ,—разгорячился Крамольниковъ: — то давайте вести разговоры, которые низшимъ организмамъ свойственны! Нуте-ка, благословясь: мму-у!

— Крамольниковъ, вы нелѣпы!—обидѣлся Тебеньковъ.

— А ежели и это вамъ кажется черезчуръ радикальнымъ, то займемтесь чѣмъ-нибудь приблизительнымъ. Напримѣръ: какъ называется эта птица, которая поставлена на столъ?

— Судя по могущественному тѣлосложенію, надо бы быть глухарю,— сказалъ онъ.

— А по моему, такъ это преклонныхъ лѣтъ самоклюй, — отозвался другой.

Догадка за догадкой пришли къ заключенію, что это коршунъ, который предварительно съѣлъ и глухаря, и самоклюя, и затѣмъ, въ качествѣ чего-то средняго, попалъ въ трактиръ „Грачи“. Порѣшивши на этомъ, начали ѣсть и вскорѣ такъ освоились, что кто-то даже выразился: „право, хоть бы и еще такую же птицу!“ Наѣвшись, закурили папиросы, спросили пива и стали уже настоящимъ образомъ разговаривать.

— Однажды я въ Тверской губерніи лѣтомъ гостилъ, такъ дупелей ѣлъ —вотъ это такъ птица!—сообщилъ одинъ.

— А по моему тетеревъ, ежели онъ еще цыпленокъ, даже лучше дупеля будетъ!—отозвался другой.

— Тетеревъ-то и не цыпленокъ, а просто „нонѣшній“... ежели, на-

примѣръ, въ сентябрѣ...—возразилъ третій:—приготовить его въ кастрюлькѣ да дать легонько вздохнуть—высокая это ѣда, господа!

Наговорившись о птицахъ, перешли къ пиву. Одинъ хвалилъ калинкинское; другой предпочиталъ „Баварію“; третій вспомнилъ о пивѣ Даньельсона въ Москвѣ, щелкнулъ языкомъ и прибавилъ: „вотъ это такъ пиво было... дореформенное!“

Словомъ сказать, такъ увлеклись, что никто бы и не подумалъ, что люди ведутъ разговоры, высшимъ организмамъ несвойственные. Одинъ Крамольниковъ нервно пожималъ плечами, приговаривая: „каплуны! ай да каплуны!“ Наконецъ онъ не выдержалъ, всталъ съ мѣста и зашагалъ по комнатѣ.

— Растолкуйте вы мнѣ, мудрецы! — началъ онъ, обращаясь къ пріятельской компаніи:—почему то̀, чему присвоивается названіе „правды“ по ту сторону Вержболова, называется неправдой и превратнымъ толкованіемъ по сю сторону? почему то̀, что̀ признается не только безопаснымъ, но даже благотворнымъ по ту сторону, становится опаснымъ и вреднымъ по сю сторону? почему люди, считающіеся надежнѣйшею поддержкою порядка—*тамъ*, являются *здѣсь* подрывателями, чуть не разбойниками? почему, наконецъ, одинъ и тотъ же человѣкъ какою-то пустой рѣчонкой, составляющей границу, разсѣкается на̀-двое? Почему-съ?

— Потому вѣроятно, что въ Вержболовѣ—таможня, — спокойно рѣшилъ Тебеньковъ.

— Не понимаю! Можетъ быть, вы, по обыкновенію, изволите шутить... и, можетъ быть, даже очень остроумно... Но я—не понимаю! Вообще я шутокъ не понимаю. Не понимаю-съ! не понимаю-съ!—повторилъ онъ раздраженно.—Время, въ которое мы живемъ, такъ серьезно и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ сурово, что двумысленности кажутся мнѣ неумѣстными. Да-съ, неумѣстными-съ.

— Но я и не думалъ шутить. Я говорю, что въ Вержболовѣ существуетъ таможня, точно такъ же, какъ сказать бы, что существуютъ таможни въ Кёльнѣ, въ Аврикурѣ, въ Паньи, въ Понтарлье и проч. Вѣдь и по сю сторону, напримѣръ, Аврикура, жизненныя условія имѣютъ совершенно иной характеръ, нежели по ту сторону...

— Не „совершенно иной“, а „до извѣстной степени иной“ —это такъ. Разница тутъ только въ размѣрахъ, а не въ сущности. Понятія объ общественномъ благѣ и общественномъ вредѣ, объ основахъ, на которыхъ покоится общественный порядокъ, общая безопасность и личная обезпеченность — и тамъ, и тутъ одни и тѣ же. А ежели политическія формы въ одномъ мѣстѣ шире, а въ другомъ у̀же, то, право, это вопросъ второстепенной важности. Средній человѣкъ не гонится за политической номенклатурой, а дорожитъ только реальными благами; но, разумѣется, не одними матеріальными благами, а и духовными. А такъ какъ къ числу послѣднихъ принадлежитъ...

— Ахъ, да знаемъ мы, что̀ къ числу послѣднихъ принадлежитъ, — рѣзко прервалъ его Тебеньковъ:—не только знаемъ, но даже можемъ и вамъ предложить небезполезный по этому поводу совѣтъ. Оставьте вы эту безплодную игру въ вопросы и отвѣты! а если не можете совсѣмъ оставить, то отложите ее до болѣе благопріятнаго времени!

— Вы сказали: „до болѣе благопріятнаго времени“? Стало быть, вы признаете, что нынѣшнее время...

— Ничего я не признаю, ни не признаю. Просто-на́-просто, не желаю.

— Чего же вы не желаете, господинъ Тебеньковъ? и почему такъ скромно? Не доказываетъ ли это...

— Ничего не доказываетъ. Мы пришли сюда обѣдать, а не политическіе вопросы обсуждать. Не желаю—и будетъ съ васъ.

— Странно!

Крамольниковъ горько улыбнулся, раскрылъ ротъ, чтобы еще что-то сказать, но воздержался и принялся шагать взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Въ Москвѣ я однажды дѣвицу видѣлъ...—раздался чей-то голосъ среди общаго молчанія.

— Позвольте-съ! – сурово прервалъ Крамольниковъ:—объ московской дѣвицѣ вы послѣ разскажете, а теперь рѣчь вотъ объ чемъ. Позвольте васъ спросить, господа мудрецы: отчего прежде былъ Стыдъ, а теперь — нѣтъ его?

Крамольниковъ скрестилъ на груди руки и неукоснительно требовалъ отвѣта.

— Ахъ, Крамольниковъ!—произнесъ Тебеньковъ съ явнымъ оттѣнкомъ нетерпѣнія.

— Знаю я, что я Крамольниковъ, но не въ этомъ дѣло. Скажите: почему еще такъ недавно обыватель самаго несомнѣнно-заскорузлаго пошиба, развивая тезисъ о пользѣ ежовыхъ рукавицъ, всегда оговаривался? „Знаю, молъ, я, что ежовыя рукавицы не составляютъ послѣдняго слова науки, но что́ же дѣлать, если безъ нихъ нельзя обойтись? Погодите! потерпите! Придетъ время, когда нецѣлесообразность этого средства обнаружится сама собою; но при настоящихъ условіяхъ оно представляетъ очень существенное подспорье. Временное, коли хотите, и даже... не вполнѣ нравственное, но тѣмъ не менѣе несомнѣнное и необходимое!“ Вотъ сколько было нужно оговорокъ, чтобъ объяснить—не защитить, а только объяснить — ежовыя рукавицы! Почему, спрашиваю я васъ, этотъ заскорузлый человѣкъ не отстаивалъ ежовыхъ рукавицъ по существу, а только объяснялъ ихъ, какъ явленіе временное, допускаемое, такъ сказать, съ стѣсненнымъ сердцемъ? И почему онъ нынѣ объявляетъ прямо: „ежовыя рукавицы —и средство, и цѣль! кромѣ ежовыхъ рукавицъ, ничего нѣтъ и не будетъ!“ Почему-съ? А потому, государи мои, что когда-то у этого обывателя Стыдъ въ глазахъ былъ, а теперь — и слѣда его нѣтъ! Вотъ.

Крамольниковъ все больше и больше возвышалъ голосъ, а слушатели его все больше и больше жались и озирались по сторонамъ, испытывая сквозь открытыя двери пространство, наполненное пестрыми кучками завсегдатаевъ. Нѣкоторые изъ слушателей даже заносили ноги, съ намѣреніемъ, при первомъ случаѣ, улепетнуть.

— Почему вы сами, господа, — не унимался Крамольниковъ: — еще такъ недавно съ охотой вступали въ собесѣдованіе по поводу самыхъ горячихъ вопросовъ жизни, а теперь вы не только уклоняетесь отъ подобныхъ вопросовъ, но прямо стараетесь заглушить въ себѣ эту потребность разгово-

рами, человѣческому естеству несвойственными? Не потому ли, что прежде вы чувствовали въ сердцахъ вашихъ движеніе совѣсти, а теперь—чувствуете только постыдные порывы самосохраненія? Затѣмъ позвольте еще одинъ нескромный вопросъ...

— Оставьте, Крамольниковъ!—раздалось нѣсколько голосовъ:—положительно вы дѣлаетесь невозможны!

— Кто? я невозможенъ?—уже полнымъ голосомъ возопилъ Крамольниковъ:—я, который довелъ свои требованія до минимума? я — который, въ виду суровой дѣйствительности, добровольно отказался отъ завѣтнѣйшихъ мечтаній жизни и подчинилъ ихъ представленіямъ возможнаго, доступнаго и благовременнаго? я, который, подобно алчущему еленю, искалъ чистыхъ струй для утоленія угнетавшей меня жажды, и вмѣсто того удовлетворялъ ее словами: подождите! потерпите!? я, который, въ надеждѣ славы и добра, съ восхищеніемъ повторялъ: наше время—не время широкихъ задачъ?!? я, который цѣлымъ рядомъ передовицъ доказывалъ, что на первый разъ мы обязываемся довольствоваться щелкой... съ тѣмъ, разумѣется, чтобы щелка, расширяясь въ строгой постепенности, образовала современемъ соотвѣтствующее отверстіе?? Я невозможенъ? я?!?!

Онъ кричалъ такъ громко, что въ дверяхъ уже показалось нѣсколько ябедническихъ головъ. Въ рядахъ либрпансёровъ обнаружилось серьезное безпокойство, чуть не смятеніе, и ноги ихъ рѣшительнѣе прежняго начали заноситься по направленію къ выходу. Замѣтивъ это движеніе, Крамольниковъ простеръ руки, какъ бы удерживая бѣглецовъ. Въ этой позѣ онъ напоминалъ собой капельмейстера, который началъ назначенный въ программѣ Concertstück и уже не можетъ не довести его до конца. Всецѣло поглощенный горькими впечатлѣніями дня, онъ утратилъ всякое представленіе о времени и мѣстѣ. Вперивъ глаза въ пространство, онъ, казалось, отыскалъ въ немъ какое-то лучезарное мельканіе, которое заставило его позабыть и о слушателяхъ, и объ инстинктахъ самосохраненія, заставлявшихъ этихъ слушателей смотрѣть на всякое „проявленіе“ или „оказательство“ какъ на скандалъ, который самъ по себѣ, помимо злостныхъ комментаріевъ, можетъ запутать и обвиноватить цѣлую массу совсѣмъ неприкосновенныхъ людей.

— Я каюсь!—бичевалъ онъ самъ себя: — я былъ малодушенъ! Мало того: я былъ... постыденъ! Я измѣнилъ большимъ убѣжденіямъ и примирился съ малыми... это нечестно! Вмѣсто того чтобъ идти широкимъ вольнымъ путемъ, я предпочелъ окольныя тропинки; вмѣсто того чтобы вступить на торжище жизни воротами, я удовольствовался заглядываніемъ въ щелку... какъ рабъ! Я думалъ, что это знаменуетъ мудрость, а на повѣрку вышло, что это была громадная, непоправимая глупость! Въ одно прекрасное утро щелка исчезла, и я остался безо всего! Я наказанъ жестоко, но заслуженно! Ибо я былъ не только постыденъ, но и глупъ. Глупъ—вотъ что больнѣе всего! Постыдность сама по себѣ можетъ служить даже залогомъ успѣха; глупость — можетъ служить залогомъ только безсрочнаго оплеванія! Постыдному человѣку, только при очень благопріятныхъ условіяхъ, могутъ сказать въ глаза: ты постыденъ! Глупому человѣку, при всякихъ условіяхъ, благовременно и

безвременно, говорятъ: дуракъ! дуракъ! дуракъ! Вотъ именно такимъ дуракомъ я сознаю себя...

Онъ остановился, отыскалъ чей-то до половины наполненный стаканъ пива, залпомъ его выпилъ и продолжалъ, попрежнему впеpяя глаза въ пространство:

— Тѣмъ не менѣе мнѣ сдается, что какъ ни обидна глупость, но при извѣстной обстановкѣ она можетъ служить смягчающимъ обстоятельствомъ. „Постыденъ, но безъ разумѣнія“ —такой вердиктъ еще можно вынести! Но ежели вердиктъ гласитъ кратко: „постыденъ!“ и только по неизреченному милосердію судей не прибавляетъ: „съ предварительно обдуманнымъ намѣреніемъ“ —такого страшнаго вердикта положительно нельзя вынести! И хотя я никого прямо не называю, къ кому могъ бы быть примѣненъ подобный жестокій вердиктъ, но все-таки приглашаю васъ обдумать мои слова, господа! Къ сожалѣнію, многіе изъ васъ думаютъ, что можно до такой степени умàлиться, стушеваться, исчезнуть, что самая суровая дѣйствительность не выдержитъ и поступится хоть забвеніемъ... Тщетная надежда, государи мои! Уступки и забвенія свойственны явленіямъ нарождающимся, не окрѣпшимъ и неувѣреннымъ въ своемъ будущемъ, а не дѣйствительности, имѣющей за собой многовѣковую исторію. Дѣйствительность есть дѣйствительность, и въ силу своей общепризнанности, въ силу своего исконнаго торжества, она никогда и ничѣмъ не поступается и никогда ничего не забываетъ. Она вполнѣ послѣдовательно выполняетъ свою задачу, то-есть подчиняетъ себѣ все, находящееся въ районѣ ея кругозора, фасонируетъ все, чтó поддается ея дѣйствію, а неподдающееся — выбрасываетъ зà бортъ. Вотъ будущность, которая предстоитъ. И вы не минуете ея, хотя и надѣетесь, что норы, въ которыхъ вы спрятались, *въ ожиданіи лучшихъ дней*, не выдадутъ васъ. Выдадутъ, господа! Да вы и сами, наконецъ, не вытерпите насильственнаго заключенія, и выйдете! И вотъ, когда это случится, передъ вами немедленно встанетъ все ваше робкое, скудное прошлое, и встанетъ не въ видѣ укора въ скудости, какъ вы постыдно надѣетесь, а въ видѣ улики въ стремленіи къ потрясенію основъ! Всѣ ваши подходы припомнятся вамъ, всѣ недомолвки будутъ сочтены. Тебеньковъ былъ несомнѣнно правъ, говоря, что одного-двухъ ябедниковъ совершенно достаточно, чтобъ держать въ осадѣ цѣлую массу людей; но онъ позабылъ прибавить, что если дѣйствительно сила ябеды такъ велика, то всякая попытка укрыться отъ нея является, по малой мѣрѣ, безплодною. Я не говорю уже о тѣхъ архи-ябедникахъ, которые, при посредствѣ печатнаго станка, всю Россію опутали своею подкупною кляузою, и на могилу которыхъ потомство, вмѣсто монумента, уготоваетъ осиновый колъ, но сколько есть ябедниковъ третьестепенныхъ, захудалыхъ, которые, собственно говоря, не имѣютъ никакого ябедническаго авторитета, а только похваляются тѣмъ, что они ябедники!.. А вы и передъ ними стушевываетесь, и въ нихъ признаете какую-то силу, которая въ одну минуту можетъ васъ скомкать и поглотить! — Стыдитесь, господа! — Вспомните, что вы люди и что не напрасно преданіе отмѣчаетъ человѣческій образъ отъ звѣринаго! Вспомните, что въ извѣстныхъ случаяхъ отсутствіе мужества равняется предательству! Вспомните, наконецъ...

Но тутъ Крамольниковъ круто оборвалъ. Случайно оторвавъ глаза отъ лучезарнаго пространства, къ которому они были прикованы, онъ опустилъ ихъ долу... Передъ нимъ стоялъ пустой столъ, загаженный пивными пятнами. Собесѣдники, четверть часа тому назадъ сидѣвшіе тутъ, исчезли всѣ до единаго.

Взамѣнъ ихъ въ дверяхъ стояли Скорпіоновъ и Тарантуловъ.

— Ахъ, господинъ Крамольниковъ, какъ вы хорошо говорите! — въ умиленіи воскликнулъ Скорпіоновъ:—то-есть, та̀къ вы говорите! та̀къ говорите!.. вѣкъ бы васъ слушалъ и не наслушался бы!!

Вечеръ четвертый.

ПОШЕХОНСКІЕ РЕФОРМАТОРЫ.

I.

Андрей Курзановъ.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ въ семьѣ пошехонскаго мѣщанина Тихона Гордѣева Курзанова проявилась личность, сразу обратившая на себя общее вниманіе. Это былъ сынъ стараго Тихона, Андрей, молодой человѣкъ 20—22 лѣтъ.

Семья Курзановыхъ была бѣдная, смирная и богобоязненная. Старый Тихонъ происходилъ изъ крѣпостныхъ и состоялъ въ дворнѣ помѣщика Беленицына, въ качествѣ „живописца“. Все, что̀ носило на себѣ слѣды масляной краски въ селѣ Верховомъ, начиная отъ половъ „подъ паркетъ“ въ барской усадьбѣ и кончая портретной галереей баръ, барчатъ, и барышенъ, а также иконостасомъ сельской церкви — все это было дѣломъ рукъ Тихона Курзанова. Въ тогдашнее время помѣщики любили украшать свои жилища произведеніями искусствъ, такъ что почти во всякомъ господскомъ домѣ можно было встрѣтить и „Иродіаду“, держащую на блюдѣ голову Іоанна Крестителя, въ которую Иродъ тыкалъ вилкою, и „Сусанну“, лежащую въ обнаженномъ видѣ, съ двумя старцами по бокамъ, и „Дѣвушку съ тазикомъ и графиномъ воды“, и „Обѣдающихъ дураковъ“ и т. д. Тихонъ и такія картины умѣлъ писать. Человѣкъ онъ былъ смирный и покорный, а въ своей спеціальности положительно неутомимый. Съ утра до вечера онъ готовъ былъ „писать“, но за то ко всякой другой работѣ выказывалъ рѣшительную неспособность. Ни на сѣнокосъ его, въ горячее время, послать было нельзя, ни даже въ лѣсъ за ягодами или за грибами —все равно, ничего не принесетъ. Да и господа были добрые, и хотя смутно, но понимали, что принужденіе можетъ только изнурить Тихона, а дѣлу не поможетъ. Поэтому, когда по дому не требовалось никакой масляной или живописной работы, то Тихона отпускали по оброку, который онъ и платилъ всегда аккуратно. Когда ему было уже лѣтъ около тридцати-пяти, его женили на сѣнной дѣвушкѣ Ан-

нушкѣ, которую тогда же обложили умѣренными тальками, а лѣтъ черезъ пять послѣ того баринъ Беленицынъ скончался, и, умирая, почему-то вспомнилъ о Тихонѣ и заказалъ барынѣ Аннѣ Семеновнѣ дать ему вольную.

Вышедши на волю, Курзановъ поселился въ Пошехоньи и жилъ, какъ говорится, съ хлѣба на квасъ. Большой нужды не было, но не было и настоящей сытости. На недостатокъ заказовъ онъ не жаловался, но заказы были исключительно церковные, которые, какъ извѣстно, всегда оканчиваются словами: для Бога-то, чай, можно и уступить? И Тихонъ уступалъ до самой крайней степени, потому что и самъ понималъ, что для Бога не уступить нельзя. Аннушку Тихонъ любилъ, но, по странной особенности всего своего душевнаго строя, какъ будто считалъ свое сожитіе съ нею дѣломъ грѣховнымъ, на которое онъ не рѣшился бы, еслибъ не тяготѣла надъ нимъ всевластная рука крѣпостного права. Съ своей стороны и Аннушка любила его, однакожъ къ матеріальнымъ лишеніямъ относилась не совсѣмъ равнодушно, и нерѣдко-таки поговаривала: „только слава, что золотыя у Тихона руки, а круглый годъ мы съ нимъ по мытарствамъ ходимъ“.

Андрей росъ тихо и одиноко. Это былъ мальчикъ впечатлительный, съ очень нѣжнымъ, почти болѣзненнымъ организмомъ. Съ ранняго дѣтства окруженный образами и книгами церковнаго обихода, онъ легко пристрастился къ божественному. Не пропускалъ ни одной церковной службы и въ особенности любилъ ходить на богомолья по сосѣднимъ пустынямъ и монастырямъ, гдѣ старый Тихонъ имѣлъ почти постоянные заказы. Тишина, окружавшая эти молитвенныя общежитія, умиляла его и растворяла его дѣтское сердце любовью. Тою тихою, ровною, несознаваемою, но разлитою во всемъ организмѣ любовью *ко всему*, которая согрѣваетъ не только самого любящаго, но и весь окружающій его міръ. Не трепетомъ наполняли его вѣковые сосновые боры, служащіе какъ бы преддверіемъ къ обителямъ, а сладко волновали все его существо смѣшаннымъ чувствомъ радости и жалѣнія. Ноги его утопали въ зыбучемъ пескѣ, а онъ чувствовалъ, что за плечами у него выростаютъ крылья, которыя несутъ его, несутъ... И сердце ширится и рвется, и глаза, куда ни обратятся, вездѣ имъ на встрѣчу: свѣтъ, свѣтъ, свѣтъ... Потребность пасть на землю появлялась внезапно и неудержимо. Пасть, цѣловать ноги странныхъ и убогихъ, плакать, страдать, умереть...

Грамота далась ему легко, но ни къ какому другому ремеслу онъ охоты не проявилъ. Даже къ живописи отнесся равнодушно, потому что существо его было переполнено какимъ-то неизъяснимымъ просіяніемъ, которое не имѣло ни формы, ни очертаній, и слѣдовательно не поддавалось ни слову, ни кисти. Впрочемъ отецъ и не нудилъ его; онъ самъ имѣлъ природу, тождественную съ сыномъ, и ежели „писалъ“, то лишь по привычкѣ и ради нужды. Мать тоже огорчалась внѣшнимъ бездѣйствіемъ сына, потому что провидѣла въ немъ будущаго „богомола“, который не только себя, но и ихъ, стариковъ, современемъ прокормитъ.

„Богомолы“ въ старые годы составляли особую касту, которой жилось сравнительно хорошо. Это были люди, посвящавшіе себя странствованіямъ и молитвеннымъ подвигамъ. Были между ними искренніе, подвижничавшіе ради подвижничества; но были и такіе, которые смотрѣли на свои скитанія какъ

на выгодное ремесло. Послѣдняя категорія выдѣлялась чаще и была очень многочисленна. Ходили они обыкновенно въ полумонашеской одеждѣ, состоявшей изъ длиннаго чернаго полукафтанья, подпоясаннаго широкимъ расшитымъ поясомъ, застегнутымъ на крючки. Волосы подстригали рѣдко; на головѣ носили высокія шапочки на манеръ камилавокъ, и ходили, опираясь правой рукой на высокую трость, въ родѣ поповской. Старозавѣтные помѣщики (а преимущественно ихъ жены и вообще женскій полъ), рѣдко выѣзжавшіе изъ своихъ гнѣздъ, охотно ихъ принимали и сажали за господскій столъ, успокоивали на гостиныхъ перинахъ и любили съ ними бесѣдовать. Предметомъ бесѣдъ обыкновенно служили разныя апокрифическія сказанія: о хожденіи души по мытарствамъ; о томъ, какъ нѣкто, бывъ по ошибкѣ отозванъ отъ міра сего и потомъ вновь возвращенъ къ жизни, передавалъ сокровенныя подробности загробнаго существованія, коихъ былъ очевидцемъ; о томъ, что̀ будетъ на страшномъ судѣ, и какая кого и за что̀ ожидаетъ кара. Но въ область непосредственныхъ обличеній не пускались, и кары повидимому сулили не весьма строгія, потому что домашній помѣщичій обиходъ отъ этихъ собесѣдованій не измѣнялся. Помѣщицы вздыхали, плакали, но всѣдъ за тѣмъ слезы высыхали и жизнь продолжала течь своей обычной колеей. Вели себя „богомолы“ по большей части скромно; сплетенъ не переносили, вещей плохо лежащихъ не утаивали, и только изрѣдко запутывались въ дѣвичьихъ, какъ бы во свидѣтельство, что и у нихъ, какъ у прочихъ смертныхъ, плоть немощна. Но это имъ извиняли, потому что какъ же съ этимъ быть? Но главное, что̀ въ нихъ восхищало и умиляло — это то, что большинство ихъ круглый годъ не вкушало скоромной пищи. Иные даже въ свѣтлый праздникъ ограничивались тѣмъ, что поцѣлуютъ яичко, да и опять за рыбку, да за грибки. Отъ этого постояннаго воздержанія нѣкоторые изъ нихъ входили въ экстазъ и прорицали. Предвѣщали вещи простыя, всѣмъ близкія и понятныя: неурожай или изобиліе плодовъ земныхъ, ненастье или ведро, войну или мирное житье, угадывали полъ ребенка въ утробѣ матери и проч. Такіе прорицатели особенно чествовались.

Вотъ на такое-то привольное житье и разсчитывала Аннушка для своего сына. Однакожъ ожиданія ея сбылись только отчасти. Изъ Андрея дѣйствительно выработался богомольный и набожный юноша, но въ то же время умственный складъ его сформировался съ такими своеобразными особенностями, которыя рѣшительно не допускали его оставаться на почвѣ простого богомола-ремесленника. Не міръ апокрифическихъ сказаній плѣнялъ его мысль, но міръ человѣческихъ злоключеній, начиная отъ матеріальной неурядицы и кончая страданіями высшаго разряда. Люди, не получившіе никакой воспитательной подготовки, но въ то же время влекомые неудержимою силою къ свѣту, встрѣчаются нерѣдко въ низменныхъ слояхъ общества, но въ большинствѣ случаевъ эти личности впадаютъ въ экзальтацію и становятся чуть не душевно-больными. Къ счастью, Андрей Курзановъ избѣжалъ этого. Онъ не сдѣлался ни юродивымъ, ни бѣсноватымъ, ни прорицателемъ, а остался обыкновеннымъ человѣкомъ, который наивно и безъ раздраженія развивалъ мысли, не имѣвшія никакихъ точекъ прикосновенія съ сложившимся типомъ жизни.

Изъ всего вычитаннаго, слышаннаго и видѣннаго онъ извлекъ особый нравственный кодексъ, который коротко выражалъ словами: „жить по-божески“.

Выраженія такого рода настолько общи, что не даютъ повода для какихъ-либо непосредственныхъ выводовъ, да врядъ ли и самъ Андрей подозрѣвалъ, что такіе выводы возможны. По крайней мѣрѣ, онъ не настаивалъ на нихъ. Поэтому, въ большинствѣ случаевъ, выраженія эти остаются незамѣченными (не переведенными на культурно-чиновничій языкъ), или же сопричисляются къ массѣ тѣхъ мнимо-безсодержательныхъ афоризмовъ, которые отъ времени до времени изрекаетъ „непросвѣщенная чернь“. Въ сущности однакожъ они далеко не безсодержательны, и простыя сердца отлично угадываютъ ихъ таинственный смыслъ. „Жить по-божески“ значитъ жить по справедливости, никого не утѣсняя, всѣхъ любя и взаимно другъ друга прощая. Коли хотите, непосредственныхъ примѣненій и въ этой расчлененной програмѣ не видится, но для чуткаго сердца простеца она несомнѣнно исчерпываетъ всю сложность и все разнообразіе человѣческихъ отношеній.

Тѣмъ не менѣе, въ то время простыя сердца были слишкомъ задавлены, чтобы вслушиваться и вдумываться въ какія бы то ни было досужія рѣчи, и Андрею по-неволѣ приходилось отыскивать для себя аудиторію исключительно среди представителей и представительницъ тогдашней пошехонской интеллигенціи, то-есть въ помѣщичьей и чиновничьей средѣ.

И тутъ наибольшая часть вниманія шла со стороны женщинъ. Въ пользу Андрея говорила и его молодость, и мягкій, ласкающій голосъ, и задумчивые большіе глаза, и даже меланхолическое тѣлосложеніе. Онъ не говорилъ ни о пламени неугасимомъ, ни о червѣ неусыпающемъ, ни о раскаленныхъ щипцахъ и сковородахъ, а сладко волновалъ сердце „справедливыми“ словами. Къ словамъ этимъ по временамъ прислушивался и мужской полъ, и хотя не умилялся по ихъ поводу, но съ формальной стороны тоже не могъ не находить „справедливыми“. Такъ что за Андреемъ Курзановымъ въ скоромъ времени, во всѣхъ захолустьяхъ пошехонской интеллигенціи, утвердилась репутація „справедливаго“ человѣка.

Да иначе оно и не могло быть. Дѣлать какія-нибудь посылки изъ общихъ и притомъ совершенно туманныхъ положеній въ то время никому и на мысль не приходило, а что „справедливость“ есть терминъ вполнѣ почтенный и непререкаемый — въ этомъ никто сомнѣваться не дерзалъ. Объ этомъ и помимо Андрея слыхали и въ церкви, и на школьной скамьѣ — какой же наставникъ позволилъ бы себѣ не отдать дани похвалы самоотверженности, любви къ ближнему и прочимъ элементамъ, изъ которыхъ составляется „божеское“ житіе?—и въ тѣхъ не частыхъ, но все-таки по временамъ прорывавшихся собесѣдованіяхъ, когда даже въ среду, со всѣхъ сторонъ на-глухо запертую, вдругъ невѣдомо откуда и какимъ образомъ налетало свѣжее чувство, просвѣтлявшее умы и умилявшее сердца.

Только вотъ въ глаза этой „справедливости“ не видали, такъ это, пожалуй, придавало еще больше цѣны устнымъ бесѣдамъ о ней.

— Что̀ значитъ жить по-божески?—спрашивала Андрея добрая помѣщица Марья Ивановна, до которой палъ слухъ, что въ Пошехоньи объявился „блаженный“, изрекающій „справедливыя“ слова.

— А вотъ что: тебѣ кусокъ, и ему кусокъ, и всѣмъ прочимъ по куску! — объяснялъ Андрей въ наивной увѣренности, что въ его объясненіи не только нѣтъ ничего угрожающаго, но что воистину иного угоднаго Богу житья не можетъ существовать.

Марья Ивановна выслушивала это объясненіе и тоже никакихъ угрозъ въ немъ не находила. Напротивъ того, думала: „вотъ кабы Богъ привелъ!"

— А мы-то, жадные! — печаловалась она: — все норовимъ, какъ бы заграбастать да оттянуть. Все бы себѣ! все себѣ!

— Жадность, сударыня, тоже разная бываетъ. Иной отъ болѣзни жаденъ, другой отъ комплекціи. У насъ въ Пошехоньи купецъ есть, такъ онъ сколько ни ѣстъ, никакъ наѣсться не можетъ. И въ Москву отъ своей болѣзни лечиться ѣздилъ, и въ Кіевъ по обѣщанью пѣшкомъ ходилъ — не дастъ Богъ облегченья. Такую жадность нельзя вмѣнить въ грѣхъ. А вотъ ежели кто „отъ себя" жаденъ, того ограничить должно.

— Ахъ, Андрюша, Андрюша! какъ же ты его ограничишь, коль скоро и граница, и мѣра — все въ его собственныхъ рукахъ состоитъ? Ты ему: довольно, сударь! а онъ тебѣ: давай еще! Какъ ты *меня* ограничишь, коли всѣ кругомъ куски — всѣ мои? одинъ я отъ папеньки получила, другой — съ аукціона купила, собственныя денежки за него выложила? Какой хочу — тотъ возьму да и съѣмъ!

— И кушайте, сударыня! Я не къ тому... Вы, сударыня, *по закону* кушаете, а я говорю, какъ по-божески. *По закону*, всякій около своего куска ходитъ, а *по-божески* вотъ какъ: тебѣ кусокъ, и мнѣ кусокъ, и прочіимъ по куску. Всѣ чтобы сыты были.

— Хоть бы часокъ этакъ-то пожить! — восклицала Марья Ивановна и сладко задумывалась.

Сердце ея переполнялось благоволеніемъ, а мысли разбѣгались во всѣ стороны. Отъ Аришки перебѣгали къ Ипаткѣ, отъ Ипаткѣ къ Антипкѣ... Всѣ сыты! Даже Максимка пастухъ — и тотъ сытъ! А она смотритъ на нихъ и радуется...

Конечно, вспоминалось ей не разъ — и даже очень подробно вспоминалось, — какъ однажды у нихъ на усадьбѣ, объ масляницѣ, „бунтъ былъ"... Уже *они* ли въ ту пору не ѣли! И блиновъ-то *имъ*! и судачины-то *имъ*! и толокна-то! и творогу! И чтожъ однако подъ конецъ мерзавцы сдѣлали! Въ самый прощёный день дали имъ молочка похлебать... такъ, чуть-чуть съ кислецой... а они взяли, всѣмъ кагаломъ привалили къ господскому крыльцу да молоко-то въ снѣгъ и вылили... Вотъ вѣдь неблагодарность какая!

— А можетъ это и отъ болѣзни, или отъ комплекціи, какъ у того купца... Сколько въ него ни валили — все какъ въ прорву! Ну, и Христосъ съ вами, коли такъ... кушайте, батюшки, кушайте! Лучше пускай ужъ я... много ли мнѣ нужно? — супцу, да жарковца, да сладенькаго... У меня вѣдь „комплекціи-то" нѣтъ — вотъ я и сыта! А прочее — пусть ужъ все имъ! И картофелю, и капусты, и хлѣба... всего! Пускай будутъ сыты... дармоѣды ненасытные! Вонъ Порфишка-то и сейчасъ поперекъ себя толще ходитъ! И все-то ему мало! всѣмъ-то онъ жалуется, что съ толокна у него животъ подвело... Вотъ такъ „комплекція"!

Какъ бы то ни было, но первая подробность „божескаго житья“ выяснилась достаточно: тебѣ кусокъ и мнѣ кусокъ, и прочимъ всѣмъ по куску. Такъ слѣдуетъ жить „по справедливости“. Но ежели „всѣ куски — мои“, то — „кушайте, сударыня“! Хоть это и не „по-божески“, но ничего съ этимъ не подѣлаешь. Тѣмъ-то и дорогъ былъ Андрюша, что хоть „справедливыя слова“ у него изъ устъ потокомъ текли, а никому отъ нихъ обидно не было...

Затѣмъ постепенно выяснилась и другая подробность „божескаго житія“.

— Коли кто хочетъ „по справедливости“ жить, — говорилъ Андрей, — тотъ долженъ кичливость оставить. Чтобы ни рабовъ, ни данниковъ, ни кабальныхъ людей — ничего такого чтобъ не было. Всѣ въ равной другъ съ другомъ любви должны жить. Я — тебѣ послужу, ты — мнѣ. У всѣхъ одинъ Богъ, и всѣхъ онъ одною любовью любитъ, и всѣхъ однимъ судомъ судить будетъ.

— А мы-то! а мы-то! грѣхи наши, грѣхи!

— Коли мы всѣ другъ друга въ равной любви содержать будемъ, то и огорченія наши прекратятся сами собой. И ненависть, и свара, и ропотъ — все исчезнетъ, потому что все это отъ нелюбви, отъ неравенства. Однимъ честь, а другимъ — поношеніе; однимъ веселіе, а другимъ — скорбь. Какъ тутъ огорченью не быть?

— Что говорить! ужъ мы дворяне, на что Богомъ и царемъ взысканы, а и то, другъ на дружку глядя, нѣтъ-нѣтъ, да и позавидуешь!

— Всѣ мы по естеству равны; всѣ Адамовымъ грѣхомъ въ адъ ввержены были, и всѣ Христомъ Спасомъ Истиннымъ изъ ада освобождены. А ежели всѣ равны — стало быть и одинаковая часть всѣмъ отъ Бога положена.

— Откуда же они взялись... рабы? — робко спрашивала Марья Ивановна: — Богъ не повелѣлъ, а ихъ видимо-невидимо. Въ господскихъ домахъ — господа, въ людскихъ да на скотныхъ — рабы... Господа приказываютъ, а рабы повинуются, тяготы носятъ...

— Встарину, сударыня, это сдѣлалось. Не всѣ люди равной комплекціи рождаются; одинъ покрѣпче, другой послабѣе, а третій и вовсе разслабленный. Сильный-то слабаго и покорилъ. Да покоривши, взялъ да узломъ завязалъ. Теперь ни конца, ни начала этому узлу и не отыщешь!

— Ишь вѣдь что сдѣлалъ!

Марьѣ Ивановнѣ становилось жалко. Какъ это такъ? — думалось ей: — Христосъ Спасъ Истинный всѣхъ изъ ада освободилъ, а „онъ“ — ишь что сдѣлалъ! „Онъ“ то свое дѣло сдѣлалъ, да и ушелъ — ищи его да свищи! — а она, между прочимъ, съ аукціона купила, собственными денежками все до копѣйки заплатила... какъ теперь разсудить? „Ежели поступить „по-божески“, такъ неужто-же *денежки мои* такъ-таки пропасть должны?.. Ежели же не по-божески поступить“...

— Барыня! головку причесать пожалуйте! — прерывала ея мечтанія горничная Анютка.

Перерывъ этотъ являлся очень кстати, ибо давалъ ея мыслямъ новое направленіе.

— Вотъ, Андрюша, я какова!—жаловалась она сама на себя:—и голову-то себѣ причесать сама не могу, все Анютка да Анютка! Анютка, прими! Анютка, подай!—а я сижу какъ царевна, да руки-ноги протягиваю! И знаю, что всѣ мы одной природы, а не могу... Ни я одѣться сама, ни я умыться... словомъ сказать, безъ Анютки какъ безъ рукъ!

— Чтожъ такое, сударыня! И пускай Анютка потрудится... это ей и по закону вмѣняется! Я вѣдь не противъ закона иду, а говорю какъ побожески...

Марья Ивановна удалялась успокоенная и отдавала свою голову въ распоряженіе Анютки. Но въ это же время она уносила новую подробность „божескаго житія“: всѣ мы Христомъ Спасомъ Истиннымъ изъ ада освобождены, а „онъ“—ишь ты что̀ сдѣлалъ! А она между тѣмъ съ аукціона купила... по закону!

Причесавшись, Марья Ивановна вновь возвращалась къ прерванной бесѣдѣ.

— Какъ же намъ душу-то спасти? — вотъ ты мнѣ что̀ скажи! — безпокоилась она.

— За други свои полагать ее надо—вотъ и спасешь!—отвѣчалъ онъ, нимало не затрудняясь.

Однакожъ Марью Ивановну отвѣтъ этотъ заставалъ неприготовленною.

— Какъ это... душу?—сомнѣвалась она:—словно бы ужъ... Хоть бы руку-ногу, а то... душу! Слыхала я, что въ пустыняхъ живали люди, которые... А чтобы въ мірy это было... не знаю!

— Въ пустынѣ молитва спасаетъ, а въ міру—жертва душевная. Коли мы всѣ въ разнобойку по угламъ будемъ сидѣть да за шкуру свою дрожать — откуда же добро-то въ міръ придетъ?

— Ужъ и не знаю, какъ тебѣ сказать... Конечно, мало ли какія у людей „свои дѣла“ бываютъ... иной на службѣ служитъ, другой по коммерческой части... но чтобы у кого такое „занятіе“ было, чтобы „душу“ полагать... не знаю! И не слыхала, и не видала... не знаю!

— Обиду ежели видите — заступитесь; нищету увидите — помогите; муку душевную видите — утѣшьте. Вотъ это и значитъ душу за други своя полагать...

— И заступитесь, и утѣшьте, и помогите! — уже дразнилась Марья Ивановна. — И помогите! и помогите! А коли помогалки-то, помогальщикъ, у меня нѣтъ?

— На нѣтъ, сударыня, и суда нѣтъ.

— Ну, хорошо. Пускай по твоему. Стало быть, какъ встала съ утра, такъ я и бѣги, вытараща глаза? За одного—заступись, другому — помоги, третьяго—утѣшь! А за меня-то кто безпокоиться будетъ?

— Другъ по дружкѣ, сударыня. Вы за всѣхъ, всѣ за васъ. Христосъ Спасъ Истинный крестное страданіе за насъ принялъ, а мы и побезпокоить себя не хотимъ!

— А ежели я... не могу! —ну, нѣтъ во мнѣ этого, нѣтъ?!

— А не можете, такъ и не нудьте себя, сударыня! Я вѣдь не то чтобы что...

— И вотъ я тебѣ еще что скажу. Ну, положимъ! Положимъ, что я прытка. Туда—побѣгу, сюда — носъ суну, въ третьемъ мѣстѣ—пыль столбомъ подыму... ай да Марья Ивановна!—вотъ такъ Марья Ивановна! А ну, какъ мнѣ самой за это носъ утрутъ? Откуда, скажутъ, помогальщица непрошенная выискалась? Какой такой, скажутъ, законъ есть, чтобы въ чужое дѣло свой носъ совать? А нутко, сказывай, какой я на эти слова отвѣтъ дамъ?!

— По закону это дѣйствительно, такъ... По закону каждый самъ по себѣ—это лучше всего. Вѣдь и я противъ закона не иду, а только объясняю, что ежели по-божески...

— Знаю я, что „по-божески" хорошо... Ты вотъ по-божьему да по справедливому, а мы—по-грѣшному, да по-человѣчьему! Ты слабость-то человѣчью ни во что не ставишь, а мы объ ней на всякъ часъ помнимъ! Куда ты ее, слабость-то нашу, дѣнешь?

Такимъ образомъ выяснилась и еще подробность „божескаго житія": душу за ближняго полагать. Правда, что Марья Ивановна такъ и осталась при своемъ мнѣніи на счетъ практическаго примѣненія этого правила, но, благодаря взаимнымъ уступкамъ и разъясненіямъ, дѣло все-таки слаживалось легко. Собственно говоря, Андрюша вѣдь никого не нудилъ, а только говорилъ: коли можете жить по-божески, то и душу по-божески спасайте, а коли не можете по-божески жить — спасайте душу „по закону". Такъ она именно и поступаетъ: „божеское житіе" имѣетъ „въ предметѣ", а душу спасаетъ... „по закону"!

Тѣмъ-то и дорогъ былъ Андрюша Марьѣ Ивановнѣ, что онъ нудить не нудилъ, а между тѣмъ „справедливыя слова" говорилъ. И говорилъ ихъ въ такое время, когда у всѣхъ на умѣ и на языкѣ только жестокія слова были. Сколько лѣтъ она за Кондратьемъ Кондратьичемъ въ замужествѣ живетъ, и ни одного-то „справедливаго" слова отъ него не слыхала! Все или водку пьетъ, или табачище куритъ, или сквернословитъ, или на конюшнѣ арапникомъ щелкаетъ! А ночью придетъ пьяный и дрыхнетъ. Въ этомъ вся ея жизнь прошла. Только отъ Андрюши она и увидѣла свѣтъ. Поговоришь съ нимъ —словно какъ очнешься. И объ душѣ вспомнишь, и о Богѣ... чувствуешь, по крайности, что не до конца окоченѣла!

И не съ одною Марьей Ивановной бесѣдовалъ такимъ образомъ Андрей, а вообще любилъ по душѣ поговорить и, разговаривая, нерѣдко касался такихъ предметовъ, о которыхъ тогда никто и въ помышленіи не имѣлъ. Такимъ образомъ онъ уже въ сороковыхъ годахъ провидѣлъ и новые суды, и земство, и даже свободу книгопечатанія.

О судахъ онъ такъ выражался:

— Нынче судья-то забьется въ мурью, да пишетъ что ему хочется. Хочетъ—завинитъ, хочетъ—бѣлѣе снѣга сдѣлаетъ. А какъ на міру-то его судить заставятъ, такъ правда-то сама изъ него выскочитъ!

О земствѣ:

— Какъ возможно сравнить: чиновникъ ли по уѣзду распоряжается, или самъ обыватель своимъ дѣломъ заправляетъ? Чиновнику—что? онъ пріѣхалъ, взглянулъ, плюнулъ и уѣхалъ! А у обывателя каждая копѣечка на счету и объ каждой у него сердце болитъ!

И наконецъ, кратко, о свободѣ книгопечатанія:

— И помяните мое слово, ежели въ самой скорости волю книгопечатанію не объявятъ!

И дѣйствительно, такъ по его впослѣдствіи все и сдѣлалось.

Но что̀ всего замѣчательнѣе — ни пошехонскій судья, ни пошехонскіе чиновники, ни цензурное вѣдомство — никто на Андрея не претендовалъ. Потому что всѣ понимали, что онъ никого не нудитъ, а только „по-божески" разговариваетъ.

Словомъ сказать, въ самое короткое время молодой Курзановъ сдѣлался гордостью и украшеніемъ всего Пошехонскаго уѣзда. Самъ городничій, и тотъ любилъ послушать его. Призоветъ, бывало, и велитъ „справедливыя слова" говорить. Скажетъ Андрей: „мнѣ кусокъ!" — а городничій подтвердитъ: — правильно! — Скажетъ Андрей: „и всѣмъ прочимъ по куску!" — а городничій опять подтвердитъ: — правильно! — Да и нельзя было не подтвердить, потому что такія же, приблизительно, слова городничій въ церкви по воскресеньямъ слыхалъ.

Этого мало: пріѣхалъ въ Пошехонье на ревизію губернаторъ и тоже пожелалъ на пошехонскую диковинку посмотрѣть. И когда Андрей ему, въ присутствіи всѣхъ уѣздныхъ чиновъ, свои „справедливыя слова" высказалъ, то онъ не только не нашелъ въ нихъ ничего предосудительнаго, но похвалилъ:

— Молодецъ Курзановъ!

Уѣздные же чины, преисполнившись радости, съ своей стороны, воскликнули:

— Это въ немъ, ваше превосходительство, божеское!

Долго ли, коротко ли такъ шло, а времена между тѣмъ измѣнялись. И все къ лучшему. Началъ Андрею во снѣ старецъ являться. Придетъ, скажетъ: — эй, Андрей! какъ бы тебя за „справедливыя-то слова" не высѣкли — и исчезнетъ.

Но Андрей вѣрилъ въ правоту своего дѣла, и не боялся.

Наконецъ наступилъ моментъ, когда просвѣщеніе, обойдя всѣ закоулки Россійской имперіи, коснулось и Пошехонья. Прежде всего оно сочло необходимымъ обревизовать пошехонскую терминологію, и затѣмъ, найдя въ ней болѣе или менѣе значительныя неисправности, усердно принялось за очистку ея отъ ненужныхъ примѣсей. Въ числѣ прочихъ подверглись тщательной ревизіи и ходячіе разговоры о „божескомъ житіи". Просвѣщеніе не отвергало прямо проповѣди о „божескомъ житіи", но отводило ей мѣсто въ церквахъ и монастыряхъ, и притомъ преимущественно въ воскресные и табельные дни. „Когда царство небесное сдѣлается общимъ достояніемъ, — писалось по этому поводу въ „Уединенномъ Пошехонцѣ", получавшемъ внушенія чуть не изъ самаго городническаго правленія, — тогда и божеское житіе само собой возъимѣетъ дѣйствіе. До тѣхъ же поръ пошехонскіе обыватели обязываются, не предваряя времени, стараться онаго житія достигнуть не разговорами, а ревностнымъ исполненіемъ законнаго долга и возлагаемыхъ на нихъ начальствомъ порученій". А въ другой статьѣ тотъ же „Уединенный

Пошехонецъ“ объяснялъ слѣдующее: „Между прочими баснями, смущающими нетвердые обывательскіе умы, распространяется и таковая, будто бы только тѣ люди живутъ „по справедливости“, кои въ основаніе своей жизни полагаютъ правило: „мнѣ кусокъ, и тебѣ—кусокъ, и прочимъ всѣмъ—по куску“. Не отрицая, съ своей стороны, удовольствія, которое можетъ доставить общая сытость, мы считаемъ однакожъ не лишнимъ предупредить увлекающихся, что ежели ихъ мечтаніямъ и суждено когда-нибудь осуществиться, то навѣрное ни одинъ изъ нихъ даже приблизительно не въ состояніи опредѣлить момента таковаго осуществленія. А посему представляется болѣе согласнымъ съ требованіями благоразумія, ежели обыватели, не предваряя событій, положатъ въ основаніе своихъ дѣйствій правило не столь „сытое“, но болѣе соотвѣтствующее духу нашего просвѣщеннаго времени, а именно: какой у кого кусокъ есть, тотъ пусть при ономъ и останется. Неимѣющій же куска да потщится на свой собственный коштъ пріобрѣсть таковой“.

Это было уже не въ бровь, а прямо въ глазъ. Тѣмъ не менѣе Андрей не только не угомонился, но даже совершенно ничего не понялъ. Такова участь всѣхъ вообще недомолвокъ, полусловъ и полумѣръ. „Уединенный Пошехонецъ“ и самъ видимо колебался. Съ одной стороны онъ какъ будто иронизировалъ, но съ другой—не отрицалъ прямо ни „сытости“, ни „божескаго житія“. Вообще, какъ говорится, ходилъ кругомъ да около. Поэтому обыватель не весьма догадливый не только не убѣждался его доводами, но находилъ ихъ положительно слабыми. „Это онъ для удобности городнической лукавитъ, говорили сторонники „божескаго житія“: — хочетъ, чтобъ городничему помыкать нами легче было!“ И, утвердившись на этомъ, продолжали упорствовать въ своемъ заблужденіи.

А времена между тѣмъ продолжали зрѣть. И все къ лучшему.

Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ пріѣхалъ на городничество майоръ Стратиговъ. Правой ноги у него не было, а отъ лѣвой руки осталась только небольшая часть. А сверхъ того онъ и въ церковь рѣдко ходилъ, а слѣдовательно и о „справедливыхъ словахъ“ совсѣмъ позабылъ. Но за то когда онъ бралъ въ правую руку костыль, то дрался имъ замѣчательно больно. Пріѣхавши на городничество, онъ вызвалъ Андрея Курзанова и велѣлъ ему „справедливыя слова“ говорить. И когда послѣдній, въ наивной увѣренности, что въ этихъ словахъ ничего супротивнаго нѣтъ, высказалъ все, что у него было на душѣ, то Стратиговъ инстинктивно сжалъ въ рукѣ костыль, но, не предваряя событій, отъ немедленнаго боя воздержался, а только какъ-то загадочно метнулъ на него глазами и пробормоталъ:

— Гм...

А на другой день явилась въ „Уединенномъ Пошехонцѣ“ передовица, которая разъяснила дѣло уже въ болѣе рѣшительномъ тонѣ. „Въ городѣ Пошехоньи,—говорилось въ этой статьѣ, появились личности, которыя открыто присвоиваютъ себѣ право говорить такъ-называемыя „справедливыя слова“. Хотя по существу сіи слова представляютъ собой образчики похвальнаго умственнаго паренія, но тѣмъ не менѣе самая сила производимаго ими впечатлѣнія съ достаточностью указываетъ на то, сколь значительный вредъ можетъ произойти отъ невѣжественнаго или неискуснаго съ ними обращенія. Исторія

не даромъ свидѣтельствуетъ, что не только у насъ въ Пошехоньи, но и въ прочихъ странахъ образованнаго міра слова этой категоріи всегда находились и находятся въ вѣдѣніи подлежащихъ вѣдомствъ и особо препоставленныхъ на сей предметъ учрежденій. Ежели таково непререкаемое свидѣтельство исторіи, то не явствуетъ ли изъ онаго, что „справедливыя слова", по самой природѣ своей, должны считаться изъятыми изъ общаго обращенія, и что такое изъятіе должно быть принимаемо обывателями отнюдь не въ качествѣ стѣсненія ихъ въ выраженіи благородныхъ чувствъ, но лишь въ смыслѣ предостереженія, что и благородныя чувства могутъ имѣть послѣдствіемъ ссылку въ мѣста не столь отдаленныя. А посему, еслибы кто-либо изъ обывателей и былъ приведенъ въ такое состояніе, когда отъ избытка чувствъ уста глаголютъ, то и въ такомъ случаѣ представлялось бы полезнѣйшимъ, дабы онъ потребность сію удозлетворялъ у себя въ квартирѣ (однакожъ не при гостяхъ) или въ другихъ пустынныхъ мѣстахъ, публичное же распубликованіе „справедливыхъ" и тому подобныхъ чувствъ предоставилъ бы лицамъ и мѣстамъ, особливо на сей конецъ уполномоченнымъ".

Однакожъ Андрей и послѣ этого не смирился. Напротивъ, возъимѣвъ дерзкое намѣреніе проникнуть въ самое сердце полиціи, онъ началъ донимать „справедливыми словами" будочниковъ, и дѣйствовалъ въ этомъ смыслѣ настолько успѣшно, что въ одно прекрасное утро искали-искали по всему Пошехонью „шиворота", и не нашли. И только ужъ на другой день самъ городничій, ходя по базару, едва успѣлъ его вновь осуществить.

Тогда Стратиговъ убѣдился, что наступило время истреблять „фанаберіи" посредствомъ выколачиванія. Онъ вновь призвалъ Курзанова и вновь велѣлъ ему „справедливыя слова" говорить. Когда же послѣдній, не подозрѣвая ловушки, съ обычной наивностью выложилъ все, что зналъ, то городничій, взявъ въ правую руку костыль, однократно ударилъ имъ Андрея между крылецъ, сказавъ:

— А остальное за мною!

И чтожъ! Андрей даже этимъ не отрезвился! Противъ всякаго ожиданія онъ не вознегодовалъ, а весь проникся состраданіемъ къ Стратигову, убѣжденный, что это въ немъ дѣйствуетъ болѣзнь.

— Ноги у него нѣтъ, — говоритъ: — руки вотъ съ эстолько осталось — ну, и мозжитъ его!

Черезъ день Стратиговъ опять вызвалъ Андрея, и ударилъ его между крылецъ уже двукратно. Еще черезъ день — ударилъ троекратно. И наконецъ сталъ бить безъ счету и нещадно. Но Андрей попрежнему продолжалъ говорить „справедливыя слова", и все больше и больше проникался состраданіемъ къ колченогому городничему, котораго болѣзнь вынуждала прибѣгать къ костылю. Даже тогда, когда въ „Уединенномъ Пошехонцѣ" появилась статья, въ которой прямо требовалось, чтобы „справедливыя слова произносились только въ нарочито-изготовленныхъ для сего помѣщеніяхъ, а отнюдь не на улицахъ и даже не въ частныхъ домахъ, гдѣ могутъ оныя слышать личности, къ уразумѣнію ихъ неприготовленныя" — даже тогда Андрей не понялъ, что и костыль городническій, и журнальная передовица имѣютъ въ предметѣ дѣйствія, имъ производимыя.

Самъ Стратиговъ изумился. „Ужъ дойму же я тебя, балбесъ! — кричалъ онъ въ изступленіи: — костыль объ тебя измочалю, а дойму!“ И какъ сказалъ, такъ и поступилъ. И все-таки не донялъ. Не донялъ потому, что никакой костыль не могъ вразумить Андрея, что слова, которыя въ нарочито-устраиваемыхъ помѣщеніяхъ считаются „справедливыми“, въ другихъ мѣстахъ могутъ превратиться въ опасныя и „несправедливыя“.

Какъ бы то ни было, но теорія искорененія „фанаберій“ посредствомъ выколачиванія оказывалась исчерпанною. На мѣсто ея потребовалась другая теорія, болѣе состоятельная, и она не замедлила заявить о себѣ.

То была теорія обращенія къ почтеннѣйшей публикѣ. Насадителемъ ея явился исправникъ Октавіанъ Феликсовичъ Язвилло, который, за упраздненіемъ городнической должности, соединилъ въ своемъ лицѣ высшую полицейскую власть по городу и по уѣзду.

Язвилло былъ человѣкъ ловкій. Въ церкви онъ ужъ совсѣмъ никогда не бывалъ, а о „справедливыхъ словахъ“ и не слыхивалъ. Взамѣнъ того онъ принесъ съ собою какія-то особенныя, совсѣмъ новыя слова. Онъ первый произнесъ въ Пошехоньи выраженіе: „основы“, и первый же вполнѣ опредѣленно формулировалъ мысль, что „спреведливыя слова“ суть зло, направленное къ потрясенію „основъ“.

И такъ какъ всѣ предпринимаемыя до тѣхъ поръ средства — въ формѣ вразумленія и вколачиванія, съ цѣлью локализировать зло въ нарочито-устроенныхъ помѣщеніяхъ — оказались безсильными, то Язвилло пришелъ къ заключенію, что въ этомъ дѣлѣ потребны пріемы гораздо болѣе сложные, чуждые той заскорузлой рутинности, которая шла напроломъ и напиралась на рожонъ.

Наиболѣе цѣлесообразнымъ изъ этихъ пріемовъ представлялось ему спасительное междоусобіе. Съ него онъ и началъ. Раздѣливъ обывателей на двѣ категоріи: благонадежныхъ и неблагонадежныхъ, онъ прежде всего въ яркихъ чертахъ обрисовалъ тѣ опасности, которыми угрожаетъ распространеніе въ публикѣ заблужденій (такъ называлъ онъ прежнія „справедливыя слова“), и затѣмъ призвалъ всѣхъ благонадежныхъ обывателей (на этотъ разъ онъ даже не усомнился употребить слово: „граждане“) къ содѣйствію. Это была съ его стороны штука очень рискованная — кто знаетъ, что̀ могло втемяшиться пошехонцамъ въ голову по случаю этого „призыва“? — но „Уединенный Пошехонецъ“ и на этотъ разъ сослужилъ ему обычную службу. Въ обширной передовицѣ, растянувшейся на цѣлыхъ четыре нумера, онъ разъяснилъ: во-первыхъ, кого слѣдуетъ разумѣть подъ именемъ благонадежныхъ гражданъ; во-вторыхъ, что̀ означаетъ выраженіе: „основы“, почему оныя должны стоять незыблемо; въ-третьихъ, въ какомъ смыслѣ должны быть понимаемы слова: „содѣйствіе общества“; и въ-четвертыхъ, какія хитрости употребляетъ злоумышленіе въ видахъ упраздненія основъ, и какіе пріемы необходимо этимъ хитростямъ противопоставить, чтобы пересѣчь зло въ самомъ корнѣ.

Отвѣты на эти вопросы вкратцѣ заключались въ слѣдующемъ: „Благонадежными“ признавались лишь тѣ граждане, кои, „будучи довольны предо-

предѣленной имъ частью, благополучно подъ сѣнію начальственныхъ предписаній почиваютъ"; „неблагонадежными" же—тѣ, кои, „по лѣности, пьянству, нерадѣнію или праздности, будучи приведены въ уныніе, вмѣсто того чтобы принимать мѣры къ собственному исправленію, продолжаютъ завистливымъ окомъ вожделѣть". Изъ числа „основъ" „Пошехонецъ" въ особенности настаивалъ на собственности, и совѣтовалъ защищать ее всѣми средствами. И не только отъ воровъ, грабителей и разбойниковъ, а всего больше отъ распространителей развратныхъ мыслей, которые за тѣмъ только „всѣхъ равными кусками потчуютъ, дабы собственную нерадивую праздность при семъ случаѣ угобзить". Что же касается до „основъ" прочихъ сортовъ, то авторъ передовицы скромно сознавался, что въ полицейскомъ управленіи имѣются объ нихъ лишь весьма скудныя свѣдѣнія, но что въ ближайшемъ будущемъ отъ ярославскаго губернскаго правленія ожидается подробное по сему предмету разъясненіе. О „содѣйствіи" „Пошехонецъ" выражался такъ: „не для того оно нужно, чтобы г. исправникъ потребность въ ономъ ощущалъ, а для того, дабы сами обыватели въ полезныхъ упражненіяхъ время препровождали". Относительно же хитростей, употребляемыхъ для потрясенія основъ, „Уединенный Пошехонецъ" на первомъ планѣ ставилъ „льстивыя обѣщанія легкаго житія, сопровождаемыя возбужденіемъ дурныхъ страстей", и какъ противодѣйствіе этимъ ухищреніямъ рекомендовалъ откровенное обращеніе къ Октавіану Феликсовичу Язвилло.

Успѣхъ, достигнутый этой передовицей, былъ поразительный. Но надо сказать правду, что значительнѣйшею частью этого успѣха она была обязана упоминовенію о собственности. Такъ какъ рѣдкій изъ пошехонцевъ не сознавалъ себя обладателемъ хотя бы шила, то понятно, какой страхъ подобный собственникъ долженъ былъ ощутить, узнавъ, что кто-то имѣетъ на это шило претензію и сбирается его отнять. Поднялось галдѣніе неслыханное. Сначала теребили преимущественно Андрея Курзанова (по нѣкоторымъ признакамъ догадались, что передовица имѣла въ виду именно его), но потомъ, въ общей суматохѣ, объ немъ забыли, и стали побивать каждый каждаго. Обладатель большого шила слалъ доносъ на обладателя малаго шила; обладатель суконныхъ штановъ уличалъ въ потрясательныхъ намѣреніяхъ обладателя штановъ нанковыхъ. Мирный дотолѣ городъ загудѣлъ и заволновался, а „благонадежные" толпами осаждали полицейское управленіе и требовали скорой и немилостивой расправы съ „неблагонадежными".

Но Курзановъ все-таки продолжалъ не понимать. Не понималъ онъ, какое отношеніе имѣютъ „справедливыя слова" къ этой неожиданной пошехонской сумятицѣ, да и сами пошехонцы врядъ-ли это понимали. Тѣмъ не менѣе житье Андрея въ эту пору было незавидное. Его періодически то сажали въ кутузку, то освобождали отъ нея. Но онъ и этому не удивлялся, а называлъ сажаніе въ кутузку „дѣйствіемъ по закону", а освобожденіе изъ нея—„дѣйствіемъ по справедливости".

— Я не противъ закона иду, — говорилъ онъ Язвиллѣ: — а говорю только, что коли ежели „по-божески"...

И такъ-таки на этомъ и устоялъ, несмотря на то, что въ теченіе года по крайней мѣрѣ шесть мѣсяцевъ провелъ въ кутузкѣ.

Язвилло торжествовалъ и уже завелъ-было книгу, въ которую постепенно вносилъ обывателей, на которыхъ само „содѣйствіе“ указывало какъ на неблагонадежныхъ. Однакожъ торжество это было недолгое. Главнымъ образомъ ошибка Язвиллы заключалась въ томъ, что онъ никакъ не предполагалъ, чтобы ябеда, имъ возбужденная, достигла такихъ несказанныхъ размѣровъ и приняла столь разнообразныя формы. Пошехонцы до такой степени разревновались, что превзошли самыя смѣлыя ожиданія. Вчерашній охранитель дѣлался сегодняшнимъ потрясателемъ; сегодняшній охранитель могъ быть увѣреннымъ, что сдѣлается потрясателемъ завтрашнимъ. Язвилло бѣгалъ по городу какъ угорѣлый, ловилъ, хваталъ, но уже никакая лихорадочная дѣятельность не могла удовлетворить народной Немезидѣ. Въ одно прекрасное утро оказалось, что изъ всего пошехонскаго населенія только онъ, Язвилло, да негласный руководитель ябедническаго движенія, Беркутовъ (о немъ зри ниже) остались незавиненными. Даже непремѣнный засѣдатель — и тотъ оказался потрясателемъ, потому что, получивши съ почты казенныя деньги, „обронилъ“ ихъ по дорогѣ въ полицейское управленіе.

Тогда Язвилло отправился съ докладомъ въ губернію, гдѣ и былъ немедленно уволенъ отъ должности.

На мѣсто Язвиллы пріѣхалъ въ Пошехонье капитанъ Груздевъ (новокрещенъ изъ черемиссъ), который вновь возвратился къ простымъ и удобопонятнымъ распоряженіямъ, съ тѣмъ лишь присовокупленіемъ, что разъ навсегда устранилъ всѣ колебанія и неясности. которыя въ прежнее время парализовали успѣхъ принимаемыхъ мѣръ.

Прибывши на мѣсто, онъ, по примѣру своихъ предмѣстниковъ, велѣлъ привести Андрея Курзанова и приказалъ ему „справедливыя слова“ говорить. Но едва началъ Андрей: „тебѣ — кусокъ, и мнѣ кусокъ“ — какъ Груздевъ на первыхъ же словахъ его перервалъ:

— Довольно! — сказалъ онъ твердо: — даю тебѣ два дня на исправленіе!

Черезъ два дня Курзановъ явился вновь: но такъ какъ повидимому умъ у него окончательно заложило, то и на этотъ разъ онъ началъ: „тебѣ — кусокъ, мнѣ — кусокъ“...

— Фюить!

II.

Никаноръ Беркутовъ.

Все въ тотъ же самый періодъ времени, такъ сказать параллельно съ Андреемъ Курзановымъ, расцвѣлъ по сосѣдству съ Пошехоньемъ, въ городѣ Тотьмѣ (Вологодской губерніи), другой реформаторъ, Никаноръ Беркутовъ.

Въ этихъ людяхъ было разное: и отправная точка дѣятельности, и дальнѣйшія ихъ судьбы. Но одна черта была общая, которая и сообщала ихъ дѣятельности выдающійся характеръ: оба мыслили и говорили не такъ, какъ прочіе тотемцы и пошехонцы мыслятъ и говорятъ.

Беркутовъ былъ причетническій сынъ и родился въ одномъ изъ тотем-

скихъ захолустьевъ, гдѣ отецъ его служилъ пономаремъ при очень бѣдной приходской церкви. Въ дѣтствѣ Никаноръ никогда досыта не ѣдалъ, но за то по горло былъ сытъ побоями и колотушками, которыми щедро одѣляли его отецъ и мать. По одиннадцатому году сдали его въ тотемское духовное училище, гдѣ сытости не прибавилось, а тѣлесныя калѣчества, напротивъ, въ значительной мѣрѣ умножились. Учился онъ плохо, кончилъ курсъ въ училищѣ поздно, и отъ перехода въ семинарію уклонился, а прямо поступилъ на службу писцомъ въ тотемскій земскій судъ на рублевое мѣсячное жалованье. Лѣтъ десять сряду онъ мыкался то около суда, то по становымъ квартирамъ, подстерегая просителей, устраивая мелкія вымогательства, и кончилъ все-таки тѣмъ, что былъ, за пьянство и вздорный характеръ, выгнанъ изъ службы.

Принятые въ дѣтствѣ побои, а затѣмъ голодъ и дальнѣйшія преслѣдованія судьбы развили въ Беркутовѣ угрюмость, которая постепенно развилась въ открытое человѣконенавистничество. Всѣхъ и за все онъ ненавидѣлъ. Богатыхъ —за то, что богаты, сильныхъ—за то, что сильны, бѣдныхъ — за то, что бѣдны, слабыхъ—за то, что слабы. Въ первыхъ онъ видѣлъ угнетателей, вовторыхъ — массу ничтожныхъ существъ, которыя ни ему, ни другимъ, ни даже самимъ себѣ не могли оказать ни защиты, ни поддержки. И всѣмъ по мѣрѣ силъ старался сдѣлать зло. Злоба ключомъ кипѣла въ его сердцѣ, злоба прокаженнаго человѣка, къ которому никто добровольно не хочетъ прикоснуться. И онъ несомнѣнно задохся бы отъ ненависти, еслибы не облегчалъ себя, всеминутно изрыгая потоки клеветническихъ и смрадныхъ словъ.

Тридцати лѣтъ отъ роду онъ уже имѣлъ наружность отживающаго старика. Сухой, словно изъѣденный невѣдомыми внутренними бактеріями, съ сгорбленною, какъ бы перешибленною спиною, съ трясущимися руками и ногами, съ морщинистымъ и желтымъ, какъ пергаментъ, лицомъ, онъ, казалось, всеминутно готовъ былъ разсыпаться въ прахъ. Но глаза свидѣтельствовали объ его живучести. Это были черные юношескіе глаза, которые горѣли въ своихъ глубокихъ впадинахъ сухимъ и горячимъ блескомъ, наводя на постороннихъ не страхъ и даже не унылie, а какую-то щемящую сухоту, какъ будто изъ этихъ глазъ изливался таинственный токъ, который и прочія сердца отравлялъ ненавистью, изсушившею самого Беркутова.

Съ утра до вечера бродилъ Беркутовъ по городскимъ улицамъ, грузно ступая ногами по грязи и опираясь на толстую суковатую палку, которою по временамъ онъ грозилъ, проходя мимо особенно ненавистныхъ ему домовъ. Въ кабаки и харчевни онъ заходилъ охотно, но не для пьянства (хотя и выпить былъ не прочь), а для подстрекательства. Тамъ онъ снималъ съ присутствующихъ формальный допросъ, и, узнавъ о притѣсненіяхъ — все равно, дѣйствительныхъ или мнимыхъ — тутъ же начиналъ дѣло. За труды отъ мзды не отказывался, но бралъ умѣренно, и житейскія свои потребности довелъ почти до минимума, такъ что казалось даже удивительнымъ, какъ онъ и въ самомъ дѣлѣ не разсыплется въ прахъ.

Однакожъ адвокатская спеціальность далеко не исчерпывала содержанія его дѣятельности. Самою существенною чертою этой дѣятельности, какъ сказано выше, являлась проповѣдь ненависти къ сильнымъ и презрѣнія къ

слабымъ. И то, и другое онъ высказывалъ громко и не стѣсняясь. Сильные тогдашняго тотемскаго міра вообще были нѣсколько позамараны. Это были или мѣстные дворяне, почти сплошь мелкопомѣстные, которые тигосили своихъ крѣпостныхъ, выжимая изъ нихъ послѣдніе соки, или чиновники, которые въ то время во всей Россіи жили не столько казеннымъ жалованьемъ, сколько выдумками собственнаго изобрѣтенія. Это значительно облегчало Беркутову его пропаганду ненависти, такъ что какъ ни горѣли представители мѣстной культуры желаніемъ допечь наглаго надругателя, но самая нерѣшительность и робкость, которыя они при этомъ выказывали, въ самомъ корнѣ парализировала ихъ усилія. Что же касается до презрѣнія къ слабымъ, то, конечно, въ этомъ отношеніи ни съ какой стороны препятствій для Беркутова возникнуть не могло.

Замѣчательно, что, несмотря на несомнѣнную каверзность его наружнаго вида, никто надъ Беркутовымъ не издѣвался. Даже мальчишки не бѣгали за нимъ толпами, не кричали и не дразнились, какъ это дѣлалось въ отношеніи другихъ, болѣе обыкновенныхъ пропойцевъ. Какъ будто они понимали, что въ этомъ трясущемся тѣлѣ заключена таинственная сила, которая можетъ въ одну минуту задавить и ихъ самихъ, и присныхъ ихъ, и то „праховое“ устройство, около котораго лѣпилось ихъ существованіе. Взрослые же тотемцы почти поголовно снимали передъ Беркутовымъ картузы, что̀ доставляло ему неизреченное наслажденіе, такъ какъ онъ зналъ, что не было той души во всемъ городѣ, которая не ненавидѣла бы его.

Ученіе Беркутова было очень просто и выражалось въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: „всѣхъ привести къ одному знаменателю“. Именно такъ онъ и говорилъ, какъ бы свидѣтельствуя этимъ, что былъ въ училищѣ и не забылъ о дробяхъ.

Никакихъ разъясненій и развитій это ученіе не требовало. Все оно исчерпывалось въ своей краткой гнусности. Кого нужно было привести къ одному знаменателю?—всѣхъ. По какимъ причинамъ?—по всѣмъ вообще. Что̀ означало слово: „знаменатель“?—все вообще, что̀ заставляетъ человѣка страдать, корчиться отъ боли, изнывать. И плющильный молотъ, и „кошки“, и плеть, и пресловутый „третій пунктъ“, и клевета, и нравственныя мучительства и истязанія — все на потребу! все въ бо̀льшей или мѐньшей степени равняетъ людей передъ лицомъ „знаменателя“.

Для чего это нужно? — Беркутовъ никогда на этотъ вопросъ не отвѣчалъ; но видно было, что для него дѣло было вполнѣ ясно. Можетъ быть, ему представлялась безконечная пустыня, по которой рыскали звѣри и рвали другъ друга зубами. Или, быть можетъ, передъ глазами его мелькалъ наполненный атомами хаосъ, изъ темной глубины котораго выступалъ сатана... Во всякомъ случаѣ едва-ли даже лично самого себя онъ выдѣлялъ изъ той общей утрамбовки, которую долженъ былъ произвести „знаменатель“, похаживая по обывательскимъ головамъ.

Повторяю однакожъ: Беркутова весь городъ ненавидѣлъ, а въ томъ числѣ и лица, за которыхъ онъ по наружности заступался и отъ имени которыхъ вчиналъ иски и дѣла. Но всего болѣе ненавидѣли его чиновники, несмотря на то, что теорія приведенія къ одному знаменателю, по существу,

вовсе не противорѣчила вѣяньямъ того времени. Очевидно, что атмосфера до того была насыщена всевозможными знаменателями, что слышать это слово отъ какого-то случайнаго поганца становилось ужъ совсѣмъ нестерпимымъ. Поэтому, какъ ни боялись тотемскіе чины разоблаченій Беркутова и какъ ни ошеломляюще дѣйствовала эта боязнь на ихъ отношенія къ „поганцу“, тѣмъ не менѣе они все-таки всемѣрно старались его донять.

Тотемскій городничій не разъ призывалъ Беркутова и угрожалъ ему:

— И отъ кого ты, поганецъ, уродился? — кричалъ онъ на него: — и какъ земля тебя, демона, носитъ, какъ не задохнешься ты въ поскудствѣ своемъ? Вотъ погоди ужо! сгною я тебѣ въ острогѣ! сгною, какъ пить дамъ!

И дѣйствительно отъ времени до времени изобрѣталъ какую-нибудь выдумку и сажалъ Беркутова въ острогъ. А однажды даже и впрямь едва не „сгноилъ“ его въ тюрьмѣ. И вотъ по какому случаю.

Въ то время, относительно доносителей по первымъ двумъ пунктамъ, держались такого правила: коли любишь доносить, то люби и доказать свой доносъ (по пословицѣ: „любишь кататься, люби и саночки возить“), а покуда не докажешь—сиди въ острогѣ. Правило это, мудрое и человѣколюбивое, налагало на доносчиковъ извѣстную узду и вполнѣ оправдалось вакханаліями „слова и дѣла“, которыя были еще у всѣхъ на памяти. Доносить было и сладко, и жутко. Сладко потому, что доносъ столь блестящій сразу ставилъ доносчика въ мнѣніи сограждaнъ на недосягаемую высоту; жутко—потому, что тотъ же доносъ, въ случаѣ неудачи, могъ низвергнуть своего автора на самое дно преисподней.

Начальство не любило блестящихъ доносчиковъ. Во-первыхъ, оно по природѣ своей охотнѣе утирало слезы, нежели извлекало ихъ; во-вторыхъ, оно отлично понимало, что въ какой-нибудь Тотьмѣ не только двухъ первыхъ, но и вообще никакихъ пунктовъ невозможно и предположить. Поэтому обиліе подобныхъ доносчиковъ считалось карою и вреднымъ усложненіемъ административнаго механизма. Въ доносчикахъ тѣмъ охотнѣе видѣли безпокойныхъ и даже злонамѣренныхъ людей, что страсть къ доносамъ не ограничивалась какою-либо спеціальностью, но распространялась вообще на все и на всѣхъ. Первые два пункта представляли собой какъ бы лакомство; обыкновенною же пищею для доносовъ служили зауряднные поступки уѣздныхъ и губернскихъ чиновъ. Понятно, что послѣдніе пользовались всякимъ случаемъ, чтобы подловить хотя тѣхъ шустрыхъ негодяевъ, которые самонадѣянно пускались въ слишкомъ смѣлое плаваніе по безграничному океану ябедничества.

Именно такой грѣхъ случился и съ Беркутовымъ. Какимъ-то образомъ онъ не разсчиталъ себя, и вмѣсто пьедестала очутился въ острогѣ. На этотъ разъ онъ засѣлъ тамъ уже не на недѣлю и не на мѣсяцъ, какъ прежде, а на цѣлые годы. Однакожъ узы не только не пролили мира въ его озлобленную душу, но еще больше ожесточили ее. Ежели, съ одной стороны, ему періодически напоминали о представленіи доказательствъ, подтверждающихъ сдѣланный имъ доносъ, то, съ другой стороны, онъ отвѣчалъ на эти напоминанія усугубленіемъ ябедническойдѣятельности. Каждый день онъ являлся въ смотрительскую и оттуда наводнялъ присутственныя мѣста доносами и кляузами. Власти смутились. Вышло нѣчто совсѣмъ неожиданное. Заключеніе Берку-

това въ острогъ не только не облегчило движенія административнаго механизма, но чуть было совсѣмъ не затормазило его. Беркутовъ на досугѣ всѣхъ завинилъ! не только людей, находящихся у кормила, но ихъ женъ, свояченицъ и снохъ. Чувствовалась потребность, во что бы ни стало, развязать этотъ узелъ, и наконецъ его развязали тѣмъ, что административнымъ порядкомъ водворили ябедника въ Пошехоньи.

Здѣсь его встрѣтилъ тотъ самый городничій, который такъ благосклонно выслушивалъ Андрея Курзанова и дивился его разуму. И встрѣтилъ, надо сказать правду, неблагосклонно.

— Ты у меня смотри!—кричалъ на Беркутова городничій:—ябедничать или доносы писать—и Боже тебя сохрани! У насъ здѣсь покудова было смирно, такъ ежели что... сгною, поганца, въ острогѣ! какъ пить дамъ, сгною!

Беркутовъ угрюмо выслушалъ эту угрозу и отвѣтилъ на нее тѣмъ, что съ первой же почтой на всѣ пошехонскія власти послалъ обстоятельный доносъ.

И въ Пошехоньи началась такая же суматоха, какъ въ Тотьмѣ. Но такъ какъ Беркутовъ былъ уже „ябедникъ завѣдомый“, то на этотъ разъ административный механизмъ былъ не особенно затрудненъ его дѣятельностью. Прошенія и ябеды его оставались безъ разсмотрѣнія и возвращались ему съ надписью. А городничій, узнавъ изъ этихъ прошеній, что онъ не только мздоимецъ, но и кровосмѣситель, возвращая ихъ доносителю, говорилъ:

— Ужъ сгною я тебя въ острогѣ, поганецъ! убей меня Богъ, коли не сгною!

Беркутовъ задыхался и сохъ. Онъ сознавалъ себя въ положеніи пойманнаго волка, на которомъ всякій могъ срывать зло, а онъ —ни на комъ. Хотя же онъ и продолжалъ гремѣть по всѣмъ кабакамъ, что все и всѣхъ необходимо привести къ одному знаменателю, но пошехонцы, убѣдившись, что начальство относится къ нему немилостиво, не только не довѣряли его словамъ, но даже не разъ содѣйствовали его заключенію въ клоповникъ, какъ возмутителя.

Долго ли, коротко ли такъ шло, но мало-по-малу времена измѣнялись. И опять-таки къ лучшему.

На городничество прибылъ Стратиговъ, и, несмотря на свое калѣчество, сразу понялъ, что Беркутовымъ можно отлично воспользоваться, ежели взяться за дѣло умѣючи. Онъ велѣлъ привести его и, указавъ на костыль, спросилъ:

— Видишь?

— Вижу, — отвѣтилъ Беркутовъ, и что-то въ родѣ улыбки впервые скользнуло на его губахъ.

— Ну, такъ вотъ что. Если ты про меня хоть одно слово, хоть полслова—въ гробъ, поганца, заколочу! Ни подъ судъ отдавать не буду, ни въ острогъ не посажу—самъ, собственными руками... слышалъ?

— Слышалъ. Что кричишь!—сфамильярничалъ Беркутовъ.

— А коли слышалъ, такъ и намотай себѣ это на усъ. Ну, съ Богомъ! Каждое утро будь здѣсь. И чтобъ все, что въ городѣ... понялъ?

На другой день въ „Уединенномъ Пошехонцѣ“ появилась передовая статья, въ которой доказывалось, что ошибочно мы называемъ ябедниками и

доносчиками тѣхъ, кои отъ усердія о происходящихъ въ городѣ вредностяхъ извѣщаютъ; и что, напротивъ, „всемѣрно необходимо оное рвеніе поощрять, дабы злодѣи и прочіе развратные люди, прежде нежели умыслить въ сердцахъ свою пагубу, напередъ знали, что городническое правленіе объ оной уже увѣдомлено и находится въ ожиданіи“.

Передъ Беркутовымъ словно небеса разверзлись. Не то чтобы онъ изъялъ Стратигова изъ кипѣвшей въ его сердцѣ ненависти къ человѣчеству вообще, но онъ надѣялся доказать ему эту ненависть впослѣдствіи; теперь же рѣшился воспользоваться имъ, какъ подспорьемъ для осуществленія ученія о знаменателѣ. Въ теченіе какого-нибудь мѣсяца, благодаря его извѣстительному рвенію, Пошехонье переполнилось такими преступленіями, о которыхъ самое разнузданное пошехонское воображеніе никогда не смѣло мечтать. И что̀ всего важнѣе—открыватель этихъ фантастическихъ преступленій назывался уже не доносчикомъ, а извѣстителемъ. Но этого мало: постепенно Стратиговъ такъ распалился ревностью, что уже не ссылался на свидѣтельство Беркутова, а просто говорилъ: „до свѣдѣнія моего дошло“ — и дѣло съ концомъ.

Тѣмъ не менѣе, дѣйствія Стратигова были настолько безтолковы и порывисты, что удовлетворить Беркутова не могли. Стратиговъ мздоимствовалъ, дрался и затѣмъ стихалъ, считая себя на время удовлетвореннымъ; Беркутовъ же стремился къ тому, чтобы постепенными мѣрами довести городъ до тоски. „Сухоту сердечную навести надо,—говорилъ онъ,—мглу непросвѣтную, чтобы ни злакамъ, ни плодамъ земнымъ, ни людямъ — ничему бы свершенія не было!“

Сверхъ того Стратиговъ не зналъ, что̀ именно слѣдуетъ защищать и что̀ преслѣдовать; хотя же Беркутовъ понималъ въ этомъ случаѣ не больше Стратигова, но все-таки чувствовалъ, что въ дѣйствіяхъ городничаго существуетъ какой-то изъянъ. Что нѣтъ у него ни ясно сознанной цѣли, ни общаго плана, который устранялъ бы безплодную суматоху, а прямо указывалъ бы, куда и зачѣмъ нужно идти. Простая драка, простое мздоимство—развѣ за этимъ однимъ гнался Беркутовъ?

Настоящую суть дѣла взялъ на себя разъяснить Язвилло (см. выше). Онъ первый изъ представителей власти призналъ Беркутова благонамѣреннѣйшимъ гражданиномъ и сдѣлалъ его своимъ излюбленнымъ человѣкомъ. Съ непререкаемою послѣдовательностью развилъ онъ передъ нимъ и свои цѣли, и свой планъ. Изъ этого изложенія Беркутовъ убѣдился: 1) что, направляя свою дѣятельность преимущественно въ сторону первыхъ двухъ пунктовъ, онъ, въ сущности, только игралъ въ руку внутреннему врагу, ибо никакое самое придирчивое изслѣдованіе не въ состояніи было доказать, чтобы въ Пошехоньи могли существовать пункты, и слѣдовательно всѣ попытки въ этомъ смыслѣ могли произвести только безплодное замѣшательство, которымъ внутренній врагъ и не преминетъ воспользоваться для своихъ цѣлей; 2) что идеалы первыхъ двухъ пунктовъ суть вообще идеалы устарѣлые, бѣдные результатами и притомъ сопряженные съ личнымъ рискомъ, въ чемъ онъ, Беркутовъ, и имѣлъ случай убѣдиться лично на своихъ бокахъ; 3) что несравненно удобнѣйшимъ поводомъ для уловленій могутъ служить такъ-называемыя „основы“, какъ по растяжимости понятія, ими выражаемаго, такъ и потому,

что „основы“ затрогиваютъ не столько умъ и чувства человѣка, сколько его шкуру, вслѣдствіе чего человѣкъ мгновенно впадаетъ въ безуміе и лѣзетъ на стѣну; и 4) что, оставивъ ябеду въ своей силѣ, необходимо дать ей другое наименованіе, и что наиболѣе подходящимъ въ этомъ смыслѣ терминомъ является „содѣйствіе общества“, такъ какъ терминъ этотъ, независимо отъ благородства, которымъ оно отличается, еще въ значительной мѣрѣ расширяетъ предѣлы самой ябеды.

Беркутовъ въ совершенствѣ понялъ наставленія своего принципала, и въ особенности ту привилегію безнаказанности, которую они въ себѣ заключали. Не теряя времени, онъ отправился по всѣмъ кабакамъ, призывая къ содѣйствію всѣхъ, кои за шкаликъ готовы были продать свою совѣсть. Благодаря объявленной волѣ вину, кабаковъ расплодилось въ городѣ множество и всѣ съ утра до вечера были полны народомъ. Окруженные со всѣхъ сторонъ винными парами, пошехонцы дѣлались обыкновенно нервны, чутки и проницательны. Поэтому, какъ только Беркутовъ объяснилъ, что въ Пошехоньи водворился внутренній врагъ, который у обладателей шила отниметъ шило, а у обладателей штановъ—штаны, всѣ пропойцы такъ и ахнули. Тогда Беркутовъ растолковалъ, что надо не медля идти навстрѣчу врагу, дабы застигнуть въ самомъ его убѣжищѣ—и всѣ сейчасъ же ходко и горячо откликнулись на призывъ, и огласили Пошехонье криками: „караулъ! грабятъ!“

Первою жертвою системы „содѣйствія общества“ палъ судебный слѣдователь; второю—мѣстный акцизный надзиратель. Затѣмъ жертвы начали попадаться массами. Беркутовъ съ утра разстилалъ сѣть и, запутавъ въ ней цѣлую уйму „неблагонамѣренныхъ“, представлялъ ихъ въ полицейское управленіе на зависящее распоряженіе.

Тѣмъ не менѣе, какъ ни ловокъ былъ Язвилло въ дѣлѣ подсиживанія обывателей и какъ ни усердно помогалъ ему Беркутовъ—въ результатѣ все-таки получилась сумятица. Перипетіи этой сумятицы описаны выше; здѣсь же слѣдуетъ прибавить, что Язвилло до того увлекся своимъ „предпріятіемъ“, что самъ повѣрилъ обилію скопившихся въ Пошехоньи горючихъ матеріаловъ и, испугавшись могущаго послѣдовать отъ сего для Россійской Имперіи ущерба, совершенно искренно испрашивалъ у начальства благомилостиваго разрѣшенія на срытіе города Пошехонья до основанія. Но на этотъ разъ Беркутовъ не только не раздѣлялъ мнѣнія Язвиллы, но даже послалъ на него доносъ, обзывая своего милостивца полякомъ и измѣнникомъ и обвиняя его въ произведеніи безплодной суматохи, въ угоду „ржонду“. Причемъ совершенно резонно присовокуплялъ, что ежели всѣхъ обывателей города Пошехонья безнужно истребить, то кого же на будущее время сыскивать и на кого сухоту наводить онъ будетъ?

Принятъ ли былъ во вниманіе Беркутовскій доносъ и даже былъ ли онъ разсмотрѣнъ — неизвѣстно; но Язвилло не долго наслаждался плодами произведеннаго имъ спасительнаго междоусобія. Начальство не только оставило безъ уваженія его ходатайство о срытіи Пошехонья, но его самого „за сію нелѣпую затѣю“ уволило отъ должности.

На мѣсто Язвилло назначенъ былъ Груздевъ.

Прибывъ въ городъ, онъ созвалъ пошехонцевъ и молча погрозилъ имъ пальцемъ.

Затѣмъ, дабы сейчасъ же познакомить обывателей съ программою будущихъ своихъ дѣйствій, Андрея Курзанова истребилъ, а Беркутова возложилъ на лоно.

Вечеръ пятый.

ПОШЕХОНСКОЕ „ДѢЛО“.

Будучи отъ рожденія пошехонскимъ гражданиномъ, я съ удовольствіемъ дѣлаю періодическія экскурсіи въ эту страну. Сколько лѣтъ я на свѣтѣ живу, столько же времени и знаю ее. Зналъ ее крѣпостною, зналъ и реформенною, знаю и теперь, готовою возродиться вновь, или, какъ нынче принято говорить, отъ мечтаній перейти къ дѣлу. Замечтались, видите, пошехонцы, закружились у нихъ буйныя головы—натурально, пора за дѣло молодцовъ засадить. Принимайтесь, господа, принимайтесь! а дальше видно будетъ, какъ съ вами поступить.

Все мнѣ въ этой странѣ родственно и достолюбезно. Дороги мнѣ и зыбучіе ея пески, и болота, и хвойные лѣса (увы! нынѣ значительно порѣдѣвшіе); но въ особенности милъ населяющій ее людъ, простодушный, смирный, слегка унылый, или, лучше сказать, какъ бы задумавшійся надъ разрѣшеніемъ какой-то непосильной задачи. Всегда онъ былъ такимъ, во всѣхъ положеніяхъ; всегда шелъ безотговорочно и впередъ, и назадъ, принимая къ свѣдѣнію и руководству всевозможные уроки и задачи, и въ то же время какъ бы говоря себѣ: посмотримъ, какая-то изъ этого новаго хлѣба лебеда выйдетъ! Слышалась ли въ этомъ вопросѣ робкая иронія, или онъ былъ только невольнымъ выраженіемъ всполошившагося инстинкта самосохраненія — я не берусь объяснить. Но могу сказать достовѣрно, что когда водворялись новые порядки и создавались новыя положенія, то они всегда находили пошехонца готовымъ приспособиться къ приносимой ими новой лебедѣ съ тою же повадливостью, съ какою онъ искони приспособлялся къ лебедѣ всѣхъ временъ...

Случались, конечно, между пошехонцами и недоразумѣнія (приспособляются-приспособляются, да вдругъ и станутъ втупикъ), или, какъ встарину выражались, „бунты“, но никто до сихъ поръ въ этихъ „бунтахъ“ разобраться не могъ. Что̀ такое ихъ порождаетъ, экономическія ли причины, политическія ли, или религіозныя — ни одинъ компетентный изслѣдователь пошехонской народности на этотъ вопросъ ясно не отвѣтилъ. Хотя же господа исправники и утверждаютъ, что всѣ бунты происходятъ отъ зачинщиковъ, но, по моему мнѣнію, такое объясненіе черезчуръ уже просто, а потому и неимовѣрно. Поэтому я съ своей стороны предлагаю такую догадку: пошехонецъ бунтуетъ, когда у него шкура болитъ; но когда онъ, при посредствѣ вразумленій, убѣждается, что̀ стоитъ только перетерпѣть, и шкура отболитъ сама собою, тогда онъ бунтовать перестаетъ.

Бывали минуты, когда пошехонская страна приводила меня въ недоумѣніе; но такой минуты, когда бы сердце мое перестало болѣть по ней, я рѣшительно не запомню. Бѣдная эта страна, — ее надо любить. Ничто такъ естественно не вызываетъ любви, какъ бѣдность, угнетенность, скорбь и злосчастіе вообще. Любовь сама по себѣ есть чувство радостное и свѣтлое, но, въ большинствѣ примѣненій, въ нее громаднымъ элементомъ входитъ жалѣніе. Оно дѣлаетъ любовь дѣятельной и внушаетъ ей подвиги высокаго самоотверженія; оно наполняетъ человѣческую жизнь отравой, и въ то же время заставляетъ человѣка стремиться къ этой отравѣ, жаждать ее, видѣть въ ней завѣтнѣйшую цѣль лучшихъ помысловъ души. Даже совсѣмъ дряблыя и закоченѣвшія сердца — и тѣ находятъ въ глубинахъ своихъ искру, которая не только побуждаетъ ихъ устремляться на встрѣчу злосчастію, но и ихъ самихъ согрѣваетъ и растворяетъ. Бѣдные! бѣдные! бѣдные! — вотъ мысль, которая можетъ переполнить все существо, переполнить до краевъ, не давая мѣста ни другой мысли, ни другому чувству. Эта робкая боль, сказывающаяся всюду, эти подавленные стоны, волной переливающіеся изъ края въ край — могутъ замучить. Они призываютъ къ суду человѣческой совѣсти тѣни прошлаго; побуждаютъ ее разбираться въ томъ, что казалось, позабытымъ, канувшимъ въ вѣчность; заставляютъ чего-то искать, какихъ-то лучей, на которыхъ можно было бы успокоиться... Искать, искать... и не находить. Не потому не находить, чтобы все прошлое было сплошнымъ темнымъ пятномъ, а потому, что нѣтъ того солнца, котораго лучи не потускнѣли бы въ глубинахъ безразсвѣтной ночи, называемой человѣческимъ злосчастіемъ. Спрашивается: при такихъ неусыпающихъ мученіяхъ совѣсти естественно ли, чтобы мысль переносилась на почву иныхъ (хотя бы высшихъ и міровыхъ) вопросовъ, а не сознавала себя безповоротно прикованною къ тѣмъ непосредственнымъ отравамъ, которыя и свидѣтельства прошлаго, и перспективы будущаго — все окутываютъ непроницаемымъ флёромъ?

— —

Мы переживаемъ время суровыхъ, но безплодныхъ поученій. Всѣ какъ будто проснулись отъ пьянаго сна и впервые встрѣтились лицомъ къ лицу съ какою-то безнадежною, почти фантастическою дѣйствительностью. Отсюда — всеобщее изумленіе, поголовный страхъ. Именно только изумленіе и страхъ, потому что бросившійся въ глаза хаосъ не вызвалъ въ насъ рѣшимости разобраться въ немъ, не указалъ на необходимость отдѣлить слѣдствія отъ причинъ, согласовать накопившіяся жизненныя противорѣчія и установить отправные пункты для будущаго жизнестроительства, а только пробудилъ какое-то спутанное чувство, которое и овладѣло умами съ неудержимою силой.

Спутанное чувство и формулу нашло для себя спутанную. „Прочь мечтанія! прочь волшебные сны! прочь фразы! Пора наконецъ за дѣло взяться!“ — вотъ эта формула. Какія мечтанія, какіе сны, какія фразы — неизвѣстно. Почему эти мечтанія, сны и фразы оказались безплодными, потому ли, что они сами въ себѣ не заключали зерна жизни, или потому, что это зерно было погублено сложившимися условіями — тоже неизвѣстно. И наконецъ въ чемъ заключается дѣло, за которое пора взяться — и объ этомъ никто не говоритъ.

Однимъ словомъ, всѣ жалуются и вопіютъ, что „фраза“ заѣла насъ, всѣ настаиваютъ на ея истребленіи, и всѣ на ея мѣсто предлагаютъ... такую же фразу! И въ довершеніе—фразу совсѣмъ не новую, а засиженную, истрепанную, почти истлѣвшую подъ наслоеніями пыли и плесени. Фразу, которую въ любомъ архивѣ, на любой полкѣ можно прочесть въ безконечномъ разнообразіи редакцій...

Тѣмъ не менѣе, мысль о необходимости перехода отъ мечтаній къ „дѣлу“ повидимому оказалась настолько по плечу нашей „отрезвившейся“ современности, что сомнѣваться въ предстоящей ей блестящей будущности нѣтъ возможности.

Во всѣхъ трактирахъ и харчевняхъ разомъ раздалось такое множество трезвенныхъ голосовъ, что въ общей сумятицѣ трудно различить, гдѣ кончается простое пустословіе и гдѣ начинается подсиживаніе. Всѣ требуютъ „дѣла“, говорятъ о „дѣлѣ“, поучаютъ, убѣждаютъ, негодуютъ на тему: дѣла, дѣла и дѣла! Публицисты едва поспѣваютъ формулировать народившіяся требованія, пожеланія и аспираціи. Одинъ восклицаетъ: „прочь дурныя фантасмагоріи, этотъ гнилой плодъ дурныхъ страстей! прочь несбыточныя и неосуществимыя ожиданія! да проглянетъ лучъ свѣта въ темную ночь мечтаній! да восторжествуетъ здравый смыслъ!“ Другой, положа руку на сердце, излагаетъ: „Эпоха мечтаній повидимому миновалась — и слава Богу! Злоба дня измѣнила характеръ свой, и изъ области блестящихъ, но туманныхъ порываній вывела общество въ область простого, но яснаго и всѣмъ доступнаго дѣла. Будемъ же вѣрны этой вновь народившейся потребности общества, и вмѣстѣ со всѣми желающими отечеству процвѣтанія воскликнемъ: да исчезнутъ мечтанія! да здравствуетъ суровое, но плодотворное дѣло!“ Третій наивно подхватываетъ: „А что̀ въ самомъ дѣлѣ! не попробовать ли намъ обратиться къ дѣлу? Авось либо“... и т. д.

И затѣмъ, наговорившись до̀-сыта, и публицисты, и устные представители общественнаго задора, какъ бы обращаясь къ невидимому оппоненту, едиными устами возглашаютъ: „къ чему привели насъ мечтанія?—ни къ чему!!“ И вся окрестность вторитъ имъ: „ни къ чему!“ И долы, и горы, и поля, и луга—все, какъ одинъ, вопіетъ: „ни къ чему! ни къ чему! ни къ чему!“

Но, какъ уже замѣчено выше, ни въ трактирахъ, ни въ публицистикѣ никто до сихъ поръ не обмолвился, въ чемъ же должно заключаться „дѣло“, котораго вожделѣютъ всѣ сердца; никто не назвалъ его по имени. Воображенію представляется нѣчто въ родѣ пирога, который покуда стоитъ въ духовомъ шкафу и поспѣваетъ. Когда онъ зарумянится, его вынутъ и подадутъ: кушайте!

Такіе внезапные всполохи человѣческой мысли въ особенности любопытны въ психологическомъ отношеніи. Иной разъ думается, что слово сказалось не понимаючи — анъ оно сказано не только „понимаючи“, но и съ намѣреніемъ подсидѣть; въ другой разъ—наоборотъ. Думаешь-думаешь, стараешься разобрать, и все выходитъ: понимаючи—непонимаючи, непонимаючи—понимаючи. Самое лучшее въ такихъ случаяхъ—уйти отъ грѣха. Потому что если вокругъ всѣ скопомъ кричать: довольно мечтаній! довольно!—то тутъ и

самый скромный человѣкъ невольно скажетъ себѣ: а что въ самомъ дѣлѣ... авось...

— Объ „дѣлѣ“ надо сказать такъ: какое дѣло и въ какое время! — говорилъ мнѣ на дняхъ отставной безшабашный совѣтникъ Рогуля.—И дѣла надо требовать съ осторожностью. Иное дѣло на взглядъ совсѣмъ плевое, а смотришь, исподволь оно округляться начинаетъ. Округляется да округляется, и вдругъ—вонъ-оно куда пошло!

Повторяю однакожъ: представленіе о „дѣлѣ“ не только не новость въ исторіи нашей цивилизаціи, но, напротивъ, составляетъ существеннѣйшую часть всего содержанія.

По крайней мѣрѣ такъ искони было у насъ въ Пошехоньи. Благодаря отсутствію мечтаній, Пошехонская страна поражала своей несокрушимостью; благодаря тому, что въ ней никогда не замѣчалось недостатка въ „дѣлѣ“ — она удивляла изобиліемъ.

О несокрушимости пошехонской я говорить не буду, потому что считаю себя въ этомъ вопросѣ некомпетентнымъ; но о такъ-называемомъ пошехонскомъ изобиліи побесѣдую съ охотою.

Многіе и до сихъ поръ повѣствуютъ, что было время, когда пошехонская страна кипѣла млекомъ и медомъ. „Арсеній Иванычъ,—говорятъ они, — при ста душахъ самъ-четырнадцать за столъ каждый день садился — а какъ жилъ!“ Или: „У Анны Мосѣвны всего одна ревизская душа была, да и та бездѣтная, а жила же!“ И сдѣлавши эти посылки, считаютъ себя вполнѣ правыми.

Что касается до меня, то хотя я остаюсь при особомъ мнѣніи насчетъ подлинности и размѣровъ пошехонскаго изобилія, но долженъ все-таки признать, что лѣтъ тридцать тому назадъ жилось здѣсь какъ будто ходчѣе. Дѣйствительно что-то такое было въ родѣ полной чаши, напоминавшей объ изобиліи. Но когда я спрашиваю себя, на чью собственно долю выпадало это изобиліе? — то, по совѣсти, вынужденъ сознаться, что оно выпадало только на долю потомковъ лейбкампанцевъ, истопниковъ и прочихъ дружинниковъ, и что подлинные пошехонцы участвовали въ немъ лишь воздыханіями. Какимъ же образомъ это привилегированное изобиліе достигалось тѣми, на долю которыхъ оно выпадало? — на этотъ вопросъ все Пошехонье навѣрное въ одинъ голосъ отвѣтитъ: „дѣломъ“. Ибо старые дружинники не только понимали, въ чемъ состоитъ „дѣло“, но и умѣли раздѣлить его на двѣ части. Сами взяли въ руки жезлъ, а аборигенамъ предоставили проливать потъ и слезы. И дѣло не только шло какъ по маслу, но и творило подлинныя чудеса. Изъ конца въ конецъ кипѣла Пошехонская земля слезами и пòтомъ, какъ рѣка въ полую воду, и, благодаря этому кипѣнію, пески превращались въ плодородныя нивы, болота—въ луга, а Анна Мосѣвна могла благодушествовать при одной ревизской душѣ. И такъ ловко пользовались дружинники этимъ своеобразнымъ изобиліемъ, что и впрямь казалось, что ему конца-краю нѣтъ. Ужели это было мечтаніе, а не „дѣло“?

Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ потомки лейбкампанцевъ начали задумываться. Крѣпостное право было еще въ самомъ разгарѣ, но въ самой совѣсти счастливыхъ дружинниковъ произошло раздвоеніе. Ряды посѣдѣлыхъ

въ бояхъ истопниковъ постепенно рѣдѣли и пополнялись молодыми дружинниками, которые не имѣли ни прежней цѣльности міросозерцанія, ни прежней вѣры въ крѣпостное право и его творческія силы. Это были люди колеблющіеся, не чуждые зачатковъ пробуждающейся совѣсти, но больше всего чистоплотные. Чуть-чуть въ то время „мечтанія“ не заполонили „дѣла“. Но Богъ спасъ. Новые дружинники слишкомъ много любили досугъ, лакомства и комфортъ жизни, чтобы отказаться отъ „дѣла“, которое ихъ доставляло. Натворивъ тьму-тьмущую всякаго рода несообразностей, то умывая руки и доказывая свою непричастность къ крѣпостному строю, то цѣпляясь за него, они, послѣ цѣлаго ряда безсильныхъ и лживыхъ потугъ, пришли къ убѣжденію, что ихъ личное участіе въ пошехонскихъ судьбахъ можетъ только поколебать установившуюся традицію объ изобиліи Пошехонской страны. И убѣдившись въ этомъ, въ одно прекрасное утро, какъ тати, исчезли изъ насиженныхъ предками гнѣздъ, предоставивъ довѣреннымъ Финагеичамъ и Прохорычамъ продолжать исконное трезвенное пошехонское „дѣло“, а плоды его высылать имъ по мѣсту жительства. И Финагеичи не положили охулки на руку. Это было самое горькое время для пошехонцевъ-аборигеновъ, ибо они были обязаны дѣлать „дѣло“ противъ прежняго вдвое: разъ — во имя интересовъ дружинника, и два — во имя интересовъ его замѣстителя. Ужели и это было мечтаніе, а не „дѣло“?

Наконецъ, когда пошехонецъ окончательно весь выпотѣлъ, надорвался и отощалъ—наступило „время, всѣхъ освящающее“. Изъ человѣка кабальнаго пошехонецъ вдругъ шагнулъ въ „меньшіе братья“. Противъ этой клички онъ точно также не прекословилъ, какъ не прекословилъ и противъ другихъ безчисленныхъ кличекъ, съ незапамятныхъ временъ на него сыпавшихся. И только тогда, когда увидѣлъ себя замурованнымъ въ „надѣлѣ“, какъ будто задумался. И опять, не то иронически, не то машинально, спросилъ себя: „посмотримъ, какая изъ этого выйдетъ лебеда?“

Снова „мечтанія“ едва не заполонили „дѣла“. Но мечтанія странныя, чисто пошехонскія. А именно: чаяли жито лопатами загребать, а по какому случаю—неизвѣстно. Разумѣется, случилось нѣчто совсѣмъ неожиданное: не пришлось не только за лопаты браться, но и на пригоршню жита не хватило.

Житницы дружинниковъ запустѣли, житницы „меньшихъ братьевъ“ не наполнялись. Какимъ образомъ произошло явленіе столь изумительное, доказывавшее, что досугъ вмѣсто изобилія приводитъ за собой скудость—объ этомъ покуда не велѣно сказывать. Но достовѣрно, что оно совершилось у всѣхъ на глазахъ и удивило даже самихъ ничему не удивляющихся пошехонцевъ. Земля была все та же, и пошехонецъ на ней —все тотъ же, простодушный, во всякое время готовый источать потъ; но плоды земные словно сговорились: перестали лѣзть изъ земли да и шабашъ. Надо всѣмъ царилъ какой-то загадочный вопросъ, который повидимому связывалъ руки, мѣшалъ воздѣлывать, сѣять, жать.

Разрѣшеніе загадки впрочемъ не заставило себя ждать, и осуществилось въ лицѣ Деруновыхъ, Колупаевыхъ и Разуваевыхъ. Эти шустрые люди отлично поняли, что „меньшій братъ“ засовался, и что прежде всего его слѣдуетъ „остепенить“. Или, говоря другими словами, необходимо дать поше-

хонскому поту такое примѣненіе, благодаря которому онъ лился бы столько же изобильно, какъ при крѣпостномъ правѣ, и въ то же время назывался бы „вольнымъ“ пошехонскимъ потомъ. Но замѣчательно, что, предпринимая осуществленіе этой задачи, Колупаевы не принесли съ собой ничего, что могло бы хотя отчасти оправдать ихъ претензіи: ни усовершенствованій, ни знаній, ни новыхъ пріемовъ, а озаботились только объ одномъ: чтобы абори-генъ какъ можно аккуратнѣе уперся лбомъ въ стѣну. Вотъ это-то именно они и называли „дѣломъ“. И не скрывали этого, но шли въ походъ, восклицая, подобно нынѣшнимъ трезвеннымъ людямъ: „прочь мечтанія! прочь фразы! да здравствуетъ „дѣло!“

И все, какъ нарочно, сложилось такъ, чтобъ увѣнчать ихъ предпріятіе успѣхомъ. И купленные за грошъ занадѣльные обрѣзки, и надѣлы, устроенные на манеръ западней, и распивочная продажа вина — все устроилось на потребу потомку древнихъ гужеѣдовъ и на пагубу поильцу-кормильцу пошехонской земли. Въ скоромъ времени меньшій братъ увидѣлъ себя до такой степени изловленнымъ, что мысль о непрерывности даней, составлявшая основной элементъ его крѣпостного существованія, вновь предстала передъ нимъ, какъ единственный выходъ, приличествующій его злосчастію. И предстала тѣмъ съ большею ясностью и неизбѣжностью, что самый процессъ принесенія даней уже именовался вольнымъ, а не принудительнымъ. Очевидно, что и это было совсѣмъ не мечтаніе, но „дѣло“, горшее изъ всѣхъ „дѣлъ“.

Тѣмъ не менѣе, представленіе объ изобиліи Пошехонской страны, однажды поколебленное, уже не возстановилось. До такой степени не возстановилось, что нынѣ многіе начинаютъ сомнѣваться, дѣйствительно ли оно когда-нибудь существовало и не смѣшивали ли его съ изобиліемъ пошехонской мужицкой спины. Сама земля явилась съ нѣмымъ протестомъ противъ насилій, которымъ подвергла ее Колупаевская невѣжественная орда. Съ каждымъ годомъ нѣдра ея поступаются скуднѣе и скуднѣе, хотя кабальный пошехонецъ безъ устали продѣлываетъ, за счетъ Колупаева, все тотъ же изнурительный процессъ, который продѣлывали его отцы и дѣды за счетъ счастливаго лейбкампанца... А Колупаевъ сидитъ, ничего не разумѣючи, за стойкой въ кабакѣ да по-дурацки покрикиваетъ: „довольно мечтаній! довольно фразъ! за дѣло!“

Такимъ образомъ оказывается, что мысль о „дѣлѣ“, которая такъ настойчиво волнуетъ современное русское общество, у насъ, въ Пошехоньи, не только не составляетъ новости, но искони служила единственнымъ основаніемъ, на которомъ созидалось и утверждалось наше пошехонское житіе. Такъ что ежели и случались экскурсіи въ область мечтаній и фразъ, то экскурсіи эти занимали какъ разъ столько времени, сколько требовалось для того, чтобы переходъ отъ одной формы „дѣла“ къ другой не казался черезчуръ рѣзкимъ.

Но что всего замѣчательнѣе — представленіе о „дѣлѣ“, послѣ каждой такой экскурсіи, не только не смягчалось, но становилось все суровѣе и суровѣе. Ибо, по старинному обычаю пошехонскому, всякая новая форма „дѣла“

требовала не простого подчиненія ей, но подчиненія, сопровождаемаго приличествующимъ остепененіемъ.

Я помню, въ одну изъ такихъ эпохъ, когда кратковременная экскурсія въ область мечтаній и фразъ только-что завершилась, пришлось мнѣ быть въ „своемъ мѣстѣ" по „своему дѣлу".

Не буду говорить о томъ, сколько разъ и съ какою силою ёкало мое сердце при видѣ родного гнѣзда, какъ пахнуло на меня ароматами юности, какъ я внезапно почувствовалъ себя добрѣе, бодрѣе, свѣжѣе и т. д. Обо всемъ этомъ неоднократно и болѣе искусными руками было засвидѣтельствовано въ русской литературѣ, и моя рука ни одного штриха въ этой картинѣ ни прибавить, ни убавить не можетъ. Начну прямо съ того, что въ „своемъ мѣстѣ" всякое дѣло дѣлается безпорядочно, урывками, или, лучше сказать, занятіе дѣломъ беретъ извѣстную сумму минутъ, раздѣленныхъ между собою часами и сутками. Сегодня пришелъ Прохорычъ — онъ и согласенъ бы, да подумать надо; завтра пришелъ Финагеичъ—этотъ и согласенъ, и несогласенъ, но во всякомъ случаѣ ему надо къ зятю за сорокъ верстъ съѣздить, чтобы рѣшительный отвѣтъ дать; на послѣ-завтра ждали купца Кабальникова, а онъ совсѣмъ не явился: „ломается, старый пёсъ, очумѣлъ отъ денегъ". Эти часовые и суточные промежутки, посвящаемые исключительно праздной ходьбѣ взадъ и впередъ по комнатамъ, тянутся необыкновенно томительно.

Чтобъ скоротать время, можно бы сельскаго батюшку пригласить, но онъ гражданскаго разговора не понимаетъ, а о мужицкихъ дѣлахъ говорить брезгуетъ. Такъ что ежели нѣтъ на столѣ закуски (батюшка, для продолженія времени, въ каждый кусокъ не меньше двухъ разъ вилкой тычетъ, какъ будто сразу захватить не можетъ), то обѣ стороны чувствуютъ себя стѣснительно.

Поэтому я очень обрадовался, узнавъ, что еще не всѣ бывшіе дружинники разбѣжались изъ своихъ гнѣздъ, и что во главѣ несбѣжавшихъ находится и старый мой знакомецъ, Артемій Клубковъ.

Я зазналъ Клубкова очень давно и въ весьма благопріятномъ, сравнительно, положеніи. Онъ служилъ при губернаторѣ чиновникомъ особыхъ порученій, но казенной службой не особенно отягощался (на него возлагали только такъ-называемыя „щекотливыя" дѣла), преимущественно возлежалъ на лонѣ у губернатора и выполнялъ порученія губернаторши. Сверхъ того онъ былъ великій мастеръ по части всякаго рода увеселеній, такъ что ни одинъ клубный балъ, ни одинъ загородный пикникъ, ни одинъ благотворительный спектакль не обходились безъ того, чтобъ онъ не являлся главнымъ распорядителемъ. Наружность онъ имѣлъ довольно ординарную, но одѣвался чисто и зналъ, кому и чѣмъ услужить. И въ то же время умѣлъ пользоваться привилегіями, которыя доставляла ему роль распорядителя увеселеній, съ такою же ловкостью, съ какою пользуется своими привилегіями первый балетный сюжетъ, на обязанности котораго лежитъ держать на вѣсу балерину въ то время, когда она всѣмъ корпусомъ изгибается, чтобы увидѣть свои собственныя пятки. Поэтому между нимъ и губернскими дамочками установились какія-то особенныя, какъ бы служебныя отношенія, въ силу которыхъ послѣднія хотя не увлекались имъ, но и противодѣйствовать не дерзали.

— Клубковъ! вы мнѣ дадите роль въ „Отцѣ какихъ мало“?

— А какая будетъ за это награда?

— Ахъ, противный!

И вотъ, по манію Клубкова, безъ предварительныхъ ухаживаній и разговоровъ, дамочкинъ „семейный союзъ“ разлетался въ прахъ...

Всѣмъ этимъ относительнымъ благополучіемъ Клубковъ былъ обязанъ исключительно самому себѣ или, лучше сказать, своимъ натуральнымъ качествамъ. Образованіе онъ получилъ „домашнее“, то-есть, по достиженіи восемнадцати лѣтъ, прямо съ отческой конюшни, перешелъ въ кавалерійскій полкъ юнкеромъ и тянулъ тамъ лямку до поручичьяго чина, послѣ чего опредѣлился къ штатскимъ дѣламъ. Въ матеріальномъ отношеніи онъ тоже былъ плохо обезпеченъ, потому что отецъ его хотя и не былъ въ тѣсномъ смыслѣ слова мелкопомѣстнымъ (у него было 80 душъ крестьянъ при четырехъ стахъ десятинахъ земли), но дѣлиться съ сыномъ могъ лишь въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Тѣмъ не менѣе, у Артемія всегда водилась вольная деньга, и хотя нѣкоторые приписывали это его привилегированному положенію при губернаторѣ, но это было только отчасти справедливо. Знатокъ по лошадиной части, онъ занимался барышничествомъ, и на этомъ дѣлѣ выгадывалъ въ свою пользу не одинъ лишній рублишко.

Отецъ Клубкова былъ однимъ изъ тѣхъ прозорливыхъ пошехонцевъ, которые всегда предпочитали „дѣло“ мечтаніямъ. Онъ отлично понималъ, что въ жизни дружинника „дѣломъ“ можетъ быть названо только то̀ что̀ доставляетъ матеріальный прибытокъ, а въ жизни кабальнаго человѣка — только трудъ. Все остальное называлось мечтаніемъ и могло только мѣшать „дѣлу“. Исходя изъ этого разсужденія, онъ разсчиталъ, что трудъ крѣпостного крестьянина до извѣстной степени не изъятъ отъ мечтаній, и что только трудъ крѣпостного двороваго человѣка всецѣло принадлежитъ помѣщику. Поэтому онъ, еще за долго до эмансипаціи, устроилъ у себя при усадьбѣ фаланстеръ, въ который и заточилъ всѣхъ крестьянъ, а вслѣдъ затѣмъ записалъ ихъ въ ревизію подъ наименованіемъ дворовыхъ. Выдумка была выгодная и удалась вполнѣ. Во-первыхъ, и крестьянскія избы, и крестьянскіе животы — все пошло въ пользу Клубкова; а во-вторыхъ, вся рабочая сила имѣнія была у него теперь подъ рукой и урвать хотя минуту изъ принадлежащаго помѣщику времени не стало возможности. Правда, что съ этихъ поръ Клубковскіе крестьяне получили наименованіе „каторжныхъ“, но самого Клубкова большинство сосѣднихъ дружинниковъ звало „умницею“ и „дѣлягой“, и только очень немногіе называли „злодѣемъ“.

Такъ шло дѣло до упраздненія крѣпостного права. За это время Клубковъ успѣлъ довести свое хозяйство до возможно-цвѣтущаго состоянія, и въ моментъ освобожденія, когда прочіе его собратья отчасти лукавили, отчасти роптали, онъ съ самодовольствомъ видѣлъ, что лично для него крестьянскій вопросъ разрѣшился какъ бы самъ собою. Ни уставныхъ грамотъ онъ не составлялъ, ни надѣловъ не отрѣзывалъ, а спокойно воспользовался предоставленнымъ ему правомъ на двухлѣтній трудъ „дворовыхъ“ людей, и, по истеченіи льготнаго срока, распустилъ дворню и началъ жить по новому.

Артемій въ это время еще служилъ и къ дѣяніямъ отца относился какъ-

то загадочно. Въ большинствѣ случаевъ онъ избѣгалъ говорить объ немъ, но, въ сущности, очевидно понималъ, что отецъ его дѣлаетъ „дѣло“. Быть можетъ, косвенно онъ даже содѣйствовалъ этому „дѣлу“, такъ какъ даже въ то суровое время устройство открытой каторги было вещью не совсѣмъ обыкновенною и едва ли могло бы осуществиться безъ секретной поддержки. Затѣмъ прошло три-четыре года по упраздненіи крѣпостного права, и Артемій Клубковъ вдругъ куда-то исчезъ. Говорили, что отецъ его умеръ и что сынъ отправился въ „свое мѣсто“ дѣлать „дѣла“. Прибавляли, что онъ женился, облекся въ полушубокъ и завелъ въ самомъ господскомъ домѣ постоялый дворъ, съ продажей распивочно и на-выносъ, и при немъ лавку съ крестьянскимъ товаромъ. Что онъ самолично присутствуетъ въ кабакѣ, а жену посадилъ въ лавку, что поля содержатся у него въ порядкѣ, какъ было при отцѣ, что вообще онъ исключительно поглощенъ „дѣломъ“, а мечтаніями не только не увлекается, но совершенно ихъ игнорируетъ.

Приблизительно эти же свѣдѣнія получилъ я о Клубковѣ и теперь. Разспрашивая объ немъ старосту Андрея Иваныча, я узналъ, что Артемій положительно стряхнулъ съ себя ветхаго человѣка и весь предался продажѣ и куплѣ. Имѣніе свое онъ ловко округлилъ, скупая у сосѣднихъ владѣльцевъ земельные обрѣзки, которые прилегали къ его дачѣ. Благодаря этому, у него было теперь и лѣску довольно, и пустошныхъ покосцевъ вволю, а собственную землю онъ всю раздѣлалъ подъ пашню, которая приносила не убытокъ, а доходъ. Но главную прибыльную статью его бюджета составляло д[illegible]ное ростовщичество, которое онъ развелъ въ такихъ размѣрахъ, что чуть не всю округу запуталъ въ своихъ сѣтяхъ. Уму его всѣ удивлялись.

— Главная причина, — говорилъ староста Андрей Иванычъ: — на настоящее дѣло напалъ и настоящимъ манеромъ его ведетъ. Нѣтъ нужды, что баринъ.

И затѣмъ, развивая свой тезисъ дальше, продолжалъ:

— Онъ всякую вещь сначала понюхаетъ да на свѣтъ посмотритъ, а потомъ ужъ и настоящее мѣсто ей опредѣлитъ. Деготь ли, сало ли, яйцо, перо, мука — все онъ сейчасъ сообразитъ. И ежели что сказалъ — законъ. Сказалъ: рупь — рупь и бери; сказалъ: полтина — бери полтину. Вещь-то она, можетъ, два рубля стоитъ, а онъ ее за полтину приспособитъ. И одѣвается онъ по-русски, чтобы способнѣе было.

— Такъ это-то и есть настоящее „дѣло“?

— Оно самое. Ноньче ужъ и господа моды-то бросали, за дѣло принялись. Только не всѣ умѣютъ, а онъ умѣетъ. Вонъ Григорій Александрычъ — недалеко ходить — и жадности, и ненависти, всего въ немъ довольно, а не умѣетъ да и шабашъ.

— Да неужто Григорій Александрычъ еще живъ?

— Живъ, только ума въ немъ ни капли не осталось. Все мужичья воля взяла, одни скверныя слова оставила. Онъ бы давно, какъ комаръ, сгибъ, да Клубковъ его еще побаловываетъ: коё мучки, коё чайку-сахарцу пришлетъ — этимъ и живетъ.

— А богатъ Клубковъ?

— Денегъ у него прорва, только всѣ распущены. Весь капиталъ у него

кругомъ да около, а онъ по середкѣ похаживаетъ. Вся наша округа его. Ничего у насъ нынче собственнаго нѣтъ. Все равно какъ встарину, когда крѣпостные были: захочетъ господинъ—твое; не захочетъ — вези или веди на господскій дворъ!

— Однако онъ васъ пристигъ-таки!

— Совсѣмъ окружилъ. Точно онъ каждаго въ грѣхѣ засталъ. Захочетъ —проститъ, захочетъ—выдастъ.

— И весело ему живется?

— Сначала, какъ пріѣхалъ въ усадьбу, очень сердился. Все за то, что мужика на волю выпустили. „Въ кандалы бы, говоритъ, его заковать надо, анъ вмѣсто того вонъ что̀ сдѣлали!“ Однако годика черезъ два осмотрѣлся, сталъ хвалить. „И хорошо, говоритъ, что ихъ на всѣ четыре стороны пустили: они сами себѣ прочнѣе прежнихъ кандалы выкуютъ!“

— А семья у него велика?

— Жена да двое сыновъ — только и всего. Карахтеръ ему отъ родителя Клубковскій достался — только гдѣ покойному противъ него! Старикъ все-таки хоть сколько-нибудь жалѣнья имѣлъ. Людишки-то свои, крѣпостные, были, такъ ежели ихъ совсѣмъ-то покалѣчить—выгоды нѣтъ. А нынче они—вольные. Одного покалѣчитъ—другой, замѣсто его, изъ земли выросъ. Гдѣ спина, тамъ и вина.

Свѣдѣнія эти настолько меня заинтересовали, что на другой день, въ девять часовъ утра, я былъ уже въ Береговскомъ (такъ называлась усадьба Клубкова).

Усадьба стояла особнякомъ, у самой большой дороги, обращаясь переднимъ фасадомъ къ тракту, а задами упираясь въ небольшое озерко, которое представляло ей съ этой стороны какъ бы натуральную защиту. И вправо, и влѣво, и впереди тянулись поля, и ни одного даже тощаго лѣска верстъ на пять. Усадьба была видна издалека, какъ на ладони, да и изъ нея во всѣ стороны далеко видно было. Строеній имѣлось достаточно, и все прочныя, одно къ одному. Характеръ построекъ былъ купеческій, средней руки, безъ претензій на красоту и даже на удобства, но за то съ соблюденіемъ всякаго рода охранительныхъ мѣръ. Главный жилой корпусъ представлялъ собой длинный бревенчатый срубъ, средину котораго занимала харчевня, а по бокамъ съ одной стороны — лавка, съ другой — жилое помѣщеніе самихъ хозяевъ. Въ жилое помѣщеніе вело особое крыльцо; оконъ по фасаду было много, но небольшія (для тепла) и снабженныя ставнями, которыя запирались желѣзными болтами. По бокамъ главнаго корпуса тянулись службы, которыя со стороны поля были обрыты канавами. Вообще усадьба имѣла видъ четырехугольной цитадели, въ которую лихому человѣку проникнуть было очень трудно.

Когда я вошелъ, Клубковъ находился въ харчевнѣ одинъ и, наклонившись къ стойкѣ, дѣлалъ карандашомъ разсчетъ. На немъ былъ надѣтъ новый полушубокъ, расшитый по груди въ строчку шелками (на дворѣ стоялъ октябрь въ началѣ), но волосы были причесаны по-нѣмецки, борода обрита и глаза вооружены тонкими стальными очками.

Увидѣвши меня, онъ не то чтобы изумился, но какъ будто сейчасъ проснулся. И въ то же время въ глазахъ его уже просвѣчивала досада. Очень

вѣроятно, что онъ зналъ о моемъ пріѣздѣ въ имѣніе и даже разсчитывалъ на возможность моего посѣщенія, но „дѣло“ до такой степени овладѣло всѣми его помыслами, что всякій „посторонній“ случай, какъ бы онъ ни былъ естественъ, неизбѣжно застигалъ его врасплохъ.

— А вы меня застали, такъ сказать, среди самой процедуры моего дѣла!—привѣтствовалъ онъ меня, но съ такимъ отсутствіемъ какого бы то ни было душевнаго движенія, какъ будто вчера только со мною разстался. Однакожъ протянулъ мнѣ обѣ руки и поздоровался.

— Я, признаться, отвыкъ ужъ отъ общества,—продолжалъ онъ, слегка иронизируя: — да при такой обстановкѣ можетъ ли быть и рѣчь объ обществѣ... не правда ли? а?

— Обстановку всякій выбираетъ по желанію,—отвѣтилъ я, чтобъ сказать что-нибудь.

— Да, но „общество“... оно вѣдь обязываетъ. „Иль не па де нотръ сосьете́“, какъ говаривали наши р—скія дамочки... помните? Или, какъ нынче принято говорить: интеллигенція, правящіе классы... фу-ты важно!!

Говоря это, онъ уже не иронизировалъ, а сознательно себя взвинчивалъ, и вдругъ словно самъ себѣ на мозоль наступилъ.

— Ну, да вѣдь теперь—баста!—произнесъ онъ почти зловѣще:—теперь золотые-то сны миновали! Побаловались! пошалили! аминь!

Однако взглянулъ на меня и какъ будто опомнился, что покуда я еще ни въ чемъ передъ нимъ не провинился.

— А впрочемъ что̀ жъ это я вамъ... — сказалъ онъ, стихая.—Ну, да вѣдь и накипѣло же у меня! Тутъ дѣла по горло, не знаешь какъ сладить, а кругомъ—празднословіе, праздномысліе, хвастовство!.. То расцвѣтаютъ, то увядаютъ... Какъ мы съ вами однакожъ давно... помните? *Ничего* тогда было... жилось! Тогда и теперь—сравните!

— Но вамъ и теперь повидимому...

— Ничего; я лично не жалуюсь, но вообще... Пойдемте однако, я въ свою хижину васъ сведу, съ бабой своей познакомлю: она тоже въ полушубкѣ въ лавкѣ сидитъ... Антонъ! — обратился онъ къ вошедшему батраку: — ты тутъ за меня посиди, а коли кто съ дѣломъ придетъ, говори: ужо̀! Пойдемте, пойдемте! Я васъ дворомъ проведу! посмо̀трите, какіе у меня тамъ порядки.

Дворъ былъ просторный, свѣтлый и начисто выметенный. Заборъ перегораживалъ его на двѣ половины, изъ которыхъ въ одной помѣщались скотный и конный дворы, а въ другой, примыкавшей къ господскому жилью — помѣщеніе для рабочихъ и амбары. Въ глубинѣ двора стояло пять, шесть крестьянскихъ подводъ, съ которыхъ производилась ссыпка всякаго рода сѣмени.

— Мужички ленѐкъ обмолотили,—сказалъ Клубковъ мягко:—сѣмечко отъ избытковъ везутъ... А мы—покупаемъ.

Говоря это, онъ захватилъ горстью сѣмя и началъ пересыпать его изъ одной горсти въ другую, причемъ ворошилъ по ладони пальцемъ, всматривался, подувалъ и т. д.

— Ленѐкъ чистенькій... ничего!—обратился онъ ко мнѣ. — Безъ костеря. Только вотъ въ дѣлѣ будетъ ли споръ?

И для того, чтобъ разрѣшить этотъ вопросъ, слизнулъ нѣсколько сѣмечекъ языкомъ и пожевалъ.

— Ничего, и масла будетъ въ мѣру. Ле́нное сѣмя—это, я вамъ скажу, такая вещь, что съ нимъ глаза да и глаза надо. Какъ разъ, подлецы, съ пескомъ подсунутъ!

Потомъ подошелъ къ другому возу: оказался овесъ.

— И овсецо̀ обмолотили—тоже покупаемъ,—сказалъ онъ, раскалывая зубомъ зерно пополамъ: — ничего овёсикъ! недурной! Зерно полненькое, сухое, только вотъ насчетъ чистоты...

Опять началось пересыпанье изъ горсти въ горсть, съ подуваньемъ, разсматриваньемъ на свѣтъ и проч. Нѣсколько разъ черпалъ онъ то въ томъ, то въ другомъ мѣшкѣ, доставая рукою до самаго дна и повторяя одну и ту же процедуру. И вдругъ раздался грозный голосъ:

— Отставь!

— Артемій Иванычъ! родимый!—откликнулся кто-то изъ глубины.

— Знаю я давно, что я Артемій Иванычъ. Отставь. До праздниковъ у него не принимать —ни зерна! А потомъ—увидимъ!—сказалъ онъ батраку, занимавшемуся ссыпкой, и затѣмъ, обращаясь ко мнѣ, прибавилъ:—хочу добиться, чтобъ не считали меня дуракомъ, курицыны сыны, не смѣли бы надувать. И добьюсь.

Такимъ же порядкомъ мы проинспектировали всѣ возы, пока не добрались до хозяйскаго крыльца. Въ комнатахъ насъ ждалъ самоваръ и неизбѣжная закуска; но жены Клубкова не было.

— И не придетъ,—разсудилъ Клубковъ.—Про сосьете́ вспомнила и обробѣла. Человѣкъ, изволите видѣть, изъ самаго сосьете́ пріѣхалъ, а она —въ полушубкѣ! Милости просимъ! чего прежде, водочки или чайку?

И, не дождавшись моего отвѣта, налилъ себѣ рюмку настойки и проглотилъ.

— А знаете ли что̀,—продолжалъ онъ наивно:—на первыхъ порахъ вашъ визитъ... какъ бы вамъ сказать... ну, просто мнѣ лишнимъ показался. Съ чего? что̀ такое понадобилось? А теперь вотъ взглянулъ на васъ — та̀къ на меня и хлынуло прошлымъ! И препріятно. Со мной это и до сихъ поръ по временамъ бываетъ. Сидишь это, молчишь да молчишь, да разсчеты дѣлаешь... и вдругъ откуда ни возьмись:

Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку,
Да пониже, да пониже, да пониже поклонись!

Помните, кадриль такая „на мотивы“ была?.. И все передъ тобой какъ въявь: и музыка, и горящія люстры, и дамочки... Глупо, но пріятно!

— Стало быть, и мой визитъ на васъ такое же впечатлѣніе сдѣлалъ?

— Да, именно въ этомъ пріятномъ смыслѣ. Старое вспомнилось. Но сколькихъ мы безобразій съ тѣхъ поръ были свидѣтелями! чего наслушались! насмотрѣлись!

— Не знаю. Развѣ что-нибудь особенное произошло?

— Помилуйте! Начать хоть бы съ „меньшаго брата“ —неужто это не безобразіе?! А устность и гласность? а обличенія? а скорый и милостивый судъ?

Наконецъ: интеллигенція, обезпеченность, самоуправленіе, легальность, правовой порядокъ, иллюзіи, золотыя мечты, надежды, упованія, перспективы... вонъ вѣдь сколько! И все это мы видѣли собственными глазами, слышали собственными ушами!!

— Такъ чтожъ такое! вѣдь не ослѣпли и не оглохли!

— Но за то нанюхались. Нѣтъ, это не такъ. Пошлости-то надо оставить. Уши выше лба не ростутъ. Хоть шиломъ шиты, а все-таки въ какомъ-ни-на есть государствѣ живемъ. Да-съ, въ государствѣ-съ.

Онъ дѣлался краток и начиналъ впадать въ учительный тонъ. И смотрѣлъ на меня ужъ въ упоръ, какъ будто понялъ, гдѣ раки зимуютъ.

— Вамъ, можетъ быть, непріятенъ этотъ разговоръ? —инсинуировалъ онъ ехидно.

— Помилуйте! да мнѣ-то чтожъ! наплевать—только и всего!—смалодушничалъ я довольно развязно: — сегодня — гласность, завтра — безгласность, сегодня—перспективы, завтра—каменный мѣшокъ... сколько угодно! Помните, какъ въ какомъ-то водевилѣ поется:

Такъ и эдакъ, и вотъ эдакъ,
И водъ эдакъ, и вотъ такъ!

Всячески хорошо. Не понимаю, вы то изъ чего безпокоитесь?

Однакожъ развязность моя не только плѣнила его, но даже заставила слегка нахмуриться.

— Ну, такъ давайте объ другомъ... — сказалъ онъ послѣ короткой паузы.—Помните, какъ мы въ Р** жили—вѣдь хорошо тогда было... право!

Начали припоминать, но вспомнилось немногое. Прежде всего изъ глубины прошлаго выплыла хорошенькая мадамъ Первагина, которая любила съ мужчинами „картинки“ смотрѣть; потомъ—старый помѣщикъ, который былъ тѣмъ замѣчателенъ, что его всѣ звали „бѣлымъ арапомъ“; потомъ—полиціймейстеръ, у котораго отъ умиленія расходились сзади фалды, когда онъ по начальству съ докладомъ являлся. Ничего особеннаго. Тѣмъ не менѣе, мы оба старались испытывать удовольствіе, и отъ времени до времени даже хохотали. Вспомнили кстати нѣсколько „щекотливыхъ“ дѣлъ, и опять хохотали. Однакожъ разговоръ оказался до такой степени скуднымъ, что какъ мы ни длили его, но все-таки въ непродолжительномъ времени стали втупикъ. Начали курить папиросы; курили-курили, хлопали другъ друга по колѣнкѣ, смотрѣли другъ другу въ глаза, обмѣнивались краткими восклицаніями... ни взадъ, ни впередъ!

— А я съ тѣхъ поръ дѣломъ занялся, и вотъ какъ видите! —не выдержалъ онъ и опять зачастилъ на старую тему:—да и всѣмъ вообще пора за дѣло! Пожуировали! побаловались! И будетъ.

— Какое же собственно дѣло васъ занимаетъ?—полюбопытствовалъ я.

— Работаю. Съ утра до вечера у меня минуты праздной нѣтъ. Я люблю дѣло; а кто его любитъ, у того оно всегда найдется. Въ мужики пошелъ! полушубокъ надѣлъ, косоворотку! сапоги ворванью смазываю... Исправникъ даже доносъ на меня сгоряча написалъ: думалъ, что я мужиковствовать собрался. Ну, нѣтъ! это—аттанде!

Онъ всталъ съ мѣста и началъ ходить по комнатѣ, видимо сгорая нетерпѣніемъ высказаться.

– У меня ныньче...—началъ онъ, волнуясь:—у меня ужъ полъ-уѣзда подъ пятой... Хочу—придавлю, хочу—вздохнуть дамъ. Сытость ихнюю я въ рукахъ держу... Видѣли на дворѣ амбары?—такъ вотъ тамъ ихняя сытость за тремя замкáми лежитъ...

— На чтò же она вамъ понадобилась?

— Чувствуютъ они ее преимущественно. Слова-то въ ушахъ не задерживаются, да и тѣлесныя поврежденія, и тѣ ныньче не всегда надлежащее дѣйствіе оказываютъ... А вотъ ежели за желудокъ умѣючи взяться...

— Чтò такое вы говорите, Артемій Иванычъ!—невольно вырвалось у меня при этомъ признаніи.

Онъ взглянулъ на меня изъ-подъ очковъ и усмѣхнулся.

— А вы изъ филантроповъ?

— Изъ филантроповъ или не изъ филантроповъ, а все-таки... Послушать васъ, такъ можно подумать, что вы за что-то мстите!

— Я не мщу, а дѣло дѣлаю. Разжиться торговлей задумалъ. Покупаю—хочу купить дешево; продаю — хочу продать дорого. Желаю имѣть барышъ. А ежели вмѣсто барышей буду терпѣть убытки, то сейчасъ же всю эту махину пò боку—и шабашъ! Понятно?

— Какъ не понимать. Адвокатъ не для того по судамъ изнуряется, чтобы кліентовъ не находить; докторъ не для того практикуетъ, чтобы къ нему не обращались за помощью и т. д. Но причемъ же тутъ мужицкая сытость?

— А при томъ, что она побуждаетъ дѣло дѣлать. По моему, дѣло для всѣхъ обязательно. И всякій долженъ именно „свое“ дѣло дѣлать, а не забираться въ чужія хоромы, не мечтать. Да, государь мой! покойный батюшка получше насъ съ вами зналъ, кàкъ за „нихъ“ взяться! И они не мечтали при немъ, а дѣлали дѣло, трудились. А для мечтателей у него былъ—жезлъ-съ!

— Это батюшка вашъ, а вы...

— Знаю-съ. Нѣтъ у меня жезла—это дѣйствительно. Но поэтому-то я и приспособляюсь. Жезла не имѣю, такъ въ родѣ того стараюсь найти. Посмотрите на „нихъ“! Ободраны! обглоданы! ни избы, ни телѣги, ни сохи... срамъ!

— А вамъ жаль?

— Срамъ-съ!

— Да вѣдь этакъ пожалуй окажется, что вы, стыда ради, не только не посягаете на общую сытость, а добиваетесь ея?

— Я-то? я знаю, чего добиваюсь. Остепенить *ихъ* надо — вотъ чтò я говорю!

— Понимаю. Но мнѣ кажется, что въ этомъ смыслѣ и безъ того сдѣлано больше чѣмъ надо. Вы сами сейчасъ сказали, что повсюду, куда ни обернись—ни кола, ни двора... Чтò же можетъ быть степеннѣе этого?

— Я не объ этомъ, а объ дѣлѣ... Мнѣ не колы и дворы ихъ нужны—это они ужъ какъ знаютъ—а дѣло!

Онъ видимо желалъ высказать свою мысль до конца, но въ то же время

нѣчто его останавливало. Не совѣсть, а какая-то не совсѣмъ еще исчезнувшая боязнь сболтнуть что-нибудь лишнее. Въ итогѣ оказывались недомолвки и противорѣчія, которыя глубоко его раздражали.

— Но неужто „они" не работаютъ, а только празднуютъ? — удивился я.

— Празднуютъ-съ.

— Допустимъ. Предположите однакожъ, что мужикъ пересталъ праздновать и всецѣло отдался „дѣлу" — должна же къ чему-нибудь эта метаморфоза его привести? Ну, напримѣръ, хоть къ относительному довольству?.. Думаете ли вы, что тогда такъ же легко будетъ завладѣть его сытостью, какъ теперь?

— А куда же онъ дѣнется, позвольте спросить? откуда онъ довольство-то возьметъ?

— Очень просто: будетъ работать для себя и у себя.

— Это въ западняхъ-то въ ихнихъ?

Онъ залился такимъ добродушнымъ смѣхомъ, что я и самъ догадался, что высказалъ нѣчто рискованное.

— Нѣтъ, это не такъ, — продолжалъ онъ: — не то вы совсѣмъ говорите. Никогда онъ отъ меня не уйдетъ и ни отъ кого, минуя меня, ничего не получитъ. Я не защищаю людей своего сословія. Слишкомъ многіе изъ нихъ въ трудную минуту выказали себя предателями, и почти всѣ безъ исключенія — малодушными и непредусмотрительными. Но среди общей паники, среди общаго бѣгства, сама собою устроилась одна комбинація, которой предстоитъ громадное будущее въ смыслѣ остепененія. Эта комбинація — надѣльныя западни. И хотя теперь уже видно, что ея плодами воспользуются совсѣмъ не тѣ, которые ее придумали, но во всякомъ случаѣ нѣкто воспользуется!

— Или, говоря другими словами: съ одной стороны вы требуете непрестаннаго труда, а съ другой — радуетесь условіямъ, которыя дѣлаютъ примѣненіе труда почти безнадежнымъ... Чтожъ, это тоже своего рода комбинація!

— Для труда всегда примѣненіе найдется. Вездѣ-съ. Не только свѣту въ окошкѣ, что крестьянскій надѣлъ. Куда ни обернитесь — вездѣ открытое поприще для труда. Я самъ лично не одной сотнѣ людей могу хлѣба дать. А надѣлъ только запутываетъ. И это когда-нибудь для всѣхъ будетъ ясно.

— Когда-то еще будетъ!

— Ничего, мы и подождемъ. Мы умѣемъ ждать. А въ ожиданіи будемъ остепенять „ихъ" на собственный страхъ. И не боимся-съ. Мнѣ и ножемъ, и ружьемъ, и краснымъ пѣтухомъ грозили, а я и сію минуту цѣлёхонекъ. Сначала грозились, потомъ бояться стали, а нынче ужъ довѣріемъ осчастливливаютъ. Погодите немножко — чего добраго, и полюбятъ...

. . . .

Ничего другого я добиться отъ него не могъ. Впрочемъ мысль его была совсѣмъ ясна, хотя онъ и опасался формулировать ее совершенно опредѣлительно. Вѣроятно теперь, когда толки о „дѣлѣ" становятся все болѣе и болѣе настойчивыми, онъ высказываетъ свои пожеланія уже на чистоту. Какъ бы то ни было, но идеалъ „дѣла", осуществленія котораго онъ домо-

гался, представлялся ему снабженнымъ всѣми аттрибутами крѣпостного права. Около этой упраздненной формулы ютились всѣ его помыслы, и никакой иной комбинаціи онъ не только придумать, но и случайно представить себѣ не былъ въ состояніи. Но такъ какъ крѣпостное право было вооружено жезломъ, а у него жезла не было, то онъ и подыскивалъ замѣняющее средство. И нашелъ его въ формѣ непосредственнаго дѣйствія на человѣческую сытость...

Онъ не разсчиталъ двухъ вещей: во-первыхъ, что жезлъ въ большинствѣ случаевъ только ранилъ, тогда какъ придуманное имъ замѣняющее средство —калѣчитъ и погубляетъ, и, во-вторыхъ, что разъ жезлъ выпалъ изъ рукъ за негодностью, гораздо выгоднѣе совсѣмъ объ немъ позабыть, нежели изнывать надъ пріисканіемъ замѣняющихъ средствъ одинаковаго съ нимъ воспитательнаго пошиба.

Однимъ словомъ, онъ вопіялъ о „дѣлѣ", и въ то же время убивалъ силу, на обязанности которой лежало созданіе этого дѣла. И вдобавокъ на это убиваніе употреблялъ средство, которое точно такъ же ежеминутно могло выпасть у него изъ рукъ, какъ нѣкогда выпалъ изъ рукъ „жезлъ"... Съ самаго того дня, въ который онъ сѣлъ на хозяйство, не было ни одной минуты, когда бы онъ не мечталъ объ дѣлѣ, не говорилъ себѣ: вотъ-вотъ сейчасъ оно придетъ... Но проходили годы, и „дѣло" не только не являлось на призывъ, но съ каждымъ годомъ, съ каждымъ часомъ все дальше и дальше уходило вглубь. Однакожъ и это-не вразумляло его, а только злило, и онъ продолжалъ ждать, продолжалъ говорить: вотъ сейчасъ..,

Ждетъ онъ и поднесь. Что окрыляетъ его надежды? что заставляетъ его, несмотря на вразумленія дѣйствительности, упорно смотрѣть въ одну и ту же фантастическую точку? — отвѣтить на эти вопросы не трудно. И для меня во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что значительную роль въ этомъ упорствѣ играетъ голая злость.

Злость, злость и злость... Неизъяснимая, непреодолимая, съ одинаковою яростью гложущая и самого злеца, и предметъ его озлобленія. Словно одна изъ казней египетскихъ, отъ которой некуда бѣжать. Вотъ единственный ясный мотивъ, который лежитъ въ основаніи толковъ о „дѣлѣ". Онъ одинъ даетъ этимъ толкамъ жизненность, одинъ сообщаетъ имъ какое-то подобіе убѣжденія и даже страстности, и помогаетъ уловлять прозелитовъ въ средѣ, наобумъ изрекающей самые неожиданные приговоры и не признающей себя отвѣтственною за нихъ.

Клубкова я долженъ однакожъ до извѣстной степени выгородить: онъ по крайней мѣрѣ можетъ назвать по имени объектъ своихъ вожделѣній. Это объектъ несостоятельный, опороченный опытомъ и въ самомъ существѣ своемъ безнравственный; но Клубковъ все-таки знаетъ его. Въ большинствѣ случаевъ и этого знанія нѣтъ. Вы видите массу сорвавшихся съ цѣпи людей, которые и на улицахъ, и въ публичныхъ домахъ, и печатно, и устно твердятъ объ „дѣлѣ", и которые, въ сущности, заражены лишь безъимяннымъ бѣшенствомъ. И никакого отвѣта на вопросъ объ дѣлѣ эти люди дать не могутъ, кромѣ одного: или повторяй на вѣру ихъ загадочное бормотанье, или слѣдуй по приглашенью въ участокъ...

Что-то тутъ есть ненормальное, почти страшное. Посылая проклятія пустопорожней фразѣ, мы по горло окунаемся въ пучину другой, не менѣе пустопорожней фразы, но фразы посконной, неуклюжей, юродствующей. Я не поклонникъ фразы, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда она представляетъ собой образецъ чеканки и округленности; но въ то же время я не могу не сравнивать. Въ прежней фразѣ, отъ которой мы отрекаемся, все-таки слышалось нѣчто, хотя неясное, недосказанное, но не идущее въ разрѣзъ человѣческой природѣ. Прежняя фраза не давала разрѣшеній, не указывала ни прямыхъ цѣлей, ни путей для достиженія ихъ; но она не возмущала, не отравляла, не засоряла мозговъ. Нынѣшняя посконная фраза прежде всего противна человѣческому естеству. Надо перестать быть человѣкомъ, чтобъ формулировать ее не краснѣя. Отъ этого-то такъ часто слышится рядомъ съ нею напоминаніе объ участкѣ.

Въ этомъ смыслѣ староста Андрей Иванычъ былъ совершенно правъ, говоря, что у Григорія Иваныча (который съ неменьшимъ нетерпѣніемъ, какъ и Клубковъ, чего-то ждалъ, но только не зналъ, какъ провести время въ ожиданіи) ничего не осталось, кромѣ „скверныхъ словъ". Проѣзжая отъ Клубкова домой, я и къ нему заѣхалъ. Старикъ до того уже опустился, что даже о крѣпостномъ правѣ позабылъ. Никакихъ идеаловъ онъ не лелѣялъ, никакихъ осуществленій не домогался, а только проклиналъ и ругался замѣчательно-скверными словами. И всѣ ругательства неизмѣнно заканчивалъ словами: „а вотъ погодите! ужо опять всѣхъ за дѣло засадятъ!"

Это было до того утомительно и однообразно, что я даже и въ споръ не вступалъ, а только ради шутки сказалъ:

— А помните ли, какъ въ старые годы пошехонцы счастія искали, да въ трехъ соснахъ заблудились? Какъ бы и теперь того же не случилось. Поищутъ-поищутъ „дѣла", а кончатъ все-таки тѣмъ, что въ трехъ соснахъ заблудятся.

И представьте мое удивленіе: онъ не только не возразилъ мнѣ, но даже вполнѣ меня одобрилъ.

— Именно такъ!—воскликнулъ онъ, по-дѣтски хлопая въ ладоши:—браво! въ трехъ соснахъ... это вѣрно! Именно, именно такъ и будетъ!

Очевидно, что онъ перепуталъ, и радовался совсѣмъ не тому. Но что касается до меня лично, то признаюсь откровенно, что только надежда на эту счастливую безалаберность и утѣшаетъ меня.

Годы уходятъ, а общественная мысль не только не просвѣтляется сознательнымъ отношеніемъ къ предстоящимъ жизненнымъ задачамъ, но все больше и больше запутывается въ массѣ безплодныхъ околичностей. И что всего хуже—всецѣло проникается угрюмостью, нетерпимостью, человѣконенавистничествомъ. Фраза съ какою-то удручающею правильностью смѣняется фразою, и притомъ въ такой качественной постепенности, которая, въ виду фразы новоявленной, заставляетъ съ сожалѣніемъ вспоминать о фразѣ предыдущей, только-что признанной несостоятельною.

Неизбѣжность господства фразы надъ жизнью (мы даже изъ вопроса о

безплодности фразы и необходимости „дѣла“ ухитрились устроить „фразу“) представляется до такой степени естественною, что большинство уже смотритъ на это явленіе какъ на законъ, не допускающій ни споровъ, ни возраженій, а требующій лишь безусловнаго подчиненія. Это предѣлъ, дальше котораго паденіе мыслительнаго уровня общества идти не можетъ. Начинается нелѣпое одностороннее торжество, въ которомъ пустомысліе изрекаетъ обязательные афоризмы, сопровождаемые, со стороны наивныхъ, безпорядочными трубными звуками, а со стороны ловкихъ людей — всѣми аттрибутами нескрываемаго хищничества. Какъ акклиматизироваться среди этой безсмысленной, безстыжей оргіи? гдѣ найти силу, чтобы положить ей конецъ или хотя умѣрить ея наглость? Увы! личныя усилія разбиваются такъ легко, что даже самое восторженное самообольщеніе остановится передъ ничтожностью предстоящихъ результатовъ; а затѣмъ ни откуда — ни помощи, ни ободренія! Все кругомъ уже взято въ плѣнъ привычкою, все отжило, не живши, завяло, не испытавши цвѣтенія. Привычка съ изумительною быстротою овладѣла всѣми помыслами и всѣхъ выручила изъ затрудненія. Привычка спасла сердца отъ негодованія, освободила совѣсть отъ упрековъ и во всѣ человѣческія отношенія ввела проказу равнодушія. Равнодушіе — это своего рода благо, за которое цѣпляются, въ которомъ видятъ спасеніе. Ибо оно одно даетъ силу жить, не истекая кровью и не сознавая всей глубины переживаемаго злосчастія.

Благо равнодушнымъ! благо тѣмъ, которые въ сердечной вялости находятъ для себя миръ и успокоеніе! Личное ихъ благополучіе не только не подлежитъ спору, но можетъ считаться вполнѣ обезпеченнымъ. А ничего другого имъ и не нужно. Но пусть же они знаютъ, что равнодушіе въ данномъ случаѣ обезпечиваетъ не только ихъ личное спокойствіе, но и безсрочное торжество лгуновъ-человѣконенавистниковъ. И сверхъ того оно на цѣлую среду, на цѣлую эпоху кладетъ печать безсилія, предательства и трусости.

Но какъ ни громадно сонмище равнодушныхъ, населяющихъ вселенную, я ни въ какомъ случаѣ не могу причислить къ нему моего друга Крамольникова. Напротивъ того, современные толки о непригодности мечтаній и необходимости „дѣла“ до такой степени угнетаютъ его, что онъ даже не всегда соблюдаетъ надлежащую мѣру благоразумія въ выраженіи своихъ мнѣній объ этомъ предметѣ.

На дняхъ сижу я утромъ въ трактирѣ „Ерши“, и благодушествую. Передо мной — большой подовый пирогъ, за нимъ — графинчикъ очищенной, сбоку — двусмысленной формы сосудъ, наполненный жижей. Помочу въ рюмкѣ усы — и закушу пирогомъ, потомъ опять помочу усы — и опять закушу, а въ промежуткахъ обдумываю: не спросить ли ветчинки? Словомъ сказать, сижу и занимаюсь современнымъ „дѣломъ“. И никто меня не трогаетъ. И я никого не трогаю, и меня никто не трогаетъ. Какъ вдругъ, откуда ни возьмись — Крамольниковъ!

Крамольниковъ — мой давній пріятель; но встрѣчаться съ нимъ въ публичныхъ мѣстахъ — сущее наказаніе. Къ сожалѣнію, онъ ужасно любитъ

кочующую жизнь, и съ утра до вечера всюду заглядываетъ. И всякій разъ, какъ онъ меня застигаетъ внѣ предѣловъ моей квартиры, мнѣ начинаетъ казаться, что было бы лучше, еслибъ онъ мимо прошелъ. Ибо хотя я и не принадлежу къ числу безусловно-равнодушныхъ, но мѣру благоразумія все-таки знаю. А Крамольниковъ не знаетъ ее; а потому, когда встрѣчаешься съ нимъ при благородныхъ свидѣтеляхъ, то невольно приходитъ на мысль: ну, ужъ сегодня навѣрное участка не миновать!

Такъ было и теперь. Едва появился онъ на порогѣ, первая мысль, которая осѣнила меня, была такова: вотъ-вотъ онъ сейчасъ „ляпнетъ"!

— Насыщаетесь?—обратился онъ ко мнѣ, опускаясь на стулъ за тѣмъ же столомъ, за которымъ я завтракалъ.

— Ѣмъ.

— Буду ѣсть и я.—Человѣкъ! копченаго сига! А сколько я, батюшка, срамословія сегодня наслушался! удивительно, какъ только сквозь землю не провалился!

При этихъ словахъ сердце такъ и захолонуло во мнѣ. Ну, непремѣнно сейчасъ „ляпнетъ"!

— Сдѣлалъ шагъ—куча! другой—двѣ кучи! въ сторону кинулся — три кучи! Маневрировалъ-маневрировалъ—проходу нѣтъ! Наконецъ вижу: „Ерши"! Шмыгнулъ въ подъѣздъ, и вотъ онъ я!

— Удивляюсь, Крамольниковъ, какъ у васъ все это образно... И какъ это вы успѣваете! еще двѣнадцати часовъ нѣтъ, а вы ужъ и наслушались, и нанюхались?

— То-то, батюшка, что нынче ужъ натощакъ срамословятъ. Не поѣвши хлѣба божьяго, такъ и прутъ. И все съ захлебываніемъ, съ пѣной у рта, съ сжатыми кулаками, точно на супостата въ походъ собрались, и заранѣе тризну по немъ правятъ!

„Ляпнетъ!" опять стукнуло у меня въ головѣ.

— Все какого-то „дѣла", представьте себѣ, требуютъ. „Довольно мечтаній! кричатъ: — не нужно фразъ! дѣло подайте намъ! дѣло!" А нѣкоторые даже прибавляютъ: „настоящее".

— А вы?

— А я говорю: рожна намъ нужно—вотъ что̀!

— Но почему же? По моему „дѣло", ежели оно...

— Знаю, что дѣло „ежели оно"... Да они вѣдь совсѣмъ не объ томъ. Рожна они требуютъ, воистину только рожна! а „дѣло" тутъ—одинъ подвохъ.

— И опять-таки, вы черезчуръ образно выражаетесь. Рожонъ, подвохъ—образно, но не убѣдительно!

— Постойте. Взгляните въ окошко—что̀ вы видите? Вонъ мужчина въ кожаномъ фартукѣ сапоги тачаетъ—развѣ это не дѣло? Вонъ двое мужчинъ зеркало на головахъ по улицѣ несутъ — развѣ это не дѣло? Сейчасъ я въ банкирскую контору заходилъ; сидитъ мѣняло, и словно ученый скворецъ твердитъ: купить-продать, продать-купить — развѣ это не дѣло? Чиновники отношенія, рапорты, предписанія пишутъ—надѣюсь, что это тоже дѣло! Объ чемъ же „они" скулятъ? чего требуютъ? кого хотятъ подсидѣть?

— А вотъ этого самаго и требуютъ. Чтобы всѣ „своимъ“ дѣломъ заняты были.

— Но гдѣ же наконецъ тѣ люди, которые не были бы какимъ-нибудь дѣломъ заняты?

— Какимъ-нибудь... А надобно, чтобы „своимъ“... Не какимъ-нибудь, а именно своимъ собственнымъ.

— Да вѣдь всякое дѣло есть въ то же время и свое собственное...

— Ну, нѣтъ, этого не скажите! Вотъ вы, напримѣръ...

— А я—сига копченаго ѣмъ! неужто это мечтаніе? Копченый сигъ—и мечтаніе!.. пощадите! Но ежели и есть тутъ мечтаніе, то во всякомъ случаѣ не о такихъ „больныхъ фантазіяхъ“ идетъ рѣчь, когда посылаются проклятія фразамъ и золотымъ снамъ! Напротивъ того, ежели я вмѣсто одного двухъ сиговъ съѣмъ, то не только не назовутъ меня мечтателемъ, но даже въ заслугу мнѣ этотъ подвигъ вмѣнятъ.

— Но вотъ вы разговариваете...

— Разговариваю—потому что словесность имѣю. И пользуюсь ею, то-есть „дѣло“ дѣлаю.

— Да вдобавокъ еще критикуете...

— А критикую потому, что одаренъ способностью мыслить. Не самъ себя одарилъ, а природа. Я же только пользуюсь этимъ даромъ, то-есть опять-таки дѣло дѣлаю.

— То-то что...

— И это знаю. Чего же, стало быть, въ данномъ случаѣ домогаются? Очевидно, домогаются того, чтобы всѣ шили сапоги, всѣ носили на головѣ тяжести и всѣ твердили: купить-продать, продать-купить. Вотъ это—„дѣло“; а говорить, критиковать, мыслить—мечтаніе! Вѣдь этого домогаются? такъ?

— Но вѣдь это отчасти и правильно, потому что еслибъ всѣ занялись, напримѣръ, шитьемъ сапоговъ...

— Было бы прекрасно?—допустимъ. Но въ такомъ случаѣ сами-то печальники „дѣла“ зачѣмъ же не мычатъ, а разговариваютъ? зачѣмъ они мыслятъ? Потому что вѣдь даже къ тѣмъ поскуднымъ заключеніямъ, которыя они предъявляютъ, нельзя придти иначе, какъ при посредствѣ процесса мышленія!

— Крамольниковъ! я съ вами согласенъ... разумѣется, не вполнѣ... Но согласитесь, что такой разговоръ въ „Ершахъ“, когда кругомъ...

— Что такое „кругомъ“? Вездѣ надо говорить, государь мой! вездѣсъ! Вотъ отлично! всякій бездѣльникъ будетъ и на улицѣ, и въ любой газетинѣ во всеуслышаніе всеобщую каторгу проповѣдовать (себя-то онъ изъ каторги, конечно, исключитъ!), а мы, для которыхъ это блаженство уготовывается, мы будемъ молчать?.. А впрочемъ позвольте! могу я изъ вашего графинчика одну капельку для себя налить?—совершенно неожиданно прервалъ онъ начатую діатрибу.

— Ахъ, сдѣлайте одолженіе!

— Такъ вотъ я и говорю: всѣ эти вопли о вредѣ мечтаній и пользѣ „дѣла“ — подвохъ, и кромѣ подвоха ничего въ нихъ нѣтъ. Встрѣтилъ я давеча Положилова; онъ тоже:—оставить надо мечтанія! за дѣло приняться

пора!.. Свинья! Слушалъ я слушалъ, да и ляпнулъ: — а знаете ли вы, говорю, что самый опасный мечтатель — вы-то и есть!

— Это почему?

— Да развѣ это не самое грубое, не самое противоестественное мечтаніе: человѣка, одареннаго даромъ слова — заставить молчать? человѣка, одареннаго способностью мыслить — заставить не мыслить?

— Не то чтобы совсѣмъ не мыслить, но мыслить здраво и благопотребно, — поправилъ я.

— А притомъ и благовременно. Вотъ это-то и есть мечтаніе. Можетъ ли Положиловъ указать мѣру здравости, благопотребности и благовременности? Въ состояніи ли онъ преподать къ руководству хотя краткій списокъ здравыхъ, благопотребныхъ и благовременныхъ мыслей? Можетъ ли онъ поручиться, что тутъ же, рядомъ съ нимъ, не объявится другой Положиловъ, который его благопотребность ему же въ непотребство вмѣнитъ, и взамѣнъ того преподастъ къ руководству своего собственнаго издѣлія чушь? Неужели эта регламентація благопотребности — не безумнѣйшее изъ всѣхъ мечтаній? И притомъ такое, на которомъ нельзя остановиться, чтобъ не пройти сквозь цѣлую серію такихъ же безумныхъ мечтаній? Безуміе настойчиво, государь мой! оно не просто заявляетъ о себѣ, но не задумывается и надъ насиліемъ въ видахъ своего подтвержденія. Сегодня оно безуміе, на вѣтеръ лающее, а завтра — безуміе, заставляющее выслушивать свой лай и принимать его къ руководству... Могу я еще капельку изъ графинчика позаимствоваться? Я не то чтобы жаждалъ, а такъ...

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Продолжаю. Подвохъ въ этомъ случаѣ въ томъ состоитъ, что понятіямъ, самымъ обыденнымъ и общепризнаннымъ, при помощи подтасовки, сообщается загадочный смыслъ. Никто никогда не отрицалъ, что и пахарь, и носильщикъ, и сапожникъ заняты не мечтаніемъ, а дѣломъ. Этого рода „дѣло" для всѣхъ видимое, осязательное и до такой степени присущее всѣмъ формамъ человѣческаго общежитія, что никогда еще міръ не оскудѣвалъ имъ и не оскудѣетъ никогда. Стало быть, указывать на него какъ на какой-то новоявленный идеалъ — по меньшей мѣрѣ безполезно. Да не объ немъ, очевидно, и рѣчь. Параллельно съ этимъ осязательнымъ дѣломъ, обезпечивающимъ матеріальное существованіе общества, идетъ другое дѣло, которое обезпечиваетъ его духовное существованіе. Вотъ на этомъ-то пунктѣ и разыгрывается тотъ изумительный турниръ, который, смотря по вѣяньямъ времени, иногда сохраняетъ характеръ состязанія, но чаще прямо принимаетъ формы приказательнаго чревовѣщанія. Въ періоды состязаній вопросъ ставится такъ: одни видятъ высшую задачу человѣческой дѣятельности въ содѣйствіи къ разрѣшенію вопросовъ всесторонняго человѣческаго развитія, и эту задачу называютъ „дѣломъ"; другіе, напротивъ, не признавая неизбѣжности человѣческаго развитія, ту же самую задачу называютъ мечтаніемъ, фразой. Въ періоды чревовѣщаній ряды защитниковъ высшихъ задачъ постепенно рѣдѣютъ и наконецъ совсѣмъ умолкаютъ; напротивъ того, чревовѣщатели смѣло выступаютъ впередъ, и, не встрѣчая ни откуда препятствія, открываютъ односторонній бой, наполняя при этомъ веси и грады всяческимъ сквернословіемъ

и проклятіями. „Прочь мечтанія! за дѣло пора! за дѣло!“ —раздается по всей линіи. Но какое же это „дѣло“, къ которому такъ страстно несутся всѣ сердца? А вотъ какое: упраздненіе человѣческой мысли, доведеніе человѣческой рѣчи до степени бормотанія — только и всего. То-есть, устраненіе тѣхъ именно качествъ, которыя человѣка дѣлаютъ человѣкомъ. А затѣмъ разсудите ужъ сами, кому въ данномъ случаѣ болѣе приличествуетъ кличка „мечтателей“. Тѣмъ ли, которые, несмотря на мракъ, окутывающій будущее, всетаки не теряютъ изъ вида законовъ человѣческаго совершенствованія, или тѣмъ, которые осуждаютъ людей на то, чтобъ сидѣть упершись лбомъ въ стѣну и въ безмолвіи ожидать, пока она на нихъ повалится?

. . . .

Очень возможно, что Крамольниковъ и дальше разглагольствовалъ бы на ту же тему, но въ эту минуту, очень кстати, въ комнату вошло новое лицо, въ которомъ я съ удовольствіемъ узналъ безшабашнаго совѣтника Дыбу. Оказалось, что и Крамольниковъ — старый знакомый Дыбы, который былъ его начальникомъ въ ту пору, когда они оба служили въ департаментѣ Преуспѣяній и Перспективъ.

— А! господинъ фрондёръ! — привѣтствовалъ его Дыба: — все еще по части преуспѣяній состязаться изволите?

Вмѣсто отвѣта Крамольниковъ вновь разсказалъ исторію слышанныхъ имъ въ это утро сквернословій, и что̀ меня крайне изумило — не только не огорчилъ Дыбу своимъ разсказомъ, но даже удостоился отъ него поощренія.

— Дѣйствительно, — сказалъ Дыба: — смѣха достойно! Толкуютъ объ дѣлѣ, а какое оно и на какой предметъ — объяснить не могутъ. Вотъ мы...

Онъ слегка застыдился, крякнулъ и проглотилъ для бодрости рюмку водки.

— А впрочемъ, съ другой стороны, — продолжалъ онъ, уже не краснѣя: — и дѣло, и не дѣло — все это и возможно, и достижимо, и даже... легко преоборимо... Только вотъ людей нѣтъ — это такъ!

Вечеръ шестой.

Фантастическое отрезвленіе.

Собрались однажды пошехонцы въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ во время о̀но, по свидѣтельству Костомарова, у нихъ „сѣверныя народоправства“ происходили, и гдѣ впослѣдствіи, по совѣту „московскихъ курантовъ“, выстроенъ былъ съѣзжій домъ съ соотвѣтствующей каланчей. Собрались и стояли въ великомъ недоумѣніи.

Невѣдомая какая-то сила согнала ихъ сюда — и не скопомъ, не по уговору, а каждаго лично за свой счетъ — какъ будто требуя, чтобъ они совершили нѣкоторое „сѣверное народоправство“, въ которомъ якобы настояла

безотлагательная нужда. Но такъ какъ „сѣверныя народоправства“ давно сданы въ архивъ, куда допускается только Костомаровъ, то и самый церемоніалъ, которымъ они нѣкогда сопровождались, оказался сгорѣвшимъ въ одинъ изъ бывшихъ пожаровъ, вмѣстѣ съ „скрижалями“ и прочею пошехонскою стариной. Слѣдовало ли при этомъ рѣчи держать и слѣдовало ли тѣ рѣчи слушать? или же всѣмъ разомъ говорить надлежало и никого никому не слушать? — Все это было когда-то уставлено въ точности, но теперь, за давно прошедшимъ временемъ, никто ни объ чемъ не помнилъ. Да и говорить-то, признаться, разучились. Короче сказать, хотя и чувствовали пошехонцы, что имъ необходимо „приступить“, но какъ и къ чему приступить — не знали.

И еще они чувствовали, что ихъ что-то жжетъ, что гдѣ-то у нихъ чешется и что вообще въ ихъ жизнь вторглась какая-то обида. Но что̀ привело эту обиду и какъ отъ нея отвязаться—сказать не умѣли. Нужно кого-то къ отвѣту призвать, съ кѣмъ-то расправу учинить — вотъ что̀ было вполнѣ ясно; но въ какомъ направленіи чинить расправу и кого заставить отвѣтъ держать — этого зря опредѣлить было нельзя. А они именно только „зря“ могли дѣйствовать. Потому что обида—вещь тонкая, незримая и невѣсомая. Она и по землѣ ползетъ, и на облакахъ летаетъ, и вихремъ ее примчитъ, и лихими людьми нанесетъ — ка̀къ ты тутъ пальцемъ на нее укажешь? Одна ушла, а на ея мѣсто другая сѣла; другая ушла — третья... Поди угадывай, люди ли тутъ виноваты, или та̀къ, само собой прилучилось? А не то, можетъ быть, и дѣдушки наворожили. Наворожили, да и легли на погостъ, а внуки живи да растворяй бѣдѣ ворота! Одно только несомнѣнно: до тѣхъ поръ ихъ источила обида, до тѣхъ поръ всяческая невзгода пристигла, что они, какъ полоумные, сами собой выбѣжали изъ домовъ и устремились къ каланчѣ. И прибѣжавши—не знали, зачѣмъ прибѣжали.

Должно сказать впрочемъ, что къ описанному выше недоумѣнію въ значительной мѣрѣ примѣшивались и опасенія. Никому не хотѣлось первому слово молвить, потому что каждый чувствовалъ, что за нимъ ой-ой блохъ много! Разинешь, пожалуй, ротъ, анъ тутъ тебя со всѣхъ сторонъ и обступятъ: „да никакъ ты самый обидчикъ и есть!“ Куда ты тогда поспѣлъ?

Дѣло въ томъ, что хотя пошехонцы и отрезвились, но это произошло такъ недавно, что даже и посейчасъ они чувствовали себя съ ногъ до головы виноватыми. Много лѣтъ сряду они такъ козыряли, что, со стороны глядя, можно было подумать, что у нихъ и нивѣсть какіе запасы всякихъ „право̀въ“ напасены. А въ дѣйствительности оказалось одно легкомысліе. Не успѣли они оглянуться, какъ у нихъ простыми фосками всѣхъ до одного козырей выкозыряли и оставили одинъ-на-одинъ съ обидой. Чтобъ уйти отъ этой обиды, они и отрезвленіе-то приняли. Думали, что какъ предстанутъ они, безкозырные, бездумные, обнаженные отъ прошедшаго и будущаго, такъ сейчасъ же все, какъ по маслу, у нихъ и пойдетъ -- анъ не пошло. Встала обида поперекъ горла и ничѣмъ ее проскочить не заставишь. Еслибъ въ другихъ муниципіяхъ отрезвленіе случилось, то обыватели сказали бы себѣ: нехорошо, конечно, мы сдѣлали, что безъ разсчета въ игру вступили, да и карты вдобавокъ всѣмъ показывали; но такъ какъ это ужъ дѣло прошлое и

аханьемъ его не поправишь, то теперь надо объ томъ позаботиться, какъ бы и впредь пальцемъ въ небо не попадать. И сказавши это, рѣшили бы такъ: коли есть обида, то надо именно за нее и взяться, а не кругомъ да около шарить. Но въ Пошехоньи дѣло совсѣмъ иначе стало. Не мысль о будущемъ интересовала пошехонскія безшабашныя головы, а мечтанія о томъ, какіе бы они и поднесь сладкіе куски ѣли, кабы въ ту пору сразу всѣхъ тузовъ не отдали. Кто ихъ этихъ кусковъ лишилъ? кто тотъ лукавый, который ихъ въ искушеніе ввелъ? Подать его! разыскать! вотъ мы ему, сатанину сосуду, глотку-то заткнемъ!

Ибо въ Пошехоньи такъ ужъ изстари повелось, что дѣло не волкъ — въ лѣсъ не убѣжитъ, а главнѣе всего надо личные счеты свести, да рогами другъ изъ дружки кишки выпустить. Вотъ это и будетъ настоящее „дѣло". И дѣдушки пошехонскіе, ѣдучи на погостъ, сказывали, что при всякой бѣдѣ нужно первымъ дѣломъ „лукаваго" разыскать. Непремѣнно, дескать, полéгчитъ отъ этого. Сначала бѣду какъ рукой сниметъ, а потомъ и пошло писать благополучіе...

Но тутъ-то именно и вышла заковычка, потому что всякій пошехонецъ болѣе или менѣе сознавалъ самого себя этимъ „лукавымъ". Всякій въ свое время былъ ежели не защитникомъ, то пособникомъ или укрывателемъ. Дыбомъ волосы становятся при воспоминаніи о томъ, какія дѣла были, съ разрѣшенія начальства, пошехонцами содѣяны! Стóило, бывало, только крикнуть: господа пошехонцы! на абордажъ! — всѣ, очертя головы, такъ и лѣзутъ. Стóило молвить: а вѣдь городничій-то много противъ прежняго форсу сбавилъ — всѣ такъ и прыснутъ со смѣху: ныньче, молъ, небось... не прежнее время!

Кто лѣзъ? кто хохоталъ? кто кричалъ? — *Всѣ* лѣзли, *всѣ* хохотали, *всѣ* кричали! Какъ тутъ сосѣда обвиноватишь, коли всякій самъ кругомъ виноватъ?

Это вѣдь только недавно опять сдѣлалось ясно, что всякій сверчокъ долженъ знать свой шестокъ; а было времечко, когда пошехонцы и отъ пословицъ совсѣмъ-было отвыкли. Живутъ безъ пословицъ — и баста. Скажутъ имъ: „эй, господа! уши выше лба не ростутъ!" — а они въ отвѣтъ: „такъ что-жъ что не ростутъ! ушамъ и не слѣдуетъ выше лба рости! мы объ ушахъ и не думаемъ!" Да вотъ подъ конецъ и узнали, что во всѣ времена ни о чемъ другомъ и рѣчи не было, кромѣ какъ объ ушахъ. Козырей-то истратили на то, чтобъ свои же карты бить, а какъ стало послѣ того и тѣсно, и бѣднó, и неловко — тутъ и спохватились: „кто тотъ лукавый, который насъ на игру науськалъ?"

И такъ, собрались пошехонцы у каланчи и недоумѣвали. Одна мысль угнетала всѣхъ: вотъ мы и отрезвились, а все-таки легче намъ нѣтъ — долженъ же кто-нибудь быть этому причиненъ! А дальше прямой выводъ: безпремѣнно надобно того человѣка разыскать и горло ему перервать. Тогда всѣмъ будетъ легче. Но кому перервать и за чтó — на эти вопросы никто съ знаніемъ дѣла отвѣтить не могъ: воображенія не хватало. Перервать — только и всего. Смотрѣли они на каланчу и ждали: не будетъ ли отъ нея какого-нибудь наитія? Но каланча, незыблемая и безучастная, глядѣла всѣмъ

своимъ нескладнымъ столбомъ на пошехонское смятеніе и безмолвствовала. Ни звука оттуда не выходило, ни лица человѣческаго въ окнахъ не было видно. Только на самой вершинѣ ходилъ сторожъ дозоромъ, поигрывая отъ скуки пожарными сигналами, и думалъ: „ишь вѣдь, и отрезвиться-то порядкомъ не умѣютъ!“

День былъ осенній, студёный, смурый. Въ такіе дни добрый хозяинъ дома сидитъ, по домашности исправляется, но пошехонцамъ незачѣмъ дома сидѣть, потому что они давнымъ-давно всю домашность, до послѣдняго пера, спустили. Какимъ манеромъ спустили? куда?—никто въ ту пору не доглядѣлъ. Знаютъ только, что когда хватились — анъ нѣтъ ничего. Только и остался у нихъ что инстинктъ, и этотъ инстинктъ влекъ ихъ туда, гдѣ въ оное время бунтовщиковъ съ раската сбрасывали. Задулъ вѣтеръ, полилъ дождикъ, а они все стояли и молчали. Думали: вотъ выйдетъ изъ каланчи городничій штабсъ-капитанъ Мазилка, и начнетъ законъ разъяснять. А ежели закона нѣтъ, то хоть изъ пушки палить будетъ. Но Мазилка сидѣлъ въ каланчѣ и въ свою очередь думу думалъ.

Это былъ человѣкъ малаго роста и увѣчный, но храбрый. Коли кто передъ нимъ руки по швамъ стоитъ, онъ такъ на него и скачетъ. Даже ежели большого роста человѣкъ, такъ и того достанетъ. Однако и онъ про „сѣверныя народоправства“ вспомнилъ, какъ увидѣлъ, что пошехонецъ изо всѣхъ улицъ такъ валомъ и валитъ къ каланчѣ. И чѣмъ смирнѣе вели себя пошехонцы, чѣмъ глубже они отрезвлялись, стоя вокругъ каланчи, тѣмъ сильнѣе зрѣло въ немъ убѣжденіе, что въ этомъ-то именно „народоправства“ и состоятъ. А сверхъ того вспомнилъ онъ и о томъ, что еще недавно въ газетѣ „Уединенный Пошехонецъ“ удостовѣряли, что стоитъ только здравому смыслу пошехонцевъ воспрянуть—и все пойдетъ какъ по маслу. Вспомнилъ и испугался: а ну, какъ взаправду примутся пошехонцы здравый смыслъ предъявлять?

Размысливши какъ слѣдуетъ, онъ заперъ ворота съѣзжаго дома, выкатилъ пожарную трубу и на всякій случай велѣлъ держать кишку на-готовѣ. А самъ собрался въ дальній чуланъ и заперся на ключъ.

Часы проходили за часами, а пошехонцы все стояли, ждали, не разинетъ ли кто рта.

Двое изъ самыхъ горластыхъ—Иванъ Безродный, да Безчастный Иванъ —даже совсѣмъ-было раскрыли уста, но взглянули другъ на друга —и опять сомкнули. Очевидно, что тревога еще не дошла до той точки, когда отъ избытка чувствъ уста глаголютъ. Да и отваги надлежащей еще не было, той отваги, которая на вопросъ—кто здѣсь отступникъ?—помогаетъ съ легкимъ сердцемъ отвѣчать: вотъ онъ я!

Наконецъ истомились, назяблись и начали ждать, скоро ли смеркнется. На этотъ разъ обстоятельства благопріятствовали пошехонцамъ. Осенній день, и безъ того короткій, подъ вліяніемъ хмураго неба, сталъ меркнуть раньше обыкновеннаго. Часовъ около четырехъ во многихъ домахъ замелькали огни, а затѣмъ и Мазилка, оправившись отъ страха, высунулъ голову изъ окна.

— „Народоправствъ“ захотѣли? - гаркнулъ онъ во всю пасть:—здравый смыслъ проявлять задумали?! Вотъ я вамъ ужо...

При этихъ словахъ ворота съѣзжаго дома заскрипѣли, и обильная струя

воды, пущенная изъ пожарной трубы, окатила и безъ того уже вымокшихъ вѣчевыхъ людей.

Законъ былъ объясненъ. Толпа испустила вздохъ облегченія и начала расходиться. Но и за всѣмъ тѣмъ у всѣхъ одна мысль въ умѣ застыла: что-то завтра будетъ? какъ бы и завтра не пришлось опять туда же бѣжать...

Въ сущности, пошехонское отрезвленіе было столь же неожиданно, какъ и недавнее пошехонское либеральное опьяненіе.

Я знаю, что многіе отличнѣйшіе умы вѣрятъ, что какъ ни малоустойчиво Пошехонье, но все-таки сокровенныя и задушевныя симпатіи его обывателей устремлены къ свѣту, а не къ тьмѣ. Я и самъ охотно этому вѣрю. Я вѣрю, что не только въ Пошехоньи, но и въ цѣломъ мірѣ благоволеніе преобладаетъ надъ злопыхательствомъ, и что, въ концѣ концовъ, послѣднее, всеконечно, измóромъ изноетъ. Но покуда злопыхательство даже въ минуты своего пораженія умѣетъ такъ ловко устроиться, что присутствіе его всегда всѣми чувствуется, тогда какъ благоволеніе въ подобныя минуты стушевывается такъ, что объ немъ и слыхомъ не слыхать. Вотъ разница. Поэтому „конецъ концовъ“ представляется столь отдаленнымъ, что люди, для которыхъ живая жизнь не составляетъ праздной мечты, не считаютъ даже возможнымъ разсчитывать на него: придетъ „конецъ“, да не при насъ и не для насъ... Выводъ жестокій и отнюдь не героическій; но развѣ кто-нибудь вправѣ требовать, чтобъ пошехонскія матери рождали сплошь героевъ?

А сверхъ того меня еще больше смущаетъ та легкость, съ которою пошехонцы поддаются всякаго рода вѣяніямъ и которая мѣшаетъ имъ имѣть свою логически развивающуюся исторію. Еслибы эти вѣянія были продуктомъ внутренняго процесса пошехонской жизни, то къ нему можно бы примѣнить принципъ вмѣняемости. Худы ли, хороши ли такія вѣянія, но они представляютъ подлинную дѣйствительность, а не воздушное мечтаніе. Критика поможетъ разобраться въ самой худой дѣйствительности и въ ней самой отыскать необходимыя поправки. Но въ томъ-то и дѣло, что вѣянія, которымъ подчинялись пошехонцы, имѣли чисто внѣшній характеръ. Даже городничій Мазилка — и тотъ пріѣзжаетъ, держа на-готовѣ въ карманѣ какое-то вѣяніе, и пошехонцы безпрекословно подчиняются ему; даже газетчикъ Скоморохов — и тотъ убѣжденъ, что всякаго пошехонца можно въ самое короткое время какъ угодно оболванить. И оболваниваетъ.

Увы! упованія Мазилокъ не напрасны. Пошехонецъ, который еще такъ недавно во всеуслышаніе выспреннія слова говорилъ, вдругъ, безъ всякаго колебанія, начинаетъ изрекать какіе-то отрезвленные афоризмы, самая фактура которыхъ удостовѣряетъ, что они не могли въ иномъ мѣстѣ начало воспріять, кромѣ какъ на съѣзжей. Нужды нѣтъ, что измѣнившаяся общественная рѣчь свидѣтельствуетъ объ измѣненіи общественной мысли и въ недалекомъ будущемъ предвѣщаетъ — шутка сказать! — измѣненіе всѣхъ общественныхъ отношеній — всѣ эти измѣненія совершаются такъ просто, принимаются такъ наивно, что Мазилкамъ приходится только радоваться. Ибо ежели и встрѣчаются среди пошехонцевъ люди, которыхъ подобныя измѣненія приводятъ

въ недоумѣніе, то и они безъ труда уразумѣваютъ, что на свѣтѣ есть особаго рода компромиссъ, называемый Лицемѣріемъ, который поможетъ имъ какъ-нибудь приладиться къ общему нравственному и умственному уровню. И уразумѣвши это, лицемѣрятъ и отступничествуютъ безъ зазрѣнія совѣсти.

Вотъ отчего такъ трудно имѣть дѣло съ пошехонцами. Нельзя надѣяться на ихъ поддержку, нельзя разсчитывать, что обращенная къ нимъ рѣчь будетъ сегодня встрѣчена съ тѣмъ же чувствомъ, какъ и вчера. Вчера существовало вѣщее слово, къ которому цѣлыя массы жадно прислушивались; сегодня—это же самое слово служитъ не призывнымъ лозунгомъ, а сигналомъ къ общему бѣгству. Да хорошо еще, ежели только къ бѣгству, а не къ другой, болѣе жестокой развязкѣ.

И, право, преобидное это дѣло. Этой силой приводить къ нулю, сожигать до тла самыя горячія надежды, обладаетъ не что-либо устойчивое, крѣпкое, убѣжденное, а нѣчто мягкотѣлое, расплывчивое, подобно водѣ, отражающее все, что̀ ни пройдетъ мимо. Но что̀ еще обиднѣе: сами носители надеждъ не только подчиняются этому явленію, но даже не видятъ въ немъ никакой неожиданности. Развѣ это тоже не мягкотѣлость своего рода?

На дняхъ мнѣ именно пришлось встрѣтиться съ нѣкоторыми разновидностями этой пошехонской мягкотѣлости. Сперва простеца-пошехонца встрѣтилъ; спрашиваю: какъ дѣла? -- и слышу въ отвѣтъ какія-то отрезвленныя рѣчи: все пословицы да все дурацкія. Изумляюсь.

— Какъ же это такъ, — спрашиваю:—словно бы вы еще недавно совсѣмъ другія слова говорили?

— Другія? будто бы? А впрочемъ... Да надо же, наконецъ, и за умъ взяться! пора!—отвѣчаетъ онъ, и отвѣчаетъ такъ естественно, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ у него ума палата.

— Отрезвились?

— Да, отрезвились... пора! Все слова̀, одни слова́...

— Понимаю: надоѣло? Въ чемъ однакожъ безсловесное-то отрезвленіе ваше состоитъ?

— Да тамъ увидимъ. Не программы же въ самомъ дѣлѣ составлять? Видали мы эти программы, знаемъ! Достаточно и того, что „фразъ“ больше не будетъ... За умъ, батюшка, взялись! за умъ!

Только и всего; и больше ничего у него и нѣтъ. И эти-то слова не его, а Мазилкины. Произнося ихъ, онъ чмокнулъ мнѣ ручкой и заковылялъ восвояси. И этому его Мазилка научилъ: не задерживайся, молъ, не калякай много! Да и произнесъ онъ ихъ какимъ-то раздвоеннымъ голосомъ: не то самъ надъ собой смѣялся, не то надо мной иронизировалъ. Тоже Мазилка научилъ: ты такъ калякай, чтобы во всякое время во всѣхъ смыслахъ понять было можно.

Словомъ сказать, какъ ни поверни отрезвленнаго пошехонца, отъ всякой части его тѣла клоповникомъ пахнетъ.

Черезъ двѣ-три минуты встрѣчаю мягкотѣлаго интеллигента. Огорченъ, но предвидѣлъ.

— Что̀? какъ?

— Ни сѣсть, ни встать!

— Вотъ бѣда-то!

— Н-да... впрочемъ, это давно можно было предвидѣть!

На этотъ разъ я ужъ самъ чмокнулъ ручкой и пошелъ во-свояси. Но ему вѣроятно показалось, что я огорчился, и онъ догналъ меня.

— Ничего не подѣлаешь,—сказалъ онъ:—надо переждать. Мазилка сказывалъ, что не надолго. Онъ вѣдь, Мазилка-то, и самъ...

Еще нѣсколько шаговъ — и еще пошехонецъ на встрѣчу. Этотъ какъ будто слегка ополоумѣлъ: озирается, нюхаетъ, ищетъ.

— Чего ищете?

— Да вотъ „человѣка" разыскиваемъ. Допросить, вишь, надо.

— Какого такого „человѣка"?

— Виноватаго. Мазилка...

Я не слушалъ дальше. Опять и опять Мазилка! Ужасно! ужасно! ужасно!

Я охотно признаю, что пошехонецъ еще не дошелъ до предательства, но онъ уже съ головы до ногъ опутанъ нитями апатіи, индифферентизма и повадливости, которыя для предательства представляютъ знатное подспорье. Въ такъ-называемую фразу онъ извѣрился; книга ему опостылѣла; ни въ какомъ умственномъ возбужденіи онъ потребности не ощущаетъ. Есть у него Мазилка, которому „лучше видно", и больше ему ничего не надо. Подъ его эгидой онъ и бредетъ въ сумеркахъ куда глаза глядятъ. И думаетъ, что живетъ.

Спрашивается: какая вѣра въ „конецъ концовъ" устоитъ въ виду этого мягкотѣлаго организма, который только съ тѣхъ поръ и сознавалъ себя благополучнымъ, какъ утратилъ способность мыслить и словеса позабылъ?

Но возвращаюсь къ разсказу.

Воротились пошехонцы домой, вымокшіе, иззябшіе, сердитые. Нѣкоторые впрочемъ надѣялись, что во снѣ Богъ счастія пошлетъ; но такъ какъ легли спать на голодное брюхо, то сны видѣли лютые. То будто мохнатый звѣрь животы у нихъ выѣдаетъ, то будто кушъ въ лотерею выиграли, да лотерейный билетъ потеряли. Такъ ничего и не выспали. И на утро встали еще болѣе мрачные и обезкураженные.

Къ тому же и публицистъ Скоморохов̆ъ не молчалъ, а все пуще да пуще разжигалъ сердца пошехонцевъ. Именно въ это самое утро онъ разразился громовой передовицей:

„Говорятъ, что мы отрезвились,—писалъ онъ въ „Уединенномъ Пошехонцѣ";—но есть два сорта отрезвленія: одно—страдательное, заключающееся въ пассивномъ уклоненіи отъ безчестныхъ приманокъ шутовского либерализма; другое—дѣятельное, которое преслѣдуетъ либерализмъ въ самомъ корнѣ, или, точнѣе, въ самыхъ носителяхъ этого шутовства. Первое изъ этихъ отрезвленій есть отрезвленіе неполное, робкое и въ практическомъ смыслѣ дающее лишь скудные результаты. Человѣкъ отрезвился, стряхнулъ съ себя иго отвратительной хмары, заслонявшей передъ его глазами здоровую дѣйствительность, сдѣлался преданнымъ и честнымъ членомъ своей муниципіи — конечно, это прекрасно и заслуживаетъ всяческаго поощренія. Но можно ли сказать по

совѣсти, что на этомъ одномъ и долженъ завершиться процессъ отрезвленія? Нѣтъ, всякій, кому дороги интересы Пошехонья, не можетъ не сознаться, что личное отрезвленіе есть только первый этапъ на пути отрезвленія дѣйствительнаго и плодотворнаго. Недаромъ „Norddeutsche Zeitung", говоря о нашей склонности къ чрезвычайнымъ полетамъ въ область преуспѣнія, побуждаетъ насъ и впредь дѣйствовать въ томъ же направленіи. Недаромъ онъ усматриваетъ въ этомъ залогъ нашей способности выходить сухими изъ воды. Органъ желѣзнаго канцлера, который зорко слѣдитъ за каждымъ нашимъ шагомъ, не можетъ въ данномъ случаѣ иначе и поступить. Онъ *долженъ* назвать силою то̀, что̀, въ сущности, составляетъ нашу слабость: это его прямая выгода. Въ его интересахъ обольщать и убаюкивать насъ. Но мы обязаны стоять на стражѣ противъ подобныхъ обольщеній; мы должны смотрѣть на нихъ какъ на засаду, устраиваемую ловкимъ врагомъ съ цѣлью застигнуть насъ врасплохъ. Поэтому, сдѣлавши первый шагъ въ смыслѣ отрезвленія, мы обязываемся не ограничиваться имъ, но идти къ намѣченной цѣли неуклонно, не обходя ни одного указанія, предъявляемаго строгой логикой. А логика говоритъ такъ: только то отрезвленіе цѣлесообразно, которое имѣетъ характеръ дѣятельный.

„Насъ часто укоряютъ въ томъ, что мы слишкомъ охотно довѣряемся „фразѣ", и надо сознаться, что укоръ этотъ вполнѣ нами заслуженъ. Шутовская либеральная суматоха, которая и понынѣ еще не признаетъ себя побѣжденною, чуть было навсегда не осудила насъ на безплодіе, въ смыслѣ саморазвитія. Да и навѣрное успѣла бы въ своемъ дерзкомъ предпріятіи, еслибъ случайность не выдвинула впередъ забытый и забитый пошехонскій здравый смыслъ и не дала ему возможности восторжествовать. Что торжество получилось полное и безспорное (и при томъ въ самое короткое время) — въ этомъ нынче уже никто не сомнѣвается; но не слѣдуетъ забывать, что торжество, вооружая насъ значительными правами, налагаетъ на насъ и обязанности. Какія же это обязанности? въ чемъ должна заключаться главная задача осѣнившаго насъ отрезвленія? — На эти вопросы мы можемъ дать только одинъ отвѣтъ: задача, намъ предстоящая, заключается въ томъ, чтобы отъ фразы перейти къ дѣлу. Не къ тому широковѣщательному, полному безплодныхъ обольщеній дѣлу, благодаря которому мы двадцать-пять лѣтъ кряду висѣли на воздухѣ, а къ тому простому, вразумительному и для всѣхъ доступному дѣлу, которое приглашаетъ насъ не замыкаться въ личной благонамѣренности, но вывести эту послѣднюю на арену плодотворныхъ практическихъ примѣненій.

„И прежде всего намъ предстоитъ заявить безъ малѣйшихъ колебаній, что процессъ отрезвленія касается не только отдѣльныхъ индивидуумовъ, но *всѣхъ вообще обывателей, и при томъ въ равной степени. Всѣ* обязаны отрезвиться, даже тѣ, которые не чувствуютъ къ тому особенной склонности. Это необходимо для того, чтобы обезпечить задачи отрезвленія въ будущемъ. Задачъ этихъ покуда мы не называемъ, но имѣемъ полное основаніе сказать, что ихъ предвидится не мало, и притомъ совершенно неожиданныхъ. Надо своевременно и безъ остатка устранить все, что̀ можетъ послужить препятствіемъ для всесторонняго разрѣшенія этихъ задачъ. Ибо отъ такого исхода

зависитъ *общее* благо; а ежели кто не желаетъ этого общаго блага, тотъ, очевидно, не можетъ желать и своего собственнаго, личнаго блага. Такой отщепенецъ какъ бы говоритъ намъ: извергните меня изъ среды своей, ибо я одичалый членъ вашего общежитія! Не щадите меня, ибо я и самъ каждымъ шагомъ своимъ доказываю, что не желаю вашей пощады! Спрашивается: справедливо ли мы поступимъ, ежели не выполнимъ требованія, предъявляемаго намъ самимъ отщепенцемъ?

„Будемъ же справедливы, будемъ дѣятельны. Выйдемъ изъ нашей замкнутости, ибо въ настоящемъ случаѣ она представляется не только нерящливою, но и преступною. Пусть каждый въ каждомъ прослѣдитъ успѣхи, сдѣланные отрезвленіемъ; пусть каждый каждому предъявитъ тотъ обязательный minimum, неподчиненіе которому должно угрожать очень серьезными (а не мнимыми, какъ было до сихъ поръ) послѣдствіями для неподчиняющагося. Да исчезнетъ тьма, да восторжествуетъ свѣтъ!—вотъ девизъ, который долженъ отнынѣ руководить нами. Говорятъ о свободѣ совѣсти, о правѣ на свободу изслѣдованія — прекрасно! Мы первые готовы защищать всѣ эти свободы, но не тамъ, гдѣ идетъ рѣчь объ *общемъ благѣ*. Въ виду этой послѣдней цѣли всѣ свободы должны умолкнуть и потонуть въ общемъ и для всѣхъ одинаково обязательномъ единомысліи.

„Viribus unitis res parvae crescunt. Впередъ!"

Передовица была написана ловко, гладко, съ огонькомъ. Собственно говоря, это была диффамація, во время чтенія которой пошехонцы чувствовали, какъ во всемъ тѣлѣ разливается зудъ. Но какъ только чтеніе диффамаціи оканчивалось, такъ передъ ошеломленными читателями назойливо возставалъ вопросъ: что̀ же симъ достигается? И они снова начинали перечитывать, и снова разливался у нихъ въ тѣлѣ зудъ. Во всякой строкѣ все было на-лицо: и подлежащее, и сказуемое, и связка; даже періоды, законченные и округленные, катились одинъ за другимъ какъ по маслу: одного только не было: что̀ симъ достигается?

— Ахъ, волки тя ѣшь, зудень чесоточный! — бормотали озадаченные пошехонцы: —и безъ него тошно, а онъ... вишь какъ зудитъ!

Тѣмъ не менѣе требованія диффамаціи были настолько настоятельны, что медлить было небезопасно. Пришлось опять собираться къ каланчѣ и притомъ съ мыслью, что на этотъ разъ, пожалуй, и не отмолчишься. Какъ примется ужо̀ каждый каждаго исповѣдовать, да каждый каждому припоминать — такое ли пойдетъ самоѣдство, что только держись! Въ виду этого многіе думали: хоть бы Согожа (рѣка, на которой Пошехонье стоитъ) разлилась послѣ дождей, да проходы и проѣзды затопила, или бы мостъ провалился! Но Согожа продолжала скромно журчать по дну оврага, а мостъ хоть и не являлъ надлежащей для движенія прочности, но пошехонцы изстари ужъ съ этимъ помирились: таковскій!

А Мазилка въ это самое утро имѣлъ съ Скомороховымъ совѣщаніе. Мазилка смотрѣлъ на дѣло глубже и солиднѣе; Скомороховъ плавалъ мелко, но за то цѣпко хватался за подробности.

— Знаю я, что за вами блохъ много, — говорилъ Мазилка: — да не ваше, сироты, дѣло другъ надъ дружкой расправу чинить. Мое это дѣло. Я

здѣсь начальникъ—я и помыкать вами буду. Захочу—сегодня расправлюсь; не захочу—до завтра отложу. А вы, сироты, должны ждать, и ни въ худую, ни въ хорошую сторону на власть мою не наступать. И ты это непригоже, зудень чесоточный, дѣлаешь, что другъ противъ дружки однообщественниковъ натравляешь!

— Ваше высокородіе! позвольте съ полною отровенностью доложить? —взывалъ Скоморохов.

— Изволь, братецъ!

Разумѣется, Скомороховъ тутъ же сердце свое, какъ на ладони, выложилъ. Выходило такъ, что непремѣнно нужно общество пошехонское оживить. Не потому, чтобъ этого требовалъ интересъ казны, а потому что, по обстоятельствамъ, избѣжать этого невозможно.

— Коли мы общество не оживимъ, такъ оно само себя оживитъ,—развивалъ свою мысль проворный пошехонскій публицистъ:—потребность такая въ немъ народилась, и ничего ты съ ней не подѣлаешь. Прежде этого не бывало, а нынче спятъ-спятъ пошехонцы, да вдругъ и проснутся. Такъ ужъ пусть лучше мы сами оживимъ ихъ... въ предѣлахъ. Пускай другъ дружку пощупаютъ, вреда отъ этого не будетъ!

— Ты говоришь: „въ предѣлахъ“ —а вдругъ оно за предѣлы поѣхало?

— На этотъ предметъ, ваше высокородіе, пожарную трубу въ готовности содержать надлежитъ.

— Я-то готовъ, да ты вотъ... Смотри ты у меня, сорванецъ! на языкѣ у тебя медъ, да на душѣ-то... Петля, а не человѣкъ—вотъ ты что̀! Сколько разъ листья вонъ эта береза перемѣнила, столько же разъ и ты мѣнялся! Ну, да инъ быть по твоему!

На этомъ совѣщаніе кончилось. Но Мазилкѣ до такой степени были несимпатичны проекты объ оживленіи общества, что онъ не выдержалъ и въ догонку уходящему Скоморохову крикнулъ:

— Только помни, что согласія моего не было! Это ты меня, зудень, раззудилъ, а я... не согласенъ!

Черезъ часъ послѣ этого площадь передъ каланчею уже кипѣла народомъ. Пошехонцы чуяли, что придется другъ друга изслѣдовать, и примѣривались. Но такъ какъ у всѣхъ былъ еще въ памяти недавній „шутовской либерализмъ“, то приходилось дѣйствовать съ крайнею осторожностью. Заведетъ пошехонецъ одинъ глазъ на сосѣда — анъ и ему на встрѣчу сосѣдній глазъ глядитъ. Ну, и спасуютъ оба, уставятся глазами въ пространство и глядятъ, словно на умѣ ничего канальскаго нѣтъ. Однако урывочками да ущипочками порядочно-таки высмотрѣли... Эхъ, кабы Мазилка разрѣшилъ „секретъ“ ему объявлять! Приходите-молъ, други милые, хоть днемъ, хоть ночью, завсегда моя дверь потихоньку для васъ открыта! То-то бы народу повалило! Такъ нѣтъ вотъ: извольте расправляться всенародно... сами.

Для Скоморохова этотъ моментъ былъ рѣшительный. Каждый день онъ доказывалъ, что пошехонцы созрѣли, что торжество здраваго смысла вполнѣ обезпечено; стало быть, теперь приходилось подтвердить это на дѣлѣ. Поэтому онъ несказанно суетился, появляясь то въ одномъ, то въ другомъ

концѣ толпы и ежемгновенно взывая: „Кто про кого что знаетъ—сказывайте, православные, сказывайте!“

По настоящему слѣдовало бы его, какъ перваго, который „пасть разинулъ“, въ щепы расщепать; но пошехонцы не только не сдѣлали этого, но даже поощряли вызовы безшабашнаго писаки робкими улыбками. Скомороховъ былъ не свой между ними. Онъ явился откуда-то издалека, и покуда пошехонцы хлопали на него глазами—усѣлся и сразу взялъ засиліе. Всѣмъ онъ въ свое время былъ: и либераломъ, и анти-либераломъ, и реформенникомъ, и анти-реформенникомъ, и всегда съ успѣхомъ. Преднамѣренно смѣшивая развитіе съ измѣной, онъ утверждалъ, что только дураки не мѣняютъ убѣжденій, и, разъ заручившись этимъ афоризмомъ, безцеремонно самъ себя побивалъ всякій разъ, когда это по обстоятельствамъ требовалось. Опасность онъ представлялъ великую, ибо тайну каждаго пошехонца зналъ, съ каждымъ и реформенно, и анти-реформенно по душѣ бесѣдовалъ, и потому каждому прямо и безстыдно объявлялъ: ты меня не проведешь!

Однако пошехонцы не только не ободрились подъ вліяніемъ вызывающихъ Скомороховскихъ рѣчей, но еще пуще вчерашняго заробѣли. Они хотя и трепетали передъ Скомороховымъ, но въ то же время чувствовали къ нему непреодолимую гадливость. Они уже настолько отрезвились, чтобы понимать, что не спроста негодный писачка передъ ними гарцуетъ, но еще не настолько созрѣли, чтобы признать его личность достолюбезною. Поэтому если у кого и чесался языкъ, чтобы вымолвить: „а ну-те, господа атаманы, давайте сказывать... Господи благослови!“ — то Скомороховскія подстрекательства скорѣе унимали, нежели раздражали этотъ зудъ. И очень возможно, что дѣло взаимнаго изслѣдованія совсѣмъ бы не выгорѣло, еслибъ въ самую критическую минуту не показался вдали Иванъ Рыжій.

Рыжій опоздалъ на вѣче, да, признаться сказать, и теперь не спѣшилъ, а шелъ обыкновенной своей лѣнивой походкой, какъ будто напередъ зналъ, что никакого народоправства не будетъ. Это былъ смирный и степенный обыватель, котораго политическія убѣжденія главнымъ образомъ въ томъ состояли, что ежели начальство, по упущенію, и неправильно чего-нибудь требуетъ, то и тогда слѣдуетъ требованіе его безпрекословно выполнить. Во времена оны эта теорія представлялась не только безопасною, но даже обезпечивающею безнедоимочный сборъ податей. Но уже и тогда находились пуристы, которые при словахъ: „ежели и неправильно начальство требуетъ“ — сомнительно покачивали головами.

— То же бы ты, дуракъ, слово, да не такъ бы молвилъ!—участливо предостерегали его, и предлагали измѣнить редакцію такъ: „всякое начальственное требованіе отъ природы правильно, а потому и слѣдуетъ его выполнить“. Но онъ одно твердилъ: „по моему—лучше!“ и устоялъ на своемъ. Тѣмъ не менѣе до сихъ поръ ересь сходила ему съ рукъ, и даже Скомороховъ какимъ-то образомъ ее проглядѣлъ. Но теперь, какъ увидѣли православные, что онъ „идетъ не идетъ“, а ногами „вавилоны выдѣлываетъ“ да вдобавокъ еще руками машетъ, та́къ и загорѣлись у всѣхъ сердца. Та́къ и просіяло во всѣхъ умахъ: а вѣдь это онъ самый и есть!

— Иду!—откликнулся между тѣмъ Рыжій.

Часъ отъ часу не легче: первый пасть разинулъ (Скоморохова не считали). Онъ! онъ самый и есть! Чтò, бишь, онъ въ ту пору говорилъ! Какими такими бунтовскими рѣчами народъ сомущалъ?

Въ одно мгновеніе толпа поглотила Рыжаго и начала его перекидывать. Нѣкоторое время онъ мелькалъ, но потомъ вдругъ скрылся. Какого рода тутъ народоправство совершилось—неизвѣстно, но, къ счастію, Мазилка не дремалъ. Вторично отворились ворота съѣзжаго дома, и струя воды, болѣе обильная, нежели наканунѣ, окатила вѣчевыхъ людей.

Совершивши такое дѣло, пошехонцы сочли свою миссію конченною. Взаимно поощряя другъ друга веселыми подзатыльниками, они направились во-свояси, въ полной увѣренности, что теперь, когда они уже фактически доказали свое отрезвленіе, они найдутъ дома не тюрю съ водой, какъ наканунѣ, а щи съ убоиной.

Но ни щей, ни убоины не было; даже тюри какъ будто убавилось. Задача усложнялась самымъ безнадежнымъ образомъ.

Ибо пошехонская обида въ томъ главнымъ образомъ и состояла, что атаманы-молодцы ужъ давно ничего, кромѣ тюри съ водой, не ѣдали. Разумѣется, встрѣчались въ этомъ смыслѣ и исключенія—„особливо отмѣченные люди“, какъ называлъ ихъ Скомороховъ—но и тѣ прикидывались лазарями. По крайней мѣрѣ тюря была самымъ нагляднымъ фактомъ изъ всего, чтò заставляло пошехонцевъ роптать на судьбу. Убоина до того поднялась въ цѣнѣ, что даже въ средѣ „правящихъ классовъ“ не всякій могъ свободно распоряжаться ею. А было время — и большинство его помнило — когда и средній пошехонецъ мякоть ѣлъ самъ, а кости бросалъ собакамъ. Во многихъ семьяхъ были живы дѣдушки, которые передавали отощавшимъ внукамъ (и сами отощавшими желудками къ своимъ розсказнямъ тоскливо прислушивались) почти баснословныя преданія о древнемъ пошехонскомъ изобиліи, когда свиньи, куры, утки и проч. свободно бродили по улицамъ, а домой возвращались только для превращенія въ снѣдь. И все это пошехонцы *сами* ѣли: убьютъ скотинину и ѣдятъ... *сами*. А ноньче ежели есть у кого яичко, такъ онъ на него только поглядитъ, да скорѣе на „элеваторъ“ несетъ, а оттуда ужъ оно само собой на машину идетъ. Свиснула машина—и поминай какъ звали! Яичко твое нѣмецъ съѣстъ, а ты за него денежки получи, да другое яичко неси! Смотришь, анъ рубль-то въ цѣнѣ и поправился!

Тѣмъ не менѣе относительно причинъ, обусловившихъ исчезновеніе убоины, мнѣнія раздѣлились. Пошехонцы-горланы, тѣ, которые на вѣчахъ голосъ имѣли, утверждали, что бѣда въ томъ, что все Пошехонье поголовно, чуть не двадцать лѣтъ кряду, въ эмпиреяхъ витало, а чтò подъ носомъ у него дѣлается—не видѣло. И что, слѣдовательно, ежели отъ эмпиреевъ вполнѣ отрезвиться, то и опять свиньи съ утками всѣ улицы запрудятъ. Но бабы пошехонскія съ этимъ не соглашались. Что-то мы объ эмпиреяхъ не слыхивали, возражали онѣ, а вотъ что народъ нынче слабъ сталъ, послѣднюю тряпку изъ дома въ кабакъ тащитъ, такъ это мы знаемъ. „Курочка-то

еще не снеслась, а ужъ „онъ“ надъ нею стоитъ; норовитъ, какъ бы яичко-то тепленькое къ кабатчику снести“!

— Дуры вы, дуры!—кричали на нихъ мужики-горланы:—много вы смыслите! Кабы мы въ кабакъ не ходили, откуда бы казна-матушка деньгами разжилась?

— Казна-матушка сама знаетъ, гдѣ раки зимуютъ, — огрызались бабы: — и безъ васъ, пропойцевъ довольно найдется! А вы побольше работайте, да бабъ, съ пьяныхъ глазъ, поменьше калѣчьте!

Но находились и такіе, которые говорили: отъ эмпиреевъ, и отъ вина — отъ всего отрезвиться не штука; но, вотъ штука: что̀ потомъ дѣлать? Трезвому-то на голодный желудокъ, пожалуй, и еще тошнѣе покажется — какъ тогда поступить?

Въ виду этихъ разногласій всякъ началъ предлагать свое. Одни говорили, что надо элеваторы устроить; другіе: устроимъ элеваторы—пойдетъ воровство. Одни говорили: транзитъ закрыть надо; другіе: закроется транзитъ—пойдетъ воровство. Одни говорили: всему причина Финляндія; другіе возражали: тронь Финляндію—пойдетъ воровство! Словомъ сказать, выходило такъ: что̀ ни придумай—вездѣ окажется воровство. Но ни толку, ни убоины не выходило. Насилу - насилу старики угомонили расходившихся горлановъ.

— Уймитесь, атаманы-молодцы!—усовѣщивали они:—того гляди, вы все Пошехонье вверхъ дномъ перевернете! Прежде чѣмъ объ элеваторахъ-то думать, спросите-ка себя: точно ли вы *всѣ* отрезвились? нѣтъ ли еще за кѣмъ блохъ?

Этого же мнѣнія былъ и Скомороховъ.

„Старики наши правы, писалъ онъ на другой день послѣ приключенія съ Рыжимъ: — хотя отрезвленіе и провозглашается у насъ безспорно-совершившимся фактомъ (не онъ ли, безсовѣстный, нѣсколько дней тому назадъ и провозгласилъ это!), но дѣйствительно ли мы всѣ отрезвились—на это и нынѣ никто, по совѣсти, утвердительно отвѣтить не можетъ. Напротивъ, можно скорѣе ожидать отрицательнаго отвѣта, а вчерашній случай съ Иваномъ Рыжимъ какъ нельзя убѣдительнѣе доказалъ это. Мы не отрицаемъ, что здравый смыслъ пошехонцевъ и на сей разъ восторжествовалъ, но тотъ же здравый смыслъ долженъ былъ подсказать имъ, что Рыжій не могъ злоумышлять одинъ, безъ пособниковъ и укрывателей, а между тѣмъ гдѣ эти пособники и укрыватели? Мы ихъ не видимъ по той простой причинѣ, что никто ихъ не искалъ. Нѣтъ, господа! одной жертвы недостаточно! Какъ ни прискорбно сознавать, что *общее благо* достигается только цѣною человѣческихъ жертвъ, но такъ какъ историческій опытъ возвелъ это правило на степень аксіомы, то не слѣдуетъ уже останавливаться ни передъ количествомъ, ни передъ качествомъ жертвъ. Многіе полагаютъ, что принадлежность къ „интеллигенціи“, какъ смѣхотворно называютъ у насъ всякаго неокончившаго курсъ недоумка, обезпечиваетъ отъ изслѣдованія, но это теорія не справедливая. Это теорія, отживающая свой вѣкъ и совершенно непримѣнимая въ такомъ глубоко-демократическомъ обществѣ, какъ пошехонское. У насъ исключеніе въ этомъ смыслѣ могутъ составлять лишь тѣ „особливо отмѣченные“, которыхъ имена слишкомъ

неразрывно связаны съ историческими судьбами Пошехонья, или же тѣ, кои постояннымъ трудомъ и отличными способностями пріобрѣли выдающіяся по своимъ размѣрамъ матеріальныя средства. Но и эти исключенія допускаются единственно потому, что описанныя выше качества заключаютъ сами въ себѣ достаточный залогъ благонадежности. Затѣмъ *всѣ*, богатые и бѣдные, знатные и незнатные, интеллигентные и неинтеллигентные, *всѣ* должны подлежать изслѣдованію. И чѣмъ больше приведетъ за собой это изслѣдованіе искупительныхъ жертвъ, тѣмъ дѣйствительнѣе будутъ результаты".

Почитавши эту передовицу, сильнѣйшіе изъ горлановъ сейчасъ же пристроились къ сонму „особливо отмѣченныхъ" и затѣмъ устранили себя отъ дальнѣйшихъ хлопотъ по части отрезвленія. Испытывать же и истреблять другъ друга остались горланы средніе, да та безъимянная „горечь", которою кишѣли пошехонскіе пригороды и солдатскія слободки.

Поэтому третье пошехонское вѣче, состоявшееся у каланчи, было уже далеко не столь блестяще, какъ два предыдущія. Собралась по преимуществу рвань и дрань. Обманутые насчетъ плодотворныхъ послѣдствій вчерашней расправы съ Иваномъ Рыжимъ, оставленные Мазилкою и несдерживаемые „особливо отмѣченными" людьми, пошехонцы всецѣло поддались злобнымъ внушеніямъ Скоморохова, который, какъ и наканунѣ, гоголемъ мелькалъ во всѣхъ мѣстахъ и съ пѣной у рта взывалъ къ отмщенію. Онъ самъ не отдавалъ себѣ отчета, во имя чего онъ взываетъ, но чувствовалъ, что по мѣрѣ того, какъ съ его языка срываются проникнутыя ядомъ слова, сердце его все больше и больше лютѣетъ. И сердце у него было порожнее, и умъ подобный упраздненной храминѣ, такъ что лютость во всякое время отыскивала въ нихъ свободное убѣжище и оттуда управляла всѣми его дѣйствіями.

Прислушиваясь къ его рѣчамъ, пошехонцы и съ своей стороны постепенно лютѣли. О вчерашней боязни взаимнаго самообличенія не было уже и рѣчи; напротивъ того, какая-то беззавѣтная смѣлость овладѣла всѣми умами. Казалось, всѣ понимали, что конецъ неизбѣженъ, и что ежели послѣ этого „конца" уцѣлѣютъ лишь немногіе, за то у этихъ немногихъ будутъ и элеваторы, и транзитъ, и щи съ убоиной.

Нѣкоторое время въ толпѣ раздавалось только глухое рокотаніе, но наконецъ атаманы-молодцы не выдержали и заговорили всѣ разомъ. Сначала раздались праздныя слова, потомъ пошли въ ходъ лжесвидѣтельства, а затѣмъ загремѣла и клевета. Клевета и по головамъ шла, и по землѣ ползла, и по-собачьи лаяла, и по-змѣиному шипѣла, настигая и уязвляя всякаго, кого по пути заставала врасплохъ. И по мѣрѣ того, какъ она разливала свой ядъ, толпа убывала и рѣдѣла. Но не въ бѣгствѣ обрѣтали пошехонцы спасеніе отъ нея, а на мѣстѣ таяли.

Явленіе это было такъ поразительно, что не могло не обратить на себя вниманія Мазилки. Замѣтивъ, что ревизскія души невѣдомо куда исчезаютъ, онъ совершенно основательно встревожился, встрѣтившись лицомъ къ лицу съ вопросомъ: ежели людишки другъ друга перебьютъ безъ остатка, кто же будетъ чинить исполненіе по окладнымъ листамъ?

— А вы бы не всяко лыко въ строку, атаманы-молодцы! — крикнулъ

онъ съ вышки каланчи: — пошпыняли другъ дружку — и будетъ! Прочее можно и простить!

Въ третій разъ ворота съѣзжаго дома заскрипѣли и въ третій разъ обильная струя воды окатила расходившихся вѣчевыхъ людей.

Хоронили Ивана Рыжаго. Четыре мужика, съ бѣлыми новинами черезъ плечо, черезъ весь городъ несли къ кладбищу сосновую домовину, въ которой лежала жертва фантастическаго пошехонскаго отрезвленія. Сначала за гробомъ шла только молодая вдова Рыжаго съ сиротами, но по мѣрѣ того, какъ погребальное шествіе подвигалось къ центру города, толпа за гробомъ росла и густѣла. Рыжій женился всего пять лѣтъ тому назадъ, но имѣлъ уже четырехъ дѣтей и былъ въ семьѣ единственный добытчикъ. Вдова его, красивая и кроткая женщина, въ одночасье потеряла и мужа, и кормильца. Она усиливалась не плакать, но слезы сами собой лились изъ ея глазъ: она сдерживала рыданія, но тяжкіе, задушенные вопли сами собой вырывались у нея изъ груди. Она, очевидно, изнемогала отъ горя и боли, но такъ какъ ношатые шли шибко, то и она спѣшила за ними, спотыкаясь и неся въ одной рукѣ полуторагодового ребенка, а другою рукой волоча за руку трехлѣтнюю дѣвочку, которая съ трудомъ поспѣвала за нею (грудной ребенокъ оставленъ былъ дома подъ надзоромъ старшей сестренки).

Зрѣлище было необыкновенно унылое и само по себѣ, и по обстановкѣ. Осеннее небо, отягченное сѣрыми облаками, такъ низко опустилось надъ городомъ, что, казалось, собиралось его задавить. Изъ облаковъ сѣялся мелкій, спорый дождь; на встрѣчу шествію дулъ холодный вѣтеръ, который крутилъ и захлестывалъ старенькій покровъ, лежавшій на домовинѣ. Толпа шла за гробомъ угрюмая и сосредоточенно-безмолвная. Только „особливо отмѣченные“ люди не присоединились къ кортежу, но и они выходили изъ домовъ и набожно крестились. Мазилка, съ своей стороны, почтилъ память умершаго тѣмъ, что вышелъ на площадь во главѣ пожарныхъ и сдѣлалъ шествію подъ козырекъ.

Сознавала ли толпа въ эти скорбныя минуты, что смерть Рыжаго—дѣло ея рукъ, анализировала ли она этотъ фактъ, мелькалъ ли передъ нею призракъ потрясенной совѣсти—для нея самой эти вопросы были загадкой. Скорѣе всего она чувствовала себя подъ гнетомъ безотчетной и безъисходной тоски, которая захватила ее всю, со всѣхъ сторонъ, которая истребила въ ней мысль, забила воображеніе. Вчера, подъ наитіемъ тоски, температура ея поднялась до истерическаго бѣшенства; сегодня то же самое наитіе разрѣшилось упадкомъ духа, уныніемъ, безсиліемъ. И что̀ всего важнѣе—толпа даже не искала въ самой себѣ помощи противъ удручающаго ее чувства, а только безпокойно озиралась, какъ будто желая засвидѣтельствовать, что ее насквозь пронизала какая-то безъимянная боль.

Когда шествіе достигло кладбища, церковная ограда едва могла вмѣстить толпу. День былъ будній, и потому обѣдни не пѣли; гробъ прямо поставили у края свѣже-вырытой могилы. Началось отпѣваніе, и когда клиръ запѣлъ: „Со святыми упокой“,—вся толпа, словно послушное эхо, повторяла

за клиромъ щемящій душу напѣвъ. Во многихъ мѣстахъ раздались истерическіе рыданія и крики, которые въ конецъ истерзали сердца. Что-то громадное вдругъ поднялось отъ земли вокругъ этого бѣднаго гроба, словно сама земля вопіяла о ниспосланіи невѣдомаго чуда...

И чудо совершилось: незамѣтное существованіе заурядчаго пошехонскаго обывателя нашло для себя апоѳеозъ—въ формѣ трупа.

Наконецъ замолкъ послѣдній звукъ, и толпа медленно сплыла съ кладбища...

НЕДОКОНЧЕННЫЯ БЕСѢДЫ

Глава I.

Пріятель мой Глумовъ — человѣкъ очень добрый, но въ то же время до крайности мрачный. Ни одной веселой мысли у него никогда не бываетъ, ни одного такъ-называемаго упованія. Еще будучи въ школѣ, онъ не питалъ ни малѣйшаго довѣрія ни къ профессорамъ, ни къ воспитателямъ. По выходѣ изъ школы, онъ перенесъ тотъ же безнадежный взглядъ и на болѣе обширную сферу жизни. Самое отрадное явленіе жизни, отъ котораго всѣ публицисты приходятъ въ умиленіе, онъ умѣетъ ощипать и сократить до такихъ размѣровъ, что въ результатѣ оказывается или выѣденное яйцо, или пакость. На самыя свѣтлыя чаянія онъ въ одно мгновеніе ока набрасываетъ такой сермяжный мундиръ, что просто хоть не уповай! Это до такой степени тяжело, что когда онъ приходитъ ко мнѣ, человѣку „упованій“ по преимуществу, то мнѣ положительно становится не по себѣ.

И не то чтобы Глумовъ былъ обойденъ судьбою, былъ бѣденъ или по службѣ терпѣлъ неудачи — нѣтъ, въ этомъ отношеніи онъ устроился очень удовлетворительно. А просто ропщетъ—и все тутъ. Придетъ, сядетъ, задумается, обопрется головой объ руку и начнетъ черезъ часъ по ложкѣ задавать самые неожиданные, можно сказать, даже щекотливые вопросы.—Куда дѣвалось наше молодое поколѣніе? Отчего въ настоящее время люди такъ охотно лишаютъ себя жизни? Отчего у насъ нѣтъ критики? Правда ли, что на дняхъ должно послѣдовать, въ административномъ порядкѣ, окончательное рѣшеніе женскаго вопроса? Правда ли, что въ газетѣ „Чего Изволите?“ готовится рядъ статей объ учрежденіи единой и нераздѣльной желѣзнодорожной станціи? и т. д. По всѣмъ этимъ вопросамъ онъ разсуждаетъ пространно и озлобленно, и хотя я не разъ пытался поворотить его на путь упованій, но долженъ сознаться, что всѣ мои усилія въ этомъ смыслѣ остались тщетными. Теперь я большею частью выслушиваю его молча, и только въ случаѣ крайней необходимости играю роль актера, подающаго реплику.

Но, несмотря на постоянно придирчивое настроеніе духа моего пріятеля, я считаю его человѣкомъ въ высшей степени для меня полезнымъ. Мы оба воспитывались въ одномъ и томъ же заведеніи, оба принадлежимъ къ

школѣ сороковыхъ годовъ, но онъ пошелъ по пути озлобленія, а я—по пути упованій. Чтожъ! если намъ такъ нравится, то въ этомъ еще большой бѣды нѣтъ. Для меня даже удобно, что мы идемъ разными дорогами, потому что, при моемъ безпечномъ характерѣ, Глумовъ играетъ въ моей жизни роль memento mori, возвращающаго меня къ чувству дѣйствительности. Повидимому мое существованіе идетъ вполнѣ благополучно, ибо я постоянно живу въ сферѣ сладкой увѣренности, что современемъ все разъяснится. Вчера я былъ въ Михайловскомъ театрѣ—видѣлъ „La fille de m-me Angot"; сегодня иду въ театръ Буффъ — увижу „La fille de m-me Angot"; завтра отправляюсь въ Маріинскій театръ —и опять возобновляю въ своей памяти „La fille de m-me Angot". Что можетъ быть благополучнѣе этого неразнообразнаго, но за то совершенно вѣрнаго благополучія! Нѣтъ у меня ни митинговъ, ни парламентовъ, за то есть „La fille de m-me Angot" въ трехъ интерпретаціяхъ; а быть можетъ—на милость образца нѣтъ! — будетъ и „Tymbale d'argent". Хожу я безпечно по солнечной сторонѣ Невскаго проспекта и напѣваю:

Pour qu'on admire tes appas,
Il faut que les miens ne se montrent pas!

— и вдругъ, несмотря на полнѣйшее благополучіе, чувствую, что мнѣ чего-то хочется. Чего именно хочется—этого, по безпечности характера, я и самъ съ достовѣрностью опредѣлить не могу. Можетъ быть, хочется парламента (съ жиру какія фантазіи не забредутъ въ голову?); можетъ быть, съѣсть чего-нибудь; можетъ быть, опять послушать „La fille de m-me Angot" въ четвертой интерпретаціи; можетъ быть, забраться въ какую-нибудь канцелярскую коммиссію и тамъ заснуть... Но заснуть...

...не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы,

а такъ, чтобъ и день, и ночь надо мною заливались канцелярскіе соловьи...

И вотъ, въ эту-то тяжкую минуту недоумѣній, когда я отъ нечего-дѣлать готовъ освѣдомиться у перваго встрѣчнаго, на какой улицѣ помѣщается нашъ парламентъ, со мною равняется мой озлобленный другъ и озадачиваетъ меня вопросомъ:

— Да скоро ли же наконецъ начнется печатаніе ряда статей о единой и нераздѣльной желѣзнодорожной станціи? Что они мямлятъ!

Услышавши этотъ вопросъ, я вдругъ возвращаюсь къ чувству дѣйствительности и начинаю понимать, чего мнѣ хочется. Да, говорю я себѣ, не нужно для моего благополучія ни парламентовъ, ни митинговъ, ни земскихъ собраній! А нужно только, чтобъ газета „Чего изволите?" каждый день неупустительно твердила мнѣ, что Россія тогда только будетъ счастлива, когда вполнѣ исчерпается вопросъ о необходимости учрежденія единой и нераздѣльной желѣзнодорожной станціи.

„Господи! —думаю я:—сколько разнообразнѣйшихъ эпизодовъ заключаетъ въ себѣ этотъ повидимому бросовый вопросъ! у сколькихъ читателей можно будетъ вымотать душу, если умненько развивать его и не торопясь доводить до предѣловъ послѣдней ясности!"

Такъ вотъ объ этомъ-то пріятелѣ я и намѣреваюсь отъ времени до времени

бесѣдовать, или, лучше сказать, не столько объ немъ самомъ, сколько о тѣхъ мрачныхъ вопросахъ, которыми онъ имѣетъ обыкновеніе возвращать меня къ чувству дѣйствительности. Если обстоятельства позволятъ, я постепенно переберу большую часть занимавшихъ насъ вопросовъ, а чтобъ не откладывать дѣла въ долгій ящикъ, начинаю теперь же съ одного изъ капитальнѣйшихъ: куда дѣвалось наше молодое поколѣніе?

На дняхъ приходитъ ко мнѣ Глумовъ, какъ-то особенно-мрачно настроенный. Садится, подпираетъ рукой голову, закуриваетъ сигару и начинаетъ исподволь рычать.

— Чортъ знаетъ что̀ дѣлается! Отвратительно становится жить!—разражается онъ наконецъ.

Я сижу какъ на иголкахъ, въ ожиданіи, что вотъ-вотъ онъ сейчасъ огорошитъ меня.

— Правда ли—говоритъ онъ наконецъ, съ трудомъ сдерживая свой гнѣвъ: — правда ли, что газета „Чего изволите?“ предполагаетъ въ будущемъ году украшать столбцы полнымъ переводомъ заграничныхъ путеводителей Бедекера?

— Послушай, мой другъ! отчего у тебя всегда такія унылыя мысли?

— Гм... унылыя! почему же ты называешь ихъ унылыми?

— Потому что это, наконецъ, Богъ знаетъ какой отчаянный скептицизмъ! Кто же когда-нибудь сомнѣвался, что подъ тою или другой формой, а „Чего изволите?“ *непремѣнно* напечатаетъ полный переводъ *всѣхъ* „путеводителей“ Бедекера!

— Такъ, стало быть, правда?

— Столь же истинно, какъ и то, что вслѣдъ за Бедекеромъ предполагается перепечатать географію Ободовскаго со всѣми выпусками, сдѣланными цензурою въ первомъ ея изданіи!

Наступило нѣсколько минутъ тягостнѣйшаго молчанія, въ продолженіе котораго лицо моего друга дѣлалось все мрачнѣе и мрачнѣе. Ясно было, что эффектъ, произведенный на меня вопросомъ о Бедекерѣ, не удовлетворилъ его, и что онъ обдумываетъ средства такъ меня огорошить, чтобъ я, какъ говорится, не усидѣлъ, не устоялъ. Наконецъ идея созрѣла. Онъ поднялся съ кресла и почти угрожающимъ тономъ обратился ко мнѣ:

— Ну, чортъ съ нимъ, съ Бедекеромъ! Нѣтъ, ты мнѣ вотъ что̀ скажи: куда дѣвалось наше молодое поколѣніе?

Переходъ былъ такъ неожиданъ, что по началу я не вдругъ собрался съ мыслями. Мнѣ показалось, что я не въ первый разъ слышу этотъ вопросъ, что и въ моей головѣ когда-то мелькало нѣчто подобное. Но отчего же вопросъ этотъ только мелькалъ и ни разу не нашелъ для себя ясной формулы? оттого ли, что мысль моя слишкомъ робка и лѣнива для разработки подобныхъ сюжетовъ, или оттого, что самый вопросъ неоснователенъ и не имѣетъ никакихъ корней въ современной дѣйствительности?

Вскорѣ однакожъ я оправился отъ смущенія. Обратившись къ своей памяти, я нашелъ въ ней такую безконечную вереницу молодыхъ адвокатовъ, молодыхъ земскихъ дѣятелей, молодыхъ бюрократовъ, молодыхъ фельето-

нистовъ (они же, по нуждѣ, и публицисты), что подозрительность моего друга-мизантропа показалась мнѣ просто смѣшнымъ парадоксомъ.

— А наши адвокаты?—началъ я:—надѣюсь, что ты не будешь отрицать...

—Адвокаты, ты говоришь? Но развѣ ихъ можно называть представителями, а тѣмъ болѣе руководителями интеллигенціи? Люди, которые занимаются отниманіемъ чужой собственности! развѣ это свойственное „молодому поколѣнію" занятіе? развѣ это занятіе вообще?

— Позволь! ты сказалъ: люди, занимающіеся отниманіемъ чужой собственности! По моему, это не совсѣмъ вѣрно. Есть, конечно, адвокаты, которые свою дѣятельность посвящаютъ преимущественно отниманію, но я увѣренъ, что есть многіе, которые занимаются не отниманіемъ, а только возвращеніемъ собственности отъ незаконнаго владѣльца къ законному!

— Во-первыхъ, разграничить это очень трудно, если не невозможно. Адвокатъ не исповѣдникъ, и самый честный изъ нихъ не можетъ поручиться, что ему извѣстна интимная сторона дѣла, а между тѣмъ она-то, собственно говоря, и составляетъ настоящую суть. Поэтому ни ты, ни онъ не въ состояніи опредѣлить, гдѣ кончается „отнятіе" и гдѣ начинается „возвращеніе". А во-вторыхъ это даже и не существенно для меня. Отнимаетъ ли адвокатъ собственность, или возвращаетъ ее, — все-таки онъ занимается ремесломъ, къ которому молодому поколѣніе, взятое въ смыслѣ двигающей интеллигенціи, должно относиться совершенно безразлично.

— Но вѣдь если гражданскій судъ существуетъ, нельзя же его игнорировать, душа моя! Есть истцы, есть отвѣтчики—не можетъ же общество...

— Обойтись безъ адвокатовъ? — Совершенно вѣрно. Общество нуждается въ самыхъ разнообразныхъ профессіяхъ, я это понимаю. Но вѣдь есть безчисленное множество молодыхъ сапожниковъ, молодыхъ слесарей, молодыхъ золотарей, — и никому однакожъ не приходитъ въ голову сопричислить ихъ къ „молодому поколѣнію"! А ежели говорить по совѣсти, такъ, пожалуй, эти почтенные ремесленники имѣютъ даже больше правъ на это названіе, нежели адвокаты. Ихъ мысль не изувѣчена, въ ихъ дѣйствіяхъ нѣтъ злостности. Если сапожникъ шьетъ тебѣ сапоги, то онъ дѣлаетъ это безъ предвзятаго намѣренія устроить у тебя на ногахъ мозоли, между тѣмъ какъ большинство адвокатовъ именно одну мозоль и имѣетъ въ виду.

— Какъ хочешь, но это парадоксъ, mon cher!

— Очень возможно; но я того мнѣнія, что слово: „парадоксъ", глупые люди выдумали. Тѣ люди, которымъ непонутру истина и которые въ то же время не знаютъ, чѣмъ возразить противъ нея. А впрочемъ парадоксъ такъ парадоксъ: меня, братъ, жалкими словами не огорошишь! Постараемся быть еще парадоксальнѣе. Хочешь ли ты, напримѣръ, знать, какое старинное ремесло напоминаетъ мнѣ ремесло современныхъ русскихъ адвокатовъ?

— Любопытно...

— Ремесло непомнящихъ родства бродягъ. Эти люди никогда не могли опредѣлить себѣ заранѣе, гдѣ они проведутъ слѣдующій часъ или по крайней мѣрѣ слѣдующую ночь. Такъ точно и современный русскій адвокатъ: онъ никогда не можетъ сказать, въ какомъ вертепѣ проведетъ слѣдующій

часъ своей жизни, въ вертепѣ ли „возвращенія“, или въ вертепѣ „отнимания“.

— И опять-таки парадоксъ! Блестящій... но парадоксъ!

Мой другъ взглянулъ на меня удивленными глазами и потянулся за шляпой.

— Блестящій... но парадоксъ!—передразнилъ онъ меня: — и откуда ты выражаться такъ выучился? Ему дѣло говорятъ, а онъ: „блестящій... но парадоксъ!“ И кто далъ тебѣ право думать, что я желаю блистать передъ тобой? Прощай.

— Постой! зачѣмъ уходить! Поговоримъ. Ты знаешь: du choc des opinions...

— Оставь!

— Ну, хорошо, хорошо! не буду! Но согласись, что и между адвокатами... вѣдь не всѣ же чужую собственность... возвращаютъ! Я знаю очень многихъ, которые даже къ мысли о вознагражденіи относятся безъ особенной страстности, а просто увлекаются тонкостями ремесла. Юридическая практика, душа моя, представляетъ такой разнообразный міръ, который самъ по себѣ можетъ увлечь... право, даже независимо отъ вознагражденія!

— Ну?!

— Есть, братецъ, такіе юридическіе вопросцы, разрѣшеніе которыхъ даже въ общечеловѣческомъ смыслѣ далеко не безполезно. Напримѣръ, представь себѣ, что я обѣщалъ тебѣ подарить что-нибудь — что̀ означаетъ это дѣйствіе? Представляетъ ли оно обязательство, или только обольщеніе? Въ законахъ-то, братъ, на этотъ счетъ бабушка на-двое сказала, а между тѣмъ для человѣчества... Какъ же тутъ не увлечься... даже помимо мысли о предстоящемъ вознагражденіи?

— А я, стало быть, долженъ разыгрывать роль anima vilis, на которой ты будешь упражнять свою юридическую любознательность? Прощай.

— Да постой же. Ну, пожалуй, уступаю тебѣ адвокатовъ. Коли хочешь, уступлю еще и бюрократовъ...

— Славу Богу! еще на двугривенный уступилъ!

— Ну, да, уступаю тебѣ и адвокатовъ, и бюрократовъ! Que diable! Въ самомъ дѣлѣ, какое же это „молодое поколѣніе“! Какую двигающую мысль они собой представляютъ! Одни исполняютъ предначертанія начальства, другіе находятъ болѣе выгоднымъ исполнять предначертанія своихъ кліентовъ! Да, я согласенъ: тутъ даже интеллигенціи нѣтъ никакой! Но что̀ ты скажешь, напримѣръ, о нашихъ земскихъ дѣятеляхъ?

— Это о тѣхъ, что-ли, что̀ въ земскихъ-то собраніяхъ гудятъ?

— Гудятъ? опять-таки рѣзкое выраженіе, и ничего больше. Гудятъ или не гудятъ — это вѣдь безразлично, мой другъ! Для насъ важно одно: сила это или не сила?

— Сила... комариная!

— Комариная... позволь! Но вѣдь и комаръ иногда можетъ... вспомни-ка басню о комарѣ и львѣ!

— Такъ вѣдь тотъ комаръ умный былъ! онъ въ самую мякоть залѣзъ! а наши земскіе комары и мѣста̀-то такія излюбили, откуда ихъ всего удоб-

нѣе смахнуть можно! Смахнулъ — и нѣтъ его! Да и какое это „молодое поколѣніе"! Я, братъ, прошлымъ лѣтомъ въ „своихъ мѣстахъ" былъ, такъ на земское собраніе взглянуть полюбопытствовалъ: все подъ рядъ сивое меринье сидитъ.

— Ну, вотъ видишь! какъ же тебѣ не сказать, что ты парадоксы говоришь! Сивое меринье!.. Но развѣ у стариковъ не могутъ быть молодыя мысли?

Но Глумовъ даже не отвѣтилъ на мой вопросъ. Онъ ходилъ взадъ и впередъ по кабинету, хмуря брови и что-то вполголоса напѣвая. По временамъ онъ останавливался противъ меня, вперялъ въ меня мутно-сосредоточенный взглядъ и какъ бы машинально произносилъ:

— Душка!

Однако я далеко не сознавалъ себя побѣжденнымъ. Мнѣ даже показалось нѣсколько обиднымъ, что онъ такъ легко относится къ моимъ мнѣніямъ. Душка! что̀ это за слово! развѣ это опроверженіе! И я пустилъ ему въ упоръ:

— Такъ и земскіе дѣятели не угодили тебѣ! Отлично! Люди, которые такъ охотно сами себя облагаютъ сборами... которые такъ смѣло выразились по вопросу о всеобщей воинской повинности... Это не интеллигенція! И не забудь, что независимо отъ сейчасъ названныхъ вопросовъ у нихъ на плечахъ всѣ мосты и перевозы! И это не интеллигенція... прекрасно! Что̀ же ты послѣ этого скажешь о нашей новой литературѣ? Надѣюсь...

— Надѣйся!

— Душа моя, это не отвѣтъ! Если ты хочешь диспутировать, то диспутируй серьезно! Прежде всего надо уважать мнѣнія своего противника!

— Хорошо. Хоть я и не согласенъ насчетъ „уваженія" (вѣдь уваженіе достается само собой, а не предписывается), но пусть на этотъ разъ будетъ по твоему. Давай диспутировать. Хочешь ли ты знать, что̀ такое твоя *новая* литература?

— Желаю знать.

— Изволь. Это средней руки кокотка, которая утратила даже сознаніе, что женщинѣ легкаго поведенія больше, нежели всякой другой, необходимо соблюдать опрятность.

— Ого-го!

— Ты не думай однакожъ, что я говорю это въ видахъ защиты старой литературы нашей. Я знаю, что литература у насъ во всѣ времена занималась гимнастикою недомолвокъ и изнурительнымъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Но у старой литературы была извѣстная опрятность, безъ которой податливая женщина дѣлается просто отвратительною. Она умѣла во̀-время остановиться, умѣла видѣть въ читателѣ честнаго человѣка. А нынче даже руководящій принципъ опрятности утратилъ свою обязательность.

— И опять-таки пара...—заикнулся было я, но, вспомнивъ, что употребленіе слова: „парадоксъ", строжайше воспрещено, продолжалъ: — подумай однакожъ, мой другъ! не отзывается ли такой взглядъ на нашу новую литературу слишкомъ исключительнымъ ригоризмомъ? Воля твоя, а это ригоризмъ!

— И „парадоксъ“, и „ригоризмъ“ — два родные братца. Впрочемъ это я только къ слову, и если ты окончательно не можешь безъ того обойтись, то сдѣлай милость, уснащай свою рѣчь ригоризмами, парадоксами и вообще всѣми пустопорожними выраженіями, которыми такъ богатъ пѣнкоснимательный лексиконъ. Затѣмъ прошу тебя понять мою мысль. Я самъ не щепетиленъ, и ежели мнѣ приходится выбирать между славословіемъ и сквернословіемъ — я всегда предпочту послѣднее. Чтò дѣлать? таковъ, братецъ, духъ русскаго языка! Сквернословіе òбразнѣе, а òбразность — слабость моя. Поэтому, я не о внѣшней опрятности говорю, которая можетъ нравиться и не нравиться, но которая ни въ какомъ случаѣ не задѣваетъ внутренняго человѣка. Я говорю о той внутренней опрятности, которая заставляетъ человѣка если не бороться съ нечистоплотными мыслями, то по крайней мѣрѣ не такъ свободно выбалтываться!

— Примѣровъ, душа моя, примѣровъ!

— Примѣровъ? а какой афоризмъ выработала новѣйшая русская литература, въ качествѣ руководящаго жизненнаго принципа? — этотъ афоризмъ: „наше время не время широкихъ задачъ“. Развѣ это не довольно погано? Съ какимъ словомъ обращалась литература къ нашему „молодому поколѣнію“?..

— Вотъ видишь, ты, стало быть, самъ признаешь, что у насъ есть молодое поколѣніе? — перебилъ я.

— Было, да сплыло... но не перебивай; объ этомъ рѣчь еще впереди... И такъ: съ какимъ словомъ обращалась литература къ „молодому поколѣнію“? съ словомъ глумленія и много-много съ словомъ дряблаго соболѣзнованія! Укажи мнѣ на то увлеченіе, которое не было бы въ нашей литературѣ забрызгано грязью и не возведено въ квадратъ! Скажи, когда въ другое время литература сколько-нибудь опрятная позволила бы себѣ остановиться на мысли, что жизнь есть непрерывная игра въ бирюльки, и кто больше бирюлекъ вытащитъ, тотъ больше и заслужитъ передъ любезнымъ отечествомъ! „Наше время — не время широкихъ задачъ“! И это говорится въ такую минуту, когда ни широкимъ, ни какимъ задачамъ доступа въ литературу нѣтъ! Растолкуй, чтò это такое: отупѣлость, подвиливаніе или просто глупость?

— Но вѣдь нельзя же, чортъ побери, запрещать людямъ высказывать свои убѣжденія! Если мое убѣжденіе таково, что наше время — не время широкихъ задачъ, то почему же я, изъ-за какихъ-то ложныхъ опасеній, стану воздерживаться и насиловать себя?

— Да по тому же закону приличія, по которому ты воздерживаешься отъ нѣкоторыхъ естественныхъ отправленій въ публичныхъ мѣстахъ. Но если таково твое *убѣжденіе*...

— Постой. Я совсѣмъ не говорю, что это мое убѣжденіе. Напротивъ, я самъ всегда говорилъ, что приведенная тобой фраза черезъ-чуръ уже рѣшительна. Я сознаюсь, что можно бы и другую форму употребить... а пожалуй даже и никакой формы не употреблять... Но вѣдь ежели отбросить форму, ежели взглянуть только на сущность... согласись, qu'au fond il y a du vrai dans tout ceci!

Но онъ опять оставилъ мое возраженіе безъ отвѣта и молча ходилъ по кабинету, такъ что я имѣлъ нелѣпый видъ человѣка, говорящаго „мысли

вслухъ“, адресуемыя въ пространство. Можетъ быть, его разсердила моя заключительная французская фраза. Онъ всегда говорилъ мнѣ, что я съ своими французскими фразами, пересыпанными „парадоксами“, „ригоризмами“ и проч., представляю счастливое сочетаніе кокодеса и пѣнкоснимателя. Какъ бы то ни было, но черезъ минуту послѣ того онъ вновь остановился противъ меня, вперилъ въ меня не то безпредметный, не то лукавый взглядъ, и, ущипнувъ меня за обѣ щеки (что̀ дѣлать! ради стараго товарищества, я даже эту фамильярность прощаю ему), произнесъ:

— Душка!

Потомъ, проскакавъ на одной ножкѣ изъ одного конца въ другой (что̀ было въ немъ признакомъ рѣдкаго прилива веселости), подпѣвалъ:

Ахъ! не могу я не сознаться!
Но и признаться не могу!

— Въ этихъ словахъ — вся суть современной русской литературы! — сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — Тутъ есть все: и малодушіе, исправленное малоуміемъ, и малоуміе, ищущее для себя смягчающихъ обстоятельствъ въ малодушіи!

— Но развѣ ты не знаешь условій нашей литературы! Развѣ не ужаснѣйшее это положеніе: надобно говорить, а говорить нельзя!

— Или другими словами: хоть тресни, а говори! Прекрасно. Но въ такомъ случаѣ будь же опрятенъ. Не забѣгай, не заискивай! Не гаркай во все горло афоризмовъ, которые ничего, даже состраданія въ литературныхъ меценатахъ, возбудить не могутъ!

— Согласись однакожъ, что при необходимости говорить ежедневно не мудрено и проврраться!

— У кого есть въ головѣ царь, кто выработалъ себѣ извѣстный взглядъ на общность жизненныхъ явленій, тотъ такимъ капитальнымъ образомъ не проврется. Но довольно объ литературѣ. Резюмируемъ нашъ споръ. Изъ трехъ образчиковъ современнаго молодого поколѣнія, на которые ты указалъ, одни занимаются отниманіемъ чужой собственности; другіе представляютъ собой принципъ безсодержательнаго гудѣнія и комариной силы; третьи наконецъ провозглашаютъ: не торопитесь! ждите разъясненій! наше время — не время широкихъ задачъ! Гдѣ же молодое-то поколѣніе?

На этотъ разъ задумался и я. Во мнѣ происходила борьба. Съ одной стороны, слова этого лишеннаго упованій человѣка дѣйствовали на меня заразительно; съ другой — я никакъ не могъ побѣдить въ себѣ мысли: какъ же это такъ? каждый день я гуляю по Невскому и вижу пропасть молодыхъ людей всевозможныхъ оружій, — и вдругъ вопросъ: куда дѣвалось наше молодое поколѣніе?

— Душа моя! — сказалъ я тоскливо: — да сообрази же ты, сдѣлай милость! вѣдь еслибы не существовало молодого поколѣнія, не прекратился ли бы человѣческій родъ?!

— Чудакъ! развѣ я въ жеребячьемъ смыслѣ съ тобой говорю! — отвѣтилъ онъ мнѣ съ нетерпѣніемъ: — я вѣдь знаю, что въ *производителяхъ* нигдѣ никогда недостатка не бывало!

Опять горькое сомнѣніе! ужели вся эта молодежь, гремящая саблями о

тротуары, наполняющая воплями наши суды, изливающая на всю Россію потокъ циркуляровъ, увлекающаяся вопросами о дареніи, объ единоутробіи, объ истинныхъ признакахъ взлома, произносящая въ земскихъ собраніяхъ угнетающія рѣчи о неизбѣжности мостовъ и переправъ, добросовѣстно пережевывающая въ литературѣ вопросы о необходимости ожидать дальнѣйшихъ разъясненій — ужели все это только производители, способные лишь на то, чтобы производить другихъ такихъ же производителей?

Если это такъ, если Глумовъ говоритъ правду, то что̀ же ожидаетъ насъ впереди? Не должна ли, при подобныхъ условіяхъ, самая исторія прекратить теченіе? Положимъ, что наше, то-есть нынѣ дѣйствующее молодое поколѣніе — отпѣтое; допустимъ, что за него, въ смыслѣ двигающей силы, нельзя дать полъ-гроша — но въ такомъ случаѣ ка̀къ же мы живемъ? Вопросы о неизбѣжности мостовъ и перевозовъ, о необходимости ожидать разъясненій — все это вопросы безспорно полезные, но развѣ ими человѣчество живетъ и движется, развѣ они составляютъ содержаніе исторіи? Должна же быть гдѣ-нибудь эта необходимая двигающая сила! Быть можетъ, она скрывается въ школахъ; быть можетъ, разъединенная, но умудренная опытомъ, она продолжаетъ дѣло движенія, измѣнивъ лишь обстановку его и набросивъ на него, до поры до времени, пелену непроницаемости?

— Есть у насъ наконецъ цѣлый міръ учащихся! — рискнулъ замѣтить я.

— Да, есть; есть учащіе, должны быть и учащіеся.

— Неужели же ты и ихъ не причисляешь къ молодому поколѣнію?

— Вотъ видишь ли, любезный другъ! я имѣю привычку говорить только о томъ, что̀ доподлинно знаю, а развѣ можно что-нибудь знать объ учащихся! Учащееся поколѣніе находится внѣ арены исторической жизни; въ массѣ это — матеріалъ, на которомъ такъ или иначе можетъ отразиться духъ современности, но не агентъ этого духа. Взгляни на каплуновъ-пѣнкоснимателей современной литературы! вѣдь и они были когда-то учащимся поколѣніемъ и даже, пожалуй, горѣли энтузіазмомъ къ Грановскому — а что̀ изъ нихъ вышло?!

— Но если я не ошибаюсь, наша литература именно въ учащихся и видѣла „молодое поколѣніе“, когда указывала на нѣкоторыя особенности современной русской жизни?

— Да вѣдь это, братецъ, дѣлалось для того, чтобъ смѣшнѣе вышло. Въ послѣднее время наша литература поставила себѣ совершенно новую задачу: изобразить въ смѣшномъ видѣ всѣ цѣли, къ которымъ стремилась передовая мысль. Какимъ образомъ достичь этого? заставить начальника отдѣленія разсуждать „о пищѣ“ по Молешотту и „происхожденіи видовъ“ по Дарвину — пожалуй, выйдетъ и смѣшно, но смѣхъ надъ такими „особами“ нежелателенъ. Заставить дѣйствительнаго представителя молодого поколѣнія о тѣхъ же предметахъ бесѣдовать — того гляди, не будетъ смѣшно. Стало быть, лучше всего взять подростка и предоставить ему изъяснять своимъ родителямъ, что они отъ обезьяны происходятъ. И пронзительно, и смѣшно. Вѣдь я же говорилъ тебѣ, что новѣйшая русская литература есть средней

руки кокотка, которая позабыла, что для нея прежде всего обязателенъ законъ чистоплотности!

— Однако нельзя же предполагать, чтобы литература такъ нагло лгала. Вѣроятно было же нѣчто подобное, если даже наша нечуткая литература о томъ засвидѣтельствовала?

— Еще бы не было! Дѣло дѣтское. Но вѣдь подобные факты доказываютъ только одно: что въ обществѣ въ данный моментъ господствуетъ извѣстное направленіе. Если въ обществѣ царствуетъ вкусъ къ военнымъ упражненіямъ — дѣти маршируютъ, играютъ въ солдатики и бьютъ въ барабаны; если общество озабочено только огражденіемъ общественной безопасности— дѣти фискалятъ, наушничаютъ и т. п.; если въ общество проникаетъ стремленіе провѣрить авторитеты, дотолѣ руководившіе имъ — дѣти начинаютъ объяснять родителямъ, что они происходятъ отъ обезьянъ. Это вопросъ педагогическій, а не политическій; а потому тотъ, кто хочетъ рисовать общество, а не каррикатуру на него, долженъ брать предметомъ для своихъ изслѣдованій взрослыхъ, а не дѣтей.

Такимъ образомъ и эта попытка отстоять существованіе „молодого поколѣнія", въ качествѣ дѣйствующей двигающей силы, рушилась. Нѣтъ молодого поколѣнія. Есть адвокаты, есть земскіе дѣятели, есть литераторы, сапожники, золотари, производители — все, что угодно, исключая „молодого поколѣнія"!

— Да вѣдь ты сейчасъ же самъ обмолвился, что оно *было*, это искомое „молодое поколѣніе"?—обратился я къ Глумову.

— Не „обмолвился", а говорилъ утвердительно, и теперь утвердительно повторяю: было!!

— Гдѣ же оно?

— Это, братъ, исторія длинная и горестная. Можетъ быть, разскажу ее тебѣ—но *въ другой разъ*...

Глава II.

Первый часъ утра; вслѣдъ за сильнымъ звонкомъ вбѣгаетъ въ мой кабинетъ Глумовъ, на лицѣ котораго я читаю, что онъ намѣренъ въ чемъ-то поймать или уличить меня.

Накануне мы съ нимъ-таки поспорили. По обыкновенію онъ предложилъ загадку: отчего умственный уровень упалъ вездѣ, во всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, исключая желѣзнодорожной?—и по обыкновенію же я отвѣчалъ, что прежде надобно еще доказать пониженіе умственнаго уровня, а потомъ ужъ искать причину, такъ какъ, по мнѣнію моему, умственный уровень не только не понизился, но съ Божьею помощью идетъ все въ гору и въ гору. Въ подтвержденіе я сослался на музыку, и указалъ на блестящую плеяду молодыхъ русскихъ композиторовъ, на ея стремленіе осмыслить міръ звуковъ, приспособить его къ точному выраженію разнообразнѣйшихъ жизненныхъ функцій, начиная отъ самыхъ простѣйшихъ и кончая самыми сложными.

— Прежде,—говорилъ я:—музыка выражала только неясныя ощущенія печали и радости, да и тутъ все зависѣло не столько отъ содержанія звуковыхъ сочетаній, сколько отъ замедленія или ускоренія темпа. Теперь же найдены такія звуковыя сочетанія, въ которыхъ можно уложить даже полемику между Сѣченовымъ и Кавелинымъ. И ты ни разу не ошибешься опредѣлить: когда полемизируетъ Сѣченовъ и когда—Кавелинъ.

— То-есть, тебѣ скажетъ Неуважай-Корыто: вотъ это поетъ Сѣченовъ, а это—Кавелинъ,—и ты долженъ вѣрить.

— Нѣтъ, не Неуважай-Корыто, а ты самъ поймешь, что Сѣченовъ—basso profondo, а Кавелинъ —tenore di grazia.

— Да вѣдь и Катковъ, братецъ, basso profondo!

— Ну, нѣтъ, Катковъ—это симфонія особаго рода!

Тѣмъ бы, можетъ быть, разговоръ нашъ и кончился, но Глумовъ вдругъ запѣлъ. Сначала онъ прогремѣлъ коронаціонный маршъ изъ Мейерберова „Пророка“, а вслѣдъ за тѣмъ проурчалъ нѣсколько тактовъ изъ Vorspiel'я къ „Каменному Гостю“. Продѣлавши это, онъ какъ-то злорадно взглянулъ на меня.

Признаюсь: при всемъ несовершенствѣ голосовыхъ средствъ Глумова, разница была такъ ощутительна, что мнѣ сдѣлалось неловко. Дѣйствительно, думалось мнѣ, есть въ этомъ Vorspiel'ѣ что-то такое, что̀ скорѣе говоритъ о „посѣщеніи города Чебоксаръ холерою“, нежели о сказочной Севильѣ и о той теплой, благоухающей ночи, среди которой такъ загадочно и случайно подкашивается жизненная мощь Донъ-Жуана.

— Да ты Неуважай-Корыто знаешь?—вдругъ спросилъ меня Глумовъ.

— Немного знаю, а что?

— Ладно. Завтра скажу.

Онъ ушелъ, не произнеся больше ни слова. Теперь онъ явился.

— Идемъ!—сказалъ онъ, злорадно потирая руки.

— Куда? зачѣмъ?

— Говорю: идемъ!

Черезъ четверть часа мы были въ квартирѣ Неуважай-Корыта. Я съ любопытствомъ осматривался кругомъ, ибо здѣсь, въ этихъ стѣнахъ, разрабатывался типъ той новой музыки, которой предстояло изобразить полемику Сѣченова съ Кавелинымъ. Лично Неуважай-Корыто не былъ композиторомъ (онъ впрочемъ сочинилъ музыкальную теорему, подъ названіемъ: „Похвала равнобедренному трехугольнику“), но былъ подстрекателемъ и укрывателемъ. Онъ осуществлялъ собой критика-реформатора, котораго день и ночь преслѣдовала мысль объ упраздненіи слова и о замѣнѣ его инструментальною и вокальною музыкой. Мы застали его въ халатѣ, пробующимъ какой-то невиданный инструментъ, купленный съ аукціона въ частномъ ломбардѣ (впослѣдствіи это оказалась балалайка, на которой нѣкогда игралъ Микула Селяниновичъ). Это былъ длинный человѣкъ, съ длиннымъ лицомъ, длиннымъ носомъ, длинными волосами, прямыми прядями падавшими на длинную шею, длинными руками, длинными пальцами и длинными ногами. Халатъ у него былъ длинный, обхваченный кругомъ длиннымъ поясомъ съ длинными ки-

стями. Это до такой степени было поразительно, что самый кабинетъ его и все, что̀ въ немъ было, казалось необыкновенно длиннымъ.

— Вотъ тебѣ, Никифоръ Гаврилычъ, новый адептъ!—представилъ меня Глумовъ.

— Очень радъ! очень радъ! Мы немного знакомы, но на почвѣ музыки покуда еще не встрѣчались... позвольте привѣтствовать!

Онъ протянулъ мнѣ обѣ свои длинныя руки, и такъ сжалъ мои въ своихъ костлявыхъ пальцахъ, что мнѣ показалось, словно я попалъ въ передѣлъ къ самому „Каменному гостю“.

— И скажу вамъ,—продолжалъ онъ:—что вы пожаловали очень кстати, потому что Василій Иванычъ здѣсь.

— Василій Иванычъ? кто же такой этотъ Василій Иванычъ? легкомысленно спросилъ я.

Неуважай-Корыто сначала удивился и даже откинулся корпусомъ назадъ, но потомъ вспомнилъ нѣчто, ударилъ себя по лбу и снисходительно улыбнулся.

— Да! чтожъ я!—воскликнулъ онъ: — я и забылъ, что вы новичокъ! Вы знаете Мусоргскаго, Римскаго-Корсакова, Кюи—и думаете, что съ васъ этого будетъ! Но мы, батенька, — совсѣмъ другое дѣло! Мы такъ легко не удовлетворяемся! Мы не отдыхаемъ-съ! Мы ищемъ, и находимъ-съ! И находимъ—Василья Иваныча-съ!

Сказавши это, онъ троекратно вздрогнулъ отъ наслажденія и началъ длинными ногами шагать по длинному кабинету, ежеминутно длинными руками отбрасывая назадъ длинные волосы.

— Да-съ!—продолжалъ онъ:—Василій Иванычъ—это, доложу вамъ, своего рода аэролитъ-съ! Бываетъ это! Бываетъ, что вокругъ царствуетъ полнѣйшее и гнуснѣйшее затишье — и вдругъ словно камнемъ по лбу хватитъ! Это—Василій Иванычъ!

— Да что̀ за Василій Иванычъ такой? откуда ты его выкопалъ?—заинтересовался Глумовъ.

— Ну, нѣтъ! Это покуда еще секретъ! Онъ у насъ еще подъ спудомъ! Вотъ мы его сначала выдержимъ, вышлифуемъ, а потомъ и отдадимъ Ларошамъ на поруганіе!

— По крайней мѣрѣ покажешь ты его намъ?

— Нѣтъ, и не покажу. Услышать вы его услышите, а видѣть—ни-ни. Вотъ онъ у меня здѣсь, въ этой комнатѣ, рядомъ. Съ полчаса тому назадъ онъ позавтракалъ, и теперь спитъ. Вообще онъ ведетъ удивительно правильную жизнь: половину дня ѣстъ и спитъ, другую половину на фортепьяно играетъ. Представьте себѣ, онъ никогда никакой книги не читалъ, кромѣ моихъ критическихъ статей да еще полнаго собранія либретто, изданнаго книгопродавцемъ Вольфомъ!

— Но ежели онъ ничего не читалъ, то вѣдь умственный его кругозоръ...

— Долженъ быть ограниченъ, хочешь ты сказать?—Я совершенно съ тобою согласенъ. Но мы нашли его такъ недавно, что ничего еще не успѣли сдѣлать для умственнаго его развитія; это придетъ со временемъ. Впрочемъ

дѣло не въ томъ, откуда онъ почерпаетъ содержаніе для своего творчества, а въ томъ, что у него есть это содержаніе, и онъ относится къ нему вполнѣ правильно. Жизнь цѣлой вселенной есть не что иное какъ безконечный контрапунктъ—вотъ исходная точка. До сихъ поръ онъ поднялъ только одинъ край завѣсы; онъ наблюлъ только простыя и несложныя явленія, но надобно видѣть, съ какою изумительною осязаемостью онъ ихъ воспроизвелъ! Засимъ, когда онъ отъ простыхъ задачъ постепенно будетъ переходить къ болѣе и болѣе сложнымъ, то самъ собою придетъ и къ воспроизведенію безконечнаго: это ужъ наша забота, какъ направить его!

При этихъ словахъ онъ инстинктивно оттопырилъ губы и испустилъ звукъ въ родѣ трубнаго. Вѣроятно подъ вліяніемъ идеи безконечнаго онъ вспомнилъ о страшномъ судѣ.

— Онъ скоро проснется! Вы услышите его!—продолжалъ онъ послѣ кратковременной остановки, подойдя къ спущенной портьерѣ и заглядывая въ сосѣднюю комнату.—Вотъ онъ уже плюнулъ—вѣрный знакъ, что скоро проснется!

И дѣйствительно, не прошло минуты, какъ мы услышали такое чудовищное зѣваніе, что я разомъ перенесся воображеніемъ въ зало Маріинскаго театра, въ одно изъ представленій „Псковитянки".

— Каковъ пошибъ зѣвоты! — воскликнулъ Неуважай-Корыто, и вдругъ ударилъ себя по лбу:—ба! идея!

Онъ подбѣжалъ къ письменному столу и что-то наскоро написалъ на листѣ бумаги. Потомъ онъ взялъ этотъ листъ и поднесъ его къ моимъ глазамъ. Я прочиталъ: „Симфоническая рапсодія (A-dur): чиновникъ департамента разныхъ податей и сборовъ, зѣвающій надъ чтеніемъ музыкальнаго обозрѣнія г. Лароша".

— Департаментъ разныхъ податей и сборовъ уже не существуетъ,—сказалъ я:—онъ распался на двое: на департаментъ окладныхъ сборовъ и департаментъ неокладныхъ сборовъ.

— Благодарю васъ! ваше замѣчаніе важнѣе, нежели вы полагаете! Мы обязаны изображать въ звуковыхъ сочетаніяхъ не только мысли и ощущенія, но и самую обстановку, среди которой они происходятъ, не исключая даже цвѣта и формы вицъ-мундировъ. Все должно быть слажено такъ, чтобъ никто не могъ уличить насъ въ клеветѣ.

Въ это мгновеніе изъ сосѣдней комнаты донесся новый звукъ: Василій Иванычъ отдувался.

— Опять идея! — воскликнулъ Неуважай-Корыто, снова подбѣгая къ письменному столу.

Я прочиталъ: „Симфоническая идиллія (F-moll): Ной, послѣ извѣстнаго злоупотребленія виноградныиъ сокомъ, просыпается и не понимаетъ, что̀ вокругъ него происходитъ".

— Это для Василія Ивановича?

— Да, для него. Разумѣется, постепенно. Сначала онъ обработаетъ тему о чиновникѣ департамента окладныхъ сборовъ, а потомъ и къ Ною приступитъ. Кстати, не забыть бы! надо купить для Василія Ивановича Священную Исторію...

— Ты, братъ, съ картинками!—посовѣтовалъ Глумовъ.

— Господи! прости наши прегрѣшенія!—вдругъ раздалось въ сосѣдней комнатѣ.

— Слышите! слышите! кажется, онъ говоритъ!—какъ-то испуганно засуетился Неуважай-Корыто.

— Да; а что?

— Онъ никогда... никогда не говоритъ! Это новость! Василій Иванычъ! батюшка! что̀ съ вами?

— Му-у-у!

— Вотъ это—такъ! Онъ всегда выражаетъ свои ощущенія простыми звуками! Иногда это очень оригинально выходитъ. Однажды онъ вдругъ крикнулъ: „ЫЫ!"—и что̀ бы вы думали! сейчасъ же послѣ этого сѣлъ за фортепьяно и импровизировалъ свою безсмертную буффонаду: „Извозчикъ, въ темную ночь отыскивающій потерянный кнутъ"!

— И ты такъ-таки и не покажешь намъ автора этой безсмертной буффонады?—упрекнулъ Глумовъ:—Господи! хоть бы глазкомъ на него взглянуть!

— Нельзя, душа моя! Я тебѣ говорю: онъ подъ спудомъ у насъ! Пускай онъ тамъ, въ той комнатѣ, для насъ поиграетъ, а мы его отсюда послушаемъ! Василій Иванычъ!—крикнулъ онъ:—пришли господа, которые желаютъ васъ послушать! Сыграйте, голубчикъ! И знаете ли что̀: сыграйте-ка сначала „По̀леньку"!

— Го-го-го!—откликнулся Василій Иванычъ.

Мы сѣли всѣ трое на диванъ; Неуважай-Корыто по середкѣ, мы съ Глумовымъ—по бокамъ. Раздался аккордъ.

— Слушайте! слушайте! дишканты! замѣтьте работу дишкантовъ!—шепнулъ намъ Неуважай-Корыто, сдерживая дыханіе.

Дѣйствительно, дишканты работали сильно; Василій Иванычъ необыкновенно быстро перебиралъ пальцами по клавишамъ верхняго регистра, перебиралъ, перебиралъ—и вдругъ простукалъ нѣсколько нотъ въ басу.

— Это—няня Пафнутьевна! - шопотомъ объяснилъ Неуважай-Корыто.

Опять дишканты; щебечутъ, взвизгиваютъ, и все словно на одномъ мѣстѣ толкутся, и вдругъ — бумъ!—опять няня Пафнутьевна! Бумъ-бумъ-бумъ! —и снова дишканты! Защебетали, застрекотали—бумъ!—и затѣмъ хаосъ... Руки забѣгали по всей клавіатурѣ, отъ верхняго конца до нижняго—и наоборотъ...

— Поленька поссорилась съ Пафнутьевной...

Пауза. Неуважай-Корыто, не сводя глазъ съ портьеры, хватаетъ насъ обѣими руками за рукава сюртуковъ, какъ бы желаетъ воспрепятствовать, чтобы мы не ушли. Глумовъ открываетъ ротъ, чтобы сказать, но Неуважай-Корыто мгновенно закрываетъ ему ротъ рукою, и дѣлаетъ головою жестъ не то умоляющій, не то приказательный. Пауза длится пять минутъ, послѣ чего игра возобновляется. Въ дѣлѣ принимаютъ участіе уже только двѣ самыя верхнія октавы, на пространствѣ которыхъ пальцы Василія Ивановича безъ устали переливаютъ изъ пустого въ порожнее; темпъ постепенно замедляется и впадаетъ въ арпеджіо.

— Поленька проситъ прощенія!—чуть дыша произноситъ Неуважай-Корыто.

Бумъ!—Пафнутьевна не прощаетъ! Звуки сливаются; дишканты, басы, средній регистръ—все смѣшалось. Руки Василія Ивановича аккордами забѣгали по клавишамъ... бацъ!—кто-то всѣмъ тѣломъ сѣлъ на клавіатуру и извлекъ...

— Это примиреніе!—воскликнулъ Неуважай-Корыто, и поднялъ такой громъ ладонями, что можно было подумать, что онѣ у него костяныя.

— Каково?—обратился онъ къ намъ, когда въ сосѣдней комнатѣ водворилась тишина.

— Хорошо, братецъ!—отвѣтилъ Глумовъ:—только вотъ чего я не понимаю: почему это „Поленька", а не „Наденька"?

— Глумовъ! ты ничего не смыслишь! ты не понимаешь даже, что у Наденьки совсѣмъ другой музыкальный образъ, нежели у Поленьки! Наденька мечтательна и сантиментальна, Поленька — бойка и игрива. Наденька никогда не ссорится съ Пафнутьевной, Поленька—на каждомъ шагу! Наденька —F-moll, Поленька—C-dur. Неужели, наконецъ, это не ясно?

— Ясно-то ясно, а все-таки...

— Глумовъ! ты профанъ! Василій Иванычъ! душенька! Слышите, Глумовъ утверждаетъ, что это „Наденька", а не „Поленька"!

— Цыркъ!

— Вотъ видишь — онъ разсердился! И онъ не будетъ больше играть! Нельзя такъ, душа моя! Вѣдь онъ художникъ! онъ очень на эти вещи чувствителенъ!

— Цыркъ! цыркъ! цыркъ!—раздавалось за портьерой.

— Теперь—кончено! теперь—онъ ни за что не станетъ играть! А кто виноватъ? Нельзя такъ, мой другъ! Ежели ты ничего не смыслишь въ музыкѣ, то это тѣмъ меньше даетъ тебѣ правъ оскорблять человѣка... художника!

— Господи! да развѣ я намѣренно? развѣ я знаю ваши обычаи? Ты бы сказалъ, что сомнѣній не допускается! Хочешь, я у него прощенія попрошу?

— Хорошо, только это еще вопросъ! Онъ—художникъ, а для художника раскаянье — еще не все! Не въ томъ дѣло, что ты просишь забыть о своей опрометчивости, а въ томъ, что тутъ есть прискорбный фактъ, котораго уничтожить нельзя! Это не какой-нибудь Мендельсонъ-Бартольди, у котораго („Гебриды") нельзя понять, море ли плещетъ, или пьяные матросы покачиваются (однако и у него есть уже представленіе о „качкѣ"!—прибавилъ онъ, приложивъ длинный палецъ къ длинному лбу): это Василій Иванычъ... понимаешь? Тотъ Василій Иванычъ, у котораго всякій звукъ такъ типиченъ, такъ ясенъ и реаленъ, что онъ имѣетъ полное право требовать, чтобъ слушатель, безъ всякаго предувѣдомленія, прямо, сказалъ: да! это она! это „Поленька"! И ежели нашелся слушатель, который этого не сказалъ, ежели...

— Постой! я все-таки попробую! можетъ быть, онъ и проститъ!—Василій Ивановичъ! батюшка!—обратился Глумовъ по направленію къ сосѣдней комнатѣ: — по глупости вѣдь я! Ну, какая же это „Наденька", ежели вы

говорите, что это „Поленька"! Простите же, голубчикъ, да сыграйте еще что-нибудь!

Но Василій Иванычъ ни однимъ звукомъ не отвѣтилъ на мольбу Глумова. Мы приняли бы это молчаніе въ неблагопріятную сторону, еслибъ Неуважай-Корыто не успокоилъ насъ.

— Не цыркаетъ—значитъ, смягчается!—шепнулъ онъ:—самолюбивъ онъ у насъ—страшно! У всѣхъ этихъ художниковъ раны какія-то — точно подъ Севастополемъ они изувѣчены! Прикоснись только — бѣда! Просите, просите еще!

-- Ты-то что-жъ стоишь! проси!—толкнулъ меня Глумовъ.

— Василій Иванычъ!—началъ я:—за что же я-то наказанъ! Я-то собственно вѣдь ни на минуту даже не усомнился, что это „Поленька"!

— Му-у-у!—слабо раздалось по ту сторону портьеры.

— Ну, вотъ! слава Богу! отлегло!—болѣе знаками, чѣмъ словами, объяснилъ намъ Неуважай-Корыто, и, обратившись къ портьерѣ, громко прибавилъ:—Василій Иванычъ! милѣйшій! И въ самомъ дѣлѣ! сыграйте-ка... ну, что̀ бы такое? ну, вотъ хоть вашъ „симфоническій tableau de genre": „Торжество начальника отдѣленія департамента полиціи исполнительной по поводу полученія чина статскаго совѣтника"... сыграете?

— Го-го-го!

Мы опять въ томъ же порядкѣ усѣлись на диванъ; но Неуважай-Корыто выпятился нѣсколько впередъ и простеръ передъ нами руки.

— Начинается!—шепнулъ онъ.

Tremolo въ нижнемъ регистрѣ, потомъ tremolo въ среднемъ регистрѣ, наконецъ tremolo въ верхнемъ регистрѣ. Pianissimo, piano, sforzando, forte, fortissimo, потомъ diminuendo, piano, pianissimo—разъ десять одно и то же.

— Это *онъ* мечтаетъ. Что̀ лучше?—спрашиваетъ онъ себя: чинъ статскаго совѣтника или орденъ святыя Анны второй степени?.. Замѣтьте эту фразу: святы-ы-ы-ыя Анны-и! Замѣтьте, какъ онъ вдругъ обрубилъ: Анны-и!

Василій Иванычъ пальцемъ ударяетъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ по клавишамъ—это „переходъ". Затѣмъ слѣдуетъ трель, которая попеременно продѣлывается во всѣхъ регистрахъ и изъ-за которой смутно выступаетъ какой-то мотивъ. Не то „Во лузяхъ", не то „По улицѣ мостовой", не то „Шли наши ребята"...

— *Онъ* охорашивается передъ зеркаломъ... слышите: ззз?—Это щетка по головѣ ходитъ... А вотъ и пѣсни... слышите, русская пѣсня раздается?—это *онъ* дѣтство вспоминаетъ... *Онъ* — сынъ попа... слышите, эту трель въ дишканту—это ви́ца! ви́ца свиститъ!

Минутная пауза („онъ идетъ въ департаментъ"!). Нѣсколько разъ сряду повторяется звукъ, образуемый двумя сосѣдними клавишами, ударяемыми одновременно („онъ пришелъ въ департаментъ и снимаетъ калоши... слышите, шлепаютъ!"), потомъ—рррр... („это сторожъ Михеичъ харкаетъ!") и вдругъ—бумъ! буми-бумъ! бумъ-бумъ!

— Директоръ звонитъ!—въ ужасѣ шепчетъ Неуважай-Корыто.

Coda; отдаленные звуки альпійскаго рожка и тирольской пѣсни... чокъ-чокъ-чокъ!

— Директоръ цѣлуетъ *его*!

Sforzando, forte, fortissimo... Дишканты звенятъ, средній регистръ подзваниваетъ, басы рокочутъ... Общій торжественный гимнъ—во вся. Раздаются нѣсколько аккордовъ „Славься!“—и утопаютъ въ невыразимой трескотнѣ.

— Слышите: какофонія? — это поздравляютъ его разомъ всѣ прочіе начальники отдѣленія, а также сослуживцы и подчиненные. Слышите: оттолчка въ басу? — это экзекуторъ! Но такъ какъ всѣ они не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о правильной постройкѣ звуковыхъ сочетаній, то понятное дѣло, что хоръ выходитъ, какъ говорится, кто въ лѣсъ, кто по дрова...

Первая часть кончена. Послѣ пятиминутнаго антракта начинается вторая часть. Я не буду впрочемъ слѣдить за игрой Василія Иваныча, а подѣлюсь съ читателемъ только объясненіями Неуважай-Корыто.

— *Онъ* возвращается домой и передаетъ женѣ о случившемся. Allegro energico, въ которомъ выражается *его* признательность начальству. Слышите! слышите! дишканты! дишканты! Это дѣти веселой гурьбой врываются въ комнату и поздравляютъ отца. Но вотъ и дѣти, и жена уходятъ; *онъ* остается одинъ. Чу! звуки пастушьей свирѣли! Lentamente con tranquilezza. Опять отзывается прошлое. Воспоминанія плывутъ, плывутъ... Сѣрый домъ, нетопленная печь, отецъ—попъ, мать—попадья, на столѣ—полштофъ сивухи... Слышите: буль-буль—это они наливаютъ вино... А на дворѣ—*онъ! Онъ* засучилъ рубашонку и шлепаетъ по грязи... шлепъ! шлепъ! шлепъ! Трахъ! полетѣли брызги — *онъ* упалъ въ лужу... слышите: въ дишкантахъ! — это брызги! Вотъ онъ барахтается, а въ это время издали доносится удалая пѣснь дьячка, возвращающагося изъ кабака... Ближе, ближе—и вотъ...

Цѣлый громъ льется на насъ изъ-за портьеры. Я прислушиваюсь и узнаю „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“... Но подъ пальцами Василія Иваныча она скорѣе похожа на „херувимскую“ Львова, нежели на разгульную бурлацкую пѣсню.

— Чи-рикъ! чи-рикъ! — продолжаетъ объяснять Неуважай-Корыто: — allegro giocoso... Это поздравляютъ департаментскіе сторожа. Слышите, какъ отбиваетъ нижнее do — это Михеичъ; а тамъ, вверху, словно брызгами вторитъ ему si-bemol — это разливается директорскій курьеръ Семенчукъ... Пятирублевая бумажка—замѣтьте, какъ мимоходомъ удивительно обрисованъ Дмитрій Донской!—полагаетъ предѣлъ этимъ восторгамъ. Общій гимнъ, на манеръ „Тебе Бога хвалимъ“...

Вторая часть кончена.

Часть третья. Содержаніе ея: пирушка по случаю полученія чина статскаго совѣтника. Подаютъ пирогъ („съ сигомъ и съ капустой! слышите! слышите, какъ запахло! слышите, какъ звякаютъ ножи и вилки, какъ сыплются на тарелки крошки сига, какъ чавкаетъ экзекуторъ Иванъ Михайлычъ!“) Чи-рикъ! чи-рикъ? Agitato. Входитъ отставной, похожій на старинной формы подсвѣчникъ, губернаторъ, находящійся двадцать лѣтъ подъ судомъ и пользующійся лишь половинной пенсіей. Выпивъ предварительно рюмку очищенной, онъ начинаетъ „разсказъ“ о претерпѣнныхъ имъ бѣдствіяхъ. Двадцать лѣтъ, говоритъ онъ, я былъ губернаторомъ и двадцать же

(tremolo) лѣтъ нахожусь подъ судомъ! Самое дѣло о моихъ гнусныхъ преступленіяхъ пропало въ сенатѣ, а меня все не рѣша-а-а-а-ютъ, и я все нахожусь на половинной пенсіи! И вотъ теперь, вмѣстѣ съ многими другими генералами, я состою въ качествѣ загонщика при Самуилѣ Соломонычѣ Поляковѣ! („Замѣтьте этотъ разсказъ! онъ весь держится на одной нотѣ, то замедляемой, то ускоряемой!"). — Милости просимъ, ваше прево-о-о-сходительство! — говоритъ виновникъ торжества: — хоть я и забылъ васъ пригласить, однако въ такой день и для незваныхъ кусокъ пирога найдется! („Замѣтьте эту фразу: „х'ть я и забы-ы-ылъ ва-асъ пригл'сить"... а какова язвительность этого sol-dièze! замѣтьте, какъ отодвигаются стулья, чтобы дать мѣсто новому гостю... тррр... тррр... изумительно!") Опять ѣда; ножи звякаютъ, крошки пирога сыплются. Подаютъ шампанское. Василій Иванычъ по ту сторону, а Неуважай-Корыто по сю сторону портьеры, подражаютъ губами хлопанью пробокъ. Входитъ еврей. „Насе вамъ поцтеніе!" подпѣваетъ Неуважай-Корыто: „кольцы, броски хороси! и помада, и духи!" („Понимаете? это, собственно говоря, полемическій пріемъ! Это Мендельсонъ-Бартольди и Мейерберъ... жиды!") Жида обступаютъ, торгуются съ нимъ и въ заключеніе показываютъ свиное ухо. Жидъ убѣгаетъ. Общій хоръ (alla capella), оканчивающійся приглашеніемъ на преферансъ.

Четвертая часть. Иванъ Михайлычъ объявляетъ семь въ червяхъ. Отставной губернаторъ подсматриваетъ въ карты, и, видя, что Иванъ Михайлычъ принялъ туза пикъ за туза червей, провозглашаетъ: „вистую и приглашаю — въ темную!" Мгновенно обнаруживается роковая ошибка. Тріо: онъ (я) безъ трехъ! — къ которому незамѣтно присоединяются голоса прочихъ. — Тррахъ! — раздается раздирающій уши звукъ...

— Конецъ еще не додѣланъ, — объясняетъ Неуважай-Корыто: — мы даже не знаемъ, слѣдуетъ ли остановиться на четвертой части, или написать еще съ десятокъ частей. Нѣкоторые изъ „нашихъ" говорятъ, что надо ограничиться четвертою частью, но Василій Иванычъ, а вмѣстѣ съ нимъ и я, полагаемъ, что необходимо продолжать. Не забудьте, что вслѣдъ за праздникомъ у виновника торжества должно послѣдовать приглашеніе отъ Ивана Михайлыча, у котораго кстати жена родила, потомъ приглашеніе (на селедку) отъ находящагося подъ судомъ губернатора, гдѣ гости уличаютъ хозяина въ нечистой игрѣ въ карты; потомъ нашъ герой ѣдетъ благодарить директора (который знакомитъ его съ своею женою), потомъ — министра, и наконецъ, поблагодаривъ всѣхъ, убѣждается, что ему ничего больше не остается, какъ благодарить Создателя. Ежели ограничиться только четырьмя частями, то придется все это оставить. Не правда ли, жалко?

— Да еще какъ жалко-то! Не оставляй! — Слушай! у него поясница... надежная?

— Поясница у него — удивительная!

— Пусть продолжаетъ! пускай пишетъ всѣ десять частей!

— Василій Иванычъ! голубчикъ! вотъ и Глумовъ на нашей сторонѣ! онъ тоже говоритъ, что надо продолжать!

— Му-у-у!

— Итакъ, будемъ продолжать! — говоритъ Неуважай-Корыто, весело

потирая руки.—А теперь, господа, хотите ли чего-нибудь легонькаго, буффонаду какую-нибудь... напримѣръ: „Извозчикъ, отыскивающій въ темную ночь потерянный кнутъ“?

Но мы уже ничего не слушали. Мы нàскоро простились съ гостепріимнымъ хозяиномъ, нàскоро накинули шубы на плечи и выбѣжали на улицу.

Нѣкоторое время мы шли подавленные, ошеломленные.

— И ты не хочешь понять, отчего нынче такъ много самоубійствъ!— вдругъ обратился ко мнѣ Глумовъ. — Вотъ хоть бы этотъ самый Василій Иванычъ... Кàкъ освободится онъ отъ этихъ звуковъ, которые со всѣхъ сторонъ осаждаютъ его, которые, какъ онъ ни бѣги отъ нихъ, все-таки настигнутъ его? Одно средство... прорубь!

Глава III.

На этотъ разъ Глумовъ пришелъ въ настроеніи самообличенія.

— Да, братъ,—сказалъ онъ:—всѣ мы только по наружности объ какихъ-то новыхъ порядкахъ разглагольствуемъ, а разбери-ка хорошенько: вѣдь мы только и дышемъ тѣмъ, чтò въ насъ отъ старой закваски осталось, да еще тѣми лазейками, которыя эта закваска отыскиваетъ для себя въ такъ-называемыхъ новыхъ порядкахъ.

— Не чрезъ край ли ты однакожъ хватилъ? — возразилъ я:—вѣдь жить тѣмъ, чтò мы прячемъ, въ чемъ не можемъ открыто сознаться—право, дѣло довольно трудное. Какъ бы ни сильно говорила въ насъ старая закваска, мы все-таки чувствуемъ, что обнаруживать ее не совсѣмъ для насъ удобно: какъ же жить, опираясь на такой сомнительный матеріалъ? Да и сама формальная обстановка современной жизни такъ ужъ сложилась, что волей-неволей приходится оставить старую закваску.

— Чтò касается до того, что мы не имѣемъ смѣлости открыто обнаруживать живущую въ насъ старую закваску, то это обязываетъ насъ совсѣмъ не къ тому, чтобы разстаться съ нею, а только къ тому, чтобы дѣйствовать исподтишка. Поэтому для своего прикрытія мы выдумали цѣлую безсодержательную фразеологію; мы изобрѣтаемъ каждый день новыя обстановки, въ которыхъ новое представляютъ собственно только формы; однимъ словомъ, потихоньку блудимъ и пакостимъ въ руку старинѣ. И ежели все это, взятое вмѣстѣ, дѣйствительно представляетъ очень сомнительный жизненный матеріалъ, то усилія, которыя мы употребляемъ для огражденія его отъ погибели, все-таки доказываютъ, что онъ намъ дорогъ, несмотря на свою негодность. А что касается до вліянія формальной обстановки современной жизни, то само собой разумѣется, что я не полѣзу въ уѣздный судъ съ просьбой, коль скоро знаю, что уѣздные суды упразднены. Это такъ, это вліяніе я признаю.

— Послушай! вѣдь это у тебя ужъ привычка такая — все въ странномъ свѣтѣ представлять. Не одни уѣздные суды, а кой-что и другое. И даже не кой-что, а очень многое. Разумѣется, старики, вотъ какъ мы съ тобой...

— Да я объ старикахъ-то собственно и говорю, потому что покуда

они одни и стоятъ на виду. Что будетъ съ подростающимъ поколѣніемъ, какъ будетъ оно дѣйствовать и какія чувства проявлять — этого я не знаю, хотя приблизительно и могу догадываться, что оно будетъ лучше, да и ему будетъ лучше. Я говорю о дѣятеляхъ минуты—кто эти дѣятели! Вѣдь это, братъ, мы съ тобой, мы, пропитанные насквозь преданіями крѣпостного права, мы, для которыхъ упраздненіе старыхъ судовъ, напримѣръ, означаетъ только, что отнынѣ до такой-то суммы человѣкъ мировому судьѣ подсуденъ, а свыше этой суммы—окружному суду.

— Нѣтъ, съ этимъ я положительно согласиться не могу. Не говоря уже о томъ, что, кромѣ насъ и нашихъ сверстниковъ, въ числѣ современныхъ дѣятелей найдется достаточно и молодыхъ людей, почти чуждыхъ преданіямъ крѣпостного права, я утверждаю, что даже мы, старики, — да, и мы измѣнились къ лучшему. Скажу, напримѣръ, про себя. Конечно, отмѣна крѣпостного права встрѣчена была мною съ сочувствіемъ преимущественно съ точки зрѣнія идеальной, какъ величайшая и либеральнѣйшая мѣра нашего времени; конечно, личные матеріальные мои интересы были настолько задѣты ею, что я... ну, да, я сознаюсь въ этомъ... я не могъ не *почувствовать* послѣдствій ея... Но вѣдь въ человѣкѣ есть умъ, душа моя, умъ, который доказываетъ, что въ извѣстныхъ случаяхъ возврата не можетъ быть. Я понялъ, что личное чувство мое должно подчиниться... я убѣдилъ себя, я дѣлалъ въ этомъ смыслѣ усилія...

— И успѣлъ въ этихъ усиліяхъ?

— Да, успѣлъ.

— И никогда тебя не подмывало дать подножку новымъ порядкамъ? Никогда, даже инстинктивно, ты не старался утянуть что-нибудь, устроить какую-нибудь возможность... ну, хоть возможность тыкать впередъ руками?

— Никогда!

Глумовъ посмотрѣлъ на меня не то проницательно, не то съ укоромъ, какъ смотрятъ на человѣка, отъ котораго не ждали, чтобъ онъ солгалъ.

— Ну, исполать тебѣ!—произнесъ онъ:—а вотъ я, постепенно объ себѣ размышляючи, знаешь ли, на какое открытіе я набрёлъ?

— На какое?

— А на такое, что и до сихъ поръ, несмотря ни на какіе новые порядки, нѣтъ для меня удовольствія выше, какъ на травлю смотрѣть.

— Какъ такъ?

— Да такъ вотъ. Люблю, братецъ, видѣть, какъ связаннаго человѣка бьютъ. Нѣтъ для моего нутра усладительнѣе этого зрѣлища! Искаженія человѣческаго лица, корчи, подавленные вздохи... прелесть!

— Да гдѣ же ты ухитряешься нынче отыскивать подобныя зрѣлища?

— Вездѣ, голубчикъ, на каждомъ шагу; а чтобъ не захватывать слишкомъ широко, ограничимся хоть камерою суда.

— Помилуй! отправленіе правосудія...

— Отправленіе правосудія — само собой, а травля — сама собой. Въ томъ-то и вещь, душа моя, что отправленіе-то правосудія интересуетъ меня на золотникъ, а отъ травли — у меня дыханіе въ зобу спирается. И я тоже думалъ, какъ крѣпостное-то право рухнуло: ну, думаю, пропали мы те-

перь! Теперь и досуговъ нашихъ дѣвать намъ не́куда, потому что отнынѣ все на тонкой деликатности пойдетъ. И вдругъ меня словно озарило: се́мъ-ка на уголовное судоговореніе схожу. Пришелъ—и духомъ обновился: такъ на меня изъ старой кладовой и пахну́ло. Боже ты мой! какъ они его били! Сперва вышелъ одинъ молодой человѣкъ—и смаху по щекѣ ударилъ; потомъ разбѣжался другой молодой человѣкъ — и вырвалъ клокъ волосъ; потомъ выступилъ развязнымъ шагомъ третій молодой человѣкъ—и запустилъ живого ежа въ глотку; четвертый молодой человѣкъ, ради шутки, всталъ сбоку — и облилъ помоями. Бойко, весело, остроумно, съ полной увѣренностью въ безнаказанности... ахъ, молодые люди!

Я молча выслушалъ эту діатрибу, и нѣкоторое время раздумывалъ, что̀ бы такое возразить. Мысль Глумова поражала странностью, почти неожиданностью. Я зналъ очень хорошо, что въ современномъ уголовномъ судопроизводствѣ дѣйствуютъ представители такъ называемыхъ „сторонъ", которые и устраиваютъ промежъ себя обвинительно-защитительный турниръ, но чтобы можно было по этому случаю набрести на мысль о „травлѣ" — это и въ голову мнѣ не приходило. Поэтому разоблаченье Глумова произвело на меня отупляющее впечатлѣніе. Провѣряя это впечатлѣніе, я не могъ впрочемъ не сознаться сейчасъ же, что и во мнѣ таится какое-то словно бы болѣзненное пристрастіе къ современному русскому уголовному процессу. Тѣмъ не менѣе до сихъ поръ я старался объяснить себѣ это явленіе нѣкоторыми сочувственными мнѣ формами, въ которыя этотъ процессъ облеченъ: публичностью, скоростью, равноправностью обвиненія и защиты, наконецъ присутствіемъ присяжныхъ засѣдателей, выражающихъ живую общественную совѣсть. И вотъ, является человѣкъ, который говоритъ мнѣ: не то! совсѣмъ не отправленіе правосудія тебя занимаетъ, а травля! Конечно, Глумовъ преувеличиваетъ, но почему же однако, когда я прочитывалъ стенографическіе отчеты, напримѣръ, процессовъ супруговъ Непениныхъ или игуменьи Митрофаніи, у меня то-и-дѣло вырывались восклицанія: „молодецъ!" „хорошенько его!" „такъ его, такъ... катай!" Какое отношеніе имѣли эти восклицанія къ „отправленію правосудія"? Не говорило ли во мнѣ въ этомъ случаѣ, напротивъ, то животное чувство травли, которое заставляетъ человѣка сосредоточивать вниманіе исключительно на защитительно-обвинительномъ турнирѣ, совершающемся по поводу процесса, а не на содержаніи самого процесса или на предполагаемомъ исходѣ его?

— Да, братъ люблю видѣть, какъ связаннаго человѣка бьютъ!—продолжалъ между тѣмъ Глумовъ, какъ бы отвѣчая на мои тайныя размышленія: —да вѣдь и вообще вся наша публика это любитъ, и только іезуитствуетъ, ссылаясь на какой-то либерализмъ. Почему, изъ всѣхъ новшествъ современной жизни, она вполнѣ примирилась только съ преобразованнымъ уголовнымъ судопроизводствомъ? Почему ко всему прочему она отнеслась съ тревогой и даже съ желаніемъ подставить ножку, а къ публичной уголовщинѣ стремится съ ненасытной жадностью, и ежели по временамъ и поварчиваетъ, то потому только, что суды-де воровъ и убійцъ слишкомъ часто оправдываютъ: нужно бы ихъ, канальевъ, въ три кнута! А потому, мой другъ, что только уголовная реформа не произвела въ русскомъ человѣкѣ внутренней ломки, что она

одна не нарушила его инстинктовъ, одна дозволила ему остаться самимъ собою, то-есть тѣмъ же любителемъ травли, какимъ онъ всегда былъ.

— Душа моя!—собрался я наконецъ съ духомъ: — очевидно ты смѣшиваешь травлю съ судоговоренiемъ, и въ тѣхъ спасительныхъ обвинительно-защитительныхъ пререканiяхъ, безъ которыхъ немыслимо произнесенiе правильнаго приговора, видишь...

Но онъ только махнулъ рукой, словно бы отогналъ докучливую муху, и продолжалъ:

— Знаешь ли ты, что я не пропускаю ни одного засѣданія, въ которомъ есть надежда услышать, какъ связанному человѣку кинутъ публично въ глаза, что онъ—воръ и злодѣй; что онъ былъ таковымъ въ утробѣ матери и пребудетъ таковымъ до могилы; что онъ попралъ законы божескіе и человѣческіе; что онъ святотатственной рукой подорвалъ основы, на которыхъ зиждется общественность; что онъ оскорбилъ человѣческую совѣсть; что украденный имъ рубль вопіетъ къ небу; что нужно не медля, сейчасъ же, сію минуту отсѣчь этотъ омерзительный, гангренозный, членъ, дабы оградить общественный организмъ отъ ежечасно угрожающаго ему разложенія! Знаешь ли, что, слыша эти горячія слова, я чувствую, что кровь бьетъ въ голову, что еще одна минута, еще одно обвинительное усиліе — и я зарычу, какъ скотина? Знаешь ли ты, что мнѣ даже этого мало, что я всѣ газеты перечитываю, чтобы быть, такъ сказать, очевидцемъ всякаго удара, наносимаго связанному человѣку по всему лицу нашего обширнаго отечества?

— Воля твоя, а ты на себя клеплешь! — прервалъ я: — ты вообще человѣкъ неумѣренный въ выраженіяхъ, и вотъ...

Но онъ, опять-таки не слушая, продолжалъ:

— И никогда,—говорилъ онъ:—зрѣлище травли не было сопряжено съ такими удобствами, какъ теперь. И прежде русскій человѣкъ любилъ взглянуть, какъ бьютъ связаннаго человѣка, но онъ дѣлалъ это келейно, гдѣ-нибудь на конномъ дворѣ, а подъ конецъ, когда уже стали показываться признаки освобожденія, то началъ понимать, что такого рода зрѣлища даже не безопасны. И прежде почтеннѣйшая публика охотно смотрѣла на развязку уголовной драмы, въ видѣ торговой казни на площади, но при этомъ она вынуждалась вытерпѣть множество неудобствъ: спозаранку встать, стоять и ждать на открытомъ воздухѣ, подвергаясь неблагопріятнымъ атмосферическимъ вліяніямъ, видѣть обнаженную спину осужденнаго, наблюдать, какъ плеть, свистя въ воздухѣ, симметрически укладываетъ одинъ рубецъ подлѣ другого, пока не образуется сплошной кровавый полумѣсяцъ, и проч. и проч. Все это воздерживало отъ зрѣлищъ, налагало на охотниковъ узду. Теперь это дѣло обставлено удивительнѣйшимъ комфортомъ. Утромъ ты встаешь въ свое время, не торопясь пьешь чай, прочитываешь газету и въ урочный часъ отправляешься въ судъ. Тамъ ты въ теплой комнатѣ, сидишь на скамьѣ, даешь своему тѣлу то положеніе, какое находишь для себя удобнѣйшимъ, ищешь въ толпѣ знакомыхъ, разсуждаешь, споришь, шутишь. Тсс... вдругъ все замерло! Это онъ... Это „связанный человѣкъ“! Онъ еще не осужденъ, онъ предполагается еще невиннымъ, но по унынію, разлитому въ его лицѣ, ты замѣчаешь, что онъ смутно о чемъ-то догадывается, нѣчто предчувствуетъ.

И точно: подожди часъ-другой, и по тому, какъ онъ замечется и скорчится на скамьѣ своей, ты убѣдишься, что самыя горькія его тревоги были ничто въ сравненіи съ огорошившею его дѣйствительностью. А! ты еще не осужденъ! ты еще предполагаешься невиннымъ! Такъ вотъ же тебѣ, вотъ! вотъ! вотъ!

— Но надобно же, чтобъ общество въ лицѣ...

— Постой! знаю я и „общество", и „въ лицѣ" — все знаю. Дай кончить. Корчится „связанный человѣкъ", а между тѣмъ ты не видишь ничего рѣжущаго, ничего бьющаго въ глаза, ничего такого, что̀ могло бы видимымъ, осязательнымъ образомъ быть причиной этихъ корчей. Передъ глазами твоими нѣтъ ни обнаженной спины, ни кроваваго полумѣсяца, ничего такого, что̀ нѣкогда заставляло „даму пріятную во всѣхъ отношеніяхъ" опускать стыдливо глаза. Теперь она можетъ дать волю и зрѣнію, и слуху, потому что дѣйствующимъ лицомъ въ новѣйшей травлѣ является не плеть, а психологія. Подъ дѣйствіемъ ея, обвиняемый (не обвиненный, а обвиняемый!) обливается потомъ, блѣднѣетъ, краснѣетъ, бросаетъ то умоляющіе, то дурацки-угрожающіе взгляды... „Что̀, если этой психологіи повѣрятъ?" мерещится ему: „что̀, если мой защитникъ въ отвѣтъ на эту обвинительную психологію не выдумаетъ такой же защитительной психологіи?" А ты, едва сдерживая дыханіе, не пропускаешь ни одного моментальнаго подергиванья мускуловъ лица, которое обличаетъ разнообразныя нравственныя судороги, *его* обуревающія, — и тебѣ не стыдно, и ты не опасаешься, что тебя уличатъ въ звѣрскихъ инстинктахъ, какъ уличали (хоть изрѣдка, да уличали!) нашихъ отцовъ, когда они злоупотребляли помѣщичьей властью. Вотъ видишь: прежде все-таки хоть особенный видъ преступленія былъ, называвшійся „злоупотребленіемъ помѣщичьей власти" и именно означавшій неумѣренную страсть къ травлѣ, а нынче даже и этого нѣтъ. Да и кому же въ самомъ дѣлѣ придетъ на умъ выдумать такой видъ преступленія, который назывался бы „злоупотребленіемъ хожденія въ суды для присутствованія при уголовныхъ судоговореніяхъ"?

Онъ остановился наконецъ, чтобъ перевести духъ.

— Ну, вотъ видишь ли, — поспѣшилъ я воспользоваться этой паузой: — самъ же ты говоришь, что нѣтъ ни обнаженной спины, ни крови, и хоть, по словамъ твоимъ, все это съ избыткомъ возмѣщается психологіей, но я убѣжденъ, что внутренно ты все-таки согласишься, что тутъ есть разница...

— Разница, разумѣется. Во-первыхъ, психологія казнитъ обвиняемаго, не выжидая его осужденія, а во-вторыхъ, она принимаетъ въ разсчетъ брезгливость „дамы пріятной во всѣхъ отношеніяхъ" и освобождаетъ ее отъ обязанности выказывать хотя внѣшніе признаки стыда. Разница капитальная.

— Любезный другъ! я не объ дамѣ пріятной во всѣхъ отношеніяхъ говорю: и ей, и тебѣ вольно присутствовать или не присутствовать при уголовномъ судоговореніи. Но я утверждаю, что психологія, какъ средство разобраться въ многоразличіи признаковъ, сопровождающихъ преступленіе, есть все-таки прогрессъ сравнительно съ тѣмъ дѣйствіемъ дикаго самовластія или уединенной канцелярской казуистики, которыя еще такъ недавно творили судъ и расправу по всему лицу земли русской.

— И которыя... впрочемъ не будемъ вдаваться въ полемику съ „вре-

менами возрожденія“... Ты ошибаешься, мой другъ! Психологія въ смыслѣ орудія травли—не только не прогрессъ, но шагъ назадъ. Она менѣе убѣждаетъ, нежели плеть и пощечина, и больнѣе уязвляетъ, ибо захватываетъ не только тѣло человѣка, но и его внутреннее существо. Даже предки наши, вообще небольшіе психологи, понимали это и охотно допускали вмѣшательство психологіи въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно было совершить что-нибудь дѣйствительно звѣрское, поражающее.

— Надѣюсь, что ты не докажешь этого!

— Не надѣйся. Разумѣется, я не объ тѣхъ временахъ говорю, когда наши предки были чистыми дикарями, когда они, вмѣстѣ съ татарами, печенѣгами, самозванцами и прочими охочими людьми — ихъ же имена Ты, Господи, вѣси!—предавали огню и мечу Россію. Тогда психологіи дѣйствительно не существовало. Подвиги этихъ людей были грубы, составляли, такъ сказать, modus vivendi тѣхъ временъ и свидѣтельствовали не о преднамѣренной жестокости, а о молодечествѣ и благородной жаждѣ славы. Но какъ только нравы начали смягчаться, такъ тотчасъ же отцы наши догадались, что безъ психологіи обойтись нельзя, и отъ огня и меча перешли къ „застѣнку“ и „дыбѣ“. Вѣдь допросъ-то съ пристрастіемъ немыслимъ безъ участія психологіи!

— Гм... хожденіе по спицамъ, вздержка на дыбу... хороша психологія!

— Не одна вздержка, а съ аккомпаниментомъ... съ аккомпаниментомъ психологіи, милый другъ! „Давно ли ты скверный свой замыселъ задумалъ? И кто тебѣ таковое противное дѣло внушилъ? и кому ты оныя скверныя слова говорилъ? И во время тѣхъ разговоровъ не было ли кого еще?“ — чтò это, какъ не психологія? Люди, чуждые психологіи, не допрашиваютъ: они просто бьютъ—и дѣло съ концомъ. Что психологія застѣнка была недостаточно упорная и недостаточно *бѣлая* — съ этимъ я, пожалуй, соглашусь; но причина ея слабости заключалась не въ ней самой, а въ тѣснотѣ арены и въ недостаткѣ публичности. Отцы наши сознавали себя слишкомъ властными господами, чтобы доводить истязаніе внутренняго человѣка до конца, при помощи одной безкровной, бѣлой психологіи. Ихъ раздражало всякое препятствіе, имъ хотѣлось *поскорѣе*... Отсюда—внезапные переходы отъ психологіи къ дыбѣ и спицамъ. „А! психологія-то, видно, не пронимаетъ тебя, такъ попробуй-ка по спицамъ пройтись!“ — вотъ какъ разсуждали они. Но это нимало не устраняло идеи объ умѣстности психологическихъ пріемовъ, которые и призывались на помощь во всѣхъ случаяхъ, когда простое наказаніе по тѣлу оказывалось блѣднымъ и сознавалась необходимость болѣе утонченнаго уголовнаго фестиваля.

И такъ, вотъ оно, вотъ откуда ведетъ начало психологія! — думалось мнѣ, покуда Глумовъ разъяснялъ свою теорію родства психологіи съ пыткой. Прекрасно; но почему же однако вмѣшательство психологическаго разслѣдованія въ сферу тѣлесныхъ истязаній все-таки повсюду принимается какъ признакъ смягченія нравовъ? Почему даже этотъ слабый проблескъ дѣятельности человѣческой мысли представляетъ уже успѣхъ сравнительно съ той темнотой, которая облекаетъ простыя, безсознательныя заушенія? Не потому ли, что мысль имѣетъ такія разлагающія свойства, передъ которыми все не-

устойчивое, дрянное обязывается непремѣнно сойти со сцены и пропасть? Вотъ она какъ будто на первыхъ порахъ и скрасила пытку, но, въ сущности, уничтожила ее. А затѣмъ, конечно, поведетъ свою разлагающую работу и дальше. Ужъ и теперь она изобрѣла чистую, безкровную, *бѣлую* психологію, а можетъ быть, современемъ, она же эту самую бѣлую психологію... ну, впрочемъ тамъ еще что̀ Богъ дастъ! Правда, Глумовъ говоритъ, что эта *бѣлая* психологія и есть самая язвительная... ну, нѣтъ, это онъ вретъ! Конечно, она уязвляетъ не тѣло, а внутреннее существо человѣка,—да какъ же иначе поступить? Вѣдь надо же какъ-нибудь выяснить, выйти изъ лабиринта противорѣчій, которыя, какъ облако, окутываютъ преступленіе? Да и притомъ, ежели существуетъ психологія обвинительная, то рядомъ съ нею существуетъ и психологія защитительная, а слѣдовательно du choc des opinions (знаю я, что Глумовъ не долюбливаетъ этихъ афоризмовъ, да и безъ нихъ однако нельзя!)... Съ одной стороны, психологія обвинительная, съ другой—защитительная... нашла коса на камень! чья-то еще возьметъ! А между тѣмъ у меня рубль украли — надо удовлетворить и меня. Конечно, ущербъ не Богъ знаетъ какой, но для меня, какъ для человѣка развитого, важно не рубль отыскать, а то, чтобы идея правды и справедливости была отомщена. Ни я, ни другіе не знаютъ, кто укралъ мой рубль, а между тѣмъ открыть и обличить укравшаго — необходимо, потому что иначе почва ускользнетъ у насъ изъ-подъ ногъ, и никто не будетъ знать, гдѣ кончается пріобрѣтеніе и гдѣ начинается воровство. А какъ же обличить безъ психологіи, какъ доказать подозрѣваемому, что никто другой не можетъ быть воромъ, кромѣ его, не покопавшись въ его внутренностяхъ, не выяснивъ, передъ лицомъ почтеннѣйшей публики, его всегдашнее нравственное тяготѣніе къ воровству? Не спорю: въ этомъ случаѣ могутъ быть недоразумѣнія очень прискорбныя. Можетъ случиться такъ, что сперва обругаютъ человѣка, припомнятъ, что онъ, еще въ школѣ будучи, колбасу у товарища укралъ, а потомъ окажется, что въ данномъ случаѣ онъ совсѣмъ не виноватъ. Но, во-первыхъ, errare humanum est, а во-вторыхъ, „ошибка въ фальшь не ставится“. Это не мы выдумали, это сама мудрость вѣковъ говоритъ. А главное все-таки: какъ иначе поступить? Я увѣренъ, что Глумовъ не отвѣтитъ на этотъ вопросъ. Вотъ то-то и есть! Всѣ эти желчные люди, страдающіе недугомъ самообличенія, недовольные ни собой, ни другими—всѣ они таковы! И то̀ имъ не нравится, и другое непонутру, а спроси-ка: какимъ образомъ въ семъ случаѣ поступить? —они сейчасъ и въ кусты.

— Ужъ на что̀, кажется, было аляповато, грубо и по̀шло наше крѣпостничество, разбросавшееся по деревенскимъ захолустьямъ и медвѣжьимъ угламъ,—продолжалъ умствовать Глумовъ:—а и оно было не чуждо психологіи, какъ средства поставить травлю на извѣстную высоту. Не говоря уже о помѣщикахъ, даже между дворовыми встрѣчались психологи очень искусные. У насъ былъ, напримѣръ, поваръ Кузьма, который собаку Полкана избралъ предметомъ своихъ психологическихъ изслѣдованій. Онъ не бросалъ въ него мимоходомъ осколками кирпича, не ошпаривалъ зря кипяткомъ, какъ обыкновенные дворовые—не-психологи, но создалъ цѣлый мартирологъ, въ основаніи котораго лежала эксплуатація наклонностей и инстинктовъ Пол-

кашки, или, говоря высокимъ слогомъ, истязаніе его внутренняго пса. Задача впрочемъ была не трудная, потому что у Полкашки, что̀ у малаго ребенка, всѣ инстинкты спали, кромѣ неопреодолимаго стремленія къ ѣдѣ. И Кузьма воспользовался этимъ инстинктомъ широкой рукой. Каждый день, во время поварской работы, онъ по цѣлымъ часамъ бесѣдовалъ съ Полкашкой, ласкалъ его, обольщалъ зрѣлищемъ всевозможныхъ мясныхъ обрѣзковъ, заставлялъ умиляться, взвизгивать, вилять хвостомъ, и вотъ въ тотъ моментъ, когда кушанье было уже отпущено, когда Полкашка уже съ увѣренностью взиралъ на кучу костей, красовавшуюся на столѣ — Кузьма мгновенно его ошпаривалъ, а кости и обрѣзки выбрасывалъ другимъ собакамъ. И что̀ всего замѣчательнѣе — несмотря на ежедневное повтореніе этой продѣлки, Полкашку такъ и тянуло къ Кузьмѣ. Каждое утро, въ одинъ и тотъ же часъ, онъ являлся на кухню, садился на заднія лапы, присутствовалъ при вареніи и жареніи, облизывался, вилялъ хвостомъ, и каждый же день, безъ перемѣны, въ одинъ и тотъ же часъ, получалъ свою порцію кипятку. Надѣюсь, что это была психологія!

— Но надѣюсь также, что ты возмущался... этою психологіей!

— Не помню: я былъ въ то время слишкомъ малъ, чтобъ отдавать себѣ отчетъ въ получаемыхъ впечатлѣніяхъ. Но я знаю навѣрное, что подобная психологія имѣла въ наше время громадное воспитательное вліяніе. Кузьма былъ воистину праотцемъ нынѣйшней уголовной психологіи, хотя совершилъ свою воспитательную задачу въ безвѣстности, и исчезъ со сцены никѣмъ неоплаканный. Но я-то вѣдь помню его, и потому каждый разъ какъ мнѣ приходится присутствовать при современномъ обвинительно-защитительномъ турнирѣ — всякій разъ мнѣ словно живой представляется поваръ Кузьма, ведущій неустанную психологическую игру съ Полканомъ.

— Зачѣмъ же ты ходишь смотрѣть на эти турниры, коль скоро они для тебя омерзительны?

— То-то и есть, что не омерзительны. Разумомъ-то я, пожалуй, и смекаю, что зрѣлище травли не есть человѣка достойно, да нутро вотъ унять не могу. Вѣдь ни домашнее воспитаніе, ни публичная школа просто-на-просто не дали намъ никакихъ идеаловъ, — чѣмъ же тутъ жить? Съ дѣтскихъ лѣтъ нами управляло лишь представленіе о дозволенномъ и недозволенномъ, и такъ какъ понять, почему одно называлось дозволеннымъ, а другое недозволеннымъ, было очень трудно, то весьма естественно, что дисциплина являлась единственнымъ средствомъ, съ помощью котораго можно было регулировать поведеніе молодыхъ людей. Дисциплину эту мы ненавидѣли и употребляли всѣ усилія, чтобъ освободиться отъ нея. Къ чему же привели насъ эти усилія? — съ одной стороны, къ лицемѣрію, съ другой — къ подсматриванью и наматыванью на усъ. Мы рано подсмотрѣли, что въ дѣйствительной жизни первое мѣсто занимала травля. И она нравилась намъ, потому что представляла нѣчто положительное, широкое, возбуждающее, тогда какъ дисциплина вся состояла изъ недомолвокъ. Вспомни, душа моя, что даже наименѣе испорченные изъ нашихъ сверстниковъ — и тѣ только теоретически тяготились видомъ „связаннаго человѣка“. На практикѣ же „связанный человѣкъ“ до

того вошелъ въ обиходъ, что не внушалъ ничего, кромѣ инстинктивныхъ проявленій, свойственныхъ тому или другому темпераменту.

— Замѣть однако, что именно эти-то проявленія и сдѣлались невозможными въ настоящее время.

— Уступаю. Дѣйствительно нынче сфера заушеній матеріальныхъ значительно съузилась. Но, повторяю, все это отлично замѣнено психологіей. Послѣдняя до такой степени усовершенствовалась, что человѣкъ уже не чувствуетъ нужды ни въ матеріальной пыткѣ, ни въ заушеніяхъ. Она сама по себѣ представляетъ высшую пытку, и я увѣренъ, что человѣкъ умственно развитой охотнѣе предпочтетъ даже незаслуженное наказаніе, лишь бы не заставляли его проходить черезъ психологію, составляющую обязательное преддверіе къ краткому: „да, виновенъ“, или: „нѣтъ, невиновенъ“, изрекаемому старшиной присяжныхъ засѣдателей.

— Воля твоя, а тутъ есть что-то недосказанное. Положимъ, что та психологія, о которой ты говоришь, имѣетъ свои непріятныя стороны; но ежели это единственно-доступное средство обличить, доказать...

— Въ томъ-то и дѣло, что психологія только дѣлаетъ видъ, что доказываетъ, а въ дѣйствительности ничуть ничего не доказываетъ. Она только для формы признаетъ своимъ исходнымъ пунктомъ суровый фактъ, называемый поличнымъ, но на дѣлѣ сейчасъ же оставляетъ его и сочиняетъ по поводу его романъ, романъ косвенныхъ уликъ, который по очереди принимаетъ то обвинительный, то защитительный характеръ. Призываютъ, напримѣръ, въ свидѣтели прошлое обвиняемаго и говорятъ: на основаніи такихъ-то и такихъ-то данныхъ, подтвержденныхъ достовѣрными свидѣтельскими показаніями, письмами, журналомъ подсудимаго, его отрывочными, невольно вырвавшимися признаніями—вы должны считать это прошлое не просто косвенною уликою, но уликой, имѣющей почти характеръ поличнаго. Съ помощью психологическихъ пріемовъ это сдѣлать очень удобно. Психологія или искусно скрываетъ тѣ первоначальныя положенія, изъ которыхъ она выходитъ, или же предлагаетъ ихъ какъ нѣчто непогрѣшимое и обязательное. Затѣмъ она начинаетъ группировать факты: одни оставляетъ въ тѣни, другіе подводитъ ближе къ свѣту. Въ результатѣ получается очень тонкая, почти кружевная работа, которая можетъ нравиться, но въ которой никакъ нельзя отличить, что̀ правда и что̀ налгано. Но, должно быть, налгано достаточно, потому что слѣдомъ приходитъ другой психологъ и начинаетъ именно съ того пункта, какъ и его предшественникъ. Этотъ новый психологъ тоже имѣетъ въ запасѣ цѣлый романъ, темою котораго служитъ нравственное перерожденіе. „Я, говоритъ онъ, нимало не отрицаю того интереса, который могутъ имѣть экскурсіи въ прошлое обвиняемаго, и съ наслажденіемъ слѣдилъ за превосходнымъ изслѣдованіемъ моего почтеннаго сопсихолога. Но въ данномъ случаѣ превосходная работа его оказывается сдѣланною втунѣ. Дѣло въ томъ, что незадолго до того момента, когда произошла кража со взломомъ рубля, составляющая предметъ настоящаго судоговоренія, въ подсудимомъ совершился полный нравственный переломъ, который дѣлаетъ немыслимымъ всякое предположеніе о вліяніи на него его порочнаго прошлаго. Онъ тосковалъ, пилъ, а многіе даже слышали, какъ онъ проклиналъ часъ своего

рожденія. Мой сопсихологъ коснулся этого факта лишь слегка и для того только, чтобы видѣть въ немъ признакъ нераскаянности. Я же не только не вижу здѣсь нераскаянности, но, напротивъ того, усматриваю несомнѣнные признаки той сердечной боли, которой не можетъ не ощущать человѣкъ, рѣшившійся окончательно разсчитаться съ заблужденіями прошлаго и идти по новой стезѣ". Затѣмъ опять начинается группированье, опять одни факты освѣщаются, другіе оставляются въ тѣни, словомъ сказать, развивается цѣлый романъ... Или вотъ тебѣ еще одинъ примѣръ: человѣкъ совершилъ убійство. Онъ самъ уже призналъ себя убійцей, но для психологіи важно опредѣлить — и Христосъ ее знаетъ, зачѣмъ это такъ важно для нея! — съ обдуманнымъ ли намѣреніемъ, или безъ обдуманнаго намѣренія совершено преступленіе. Прежде всего она обращается къ орудію преступленія, которымъ оказывается тяжелая трость съ налитымъ свинцомъ набалдашникомъ. Этою тростью преступникъ прямо угодилъ въ темя своей жертвѣ. Вопросъ: мѣтилъ ли обвиняемый въ темя, или это сдѣлалось случайно, помимо его воли? Подсудимый говоритъ на это: „нѣтъ, я не цѣлился, я очень хорошо помню, что билъ его какъ попало, срывая свой гнѣвъ и не имѣя никакой мысли о нанесеніи смертельнаго удара". Но передъ этимъ тотъ же подсудимый, относительно множества обстоятельствъ, сопровождавшихъ совершеніе преступленія, показалъ, что совершенно ничего не помнитъ. Отсюда поводъ для психологической игры. Одинъ психологъ говоритъ: „какъ! вы *это* помните? вы забыли вотъ это, вотъ это, вотъ это, вы утеряли изъ памяти всѣ несущественные факты, и помните только одинъ фактъ, тотъ, который помогаетъ вамъ выпутаться изъ бѣды!" На это другой психологъ возражаетъ: „тó, чтó кажется страннымъ моему сопсихологу, въ сущности представляется явленіемъ очень обыденнымъ въ области психологіи. Душевный міръ есть міръ пробѣловъ по преимуществу, и хотя существованіе ассоціаціи идей не подлежитъ сомнѣнію, но я думаю, что величайшій изъ психологовъ, Шекспиръ, — и тотъ отказался бы écлѣдить ее въ такомъ сложномъ, необычайномъ случаѣ. Онъ сказалъ бы: „да, подсудимый *все* забылъ; онъ только *это* помнилъ!" Представь себѣ теперь положеніе присяжныхъ при такомъ судоговореніи! чтó могутъ они вынести изъ этого разговора, кромѣ мысли, что подсудимый съ обѣихъ сторонъ оболганъ: и въ видахъ обвиненія, и въ видахъ защиты. А еще лучше; представь себѣ, что и со стороны обвиненія, и со стороны защиты стоятъ лицомъ къ лицу два равносильныхъ Шекспира: каково должно быть положеніе подсудимаго, слышащаго, что его съ двухъ сторонъ возводятъ въ перлъ созданія и дѣлаютъ героемъ двухъ взаимно другъ друга уничтожающихъ романовъ, которые вдобавокъ не имѣютъ ничего общаго съ дѣйствительнымъ романомъ его жизни?

— Гм... а хорошо бы Шекспира послушать — вотъ хоть бы на мѣстѣ г. Шайкевича. Какъ ты думаешь, обѣлилъ ли бы Шекспиръ мать Митрофанію, или не обѣлилъ бы?

— Полагаю, что обѣлилъ бы. Онъ съумѣлъ бы нарисовать и поставить фигуры. Но и за всѣмъ тѣмъ это было бы только произведеніе его личнаго художественнаго генія, которое, несмотря на свой оправдательный тонъ, быть можетъ, гораздо сильнѣе подавило бы мать Митрофанію, нежели даже

восхожденіе на Синай, предпринятое г-мъ Плевако. Да знаешь ли впрочемъ! я думаю, что Шекспиръ одинаково отказался бы и отъ роли защитника, и отъ роли обвинителя. Вѣдь его психологія чувствовала себя гораздо свободнѣе и независимѣе, имѣя подъ руками Гамлета и Ричарда III, нежели тотъ уголовный матеріалъ, который украшаетъ скамьи подсудимыхъ въ современныхъ судахъ.

— Стало быть, по твоему, окончательный-то исходъ дѣла зависитъ отъ того, кто кого переврётъ?

— Понимай какъ знаешь.

— Такъ что ежели я, напримѣръ, совершая преступленіе, имѣю возможность разсчитывать на психологическую помощь Спасовича, то я рискую меньше, нежели другой, которому угрожаетъ психологическая помощь адвоката, назначаемаго отъ казны?

— Стало быть.

— Однако, братъ, очень печально!

— Печалься; не возбраняется.

— Ну, хорошо: оставимъ печаль въ сторонѣ, и резюмируемъ нашъ разговоръ. Изъ сказаннаго тобой выходитъ: во-первыхъ, что мы не только не воспользовались благами возрожденія, но и до сихъ поръ продолжаемъ жить остатками старинной дикости; во-вторыхъ, что характеристическій выразитель этой дикости, травля, не упразднилась, но при помощи психологіи получила характеръ болѣе утонченной жестокости, и притомъ сдѣлалась, такъ сказать, à la portée de tout le monde. Такъ, кажется?

— Вѣрно.

— Теперь, спрашиваю тебя, отвѣть мнѣ по совѣсти: какъ же, по твоему мнѣнію, въ этомъ случаѣ поступить! что̀ нужно сдѣлать, чтобъ избѣжать этого?

Я формулировалъ этотъ вопросъ не безъ торжественности. По моему мнѣнію, всѣ человѣческія стремленія, негодованія, анализы, утопіи—все это сводится къ вопросу: прекрасно, но какъ въ семъ случаѣ поступить? Поэтому я надѣялся настигнуть Глумова въ послѣднемъ его убѣжищѣ, заставить его перенести дѣло на практическую почву, и затѣмъ ужъ поговорить по душѣ о перемѣщеніяхъ и увольненіяхъ, о разъясненіи такой то статьи и дополненіи такой-то... Но, къ удивленію, Глумовъ не только не тронулся моею торжественностью, но даже отнесся къ ней какъ бы иронически.

— Прежде всего, — сказалъ онъ: — я не вижу никакой надобности „поступать“. А потомъ вѣдь подъ словомъ „поступать“ нельзя же разумѣть исключительно: совершить мѣропріятіе, предписать, воспретить, дозволить. Констатировать фактъ—тоже значитъ „поступать“. Вотъ я и „поступаю“, то-есть констатирую фактъ.

Глава IV.

Я — русскій литераторъ, и потому имѣю двѣ рабскія привычки: во-первыхъ, писать иносказательно и, во-вторыхъ, трепетать.

Привычкѣ писать иносказательно я обязанъ до-реформенному цензурному вѣдомству. Оно до такой степени терзало русскую литературу, какъ

будто поклялось стереть ее съ лица земли. Но литература упорствовала въ желаніи жить, и потому прибѣгала къ обманнымъ средствамъ. Она и сама преисполнилась рабьимъ духомъ, и заразила тѣмъ же духомъ читателей. Съ одной стороны, появились аллегоріи, съ другой — искусство понимать эти аллегоріи, искусство читать между строками. Создалась особенная, рабская манера писать, которая можетъ быть названа езоповскою,—манера, обнаружившая замѣчательную изворотливость въ изобрѣтеніи оговорокъ, недомолвокъ, иносказаній и прочихъ обманныхъ средствъ. Цензурное вѣдомство скрежетало зубами, но, въ виду всеобщей мистификаціи, чувствовало себя безсильнымъ и дѣлало безпрерывныя по службѣ упущенія. Публика рабски-восторженно хохотала, хохотала даже тогда, когда цензоровъ сажали на гауптвахту и когда ихъ смѣняли. На мѣсто смѣненныхъ цензоровъ являлись другіе, которыхъ также смѣняли и сажали на гауптвахту. А публика вновь принималась хохотать и зачитывалась статьями, въ родѣ: „Китайскія ассигнаціи" или „Австрійскій министръ финансовъ Брукъ" (см. „Русскій Вѣстникъ", издатель-редакторъ М. Катковъ). И существовала эта манера долго-долго, существуетъ и донынѣ, такъ что объявленіе въ 1866 году воли книгопечатанію почти совсѣмъ не повліяло на нее. Аллегорическій, рабій языкъ продолжаетъ пользоваться правомъ гражданственности, хотя справедливость требуетъ сказать, что современные молодые писатели стараются избѣгать его. Я не берусь опредѣлить, хорошо ли или дурно они поступаютъ, но думаю, что въ виду общей рабьей складки умовъ аллегорія все еще имѣетъ шансы быть болѣе понятной и убѣдительной и, главное, привлекательной, нежели самая понятная и убѣдительная рѣчь. Ясная рѣчь умѣстна тамъ, гдѣ уже народился читатель, котораго страшными словами не удивишь; но тамъ, гдѣ читатель съ повода и безъ повода привыкъ разѣвать ротъ, тамъ простая и безфигурная рѣчь можетъ только свидѣтельствовать о рабьемъ самомнѣніи и наложить еще новый балластъ на плечи писателя, то-есть ко всѣмъ прочимъ не легкимъ обязанностямъ прибавить еще новую и тягчайшую: обязанность ежемгновенно трепетать.

Привычкѣ трепетать я обязанъ послѣ-реформенному цензурному вѣдомству. Я не стану распространяться о томъ, что именно сдѣлало это послѣднее, чтобы заставить меня трепетать—похвала живымъ можетъ быть принята за лесть — я только констатирую фактъ. Я знаю, что съ тѣхъ поръ, какъ мы получили свободу прессы—я трепещу. Покуда я пишу—я не боюсь. Иногда я даже дѣлаюсь храбръ; возьму да и напишу: напрасно-молъ думаютъ нѣкоторые, что благожелательное и ничѣмъ, кромѣ почтительности, нестѣсняемое обсужденіе дѣйствій (замѣтьте аллегорію: я даже умалчиваю, чьихъ и какихъ дѣйствій) равносильно нападенію съ оружіемъ въ рукахъ... Но какъ только процессъ писанія кончился, какъ только статья поступила въ наборъ, болѣзнь чего-то неопредѣленнаго немедленно вступаетъ въ свои права. И она усиливается и усиливается по мѣрѣ того, какъ исправляется корректура и наступаетъ часъ, съ котораго долженъ считаться четырехдневный для журналовъ и семидневный для книгъ срокъ нахожденія произведеній человѣческаго слова въ чревѣ китовомъ. Чудятся провинности, преступленія, чуть не уголовщина. И въ то же время ласкаетъ рабская надежда: а можетъ быть

и пройдетъ! Я знаю, что это надежда гнусная, неопрятная, что она есть не что̀ иное, какъ особое видоизмѣненіе трепета, но я знаю также, что она не только лично для меня, но и вообще представляетъ единственную руководящую нить въ современномъ литературномъ ремеслѣ. Избавиться отъ нея, правда, очень легко; стоитъ только забросить перо, распроститься съ корректурами и какъ чумы обѣгать типографіи—но вотъ подите же... Сдается, что не будь этой надежды—пожалуй, не было бы и русской литературы, а были бы однѣ „Московскія Вѣдомости"...

Само-собой однакожъ разумѣется, что я всячески стараюсь скрывать и мой рабій трепетъ, и мои рабьи надежды. Я—либералъ, и потому прежде всего стараюсь высказать, что очень хорошо понимаю свои права. „Нѣтъ! теперь уже шалишь!—твержу я и устно, и письменно:—теперь цензору до меня какъ до звѣзды небесной далеко!" И начинаю горячиться, начинаю разсказывать анекдоты изъ до-реформенной цензурной практики и доказывать, что сравнительно мое нынѣшнее положеніе... „Помилуйте! да теперь я сознаю себя господиномъ своего слова; хочу—скажу, хочу — не скажу; вспомните, что̀ мы были прежде, и чѣмъ сдѣлались теперь! Теперь ежели что̀, такъ вѣдь я и тово... Я вѣдь и самъ когти покажу... нѣтъ, теперь не такъ-то ловко меня обездолить!" Говорю я все это, даже кричу, чтобъ пуще себя ободрить и—о, ужасъ! — въ это же время чувствую, какъ невидимый трепетъ ползетъ по всему моему организму, ползетъ, ползетъ и незамѣтно разрѣшается сладкой надеждой, что, „можетъ быть, и пронесетъ"...

Но пріятели мои понимаютъ, что все это съ моей стороны не больше какъ напускное хвастовство, напоминающее тѣ „невидимыя міру слезы сквозь видимый міру смѣхъ", о которыхъ упоминалъ еще Гоголь. И такъ какъ они —люди русскіе, веселые, то нерѣдко я служу для нихъ предметомъ довольно жестокихъ шутокъ, канвою которымъ служатъ: слухи о преднамѣреніяхъ и предначертаніяхъ, свѣдѣнія, почерпнутыя „изъ достовѣрныхъ источниковъ", канцелярскія тайны и проч. Иногда разсказываются даже цѣлыя сцены, разсказываются въ лицахъ, такъ жизненно и съ такими характеристическими подробностями, не повѣрить которымъ нѣтъ никакой возможности. Какъ тутъ не вдаться въ обманъ, какъ не счесть себя погибшимъ, когда и самъ ужъ заранѣе, такъ сказать, признаешь, что погибель есть только снисходительно-отсроченное возмездіе за тѣ неключимости, которыя съ помощью пера содѣяла правая рука твоя?

Но особенную озорливость въ этомъ смыслѣ являетъ пріятель мой Глумовъ. Онъ отлично знаетъ мою наклонность увлекаться трепетомъ и надеждами, и потому каждый разъ, какъ я попадаю въ чрево кита (а это случается почти ежемѣсячно), является ко мнѣ съ спеціальною цѣлью наблюсти, въ какой степени я боюсь. Изрѣдка онъ бываетъ и въ добромъ расположеніи духа, и тогда мы вмѣстѣ твердимъ: „небось! ничего! можетъ быть, и пронесетъ!" Но чаще всего онъ приходитъ преисполненный глумливаго подстрекательства, въ которомъ я никогда не могу отличить искренности отъ неискренности, и которое поэтому еще болѣе увеличиваетъ мой страхъ.

Именно въ такомъ озорливомъ настроеніи явился онъ ко мнѣ на дняхъ.

Уже три дня лежалъ я въ чревѣ; оставалось еще двадцать-четыре мучительныхъ часа... Пронесетъ или не пронесетъ?

— Да, братъ, видно быть бычку на веревочкѣ!—сразу огорошилъ онъ меня, войдя въ кабинетъ.

— Что̀? что̀ такое? развѣ что-нибудь слышно?—встрепенулся я.

— Ка̀къ не слыхать! слухомъ земля полнится! Да, братъ, нельзя! Нельзя, мой другъ, такимъ образомъ... невозможно!

— Что̀ такое случилось? Говори, сдѣлай милость, не мямли!

— Покуда еще ничего не случилось, но признаки есть, и признаки серьезные... Сейчасъ иду я къ тебѣ, и вдругъ на встрѣчу мнѣ человѣкъ одинъ... понимаешь? Идетъ этотъ человѣкъ къ мѣсту служенія, и на челѣ у него: нельзя!

— Господи!

— „Нельзя“—только одно это слово! Но ты понимаешь: завтра тебѣ срокъ, а сегодня... понимаешь?

— Ка̀къ не понимать! Но какъ же это однако... нельзя? И что это̀ за слово „нельзя“? Нельзя! вѣдь это даже понять трудно!

— Нельзя—и все тутъ.

— Да ты, можетъ быть, ошибся! Можетъ быть...

— Неужто-жъ мнѣ въ первый разъ на лбахъ-то читать! Да и напроказничали же вы, должно быть! Идетъ „онъ“ и словно обдумываетъ: какую бы пытку на васъ изобрѣсти.

Затѣмъ мы начали горевать. Я, какъ истинный либералъ, оглашалъ стѣны кабинета возгласами: „за что же? Господи! за что?“ Глумовъ подавалъ мнѣ реплику, большею частью пословицами. Наконецъ, когда я достаточно высказалъ, что всѣ мои обычныя разглагольствованія о какихъ-то якобы правахъ разлетаются какъ дымъ отъ прикосновенія одного слова: „нельзя“, тогда Глумовъ сознался, что никого, „идущаго къ мѣсту служенія“, онъ не видалъ, ни на какихъ лбахъ ничего не читалъ и что вообще вся эта исторія была имъ выдумана въ видахъ испытанія, въ надлежащей ли степени я боюсь. И вновь сладкая надежда озарила мою душу, и вновь я сталъ предаваться работѣ проникновенія въ мракъ будущаго: пронесетъ или не пронесетъ?

— Нѣтъ, ты ужъ эти глупости-то оставь! — прервалъ меня Глумовъ: —это, братъ, дѣло изслѣдовать нужно!

— Какое дѣло?

— А вотъ хоть то, что вы, русскіе писатели, обязываетесь не только услаждать досуги публики вашими писаніями, но и періодически подвергаться унизительному трепету.

Но я, разувѣренный насчетъ предстоящей опасности, уже настолько ободрился, что взглянулъ на друга моего не только самоувѣренно, но почти нахально.

— Я не знаю,—сказалъ я:—о какомъ ты трепетѣ говоришь! Я думаю, что въ настоящее время положеніе мое, какъ русскаго писателя...

— Ихе!—вотъ твое положеніе! Дунуть на тебя—ты и погасъ!

— Ну, нѣтъ, любезный другъ, это не совсѣмъ такъ! Я свои права...

— А кто сейчасъ восклицалъ: за что̀, молъ, о, судьба прежестокая!... кто восклицалъ?

— Еще бы! ты бы побольше выдумывалъ!

— Да какъ же иначе съ тобой поступать? Какъ иначе остепенить твое малодушіе? Взгляни ты на себя, сдѣлай милость! вѣдь даже понять нельзя, какимъ образомъ ты эту пытку выдерживаешь! Двадцать-шесть дней въ мѣсяцъ ты приготовляешься къ трепету, а четыре дня трепещешь! гдѣ, скажи, въ какой сферѣ дѣятельности возможно такое существованіе!

— Ну, хорошо! Положимъ, что въ настоящую минуту мое положеніе... ну, да, допустимъ это. Но дѣло вѣдь не въ одной той минутѣ, которую мы переживаемъ, а въ тѣхъ залогахъ, которые представляетъ намъ будущее...

— А ты про эти залоги слыхалъ?

— Не только слыхалъ, но даже изъ достовѣрныхъ источниковъ знаю...

— Срамникъ ты—вотъ что̀!

Сказавши это, Глумовъ такъ строго взглянулъ на меня, что я совершенно явственно почувствовалъ, какъ краска разлилась по моему лицу.

— Такъ ты до того доволенъ своимъ положеніемъ,—продолжалъ онъ:—что даже не хочешь подумать о томъ, почему ты всегда долженъ чего-то бояться, хотя, въ сущности, никакой вины за тобой нѣтъ?

— Ну, какъ никакой вины? Винъ-то, любезный другъ, за нами — слава Богу!

— И опять-таки срамникъ! Самъ на себя клеплетъ, да еще ломается! Никакихъ, понимаешь ты, *никакихъ* за тобой винъ нѣтъ, и ты на себя небылицъ не выдумывай! До такой степени нѣтъ никакихъ винъ, что тебѣ даже и въ голову не приходило разобрать, дурно или хорошо твое положеніе, и отчего оно такъ устроилось, а не иначе. Вѣдь еслибъ что-нибудь за тобой было — ужъ навѣрное ты хоть бы понять постарался, что̀ тутъ такое есть!

— Да̀; дѣйствительно я какъ-то мало объ этомъ думалъ; корректура, знаешь, спѣшная работа...

— И это говоритъ человѣкъ, который весь по уши погрязъ въ литературное ремесло! Человѣкъ, у котораго не только умственные, но и матеріальные интересы, словомъ, вся жизнь, до такой степени связана съ литературой, что завтра отними у него возможность писать, и онъ исчезъ—безъ слѣда! И тебѣ не совѣстно сознаваться, что ты ни разу не подумалъ, отчего литературное ремесло у насъ такъ странно поставлено, что, занимаясь имъ, почти трудно оставаться порядочнымъ человѣкомъ! Вѣчно холопствовать, вѣчно думать о какихъ-то „обстановочкахъ“! — помилуй, да самый послѣдній мастеровой, и тотъ не выдержитъ этого! и тотъ прежде всего позаботится о томъ, чтобы сдѣлать свое положеніе по возможности независимымъ отъ случайностей! А вы, литераторы, вы, люди, называющіе себя выразителями умственнаго уровня страны — вы только и дѣлаете, что бѣгаете какъ угорѣлые, обдумывая, какъ бы такъ схорониться, чтобы и найти васъ никто не могъ!

— И прибавь еще, что какъ ни хоронимся, а все-таки насъ умѣютъ найти!

— Да ужъ не думаешь ли, что васъ оттого находятъ, что видятъ

въ васъ что-нибудь опасное? Какъ бы не такъ! Просто видятъ въ васъ, во всей русской литературѣ (даже исключенія, и тѣ допускаются нѣхотя, скрѣпя сердце), что-то омерзительное, какую-то пресмыкающую гадину, при видѣ которой безъ всякаго повода приходитъ на мысль: а дай-ка я ее раздавлю! Кто васъ читаетъ? скажи по совѣсти: кто читаетъ васъ?

— Ну, братъ, что касается до читателей, то это—фактъ несомнѣнный, что число покупающихъ книги и подписывающихся на журналы съ каждымъ годомъ все увеличивается и увеличивается.

— Да, это — явленіе дѣйствительно загадочное. Число читателей какъ будто и въ самомъ дѣлѣ увеличивается, если судить по расходу книгъ и журналовъ. Но скажи по совѣсти: знаешь ли ты своего читателя? Можешь ли ты указать, къ кому именно ты обращаешь свою рѣчь? Кого ты хочешь воспитывать? Нѣтъ, ты не отвѣтишь на эти вопросы, потому что современный русскій читатель до того разбросанъ, что дѣлается неуловимъ. Во всякомъ случаѣ, что касается до вліятельныхъ классовъ, до такъ-называемыхъ представителей культурнаго слоя, то они—честью тебя завѣряю—до такой степени игнорируютъ васъ, писателей, что единственное твердое свѣдѣніе, которое они имѣютъ о русской литературѣ, заключается въ томъ, что она омерзительна.

— Но какая же надобность литературѣ до этого! Что ее игнорируетъ, а пожалуй и презираетъ небольшая кучка выродившихся людей, размыкивающихъ свои досуги по Баденъ-Баденамъ, Висбаденамъ и Вильдбаденамъ, разорвавшихъ всякую связь съ Россіей, за исключеніемъ получки доходовъ, и составляющихъ себѣ библіотеки изъ Монтепеновъ, Февалей и Самаровыхъ— такъ вѣдь это еще небольшая потеря!

— Постой! Покуда я назвалъ только одинъ изъ числа игнорирующихъ васъ классовъ—классъ людей, именующихъ себя культурными,—но можно вѣдь идти и дальше. Вообще, я думаю, гораздо легче отвѣтить на вопросъ, кто *не читаетъ* русскихъ книгъ, нежели на вопросъ, кто ихъ *читаетъ*. Знаетъ ли васъ народъ?—Нѣтъ, онъ даже не подозрѣваетъ о существованіи русской литературы. Знаетъ ли васъ молодое поколѣніе? Нѣтъ, оно хуже нежели не знаетъ: оно относится къ современной русской литературѣ какъ къ чему-то недомысленному, лишенному какихъ бы то ни было правъ на воспитательный авторитетъ. Знаетъ ли васъ такъ-называемое ученое сословіе?—Нѣтъ, и оно смотритъ на литературу какъ на проявленіе легкомыслія, которое въ благопріятномъ случаѣ можно считать безполезно-невиннымъ, а въ большей части случаевъ имѣетъ характеръ раздражающій и, стало быть, вредный. Кто же, спрашивается, читаетъ васъ? Отъ кого вы ждете оцѣнки для себя? На кого думаете вліять?

— Согласись однако, что еслибы насъ не читали, еслибъ вліяніе русской литературы не существовало, то и вниманія никто бы на нее не обращалъ, и писателю не для чего было бы ни лукавить, ни бояться.

— И съ этимъ не соглашусь. Повторяю тебѣ: современный русскій читатель неуловимъ и разсѣянъ по лицу земли, какъ іудеи. Онъ читаетъ въ одиночку; онъ ничего не ищетъ въ литературѣ и ни съ кѣмъ не дѣлится прочитаннымъ. Печатное русское слово не зажигаетъ сердецъ и не рождаетъ

подвиговъ. Нигдѣ и ни на чемъ не увидишь ты слѣдовъ вліянія дѣйствующей русской литературы. И благонамѣренность, и неблагонамѣренность одинаково зрѣютъ и развиваются внѣ ея воздѣйствія. И ежели за всѣмъ тѣмъ на литературу обращаютъ вниманіе и заставляютъ васъ трепетать, то это отчасти по старой укоренившейся привычкѣ, а отчасти по недоразумѣнію...

— Однакожъ...

— Да, именно по недоразумѣнію, потому только, что культурный-то слой нашъ очень ужъ плохъ—и плохъ, и пугливъ. Вотъ ты сейчасъ сказалъ, что для литературы еще небольшая потеря, что ее презираетъ шайка людей, которая шляется по Баденамъ да Висбаденамъ; но встань на практическую почву, да и отвѣчай мнѣ: отчего трепетъ-то твой происходитъ?

— Да оттого, полагаю, что строго нынче ужъ очень. Руководствъ надлежащихъ не издано, которыя содержали бы отчетливую и для всѣхъ внятную классификацію предметовъ, которыми можетъ или не можетъ заниматься литература—вотъ и путаются словно въ тенётахъ.

— Ты не остри, а вникнуть старайся. Строго, ты говоришь? да отчего строго-то? то-есть даже и не строго, а просто-на-просто презрительно? А оттого, любезный другъ, что эти самые культурные люди, которые размыкиваютъ за границей свое отвращеніе къ Россіи, вотъ они-то ужъ слишкомъ большую силу взяли! Шипятъ они, душа моя, клевещутъ; сплетничаютъ, смуту сѣютъ! А ты вотъ тутъ сидишь да обдумываешь: какъ бы мнѣ такъ мою мысль выразить, чтобы никто не поймалъ!

— Ну, это ужъ ты преувеличиваешь! Конечно, когда происходитъ процессъ печатанія и выхода книжки—я не изъятъ отъ нѣкоторыхъ безпокойствъ; но пишу я всегда...

— Стой! сейчасъ же тебя поймаю! Вотъ хоть бы теперь: ты пишешь и хочешь выразить самую простую и отнюдь не зажигательную мысль. Ты желаешь сказать: безсиліе русской литературы зависитъ, во-первыхъ, оттого, что у нея нѣтъ достовѣрнаго читателя, на котораго она могла бы опереться; и, во-вторыхъ, оттого, что въ составленіи ея репутаціи слишкомъ большое участіе принимаютъ такъ-называемые культурные люди, то-есть бродяги, оторванные отъ всѣхъ интересовъ Россіи. Такова ли твоя мысль?

Я долженъ былъ сознаться, что такова.

— Ну, такъ смотри же, сколько ты обходовъ долженъ былъ сдѣлать, чтобы пустить въ ходъ эту совершенно простую мысль, на которую нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не обратили бы вниманія; да, пожалуй, въ другомъ-то мѣстѣ она и у самого тебя, за неимѣніемъ повода, зародиться бы не могла... Во-первыхъ, ты долженъ былъ затѣять статью въ печатный листъ, тогда какъ все дѣло ясно изъ пяти-шести строкъ; во-вторыхъ, ты долженъ былъ выдумать, что у тебя есть какой-то пріятель Глумовъ, который періодически съ тобой бесѣдуетъ и пр. Сознайся, что ты этого Глумова выдумалъ только для реплики, чтобъ объективности припустить, на тотъ случай, что ежели что, такъ имѣть бы готовую отговорку: я, молъ, самъ по себѣ ничего, это все Глумовъ напуталъ!

И съ этимъ я долженъ былъ согласиться.

— Что касается до меня,—продолжалъ Глумовъ,—то я тебѣ извиняю.

Потревожилъ ты меня, другъ любезный, ну, да это — еще небольшая бѣда! Но зачѣмъ ты все это дѣлалъ? зачѣмъ ты мозги свои безпокоилъ? Вѣдь все-таки никто изъ культурныхъ людей мыслей твоихъ не узнаетъ и съ объективностью твоей не познакомится!

— Да, но вѣдь ты самъ же сейчасъ сказалъ, что ежели человѣкъ чувствуетъ себя нехорошо, то прежде всего онъ долженъ уяснить себѣ, отчего это нехорошее ощущеніе происходитъ. Ну, я и выбралъ для достиженія этого тотъ способъ, который мнѣ показался наиболѣе подходящимъ.

— И прекрасно. Стало быть, я послужилъ къ тому, что заставилъ тебя высказаться — и то барышъ. Теперь ты знаешь источникъ твоего трепета; слѣдовательно остается только разработать эту тему, и буде возможно, то идти и дальше. А такъ какъ безъ объективности ты все-таки не обойдешься, то я, съ своей стороны, всегда къ твоимъ услугамъ готовъ!

И такъ, причина сказалась, хотя, быть можетъ, и не единственная, но во всякомъ случаѣ одна изъ причинъ. Глумовъ правъ: достовѣрнаго, вѣскаго читателя современная русская литература не имѣетъ, а между тѣмъ культурные Бобчинскіе и Добчинскіе до того ужъ расщебетались, что даже повидимому совсѣмъ позабыли, что еще очень недавно Сквозникъ-Дмухановскій безъ церемоніи называлъ ихъ „сороками короткохвостыми“. Не будь короткохвостыхъ сорокъ, сплетничающихъ, стрекочущихъ, праздно порхающихъ — много безсмысленной кутерьмы умерло бы въ самомъ зародышѣ, не опутывая своими тенётами добропорядочныхъ людей. Но спрашивается: что̀ же тутъ дѣлать? какъ унять сорочье племя? какъ по крайней мѣрѣ сдѣлать безвреднымъ его стрекотаніе? убѣждать ихъ? но развѣ можно имѣть дѣло съ сплетничающимъ племенемъ, которое прежде всего не знаетъ даже предмета своихъ сплетенъ? Сдѣлать ихъ сплетни безвредными? но вѣдь для этого нужно еще доказать, что сорока—ни больше, ни меньше, какъ дрянная и не заслуживающая довѣрія птица; а какая же возможность достигнуть этого, когда весь міръ склоненъ видѣть въ Бобчинскихъ представителей культуры и ужъ по малой мѣрѣ носителей благонадежныхъ элементовъ? Сколько разъ были дѣлаемы попытки въ этомъ родѣ! Сколько разъ я самъ и убѣждалъ, и удостовѣрялъ, и даже до начальства доходилъ!

— Ваше превосходительство,—говорилъ я:—вѣдь это—птица!

— Ну-съ, дальше-съ.

— Вѣдь птица, ваше превосходительство, глупа и робка. Ей, съ глупости да со страху, Богъ вѣсть что̀ привидѣться можетъ... Птицы—это, ваше превосходительство, птицы!

— Птицы да птицы—затвердили одно! Знаю, что—не люди, но есть случаи, когда птица... Птицы, милостивый государь, не волнуютъ общественнаго мнѣнія, не смущаютъ умовъ, а люди, а вы-съ...

Это — единственный результатъ, котораго я добился цѣною многолѣтнихъ усилій. Неужели же мнѣ предстоитъ опять приниматься за ту же работу убѣжденія, т. е. возобновлять сейчасъ приведенный разговоръ? Но еслибы я и дѣйствительно могъ убѣдить, что не я волную и смущаю, а именно Бобчинскіе и Добчинскіе, которые своими безсмысленными сплетнями сѣютъ

повсюду не менѣе безсмысленную панику, то развѣ его превосходительство поцеремонится отвѣтить мнѣ:

— Ну что-же-съ! пусть будетъ и такъ-съ! Они и смущаютъ, и волнуютъ—я съ вами согласенъ-съ! Но Бобчинскіе намъ милы, въ Добчинскихъ мы увѣрены, а въ васъ-съ...

И дѣло съ концомъ. Ужели я и тутъ еще не умолкну? „Они намъ милы“, „мы въ нихъ увѣрены“ — развѣ этого мало? кого же наконецъ и баловать, какъ не людей, относительно которыхъ существуетъ увѣренность, что ужъ они-то никакихъ затрудненій представить для насъ не могутъ!

Ставши на эту почву, мнительное воображеніе уже не останавливалось въ созиданіи перспективъ, исполненныхъ всякаго рода препятствій. Мнѣ чудилось, что я стою среди безчисленной стаи сорокъ и держу имъ такую рѣчь: „Сороки короткохвостыя! понимаете ли вы, что̀ такое литература и что̀ такое, въ сравненіи съ нею, ваше сорочье стрекотанье? Литература—о, легкомысленнѣйшія изъ птицъ!—есть воплощеніе человѣческой мысли, воплощеніе вѣчное и непреходящее! Литература есть нѣчто такое, что̀, проходя черезъ вѣка и тысячелѣтія, заноситъ на скрижали свои и великія дѣянія, и безобразія, и подвиги самоотверженности, и гнусныя подстрекательства трусости и легкомыслія. И все однажды занесенное ею не пропадаетъ, но передается отъ потомковъ къ потомкамъ, взывая благословенія на головы однихъ и глумленія на головы другихъ. Понимаете ли вы все безсиліе ваше въ виду этого неподкупнаго и непоколебимаго величія? Ежели вы этого не понимаете, то подумайте хоть то, что есть судъ вѣковъ и что у васъ есть дѣти; что если вы лично и равнодушны къ суду исторіи, то ваши дѣти могутъ, ради вашего всуе звенящаго срамославія, изнемочь подъ его тяжестью! Остановись же, Бобчинскій, и не извергай яда легкомыслія на то, что̀ недоступно твоему скудному пониманію! Ибо сынъ твой, который будетъ несомнѣнно лучше и прозорливѣе тебя, угадаетъ твои дѣянія — и, быть можетъ, устыдится признать въ тебѣ отца своего!“

Однимъ словомъ, я спускаюсь на почву чисто практическую, хватаюсь за самую живую струну — за дѣтей, хочу растолковать, что ради этихъ многолюбимыхъ дѣтей не безполезно держать языкъ за зубами даже въ томъ случаѣ, ежели имѣется въ перспективѣ медаль за спасеніе погибающаго культурнаго общества. И чтожъ! сороки сначала смотрятъ на меня и другъ на друга недоумѣвающими глазами, но потомъ мало-по малу осмѣливаются, щеголевато подскакиваютъ къ самымъ моимъ ногамъ, расправляютъ крылья, чистятъ носы и, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжаютъ прерванное стрекотаніе... „А наплевать намъ на исторію! наплевать на дѣтей! и мы — навозъ, и исторія—навозъ, и дѣти наши—навозъ!“ слышится мнѣ среди безнадежнаго хаоса звуковъ...

Ахъ! никогда я не зналъ ничего болѣе унизительнаго и до боли гнетущаго, какъ это праздное сорочье стрекотанье! Есть въ немъ что̀-то посрамляющее слухъ человѣческій и въ то же время дразнящее, подъуськивающее. Бобчинскіе не вызываютъ гнѣва, а именно только дразнятъ, нахально опираясь при этомъ на свою сорочью невмѣняемость. Дѣлая пакости, иногда равносильныя злодѣяніямъ, они вовсе не сознаютъ неключимости своего твор-

чества, но лишь выполняютъ провиденціальное свое назначеніе. И вотъ къ этому-то подневольному, невмѣняемому и вдобавокъ неопрятному виду человѣка я долженъ обращаться, долженъ думать объ немъ, объяснять его и обличать сорочье его щебетаніе! Гдѣ, въ какой странѣ возможенъ подобный подвигъ, исключая тѣхъ постылыхъ сорочьихъ угловъ, гдѣ Бобчинскіе и Добчинскіе даютъ тонъ жизни, гдѣ, быть можетъ, даже совсѣмъ погасла бы жизнь, еслибъ не будило ее ихъ назойливое стрекотаніе!

Да и съ какимъ правомъ я обращу свою проповѣдь къ Бобчинскимъ? гдѣ тотъ противовѣсъ, на который я могъ бы опереться при этомъ? гдѣ онъ, гдѣ тотъ загадочный русскій читатель, отъ котораго я имѣлъ бы право ожидать оцѣнки и одобренія?

Покуда я такимъ образомъ размышлялъ, Глумовъ молча ходилъ по комнатѣ и повидимому тоже что-то обдумывалъ. Наконецъ онъ остановился противъ меня и сказалъ:

— Знаешь ли что? вѣдь я на дняхъ Петьку Износкова встрѣтилъ!

— Ну, и Богъ съ нимъ!

— Да ты слушай. Идетъ онъ по Морской, а въ глазахъ у него такъ и свѣтится культурность. Словомъ сказать, производитель во всѣхъ статьяхъ. Встрѣтились—ничего. Другихъ культурныхъ людей по близости не случилось — стало быть, и мнѣ втихомолку руку подать можно. Постояли, поглядѣли другъ на друга, школьную жизнь вспомнили. Выправился онъ, раздобрѣлъ — страсть! Въ плечахъ — косая сажень, грудь колесомъ, тѣло крупичатое, румянецъ такъ и хлещетъ во всю щеку. Такъ вотъ весь, всѣмъ нутромъ словно говоритъ: а хочешь, я сейчасъ тебѣ цѣлую десятину унавожу! А картавитъ какъ—заслушаешься!

— И охота тебѣ говорить объ немъ!

— Вотъ видишь, любезный, ты объ немъ и говорить не хочешь, а онъ объ тебѣ вспоминалъ! „Гдѣ, говоритъ, онъ? я, говоритъ, слышалъ, что онъ съ мерзавцами связался?“

— И ты, разумѣется, подтвердилъ?

— Еще бы! Да, говорю, жаль малаго! скружился!

Затѣмъ Глумовъ, по своему обыкновенію, засыпалъ меня анекдотами изъ жизнеописанія русскаго культурнаго человѣка, такъ что мало-по-малу и меня самого увлекъ въ область воспоминаній объ нашей совмѣстной школьной жизни.

— А помнишь ли, — сказалъ я: — какъ мы въ школѣ родословную Износкову сочинили: отецъ—Бычокъ, мать—Свѣтлана, бабка—Рѣзвая, отъ Громобоя и Гориславы, прапращуръ—самъ Синеусъ?

— А дядя, который въ то время полковникомъ въ гусарахъ служилъ —сѣрый въ яблокахъ Борисоенъ? А помнишь, какъ онъ разсказывалъ: „у меня maman такая слабенькая, что даже родить меня сама не рѣшилась, а тетенькѣ поручила“?

— Да, да, да! какъ давно однако все это было! и сколько воды съ тѣхъ поръ утекло!

— Такъ много утекло, что онъ даже поумнѣть успѣлъ. Серьезно говорю. Прежде, бывало, только зубы показывалъ, бѣлые-разбѣлые, а нынче и гово-

рить началъ. „Пальто, говоритъ, у меня отъ Шагмега, панталоны—отъ Тедески, жакетка—отъ Жогжè“! И объ заграничномъ житьѣ тоже: „въ Германіи, говоритъ, горы зеленыя, въ Швейцаріи — горы голыя, въ Италіи—небо синее, а въ Римѣ—римскій папа сидитъ“! Словомъ сказать, ведетъ свѣтскій разговоръ да и шабашъ!

— Въ администраторы, чай, мѣтитъ?

— Нѣтъ, эта въ немъ благородная черта есть: безъ дѣла слоняться предпочитаетъ. А то какъ бы не попасть! вѣдь ему графиня Нахлесткина теткой родной приходится. Да ему и незачѣмъ: и безъ того его положеніе завидное. Ныньче, братъ, такой особенный чинъ народился: всякій, кому голову приклонить некуда, представителемъ культурнаго слоя себя называетъ. Вотъ онъ приписался къ этому чину, да и щеголяетъ въ немъ по бѣлу свѣту. Лѣтомъ— на водахъ и въ Швейцаріи, осенью и весной—въ Парижѣ, на зиму — въ Петербургѣ; ѣстъ и пьетъ онъ отлично, спитъ въ мѣру, желудокъ у него варитъ на славу, огорченій никакихъ—чего еще, какихъ еще почестей нужно!

— Дà, братъ, хорошо бы хоть годокъ такъ пожить! А то маешься-маешься, словно бы и дѣло дѣлаешь, а результатъ одинъ: во-очію видишь, какъ подтачивается и засыхаетъ твоя жизнь!

— А я тебѣ, знаешь ли, чтò хотѣлъ предложить? Сходимъ-ка вмѣстѣ къ Износкову!

— Это зачѣмъ?

— Во-первыхъ, для разогнанія хандры. По моему мнѣнію, чтò съ Износковымъ повидаться, чтò на хорошій пирогъ съ начинкой посмотрѣть — одинаково сердцемъ расцвѣтешь. А во-вторыхъ, хотѣлось бы и предполагаемаго читателя твоего тебѣ показать — вѣдь ты говоришь, что у васъ ихъ много—чтобы ты самъ убѣдился, какъ онъ на тебя смотритъ и объ тебѣ разговариваетъ.

— Да вѣдь Износковъ, пожалуй, сдѣлаетъ видъ, что не узнаетъ меня! Или и узнаетъ, да какую-нибудь глупость брякнетъ!

— А мы, для предосторожности, такой часъ выберемъ, когда у него культурныхъ людей не бываетъ. Часовъ, этакъ, около половины двѣнадцатаго утра. Въ это время онъ всегда отлично себя чувствуетъ. Выспался превосходно, пищевареніе совершилось благополучно... добръ онъ тогда! Много-много что легонькій репримандецъ сдѣлаетъ... Ну, да вѣдь ты насчетъ репримандовъ-то—травленный волкъ!

По обыкновенію я нѣкоторое время слегка противорѣчилъ и по обыкновенію же въ концѣ концовъ сдался.

Мы застали Износкова за занятіемъ, которому онъ повидимому придавалъ большую важность. Онъ сидѣлъ за туалетнымъ столомъ передъ зеркаломъ, въ брюкахъ безъ жилета, въ тончайшей и бѣлой какъ снѣгъ рубашкѣ, и повязывалъ на шею галстухъ. Подтяжки такъ и врѣзывались въ его пухлыя плечи. Я ужъ лѣтъ двадцать-пять не встрѣчался съ Износковымъ, и мнѣ вдругъ почудилось, что я вновь очутился въ школѣ, и что Петька Износковъ

показываетъ мнѣ свои ослѣпительно-бѣлые зубы. Высокій, широкогрудый, румяный и бѣлый, онъ подавлялъ своимъ могучимъ здоровьемъ, которое такъ и лучилось изъ всѣхъ его поръ. На лицѣ ни единой морщинки; глаза съ какимъ-то сизо-металлическимъ блескомъ, словно сейчасъ отчеканенные пятиалтынные сорокъ второй пробы; губы пухлыя, алыя, осѣненныя тоненькими усиками, вытянутыми въ нитку; щеки чистыя, румяныя; тѣло, правда, нѣсколько тучное, но крѣпкое; грудь высокая, почти женская. Однимъ словомъ, время скользнуло по немъ, не оставивъ ни на одной части его организма никакого слѣда.

— Ба! литераторъ!—воскликнулъ онъ, протягивая руки съ тѣмъ порывистымъ жестомъ, который употребляютъ актеры Михайловскаго театра, когда хотятъ выразить радушіе:—какими судьбами?

— Да вотъ, какъ видишь!

— Постой! встань-ка ближе къ свѣту! вотъ такъ! Постарѣлъ, душа моя! Все стихи пишешь?

— Какіе же онъ стихи пишетъ! — вступился Глумовъ: — отродясь, я чай, ни одного стиха не сочинилъ!

— Ну, все равно—прозой пишетъ! Я, признаюсь откровенно, съ русской литературой не знакомъ. C'est à dire, я, конечно, знаю... Derjavine, Karamzine, Pouschkin, le comte Sollogoub... Но тебя, мой другъ,—каюсь! —не читалъ! Но какъ ты однакожъ непозволительно постарѣлъ! Эта сѣдая борода, этотъ землистый тонъ лица, эти морщины... Я пари готовъ держать, что все это у тебя отъ стиховъ!

— Ну, а ты такъ совсѣмъ не измѣнился: какъ въ школѣ красавцемъ былъ, такъ и теперь молодцомъ глядишь!

— Да, но вѣдь это — цѣлая наука, mon cher! Конечно, не столь трудная, какъ, напримѣръ, стихи писать!

Онъ сѣлъ и усадилъ меня противъ себя, держа за руки и смотря мнѣ прямо въ глаза. При этомъ лицо его озарилось не то глупою, не то лукавою улыбкой, какъ будто онъ хотѣлъ сказать: хоть я стиховъ и не пишу, но тебя вижу! и даже насквозь тебя, голубчикъ, понимаю!

Я помню, эта улыбка еще въ школѣ меня ужасно смущала, хотя я никогда не могъ хорошенько опредѣлить, въ чемъ собственно состоитъ ея смущающее свойство. Сидитъ передъ вами человѣкъ, смотритъ вамъ прямо въ глаза и улыбается. Хочетъ ли онъ этимъ сказать: „я глупъ несомнѣнно, но мнѣ нимало этого не совѣстно“—или желаетъ выразить мысль болѣе сложную: „посмотри, какъ я чистъ сердцемъ (у насъ сердечная чистота очень часто считается непремѣннымъ спутникомъ глупости); а ты?“ И начинаетъ вдругъ казаться, что этотъ улыбающійся человѣкъ при всей его глупости все-таки себѣ на умѣ; что онъ знаетъ нѣчто больше, нежели можно ожидать отъ его простодушія, и знаетъ именно то̀, что̀ пуще всего хотѣлось бы скрыть... А ну, какъ онъ „ляпнетъ“! Умный человѣкъ—тотъ посовѣстится и не „ляпнетъ“, а дуракъ, — вѣдь не даромъ же говорятъ, что дураку море по колѣна—ляпнетъ онъ, непремѣнно ляпнетъ!

— Постой, объ стихахъ говорить незачѣмъ, — сказалъ между тѣмъ Глумовъ:—а вотъ мы лучше объ чемъ поговоримъ. Сейчасъ ты промолвилъ,

что есть какая-то наука, благодаря которой ты до сорока-пяти лѣтъ прожилъ, а все еще тридцатилѣтнимъ мужчиной смотришь. Такъ объясни ты намъ, сдѣлай милость, что̀ это за наука такая?

— Mon cher! Главный секретъ этой науки состоитъ въ томъ, чтобъ начертать себѣ извѣстный esprit de conduite и затѣмъ все дѣлать въ свое время и не упускать ни одной подробности изъ того режима, который ты однажды призналъ для себя полезнымъ, — отвѣчалъ Износковъ: — если ты твердо рѣшился слѣдовать этой линіи—твое дѣло выиграно; если же ты хоть однажды что-нибудь пропустилъ или сдѣлалъ не во̀ время—все пропало!

— Да, но вѣдь ты понимаешь, что съ однимъ хорошимъ поведеніемъ...

— О! что касается до средствъ, то съ этой стороны мы совершенно обезпечены. Намъ остается только протянуть руку и черпать. Это даже невѣроятно, какіе громадные успѣхи сдѣлала въ послѣднее время туалетная химія, туалетная механика и туалетная гигіена! Нѣтъ самой ничтожной бездѣлицы, которая не была бы предусмотрѣна; нѣтъ того cosmétique, дѣйствіе котораго не было бы опредѣлено съ величайшею точностью! Конечно, ошибки могутъ быть и здѣсь... Такъ напримѣръ, въ газетахъ сплошь и рядомъ мы читаемъ объявленія объ разныхъ dentifrices, eaux de Vénus и такъ далѣе—ну, разумѣется, къ этимъ средствамъ необходимо относиться съ нѣкоторою предусмотрительностью...

— Какъ же тутъ быть предусмотрительнымъ! — какъ бы недоумѣвалъ Глумовъ:—ну, прочиталъ, напримѣръ, въ газетахъ: мазь для рощенія волосъ... взялъ, намазался ею на ночь — анъ на утро у тебя вмѣсто головы голое колѣно!

— Да, ежели ты только эмпирикъ—оно непремѣнно такъ и случится. Я самъ, когда вышелъ изъ школы, тоже сгоряча прибѣгнулъ къ одной crême d'odalisque, которая, судя по объявленію, должна была сообщить моей кожѣ „une velouté jusqu'ici inconnue"; но на повѣрку вышло, что я цѣлую ночь проспалъ со щеками, вымазанными какою-то мерзостью, а на утро у меня по всему лицу выступили прыщи. Ошибки, мой другъ, неизбѣжны; но онѣ-то и должны намъ указывать, до какой степени необходимо во всякомъ дѣлѣ быть осмотрительнымъ. Нужно пользоваться этими ошибками, но не для того, чтобы вновь впадать въ нихъ, а для того, чтобы ихъ не повторять.

— Это ты правду сказалъ насчетъ ошибокъ-то. Но легко вѣдь говорить: будь осмотрителенъ, а ка̀къ ты будешь осмотрителенъ, когда передъ тобой все неизвѣстность и мракъ?

— Откровенно скажу тебѣ, что я въ этомъ случаѣ — консерваторъ. Литераторъ! — обратился онъ ко мнѣ:—можетъ быть, тебя это слово шокируетъ, но ужъ извини меня, душа моя: я вѣдь — вездѣ и во всемъ, консерваторъ! Во всемъ, ты понимаешь?.. Я революцій не терплю... никакихъ!.. А впрочемъ объ этомъ послѣ. И такъ, я—консерваторъ, и потому въ большей части случаевъ прибѣгаю къ такимъ средствамъ, надежность которыхъ уже испытана. Конечно, я допускаю и новые пути; я не до такой степени упоренъ, чтобы не понимать, qu'il y a quelque chose à faire, но на этотъ конецъ я имѣю такихъ субъектовъ, которымъ я плачу и которые на себѣ испы-

тываютъ дѣйствія средствъ, кажущихся мнѣ интересными. Сверхъ того, вездѣ существуютъ такіе шимисты и ижіенисты, которыхъ спеціальность составляютъ туалетная химія и туалетная ижіена. Я, напримѣръ, имѣю на этотъ предметъ въ Петербургѣ годового доктора, котораго совѣты были всегда для меня драгоцѣнны. Но, кажется, разговоръ нашъ не занимаетъ тебя?—опять обратился онъ ко мнѣ съ тою же глупо-лукавой улыбкой:—вѣдь ты привыкъ говорить о предметахъ возвышенныхъ... объ революціяхъ, напримѣръ?

— Помилуй, любезный другъ!—испугался я:—да я и самъ...

— Оставь его!—вступился за меня Глумовъ:—нравится или не нравится ему нашъ разговоръ—какое намъ до этого дѣло! Главное, чтобы намъ нравился. Ну-съ, такъ продолжаемъ. И много у тебя времени беретъ эта туалетная гигіена?

— Да какъ тебѣ сказать? — почти что весь день! Нынче раздѣленіе труда доведено до такой степени, что каждая часть тѣла служитъ предметомъ особеннаго ухода, особенныхъ попеченій. Вотъ хоть бы сегодня. Я всталъ въ восемь съ половиной часовъ, и до сихъ поръ — теперь половина двѣнадцатаго—не успѣлъ еще кончить моего туалета. Разумѣется, главное уже кончено, а все-таки необходимо дать послѣдній coup de main. Съ вашего позволенія, господа!

— Сдѣлай одолженіе! мы и во время туалета можемъ вести разговоръ!

Износковъ позвонилъ француза-лакея и опять отправился къ туалетному столу. Послѣдовалъ обрядъ надѣванія жилета и жакетки, во время котораго Износковъ повертывался передъ зеркаломъ на собственной оси, подергивалъ плечами, слегка постукивалъ пальцами по груди, какъ бы взбивая ее, а французъ-лакей не ходилъ, а какъ-то беззвучно плавалъ вокругъ него, слѣдя за всѣми его движеніями и стараясь уловить налету всякую его мысль. Наконецъ все было слажено, все сидѣло какъ вылитое, хотя ничто не обличало мучительной работы, предшествовавшей послѣднему coup de main. Мы отправились въ столовую, гдѣ ужъ былъ сервированъ завтракъ на три персоны.

— Ну, а насчетъ пищи и питія какъ?—поинтересовался Глумовъ.

— Увы! ты затронулъ самое больное мѣсто моего существованія!—отвѣтилъ Износковъ: — да, хромаетъ у меня эта часть, сильно хромаетъ! Хотя, конечно, и въ этомъ отношеніи я дѣлаю все, что̀ можно, tout ce qui est humainement possible!

— А напримѣръ?

— Вотъ видишь ли, чтобъ ты могъ понять меня вполнѣ, я разскажу тебѣ весь свой петербургскій день. Литераторъ! это не обезпокоитъ тебя?

— Да нѣтъ же! Я даже не понимаю, почему ты предполагаешь!—поспѣшилъ я разувѣрить его и при этомъ улыбнулся такъ глупо, такъ глупо, что, право, кажется, глупѣе самого Износкова.

— Ну, такъ слушайте же меня!—серьезно началъ Износковъ, предварительно наливъ намъ по стакану превосходнаго лафита. — Я пробуждаюсь утромъ всегда въ восемь съ половиной часовъ. Почему въ восемь съ половиной, а не въ восемь и не девять—это я вамъ сейчасъ объясню. Во-первыхъ, раньше восьми съ половиной въ Петербургѣ, зимой, рѣдко бываетъ достаточно свѣтло; во-вторыхъ, еслибъ я всталъ раньше, мой французъ былъ бы

неготовъ, а безъ него я не могу сдѣлать шага; еслибы же я всталъ позднѣе, то самъ непремѣнно бы вездѣ опоздалъ; въ-третьихъ, это—именно тотъ часъ, когда пищевареніе у меня уже совершилось, а въ-четвертыхъ, съ восьми съ половиной часовъ передо мной по крайней мѣрѣ два съ половиной часа, въ продолженіе которыхъ никто—вы понимаете: *никто*?—не можетъ мнѣ помѣшать. Затѣмъ, ceci posé, continuons. Вставши съ постели, я сейчасъ же сажусь въ ванну. Въ ванну въ двадцать-два градуса, ни больше ни меньше, и съ двумя фунтами savon dulcifiant, предварительно распущеннаго въ водѣ. Въ ваннѣ я сижу ровно двадцать-двѣ минуты, и въ девять часовъ я уже тамъ, въ той комнатѣ, въ которой вы меня застали. Я начинаю свою работу съ того, что мою губкой лицо, руки, чищу ногти, прополаскиваю себѣ ротъ, чищу зубы, языкъ и проч. и, вытеревши себя досуха особаго рода впитывающимъ влажность полотенцемъ, прихожу на свой постъ, къ моему туалетному столу. Здѣсь я прежде всего начинаю съ изслѣдованій: внимательно разсматриваю свое лицо, и ежели замѣчаю гдѣ-нибудь прыщъ или красноту, то стараюсь припомнить проведенный мною наканунѣ день, чтобы вполнѣ точно опредѣлить причину накожнаго раздраженія. Кончивши изслѣдованія, сообразивши тѣ средства, которыя мнѣ могутъ потребоваться и. расположивши стклянки такъ, чтобы онѣ были какъ можно ближе подъ рукою, я начинаю работу практическихъ примѣненій, то-есть дѣлаю все, что нужно, чтобъ получить въ результатѣ лицо вполнѣ приличное. Ma foi, messieurs! еслибъ вы пришли ко мнѣ часомъ раньше, то не ручаюсь, что вы не увидѣли бы меня съ лицомъ засыпаннымъ пудрою и покрытымъ различными onguents! Затѣмъ, покуда все это сохнетъ, я начинаю отдѣлку ногтей. Ногти, messieurs, то-есть ногти порядочнаго человѣка — вещь очень важная и вполнѣ зависящая отъ насъ самихъ. Ни носа, ни глазъ, ни даже зубовъ мы ни удлинить, ни укоротить не можемъ; съ ногтями же мы можемъ сдѣлать все, что только въ состояніи придумать изящный вкусъ, согласованный съ требованіями современности. Ногти порядочнаго человѣка должны быть ни очень коротки, ни очень длинны (при этомъ изреченіи Износкова я невольно взглянулъ на свои ногти: они были обгрызенные!). Слишкомъ длинный ноготь съ трудомъ поддается обдѣлкѣ и скоро принимаетъ неряшливый роговой цвѣтъ: слишкомъ короткій ноготь придаетъ пальцу неприличный мясистый тонъ. Et puis un ongle doit être effilé и имѣть розовый цвѣтъ—вотъ (онъ показалъ намъ *свои* ногти)! Отдѣлка ногтей беретъ у меня около двадцати минутъ и требуетъ въ практическомъ смыслѣ большой опытности. Я употребляю при этомъ до двадцати названій разныхъ ножницъ, ножичковъ, подпилковъ, щеточекъ— по этому одному вы можете судить о томъ, до какой степени въ этомъ дѣлѣ доведено раздѣленіе труда! Покончивши съ ногтями, я пью свой кофе и терпѣливо ожидаю дѣйствія тѣхъ средствъ, къ которымъ счелъ нужнымъ прибѣгнуть передъ отдѣлкой ногтей. Въ одиннадцать часовъ я умываюсь вновь, обтираюсь съ особенною тщательностью и непремѣнно передъ зеркаломъ. Потому что еслибъ я вытирался не передъ зеркаломъ, то изъ этого могли бы выйти слѣдующія послѣдствія: во-первыхъ, не всѣ части моего лица и рукъ были бы вытерты равномѣрно и до-суха, а во-вторыхъ, я могъ бы допустить нѣкоторые недосмотры, которые потомъ было бы гораздо труднѣе поправить,

нежели теперь, по горячимъ слѣдамъ. Справившись окончательно съ лицомъ и руками, я начинаю причесываться, приступаю къ одѣванію и завязыванію галстуха. Здѣсь — опять цѣлая наука. Вотъ эти панталоны — посмотрите, какъ онѣ схватываютъ ляжку и какъ потомъ незамѣтно, почти нечувствительно спускаются-спускаются и наконецъ... ложатся на сапогъ! Онѣ—отъ Тедески. Въ Петербургѣ есть довольно хорошихъ портныхъ, но что касается панталонъ—это Тедески! Тедески—это ваятель, который создастъ ногу почти неожиданно, точно такъ же, какъ Микѣшинъ совсѣмъ неожиданно создалъ памятникъ тысячелѣтію Россіи. Затѣмъ жилетъ и фракъ должны быть отъ Жоржè. Но этого еще мало — одѣться! Нужно еще знать, во что̀ одѣться нужно понимать толкъ въ цвѣтахъ. Во всемъ необходима гармонія, и ежели, напримѣръ, при панталонахъ gris-perle ты надѣлъ зеленый жилетъ, то какъ бы отлично все это ни сидѣло на тебѣ, ты никогда не будешь порядочнымъ человѣкомъ. Все это необходимо взвѣсить и сообразить, и вы поймете, почему я только теперь, въ двѣнадцать съ половиной часовъ, то-есть черезъ четыре часа послѣ пробужденія, могу принять васъ за завтракомъ. Не забудьте, что я опустилъ еще множество интересныхъ подробностей, которыя также требуютъ времени. Такъ напримѣръ, я утромъ *непремѣнно* осматриваю весь гардеробъ и распредѣляю мои костюмы на цѣлый день; утромъ же я реглирую мои счеты и т. д. Такъ что, говоря по совѣсти, еслибъ я захотѣлъ исполнить все какъ слѣдуетъ—мнѣ мало было бы и двадцати-четырехъ часовъ въ сутки. Но что̀ же дѣлать! à l'impossible nul n'est tenu! Я — человѣкъ, я имѣю обязанности относительно общества, и потому...

— Ты покоряешься? понятное дѣло, душа моя! — прервалъ Глумовъ: —ахъ, голубчикъ! вѣдь то-то въ тебѣ и дорого, что отдѣлка наружности у тебя сама по себѣ, а обязанности относительно общества сами по себѣ!

— Благодарю, ты понялъ меня. Есть люди, господа (Износковъ взглянулъ строго, но ни на кого въ особенности), которые думаютъ сами и внушаютъ другимъ, что мы исключительно заняты разными mesquineries, но это доказываетъ только, что насъ совсѣмъ не знаютъ. Но оставимъ это. Итакъ, мы остановились на томъ, что въ половинѣ перваго я завтракаю и принимаю друзей. Въ часъ мой завтракъ уже конченъ, и я выхожу дѣлать мою первую прогулку, причемъ стараюсь какъ можно больше себя утомить. Въ это время въ гостиныхъ не принимаютъ, слѣдовательно нѣтъ еще большой бѣды, если мое тѣло дастъ и испарину. Въ эти же часы я позволяю себѣ сдѣлать одинъ короткій дѣловой визитъ — одинъ заразъ, никакъ не больше —и въ два съ половиной часа я снова дома.

— Ты говоришь: одинъ визитъ? но отчего не два, напримѣръ? — заинтересовался Глумовъ.

— А потому, мой другъ, что два или больше дѣловыхъ визитовъ утомили бы меня. Вообще это—правило, которое почти не терпитъ исключеній: дѣловой элементъ долженъ входить въ жизнь лишь настолько, насколько этого требуютъ самыя-самыя нетерпящія обстоятельства.

— Помилуй, душа моя! Какъ же ты-то можешь это говорить, когда ты самъ--можно сказать—мученикъ дѣла! когда ты съ утра до вечера...

— Да, но это—совсѣмъ другое. То дѣло—моя спеціальность: тутъ я

вполнѣ въ своей сферѣ. Тогда какъ подъ „дѣловыми визитами" я разумѣю собственно тѣ, къ которымъ обязываютъ меня общественныя отношенія. Я—человѣкъ партіи, другъ мой! я—консерваторъ, и притомъ одинъ изъ представителей великаго культурнаго слова Россіи. Одно это званіе ужъ налагаетъ на меня тьму обязанностей. Лично для себя я не ищу ничего — я не честолюбивъ, я вполнѣ обезпеченъ и люблю свободу; но во мнѣ имѣютъ нужду люди моей партіи, и тутъ—il faut que je m'exécute!

— Что и говорить! Тому мѣстечко, другому крестикъ или чинъ — культурные люди должны поддерживать другъ друга, благо обстоятельства сложились благопріятно для нихъ.

— Вотъ это и есть моя мысль. Но ты понимаешь, что всѣ эти ходатайства, просьбы и рекомендаціи не могутъ же быть особенно интересны. Тѣмъ больше, что нерѣдко насъ осаждаютъ такіе шалопаи, которые впослѣдствіи ставятъ въ большое затрудненіе само правительство...

— А ты бы за такихъ не ходатайствовалъ!

— Нельзя, mon cher. Во-первыхъ, я, къ сожалѣнію — не сердцевѣдецъ, а во-вторыхъ, намъ нужны люди. Необходимо, чтобы ряды наши были наполнены, чтобы мы всегда были въ состояніи противостоять. Но во всякомъ случаѣ эти ходатайства составляютъ одно изъ больныхъ мѣстъ моего существованія, и потому очень понятно, что относительно дѣловыхъ визитовъ я не могу допустить болѣе одного въ день.

— Однако, братъ, и у тебя... шипы-то, вѣрно, у всякаго есть!

— И какіе еще шипы! На дняхъ Коля Персіяновъ, нашъ общій товарищъ и человѣкъ, котораго мнѣніемъ я больше всего на свѣтѣ дорожу, прямо въ глаза мнѣ сказалъ: „душа моя! ты всегда рекомендуешь или глупцовъ, или негодяевъ! одинъ изъ твоихъ protégés на дняхъ у Доминика пирогъ укралъ!" Каково мнѣ было слышать это! Правда, онъ тутъ же поспѣшилъ прибавить: „а впрочемъ всѣ эти прекрасные незнакомцы, которые являются къ намъ подъ личиной консерваторовъ—всѣ они большой руки шалопаи"... но все-таки мнѣ было очень и очень непріятно:

— Еще бы! вѣдь мнѣніе Коли Персіянова...

— Ахъ, мой другъ! это—такой человѣкъ! такой человѣкъ! Нашъ ровесникъ—и ужъ правая рука! Ma tante, la comtesse Nakhliostkine, называетъ его „государственнымъ юношей" Et avec ça, d'une bonté, d'une prévenance... ни одинъ проситель не уходитъ отъ него не очарованнымъ! Добръ и въ то же время твердъ, особливо если дѣло коснется принциповъ. Ужъ онъ по шёрсткѣ не погладитъ... ни-ни!

— Ну, объ Персіяновѣ послѣ. Ты такъ интересно разсказываешь свой день, что я, право, заслушался. Продолжай, пожалуйста.

— Къ половинѣ третьяго я возвращаюсь домой. Тутъ я опять освѣжаю себѣ лицо и руки; но, понятно, ужъ не съ тѣмъ вниманіемъ, какъ утромъ. Истинное достоинство моей системы въ томъ и состоитъ, что утромъ вся главная работа уже сдѣлана, и затѣмъ въ продолженіе дня я отдаюсь однѣмъ поправкамъ. Освѣжившись, я надѣваю костюмъ, предназначенный для визитовъ, и въ три часа, если погода благопріятствуетъ, выхожу на Невскій — это вторая моя прогулка, которую я дѣлаю, уже не утомляя себя. Тутъ я

встрѣчаюсь съ знакомыми, узнаю новости дня и около 4-хъ часовъ сажусь въ карету и отправляюсь съ визитами. И такъ какъ главныя новости дня мнѣ извѣстны, то понятное дѣло, что недостатка въ sujets de conversation не можетъ быть. Но ежели новости скудны, то у меня всегда есть въ запасѣ различныя impressions de voyage, которыя очень легко припоминаются и всегда какъ-то новы. Время проходитъ быстро, такъ что и не увидишь, какъ наступитъ половина шестого, моментъ, когда я долженъ быть вновь на своемъ посту, т.-е. дома, за туалетнымъ столомъ. Здѣсь я опять освѣжаю лицо и руки и надѣваю фракъ или сюртукъ, смотря потому, куда отправляюсь обѣдать. Все это дѣлается быстро, очень быстро, потому что въ шесть часовъ я долженъ быть на мѣстѣ. Вотъ тутъ-то именно и начинаются тѣ затрудненія, о которыхъ я уже говорилъ.

— Насчетъ пищи и питія, что-ли?

— Именно. До сихъ поръ; я былъ самъ себѣ господиномъ я распоряжался и своимъ временемъ, и своими дѣйствіями по плану, мною самимъ составленному и обдуманному. Лично — я очень умѣренъ. Мой каждодневный завтракъ вы видите: это — добрый кусокъ мяса, блюдо сладкаго и полбутылки, много бутылка лафита. Этого, конечно, достаточно, чтобъ насытить, но пресыщенія тутъ быть не можетъ. Между тѣмъ внѣ дома, я уже не завишу отъ себя. Я не пользуюсь достаточной суммой свободы, которая необходима, чтобы благоразуміе и строго разсчитанная система дѣйствій не переставали служить руководящею нитью моихъ жизненныхъ отправленій.

Износковъ задумался на минуту, потомъ взгрустнулъ и вдругъ впалъ въ сентиментальность.

— Да, господа, — сказалъ онъ: — иногда я завидую вамъ! Я завидую той умѣренности, которая такъ просто вамъ достается, завидую тѣмъ скромнымъ обѣдамъ, послѣ которыхъ чувствуется такъ легко на душѣ! Что̀ вамъ! Вы зайдете въ какой-нибудь маленькій ресторанчикъ, спросите себѣ обѣдъ въ полтинникъ — и довольны. Вы счастливы, веселы, вы возвращаетесь домой, ни въ какомъ смыслѣ не чувствуя обремененія. Однажды въ Парижѣ я именно такимъ образомъ провелъ мой день. Насъ было трое, и мы условились отобѣдать самымъ простымъ и дешевымъ образомъ. Отправились въ одинъ изъ établissements de bouillon, заказали обѣдъ въ два съ половиной франка съ человѣка, и повѣрите ли — никогда я не чувствовалъ себя такъ хорошо, такъ свободно, какъ въ это памятное послѣ-обѣда! Потомъ мы отправились въ какую-то третью галерею театра Gaîeté и оттуда въ Jardin Bullier, гдѣ до такой степени развеселились, что незамѣтно кончили ночь au violon. И вотъ тогда-то я сказалъ себѣ: если обстоятельства мои измѣнятся, если я сдѣлаюсь бѣденъ, comme Job, — я всегда буду жить такимъ образомъ. Да, господа, я вамъ завидую!

— Что̀ и говорить! съ этой стороны мы дѣйствительно обезпечены. — сказалъ Глумовъ: — разумѣется, лучше имѣть спокойную совѣсть, нежели переполненное брюхо. А все-таки и еще было бы лучше, еслибъ совѣсть съ брюхомъ-то какъ-нибудь примирить!

— Да̀, но міръ такъ устроенъ... Entre nous soit dit, я вѣдь и самъ — немножко соціалистъ: я самъ не разъ задумывался объ этой „курицѣ въ

супѣ“, которую такъ желалъ Генрихъ IV для своихъ вѣрноподданныхъ. Но я убѣдился, что пути Провидѣнія ведутъ человѣчество иначе — и вотъ въ чемъ собственно заключается то громадное различіе, которое существуетъ между мною и распространителями превратныхъ идей. Мы, русскіе, всѣ болѣе или менѣе соціалисты, но я — я борюсь со страстями, а другіе — безпрекословно отдаютъ себя имъ въ плѣнъ. Вотъ и все.

— И хорошо дѣлаешь, что борешься. Потому что если каждый день всякому по курицѣ — сколько бы курицъ надо было! А потомъ, пожалуй, и курицами перестали бы удовлетворяться — захотѣли бы бифштексу!

— C'est ce que je me suis toujours dit. Мы, консерваторы, понимаемъ это ясно. Но вотъ... Литераторъ! ты кàкъ объ этомъ думаешь?

— Помилуй! Совершенно такъ же, какъ и ты!

— Là! la main sur la conscience?

— Ну, ей Богу! — поклялся я.

— Я тебѣ вѣрю. И такъ, будемъ продолжать. Повторяю: самъ по себѣ я умѣренъ; но, къ сожалѣнію, обѣдъ безъ общества для меня немыслимъ. Я охотно обѣдалъ бы въ семействахъ, но — увы! — направленіе нашего вѣка таково, что объ семейныхъ обѣдахъ никто нынче не помышляетъ, и даже сами семейные люди находятъ, что эти обѣды годны только для воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній, отпускаемыхъ по праздникамъ домой. Тонкій обѣдъ въ ресторанѣ, обѣдъ съ немногими друзьями, оживленный непринужденнымъ и живымъ разговоромъ — вотъ идеалъ нашего времени. Но понятно, что въ смыслѣ menu такой обѣдъ долженъ быть совершенствомъ, а это — уже слишкомъ серьезное дѣло, чтобы можно было положиться единственно на самого себя. Menu обѣда должно быть дебатировано и резонировано, ибо только тогда получится дѣйствительный гастрономическій результатъ. Къ сожалѣнію, такого рода результатъ не всегда согласуется съ результатомъ гигіеническимъ, и вотъ чтò, по мнѣнію моему, образуетъ ту страшную пропасть, которая раздѣляетъ l'homme de la nature et l'homme civilisé! L'homme de la nature se nourrit de matières premières; его кухня — вся вселенная. Онъ ловитъ рыбъ, птицъ и звѣрей — и съѣдаетъ ихъ почти живыми. En fait de légumes — у него подъ руками безчисленные корни и злаки. И при этомъ онъ ѣстъ и пьетъ, — и замѣтьте, пьетъ только воду! именно столько, сколько ему надо, чтобы утолить голодъ и жажду. Но по мѣрѣ того, какъ цивилизація прикасается къ человѣку, таинственная книга природы мало-по-малу закрывается для него. Уже нашъ мелкій петербургскій чиновникъ съ презрѣніемъ отворачивается отъ внутренностей какого-нибудь оленя и, какъ подспорье къ водѣ, изобрѣтаетъ квасъ. Но питаніе чиновника все-таки еще довольно близко подходитъ къ питанію человѣка природы, потому что главный характеръ его составляютъ умѣренность порцій и преобладаніе воды, хотя бы и замаскированной подъ формою кваса. Затѣмъ, чѣмъ ближе человѣкъ подходитъ къ состоянію культурности, тѣмъ больше онъ удаляется отъ первообраза питанія, предлагаемаго природой, и тѣмъ неудержимѣе стремится къ переполненію желудка. Являются комбинаціи, вслѣдствіе которыхъ matière première до того измѣняетъ свой интимный характеръ, что дѣлается почти неузнаваемою. Сначала говядина сортируется, причемъ сорты жесткіе

и трудно проглатываемые достаются въ удѣлъ людямъ, питающимся въ греческихъ кухмистерскихъ, а сорты мягкіе и легко проглатываемые—культурному человѣку. Но этого мало: вмѣсто говядины просто вареной или жареной выступаетъ на сцену бифштексъ, ростбифъ, languettes de boeuf, т.-е. говядина идеализированная,—говядина, которая однимъ наружнымъ видомъ свидѣтельствуетъ объ усиліяхъ человѣческаго разума, работавшаго надъ ея просвѣтлѣніемъ. Но и этого недостаточно: наступаетъ эпоха соуса. Соусъ — это высшее выраженіе современнаго кулинарнаго генія; соусъ — это преобразователь по преимуществу. И что̀ всего важнѣе—заслуги его состоятъ не въ прошедшемъ, не въ томъ, что̀ уже имъ совершено, а въ тѣхъ безчисленныхъ перспективахъ, которыя онъ позволяетъ предвидѣть въ кулинарномъ будущемъ. Ахъ, messieurs! вы не можете имѣть даже приблизительной идеи о томъ, что̀ совершило кулинарное искусство въ послѣднее время! Карэмъ былъ великъ и вѣроятно не повторится больше, но идея его жива и будетъ жить вѣчно. Ученики его разрабатываютъ эту идею такъ неутомимо и добросовѣстно, что каждый изъ нихъ въ своей спеціальности непремѣнно представилъ какое-нибудь изобрѣтеніе или пролилъ новый свѣтъ на какое-нибудь блюдо! Впрочемъ у насъ, въ Петербургѣ, еще нельзя имѣть полнаго представленія той неизмѣримой высоты, на которой стоитъ современное искусство хорошо ѣсть. Наши рестораны недурны—и только: но надобно быть въ Парижѣ, въ этой благословенной Франціи, которая со всѣхъ концовъ шлетъ что-нибудь съѣдомое, чтобъ убѣдиться, до какой степени развитія можетъ дойти кулинарный геній. Каждый французъ — природный поваръ, каждая француженка—природная повариха, въ самомъ возвышенномъ, благородномъ значеніи этихъ словъ. Ни одинъ французскій король не умеръ, не оставивъ потомкамъ какого-нибудь кулинарнаго изобрѣтенія, и весь народъ стремился подражать ему. Замѣтьте, что даже революціи имѣютъ у нихъ кулинарный характеръ, потому что всѣмъ хочется попробовать той „курицы въ супѣ", которую такъ великодушно обѣщалъ Henri IV! Каждый разъ, какъ я пріѣзжаю въ Парижъ, я не вѣрю глазамъ своимъ. Казалось, что уже найдены были геркулесовы столбы, что зданіе и увѣнчано, и переувѣнчано — ничуть не бывало! Oh! il y a encore immensément à faire! скажетъ вамъ всякій французъ, и скажетъ святую истину, потому что, напримѣръ, то, что̀ вы въ прошломъ году ѣли подъ именемъ rognons sautés, — уже совсѣмъ не то̀, что̀ вы ѣдите теперь подъ тѣмъ же именемъ. Въ прошломъ году вы должны были размалывать мясо почки зубами; теперь вы только присасываетесь къ почкѣ языкомъ—и она растаяла. А Бисмаркъ думалъ своими пятью мильярдами раздавить эту страну! Да она одними трюфелями уплатитъ сто такихъ контрибуцій, одними poulets de Mans подорветъ всю его жалкую политику! Правда, онъ отрѣзалъ у Франціи Страсбургъ... Strasbourg!

Онъ поникъ головой, какъ бы оплакивая участь Страсбурга.

— Да, братъ, Страсбургъ... не видать теперь французамъ страсбургскихъ пироговъ какъ своихъ ушей!—сказалъ Глумовъ:—но вотъ что̀, душа моя! Слушаю я тебя и удивляюсь: сколько ты долженъ былъ и поработать, и подумать, чтобы представить себѣ всю эту картину въ такой поразительной ясности! Прогрессъ человѣчества въ связи съ кулинарнымъ искусствомъ!—ка-

кая грандіозная идея! Эти дикіе, которые ѣдятъ животныхъ сырьемъ, эти чиновники, которые питаются въ греческихъ кухмистерскихъ произведеніями кухни, такъ сказать, свайнаго типа, и наконецъ этотъ вѣнецъ созданій Божіихъ—культурный человѣкъ, который уже употребляетъ бифштексъ и постепенно возвышается до соуса... изумительно! Повѣришь ли, я даже сотой части того не подозрѣвалъ, что̀ теперь, послѣ твоего изложенія, такъ ясно мнѣ представляется!

— Да, мой другъ, и поработалъ я, и подумалъ, а все-таки, въ концѣ концовъ, могу сказать только одно: я знаю, что я ничего не знаю. Или еще точнѣе: я знаю, что, благодаря развитію кулинарнаго искусства, у меня иногда въ одинъ вечеръ пропадаютъ цѣлыя недѣли упорныхъ гигіеническихъ усилій. Трудно быть осмотрительнымъ, когда все вокругъ приглашаетъ къ неосмотрительности, и хотя я никогда не позволялъ себѣ крайностей, но все-таки каждый разъ съ наступленіемъ лѣта чувствую потребность ремонтировать себя въ Карлсбадѣ! Но пора ужъ и кончить. Въ изложеніи остальнаго я буду краток ъ, потому что приближается время моей первой прогулки. Вечеръ я обыкновенно провожу въ балетѣ или у французовъ и оканчиваю свой день на раутѣ или балѣ. Я *никогда* не ужинаю—это принципъ, отъ котораго я не позволяю себѣ отступить ни на іоту. Домой я возвращаюсь отнюдь не позднѣе двухъ часовъ ночи. Ночной туалетъ беретъ у меня не меньше получаса, потому что это—время, когда я примѣняю тѣ средства, которыхъ дѣйствіе продолжительно. Но разъ въ постели—я засыпаю, какъ убитый. Въ этомъ отношеніи я съумѣлъ такъ дисциплинировать себя, что утромъ всѣ повязки на головѣ и лицѣ оказываются всегда на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, на которыхъ онѣ были съ вечера. Затѣмъ опять начинается утро, и такимъ образомъ идутъ дни за днями, почти не измѣняясь даже въ подробностяхъ. Зная мой одинъ день, вы знаете всю мою жизнь. Что̀ сказать вамъ еще? Я здоровъ, я мало состарѣлся, мнѣ никогда не бываетъ скучно, и я способенъ даже теперь совершать нѣкоторые exploits, которые впору человѣку лишь самой цвѣтущей молодости. Но повторяю: все это достается мнѣ далеко не легко.

— Еще бы!—воскликнулъ Глумовъ:—каждый шагъ разсчитанъ, каждое притираніе обдумано, — какая тутъ легкость! Но вотъ что̀: ты сказалъ сейчасъ, что тебѣ никогда не бываетъ скучно,—дѣйствительно ли это такъ?

— Никогда. L'ennui est l'ennemi de l'utile. Я гоню скуку, потому что она приводитъ за собой дурныя фантазіи. Вотъ вы, господа... литераторъ! я увѣренъ, напримѣръ, что ты даже теперь не знаешь, куда дѣваться отъ скуки?

— Теперь нѣтъ; но вообще не могу сказать, чтобъ жизнь была весела.

— Недоволенъ? революцій хочется? Да, à propos! скажи, пожалуйста, правда ли, что ты требовалъ cent mille têtes à couper?

— Опомнись! Христосъ съ тобой!

— Да, да, да̀; мнѣ сказывали. Я лично по-русски давно ничего не читаю,—я считаю нашу литературу помойной ямой, въ которую сваливаются всѣ общественныя нечистоты, — но знаю изъ достовѣрныхъ источниковъ... Ахъ, голубчикъ! голубчикъ! зачѣмъ ты это дѣлаешь?

— Да что̀ дѣлаю-то? говори!

— Постой! твоя рѣчь впереди. Неужели ты можешь думать, что *насъ* это меньше заботитъ, нежели тебя?

— Чтò заботитъ? Ничто меня не заботитъ!

— Неужто ты можешь думать, что мы не видимъ, qu'il y a encore immensément à faire? Что мы сами отъ души не желали бы, чтобъ все шло къ общему удовольствію, чтобы эти широкія идеи, toutes ces idées généreuses enfin...

— Да чтò жъ это наконецъ! Глумовъ! —объясни ему, сдѣлай милость!

Но Износковъ уже ничего не слышалъ.

— Другъ мой!—продолжалъ онъ, беря меня за руки и сильно сжимая ихъ: — я, конечно, не имѣю никакого права... но ради бывшаго нашего товарищества убѣждаю тебя: оставь! Laisse, mon cher! Оставь другимъ заботу волновать общественное мнѣніе, а ты—будь съ нами! Право, Россія не такъ безобразна, какъ это кажется съ перваго взгляда! А ежели бы она и въ самомъ дѣлѣ была такъ непозволительно дурна, то, право, мы, русскіе, мы, люди культуры, должны пожалѣть объ ней!

Онъ говорилъ это такимъ дурацки-убѣжденнымъ тономъ, что я стоялъ какъ ошеломленный и, ничего не понимая, глядѣлъ ему въ лицо. Но тамъ было все загадочно. Ясно было только то, что въ эту минуту онъ и любилъ меня, и жалѣлъ; любилъ, не зная за чтò, и жалѣлъ, не зная за чтò. Наконецъ онъ спохватился и взглянулъ на часы.

— Ба! пять минутъ второго! — воскликнулъ онъ торопливо: — ну, господа, прошу извинить! Надѣюсь, что мы видимся не въ послѣдній разъ! Литераторъ! вѣдь ты не сердишься на меня? Ты понимаешь, что я отъ души... Оставь, мой другъ! Право, жизнь не такъ дурна, какъ это кажется господамъ революціонерамъ, которые по природѣ своей склонны все видѣть въ черномъ свѣтѣ! До свиданія, господа!

Выходя, я готовъ былъ взять Глумова за горло: до такой степени изумила меня послѣдняя сцена.

— Это—все ты!—упрекалъ я его:—ты привелъ меня къ этому шалопаю! по твоей милости я наслушался его наставленій! Ты говорилъ мнѣ: пойдемъ на культурнаго человѣка посмотрѣть, а этотъ культурный человѣкъ, того и гляди...

— Не горячись! — прервалъ меня Глумовъ: — во-первыхъ, бѣды отъ Износкова не можетъ быть никакой. Онъ ужъ и въ настоящую минуту вѣроятно забылъ не только о своихъ наставленіяхъ, но и объ тебѣ самомъ. Во-вторыхъ, ты все-таки въ выигрышѣ, потому что видѣлъ лицомъ къ лицу подлиннаго русскаго культурнаго человѣка, и знаешь, кàкъ онъ относится къ твоему ремеслу.

Глава V.

1-й Золотарь „Давеча мнѣ дядя Николай говоритъ: не понимаю я, дядя Павелъ, какъ вы, золотари, это дѣлаете? и должность свою справляете, и хлѣбъ ѣдите. А я ему: не твоего разума эта задача, дядя Николай! за то мы въ день цѣлковый получаемъ, а тебѣ и вся цѣна грошъ.

2-й Золотарь. Ну, а онъ что̀ на это?

1-й Золотарь. Ничего. „Отчаянные! говоритъ. Инъ и вправду объ васъ забыть нужно!“

Изъ неизданной книги: „Житейскія разговоры въ отходной ямѣ“.

Отъ времени до времени наша печать оживляется, и поводомъ для этого оживленія обыкновенно служатъ уголовные скандалы. Много и безбоязненно было писано объ матери Митрофаніи; еще болѣе обильную пищу для литературныхъ изліяній далъ купецъ Овсянниковъ; наконецъ выступилъ на сцену уголовный процессъ г. Кронеберга...

Процессъ этотъ немногосложенъ: г. Кронебергъ сѣкъ свою дочь и давалъ ей пощечины. О существованіи этой дочери онъ узналъ уже спустя значительное время послѣ ея рожденія, и потому первоначальное ея воспитаніе было болѣе чѣмъ небрежное. Немедленно по появленіи на свѣтъ, она была отдана своею матерью въ одно крестьянское семейство въ Швейцаріи, гдѣ и нашелъ ее г. Кронебергъ. Затѣмъ онъ отдалъ ее въ семью пастора въ Женевѣ, но и тутъ удовлетворительныхъ результатовъ не получилъ. Оставалось поселить ребенка вмѣстѣ съ собою и лично заняться его воспитаніемъ, что̀ г. Кронебергъ и исполнилъ. Но, задавшись мыслью сдѣлать изъ своей дочери „женщину не блестящую, но полезную“, молодой отецъ съ огорченіемъ замѣтилъ, что въ ребенкѣ уже укоренились нѣкоторыя дурныя привычки, при существованіи которыхъ женщина хотя и можетъ быть блестящею (въ благонамѣренномъ мірѣ кокотокъ), но ни въ какомъ случаѣ не имѣетъ права на названіе полезной. Надлежало воздѣйствовать на эти привычки, устроить такъ, чтобъ ребенокъ забылъ объ нихъ. Намѣреніе отличное, но, къ сожалѣнію, г. Кронебергъ педагогъ-самоучка, и притомъ человѣкъ раздражительный, пылкій и самонадѣянный. Онъ сказалъ себѣ: не нужно мнѣ никакихъ совѣтовъ, ничьей помощи! я сдѣлаю все самъ. Но такъ какъ человѣкъ, не приготовленный къ извѣстнаго рода дѣятельности, можетъ только производить путаницу, то весьма естественно, что самонадѣянный педагогъ на первыхъ же порахъ долженъ былъ сознаться въ своей несостоятельности и, за недостаткомъ времени для изученія новѣйшихъ педагогическихъ системъ, прибѣгнуть къ тѣмъ воспитательнымъ пріемамъ, которые въ ходу въ той средѣ, гдѣ онъ живетъ. А въ средѣ этой педагогика одна: плюхи, ежели дѣло не терпитъ отлагательства, и розги, ежели можно вести дѣло искорененія пороковъ съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой. И дѣйствительно, розги, пополняемыя плюхами, поступили на сцену.

Но система тѣлесныхъ воздѣйствій имѣетъ троякую невыгоду. Во-первыхъ, она дѣйствуетъ медленно, ибо относится къ злой волѣ ребенка не непосредственно, а при участіи нѣкоторыхъ посредствующихъ членовъ, которыми являются: со стороны воспитывающаго—розги и кулакъ, а со стороны воспитываемаго—бренная оболочка безсмертной его души, и преимущественно заднія ея части. Понятно, что черезъ спину и притомъ при помощи розги, не имѣющей въ себѣ ничего духовнаго, гораздо труднѣе проникнуть до души, нежели при помощи убѣжденія, которое, какъ начало тонкое, имѣетъ свойство дѣйствовать на душу непосредственно. Во вторыхъ, тѣлесныя наказанія, не удовлетворяя условіямъ быстроты дѣйствія,—что собственно и ожидается отъ нихъ педагогами-самоучками,—раздражаютъ послѣднихъ и заставляютъ ихъ тѣмъ сильнѣе упорствовать въ избранной системѣ, чѣмъ сомнительнѣе получаемые отъ нея результаты. Въ-третьихъ, они вынуждаютъ наказываемыхъ свидѣтельствовать объ испытываемой ими боли болѣе или менѣе громкими криками, которые впослѣдствіи могутъ служить не совсѣмъ пріятнымъ для педагоговъ поводомъ для начатія противъ нихъ судебнаго преслѣдованія.

Это послѣднее обстоятельство въ особенности важно; оно оказалось и въ дѣлѣ г. Кронеберга. Марія Кронебергъ такъ сильно и часто кричала, что возбудила состраданіе въ двухъ сердобольныхъ женщинахъ (дворничихѣ и кухаркѣ), которыя и заявили въ участкѣ объ *истязаніяхъ*. Педагогическіе эксперименты были прерваны; на сцену явился участковый приставъ, затѣмъ прокуратура, врачъ, судебный слѣдователь, судебная палата и проч. А г. Кронебергъ поспѣшилъ обратиться къ помощи г. Спасовича, о которомъ даже стѣны судебныхъ зданій вопіютъ: vir bonus, dicendi peritus.

Судебное слѣдствіе состоялось и, какъ слѣдовало ожидать, было направлено къ разъясненію слѣдующихъ трехъ капитальныхъ пунктовъ: 1) не было ли какихъ постороннихъ причинъ, заставившихъ упомянутыхъ выше двухъ сердобольныхъ женщинъ довести до участка дѣло объ истязаніяхъ? или, другими словами: заявили ли онѣ объ этомъ дѣлѣ безкорыстно, или же руководились какими-либо личными непохвальными побужденіями? 2) заслуживала ли Марія Кронебергъ, чтобы на порочную волю ея воздѣйствовали при посредствѣ розогъ и оплеухъ, то-есть обладала ли она такими наклонностями, которыя могли ей впослѣдствіи воспрепятствовать сдѣлаться полезною женщиной? 3) Выходили ли употребленныя г. Кронебергомъ мѣры исправленія изъ предѣловъ, очерченныхъ закономъ, настолько, чтобы потребовать вмѣшательства въ формѣ судебнаго преслѣдованія?

По первому вопросу на возбудительницъ была накинута сильная тѣнь. Дворничиха была замѣшана въ исторію о пропавшемъ цыпленкѣ, за что подвергнута г. Кронебергомъ вычету изъ жалованья, въ количествѣ 80-ти копѣекъ. Кухарка тоже состояла съ дѣвочкой въ какихъ-то преступныхъ отношеніяхъ, которыя однакожъ на судоговореніи разъясненія не получили. Вообще этотъ вопросъ былъ поставленъ довольно ребячески, и защита поняла, что опираться на него нѣтъ надобности; но сомнѣніе все-таки было возбуждено, и чистый образъ сердобольной дворничихи значительно потемнѣлъ въ глазахъ людей, которые изъ всѣхъ побужденій, двигающихъ человѣкомъ,

вѣрятъ только въ побужденіе, заставляющее ради 80-ти копѣекъ предавать своего ближняго.

По второму вопросу свидѣтельница, докторъ Суслова, показала, что дѣвочка занималась онанизмомъ и не умѣла управлять своими естественными нуждами. Да, именно такъ, въ этихъ словахъ и показалъ докторъ,четко и ясно, какъ будто боялся что-нибудь упустить изъ вида. Другіе показывали о „порокахъ“ Маріи Кронебергъ уклончиво, какъ бы не желая компрометировать ребенка, и безъ того уже самымъ возмутительнымъ образомъ обвинившаго себя въ воровствѣ и лганьѣ, но докторъ Суслова показывала именно такъ, какъ „передъ Богомъ и страшнымъ Его судомъ показывать о семъ надлежитъ“. Тамъ, гдѣ другіе останавливались передъ мыслью, что дѣвочкѣ предстоитъ еще долгое поприще жизни, докторъ Суслова, съ солдатскою, можно сказать, откровенностью, не усомнилась выдать ей аттестатъ на всю жизнь. Затѣмъ, изъ другихъ показаній, хотя и не столь вѣскихъ, какъ Сусловское (ихъ давали: подсудимый Кронебергъ, г-жа Жезингъ и пасторъ Комби, который уже выказалъ свою несостоятельность въ дѣлѣ воспитанія), можно замѣтить, что Марія Кронебергъ позволяла себѣ лгать, и однажды даже подала поводъ заподозрить ее въ намѣреніи присвоить себѣ изъ запертаго помѣщенія (кража со взломомъ) принадлежащій г-жѣ Жезингъ чернословъ.

И такимъ образомъ передъ присяжными невольно возникла слѣдующая дилемма: ежели уже до начала судебнаго преслѣдованія Марія Кронебергъ не умѣла управлять своими естественными надобностями, то не будетъ ли вынесенный подсудимому обвинительный приговоръ косвеннымъ для нея поощреніемъ и впредь упорствовать въ томъ же ложномъ направленіи?

По третьему пункту свидѣтели неученые отчасти показывали, что наказанія были жестокія, отчасти отзывались невѣдѣніемъ. Свидѣтели ученые, т.-е. эксперты-врачи, путались. Врачъ Лансбергъ сначала высказывался не въ пользу г. Кронеберга, но потомъ началъ мало-по-малу отступать и кончилъ тѣмъ, что, собственно говоря, провести границу между легкими и тяжкими поврежденіями „мы не можемъ“, и что иногда и отъ легкихъ поврежденій люди умираютъ, а другіе и отъ тяжкихъ выздоравливаютъ. Такъ что когда г. Спасовичъ обратился къ нему съ вопросомъ, нашелъ ли онъ на тѣлѣ прорѣзы кожи, или только пятна и полосы (этотъ вопросъ слѣдовало бы вырѣзать золотыми буквами на мраморной доскѣ и повѣсить послѣднюю въ залѣ засѣданій совѣта присяжныхъ повѣренныхъ), то г. Лансбергъ отвѣтилъ уже совсѣмъ темно, что „поврежденія относятся къ тяжкимъ по отношенію наказанія, а не по отношенію нанесенныхъ ударовъ“, желая этимъ вѣроятно выразить, что солдатъ могъ бы вынести такія поврежденія безъ особеннаго вреда, но для ребенка они могли составить и вредъ. Врачъ Червишевичъ свидѣтельствовалъ по части рубцовъ, и выразилъ то мнѣніе, что поврежденія особеннаго вліянія на здоровье ребенка не имѣли, но рубцы остались на всю жизнь, и, судя по формѣ ихъ, произошли не отъ ушибовъ, а отъ ударовъ прутьями. Давность же происхожденія рубцовъ г. Червишевичъ опредѣлилъ такъ: можетъ быть, за нѣсколько лѣтъ, а можетъ быть и за три недѣли. Экспертъ Флоринскій тоже отнесъ наказаніе не къ тяжкимъ, причемъ присовоку-

пилъ, что Марія Кронебергъ принадлежитъ къ числу такихъ субъектовъ, у которыхъ раздраженіе кожи бываетъ рѣзче, чѣмъ у другихъ. Наконецъ экспертъ докторъ Корженевскій выразился, что дѣвочка принадлежитъ къ субъектамъ, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производитъ синяки. Словомъ сказать, экспертиза не только не внесла никакой ясности въ дѣло, но еще болѣе запутала въ лабиринтѣ противорѣчій и оговорокъ. Никто ничего не сказалъ прямо, по-сусловски, такъ что для слушателей этого безплоднаго разговора защиты съ экспертами могъ даже возникать совсѣмъ особаго рода вопросъ: да ужъ ни Марія ли Кронебергъ виновата тѣмъ, что принадлежитъ къ числу такихъ субъектовъ, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производитъ синяки? Хотя, съ другой стороны, слушателямъ болѣе сообразительнымъ могъ представиться и такой вопросъ: для чего же однако г. Кронебергъ предметомъ своихъ педагогическихъ воздѣйствій избралъ дочь, а не солдата, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу котораго навѣрное синяковъ не произведетъ?

Г. Спасовичъ безподобно воспользовался неопредѣленнымъ характеромъ матеріала, добытаго на судебномъ слѣдствіи. Вообще, независимо отъ талантливости, это самый солидный и дѣльный изъ нынѣ дѣйствующихъ адвокатовъ. Онъ всегда стоитъ на почвѣ фактовъ, и прежде всего интересуется не тѣмъ, дѣйствительно ли преступленіе имѣло мѣсто, а тѣмъ, не имѣется ли для него оправданій въ законѣ, и могутъ ли быть опровергнуты представляющіяся въ дѣлѣ улики. Онъ не допускаетъ чувствительности и безплодныхъ набѣговъ въ область либеральнаго бормотанья. Онъ помнитъ, что онъ адвокатъ, только адвокатъ, а не философъ и не публицистъ, и приглашаетъ присяжныхъ засѣдателей помнить объ этомъ. Въ его глазахъ преступленіе не имѣетъ въ себѣ ничего чудовищнаго, изумляющаго, и онъ мало ожидаетъ, чтобы суды перестали дѣйствовать, за прекращеніемъ уголовныхъ преступленій. Онъ знаетъ законы со всѣми продолженіями и дополненіями, умѣетъ толковать ихъ и всегда хранитъ про запасъ кассаціонный поводъ. Свидѣтеля онъ изучилъ до тонкости, и потому не учитъ его и не надоѣдаетъ назойливыми вопросами, а только слегка направляетъ, ибо знаетъ, что свидѣтель, предоставленный самому себѣ, гораздо скорѣе приподнесетъ ему сущій медъ, нежели свидѣтель, котораго адвокатъ беретъ подъ опеку. Присяжныхъ засѣдателей онъ тоже проникъ и нерѣдко упрощаетъ ихъ обязанности, объясняя (обыкновенно въ заключеніе), что о преступленіи уже по тому одному не можетъ быть рѣчи, что и самое судебное преслѣдованіе возбуждено несогласно съ такими-то и такими-то требованіями закона. Сверхъ того, судя по репутаціи, г. Спасовичъ принадлежитъ къ числу адвокатовъ, не обуреваемыхъ жаждой легкаго и быстраго стяжанія, что еще больше влечетъ къ нему сердца подсудимыхъ.

Таковъ адвокатъ, выступившій въ роли защитника г. Кронеберга на судоговореніи 23 января.

Сдѣлавши довольно краткій, хотя, нужно сознаться, не особенно замѣчательный очеркъ жизни и семейныхъ отношеній подсудимаго, г. Спасовичъ прежде всего приступаетъ къ вопросу: имѣютъ ли право родители наказывать своихъ дѣтей?—и разрѣшаетъ его не на основаніи какихъ-либо про-

извольныхъ умозаключеній, но ссылкою на статью закона, которая гласитъ прямо, что родители, недовольные поведеніемъ дѣтей, могутъ наказывать ихъ способами, не вредящими ихъ здоровью и не препятствующими успѣхамъ въ наукахъ. Отсюда выводъ: да, г. Кронебергъ наказывалъ свою дочь, и имѣлъ на это право, гарантированное ему закономъ. Но, можетъ быть, онъ злоупотреблялъ этимъ правомъ и пускалъ въ ходъ такіе способы наказанія, которые могли вредить ея здоровью? — чтобъ разрѣшить этотъ вопросъ, г. Спасовичъ входитъ въ подробное, хотя и утомительное разсмотрѣніе качества побоевъ, слѣды которыхъ найдены на тѣлѣ ребенка. Знаки отъ побоевъ раздѣляются на три категоріи. Прежде всего представляются *знаки на лицѣ*, которыхъ такъ много, что, по признанію самой защиты, „если пристально вглядѣться въ лицо ребенка, то это лицо точно исписано по всѣмъ направленіямъ тонкими шрамами". Но это ничего не значитъ, ибо показанія экспертовъ такъ неопредѣленны, что защитѣ нѣтъ никакого труда вывести заключеніе, что „нѣтъ ни одного знака, о которомъ можно было бы сказать, что онъ произошелъ отъ удара, нанесеннаго отцомъ". Жаль, что подсудимый самъ сознался въ пощечинахъ, а не будь этого сознанія, не было бы и пощечинъ, такъ какъ нѣтъ на лицѣ синихъ и синебагровыхъ пятенъ. Но ежели и были синяки, то развѣ присяжнымъ не памятно показаніе доктора Корженевскаго, который удостовѣрилъ, что существуютъ субъекты, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производитъ синяки? Ребенокъ золотушный, изобилующій лимфой — что же тутъ мудренаго, что тѣло его покрыто синяками! И такъ, знаки на лицѣ есть, но нѣтъ увѣренности, нѣтъ уликъ и доказательствъ, что они произошли отъ побоевъ, нанесенныхъ отцомъ. И притомъ это знаки мелкіе, ничтожные, знаки, которыхъ не замѣтила даже докторъ Суслова, замѣтившая, что Марія Кронебергъ не умѣетъ справляться съ естественными надобностями. Затѣмъ слѣдуютъ знаки *на рукахъ и ногахъ*. Что касается до нихъ, то они произошли очень просто: дѣвочку держали за руки и за ноги во время сѣченія. Сѣченіе — было; этого никто не отрицаетъ; самъ подсудимый сознался въ этомъ, и на этотъ разъ сознался кстати, потому что иначе нельзя было бы объяснить происхожденіе знаковъ на рукахъ и на ногахъ. Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde, сказалъ нѣкогда Ламартинъ, и прибавилъ: alea jacta est! т.-е. когда собираешься сѣчь, то имѣй въ виду, что сѣкомаго нужно будетъ держать за руки и за ноги, вслѣдствіе чего у него несомнѣнно образуются синяки. Дальше, переходъ отъ знаковъ на рукахъ и на ногахъ къ знакамъ *на заднихъ частяхъ тѣла* — самый естественный. Эти знаки тоже есть; но прежде всего самъ экспертъ Лансбергъ засвидѣтельствовалъ, что „прорѣзовъ кожи" не было, а были только синебагровыя пятна и полосы; а коль скоро „прорѣзовъ кожи" не было, то стоитъ ли о подобныхъ знакахъ и толковать! хотя же, сверхъ полосъ и пятенъ, найдены были на ягодицахъ слѣды струпьевъ, то струпья эти, по объясненію эксперта Корженевскаго, суть не что иное, какъ мѣстное омертвѣніе кожи, которая сходила и замѣнялась новой. Да и самый вопросъ этотъ не медицинскій, а педагогическій, ибо медикъ не можетъ опредѣлить ни предѣловъ власти отца, ни силы неправильнаго наказанія (?) — все это могутъ опредѣлить только инспекторы и учители гимназій. Но на столѣ, въ числѣ вещественныхъ дока-

зательствъ, тѣмъ не менѣе лежитъ пукъ розогъ, которыя экспертъ Флоринскій назвалъ шпицрутенами, и несомнѣнно бывшій въ употребленіи и именно въ рукахъ г. Кронеберга — этого, конечно, отрицать нельзя! Нельзя однакожъ отрицать и того, что г. Кронебергъ пользовался этимъ педагогическимъ орудіемъ *только одинъ разъ*. Онъ сорвалъ эти рябиновые прутья за нѣсколько дней до наказанія, а срывая ихъ, *быть можетъ*, не зналъ, что придется употреблять ихъ въ дѣло. Правда, что случай не заставилъ себя ждать, но до тѣхъ поръ г. Кронеберегъ наказывалъ свою дочь только „маленькими вѣтками", да и то раза три, въ промежуткахъ времени довольно значительныхъ. Хотя же нѣкоторые и показываютъ, что дѣвочка кричала сильно и часто, но она вообще „кричать горазда, кричитъ и тогда, когда ее ставятъ въ уголъ или на колѣни".

И такъ, о происхожденіи знаковъ на лицѣ нельзя сказать ничего вѣрнаго; что же касается до сѣченія, то хотя оно и производилось, но при посредствѣ совсѣмъ „маленькихъ вѣтокъ", за исключеніемъ лишь *одного раза*, когда употреблены были въ дѣло шпицрутены, срѣзанные за нѣсколько дней до наказанія, но безъ ясно-сознаннаго намѣренія употребить ихъ въ дѣло. Можно ли назвать тяжкимъ это *единократное* наказаніе, не сопровождавшееся даже прорѣзами кожи? — отвѣтъ на это даетъ кассаціонная судебная практика, изъ которой до очевидности ясно, что въ настоящемъ случаѣ самое возбужденіе подобнаго вопроса представляется немыслимымъ.

Совсѣмъ иное дѣло вопросъ: была ли достаточная причина для употребленія мѣры домашняго исправленія въ тѣхъ увеличенныхъ размѣрахъ, которые допущены были при томъ единократномъ наказаніи, когда г. Кронебергъ употребилъ шпицрутены? Само собою разумѣется, что была. Нужно отдать справедливость чистоплотности г. Спасовича: онъ ни на минуту не остановился на солдатски-откровенномъ показаніи доктора Сусловой. Но въ этомъ не было и надобности, потому что дѣвочка имѣетъ много другихъ пороковъ, которые требуютъ педагогическаго воздѣйствія: она—лгунья и воровка... Пропадаетъ сахаръ, черносливъ и наконецъ является поползновеніе (слѣдствіемъ, впрочемъ, неподтвержденное) добраться и до денегъ. Равнодушно къ такимъ поступкамъ относиться нельзя. „Я полагаю, — сказалъ г. Спасовичъ,—что отъ чернослива до сахара, отъ сахара до денегъ, до банковыхъ билетовъ—путь прямой, открытая дорога". Слова сильныя, но неосновательныя, свойственныя тѣмъ остервенѣлымъ педагогамъ, которымъ до того опостылѣло воспитательное ремесло, что они въ каждомъ воспитываемомъ готовы усматривать будущаго злодѣя. Едва-ли также можно согласиться съ мнѣніемъ г. Спасовича, что отецъ, наказывая своего сына (какъ?), избавляетъ его отъ каторжныхъ работъ и поселенія, а наказывая дочь—избавляетъ ее отъ того, чтобъ она не сдѣлалась распутною женщиной; ибо можно указать на множество лицъ, которыя, никогда не бывъ сѣчены ни съ разсѣченіемъ кожи, ни безъ разсѣченія оной, не только не угодили на каторгу, но занимаютъ болѣе или менѣе значительныя общественныя должности. Тѣмъ не менѣе, несмотря на парадоксальность и ребяческую несостоятельность подобныхъ мнѣній, высказывать ихъ въ защитительной рѣчи, обращенной къ присяжнымъ засѣдателямъ, все-таки недурно. Хорошо поразить воображеніе

присяжнаго, сказавъ: вотъ дѣвочка, которая была на пути къ банковымъ билетамъ, но г. Кронебергъ ее остановилъ! И еще: сѣки своего сына, ибо это избавляетъ его отъ каторги! сѣки свою дочь, ибо это воспрепятствуетъ ей сдѣлаться жертвой распутства! Нужды нѣтъ, что все это вздоръ и галиматья, и что подобныя мнѣнія отзываются не то старческимъ безсиліемъ, не то ребяческими пеленками—г. Спасовичъ очень хорошо знаетъ, что существуютъ аудиторіи, въ средѣ которыхъ подобныя перспективы пользуются силою почти неотразимою, и покуда эти аудиторіи будутъ существовать, до тѣхъ поръ и онъ будетъ рисовать свои перспективы въ интересахъ подсудимыхъ, которые прибѣгнутъ къ его адвокатской помощи.

Изъ всего изложеннаго выше оказывается, что г. Кронебергъ отнюдь не истязатель, а только плохой педагогъ. Наказывая дѣвочку сильно, больно, такъ что остались слѣды наказанія (вотъ кабы найти такой способъ, чтобы можно было наказывать сильно и больно, а слѣдовъ бы не оставалось!), онъ „сдѣлалъ двѣ логическія ошибки: во-первыхъ, поступилъ слишкомъ рьяно, предположивъ, что можно однимъ ударомъ искоренить все зло, которое годами посѣяно въ душу ребенка и годами же взрощено, и, во-вторыхъ, онъ дѣйствовалъ не какъ осторожный судья и не вошелъ въ изслѣдованіе обстоятельствъ, которыя склоняли дѣвочку къ кражѣ".

Плохой педагогъ, неосторожный судья—и больше ничего. Вотъ еслибъ его за это предали суду, тогда былъ бы другой разговоръ! Тогда его можно было бы даже присудить къ высшей мѣрѣ наказанія, то-есть къ отдачѣ на покаяніе въ педагогическое общество (но тогда можно было бы также доказать, что сужденіе о достоинствѣ той или другой педагогической системы до присяжныхъ не относится), а то—помилуйте!—предаютъ человѣка суду за истязаніе! Да гдѣ же оно? гдѣ его признаки? Вотъ вамъ сводъ законовъ, вотъ кассаціонная судебная практика и вотъ наконецъ показанія экспертовъ-врачей! Истязанія! тяжкія поврежденія! И это говорится въ виду показаній, совершенно опредѣлительно установившихъ, что не было даже просѣченія кожи!

Однимъ словомъ, какъ адвокатъ, г. Спасовичъ исполнилъ свое дѣло вполнѣ исправно. Съ знаніемъ законовъ и кассаціонной судебной практики, съ тонкимъ пониманіемъ свидѣтелей и присяжныхъ засѣдателей. Съ своей стороны, и присяжные отнеслись къ его усиліямъ съ полнымъ довѣріемъ, и вынесли г. Кронебергу оправдательный вердиктъ.

Собственно говоря, здѣсь бы и слѣдовало кончить настоящую статью. Всѣ сдѣлали свое дѣло. Г. Кронебергъ сѣкъ свою дочь, но безъ просѣченія кожи: а ежели она кричала, то потому только, что вообще „кричать горазда". Г. Спасовичъ исполнилъ свое провиденціальное назначеніе безподобно, то-есть доказалъ, что кліентъ его наказывалъ не произвольнымъ аллюромъ, но на точномъ основаніи указаній, представляемыхъ кассаціонною судебною практикой. Присяжные засѣдатели вынесли оправдательный вердиктъ. Во всемъ этомъ нѣтъ ничего ни необычнаго, ни удивительнаго. Неудивительно даже и то, что въ такомъ дѣлѣ фигурировалъ г. Спасовичъ, а не адвокатъ чувствительной школы, г. Языковъ. Вѣдь г. Спасовичъ, помнится, уже заявилъ однажды, что адвокатская дѣятельность должна не посторонними какими-либо

соображеніями руководствоваться, но преслѣдовать лишь тѣ чисто-художественно-юридическія цѣли, которыя непосредственно вытекаютъ изъ свода законовъ и кассаціонной судебной практики...

Но есть въ защитительной рѣчи г. Спасовича одна сторона, которая какъ-то не клеится съ идеаломъ чисто-художественно-юридическихъ цѣлей, рекомендуемымъ имъ адвокатскому сословію. Въ началѣ этой рѣчи существуетъ небольшое вступленіе, въ которомъ знаменитый адвокатъ желаетъ какъ бы выгородить свою личную солидарность съ розгами и пощечинами, и внушить слушателямъ, что его личныя понятія насчетъ способовъ педагогическаго воздѣйствія далеко не сходны съ тѣми, которыя исповѣдуетъ г. Кронебергъ. Въ виду такого заявленія, конечно, всего естественнѣе было бы обратиться къ г. Спасовичу съ вопросомъ: если вы не одобряете ни пощечинъ, ни розогъ, то зачѣмъ же ввязываетесь въ такое дѣло, которое сплошь состоитъ изъ пощечинъ и розогъ? Но повидимому это нравственное и умственное двоегласіе имѣетъ особенную и вполнѣ уважительную причину, а именно: г. Спасовичъ, не будучи лично сторонникомъ пощечинъ и розогъ (и онъ родился въ Аркадіи, и онъ не чуждъ *постороннихъ соображеній*!), видитъ въ нихъ, тѣмъ не менѣе, своего рода воспитательный пантеонъ, къ которому надо приближаться съ осторожностью, а всего лучше ожидать съ терпѣніемъ, пока онъ самъ собой рухнетъ. — А не рухнетъ онъ никогда, — невольно проговаривается при этомъ уважаемый ораторъ и адвокатъ.

Вотъ объ этой-то сторонѣ защитительной рѣчи и предстоитъ теперь сказать нѣсколько словъ, тѣмъ болѣе, что она значительно подрываетъ солидно-дѣловую, изъятую отъ всякихъ мечтательностей, дѣятельность г. Спасовича, какъ адвоката.

Существуетъ въ Европѣ — и вѣроятно въ цѣломъ мірѣ — политическое и философское ученіе, извѣстное подъ именемъ ученія о компромиссахъ и сдѣлкахъ. Сущность этого ученія заключается въ томъ, что человѣчество должно подвигаться впередъ отступая. Нѣкоторые адепты этого ученія еще сохранили память о кое-какихъ идеалахъ, и собственно ради ихъ достиженія рекомендуютъ уступки и компромиссы; но другіе до того завертѣлись въ бѣличьемъ колесѣ компромиссовъ, что уже ничего впереди не видятъ и ничего назади не помнятъ, а смотрятъ на жизнь какъ на исторически-организованную игру, въ которой никакой цѣли никогда не достигается, хотя всѣ формы неуклоннаго поступательнаго движенія имѣются на-лицо. Игра эта бываетъ болѣе или менѣе сложная, смотря по бо́льшей или ме́ньшей сложности замысла и бо́льшему или ме́ньшему количеству силъ, которыя въ нее введены, но во всякомъ случаѣ она съ избыткомъ наполняетъ досуги людей.

Въ настоящее время въ Европѣ существуетъ какъ бы повѣтріе на компромиссы и сдѣлки. Всюду чувствуется смутная боязнь, и потому всюду раздаются клики: „Осторожнѣе! Не спѣшите! Отступайте! Заманивайте! Не раздражайте!“ На этой наклонности компромисса основанъ союзъ германскихъ національныхъ либераловъ съ Бисмаркомъ, и этимъ же явленіемъ объясняется и то, что происходитъ теперь во Франціи.

Практика компромиссовъ до такой степени втягиваетъ, что заставляетъ забывать прежнія связи и прежнихъ друзей. Люди дѣлаются придирчивыми,

подозрительными, приходятъ въ одичаніе, и въ концѣ концовъ до такой степени погрязаютъ въ мелочахъ, что начинаютъ все прикидывать на золотники и вершки, и отъ этихъ вершковъ ставить въ зависимость успѣхъ поступательнаго движенія въ бѣличьемъ колесѣ. Каждый открытый шагъ друзей-единомышленниковъ кажется компрометирующимъ; каждое слово, разоблачающее дѣйствительныя цѣли стремленій партіи, представляется рискованнымъ преждевременнымъ. Хотѣлось бы достигнуть этихъ цѣлей „потихоньку", не въ смыслѣ большей или меньшей медленности процесса достиженія, а такъ, чтобы никто не замѣтилъ. Всѣ бы на минуту задремали, а мы бы взяли да и воспользовались. И такъ какъ при такомъ безпокойномъ состояніи ума послѣдній всѣ усилія направляетъ лишь къ устройству внѣшнихъ формъ движенія, т.-е. къ дисциплинѣ и субординаціи, то нерѣдко случается, что первоначальныя цѣли мало-по-малу стираются и отходятъ очень далеко назадъ. Такъ что не безъ удивленія можно видѣть, что человѣкъ, который первоначально ни о чемъ не хотѣлъ слышать, кромѣ maximum'а, преспокойно съѣзжаетъ себѣ на minimum, и упорно сидитъ въ новосозданной имъ раковинѣ умѣренности до тѣхъ поръ, пока новая горячая волна жизни не вымоетъ его оттуда.

Вѣяніе времени, носящееся въ воздухѣ, сказывается до того рѣшительно, что подчиняетъ себѣ, напримѣръ, даже Луи Блана, который до сихъ поръ гораздо сочувственнѣе относился къ требованіямъ „мечтателей", нежели къ „политикѣ разсудка" и „политикѣ результатовъ". Въ письмѣ, обращенномъ въ 1875 г. къ избирателямъ XIII округа города Парижа, онъ уже прямо выражается, что уступки необходимы и что однимъ скачкомъ очутиться у цѣли невозможно...

То же явленіе встрѣчается и въ современной Россіи, хотя и въ иныхъ примѣненіяхъ. У насъ нѣтъ широкихъ интересовъ, волнующихъ Францію и Германію; у насъ человѣческая мысль можетъ отъ времени до времени высказываться лишь по поводу частныхъ случаевъ, проявляющихся преимущественно на судоговореніяхъ. Поэтому и въ дѣятеляхъ чувствуется нѣкоторая разница: во Франціи проводителями ученія о компромиссахъ являются Гамбетта и Луи Бланъ, у насъ—г. Спасовичъ. Съ этою оговоркой письмо Луи Блана безъ всякой натяжки можетъ стоять рядомъ съ рѣчью г. Спасовича, и читателю, при сравненіи ихъ, остается только уменьшать размѣры въ той степени, въ какой онъ самъ заблагоразсудитъ.

Изложивъ свою избирательную программу и установивъ тѣ политическіе общественные идеалы, торжеству которыхъ была всецѣло посвящена его жизнь, и въ пользу коихъ онъ и впредь обязывается нелѣностно ратовать, Луи Бланъ вдругъ дѣлаетъ переходъ, въ сущности ничѣмъ не мотивированный, кромѣ смутнаго представленія: а что ежели честный солдатъ Макъ-Магонъ, за такія мои слова объ республиканскихъ идеалахъ, республику прихлопнетъ, а намъ всѣмъ „фельдфебеля въ Вольтеры дастъ"? Вотъ этотъ переходъ: „Мнѣ, конечно, не безъизвѣстно, любезные сограждане, что въ трудномъ шествіи человѣчества къ царству правды необходимы извѣстныя станціи; что побѣды прогресса не совершаются въ одинъ день; что нужно терпѣніе, нужна осторожность, нуженъ практическій смыслъ вещей; что, идя впередъ съ излишней быстротой, человѣчество рискуетъ быть поставленнымъ въ

необходимость отступить“. То-есть, другими словами: ваше превосходительство! господинъ маршалъ Макъ-Магонъ! Вы слышали, что я сейчасъ говорилъ о рабочемъ вопросѣ, о церкви, о народномъ образованіи, но вѣдь это *Улита ѣдетъ—когда-то будетъ*. Желая всѣмъ сердцемъ реформъ въ моемъ отечествѣ, я однакожъ понимаю, что на хотѣнье есть терпѣнье и что въ настоящее время мы уже и тѣмъ совершенно счастливы, что имѣемъ такого снисходительнаго начальника, какъ ваше превосходительство. Успокойтесь же насчетъ нашей благонамѣренности и имѣйте въ виду, что ежели въ 1880 году потребуется устроить для васъ новый септеннатъ, мы хотя, быть можетъ, ради приличія, не будемъ дѣятельно участвовать въ этомъ торжествѣ, но и препятствовать оному не станемъ, такъ какъ идеалы наши трудные, и въ 1880 году пословица: „скорость потребна только блохъ ловить“, будетъ существовать въ той же силѣ, какъ и въ настоящую минуту.

То же говоритъ и г. Спасовичъ въ той скромной сферѣ сѣченія, въ которой онъ, въ качествѣ адвоката, вынужденъ вращаться. „Я, гг. присяжные, —объясняетъ онъ—не сторонникъ розги; я вполнѣ понимаю, что можетъ быть проведена система воспитанія, изъ которой розга будетъ исключена, но... нормальныя мѣры употребляются въ нормальномъ порядкѣ вещей“. Или другими словами: хорошо воспитаніе безъ розги. но нужно запастись терпѣніемъ, осторожностью и практическимъ смысломъ вещей, и съ этимъ ждать нормальнаго порядка вещей. А до тѣхъ поръ слѣдуетъ довольствоваться необходимыми станціями, въ числѣ коихъ г. Кронебергъ составляетъ такую, на которой поѣздъ, стремящійся въ царство правды, останавливается для сѣченія до тѣхъ поръ, покуда объ этомъ не будетъ заявлено въ участкѣ.

Далѣе, Луи Бланъ продолжаетъ: „Было бы несомнѣнно неблагоразумно думать, что можно однимъ прыжкомъ очутиться у цѣли путешествія, для совершенія котораго потребно продолжительное время“. А г. Спасовичъ, изъ скромной сферы розогъ вступая въ еще болѣе скромную сферу пощечинъ, объясняется такъ: „Остается открытымъ вопросъ о пощечинахъ и о тѣхъ синякахъ, которые были, *можетъ быть* (г. Спасовичъ твердо держится показанія доктора Корженевскаго о принадлежности Маріи Кронебергъ къ такимъ субъектамъ, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производитъ синяки, и только по страсти къ компромиссамъ допускаетъ, что синяки, *можетъ быть*, произошли и отъ пощечинъ), послѣдствіемъ пощечинъ. Кронебергъ давалъ пощечины ребенку—это вѣрно: онъ самъ признаетъ, что ударилъ дѣвочку по лицу раза три или четыре. *Я признаю, что пощечина не можетъ считаться достойнымъ одобренія способомъ отношенія отца къ дитяти*. Но я знаю также, что есть весьма уважаемые педагоги, которые считаютъ ударъ рукой по щекѣ нисколько не тяжелѣе, а можетъ быть и предпочтительнѣе, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, сѣченія розгами. Причины, почему пощечина считается особенно обиднымъ ударомъ, кроятся въ нравахъ, въ прошедшемъ. Слѣдя въ исторіи за возникновеніемъ этого понятія, мы отыщемъ его въ тѣ рыцарскія времена, когда рыцари ходили въ шлемахъ съ забраломъ, когда ударять ихъ по лицу въ обыкновенномъ ихъ нарядѣ было невозможно, а подобные удары сыпались только на смердовъ, на вилланов. Разбирая же власть родительскую, трудно сказать, чтобъ она

не доходила ни въ какомъ случаѣ до пощечинъ; отъ посторонняго человѣка ударъ по лицу можетъ сдѣлаться кровной обидой, но не отъ отца". Иными словами, то же самое, что говоритъ и Луи Бланъ, только переведенное на языкъ пощечинъ. Шествуйте впередъ къ царству, изъятому отъ пощечины, но знайте, что васъ ждетъ путь долгій и трудный, у цѣли котораго нельзя очутиться однимъ прыжкомъ, и что путь этотъ весь усѣянъ пощечинами. Конечно, Луи Бланъ былъ бы очень изумленъ, узнавъ, что существуетъ „открытый вопросъ" о пощечинахъ, но по нашему мѣсту и это сойдетъ съ рукъ.

Сходство впрочемъ на этомъ и оканчивается. Высказавъ изложенныя выше мысли насчетъ уступокъ, Луи Бланъ прибавляетъ: „Но необходимо имѣть идеалъ и никогда не терять его изъ вида, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда допускаются жертвы въ пользу дѣйствительности. Неразумно думать, что одинъ прыжокъ достаточенъ для того, чтобы достигнуть цѣли долгаго пути, но еще неразумнѣе пускаться въ путь, не зная, куда онъ ведетъ, и выбирать окольныя дороги, не будучи увѣреннымъ, что онѣ ведутъ именно къ тому пункту, котораго предполагаешь достигнуть". Г. Спасовичъ, напротивъ того, давъ сначала понять, что для него вполнѣ понятна система воспитанія безъ розогъ и безъ пощечинъ, и что, слѣдовательно, нельзя отрицать возможности и дѣйствительныхъ, вполнѣ безпощечинныхъ отношеній родителей къ дѣтямъ, тѣмъ не менѣе, относится къ этому идеалу безпощеченности мрачно, почти безнадежно. „Я,—говоритъ онъ,—такъ же мало ожидаю совершеннаго и безусловнаго искорененія тѣлеснаго наказанія, *какъ мало ожидаю, чтобъ вы* (присяжные засѣдатели) *перестали въ судѣ дѣйствовать, за прекращеніемъ уголовныхъ преступленій и нарушеній той правды, которая должна существовать, какъ дома, въ семьѣ, такъ и въ государствѣ*".

Люди придирчивые могутъ сказать, что послѣднія, подчеркнутыя сейчасъ, фразы или затѣмъ только пущены въ ходъ, чтобъ сдѣлать гг. судьямъ и присяжнымъ засѣдателямъ комплиментъ, внушивъ имъ, что царствію ихъ не будетъ конца, или же представляютъ собой наборъ пустыхъ и безсодержательныхъ словъ, высказанныхъ безъ всякаго соображенія съ исторіей тѣхъ усилій—исторіей далеко не безплодною,—которыя дѣлаются въ видахъ ежели не окончательнаго и немедленнаго упраздненія преступленій, то по крайней мѣрѣ значительнаго сокращенія числа ихъ. Есть выраженія готовыя, къ которымъ уже изстари пріучено человѣческое ухо и къ которымъ, въ случаѣ отсутствія мысли, можно прибѣгать точно такъ же, какъ прибѣгаютъ къ магазину готовыхъ платьевъ, чтобы выйти оттуда франтомъ. Но пусть будетъ такъ, какъ утверждаетъ г. Спасовичъ: пусть розги не прекратятся; пусть пощечины господствуютъ вѣчно; пусть преступленія умножаются и процвѣтаютъ, на утѣшеніе адвокатамъ, in secula seculorum; спрашивается: зачѣмъ же было заводить разговоръ о педагогическихъ идеалахъ? Зачѣмъ было говорить: „Я вполнѣ понимаю, что можетъ быть проведена система воспитанія, изъ которой розга будетъ исключена"? Странное дѣло! объявлять себя „не сторонникомъ" розги—и въ то же время вступаться въ дѣло, въ основаніи котораго лежитъ исключительно розга! намекать на возможность какихъ-то

безпощечинныхъ педагогическихъ идеаловъ—и вслѣдъ за тѣмъ объявлять, что идеалы эти слѣдуетъ положить въ шкафъ и навсегда запереть на ключъ!

Ежели слова о возможности существованія безпощечинной педагогики были высказаны не ради щегольства (чего даже нельзя предположить со стороны г. Спасовича, зная его всегдашнюю трезвость въ этомъ смыслѣ), то ихъ не слѣдовало говорить совсѣмъ, особливо въ виду того, что вся остальная рѣчь представляетъ лишь категорическое опровержение этого опрометчиво выраженнаго афоризма. Правда, жалкія слова имѣютъ еще очень большое значеніе въ современномъ обществѣ, но все-таки туманъ, ими напускаемый, начинаетъ мало-по-малу разсѣяваться. Ясно, что г. Спасовичъ вышелъ изъ своей роли и сдѣлалъ ошибку. Его умъ, по преимуществу дѣловой, наклонный къ политикѣ результатовъ, долженъ тщательно отметать отъ себя чувствительныя примѣси, которыя составляютъ удѣлъ тѣхъ, которые за прогоны готовы посѣтить какую угодно область теоретическихъ общностей. И навѣрное рѣчь г. Спасовича не утратила бы своей цѣнности и не сдѣлалась бы менѣе убѣдительною, еслибъ онъ, не выгораживая своей личности отъ подозрѣній въ солидарности съ пощечинами, выразилъ прямо и просто, чего онъ требуетъ отъ присяжныхъ засѣдателей. Скомпонованная такимъ образомъ рѣчь могла бы имѣть приблизительно слѣдующій видъ: „Гг. судьи! гг. присяжные засѣдатели! передъ вами на скамьѣ подсудимыхъ находится г. Кронебергъ, который обвиняется въ истязаніи своей дочери. Для того, чтобы вы могли судить правильно, дѣйствительно ли г. Кронебергъ виноватъ въ томъ преступленіи, *за которое онъ преслѣдуется* (всякій опытный адвокатъ долженъ подчеркнуть эти послѣднія слова, чтобъ присяжные не смѣшивали: подсудимый можетъ быть и виноватъ, но *не въ томъ* преступленіи, за которое судится), необходимо разрѣшить три вопроса: 1) имѣлъ ли г. Кронебергъ право подвергать свою дочь тѣлесному наказанію? — отвѣтомъ на этотъ вопросъ служитъ такая-то статья свода законовъ, которая вполнѣ это право за нимъ подтверждаетъ; 2) подавала ли Марія Кронебергъ поводъ для педагогическихъ воздѣйствій на тѣлѣ?—на это служитъ отвѣтомъ энергическое показаніе доктора Сусловой, и 3) можно ли назвать употребленные г. Кронебергомъ педагогическіе пріемы истязаніемъ?—на это дастъ вамъ отвѣтъ, во-первыхъ, кассаціонная судебная практика и, во-вторыхъ, достаточно удовлетворительный видъ, который представляли ягодицы Маріи Кронебергъ при освидѣтельствованіи. Я кончилъ“.

И только.

Можно быть увѣреннымъ, что эта простая и безъискусственная рѣчь оказала бы на присяжныхъ засѣдателей по малой мѣрѣ такое же вліяніе, какъ и тѣ темные намеки, которые допустилъ г. Спасовичъ, чтобы установить свою личную непричастность къ педагогической практикѣ г. Кронеберга.

Кажется, не будетъ ошибки, ежели сказать, что всѣ указанныя выше оговорки и недомолвки суть плодъ неясныхъ отношеній, въ которыя стала русская адвокатура къ органамъ нашей печати, носящимъ названіе „либеральныхъ“. Адвокатура наша по началу довольно горячо заявила о своей солидарности съ вопросами жизни, и потому весьма естественно встрѣтила со сто-

роны либеральной прессы самое горячее сочувствіе. Но, симпатизируя защитнику вдовы и сироты, литература, какъ старшая сестра въ либерализмѣ, до того простерла свое усердіе, что, подвергая дѣйствія адвокатовъ неусыпному контролю, заявила претензію держать это сословіе въ постоянной опекѣ. Начались обличенія, взысканія, выговоры, почти угрозы, и долгое время сходило это съ рукъ, потому что въ самой средѣ адвокатовъ не установилось еще совершенно опредѣленныхъ понятій о тѣхъ цѣляхъ, которымъ она призвана служить.

Такое отношеніе литературы едва-ли можетъ быть названо правильнымъ. Франція—классическая страна адвокатуры, представители которой со времени первой революціи играли въ ея исторіи очень значительную политическую роль, но и тамъ объ адвокатахъ, какъ объ адвокатахъ, въ литературѣ нѣтъ и рѣчи. Адвокатъ, за очень рѣдкими случаями, никого не занимаетъ, покуда изъ него не образуется политическій дѣятель, а разъ сдѣлавшись министромъ, сенаторомъ, депутатомъ—онъ уже и самъ забываетъ о первородномъ грѣхѣ, въ которомъ валялся до того времени. Въ послѣднее время, какъ политическіе дѣятели, адвокаты утратили много изъ прежняго обаянія. Перенося на политическую и административную арену изнурительныя привычки своего ремесла, они никогда не приходили къ дѣйствительно плодотворнымъ результатамъ, а только вертѣлись въ бѣличьемъ колесѣ, вслѣдствіе чего въ настоящее время Франція, послѣ четырехъ революцій, и находится подъ начальствомъ у Мак-Магона. Поэтому на избирательныхъ сходкахъ въ Парижѣ уже слышатся голоса, что адвокатовъ довольно. Но во всякомъ случаѣ, какъ служителей своего ремесла, и литература, и даже публика (кромѣ нуждающихся въ ихъ услугахъ) ихъ игнорируетъ, и, право, едва-ли можно указать на примѣръ, чтобы въ послѣднее время въ какомъ бы то ни было французскомъ органѣ печати было заявлено кому-либо изъ адвокатовъ, что онъ поступаетъ недостойно, защищая французскихъ Овсянниковыхъ и Мясниковыхъ. Единственное исключеніе составляетъ защита Базена адвокатомъ Лашо, но это статья особенная.

У насъ ремесленное значеніе адвокатуры, по настоящему, должно бы выказаться еще рѣзче, потому что наши адвокаты уже окончательно не имѣютъ никакого отношенія къ политической жизни государства. Не вопросы жизни стоятъ для нихъ на первомъ планѣ, а вопросы, истекающіе изъ свода законовъ и изъ кассаціонной судебной практики. Ловкое обращеніе съ статьями законовъ—вотъ что̀ имѣется прежде всего въ виду, точно такъ же, какъ въ нѣкоторыхъ ремеслахъ главную роль играетъ ловкое обращеніе съ иглою, шиломъ, заступомъ и т. д. Спрашивается: почему никому не приходило въ голову обвинять въ недостоинствѣ башмачника, который шьетъ матери Митрофаніи башмаки, или портного, который одѣваетъ Овсянникова, и напротивъ того, отовсюду сыплются обвиненія на адвоката, который, видя Овсянникова покрытымъ сажею пожарища, взялся омыть его банею пакибытія?

Наша печать долгое время не рѣшалась принять этого взгляда, но въ послѣднее время сама адвокатура рѣшилась заявить, что онъ представляетъ единственное правильное мѣрило, съ которымъ можно относиться къ ней. Опекунскія замашки печати произвели неизбѣжную реакцію въ той самой средѣ,

которая еще такъ недавно увлекалась желаніемъ доказать, что ничто человѣческое ей не чуждо, хотя на самомъ дѣлѣ всегда имѣла въ виду только то, какъ бы „слопать боженьку", чтобъ никто этого не замѣтилъ. Возникъ бунтъ; долгое время онъ тлѣлъ, такъ что нельзя было разобрать, откуда гремитъ громъ, изъ тучи или изъ навозной кучи, но наконецъ въ адвокатскую похлёбку попалъ такой жирный кусъ, что долго сдерживаемыя страсти не устояли. Поводомъ къ разрыву съ литературой послужило знаменитое Овсянниковское дѣло, и, помнится, г. Спасовичъ (конечно, какъ добрый товарищъ, ибо лично онъ игралъ въ этомъ дѣлѣ роль противо-Овсянниковскую) первый поднялъ знамя бунта, сказавши на какомъ-то обѣдѣ, что адвокатура должна шествовать *своимъ* путемъ, независимо отъ внушеній и контроля печати. За нимъ послѣдовалъ и г. Потѣхинъ, который безъ церемоніи обвинилъ русскую литературу въ идіотствѣ.

Вѣроятно эти случаи измѣнятъ взглядъ нашей печати на русскую адвокатуру и укажутъ, какой долженъ быть характеръ ихъ взаимныхъ отношеній. Во всякомъ случаѣ это не могутъ быть отношенія товарищества, ибо общей почвы для этого здѣсь найти нельзя, кромѣ развѣ того, что и литераторъ, и адвокатъ обладаютъ однимъ и тѣмъ же орудіемъ для достиженія своихъ цѣлей—словомъ. Затѣмъ, и объектъ дѣйствія, и характеръ его—все разное. Литература служитъ обществу, адвокатура—кліенту; честность литературы состоитъ въ разработкѣ идеаловъ и перспективъ будущаго, честность адвокатуры—въ строгомъ согласіи съ дѣйствительностью и подчиненіи идеаламъ, выработаннымъ въ прошедшемъ и ввѣреннымъ охранѣ положительнаго закона. А что̀ касается до общаго орудія—слова, — то вѣдь оно раздается и на Сѣнной.

Коль скоро адвокатура выказала намѣреніе отмежеваться отъ области общихъ умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, надо воспользоваться этими ея поползновеніями, не навязывать ей общенія и отвести то мѣсто, которое она должна дѣйствительно занимать въ кругу разнообразныхъ ремеслъ. Что адвокатура ничего не выиграетъ отъ этой эмансипаціи—это несомнѣнно. Тяготѣя все больше и больше къ независимости отъ общихъ интересовъ жизни, она скоро очутится въ томъ же незавидномъ положеніи, въ какомъ еще недавно находились ябедники и строчители просьбъ. Т.-е. настоящей независимости не достигнетъ, а только перемѣнитъ господина, и вмѣсто литературы пріобрѣтетъ себѣ таковаго въ лицѣ кліента, который до сихъ поръ сдерживалъ свои инстинкты именно благодаря тому, что думалъ, будто адвокатура и печать солидарны другъ съ другомъ. Что же касается печати, то, освободившись отъ кошмара кляузы, она несомнѣнно выиграетъ. Кляуза въ послѣднее время отнимала слишкомъ много досуга у публики и заслоняла отъ ея глазъ другіе интересы, гораздо болѣе важные. Это не соотвѣтствуетъ ея дѣйствительному значенію въ общей экономіи жизни общества, и, къ счастію для человѣчества, у него на очереди стоятъ вопросы, гораздо болѣе животрепещущіе, нежели вопросъ объ отношеніяхъ адвокатовъ къ кліентамъ и къ суду.

Глава VI.

На дворѣ знойно; Петербургъ опустѣлъ и наполнился смрадомъ. Съ „вопросами" тихо; даже еврейскій вопросъ, надѣлавшій-было изряднаго переполоху — и тотъ словно изнылъ. Но кой-гдѣ еще скребутъ перьями; вѣроятно это какая-нибудь, невзначай уцѣлѣвшая, комисія доскребываетъ свою послѣднюю пѣсню... Ну, что бы стоило окончательно сказать: оботрите перья, спрячьте въ ящикъ бумаги, заприте на ключъ и бѣгите куда глаза глядятъ — какой бы миръ во всѣ души эти простыя слова пролили! Такъ нѣтъ, объ этомъ еще не слыхать: не приспѣло, знать, время. А тутъ, вдобавокъ, еще дернуло околоточнаго на Петербургской Сторонѣ двѣ души загубить! Думаешь: нѣтъ ли тутъ внутренней политики и не отразится ли это происшествіе на литературѣ, яко попустительницѣ и укрывательницѣ...

И всѣ эти сомнѣнія рождаются въ такую пору, когда неслыханный зной такъ и прожигаетъ насквозь, когда не только возиться съ вопросами, но и фривольныя мысли въ головѣ содержать тяжело. Говорятъ, будто въ такой зной хорошо сѣно убирать и хлѣбъ жать, но насколько это справедливо—сказать не умѣю. Не сѣялъ, не жалъ, а только въ ѣдѣ себѣ не отказывалъ. На дняхъ впрочемъ, видя, какъ дворникъ Иванъ ловко машетъ косой, обкашивая лужайку передъ дачей, я рискнулъ-таки полюбопытствовать:

— А что, братъ, Иванъ, я думаю, что въ такое благопріятное для уборки время и душа радуется косить-то?

Но онъ, вмѣсто того, чтобы по душѣ покалякать, процѣдилъ сквозь зубы:

— Попробуйте!

Такъ я и не узналъ, радуется или не радуется у человѣка душа, когда онъ машетъ косой при тридцати градусахъ по Реомюру.

Нынѣшнимъ лѣтомъ я не поѣхалъ за границу, а устроился на дачѣ подъ Петербургомъ. Въ сущности, пора бы свой собственный уголъ гдѣ-нибудь припасти; но столько нынче во всѣхъ мѣстахъ „вопросовъ" развелось, что по-неволѣ беретъ оторопь. На югъ заберешься—тамъ еврейскій вопросъ у всѣхъ въ свѣжей памяти; на сѣверъ—тамъ о какихъ-то аграрныхъ вопросахъ поговариваютъ. Даже въ Петербургѣ нынче своимъ домкомъ завестись жутко: а ну, какъ столица-то?.. Катковъ съ Аксаковымъ въ Москву зовутъ, Булюбашъ — въ Полтаву, а потомъ, глядишь, и въ Саратовѣ свой собственный патріотъ объявится: пожалуйте въ Саратовъ!

Главнымъ образомъ я потому не поѣхалъ за границу, что вѣстей туда изъ Россіи доходитъ мало, а знать хочется. Думалъ: поселюсь-ка въ сорока верстахъ отъ Петербурга — всего наслушаюсь. И что же! въ сорока-то верстахъ еще меньше извѣстій изъ Россіи, нежели за границей! Точно она сквозь землю провалилась, голубушка. Тѣ же газетные листы, что и за границей, и тѣ же въ нихъ голые факты. А какія загадки скрываются за этими фактами, и какія загвоздки готовятъ они въ будущемъ—молчокъ.

Довольно поболтали. Налгали съ три короба, насуетились—и будетъ. Теперь попробуемъ, не лучше ли будетъ, если сядемъ и будемъ сидѣть, уставивъ брады. Но какой переходъ!

Какъ опознаться въ этомъ Concertstück, гдѣ мажорные тоны внезапно смѣняются минорными, а минорные — мольными, и наконецъ наступаетъ отсутствіе всякихъ тоновъ?..

Паровозы между тѣмъ чуть не ежечасно выбрасываютъ на дачную платформу цѣлыя массы людей, съ портфелями и безъ портфелей, людей, которые ежедневно, въ урочный часъ, уѣзжаютъ отъ насъ въ Петербургъ и, настряпавши тамъ цѣлые вороха внутренней политики, въ урочный же часъ пріѣзжаютъ обратно—глотнуть дачнаго воздуха. Вяло вылѣзаютъ эти люди изъ вагоновъ и, лѣниво перебирая по платформѣ ногами, направляются къ извозчикамъ. Глаза померкли, губы запеклись, въ носу залегло, голова пуста... Послѣ, въ порфелѣ, опять все безъ труда отыщется, и опять голова наполнится внутренней политикой, но покуда утренняя стряпня взяла всѣ силы, какія только могла взять. А тутъ, какъ на грѣхъ, зной, словно изъ ушата, такъ и льетъ на опустѣлую голову...

— Что̀ новенькаго?—слышится гдѣ-то сонный вопросъ.

— А? что?—тоже словно сквозь сонъ раздается изъ чьей-то утробы.

Однимъ словомъ, предположенная цѣль: остаться въ Россіи, чтобы жить въ оной—оказывается недостигнутою. Живешь невѣдомо гдѣ, слышишь загадочные звуки, видишь протянутыя веревки, на которыхъ качается масса юбокъ и кальсоновъ (вотъ фуфайка главы семейства, а вотъ кальсоны матери семейства!), и отъ времени до времени освѣжаешься мыслью, что, того гляди, явятся прекрасные незнакомцы и потребуютъ: пожалуйте паспорты! Паспорты, паспорты, паспорты—вотъ въ чемъ состоитъ прелесть нынѣшней дачной жизни...

— Кто вы, прекрасные незнакомцы? Дворникъ! слѣдуетъ ли отдавать имъ паспорты?

— Помилуйте, вашескородіе! стало быть, слѣдуетъ, коли требуютъ!

А впрочемъ въ послѣднее время наша жизнь уразнообразилась еще слухами о воровствахъ. Здѣшніе воры довольно снисходительны. Придутъ и попробуютъ, подается ли окно, или не подается; ежели подается, то влѣзутъ; если же не подается, то, не настаивая, идутъ дальше. На ихъ счастіе, дачи ремонтируются рѣдко, и оконные переплеты почти всегда ветхи. Но и въ такомъ случаѣ здѣшніе воры не задерживаются, а возьмутъ первое, что̀ попадется подъ руки, и уйдутъ. Очевидно, что главнымъ мотивомъ тутъ является не ненависть къ людямъ и не протестъ противъ неравномѣрнаго распредѣленія богатствъ, а выпивка. Хочется выпить, а денегъ нѣтъ — вотъ они и пробуютъ, прочны ли оконныя рамы. При этомъ всего чаще достается ложкамъ, которыя вездѣ, въ ягодный сезонъ, валяются неприбранныя. Иногда попадается нѣсколько настоящихъ серебряныхъ ложекъ—тогда воръ радуется и называетъ обворованнаго „хорошимъ господиномъ"; но иногда ложки попадаются мельхіоровыя—тогда воръ ропщетъ, называетъ обворованнаго обманщикомъ, и сравниваетъ его поступокъ съ тою мельхіоровою внутреннею по-

литикой, которая суетится и сулитъ, но, кромѣ мельхіоровыхъ дѣлъ, ничего послѣ себя не оставляетъ.

Однако, покуда не было опубликовано происшествіе на Петербургской Сторонѣ, мы не очень тревожились. Но звѣрски-безсмысленный поступокъ околоточнаго Иванова заставилъ и насъ встрепенуться. Сейчасъ же у всѣхъ оконъ появились наружные ставни, сквозь которые просовываются желѣзные болты, и теперь, съ десяти часовъ вечера, мы сидимъ запершись и ничего не боимся. Сверхъ того, я лично, ложась спать, на каждое окно кладу по ложкѣ и по двѣ, въ разсчетѣ, что воръ прямо возьметъ что̀ слѣдуетъ, и затѣмъ ему уже не будетъ надобности убивать. А такъ какъ у насъ околоточнаго нѣтъ, а есть урядникъ, то я и съ нимъ на всякій случай имѣлъ разговоръ.

— Ужъ вы, Семенъ Парѳенычъ, ежели вамъ нужно, лучше спросите!

— Я, вашескородіе, завсегда лучше спрошу!

— Пожалуйста. Я тоже лучше десять, двадцать-пять рублей отдамъ, нежели жизнь!

Устроившись такимъ образомъ, я сплю тѣмъ спокойнѣе, что на дняхъ намъ сдѣланъ сюрпризъ: нанятъ ночной сторожъ. Сторожъ этотъ слѣпенькій, на оба уха не слышитъ, на одну ногу хромаетъ, а другую волочитъ; однако еще дышетъ. А это все, что̀ нужно, потому что на здѣшняго простодушнаго вора одинъ видъ человѣка движущагося дѣйствуетъ спасительно. Иногда, въ просонкахъ, я слышу, какъ нашъ сторожъ зѣваетъ, а по временамъ—нѣтъ-нѣтъ да и потрещитъ въ трещетку: спите, молъ, я тутъ! А я ему въ отвѣтъ:—бди, калѣка, за восемь цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, бди!

Ахъ, этотъ Ивановъ! Мало того, что двѣ души загубилъ, но что̀ еще хуже—цѣлое вѣдомство своимъ поступкомъ скомпрометировалъ. Вмѣсто того, чтобы держать знамя полиціи высоко, а онъ, смотрите, что̀ выдумалъ! И какъ нарочно, сряду два такихъ случая. Одинъ съ Ивановымъ, другой съ господиномъ—не помню ужъ фамиліи—который въ магазинѣ пять байковыхъ платковъ стянулъ. Поймали, привели къ мировому.

— Кто таковъ?

— Чиновникъ департамента государственной полиціи.

Ахъ!

Къ счастію, оказалось, что онъ совралъ. Никогда онъ въ департаментѣ государственной полиціи не служилъ, а только отъ времени до времени исполнялъ отдѣльныя порученія. Исполнитъ порученіе, а вслѣдъ затѣмъ воровать пойдетъ; потомъ опять порученіе исполнитъ, и опять воровать. Дѣлу время, а потѣхѣ часъ. А въ департаментѣ, по разсмотрѣніи его порученій, распоряженія идутъ: штандартъ скачетъ, андроны ѣдутъ, паровозъ свиститъ...

Кто-жъ ему однакожъ въ душу влѣзетъ! думали, что онъ просто курицынъ сынъ, а онъ оказался... орелъ!

Какъ бы то ни было, но въ обоихъ приведенныхъ случаяхъ внутренней политики нѣтъ и слѣда, и тѣ, которые полагаютъ, что здѣсь примѣшанъ вопросъ о расширеніи полицейской компетенціи, очень грубо ошибаются. Равнымъ образомъ заблуждаются и тѣ, которые утверждаютъ, что ничего подобнаго не могло бы произойти при „правовомъ порядкѣ“ (псевдонимъ). Ибо псев-

донимъ этотъ давно ужъ у насъ существуетъ, только мы, по недоразумѣнію, другими псевдонимами его называемъ. Ничего намъ не нужно: ни реформъ, ни упорядоченій, ни правовыхъ порядковъ. Все у насъ есть. А ежели есть, сверхъ того, и много лишняго, то стоитъ только построже предписать: чтобъ не было—и не будетъ.

Вѣдь справляются же съ литературой. Не писать о соборахъ, ни объ Успенскомъ, ни объ Архангельскомъ, ни объ Исакіевскомъ — и не пишутъ. Вотъ объ колокольняхъ (псевдонимъ) писать—это можно, но я объ колокольняхъ писать не желаю. Богъ съ ними, съ псевдонимами вообще.

Встарину опытные губернаторы именно такъ и поступали. Прослышитъ, бывало, генералъ, что въ ввѣренномъ ему краѣ неблагополучно—сейчасъ циркуляръ: „Дошло до моего свѣдѣнія... чтобъ не было!“ И разомъ всѣ воровства, грабежи, убійства — все какъ рукой сниметъ. А отчего? оттого, что встарину администраторы знали, чего хотятъ, и въ согласность съ симъ требовали: объ журавляхъ не разговаривали, а прямо указывали на синицу. За то ужъ если потребовалъ генералъ синицу, то хоть тресни, а подай; а не подалъ—умри!

А нынче, съ комитетами да съ комисіями, совсѣмъ мы спутались. Понадѣлали комисій, думали, что польза выйдетъ, а вышли псевдонимы. Реформа—псевдонимъ, упорядоченіе—псевдонимъ, правовой порядокъ—псевдонимъ. Понятно, что никакая комисія такого множества псевдонимовъ не выдержитъ. И вотъ они нарождаются и умираютъ, умираютъ и опять нарождаются. А мы ходимъ между ними словно по полю, усѣянному мертвыми тѣлами. Идешь и думаешь: почили, неисправимые празднословы! — смотришь, анъ между ними ужъ кудрявые купидоны рѣзвятся и тоже объ чемъ-то празднокартавятъ... Ахъ, дѣти, дѣти!

Жалко смотрѣть на этихъ дѣтей. Едва изъ колыбели, а ужъ не знаютъ иныхъ игрушекъ, кромѣ труповъ! И какихъ труповъ! такихъ, которые завѣдомо сдѣлались оными отъ руки псевдонимовъ! Вѣдь псевдонимный-то ядъ силенъ; живые трупы давно стали мертвыми трупами, а ядъ и теперь витаетъ надъ полемъ смерти! И молодыя легкія вдыхаютъ испаренія его и постепенно заражаются ими. Не успѣетъ купидонъ подрости—глядь, ужъ новое мертвое тѣло присовокупляется къ числу прежнихъ таковыхъ... Бѣдныя, нерасцвѣвшія дѣти!

Въ томъ-то и бѣда наша, что часто мы сами не знаемъ, чего хотимъ. По крайней мѣрѣ въ Москвѣ давно ужъ твердятъ, что только тогда мы будемъ благополучны, когда на фронтисписѣ нашей жизни будетъ написано: А=А. Вотъ это вѣрно. Все равно какъ въ старые годы кресты на дверяхъ мѣломъ писали, чтобы холера въ домъ не входила. Но ежели и затѣмъ холера входила, то умирали.

Однако довольно о псевдонимахъ—еще бѣды съ ними наживешь. Поговоримъ лучше объ евреяхъ. Ибо хотя нынче съ этимъ вопросомъ и тихо, но, право, даже теперь, какъ вспомнишь, что происходило мѣсяца три-четыре тому назадъ, морозъ по кожѣ подираетъ.

Не такъ давно, и въ печати, и въ обществѣ, въ большомъ ходу были толки „о народной политикѣ“ и о необходимости практическаго ея

примѣненія. Но, къ удивленію, эти толки болѣе смущали, нежели радовали.

Не потому смущали, чтобы выраженіе: „народная политика“, представляло для кого бы то ни было загадку: у всѣхъ народовъ оно имѣетъ одно и то же значеніе, и на всѣхъ языкахъ имѣетъ соотвѣтствующій терминъ. Означаетъ оно такую правительственную систему, въ результатѣ которой является здоровый ростъ народа, какъ физическій, такъ и духовный. Процвѣтаніе наукъ, промышленности, искусствъ, литературы, общее довольство, обезпеченность и довѣріе—вотъ въ нѣсколькихъ словахъ программа „народной политики“. Ясно, что такого рода явленіе, въ глазахъ всякаго здравомыслящаго человѣка, можетъ быть только желательнымъ.

Но у насъ, вслѣдствіе укоренившейся привычки говорить псевдонимами, понятія самыя простыя и вразумительныя получаютъ загадочный смыслъ. У насъ выраженіе: „народная политика“, означаетъ совсѣмъ не общее довольство и преуспѣяніе, а, во-первыхъ, „жизнь духа“, во-вторыхъ, „духъ жизни“ и, въ-третьихъ, „оздоровленіе корней“. Или, говоря другими словами: мели, Емеля, твоя недѣля.

Вотъ эта-то „народная политика“ и взялась покончить съ еврейскимъ вопросомъ. Она всегда и за все бралась съ легкостью изумительной. И „ключей“ требовала, и Босфору грозила, и въ Константинополѣ единство кассъ устроить сбиралась, и на кратчайшій путь въ Индію указывала. Но нельзя сказать, чтобы съ успѣхомъ. Еслибъ она меньше хвасталась, не такъ громко кричала, сбираясь на рать, поменьше говорила стихами и потрезвѣе смотрѣла на свою задачу — быть можетъ, она чего-нибудь и достигла бы. Но она всегда продавала шкуру медвѣдя, не убивши его—понятно, что ни „ключи“, ни „проливы“ не давались ей, какъ кладъ. И вотъ, послѣ цѣлаго ряда проказъ по части оздоровленія корней, ей подвертывается пресловутый еврейскій вопросъ.

Читатель, помните ли вы сказку о „Дикомъ помѣщикѣ“? Содержаніе ея очень незамысловатое. Не весьма умный помѣщикъ, огорченный крестьянской реформой и начитавшійся розсказней о бѣлой кости и алой крови, взмолился къ Богу, прося, чтобъ Онъ освободилъ его отъ мужика. „Одной только милости прошу, — вопіялъ онъ: — чтобы мужичьимъ духомъ у меня во владѣніяхъ не пахло!“ И Богъ внялъ мольбѣ неразумнаго (конечно, съ тѣмъ, чтобы онъ впослѣдствіи самъ созналъ свое неразуміе): въ одно прекрасное утро поднялся вихрь и, въ глазахъ помѣщика, унесъ изъ его владѣній весь мякинно-мужичій рой...

Какіе плоды вкусилъ помѣщикъ отъ мужичьяго исчезновенія—это сюда не относится. Но очевидно, что легенда о легкомъ исполненіи помѣщичьей прихоти увлекла нашихъ народныхъ политиковъ. Стѣсняясь еврейскою казойливостью и видя, что тутъ ничего не подѣлаешь ни „жизнью духа“, ни „духомъ жизни“, ни даже „оздоровленіемъ корней“, они избрали легчайшій путь: попробовали примѣнить къ постылымъ евреямъ тотъ же летательный процессъ, какой былъ примѣненъ „Дикимъ помѣщикомъ“ къ постылымъ мужикамъ. И точно, поднялся вихрь, но при этомъ случилось нѣчто неожиданное: улетѣли народные политики, а евреи остались. До такой степени

остались, что даже на дняхъ я видѣлъ: ходитъ еврей у насъ по дачамъ, какъ будто полотно продаетъ, а самъ подслушиваетъ, не наклёвывается ли гдѣ-нибудь революціи — точь-въ-точь какъ полноправный русскій гражданинъ.

Итакъ, евреи остались, но вмѣстѣ съ тѣмъ остался нетронутымъ и еврейскій вопросъ.

Исторія никогда не начертывала на своихъ страницахъ вопроса болѣе тяжелаго, болѣе чуждаго человѣчности, болѣе мучительнаго, нежели вопросъ еврейскій. Исторія человѣчества вообще есть безконечный мартирологъ, но въ то же время она есть и безконечное просвѣтлѣніе. Въ сферѣ мартиролога еврейское племя занимаетъ первое мѣсто; въ сферѣ просвѣтлѣнія оно стоитъ въ сторонѣ, какъ будто лучезарныя перспективы исторіи совсѣмъ до него не относятся. Нѣтъ болѣе надрывающей сердце повѣсти, какъ повѣсть этого безконечнаго истязанія человѣка надъ человѣкомъ. Даже исторія, которая для самыхъ загадочныхъ уклоненій отъ свѣта къ тьмѣ находитъ соотвѣтствующую поправку въ дальнѣйшемъ ходѣ событій — и та, излагая эту скорбную повѣсть, останавливается въ безсиліи и недоумѣніи.

Очевидно, что въ ненормальномъ положеніи еврейскаго вопроса играютъ фатальную роль такого рода запутанности, которыя съ теченіемъ времени не только не смягчаются, но даже больше и больше обостряются. Въ ряду этихъ запутанностей главное мѣсто несомнѣнно занимаетъ преданіе, давно уже утратившее смыслъ, но доселѣ сохранившее свою живость. Затѣмъ къ числу причинъ, содѣйствующихъ незыблемости преданія, слѣдуетъ отнести, во-первыхъ, несознанные капризы расоваго темперамента, и, во-вторыхъ, совершенно произвольное представленіе объ еврейскомъ типѣ на основаніи образцовъ, взятыхъ не въ трудящихся массахъ еврейскаго племени, а въ сферахъ болѣе или менѣе досужихъ и эксплуатирующихъ.

Нѣтъ ничего безчеловѣчнѣе и безумнѣе преданія, выходящаго изъ темныхъ ущелій далекаго прошлаго и съ жестокостью, доходящей до идіотскаго самодовольства, изъ вѣка въ вѣкъ переносящаго клеймо позора, отчужденія и ненависти. Не говоря уже о непосредственныхъ жертвахъ преданія, замученныхъ и обезславленныхъ, оно извращаетъ цѣлый циклъ общественныхъ отношеній и на самую исторію налагаетъ печать изувѣрской одичалости. Но безчеловѣчіе явится еще болѣе осязательнымъ, если припомнить, что нѣтъ вещи болѣе общедоступной, какъ преданіе, и что, слѣдовательно, послѣднее прежде всего становится достояніемъ толпы, и безъ того обезумѣвшей подъ игомъ собственнаго злосчастія. Именно этою-то общедоступностью и обладаетъ преданіе, поразившее отчужденіемъ еврейское племя. Когда я думаю о положеніи, созданномъ образами и стопами исконной легенды, преслѣдующей еврея изъ вѣка въ вѣкъ на всякомъ мѣстѣ —право, мнѣ представляется, что я съ ума схожу. Кажется, что за этой легендой зіяетъ бездонная пропасть, наполненная кипящей смолой, и въ этой пропасти безнадежно агонизируетъ цѣлая масса людей, у которыхъ отнято все, даже право на смерть.

Ни одинъ человѣкъ въ цѣломъ мірѣ не найдетъ въ себѣ столько творческой силы, чтобы вообразить себя въ положеніи этой неумирающей агоніи, а еврей родится въ ней и для нея. Стигматизированный онъ является на

свѣтъ, стигматизированный агонизируетъ въ жизни и стигматизированный же умираетъ. Или, лучше сказать, не умираетъ, а видитъ себя и по смерти безсрочно-стигматизированнымъ въ лицѣ дѣтей и присныхъ. Нѣтъ выхода изъ кипящей смолы, нѣтъ иныхъ перспективъ, кромѣ зубовнаго скрежета. Что бы еврей ни предпринялъ, онъ всегда остается стигматизированнымъ. Дѣлается онъ христіаниномъ—онъ выкрестъ; остается при іудействѣ—онъ пёсъ смердящій. Можно ли представить себѣ мучительство болѣе безумное, болѣе безсовѣстное?

Мнѣ скажутъ, быть можетъ: однакожъ мы видимъ, что промышленные центры переполнены евреями, которые нимало не стѣсняются своимъ еврействомъ. Биржи, театры, рестораны, будуары самыхъ дорогихъ кокотокъ — все это кишитъ веселонравными семитами, которые удивляютъ вселенную наглою расточительностью и нелѣпою привередливостью прихотей и вкусовъ. Да, такихъ субъектовъ существуетъ достаточно (ихъ-то однихъ мы и знаемъ), но вѣдь въ нихъ еврейство играетъ уже далеко не существенную роль. Это обыкновенные гулящіе люди (многіе называютъ ихъ „татями", но я не вижу надобности слѣдовать этой терминологіи), члены той международной аффиліаціи гулящихъ людей, въ которую каждая національность вноситъ свой посильный вкладъ. Объ еврействѣ въ этихъ людяхъ говорятъ только нѣкоторыя ухватки, но вѣдь ухватки самыя рѣзкія легко стушевываются въ пучинѣ всевозможныхъ интернаціональныхъ утонченностей. Тѣмъ не менѣе можно сказать съ увѣренностью, что даже подобныя личности по временамъ переживаютъ нестерпимо-горькія минуты. Ибо и во снѣ увидѣть себя евреемъ достаточно, чтобы самаго неунывающаго субъекта заставить метаться въ ужасѣ и посылать безсильныя проклятія судьбѣ.

Несмотря однакожъ на это организованное мучительство, евреи живутъ. Какая загадка таится за этимъ фактомъ—это вопросъ трудный. Одни объясняютъ еврейскую живучесть надеждой на отмщеніе, другіе—мудростью, третьи—просто привычкой. Но кажется, что главную роль тутъ играетъ тотъ общечеловѣческій законъ самосохраненія, въ силу котораго племя, однажды сознавшее себя племенемъ, никогда добровольно не налагаетъ на себя рукъ.

Какъ бы то ни было, но уничтожить силу преданія или даже ослабить ее—задача настолько сложная, что даже люди очень убѣжденные отступаютъ передъ нею. Преданіе наслоялось вѣками, и каждое новое наслоеніе прибавляло къ нему новую жестокую черту. Да и кто всего упорнѣе хранитъ эти преданія?—ихъ хранитъ толпа, которая сама насквозь пропитана злосчастіемъ, и въ отношеніи которой всякій укоръ былъ бы несправедливостью и всякое рѣшительное воздѣйствіе—дѣломъ въ высшей степени щекотливымъ. Даже поднятіе общаго уровня образованности, какъ это показываетъ современное антисемитское движеніе въ Германіи, не приноситъ въ этомъ вопросѣ осязательныхъ улучшеній, потому что до сихъ поръ мы были свидѣтелями только *относительнаго* поднятія этого уровня, которое не обладаетъ достаточной силой для водворенія принципа абсолютнаго равноправія. Слѣдовательно, чтобы упразднить преданіе, необходимо, чтобы человѣчество окончательно очеловѣчилось. А когда это произойдетъ?

Перспектива безсрочная и тѣмъ болѣе безнадежная, что въ союзѣ съ

преданіемъ противъ еврейскаго племени дѣйствуютъ и несознанные капризы расовыхъ темпераментовъ. Эти капризы, переходя изъ поколѣнія въ поколѣніе, въ свою очередь образуютъ преданіе, столь же компактное и не менѣе преисполненное всякаго рода баснословій, какъ и изукрашенная вѣками легенда о несмываемомъ еврейскомъ клеймѣ.

И образъ жизни еврея, и внѣшняя его складка, его манера говорить, ходить, одѣваться—все даетъ пищу для неосмысленной досады, которая проявляетъ себя тѣмъ безпрепятственнѣе, что выраженіе ея почти всегда сопровождается безнаказанностью. Никто такъ мастерски не боится, какъ еврей; никто не создалъ для себя такого страннаго внѣшняго облика. Еврей самый солидный напоминаетъ внѣшнимъ своимъ видомъ подростка, путающагося въ отцовскихъ штанахъ. Для темной массы этого вполнѣ достаточно, чтобы видѣть въ евреѣ всегда готовый источникъ потѣхъ и издѣвокъ. Никому нѣтъ дѣла до причинъ, породившихъ „странности“, ибо въ глазахъ черезчуръ уже живо мечется грубый фактъ, который заслоняетъ и проклятое прошлое, и презрѣнную обстановку настоящаго. Смѣшной ламбсердакъ, нелѣпые пейсы, заячья торопливость, ни на минуту не дающая еврею усидѣть на мѣстѣ—чего еще нужно? Еврей и ходитъ не такъ, какъ люди, и говоритъ не такъ, какъ люди, и смотритъ не такъ, какъ люди. Отъ еврея—пáхнетъ; еврей не смотритъ, а глаза у него бѣгаютъ; онъ не живетъ, а блудитъ. А какъ смѣшно и даже гнусно онъ шепелявитъ!

— Чтó, еврей, губами мнешь?

— Дурака шашý!

То-ли-дѣло Деруновъ съ Колупаевымъ! Никогда они не скажутъ: „шашý“: а прямо отчеканятъ: „сосу дурака“—и шабашъ. И правильно, и для потѣхи резоновъ нѣтъ: слушай и трепещи!

Давно ли власть имѣющія лица стригли у евреевъ пейсы и снимали съ нихъ ламбсердаки? Давно ли, какъ лакомство, выслушивались разсказы о веселонравныхъ военныхъ людяхъ, ѣздившихъ на евреяхъ и верхомъ, и въ экипажахъ, занимавшихся травлей ихъ и незнавшихъ болѣе высокаго наслажденія, какъ подстеречь еврея съ какимъ-нибудь членовредительнымъ сюрпризомъ и потомъ покатываться отъ умора при видѣ *смѣшного* ужаса, который являлся естественнымъ послѣдствіемъ сюрприза. И что же! развѣ это прошлое такъ и кануло въ вѣчность?—нѣтъ, оно только видоизмѣнило формы, а сущность передало неприкосновенною, такъ что въ настоящее время пропаганда еврейской травли едва-ли не идетъ шире и глубже, нежели когда-либо.

Говорятъ, будто выраженіе: „дурака шашý“ представляетъ девизъ, которымъ опредѣляются отношенія *всякаго* еврея къ окружающей средѣ. Но въ такомъ случаѣ отчего же не допустить подобнаго же толкованія и для выраженія: „сосу дурака“, которое на практикѣ имѣетъ отнюдь не менѣе обширное примѣненіе? По существу, они оба одинаково омерзительны, да и на практикѣ имѣютъ одинаковое примѣненіе. Но и въ томъ, и въ другомъ видѣ доступны совсѣмъ не всякому встрѣчному, а только могущему вмѣстить.

Сосать простеца или „дурака“ (онъ же рохля, ротозѣй, мужикъ и проч.) очень лестно, но для этого нужно имѣть случай, сноровку и талантъ. Деруновъ и Колупаевъ — сосутъ, а Малявкинъ и Козявкинъ хоть и живутъ съ

ними по сосѣдству—*не* сосутъ. Первые обладаютъ всѣми нужными для сосанія приспособленіями, вторые—тѣми же приспособленіями обладаютъ наоборотъ. Тотъ же самый законъ имѣетъ силу и въ еврейской средѣ. И между евреями правомъ лакомиться „дуракомъ“ пользуются лишь сильные организмы, а Малявкинъ и Казявкинъ не только не лакомятся, а, напротивъ, представляютъ собой матеріалъ для лакомства.

Вся разница въ томъ, что коренной Деруновъ, присасываясь къ Малявкину, называетъ его „крестникомъ“ и не чуждается прибаутокъ, въ родѣ: „по-милу да по-божецки, ты за меня, я за тебя, а Богъ за всѣхъ!“ А Деруновъ-еврей сосетъ безъ прибаутокъ, серьезно. Возьметъ дурака двумя пальцами, пососетъ и скорлупу выплюнетъ; потомъ возьметъ другого дурака и опять скорлупу выплюнетъ. Ужасно видѣть это серьезное выплевываніе скорлупокъ, но, право, и прибаутки слушать не слаще.

Кому же однако приходило въ голову указывать на Разуваева какъ на опредѣляющій типъ русскаго человѣка? А Разуваева-еврея непремѣнно навяжутъ всему еврейскому племени и будутъ при этомъ на все племя кричать: ату!

Но для Дерунова-еврея есть даже смягчающее обстоятельство: онъ чаще всего сосетъ вотще. Ибо какъ только онъ начинаетъ насасываться до̀сыта, такъ тотчасъ на него налетаетъ ревизія: показывай, жидъ, что̀ у тебя въ потрохахъ? И всякій, кому не лѣнь, беретъ оттуда часть. Какъ все-то разберутъ — много ли останется? И какую надобно имѣть силу воли, какую удачливость, чтобы, претерпѣвъ всѣ ревизіи, благополучно вынырнуть въ міръ концессій и банкирскихъ гешефтовъ, и тамъ, сбросивши съ себя узы еврейства, кормить обѣдами тайныхъ совѣтниковъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ имѣть даже въ услуженіи...

Почему же однако мы съ такою легкостью отождествляемъ еврея сосущаго съ евреемъ *не*-сосущимъ, почему мы такъ охотно вымещаемъ на послѣднемъ досаду, которую пробуждаетъ въ насъ первый? Не потому ли, что сосущій еврей есть сила, за которою скрывается еще сила, и даже не одна, а цѣлый легіонъ? Весьма вѣроятно, что въ этомъ предположеніи есть очень значительная доля правды, хотя это и не приноситъ особенной чести нападающей сторонѣ. Но во всякомъ случаѣ, въ безчеловѣчной путаницѣ, которая на нашихъ глазахъ такъ трагически разыгралась, имѣетъ громадное значеніе то, что нападающая сторона, относительно еврейскаго вопроса, ходитъ въ совершенныхъ потемкахъ, не имѣя никакихъ твердыхъ фактовъ, кромѣ преданія (нельзя же въ самомъ дѣлѣ серьезно преслѣдовать людей за то, что они носятъ пейсы и неправильно произносятъ русскую рѣчь!).

Въ самомъ дѣлѣ, что̀ мы знаемъ объ еврействѣ, кромѣ концессіонерскихъ безобразій и продѣлокъ евреевъ-арендаторовъ и евреевъ-шинкарей? Имѣемъ ли мы хотя приблизительное понятіе о той безчисленной массѣ евреевъ-мастеровыхъ и евреевъ-мелкихъ торговцевъ, которая кишитъ въ грязи жидовскихъ мѣстечекъ и неистово плодится, несмотря на печать проклятія и на вѣчно присущую угрозу голодной смерти? Испуганныя, доведшія свои потребности до минимума, эти злосчастныя существа молятъ только забвенія и безвѣстности—и получаютъ въ отвѣтъ поруганіе...

Даже въ литературу нашу только съ недавняго времени начали проникать лучи, освѣщающіе этотъ агонизирующій міръ. Да и теперь едва-ли можно указать на что-нибудь подходящее, исключая прелестнаго разсказа г-жи Оржешко: „Могучій Самсонъ“. Поэтому тѣ, которые хотятъ знать, сколько симпатичнаго таитъ въ себѣ замученное еврейство, и какая неистовая трагедія тяготѣетъ надъ его существованіемъ — пусть обратятся къ этому разсказу, каждое слово котораго дышетъ мучительною правдою. Навѣрное это чтеніе пробудитъ въ нихъ добрыя, здоровыя мысли и заставитъ ихъ задуматься въ лучшемъ, человѣчномъ значеніи этого слова.

Знать — вотъ что̀ нужно прежде всего, а знаніе несомнѣнно приведетъ за собой и чувство человѣчности. Въ этомъ чувствѣ, какъ въ гармоническомъ цѣломъ, сливаются тѣ качества, благодаря которымъ отношенія между людьми являются прочными и доброкачественными. А именно: справедливость, сознаніе братства и любовь.

Глава VII.

Пришелъ и новый годъ. Пришелъ и, по обыкновенію, новое счастіе принесъ. Счастіе пока еще не опредѣлилось, но надеждъ и увѣренностей — болѣе чѣмъ достаточно. Не было, я полагаю, того угла въ цѣломъ Петербургѣ, гдѣ бы, въ ночь съ 31-го декабря на 1-е января, не ободряли себя пріятными перспективами. Конечно, и въ прошломъ году въ этотъ моментъ точно такъ же всѣ поздравляли себя съ новымъ счастіемъ и льстили себя новыми надеждами (какъ встарину добрыя дѣти родителямъ писали: „льщу себя, милый папенька, надеждою, что новый годъ принесетъ новое счастіе, которое поможетъ намъ многія лѣта въ сей печальной юдоли благополучно провести“), но нынче пожеланія выражались какъ-то настойчивѣе и убѣжденнѣе, такъ что можно было догадываться, что поздравляющіе понимаютъ, съ чѣмъ поздравляютъ другъ друга.

Съ перваго же дня газеты предприняли ревизію стараго года. Разсматриваютъ его во всѣхъ смыслахъ и очень хвалятъ. Многое уже выполнено, а остальное — не замедлитъ. Во всякомъ случаѣ и того, что̀ сдѣлано, уже достаточно, чтобы считать почву будущаго подготовленною. Все процвѣло и преуспѣло, кромѣ литературы, которой прошлый годъ принесъ однѣ утраты. И таковы эти утраты, что даже недавній юбилей россійской академіи *) не заставилъ объ нихъ позабыть.

Надо сказать правду: тонъ общественнаго мнѣнія за послѣдніе годы измѣнился къ лучшему. Вмѣсто прежнихъ колебаній — солидность, вмѣсто витанія въ эмпиреяхъ — стремленіе къ „настоящему“ дѣлу и увѣренность обрѣсти его. Встрѣчается множество людей, которые еще недавно легкомысленно восклицали: „sursum corda!“ и которые теперь видимо озабочены тѣмъ, чтобы ихъ недавніе возгласы были преданы забвенію. И надо думать,

*) Замѣчательно, что редакціи русскихъ журналовъ не были на это торжество приглашены.

что усилія ихъ увѣнчаются успѣхомъ, потому что у насъ насчетъ возгласовъ просто: сотрясеніе воздуха—и больше ничего. Имѣющій уши—ихъ слышитъ, и сейчасъ же забываетъ, а неимѣющему ушей хоть всю литургію вѣрныхъ пропой—онъ все равно ничего не услышитъ.

Резонность и солидность — вотъ лозунгъ настоящаго. Это вѣроятно и при поздравленіяхъ съ новымъ годомъ имѣлось въ виду. Sursum corda! что это такое? зачѣмъ? по какому случаю? развѣ гдѣ-нибудь горитъ? То ли дѣло: поспѣшишь, людей насмѣшишь — тутъ по крайней мѣрѣ реальный пріемъ слышится. Не воздухоплаваніе, а достовѣрная поѣздка вокругъ свѣта на сдаточныхъ. Давно ужъ мы эти sursum corda-то слышимъ, да путнаго мало изъ нихъ вышло. Стало быть, пора и образумиться; пора понять, что при извѣстныхъ условіяхъ прежде всего о томъ памятовать надлежитъ, что маленькая рыбка лучше, нежели большой таракавъ.

Это нынче всѣ говорятъ. И прежде говаривали, но машинально, по привычкѣ; а нынче — съ толкомъ, съ чувствомъ, съ разстановкой. Точно порохъ выдумали. Иные при этомъ слегка краснѣютъ (но все-таки отчетливо всѣ слова выговариваютъ), но большинство говоритъ прямо, не краснѣючи. Совѣтую впрочемъ и первымъ какъ можно скорѣе побѣдить пагубную привычку краснѣть, такъ какъ, чего добраго, ихъ, въ противномъ случаѣ, въ сонмище укрывателей эмпирейныхъ витаній зачислятъ. Потому что какъ ни искренне ихъ обращеніе, но все-таки на нихъ, какъ на новообращенныхъ, смотрятъ еще съ нѣкоторою подозрительностью. Все равно какъ съ вотяками бываетъ: есть вотяки „старокрещены“ и есть „новокрещены“. Въ „старокрещенахъ“ никто не сомнѣвается, но относительно „новокрещена“, хоть онъ всякій праздникъ что̀ слѣдуетъ попу отдаетъ, а все-таки кажется: вотъ-вотъ онъ сейчасъ въ кереметь убѣжитъ. И согласно съ симъ принимаются мѣры.

И такъ, надо „дѣло“ дѣлать—вся задача въ этомъ состоитъ. Только „дѣло“ можетъ поднять нашъ духъ и возстановить насъ и въ собственномъ мнѣніи, и въ мнѣніи нашихъ согражданъ. Объ этомъ и не споритъ никто. Спросите въ любой мелочной лавкѣ: что̀ лучше, дѣло или бездѣлье?—навѣрное вы получите въ отвѣтъ: какъ же возможно, бездѣлье или дѣло! И сейчасъ же вамъ назовутъ безчисленное множество дѣлъ, которыя тутъ же въ стѣнахъ мелочной лавки и совершаются. Отвѣшивать, отмѣривать, упаковывать, принимать, отпускать, слѣдить за выручкой, на половину гнилой лимонъ показать здоровою половиной и проч. Голова кругомъ идетъ. То же самое происходитъ въ кабакѣ, въ портерной и наконецъ въ каждой Богомъ хранимой хижинѣ. Вездѣ дѣла прямыя, ясныя, осязательныя. То же самое и намъ, людямъ интеллигенціи, для себя придумать предстоитъ.

Но на бѣду, чѣмъ выше сфера человѣческихъ отношеній, тѣмъ меньше замѣчается точности въ опредѣленіи признаковъ „дѣла“. Вмѣсто прямыхъ указаній, въ родѣ: отмѣривать, отрѣзывать (а въ иныхъ случаяхъ даже прямо „производить“), мы встрѣчаемся съ такими же отвлеченностями, какъ sursum corda, только низменнаго и даже глупаго свойства. Между тѣмъ именно для этой-то высшей сферы и требуется отыскать подходящее дѣло. Именно она, а не сфера хижинъ богохранимыхъ, страдала обиліемъ эмпире-

евъ, и она же въ послѣднее время заговорила, что внѣ дѣла для насъ нѣтъ спасенія. И тутъ-то вотъ, несмотря на всѣми чувствуемую потребность, мы не находимъ ни малѣйшихъ указаній ни насчетъ мѣста нахожденія „дѣла", ни насчетъ подлиннаго его названія. Конечно, и здѣсь вы услышите отвѣтъ: „какъ можно сравнить, бездѣлье или дѣло!"—но вслушайтесь въ интонацію голоса, которымъ произносятся эти слова, и вы убѣдитесь, что въ ней звучитъ: „бездѣлье-то, пожалуй, лучше"...

Все затрудненіе оттого происходитъ, что интеллигентный человѣкъ думаетъ, что онъ въ нѣкоторомъ родѣ „правящій классъ", и потому для себя какого-то особеннаго дѣла требуетъ. Даже самые неинтеллигентные изъ интеллигентныхъ такъ объ себѣ полагаютъ. Скажу болѣе: чѣмъ глупѣе интеллигентный человѣкъ, тѣмъ онъ сильнѣе за титулъ „правящаго класса" цѣпляется. Слышалъ, что гдѣ-то на теплыхъ водахъ правящіе классы въ свое удовольствіе живутъ, и себѣ того же желаетъ. Но какимъ образомъ попасть въ такіе „правящіе классы", которые въ свое удовольствіе живутъ—не знаетъ. Ежели въ эмпиреяхъ витать, такъ опытъ практически доказалъ, сколь сіе вредно; ежели „дѣло" дѣлать — такъ укажите, сдѣлайте милость, въ чемъ оное заключается. Вотъ кабы входъ въ крѣпостное право какимъ-нибудь чудомъ опять открылся, сейчасъ бы мы всѣ правящими классами сдѣлались! И „дѣло" тогда само бы собой выскочило, а ты только знай жезломъ помахивай!

Вообще, съ тѣхъ поръ, какъ начались толки объ „дѣлѣ", противорѣчій не оберешься. Съ одной стороны несомнѣнно, что витанія и паренія приводятъ къ самообольщенію, но съ другой стороны, какъ только раздумаешься объ „дѣлѣ"—вдругъ, словно самъ собою, начнешь парить и витать. Не подъ носомъ у себя „дѣла" ищешь, а въ сторону заглядываешь, и все какъ-то въ сторону „теплыхъ водъ". Эта привычка у насъ еще отъ крѣпостныхъ временъ осталась; и тогда мы были убѣждены, что въ Россіи можно оброки и дани получать, а жить въ свое удовольствіе только на теплыхъ водахъ можно. Но нынче оказывается, что въ подобныхъ заглядываніяхъ спасенія не обрѣтешь. Почему оказывается—объ этомъ опять-таки никто не сказываетъ (сказывать-то, должно быть, нечего)... Оказывается — только и всего. Какъ бы то ни было, но для того, чтобы спастись, нужно не „чужое", не „иностранное", а „свое собственное" и притомъ „настоящее" дѣло найти... Что̀ бы такое? ну, напримѣръ?

Такой это интересный вопросъ, что нѣтъ той минуты, чтобъ я не думалъ объ немъ. И все, что̀ отъ меня зависѣло, въ видахъ его правильнаго разрѣшенія—все я предпринималъ. И къ говору трактирныхъ завсегдатаевъ прислушивался (vox populi), и въ участкѣ справлялся, и съ свѣдущими людьми совѣщался—ничего не поймешь! заладили одно: „дѣло дѣлать!" Господа! да вѣдь это тоже, что „sursum corda!" только наоборотъ...

Говорятъ, будто славянофиламъ что-то объ этомъ „самостоятельномъ" дѣлѣ было извѣстно, но они свой секретъ въ могилы унесли. Теперь, на смѣну славянофиламъ, появились какіе-то выморочные бонапартисты, которые могутъ только въ трубы трубить, но секрета не знаютъ.

Говорятъ еще, будто въ газетахъ каждый день объ „дѣлахъ“ разговариваютъ—ну, да какія ужъ это „дѣла“!

Наконецъ я обратился съ вопросомъ къ моему другу Глумову:

— Не знаешь ли, другъ любезный, какимъ бы самостоятельнымъ „дѣломъ“ наши „правящіе классы“ угостить?

И чтожъ! онъ въ ту же минуту всѣ мои сомнѣнія разрѣшилъ.

— Какъ „какими“! да вотъ въ однѣхъ со мной меблированныхъ комнатахъ отставной статскій совѣтникъ Культяпка живетъ, такъ онъ съ утра до вечера дѣло дѣлаетъ. Утромъ—проекты нравственнаго и умственнаго оздоровленія (да съ картинками, братецъ!) сочиняетъ; среди дня—извѣщенія пишетъ, а вечеромъ — по корридору ходитъ и къ дверямъ уши прикладываетъ. Однажды ему даже лобъ нечаянно дверью раскроили. Надѣюсь, что это достаточно „свое собственное“ дѣло.

И не успѣлъ я настоящимъ манеромъ его отвѣтъ обдумать, какъ онъ продолжалъ:

— А то еще молодой человѣкъ у насъ живетъ. Утромъ—коричневый галстухъ передъ зеркаломъ повязываетъ; передъ обѣдомъ—черный галстухъ; вечеромъ — бѣлый. Или возьметъ въ руки шляпу и самъ съ собой передъ зеркаломъ раскланивается. Чѣмъ не дѣло?

А въ заключеніе повѣствовалъ слѣдующее:

— Что же касается до особъ дамскаго сословія, то объ нихъ и заботиться нечего. Ихъ существованіе не только наполнено, но даже, можно сказать, биткомъ набито. Утромъ „она“ встаетъ — утренній костюмъ надѣваетъ; въ три часа по магазинамъ или гулять ѣдетъ или идетъ—гулянный костюмъ надѣваетъ; передъ обѣдомъ—надъ обѣденнымъ костюмомъ думу думаетъ; вечеромъ, ежели въ театръ ѣдетъ — театральный костюмъ, ежели на балъ — бальный. И всякій разъ передъ зеркаломъ цѣлая драма происходитъ. То подойдетъ, то отойдетъ, то сядетъ, то какъ ужаленная вскочитъ. Иная, коли на балъ ѣхать собралась и нужно опредѣлить мѣру декольте́, то даже особенную систему зеркалъ устраиваетъ и на колѣнки становится. И сверху, и съ боковъ, и сзади, и спереди — отовсюду разомъ видно. Сверху—это „les messieurs“ смотрятъ; съ боковъ — члены общества распространенія грамотности, братчики, отставные дипломаты и проч. А издали, совсѣмъ въ перспективѣ—мужъ. И ему взглянуть хочется. Тутъ, братъ, коли все-то въ точности исполнить, такъ и на балъ, пожалуй, къ шапочному разбору попадешь.

То-то я смотрю: давно ли всѣ на скуку жаловались, а нынче ея и въ поминѣ нѣтъ. Анъ оно вонъ что̀: „дѣло“ найдено.

Слухами о сезонныхъ увеселеніяхъ всѣ стогны петербургскіе полны. Извозчики только объ томъ и говорятъ, что господа опять веселиться начали. Въ газетахъ пишутъ: у одной дамы на балу, независимо отъ глубокаго декольте́, брилліантовую подкову на спинѣ видѣли. Теперь эта подкова нашихъ статскихъ совѣтницъ съ ума сведетъ. Будутъ онѣ—каждая къ своему

статскому совѣтнику—до тѣхъ поръ приставать, покуда цѣлыхъ созвѣздій на спины не получатъ...

Придется-таки статскимъ совѣтникамъ изворачиваться; придется „дѣла“ изобрѣтать, евреямъ-гешефтмахерамъ душу продавать. И когда наконецъ ювелиръ влѣпитъ въ поясницу статской совѣтницы цѣлое брилліантовое солнце, то въ лучахъ его будутъ играть кавалеры всѣхъ сортовъ оружій и пера, а соотвѣтствующій статскій совѣтникъ будетъ въ это время гешефтмахера обучать, какъ наилучшимъ манеромъ любезное отечество подкузьмить...

А какая новая эра занятій и дѣлъ для статскихъ совѣтницъ откроется! Ежели вечеромъ на балъ ѣхать, такъ вѣдь съ утра присѣдать передъ зеркаломъ придется! Солнце-то вѣдь не шутка, умѣючи надо его показать! Супъ на столѣ, дѣти ѣсть просятъ, статскій совѣтникъ копытами землю въ нетерпѣніи роетъ, а статская совѣтница то вскочитъ, то опять присядетъ! „Да скоро ли, матушка?“ кричитъ разъяренный мужъ, стучась въ запертую на ключъ дверь.—„Ахъ, да обѣдайте безъ меня... несносный! я послѣ... одна!“ И дѣйствительно, между присѣданій чего-нибудь перехватитъ, но за то къ одиннадцати часамъ—готова!

Фактъ повидимому самъ по себѣ ничтожный, а между тѣмъ по милости его процвѣтаетъ промышленность. Мудрено какъ будто это согласовать, а между тѣмъ оно такъ. Въ Петербургѣ, на балу у барона Гинцбурга, напримѣръ, статская совѣтница Коромыслова на брилліантовомъ солнцѣ сидѣла, а у крестьянина деревни Комаринской, Павла Антипьева, отъ этого ея дѣйствія въ мошнѣ два съ полтиной прибыло. И прибыло совершенно резонно. Еще докторъ Кене́, глава физіократовъ и другъ Тюрго̀, говаривалъ: „дама, которая покупаетъ шаль, подаетъ милостыню бѣдняку“. Вотъ эту-то истину и зарубили статскія совѣтницы у себя на носу. Подумайте, въ самомъ дѣлѣ: солнце-то, на которое статская совѣтница Коромыслова сѣла—гдѣ оно сдѣлано?—Оно сдѣлано въ мастерской, въ которой сынъ Павла Антипьева, комаринскій мужикъ Иванъ Павловъ, работалъ. На свой пай онъ половину луча этого сдѣлалъ, и за это получилъ пять рублей, а изъ нихъ два съ полтиной домой въ село Комаринское послалъ. Такъ вотъ.

Но этого мало. Получивъ два съ полтиной, Павелъ Антипьевъ распорядился съ ними такъ: на рубль купилъ у другого комаринскаго мужика сѣна, на рубль — у третьяго комаринскаго мужика муки, да на полтину у четвертаго комаринскаго мужика—соли. Въ результатѣ оказалось: прислано было два съ полтиной, а процвѣли на нихъ: во-первыхъ, Павелъ Антипьевъ —полностью на всѣ два съ полтиной и, во-вторыхъ, трое его односельцевъ —всѣ вмѣстѣ тоже на два съ полтиной. Итого—на пять рублей. Тоже и съ остальными двумя съ полтиной случилось: во-первыхъ, Иванъ Павловъ полностью на всѣ процвѣлъ (пропилъ), да кабатчикъ, у котораго онъ вино пилъ—тоже на два съ полтиной. Опять на пять рублей. Вотъ она экономистическая ариѳметика-то какова: пущено въ оборотъ пять рублей, а въ процвѣтаніи оказалось десять. Это относительно только половина луча, а сколько у солнца полныхъ лучей — сочтите! Да фабрикантъ навѣрное вдесятеро, чѣмъ всѣ комаринскіе мужики въ совокупности, процвѣлъ. И все это статская совѣтница Коромыслова однимъ движеніемъ поясницы произвела!

Не знаю, шепнуло ли ей объ этомъ солнце, покуда она на немъ сидѣла, но знаю, что къ началу шестой фигуры г-жа Коромыслова была вполнѣ убѣждена въ цѣлесообразности своихъ поступковъ и дѣйствій.

— Вы не подумайте, — сказала она млѣвшему подлѣ нея кавалеру: — что я легкомысленничаю, садясь на брилліантовое солнце. Я этимъ дѣйствіемъ на цѣлое комаринское село благоденствіе изливаю!

Очень возможно, что нѣчто въ родѣ этихъ соображеній приходило въ голову Нерону, когда передъ его глазами пылалъ Римъ. Или купцу Овсянникову, когда горѣла его фабрика. И они, каждый по своему, подавали милостыню бѣдному.

Вотъ почему, когда я вижу, какъ дамочка изнуряетъ себя передъ зеркаломъ, то никогда не осуждаю ее, но говорю: это она промышленность оживляетъ, цѣнность кредитнаго рубля поднимаетъ, милостыню бѣдняку подаетъ. Однимъ словомъ, по мѣрѣ своего дамскаго разумѣнія, „дѣло“ дѣлаетъ.

Вотъ и адвокатура наша собралась дѣло дѣлать. Правда, что она и прежде себя преимущественно съ этой стороны уже зарекомендовала, но лѣтъ пять-шесть сряду объ ней какъ-то совсѣмъ не было слышно, точно она сквозь землю провалилась. А теперь опять всплыла.

Я помню, что когда адвокатское сословіе впервые выступило на арену общественнаго служенія, я былъ очень этимъ обрадованъ. Какъ хотите, а чрезвычайно пріятно живое слово слышать, хотя бы оно раздавалось по поводу подтопа принадлежащихъ корнету Отлетаеву луговъ мельницею купца Подзатыльникова. Это слово казалось тогда какъ бы естественнымъ продолженіемъ другого слова, которое при помощи печатнаго станка посвящало себя пробужденію въ сердцахъ добрыхъ чувствъ. Подобно печатному тогдашнему слову, и адвокатское устное слово на первыхъ порахъ звучало такою убѣжденностью и страстностью, что Отлетаевъ и Подзатыльниковъ ничего не понимали, а только чувствовали, что слезы градомъ льются изъ ихъ глазъ; судъ же, по выслушаніи сторонъ, въ величайшемъ смущеніи удалялся въ совѣщательную камеру, не зная, кому присудить протори и убытки. И бо̀льшею частью постановлялъ такія рѣшенія, которыя приводили за собой сначала апелляцію, потомъ кассацію, потомъ новое рѣшеніе и такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ тяжущихся не пропуститъ срока. Тогда, дѣлать нечего: подтопляй, купецъ Подзатыльниковъ, Отлетаевскіе луга! А ты, Отлетаевъ, впередъ не зѣвай!

Но, озаряя новые суды блескомъ своего краснорѣчія, адвокаты, кромѣ того, были осмотрительны какъ въ выборѣ дѣлъ, такъ и въ исходатайствованіи исполнительныхъ листовъ и во взысканіяхъ по онымъ. Этого тогда не было, чтобъ адвокатъ говорилъ кліенту: „вашего дѣла ни по какой статьѣ выиграть нельзя, но попробуемъ: можетъ быть, кривая вывезетъ!“ Напротивъ того, одинъ адвокатъ своему кліенту (истцу) говорилъ: „ваше дѣло вотъ по такой-то статьѣ выиграть можно“; а другой адвокатъ — своему кліенту (отвѣтчику): „ваше дѣло вотъ по какой статьѣ выиграть можно!“ И каждый шелъ въ судъ, убѣжденный, что его статья побѣдитъ. Да и того тоже не было,

чтобы деньги по исполнительному листу получить и въ свою пользу употребить; напротивъ того, всѣ силы-мѣры употреблялись, чтобы все до копѣечки кліенту предоставить,—разумѣется, за исключеніемъ процентовъ, заранѣе выговоренныхъ за безпокойство.

А безпокойствъ въ то время не мало набиралось, потому что большихъ баръ въ то время между адвокатами почти не было, и всякій свою работу самъ дѣлалъ: и имущество должника сослѣживалъ, и при описяхъ присутствовалъ; словомъ сказать, въ пользу кліента себя въ струнку вытягивалъ.

Помню я, какъ на моихъ глазахъ одинъ молодой адвокатъ карьеру свою обстроивалъ. Взыскивалъ онъ съ меня въ то время должокъ, и взыскивалъ, надо сказать правду, чрезвычайно благородно: и до суда не доводилъ, и не тѣснилъ насчетъ уплатъ. Есть деньги—возьметъ и расписку дастъ; нѣтъ денегъ—завтра придетъ. Частенько онъ ко мнѣ такимъ образомъ хаживалъ, и когда я совѣстился, что такъ много ему безпокойствъ доставляю, то говорилъ: „ничего! это наша обязанность!“ Даже отъ моихъ папиросъ отказывался, а вынетъ изъ серебрянаго портсигара („это мнѣ кліентъ подарилъ!“) собственную папироску и съ удовольствіемъ выкуритъ. Такъ вотъ, бывало, придетъ онъ ко мнѣ, полный рвенія, но блѣдный и утомленный.

— Чтó вы какъ будто нынче устали?—спросишь его.

— Да вотъ, имущество отвѣтчика одного наконецъ сослѣдилъ! — отвѣтитъ онъ, и по порядку разскажетъ, какую ему Богъ радость послалъ. Совсѣмъ-было на чужую квартиру должникъ имущество-то переправилъ, а онъ, адвокатъ, и на чужую квартиру проникъ. Пришелъ, а его тамъ дама встрѣчаетъ: „Какъ вы смѣете, говоритъ, въ чужой квартирѣ распоряжаться! Это мое имущество!“ Однако нѣтъ, извините-съ! Вѣдь онъ, адвокатъ, не нахаломъ въ чужую квартиру пришелъ, а на законномъ основаніи. И даже привелъ съ собою свидѣтелей, которые тутъ же и удостовѣрили: „Помилуйте, сударыня! мы не разъ у Моисея Исаича (имя должника) на этомъ диванѣ сиживали!“

И такимъ образомъ онъ искъ своего довѣрителя обезпечилъ, а объ укрывательницѣ-дамѣ составилъ, при содѣйствіи полиціи, протоколъ.

А на другой день послѣ этой удачи опять придетъ, еще болѣе утомленный.

— Неужто вы и сегодня какого-нибудь должника сослѣдили? — спросишь его.

— Нѣтъ, сегодня я при описи и оцѣнкѣ имущества присутствовалъ. Представьте себѣ, девятьсотъ-шесть предметовъ, и между прочимъ тридцать стклянокъ изъ-подъ одеколона. А нельзя! каждую вещь надо особенно въ реестръ занести.

Такъ вотъ каковы были первые христіане... то-бишь, адвокаты! Чувствительные, скромные и притомъ непьющіе. Однакожъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и тогда ужъ писали, что они основы потрясаютъ; а объ томъ, что они въ эмпиреяхъ витаютъ и куда-то далеко уду закидываютъ — объ этомъ пѣходя во всѣхъ харчевняхъ разсказывали.

Но эта идиллія была непродолжительна. Пришлось мнѣ года на полтора за границу уѣхать; возвращаюсь —и первое чтó слышу: такіе нынче ад-

вокаты дѣла дѣлаютъ, такіе куши рвутъ, что даже евреи-желѣзнодорожники зубами скрипятъ. А чтобы кліенту помочь, какъ прежде бывало, имущество должника соглѣдить—объ этомъ ныньче и не заикайся! Самъ ищи!

Дальше—хуже. Подошло Овсянниковское дѣло; разыгралось нѣсколько крупныхъ банковскихъ кражъ. Куши такъ и лились. И тоже торговля процвѣла, но не столько суровскимъ, сколько бакалейнымъ товаромъ. По фунту икры заразъ съѣдали опытные адвокаты, а неопытные — по ящику сардинокъ. А ужины у Бореля съ кокотками—само по себѣ. Однимъ словомъ, ни одинъ дореформенный откупщикъ въ цѣлую недѣлю столько не проѣдалъ, сколько проѣдалъ въ одинъ вечеръ какой-нибудь Балалайкинъ.

Ужасно это меня огорчило. Я надѣялся, что, по возвращеніи въ отечество, храмъ славы увижу, а увидѣлъ—помойную яму. Вся литература того времени гремѣла адвокатскими безобразіями, но гремѣла безсильно. И безсиліе это совершенно естественно объяснялось тѣмъ что адвокатура сознавала себя стоящею прочно на почвѣ „дѣла“. Многіе адвокаты такъ-таки прямо и заявляли: у насъ свое дѣло есть, а что̀ думаетъ объ насъ литература и общественное мнѣніе—это для насъ безразлично.

Однакоже разъ адвокатура освободила себя отъ контроля литературы и общественнаго мнѣнія, разъ она признала для себя обязательнымъ только тотъ контроль, который приводитъ за собою большій или меньшій размѣръ гонорара — понятно, что она сдѣлалась съ нравственной стороны неуязвимою. Но въ то же время она утратила способность къ самосовершенствованію въ какой бы то ни было сферѣ, кромѣ процессуальной кляузы.

Затѣмъ слухи о подвигахъ адвокатуры какъ-то вдругъ замолкли. И сами адвокаты попритихли, перестали бакалейную торговлю оживлять, да и безмѣрно они всѣмъ своими апелляціями и кассаціями надоѣли. Но главное, обстоятельства такія приспѣли, что не до адвокатовъ было...

Но ныньче для адвокатовъ опять золотое время пришло. На сцену выступили толки объ „дѣлѣ“, а у нихъ оно ужъ давно готово. Теперь они, вмѣстѣ съ банкирами (купить-продать, продать-купить) и всѣхъ сортовъ оздоровителями, покажутъ намъ, какіе размѣры можетъ принять процвѣтаніе страны, ежели всѣ ея обитатели настоящимъ, трезвеннымъ дѣломъ заняты. Въ эмпиреяхъ они не витаютъ, широкихъ задачъ не преслѣдуютъ, а долбятъ скромненько съ утра до вечера: апелляція-кассація, кассація-апелляція...

И для начала выбрали дѣло о травлѣ городскихъ обывателей въ пользу общества водопроводовъ. Контрактъ, говорятъ, будто бы дозволяетъ обывателей негодной водой отравлять. Чтожъ, коли контрактъ, такъ, разумѣется, приходится пить воду по точному онаго пониманію. Видишь: § такой-то, пунктъ такой-то... читай! И пей отравленную воду, и молчи! Та̀къ это ясно, точно и даже свято (въ контрактѣ — святость прежде всего), что, сказываютъ, будто цѣлое скопище адвокатовъ за общество водопроводовъ горой стоитъ, и что ради этого дѣла забыты связи дружества и даже узы родства! Еще бы!

Но неужели и теперь еще будутъ говорить, что адвокаты основы потрясаютъ и въ эмпиреяхъ витаютъ?!

Такимъ образомъ всѣ „правящіе классы“ постепенно присасываются къ дѣламъ. Адвокаты, дамочки, банкиры, земцы, оздоровители и проч. Одна литература продолжаетъ ни-при-чемъ состоять. Дѣла для нея рѣшительно не отыскивается, а въ эмпиреяхъ витать — и не ко двору, и не ко времени.

Да и читающая публика нынче равнодушна къ эмпиреямъ стала. Ничего не хочетъ знать, кромѣ газетъ. Прочтетъ кое-какіе столбцы, а остальное время твердитъ: купить-продать, кассація-апелляція...

Впрочемъ это я объ той части литературы говорю, дѣятели которой называются „разбойниками печати“ и „мошенниками пера“ (клички эти непремѣнно надо сохранить въ назиданіе потомству, какъ историческій документъ). Что же касается до остальной литературы (преимущественно газетной), то она, наравнѣ съ прочими оздоровителями, нашла для себя „настоящее“ дѣло, и повидимому ведетъ его съ полнымъ успѣхомъ.

Глава VIII.

А вотъ и еще „дѣло“ нашлось.

„Мой собственный корреспондентъ“ прислалъ мнѣ изъ Одессы очень любопытное объявленіе. Къ сожалѣнію, онъ не сопроводилъ свою присылку никакимъ объяснительнымъ письмомъ, такъ что я не знаю ни личности самого корреспондента, ни его фамиліи, ни того, когда былъ изданъ доставленный имъ документъ. Изъ помѣтокъ, имѣющихся въ концѣ объявленія, видно, что оно разрѣшено къ печатанію полиціймейстеромъ Бунинымъ и тиснуто въ Одессѣ, въ типографіи „Трудъ“ В. Семенова. Ни года, ни мѣсяца, ни числа —не значится.

Во всякомъ случаѣ документъ этотъ въ педагогическомъ отношеніи настолько поучителенъ, что я рѣшаюсь привести его здѣсь досрочно, не измѣняя и нѣсколько произвольной его орѳографіи. Вотъ онъ:

ШКОЛЬНЫЕ
ГИГІЕНИЧЕСКІЕ СТОЛЫ СИСТЕМЫ КУНЦА
и
КУШЕТКИ
ПО НОВОЙ СИСТЕМѢ.

Эти кушетки имѣютъ преимущество предъ скамьей старинныхъ школъ и въ гигіеническомъ, и экономическомъ отношеніяхъ. Кушетка гигіеническая состоитъ изъ скамьи въ аршинъ шириною. На одной ея сторонѣ находится подвижной на шалнерахъ деревянный футляръ въ видѣ четвероугольной коробки дномъ кверху. Длина ея 6 четвертей и 4 ширина съ высотою въ 5 четвертей. Три боковыя наружныя стороны а также и верхняя состоятъ изъ толстой проволочной рѣшетки съ крупными до 3 кв. в. промежутками. Со стороны, обращенной къ скамьѣ, вмѣсто рѣшетки вставляется подвижная сверху внизъ доска съ дугообразнымъ вырѣзомъ. Съ другой стороны скамьи

такой-же подвижной ящикъ въ 5 вер. вышины и до 17 длины. Когда подвигается 1-й ящикъ, то онъ закрываетъ голову, грудь и большую часть спины. Опускная доска съ вырѣзкой охватываетъ спину и недопускаетъ движеній наказываемаго ни впередъ, ни назадъ. Точно также 2-ой футляръ прикрываетъ ноги и не допускаетъ свернуться въ сторону. Такимъ образомъ избѣгается вреднаго держанія наказываемаго, когда училищная прислуга притискиваетъ обыкновенно голову наказываемаго мучительнымъ образомъ, такъ что онъ одной щекой и искривленной шеей плотно прижатъ къ скамьѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, лакей давитъ всей силой мускуловъ на нѣжную грудь мальчика. Шея, наискось прижатая въ искривленномъ положеніи, производитъ полузадушеніе. Всѣ жилы головы наливаются кровью. Лицо и бѣлки глазъ краснѣютъ, начинается головокруженіе, а иногда обморокъ. Этотъ приливъ крови къ мозгу надолго оставляетъ головныя боли и неспособность къ умственнымъ занятіямъ. Держащій сторожъ конечно въ это не вникаетъ и, раздосадованный обыкновенно конвульсивными движеніями наказываемаго въ припадкахъ жгучей боли въ оконечности позвоночнаго столба, начинаетъ какъ попало надавливать на голову и плечи, сжимая, какъ въ клещахъ, верхнюю часть туловища. Гигіеническая кушетка, оставляя свободными шею, грудь и голову, мѣшаетъ въ то же время движеніямъ средней части тѣла, которую оставляетъ въ полное распоряженіе экзекутора почти неподвижною. Въ экономическомъ отношеніи она избавляетъ заведенія и пансіоны отъ содержанія лишнихъ двухъ человѣкъ прислуги для держанія. Имѣя эту скамью-кушетку, сторожъ каждаго училища можетъ служить дѣлу.

Удобства также заключаются и въ томъ, что голова наказываемаго закрыта, а то иногда страдальческое и умоляющее выраженіе лица мальчика подкупаетъ сѣкущаго и онъ невольно облегчаетъ удары и боль, что со стороны правдивой педагогики совсѣмъ нежелательно — напротивъ, наказаніе должно быть соединено съ болѣзненнымъ и продолжительнымъ страданіемъ безъ малѣйшаго послабленія и вниманія къ стонамъ и крикамъ, какъ единственная педагогическая

Цѣны гигіеническихъ кушетокъ:

Ясеневаго дерева, раздвижная, годящаяся для всякаго возраста съ шалнерами и винтами изъ никкеля и всѣхъ металическихъ частей работы Фрелиха	50 р. — к.
Нераздвижная для младшаго возраста	30 „ — „
„ „ старшаго „	40 „ — „
Для употребленія въ семействахъ, смотря по отдѣлкѣ, въ ненужное время могутъ замѣнять шкапы и столы отъ. .	25 „ — „
Простыя для народныхъ училищъ и т. п.	20 „ — „

Вотъ сколь несправедливы тѣ, которые ропщутъ, что у насъ „дѣла“ нѣтъ. Помилуйте! однѣ гигіеническія кушетки захватываютъ цѣлую массу

заинтересованныхъ личностей. Родители, опекуны, попечители, всѣхъ сортовъ воспитатели и воспитательницы, члены общества гувернантокъ, педагоги, и педагогички, директора, инспектора, ревизоры и наконецъ сами сѣкуторы. или экзекуторы, какъ ихъ вѣжливо величаетъ объявленіе. Ежели всѣ-то какъ слѣдуетъ поймутъ святость лежащихъ на нихъ обязанностей, тутъ такая уйма „дѣла" найдется, что даже червь неусыпающій—и тотъ придетъ въ отчаяніе. Одни—укладываютъ паціента на кушетку и прилаживаютъ ящики; другіе—воздѣйствуютъ на „среднюю часть тѣла"; третьи—присутствуютъ при воздѣйствіи и приговариваютъ: „шибче!" четвертые инспектируютъ самое орудіе гигіены, все ли въ исправности и не представляется ли возможности для поблажки. Словомъ сказать, хлопотъ полонъ ротъ.

Вѣдь если у насъ идетъ плохо воспитаніе дѣтей, то именно потому, что не серьезно слажены относящіяся къ тому орудія. Иной родитель или воспитатель и радъ бы сѣчь, да, кромѣ розогъ, всѣ прочія приспособленія находятся въ такомъ младенческомъ состояніи, что смотрѣть больно. Начать хоть бы съ того: какъ приступить къ дѣлу? Ежели ущемить ребенка между колѣнами, то онъ будетъ биться, не предоставитъ родителю „въ полное распоряженіе средней части тѣла". Ежели позвать на помощь служителей, то, во-первыхъ, не у каждаго родителя таковые обрѣтаются, а во-вторыхъ служители имѣютъ обычай „мучительнымъ образомъ притискивать голову наказываемаго". А многихъ, кромѣ того, „подкупаетъ страдальческое и умоляющее выраженіе лица наказываемаго". Повозится-повозится родитель, два-три раза хлеснетъ лозой на удачу (ахъ, да и рубашонку-то Богъ знаетъ какъ подняли!) и броситъ: пускай родное дѣтище погибаетъ!

Тогда какъ, съ введеніемъ гигіеническихъ кушетокъ, все разомъ явится къ услугамъ, слаженное, соображенное, очищенное отъ всякихъ случайностей и даже отъ страдальческаго выраженія лица: бери въ руки розги и сѣки. Сѣки шибче, сѣки не смущаясь! ибо все то добро, все то на пользу. Смѣло пиши всяко лыко въ строку, ибо корни сѣченія горки, но плоды его сладки. И знай, что, прибѣгая къ гигіенической кушеткѣ, ты не токмо дѣтищу своему счастіе въ будущемъ уготоваешь, но и для самого себя создаешь „дѣло", вполнѣ по обстоятельствамъ достаточное.

Объявленіе украшено картинками. Изображена очень красивая кушетка, и ящики нарисованы въ такомъ видѣ, какъ въ моментъ сѣченія ихъ подобаетъ приладить. Только „средней части тѣла" не изображено—ну, да вѣдь и воображенію почтеннѣйшей публики что-нибудь надо оставить. И дешево. Обыкновенная, „для употребленія въ семействахъ" кушетка стоитъ всего 25 рублей, да притомъ еще можетъ „въ ненужное время" замѣнять шкапы и столы—обѣдать можно. А для народныхъ училищъ и всего-то двадцать рублей за штуку. То-то народное образованіе процвѣтетъ!

Допустите, что населеніе Россіи простирается до 101.442.242 души („Русскій Календарь" за 1884 г.); предположите, что на это населеніе въ настоящее время, при несовершенствѣ современныхъ сѣкуторскихъ средствъ. производится въ день по 500.000 сѣкуцій (по одному человѣку на каждыхъ 200 обывателей—право, не много!), и что каждая сѣкуція (съ раздѣваніями, укладываніями и прочею церемоніей) длится не больше четверти часа —ока-

жется, что 500 тысячъ сѣкуцій ежедневно требуютъ 125 тысячъ рабочихъ часовъ. Принимая же въ разсчетъ, что рабочій день состоитъ изъ десяти часовъ, мы придемъ къ тому выводу, что двѣнадцать тысячъ пятьсотъ человѣкъ имѣютъ опредѣленное „дѣло", которое не даетъ имъ досуга парить въ эмпиреяхъ и тѣмъ навлекать на себя подозрѣніе въ вольномысліи. Это теперь, при отсутствіи гигіеническихъ кушетокъ—что же будетъ, когда, съ введеніемъ кушетокъ, сѣченіе сдѣлается почти общедоступнымъ? Очевидно, что сообразно съ симъ возрастетъ и охота къ сѣченію, а въ то же время утроится, учетверится — отчего же не удесятерится? — и масса людей, занятыхъ опредѣленнымъ дѣломъ, свободныхъ отъ пареній и ко всему равнодушныхъ, кромѣ той „средней части тѣла", которая оставляется „въ полное распоряженіе экзекутора почти неподвижно". Почему же однако „почти" неподвижно? почему не „вполнѣ"? Совершенствовать такъ совершенствовать. Или, быть можетъ, въ дѣлѣ сѣченія вредны только впечатлѣнія, производимыя умоляющимъ выраженіемъ лица, а не тѣ, которыя производятся непроизвольными движеніями „средней части тѣла"?

Но, право, я все-таки очень радъ, что кушетки эти изобрѣлъ Кунцъ, а не Ивановъ. Почему радъ—я и самъ объяснить не могу, но мнѣ кажется, что еслибъ это изобрѣтеніе принадлежало Иванову, то каторги за него ему было бы мало. А Кунцу—какъ разъ въ пору. Даже пріятно было бы познакомиться. Herr Кунцъ! не угодно ли позавтракать на той самой кушеткѣ (обращенной въ столъ), на которой только сейчасъ Иванова, за неплатежъ недоимокъ, высѣкли?

Но еще больше я радъ тому, что изобрѣтеніе Кунца, несмотря на осязательную пользу, какъ будто у насъ не привилось. По крайней мѣрѣ я лично ничего о кушеткахъ не слыхалъ. Должно быть, думалъ насъ удивить нѣмецъ, а мы взяли да еще больше его удивили: деремъ черезъ пень колоду, какъ въ древности драли, и горюшка намъ мало, какое выраженіе имѣетъ лицо наказуемаго и въ какомъ направленіи двигается „предоставляемая въ распоряженіе часть тѣла".

Замѣчательно, но въ то же время и совершенно естественно, что всякій разъ, какъ идетъ рѣчь объ розгѣ, воспоминанія дѣтства такъ и встаютъ передъ глазами, словно живыя. Счастливое дѣтство!

Впрочемъ я не припомню, чтобъ лично я много страдалъ отъ розги; но свидѣтелемъ того, какъ терпѣла „средняя часть тѣла" за дѣйствія и поступки, совсѣмъ не по ея иниціативѣ содѣянные, бывалъ неоднократно. Публичное воспитаніе я началъ въ Москвѣ, въ спеціально-дворянскомъ заведеніи, задача котораго состояла преимущественно въ подготовленіи „питомцевъ славы". Заведеніе впрочемъ имѣло хорошія традиціи и пользовалось отличною репутаціей. Во главѣ его почти всегда стояли ежели не отличнѣйшіе педагоги, то люди, обладавшіе здравымъ смысломъ и человѣчностью. Въ первый годъ моего пребыванія въ заведеніи директоромъ его былъ старый морякъ, С. Я. У., о которомъ, я увѣренъ, ни одинъ изъ бывшихъ воспитанниковъ не вспомнитъ иначе, какъ съ уваженіемъ и любовью. Объ сѣченіи у

насъ не было слышно, хотя оно несомнѣнно практиковалось, какъ и вездѣ въ то время. Но, во-первыхъ, практиковалось только въ крайнихъ случаяхъ и, во-вторыхъ, келейно, не задаваясь при этомъ ни теоріей устрашенія, ни теоріей правды и справедливости, якобы вопіющей объ отмщеніи именно на той части тѣла, которую г. Кунцъ именуетъ среднею. Присутствовалъ ли при этихъ экзекуціяхъ лично самъ директоръ—не знаю; но увѣренъ, что ежели и присутствовалъ, то не для того, чтобъ кричать: „шибче-съ!“ а для того, чтобы своевременно скомандовать: „довольно-съ!“

Черезъ годъ старый директоръ однако вынужденъ былъ удалиться. На его мѣсто былъ назначенъ бывшій инспекторъ, добрый человѣкъ, но не самостоятельный, а въ качествѣ инспектора явился молодой человѣкъ, до тонкости изучившій вопросъ о роли, которую должна играть „средняя часть тѣла“ въ дѣлѣ воспитанія юношества. Этотъ молодой человѣкъ почему-то вообразилъ себѣ, что заведеніе, отданное ему въ жертву, представляетъ собой авгіевы конюшни, которыя ему предстоитъ вычистить, и, разъ задавшись этою мыслью, начерталъ для ея выполненія соотвѣтствующую программу.

Программа эта немногимъ отличалась отъ всѣхъ вообще воспитательныхъ программъ того времени, и резюмировалась въ одномъ словѣ: сѣчь. Но у нея была язвительная особенность, заключавшаяся въ томъ, что она выводила сѣченіе изъ его изолированности и дѣлала его нагляднымъ (a la portée de tout le monde). Каждую субботу, *по выходѣ отъ всенощной*, воспитанники выстраивались по обѣ стороны обширной рекреаціонной залы, и въ глубокомъ молчаніи ожидали появленія инспектора. Многіе припоминали совершонные за недѣлю грѣхи, шептали молитвы и крестились; напротивъ того, воспитанники „травленные“ (въ заведеніи образовался особый контингентъ, какъ бы сословіе, для котораго „субботники“ вошли почти въ обычай) держали себя довольно развязно и интересовались только тѣмъ, которому изъ двоихъ урядниковъ въ данномъ случаѣ будетъ поручена экзекуція. Ежели дежурнымъ оказывался урядникъ Кочуринъ, то смотрѣли въ глаза будущему съ довѣріемъ; ежели же дежурнымъ былъ урядникъ Купцовъ, то даже самые храбрые задумывались. Кочуринъ былъ солдатъ добрый, и сѣкъ больно, но безъ вычуръ; Купцовъ сѣкъ и въ то же время какъ бы мстилъ сѣкомому. По срединѣ залы между тѣмъ стояла простая, совершенно негигіеническая скамейка, около которой ожидали: дежурный сѣкуторъ и двое дядекъ, обязанныхъ держать наказываемаго за плечи и за ноги.

Наконецъ *онъ* появлялся въ глубинѣ залы. Прямой, какъ аршинъ, съ несгибающимися колѣнками и съ заложенными за спину руками, онъ медленнымъ шагомъ подходилъ къ скамьѣ и безстрастнымъ голосомъ выкрикивалъ по списку имена жертвъ (списокъ хранился въ секретѣ до самаго часа экзекуціи), приговаривая: „за лѣность! за дерзость! за буйство! за воровство!“ Вызывалось обыкновенно отъ 8 до 10 человѣкъ, но почти каждую субботу слышались однѣ и тѣ же фамиліи, и „постороннихъ“ бывало немного. Число розогъ опредѣлялось отъ пяти до шестидесяти (за самыя тяжкія вины, въ родѣ искалѣченія, воровства, повтореннаго пьянства и т. д.). „Травленные“ выступали твердо, сами спускали съ себя штаны и сами ложились, причемъ нѣкоторые доводили ухарство до того, что просили: „разрѣшите, господинъ

инспекторъ, чтобъ меня не держали!“ Но все-таки, ложась на скамью, инстинктивно крестились. Напротивъ, „посторонніе“ стонали и упирались, такъ что инспекторъ вынуждался напомнить: „хуже будетъ, господинъ такой-то, ежели я прикажу привести васъ силой!“ Затѣмъ дядьки овладѣвали плечами и ногами паціента, сѣкуторъ прицѣливался, и розги выполняли свое воспитательное назначеніе. Раздавались пронзительные крики, но выискивались и такіе воспитанники, которые, закусивъ нижнюю губу до крови, не испускали ни звука. Послѣднихъ называли „молодцами“.

Такъ длился цѣлый годъ, послѣ чего я оставилъ заведеніе, и свѣдѣній о дальнѣйшей судьбѣ субботниковъ уже не имѣю.

Не знаю также, что сталось съ изобрѣтателемъ субботниковъ; но увѣренъ, что ежели онъ еще не пересталъ быть дѣятельнымъ членомъ общества, то навѣрное принадлежитъ къ контингенту тѣхъ, которые настойчиво требуютъ перехода отъ фразы къ дѣлу. Оно впрочемъ и естественно: кто съ младыхъ ногтей вращался въ сферѣ „дѣла“, тому сфера „фразы“ должна быть тяжела и противна.

Но вотъ вопросъ: не присутствовалъ ли, хоть невидимкою, педагогъ Кунцъ при нашихъ „субботникахъ“? И не тогда ли созрѣла въ немъ идея гигіеническихъ кушетокъ? Ибо, въ сущности, и субботники, и кушетки имѣли одну общую цѣль: сдѣлать сѣченіе общедоступнымъ (à la portée de tout le monde).

Съ окончаніемъ масляницы, прекратился и сезонъ зимнихъ утѣхъ. Многіе опасались, что промышленность опять упадетъ, но опасенія оказались преувеличенными. Торговцы шолковыми и галантерейными товарами, дѣйствительно, нѣсколько пріуныли, но барыши истекшаго сезона помогутъ имъ бодро перенести печальные дни великаго поста. Больше всѣхъ впрочемъ пострадаетъ Вортъ изъ Парижа (см. газетныя описанія баловъ) да берлинскіе псевдо-Ворты; но съ точки зрѣнія народной гордости это, пожалуй, и не дурно! пускай иностранные зазнайки почувствуютъ, что вся ихъ торговля находится въ рукахъ русскихъ женъ и дѣвъ! Но за то несомнѣнно процвѣла торговля грибами и моченою морошкой. Радуйся, Кола! ликуй, Судиславъ! А на Пасху грибамъ и морошкѣ скажемъ шабашъ, а на ихъ мѣстѣ процвѣтетъ торговля яйцами, куличами, молочнымъ товаромъ, ветчиной. И такимъ порядкомъ пойдетъ круглый годъ.

Вотъ какъ у насъ просто дѣлается. Тайный совѣтникъ щи со снѣтками ѣстъ—смотришь, кто-нибудь и процвѣлъ; супруга его съ кузеномъ на тройкѣ на Острова поѣхала — опять кто-нибудь процвѣлъ; лакей его барскіе сапоги ваксой чиститъ — и еще кто-нибудь процвѣлъ! И непремѣнно процвѣлъ меньшій братъ, а старшій братъ только жуетъ да на тройкахъ катается.

При крѣпостномъ правѣ русская интеллигенція строго соблюдала посты, въ особенности же великій и успенскій. Многіе даже раковъ и устрицъ не ѣли, не зная, какъ ихъ счесть, скоромными или постными. Соблюдая посты, правящіе классы и сами очищали души отъ грѣховныхъ помысловъ, и подавали примѣръ воздержанія меньшей братіи. Дни поста бывали днями

тишины и успокоенія, и контрастъ между послѣднимъ, безумнымъ днемъ масляницы и чистымъ понедѣльникомъ даже въ столицахъ былъ поразителенъ. Сильные міра смирялись и изобрѣтали грибные соусы; меньшая братія довольствовалась толокномъ, но въ то же время, подъ вліяніемъ общаго молитвеннаго настроенія, чувствовала приливъ какихъ-то надеждъ.

Съ упраздненіемъ крѣпостного права, соблюденіе постовъ — да и то самыхъ кратковременныхъ—стало удѣломъ преимущественно женскаго пола; что же касается до интеллигентныхъ мужчинъ, то они предпочитали отдѣлываться по этому поводу парадоксами. Примѣръ подавать стало некому, а вопросъ о спасеніи души былъ до того затемненъ и запутанъ безпрерывными реформами, что даже изъ числа дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ многіе сомнѣвались, есть ли у нихъ душа, или нѣтъ. При такомъ настроеніи общества постъ сдѣлался какъ бы продолженіемъ масляницы, съ тою лишь разницей, что блины замѣнялись ропотомъ на устарѣлость предразсудковъ, мѣшающихъ пользоваться жизнью „по-человѣчески". Грибы осиротѣли; морошка плесневѣла и выкидывалась; бѣлозерскіе снѣтки совсѣмъ исчезли съ рынка. Цѣлыя мѣстности, которыхъ процвѣтаніе было тѣсно связано съ процвѣтаніемъ постовъ, увидали себя обездоленными.

Теперь смута устранена. Посты восприняли прежнее дореформенное дѣйствіе, и тѣ же самые дѣйствительные статскіе совѣтники, которые не могли утвердительно отвѣтить на вопросъ, есть ли у нихъ душа? — нынѣ положительно, твердо и ясно восклицаютъ:

> Ты правъ, Платонъ, ты правъ! нашъ духъ не умираетъ!
> Самъ Богъ, живущій въ насъ, въ сей правдѣ увѣряетъ!

Я лично знаю тайнаго совѣтника, который въ теченіе всей первой недѣли поста говорилъ по-славянски, какъ бы опасаясь оскоромиться русскимъ языкомъ. А другой тайный совѣтникъ даже совсѣмъ отъ дара слова отказался, и проводилъ время въ томъ, что молча созерцалъ свой пупокъ. Но это, по моему, ужъ ригоризмъ.

Въ согласность съ этимъ новымъ вѣяніемъ и движеніе на улицахъ въ чистый понедѣльникъ значительно сократилось сравнительно съ реформеннымъ временемъ. Оживленіе замѣчалось только около бань и вблизи большихъ чиновническихъ центровъ. Давно такъ бойко не торговали баньщики, и никогда такъ исправно не посѣщали чиновники своихъ департаментовъ, никогда такъ свято не хранили канцелярской тайны. Придутъ ранёхонько, возьмутся за перья, сдѣлаютъ свое дѣло, и затѣмъ—молчокъ. Слышно только, что плодомъ этой великопостной ретивости ожидается великое множество отрезвительныхъ проектовъ. Проекты эти къ будущему великому посту будутъ переписаны на-бѣло, а постомъ 1886 года ихъ положатъ подъ сукно. Suum cuique, или: нѣтъ худа безъ добра. Но какъ подспорье къ грибамъ, эти проекты неоцѣнимы; они оживляютъ умъ и утверждаютъ въ публикѣ убѣжденіе, что страна, въ которой съ такою легкостью принимаются всевозможныя оздоровленія, не оскудѣетъ.

Не только объ раутахъ, но даже о простыхъ вечеринкахъ не было слышно въ теченіе цѣлыхъ шести дней, такъ что и нѣмцы отпраздновали

свою масляницу келейно, безъ публичныхъ оказательствъ. Рѣдко-рѣдко въ какомъ окнѣ мелькнетъ огонь, да и то скромный, трепещущій, при свѣтѣ котораго ничего другого и дѣлать нельзя, какъ сосредоточенно смотрѣть себѣ на пупокъ. Сквернословіе, столь обычное на улицахъ въ скоромные дни, уступило мѣсто скромнымъ и солиднымъ афоризмамъ, въ родѣ: „всякъ сверчокъ знай свой шестокъ", и т. д. Московскіе куранты цѣлыхъ два дня сряду появлялись въ Петербургѣ безъ передовой диффамаціи.

Однако со второй недѣли уже ощущается довольно замѣтное оживленіе. Освѣщенныя окна попадаются столь же часто, какъ въ сезонные дни; бани пустѣютъ, портерныя наполняются; выраженія: катанье на тройкахъ, раутъ, декольте — слышатся чаще и чаще. Сквернословіе вступаетъ въ свои права: куранты свирѣпѣютъ.

Раутъ — это самая скучная изъ всѣхъ формъ общежитія, участники которой думаютъ только объ томъ, какъ бы отъ нея улизнуть. Люди собираются пестрые и подозрительные; разговоры ведутся шаблонные, неискренніе; пересказываются новости дня, которыя всѣми выслушиваются съ удовольствіемъ или негодованіемъ (смотря по содержанію новости), но никто ни въ это удовольствіе, ни въ это негодованіе не вѣритъ; старики изрекаютъ приличные обстоятельствамъ афоризмы и стараются проникнуть въ намѣренія Бисмарка; младшіе почтительно съ ними соглашаются, но внутренно думаютъ: да, братъ, порядкомъ-таки ты отъ старости ошалѣлъ! Разносятъ чай, прохладительныя; устроено нѣсколько буфетовъ; тамъ и сямъ разложены карточные столы; но никто ни къ чему не прикасается, точно боятся, что это можетъ задержать лишнюю минуту. Рѣдко кто даже садится, потому что всякому думается, что на ходу ловчѣе можно улетучиться. А хозяева стѣснены больше всѣхъ. Они стоя принимаютъ безпрерывно появляющихся гостей и съ тоскою взглядываютъ на входную дверь, откуда долженъ показаться тотъ „полезный человѣкъ", ради котораго затѣяна вся эта исторія. Но „онъ" не появляется, ибо знаетъ себѣ цѣну, а вмѣсто него дефилируютъ сотни неполезныхъ и неинтересныхъ людей. Словомъ сказать, всюду царствуетъ дѣланное оживленіе, дѣланный говоръ, дѣланныя поученія, дѣланное гостепріимство, дѣланная почтительность... И вдругъ, среди этой щемящей скуки и безцѣльной сутолоки появляется... декольте! Но такое блестящее, ослѣпительное, съ такимъ изумительнымъ вырѣзомъ на спинѣ, что у тайныхъ совѣтниковъ мгновенно спирается въ зобу дыханіе. Смотрите! вотъ еле дышущій старецъ, который за минуту передъ тѣмъ мечталъ, какъ было бы хорошо намазаться на ночь оподельдокомъ, надѣть на голову бѣлый колпакъ и залечь съ Матреной Ивановной спать. Онъ уже заноситъ ногу, чтобъ привести этотъ проектъ въ исполненіе, онъ уже приближается къ лѣстницѣ и мысленно видитъ себя въ шубѣ и тепломъ картузѣ—какъ вдругъ останавливается какъ вкопанный и начинаетъ чихать. А ослѣпительное декольте торжествующе смотритъ на это сонмище тщетно усиливающихся проникнуть намѣренія Бисмарка мудрецовъ и всѣми своими вырѣзами бросаетъ имъ въ лицо: ага! вы думали, что наступилъ великій постъ?—такъ вотъ же вамъ... масляница!

Но повторяю: рауты сами по себѣ такъ безмѣрно скучны, что даже наиболѣе возбуждающія декольте могутъ сообщить имъ лишь скоропреходящее

оживленіе. Посѣщаютъ ихъ по преимуществу старцы, которые уже на яву сны видятъ, да подростки лѣтъ эдакъ пятидесяти, изъ которыхъ одни уже овладѣли „дѣломъ", а другіе сгораютъ нетерпѣніемъ засвидѣтельствовать о готовности перейти отъ фразы къ дѣлу. Для подобныхъ засвидѣтельствованій раутъ самая подходящая арена; но и тутъ все зависитъ отъ того, успѣетъ ли жаждущій подростокъ попасть въ районъ зрѣнія подростка полезнаго, или не успѣетъ. И никакое искусство, никакіе подходы не принесутъ пользы, если не придетъ на помощь удача. Иной и очень старается, а его или другіе чающіе оттрутъ, или же самъ полезный подростокъ такъ помѣстится, что не видитъ своего обожателя да и шабашъ. Другой, напротивъ, не успѣлъ войти, какъ уже сорвалъ банкъ. Смотришь, черезъ четверть часа онъ уже ходитъ съ полезнымъ подросткомъ подъ руку, а прочіе передъ ними разступаются и ѣдятъ ихъ глазами. Это интимное хожденіе служитъ поводомъ для безконечныхъ комментаріевъ. Стараются угадать его смыслъ и опредѣлить результаты въ будущемъ. А наиболѣе прозорливые прямо прорицаютъ: „теперь только держись!" Ежели у счастливца-подростка имѣется, кромѣ того, въ запасѣ программа, то комментаторы заранѣе пріискиваютъ компромиссы и соглашенія. Ежели нѣтъ программы, или есть маленькая—чего изволите?—то комментаторы говорятъ: „во всякомъ случаѣ хуже не будетъ". И вдругъ, подъ шумокъ этого переполоха, оба подростка дѣлаютъ внезапное фланговое движеніе, врѣзываются въ толпу и исчезаютъ въ ней. Туда-сюда — растаяли! Куда они направили бѣгъ свой? что̀ знаменуетъ это внезапное исчезновеніе? какими новыми загадками разрѣшится завтрашній день?—Опять комментаріи, комментаріи безъ конца...

Какъ бы то ни было, но положеніе чающихъ подростковъ совсѣмъ незавидное. Удача достается въ удѣлъ немногимъ, а большинство толчется на одномъ мѣстѣ, ведетъ пустопорожніе разговоры и агонизируетъ. Поэтому нѣкоторые мудрецы предпочитаютъ дѣйствовать посредствомъ своихъ женъ, ежели послѣднія обладаютъ исправнымъ декольте́. Такого рода мудрецовъ называютъ дипломатами, и усилія ихъ нерѣдко даютъ хорошіе плоды. Но, по моему мнѣнію, это ужъ подлость.

Гораздо интереснѣе и веселѣе проводится время на простыхъ интимныхъ вечеринкахъ, которыхъ въ нынѣшнемъ посту особенно много. Здѣсь на первомъ планѣ фигурируетъ молодежь, та особливая нынѣшняя молодежь, которая не страстностью рѣчей и тѣлодвиженій, а солиднымъ образомъ мыслей и скромнымъ поведеніемъ умѣетъ заслужить и довѣріе дѣвъ, и мимолетную ласку женъ, и покровительство мужей и отцовъ. Въ этой молодой средѣ стремленіе къ „дѣлу" и забота объ его осуществленіи являются нынѣ преобладающимъ элементомъ. Чаще всего подъ словомъ „дѣло" здѣсь разумѣется карьера, но карьера, пріобрѣтаемая не въ видахъ удовлетворенія эфемернаго честолюбія, а въ видахъ достиженія опредѣленныхъ общественныхъ идеаловъ. Нынче рѣдко можно встрѣтить людей, подобныхъ Кротикову или Козелкову, которые еще такъ недавно мечтали о губернаторскихъ и иныхъ мѣстахъ, единственно ради цѣлей любоначалія, осложненнаго любострастіемъ. Нынѣшніе молодые люди на первомъ планѣ ставятъ общую пользу, а потомъ уже—если время позволитъ—преслѣдуютъ и любовныя подспорья, помогаю-

щія не изнемочь подъ бременемъ служебнаго подвига. Подвигъ этотъ не легкій, хотя и не имѣющій реальнаго, обязательнаго содержанія. Дѣло, предстоящее этимъ людямъ, не въ томъ заключается, чтобы самимъ дѣло дѣлать, а въ томъ, чтобы заставить дѣлать дѣло другихъ, и въ случаѣ нужды облегчить переходъ отъ фразы къ дѣлу. А средства для выполненія этой программы общеизвѣстны. Это съ одной стороны неуклонность, а съ другой—строгость. И наоборотъ.

— У меня, дяденька, не зазѣваются!—говорилъ мнѣ на дняхъ одинъ изъ моихъ племянниковъ, молодой человѣкъ, на котораго можно вполнѣ положиться. И говоря это, онъ отлично понималъ, что, имѣя въ запасѣ такое испытанное средство, какъ строгость, можно всего достигнуть: и изобилія, и оживленія промышленности, и хорошаго денежнаго рынка, и элеваторовъ, и транзитовъ — словомъ, всего, что смущаетъ воображеніе современныхъ отощавшихъ празднослововъ.

Самую излюбленную принадлежность такихъ интимныхъ вечеровъ представляютъ такъ-называемые спиритическіе сеансы. Наше интеллигентное общество всегда было склонно къ волшебствамъ, но нынѣшнія спиритическія радѣнія имѣютъ совсѣмъ отличный характеръ отъ прежнихъ. Прежде молодые люди по преимуществу вызывали усопшихъ дамъ. Изъ древнихъ—Семирамиду, Клеопатру, Агриппину, Мессалину; изъ позднѣйшихъ—Монтеспаншу, Ментенонщу, Помпадуршу и др. Разумѣется, происходилъ игриваго свойства colloquium, отъ котораго молодыя адептки спиритизма алѣли, но не гнѣвились, и который адепты сопровождали еще болѣе игривыми комментаріями. Нынче усопшихъ дамъ оставляютъ въ покоѣ, а вмѣсто нихъ вызываютъ лицъ, оказавшихъ услуги благоустройству и благочинію. Напримѣръ: Шешковскаго, фонъ-Фока, Булгарина. Но должно сознаться, что отъ времени до времени тутъ не обходится безъ печальныхъ недоразумѣній.

Вызываютъ, напримѣръ, однажды Шешковскаго и предлагаютъ ему вопросы. Старикъ, конечно, очень радъ посодѣйствовать, хотя, изъ кокетства, и жалуется на ревматизмъ.

— Всего больше, — говоритъ онъ: — надо избѣгать путаницы. Затѣявши предпріятіе, необходимо зрѣло обдумать оное, не обращая вниманія на подстрекательства темперамента, и въ особенности не дозволяя себѣ несвоевременной болтовни. Языкъ мой — врагъ мой, говорилъ я себѣ всякій разъ, когда собирался въ походъ, и никогда не раскаивался въ томъ, что содержалъ эту пословицу въ памяти. То же самое нужно сказать и относительно самаго выполненія предпріятій. Никогда не слѣдуетъ спѣшить и суетиться, ибо, спѣша и волнуясь, мы девяносто-девять разъ изъ ста рискуемъ попасть пальцемъ въ небо. Конечно, юридическая ошибка сама по себѣ не представляетъ важности, но часто она увлекаетъ насъ совсѣмъ не въ ту сторону, куда надо. Многое даже не безполезно предоставить времени. Ибо ежели мы дѣйствуемъ благоразумно и притомъ воспитательно, то и время, или, лучше сказать духъ онаго, постепенно принимаетъ споспѣшествующій характеръ. По крайней мѣрѣ я всегда такъ поступалъ. Всякій разъ, какъ предпріятіе ставило меня втупикъ, я говорилъ себѣ: пускай лучше дѣло полежитъ! И никогда не раскаивался.

Высказавши это, Шешковскій вновь повторяетъ жалобы на ревматизмъ и улетаетъ.

— Какой у этого старика замѣчательный дѣловой смыслъ! — дивятся молодые люди.

— Да, былъ въ старые годы смыслъ! былъ смыслъ!—вздыхаетъ тайный совѣтникъ (изъ ропщущихъ), который, за простоту, допущенъ въ среду молодой компаніи.

— Какая отчетливость! какое глубокое знаніе споспѣшествующихъ свойствъ времени!

Но въ другой разъ съ тѣмъ же Шешковскимъ случилась цѣлая исторія. Зовутъ его, стучатъ — не идетъ, да и полно. „Ужъ не позвалъ ли его на партію въ ламушъ графъ Ушаковъ?“—догадываются нѣкоторые, какъ вдругъ появляется урядникъ Купцовъ (не тотъ, который въ тридцатыхъ годахъ стегалъ „питомцевъ славы“, а предокъ его, современникъ и сотрудникъ Шешковскаго), и докладываетъ, что Шешковскаго безплодно ждать, потому что душа у него была смертная и вмѣстѣ съ тѣломъ безъ остатка истлѣла...

Поднимается суматоха; дебатируется вопросъ: кто же являлся подъ именемъ Шешковскаго въ прошлый сеансъ? И что-жъ открывается? —что въ прошлый сеансъ разговаривалъ чревовѣщатель, котораго любезный хозяинъ посадилъ въ сосѣднюю комнату.

Въ сей крайности рѣшаются вызвать фонъ-Фока. Послѣдній является и отсырѣлымъ голосомъ объявляетъ, что хотя душа у него и не вполнѣ смертная, но частица ея порядкомъ-таки попорчена...

— Однако какая жестокая будущность!—провозглашаетъ одинъ изъ присутствующихъ.

— Ежели впрочемъ и тутъ опять не замѣшался вантрилокъ,—прибавляетъ другой.

Смотрятъ одновременно и подъ столомъ, и въ сосѣднихъ комнатахъ — нѣтъ никого. Очевидно, на сей разъ являлся подлинный Купцовъ и подлинный фонъ-Фокъ. Остается послѣднее средство: послать за Булгаринымъ. И точно: Булгаринъ является на первый же стукъ и сразу начинаетъ хрюкать:

— Призываетъ меня однажды Леонтій Васильичъ. Прихожу — рветъ и мечетъ. Увидѣлъ меня, вскочилъ, подбѣжалъ, забрызгалъ.—Бездѣльникъ! —„Слушаю, отецъ-командиръ!“—Ренегатъ!—„Рады стараться, отецъ-командиръ!“—Ужъ и на меня ябеды сочинять началъ! — „Виноватъ, отецъ-командиръ!“—Пошелъ вонъ, сатана!—„Кубаремъ, отецъ-командиръ!“

Водворяется молчаніе, во время котораго однако слышится легкій шелестъ. То рѣетъ надъ собравшимися Булгаринская душа.

— Продолжайте!—предлагаетъ одинъ изъ участниковъ.

— Только и всего.

— Ничего другого вы сказать не имѣете?

— Все въ этомъ родѣ.

— Но было же что-нибудь...

— Вся жизнь—въ этомъ родѣ.

— Однако!

— Ахъ, господа, господа! Посмотрю я на васъ: слышите вы звонъ, и не знаете, откуда онъ! Да вѣдь это-то самое и нужно!

Съ этими словами душа Булгарина улетаетъ во-свояси, а въ комнатѣ распространяется легкій смрадъ. Большинство въ недоумѣніи оглядываются по сторонамъ, но у нѣкоторыхъ уже спадаетъ съ глазъ пелена.

— „Это-то самое и нужно“,—задумчиво повторяетъ одинъ изъ присутствующихъ (изъ молодыхъ да ранній), и прибавляетъ:—le vieux cochon a raison... peut être!

Возвѣщаютъ, что сервированъ ужинъ. Общество поднимается и въ сладкомъ сознаніи, что вечеръ проведенъ „дѣльно“, слѣдуетъ въ столовую.

А въ заключеніе и петербурская городская дума нашла себѣ дѣло. Чествуетъ пріѣздъ въ „здѣшнюю столицу“ нѣмецкаго романиста Шпильгагена, а когда получатся окончательныя подробности насчетъ взятія французами Бак-Нина, то, конечно, будетъ чествовать и взятіе Бак-Нина. Вина въ погребахъ много; „уры“ накопилось въ сердцахъ видимо-невидимо — надо же какъ-нибудь распорядиться и тѣмъ и другимъ.

Что Шпильгагенъ очень талантливый писатель и въ шестидесятыхъ годахъ имѣлъ значительное вліяніе и на русскую литературу, и на русское общество — это безспорно; но дума-то петербургская тутъ при чемъ?

Шпильгагена чествуютъ, а вотъ про то, что въ Петербургѣ существуетъ общество для пособія русскимъ литераторамъ и ученымъ, которое на дняхъ втихомолку праздновало свое двадцатипятилѣтіе—никто знать не хочетъ. А, право, вѣдь это учрежденіе сотни Шпильгагеновъ стоитъ. Подумайте! оно одно поддерживаетъ (насколько можетъ) интересы пишущаго пролетаріата, одно, которое безъ ужимокъ признаетъ свою солидарность съ русскою литературой! Какихъ еще больше правъ на вниманіе общества!

Бѣдный русскій литературный фондъ! Онъ всецѣло раздѣляетъ судьбы русской литературы. Подобно ей, онъ находится въ забвеніи; подобно ей, влачитъ унылое и скудное существованіе. Коли хотите, это логично; но какъ-то горько мириться съ этою логикою. Все думается: куда было бы лучше, еслибъ благоденствовала литература и вмѣстѣ съ нею благоденствовалъ бы и литературный фондъ!

Въ русской литературѣ встрѣчаются имена, принадлежащія лицамъ вполнѣ обезпеченнымъ. Литература дала имъ все: и деньги, и славу, а вспомнили ли они объ ней! Удѣлили ли они литературному русскому фонду что-нибудь, кромѣ жалкихъ крупицъ! Многіе изъ нихъ такъ и сошли въ могилы, не вспомнивъ о своихъ бѣдствующихъ собратіяхъ по литературѣ.

А книгопродавцы? а тѣ, которые на костяхъ литературы создали свои болѣе или менѣе значительныя состоянія? Знаютъ ли они даже, что существуетъ русскій литературный фондъ, который, приходя на помощь къ бѣдствующему литературному дѣятелю, косвенно содѣйствуетъ созданію той самой „книжки“, которая легла въ основаніе всѣхъ этихъ капиталовъ въ видѣ многоэтажныхъ домовъ, акцій и облигацій?

Право, лучше *бросить* (вѣдь у насъ иначе жертва и не понимается, какъ въ формѣ *бросанья*) деньги на поддержаніе русскаго литературнаго фонда, нежели на чествованіе Шпильгагена, какъ бы ни почтенна была литературная дѣятельность послѣдняго. Подумайте объ этомъ, милостивые государи! и ежели вы полагаете, что встрѣча, устраиваемая вами Шпильгагену, есть въ своемъ родѣ оказательство въ смыслѣ сочувствія къ просвѣщенію, то поймите, что оказательство это выразится гораздо рѣшительнѣе, ежели оно явится въ формѣ сочувствія къ русскому литературному фонду.

Глава IX.

Я съ величайшимъ любопытствомъ слѣжу за тою частью вашей публицистики, которая сама себѣ присвоила названіе „охранительной". Я знаю, что многіе ее не любятъ за ея продѣлки, и даже самъ вполнѣ раздѣляю эту нелюбовь. Она недобросовѣстна, назойлива, недальновидна, всегда находится подъ гнетомъ темперамента, и любитъ, въ угоду ему, солгать, подсидѣть, подтасовать, извратить самый ясный фактъ. И при этомъ какъ-то безпардонно нагла, такъ что ни одной своей срамоты не скрываетъ: нà, смотри! Читать гадко. И все-таки надо читать, потому что это и любопытно, и отчасти даже утѣшительно. Любопытно—потому что извивы лукавой мысли, которая суетливо пѣнится въ пустомъ пространствѣ, сами по себѣ представляютъ очень замѣчательное психологическое явленіе; утѣшительно—потому что всѣ усилія этой мысли настолько проникнуты легкомысліемъ, что, въ сущности, и обмануть никого не могутъ. Не умѣетъ русская охранительная пресса шить свои диффамаціи иначе какъ бѣлыми нитками; не умѣетъ прятать концы въ воду. Сегодня она пуститъ въ ходъ агитацію по какому-нибудь небезъинтересному для нея дѣлу, будетъ ссылаться на ходатайства, постановленія, подписи и т. п., а завтра, натолкнувшись на другую, встрѣчную агитацію (тоже съ постановленіями, ходатайствами и подписями), станетъ утверждать, что агитаціи вообще ничего не доказываютъ, что онѣ скорѣе вредны, нежели полезны для дѣла. Даже лазейки для себя не будетъ пріискивать, а просто отопрется, солжетъ. И такъ какъ она каждый день повторяетъ эту исторію, каждый день только что не говоритъ: читатель! все, чтò я ни предполагаю, можно видѣть только во снѣ! —то понятно, что и самому простодушному профану наконецъ надоѣстъ принимать сновидѣнія за дѣйствительность.

Я понимаю, что можетъ такой казусъ случиться, что, не имѣя за душой ничего, кромѣ праха, по-неволѣ приходится имъ однимъ торговать, но вѣдь и съ прахомъ слѣдуетъ обходиться бережно. Прахъ такъ прахъ; но пускай же онъ будетъ одинъ и тотъ же всегда и вездѣ, ибо только тогда онъ сдѣлается владыкой міра. Отрицайте разумъ, прогрессъ, правду, человѣческое право на счастье—прекрасно. Называйте все это опасной утопіей, источникомъ заблужденій и потрясеній—еще того лучше. Утверждайте, что завтрашняго дня нѣтъ, что перспективъ не полагается, а есть только тò, чтò торчитъ подъ носомъ — и это хорошо. Но держитесь этихъ отрицаній твердо, и не призывайте разума, человѣчности и проч. ни на помощь, ни въ свидѣтельство.

Совсѣмъ не произносите этихъ словъ такъ какъ вы выходите изъ принципа, который признаетъ ихъ праздными. Не пишите въ смыслѣ порицанія: такое-то дѣйствіе противно разуму; ибо, согласно вашей программѣ, это-то и есть дѣйствіе, достойное похвалы. Не угрожайте завтрашнимъ днемъ, потому что вы разъ навсегда установили, что завтрашняго дня нѣтъ, а вмѣсто него зіяетъ черная дыра, о которой вы и будете калякать тогда, когда въ ней очутитесь. Проводите вашъ прахъ логично, а не пестрите его поправками, не перескакивайте легкомысленно отъ одного праха къ другому. Ибо ничто такъ не вредитъ возведенію праха въ принципъ, какъ его пестрота.

Вспомните, читатель, что вопіяла охранительная публицистика года три тому назадъ по адресу такъ-называемой интеллигенціи. Всѣ кривды и беззаконія, какія только можно совмѣстить въ наиболѣе извращенной человѣческой личности, она, нимало не стѣсняясь, пріурочивала къ интеллигенціи. Пріурочивала, надрываясь, волнуясь и кипятясь, не считая даже нужнымъ пріискивать какіе-нибудь аргументы. И не къ той интеллигенціи пріурочивала, которая умѣетъ въ винтъ играть, которая устраиваетъ катанье на тройкахъ и пикники, и въ этомъ усматриваетъ свое провиденціальное назначеніе, а именно къ той, которая руководится какими-либо умственными и нравственными интересами. Именно на эти-то интересы и указывалось какъ на источникъ всякаго рода пагубы. Этого мало: она не ограничивалась платоническими воплями, но инсинуировала и практическое воздѣйствіе. Столбцы охранительныхъ газетъ пріятно пестрились корреспонденціями простецовъ-обывателей, которые простодушно предлагали топить интеллигентовъ, дѣлать имъ встряски. И все это говорилось и предлагалось во имя здраваго смысла народа, во имя „исконныхъ русскихъ началъ". Любопытно бы знать: пуская въ обращеніе эти наивныя подстрекательства и ссылаясь на оныя какъ на документъ, спросилъ ли себя кто-либо изъ охранителей-публицистовъ: что же такое онъ самъ? Что онъ причисляетъ себя къ сонмищу интеллигентовъ—въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія; что онъ понимаетъ слово „интеллигентъ" не въ смыслѣ умѣнія играть въ винтъ—это тоже не требуетъ доказательствъ. Ибо какимъ бы прахомъ ни было наполнено его существо, какъ бы мало интеллигентно ни велъ онъ свое дѣло, все-таки это дѣло—и по формѣ, и по существу—свойственное только интеллигенціи. А слѣдовательно...

Вотъ до этого-то „слѣдовательно" никогда и не договариваются люди, которые называютъ себя охранителями, а въ сущности охраняютъ только прахъ. Многіе думаютъ, что они *не хотятъ* договориться, но я рѣшительно склоняюсь въ пользу выраженія: *не могутъ*. Въ минуты паники они теряютъ и память, и способность дѣлать обобщенія; а часто ли бываютъ такія минуты, когда бы они не находились подъ гнетомъ паники? Все пробуждаетъ въ нихъ панику, все приводитъ ихъ въ изступленіе. Не только политическая смута, но и спокойное отправленіе правосудія, и дѣйствія акцизныхъ чиновниковъ, и дѣло Зографа, и дѣло Мельницкаго, и элеваторы, и направленіе желѣзныхъ дорогъ, и транзитъ. Вездѣ они видятъ не сущность дѣла и даже не обстановку его, а какой-то блуждающій огонь, за которымъ скрывается измѣна. И ради этого огня забываютъ все. И себя, и предметъ, на защиту

котораго вышли, и примѣненія, и выводы, къ которымъ подаютъ поводъ ихъ вопли.

И все-таки повторяю: это фаталистическое свойство, въ силу котораго прахъ на каждомъ шагу изобличаетъ и побѣждаетъ самого себя, есть своего рода благо, которое необходимо принимать въ разсчетъ. Я знаю, что бойкія слова подкупаютъ, но знаю также, что, пущенныя на вѣтеръ, утопленныя въ массѣ противорѣчій, они могутъ имѣть успѣхъ лишь минутный. Нельзя вѣрить публицисту, который никогда ни къ какому логическому выводу не приходитъ, который слоняется изъ угла въ уголъ, сегодня говоритъ *за*, а завтра *противъ*, не сознавая даже, что и въ томъ и въ другомъ случаѣ дѣло идетъ о предметахъ вполнѣ однородныхъ, хотя бы и обозначенныхъ различными рубриками. И дѣйствительно, ему рѣдко кто довѣряетъ, хотя, къ сожалѣнію, еще слишкомъ часто говорятъ: „вотъ вѣдь какое перо!“

По моему мнѣнію, это результатъ далеко не безнадежный. Потому что еслибъ прахъ проводилъ себя вполнѣ логично, какъ въ былыя времена, напримѣръ въ Китаѣ, тогда нельзя было бы дышать. А теперь все-таки еще можно, хотя проворство, съ которымъ глаголемые охранители отыскиваютъ прахи и играютъ ими, во всякомъ случаѣ дѣлаетъ роль очевидца и современника этихъ игръ довольно тяжелою.

Но продолжимъ наши воспоминанія. Посылая прямыя и косвенныя укоризны въ догонку интеллигенціи, которая и безъ того въ авантажѣ никогда не обрѣталась, охранители указывали на „здравый смыслъ“ народа, и въ немъ одномъ находили надежное убѣжище противъ подвоховъ растлѣвающей цивилизаціи. Въ народѣ, говорили они, сохранились во всей неприкосновенности исконныя русскія начала, которыя и помогутъ побѣдить умственную и нравственную смуту, угрожающую намъ окончательнымъ разложеніемъ. И такова, дескать, живоносная сила этихъ началъ, что, разъ довѣрившись имъ, уже не представится надобности ни въ сложныхъ мѣропріятіяхъ, ни въ обременительныхъ затратахъ, которыя такія мѣропріятія неизбѣжно за собою ведутъ. Здравый смыслъ народа восторжествуетъ безъ всякой посторонней помощи. Все устроится само собой, мирно, но грозно, безъ притязаній на блескъ, но достаточно внушительно.

Казалось бы, чего лучше? Власть, довѣряющая здравому смыслу народа, и народъ, естественно, безъ предвзятой мысли, идущій на встрѣчу этому довѣрію! Отъ осуществленія такой перспективы, полагать нужно, и либералы не прочь. Никто не видитъ идеала въ антагонизмѣ для антагонизма; никто... кромѣ, быть можетъ, охранителей, которые никогда не смотрѣли на народъ иначе, какъ на помѣху въ дѣлѣ благоустройства и благочинія. Но на этотъ разъ даже они говорятъ намъ: „да, въ довѣріи къ народнымъ массамъ—единственное наше спасеніе!“ Стало быть, и дѣйствительно уже не откуда больше ждать помощи.

Но кто допускаетъ извѣстную цѣль, тотъ, конечно, долженъ допустить и соотвѣтствующія этой цѣли средства. Кто возлагаетъ на народъ всѣ упованія, тотъ, хотя бы и притворно, обязывается рисовать его образъ чертами не только вполнѣ сочувственными, но даже съ примѣсью нѣкоторой идилліи. Народъ, молъ—это не какіе-нибудь рядскіе сорванцы, которые способны лишь

на то, чтобы по сигналу: взы-взы! — набрасываться на всякаго встрѣчнаго потому только, что онъ одѣтъ въ кургузку. Нѣтъ, это собраніе благомысленныхъ мужичковъ (что ни мужичокъ, то хоть сейчасъ въ бурмистры... еслибъ крѣпостное право опять народилось!), которые за десятымъ самоваромъ истово калякаютъ о мірской кресьянской правдѣ да о поровёнкѣ, а о томъ, какимъ образомъ съ мошной поступить—помалчиваютъ. Вотъ это какой народъ!

Нужды-молъ нѣтъ, что „благомысленные", между прочимъ, и о поровёнкѣ разговариваютъ — вѣдь это только издали страшно. Сегодня у нихъ поровёнка въ ходу, а завтра, „глядя по времю", и другіе разговоры найдутся. „На то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ!" — чѣмъ это не разговоръ? Или: „не плачь, казявка! только сокъ выжму!" — хоть какому благомысленному не стыдно! Сначала поровёнку въ ходъ пустимъ, потомъ „сокъ выжмемъ", а потомъ и опять, пожалуй, за поровёнку примемся! А самовары между тѣмъ со стола не сходятъ. Пьютъ себѣ, благомысленные, чашку за чашкой, въ усъ не дуютъ, да мошну поглаживаютъ! Мы, молъ, не горланы, не рядскіе сорванцы, не кулаки, не міроѣды, не захребетники — мы „благомысленные"! А ежели-молъ карась къ щукѣ въ хайло попалъ, такъ онъ самъ же и виноватъ: не зѣвай!

О, достолюбезныя дѣти природы! Какъ не довѣриться вамъ, коль скоро вы не только здравый смыслъ и русскія начала въ неприкосновенности сохранили, но при семь и мошну изъ вида не упустили!

Вотъ въ какомъ видѣ слѣдовало бы консерваторамъ-публицистамъ живописать русскій народъ, еслибы они могли вести свое дѣло послѣдовательно. Положимъ, что это вышелъ бы не заправскій народъ, а харчевня, наполненная идиллическими міроѣдами; но вѣдь русская публика на этотъ счетъ невзыскательна: идиллія, въ соединеніи съ поровёнкой да съ мошною, и до сихъ поръ на нее безъ промаху дѣйствуетъ.

Да; это было бы съ ихъ стороны „очень ловкимъ шагомъ" (спеціальное выраженіе охранителей-публицистовъ, когда они хотятъ охарактеризовать какой-нибудь подвохъ), и сразу отбило бы у либераловъ хлѣбъ, на который они разсчитываютъ. Ротозѣи! они воображаютъ, что они одни секретомъ „разсказовъ изъ народнаго быта" обладаютъ... милости просимъ! Да мы, охранители, такую по этой части ахинею за пазухой держимъ, что въ носъ бросится... да! Мужички! милые! что вы тамъ заробѣли-спрятались! Вылѣзайте, не бойтесь! Покажите, какія-такія въ васъ русскія начала сидятъ? какой-такой здравый смыслъ? Ахъ, хорошъ здравый смыслъ!

Истинно говорю, что либералы не только остались бы ни-при-чемъ, но, можетъ быть, и въ поминѣ объ нихъ ужъ давнымъ-давно не было бы!

Но охранители наши не могутъ быть послѣдовательны. Малодушные, всецѣло угнетенные темпераментомъ, то необузданно-ликующіе, то сѣющіе безсознательный страхъ, они бросаютъ на вѣтеръ слово и сейчасъ же забываютъ объ немъ. Забываютъ, потому что въ данную минуту не видятъ въ немъ надобности; но ежели встрѣтятъ таковую, то и опять вспомнятъ. Увы! не понимаютъ они, что подогрѣтому слову цѣна уже грошъ...

Въ самомъ дѣлѣ тотъ же самый темпераментъ, который только-что продиктовалъ имъ теорію обращенія къ здравому смыслу народа, тутъ же,

краду, подсказываетъ и картины самаго несомнѣннаго отсутствія этого смысла. Тотъ народъ, который, за нѣсколько столбцовъ передъ тѣмъ, являлся вмѣстилищемъ исконныхъ русскихъ началъ, представляется теперь лишеннымъ всякаго нравственнаго инстинкта, почти безумнымъ. Прислушаемтесь, напримѣръ, хоть къ такого рода фактамъ *).

„Лѣса рубятся безнаказанно, на лугахъ — перекосы и потравы; съ полей воруютъ снопы съ каждымъ годомъ все сильнѣе и сильнѣе; поджигаютъ другъ друга; доходитъ дѣло до того, что начинаютъ отравлять скотину другъ у друга“...

Такъ повѣствуетъ охранитель-корреспондентъ изъ нижегородской деревни. Кто же все это дѣлаетъ? не интеллигенты ли? Нѣтъ, это дѣлаетъ тотъ самый народъ, о здравомъ смыслѣ котораго, чуть ли не въ томъ же нумерѣ, охранитель-публицистъ начерталъ пространную и убѣдительную передовицу. Таковы понятія *этого* народа о собственности; а вотъ его понятія о справедливости:

„Ничего не подѣлаешь; некуда обратиться за помощью. Въ крестьянское общество? но въ немъ чинитъ судъ и расправу пропившаяся голь деревенская, которая и производитъ всѣ эти безобразія; степенный мужикъ давно уже потерялъ вѣсъ... хлопочетъ только о томъ, чтобъ его оставили въ сторонѣ... Въ волостной судъ? но и тамъ сопьютъ съ виноватаго и пустятъ на всѣ четыре стороны... Къ мировому? но выйдетъ еще хуже, оштрафуютъ на полтину, а конфузу тебѣ на рубль... Слѣдователь отвѣтитъ на твою жалобу, что ясныхъ уликъ нѣтъ... И деревенская вольница прекрасно понимаетъ силу своей безнаказанности и неуязвимости... Она такъ набаловалась тѣмъ, что все сходитъ ей съ рукъ, что, не стѣсняясь, говоритъ старшинѣ на сходѣ: развѣ ты не понимаешь, что нонѣ вся сила въ насъ! дѣлай намъ въ угоду: насъ, братъ, много! Вдумайтесь въ эти слова: вольница, объединяемая, поддерживаемая и просвѣщаемая кабакомъ, поняла, что съ нею заигрываютъ, за нею ухаживаютъ, и подняла голову“.

Таковы понятія „народа“ о справедливости. Вотъ такъ подоплёка! Но отношенія его къ собственному самоуправленію едва-ли еще не любопытнѣе.

„Вотъ, напримѣръ, деревня выбираетъ старосту. Выборъ падаетъ на мужичонка-воришку, который, къ тому же, и деревенскій живодеръ, и пастухъ крестьянскаго стада, словомъ, послѣдній человѣкъ... Черезъ полгода — начетъ въ 60 рублей, удаленіе отъ должности и новый выборъ, на этотъ разъ горькаго пьяницы. Чѣмъ же объясняются эти изумительные выборы? а вотъ чѣмъ. „Нонѣ страху стало мало. Въ начальство идти путному человѣку — только казниться; ты съ него подать собирать, а онъ посмѣивается: ничего, говоритъ, за міръ посидишь. Правовъ не стало“.

Такъ самоуправляются эти представители здраваго смысла. И замѣтьте объясненіе: „страху нѣтъ“! Страхъ — это альфа и омега нашихъ охранителей-публицистовъ. Будь страхъ — и все пойдетъ хорошо. Но вотъ, въ заклю-

*) Факты эти, или, лучше сказать, разсказъ объ нихъ не вымышленъ мною, а заимствованъ въ подлинныхъ выраженіяхъ изъ одной охранительной газеты, которую впрочемъ я не вижу надобности называть.

ченіе, и самый здравый смыслъ на-лицо. Слушайте. „Лѣтомъ, среди горячей дѣловой поры, міръ постановляетъ: праздновать три-четыре дня подъ-рядъ. Въ первый день сходятъ въ церковь, а потомъ начинаютъ гулять. Вѣтеръ выхлестываетъ спѣлую рожь, и заботливый хозяинъ съ грустью смотритъ на свою трудовую ниву, но взять серпъ въ руки не смѣетъ: за нимъ зорко слѣдятъ десятки глазъ и только ждутъ, чтобы содрать четверть водки за нарушеніе мірского приговора. Вотъ другое дѣло „помочь" — тамъ за вино работать можно. Кулакъ, разумѣется, и пользуется этимъ; весело потираетъ руки и другъ его, кабатчикъ"...

И такъ, вотъ каковъ этотъ народъ, который, въ случаѣ нужды, прославляютъ какъ носителя русскаго смысла и исконныхъ русскихъ началъ, и который, по минованіи надобности, топчутъ въ грязь! Съ одной стороны — единственное убѣжище, оплотъ, купель силоамская; съ другой — обезумѣвшая отъ водки толпа, сборище воровъ, поджигателей, отравителей, не могущихъ управлять своими дѣйствіями, не имѣющихъ ни малѣйшаго понятія о правдѣ, не понимающихъ даже той простой истины, что безъ пищи нельзя существовать. И все это рядомъ, черезъ нѣсколько столбцовъ, въ одной и той же охранительной газетѣ. Правда, въ послѣднемъ случаѣ народъ не называется народомъ, а говорится о какой-то вольницѣ; но вѣдь это только шутливая кличка, которая позволяетъ подойти къ предмету вольнымъ аллюромъ. Въ сущности, эта вольница и есть именно „народъ"; это та самая масса, которая знаетъ, что „нонѣ вся сила въ насъ", за которою ухаживаютъ, съ которою заигрываютъ...

Кто ухаживаетъ? кто заигрываетъ? — положительно не кто иной, какъ тѣ самые, которые и вкривь, и вкось именуютъ себя охранителями. Ибо невозможно себѣ представить, чтобы, надѣляя народъ „здравымъ смысломъ", они разумѣли только „степенныхъ" да „путныхъ". Во-первыхъ, потому, что если даже прибавить къ этимъ „путнымъ" кулаковъ и кабатчиковъ, то и тогда ихъ будетъ черезчуръ мало, чтобы фигурировать въ качествѣ народа; а во-вторыхъ, и потому, что эти „степенные", по наивному сознанію самихъ охранителей, хлопочутъ только о томъ, чтобъ ихъ оставили въ покоѣ. Какая же корысть обращаться къ здравому смыслу такихъ людей? Вѣдь онъ давно уже превратился у нихъ въ трусливое вожделѣніе покоя, которое впрочемъ нимало не препятствуетъ имъ разыгрывать въ своемъ мѣстѣ роль благомысленныхъ сельчанъ.

Нѣтъ, какъ хотите, а все это именно бредъ, ничего кромѣ бреда. И здравый смыслъ, и анти-здравый смыслъ, и „народъ", и вольница — все это сказалось внезапно, невзначай, въ угоду темпераменту, безъ разумѣнія. Богъ справедливъ: онъ поражаетъ наглыхъ людей глухотою, слѣпотою, безуміемъ. Еслибъ не это, они несомнѣнно не только ближнихъ своихъ, но и самого Господа Бога давно бы слопали.

Повторяю и повторяю: хотя противорѣчія, въ которыхъ путается блудливая мысль псевдо-охранительной прессы, въ высшей степени постыдны, но въ данномъ случаѣ они весьма знаменательны, ибо поселяютъ увѣренность, что существуютъ извѣстные предѣлы, за которыми и бойкія слова оказываются просто-на-просто глупостью.

Въ послѣднее время особеннымъ вниманіемъ охранительно-публицистическаго лагеря пользовался вопросъ о расхищеніи власти. До свѣдѣнія публики доводилось, что рядомъ съ законнымъ самодержавіемъ возникло нѣсколько самочинныхъ самодержавій, которыя открыто отрицаютъ авторитетъ власти нахально провозглашаютъ себя независимыми отъ нея и противодѣйствіе ея распоряженіямъ вмѣняютъ себѣ въ обязанность и въ заслугу. Стоитъ заправскому властителю думъ засадить Ивана Непомнящаго въ кутузку, какъ самочинный властитель думъ въ ту же минуту выростаетъ изъ-подъ земли и освобождаетъ Ивана изъ кутузки; и наоборотъ—не успѣетъ заправскій властелинъ поощрить Ивана Благонамѣреннаго, какъ самозванецъ уже тащитъ его на скамью подсудимыхъ. И все—нарочно.

Что всякій, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ обычнымъ церемоніаломъ русской жизни (въ особенности провинціальной), имѣетъ вполнѣ достаточныя свѣдѣнія о явленіи, именуемомъ расхищеніемъ власти—это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Лѣтописи наши изобилуютъ и преизобилуютъ подобными фактами. Кто не помнитъ цѣлой организованной шайки, благодаря которой произошло уфимско-оренбургское земельное расхищеніе? Кому не извѣстны лукавые рабы, которые подъ прикрытіемъ обаянія власти, обдѣлываютъ свои личныя дѣлишки? Кто, наконецъ, еще въ дѣтствѣ не слыхалъ о цѣлой массѣ мелкихъ самоуправцевъ, по милости которыхъ существованіе въ провинціи становится годъ отъ году болѣе и болѣе загадочнымъ? Всѣ эти люди, безъ всякаго сомнѣнія, имѣютъ полное право на кличку расхитителей власти. Они посѣваютъ вокругъ себя скудость матеріальную, умственную и нравственную; они вносятъ озлобленіе и смуту въ умы; они умерщвляютъ народную силу въ самомъ источникѣ и, совершая все это, въ качествѣ органовъ власти и ея именемъ, неизбѣжно подрываютъ довѣріе къ ней. Они хуже чѣмъ расхищаютъ власть —они безчестятъ ее. Указывать на подобныя расхищенія власти, предлагать способы къ ихъ устраненію — вотъ задача публицистики, сознающей себя дѣйствительно охранительною. Вотъ въ сторону какихъ расхитителей должны быть направлены ея самыя бойкія фразы, если ужъ безъ бойкости нельзя обойтись.

На дѣлѣ однакоже видится совершенно противное. О подлинныхъ расхитителяхъ охранительная публицистика въ большинствѣ случаевъ проходитъ молчаніемъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ — напримѣръ, самоуправцевъ — даже похваляетъ. Названіе же расхитителей власти присвоивается ею тѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, которыя, по самому свойству своихъ обязанностей, не могутъ имѣть никакой неприкосновенности ни къ расхищеніямъ при помощи воровства, ни къ расхищеніямъ при помощи самоуправства...

Въ особенности часто прилагается нынѣ это клеймо къ новымъ судебнымъ учрежденіямъ. И слѣпая ярость, и клевета, и раскатистый хохотъ — все по ихъ поводу считается пригоднымъ, дозволительнымъ и умѣстнымъ. Не странно ли видѣть, что въ сферѣ охранительной можетъ существовать пресса, которая слово: „легальность“, произноситъ не иначе, какъ съ прибавленіемъ поскуднаго „risum teneatis, amici“? А между тѣмъ это не фантазія, а дѣйствительность. Надрываютъ охранители животы со смѣху да и полно. Судей такъ-таки прямо въ лицо и называютъ „несмѣняемыми“ и

„независимыми“, а для присяжныхъ засѣдателей даже сугубо-уморительную кличку придумали: „непогрѣшимые“! И все вѣдь въ насмѣшку....

Я не къ тому заговорилъ о судахъ, чтобы произносить въ ихъ пользу защитительную рѣчь. Прежде всего я не сознаю себя достаточно компетентнымъ въ этомъ дѣлѣ, а затѣмъ лично нахожу, что какъ бы ни были хороши суды, все-таки лучше совсѣмъ не имѣть въ нихъ хожденія, нежели состоять съ ними въ непрестанномъ общеніи. Такъ что ежели бы ко мнѣ явился адвокатъ Балалайкинъ и сталъ убѣждать, что я безъ всякихъ правъ могу навѣрняка оттягать у сосѣда каменный домъ (какой-нибудь охранительный Іудушка навѣрняка сказалъ бы по этому случаю: Богъ послалъ!), то я и тогда навѣрное отказался бы отъ предъявленія иска. Ибо и за всѣмъ тѣмъ, наравнѣ со всѣми не одержимыми „колеромъ“ членами русской семьи, я убѣжденъ: во-первыхъ, что судебная реформа исходитъ отъ той самой власти, на защиту которой выходятъ самозванные охранители; во-вторыхъ, что „легальность“ не только не подрываетъ власти, но, напротивъ, укрѣпляетъ ее, и что, слѣдовательно, если оба эти выраженія употребляются рядомъ, то смѣшного въ этомъ ничего нѣтъ; и въ-третьихъ, что въ практикѣ новыхъ судебныхъ учрежденій, со времени ихъ преобразованія, рѣшительно ничего такого не произошло, что угрожало бы опасностью государству или вызывало бы хохотъ. Такъ что даже кличка „непогрѣшимости“, присвоенная суду присяжныхъ, есть, въ сущности, только паясничество, ибо нигдѣ и никогда судъ присяжныхъ не признавался символомъ непогрѣшимости, а считался только выразителемъ извѣстнаго уровня общественнаго и народнаго самосознанія.

Вотъ еслибъ охранительная публицистика хлопотала о поднятіи этого уровня — это было бы съ ея стороны заслугой. Но въ томъ-то и дѣло, что интересы ея заключаются совсѣмъ не въ этомъ (пожалуй, чѣмъ ниже уровень, тѣмъ даже лучше, покойнѣе, благочиннѣе), а въ томъ, чтобы учинить подтасовку, которая помогла бы подлинныхъ расхитителей власти подмѣнить расхитителями мнимыми.

Подтасовка эта совершенно въ нравахъ нашей охранительной публицистики, и могла бы представлять серьезную опасность, еслибъ послѣдняя не умѣрялась значительною примѣсью недомыслія и безтолковости. Благодаря этому обстоятельству, читатель наиболѣе наивный и терпѣливый начинаетъ уже видѣть въ подтасовкахъ только дурную привычку, и больше ничего.

Въ сущности, по поводу вопроса о расхищеніи власти происходитъ такое же столпотвореніе, какъ и по поводу обращенія къ исконнымъ русскимъ началамъ. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ извергаются только бойкія слова, нимало не вяжущіяся съ предметомъ, о которомъ заведена рѣчь. О выводахъ или о пожеланіяхъ нѣтъ и въ поминѣ. Людямъ болѣе или менѣе подозрительнымъ можетъ показаться, что вотъ-вотъ сорвется съ языка что-нибудь рѣшительное, въ родѣ „закрѣпощенія“ или возстановленія старой судебной волокиты — отнюдь не бывало! Даже этихъ немудрыхъ словъ нѣтъ. Вообще никакихъ словъ, кромѣ бойкихъ, да и бойкія-то слова вырываются какъ-то внезапно, исключительно подъ вліяніемъ всполошившагося темперамента. И въ результатѣ — ни шествія впередъ, ни возврата назадъ, ничего, кромѣ безсодержательной пропаганды паники.

Еслибъ охранительная публицистика была способна формулировать свои вожделѣнія, еслибъ она ясно и отчетливо произнесла тѣ слова, вокругъ которыхъ она нынѣ только безсмысленно мечется — она навѣрное выполнила бы свое назначеніе съ успѣхомъ. У нея нашлись бы адепты—не особенно много, но кучка порядочная (вѣдь и до сихъ поръ встрѣчаются старички, которые облизываются при воспоминаніи о старыхъ порядкахъ) — съ помощью которыхъ она, чего добраго, провела бы въ жизнь и закрѣпощеніе, и судебную волокиту. Словомъ сказать, она могла бы принести вредъ дѣйствительный, грандіозный, могла бы уязвить не того или другого изъ своихъ противниковъ, а всѣхъ, всѣхъ вообще... Всѣхъ, кто носитъ человѣческій образъ, или, по крайней мѣрѣ, мыслитъ и чувствуетъ, какъ человѣку мыслить и чувствовать надлежитъ.

Къ счастію, этого нѣтъ. Какъ ни безпредѣльно злопыхательство охранительной прессы, но безсиліе ея мысли таково, что послѣднее непремѣнно положитъ конецъ и бойкимъ словамъ, и распространенному ими ошеломленію. Не передъ разумомъ сложитъ оружіе злопыхательство, а передъ собственною безсмыслицей. Это настолько вѣрно, что тѣ изъ адептовъ, которые лучше другихъ понимаютъ, чье мясо кошка съѣла, начинаютъ уже недоумѣвать и сердиться.

— Топчется на одномъ мѣстѣ златоустъ-то нашъ—ни взадъ, ни впередъ! —жаловался мнѣ на дняхъ одинъ старичокъ, который съ 1862 года все ждетъ, что Богъ его проститъ:—мы-было надѣялись, что онъ „возвѣститъ“, а онъ только знай захлебывается.

Кстати о публицистикѣ. Въ одной изъ газетъ я вычиталъ, что въ одномъ изъ „Пошехонскихъ Разсказовъ“ изображена „довольно темная аллегорія, въ которой, между прочимъ, дѣйствуетъ „газетчикъ“, отыскивающій революціонеровъ для представленія по начальству“.

Это положительно невѣрно. Аллегорія разсказа, о которомъ идетъ рѣчь (если тутъ есть аллегорія) заключается въ томъ, что пошехонцы, застигнутые затрудненіями, не находятъ другого выхода, кромѣ личныхъ репрессалій, распри и взаимныхъ пререканій заднимъ числомъ. Вѣроятно они предполагаютъ, что если достаточно другъ друга перекалѣчать, то у нихъ, по щучьему велѣнью, явится и panis, и circenses. Однакоже ничего, кромѣ исконныхъ пустыхъ щей (panis) и синяковъ на тѣлѣ (circenses), не получаютъ; и не получаютъ по той простой причинѣ, что ни изъ разгромленія, ни изъ опустошенія, ни изъ калѣченія (сихъ излюбленныхъ пошехонскихъ панацей) никакого приварка не извлечешь, а извлечешь только безлюдье и всеобщую одичалость.

Эта особенность пошехонскихъ оздоровительныхъ пріемовъ и пошехонскаго міросозерцанія извѣстна не со вчерашняго дня: всѣ лѣтописные разсказы наполнены примѣрами усобицъ и пререканій. Искони пошехонцы любили заниматься разслѣдованіемъ корней и нитей, то-есть переборкой отдѣльныхъ персонъ, и искони же уклонялись отъ выясненія самимъ себѣ дѣйствительныхъ, а не персональныхъ причинъ постигшаго затрудненія. И потому-

то, быть можетъ, какъ они ни надсаживаются, подсиживая другъ друга, а пустыя щи и до сегодня не сходятъ у нихъ со стола.

Безспорно, что отыскать для жизни новыя, болѣе плодотворныя основанія гораздо труднѣе, нежели дать ближнему оплеуху; но вѣдь, съ другой стороны, оплеуха, съ какой стороны на нее ни взгляни, все-таки не больше, какъ оплеуха. А дальше что̀?

Говорятъ, будто пошехонцы недостаточно подготовлены для того, чтобы думать о новыхъ основаніяхъ для жизни, такъ надо же, дескать, въ ожиданіи лучшаго хоть что-нибудь предпринимать... Помилуйте! да вѣдь есть же, наконецъ, честность, есть здравый смыслъ! Допустимъ, что безъ серьезной подготовки на прочное строительство надѣяться нельзя, но, право, и одной честности достаточно, чтобы произвести что-нибудь болѣе прочное, нежели этотъ поскудный обмѣнъ оплеухъ, который и заушающихся, и заушаемыхъ одинаково доводитъ до полнаго нравственнаго растлѣнія.

Вотъ мысль, которая положена въ основаніе разсказа о фантастическомъ пошехонскомъ отрезвленіи. Ежели это аллегорія, то необходимо допустить, что и вся вообще пошехонская жизнь есть не что иное, какъ аллегорія.

Что же касается до „газетчика", то онъ привлеченъ къ разсказу вовсе не въ качествѣ „отыскивателя революціонеровъ для представленія по начальству", а въ качествѣ подстрекателя въ томъ безплодно-самоѣдскомъ направленіи, благодаря которому пошехонцы мечутся, изнуряются и все-таки живутъ впроголодь. Хотя типъ такого газетчика и не встрѣчается въ пошехонскихъ лѣтописяхъ, однакожъ и онъ не представляетъ животрепещущей новости. Развелось этихъ газетчиковъ очень достаточно, и муть отъ нихъ большая идетъ.

Право, небезполезно напоминать литературѣ (особливо въ виду неравномѣрной растяжимости правила: „audiatur et altera pars"), что сдержанность для нея обязательна, что существуютъ задачи болѣе ей приличествующія, нежели злая и притомъ явно-безплодная травля однихъ посредствомъ другихъ. Кругомъ то-и-дѣло раздаются вопли: „довольно фразъ! за дѣло пора, за дѣло!"—а вслушайтесь-ка попристальнѣе въ смыслъ этихъ воплей, и вы убѣдитесь, что, въ сущности, кромѣ травли, никакого дѣла и не предвидится. Стало быть, что-нибудь одно предстоитъ: или дознаться, въ чемъ же именно состоитъ это пресловутое безпрерывно возвѣщаемое „дѣло", или же положить предѣлъ лицемѣрному галдѣнью.

Я знаю впрочемъ, что ни „разсказами", ни вообще литературнымъ воздѣйствіемъ ни того, ни другого добиться нельзя. Газетчики того типа, о которомъ идетъ рѣчь, никогда ничего не скажутъ о сущности „дѣла", потому что они сами этой сущности не знаютъ, и никогда не перестанутъ галдѣть, потому что галдѣніе составляетъ ихъ ремесло. Но вѣдь рѣчь писателя имѣетъ значеніе скорѣе воспитательное, нежели непосредственно-практическое. Онъ обращается къ обществу не за тѣмъ, чтобы пристигнуть такое-то лицо или такое-то дѣйствіе, а съ цѣлью воздѣйствовать на общественную совѣсть, на общественное самосознаніе.

Чтеніе газетъ наводитъ иногда на мысли совершенно неожиданныя, но въ то же время и не безполезныя. Въ жизни встрѣчается великое множество явленій, которыя пропускаются безъ вниманія единственно потому, что ужъ очень всѣмъ примелькались. И вдругъ о чемъ-нибудь въ этомъ родѣ начинаетъ разговаривать газета. Разговариваетъ строго, съ паѳосомъ, съ примѣсью такъ-называемой аттической соли (нынѣ, благодаря безакцизности, она дешева) и даже какъ бы съ затаеннымъ опасеніемъ. Съ перваго взгляда никакъ не поймешь, что̀ именно случилось, и, только пристально вдумавшись, догадаешься: ба! да вѣдь это оно самое и есть!

Возьмемъ для примѣра хоть такой фактъ: какимъ образомъ зачинались наши Пошехонья? какъ и по какой причинѣ возникли въ нихъ каланчи? — Много ли найдется любознательныхъ людей, которыхъ интересовали бы подобные вопросы? Я по крайней мѣрѣ никогда, до послѣдняго времени, не думалъ объ нихъ. Проѣзжая мимо того или другого Пошехонья, я освѣдомлялся у ямщика, какъ оно называется, и, получивъ удовлетворительный отвѣтъ, мѣнялъ на станціи лошадей и слѣдовалъ дальше, по направленію къ слѣдующему Пошехонью. Проѣзжая мимо каланчи, я машинально восклицалъ: вотъ она, каланча-матушка!—и не давалъ этому восклицанію ни особливаго значенія, ни дальнѣйшаго развитія. И такимъ образомъ, чего мудренаго, я и въ могилу сошелъ бы, не давши себѣ отчета въ собственныхъ впечатлѣніяхъ и восклицаніяхъ...

По необъяснимой случайности, вопросъ о происхожденіи русскихъ Пошехоній и о постройкѣ въ нихъ каланчей съ особенною настоятельностью предсталъ передо мной послѣ прочтенія газетныхъ статей о дѣлѣ волчанскаго исправника Зографа. Читалъ-читалъ—и вдругъ мысль: да кто же кому предшествовалъ, Зографъ ли Волчанску, или Волчанскъ Зографу? Вопросъ былъ поставленъ мною неправильно и даже неподлежательно (слѣдовало бы спросить такъ: Волчанскъ ли для Зографа существуетъ, или Зографъ для Волчанска? — тогда навѣрное было бы ясно: „Конечно, съ одной стороны Волчанскъ... но съ другой стороны несомнѣнно, что и Зографъ...), и потому весьма естественно, что въ бодрственномъ состояніи я отвѣта на него дать не могъ. Тогда, по-неволѣ, пришлось прибѣгнуть къ сновидѣнію, и вдобавокъ аллегорическому.

Прилегъ, и такъ какъ дѣло было къ спѣху, то сейчасъ же увидѣлъ сонъ. И вотъ какую аллегорію развернуло предо мной сновидѣніе.

Вначалѣ, будто бы, появился исправникъ (точнѣе было бы, по старинному, сказать: городничій, но во снѣ за историческою точностью не угоняешься), и, памятуя, что ему предстоитъ, съ одной стороны, пожары тушить, а съ другой—бунты, съ помощью пожарной трубы, усмирять, выбралъ мѣстечко на берегу рѣки. Который исправникъ въ рубашкѣ родился — выбралъ рѣку многоводную, съ стерляжьей ухой, съ нагруженными хлѣбомъ расшивами, съ раскольниками; который безъ рубашки, въ одномъ вицъ-мундирѣ родился—удовольствовался рѣчкой Гнилушкой, въ надеждѣ, что малая рѣка, при усердіи, большой процентъ дастъ. Не успѣлъ онъ умомъ-разумомъ раскинуть — смотритъ, анъ у него ужъ, по щучьему велѣнью, помощникъ родился. А немного погодя — частный приставъ, а еще немного спустя — пара

квартальныхъ. Сотворили совѣтъ, и на вопросъ: какъ въ семъ случаѣ поступить? — въ одинъ голосъ отвѣтили: выстроить каланчу! И только-что они это слово вымолвили — глядь, анъ каланча ужъ готова! Стоитъ, сердечная, и сама собой пожарные сигналы выкидываетъ. Обрадовался исправникъ, взбѣжалъ на вышку и, вспомнивъ Пушкина, произнесъ:

Отсель грозить мы будемъ Шведу...

И погрозилъ...

И чтожъ, какъ только онъ погрозилъ, такъ со всѣхъ сторонъ налетѣли полицейскіе и пожарные нижніе чины и зачали кругомъ каланчи городъ завивать. А исправникъ засѣлъ въ каланчѣ, сидитъ да, подобно древнему Девкаліону, изъ окошка камешками пошвыриваетъ. Побольше камень броситъ— вскочитъ купчина и начнетъ торговать; поменьше — вскочитъ мѣщанинъ и начнетъ воровать. Наконецъ цѣлую глыбу выкатилъ — народился „вѣнецъ созданій божіихъ", откупщикъ. И тутъ же поздравилъ исправника съ окладомъ: тысяча рублей въ годъ—само собой, а четыре ведра водки въ мѣсяцъ —само собой.

Словомъ сказать, не прошло безъ году недѣли, а городъ ужъ во всѣхъ статьяхъ такъ и играетъ на солнышкѣ. И казначейство, и суды, и всякія управленія, и кабаки, и гостиный дворъ, и кутузка — чего хочешь, того просишь. И вдругъ исправникъ спохватился.

— А у кого же мы по праздникамъ пироги будемъ ѣсть?—обратился онъ къ сослуживцамъ.

— То-то что градского голову приходится сдѣлать...

Сказано—сдѣлано. Взялъ исправникъ глины комъ, замѣсилъ съ соломенной рѣзкой, дунулъ, плюнулъ — вышелъ голова! „Что, братъ, не чаялъ? — ласково молвилъ ему исправникъ: — то-то! смотри у меня! Я тебя изъ праха воззвалъ, я же тебя и обратно въ оный погружу!"

Сдѣлавши все какъ слѣдуетъ, пошелъ исправникъ съ помощникомъ своимъ по городу гулять. Гуляетъ и не нарадуется. Взойдетъ въ бакалейную лавку, зачерпнетъ въ пригоршню изюму и ѣстъ; взойдетъ въ суконную лавку — себѣ на мундиръ сукна отрѣжетъ, а женѣ на пальто драпу; зайдетъ къ откупщику—спроситъ: „скоро ли же на балъ звать будете? надо, сударь, общество веселить!"

Долго ли, коротко ли такъ дѣло шло, только началъ исправникъ мечтать.

— А знаете ли, Иванъ Иванычъ,—сказалъ онъ однажды помощнику: —какую я штуку придумалъ?

— Не могу знать, вашескородіе!

— Угадайте!

— И угадать не могу, вашескородіе!

— И не угадаете. А я между тѣмъ самую простую штуку придумалъ. Доселѣ я *ихъ*—создавалъ, а отнынѣ начну *ихъ*... уничтожать!

Помощникъ весь превратился въ слухъ. Стоитъ и не шелохнется. Зналъ онъ, что у исправника ума палата, но такой премудрости, признаться сказать, даже отъ него не чаялъ.

— На какой же собственно... предметъ?—очнулся онъ наконецъ.

— Какъ на какой предметъ!—разсердился исправникъ:—на службѣ вы, милостивый государь, состоите, а самыхъ элементарныхъ вещей не понимаете! sic volo, sic jubeo—вотъ на какой предметъ! Исправникъ я или нѣтъ?

И затѣмъ, призвавъ градского голову, сказалъ ему такія слова:

— Я сей градъ, ради нѣкакой надобности, воздвигнулъ; я же его, ради той же надобности, и разрушить хочу.

Но голова хотя и одолженъ былъ исправнику жизнью, однакожъ на сей разъ не понялъ.

— На какой же собственно... предметъ?—осмѣлился онъ заикнуться.

— Не для того я тебя призвалъ, чтобы твои смѣха достойныя слова слушать!—разсердился на него исправникъ:—ступай и выполни! Съ завтрашняго же дня обязываются обыватели сами себя постепенно расточать, и когда всѣхъ расточатъ до единаго, тогда я и о тебѣ промыслю.

Дѣйствительно, на другой же день городъ оживился, точно во время дворянскихъ выборовъ. Насилу успѣвалъ секретарь думскій приговоры о расточеніи сочинять, насилу успѣвали полицейскіе тѣ приговоры по домамъ да по кабакамъ, для подписи, разносить! Обыватели подписывали ходко, не отнѣкивались:

— Мы люди привышные!—говорили они:—насъ хоть со щами хлебай, хоть съ кашей ѣшь!

Даже откупщикъ на первыхъ порахъ обрадовался, потому что расточаемыхъ провожали родные и каждые проводы сопровождались немалою выпивкой. „Пущай расточаютъ другъ дружку!—говорилъ себѣ откупщикъ:—исправникъ изъ щебёнки опять мнѣ цѣлую уйму пьяницъ надѣлаетъ!“ Но когда городъ замѣтно опустѣлъ, и когда притомъ оказалось, что Девкаліоновъ секретъ исправникомъ былъ уже при закладкѣ города безъ остатка истраченъ, тогда и откупщикъ встрепенулся: ежели всѣхъ пьяницъ расточить —кто же въ кабакахъ водку пить будетъ? И шепнулъ онъ стряпчему: caveant consules! какъ бы-де для казны ущербу отъ исправницкой затѣи не произошло? А у стряпчаго два ока были, изъ коихъ одно—недреманное. До сихъ поръ онъ въ недреманномъ окѣ надобности не видѣлъ, а теперь вдругъ вздумалъ: дай-ка, посмотрю! И посмотрѣлъ.

И вотъ, когда ужъ обывателей осталась самая малая горсточка, и городской голова съ грустью подумывалъ о томъ, что въ недолгомъ времени ему придется расточить самого себя, вдругъ, по доносу стряпчаго, раздался трубный звукъ:

— Подъ судъ исправника!

И прослѣдовалъ исправникъ изъ города, имъ созданнаго и имъ же расточеннаго, прямо подъ судъ; прослѣдовалъ тихо, смирно, благородно. И кто ни встрѣчалъ его на пути къ суду—всякій говорилъ:

— Неужто сей человѣкъ прегрѣшилъ?

И начали его судить...

. . . .

Но тутъ я, конечно, проснулся и дальнѣйшаго развитія этой исторіи не знаю. Равнымъ образомъ не знаю и того, что сталось съ расточеннымъ городомъ. Явился ли туда новый Девкаліонъ и населилъ его новыми пьяницами, или такъ до-днесь и остается онъ въ родѣ древней Ниневіи. Тамъ и сямъ встрѣчаются изящные портики, великолѣпныя колоннады, памятники и проч., а между тѣмъ базарная площадь, какъ была въ послѣдній базарный день, такъ и посейчасъ невыметенная стоитъ.

Мартъ мѣсяцъ ознаменовался тѣмъ, что адвокатское сословіе получило неожиданный репримандъ. Печальную эту обязанность принялъ на себя извѣстный юристъ и въ то же время членъ прокурорской семьи, Н. А. Неклюдовъ. Частые оправдательные вердикты, благодаря которымъ преступленія, несомнѣнно содѣянныя, остаются ненаказанными, обратили на себя его просвѣщенное вниманіе. Но въ особенности повидимому появліяли на его рѣшимость вопли охранительной печати, направленные противъ судебной реформы. По разсмотрѣніи, оказалось, что во всемъ виноваты адвокаты. Они вводятъ въ заблужденіе присяжныхъ засѣдателей; они сознательно извращаютъ факты; они - *распинаютъ* законъ...

Г. прокуроръ говорилъ горячо и убѣжденно, и притомъ при открытыхъ дверяхъ, въ присутствіи уголовнаго кассаціоннаго департамента правительствующаго сената. Жаль, что онъ не упомянулъ при этомъ, не распинали ли, при случаѣ, закона и прокуроры. Вѣдь и на нихъ въ этомъ смыслѣ киваетъ наша охранительная печать.

Вопросъ о лганьѣ на судѣ очень существенный. Но что касается до меня, то я далеко не убѣжденъ, можно ли разрѣшить его „съ пылу, съ жару, по пятаку за пару“. Страшно подумать, что исходъ дѣлъ, съ которыми неразрывно связываются честь и доброе имя обвиняемыхъ, зависитъ отъ того, кто кого перелжетъ, но въ данномъ случаѣ и самыя крупныя слова едва ли могутъ что-нибудь разъяснить. Гораздо было бы полезнѣе отнестись къ дѣлу вполнѣ серьезно и обстоятельно. Но тутъ опять бѣда: нѣтъ въ насъ живого мѣста, къ которому мы могли бы прикоснуться безъ ощущенія боли. Непремѣнно какой-нибудь „неокрѣпшій, молодой институтъ“ задѣнешь. И пойдутъ потомъ аханья: „ахъ, что вы!“ да „неужели же вы не понимаете?“ Вотъ почему такъ много встрѣчается людей, которые на все махнули рукой и говорятъ: „а коли такъ, то процвѣтайте, какъ знаете, сами собой... институты!“

Адвокаты возражали г. Неклюдову печатно. Возраженіе вышло небезосновательное, хотя черезчуръ растянутое. Любопытно однакожъ, могли ли бы адвокаты сдѣлать возраженіе на судѣ столь же горячо и откровенно, какъ это сдѣлалъ г. Неклюдовъ?

Глава X *).

Пасхальные праздники на время заслонили внутреннюю политику. Но такъ какъ общій складъ жизни за послѣдніе годы пріобрѣлъ характеръ серьезный, то и праздники вышли серьезные. Пили и ѣли, быть можетъ, даже болѣе, нежели когда-либо, но не ради угожденія мамонѣ (объ этомъ нынѣ и не помышляетъ никто!), а ради оживленія промышленности и поддержки курсовъ. Многіе безшабашные совѣтники насильно заставляли себя съѣдать по нѣскольку десятковъ крутыхъ яицъ въ день, лишь бы пустить въ народное обращеніе нѣсколько лишнихъ рублей. У всѣхъ на умѣ были: отечество, деревня и мужичокъ. „Деревню поддержать надо! мужичка!" раздавалось вездѣ, гдѣ зрѣетъ солидная мысль и ведутся солидные разговоры о переходѣ отъ фразы къ дѣлу. Даже неисправимые пьяницы—и тѣ нынѣ какъ-бы сознаютъ, что на нихъ лежитъ какая-то серьезная обязанность, и потому пьютъ не для того, чтобы весело было, а чтобы поскорѣе остолбенѣть и тѣмъ принести пользу винокуренію. Я нѣсколько лѣтъ сряду живу противъ портерной, и слѣдовательно имѣю полную возможность наблюдать за проявленіями алкоголизма. Прежде, бывало, выйдетъ пьяница изъ портерной и сейчасъ же начнетъ пѣсни пѣть, къ прохожимъ приставать, писать мыслете; нынче, смотрю, въ самый первый день праздника, вышелъ пьяница изъ дверей—и сейчасъ же легъ на тротуаръ. Съ четверть часа онъ лежалъ на плитахъ какъ на пуховикѣ, не возбуждая ни въ комъ удивленія, пока не появилась въ воротахъ дома дворникова кума и не всплеснула руками. Тогда пришелъ дворникъ, поднялъ пьяницу и, прислонивъ его къ стѣнѣ—точно это былъ не человѣкъ, а деревянный шестъ — не торопясь отправился за городовымъ. А городовой въ это время съ подчаскомъ христосовался, и когда кончилъ, то оказалось, что пьяница ему не подсуденъ, а подсуденъ вонъ тому кавалеру... вонъ, который подъ козырёкъ дѣлаетъ... Покуда городовые разрѣшали вопросъ о подсудности, откуда-то прибѣжалъ прокурорскій надзоръ, а слѣдомъ за нимъ — адвокатъ, и еще больше дѣло запутали. А пьяница все стоялъ у стѣны, стоялъ солидно и трезвенно, не сгибая колѣнъ и какъ-бы сознавая, что ежели начальство прислонило его къ стѣнѣ, то онъ всѣмъ трезвымъ долженъ подавать примѣръ.

Но ежели пьяницы вели себя съ такимъ достоинствомъ, то безшабашные совѣтники тѣмъ больше должны были сознавать себя обязанными служить образцомъ для своихъ гражданъ. Я знаю цѣлыхъ троихъ, которые заранѣе согласились пріятно провести праздники, и дѣйствительно провели ихъ такъ благородно, какъ дай Богъ всякому. Первые два дня, разумѣется, посвятили поздравленіямъ, а остальные—тихимъ удовольствіямъ. Вставши утромъ, бесѣдовали за кофеемъ, каждый со своею кухаркой, объясняя имъ, въ чемъ заключается различіе пасхальныхъ яицъ отъ обыкновенныхъ, а также почему въ теченіе пасхальной недѣли ѣдятъ куличи и пасхи, — а кому дозволятъ

*) Эта глава осталась недоконченною.

средства, то и ветчину,—а съ Ѳоминой недѣли начинается ѣда обыкновенная. Наговорившись до-сыта, навѣшивали на шеи новые орденскіе знаки и отправлялись на Николаевскій мостъ смотрѣть, какъ ломаетъ на Невѣ ледъ. Тамъ всѣ трое сходились и, объяснивъ другъ другу, что теперь идетъ ледъ невскій, а недѣли черезъ двѣ пойдетъ ладожскій, шли въ балаганы, гдѣ смотрѣли пьесу: „Ермакъ Тимоѳеевичъ или покореніе Сибири", и ощущали подъемъ чувствъ. Выйдя изъ балагана на площадь, обсуждали видѣнное и слышанное примѣнительно къ современнымъ обстоятельствамъ.

— Какъ вы думаете, вашество, еслибъ Ермакъ Тимоѳеевичъ да въ теперешнее время эту самую Сибирь покорилъ? сдобровать бы ему?—спрашивалъ безшабашный совѣтникъ, отличавшійся бо̀льшею противъ другихъ пытливостью ума.

— Что̀ ужъ ее покорять! и безъ того чуть жива! — уклончиво отвѣтствовалъ другой безшабашный совѣтникъ.

— Однако! еслибы?!

— Полагаю, что предварилки бы не миновать,—отзывался третій.—А можетъ быть, впрочемъ, подъ манифестъ бы подвели!

— То-то вотъ и оно. Съ одной стороны, конечно... отъ Петербурга до Верхнекамчатска въ два мѣсяца на курьерскихъ не доѣдешь — лестно этакой перлъ заполучить!.. Но съ другой стороны—строптивость... А впрочемъ, государи мои, такъ какъ съ третьей стороны Ермакъ Тимоѳеевичъ волею божіей помре, то я полагалъ бы о поступкѣ его сужденія не имѣть, Сибирь-же пріобщить къ числу прочихъ Россійской короны недвижимыхъ имуществъ... И затѣмъ шествовать въ Палкинъ трактиръ, гдѣ и совершить приличное сему случаю возліяніе. Такъ ли я говорю?

Неожиданность этого заключенія всѣхъ приводила въ восхищеніе. Безшабашные приходили къ Палкину, выпивали по рюмкѣ анисовки и заѣдали килькою. Причемъ пытливый безшабашный совѣтникъ объяснялъ буфетчику, съ которыхъ поръ и по какой причинѣ возникъ обычай красить яйца въ красную краску. Закусивши и полюбовавшись плавающими въ сажалкѣ стерлядями, друзья отправлялись на Невскій и молча дѣлали два-три конца взадъ и впередъ, отъ Аничкина моста до Адмиралтейской площади. На всѣхъ троихъ были новенькія ватныя пальто и новая шляпа отъ Чуркина (безъ наушниковъ); у всѣхъ въ рукахъ было по тросточкѣ. Шли они и всему дивились: и серебрянымъ рублямъ, выставленнымъ въ витринахъ мѣнялъ, и выставкѣ модныхъ и ювелирныхъ товаровъ, но всего больше—книжнымъ магазинамъ. Слышали они, якобы книгопечатаніе прекратилось, а между тѣмъ...

— Вотъ говорятъ, что у насъ свободы нѣтъ! — припоминалъ по этому случаю пытливый тайный совѣтникъ: — вонъ онѣ, книги-то... копни-ка въ нихъ какъ слѣдуетъ!

Въ заключеніе заходили къ Елисееву, покупали по апельсину и возвращались съ гостинцемъ каждый къ своей кухаркѣ домой, гдѣ ихъ ожидалъ готовый обѣдъ. Выспавшись послѣ обѣда, вспоминали происшествія дня, перебирали лицъ, получившихъ къ праздникамъ чины и ордена, напѣвали приличныя случаю пѣсни и терзались сомнѣніями, ежели къ кухаркамъ приходили въ гости земляки. А въ одиннадцать часовъ — спать.

Такъ провели праздники всѣ благонамѣренные и благородные люди. Такъ что ежели и въ будни дѣло пойдетъ столь же солидно, то можно сказать навѣрное, что мирное развитіе наше вскорѣ будетъ вполнѣ обезпечено. Пусть всякій выполняетъ свой долгъ по силѣ возможности, дѣлясь своимъ избыткомъ съ меньшимъ братомъ, не объѣдаясь, но и не отказывая себѣ въ лакомомъ кускѣ. Недостаточные пускай съѣдаютъ по одному куличу въ день, средняго состоянія люди—по два, богатые—по три и соотвѣтственно этому яицъ, пасхи и ветчины,—и увидите, что рубль самъ собой взыграетъ и никакихъ внѣшнихъ займовъ не потребуется.

Я тоже всѣми мѣрами старался выполнить эту программу, и, кажется, успѣлъ въ этомъ. Правда, что съ поздравленіями я не ходилъ, но не потому, чтобы восхищенное мое сердце не ощущало въ томъ потребности, а потому единственно, что ѣздить не къ кому. Въ послѣднее время одиночество — пожалуй, даже заброшенность — до такой степени охватило меня, что я почти исключительно разговариваю съ одними читателями. Ихъ я и поздравляю: — Христосъ воскресъ! поцѣлуемтесь!

Когда-то это былъ удивительно пріятный для меня праздникъ. Я говорю не про дѣтство, когда весь смыслъ праздника заключался въ томъ, что я каталъ съ лунки яйца, качался на качеляхъ и скакалъ съ доски, а про позднѣйшее время, когда на первомъ планѣ стояли уже не яйца и куличи, а вся эта веселая, ликующая ночь. Я, крѣпостной до мозга костей, я, рабъ отъ верхняго конца до нижняго, въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ чувствовалъ себя свободнымъ отъ узъ... И могу засвидѣтельствовать, что чувство это столь прекрасно, что можетъ сравняться только съ тѣмъ, которое испытываетъ человѣкъ, сознающій себя свободнымъ, кромѣ Свѣтлаго Христова Воскресенія, и въ прочіе дни. И замѣтьте, что я ощущалъ это сладкое чувство, имѣя на плечахъ мундиръ, сбоку—шпагу и подъ мышкой—трехуголку.

Лучшую пору моей жизни я размыкалъ по губернскимъ городамъ, и съ особенною живостью припоминаю пасхальный церемоніалъ. Нигдѣ такъ весело и такъ торжественно не служится великая утреня; нигдѣ такъ охотно не христосуются, такъ безкорыстно не радуются празднику. Правящіе классы радуются предстоящему недѣльному отдыху; управляемые—тому, что въ теченіе восьми дней объ нихъ не будутъ имѣть сужденія. Въ церкви читается слово Златоуста, *всѣхъ* призывающее къ жизни, *всемъ* предлагающее вкусить „тельца упитанна“. Въ позднѣйшее время власти стали какъ будто побаиваться этихъ призывовъ—какъ-бы, дескать, не вышло превратныхъ толкованій; но дореформенныя власти не ощущали еще двоегласія въ своемъ міросозерцаніи, и потому относились къ церковнымъ поученіямъ гораздо проще. Я помню, какъ при упоминовеніи о „тельцѣ упитанномъ“ у губернатора Набрюшникова ротъ самъ собой раскрывался до ушей, и онъ торжествующе озирался, въ увѣренности, что рѣчь идетъ именно о той телятинѣ, которую весь оффиціальный губернскій міръ будетъ ѣсть у него послѣ ранней обѣдни. И не видѣлъ онъ ничего зазорнаго въ томъ, что въ такой великій день *всѣ* преисполнятся ликованіемъ, *всѣ* будутъ вкушать (разумѣется, ежели предшествующій годъ былъ урожайный). Напротивъ, онъ и городничимъ, и исправникамъ внушалъ: „не препятствуйте! показывайте примѣръ!“ И

всѣ начальники отдѣльныхъ частей оказывали ему содѣйствіе, почтительно соревнуя и даже соперничая. Ежели у губернатора ѣли изумительную телятину, то у управляющаго палатою государственныхъ имуществъ подавали двѣнадцать сортовъ сосисокъ и диковинное малороссійское сало, у предсѣдателя казенной палаты—фаршированныхъ каплуновъ, а начальникъ внутренней стражи откармливалъ къ празднику на батальонномъ дворѣ цѣлое стадо свиней. Однимъ словомъ, всѣ чины дѣйствовали въ предѣлахъ предоставленной имъ власти, и сами ѣли достаточно, и другихъ потчивали, не предвидя никакихъ превратныхъ толкованій.

Къ счастію, нынче начинается вновь поворотъ въ этомъ смыслѣ. Продолжительное ожиданіе превратныхъ толкованій оказалось настолько безплоднымъ и до того всѣмъ опостылѣло, что даже безшабашные совѣтники начинаютъ понимать, что сытость не только въ праздники, но и въ будни ничего угрожающаго не представляетъ. „Только тѣ народы счастливыми почитаться могутъ, кои тучны“, сказалъ не помню какой-то законодатель, —Соломонъ или Драконъ,—и сказалъ такую истину, которая у всѣхъ на глазахъ входитъ въ міровой административный обиходъ. А ежели прибавить къ этому изреченію, что всякій съѣденный окорокъ ветчины есть косвенная милостыня, подаваемая богатымъ бѣдному, то вотъ вамъ и цѣлая административная система готова. Хоть какому угодно директору департамента не стыдно.

. . . .

Конецъ седьмого тома.

Типографія М. М. Стасюлевича. Спб. Вас. Остр., 2 линія, 7.